

Рудольф Гайм

I

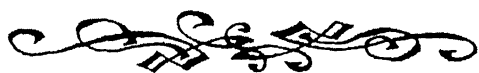
Рудольф Гайм

Гердер, его жизнь
и сочинения



Том 86

Рудольф Гайм



ГЕРДЕР, ЕГО ЖИЗНЬ
И СОЧИНЕНИЯ

Том I



*Перевод с немецкого
В. Н. Неведомского*



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«НАУКА»
2011

УДК 1(091)

ББК 87.3

Г14

Серия основана в 1992 году

Редакционная коллегия серии «Слово о сущем»

В. М. КАМНЕВ, Ю. В. ПЕРОВ (председатель),
К. А. СЕРГЕЕВ, Я. А. СЛИНИН, Ю. Н. СОЛОНИН

Гайм Р.

Г14 Гердер, его жизнь и сочинения / Пер. с нем. В. Н. Неведомского. Т. I. — СПб.: Наука, 2011. — 950 с. (Серия «Слово о сущем». Т. 86).

ISBN 978-5-02-026360-4

ISBN 978-5-02-026359-8

Немецкий историк литературы и философии, публицист Рудольф Гайм (1821—1901) написал обстоятельную монографию о немецком философе-просветителе Иоганне Готфриде Гердере (1744—1803) в 1877—1885 гг. Данная публикация является персизданием перевода этой монографии, осуществленного в 1887—1889 гг. Василием Николаевичем Неведомским (1827—1899).

УДК 1(091)

ББК 87.3

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России»*

© Издательство «Наука», серия
«Слово о сущем» (разработка,
оформление), 1992 (год основания), 2011

© Марков Б. В., вступительная
статья, 2011

ISBN 978-5-02-026359-8 (Т. 1)

ISBN 978-5-02-026360-4

ВРЕМЯ МИРА И ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА

Переиздание очередного труда Р. Гайма¹, посвященного Гердеру, поможет лучше понять истоки отечественной философии культуры и, думается, вызовет интерес у современных философов и культурологов, размышляющих о причудливом ходе истории, об утратах и достижениях человеческого развития. Главный труд Гердера, посвященный философии всемирной истории человечества, конечно, рассматривается в учебниках². Однако фундаментальных работ о нем у нас не так много³. Забытыми оказались также некогда популярные труды Лотце и Гумбольдта, последовавших по пути, проложенному Гердером. Между тем это направление сегодня оказалось в центре внимания, потому что «микроистория» не дает такой панорамы развития, в которой

¹ Рудольф Гайм (Rudolf Haym, 1821—1901) — профессор университета в Галле (был деканом философского факультета и ректором университета), историк немецкой духовной культуры, депутат Франкфуртского Национального собрания (1848) и палаты депутатов Пруссии (1866). В молодости Гайм придерживался либерально-демократических взглядов, а в зрелом возрасте остепенился и поддерживал политику Бисмарка по сборке Рейха. Гайм написал несколько книг по истории немецкой философии: «Фейербах и философия» (1847), «Вильгельм фон Гумбольдт» (1856; перевод на русский язык в 1899), «Гегель и его время» (1857; перевод на русский в 1861; новое переиздание в 2006), «Артур Шопенгауэр» (1864), «Романтическая школа» (1870; перевод на русский язык в 1891; новое переиздание в 2006), «Гердер, его жизнь и сочинения» (1877—1885; перевод на русский язык в 1888). Библиография: *Haym R. Gesammelte Aufsätze*, 1903. О Гайме: 1902; *Leitzmann A. Rudolf Haym. Zum Gedächtnis*, 1901; *Riehl A. Rudolf Haym*, 1902.

² См., напр.: *Иконникова С. Н. История культурологических теорий*. СПб., 2005. *Феллер В. Введение в историческую антропологию*. М., 2005.

³ См.: *Гулыга А. В. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества»* // Гердер И. Г. *Идеи к философии истории человечества*. М., 1977. — Воззрения Гердера интерпретируются как научно-материалистические. Указания на внутренние силы и на Бога считаются теоретически непоследовательными: ссылки на «чудо творения» не согласуются с утверждением о происхождении человека и культуры естественным путем. Гулыга видел в этом противоречивость мышления Гердера.

была бы показана взаимосвязь не только разных народов и их культур, но также природы и общества. Судя по зарубежной литературе, интерес к Гердеру вызван как раз тем, за что его раньше упрекали, а именно использованием для описания истории таких противоположных дисциплин, как география и биология, физиология и филология, физиогномика и этнопсихология, философия и религия. Богатая метафорика гердеровского языка — настоящий кладёзь новых идей, которых так не хватает современным гуманитарным наукам, уже явно исчерпавшим возможности психоанализа и герменевтики, структурализма и марксизма, позитивизма и феноменологии⁴.

Современная история становится «космической» не только в смысле выхода человека в космос, но и благодаря поистине планетному масштабу последствий развития науки и техники. Универсальный подход к истории сегодня продолжила синергетика. Однако представители этого направления работают в принципиально новых условиях. Во времена Гердера, Гегеля и Гумбольдта исторический мир пришел в движение, природа на этом фоне казалась сложившейся и уже неизменной, что и служило поводом синтеза истории природы и истории общества. Наоборот, глобализация сделала наш мир настолько неустойчивым, что наиболее популярной стала та часть синергетики, которая называется теорией катастроф. Конечно, сегодня мы знаем о развитии природы, об антропогенезе, о всемирной истории гораздо больше, чем во времена Гердера. Но мы не слишком продвинулись в понимании их взаимосвязи. Фактов много, не хватает смелых плодотворных философских обобщений. Дело в том, что универсалистские амбиции в результате начатой позитивистами критики метафизики оказались под вопросом. Философы уже не осмеливаются строить системы, охватывающие различные, изучаемые конкретными научными дисциплинами регионы бытия. На это решаются разве что талантливые дилетанты, но не профессиональные философы⁵. Собственно, популярная ныне синергетика является продуктом научной мысли, произрастающей на поле, брошенном философами. Но, как известно, наука без философии слепа. Поэтому необходима философская рефлексия общенаучных построений, синтезирующих результаты наук о человеке, природе и обществе. Для того чтобы усвоить культуру их

⁴ См.: Франк Х. Метафора в языке философии: Кант и Гердер // Языки философии / Под ред. Е. Я. Режабека, Б. В. Маркова, Ю. М. Шилкова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009.

⁵ См.: Шиммельфенинг О. В. Живая вселенная. М., 2005.

философского осмысления, следует обратиться к гердеровскому наследию. Работа Гердера «Идеи к философии истории человечества» была переиздана в 1977 г. в серии «Памятники исторической мысли». Это солидное издание действительно стало памятником Гердеру как основоположнику продуктивной программы изучения всемирной истории⁶.

Думается, чтение невероятно обстоятельного труда Гайма не отобьет у читателя охоту к актуализации философии истории Гердера. Ознакомиться с ним стоит по ряду причин как содержательного, так и методологического порядка. Прочитав двухтомник, читатель получит в распоряжение интереснейший материал, раскрывающий повседневную жизнь основоположников немецкой классической философии. Поскольку в учебниках их жизнь описана весьма скупо, то они представляются небожителями, рефлексирующими исключительно на основе чистого разума. Книга Гайма раскрывает контекст их мысли и окажет неоценимую помощь тем, кто стремится усовершенствовать сложившийся подход к рациональной реконструкции истории философской мысли.

Атмосфера, в которой развивалась немецкая классическая философия, далека от идеальной чистоты. Ее создатели часто не только не дружили, как подобает членам «республики ученых», но и ненавидели друг друга. И все же полемика имела публичный характер, а не сводилась к доносам в авторитетные организации. Хотя противников иногда «заносило» и публика наслаждалась скандалами, все же рассудительность брала верх. Книга Гайма наводит на размышления о том, какой должна быть реконструкция истории мысли. Очевидно, что в ходе ее каким-то образом следует соединить теоретическую позицию и практический, точнее, человеческий, интерес, который придает динамику мысли. Когда политика преобладает, может получиться нечто вроде «народной биологии» или «арийской физики». Поле формирования немецкой классической философии было устроено иначе, но и там были такие «монстры», как физиогномика, животный магнетизм, мистика и эзотеризм. Объективизм в этом случае играет роль противовеса. Но неправы те историки, которые в своей рациональной реконструкции игнорируют то, что им кажется неразумным. На самом деле это не препятствие, а условие мысли. При этом возникает вопрос, как избежать «процессов над ведь-

⁶ См. немецкое издание трудов Гердера с обширными комментариями: Herder Johann Gottfried. Werke in 10 Bänden. Frankfurt am Main, 1998.

мами»? Толерантность хороша, но настоящая творческая среда предполагает соперничество. Профессиональная этика налагает определенные ограничения на способы борьбы, ее формальные требования предполагают публичные дискуссии и исключают внеученные аргументы. Понятно, что в этих условиях ничего принципиально нового возникнуть не может. Новатору придется переступить границы рациональности и обращаться за поддержкой к внеученному сообществу — государству, церкви, партии, бизнесу или какому-то тайному обществу вроде масонов. Поскольку так чаще всего и бывает — ибо истина не побеждает, если ей не помогают, — то необходим и некий внешний по отношению к науке этический кодекс. Прежде всего он должен исключать поддержку истины «огнем и мечом». В этом отношении атмосфера развития немецкой классической философии была более или менее благоприятной. Как показал Гайм, власть в ту пору не только не использовала критику как повод для расправы над учеными, но даже призывала противников к большей сдержанности.

Книга Гайма поучительна еще в одном отношении. В силу политической ангажированности Гайм весьма пристрастно оценивал «историю немецкого ума». Конечно, он считал Канта, Фихте и Гегеля философами свободы. Будучи либеральным мыслителем, он больше опасался романтизма, который в его изложении выглядит как реакционный консерватизм. «Романтиком, — писал Гайм, — считался всякий, кто наперекор требованиям нового времени упорно придерживался старого направления идей с целью снова вызвать его к жизни искусственными средствами»⁷. Критическое отношение к романтизму определило и позицию Гайма в оценке идейного наследия Гердера. Оно является сложным в том отношении, что Гердер выступал в нескольких ипостасях: как философ, теолог и литературный критик. При желании можно указать еще несколько специальностей Гердера: он поэт и ученый, этнограф и языковед. Но главная трудность состоит в том, что Гердер соединял в себе как либеральные, так и романтические умонастроения. С одной стороны, он немецкий патриот, а с другой стороны — космополит и критик немецкой государственной машины. Гайму это кажется абсолютно невозможным, поэтому он тратит основные усилия на то, чтобы отделить одно от другого и соответственно воздать каждому по заслугам. Так, полемику Гердера с Кантом и Фихте Гайм считает

⁷ Гайм Р. Романтическая школа. СПб., 2006. С. 7.

основанной на недоразумении, а восприимчивость к гамановским идеям — обусловленной случайной дружбой Гердера с «немецким мистиком».

Политическая ангажированность оказала Гайму плохую услугу. Он явно перепутал политкорректность с логической непротиворечивостью, т. е. отступление от либеральной идеологии он расценивал как логическую ошибку. Отсюда и недостатки гаймовской интерпретации основных сочинений Гердера. Критикуемый им синкретизм либерального и романтического — на самом деле не недостаток, а достоинство гердеровской философии истории. Она и сегодня интересна тем, что в ней соединяются эмпирические данные о природе, человеке и истории, а факты интерпретируются с позиций естественных и гуманитарных наук, с точки зрения теологии и философии, биологии и этики. Взаимосвязь природы и культуры предстает в «Идеях...» как тождество биологических и исторических закономерностей. Если природа человека, характер его мышления и верований, язык, право и мораль во многом определены биологическими, географическими и даже климатическими факторами, тут не до либеральных иллюзий. Упрек Гердера кантовской философии чистого разума не сводится к реакционному романтизму. На самом деле речь идет о выявлении того, что сегодня называют «местом мысли». Философия не является спекуляцией чистого разума, она выражает не только дух времени, но и культурное пространство человеческого бытия. Осмысляя процесс колонизации Земли, Гердер указал на его разрушительные последствия для самобытной культуры колонизируемых народов. Как собиратель и исследователь народной поэзии, историк языка, литературы и религии он понимал также последствия утраты традиционного образа жизни. Поэтому его позиция в отношении прогресса была скорее отрицательной, чем положительной. В этом Гердер ближе Руссо, чем Канту. Однако его нельзя отнести и к реакционным романтикам, ибо он не был сторонником замкнутого национального государства. Само название главной работы Гердера говорит о том, что ее автор — космополит, который мыслит человека как гражданина мира. И в этом Гердер действительно близок Канту, идеалом которого было всемирно-гражданское состояние.

Формально Гайм прав: педантичный читатель воспримет труд Гердера как сумму противоположных суждений, эклектическую смесь различных политических позиций. Конечно, его философию нельзя назвать системой. Но нельзя и обвинять ее в ло-

гической неряшливости. Нам, столкнувшимся с ускорением процессов глобализации, легче, чем Гайму, понять Гердера. Гердер мечтал о том, чтобы вместо череды непрерывных войн настало время гуманной истории человечества. Но он мыслил ее не как результат колонизации и христианизации якобы диких нецивилизованных народов. Каждый народ развивается по-своему в зависимости от строения географического, культурного и социального ландшафта. Однако в каждой культуре есть начала гуманности и свободы. Гердер не дает их определения, иначе он был бы вынужден навязывать его остальным. Формализм в данном случае — это не недостаток, а достоинство. Важно, чтобы каждый народ строил свою жизнь на этих началах, а то, как он их реализует, зависит уже от имеющихся возможностей. Таким образом, Гердер учит нас, что процесс глобализации может протекать не путем евро-американской модернизации якобы отсталых народов, а как мирное соревнование своеобразных моделей гуманизации. Речь идет не об умозрительных проектах, а о формах жизни. Не отрицая заслуг капитализма по части достижения благоденствия, нельзя забывать, что это благоденствие, во-первых, строится ценой бедственного положения стран третьего мира, а во-вторых, имеет негативные последствия и для жителей первого мира. Для их преодоления им придется кое-что усвоить и из традиционной культуры. Думается, именно этого и хотел Гердер, противопоставлявший революционному террору во Франции и либеральным реформам в Англии модель консервативной революции. Главная работа Гердера осталась незавершенной. Вместо того чтобы предложить актуальную политическую программу, он снова занялся историей духовной культуры. Гайм увидел в этом проявление реакционного романтизма, но позицию Гердера можно понять и по-другому, как разочарование в политических переворотах и поиск глубинных основ человеческого бытия.

БИОГРАФИЯ И ЖИЗНЬ

После объявленной Фуко «смерти» человека биография как литературный жанр оказалась под вопросом. Что касается истории философии, то и раньше жизнеописание философов не было популярным. История идей — вот что больше всего интересует историков мысли. Разве что Ницше призывал обратить внимание на жизнь и оставил все еще не слишком понятную историю под

названием «Esse Homo» — в ней сведения об организме автора, о местах, где этот организм находился, в то время как рука мыслителя писала тот или иной текст, перемежаются переживаниями и даже «инспирациями», которые предшествовали созданию этих текстов. Хайдеггер утверждал, что у философа в жизни нет иных занятий, кроме как думать и писать, что не следует выводить мысль из тех или иных житейских компромиссов. Возможно, он хотел тем самым спасти хотя бы свою философию от обвинений в ангажированности. Нельзя не признать правоту структуралистов, заменивших жизненные основания идей безличными структурами, например «эпистемами». В нашем обществе, которое становится все более формальным и бездушным, где люди являются не целью, а средством, акцент переносится на их место в социальном пространстве и на роль, которую вынужден в нем играть человек. Отсюда интерес к «полям литературы», которые определяют как жизненный, так и интеллектуальный ландшафт нашего времени. В рамках какой школы или направления формировался мыслитель, сотрудником какой организации он стал, какое место занимал в социальной иерархии и как конвертировал свой символический капитал — вот главные вопросы современной критики социальных наук.

Все это, конечно, важные вопросы. Только вряд ли они пригодны для понимания «места мысли» наших предшественников, которые пребывали под сенью иных влияний. Точно так же следует осознавать границы структурализма и по отношению к современности. Она утрачивает черты стабильности, планируемости, управляемости, что было характерно для послевоенного периода, и вновь становится «текучей». И дело не только в том, что повышаются риски, вызванные мультисистемностью общества. Вновь проявляет себя «человеческий фактор», что выражается в экзистенциальном протесте против общественной мегамашины, подавляющей индивидуальность. Все это делает историко-биографический жанр не только интересным, но и актуальным.

Детство Гердера Гайм описал в агиографическом стиле. Перед нами маленький святой. Дети играют, отлынивают от учебы, дерутся и сквернословят, а Иоганн любит читать — вскоре в городке, где он жил, не осталось ни одной не прочитанной им книги. Мать Гердера окружила его заботой и лаской, и он всю жизнь хотел, чтобы его любили. Даже директор школы — сухарь и педант, старый холостяк и мизантроп, служивший для Гердера отрицательным примером учителя, — приблизил к себе мальчика и не жалел времени на его обучение, чтобы подготовить его для

поступления в гимназию. Правда, старик делал это не столько по причине особой любви к мальчику, сколько из конъюнктурных соображений. Состоявшиеся выпускники повышают престиж школы, и лучшего критерия качества образования до сих пор не придумано. Попав под опеку ректора гимназии, одинокого старика Грима, который из всех методов обучения признавал одну зубрежку, Гердер, признавая себя обязанным ей своими никогда не забываемыми знаниями, тем не менее всю свою жизнь пытался не быть похожим на своего старого учителя.

Образование включает в себя нечто такое, что передается, так сказать, из рук в руки. Но надо признать, что далеко не всем учителям удастся осознать, что время мира, т. е. скорость изменения общества, опережает время жизни человека. И тогда ученики жаждут только полезной информации, а не духовной связи. Разрыв поколений становится все больше. Юный Гердер писал в дневнике: «Я рано стал мыслить, рано оторвался от человеческого общества и создал своим воображением новый мир»⁸. Конечно, чтение, письмо и рефлексия — это не социальные действия. Но не следует представлять Гердера индивидуалистом и мизантропом. Письмо и чтение — это всегда диалог с другим и глубокая работа над собой. Тот, кто ведет дневник и старается описывать свою жизнь, сталкивается не только с индивидуальностью, но и с зависимостью от других. Таким несколько странным образом он становится социальным существом.

Гердер был сыном звонаря, его душа оказалась чрезвычайно чувствительна, а влияние церкви значительным. Возможно, именно память о звуках колокола привела его к революционному выводу о приоритете тональности в языке. Он вырос в церковной атмосфере, пропитанной пиетизмом. Все это толкало его к выбору духовного звания. Наставником Гердера был Христиан Рейнгольд Вилламовиус — чрезвычайно чувствительный благочестивый старец. Его более молодой преемник Трешо был настроен иначе и считал, что уделом детей города Морунгена, в котором они жили, является ремесло. Сам Трешо писал для разных журналов статьи назидательного характера. В качестве переписчика он взял Гердера, который, отнюдь не механически исполняя свою работу, многому научился у своего наставника. Литературные приемы, а также склонность к нравоучениям и риторическим импровизациям Трешо навсегда запечатлелись в душе Гер-

⁸ Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения (данное издание). Т. I. С. 72.

дера и особенно явно воспроизводились в позднем периоде его творчества.

Трешо подражал Клопштоку, Галлеру, Геллерту, Витгофу и другим популярным в то время писателям. Гердер смог ознакомиться с ними и из первых рук, ибо пользовался библиотекой Трешо. Благодаря чтению он познакомился и с более старыми авторами, такими как Клейст и Лессинг. Гердер не только зачитывался их лучшими сочинениями, но и сам писал весьма бойко. Занятия Гердера не были тайной для Трешо — он нередко обнаруживал мальчика спящим с книгами или страницами собственных сочинений. Однако Трешо считал рвение юноши преждевременным и вообще неуместным, ибо прочил ему занятия ремеслом. Однажды издатель обнаружил в рукописи Трешо листок со стихотворением — Гердер вложил его с надеждой на собственную публикацию. Это была ода по случаю восшествия на престол Петра III. Провинция, в которой родился Гердер, уже много лет была российской. Петр III, боготворивший Фридриха, освободил ее. Собственно, Гердер воспевал великодушие иностранного монарха.

Открывшийся и признанный литературный талант Гердера не изменил отношения к нему лицемерного Трешо — дома он вел себя совсем не так, как писал в статьях и говорил на кафедре. Гердер по-прежнему выполнял обязанности переписчика и еще множество дел по хозяйству. На самом деле это было не только рабство, но и мученичество, которое Гердер терпеливо переносил. Тяжелая юность навсегда запечатлелась в его душе, и впоследствии в рецензиях на сочинения Трешо он характеризовал его как «самого печального между поэтами печального образа»⁹. Возможно, это и есть ресентимент. Покорность сопровождалась душевным протестом, и от него Гердер уже никогда не мог отделаться. Гайм полагал, что угнетение усилило врожденную мечтательность Гердера.

Счастливая случайность спасла юношу. Он попал на глаза русскому полковому хирургу, и тот взял его в Кёнигсберг, желая приобщить юношу к изучению медицины. Однако Гердер поступил в университет. Положение молодого человека из малообеспеченной семьи в чужом городе всегда сложное, и прежде всего это касается жилья. Гердеру повезло. Благодаря своей деятельности у Трешо он был знаком с кёнигсбергским книгоиздателем Кантером, который помог Гердеру получить приют в Collegium Fridericianum. Гердер мог подрабатывать репетиторством, одна-

⁹ Там же. С. 84.

ко предпочитал свободу. В одном из стихотворений он писал: «Я так же богат, как все поэты, и академически свободен»¹⁰. Гердер выполнял обязанности преподавателя в младших классах Collegium, и это давало ему возможность поддерживать себя не только двумя булками в день.

Гердер оказался увлеченным, восторженным преподавателем. На воскресных уроках закона Божия он приковывал внимание слушателей и воодушевлял их пламенными речами. Конечно, молодость и талант много значат в преподавании. Однако рутинный характер обучения, львиную долю которого занимало изучение латыни, не давал возможностей для развития гуманитарных наук. Понятно, что изучение латыни было навязано церковью, которая еще долго сохраняла влияние в университетах. Гердер в практике и методике преподавания делал акцент на родном языке. Между прочим, его роль в истории немецкой культуры состоит в том, что он способствовал становлению национального языка гуманитарных наук. Гердер писал: «Изучение иностранных языков должно возбуждать, обогащать и развивать наш ум, но руководящей нитью в этом лабиринте должен служить для нас родной язык, и, стало быть, ему должны мы посвящать наши первые труды»¹¹. Чтобы понять ценность этого утверждения, достаточно вспомнить тяжеловесный слог российских трактатов XVIII в., написанных в основном нашими студентами, обучавшимися в немецких университетах.

Не только пылкой риторикой и поэтикой, но и внешним видом Гердер отличался от остальных преподавателей коллегии Фридриха. Возможно, отсутствие парика и небрежная одежда были следствием его вынужденной бедности, а не сознательным эпатажем. Таким образом, Гердер едва ли был кем-то вроде стилиста, который казался чужим среди своих. Преподавание в церковной школе настолько сильно захватило его, что времени и сил для систематических занятий уже не оставалось. Конечно, Гердер по-прежнему много читал и писал, однако лекции, особенно богословские, вряд ли давали ему что-то новое. Преподаватели стояли на ортодоксальных позициях, смягченных духом пиетизма и вольфовской философией. Настоящей удачей стало то, что в Кёнигсбергском университете в качестве приват-доцента лекции читал Кант. Ему рассказали о талантливом юноше, и он разрешил ему посещать свои лекции бесплатно.

¹⁰ Там же. С. 89.

¹¹ Там же. С. 92.

Кант читал лекции по логике, метафизике, нравственной философии, математике и географии. Гердер слушал все его лекции, и запомнил их содержание на всю жизнь. Гайм писал: «В его памяти глубоко запечатлелась вся совокупность кантовских идей, которые он постоянно повторял с различными видоизменениями»¹². Кант читал лекции в форме свободной беседы, напоминающей диалоги Сократа. Это и привлекало молодежь, ненавидевшую рутинную зубрежку. Главное, что Гердер усвоил у Канта, — это критический метод, согласно которому следует устранить неверные понятия, начиная с онтологии и кончая натуральным богословием. Вместе с тем Гердер упрощал Канта в духе Бэкона. Кроме того, как литературный критик он больше раздумывал о границах языка, а не познания. Гердер критиковал отвлеченную метафизику и стремился сделать философию полезной для народа. Вывод о том, что она должна превратиться в антропологию, скорее всего, сделан не без влияния Руссо. Правда, Кант тоже признавал вопрос о человеке как самый важный в философии. Он преподавал психологию как «метафизическую опытную науку о человеке». Ее предметом является не столько индивидуум, который формируется под влиянием случайных обстоятельств, сколько человеческая натура, которая неизменна. Если учесть глубокое впечатление, которое произвели небулярная теория и лекции Канта по географии, то несомненно главная задача Гердера, описать историю человечества, стимулирована размышлениями Канта.

Старшим другом и ментором Гердера был Гаман¹³. По свидетельству Гайма, его влияние на Гердера было более сильным

¹² Там же. С. 119.

¹³ Иоганн Георг Гаман (Johann Georg Hamann, 1730—1788) — идеолог литературного движения «Буря и натиск» и оппонент Просвещения. Вместе с Гердером и Якоби протестовал против школьного догматизма во имя живой веры. Гаман не излагал систематически своих мыслей, и почти все его сочинения состоят из мелких статей полемического характера под эпатазирующими заглавиями и псевдонимом («северный маг» и др.). По мнению Гамана, противоположности между божественным и человеческим, идеальным и реальным, духом и природой, разумом и чувственностью, естественным светом и откровением являются результатом отвлеченного рассудка. Верой Гаман считал состояние души, не подлежащее доказательствам и не нуждающееся в них. Гаман стремился увидеть и открыть божественное начало в вещах и человеческих существах. Его идеи оказали влияние на философию Гердера, Шеллинга, Гегеля, Кьеркегора, а также на творчество Гёте. Сочинения: «Сократические достопримечательности» (*Sokratische Denkwürdigkeiten*, 1759); «Крестовые походы филолога» (*Kreuzzüge des Philologen*, 1762); «Метакритика пуризма разума» (*Metakritik über den Purismus der Vernunft*, 1784, опубл. в 1800); «Мысли о моем жизненном пути» (*Gedanken über meinen Lebenslauf*, 1759, опубл. в 1821).

и продолжительным, чем влияние Канта, а главное, глубоко личным. Гаман воспринимался современниками весьма неоднозначно. Одни считали его пиетистом, чудаком и святошей. Другие — противником просвещения, мистиком, основоположником программы «христианской науки». Гайм подробно рассказал о жизни Гамана и его религиозном обращении, следовавшем после неудачной попытки попробовать себя на поприще торговли. Гаман нашел утешение в исповеди, в которой, подобно Л. Толстому, осудил свои безрассудства и заблуждения. В дальнейшем он посвятил себя чтению и сбору разного рода филологических редкостей. Время от времени Гаман издавал сборники своих размышлений, которые привлекали впечатлительные натуры вроде Гердера.

Надо сказать, Гайму не удалось разгадать секрет Гамана. Он состоит в продолжении симпатической парадигмы М. Фичино и Дж. Бруно. Согласно этой парадигме части универсума представляют собой мировой ансамбль, и наиболее тонкие индивиды способны постигать единство вещей, которые анализирующий разум видит разделенными. Всякое познание и действие, по Гаману, должно исходить из конкретной связи человека с миром и Богом. Одни из его современников оказались забытыми, другие, вроде Геллерта, стали синонимами серости и даже пошлости. А имя Гамана весьма часто упоминается видными философами XX столетия. Причудливое сочетание идей Канта и Гамана и было той питательной средой, в которой формировалось мировоззрение Гердера. От одного он усвоил глубокое знание естественных наук, от другого — интерес к литературе. Им были присущи общие симпатии к Сократу, Бэкону, Юму, Руссо, Монтеню и Шефтсбери. Когда Гаман стал редактором журнала, он пригласил Гердера сотрудником. Гердер трудился над довольно напыщенными песнопениями на религиозные темы. Подражая Пиндару, он сочинял «опьяняющие песнопения со священным воодушевлением религиозным и политическим».

Рижский период жизни и творчества

Благодаря заботе Гамана Гердер получил место помощника ректора церковной школы в Риге (1764—1769). Столица Лифляндии, освобожденной от шведов Петром, переживала экономический и духовный подъем. Не имея своего университета, рижане приглашали преподавателей из Германии, и Гердер

встретил у них самый радушный прием. Это были лучшие годы его жизни. Там родились его главные идеи, реализованные впоследствии в форме объемистых сочинений, были написаны первые работы: «Фрагменты о новейшей немецкой литературе» (1766—1768) и «Критические леса» (1769).

Преподавательская деятельность Гердера не ограничивалась стенами церковной школы, его приглашали давать частные уроки и благодаря этому он завел знакомства в купеческой и дворянской среде. Обретя некоторый светский лоск, Гердер стал писать своим хозяевам хвалебные песни в романтическом духе. Известность, которую обрел Гердер в Риге, вскружила ему голову — он стал мечтать о более избранной публике. И все же он отклонил предложение переселиться в Петербург.

А. В. Гулыга негативно описал этот период жизни Гердера. При этом он ссылался на несовместимость профессии и литературного призвания, на травлю в печати и ненависть рижского духовенства¹⁴. По Гайму, жизнь Гердера в Риге протекала иначе. Гердером восхищались не только как преподавателем, но и как проповедником. Причем деятельность проповедника настолько затмила деятельность преподавателя, что Гердера освободили от педагогической нагрузки. Он много размышлял и писал о том, каким должен быть идеальный преподаватель и каков правильный метод образования. Его убеждение, что следует учить не латынь, а родной (немецкий) язык, встречала горячее одобрение.

Приступив к чтению проповедей, Гердер стал размышлять о том, каким должен быть пастор. Оратор Божий, писал он, велик смирением, а не красноречием. Ему противен как педант, так и искусный ритор. Настоящий проповедник печется о душевном спасении своих слушателей, он должен быть честным, благочестивым человеком, принимающим живое участие в их житейских заботах¹⁵. Такое понимание пасторства натолкнулось на сопротивление ортодоксальных кругов. Популярность Гердера вызывала зависть. Он прослыл рационалистом и философом-вольномдумцем. Между тем Гердер объяснял, что он стремился дать гуманное выражение здравому смыслу народа, а не вдаваться в тонкости теологии или сообщать бесполезные метафизические знания.

Гердер был не только преподавателем и проповедником, но также и писателем. Правда, он полагал, что проповедник и насто-

¹⁴ Гулыга А. В. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества» // Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

¹⁵ Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения (данное издание). Т. I. С. 167.

ящий народный писатель имеют общую задачу — они являются апостолами человеческой философии. Гердер хорошо понимал возможности медиа своей эпохи. Чтение газет и журналов становится повседневным занятием. Получает распространение английская модель развлекательного журнала для среднего сословия. Ей Гердер противопоставлял немецкий журнал, направленный на воспитание людей в духе гуманности. Гердер любил музыку и театр и выступал как критик, выражающий здравый смысл публики. Он был также секретарем масонской ложи в Риге и принимал три ее главных принципа: мудрость, сила и красота. Он полагал, что масонская ложа содействует распространению высшего образования в прибалтийских провинциях.

Гердер постоянно размышлял о состоянии немецкой литературы. Главный его тезис состоит в том, что подражание древним делает литературу безжизненной, современные писатели должны пользоваться живым языком. Благодаря своим критическим статьям он становится заметным публицистом в Германии. Гайм описывает весьма сложный ландшафт «полей литературы» в Германии. В это время начинает интенсивно развиваться национальная литература, появляется большое количество литературных журналов, в которых публикуются критические статьи. Их авторами были как профессора, такие как Мендельсон, Лессинг и Клоц, подходившие к делу серьезно и основательно, так и молодые сотрудники журналов, которые писали бойко и увлекательно. Гердер, занимавший некую промежуточную позицию, подвергался критике со всех сторон.

Рига как торговый город должна была найти соединяющее начало купеческого космополитизма и гражданского патриотизма. Гердер серьезно продумывал эту проблему, которая нашла свое решение в «Идее к философии истории человечества». То, что местом, где эта проблема возникла, была Рига, вовсе не случайно. По мнению Гердера, под русским владычеством она стала второй Женовой. Великая держава опекала, но не ограничивала свободу древнего ганзейского города. Так Гердер сделался не только рижским, но и русским патриотом. В Риге сохранилось городское самоуправление и каждый гражданин чувствовал себя ответственным за процветание города. Гердер разделял их политические воззрения и поэтому чувствовал себя в Риге наиболее свободно. Он понимал Россию как протектора, обеспечивающего условие свободного развития. Гердер сочинил оды в честь Петра Великого, Петра III и Екатерины II, в которой он видел защитницу гуманной философии. Петра I он охарактеризовал как

«отца своего старого отечества и творца нового». Гердер не одобрял прусский бюрократический порядок. Он считал, что Германия должна восприниматься в Прибалтике как носитель образования и культуры. Немцы не смешивались со славянским населением и считали себя представителями высшей культуры. Гердер также считал философию «немецкой национальной наукой»¹⁶, поэтому видел свою задачу в распространении ее везде, где жил. Под конец своего пребывания в Риге Гердер достиг всеобщего признания. Он был любимцем горожан и аристократов. В 1864 г. в Риге Гердеру был поставлен памятник.

Автор и оратор Божий

Как проповедник и чиновник по церковным делам Гердер, естественно, не мог не размышлять о религии вообще и о христианстве в частности. Поле этих размышлений было полно скрытых камней. Во-первых, на Гердере сошлись идеи Реформации и Просвещения. Это вылилось как в критику догматизма в теологии, так и в конфликты с администрацией церкви. Во-вторых, Гердер оказался преемником идей Канта и Гамана. Критика религиозных предрассудков соединяется у него с мистическими настроениями. Гердер не во всем опирался на научный подход. Например, он отстаивал бессмертие души, ибо без этого не мыслил возможности нравственности. И все же нельзя считать гердеровскую философию религии клубком противоречий. Главной для нее является идея гуманности, свободы и справедливости, и в этом смысле она по своей сути соответствует интенциям христианства.

В то время Европа обратилась к изучению Востока. И хотя во многом его образ складывался на основе «Шехерезады», серьезные мыслители высказывали мнение, что помимо Греции и Рима европейская культура усвоила духовное наследие Востока. Речь шла прежде всего о текстах Ветхого Завета. Неудивительно, что Гердер, занимаясь «Пятикнижием» Моисея, все глубже вникал в вопросы теологии. Главная проблема состояла в том, что Библия — это не только Священное Писание, т. е. слово Бога, но и литературный, поэтический памятник. Но поэзия, согласно мнению Гердера, имеет своим источником народное творчество. Выход он увидел в том, что Бог изложил свое послание в соответствии с языком и настроениями еврейского народа.

¹⁶ Там же. С. 194.

У Гердера были предшественники. Михаэлис и Эрнести, которые объясняли Библию как человеческое произведение. Так формировался научный, филологический подход к изучению Библии. Своеобразие позиции Гердера в этом общем направлении научно-критического подхода к религии состоит в утверждении философского содержания священных книг. Различные религии — это продукты национального склада ума. Все религиозные тексты, включая метафизические, нравственные и богослужебные, являются отражением души народа. Сначала религия — продукт народного творчества, затем политическая мифология, поэзия и, наконец, научная система. Сначала религия была создана, чтобы заглушать страх, затем она привлекалась для ответа на такие трудные вопросы, как происхождение мира и человека, добра и зла. Таким образом, история религии является важнейшим источником для изучения человеческого ума и сердца.

Гайм отметил множество неточностей и ошибок в гердеровской трактовке религии. Действительно, для современного историка религии сочинения Гердера и его современников — это некое кладбище ошибочных и давно забытых гипотез. Однако кажется весьма полезным ознакомиться с историей становления научного изучения религии, чтобы понять его границы. Кажущаяся непоследовательной позиция Гердера является не просто логической ошибкой. Она — яркое свидетельство духа времени, когда еще не обозначились грозные последствия «разволшебствования» мира.

Гайм отметил противоречие в совмещении обязанностей школьного учителя, проповедника и литературного критика. Это противоречие Гердер разрешил тем, что как проповедник он выступал в Риге, а как литератор — перед немецкой публикой. Однако это не соединялось в его собственной душе, и он все сильнее страдал от внутреннего разлада. Гердер не забывал Германию. Он следил за литературой и посылал критические статьи в немецкие журналы. Печатался он анонимно. Писать статью под псевдонимом было обычным делом. С одной стороны, это давало некую свободу, с другой стороны, создавало иллюзию безнаказанности. Гердер писал вдали от Германии, и обе эти стороны анонимного письма от этого еще больше усилились. Временами он позволял себе оскорбительный тон. Полемика о немецкой литературе, в которую вязался Гердер, приобретала все более личный и временами обидный характер. В результате он впал в уныние и жаловался на напрасно потерянное время. «Как унижительно приноравливаться к дурным и мелочным условиям времени, — писал Гердер, — для того чтобы подготовить наступление

лучших времен»¹⁷. Вместе с тем можно отметить и положительное значение критики — она стимулировала работу над собственными сочинениями. Большинство его самых возвышенных идей выросло в процессе полемики с Лессингом, Риделем и др.

Гердер скрывался за псевдонимами, но вскоре его настоящее имя стало известно всем. Конечно, Гердер отказывался от авторства, потому что боялся оскорбительной критики. Но анонимность давала ему возможность самому делать грубые выпады. Таким образом, Гердер вел фальшивую игру, и последствия этого не замедлили проявиться. Честный Гаман советовал своему другу перестать играть в жмурки и прекратить брань с таким шарлатаном, как Клотц. Однако Гердер упорствовал и этим вызвал досаду у друзей и злобу у противников. Он превратился в сварливого критика и окончательно уронил себя в глазах окружающих. Остался единственный выход — превратиться в невидимку, оставить Ригу и отправиться путешествовать. Такая возможность вскоре представилась, и Гердер уехал в Копенгаген. По дороге была сделана остановка во Франции, которая растянулась на годы. Гердер изучал французский язык, читал Вольтера, Монтескье, Фонтенеля, Руссо, Дидро и других энциклопедистов. Кроме того, он намеревался улучшить свои прежние сочинения и дополнить их анализом французской литературы. Гайм, изучая дневниковые записи этого периода, пришел к выводу, что Гердер был полон новых замыслов. Именно в это время его осенила догадка об аналогии истории и природы и возникла идея написать большое сочинение о человеческом роде. Однако состояние его было таково, что он не мог ни продолжать старое, ни начинать новое.

Судя по дневниковым записям, Рига не отпускала Гердера, и он часто думал о просвещении Лифляндии. Он составил проект идеальной школы и мечтал о поддержке своего проекта Екатериной II. Россия в это время переживала подъем, и многие европейские мыслители надеялись воплотить свои проекты в России. Подобно Вольтеру и Дидро, Гердер также задумал написать политический проект для русской императрицы, в котором приспособлял идеи Монтескье к условиям России. Он полагал, что законодательство должно соответствовать обычаям народа. Гердер мечтал о том, чтобы именно в России осуществить просвещение по немецкому образцу и продвигать его на Восток. Гайм расценил его планы как фантастические. Особенно неприятной ему была гердеровская оценка состояния Европы и мечта Гердера

¹⁷ Там же. С. 390.

о том, что Россия разбудит ее от догматической спячки. Гайм полагал, что подобные идеи никогда не будут реализованы: такие личности, как Гердер, должны оставаться писателями и не стремиться в политику¹⁸. Зато Гайм положительно оценивает немецкие мечтания Гердера. Вдали от родины его патриотизм окреп. Гердер считал Францию стареющей нацией. По его мнению, французы многое заимствовали у итальянцев и испанцев, но добавили к их наследию изыщества. Во французской культуре господствует дух придворного общества. Французский язык является доступным для образованных сословий всего мира, но в результате оказывается поверхностным, поэтому Гердер отдавал предпочтение прежде критикуемой латыни.

Гердеру понравилось путешествовать, и после некоторых сомнений он принял предложение сопровождать любекского принца в его трехлетнем путешествии. Но вскоре наступило разочарование — Гердер попросил отставку. Ему удалось получить должность советника консистории при Бюкебургском дворе (1771—1776). Гердер был главным церковным проповедником и каждое воскресенье читал две проповеди. Однако для бюкебургских жителей его проповеди оказались слишком возвышенными и непонятными. Этот период жизни Гердера ознаменовался дружеским общением с Лессингом, Гёте, Николаи, Гаманом, Лафатером и Мендельсоном. Такое созвездие поистине замечательно. Каждый учил и учился у другого. Это также период участия Гердера в «Буре и натиске». Вместе с Гёте им был написан сборник «О немецком характере и искусстве» (1773). Продолжились религиозные искания Гердера и был опубликован «Древнейший документ человеческого рода» (1774). В Бюкебурге Гердером были написаны «Пластика» (1773), «Познание и ощущение человеческой души» (1774), «Еще одна философия истории для воспитания человечества» (1774).

Веймарский период

Гёте мечтал собрать вокруг себя лучших людей и всячески содействовал переезду Гердера в Веймар. Здесь Гердер получил должность суперинтенданта протестантской церкви (1776). Веймар напомнил ему Ригу, столь восприимчивую к модернизации. Положение Гердера благодаря поддержке Гёте быстро укрепи-

¹⁸ Там же. С. 463.

лось. Он занимал множество важных должностей, произносил проповеди и разные публичные речи, присутствовал на заседаниях в консистории, наблюдал за деятельностью учебных заведений и т. п. Все это требовало значительных усилий, и Гердер жаловался на невозможность приступить к серьезным занятиям наукой. Веймарское придворное общество было весьма сложным, и, естественно, главным средством борьбы была интрига. Вскоре Гердер заметил, что его назначение и деятельность вызывали недовольство. Он полагал, что найдет в Веймаре благоприятную почву для воплощения своих идей. В лице герцога он мечтал найти покровителя, в Гёте — активного помощника. Однако сторонники старого порядка сопротивлялись нововведениям, а Гердер не обладал умением строить сложную интригу и терпеливо ждать ее удачного результата. Более того, по своей духовной должности он оказался по другую сторону светской власти, которую представлял Гёте. Гердер старался усилить влияние церкви, а Гёте — влияние искусства и поэзии. Между ними сложились напряженные отношения, особенно после того как Гёте получил дворянское звание и стал вельможей. Вместе с тем придворная жизнь постепенно избавляла Гердера от «мистического воодушевления» и способствовала тому, что в своей литературно-критической деятельности он стал более предусмотрительным и дипломатичным. Важную роль при этом сыграл не Гёте, а Виланд. Их отношения складывались по «обычному сценарию»: сначала за сердечной дружбой следовало охлаждение, потом наступало недолгое воодушевление и снова вспыхивала ссора.

Долгое пребывание в Веймаре имело свои плоды («Идеи» (1784—1791), «Бог» (1787), «Адрастея» (1801—1803), «Мета-критика критики чистого разума» (1799)). Гердеру удалось составить и утвердить новый школьный устав, реформировать гимназию, внести изменения в богослужение и т. д. Но временами он впадал в уныние и стремился покинуть страну, на почве которой «ничего не росло и не зрело». Гейне, с которым Гердер был дружен, стремился перевести его профессором в Геттингенский университет. Однако дело застопорилось, как и другие предложения. Наконец Гердер получил приглашение совершить путешествие в Италию. Как всегда, компаньон оказался не таким, как ожидал Гердер, но поездка все-таки состоялась. По возвращении в Веймар Гердер снова ищет способ уехать, однако Гёте добивается для него назначения вице-президентом высшей консистории. С 1800 г. Гердер становится президентом и получает дворянство. Впрочем, любые должностные обязанности выглядели

слишком мелкими и не соответствовали величию гердеровских идей. В это время во Франции происходит революция, и Гердер надеется, что она будет способствовать распространению гуманизма. Однако немецкий патриотизм берет верх, и Гердер вновь начал писать статьи о немецкой национальной гордости. Под конец жизни он обращается к теологии и занимается редакцией уже не Ветхого, а Нового Завета и критикой кантовской философии. Гердер ненавидел монархию и терпел ее постольку, поскольку она содействовала процессу гуманности. Бросается в глаза противоречие: как Гердер мог быть одновременно чиновником и идеалистом. Он сочувственно относился к Французской революции, однако должен был скрывать свои взгляды, будучи придворным. Возможно, это и тормозило окончание «Идей...». Вместо завершающей пятой части у него возникла мысль написать «Письма о распространении гуманизма». Однако текст получался растянутым, беспорядочным, содержащим множество повторов. После казни короля настроение Гердера изменилось. «Письма» претерпели существенные изменения. Они превратились в изложение неких позиций, от которых дистанцировался автор. На практике же Гердер попытался создать в Веймаре нечто вроде филантропического общества. Еще ранее он предлагал проект научного общества, подобного платоновской академии. После Французской революции Гердер укрепился в мысли, что все эти сообщества являются слишком мелкими и следует думать об объединении всей немецкой нации. Он имел в виду, разумеется, не сборку империи, а умственное объединение народа. Эта мысль и составила итог «Писем».

ИДЕЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Идея всеобщей истории — это работа зрелого Гердера. Предпосылки формирования его подхода нужно искать прежде всего в монадологии Лейбница, которая открывает перспективу понимания истории как науки о культуре. Поэтому главная особенность гердеровских «Идей...» состоит не столько в ориентировании на сравнительную анатомию, языкознание, этнографию, которые синтезированы в некую целостность, сколько в раскрытии своеобразия различных органических целостностей или, как их назовут позднее, культурно-исторических типов.

Гердеровские «Идеи...» (наряду с трудами Вольтера и Гиббона) обычно расцениваются как наиболее основательная версия

философии истории эпохи Просвещения. По мнению А. В. Гулыги, Гердер — представитель немецкого просвещения, опиравшийся на естественнонаучный материализм. Лютеранский священник не мог примириться с традиционными догмами и искал научное решение проблемы происхождения важнейших достижений человечества искусства, языка и мышления¹⁹. И все же интерпретация Гердера как представителя научного материализма наталкивается на некоторые препятствия. Они обнаружились уже в ходе полемики с Кантом, который высказывался об «Идеях...» весьма критически. Он определил Гердера-автора не как философа, а как пастора. Действительно, Гердер рассматривает человека в перспективе не только теории эволюции и космогенеза, но и теории антроподицеи. Поэтому остается либо не причислять Гердера к просветителям, либо скорректировать общепринятое определение Просвещения как научно-рационального антирелигиозного мировоззрения. Далеко не все философы были материалистами и атеистами. Многие видели свою задачу в опровержении веками накопившихся предрассудков, в научном обосновании религии. Точно так же обстоит дело с душой. Философы Нового времени и Просвещения не только не опровергали ее существования, но, напротив, пытались построить такое описание, которое соответствовало бы духу науки. Хорошим тому примером является союз Гёте и Гердера. Гайм писал: «Гердеру было нетрудно включить в сферу своих воззрений меткие наблюдения Гёте, а этому последнему было нетрудно освещать сделанные им открытия широкими воззрениями Гердера, который хотя и заносился в посторонние сферы — в сферы нравственности и религии, но никогда вступал в противоречия с познанными фактами»²⁰.

Точно так же можно охарактеризовать и отношения с Кантом. Взаимная критика и даже неприязнь — это своеобразный «семейный спор», острота которого определяется наличием общих посылок. Сходство двух мыслителей проявляется в стремлении вписать историю людей в историю Земли. Различие — в том, что Гердер исходит из гармонии природы и переносит ее на человека, а Кант видит в истории ненависть и раздор. Однако Кант также верит в то, что это соответствует какому-то непонятному плану природы, по которому мы так или иначе придем к вечному миру. В отличие от Канта Гердер прибегал в объяс-

¹⁹ Гулыга А. В. Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». С. 615.

²⁰ Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения (данное издание). Т. II. С. 227—228.

нении гармоничного устройства природы, сходства структуры всех ее форм к ссылкам то на естественные законы, то на мудрый план Творца. Словно и нет никакой противоположности науки и религии. Он с равным поэтическим восторгом глорифицирует законы природы и план Создателя, но не забывает при этом славить человека, в котором видит завершение как природных, так и божественных усилий. История человечества встроена в этот мудрый план, и именно его наличие, а не сама по себе беспечная вера в прогресс дает основания для оптимизма. Однако генетический подход Гердера, унаследованный от Канта, несмотря на пестроту его мысли, неизменен: культуру и ее формы (язык, литература) нужно изучать как продукт эпохи, народа, ландшафта. Это проявляется в учете природного и даже физиологического фактора. Мы — заложники земного ландшафта, климата, географии.

Стремление к естественнонаучному объяснению — это не просто дань моде. В XVIII в. описания истории культуры и человека начали дистанцироваться от концепции творения. Главное, что делает Гердера понятным нашей современности, — это отказ от телеологии. Если учесть еще физиогномику и другие фантастические идеи, то рациональность гердеровской философии истории становится еще более значимой. Гердер, хотя и занимал высокий пост в церкви, высказывался в отношении религии вполне в духе Просвещения. Он различал религию Христа и церкви. Любопытна его эволюция в трактовке иудаизма. В «Идеях...» ему отводится важная роль в накоплении духовного опыта, который лег в основу христианства. Вместе с тем Гердер указывает на то, что история гонимого еврейского народа привела к искажению его духа. Впрочем, по отношению к римской и тем более византийской церкви он относился крайне отрицательно, ибо видел в них институты власти, превратившие религию в форму идеологии.

В первой части «Идей...» проводится мысль, что человек — высший продукт генетических сил Земли, поэтому законы природы и истории по сути тождественны. Отсюда усилия Гердера направлены на изучение физиологических условий возникновения человеческого рода и описание исторических фактов его развития. Заслуга Гердера в том, что для реализации своего проекта всеобщей истории он собрал и обобщил многообразные как естественнонаучные, так и исторические данные. Например, вопрос о цели и назначении человека не сводится Гердером к ориентации на высшие моральные ценности, а ставится в аспекте

ответственности за место обитания, которым является Земля. Конечно, рассуждения Гердера подчас прямолинейны: например, из того факта, что Земля является средней планетой, выводится ограниченность человеческого разума и морали. Конечно, не совсем ясно, насколько шарообразность и вращение Земли определяют особенности человеческого духа, но несомненно, что климатические условия, соотношение воды и суши, равнин и горных хребтов влияют на развитие ранних культур, в которых коды почвы и крови имеют решающее значение.

Земля в хоре миров

В соответствии с мнением своего учителя Канта Гердер утверждал, что «философия истории человеческого рода должна начаться с небес»²¹. Стройный порядок мироздания тем не менее не производит на наш ум должного впечатления. Что же это за ложка дегтя, содержащаяся в нашем образе бесконечной Вселенной? Мы уже забыли об ужасе Паскаля, оказавшегося в положении человека, которого лишили божественной сферы над головой и выбросили в пустое холодное пространство. Гердер возвращает человеку иммунную оболочку и моделирует ее в форме дома или даже величественного дворца. Он писал: «Я не буду яриться против бесконечности, но удовольствуюсь своим местом и буду радоваться, что вступил в такой гармоничный хор бесчисленных существ, и, более того, стану разуживать, чем надлежит мне быть на этом месте»²². Конечно, Гердер не порывает с наукой и говорит, что будет искать на Земле не ангелов, а людей. Описывая человека как часть Вселенной, Гердер заключает: «Наши мысли, наши силы и способности, очевидно, коренятся в строении нашей Земли»²³. Мы рождены на ней, и это наша судьба. С современной точки зрения «Идеи...» представляют собой геофилософский проект. Речь идет о географическом, геополитическом и культурном ландшафтах Земли, которые определяют как судьбу народа, так и философию интеллектуалов.

Гердер утверждает гармонию природы, несмотря на кажущийся беспорядок. Его теория катастроф снимает негативные последствия гипотезы Бюффона. Описывая перевороты природы, Гердер утверждает, что она, как Феникс, восстает из пепла

²¹ Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 13.

²² Там же. С. 14.

²³ Там же. С. 17.

и расцветает заново. Поэтому не следует ограничиваться представлением ее как большого булыжника. Гердер писал: «Мы детей своих воспитываем под знаком глубоко укоренившегося северного варварства, потому что с ранних лет не внушаем им глубокого впечатления красоты, единства и многообразия, царящих на нашей Земле»²⁴. В противовес этому Гердер воспроизводит древнюю метафизику шара. Именно перед шаром испытывали греческие мудрецы восхищенное изумление. Все на Земле, писал Гердер, настроено в унисон и тяготеет к единому центру.

Гердер высказывает предположение, что человеческая порода во многом определяется атмосферой, которая кроме воздуха и испарений (запахов), а также и химических смесей (газов) включает в себя электрические и магнитные потоки. Следует, полагает Гердер, более внимательно отнестись к атмосферным параметрам нашего существования. Дело не исчерпывается процентным содержанием кислорода или углерода. Гердер отмечает значимость прозрачности и упругости воздуха. Он пишет: «И различия между людьми, и различия между всеми произведениями земного шара объясняются... специфическими свойствами той среды, в которой мы живем, словно бы в теле божества»²⁵. Атмосфера наряду с другими факторами влияет и на самые тонкие, и на самые духовные свойства земных существ. Человек — питомец воздуха. Гердер высказывает предположение о будущей науке, в которой будут интегрированы все знания о влиянии химического состава и температуры атмосферы на развитие телесной и духовной природы человека. Сама Земля с ее атмосферой воспринимается Гердером как теплица, в которой выращиваются инфантильные человеческие существа. Ссылки на малоизвестных ныне авторов свидетельствуют, что Гердер был не одинок в своем поэтико-антропологическом восприятии атмосферы и климата. Существует какой-то метафизический интерес к климатическим характеристикам нашей окружающей среды. Ведь атмосфера, в которой мы живем, определяется не только физическими и химическими, но и психологическими, духовными параметрами.

Гердер сравнивает горы со скелетом, на котором держатся суша и воды Земли. Исходя из строения гор он реконструирует распространение людей по поверхности Земли. «Горы, — полагает Гердер, — это первое местожительство человека»²⁶. Ланд-

²⁴ Там же. С. 21.

²⁵ Там же. С. 25.

²⁶ Там же. С. 29.

шафт Земли задает не только места оседлости, но и динамику народов. Реки и горы образуют как наступательные, так и оборонительные рубежи. «Проведя цепи гор, проведя линии сбегających с гор рек, — продолжает Гердер, — природа установила как бы общие, но неизменные начертания человеческой истории»²⁷. Моря, реки и горные цепи образуют естественные границы стран и народов, стремящихся сохранить свои традиции. При этом реки и моря не только разделяют, но и соединяют народы. Они образуют коммуникационные каналы, по которым движутся люди, товары, знания и другие культурные достижения. Например, Средиземное море, по которому циркулировали достижения Греции и Рима, определило лицо Европы²⁸.

Таким образом, важным достижением Гердера можно считать синтез естественных и исторических наук. Его тезис состоит в том, что распространение людей по поверхности суши, образование крупных поселений, расширение коммуникаций одновременно принадлежит и к истории человечества, и к естественной истории Земли.

Растительный и животный мир

Растение выбрано Гердером в качестве архетипа жизни. Скорее всего, это идет от Гёте. «Жизнь нашу, — заметил Гердер, — можно сравнить с жизнью растения: мы прорастаем, растем, цветем, отцветаем, умираем»²⁹. Метафора, согласно которой человек подобен дереву, часто используется не только в поэзии, но и в антропологии. Например, М. Шелер ярко описал растительную форму жизненного порыва. Но Гердер не ограничивался метафорами. Он набросал экологический эскиз, в котором указал на взаимосвязь человека с миром растений. Растения очищают воздух, которым человек дышит, они дают ему кров и пищу. Если человек намеренно или случайно искоренял какой-то вид растений, то нарушал взаимосвязь явлений и, следовательно, наносил вред и самому себе. Рассматривая многообразие явлений, Гердер указывает на то, что взаимосвязь выражается в преемственности и развитии органической формы. «Жизнь растений, — пишет он, — управлялась инстинктом самосохранения и продолжения

²⁷ Там же.

²⁸ См.: Meyer H. Überlegungen zu Herders Metaphern für die Geschichte // Archiv für Begriffsgeschichte 25 (1981) 1, 88—114.

²⁹ Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. С. 40.

рода, насекомые стали создавать свои искусные сооружения, птицы и наземные животные — заботиться о своих птенцах, детенышах, о доме, наконец появились и мысли, напоминающие человеческие, животные стали усваивать разные умения, и вот все объединилось в человеке с его разумной способностью, свободой и духом гуманности»³⁰.

По Линнею, на Земле существовало 230 видов млекопитающих, птиц — 946 видов, земноводных — 292 вида, рыб — 404 вида, насекомых — 3060 видов, червей — 1205 видов. После смерти Линнея число открытых видов постоянно увеличивалось. По Бюффону, млекопитающих на Земле насчитывается 450 видов, а птиц — 2000 видов. Однако при этом сохраняется закономерность: отряды живых существ расширяются по мере удаления от человека. По Гердеру, в их строении сохраняется некая общая форма. Он доводит до логического завершения учение Гёте о прафеномене: в строении живых существ, растений и, возможно, кристаллов заложены одинаковые основы. Гердер выдвинул предположение, что все живое на Земле создано по единой протоплазме органического строения. При этом то, что лишь намечено у одного вида, у другого становится главным. «Природа все свое внимание, — писал Гердер, — обращает на один член тела, увеличивает его в размерах и подчиняет этой части другие члены тела»³¹. Человек занимает в природе центральное положение. Не все от прежних видов вместились в него равномерно, однако человек — это наиболее разработанная форма, в которой соединены черты всех окружающих видов, что подтверждает сравнительная анатомия. И это дает основание теологическому тезису, что во всех неорганических и органических формах можно усмотреть божественные поиски образа человека.

Тут следует поразмышлять о теологии и теории эволюции. Дело в том, что биологическая и религиозная антропология сталкиваются с одинаковой трудностью: образ человека заранее предполагается. Биологи ставят его на вершину лестницы живых существ и видят проблему в поиске переходного звена от животных к человеку. Теологи исходят из того, что человек создан по образу и подобию Бога, и тем самым тоже заранее предполагают то, что нужно объяснить. То ли у Бога был план — и тогда встает вопрос, как этот план возник, то ли Бог создал человека по своему образу — и тогда встает вопрос о формировании человеческо-

³⁰ Там же. С. 116.

³¹ Там же. С. 50.

го облика Бога. Объяснение Гердера разрешает данное затруднение тем, что эволюция Земли, растений и живых существ представляется как «творческая лаборатория» божества, ищущего самое совершенное создание, каким является человек.

Ни моральную, ни культурную, ни биоантропологическую проблему нельзя даже поставить, не предполагая различие человека и животного. Это наводит на мысль, что она является философско-методологической и не может быть решена так, как решаются проблемы в науке и в жизни. Под вопросом — само различие. Гердер еще по-пионерски ставит и решает ее содержательно. Он не сомневается в онтологическом характере различия и пытается указать, в чем оно состоит. Первый закон, которому подчинены инстинкты живого существа, — это поиски пищи. Отсюда рот и чрево — по Гердеру, главные отличительные органы животного. Второй инстинкт — продолжение рода. У растений цветок и венчик являются главными. Но уже у животных детородные органы занимают подчиненное положение.

Животное нельзя рассматривать как машину, «неодушевленный автомат». Гердер придерживался кажущейся фантастической с современной точки зрения гипотезы, согласно которой в природе царит одно по-настоящему жизненное начало — эфирный или электрический поток, который перерабатывается и питает как инстинкты животного, так и душевную энергию человека. В этом, несомненно, проявляется влияние теории «животного магнетизма». Она использована и для теологических целей. Гердер пишет: «Существо, законы которого простираются далеко за пределы материи, существо, творящее везде и во всем, вдохнуло жизнь в нервы животного, и они аффицируются электрической энергией тела»³². Если романтики создали впечатляющий образ Франкенштейна, искусственное тело которого оживляется электрической и одновременно спиритуально-магнетической энергией, то Гердер в своих рабочих объяснениях отдает предпочтение старой концепции теплоты, существование форм которой он фиксирует на всех этапах культуры. Этот своеобразный тепловой коммунитаризм нашел наиболее яркое продолжение в морфологии культуры Шпенглера.

В целом концепцию Гердера нельзя оценить однозначно. Это не детерминизм и не телеология. Постоянное повторение формулы о развитии природы от высшего к низшему не должно обманывать. Это не эволюционизм. Если, по Дарвину, развитие при-

³² Там же. С. 56.

роды — следствие индивидуальных мутаций и отбора организмов, то, по Гердеру, появление новых видов — это продукт усилий природы, которой, по сути, приписываются божественные функции. Природа заботливо формирует каждое существо в рамках органического целого. При этом нет такой добродетели, нет ни одного инстинкта у одного, аналогов которого не отыскалось бы у другого.

Человек

Гердер высказал мысль и о недостаточности человека. Человек не может цвести, как цветок, строить, как пчела. Вместе с тем Гердер считал ошибочным сведение человека до уровня выродившегося животного. Конечно, у человека есть дурные склонности, каких нет у животных. Но все же только человеку присуща свобода и культура. По Гердеру, животные — старшие братья людей. Хотя у них нет разума, зато есть другие преимущества. Однако нельзя закрывать глаза на тот факт, что мир сотворенных существ вечно воюет друг с другом. Почему природа так поступила, почему не мир, а раздор положен в основу существования? Гердер утешается тем, что результатом борьбы за выживание является равновесие. Сравнивая человека и обезьяну, Гердер находит у них много общего. И все же никак не удается научить обезьяну говорить, общаться хотя бы посредством жестов. Другая проблема — отличие лица человека от морды животного — не имеет удовлетворительного объяснения. Биологи ссылаются на увеличение массы мозга и как следствие рост лобной части черепа, а также на изменение питания, которое привело к уменьшению челюсти. Однако необъяснимым остается тот факт, что уже у неолитических предков лица были такими же изнеженными и миловидными, как у современного человека. До поры до времени Гердер абстрагируется от высших способностей и придерживается данных физиологии. Сравнивая человека и животного, он считает главным критерием прямохождение. По его мнению, именно благодаря прямохождению формируется человеческое лицо. Вытянутая вверх голова является закономерным следствием вертикального положения тела.

Гердер ставит совершенство формы выше, чем количественные параметры и не считает величину мозга надежным критерием. Важно его строение, а не масса. Естественно, Гердер не принимает концепцию локализации психических функций, ибо считает ее пе-

реносом абстрактных идей на вещество мозга. Суть своего подхода он выразил в форме философского дифирамба прямохождению, из которого выводил красоту и стройность тела, форму и посадку головы, гармонию лица и даже строение мозга. Наконец, с прямохождением Гердер связывает освобождение руки и способность человека к изготовлению орудий труда и произведений искусства. Благодаря орудиям происходит освобождение тела. Человек — это качественно новый уровень развития, которое, как сказали бы сегодня, имеет эмерджентный характер. При этом речь идет не о духе, а о теле. Специфика человека, по Гердеру, определяется качественно иным, чем у животных, строением тела.

1. Его влечения сводятся к сохранению собственной жизни и к общению с другими. Тело человека анатомически лучше приспособлено для защиты, чем для нападения. Внешний облик человека учит его миролюбию, а не убийствам.

2. Половое влечение также подчинено гуманному строению тела. Оно подчиняется не природе, а красоте.

3. Человек участлив, т. е. сопереживает, сочувствует всему на свете. (Здесь отчетливо звучит голос Бруно и Фичино — сторонников симпатической магии, согласно которой человек включен в мировой ансамбль и резонирует всем участникам мирового концерта. Симпатией ко всем живым пронизала общая мать всех вещей человеческое тело, все она извлекла из своих недр и со всем связала узами глубочайшей симпатии.)

4. Слух более, чем зрение, пробуждает сочувствие. Именно сочувствие связывает людей в общество. В отеческом, родном доме возникло первое человеческое общество.

5. Участливость не может распространяться на чуждое. Между тем человеческое сострадание опирается не только на любовь, но также на истину и справедливость. Закон справедливости и правды обращает людей в верных помощников друг друга. Справедливость как равновесие выводится из гармонии человеческого тела.

6. Прямой и прекрасный облик человека — основа его благопристойности и приличия. Высшая форма гуманности — религия. Это продукт не только рассудка, но и сердца. Она ограничивает произвол и направляет свободу по отношению к высшим ценностям. Бог должен походить на человека, а человек облагораживает свой облик на основе религии.

Все это подводит Гердера к тезису: человек создан, чтобы желать бессмертия³³. Таким образом, анатомо-физиологические

³³ Там же. С. 107—114.

и прочие научные данные о человеке используются Гердером для доказательства гуманности человека. Таков тренд эпохи Просвещения. Обобщив множество фактов, Гердер пришел к выводу, что все в природе сделано из одного материала, но человек имеет самую совершенную форму.

Гердер не считал, что у человека нет инстинктов. Он полагал, что они подчинены «господству нервов и более тонких чувств». Речь о том, что тело человека устроено более тонко и инстинкты тоже ослаблены. Поэтому Гердер не выводит разум из инстинктов, а, наоборот, полагает, что их неразвитость у человека компенсируется разумом. Вместе с тем он не считает разум врожденным. Разум, гуманность формируются у человека в результате воспитания. «Человек, — писал Гердер, — вольноотпущенник творения»³⁴. Он наделен даром свободы и может выбирать. В этом он выше животного. Однако, злоупотребляя ею, он может стать хуже животного.

О бессмертии души

Серьезным препятствием для тех, кто склонен осовременивать прошлое, оказываются попытки Гердера доказать бессмертие души. Он, конечно, отвергал существование чистого духа. Противоположностью спиритуализму является картезианский дуализм, который Гердер преодолевает, опираясь на философию Спинозы. Он исходит из того, что сила, в том числе и духовная, действует благодаря материальному органу. Но в отличие от материалистов Гердер считал, что не орган производит силу, а, наоборот, последняя образует для себя орган. Гердера упрекали за то, что он считал, будто бы разумная душа каким-то непостижимым образом строит себе тело в форме ребенка еще в материнском чреве. На самом деле, полагал Гердер, «не разум наш сложил тело, а перст божества, органические силы»³⁵.

Фактически Гердер является основоположником новой парадигмы обоснования религии, которая остается влиятельной и в наше время. Если раньше воздействие Бога понималось как духовное, то у Гердера Бог — творец органической формы. Таким образом, законы природы и истории, включая эволюцию,

³⁴ Там же. С. 101.

³⁵ Там же. С. 121.

антропогенез и прогресс, не просто планы Бога — они заложены в само строение природы, человека и общества. Конечно, если предположить, что Бог действует по законам физики, биологии и истории, то все факты, открытые данными науками, не отвергают его существование, а, наоборот, подтверждают его мудрость. Другое дело, что в таком случае надобность в творце отпадает. Поэтому Гердер и колебался между деизмом и пантеизмом.

Сильное допущение о Боге необходимо для доказательства самостоятельности души, которая может получить новую оболочку после смерти тела. Гердер пишет: «В глубочайших безднах становления, где видим мы зарождение жизни, мы замечаем и эту столь деятельную и так мало исследованную еще стихию, которую весьма несовершенно именуем мы светом, эфиром, жизненным теплом, — может быть, все это и есть орган чувства творца и с его помощью он все оживляет, все согревает»³⁶. Гердер вводит нечто подобное «биополю», которое он понимает в соответствии с представлениями своего времени как нечто сходное с электричеством. Он пишет: «Одно из двух: или нет на земле аналога действию моей души, и тогда непонятно, как может воздействовать она на тело и как другие предметы могут воздействовать на нее, или же именно этот незримый небесный дух света и огня пронизывает все живое и сливает воедино все силы природы»³⁷.

С распадом тела, полагал Гердер, дух перейдет в эту тонкую среду и обретет новый, более тонко устроенный орган. При этом развитие должно идти по восходящей линии, и душа не может воплотиться в камень, растение или животное. Творец, считал Гердер, скрыл, в каком облике явится человек в новом мире, но если рассмотреть эволюцию, то очевидно, что этот новый облик будет более гуманным. Гердер полагал, что органическая сила нашей души, предаваясь чистым и духовным своим упражнениям, сама закладывает основу своего будущего облика. Исходя из взаимосвязи низшего и высшего в процессе развития он делает допущение, что человек связывает две ступени творения. Это делает понятным, почему эволюция перешла на путь развития культуры и науки, а не остановилась на уровне животного.

Эпоха Просвещения — это время анатомических театров. Как бы метафорически не воспринимать это название, нужно

³⁶ Там же.

³⁷ Там же.

иметь в виду, что речь идет о публичном вскрытии человеческого тела. По своему значению это сравнимо с полетами в космос. То, что открылось взору — взаимосвязь скелета, мышц, сухожилий, нервов, внутренних органов, — напоминает Вселенную. И как в случае с полетами в космос не обнаружили места пребывания Бога, так и при вскрытии организма не открыли души. Однако поразительная картина, представшая взору анатома, давала богатую пищу для размышлений, в том числе и философско-теологических. Гердер пишет: «Как назвал бы все это человек, впервые увидевший это творение живого? Тут действует, сказал бы он, живая органическая сила, — не знаю, что такое она в существе своем, но что она есть, что она жива, что она собирает вокруг себя органические части, изымая их из хаоса однородной материи, — это, как я вижу, невозможно отрицать»³⁸.

Гердеровский органицизм идет дальше описания мира как суперорганизма. Он понимается не только как развитие внешних форм, но и как действие внутренних сил. Правда, что это такое, Гердер сказать не в состоянии. Ссылаясь на ограниченность рассудка, он пишет: «Мы приводим в порядок формы, внутренней сущности которых не понимаем»³⁹. Она известна только творцу. Отсюда гердеровская философия истории — это синтез науки и теологии. Все это Гердер фундирует особенностями устройства тела. Эта опора на науку, в данном случае на анатомию, — определяющая тенденция Просвещения. Ей подчинялся и Гёте, который тоже стремился основать гуманистические ценности на физиологии. Гердеровская концепция развития мира закладывает органицистскую парадигму. Ее исходным понятием является «форма органического строения», эволюцию которой Гердер прослеживает от камня к кристаллу, от него к металлам, растениям, животным и, наконец, к человеку, в строении которого она находит свое завершение. В отличие от структуралистов Гердер наделяет форму динамическими свойствами и называет ее вечно деятельным началом, которое дано природе творцом.

Наблюдая старение и умирание живого, вглядываясь в его окоченевшие останки, Гердер не допускает, что этим и завершается жизнь. Внутренняя органическая форма не исчезает, и тем более не может исчезнуть ее высшая форма — человеческая душа, способная любить и познавать Бога, а также подражать

³⁸ Там же. С. 182.

³⁹ Там же. С. 118.

ему в своих творениях. Неудивительно, что Гердер доказывает бессмертие души, прибегая при этом за недостатком фактов и к теологическим аргументам. Это делает понятной критику Канта, который утверждал, что философ должен полагаться на рациональные аргументы.

Что же такое человек в понимании Гердера? Конечно, он уделял внимание анатомии, но все же главная тема его размышлений — это душа человека. Гердер писал: «Мне хотелось бы вместить в одно слово — „человечность“ — все сказанное о благородном складе человеческого существа, предрасполагающем человека к разуму и вольности, к тонким чувствам и влечениям, к хрупкости и выносливости тела, к заселению всей суши и власти над всей Землей»⁴⁰. Эпоха географических открытий — это не только освоение новых земель. Это столкновение европейцев с другими народами. Землепроходцы столкнулись с людьми, которые вели иной образ жизни. Их называли дикими, нецивилизованными народами. Гуманизм Гердера выражается в том, что он считал их представителями других культур. При всех различиях Гердер находит духовное начало у всех людей Земли.

1. Вместо ограниченного набора инстинктов человек наделен множеством различных и часто противоречивых желаний, которые к тому же обладают разной степенью привлекательности для разных людей.

2. Соответственно вместо ограниченной ниши обитания человеку предоставлен весь мир. На широких территориях многие воинственные племена живут мирно. И наоборот, в противоестественно узком экономическом и культурном пространстве европейцев царит жестокая конкуренция.

3. Человек долго взрослеет, затем покидает родительский дом и заводит свою семью. То же самое происходит с обществами, они растут, становятся все более дифференцированными. Чтобы жить мирно, люди должны уступать друг другу. Поэтому не война, а мир является естественным состоянием людей.

4. Человек — плод любви и продукт воспитания, он невозможен вне общества. Если человек живет среди людей, то он уже не может отрешиться от культуры.

5. Земля — это естественная оранжерея для чувств, способностей, искусств и добродетелей человека. Поэтому счастье человека не состоит в утонченной чувствительности и не дается философской спекуляцией, это благо, определенное климатически и органически, но добываемое трудом.

⁴⁰ Там же. С. 107.

Люди, расы и народы

Гердер — сторонник единства человеческой породы. Не отрицая различий народов, он не соглашается с делением людей на расы. Гердер пишет: «Раса указывает на различное происхождение людей, но такого различия или вообще не имеется, или же в каждой области, где живут люди, независимо от цвета кожи, представлены все самые разные расы»⁴¹. Если внимательно присмотреться к многообразию народов, можно увидеть постепенный переход одной породы к другой. Несмотря на разный цвет кожи, все люди равны. Их различие объясняется климатом и ландшафтом. Так, Гердер пишет: «Во всякой другой области земли монголы вырождаются или облагораживаются, а на своей земле они остаются тем, чем были тысячелетиями, и останутся такими, пока земля не будет изменена природой или искусством»⁴². Человек укоренен в почву. Оторвать человека от земли значит лишить его связи с родиной. Поэтому Гердер гневно осуждает работорговлю и захват земель европейцами.

Причиной отказа от биологического расизма является концепция живой органической формы. Гердер пишет: «Как бы не воздействовал климат, у каждого животного, человека, растения — свой климат, ибо внешние воздействия всякий воспринимает по-своему, органически их перерабатывая»⁴³.

Перемещение африканца в Европу весьма незначительно сказывается на его внешнем облике, зато в случае брака с белой женщиной ее гены могут существенно изменить внешность ребенка. Собственно, этот факт и заставил Гердера соединить эволюцию и генетику. Слово «генетика» в данном случае не натяжка, так как Гердер высказывал намерение построить нечто вроде алфавита для описания гармонии органической формы. Изменение вида — это результат не столько приспособления организма к новой окружающей среде, сколько эволюции самой органической формы. С одной стороны, Гердер указывает на жесткость генетической границы. Дикий зверь не смешивается с чуждым ему видом. Искусственное смешение приводит обычно к изменению лишь внешних черт, а внутренний генетический тип не меняется. С другой стороны, картина живого дает основания говорить об эволюции органической формы от растения до человека.

⁴¹ Там же. С. 172.

⁴² Там же. С. 173.

⁴³ Там же. С. 182.

Особое внимание Гердер уделит влиянию климата на органическое строение народов. Холод сдавил тело, сузил кровообращение, но зато способствовал выносливости и стойкости тела у северных народов. Большая голова и скуластое лицо, широкие плечи, небольшой рост, мясистое тело — это результат приспособления к суровым климатическим условиям. Точно так же слабо выраженные влечения, невысокие потребности, кроткий нрав — все это результат воздействия суровой северной природы.

Но почему теплый климат не стал причиной роста изящества и красоты монголов? Гердер полагал, что причиной тому являются степи и отсутствие воды. Подобное уродство Гердер видит у южных и восточных народов. Он приходит к мысли, что дело тут не столько в климате, сколько в примитивной культуре и варварском воспитании. Изящное тело и красивое лицо Гердер находит у народов Индостана. Кроме красоты и изящества индусы обладают еще и кротким, спокойным нравом. Однако наиболее органичное сочетание красоты и мудрости Гердер находит у средиземноморских народов. Он сделал вывод, что «из тех стран, где жили прекрасно сложенные народы, пришли к нам религия, искусство, науки»⁴⁴.

Все эти рассуждения кажутся сегодня предвзятыми. Наверное, европейцы тоже не кажутся жителям Африки и Азии эталоном красоты. Однако не следует упрекать Гердера в европоцентризме или даже в расизме. Он осуждал работорговлю, ибо считал, что у всех людей есть душа, все они наделены разумом, всем присуще стремление к свободе. От чего не мог освободиться Гердер, так это от принятых у европейцев критериев красоты, гармонии и культуры. Пребывание в плену этих критериев и есть главный источник мифа о диких, варварских, нецивилизованных народах. Гердер тогда еще не осознал, что миф о цивилизации станет идеологической опорой колонизации, которая протекала под вывеской христианизации отсталых народов, в то время как на практике осуществлялась экономическая эксплуатация природных ресурсов и населения. Освободиться от этого мифа европейцы не могут и сегодня. Правда, речь идет не о колонизации, а о модернизации, но и она почему-то сопровождается не повышением качества жизни стран «третьего мира», а, наоборот, ростом их бедности и нужды.

Во времена Гердера завершалась эпоха географических открытий, началась колонизация новых земель. Их населяли наро-

⁴⁴ Там же. С. 152.

ды, весьма отличающиеся от европейцев по своему внешнему виду и по образу жизни. Путешественники, купцы, колонизаторы и даже миссионеры волей-неволей сообщали не только о добродушии «детей природы», но и об их варварской и бессмысленной жестокости. Возможно, это преувеличивалось, чтобы оправдать действия христиан, крестивших огнем и мечом. Вместе с тем нельзя было отрицать и различие. Должно было пройти много времени, чтобы европейцы признали, хотя бы формально, на уровне принципа толерантности, право людей на самобытную культуру. И хотя такое право сегодня не вызывает сомнений, однако процесс глобализации не оставляет надежд на реализацию этого права где-либо, кроме резерваций.

Таким образом, подход Гердера к решению проблемы культурной самобытности следует расценивать в контексте его времени. Важно, что он не опускался до примитивного расизма и ксенофобии. Наоборот, он полагал, что каждый народ приспособлен к своей земле, роду занятий и традициям — лишившись связей с почвой и культурой, человек теряет себя. Можно так обобщить подход Гердера: каждый человек и каждый народ имеет право считать себя самобытным и избранным. Это условие развития. Но при этом недопустимо прибегать к насилию.

Человек и государство

Гердер не соглашается с тем, что человек создан для государства. Множество людей на земле живут счастливо, не зная государства. В больших государствах есть богатые и бедные. Если даже считать, что государство есть машина, то вряд ли счастьем является существование в качестве ее винтика. Гердер весьма четко сформулировал либеральное самосознание индивида эпохи Просвещения. Не только философы полагают разум автономным, независимым от тела, но и все люди думают, что являются собственными произведениями. «На самом деле, — писал Гердер, — человек не рождает себя сам, не рождает он и свои духовные силы»⁴⁵. Он появляется на свет незавершенным и формируется гораздо дольше, чем животное. Помимо этого, человек является продуктом воспитания и образования. Собственно, это и делает возможным и необходимым изучение истории человечества как истории воспитания человеческого рода. Его главный

⁴⁵ Там же. С. 229.

принцип — это сочетание традиции и органической силы. Под генетическим процессом понимается передача традиций, под органическим процессом — культура как усвоение и применение переданного. Различие между просвещенными и непросвещенными народами не качественное, а количественное. Вместе с тем история обнаруживает такое разнообразие традиций, что даже самый ревностный защитник теодицеи заходит в тупик: есть ли такая бесчеловечность, к которой не привыкало бы то или иное племя, есть ли такая нелепая фантазия, которую не освящала бы традиция? Ни одно живое существо, констатировал Гердер, не может пасть так низко, как человек. Но нельзя рассматривать историю только под этим углом зрения. Следует обратить внимание и на доблести человека. Бог, полагал Гердер, творит через избранных, которые творят историю тем, что закладывают традицию.

Подобно Аристотелю, общественное состояние Гердер считал естественным для людей. Он свободно пересекает границу между либерализмом и консерватизмом, которые кажутся взаимоисключающими. Критикуя государство с либеральных позиций, Гердер считал общество не результатом договора, а продуктом традиции. Отец, мать, брат, сестра и другие родственники составляют первичную коммуну, в которой формируется человек. Порядок семьи, основанный на естественном праве, — это базисная форма правления, которая лежит в основе государства. Вторая форма — племя — тоже имеет природное происхождение: в любом стаде есть свой вождь. Третья форма — наследственная власть — вызывает затруднения: понятно, когда вождем выбирается самый мудрый, но почему сын наследует должность? Гердер связывает происхождение королевской власти не с собственностью, а с войной. Военная сила является мотором истории. Право — продукт силы, это способ узаконить завоеванное. Закон истории таков: «сильный берет все, что захочет, а слабый отдает и терпит, потому что не может ничего переменить»⁴⁶.

По мере описания возвышения и падения таких царств, как Египет, Персия, Греция, Рим, от которых остались одни руины, у Гердера возникали глубокие сомнения относительно прогресса. Он замечает: «Повсюду одно разрушение, и нельзя сказать, чтобы новое было лучше разрушаемого»⁴⁷. Гердер оправдывает историю завоеваний не Провидением, а географией. Для образования Земли, рассуждает он, нужны горы, а там рождаются воинственные

⁴⁶ Там же. С. 247.

⁴⁷ Там же. С. 426.

люди, которые покоряют слабых жителей равнин. И все же природное обоснование деспотизма наталкивается на то обстоятельство, что он превращает людей в рабов, которые становятся добычей более сильных и свободолюбивых соседей. Поэтому форма правления зависит от традиций. Правда, и тут Гердер снова указывает на природу: суровый климат и скудная земля рождает более твердый характер. Но в целом его вывод таков: и бедняк может быть счастлив, а раб свободен. Разум, человечность и религия — вот три Грации истории, соединяющие людей. Семья, язык и религия есть у самого жалкого народа. Это не искусственные, а естественные продукты культуры, которые передаются по традиции.

В целом политическая философия Гердера опирается на следующие принципы.

1. Человек по природе свободен и не нуждается в господине.
2. Естественное государство состоит из одного народа со своим национальным характером.
3. Главная цель любого человеческого союза — взаимопомощь и обеспечение безопасности. Естественный порядок — это такой, когда каждый делает свое дело.

В связи с этим полезно сравнить различные попытки ограничить политику культурой и моралью. Согласно Гердеру, прочными являются такие сообщества, в основе которых лежат естественные хозяйственные и кровнородственные связи, а «злобно-недоверчивое» отношение людей друг к другу преодолевается не запретительной моралью, а позитивной этикой добрососедства, друженности и братства. Наоборот, Кант считал качества человека, воспитанные в рамках замкнутых национальных сообществ, источником злобы, конкуренции и войн. В основе кантовской космополитической программы гражданина мира лежат мораль и разум, что предполагает отказ как от биологической, так и от национально-культурной обусловленности. Выбирая между этими двумя все еще популярными проектами, следует помнить, что привязанность к крови и почве, любовь к родине и ответственность перед предками нередко оборачиваются национализмом и шовинизмом, а космополитизм — абсолютизацией европейской или иной культуры, которая требует во имя универсализма утверждения уничтожения чужой культуры. Поэтому в современной политической философии необходимо достигнуть баланса между понятиями человека как родового и человека как всемирно-разумного существа.

*Полемика вокруг «Идей к философии
истории человечества»*

Ознакомившись с первой частью «Идей...», Кант усмотрел противоречие в том, что Гердер, с одной стороны, опирается на научный метод, а с другой стороны, допускает существование невидимых духовных сил. Весьма иронично он оценил допущение Гердера, что прямохождение способствовало формированию человеческого лица и развитию мозга. В целом рецензия Канта была весьма критичной, она обидела Гердера, который искренне полагал, что продолжает кантовскую программу анализа всемирной истории.

Отвергнутый Кантом Гердер во второй части своих «Идей...» сближается с гамановской «Метакритикой» и настаивает на том, что умственные способности находятся в зависимости как от законов природы, так и от традиций и обычаев. Более того, он отвергает рассмотрение истории с всемирно-гражданской точки зрения. Но полагая, что человек рожден не для государства, а для счастья и свободы, Гердер попал в новое затруднение: с одной стороны, государство приводит людей в общественное состояние, а с другой стороны, оно является деспотией и подавляет свободу.

Кантовская рецензия о второй части «Идей...» Гердера была не более благоприятной, чем рецензия о первой части. Кант иронизировал по поводу поэтических фантазий и ссылок на рассказы путешественников. Не оценил он и генетический подход Гердера, который противоположен механистической теории эволюции. Как бы то ни было, Гердер реагировал на критику, и в третьей части своего труда показал, как искусства и науки способствовали развитию гуманности.

Гайм считал, что обе программы всемирной истории — и кантовская, и гердеровская — были односторонними⁴⁸. Они

⁴⁸ Современные реконструкции полемики Канта и Гердера см.: *Irmischer H. D.* Die geschichtsphilosophische Kontroverse zwischen Kant und Herder // Bernhard Gajek (Hg.). Hamann — Kant — Herder. Acta des vierten internationalen Hamann-Kolloquiums. Frankfurt am Main, 1987. S. 119; *Chairmont H.* Metaphysik ist Metaphysik. Aspekte der Herderschen Kant-Kritik // Jamme C. und Kurz G. (Hg.). Idealismus und Aufklärung. Kontinuität und Kritik der Aufklärung in Philosophie und Poesie um 1800. Stuttgart, 1988. 179—200; *Riedel M.* Urteilkraft und Vernunft. Kants ursprüngliche Fragestellung. Frankfurt am Main, 1989. S. 162—169. *Pietsch L.-H.* Reise zur See oder Vermessen der Heimat. Analogische Strategien geschichtsphilosophischer Darstellung bei Herder und ihre Kritik durch Kant // Claudia Albes und Christiane Frey (Hg.). Darstellbarkeit. Zu einem ästhetisch-philosophischen Problem um 1800. Würzburg, 2003. S. 97—115.

были синтезированы Гегелем. Однако вопрос о том, предназначено ли государство для реализации индивидуальной свободы и счастья, остается и до сих пор сложной и дискуссионной проблемой. Именно поэтому труд Гердера до сих пор не утратил своей актуальности. Благодаря опоре на фактический материал и интересное литературное оформление он остается примером того, как писать исторические сочинения. Именно труд Гердера вдохновлял Лотце и Гумбольдта на описание системы мироздания. Более того, Гердер указал необходимость разработки новых наук о человеке, которые и были реализованы в форме таких дисциплин, как антропология, этнография, сравнительное языкознание, история наук и искусств и др.

На закате жизни Гердер возобновил критику Канта. Он нашел болевую точку кантовской этики в допущении врожденного зла и настаивал на приоритете добра. Ему была противна идея Канта об ограничении религии пределами разума. Мораль и религия не исчерпываются идеей долга, они предполагают человеколюбие, справедливость и свободомыслие. В этом смысле гердеровское понимание религии ближе учению Христа. Кантовская редакция Евангелия представляет собой такую попытку примирения науки и религии, которая существенно обедняет опыт веры. Против этого будет протестовать, в частности, Кьеркегор, который вновь укажет на несовместимость науки и религиозной веры.

Гердер написал «Метакритику», которую сторонники кенигсбергского мыслителя расценили как нападки на философию Канта с позиций докритической натурфилософии. Действительно, Гердер многому научился у Канта, и его возражения часто вызывают недоумение. Они нередко выходят за рамки профессиональной этики, более того, напоминают доносы, ибо указывают на неблагонадежность Канта. Нечто подобное Гердер допускал и в отношении Фихте. Он даже радовался, когда того отстранили от преподавания. Правда, Фихте тоже не брезговал политическими обвинениями и возмущенно писал, что суперинтендант церкви Гердер безнаказанно исповедует атеизм. Причины такого рода полемики хотя и связаны с теоретическими расхождениями, однако явно проистекают из иных интересов, нежели поиск истины. Или приходится признать, что истина побеждает вовсе не на форуме ученых, где результат дискуссии определяется фактами и аргументами, а, как и сегодня, в обстановке интриг и скандалов.

ГЕРДЕР И СОВРЕМЕННОСТЬ

Было бы невежливым не ответить на искания Гердера с позиций современности. Поднятые им проблемы вовсе не ушли со сцены. Напротив, они стали еще более сложными и настолько запутанными, что возникает мысль, а не заблудился ли разум в своих собственных лабиринтах. В связи с этим стоит попробовать скорректировать по Гердеру современные поиски ответов на вопросы о происхождении человека, языка и религии.

Теории антропогенеза

Первый и главный вопрос биологии человека касается места, которое он занимает в ряду других живых существ. Его спецификация осуществляется в ходе сравнения с млекопитающими, приматами, антропоидами. В результате выявляется, что отличительные анатомо-морфологические, онтогенетические и этологические особенности человека даже от наиболее близкого ему вида значительно глубже, чем между остальными видами. Стереоскопическое зрение, форма лица, развитая мускулатура, компенсирующая превращение руки в орудие труда, большой объем черепа, мышцы лица и, главное, развитие гортани и аппарата речи — все это важнейшие анатомо-морфологические преимущества. Существенным является и то, что у человека с самого начала слабее развиты участки мозга, отвечающие за сохранение инстинктов, и гораздо сильнее выражены области, например, кортекса, отвечающие за развитие высших психических функций. К числу особенностей человека относится необычайно сильное развитие центральной нервной системы, наличие у него «второй сигнальной системы», более высокое отношение веса мозга к массе тела. В настоящее время привлекает внимание функциональная асимметрия полушарий головного мозга, которая используется в концепциях антропогенеза для объяснения происхождения речи и мышления.

Человек определяется как живое существо в биологии, как богоподобное создание в религии, как духовная субстанция, субъект в метафизике. С философской точки зрения существует большой разрыв между открытиями палеонтологии и их толкованиями. Фактов много, но все они уложены в крайне убогие или фантастические схемы. Именно сегодня, когда расшифровка генетического кода показала, сколь ничтожно различие человека

и животного, вновь актуален вопрос о своеобразии человеческого. Проблема в том, что нельзя отрицать ни соседства, ни пропасти, отделяющей нас от животных. Человек ощущает свою близость богам, противопоставляя себя животным. Однако религиозно-антропологическое объяснение его происхождения столь же уязвимо, как и естественнонаучное, ибо в нем скрыто предполагается, что Бог, сотворивший Адама по своему подобию, сам в определенной стадии своего развития был человеком. Результат, приписываемый божественному протектору, по сути, должен быть объяснен на основе механизма, благодаря которому произошла деанимация животного.

Онтологической особенностью *homo sapiens* является экзатичность, отношение к природе не как к «клетке», а как к открытой системе. Благодаря этому образуется мир и самость, которая может формироваться самостоятельно. Теория эволюции пытается вывести происхождение человека из линии развития животного. Но это бесперспективно. Место человека в мире определяется принципиально иначе, чем место животного в окружающей среде. Отсюда «место» должно быть раскрыто не только в физических, но и в культурологических параметрах. Некоторые авторы считают, что культурная история начинается с насилия, промискуитета, перверсий и ксенофобии. При чтении их работ возникает впечатление, что древним приписываются наши извращения. Между тем, судя по описаниям Леви-Строса, древние были умеренными и естественными существами. Другие, наоборот, придерживаются концепции подавления природных инстинктов, но впадают в беспомощный идеализм. Кроме спекулятивных существуют эмпирические подходы, в которых культурные и технические достижения выводятся из биологических предпосылок. Более перспективным кажется синтез различных программ и в их числе теория открытости человека миру благодаря процессу труда. К эффективным культурным техникам формирования человека относятся такие символические институты, как язык, брак, система родства, техники воспитания, возрастные, половые нормы и роли, а также война, труд и все ритуалы формирования и самосохранения группы. Эти порядки и образуют богатейший арсенал антропотехники, которая пластифицирует незавершенное природой человекообразное существо и формирует необходимые для социума качества. Речь идет о буквальном моделировании человека цивилизационными механизмами дисциплины, воспитания и образования.

Обучаемость мозга не является продуктом органической «сообразительности». Его драматически излишнее развитие обусловлено как раз недостатком природной приспособляемости. Важно, что большая часть структуры мозга формируется в послеродовой период.

Анатомический и нейроцеребральный дрейф осуществляется в сторону накопления излишних с биологической точки зрения способностей. Благодаря этому человек становится восприимчивым не столько к биологической, сколько к ситуативной, «исторической» информации. Все большую роль начинает играть изготовление орудий воздействия на предметы, а также более тонкий инструментарий символической коммуникации, на упорядочение которой и тратятся значительные усилия человека.

В свете прежних теоретических трудностей следует понимать человека как продукт того, чем он никоим образом не предполагается. Таковым является место его производства, где средства и отношения производства совпадают. Использование твердых орудий в древнекаменную эру привело к уникальной ситуации, когда предсапиенсы освободились от жесткой детерминированности своего тела внешней средой. Это не означает остановки эволюции тела. Наоборот, в новых искусственно созданных условиях оно начинает очеловечиваться и эстетически совершенствоваться, причем в той мере, в какой удастся обратить созданный инструментарий против воздействия природной среды и направить усилия на создание сферы, внутри которой жизнь становится более разнообразной. Выключение тела не ведет и к исчезновению адаптивных механизмов отбора. Только селекция ведется теперь не природной, а искусственной культурной средой. Человек созревает в своеобразном инкубаторе, в роли которого выступает материнский дом.

Данные палеонтологии обнаруживают интересную особенность *homo sapiens*: благодаря эффекту теплицы у них затормаживается процесс монструозолизации, что возможно благодаря сохранению внутриутробной морфологии во внеутробном состоянии. Возникает своеобразное животное-диссидент, нарушающее биологический закон созревания. Это обстоятельство было раскрыто амстердамским палеонтологом Л. Больком⁴⁹, который, опираясь на концепцию фотализации Портмана, развил теорию неотении. Ее суть состоит в объяснении рискованной недоношенности и затянутого детства, которые управляются в процессе

⁴⁹ Bolk L. Das Problem der Menschwerdung. Jena, 1926.

эволюции эндокринологическими и хронобиологическими механизмами. Для человека характерна беспримерная инфантилизация, которая состоит в сохранении младенческой пластичности у ребенка. Это направление обеспечивается усиленной церебрализацией, которая лишь отчасти объясняется эволюционной теорией. Быстрое возрастание массы мозга, формирование неокортекса, рискованный рост черепа еще во внутриутробном состоянии, ведущий к раннему рождению, — все это взаимосвязано, и все это предполагает, что после рождения ребенок еще долго будет переживать стадию стабилизации в коллективной теплице и получать компенсацию за раннее рождение материнским теплом.

Физическое и психическое тепло, обеспечиваемое семьей, выполняет функции защитной системы, которая еще слабо развита у младенцев. Все антропоиды наделены растянутым периодом детства. Это объясняется тем, что риск биологической незавершенности снижается благодаря организации внутренней защиты. Высшие организмы начинают играть по отношению друг к другу роль «окружающей среды». Их успешное развитие вызвано не просто новой экологической нишей, а продуктивной, искусственно организованной культурой, внутри которой и происходит образование все более совершенных в эстетическом отношении форм. Социал-дарвинисты показали, что для большинства сообществ гуманоидов решающую роль играют неадаптивные внутригрупповые изменения — такие, например, как забота о сохранении и выращивании подрастающего поколения. Эволюция переходит в новую область отношений матери и ребенка (кормление грудью) и направлена на повышение стандартов сенсильности и коммуникативности. Забота о детях в человеческих сообществах становится тщательной, как нигде в животном мире. Можно утверждать, что именно дети были существенным фактором развития культуры и одновременно ее продуктом.

Процесс гоминизации протекал в сфере дома, который является условием эволюции человека. Метафора дома позволяет представить место как способ стабилизации внутреннего и внешнего климата, комфортабельность которого обеспечивают техническими средствами. Дом — изолированное пространство, где жители, оберегая тепло, воспроизводят интерьер внутреннего пространства, ограниченного потолком и стенами. Уже древние люди ограждались от непогоды стенами, которые стали первыми средствами манипуляции климатом, в котором и протекал долгий период эволюции человека. Объяснение появления человека

опирается на принцип дома, который надо понимать не архитектурно, а климатически. Очаг и пещера образовали ту свободную от непосредственного биогеографического климата нишу, или сферу, внутри которой происходило выращивание человека.

Для появления человека нужны еще и другие факторы, запускающие антропогенный процесс. Он начинается с тех пор, как вещи стали изготавливаться руками, и началась история *homo technologicus*. «Выключение тела», осуществляющееся благодаря использованию орудий труда, является одним из главных факторов антропогенеза. Важным его этапом становится освобождение руки. Лапа обезьяны, взявшей камень, обрела два измерения: хватательную и контактную зоны. Только благодаря руке открылась новая экологическая ниша для становления человека, и именно каменный век, время изготовления прочных орудий, оказался решающей формационной фазой становления человека. Синтезируя высказывания Энгельса, Хайдеггера и Слотердайка (взгляды которых о роли руки и орудий совпадают) можно сказать, что обработка природы орудиями дает шанс человеку вступить в просвет, т. е. открывает примитивную истину. Именно это позволяет считать орудия труда не просто продуктом приспособления к окружающей среде в ходе биологической эволюции, а именно способом открытия мира. Оберегая от негативных последствий прямого телесного контакта со средой, каменные орудия раскрывают позитивные возможности господства над объектами. Альтернативой эволюционной адаптации становится дистанция и суверенность. Человек окружает себя искусственно созданными вещами, которые создают дистанцию по отношению к природной среде и образуют своеобразную защиту от ее нежелательных воздействий. Камень становится и первым орудием производства средств производства. Палеонтологи называют этот период эпохой второго камня и считают труд решающим критерием различия человека и животного.

Человек и язык

Но все же главная способность человека — это речь. Гердер писал, что человек только тогда воспринял божественное искусство идей, когда обрел способность говорить. Происхождение языка становится важнейшим этапом антропогенеза. Слабость толкает человека к объединению с другими людьми. Становление общества сопровождается развитием языка. Гердер трактует

язык как эффективное средство воспитания⁵⁰. За эту трактовку он получил премию Берлинской академии наук (1769). Гердер понимает язык как единство души и тела. Аффекты, особенно радость и боль, звучат в нашей речи, и эти духовные знаки могут быть восприняты другими людьми. Гердер пишет: «Лишь язык превратил человека в человека, чудовищный поток аффектов язык сдержал дамбами и поставил им разумные памятники в словах»⁵¹. Впрочем, Гердер подходил к изучению языка не только как романтик, но и как аналитик. Язык выражает имена, а не вещи. Отсюда и разум пользуется знаками, которые обозначают внешние признаки, а не внутреннюю суть вещей. «Разум считает на палочках и фишках»⁵², — замечает Гердер. Мы не способны постигать сущность, мы не рождены метафизиками. Люди ограничиваются рассудочными понятиями. Гердер считал, что благодаря языку божество повело нас по среднему пути⁵³.

Что такое язык: является он средством обозначения предметов, выражения чувств или неким «каркасом» мира, а может быть, символической иммунной системой, защищающей «свое» от воздействий «чужого»? Хайдеггер называл язык домом бытия. Он писал: «Язык есть дом бытия, живя в котором человек экзистенцирует, поскольку, оберегая истину бытия, принадлежит ей»⁵⁴. Культура и традиции выступают гарантией существования незавершенного животного, каким является человек, научившийся строить жилище своими руками. Час языка пробил тогда, когда человек накопил достаточный интеллектуальный потенциал, чтобы заботиться о создании и сохранении культурного пространства.

Человек — говорящее существо, и его способность к речи следует считать врожденной. Конечно, можно заняться биологическими исследованиями и изучать эволюцию звуков у живот-

⁵⁰ О философии литературы и поэзии Гердера см.: *Strohschneider-Kohrs I.* Metaphorische Approximationen. Ein Sprachbild und sein Kontext in Herders frühen Schriften // Poesie und Reflexion. Aufsätze zur Literatur. Tübingen, 1999. S. 1—24.

⁵¹ Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. С. 236.

⁵² Там же. С. 237.

⁵³ О философии языка Гердера см.: *Moser W.* Herder's System of Metaphors in the «Ideen» // Wulf Koepke (ed.), Johann Gottfried Herder. Innovator through the Ages. Bonn, 1982. P. 102—124; *Owren H.* «Gewalt über die Worte»: eine Untersuchung zu Herders Sprachgebrauchs // Wulf Koepke (ed.), Johann Gottfried Herder. Language, History and the Enlightenment. Columbia, 1990. P. 124—137.

⁵⁴ Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 203.

ных. Важным является тот факт, что речь связана с особенностями органов речи — устройством глотки, связок и мышц, благодаря которым человек способен издавать членораздельные звуки. Речь не связана напрямую с языком. Во-первых, есть язык глухонемых, которые не способны говорить, однако переживают и думают, как все. Во-вторых, попытки научить говорить обезьян или других животных закончились неудачей.

Парадоксально, что некоторые птицы могут издавать звуки, произносить слова и даже целые фразы, однако, кажется, неспособны мыслить, точнее, связывать мысли и переживания, если они у них есть, с теми словами, которые они способны имитировать. Наоборот, пчелы, дельфины и обезьяны, кажется, могут передавать информацию и даже выражать свои состояния не речью, а иными сигналами, система которых позволяет говорить о наличии у них языка. Попытки обучить обезьян языку глухонемых привели к ошеломляющим результатам. Они усваивают более 500 знаков, способны к «словотворчеству» и достигают уровня развития пятилетнего ребенка⁵⁵.

Таким образом, если животные издают звуки или посылают сигналы непосредственно связанные с ситуацией, то способность к речи у людей есть нечто автономное — им нравится говорить. Посредством речи они приводят себя в состояние экстаза, что означает открытость миру. Еще одна функция речи состоит в воздействии на другого. Причем это не связано с передачей информации или каких-либо знаний. Ребенок появляется на свет как бы недоношенным. Его мозг (размеры, вес, толщина мозговой коры) формируется почти год. Но язык развивается настолько быстро, насколько с этим под силу справиться мозгу. Почему же язык запускается немедленно? Это вызвано тем, что ребенок не имеет врожденных инстинктов самосохранения и его поведение определяется словесными инструкциями. Биоантропогенез речи показал, что она если не является аномалией эволюции, то, так или иначе, возникает в силу ослабления хватки природы и становится автономным процессом говорения. Однако отсюда не следует вывод об изначальной зависимости речи от понятий и мыслей. Их синхронизация происходит в процессе культурного научения.

Специалисты по антропогенезу начинают поиски человеческого с первого осмысленного слова, а в магических обрядах ви-

⁵⁵ Зубов А. А. Современное состояние теории происхождения человека // Многомерный образ человека. М., 2007. С. 224.

дят зачатки познавательного отношения к миру. Между тем ни в самом начале человеческой истории, ни теперь, когда заговорили о ее конце, оно не было определяющим. Существуют различные концепции первого слова. Одни исследователи исходят из того, что люди пытаются выразить звуками, а затем словами переполняющие их чувства. Тогда первые «слова» — это «ахи», «охи» или иные угрожающе-рычащие звуко сочетания. В этом случае слова не являются чисто конвенциональными знаками — они сохраняют некую «естественную» связь с переживаниями, а через них с предметами и объективными положениями дел. Другие теоретики, исходя из поздних функций речи, разыскивают следы смысла и пытаются найти первые слова, выражающие мысли.

Данные психоакустики свидетельствуют о том, что шестимесячный зародыш реагирует на голос матери, но, конечно, не на смысл произносимых слов, а на интонацию. Он бьет ножками в ответ на высокие чистые тона. При этом голос матери становится для него частью среды, в которой он чувствует себя в безопасности. Так и после рождения среди тысячи звуков ребенок слышит родной голос, который обещает ему покой и защиту. Тональность голоса матери определит то, какие звуки он будет выбирать среди уличного шума, какие мелодии будут «брать его за душу». Воркование матери и ребенка — это теплое телесное взаимодействие. Звуки, образы, запахи, вкусы — это, вообще говоря, элементы окружающей среды, важнейшей частью которой на ранних этапах формирования ребенка является тело матери. Поэтому бессмысленно искать истоки речи и объяснять ее особенности понятийным строем культуры, вообще какими-либо мыслями или значениями. Понятия присоединяются после. Сначала ребенок лепечет, говорит, а потом взрослые пытаются научить его значениям, которые имеют произносимые ребенком слова⁵⁶.

По мнению С. Пинкера, дети рождаются на свет с языковыми навыками. Когда звучат монотонные звуки, дети сосут медленно,

⁵⁶ Некоторые исследователи считают акцентирование Гердером слуха очень важной новацией в понимании языка. См.: *Gessinger J.* «Das Gefühl liegt dem Gehör so nahe»: The Physiological Foundations of Herder's Theory of Cognition // Wulf Koepke (ed.), *Johann Gottfried Herder. Academic Disciplines and the Pursuit of Knowledge.* Columbia, 1996. P. 32—52; *Trabant J.* Herder's Discovery of the Ear // Kurt Mueller-Vollmer (ed.), *Herder Today. Contributions from the International Herder Conference.* Nov. 5—8, 1987. Stanford; California; Berlin; New York, 1990. 355f.

когда звуки меняются, они сосут энергичнее. Психоакустики установили, что младенцы активнее сосут под звуки родной речи и медленнее — под чужую. Это объясняется восприятием голоса матери (просодии — мелодика, постановка ударений и ритм речи) еще в дородовом состоянии.

Речь — это форма близкого, интимного взаимодействия. В ней задействована телесность. Наибольшее влияние она оказывает тогда, когда напоминает голос матери. Поэтому тональность, на которую одним из первых обратил внимание Гердер, — одно из важных качеств речи. В свое время глухонемым родителям слышащих детей советовали чаще включать телевизор, чтобы они усвоили язык. Но этого оказывается недостаточно. Тональность материнского языка отличается от телевизионной звуковой дорожки. Речь родителей медленнее, в ней более утрирована высота тона, она более грамматически правильная. С. Пинкер считает, что последнее не стоит абсолютизировать. Он полагает, что роль материнского языка сродни вокализациям животных. «В материнском языке есть вполне понятная мелодика: подъем и спад интонации для одобрения, серия резких взрывных стаккато для запрещения, восходящий тон для привлечения внимания и плавное низкое мурлыканье легато для успокоения»⁵⁷. Эти интонационные модели универсальны. Ребенок четко отличает мелодику речи от других звуков.

Мать и младенец долгое время не нуждаются в словах и общаются, если уж не телепатически, то звуками, мимикой и жестами. Вместе с тем самые примитивные человеческие объединения предполагают вербальное общение. В общении взрослых обсуждаются более абстрактные материи, требующие для своего обозначения специальных терминов. Таким образом, в ходе развития культуры формируется понятийная речь, в которой уже не тональность, а содержание, значение слов становится важнее.

Первоначально умение читать и писать было ремеслом специалистов — писцов. Причем не все, что говорилось, можно было записать. Слоговое письмо использует идеограммы, и поэтому возможны неясности при записи и чтении. Лишь фонетическое письмо обеспечивало параллель устной и письменной коммуникации. Письменность, как и устная речь, не производит удвоения мира. В результате ее распространения удвоился не мир, а коммуникация. Будучи искусственными, буквы стандартизуются и легко усваиваются, кроме того, они способствуют

⁵⁷ Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2004. С. 266.

образованию новых слов и таким образом обеспечивают возможность сообщения необычных ситуаций. Алфавитное письмо быстро становится доступным широким массам, общество становится письменным. В Афинах распространение грамотности достигло такой степени, что стало возможным создание литературных произведений. Это породило критику. Так письменность обрела себя — она перестала быть лишь средством записи речи, письменная коммуникация стала самостоятельной.

Новый «коперниканский» поворот в теории познания возможен благодаря коммуникативной революции, которая осуществляется на наших глазах. Первым на это обстоятельство указал Маршал Мак-Люэн, который исследовал воздействие искусственных медиумов на формирование «картины мира». Он писал: «Изобретение алфавита послужило длительным стимулом для развития западного мира в направлении разделения между чувствами, функциями, операциями, эмоциональными и политическими состояниями, а также задачами, т. е. фрагментации, которая нашла свое завершение, как считал Дюркгейм, в анонии девятнадцатого столетия»⁵⁸.

Изобретение письма произошло на основе речи. Раньше чтение текста сопровождалось проговариванием. Печатный текст ускорил чтение, усилил роль глаза. Он стал своеобразным механизмом, подобным изобретению колеса, чтение превратилось в последовательное восприятие статичных изображений, которое при достижении определенной скорости создает иллюзию органической полноты. По мнению Мак-Люэна, фонетический алфавит редуцировал все чувства, которые взаимосвязаны в устной речи, к визуальному коду.

Можно найти множество фактов, подтверждающих фоноцентризм европейской культуры. Например, в эпоху Просвещения (в разгар книжной культуры) убеждение о приоритете речи перед письмом оставалось незыблемым. И наоборот, когда в эпоху новых медиумов люди снова стали аудиотактильными, визуальное стало доминировать у теоретиков языка и искусства.

Сегодня образы и факты, являющиеся продуктом фотографии и монтажа, вновь обрели свою прежнюю убедительность. Хотя, в принципе, можно говорить о симуляции, но сомнение уже не встраивается в саму коммуникацию, как в устном диалоге или в тексте, а привносится извне и задним числом, после того как симулякры уже сделали свое дело. Электронные медиумы

⁵⁸ Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. Киев, 2003. С. 64.

сводят вместе научный, эстетический и этический дискурсы, причем так, что трудно отличить не только информацию от оценки, но и вымысел от реальности. Это показывает, что поиск единства не менее, а даже более опасен, чем их разделение в теоретической философии. Неразличимость порождает бесконтрольность и незащитность. Потребитель политической, рекламной, медицинской и другой информации получает вместе с конкретными полезными сведениями сеть моральных и эстетических оппозиций. Она есть не что иное, как анонимная форма власти, от которой страдают абсолютно все. По мнению Бодрийяра, такая тотализация коммуникации ведет к ее исчезновению. Луман предлагает философам иной ход: самозамкнутость коммуникации делает ее невидимым подспорьем наблюдения мира. Общество же является призмой, сквозь которую мир наблюдает себя⁵⁹. Привязывая людей к экрану, фиксируя их тела, современные медиа дробят общественного субъекта на атомы. Возникает новый медиум, формы которого определяются компьютерными программами, выполняющими функции грамматики в письменности. К чему это приведет, даже компьютерная лингвистика сказать не в состоянии.

Наука и Евангелие

Для людей, получивших религиозное воспитание, было неким потрясением описание Христа как 33-летнего мужчины, казненного по решению римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Нам, привыкшим к научной критике религии, теперь трудно представить подлинно революционный переворот, который произошел в эпоху Просвещения. Гердер описал Христа как реальное историческое лицо, принесшее миру представление о духе гуманности, как первого просветителя и борца против насилия. Гердер разъяснил, почему христианство возникло именно в Иудее, а не, скажем, в Древней Греции, давшей миру Платона и Аристотеля. Корпус библейских текстов обнаруживает наличие интенсивной духовной жизни, вызванной как раз тяжелым положением нищего еврейского народа. Его теократические чаяния, выразившиеся в образе мессии, который освободит людей от рабства, стали питательной почвой христианства, освободившегося от мертвого тела и ставшего вселенской религией.

⁵⁹ Луман Н. Медиа коммуникации. М., 2005.

Гердер продолжил подход Спинозы, согласно которому учение Христа приспособлялось к обычаям и условиям существования того или иного народа, принявшего христианство в качестве государственной религии. Поэтому оно нуждается в реконструкции с точки зрения представлений о разумности и гуманности, соответствующих духу Просвещения.

1. Човеколюбие. Христианство — это союз дружбы и братской любви. Христос пропагандировал равенство в духе, но в реальности требовал лишь милосердия.

2. Христианская община управляется наставниками без всякой светской власти. Гердер имел в виду не столько отделение церкви от государства, сколько превращение римско-католической церкви в институт управления.

3. Учение о Троице. Оно было искажено разного рода ересями, а также использовалось православием для обоснования имперских амбиций Византии.

4. Священные тексты также подверглись искажению в процессе вовлечения церкви в борьбу за власть. Их подлинный смысл восстановила только эпоха Реформации.

5. Христианство знало лишь два простых обряда — крещение и причастие, — которые также обросли множеством обычаев и дополнились пустыми церемониями.

6. Безбрачие Христа и девственность Богородицы стали основой ненужного аскетизма, принесшего больше вреда, чем пользы.

7. Учением о Царстве Небесном также жестоко злоупотребляли. Те, кто мечтал воплотить его на Земле, наделали множество беспорядков. Гердер описывал искажение учения Христа церковью, особенно православной. Оно приспособлялось под те или иные тиранические режимы, служило средством их оправдания. «Новая вера все народы превращала в братьев, ибо учила их верить в одного Бога и спасителя; но та же самая вера могла превращать народы в рабов»⁶⁰.

С рациональной точки зрения христианство является весьма необычным. В его основе лежит послание невидимого Бога, которое противоречит тому, что знает человек из собственного опыта. Христианство — это трансцендентная религия. Мир Божий непостижим и вообще недоступен для нас, пока мы живем в темнице нашего тела. Христианство неосуществимо на Земле, вот в чем проблема. Оно предназначено для подготовки к загробной жизни, а то, что она есть, — это условие возможности христианства. Послание Бога резко отличается от научных сообще-

⁶⁰ Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. С. 481.

ний, которые можно проверить фактами. Однако просвещенные люди не могли сводить Евангелие к описанию чудес и провозглашению иррациональных моральных норм. Так постепенно сложилась историко-научная и философская критика Писания.

Бог заинтересован в поощрении тех, кто следует его заветам. Для поддержки веры в высшую справедливость существует хорошо разработанная концепция загробного воздаяния. Предателям Бога уготован Ад, святые попадают в Рай, а те, кто не до конца оправдал кредит доверия, возвращают долги в Чистилище. По сравнению с теми яркими сценами адских мук, которые рисует воображение, псевдонаучная концепция просветителей выглядит весьма блекло. Неудивительно, что она не вызывала энтузиазма ни у верующих, ни у священников. Вообще говоря, философы оказались недостаточно прозорливыми относительно последствий переписывания драмы творения на квазинаучном языке. Протестантская версия христианства, может быть, лучше соответствовала разумному человеку эпохи Просвещения, однако попытка совместить язык науки и Библии привела к тому, что ее научная интерпретация оказалась гораздо беднее оригинала. Начавшаяся еще в эпоху схоластики попытка доказательства бытия Бога способствовала больше развитию научной методологии, чем теологии. Хуже того, эпистемология религиозных суждений, признание положений Библии только на основе аргументации привели к тому, что теологические модели Бога становились все более абстрактными и все менее понятными для живых верующих. В определении Кузанского (Бог больше всякой конечной величины) представлен какой-то математический монстр, которому не хочется ни поклониться, ни исповедаться.

В эпоху Просвещения французы, немцы, американцы и позже их российские интеллектуалы использовали язык восхваления Бога для восхваления демократии, свободы и прав человека и гражданина. Незаметно договор с Богом был переписан и подменен. Он приобрел более рациональный вид, а также стал удовлетворять экономическим, юридическим и моральным нормам гражданского общества. Отчасти это проявилось и у Лютера — в отличие от католиков он опирался на идею долга, который необходимо вернуть, ввел то, что можно назвать кредитной системой. В соответствии с принципами двойной бухгалтерии каждый верующий сам подсчитывал свои долги перед Богом.

Вместо восславления коллектива в эпоху демократии необходимо было возвышение индивида. За эту задачу, например, взялся Т. Джефферсон — президент США и редактор американской

Декларации о независимости. Он нашел время для сравнения разных версий Евангелия и составил на их основе текст, названный «Жизнь и мораль Иисуса из Назарета» и известный как «Библия Джефферсона». С наивностью человека эпохи Просвещения Джефферсон отделяет то, что должен был на самом деле говорить Христос, от того, что он, по словам своих непросвещенных учеников, сказал. Неудивительно, что реконструированный Христос предстал как носитель евро-американского просвещения. От заповедей остался моральный кодекс, уместившийся на 64 страницах.

Аналогичным образом действовал Лев Толстой, искавший особый русский путь слияния религии и просвещения. В небольшой статье «Как читать Евангелие и в чем его сущность?» (1896) он писал: «...я читал Евангелия и нашел в них вполне доступную... истину... Для того чтобы понять всякую книгу, необходимо выделить из нее все вполне понятное от непонятного и запутанного, и из этого выделенного понятного составить себе понятие о смысле и духе всей книги. Толстой, разочаровавшись во всех толкованиях, стал читать и интерпретировать Евангелия в соответствии требованиям своего разума и сердца. То, что он постиг — это даже не откровения Христа, а то, что совпадает с мнением лучших представителей человеческого рода: Моисея, Исайи, Конфуция, древних греков, Будды, Сократа, Паскаля, Спинозы, Фихте, Фейербаха.

Неудивительно, что в джефферсоновской библии и в толстовском евангелии не нашлось места Апокалипсису. Просвещение превратило легенду в новеллу, а Христа в литературного героя. Евлогическая речь стала подцензурной и допускалась лишь относительно «политкорректных» личностей, которые ведут себя рационально. С научной точки зрения апелляция к сверхчувственному миру стала считаться недопустимой. У Гердера и Гегеля Христос превратился в реального юношу, который мужественно боролся с предрассудками своей эпохи и был казнен представителями церковной и светской власти, видевшими в нем угрозу собственному существованию.

И все же в убеждении Гердера, что наука и теология представляют собой не противоположные, а родственные формы сознания, есть доля истины. Она состоит в том, что наука должна укреплять, а не разрушать уверенность человека в самом себе. Пионеры науки воспевали разум и внушали чувство гордости человеку как его носителю. Их тексты строились по образцу доброго послания, и поэтому для европейского человека наука была

чем-то вроде нового Евангелия. Сегодня все не так. Наука внушает неуверенность и страх. В этом виноваты отчасти сами ученые, исследования которых подрывают веру человека в самого себя, отчасти философы, использующие научную риторику в целях критики и разоблачения этой веры как комплекса мифов, идеологий и предрассудков. Сама философия, да и другие символические формы культуры все больше пользуются риторикой Апокалипсиса. Но в этом случае имеет место абсолютизация злого послания, которое встроено в Библии в структуру доброго и направлено плохим людям как напоминание о расплате за грехи. Таким образом, можно выдвинуть предположение, что евангельская риторика имеет универсальное применение и сохраняется в научном и философском дискурсах.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Чтобы описать жизнь и литературную деятельность Гердера, необходимо предварительное знакомство с «Воспоминаниями из жизни Иоанна Готфрида Гердера», которые были написаны верной подругой его жизни и изданы Иоанном Георгом Мюллером. Содержание этих «Воспоминаний» служит главным и поистине неоценимым источником чисто биографических сведений о Гердере; они состоят из трех частей и помещены в XX—XXII томах Полного собрания сочинений Гердера в отделе «Zur Philosophie und Geschichte» (карманное издание Котты 1827 г.). Для некоторых биографий Гердера — как например для тех, которые были написаны Рингом и Дёрингом, — служил почти исключительной основой тот же источник сведений; а для некоторых других — как например для вступительных обзоров Дюнцера в его неоднократно и прекрасных изданиях произведений Гердера — богатый запас писем и документов, которым мог самостоятельно пользоваться и автор этой книги.

Самый старый из этих сборников биографического материала был издан в трех частях сыном Гердера, Эмилем Готфридом под заглавием «Johann Gottfried von Herders Lebensbild»; первая из этих частей разделяется на несколько отделов, но, к сожалению, доходит только до весны 1771 г., т. е. до двадцать седьмого года жизни Гердера. Читатель не будет поставлен в недоразумение постоянными ссылками на это издание в следующем сокращенном виде: LB. I, 1; I, 2; I, 3, b; II; III.

С того момента, на котором прерывается эта биография, могут служить руководством три сборника писем, изданные Дюнцером при содействии Гердерова внука, Фердинанда Готфрида Гердера. На изданный прежде всех других сборник «Aus Herders Nachlass» в трех частях будут делаться ссылки в следующей форме: *Dünßer A*, I, II, III; ссылки на изданные после того «Herders Reise nach Italien» и на три тома «Von und an Herder» будут делаться в следующей форме: *Dünßer B* и *Dünßer C*, I, II, III.

Однако эти обширные издания вместе со множеством отрывочных, разбросанных там и сям указаний еще не заключают в себе всего, что осталось от Гердера в рукописях. Туда не вошло множество писем, получавшихся Гердером или написанных им самим. Кроме того, сохранились в большом числе ученые заметки и выписки Гердера, относящиеся и к самой ранней поре его литературной деятельности и к самой поздней. Здесь попадаются или целиком, или частями рукописи изданных им сочинений, нередко в многократной переделке; также попадаются еще не окончательно обделанные и до того времени еще не появлявшиеся в печати сочинения. Все эти рукописи недавно большей частью перешли в собственность Берлинской библиотеки; автор этой биографии познакомился с их содержанием в Веймаре благодаря самой предупредительной любезности заведовавшего до настоящего времени той библиотекой, тайного советника Штихлинга. Я считаю своим долгом печатно выразить здесь мою признательность как г. Штихлингу, так и моему почтенному другу А. Шёллю, который оказал мне в этом случае помощь своим посредничеством.

Для целей биографа было достаточно сделать некоторые извлечения из этих рукописей, но новейший издатель сочинений Гердера воспользовался ими с неподражаемой аккуратностью и критической разборчивостью — в особенности теми из них, которые находятся в непосредственной связи с сочинениями Гердера, уже появившимися в печати. Хотя я задумал написать биографию Гердера, ничего не зная о предприятии, за которое взялся Суфан, тем не менее оно принесло мне неоценимую пользу. Мой юный друг помогал мне советом и делом, ссылками и указаниями; своим примером он возбудил во мне соревнование и научил меня придавать подробностям и мелочам более важное значение, чем какое им обыкновенно придают не-филологи. Иначе говоря, он доставил мне своим изданием прочную и надежную опору в моем намерении написать биографию, в которой все основано на анализе сочинений Гердера и на изображении развития его литературной деятельности. Так как издаваемое Суфаном Полное собрание сочинений Гердера (SWS) должно заменить все прежние издания этого рода, сделавшиеся неудовлетворительными для изучения истории литературы, то само собой понятно, что я буду ссылаться на него всякий раз, как буду сообщать факты, впервые в нем опубликованные или выясненные. Если бы это новое исправленное издание было доведено до конца, то я делал бы ссылки только на него; но в то время, как я закончил эту первую часть моего сочинения, только два первых

тома нового издания появились в печати; поэтому мне пришлось ссылаться на первоначальные издания отдельных литературных произведений Гердера; впрочем, это нисколько не мешает мне пользоваться изданием Суфана, так как в нем указаны на полях страницы первоначальных изданий. Уклонения от этого общего правила делаются редко, как например в тех случаях, когда идет речь о рецензиях и стихотворениях Гердера; тогда я ссылаюсь под формой SW на издание Котты (на его карманное издание 1827 г., так как оно самое распространенное). К тому же это издание покуда остается единственным авторитетом в том, что касается впервые им опубликованных рукописей, которые были найдены после смерти Гердера.

Для меня было большим счастьем, что одновременно с принятой мной биографической работой стало выходить полное собрание сочинений Гердера, составленное с критической разборчивостью и расположенное в хронологическом порядке; но мне приходится сожалеть о том, что в моих руках находились только первые тома этого издания, со своими поучительными предисловиями и примечаниями. Однако предупредительность издателя доставила мне возможность делать ссылки и на те тома, которые должны выйти в свет в непродолжительном времени. Моя работа будет подвигаться вперед независимо от того, как будет подвигаться вперед то издание; в интересах моего предприятия я могу только выразить желание и надежду, что между этими двумя изданиями не будет разноречий. В особенности в том, что касается жизни Гердера в Бюкебурге, описанной в четвертой книге биографии, я очень высоко ценю возможность дополнить указаниями Суфана те сведения, которые я сам черпал из первых источников.

Я рассчитываю также на содействие со стороны поклонников Гердера, со стороны знатоков или любителей немецкой литературы. Уже теперь я мог бы упомянуть о многих, оказанных мне услугах; а после появления в свет этих двух первых книг биографии, быть может, найдутся люди, которые захотят опубликовать или сообщить мне находящиеся в их руках письма или документы, указывающие на какие-нибудь новые следы разнообразной деятельности Гердера. Я не ищу похвал; порицания появятся и без моей просьбы; поэтому мне ничего не остается, как настоятельно просить содействия у всякого, кому это дело так же близко к сердцу, как мне.

Галле, октябрь 1887 г.

Рудольф Гайм

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЕРДЕР В ПРУССИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ГОДЫ ОТРОЧЕСТВА

Все мы чувствуем и сознаем, какое решающее влияние имеют наши первые юношеские впечатления на весь склад нашей жизни. Но лишь немногие из нас чувствуют так же глубоко, как Гердер, зависимость своего существования от таких впечатлений и лишь немногие подчиняются им в течение всей своей жизни с такой же, как он, живой восприимчивостью. Однако сам он не любил откровенно рассказывать то, что лично его касалось, да и для таких рассказов у него не доставало душевного спокойствия и сосредоточенности. Только какие-нибудь особые мотивы заставляли его откровенно описывать некоторые подробности из его жизни. Зато он иногда делал отрывочные признания, на которые его вызывали более или менее ясные воспоминания об «утренних грезах его юности», и от него исходит немало таких характеристических указаний на эту эпоху его жизни, которые согласуются с фактами совершенно иного содержания, но понятны только для тех, кто знаком с этими фактами. Они-то и составляют главный источник, из которого мы должны черпать наши сведения, чтобы пополнить тот рассказ об отроческом возрасте этого замечательного человека, который написан автором «Воспоминаний из жизни Гердера» на основании тщательно собранного материала¹.

Отечеством Гердера была та самая Восточная Пруссия, которая гордится именами Канта, Гамана и Гиппеля. По словам Гердера, его родной город Морунген был «самый маленький в той

¹ Этот материал собран в первом томе «Lebensbild» — «Жизнеописания», составленного сыном Гердера. Между помещенными там документами всего интереснее рассказ Трешо, потому что, несмотря на все прикрасы и недомолвки, он знакомит нас с настоящим положением дел и представляет неподражаемую характеристику своего автора. Биографические указания собраны всего полнее и тщательнее, с осмотрительностью и с объективной точки зрения, в статье, которую написал Бацко в 1821 г. после появления в свет «Воспоминаний» и которая помещена в LB. I, 1, 140 и сл.

пустынной стране»¹. Этот город стоял на плодородной покатости среди местности, усеянной лесами и озерами; незадолго до рождения Гердера там насчитывали до 1800 жителей (теперь их вдвое больше), живших скотоводством, земледелием, садоводством, продажей пряжи и холста². Подобно всем другим прусским провинциальным городам, и Морунген был обязан своим возникновением одному из тех укрепленных замков, которые воздвигались рыцарями немецких орденов в тех местах, откуда было, по-видимому, удобнее господствовать над завоеванными странами. Место, где стоит Морунген, было признано годным для возведения укреплений, в особенности потому, что на его южной стороне находится небольшое озеро, а на его северной стороне болотистый пруд с мельницей. Но Гердер видел только развалины замка, построенного рыцарями еще в 1280 г.; старый город уже давно был разрушен, а от нового уцелели после большого пожара 1697 г. только замок и церковь. В воображении маленького Гердера запечатлелись воспоминания об «остатках развалившегося рыцарского замка» и о «готических башенках» колокольни³; и в более поздние годы его жизни сады, леса и болота его родины служили сценической обстановкой для его грез⁴.

В минуты поэтического настроения юноша придавал роковое значение тому обстоятельству, что он «родился в полночь». В принадлежавшем его отцу⁵ маленьком домике подле церкви Гердер впервые увидел свет в последние часы 25 августа 1744 г. и через два дня после того получил при крещении имя Иоанна Готфрида⁶.

¹ Соч. Гамана / Изд. Roth. V, 140.

² Как этими, так и другими местными сведениями я обязан пастору Wandke, который тщательно собрал все сохранившиеся в Морунгене воспоминания о Гердере.

³ Сравн. Отрывочные заметки. III, 236 и написанную после смерти его отца элгию (LB. I, 1, 179). Старый замок был в 1816 г. перестроен для городской школы, а в 1852 г. для помещения военного суда.

⁴ См. примечание к стихотворению «Сон и смерть» (LB. I, 2, 244).

⁵ На месте старого разрушившегося дома уже давно выстроен новый; он находится на Kirchenstrasse, 12, а со времени столетней годовщины рождения Гердера к нему прибита доска в память о Гердере. Так называемая «Площадь Гердера» была снова украшена в 1854 г. Напротив того дома, в саду пастора, поставлен Гердеру памятник, обсаженный с задней стороны елками; это — колонна из гранита с вылитым В. Вольфом из бронзы колоссальным бюстом Гердера.

⁶ Кроме указаний и документов, которые находятся в LB. I и которые было бы излишним цитировать подробно, сравн. Соч. Гамана (VI, 95), стихотворения «Около полуночи» (LB, I, 1, 231) и «Моя судьба» (LB. III, 16).

У его родителей было пятеро детей, между которыми он был третьим; но он остался единственным из сыновей, унаследовавшим отцовское имя. Его младший брат умер через несколько лет после своего рождения; на шестидесятих годах своей жизни Гердер выразил свою скорбь об этом умершем брате в стихотворении, которое носит заглавие «К моему первому усопшему, к самому дорогому из всего, что я утратил в этом мире»¹; оно свидетельствует о глубине и продолжительности впечатления, произведенного этой смертью на одиннадцатилетнего юношу. Отец Гердера, Готфрид Гердер, был школьным начальным преподавателем и в то же время звонарем и певчим. Сначала он занимался ткацким ремеслом и выделкой сукон, но отказался от этих занятий, не доставлявших ему достаточных средств для существования. Так как он очень любил детей, то исполнял свои новые обязанности с искренним и самоотверженным рвением, а в своей жене он нашел себе помощницу. Это мать нашего Гердера и вторая жена его отца, Анна Елизавета, урожденная Пельц, была дочерью жившего в Морунгене кузнеца и оружейного мастера; напротив того, дед нашего Гердера с отцовской стороны был родом из Силезии и только впоследствии переселился в Морунген. Таким образом, в Гердере смешивалась восточнопрусская кровь с силезской. В этом факте, пожалуй, можно бы было искать причину тех врожденных влечений Гердера, в которых с первого взгляда почти вовсе не видно свойственных уроженцам Восточной Пруссии жесткости и сдержанности, а напротив того, очень заметны приписываемые силезским уроженцам горячность, живость воображения и поэтически-ораторские дарования. Однако, чтобы не вдаваться в объяснения, основанные на догадках, мы ограничимся указанием только того непосредственного влияния, которое имели на мальчика своеобразности его отца и его матери, отцовская домашняя жизнь, первоначальное обучение и окружающая сфера.

Нельзя, конечно, оставлять без внимания и того указания, что сам Гердер, погружаясь в самосозерцание, приписывал темпераменту своих родителей таинственный зародыш тех влечений, которые сказывались в течение всей его жизни. Он неоднократно замечает, что в его душевном настроении преобладало стремление ко всему возвышенному и расположение ко всему мрачному, страшному и торжественному; ему нравится считать эти склонности за дар самой природы и воображать, что «буря» выбросила

¹ LB. I, 1, 221; сравн. LB. III, 275 и 331.

его в полночный час на пустынную землю¹. Главные элементы своей натуры он приписывает влиянию отцовской спокойной, сдержанной серьезности, материнской искренности и задушевности. Однако по всему видно, что он унаследовал свои природные наклонности не столько от отца, сколько от матери. В письме, написанном в 1770 г. с целью вполне откровенно обрисовать для своей невесты свой нрав и свою деятельность, он называет себя «избалованным маменькиным сынком»². Нежность матери и ее кротость привлекали к себе детей сильнее, чем отцовская серьезность. И из других фактов видно, как горячо любила своих детей эта искренне благочестивая и одаренная глубокой чувствительностью, а вместе с тем словоохотливая, разумная и неутомимо деятельная женщина: в одном из своих стихотворений, написанном во время университетского обучения под влиянием детских воспоминаний, сын свидетельствует о том, что мать научила его «молиться, чувствовать и мыслить»³. Отец Гердера, как видно из слов сына, был почтенный, добросовестно-аккуратный и не щедрый на слова человек; он отличался строгой честностью, правдивостью и добродушием; сограждане относились к нему с полным доверием, а в только что упомянутом стихотворении он назван «патриотом двух поколений». Каков он был, видно из следующего рассказа его сына: «Когда мой отец был мной доволен, его лицо сияло; он нежно клал свою руку на мою голову и называл меня миром Божиим; это было высшей для меня наградой».

Гердер говорит, что он родился в «крайне скромной, но не совершенно бедной среде». Это было несложное и строго регулируемое домашнее хозяйство, которое, при очень скудных денежных средствах, поддерживалось заботливостью и порядком. Не легкомысленная веселость и не беззаботная распушенность господствовали в этом доме; напротив того, там все делалось обдуманно и бережливо, все жили сознанием своего долга и чувством благочестия, без всяких притязаний на внешность. Проведенный в занятиях день всегда заканчивался пением какого-нибудь священного гимна. Библия и сборник священных гимнов служили для родителей Гердера друзьями, у которых они искали утешений и советов; поэтому, немало трогательных звуков из церковного пения и немало внушительных библейских изрече-

¹ Сравн. то, что говорится в его журнале во время поездки во Францию (LB. II, 298), со стихотворением «Моя судьба» (LB. III, 16).

² LB. III, 143.

³ LB. I, 1, 237.

ний запечатлелись в восприимчивом воображении и в мягком сердце ребенка. Под влиянием этих первых впечатлений, этих детских привычек в нем развилась склонность к усидчивой работе, а в его душе возникло влечение к религии и к религиозной поэзии; как ни было неудовлетворительно его музыкальное образование за плохим фортепиано в обществе множества других детей, все-таки его врожденное влечение к мелодии, в особенности к звукам хорового пения, соединялось со способностью запоминать тексты священных гимнов. В более позднюю пору жизни Гердера Гаман завидовал своему юному другу, знавшему наизусть весь сборник священных песнопений и все его мелодии¹.

В подготовительном обучении не было недостатка в доме школьного учителя, а о дальнейшем образовании мальчика должна была заботиться морунгенская городская школа. Всем известно, как в то время были неудовлетворительны такие школы; сверх того, морунгенская не принадлежала к небольшому числу тех провинциальных школ, из которых можно было поступать прямо в университет². Те десятка три учеников, которые едва ли искали в морунгенской школе каких-либо других познаний кроме умения читать и писать, находились под ферулой ректора Грима — настоящего Орбилия. Порядочный запас познаний и в особенности основательное знание латинского языка соединялись в нем с педантической взыскательностью. Учеников отталкивала даже наружность престарелого широкоплечего учителя с его бледным лицом, выглядывавшим из-под черного парика. Без сомнения, именно эта фигура представлялась воображению Гердера, когда он, при вступлении в должность школьного учителя в Риге, яркими красками описывал в своей публичной речи педанта, на которого не взглянула в момент его рождения небесная грация, которому пришлось по воле злой судьбы довольствоваться наемной службой в низкой должности и который сделался «ремесленником-самодержцем в своей школе и мужиковатым экономом в своем доме»³. Так как он был старым холостяком, ненавидел женщин, избегал всяких знакомств, жил очень небольшими доходами и, сверх того, часто страдал подагрой⁴, то его ученикам было нелегко выносить его дурное расположение

¹ Соч. Гамана. VI, 119.

² По собственному указанию Гердера (см.: *Böttiger. Litt. Zustände und Zeitgenossen*. I, 127).

³ LB. I, 2, 47 и сл.

⁴ Из заметки в церковной книге видно, что Грим умер семидесяти лет «после долгих страданий от едкой сыпи» 3 февраля 1767 г.

духа и суровую взыскательность. Его учительское искусство заключалось в варварской дрессировке. Не только грамматические правила, но даже ту внешнюю благопристойность, которая, по его мнению, была необходима при хорошей нравственности, он вколачивал в своих маленьких воспитанников таким же способом, каким унтер-офицер вколачивает рекруту правила фронтовой службы. Ни эта метода, ни это обучение не были из лучших. Всякий раз, как Гердер высказывает свой собственный взгляд на воспитание и на первоначальное обучение юношества, воспоминания о том, как учили его самого, проглядывают в его суждениях, придавая им более резкую определенность и более радикальный отпечаток. Для него учебник Доната — «книга пытки», а Непот — «автор-мучитель». Оттого-то он так горячо нападал на латинское направление, господствовавшее в школе без всякого на то права и обременявшее ум заучиванием грамматических правил, и на скипетр грамматики, ослепляющий глаза юноши подобно раскаленному железу. Оттого-то он, ссылаясь на свое собственное воспитание, нападал в своих путевых записках из Нанта (на которые нам часто придется ссылаться) на тот лишенный смысла и наглядности метод преподавания, который вколачивает в голову слова без мыслей, бессмыслицы бесцельные и несогласные с истиной; он требует, чтобы всякое преподавание исходило из размышлений и наглядных воззрений, чтобы каждому мертвому языку обучали так же, как живому, а каждому живому языку так, чтобы он казался развивающимся сам собой. Оттого-то он и ведет речь об «испорченных юношеских умах», которые уже не могут долее выносить, чтобы их питали не понятиями о прекрасном, а изображениями того, что отвратительно и искажено¹. Однако как ни был нелеп и невыносим гримовский метод преподавания, все-таки он не оставлял желать ничего лучшего относительно своей основательности; то, чему он научал, заучивалось верно и никогда не позабывалось. Гердер всегда с признательностью сознавал, что был обязан старику Гриму своими основными познаниями. Так как он был очень даровитым и чрезвычайно прилежным мальчиком, то в особенности ему послужили в пользу и познания его ректора и яростное рвение Грима к преподаванию, не умевшее довольствоваться теми часами, которые были назначены для уроков. Благодаря своей благонравности и своим быстрым успехам наш Иоанн Готфрид, понятно,

¹ Речь, произнесенная в школе (LB. I, 2, 48); рецензия в: Allg. Deutsch. Bibl. XVII, 1, 65; Отрывочные заметки. III, 35 и сл.; путевые записки (LB. II, 318 и сл.).

сделался любимым учеником. Он принадлежал к числу тех, кого брал с собой старик на свои прогулки, для того чтобы они собирали для его чая аптечную веронику и скороспелки; после того Грим иногда приглашал их в свой кабинет и в знак своего особого благоволения давал им по чашке такого чая с маленьким кусочком сахара. Грим прежде был помощником ректора в более обширной соседней школе, в Саальфельде, и его честолюбие заключалось в том, чтобы и в менее значительной школе кого-нибудь приготовить к университету¹. На молодого Гердера он, конечно, всего более рассчитывал. Он позволял Гердеру присутствовать на всех своих частных уроках и вне положенных часов обучал его и некоторых других учеников греческому языку — а насколько ему доставало его скудных познаний — и еврейскому. От Нового Завета ученики переходили к Гомеру и так ревностно изучали логику по краткому учебнику Баумейстера и всю догматику, что, по признанию самого Гердера, он вынес из школы все свои теологические познания и свою способность к логическим выводам.

При своем прилежании, при своем ненасытном влечении к учению и к чтению Гердер не довольствовался одними уроками своего наставника. Его отец был вынужден потребовать от него прекращения занятий во время обеда и ужина. Во всем городе не было ни одной книги, которую не пожелал бы прочесть этот любознательный юноша; в Морунгене рассказывали, что когда ему случалось проходить мимо окна, на котором лежала какая-нибудь книга, то он входил в дом и просил, чтобы ему дали эту книгу на время. Такие наклонности не свойственны мальчикам его лет. Кто предпочитает погружаться в чтение вместо того, чтобы играть и бороться с товарищами, тот пристрастится к играм фантазии, будет создавать в своем воображении особые миры, а в действительном мире особые для себя роли. В упомянутом выше очень откровенном письме к своей невесте Гердер говорит: «Из моего детства у меня не осталось в памяти ничего, кроме чувствительных и трогательных сцен и кроме мечтаний в уединении, для которых большей частью служили возбуждением честолюбивые замыслы, вовсе не свойственные молодым мальчикам». Его собеседницей была в этих случаях природа — она доставляла образы для его детских мечтаний, тон и краски для различных настроений его кроткой души. В следующих выражениях он отдавал самому себе отчет о своей духовной жизни

¹ Сравн. (кроме LB. I, 1, 55) *Böttiger*. I, 127.

в детском возрасте: «Я рано стал мыслить, рано оторвался от человеческого общества и создал своим воображением новый мир; я в уединении беседовал с весенними цветками, с наслаждением создавал великие замыслы и в течение целых часов разговаривал сам с собой. Время было для меня слишком коротко; я играл, читал, собирал цветы только для того, чтобы предаваться моим мыслям»¹. С книгой в руке он прислушивался к пению сидевших на дереве птиц и гулял по своей любимой дорожке вокруг морунгенского озера и сквозь райский лесок. Теперь воды этого озера спущены и оно превратилось в луговину, а принадлежавшие райской деревне лесок срублен! Эта местность была очень красива; с окраины леска видно было все озеро с его островом, а на той стороне озера стоял город с церковью и старинным замком, который был окружен садами, спускавшимися вниз в виде террас. В течение всей своей жизни Гердер сохранял воспоминание о «прелестях этого сада» и об одиноких прогулках в леске. Оттого он так и любил леса подле Нанта, что снова мог «проводить там время, как на утренней заре своей юности». Но, по-видимому, ничто так не пленяло его юношескую фантазию, как тот водный мир, «которым он любовался, глядя на серебристое озеро», — как сказано в стихотворении «Мечты юности». Эта причудливая склонность к меланхолии, столь свойственная уединенным мечтателям, проявляется в первых статьях Гердера о Книге Бытия и в разных фантастических сравнениях во время его морского переезда из Риги во Францию².

Но к этим фантастическим увлечениям природой примешивалось и то, что было с ними однородного в мире поэзии. Шекспировский мир духов, ведьм и волшебниц впоследствии казался Гердеру таким привлекательным именно потому, что и его собственный ум, когда он был еще ребенком, «блуждал среди точно таких же вымыслов»³. Впрочем, он увлекался не только тем, что чудесно и волшебно, но еще более тем, что возвышенно и трогательно, что полно смысла и значения. На него произвела глубокое впечатление история жаждавшего любви Божией разочарованного человека, которую он прочел в случайно попавшемся в его руки аллегорическом романе, переведенном с испанского, а при перелистывании разных книг его внимание приковывали к себе картины из жизни умственной, и политической⁴. Он от-

¹ О развитии человеческой души (LB. II, 357).

² LB. II, 164, 300; LB. I, 3, a, 492; *Zerstreute Blätter*. III, 4.

³ Письмо к Мерку (LB. III, 231).

⁴ Адрастея. IV, 132.

кровенно описал все, что сам чувствовал, когда пытался изложить в «Каллигоне» историю психологического зарождения понятий о возвышенном. Он рассказывает, с каким благоговением он смотрел на очень старый дуб, как он прислушивался к таинственному шелесту сосновой хвои и какие он испытывал еще более удивительные впечатления в том же роде, когда ему приходилось говорить о ливанских кедрах, о растущих на Востоке пальмовых деревьях, о додонском дубе и о всех относящихся к этим предметам рассказах¹. В особенности библейская поэзия, с ее безыскусственной возвышенностью и удивительной картинностью, с ее задушевностью, мудростью и торжественностью, производила на него глубокое впечатление. Относительно первых библейских рассказов он говорит: «Мне с ранней молодости нравилось блуждать по этим нивам райской красоты и невинности, следить за праотцами нашего рода в их первых похождениях, чувствовать к ним любовь или сожаление». Его детское сердце находило для себя отраду в том, что Библия смотрела на животных как на друзей человеческого рода, и он был от рождения одарен такой способностью во все вдумываться, что, еще бывши ребенком, с удовольствием читал произведения Иова и Соломона, а, бывши отроком, с удовольствием читал Эзопа и сборники греческих и латинских изречений. В предисловии к «Пальмовым листьям» он говорит о прелести, которую находил в восточных повествованиях, и рассказывает, что был глубоко растроган в своем детстве возвышенной простотой Геллертова описания, как «однажды Моисей предстал на горе перед Богом». Такие же впечатления он выносил и из чтения Гомера. «Я помню, — писал он своей невесте, — когда я в ранней молодости в первый раз прочел у Гомера сравнение человеческого рода с весенними листьями, которые исчезают так же, как исчезает на земле человеческий род; тогда из моих глаз брызнули слезы, что редко случается со школьными воспитанниками»².

Понятно, что при таком душевном настроении у Гердера рано зародилось намерение поступить в духовное звание. Бедный сын звонаря, натурально, должен был стремиться к такой цели, на которую ему указывали и все внешние условия его жиз-

¹ Kalligone. III, 30.

² О духе еврейск. поэзии. I, 151; там же, 81; Spruch und Bild (Zerstr. Blätter. IV, 111); *Palmblätter*. Избранные восточные рассказы для юношества (von Liebeskind), предисловие к I тому (Йена, 1786). С. XVIII. К Каролине Флаксланд, из найденных после смерти Гердера бумаг (*Dünßer A*, I, 128), сравн. Критические леса, I, 51.

ни и его внутренние побуждения. Он сам свидетельствует о своей рано созревшей решимости поступить в духовное звание и приписывает ее своим влечениям ко всему возвышенному и трогательному, ссылаясь, кроме того, и на местные предрассудки, «на влияние церкви и алтаря, церковной кафедры и духовного красноречия, пастырского звания и почета, которым пользуется духовенство»¹. Однако когда он впоследствии вспоминал об этих влечениях своей юности, они не казались ему безусловно утешительными и возвышенными. В то время, как он уже состоял в должности церковного проповедника, он в красноречивых заметках нападал на прежнюю механическую привычку к благочестию, на бездушное участие в празднествах, на ту бессмысленную набожность, «которую внушает только вид церкви»²; а что он сам когда-то не был в состоянии высвободиться из-под тяжелого гнета таких же наклонностей, видно из тех же заметок. Ведь он рос в церковной атмосфере, пропитанной влиянием пиетизма. В его памяти сохранилось суеверное мнение жившего в его родном городе Морунгене простолюдина (о котором он упоминает в «Отрывочных заметках», III, 238), что в страстную пятницу само небо покрывается в знак скорби тучами и что в вечерние предсмертные часы Искупителя и на небе воцаряется тишина. Такой же склонностью к суевериям сильно отзывалась и набожность в его родительском доме. Таких же воззрений придерживался и почтенный пастор Христиан Рейнгольд Вилламовиус, который был законоучителем Гердера и принял его в лоно протестантской церкви. Этот человек был самого умеренного образа мыслей; отчасти благодаря его поучениям и его примеру Гердер и в юношеском возрасте, и в зрелых годах находил «возмутительным и неестественным преследование людей иного образа мыслей»³. Гердер всей душой привязался к Вилламовиусу как к достойному уважения наставнику и отцовскому другу: семейства Вилламовиуса и Гердера жили в тесной дружбе, принимали одно в другом горячее участие при одинаковых скромных денежных средствах, имели одинаковые притязания, переносили одинаковые лишения и держались одинаковых воззрений. Однако не следует относить к числу достоверных фактов впервые высказанное в «Воспоминаниях» предположение, будто Гердер видел в больном и престарелом Вилламо-

¹ Путевые записки (LB. II, 300); сравн. Provinzialbll. С. 80.

² Об установленном Библией праздновании субботнего дня и о христианском праздновании воскресного дня см.: LB. I, 3, а, 346 и сл.

³ Письма о гуманизме. V, 23.

виусе¹ идеал церковного проповедника — того «проповедника Божия», которого попытался описать в прекрасной статье, помещенной в Рижской газете. Образ этой почтенной духовной особы сохранился в душе Гердера хотя и в трогательном, но в хилом виде. «Я знал, — говорится в «Отрывочных заметках» (II, 227), — благочестивого, честного старца, который в последние годы своей хворости и во время преподавания и во время молитвы бывал всего более растроган в тех случаях, когда ему приходилось упоминать о какой-нибудь подробности относительно страданий Иисуса: в его воображении с ранних лет запечатлелось изображение Иисуса, распятого на кресте совершенно раздетым; он останавливался на этом факте, старался найти утешение в своей скорби, а зевота тем временем овладевала его слушателями». Разве эти слова могли относиться к кому-либо другому, а не к Вилламовиусу?² Искреннее благочестие старца, обнаруживавшееся в его самоотверженном человеколюбии, принимало внешний вид несколько монотонной и односторонней церковной набожности. Молодой Гердер стал на более высокую точку зрения благодаря своему чувствительному сердцу и в особенности благодаря своему поэтическому пониманию Библии; оттого-то вполне справедливо высказанное им в другом месте замечание, что он сделался богословом единственно из любви к Библии.

Но какова бы ни была та будущая деятельность, о которой он мечтал, ему еще было далеко до осуществления его замыслов. Ему еще предстояло пережить тяжелую эпоху испытаний и отказаться от всех его планов ввиду их полной неосуществимости. Намерение мальчика изучать теологию встретило одобрение и со стороны Вилламовиуса, и со стороны родителей. Но крайне ограниченные средства родителей и слезная фистула, появившаяся на правом глазу ребенка с четырехлетнего возраста, несмотря на то что он был во всех других отношениях совершенно здоров, по-видимому, были непреодолимыми препятствиями для удовлетворения его влечений. А важнее всего было то, что Трешо, назначенный в 1760 г. на должность дьякона при морунгенской городской церкви, смотрел на вопрос об обучении совершенно иначе, чем его со-

¹ Вилламовиус умер 23 октября 1763 г. Трешо, отмечая в церковном списке время его смерти, назвал его «таким же терпеливым, как Иов, и таким же любящим Иисуса, как Иоанн». В Морунгене ходили рассказы об искушениях, которые приходилось преодолевать этому благочестивому человеку, в особенности непосредственно перед тем, как он должен был входить на церковную кафедру.

² Такое же мнение высказывает Суфан в примечании к этому месту (SWS, I, 540).

служивец, добродушный, но слабохарактерный Вилламовиус¹. Это был еще не старый, но болезненный и склонный к ипохондрии человек, теперь вступивший в должность церковного проповедника; он относился к своей пастве с высокомерием ученого и со свойственной лицам духовного звания спесью. По его мнению, ни один из морунгенских уроженцев не должен был посвящать себя ученым занятиям. И родителям Гердера он советовал обучать их сына какому-нибудь ремеслу. По этому совету видно, что господин дьякон не обладал знанием людей; однако есть основание думать, что к его недалёковидности присоединялись и некоторые эгоистические соображения. Трешо вынес свои теологические познания из школы кёнигсбергского пиетизма, а во время своего университетского обучения полюбил литературные занятия благодаря влиянию Гаманова друга, молодого магистра Линднера. Он с ранних пор стал заниматься поэзией и изящной литературой, но так, что тенденция к назиданию мало-помалу взяла верх над тенденцией к изящному. Он очень скоро стал высказывать убеждение, что «грации поэзии» должны служить только прикрасой для того, чтобы сделать религию привлекательной для некоторого разряда людей; после того он старался разыгрывать в одно и то же время и роль аскета, и роль любителя изящной литературы. Этот усердный писака — *animal scribax*, как его называл Гаман, — стал с тех пор заниматься назидательными сочинениями, расчетливо подделываясь под господствовавшее в данную минуту направление, так как это ремесло было довольно прибыльно. В качестве литератора и вместе с тем духовной особы, он стал вносить дух христианской назидательности в ту пошлую и скучную мораль, которая господствовала в бывших в то время в моде еженедельных изданиях. Он не довольствовался тем, что снабжал несколько журналов статьями богословского, нравственного и эстетического содержания: под влиянием своего непреодолимого влечения к литературной деятельности он писал множество статей всё в том же ранее принятом направлении, издавал рифмованные и нерифмованные наброски, проповеди и брошюры, назидательные книги и назидательные

¹ Не основательно утверждение Бацко (LB. I, 1, 147), что «после смерти благочестивого Вилламовиуса» омрачились надежды молодого Гердера. Влияние Трешо взяло верх только над влиянием более престарелого Вилламовиуса, который еще был жив в то время, когда Гердер покинул Морунген. Относительно самого Себастьяна Фридриха Трешо см.: LB. I, 1, 25, прим.; кроме того, есть, очевидно, им самим составленная биография, которая помещена во втором сборнике «*Lebensbeschreibungen jetzt lebender und neuerlich verstorbener Gottesgelehrter und Prediger in den königl. preuss.*» (Landen, 1769).

журналы; наконец он перешел к полемике и в критических письмах о литературе выступил в роли стража, охранявшего Сион от «заново обделанного богословия» или от «новейшего социализма». Именно вскоре после того, как он вступил в отправление своих служебных обязанностей в Морунгене, он написал множество мелких статей; об одной из них сохранилось воспоминание благодаря тому, что она упомянута в брошюре Гамана; она носила заглавие: «Лакомства в гостиных в первый день нового 1762 г.»; кроме того, Трешо начал писать сочинение под заглавием «Библия смерти», к чему его побудили изданные жившим в Гамбурге его начальником Гёцем «Спасительные размышления о смерти и вечности». К стихам присоединялись размышления в прозе с целью доказать, что у «Музы Сиона» тем более грации, чем решительнее она преобладает над музой Парнаса. Эти стихи и проза, вместе взятые, должны были мало-помалу составить трехтомное сочинение, научавшее «умению умирать радостно и праведно».

Понятно, что для Трешо мог быть очень полезным сотрудником такой молодой человек, как Гердер, который был и очень начитан, и имел очень четкий и красивый почерк. И сам Гердер, и его родители, конечно, были очень благодарны Трешо за то, что он взял молодого человека к себе в дом в качестве помощника и — пока слабые физические силы Гердера не окрепнут настолько, чтобы можно было обучать его какому-нибудь ремеслу, — вознаграждал работу переписчика не прокормлением и не обучением (первое он получал от своих родителей, а второе по-прежнему от своего ректора), а тем, что отвел ему место для занятий и для сна. Не говоря уже о том, что это доставляло Гердеру случай практиковаться в письме, он пользовался еще той выгодой, что мог прежде всех знакомиться с содержанием неоценимых сочинений господина дьякона. Кроме того, ему не запрещалось пользоваться библиотекой дьякона, которая, конечно, состояла большей частью из богословских сочинений, но была также снабжена произведениями греческих и римских классиков, описаниями путешествий и произведениями новейших поэтов.

На деле оказалось, что бедный юноша извлек из своей должности переписчика и из своего пребывания в скучном доме церковного проповедника¹ гораздо больше пользы, чем сколько мог ожидать и желать Трешо. По собственному свидетельству Герде-

¹ Казенным помещением для второго церковного проповедника служило одноэтажное здание, находившееся на углу «малой церковной улицы», неподалеку от того дома, в котором жили родители Гердера. На том же месте теперь стоит новый дом, построенный для такого же назначения.

ра, Трешо «воспламенил в его душе первые искры»¹. Нельзя было не придавать некоторой цены тому, что Гердер познакомился с ремеслом писателя и вместе с тем с нужными для этого ремесла снарядами. Поэзия автора «Библии смерти» и «Мелких набросков о мышлении и чувствовании» была бездушна, нравоучительна и несамостоятельна; она стояла по литературному направлению на одном уровне с бремеровскими очерками. Таким образом Гердеру был доставлен случай основательно изучить это направление. У дьякона-писателя не было недостатка ни в легкости выражаться, ни в искусстве владеть фразой и рифмой. При виде того, с какой легкостью он строчил стихи и прозу, нетрудно было заразиться его примером. Разве можно удивляться самоуверенности юноши, вообразившего, что и он способен делать то же самое и даже еще лучше? В апокрифических зачатках литературной деятельности Гердера ясно слышится отголосок того, что писал Трешо. При этом нам невольно приходят на память последние произведения Гердера: разве можно приписывать случайному сходству тот факт, что в неопределенной внешней форме «Адрастеи», перемешивающей разные поэтические замечания и украшения с нравственно-поучительными, есть что-то общее с литературными приемами того человека, в чьей мастерской Гердер впервые научился сочинительству и составлению книг? Разве старость не есть именно та эпоха, когда мы бессознательно возвращаемся к впечатлениям ранней молодости? И разве не встречается во всех гердеровских сочинениях нечто напоминающее скороспелые произведения Трешо, его поэтическую и риторическую импровизацию? Разница между дарованиями этих двух людей так велика, что сравнивать одного с другим положительно невозможно, и мы указываем здесь не на содержание их сочинений, а только на внешнюю физиономию этих сочинений, на некоторые отдельные черты этой физиономии, напоминающие одна другую почти так же, как некоторые особенности в нашем почерке напоминают о почерке того наставника, у которого мы учились писать. Еще важнее было то, что сочинения Трешо знакомили молодого Гердера со всей литературной сферой, в которую они постоянно вторгались и из которой они постоянно заимствовались. В них постоянно встречались упоминания или отголоски поэтических произведений Клопштока, Галлера, Гагедорна, Геллерта, Витгофа, Крейца, Уца, Глейма и всех других славившихся в ту пору писателей.

¹ К Гаману (LB. I, 2, 178).

Гердер мог черпать в библиотеке Трешо сведения прямо из первоначального источника. В этой библиотеке он все глубже и глубже вчитывался в произведения древних писателей; там он познакомился с произведениями многих более старых немецких поэтов, как например Опица, Логау, Симона Даха; там он впервые познакомился с первыми песнями «Мессиады», с новыми сочинителями од, с анакреонтическими стихотворениями и в особенности с поэтическими произведениями Клейста и с самыми старыми произведениями Лессинга. Он дожил до появления еще более даровитых поэтов, но те поэтические произведения, которые он прочел прежде всех других, всегда казались ему самыми лучшими. О том, с каким «приятным удивлением» он впервые познакомился с этими произведениями, как он их читал и какое они производили на него впечатление, он с восторгом рассказывал в публичных речах, которые произносил в веймарской школе при следующем поколении¹. Самые интересные места он читал для самого себя вслух, заучивал их наизусть и потом дерзал «дрожащей рукой и втайне» сам писать нечто в том же роде. То были незабвенные для него часы, когда он, гуляя по райской роще, предавался наедине своим мечтам, когда «он искал правду и находил новые идеи среди лесной чащи», когда ему удавалось подражать в каком-нибудь песнопении Клейсту и Лессингу и когда он, проливая горячие слезы, вырезывал имена этих своих любимцев на древесной коре².

Однако тайные влечения мальчика и его выдающиеся дарования не могли долго оставаться никому не известными. Сам Трешо рассказывает, что он нашел в своей исповедной запечатанное письмо, наполненное трогательными признаниями и надеждами, и ему показалось, что он узнал по почерку руку молодого Гердера; во всяком случае это письмо должно было возбудить внимание Трешо. Он же рассказывал, что однажды вечером в следующую зиму он случайно зашел в небольшую комнатку, примыкавшую к церкви и служившую спальней для Гердера; он застал Гердера спавшим в постели; кругом лежало множество старых и новых книг, среди которых стояла непотушенная свечка. Можно бы было ожидать, что это открытие будет иметь важные последствия для взаимных отношений между Трешо и его помощником и для судьбы юного Гердера. Можно было ожидать, что почтенный дьякон поможет будущему ученому выйти из его за-

¹ Школьные речи 17-я и 3-я.

² См. стихотворение «Мечты юности» (Zerstr. Blätter. III) и «Песнь воспоминания» (LB. I, 1, 236).

висимого положения и будет содействовать советом и делом его дальнейшим успехам на ученом поприще. Но ничего подобного не случилось. Трешо нашел неуместным легко воспламеняющееся рвение юноши, и все осталось по-старому.

Вскоре после того — в январе 1762 г. — плодовитый на сочинения дьякон довел до конца рукопись (по его собственному указанию, это была «История моего сердца», впервые появившаяся в свет в 1763 г.), которую нужно было отправить в Кёнигсберг к издателю его произведений, книгопродавцу Кантеру. На Гердере лежала обязанность переписать эту рукопись набело, запечатать в конверт и сдать на почту. В ответ на это Кантер уведомил, что в полученном им пакете он нашел кроме той рукописи талантливое и возвышенное стихотворение — оду к царю Петру III по случаю его вступления на престол, носившую заглавие «Песнь к Киру», что он немедленно отпечатал и издал это стихотворение, что все восхищаются им и желают знать имя автора. Это было первое стихотворение Гердера, появившееся в печати; оно подражало тону восточной поэзии и было основано на вымысле, что его написал к великому Киру какой-то попавшийся в плен израильтянин и что оно переведено с еврейского языка¹. Провинция, в которой родился Гердер, находилась уже в течение нескольких лет в руках русских. Русская политика, как известно, совершенно изменилась со вступлением на престол нового царя — Петр III был восторженным поклонником Фридриха; поэтому он немедленно вступил в союз и в дружбу с великим королем и приказал очистить завоеванную страну. К этому перевороту в русской политике относится и замечательное стихотворение Гердера. Как миролюбиво были настроены в ту пору умы и как был шаток патриотизм юного поэта, видно из того факта, что Гердер воспевал не триумф наследственного владельца провинции, а великодушие иностранного монарха, Богом помазанного миролюбивого государя, который «заставил царей отложить в сторону кровавый меч» и своим жезлом «добровольно подчинил паству ее прежнему пастырю», подобно тому как в былые времена Кир дозволил пленным израильтянам возвратиться в их отечество². Но также характеристична и наивно-ребяческая таинственность, которая не допускала мысли о возможности разоблачения и, вероятно, казалась очень привлекательной мечтательному и застенчивому юноше.

¹ LB. I, 1, 183.

² Сравн. статью Суфана «Петр Великий как гердеровский идеал монарха», изданную отдельно из: *Altpreuss. Monatschrift*. Том X, тетрадь 2. С. 2 и сл.

Что касается Трешо, то он не обратил никакого внимания на сделанное открытие. Хотя ему и стало известно, что застенчивый, молчаливый и неразвязный юноша был не только ученый, но и даровитый поэт, он все-таки не мог дать этому юноше никакого другого совета, как заняться изучением какого-нибудь ремесла. Ему не хотелось лишиться своего переписчика и помощника, и он не был в состоянии превратиться из взыскательного и недружелюбного повелителя в заботливого доброжелателя. Юный ученый и поэт остался тем же, чем был прежде, — заведовавшая у Трешо домашним хозяйством его престарелая сестра возлагала на Гердера всевозможные домашние заботы, посылала его на рынок за мясом и за другими припасами и нередко обращалась к своему брату с жалобами на Гердера, которого при этом осыпала упреками и бранными словами.

Таково было положение юноши, очень огорчавшее его родителей; но они не находили возможности высвободить его из рабской зависимости; ведь для бедного звонаря господин дьякон был почтенной особой; все, что этот благочестивый человек одобрял с высоты своего духовного звания, считалось полезным, а все хорошее, чего он не одобрял, считалось невозможным. Неудивительно, что сам юноша был с виду застенчив, скрытен и даже упрям. Он в то время выносил самые тяжелые испытания всей своей жизни. Несмотря на бедность и стесненное положение своих родителей, он нашел и постоянно находил в отцовском доме искреннюю и нежную любовь. В своем прежнем ректоре он нашел сурового начальника, который, однако, был к нему милостив и к которому он питал невольное уважение. Но от Трешо ему приходилось выносить незаслуженные унижения. Угрюмый и склонный к ипохондрии, Трешо был в своем доме совершенно другим, чем на церковной кафедре и в исповедной, — был совершенно другим и как человек, и как писатель. А никому другому, как молодому Гердеру, приходилось выносить своенравные выходки и грубости этой духовной особы, с виду такой благочестивой и полной такого достоинства, какое подобает духовному сану. В лице Трешо Гердер ненавидел тирана и презирал лицемера. При следующем поколении он писал самому Трешо: «Первые воспоминания моей юности, натурально, были большей частью печальны, и когда я вспоминаю о впечатлениях, которые производило на меня мое рабство, у меня является желание смыть их дорогими каплями крови»¹.

¹ LB. I, 1, 87.

В многократно нами упомянутых письмах к своей невесте от 1770 г. он выражается еще резче, и, быть может, не без основания. Он говорит, что его родители из тысячи различных предрассудков не желали, чтобы он посвятил себя ученым занятиям, а тот «лицемер», который заставил его в течение всей его жизни считать лицемеров самыми гнусными людьми и который много вмешивался во все, что касалось его семейства, усилил это препятствие до крайних пределов — и ему пришлось подчиниться этой воле бессознательно и слепо. Тот же упрек, хотя на этот раз и не относящийся исключительно к Трешо, снова повторяется в одном месте «Провинциальных листков» 1774 г. Говоря о самом себе, Гердер рассказывает «историю одного человека, которая касается в некотором отношении и его самого». В такую минуту, когда в его душе расшевелились прежние мрачные впечатления, он говорит, что натолкнулся на своем пути на такого служителя Божия, который был гнусным подражателем дьявола, — натолкнулся на лицемерие, на притворное благочестие, на узость образа мыслей, на тщеславие, которое все изгаживает, на настоящих Тартюфов; поэтому в нем укоренилась ненависть к Тартюфам. И прошло немало времени, прежде чем он отделался от этих впечатлений, прежде чем духовное звание представилось ему в своем настоящем достоинстве, даже прежде чем его пустая богословская ученость и прежние богословские воззрения дозволили ему снова понять настоящее значение религии¹. Вот какое решающее влияние имели тяжелые годы, проведенные в доме Трешо, даже на развитие его богословских воззрений! Чем он был ближе к этой эпохе своей жизни, тем более раздражительности было в его жалобах и ожесточения в его нападках. В стихах, написанных к одному другу и благодетелю, он радуется избавлению от своего «мучителя» и от своей участи, совершенно парализовавшей «его предприимчивость, мужество и способности»²; еще более резкие и поэтически преувеличенные обвинения встречаются в некоторых других стихах, вышедших из-под Гердерова пера все в том же духе и лишь с небольшими изменениями. «После непродолжительного, проведенного в мечтаниях утра» его гений навел его на пустынную тропу, «где он погряз в пропасти; там он молил Бога о смерти под ударом грома или в когтях у тигра»; «я, — говорит он, — с сердечным трепетом целовал цепи, наполовину проеденные моим потом и моими слезами»³.

¹ Provinzialbll. С. 80 и сл.

² В рукописи.

³ LB. I, 1, 230; сравн. 187.

Он уже находился в Риге в таком положении, которое должно было бы заглушить в нем воспоминание обо всем, что он выстрадал, когда полученное от Трешо письмо побудило его написать в ответ следующую оскорбительную эпиграмму: «Да, я очень тебе благодарен! Ты был той дубиной, которая упорно гнула вниз молодое дерево; ты был тем крестом мучеников, с которого ангел улетел на небеса!»¹.

Эту эпиграмму он, конечно, оставил на своем письменном столе, но ее содержание можно прочесть между строк в ответном письме к Трешо от 20 августа 1765 г. А как бедны содержанием и каким сухим тоном написаны и это письмо, и то, которое было несколько позже отправлено из Риги в Морунген!² В первом мы находим легкие насмешки над «Размышлением о смерти» и колкие намеки на произведения не перестающего заниматься сочинительством благочестивого мужа; во втором заметно желание познакомить «высокопочтенного и высокоученого господина дьякона» с литературными и служебными успехами его морунгенского помощника, к которому он когда-то относился с таким презрением; но ни в том, ни в другом письме нет ни слова, выражающего признательность! Гердер писал в феврале 1766 г. Гаману (LB. I, 2, 120): «Трешо написал мне письмо, которое возбуждает своим вежливым тоном или смех, или тошноту; в нем каждая строка или насмешлива, или смешна». Наконец, явным неуважением к Трешо отзываются все те выражения, в которых Гердер говорил о литературной деятельности Трешо, обращаясь к третьему лицу или к публике. Он не без основания высказывает желание, чтобы на его первое литературное произведение — на «Отрывочные заметки о новой немецкой литературе» — была написана рецензия «крикуном Трешо». Ведь Гердер позволил себе именно в своих «Отрывочных заметках» насмеяться над мелочностью и над сомнительным бессмертием сочинений Трешо, нападавших на подражателей Анакреона, а Трешо не оставил без внимания эту обиду. В первых, появившихся после того, сочинениях Гердера — в «Торсе», в «Критических лесах» — встречаются такие же колкие насмешки над произведениями Трешо, написанными с целью поучать, но вместо того наводящими скуку, и над бестолковым рвением этого писателя; еще более резкие

¹ Воспоминания. I, 29. Прим. — Здесь следует понимать или то письмо от Трешо, на которое Гердер ссылается в письме к тому же Трешо от 20 авг. 1765 г. (LB. I, 2, 105), или то, о котором Гердер упоминает, обращаясь к Гаману (LB. I, 2, 120).

² LB. I, 2, 263.

нападки на «великого апостола смерти» встречаются в одной гердеровской рецензии, помещенной в «Allgemeine Deutsche Bibliothek» — там Трешо называется «самым печальным между поэтами печального образа» и «самым горластым выкрикивателем гернгутерских похоронных мелодий», который опрыскивает кровью ягненка ланиты юности и всякую расцветшую розу, а свое земное жилище строит на Голгофе из костей умерших¹.

Эти отзывы, написанные Гердером в более позднюю пору его жизни, когда он уже привык свободно мыслить и когда в своих понятиях о литературе он уже стал на более возвышенную точку зрения, еще не дают нам права решить, в какой мере он, бывший юношей, расходился с богословскими и с литературными воззрениями своего начальника; но они бросают очень яркий свет на нравственную сторону его крайне неприятных и неестественных отношений к Трешо. Не подлежит сомнению, что юноша с прискорбием и глубоко сознавал все, что было унижительного в его положении, — что он сознавал несоответствие между внутренними влечениями своего сердца и тем внешним гнетом, который давил его; но он все выносил с каким-то малодушным и кротким терпением. Смиренная покорность низших перед высшими была врожденной чертой в характере бедного сына школьного учителя и, сверх того, была ему внушена воспитанием. Человек с характером более энергичным и более гордым отвечал бы на такое оскорбительное обхождение открытым сопротивлением, неповиновением и решимостью во чтобы то ни стало высвободиться из-под гнета. Человек с менее стойким характером был бы совершенно задавлен или впал бы в бесчувственное состояние.

¹ LB. I, 2, 271 и 203; Отрывочные заметки. I, 134; II, 376; III, 161; Kr. W. II, 129; Торс. С. 4; рецензия в A. D. V. XVI, 1, 128. Наконец, сюда же можно отнести гневные выражения в (сохранившемся в рукописи) продолжении «Торса» относительно полученного от Аббта «утешительного известия об аутодафе» и приписываемое Трешо возражение — «искренняя христианская признательность за утешительное известие» и т. д. Здесь, между прочим, говорится: «Если человек, который считается святым в израильском царстве, если благочестивый Трешо вывешивает эти листы как торжественное знамя *своей* религии» и т. д. «Сияние, окружающее главу этого мученика, превратилось в пламя, которое охватило его личину добросердечия, иссушило его мозг, затмило его зрение, но зажгло в его руке факел проклятия. Затем он начинает проявлять христианскую любовь: всякого встречного, все равно человека праведного или неправедного, произведения которого он не читал или которого он не понимает, он бесцеремонно и с христианским добросердечием относит к числу своих единомышленников» и т. д. — Непонятно, почему Франк (История протестантского богословия. III, 42) влагает в уста Гердера сообщаемые Гаманом (LB. I, 2, 437) насмешливые стихи, в которых идет речь о Гердере и о Трешо.

А в душе молодого Гердера происходило энергичное противодействие, однако не вырывавшееся наружу. Он тайно впитывал в себя чувство озлобления, которое впоследствии выразилось в довольно резкой форме. Все силы его души были доведены под гнетом до такого крайнего напряжения, до такой болезненной раздражительности, от которых он, к сожалению, уже не мог отделаться в течение всей своей жизни.

Конечно, и в этом случае с вредом соединялась некоторая польза. «То было счастьем для тебя, невинный юноша, что на непорочном древесном стволе, из благородного семени вырос здоровый, крепкий бутон, который не расцвел и не развернулся так рано, что мог бы скоро завянуть, и что его не ласкали с колыбели нежные зephyры; тебе больше пользы в том, что твою колыбель потрясали бурные ветры, что ты рос в нужде, в опасности, в бедности, для того чтобы твои убеждения перешли в дело, а твои робкие, застенчивые, скрытные чувства сделались для тебя истинной на всю твою жизнь», — основой для этого описания, помещенного в сочинении «О познании и чувствовании»¹, конечно, также служили воспоминания о собственной жизни Гердера; ведь приводимые там слова «*Multa tulit fecitque puer, sudavit et al-sit*» фигурируют в качестве эпиграфа и на оборотной стороне заголовка в «Записках и ученых заметках», которые были им начаты еще в Морунгене. Точно так же он вел речь о самом себе, когда писал в только что упомянутом сочинении, что молодому человеку, который переходит из детского возраста в юношеский, нередко появляется его гений, указывающий ему его будущий путь и высокие цели, но лишь в неясном сновидении. Вера в существование такого гения, немногим отличавшаяся от суеверия, рано укрепились в его душе и со времени появления его первых юношеских стихотворений постоянно снова высказывалась в многочисленных поэтических намеках. В этой вере приютилось застенчивое и боязливое самосознание юноши. Именно потому, что его безжалостно лишили возможности чего-либо ожидать в близком будущем, перед его фантазией развевалась широкая перспектива честолюбивых желаний, надежд и замыслов. Собственный житейский опыт глубоко запечатлел в его душе так часто упоминаемые в его сочинениях² образ Цезаря

¹ Там же. С. 67—85.

² Сравн. Торс. С. 22; школьная речь (LB. I, 2, 158); Vom Erkennen und Empfinden. С. 85; кроме того, в одном рукописном отрывке из юношеского стихотворения о человеке читаем: «Думая об Александре, стою перед изображением Ахилла, и слезы льются из моих глаз».

у статуи Александра, и образ Александра, проливающего слезы над могилой Ахилла; думая об этом, Гердер нередко сам проливал тайные слезы. «Какой мир идей дремлет в моей душе, в недрах хаоса!»¹ — вот в каких поэтических восклицаниях, во время его беседы с самим собой, вырывалось наружу таившееся в его душе пламя; они дают нам понятие о его тогдашнем душевном настроении.

Упавшего духом юношу наконец спасла из его печального положения счастливая случайность, в которой он усматривал великие судьбы.

Зимой 1761/62 г. в Морунгене расположился на зимних квартирах русский полк, возвращавшийся домой после окончания Семилетней войны. Состоявший при этом полку хирург (как кажется, но имени Шварцерло) посещал Трешо, был знаком с родителями Гердера и познакомился с этим последним. Ему понравился семнадцатилетний юноша, в котором он заметил основательность познания и необыкновенную даровитость. Поэтому он предложил Гердеру взять его с собой в Кёнигсберг, давать ему уроки хирурга и лечить его больной глаз; в вознаграждение за это он требовал, чтобы немедленно после прибытия в Кёнигсберг Гердер перевел одно медицинское сочинение на латинский язык; он даже обещал Гердеру доставить ему возможность бесплатно продолжать занятия в Петербурге, в случае если он приохотится к медицине. Гердер ценил в этом предложении только то, что оно спасало его от невыносимого положения и открывало ему иную будущность. Ярмо, которое его давило, наконец было снято. Он немедленно стал ревностно заниматься изучением ботаники. Летом 1762 г. он отправился вместе со своим благодетелем в Кёнигсберг, сопровождаемый одобрением своих родителей и пожеланиями счастья от всех тех, для кого он был предметом сострадания в своем прежнем безвыходном унижении.

Впрочем, слишком скоро стало очевидно, что никогда не может сделаться хирургом мягкосердечный, не в меру чувствительный юноша, упавший в обморок при первом вскрытии трупа, на которое доктор взял его с собой в Кёнигсберге. Но вырвавшийся из уз рабства, Гердер нашел в самом себе достаточно мужества для того, чтобы не потонуть в новом элементе свободы. Мы не имеем достаточных доказательств достоверности слуха (возник-

¹ Стихотворение «Zweites Selbstgespräch» (LB. I, 1, 191 и сл.). Следует обратить внимание на сходство выражений в этом стихотворении и в отрывочных заметках о литературе (111, 217).

новение которого понятно само собой), будто Гердер вознамерился изучать книжную торговлю у Кантера, которому он уже был достаточно отрекомендован своей «Песнью к Киру» и в лавке которого он скоро сделался домашним человеком. Действительно ли такое намерение на минуту зародилось в его уме, или же оно было задумано вместо него его доброжелателями — во всяком случае это было непродолжительное заблуждение, от которого Гердер отказался благодаря другому более соответствовавшему его вкусам проекту, над которым он уже давно призадумывался. Ему помогла счастливая случайность. Он встретился на улице с одним из своих бывших морунгенских школьных товарищей, Эммерихом, который уже был в то время кандидатом на звание церковного проповедника. Гердер воспользовался поощрениями и советами этого товарища и, блистательно выдержав экзамен у декана богословского факультета¹, поступил 10 августа в число студентов богословия. Впоследствии он так рассказывал своей невесте об этом шаге, имевшем решающее влияние на всю его жизнь: «Я поступил в академию, не имея никакого о ней понятия, совершенно одиноким и никому не известным; я не испрашивал дозволения у моих родителей и действовал против воли того, кому они меня поручили; у меня даже не было денег, не было средств существования только на три недели». Нетрудно поверить, что добрый полковой хирург был очень удивлен и недоволен поступком своего любимца и что он попытался уговорить Гердера не отказываться так неблагоразумно от ожидавшего его в будущем счастья. Но образ действий Гердера был вызван не легкомысленной прихотью, а требованиями внутренней необходимости. Он, конечно, отнесся с полным равнодушием к тому, что Трешо, узнав о случившемся, покачал головой и пробормотал какие-то намеки на умышленный обман. Зато мать Гердера лучше понимала мотивы своего Готфрида и от всего сердца одобрила его поступок, а отец Гердера отметил день этого события в служившей для него молитвенником книге Арндта «Истинное христианство» и присовокупил следующие слова: «О невидимый Боже, разоблачающий то, что кроется во мраке, зажги в нем луч веры и действуй в нем духом твоей благодати!».

¹ Другие подробности можно найти в «Воспоминаниях» (I, 54) и у Бацко (LB. I, 1, 156). Время поступления в академию показано не совсем согласно с LB. I, 1, 139, но совершенно согласно с указанием Бацко, сделанным на основании выписки из кёнигсбергской университетской памятной книжки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВРЕМЯ УЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Итак, молодой Гердер стал жить самостоятельной жизнью. Извещая своих родителей о случившемся, он писал, что в течение всей своей студенческой жизни не будет просить у них ни одного шиллинга, так как надеется содержать себя собственным трудом. Жившие в Морунгене доброжелатели снабдили небольшими деньгами бедного юношу, который издержал все, что имел, на обязательные расходы при вступлении в университет; даже Трешо был вынужден из чувства личного достоинства оказать Гердеру свое содействие и прислал ему рекомендательные письма, а в будущем имелась в виду стипендия графа Дона, назначенная для детей морунгенских жителей¹. Кроме того, Гердер нашел помощь в самом Кёнигсберге. В высшей степени вероятно (хотя некоторые другие указания и не сходятся с этой догадкой), что первый дом, в который ему открылся доступ, был дом книгопродавца Кантера. Кёнигсбергские ученые сходились в книжном магазине Кантера для чтения и для разговоров. Наш юный морунгенский уроженец мог вдоволь удовлетворять там свою страсть к чтению, между тем как присутствующие, вероятно, передавали друг другу шепотом, что именно этот бедный и с виду крайне скромный молодой человек был автор того блестящего стихотворения, которое в течение нескольких месяцев ходило у всех по рукам. Но все равно, кто бы ни был первым покровителем Гердера — Кантер, или по просьбе Кантера Кант, или кто-либо другой, — дело в том, что новый студент был немедленно принят в Collegium Fridericianum: из рукописной заметки Гердера видно, что в это заведение, находившееся неподалеку от Крестовых ворот, он перебрался на житье в самый день своего поступления в число учащихся.

¹ Черновая просьба к его сиятельству находится в рукописи в одной из гердеровских записных тетрадок; бумага, написанная в морунгенский магистрат, после того как Гердер получил стипендию на три года, находится в LB. I, 2, 283.

Collegium Fridericianum было, как известно, то самое учебное заведение, которому были обязаны своим образованием в числе других Рункен и Кант; его основание было делом пиетизма, а в ту пору оно еще находилось под руководством вполне почтенного директора, Франца Альбрехта Шульца, который, однако, был заменен летом 1763 г. советником консистории, профессором Даниилом Генрихом Арнольдтом. Управление заведением в сущности находилось в руках обер-инспектора Шифферта, при котором состоял в звании второго инспектора Домсиен. При латинской школе этой коллегии находилось заведение для помещения от 50 до 60 пансионеров, и там было принято за правило, что почти в каждой комнате должны жить два пансионера под присмотром одного студента, носившего название надзирателя¹. Эта надзирательская должность не давала ничего другого, кроме права бесплатно пользоваться помещением, отоплением и освещением, но она доставляла частные уроки, которые довольно хорошо оплачивались богатыми русскими, курляндцами и лифляндцами, находившимися в числе пансионеров. Таким образом, и Гердер мог бы на первое время избежать крайней нужды. Но он был совершенно равнодушен к тому, что ему сначала приходилось довольствоваться в течение целого дня двумя булками; ведь он не был избалован, а сознание, что он сам себе хозяин и что он может, ничем не стесняясь, предаваться своим научным влечениям, заставляло его забывать все остальное. В его памяти еще было свежо воспоминание об унижительной зависимости от Трешо, и он ни за что не согласился бы поступить к кому-нибудь на службу, как бы она ни была прибыльна². В стихах, которые были ему внушены его новым положением, местами слышится чисто студенческая веселость, которая достойна внимания в особенности потому, что в его произведениях не часто сказывается веселое юмористическое настроение. Следующие строки Гердера напоминают раннее стихотворение Лессинга: «Такому, как я, любителю песнопений, много ли нужно! Мое платье позволяет мне не обращать никакого внимания ни на роскошь, ни на зиму, ни на дождь, ни на земные почести; я так же богат, как все поэты, и академически свободен! Я служу только моему желудку и забочусь только о нем, а во всем остальном я пользуюсь полной свободой!»³.

¹ Сравн. составленное Шиффертом достоверное описание тогдашних заведений при Коллегии Фридриха (Кёнигсберг, 1742), и описание Ф. Г. Вальда (История и устав Коллегии Фридриха. Кёнигсберг, 1793).

² Гердер к Гаману (LB. I, 211).

³ Отрывок стихотворения (LB. I, 1, 186).

Устройство заведения было основано на расчете, что можно будет пользоваться педагогическими способностями самих студентов. Преподаванием обыкновенно занимались в нем за очень умеренную плату студенты, изучавшие в Кёнигсберге богословие; поэтому инспекторы мало-помалу возводили в звание преподавателей тех надзирателей, о которых составили себе хорошее мнение. Уже в 1762 г., в день святого Михаила, Гердеру было поручено преподавание в так называемых немецких классах, т. е. в находившейся при коллегии элементарной школе для мальчиков и девочек. Он вырос в сфере школьного преподавания и еще живя в Морунгене временно заменял своего отца с таким знанием дела, что внушил и старым и малым высокое о себе мнение. Его кёнигсбергские начальники также оценили его познания и учительские дарования; уже в следующем году ему было поручено преподавание в третьем греческом, французском, еврейском и математическом классе, а в 1764 г. он преподавал во втором классе латинский язык и поэзию, а в первом классе историю и философию¹. Еще не было примера, чтобы преподавание в высших классах было так скоро поручено такому молодому человеку. Но в Гердере проявился первоклассный талант преподавателя, соединявшийся с аккуратным исполнением долга и с добросовестностью. Мы имеем немало указаний на то, что на воскресных уроках закона Божия он умел, как никто другой, привлекать внимание слушателей, возбуждать умы и согревать сердца и что его юношеское, поистине слишком пылкое и восторженное красноречие в часы, назначенные для общей молитвы, резко отличалось от сухого и усыпительного тона других наставников. Недаром же он вписал в свои тогдашние тетрадки из статьи Лессинга о басне прекрасное указание, каким должно быть преподавание, возбуждающее умственную деятельность. В этих записных тетрадках немало указаний на преподавательскую деятельность Гердера в коллегии Фридриха, начиная с больших и мелких статей, по-видимому служивших подготовкой к урокам или к школьным упражнениям в декламации, и кончая лаконическими заметками о поведении и успехах воспитанников; вместе с тем встречаются черновые наброски молитв и толкований катехизиса. Во всем этом с трудом можно усмотреть следы живой умственной деятельности молодого педагога; но там есть по меньшей мере две статьи, написанные Гердером в последнюю эпоху его преподавательской деятельности в Кёнигсберге

¹ Гердер к Линднеру (LB. I, 1. 312) и Бацко (LB. I, 1, 158).

с предвзятым намерением выказать свои педагогические дарования: они близко знакомят нас с его способом преподавания и в особенности с его школьной риторикой. Первая из этих статей — длинная латинская декламация, прочитанная на Святой неделе 1764 г. по случаю училищного акта одним из учеников Гердера, но очевидно составленная самим учителем; вторая — речь на немецком языке, произнесенная по такому же случаю самим Гердером¹.

В особенности характеристична первая из этих статей. Какой в ней не классически, не свойственный римлянам латинский язык, полный обращений к слушателям, украшений и метафор! Человек, привыкший читать произведения Цицерона, стал бы отkreшиваться от этих немецко-варварских нововведений. Что это за бессвязное смешение прозаических и поэтических выражений, частью собственного изделия, частью вычитанных у различных писателей! Отсюда видно, что задолго до того времени, когда Гердер стал публично восставать против господствовавшего в школах «латинского духа», он придерживался в своем собственном преподавании того принципа, что иностранный язык не должен стеснять свободное развитие юношеского ума и что варварский латинский язык все-таки лучше педантического. Судя по этой речи, произнесенной на публичном акте, следует полагать, что Гердер слишком быстро и смело обходил грамматические формы из желания познакомить своих учеников с поэтически-риторическим направлением писателей и поэтов и что эти ученики усваивали не столько дух римского языка, сколько лич-

¹ Первая из этих статей напечатана в LB. I, 1, 284. Та же декламация сохранилась в рукописи в одной из гердеровских тетрадок в осьмую долю листа, но в менее полной и несколько измененной форме, под заглавием: «*Ineunte hominis aetate maximis commodis ac periculis obnoxiam. Examinis vernalis oratio 1764*». Немецкая речь, также в измененной форме, помещена в рукописи в той же тетрадке с надписью: «Пределы прилежания, с которым мы должны заниматься изучением родного языка и ученых языков»; она напечатана в LB. I, 2, 151, а переделанная в форму диссертации под заглавием: «О прилежном изучении нескольких ученых языков», она помещена в ученых приложениях к рижскому указателю на 1764 г. (с. 24); теперь ее можно найти в SWS I, 1 и сл.; сравн. введение, с. XVII. На основании этого напечатания в приложениях к рижскому указателю и на основании гердеровского письма к Линднеру (LB. I, 1, 316) Суфан в статье «Рижские ученые приложения и участие в них Гердера» (VI том журнала Гёпфнера и Захера для немецкой филологии) имел право прийти к заключению, что обе речи Гердера принадлежат к его школьным упражнениям в Кёнигсберге. Эта догадка вполне подтвердилась открытием приписок к тем тетрадкам, которые бесспорно относятся ко времени пребывания Гердера в Кёнигсберге.

ные приемы своего наставника, его обыкновение употреблять резкие выражения и сопровождать их оживленными жестами.

Вторая статья, т. е. немецкая речь Гердера, приводит нас к такому же заключению. Она написана на следующую тему: «Пределы прилежания, с которым мы должны заниматься изучением родного языка и ученых языков». Здесь мы находим немало таких оборотов речи, которые потом встречаются в первых литературных произведениях Гердера; здесь даже не найдется ни одной мысли, которая не развивалась бы далее в тех произведениях. Отсюда видно, что у Гердера рано и прочно сложились некоторые основные убеждения и что его педагогическая деятельность была вполне согласна с его позднейшими мнениями, сочинениями и стремлениями. Он говорил правду, когда в конце своего школьного преподавания в Кёнигсберге писал ректору Линднеру в Ригу, что он «не ради одной прибыли» занимался школьным преподаванием, из которого извлек на опыте много сведений и наблюдений. Избранная им тема уже прямо указывает на то, что впоследствии служило основой для его суждений о литературе, — на отношение языка к мышлению; с другой стороны, он в самом начале речи называет эту тему чрезвычайно важной в педагогическом отношении; по его мнению, эта тема есть «нечто вроде центрального пункта в сфере нашего школьного образования». Поэтому он с энергией и очень решительно восстает против педантизма в изучении ученых языков. «Средним векам, — говорит он, — а не нашему времени прилично создавать рабских подражателей Горация и Вергилия и преклоняться перед римским языком, как перед нашим единственным властителем. Главное достоинство древних языков заключалось именно в том, что они были родными языками для тех, кто ими мастерски владел. В наше время был бы не более как смешным всезнайкой такой ученый, который знает иностранные языки, а в своем родном языке невежда, который изучил самые мелкие просодические оригинальности Анакреона и Лукреция, а новейшими отечественными поэтами пренебрегал. Изучение иностранных языков должно возбуждать, обогащать и развивать наш ум, но руководящей нитью в этом лабиринте должен служить для нас родной язык, и стало быть ему должны мы посвящать наши первые труды». Все это высказывалось с таким юным, самоуверенным и бойким красноречием, какого никогда еще не слыхали в церкви училища, которая была в то же время и аудиторией. Речь начинается в духе Руссо упоминанием о временах патриархов и ссылкой на рассказ «нашего Откровения» «о смуте, вызванной вавилон-

ским столпотворением»; она заканчивается той цитатой из «Весны» Клейста, на которую Гердер ссылался и впоследствии¹.

В Кёнигсберге, конечно, было немало людей, знакомых с новейшими произведениями немецкой поэзии: ведь еще вокруг Симона Даха группировалось общество, интересовавшееся поэзией; со времен Готшедова наставника, Пича, изящная словесность постоянно имела в университете своего представителя, а молодой магистр Линднер с успехом учил стихотворному искусству и красноречию. Однако есть основание полагать, что всем казались несколько странными и поэтизированной латынь молодого Гердера, и его пылкая риторика, и вообще все его высокопарное эстетическое направление. Он был наставником и всеми любимым, и в высшей степени возбуждавшим деятельность ума, и примерно усердным; но никому не нравилось, что он не соглашался носить парик, а его непринужденность в манере себя держать не подходила во многих отношениях под набожный и педантический тон заведения.

Говоря о Гердере как об учителе, мы совершенно потеряли из виду Гердера как учащегося; однако сам он смотрел на приобретение знаний как на свою главную цель. В одном письме к Гаману он говорит, что «скипетром коринфского Дионисия он добывал свободное время для приобретения познаний»². Как же шли эти ученые занятия? Не найдем ли мы указаний на их ход в неоднократно нами упомянутых записных тетрадках?

К сожалению, такие указания не соответствуют количеству исписанной бумаги. Мы должны довольствоваться тем, что в разных набросках и заметках находим некоторое подтверждение того, что мы узнали из первых сочинений Гердера (как изданных в свет, так и оставшихся недоконченными на письменном столе) о подготовительной к ним работе. Не только в одном откровенном дружеском сообщении³ Гердер признается, что «почти совершенно сам теряется от своего беспорядка», но даже там, где он всего основательнее проверяет самого себя, в своих путевых записках 1769 г., он говорит о «страшной склонности своего характера к беспорядку» и укоряет себя за то, что «читает слишком много, без достаточного внимания и без надлежащей последовательности»; при этом он, натурально, высказывает намерение излечить себя от этого недостатка и отучиться от этих

¹ Орывочные заметки. III, 78.

² LB. I, 2, 178.

³ К Шеффнеру (LB. I, 2, 355).

привычек. Однако он уже с давних пор высказывал такие же добрые намерения, но постоянно подчинялся своим природным наклонностям. Что бы он ни предпринимал, порядок казался ему самой настоятельной необходимостью; но лишь только он пытался безусловно подчиниться требованиям порядка, его способности оказывались совершенно парализованными. Действительно, его гений выказывался всего ярче тогда, когда выступал из им самим проложенной колеи и выходил из им самим намеченных рамок. Его первая записная тетрадка была заведена еще в 1761 г. в Морунгене; на ней был выставлен заголовок «в помощь памяти» и она была снабжена следующим эпиграфом из сочинений Крейца: «Мудрец тот, кто меньше читает, чем мыслит, и меньше пишет, чем читает». Нам понятно желание ревностного к учению юноши снабдить хорошо переплетенную тетрадку эпиграфом и разделить ее на части. На первом плане стояло богословие; затем следовали отделы философии, истории, поэзии, красноречия, географии и физики; кроме того, был особый отдел для «практических заметок», а в конце была отдельная рубрика с надписью: «литературная смесь». Итак, перегородки были поставлены, но поэтически настроенный юноша поспешил наполнить в алфавитном порядке только отдел поэзии: это были частью обороты речи и картинные выражения того или другого поэта, частью собственные имена поэтов и писателей с заметками Гердера или без всяких заметок. Гердер не был в состоянии делать выписки, придерживаясь какой-нибудь методы. Тетрадка сопровождала его из Морунгена в Кёнигсберг; тогда намеченный им заранее порядок был нарушен избытком впечатлений, которые он выносил из чтения, из лекций и из преподавания; тогда пустые страницы тетрадки наполнились перемешанными без всякого порядка заметками, извлечениями и сведениями всякого рода, слегка набросанными размышлениями, надписями и в особенности стихами, в которых постоянно что-нибудь зачеркивалось и переменялось. Впоследствии Гердер взял с собой эту тетрадку при переезде из Кёнигсберга в Ригу; он предполагал наполнить места, оставшиеся пустыми как в ней, так и в других вновь заведенных тетрадках, но вышло не то, что предполагалось: тетрадка была положена низом вверх и исписана в направлении от ее последней страницы к первой. Там, точно в чулане для всякого хлама, была навалена годная для употребления домашняя утварь вместе с разной дрянью, а когда свободное место стало суживаться, прибавки вставлялись куда попало. Гердер снова пытался лучше распределять свой материал, но располо-

женные в хронологическом порядке заметки занимают в тетрадке лишь небольшое место.

Само собой понятно, что при таком беспорядочном распределении заметок нам нелегко ими пользоваться и что взятые сами по себе, без всяких других побочных указаний, они не могут дать нам точных сведений о последовательности и ходе ученых занятий Гердера. Мы должны довольствоваться тем, что они дают нам общее понятие о многосторонней деятельности Гердера, о разнообразии книг, которые он читал, о частой замене одних занятий другими, — тем, что они дают нам хоть какое-нибудь понятие о методе или об отсутствии всякого метода в выборе книг для чтения, в ученых занятиях и в изложении собственных мнений Гердера; кроме того, они позволяют нам заглянуть в далеко не изящную лабораторию его поэтических произведений. Вместе с этим в них ясно заметно стремление к правильной и целесообразной методе в приобретении научных познаний. Неоднократно встречаются намеки на то, как следует читать, чтобы скорей достигнуть цели; юный студент подчеркнул выписанный из смешанных произведений Геллерта совет разделять все прочитанное на части «так же аккуратно, как если бы мы сами писали», — и Гердер до некоторой степени придерживался этого правила. В своих экстрактах он старался излагать в строгой последовательности содержание книги; но оттого ли, что его ум работал слишком быстро, или оттого, что у него не доставало терпенья, почти все эти выписки имеют вид отрывков. Более строгого порядка он придерживался в тех случаях, когда записывал начерно то, что сам сочинял. Такие наброски, казавшиеся ему необходимыми для всех его статей, были согласны с логически-схоластическими приемами того времени, вполне подчинявшегося влиянию Вольфовой философии; они неоднократно переписывались, при переписывании расширялись и переделывались и нередко разделялись на самые мелкие составные части; но при более тщательном рассмотрении они оказываются скорее внешними подмостками для стекающихся в изобилии идей, чем истинно даровитым и строго логическим распределением этих идей по отделам.

В просьбе об аттестате, отправленной в морунгенский магистрат, Гердер подписался так: изучающий философию и богословие; он поступил в коллегию в качестве студента богословского факультета, но именно о ходе его богословских занятий мы не имеем почти никаких точных сведений. То, что ему дал в этом отношении университет, было частью незначительно, частью ново. Он едва ли мог многому научиться от Кипке, который

в своих объяснениях Ветхого Завета не заходил далее книги Бытия и ветхозаветных исторических книг. Арнольдт читал лекции о нравственной теологии и о духовном красноречии, а Лилиенталь — о церковной истории, догматике и пасторской технологии¹, но оба преподавателя придерживались того направления, которое Гердер уже достаточно изучил в школе и из уроков Вилламовиуса и Трешо. Это была ортодоксальная точка зрения, смягчавшаяся духом пиетизма и заимствовавшая от Вольфовой философии способы объяснения своих формул. Именно в то время Арнольдт писал свои «основанные на разуме и на Священном Писании размышления о житейских обязанностях христианина»; эту ученую книгу, заключающую в себе около двух тысяч параграфов, Гаман охарактеризовал столько же метко, сколько язвительно, похвалив ее за последовательность выраженных в ней идей, «которая оказывается тем более строгой, чем более она произвольна»². Более влиятельным и более ученым преподавателем был Лилиенталь. Это был человек лет тридцати пяти, пользовавшийся уважением и симпатиями учащейся молодежи, на которую он производил своими лекциями сильное и полезное влияние, а свои ученые познания он изложил в многочисленных обзорах касательно феопнестии³ и в особенности в четырехтомном сочинении, в котором он старался защитить от нападок «благое дело божеского откровения». Как кажется, именно ему Гердер был всего более обязан своими богословскими познаниями, и от него получил самые сильные побуждения к дальнейшей работе; Гердер всегда вспоминал о нем с признательностью, а в богословских письмах 1780 г. (I, 61) советовал искавшим его указаний теологам обращаться к этому, быть может, не в меру точному и пунктуальному «защитнику Священного Писания»; он называет сочинение Лилиенталья «сборником противоположных мнений, морем учености, обзором возражений и вызванных ими ответов». Не подлежит сомнению, что совесть и ум Гердера без колебаний и довольно долго не выходили из колеи этого нравоучительного богословия, державшегося середины между рассудком и откровением; метод его наставников ясно распознается во многих заметках его студенческих тетрадок, в которых нападкам на учение церкви противопоставляется по пунктам *responsio*⁴, точь-в-точь как это делали схоластики. Однако из других заметок

¹ Все это извлечено из списка читавшихся в Кёнигсберге лекций.

² Соч. Гамана. III, 251.

³ Внушение от бога (*греч.*). — *Прим. ред.*

⁴ Ответ (*лат.*). — *Прим. ред.*

видно, что Гердер отнюдь не довольствовался тем, чему мог научиться из лекций. При его сильной склонности к чтению, конечно, не могли ускользнуть от его внимания новейшие явления в сфере богословской литературы. Нашему юному богослову приходились по вкусу уклонения, которые позволял себе Гейльман в своей догматике от более сдержанного образа мыслей своего наставника С. И. Баумгартена. Но всего более он сочувствовал еретическим принципам Землера, этого великого нововводителя, славившегося в Галле. Зачатки его собственной литературной деятельности, о которых сейчас будет идти речь, доказывают нам, до какой степени была поколеблена или, верней, ослаблена его вера в церковь, как была не тверда — несмотря на влияние Лилиенталя — его вера в откровение, как он мало-помалу увлекся тем направлением, представителями которого были, кроме Землера, Эрнести и Михаэлис и которое считало историческую точку зрения, критику и объяснение Библии за необходимую основу для установления догматов.

Впрочем, его сочувствие к либеральным богословским воззрениям объясняется в значительной мере тем, что влечения его ума заходили много далее специально-богословских познаний. Еще живя в Морунгене, он находил удовольствие в чтении произведений древних писателей и сочувствовал оживлению, которое обнаруживалось в немецкой поэзии и изящной словесности, а в университете он почувствовал влечение к философии, о которой школа дала ему лишь самые поверхностные понятия. И лекции о физике, которые читал Теске, и лекции о математике, которые, по мнению Беттигера, он слушал у Бука¹, и даже лекции богословия имели в его глазах гораздо менее значения, чем лекции о философии, которые читал магистр Кант. Можно признать за общее правило, что именно самые даровитые студенты заимствуют от какого-нибудь одного выдающегося преподавателя гораздо более руководящих идей, чем от всех остальных преподавателей, взятых вместе. Все, что отзывалось ремеслом и старыми привычками, имело в Кёнигсберге многочисленных представителей, а для ума был только один. Несмотря на то что Кант все еще был в ту пору приват-доцентом и оставался в этом звании до 1770 г., он затмевал всех своих сотоварищей обширностью своих познаний, богатством и самостоятельностью своего ума, равно как привлекательностью своего изложения. Он не был членом фа-

¹ Указания Беттигера (см.: *Böttiger. Lit. Zustände und Zeitgenossen I*, 128), очевидно, неточны.

культета, а составлял сам собой целый факультет. А так как его слава с течением времени все увеличивалась, то он сделался для молодого Гердера настоящей путеводной звездой. В том факте, что Гердер слушал лекции Канта и вел с ним знакомство, заключается почти все значение, какое имели для Гердера занятия в Кёнигсбергском университете.

Кантер рекомендовал молодого студента своему другу — приват-доценту, а Кант, очень скоро заметивший дарования и прилежание юноши, дозволил ему слушать свои лекции безвозмездно. Эти лекции обнимали логику, метафизику, нравственную философию, математику и физическую географию. Гердер — как он сам это утверждает¹ — слушал все эти лекции, а некоторые из них по несколько раз. 21 августа 1762 г. он в первый раз сидел в аудитории магистра. В его студенческой тетрадке записано не только число месяца, но и содержание лекции. Незадолго до окончания семестра и в конце лекций о метафизике Кант обсуждал вопрос, можно ли допустить существование других духов, кроме человеческой души. Приводя разные забавные анекдоты, он с привлекательной иронией нападал на веру в домашних и нечистых духов, в привидения, в колдовство и в чертей. Он доказывал, что всегда следует предпочитать натуральное объяснение того, что мы принимаем за привидение; вместе с этим он обнаруживал готовность разделить мнение докт. Землера, что все новозаветные рассказы об одержимых бесом следует объяснять снисходительностью Иисуса и апостолов к предрассудкам иудеев. Вслед за тем он разрешал проблему, должны ли духи непременно иметь телесную оболочку, — разрешал ее так же, как в более позднюю пору в «Грезах духовидца». От общего учения о духах, от пневматологии, он перешел к высшему духу и вместе с тем к *theologia naturalis*. По его мнению, хотя *theologia revelata* (так понял наш юный богослов слова Канта) и принимает без доказательств принцип существования Бога, однако изложение разумных доказательств служит на пользу самой религии, так как приводит нас к правильным понятиям о Боге, предохраняет от вольнодумства, способствует как развитию умственных способностей, так и нравственному образованию.

Гердер немедленно сделался самым ревностным слушателем даровитого философа. В письме к Эйхгорну² он говорит, что благодаря Канту философия сделалась «любимой сферой занятий

¹ Kalligone. I, XX.

² Письма от Гердера и к Гердеру (*Dünßer C*, II, 312).

его юности». При своей юношеской восторженности он воображал, что переселился в новый, более возвышенный мир, и по мере того, как он выходил из своего прежнего тяжелого положения, его кругозор значительно расширялся. Аполлон снял с него прежние оковы: «Я стал смотреть на все земное с более высокой точки зрения, и она навела меня на Канта!» То же замечание встречается в его поэтической исповеди: «Озаренный ярким светом, я любовался танцами темпейских муз — и слушал Канта! Я осмеливался вполголоса напевать новую песню и уклонялся в сторону вслед за Бэконом»¹. Из этих слов видно, что слушание лекций Канта произвело решительный переворот в его жизни. Тот отрывок из шестого сборника его писем о гуманизме, на который часто делаются ссылки, служит лучшим доказательством того, какое глубокое впечатление производили на него такой наставник и такие лекции. Ведь этот отрывок, написанный в такое время, когда Гердер и Кант уже стали враждебно сталкиваться в своих воззрениях, очевидно был внушен живучими воспоминаниями о прежде испытанных впечатлениях. «Я имел счастье, — говорится в этом отрывке², — познакомиться с философом, который был моим наставником. В самые цветущие годы своей жизни он обладал веселой бодростью юноши... Его открытое, созданное для мышления чело носило отпечаток несокрушимой веселости и радости; из его уст текла речь, отличавшаяся богатством мыслей; шутка, остроумие и юмор были в его распоряжении, а его поучительные лекции были самой приятной беседой. С тем же настроением ума, с каким он рассматривал произведения Лейбница, Вольфа, Баумгартена, Крузиуса, Юма и изучал естественные законы по Кеплеру, по Ньютону и по другим сочинениям о физике, он относился к появлявшимся в то время произведениям Руссо, к его „Эмилю“ и „Элоизе“, равно как ко всем открытиям в сфере естественных наук; он оценивал эти труды по достоинству, но постоянно возвращался к беспристрастному изучению природы и к нравственным достоинствам человека. История человечества и различных народов, естественная история, изучение природы, математика и собственный опыт — вот те источники, из которых он черпал воодушевление для своих лекций и для своей беседы; он не оставался равнодушным ни к чему, что было достойно изучения; никакая интрига, никакая секта, никакая выгода, никакое удовлетворение личного честолюбия не имели

¹ Юношеские стихотворения (LB. I, 1, 187 и 227).

² С. 172.

для него ни малейшей привлекательности в сравнении с распространением и объяснением истины. Он поощрял и мягко принуждал к самостоятельности в мышлении; его характер был чужд деспотизма. Этот человек, имя которого я произношу с глубочайшей признательностью и с высоким уважением, был Эммануил Кант. Я с удовольствием припоминаю черты его лица». Сердечная теплота, с которой здесь отзывается Гердер о своем бывшем наставнике, конечно, когда-то доходила до жара раскаленного железа. Именно такой она является в тех гиперболических выражениях, которые употребляет юноша в конце своей поэмы, наполненной причудливыми мечтаниями о прошедшем, настоящем и будущем. Если, говорит он¹, время, все разрушив, похоронит своего любимца в своих недрах и затем раздует для себя огонь крыльями Феникса, тогда пусть горит и твое имя, Кант, чтобы ярче всего освещать ночь вечности!

Такова была в то время обыкновенная температура его сердечной привязанности к Канту; ведь точно такими же стихами превозносил он «божественного» Канта в конце посвящения, с которым передал ему свои метафизические упражнения — статью «О бытии», развивающую лишь такие воззрения, для которых служили первыми посылками слова наставника.

С каким рвением он старался усвоить и изложить все слышанное им на лекциях, видно из рукописи в полтора листа, которая сохранилась в числе оставшихся после него бумаг и в которой чернила уже почти совершенно стерлись; то же видно из некоторых других письменных заметок, большей частью касающихся метафизики; в них мы находим подтверждение того, что нам известно об образе действий Гердера из его собственных рассказов и из рассказов его тогдашних товарищей. Он, как видно из этих рассказов, имел обыкновение записывать у себя дома содержание философской лекции в таком виде, что мог сообщить написанное своим друзьям и потом подвергать его объяснительному толкованию.

Но ученик не довольствовался тем, что зрело обдумывал и уяснял слышанное. Величественная простота, с которой Кант обсуждал самые высокие научные вопросы, воспламеняла поэтические влечения юноши. В своей душе, стремившейся преимущественно к тому, что возвышенно, Гердер — по примеру Галлера, Уца и Крейца — превращал метафизические темы в поэтические и вторил прозе наставника смелыми дифирамбическими

¹ LB. I, 1, 199.

аккордами. Один из его товарищей¹, слушавший вместе с ним лекции, рассказывает, что однажды Кант говорил о времени и вечности с необычайным воодушевлением; эта лекция произвела на Гердера такое сильное впечатление, что, возвратившись домой, он облек мысли своего наставника в стихи; это были, по словам самого Гердера², «неясные и негладкие стихи», но они напоминали Канту тон его любимых поэтов Галлера и Попа, и он прочел их утром следующего дня в аудитории с одобрительным воодушевлением. Как кажется, именно это стихотворение пропало бесследно, так как то было другое стихотворение, которое сохранилось в многочисленных рукописных экземплярах и носит заглавие: «О человеке»; это последнее также было передано Канту, а автор впоследствии сам признал его негодным, как «отрыжку желудка, переполненного сочинениями Руссо»³. Впрочем, и в напечатанных, и в рукописных сочинениях Гердера нет недостатка в других образчиках такой же тяжеловато-возвышенной и наполненной философскими идеями поэзии. Именно на тему «время и вечность» он написал несколько недоконченных стихотворений; а некоторые другие поэтические наброски — как например тот, на котором поставлена в ноябре 1763 г.⁴ надпись «Теодицея», — напоминают идеи Канта о мироздании в том виде, в каком они развиты во «Всеобщей естественной истории и теории неба».

Таким образом, в душе юноши сталкивались влечения к поэзии с влечениями к философии. Его поэтические парафразы философских идей служат лучшим доказательством того, что занятие одними отвлеченными идеями не наполняло его ума и что он не мог долго им довольствоваться. Поэтому очень правдоподобен рассказ сочинительницы «Воспоминаний» со слов ее супруга, что Гердер, прослушав несколько лекций о метафизике, брался за произведения какого-нибудь поэта или за произведения Руссо и других подобных ему писателей и искал в них отдыха от того умственного напряжения, которого требовали лекции.

¹ Крисрат Бок (LB. I, 1, 135).

² К Канту (LB. I, 2, 299).

³ Шеффнер к Гердеру (LB. I, 2, 283) и Гердер к Шеффнеру (Там же. 290). Один отрывок отсюда был вставлен в 1765 г. Гердером в неоконченную статью, которая должна была дальше развить его публичную речь в рижской школе «о грации в школе» (LB. I, 2, 66). Мы оказываем поэту услугу тем, что ограничиваемся этим образчиком его поэзии и тем, который приведен в примечаниях Суфана (SWS. I, 547).

⁴ LB. I, 1, 200.

Правдоподобно и то, что он всего охотнее слушал лекции Канта об астрономии, о физической географии, вообще о главных законах природы, и находил в них больше удовольствия, чем в лекциях о метафизике. В бумагах Гердера, относящихся ко времени его пребывания в университете, сохранилась вполне и в чистом виде только та тетрадка, в которой записывались лекции Канта о физической географии. Без сомнения, именно эти лекции он имел в виду, когда в одной из произнесенных в веймарской школе речей вспоминал «об утренней заре своей жизни»; «тогда, — говорил он, — моя душа впервые познала эти истины; они перенесли меня за пределы моей родины в бесконечный мир Божий, в котором плавает наш земной шар».

Но, с другой стороны, разве метафизика Канта находилась в таком резком противоречии с его другими, более доступными для понимания, лекциями? Разве он когда-нибудь бывал на кафедре таким сухим, мелочным мечтателем, за какого его выдают «Воспоминания» — очевидно, имея в виду его позднейшие критические сочинения? Излагая в своих путевых записках полный план школьного образования, Гердер требует места и для метафизики, но с тем, чтобы она состояла не из бессодержательных умозрений, а «из результата всех опытных занятий» — например, чтобы психология была не чем иным, как «богатой физикой души», чтобы космология была не чем иным, как «венцом Ньютоновской физики» и преподавалась совершенно по-Бэконовски. «Эти науки требуют живого преподавания, — восклицает он (и мы легко догадываемся, кем были внушены такие требования), — такого живого преподавания, которое было бы в духе Канта; эта были бы божественные лекции!»¹ Такими божественными лекциями, очевидно, были для него все лекции Канта, как метафизические, так и более доступные для понимания. Его постоянно и во всем пленяли у Канта способ изложения и метод, который мог быть особенно привлекателен преимущественно в преподавании наук, основанных на опыте. Между всеми университетскими преподавателями один Кант не был, по мнению Гердера, «педантом»². В его лекциях всего более нравились Гердеру свобода, понимание общих интересов всего человечества, гениальность и сочетание отвлеченных идей с богатым запасом конкретных понятий. Гердер видел и любил в Канте не столько философа, сколько превосходного преподавателя философии.

¹ LB. II, 214, 215.

² К Гаману (LB. I, 2, 178).

В этом отношении он был одного мнения со своими современниками, между которыми еще ни один не предвидел в то время, что неважный кёнигсбергский магистр прольет совершенно новый свет на философию. Сочинения Канта еще не пользовались большим уважением, а его имя затмевали имена Мендельсона и Зюльцера. Это ошибочное понятие о Канте поддерживалось самим Кантом из скромности, а Гердер, понятно, также его придерживался. К сожалению, Гердер не привел в исполнение своего намерения написать, по совету Гамана, для Кёнигсбергской газеты разбор сочинений Мендельсона и Канта об «очевидности»¹, из которых первое было удостоено главной премии, а второе — второстепенной. Впоследствии он также не исполнил своего намерения² рассмотреть в продолжении «Отрывочных заметок» «с надлежащей ясностью» юношеские сочинения Канта, еще никогда не подвергавшиеся основательной и подробной критике, и доказать, что Мендельсон в своей рецензии кантовского сочинения «Единственно возможная основа доказательств», очевидно, не понял автора. Однако, когда он в течение следующих лет неоднократно жаловался на то, что «путь к истинной философии занесен пылью», он называл представителями этой истинной философии³ Вольфа и Баумгартена, Кестнера и Реймаруса, Зюльцера и Мендельсона, не упоминая о Канте, и только в 1774 г. в назначенной для Кёнигсбергской газеты статье робко высказал мнение, что Кант должен стоять выше Зюльцера и Мендельсона⁴. Что он относился с полным сочувствием и с самым живым интересом только к философским приемам своего наставника и к литературной форме его лекций, всего яснее видно из помещенной в 1766 г. в Кёнигсбергской газете⁵ единственной рецензии, какую он написал прямо на одно из сочинений Канта — «Грезы духовидца, объясняемые грезами метафизика». В то время он уже не находился под непосредственным влиянием Канта и считал себя вправе высказывать в своей рецензии возражения против гипотез наставника — впрочем, такие возражения, которые не имели большой важности или же были вызваны недоразумениями; напротив того, он восхищался «изящным и привлекательным способом изложения», «непритворным юмором рассказчика и

¹ Гаман к Линднеру (Соч. Гамана. III, 227).

² Гердер к Шеффнеру (LB. I, 2, 240).

³ Четвертое KW (LB. I, 3, b, 444) и к Николаи (*Dünßer A*, II, 214). И в черновой (SWS. I, введ. С. XXXV) Суфан заметил отсутствие имени Канта.

⁴ См. *Wiedergefundene Blätter zu Herders Schriften*.

⁵ SWS. I, 125 и сл.

философа, который скрывает под мнениями принципы, под анализом сомнения и таким образом нередко напоминает юмор Тристрама Шенди». Гердер ценит в Канте не столько философа, сколько гениального человека, когда называет его (как кажется, намекая на статью «О телесных болезнях») «великим наблюдателем душевных болезней» и (очевидно, имея в виду «Всеобщую естественную историю и теорию неба») говорит о его «творческой философской фантазии». Наконец, он ставит Канта наряду с Сократом за то, что «он удачно держится аналитического способа, всегда будучи готов философствовать». Гердер, конечно, не оставлял без внимания ни одного из появлявшихся в тот период времени произведений своего наставника; так в его кёнигсбергских заметках есть выписки и из сочинения Канта «О ясности принципов и т. д.» и из сочинения «О единственно возможной основе доказательств и т. д.»; но из всех сочинений Канта ему всего более нравилось то, в котором не было никакой метафизики и которое более всех других удовлетворяло его эстетические вкусы, а именно «Наблюдение над влечениями к изящному и возвышенному». Орывки из этого сочинения были постоянно присущи его памяти¹. Имея его в виду, он неоднократно ставил Канта наряду с авторитетами по эстетике, наряду с Мендельсоном и с Зульцером, с Винкельманом и с Бурке. И о сочинении Канта «О развитии морали», о котором Кант писал ему в Ригу, он составил себе такое понятие, что оно будет развивать понятие о добре так же, как ранее упомянутое нами сочинение развивало понятия о прекрасном и возвышенном². Основываясь на этом последнем сочинении, он осыпает автора самыми горячими похвалами и, как бы в противоположность с настоящим философом по ремеслу, называет его «настоящим наблюдателем общественной жизни, вполне образованным философом, философом гуманности, и в этой гуманной философии немецким Шефтсбери» — таким философом, как он выражается в другом месте³, который «нравится ему в особенности тем, что философствует в духе Юма». И наряду с «Наблюдениями» он ставит «Всеобщую есте-

¹ Орывочные заметки. I, 60; II, 254 («философ»); в статье о немецком театре, предназначенной служить продолжением «Орывочных заметок» (LB. I, 3, а, 48 — «писатель с философским образом мыслей» с намеком на «Beobachtungen», сочинение Канта по первому изданию Гартенштейна. VII, 425); четвертое KW (LB. I, 3, b, 451 и 486); KW. II, 136; Kalligone. III, 15.

² Письмо к Канту (LB. I, 2, 299).

³ В одной рукописной заметке на одной из записных тетрадок; соответствует KW. II, 136.

ственную историю и теорию неба»! И это сочинение, которое он наперекор Лафатеру называл¹ «первым поистине юношеским произведением Канта», он цитировал с удовольствием и долго причислял к разряду хороших; но когда стало усиливаться его раздражение против Канта, он в «Адрастее» (III, 258) высказал менее благосклонное мнение и об этом произведении Канта, и о «Грезах духовидца».

Выводя общий результат из всего сказанного, мы приходим к заключению, что не тогдашний Гердер или по меньшей мере не Гердер-студент усматривал указываемое в «Воспоминаниях» резкое различие между лекциями Канта о метафизике и другими его лекциями. Едва ли и сам Кант усматривал такое различие: в его полном жизни преподавании метафизика, в собственном значении этого слова, утрачивала свою неудобопонятность, и все, что достойно знания, излагалось в ней в связи с высшими философскими вопросами. Но еще гораздо менее основательно, еще более похоже на анахронизм другое высказываемое в «Воспоминаниях» мнение, будто Кант 60-х годов был увлекательным систематиком и будто уже в то время Гердер старательно предохранял себя от такой манеры все приводить в систему. Сам Гердер старался распространять это мнение в такое время, когда действительно могла идти речь о кантовской системе; причиной этого была раздражительность, с которой Гердер в то время восставал против этой системы. Он поступил так в предисловии к «Kalligone», написанном в 1800 г.; там он снова говорит о своих прежних отношениях к Канту, но (как было основательно замечено²) с явным намерением ослабить свой прежний отзыв о Канте, помещенный в «Письмах о гуманизме». Хотя он и повторяет в том предисловии прежние похвалы кантовского преподавания, но приплетает к ним такие оговорки, которых прежде не делал. Он утверждает, что с интересом слушал лекции кёнигсбергского философа, но вместе с тем относит свои возражения против критической философии Канта к такому прошлому, когда критическая философия еще не выходила из своих пеленок. «Юноша, — так рассказывает Гердер о самом себе, — удивлялся диалектической ловкости наставника, политической и научной проницательности его ума, его богатой познаниями памяти; язык всегда был послушным орудием в устах лектора; его лекции были остроумны-

¹ *Dünßer A*, II, 24; сравн. рецензию второй части писем о «Развитии вкуса» в Кёнигсбергской газете 1766, с. 6 (SWS. I, 116); Мысли о философии. I, 4 и 10.

² Сравн. Суфана «Гердер как ученик Канта» (*Zeitschrift für deutsche Philologie*. T. IV. С. 233, 234).

ми беседами с самим собой, приятными разговорами. Но юноша скоро убедился, что если он увлечется привлекательностью изложения, то будет опутан тонкой диалектической сетью слов, внутри которой сам перестанет мыслить». Поэтому он строго держался правила после каждой лекции излагать все слышанное своим собственным языком, не употреблять никаких любимых слов и оборотов речи своего наставника и даже тщательно их избегать. Именно потому он и соединял со слушанием лекций чтение лучших древних и новых писателей — Платона, Бэкона, Шефтсбери, Лейбница; этим способом он сохранил такую гибкость и независимость ума, что «никогда не чувствовал себя более свободным и более далеким от системы своего наставника, чем в то время, когда робко преклонялся перед его остроумием и проницательностью». Из этого правдивого рассказа ясно видно, каким образом Гердер мог записывать лекции, не сознавая, что преднамеренно и грубо искажает их. Ведь с достаточной ясностью доказано, что, желая уяснить содержание лекций, он самостоятельно их переделывал и вместе с тем изучал произведения других философов¹. Мало того, чем дольше он слушал Канта, тем менее обнаруживал склонности безусловно подчиняться его влиянию. Ни Пиндар, ни Шекспир и, конечно, также ни Кант не могли заставить его «отказаться от самого себя»². Он слушал лекции точно так же, как читал «Письма о литературе», произведения Винкельмана, Лессинга, Гамана и тех людей, к которым он питал самое горячее сочувствие и в лице которых чтит своих главных руководителей: он постоянно восхищался тем, что читал, но вместе с тем ко всему относился критически; он всегда заходил дальше того, что узнавал из книг, всегда был недоволен сначала мнениями других, а потом и своими собственными. Но разве мог он быть недоволен и философской системой своего наставника? Какая же была в то время «система» у Канта? Кто же поверит Гердеру 1799 г., что уже слишком за тридцать лет перед тем ему были известны основные положения, из которых возникла «Критика чистого разума»?³ И можно ли с этим согласовать отзывы самого Гердера о способе преподавания Канта, можно ли

¹ К обстоятельной проверке лекций его побуждали, между прочим, примечания Зульцера к переводу сочинения Юма «Философические заметки о человеческом сознании». На страницах, исписанных, быть может, в связи с сочинением статьи «о бытии», сопоставляются воззрения философов английского и немецкого, для того чтобы потом решить, который из них стоит выше.

² Сравн. в юношеских стихотворениях (LB. I, 1, 170 и 194).

³ Метакритика. Предисловие I, XVII.

с этим согласовать опасение Гердера, что лекции Канта опутают его «диалектической сетью слов»? Дело в том, что никто не питал более сильного недоверия ко всякому догматическому философствованию, чем Кант. В начале 60-х годов он был до такой степени далек от какой-либо системы, что его можно бы было упрекнуть скорее в отсутствии зрелых положительных убеждений, чем в желании основать особую философскую школу. Подчинившись влиянию английской опытной философии, он не понял Вольфовой метафизики и, по-видимому, был готов впасть в скептицизм именно в то время, когда Гердер слушал его лекции. Так как он сам принадлежал к числу тех, кто доискивался истины, то и все его преподавание сводилось к тому, чтобы поощрять других к проверке всякого философского мнения, к отыскиванию истины и к самостоятельному мышлению. Опубликованное им в 1765 г. «объявление об его лекциях» свидетельствует самым несомненным образом, что именно такова была его точка зрения. Здесь он энергически восстает против предвзятого мнения, будто можно учиться философии, так как можно учиться только философствованию; он без всяких обиняков утверждает, что настоящий метод преподавания философии «стетический», и что те произведения, которые принимаются в основу преподавания, должны считаться только вызовом для самостоятельного о них суждения и даже для их опровержения! Разве представлялась надобность остерегаться человека, выставлявшего такую программу, и избегать расставленных им философских статей? Разве он не поспешил бы оттолкнуть от себя всякого слепого поклонника? Немногое, что нам известно о его личных отношениях к молодому Гердеру, доказывает, что он имел высокое понятие об умственных дарованиях своего ученика и вообще уважал его свободу. Он поощрял наклонности Гердера к поэзии. Прочитав в Кёнигсбергской газете одно из стихотворений Гердера, он высказал мнение, что человеку с таким кипучим умом нужно только пережить период брожения, для того чтоб потом с пользой употреблять свой замечательный талант. Наставник превратился в друга. Статьи (как, например, написанные на тему «о бытии»), в которых Кант находил свои собственные мысли самостоятельно изложенными и развитыми далее, доставили ученику право и устно высказывать наставнику мнения о его лекциях. Между ними нередко заходили разговоры о любимых мнениях Канта¹, и старший из них находил суждения младшего такими

¹ Гердер к Лафатеру (*Dünßer A*, II, 24); сравн. Воспоминания. I, 68 (SW. T. XX о филос.).

основательными, что стал сообщать ему свои сочинения в рукописи и выслушивать его мнение о них. Юноша перешел от ученической подчиненности к сердечной привязанности, от ученической переделки лекций наставника к наброскам, сомнениям и критическим замечаниям, которые в сущности все еще были также ученическими. В начале кёнигсбергского университетского курса была написана статья «о бытии»; через полтора года после отъезда из Кёнигсберга была написана рецензия на «Грезы духовидца». Это последнее сочинение писалось и печаталось отдельными листами и в этом виде отсылалось автором к его юному другу в Ригу¹. И критические замечания, и похвалы, которые мы находим в рецензии, могут служить для нас доказательством того, что в своих личных отношениях к наставнику юноша становился все более самостоятельным, все более откровенным, не переставая быть почтительным. А что наставник этим не обижался, видно из того, что он обменивался с учеником письмами и приветствиями много времени спустя после появления рецензии. То письмо Канта, которое, к сожалению, не дошло до нас, как кажется, заключало в себе, кроме дружеского одобрения первых литературных произведений Гердера, разные предположения и предостережения и оканчивалось сообщением литературных замыслов самого Канта. Но в ответе своему «дорогому, высокоуважаемому» Канту² Гердер не отклоняет предостережений наставника, а только высказывает некоторые возражения против них — он говорит, что у него зародились «сомнения относительно некоторых философских гипотез» наставника, и оканчивает целый ряд откровенных признаний выражением желания, чтобы его живой обмен мыслей с уважаемым наставником продолжался и впредь. Иначе говоря, со стороны наставника вовсе не видно намерения отстаивать свой авторитет; со стороны ученика вовсе не заметно скрытности или заботливого старания оберегать свою самостоятельность!

Однако, несмотря на либеральный образ мыслей самого Канта, несмотря на своеобразие и самостоятельность, предохранявшие Гердера от слепого преклонения пред наставником, все-таки не подлежит сомнению, что влияние гениального философа на образ мыслей юноши было сильно и сказывалось долго. Ввиду того, что взаимные отношения между этими двумя людьми впоследствии сделались очень странными, нам необходимо

¹ То же письмо к Лафатеру; сравн. Канта к Мендельсону от апреля 1766 г. (соч. Канта, изд. Розенкранца. XI, 1, 9).

² LB. I, 2, 294 и сл.

определить меру зависимости юного Гердера от Канта и по возможности точно разъяснить, что именно вынес Гердер из сочинений и лекций Канта. Понятно, что для этой цели нам необходимо заглянуть вперед и рассмотреть не только те произведения Гердера, которые появились на глазах у Канта, но и все те, которые были написаны в 60-х годах!

Во всем, что вышло из-под пера Гердера во время его жизни в Кёнигсберге, разбросаны отрывочные отголоски кантовских выражений и оборотов речи, сознательные и бессознательные подражания напечатанным или ненапечатанным словам наставника. Ранее уже было упомянуто о том, что Гердер сильно вчитался в «Наблюдения над влечениями к прекрасному и возвышенному». Оттуда он заимствовал почти слово в слово различие, которое устанавливает в третьем томике «Отрывочных заметок о литературе» в пользу Клопштока между энтузиастом и фанатиком; изложенные им там же воззрения на женское образование также сходятся с замечаниями Канта¹. Но особенно близко к содержанию «Наблюдений» подходит напечатанная в 1766 г. журнальная статья Гердера по вопросу, в какой мере физическая красота — предвестница красоты душевной. Можно бы было подумать, что в то время, как Гердер писал эту статью, перед ним лежало развернутое сочинение Канта — он заимствовал у Канта не только множество подробностей, но и разделение прекрасного на разные виды или степени, по которым он и проводит ответ на вышеупомянутый вопрос². Кант служит для него в значительной мере источником сведений и вместе с тем образцом в том, что касается литературной формы и способа изложения. И здесь, и в задуманной с той же целью, но недоконченной статье о различии и изменении человеческих вкусов он старается заимствовать у немецкого Шефтсбери умение соединять в занимательном и поучительном изложении наблюдения и факты с анализом идей³.

¹ Сравн. Отрывочные заметки. III, 316 с «Наблюдениями» (соч. Канта — более старое издание Гартенштейна. — VII, 433; прим.) и Отрывочные заметки III, 62 и сл. с соч. Канта VII, 407 и сл.

² Сравн. ссылку на суждение Юма о низком умственном уровне негров в статье Гердера (SWS. I, 48) со словами Канта (VII, 435); замечание о происхождении суждений мужчин о женской красоте (SWS. I, 50) со словами Канта (VII, 416); выражение о линиях (SWS. I, 52) со словами Канта (VII, 429); наконец всю часть SWS. I, 50—53 с соч. Канта. VII, 414 и сл. Кроме Суфана, см.: Die Rigischen Gelehrten Beiträge, Zeitschrift für deutsche Philol. VI, 80, 81.

³ См. оба рукописных отрывка № 7 и 8 в LB. I, 3, а, 187 и сл. Подобно Гердеру и Кант (VII, 438) называл человеческий вкус Протеем, принимающим различные формы. Вся тема тех статей, очевидно, заимствована из окончательного вывода в сочинении Канта.

Но для нас еще более необходимо проследить, каким образом запечатлелись в уме Гердера преимущественно философские (в тесном смысле этого слова) воззрения его наставника и каким образом на всех философских мнениях Гердера более или менее лежал кантовский отпечаток.

В философии Канта, как уже было ранее нами замечено, не было системы; это было умственное движение между совершенно определенно установленными границами, внутри которых Кант доискивался и допытывался истины; туда вовлек он и своего ученика. То, что было завещано метафизикой Лейбница и Вольфа, было отодвинуто на задний план опытной философией Бэкона и Локка, перемешано со смелыми фантазиями Руссо и распалось главным образом от остроумных сомнений Юма. Эти элементы находятся у Канта в состоянии брожения, смешиваясь одни с другими, и уже по его статье о Сведенборге можно догадаться, что от этого брожения должен образоваться крепкий осадок. Те же элементы находим мы у Гердера; но у него они частью перемешаны одни с другими, частью стоят рядом одни с другими без всякой посредствующей связи; и то, что есть философского в его сочинениях, не составляет главного содержания, а похоже на сделанные местами вставки. А между тем как Кант в течение следующих лет выработал из этого эмпирически-скептического умственного брожения новую метафизику, для которой служили средоточием самые глубокие идеи, каких только может достигнуть человеческий ум; напротив того, Гердер в течение всей своей жизни не заходил далее такого незрелого философствования, в котором сталкивались противоположные течения. Будучи дилетантом в философии, он остался таким же эмпирическим скептиком с влечениями идеалиста, каким когда-то сделался под влиянием Канта. Таков был характер той философии, которую он впоследствии излагал в своем главном историко-философском сочинении — в «Идеях», которую он, опираясь на Спинозу и Лейбница, пытался облечь в форму мирознания и богословия, и которую он, в ослеплении от высокомерия, противопоставлял критической философии в полных страсти полемических статьях. Он в сущности был и оставался — хотя и переменяя центр тяжести — последователем Канта 1765 г., а в заключение выступил против Канта 1781 г. с такими идеями, которые были только заново перемешанными и подкрашенными идеями прежнего Канта.

Но возвратимся к студенческим годам Гердера; что он был последователем Канта, видно из уважения, которое он питал

к произведениям А. Г. Баумгартена. В основу своих лекций о метафизике Кант принял краткий учебник Баумгартена «ради полноты и точности его изложения»; и в практической философии служил ему руководителем Баумгартен, хотя он, конечно, принимал, кроме того, в соображение произведения Шефтсбери, Готтесона и Юма¹. Оттого-то Гердер и полюбил сокращенное руководство Баумгартена до такой степени, что даже во время своего путешествия в 1770 г. желал иметь его при себе². Мысль написать статью о Баумгартене пришла ему в первый раз еще в Кёнигсберге; впоследствии, когда он снова взялся за эту мысль в проекте сочинения с более широким содержанием, он настоятельно советовал принимать учебники Баумгартена за руководство при преподавании философии и постоянно восхвалял хотя и сухой, но точный язык этих учебников и отпечаток безыскусственности на их латинских оборотах речи³.

Однако его собственный философский метод в сущности был иной; это был тот метод, который не передает уже готовых идей, а учит мыслить и готовит к изучению философии, — это был метод Канта! Гердер имел в виду Канта, когда говорил о Шекспире, немецкой философии и о втором Сократе⁴. Эти сократовские приемы Канта он изучал из лекций своего наставника и придерживался их, когда описывал и одобрял его преподавание. В самом начале ранее упомянутой нами статьи на премию «О ясности принципов и т. д.» Кант заявил, что «основанные на опыте несомненные истины и сделанные из них непосредственные выводы будут составлять все содержание его статьи». Вслед за тем он утверждает, что только этот аналитический метод в противоположность синтетическому самый пригодный для философии и в особенности для метафизики, так как его дело «разъяснять сбивчивые понятия». То было лишь отголоском этих кантовских воззрений, когда Гердер называл аналитический метод единственным поистине философским, когда он противопоставлял этот метод (по его выражению) «философского воспитания» «таблич-

¹ Объявление о его лекциях (*Кант. Соч.* I, 103, 106).

² К Гарткноху (LB. III, 26). Сравн. из более поздней эпохи: Gott, 46 и Humanitätsbriefe VIII, 149, где снова восхваляется «редкая, почти трусливая точность» Баумгартена.

³ Торс. С. 4; отрывок наброска к памятной записке о Баумгартене, Гейльмане и Аббте (LB. I, 3, а, 275 и сл.); об образе мыслей Баумгартена (Там же. 299 и сл.); сравн. Отрывочные заметки I, 2-е изд. (SW к изящной литературе I, 188 и сл.).

⁴ Об образе мыслей Баумгартена (Там же. 319, 320).

ному» методу Вольфа и Баумгартена, когда он требовал, чтобы преподавание философии свободно вращалось в колее здравого смысла, чтобы оно исходило от того, что положительно известно, чтобы оно доходило до определений, чтобы оно возвышалось от понятий здравого смысла к отвлеченным понятиям и превращало только понятные слова в такие, которые вполне ясны. «Философия, — говорит он, — кумир моего сердца, который руководит рассудком, снисходит до употребления его языка, идет с ним рука об руку, все более и более возвышает его и наконец, представши пред ним в сфере разума во всем блеске ясности, исчезает»¹.

Отвергая синтетический метод для метафизики, Кант вместе с тем протестовал против применения математического метода к философии, а причину того, что математика должна придерживаться синтетического метода, он усматривал в том, что ее понятия складываются путем наглядного распознавания. То же или почти то же говорит Гердер, когда замечает², что между мыслью и словом нет такой наглядной связи, «какую мы находим в математике между словом „квадрат“ и его изображением». Здесь Гердер, очевидно, придает мнениям Канта своеобразное значение. Литературный, касающийся стиля вопрос об отношении мысли к ее выражению переносится здесь, на основании кантовских идей, в сферу философии. Литературный вопрос был возбужден в «Письмах о литературе»³ замечанием Аббта, что ко «всякому выражению примыкают и точно будто прилипают сотни мыслей». Гердер далее развивает это замечание во всех направлениях. Он применяет его к философии, заимствуя от Канта точку зрения для разрешения вопроса, «в какой мере в философии мысль должна быть неразрывно связана с выражением». Эта связь, говорит он, не должна быть ни чувственной, ни технической, ни этимологической или грамматической. В том, что касается чувственной связи, он опирается на критические приемы Бэкона, Локка и Лейбница, но он идет по следам Канта, когда говорит, что философия относится к наглядному распознаванию совершенно иначе, чем математика, что «отвлеченные понятия нельзя приобретать путем наглядного распознавания», что задача философии «уяснять понятия, которые сами по себе наглядно

¹ Отрывочные заметки. III, 110 и предшествующий; Отрывочные заметки. I; втор. изд. (SW к изящн. литер. I, 197 и сл.).

² Отрывочные заметки. III, 107.

³ Письмо 271. Часть XVII. С. 113.

ясны, но передаются нам словами в неясном виде»; наконец сюда же относится его выходка касательно более новой философии (Крузиуса), которая «смотрит на истину так, как смотрят на цвета». Точно так же заимствовано от Канта и то, что Гердер говорит против технической связи между мыслями и их выражением, т. е. против выражения философских идей техническими терминами, и его нападки на «обычный способ преподавать философию, объясняя известное число философских слов» и произвольно подводя однородные идеи под одно общее выражение, причем учащийся только узнает, что думали другие, но не узнает, как они думали. Отвергнув этимологические приемы при изучении философии, Гердер кончает тем, что рекомендует настоящий метод — аналитический. У Канта этот метод имеет сходство с физическим («настоящий метод метафизики в сущности тот же, какой был введен Ньютоном в естественные науки»). В одной статье, которую Гердер начал писать в ранней молодости, но оставил неоконченной, он восстает, по примеру Канта, против сочетания математики с философией и выражает желание, чтобы «в философии преобладал вместо математического синтеза физический анализ», чтобы «в философии следовали за математическими зонами физические»¹. Когда он к этому присовокупляет *stat palma in medio*, то недостает только одного — чтобы он назвал Канта по имени. Что у него был на уме не кто другой, как Кант, будет для нас вполне ясно, если мы припомним приведенное выше место из путевых записок, в котором он желает для своей идеальной школы физико-метафизического преподавания «в духе Канта».

Свои объяснения о связи мыслей с их выражениями и об аналитическом методе, как настоящем философском методе, Гердер заканчивает таким метафизическим положением, которое имело для тогдашней точки зрения Канта фундаментальное значение, а для его ученика сохранило такое значение навсегда. Дело идет о том, чтобы, придерживаясь аналитических приемов (как это объясняется в «Отрывочных заметках»), освободить мысль от слов. Однако на этом философском пути есть известные границы. Ведь есть «неразлагаемые понятия», в которых мысль должна быть неразрывно связана с выражением, а философия, заранее отказавшаяся от уяснения понятий посредством их разложения, сделалась бы «философией ленивцев». Если это последнее вы-

¹ Что надо, чтобы сделать философию полезной для народа, и как это сделать (LB. I, 3, а, 207 и сл., 210).

ражение и перешло к Канту от Баумгартена, то все-таки от Канта было унаследовано Гердером учение о неразлагаемых понятиях. На этой теории вертится все метафизическое упражнение в статье «О бытии», которая развивает только кантовские воззрения. Это видно из того, что во введении прежде всего опровергается мнение Локка, будто все наши понятия получаются нами извне, а вместе с тем делается указание на сознание, которое следует отличать от обыкновенной способности понимания и которое составляет особое преимущество человеческого мышления над мышлением животных. Немедленно вслед за тем Гердер исследует понятие о бытии, сначала в его изолированном виде, а потом в его связи с другими понятиями, как часть целого, и этим путем приходит к заключению, что бытие есть понятие высшее, не разлагаемое¹. Оно делится на бытие идеальное и действительное. Ни первое бытие не может быть объяснено вторым, ни второе бытие — первым; поэтому, когда Картезиус говорит: «Я мыслю, стало быть я существую», а Крузиус говорит: «Я сознаю себя, поэтому я существую», — то оба они не правы и всякое заключение от идеального бытия действительному не верно. Молодой студент изучил всю эту премудрость в аудитории магистра. Как Гердер в той ученической статье, так и Кант в сочинении «о ложном остроумии»² приписывают преимущество человеческой натуры над натурой животных сознанию, способности рассуждать или «делать свои собственные представления предметом своего мышления». А на том положении, что «само бытие не может быть предикатом», основана вся полемика Канта против обычных онтологических доказательств в его сочинении «Единственно возможная основа для доказательства бытия Божия». В связи с этим он заявляет в том же сочинении³, что есть понятия «необъяснимые» и «почти необъяснимые». На этом основании он критикует сделанное Вольфом и Баумгартеном определение бытия, как «дополнения возможности». Это определение, по его мнению, не что иное, как ничего не выражающие слова; таким же он находит вольфовское определение необходимого и случайного и настаивает на необходимости более реального объяснения. Все это мы находим и у Гердера, когда он в статье «об образе мыслей Баумгартена» разоблачает чисто номинальные определения Баумгартена и в особенности когда восстает

¹ Точно также и в рукописных листах, в которых проверяются взгляды Юма и Зюльцера.

² Кант. Соч. I, 17, прим.

³ Там же. VI, 23.

против «отрицательного ничто», ссылаясь на такие доводы, которые напоминают попытку Канта «внести в философию понятия об отрицательных величинах»¹. В статье Канта «О ясности принципов» мы снова встречаемся с положением, что при разложении понятий мы необходимо доходим до таких, которые необъяснимы; а в только что упомянутой статье Гердера говорится, что есть очень много понятий такого рода, есть «неразлагаемые понятия об истине» и есть «необъяснимое чувство добра»². Еще определеннее — но, как следует полагать, на основании воззрений, высказанных Кантом в его лекциях, — Гердер говорит в одной главе «Отрывочных заметок» (III, 111, 112), что понятие о бытии содержит в себе три неразлагаемых понятия — о пространстве, о времени, о силе — и что точно так же понятие о мышлении содержит в себе понятия о красоте и добре. В самом начале статьи об одах, написанной еще во время пребывания Гердера в Кёнигсберге, говорится: «Чем более начала всей философии приближаются к опыту и к субъективным понятиям о бытии, тем более становятся они несомненными, но и тем более необъяснимыми; неразлагаемость эстетических основ, по-видимому, также усиливается, чем более нисходят эти основы до чувства изящного»³.

Здесь мы находимся в самом средоточии тогдашней умственной деятельности Канта, в том ее пункте, на котором Кант, под влиянием английской опытной философии, ясно сознавал ничтожество Вольфовой метафизики и стал относиться к ней с таким же скептицизмом, с каким Юм относился ко всякой метафизике, даже к той метафизике своих соотечественников, которая была основана на чувственных ощущениях. Мы находимся здесь у самого зародыша его будущего критицизма⁴. Нельзя сказать, чтобы он настаивал, подобно Юму, на негодности тех метафизических понятий, чтобы он признавал эти понятия за призраки и находил возможным это доказать; он только настаивал на их необъяснимости, он был убежден только в негодности Вольфовых

¹ LB. I, 3, а, 321 и сл.

² Соч. I, 71, 93.

³ LB. I, 3, а, 61.

⁴ Известно, как возникновение критической философии описано у К. Фишера в «Истории новейшей философии». Что там слишком безусловно допускается единомыслие Канта и Юма, следует приписать Паульсену (*Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Kantischen Erkenntnistheorie*. С. 47 и сл.); полное знакомство Канта с произведениями Юма, казавшееся этому писателю сомнительным, вполне удостоверено оставшимися после Гердера бумагами.

номинальных объяснений; он по-прежнему был «влюблен в метафизику», но примирялся с мыслью, что есть границы, далее которых не может проникать метафизический анализ. Он старался установить эти границы и, быть может, также отыскать причину их существования; а ввиду невозможности их переступить он утешал себя тем, что все доступное пониманию, находящееся по сю сторону этих границ, включает в себе все, что полезно знать людям, — этим кругозором в то время ограничивались философские воззрения великого мыслителя.

А где же искал он эти границы, которые заключались для него в неразлагаемых понятиях? Кроме понятия о бытии был один пункт, на который он постоянно указывал как на конечный предел знания, — это был именно тот пункт, к которому всего успешнее применял Юм свой скептицизм. Еще в конце статьи об отрицательных величинах мы находим признание автора, что ему не известно, «каким образом что-либо может истекать из чего-либо другого, а не по закону тождества». В «Грезах и т. д.» говорится: «Рассудок никогда не будет в состоянии понять, каким образом что-либо может быть причиной или иметь силу». Там же говорится: «Никак нельзя понять способность отталкивать, которую следует признать за материальными силами». «Главная связь между причинами и последствиями не может быть выяснена» — все силы следует признавать за данные, добываемые опытом, но не подлежащие дальнейшему анализу¹.

Гердер, как было ранее замечено, присовокуплял к понятию о силе или о причине понятия о времени и пространстве, и ни в чем другом он не был более верен самому себе. Он не только бесконечное число раз повторял в своих позднейших произведениях заимствованное от Канта положение, что нам вовсе не известно, в чем заключается внутренняя сущность силы, но и постоянно возвращался к трем понятиям о времени, пространстве и силе как понятиям, находящимся в связи между собой и однородным.² Если мы припомним, что пространство и время впоследствии являются у Канта умственными формами нашего чувственного познания и что понятие о причине играет у него самую важную роль между коренными формами умственной деятельности, то мы найдем вполне вероятным, что эта тройственность ярко обна-

¹ *Кант*. Соч. I, 59, 61, 62; III, 53, 54; также сравн. письмо Канта к Мендельсону от 8 апреля 1766 г. (*Кант*. Соч. в изд. Розенкранца. XI, I, 10).

² Напр., KW I, 200 и сл. О Шпальдинговом определении человека (LB. I, 3, а, 354). Четвертое KW (LB. I, 3, в, 482, 483); путевые заметки (LB. II, 308); к Мендельсону (LB. II, 113, 114); Пластика. С. 25; Метакритика. I, 140.

руживалась в кантовских лекциях 60-х годов. Это положительно удостоверяет один из учеников Канта, ссылающийся на слова, слышанные им из уст наставника, и на старинные записки кантовских лекций¹.

Но как бы ни было в ту пору нетвердо установлено Кантом число неразлагаемых понятий и как бы ни были различны его воззрения на этот предмет в различные эпохи его жизни, все-таки его публичные заявления доказывают, что задача метафизики заключалась, по его мнению, в отделении доступного для анализа от недоступного. Нападая на всезнающую, все определяющую догматическую философию, состоящую из формул, и на «выставлявшийся в то время на показ запас знаний», он в то же время говорит о своем собственном незнании и признается, что «при слабой проницательности его ума ему всего менее понятно то, что всем другим кажется самым удобопонятным»². Это скептическое направление он проявляет с самым приятным юмором и с самой удачной иронией в «Грезах и т. д.». Здесь он главным образом противопоставляет решительному «академическому тону» «более разумное „я не знаю“». Здесь он осмеивает и Вольфа, и его соперника, «знаменитого» Крузиуса и всех философов, которые «направляют свои метафизические зрительные трубы на те отдаленные сферы»; здесь он забавляется тем, что сам высказывает метафизическую гипотезу о возможности взаимных сношений между духами и немедленно вслед за тем осмеивает эту «басню, принадлежащую к числу метафизических утопий». Однако он при этом не теряет надежды, что метафизика со временем достигнет такой же ясности, какой достигла математика. Эту надежду он основывает на возможности верно определить задачу метафизики. Уже тогда, за пятнадцать лет до появления «Критики чистого разума», он говорил, что «метафизика есть наука о пределах человеческого разума». Уже тогда он устанавливал эти границы в сущности так же, как и в своем позднейшем капитальном сочинении. Мы должны, говорит он, «держаться на почве опыта и обыкновенного здравого смысла». Но это воззрение не отнимало у Канта душевной бодрости. Требование ограничиваться опытом совпадает с тенденцией к полезности. Опыт и обыкновенный здравый смысл дают нам «все, что может

¹ [F. T. Rink] *Mancherlei zur Geschichte der metakritischen Invasion*. Кёнигсберг, 1800. С. 63, 64. Относительно пространства сравн. также окончание статьи 1768 г. «Von dem ersten Grundes des Unterschiedes der Gegenstände im Raume» (*Кант*. Соч. III, 122).

² Об отрицательных величинах (*Кант*. Соч. I, 59).

удовлетворять нас, пока мы ищем полезного». В этом воззрении и заключается та мудрость, которая была мудростью Сократа. «Разум, просвещенный опытом и достигший мудрости, весело говорит устами Сократа среди выставленных на ярмарке товаров; однако, как много есть таких вещей, которые мне не нужны!» Впрочем, Кант основательно замечает, что такое благоразумное воззрение должно опираться на научную основу — а именно на метафизику, которая устанавливает границы для разума. Итак, программа Сократа—Канта отличается как от доктринерского сенсуализма Локка, так и от скептического сенсуализма Юма. Она также отличается и от пошлой популярной философии и от натуралистического цинизма Руссо. У Канта вообще есть метафизика, и в этом заключается его отличие от Юма. Эта метафизика прежде всего доказывает необходимость отказаться от такой науки, которая желает слишком многого, и довольствоваться познаниями простыми, натуральными и полезными — и в этом заключается отличие Канта от Руссо. Кант очень близко сходится с Руссо, когда говорит: «Истинная мудрость — спутница простоты, а так как у нее командует рассудком сердце, то она делает ненужными большие запасы учености». Но вслед за тем Кант делает важную прибавку, говоря, что спутницей мудрости должна быть метафизика. А для того чтобы мудрая простота не превратилась в глупую, философия должна относиться критически к самой себе и подвергать проверке свой собственный образ действий.

Все отличительные черты этой кантовской программы встречаются и у Гердера, который впервые познакомился с ней не из «Грез». Кант писал Шеффнеру¹, что он посвятил Гердера в то, чему учили Руссо и Юм, но вместе с тем доставил ему возможность стать выше их обоих. Сочинения Юма скоро сделались для Гердера вспомогательным средством для исправления ошибок Руссо, а сочинения Канта вспомогательным средством для исправления ошибок и Юма, и Руссо. Когда юный автор делает в своей рецензии «Грез» возражения против кантовской гипотезы о непосредственных сношениях между духами, то он только пытается обратить против Канта ту критическую осмотрительность, которой у него же научился; но при этом он опускает из виду то обстоятельство, что Кант только забавлялся этой гипотезой и приводил ее только для того, чтобы ее отвергнуть. Когда Гердер писал Канту, что «некоторые из гипотез своего наставника

¹ LB. I, 2, 193.

считает сомнительными», основываясь на «человеческой» философии, т. е. такой, которая имеет целью удовлетворение практических потребностей и пользу человеческого общества, то он мог только заставить Канта рассмеяться, так как вполне ясно, что он в этом случае обнаруживал точно такие же тенденции, какие были свойственны самому Канту. Это было прелюдией к его позднейшим полемическим нападкам на бывшего наставника, к его претензии не обращать внимания на уроки этого наставника, между тем как он развивал мысли, возбужденные в нем не кем иным, как Кантом, и развивал как дилетант, без научной подготовки.

Основные воззрения своего наставника Гердер усвоил вполне. Не только он не позабывал¹ некоторых выражений Канта, как например касательно благоразумной ограниченности желаний Сократа среди привезенных на ярмарку товаров, но в его памяти глубоко запечатлелась вся совокупность кантовских идей, которые он постоянно повторял с различными видоизменениями и в разговорах, и в своем преподавании. Когда Гердер вносил во второе издание своих «Отрывочных заметок» идею об «отрицательной философии» или о сократовской науке «незнания ничего»², то он лишь придавал иную форму требованию Канта, чтобы метафизика была «наукой о пределах человеческого рассудка». «Тот человек, — говорит Гердер, — который создал эту отрицательную философию, понял настоящий объем человеческих знаний». Вследствие той критики, к которой прибегал Кант, «во всей нашей метафизике должны исчезнуть разные неверные понятия, начиная с онтологии и кончая натуральным богословием». Разве эти слова не были чем-то вроде пророческого предсказания о появлении тех статей об аналитике и диалектике, которые находятся в «Критике чистого разума»? Только критический реагент не был так прост, как его воображал Гердер, уклонявшийся от учения Канта, для того чтобы иногда идти по следам Бэкона: ведь Гердер постоянно имел в виду связь между выражением и мыслью и потому хотел соразмерять пределы человеческого знания с теми пределами, далее которых наш язык не дает нужных выражений.

Но самое поразительное и самое полное единомыслие с программой Канта мы находим в неоконченной статье, которая, по

¹ См. у Суфана (Herders theologische Erstlingsschrift в Zeitschrift für deutsche Philologie. VI, 180, 181).

² SW о литерат. 44.

свидетельству одной из гердеровских ученических тетрадок, была начата ввиду назначенной в 1763 г. бернским патриотическим обществом премии, а потом, с некоторым изменением темы, занимала автора еще в начале его пребывания в Риге между 1764 и 1765 гг.¹ Если именно в это время писалась статья «Каким способом согласить философию с человечностью и с политикой так, чтобы она была действительно полезна», то нас еще менее может удивлять тот факт, что она вовсе не выходит из колеи кантовских воззрений. Мы не нуждаемся во внешних доказательствах этой зависимости от Канта; наоборот, содержание статьи заставляет думать, что именно к ней относятся следующие слова в письме Гамана к Гердеру от 18 мая 1765 г.: «Относительно проблемы, над которой вы работаете, я уже не могу припомнить, что обыкновенно говорит о ней Кант»². Содержание статьи соответствует ее главной цели — заменить бесполезную, схоластическую философию такой, которая общепользна. Сначала Гердер, по-видимому, придерживается мнения Руссо, когда говорит, что бесполезность философии (конечно, только прежней) остается за «высшей» философией. Он не придает большого значения ни школьной логике, ни метафизике — все с точки зрения полезности. Затем он переходит от отрицания к положительным выводам; точку зрения Руссо он заменяет или, вернее, дополняет точкой зрения Канта: вся статья сводится к мнению, что философия не только должна быть совершенно отброшена, но и сама должна служить противоядием против всех зол, которые она причинила. Средство сделать философию полезной для народа заключается *в исправлении и в критике философии*.

Такова основная мысль в этой не совсем ясно написанной статье. Она согласна с воззрениями Канта, хотя и сильно отзывается мнениями Руссо; влияние Канта видно и в том замечательном месте, где идет речь о логике. Там говорится, что логику неосновательно отделяют от философии, излагают как метафизику,

¹ С надписью «Отрывок статьи, написанной с целью выяснить, каким способом можно сделать философию полезной для народа», она напечатана в LB. I, 3, а, 207 и сл. Бернские темы на премию (Письма о литер. XVI, 137 и сл.); четвертая из них заключается в следующем: «Как сделать философские истины более доступными и более полезными для народа?» И Гаман, объявляя в Кёнигсбергской газете от 16 марта 1764 г. о выходе 16 части «Писем о литер.», упоминает и об этой теме на премию, и об остальных (см.: Соч. Гамана. III, 248).

² LB. I, 2, 33. — Еще ранее Гаман намекал на эту работу Гердера в следующих словах: «Неужели вы думаете, что мне приятно знать, что нет никакой столь же доступной и столь же полезной для народа философии, как страх перед Господом».

и считают за подготовительное орудие для изучения других наук. При этом способе ее изучения, она представляется автору «полем, которое усеяно трупами». Вместо того «ее следует соединять с областью психологии»; анализ мышления и истины должен искать источника этой последней в душе. Пусть попытаются перенести отделы логики в состав психологии; только тогда она будет полна смысла и жизни. Эту мысль, по-видимому, можно бы было приписать влиянию Локка; но это едва ли было бы основательно — ведь уже в ту пору Гердер не чуждался кантовских идей, уклоняясь от воззрений Локка; ведь здесь проглядываются у Гердера основные начала позднейшей трансцендентальной логики Канта. А из чего же развилась трансцендентальная философия, как не из плодотворного слияния логических мотивов с психологическими? Но уже в то время Кант придавал чрезвычайно важное значение преподаванию психологии, как это сам утверждал в объявлении о своих лекциях. Без сомнения, отчасти под влиянием этого преподавания Гердер заявляет в своих «Отрывочных заметках»¹, что психология — немецкая основная наука, для которой собраны первые материалы Платоном, Бэконом и Локком, и там же высказывает намерение написать дидактическое стихотворение о человеческой душе. С начала 1769 г. его сильно занимала статья о том, как молодеет и стареет человеческая душа. Касательно этой статьи писал ему Гаман: «Вы ею порадуете и вашего наставника, который за неделю до того времени, как вы мне о ней писали, выражал желание, чтобы кто-нибудь развил платоновские идеи об этом предмете»².

Наконец, общий смысл статьи о том, что следует исправить прежнюю философию, для того чтобы она была полезной, сводится к следующему: философия должна превратиться в антропологию, должна заменить систему Птолемея системой Коперника и сделать своим средоточием человека или, как говорится далее, народ. Это совершенно в духе Руссо. То же самое говорили немецкие представители популярной философии, в особенности Аббт. И Аббт — в одной из своих рецензий в «Письмах о литературе»³ — отвергал философию, которая толкует о всевозможных предметах, и следующим образом определил настоящую философию: это — умение или искусство «объяснять отношение человека ко всему, что он думает о внешнем мире», и «ни-

¹ Отрывочные заметки. III, 212 и сл.

² LB. I, 2, 437; сравн. II, 312.

³ Ueber Susmilch, Göttliche Ordnung, письмо 245 (Письма о литер. XV, 68).

когда не терять человека из виду». Но Кант, так же как Руссо и согласно с Аббтом, считал науку о человеке за самую важную из всех. То не было простой причудой молодого Гердера, что именно Канту он послал свое стихотворение о человеке — «о том человеке природы, которого никогда никто не видел, а всякий чувствует в самом себе и всякий желает увидеть». Гердер знал, что, затрагивая эту струну, он найдет сильный отголосок в душе своего наставника. Именно этот наставник преподавал ему эмпирическую психологию как «метафизическую опытную науку о человеке»; именно из его лекций о практической философии Гердер познакомился с методом, «по которому следует изучать человека — не только того человека, который сформировался под влиянием случайных, изменчивых условий своего положения, а ту человеческую натуру, которая всегда остается»¹. Даже «Наблюдения над влечением к прекрасному и возвышенному» могут быть отнесены к антропологии. Гердер ожидал от слагавшихся воззрений наставника на нравственность другой статьи в том же роде; действительно, Гаман уведомил² его, что задуманная Кантом статья «о метафизике морали» будет в противоположность с прежней заниматься исследованием «не столько того, каков человек, сколько того, каким он должен быть». В этих статьях об антропологии Кант придерживался и философской, и исторической точки зрения; поэтому влиянию Канта следует приписать в значительной мере тот факт, что — как мы увидим далее — Гердер с течением времени все более и более убеждался, что его главной научной задачей должна быть «теория человечества», т. е. такая тема, в которой соединялись бы с его специфически-философскими воззрениями и его воззрения историко-литературные, эстетические и богословские.

Итак, Гердер находился во всех отношениях под влиянием своего великого наставника гораздо более, чем сколько сам допускал и сознавал.

Дошедшие до нас документы дали нам возможность проследить эту зависимость от Канта во всех подробностях, но мы, к сожалению, не находимся в таком же выгодном положении, когда приступаем к описанию других личных отношений молодого студента. Мы имеем лишь скудные указания на дружеские связи, которые завел Гердер во время своего университетского обучения. В выборе знакомств он руководствовался научными интере-

¹ Объявление о его лекциях (*Кант. Соч.* I, 103 и 106).

² 16 февр. 1767 г. (*LB.* I, 2, 288).

сами и жадой знания. Годы, проведенные им в Кёнигсберге, в сущности были не годами студенческой жизни, а годами научных занятий. В одном из своих позднейших писем¹ он называет себя *un homme nè entre les livres, pressé d'affaires dès sa première jeunesse*. Подобно тому как в Морунгене он не принимал участия в обычных детских играх, он и в Кёнигсберге не принимал участия в развлечениях и шалостях большинства студентов.

В аудитории Канта он познакомился с Боком. Содержание лекций занимало двух друзей и вне аудитории; оно нередко бывало предметом их бесед в уединенной беседке того запущенного сада рядом с Alt-Rossgärtischen кирхой, о котором упоминают в своих автобиографиях и Шеффнер, Гиппель². Бок был несколько знаком с изящной литературой, и Гердер мог кой-чему научиться у него.

И с другим другом, с будущим кригсратом Куреллой, Гердер обыкновенно беседовал о беллетристике и о критических журналах, которые доставлял Кантер, о «литературных письмах» и о «Библиотеке изящных наук». По рассказу Куреллы³, их соединяла восторженная дружба — Гердер был обыкновенно тот, кто говорил, а Курелла — тот, кто слушал. Они сходились в назначенный час, чтобы вместе провести вечер за чашкой чая. Недоверчивая дружба не допускала, чтобы третье лицо присутствовало при грезах, во время которых друзья забывали остальной мир. После смерти Гердера переживший его Курелла писал: «Эти восхитительные беседы, точно будто переносившие нас в высшие сферы, продолжались около двух лет — до того времени, как мы расстались». Скорбь об этой разлуке Гердер высказал в одном стихотворении, из которого видно, как была сильна эта дружеская привязанность⁴. То же видно из другого стихотворения, написанного Гердером в торжественно-возвышенном тоне с целью утешить Куреллу, который лишился в феврале 1764 г. своего отца, бывшего профессором законовведения в университете, — это был отго-

¹ К Бегрову 18 июля 1769 г. (LB. II, 24).

² LB. I, 1, 134; Шеффнер. *Mein Leben*. С. 34; Гиппель. Соч. XII, 103. — Это место называется здесь гессенским садом; его следует искать там, где впоследствии находилась родовспомогательная университетская клиника, а теперь временно находится гимназия Вильгельма. И в мелких статьях Трешо (в его *Denken und Empfinden*, с. 182) воспевается сад, «находившийся подле церковного двора». Некоторые места в «Отрывочных заметках» (III, 236) и в элегии (LB. I, 1, 179), полагаю, относятся скорее к морунгенской, чем к кёнигсбергской местности.

³ LB. I, 1, 92 и сл.

⁴ К отсутствующему другу (LB. I, 1, 224).

лосок «двух грустных вечерних бесед», во время которых осиротевший юноша изливал свою скорбь в душу своего друга¹. Молодой Гердер, как видно, относился к дружбе с таким же пылким увлечением, с каким относился к поэзии. Однако он не впадал в мрачное душевное настроение. Курелла иногда находил его разговор веселым; только в тех случаях, рассказывает далее Курелла, «когда моя веселость переходила в шаловливость, Гердер, правда, улыбался, но тотчас мягко сдерживал меня».

Такую же склонность разыгрывать роль наставника обнаруживал Гердер в своих отношениях к другому университетскому приятелю, к бывшему впоследствии госпитальным пастором, Фишеру, с которым он близко сошелся лишь в последнее время своего пребывания в Кёнигсберге. В своей автобиографии Шеффнер осыпает Фишера самыми лестными похвалами, называет его новым Иоанном и выставляет его за образец чистосердечного человека, «от рождения предназначенного для духовного звания и безукоризненно религиозного». Что он был очень добродушным, симпатичным, всегда веселым юношей, видно из немногих писем, которые он писал своему «единственному дорожному» Гердеру² во время пребывания в университете и вскоре после того. Он смотрит на Гердера как на человека с высшим умом, в шутку дает ему титул *His majesty Godfrey king of the Hypsos*, называет его «ангельским человеком», рожденным для бессмертия, и с ребяческой нежностью отклоняет от себя упреки своего не в меру притязательного друга Гердера.

Точно так же, как с Фишером, Гердер вел еще из Риги переписку с другим кёнигсбергским товарищем по имени Габеркант³; но как ни были сердечны и искренни эти университетские дружеские связи, их следы очень скоро исчезли. С Вильпертом, который был впоследствии рижским бургомистром и учился в Кёнигсберге в одно время с Гердером, завязалась дружба, как кажется, только после переезда Гердера в Ригу. Только молодой Гарткнох был и в Кёнигсберге и потом в течение всей своей жизни другом Гердера, который был моложе его только четырьмя го-

¹ «Fragment zweener dunkeln Abendgespräche» и т. д. — Кёнигсберг, напечатано у Кантера (LB. I, 1, 215). И у Клотца (Deutsche Bibliothek, 1768 — I, 1, 162) напечатано это стихотворение, но, по словам Куреллы (LB. I, 1, 97), с недобрительной рецензией, называвшей его неразумным произведением гамановского ума. Курелла ошибочно относит смерть своего отца к 1760 или 1761 г. Стихотворение появилось в 1764 г., немедленно после смерти его отца.

² LB. I, 1, 296, 298; I, 2, 19.

³ Фишер к Гердеру (LB. I, 2, 19 и сл.).

дами. Сначала Гарткнох изучал богословие, а потом, по совету Кантера, променял богословские занятия на книжную торговлю и от 1761 до 1763 г. работал у Кантера в качестве помощника¹. Вслед за тем он завел свою собственную книжную торговлю сначала в Митаве и вскоре после того в Риге; это обстоятельство поддерживало его дружеские сношения с Гердером: из книгопродавца он сделался издателем сочинений Гердера. Они работали для обоюдной пользы; в особенности Гарткнох поощрял и поддерживал быстро приобретавшего известность писателя с такой преданностью и такой уверенностью в успехе, которые делают честь столько же его уму, сколько его сердцу.

Еще одна дружеская связь, но в совершенно ином роде, завязалась у Гердера во время его пребывания в Кёнигсберге и не прекращалась в течение всей его жизни. Те товарищи-студенты, которые были почти одних лет с Гердером, невольно сознавали его умственное превосходство и более или менее относились к нему, как к «ментору». И Гердер со своей стороны нашел для себя ментора в Гамане, который был старше 14 годами, которого он искренне полюбил, но влиянию которого был вынужден подчиняться. Влияние Гамана на Гердера было более сильно, чем влияние Канта и кого-либо другого, — оно было более продолжительно, более глубоко и носило более личный отпечаток.

Для всякого образованного человека соединяется с именем Канта довольно определенное понятие об умственной деятельности философа, о его научно-нравственных сочинениях и о влиянии его идей. Нельзя того же сказать об имени Гамана, этого «северного чародея». Суждения о нем разноречивы частью потому, что были внушены пристрастным предубеждением его противников, а в особенности потому, что его судьи становились на религиозную точку зрения. Одни видели в нем почти только пиетиста и, чувствуя отвращение к некоторым грубым и циническим проявлениям его религиозных верований, изображали его фанатиком; они выставляли в ярком свете непривлекательные черты его характера и бросающиеся в глаза недостатки его изложения и затем, признав, что его идеи не были лишены некоторой глубины и оригинальности, задавались вопросом, каким образом этот чудак-святоша мог быть авторитетом для таких людей, как

¹ Сравн. статью о Гарткнохе у Экардта (Jungrussisch und Alt livländisch. С. 275 и сл.). Гердер к Гарткноху 4 янв. 1778 г. (*Dünßer C*, II, 81): «Где же то время, когда ты со свертком под мышкой взбегал в Кёнигсберге к замку и вечером приходил рассказать мне обо всем».

Гердер и Гёте. Напротив того, в течение последних десятилетий XVIII столетия вокруг него группировалось несколько преданных ему писателей, для которых он сделался предметом не менее преувеличенного поклонения. Нас уверяют, что он писал не о прошлом, а о настоящем и будущем, и что в его уме таился еще не развившийся зародыш будущей «христианской науки». Его идеям стали придавать такой широкий смысл, какого они и не имели, или стали излагать их с большим талантом¹. Даже в наше время иные стали обращаться к этому мнимому противнику просвещения XVIII столетия за помощью для борьбы с неверующими и с полуверующими.

Ни то ни другое суждение не согласно с истиной, несмотря на то что для правильного приговора можно найти все нужные данные в превосходной характеристике Гамана у Гёте в его «Wahrheit und Dichtung». Не подлежит сомнению, что в остроумных и глубокомысленных изречениях чародея есть зародыш истины, никогда не утрачивающей своей цены и всегда удобоприменимой, — все равно, будем ли мы вместе с Гёте облекать зародыш этой истины в следующую форму: «всё, что не имеет связи с целым, должно быть отвергаемо, всё, что предпринимает человек, должно исходить из совокупности способностей», или же будем, вместе с одним из самых проницательных между новейшими поклонниками Гамана, находить этот зародыш в том, что автор противопоставляет сухим отвлеченным понятиям действитель-

¹ Очень прославленное, многотомное сочинение Гильдемейстера «Hamanns Leben und Schriften» сообщает нам не много нового, за исключением помещенной в нем полной переписки между Якоби и Гаманом. Автор с большим трудом и неумело соединяет все собранные им биографические сведения лишь внешней связью и старается восполнить недостаток ясной характеристики тем, что делает множество выписок, иногда сопровождая их отзывами таких людей, как Гегель, Гервинус, Геттнер. Глава «О Гамане и Гердере» в VI томе наполнена неверностями. И сочинение Петри «Hamanns Schriften und Briefe» так бедно разъяснением фактов, что никак не может способствовать оценке восхваляемого им автора. Сочинение Poel «Johann Georg Hamann» (2 тома) и по изложению, и по распределению материала гораздо вернее достигает своей цели познакомить нас с жизнью и с литературными произведениями этого чародея; и в своем биографическом отделе оно сообщает нам некоторые ценные указания. Но для научных целей и до сих пор остаются лучшим источником сведений превосходно изданные Ротом сочинения Гамана, благодаря необыкновенно тщательно составленному указателю. Из объяснительных статей, без сомнения, самая лучшая статья Диссельгофа «Wegweiser zu Hamann», так как она самостоятельно и талантливо рисует нам настоящий характер писателя. Такой же точки зрения придерживаются Brömel (Берлин, 1870), Rocholl (Ганновер, 1869) и Stein (Шверин, 1863) в своих статьях, из которых особенно занимательна статья последнего.

ную здоровую жизнь. Но не подлежит сомнению и то, что под двойным влиянием прежней жизни Гамана и его личных особенностей эта истина выходит у него наружу в неясном виде и в смутном преувеличении. В его наставлениях, как достигать умственного здоровья, виден не здоровый человек, а больной. Ни глубокомыслие, с которым он разоблачает односторонность рассудка, ни идеальный здравый смысл, с которым он нападает на поверхностное образование того времени, не могут отделаться от его неудержимой склонности к странным выходкам и причудам. Отсюда и происходит то, что он оказывается неспособным облечь свои стремления к цельной жизни в такую форму, которая выражала бы его мысль вполне, соответствовала бы содержанию его идей и вместе с тем была бы изящна; что он выражает свои идеи отрывочно и вычурно, что он впихивает весь мелкий хлам своей собственной жизни туда, где приглашает нас ценить и понимать цельность жизни наконец что он совершенно погружается в аллегорическую сферу Библии и в символику христианских догматов, лишь только затрудняется объяснить цельность жизни или не находит для нее удовлетворительных выражений в языке искусства и науки. Это был, без сомнения, человек с хорошими и возвышенными стремлениями; в глубине своего сердца он был и кроток и правдив; но вместе с тем он не обладал силой воли, был рабом чувственных влечений и сильных страстей; он был писателем даровитым, и не только глубокомысленным, но даже проницательным, а вместе с тем не умел придавать своему изложению надлежащую форму и изящество. И в наше время было бы совершенно тщетно старание сгруппировать вокруг такого человека значительную массу образованных людей. Это был такой пророк, предсказания которого не ждали своего осуществления, а уже давно частью оправдались на деле, частью были опровергнуты. В наше время мы охотно признаем, что полнота существования, богатство естественного мира и глубина мира духовного не исчерпываются безжизненными отвлеченными понятиями; но нам также положительно известно, что то непосредственное «отживание» своей жизни еще недостаточно, что взывания к гениальности, к вере, к откровению ненадежны, если то, чему нас поучают вера и откровение, лишено должной меры и красоты, ясности и света. Этому научили нас те даровитые люди, которые жили после Гамана; этому научил нас в числе первых тот человек, который, глубоко убедившись в основательности требований Гамана, умел применить их с критическим смыслом и с умственной гибкостью к природе и к истории, к ис-

кусству и к науке, к поэзии и к религии. Гердер изложил свою собственную программу, когда в своем первом сочинении закончил характеристику литературной деятельности Гамана пожеланием, чтобы этот отважный Сократ нашел новую Аспазию для выражения его идей и нового Алкивиада для их развития — чтобы этим способом приобретать учеников и последователей, пока не появится новый Аристотель, который, быть может, возведет те идеи в систему. Сам Гердер воображал себя таким Алкивиадом и действительно развивал и уяснял идеи Гамана; и Гаман со своей стороны с удовольствием заявлял, что «некоторые из посеянных им семян, по-видимому, превратились, благодаря рвению и перу Гердера, если не в зрелые плоды, то по меньшей мере в цветки и в бутоны».

Сведения о том, когда завязались между ними личные сношения, противоречивы. Но для нас безразлично, когда возникло между ними первое знакомство, — тогда ли, когда благодетель Гердера, полковой хирург, отдал страдавшего глазной болезнью мальчика на излечение к отцу Гамана, «бывшему цирюльнику», самому любимому из кёнигсбергских хирургов¹, или же тогда, когда, по собственному, достойному доверия, рассказу Гердера, они встретились в исповедной и там обратили друг на друга внимание²; во всяком случае, они более тесно сблизились лишь в последней половине студенчества Гердера. Еще в июле 1763 г. Гаман жаловался из Кёнигсберга Линднеру на отъезд своего «последнего друга», некоего Дентлера, — молодого человека, который, в угоду ему, немного научился языкам, английскому и итальянскому. Поэтому следует полагать, что Гердер стал учиться у Гамана английскому языку несколько позже — никак не ранее весны 1764 г.; на это есть некоторые указания и в переписке Гамана: имя нового друга встречается в ней не ранее марта 1764 г., а потом очень скоро упоминается в самых лестных и нежных выражениях.

В течение нескольких лет Гаман жил в доме своего отца без всякой должности; но свою молодость он провел в самых странных похождениях. После беспорядочного элементарного и школьного обучения он также бесцельно учился в университете, предаваясь всевозможным умственным и телесным наслаждениям. Не чувствуя расположения к тем занятиям, которые дают средства существования, и увлекаясь смутными понятиями о свободе, он

¹ Это говорит Боровской (ЛВ. I, 1, 77).

² Воспоминания. I, 70.

стал разыгрывать роль воспитателя, не будучи к тому нисколько подготовленным. По неопытности он несколько раз принимал на себя обязанности гувернёра в Лифляндии и в Курляндии; в промежутках между занятием этих должностей он отдыхал от своей деятельности воспитателя в Риге, в доме купца Иоганна Кристофора Беренса, где был ласково принят; там он стряхивает с себя всю школьную пыль, начинает изучать народное хозяйство и торговое право, переводит касающееся этих предметов французское сочинение и присовокупляет к своему переводу самостоятельные остроумные размышления. Эта перемена занятий скоро привела к печальным последствиям. По совету своих рижских друзей Гаман решается искать счастья на поприще торговли. По поручению торгового дома Беренса он отправляется осенью 1756 г. через Берлин, Любек и Гамбург в Голландию, а оттуда в Лондон. Неопытный и беспомощный, как ребенок, крайне любознательный и впечатлительный, не умеющий взяться за возложенное на него дело, неспособный руководить и управлять самим собой, поэтому всегда готовый сделаться жертвой всякой случайности и всякого соблазна, он попадает в дурное общество, а для того чтобы заглушить свою душевную тревогу, ищет развлечений и ведет беспутную жизнь. Его денежные средства приходят к концу, его здоровье слабеет — и он стоит на краю гибели. Тогда этот сын благочестивых родителей находит в Библии утешение и новые жизненные силы. Это был самый решительный переворот во всей его жизни. В его «Размышлениях о Библии», написанных в то время, как он с жадностью читал эту книгу, мы находим остроумные суждения, нисколько не похожие на излияния обыкновенной набожности, находим замечания о сокровенных свойствах человеческой натуры, о чудесах в природе и в истории, а текстами для этих замечаний служат слова или рассказы Библии. Все умственные силы, которыми обладает человек со страстным сердцем, с пылкой фантазией и чувственностью, и с сознанием своей ребяческой слабости, сосредоточились на этой богатой содержанием и поэтической книге, которая действительно способна служить опорой для того, кто утратил всякую другую опору и — конечно, по своей собственной вине — получил отвращение к светской жизни, к самодовольной человеческой мудрости, к прозаической вялости своего времени. Написанные в то же время и назначенные для самых близких друзей «Размышления о моей прошлой жизни» позволяют нам еще глубже вникнуть в процесс перерождения, благодаря которому этот замечательный человек вышел из всех затруднений практической жизни

и впредь считал своим призванием заботу и проповедь о духовных наслаждениях. Это — исповедь, наполненная, подобно исповеди св. Августина, ничем не прикрытыми признаниями. Она то поучает, то приводит в ужас, смотря по тому, как настроен ум читателя; но ее никак нельзя назвать неудобопонятной: бесхарактерный, но глубоко искренний в своих чувствах и убеждениях Гаман находит утешение и наслаждение в том, что разоблачает перед самым собой свои греховные наклонности, свои безрассудства и заблуждения и без всяких стеснений выводит наружу то, что таилось в глубине его души. Пропавшего без вести Гамана отыскивают. Его рижские друзья, доверие которых он употребил во зло и которым он причинил значительные материальные убытки, снова принимают его с отверстыми объятиями; но он уже не сходится с ними в своем мирозерцании и уже оказывается негодным для их замыслов. Он отстаивает свои новые воззрения против своих благодетелей с самоуверенностью и с упорством верующего, с упрямой раздражительностью и с наивным высокомерием. Наконец, они не хотят долее держать его у себя в Риге. По настоятельному требованию своего больного отца, он возвращается в начале 1759 г. в Кёнигсберг. При полном отсутствии каких-либо обязательных занятий он стал посвящать свой досуг такому же самообучению посредством чтения, каким начал заниматься еще в бытность студентом. Он проводил целые дни в изучении Старого и Нового Завета в подлиннике. Вместе с этим шли рука об руку занятия языками, еврейским и греческим, грамматические и разные филологические исследования. При этом чтении Библии Гаман пользовался всякими вспомогательными средствами, как назидательными, так и учеными. Вместе с тем он изучил всю греческую литературу со включением писаний отцов церкви в такой полноте, в какой был способен осваиваться с произведениями иностранных писателей. Он жил произведениями Гомера; на каждый день он задавал себе урок, для того чтобы к назначенному времени ознакомиться с греческими драматиками, потом с греческими философами и наконец с греческими историками. Между латинскими писателями он всех более любил Горация, Персия и Петрония. И этим он не удовольствовался — он изучил арабский язык, стал читать Коран и другие произведения арабской литературы. Но и современная английская и французская литература была хорошо ему знакома, а в немецкой литературе никакое новое сочинение не ускользало от его внимания. Иными словами, он с каждым днем все более и более приобретал такую всестороннюю ученость, какой нельзя было найти ни у кого дру-

гого. С удивительной памятью он соединял чрезвычайно быструю понятливость и в особенности чрезвычайно оригинальный ум, постоянно старавшийся соединить все прочитанное в одно целое и причудливо связать с его собственными идеями. А в основе этой способности все запоминать, этого ненасытного желания учиться и читать, этого блестящего причудливого остроумия лежали жажда истины, желание проникать в самую глубину предмета и поистине гениальная пронизательность. Именно в зачатках его литературной деятельности обнаруживаются с особенной яркостью все эти элементы и отличительные черты его характера.

Понятно, что эти новые воззрения Гамана на религиозные верования и на цель жизни тревожили и раздражали его друзей, которые имели для него в виду совершенно иную сферу занятий. Христофор Беренс — этот прекрасный гражданин, здравомыслящий светский и деловой человек — стоял за тогдашние стремления к просвещению. Ему было прискорбно видеть, что его умный, начитанный и даровитый друг навсегда перешел в лагерь обскурантов и тунеядцев и что его природные дарования останутся без употребления, без пользы для общества; чем невнимательнее относился Гаман к его увещаниям, тем усерднее он старался сдерживать увлечения своего друга и внушать ему склонность к более практическим занятиям. Наконец, он воспользовался поездкой в Кёнигсберг, для того чтобы при содействии Канта (также дружески расположенного к Гаману) склонить этого странного человека к вступлению на литературное поприще. Плодом этих стараний и ответом Гамана на упреки и увещания двух его друзей было появление в 1759 г. его первого самостоятельного небольшого сочинения, от которого он сам вел начало своей авторской деятельности; оно носило следующее причудливое заглавие: «Сократические достопримечательности, собранные на скуку публики человеком, склонным к скуке, вместе с двойным посвящением никому и двум»; оно, лишь между прочим, должно было служить образчиком более живого изложения истории философии, а главным для него содержанием служило изложение и оправдание собственного образа мыслей, сопровождавшееся разносторонней полемикой; все это имело внешнюю форму характеристики Сократа. Подобно тому как Сократ — при своем унаследованном от прадедов уважении к религии своего народа, при своей искренней правдивости, при своей крайней сдержанности, однако отзывавшейся иронией, — стал в оппозицию к просвещенным афинянам и к чересчур мудрым софистам, и Гаман восстает против просвещения и против ни во

что не верующей философской мудрости своих современников. Ненавидя то знание, которое приобретается рассудком и все анализирует, он восхваляет сократическое незнание, которое было, по его мнению, ощущением, а не выработанной рассудком научной теорией, как у скептиков. Но оборотной стороной и дополнением незнания он считает веру, которая (в этом случае он сходится с Юмом, к мнениям которого и Кант относился с большим уважением) вовсе не продукт разума и не может быть заглушена никакими нападками с его стороны, «потому что вера, подобно вкусу и зрению, не нуждается ни в каких доводах». Но с этим восхвалением веры идет рука об руку восхваление гения. Так, у Сократа был гений, на знания которого он мог полагаться и внушениям которого он верил; так, гений заменял незнакомство Гомера с правилами искусства и нарушение этих правил Шекспиром. Автор заходит еще далее в своем сочувствии к великому афинскому мудрецу. Он узнает самого себя даже в странностях сократовского способа преподавания — в том, что Сократ, не обращавший никакого внимания на то, что афиняне принимали в своем высокомерии за мудрость, выражался, подобно всем простакам, самоуверенно и решительно, высказывал причудливые мнения, потому что не имел никакого понятия о диалектике, делал свои выводы по чувственным впечатлениям и по уподоблениям и в доказательство истины охотно прибегал к насмешке и к причудливым выходкам. Иными словами, Гаман видел в Сократе образец такого же мудреца, каким считал самого себя, — для него Сократ был пророк, «старавшийся вывести своих сограждан из лабиринта ученых софизмов на путь той истины, которая скрыта от наших глаз». Даже много лет спустя, он говорил, что подобно тому, как призвание Сократа заключалось в пересаживании морали с Олимпа на землю, и его призвание заключалось в том, чтобы «точно таким же образом открыть высшее святилище и сделать его для всех доступным».

Гаману пришлось по вкусу только что начатая им литературная деятельность. По поводу появившихся на его первое сочинение рецензий он написал полемическую статью под заглавием «Облака; эпилог к сократическим достопримечательностям». В целом ряде других статей и брошюр, между которыми самая выдающаяся носит заглавие «*Aesthetica in nuce*, рапсодия в каблистической прозе», он разбрасывает без всякой последовательности свои мысли и замечания касательно самых разнообразных филолого-эстетических проблем. «Крестовые походы филолога» — так гласит заглавие сборника, в котором он соединил

в 1762 г. все эти мелкие статьи. К этим статьям, действительно, подходило название «крестовых походов», потому что все они более или менее состоят из полемики, которая велась под знаменем креста. Однако вместе с тем появляется в заголовке козлиный профиль рогатого пана как символическое изображение автора, у которого изложение было переполнено неуклюжим юмором и неизящными намеками и который, подобно Сократу, был убежден, что под маской задорного и насмешливого сатира будет излагать самые глубокие и самые верные идеи.

Нет ничего неправдоподобного в том, что Гердер еще в Мюнхене читал некоторые из этих брошюр, в особенности озаглавленную «Näschereien», и, конечно, также письма Гамана к Трешо¹. Нас не может удивлять двойное влечение, которое чувствовал Гердер к оригинальному автору этих брошюр, потому что в личности Гамана он находил комментарий к его сочинениям, а в его сочинениях — комментарий к его личности. На самом деле автор, как человек, был выше своих произведений. Восприимчивый, склонный ко всему великому и необычайному, ум Гердера мог легко увлечься поразительным появлением христианского Сократа, глубокомыслием его неуклюжих выражений, подвижностью его физиономии, которая — по словам его друга Рейхарда — переходила от выражений самого сильного воодушевления к внезапному остоленению, верно отражая быстрые перемены его душевного настроения. Впрочем, мы знаем от самого Гердера, какое впечатление производила на него эта личность. Ведь никто другой, как Гердер, был автором того (правда, появившегося лишь десятью годами позже) описания наружности северного чародея, которое помещено во втором томе лафатеровской физиогномики². Там идет речь о «выражающем скорбь и глубину мысли» челе Гамана, о «темном эластичном облаке» между бровями, «выражающем душевную борьбу». В глазах Гамана Гердер видит «чистый луч света», «взор пророка, способный обращать других в прах молнией остроумия». Особенно замечательным находит Гердер у Гамана рот, «молчаливый и подвижный, умный и нежный, выразительный, насмешливый и благородный, то заводящий речь, то умолкающий». Наконец Гердер восхищается «остоленением, соединенным с пронизательностью и возбуждающим благоговение, привычкой спокойно и энергично произносить несколько хорошо обдуманых золо-

¹ См. статью Трешо (LB. I, 1, 50).

² Там же. С. 285.

тых слов, привычкой не отделяться пустяками от получателей и просителей» — «этой покрытой иероглифами статуей, этим живым Quos ego». Таким видел Гердер Гамана и таким его считал в то время, как в Кёнигсберге сделался его учеником и Алкивиадом. Он нашел в Гамане преподавателя английского языка и, кроме того, стал с ним изучать итальянский язык. В те незабвенные часы, которые он проводил вместе с Гаманом, он в первый раз читал под его руководством шекспировского «Гамлета»¹, «Потерянный Рай» Мильтона и немало других книг. Тогда его учитель иностранных языков сделался его наставником и в более важных предметах; тогда в его душе зародилась та пылкая страсть к произведениям великого английского драматурга, которую впоследствии, живя в Страсбурге, он перенес на молодого Гёте и на его последователей. И не только в этих занятиях, но и во всех других юный богослов находил у своего, более зрелыми летами, друга сочувствие, помощь, наставления, критику и указание ошибок. Библию и книгу церковных песней младший из двух друзей уже знал так же хорошо, как старший. Гаман был так же, как и Гердер, самоучкой, но более зрелым, более развитым и более сведущим; он так же, как и Гердер, любил рыться и в сокровищах, и в мусоре литературы, ловил везде, где попало, филологические сведения и никогда не мог насытить своей жажды к чтению книг. Таким образом, Гердер, уже в ту пору прославивший у своих сверстников за «живую библиотеку», нашел в Гамане неоценимого литературного руководителя, всегда готового сообщать ему то, что вычитал из книг, и принимать участие в занятиях своего юного друга. Но еще более ценны были замечания, суждения, «глубоко обдуманнные золотые слова», в которых оригинальный мыслитель — конечно, выразившийся с большей энергией в разговорах, чем в своих сочинениях, — сообщал свои душевные мысли благоговейно слушавшему ученику. Часы, которые Гердер проводил в обществе Гамана, не имели никакого сходства с теми, которые он проводил в обществе Канта; однако впечатления, которые он выносил из тех и из других, отнюдь не сталкивались и даже частью странным образом приспособлялись одни к другим. И тут и там Гердера отучали от преклонения перед бессодержательными отвлеченностями и схоластическими тонкостями, наводили его на путь, указываемый

¹ В одной из тетрадок Гердера, большая часть которой до сих пор цела, на одной стороне записан английский текст, на противоположной стороне сделан перевод. Сравн. письма Гамана к Гердеру (LB. I, 1, 306) и Гамана к своему отцу (Там же. 307).

опытом, наблюдениями и фактами, и приучали к неумолимо строгой правдивости. И тут и там ему указывали как на руководителей на Бэкона, Юма, Руссо, Монтеня и Шефтсбери. Знание естественных наук и свобода мышления одного наставника дополнялись знанием литературы и умственной проницательностью другого. То, что Гердер узнавал от Канта в форме методического научного изложения, Гаман неизгладимо запечатлевал в его душе своими энергическими изречениями. Конечно, и в Гамане, и в Канте были сократические задатки: сам Гаман назвал своего друга Канта «маленьким Сократом»; а так как оба они ссылались на афинского мудреца, то этот последний, вероятно, предстал бы перед нами как живой, если бы можно было воссоздать его из смешения тех двух натур. Гердер имел то счастье, что был учеником и другом попеременно влиявших на него обоих Сократов, несмотря на очень важные между ними различия. Он, без сомнения, питал более сильную симпатию к мистическому Сократу, чем к диалектическому. Как сильно он привязался к первому из них, видно, между прочим, из его прощального письма¹, написанного по случаю того, что Гаман предпринял в июне 1764 г. продолжительное путешествие по приглашению дармштадтского министра Мозера. Там встречаются строки, выражающие такую грустную нежность и привязанность, что, помимо воли автора, принимают поэтическую форму. В этих строках он снова говорит о «тучах, нависших, как чад чародея, над челом друга, в то время изнемогавшего от страданий и угнетения, и присоединяет к этому выражение добрых надежд и пожеланий. «Я знаю, — говорится в конце письма, — что вы любите меня больше, чем я могу любить сам себя. Да ниспошлет Бог счастье вам, самому лучшему из людей, какого я когда-либо знал!»

Эта привязанность была обоюдна. Гаман отвечал на преданность своего дорогого Гердера отеческой нежностью и самым полным доверием. Он скоро заметил душевные и умственные достоинства юноши. Его склонность к роли педагога находила для себя сильное поощрение в восприимчивом и живом уме Гердера, который схватывал его мысли на полуслове. Еще в последнее время университетских занятий в Кёнигсберге были написаны под влиянием этого благотворного обмена мыслей некоторые значительные произведения Гердера, которые читались только Гаману и немногим из близких друзей и о которых нам еще придется говорить впоследствии. Но надежды, которые возлагал Га-

¹ LB. I, 1, 303.

ман на будущность даровитого юноши, были основаны на более ранних и менее законченных произведениях Гердера. И как поэту, и как оратору Гердеру пришлось теперь впервые выступить перед более многочисленной публикой.

Он, как нам известно, писал стихи еще в годы своего отрочества. Желание подражать Клопштоку, Уцу, Галлеру, а потом Клейсту и Лессингу имело в этом случае такую же долю влияния, как полная сильных душевных волнений жизнь юноши, как потребность говорить с самим собой в горе и в нужде, в страданиях и в радостях, как желание проверять самого себя. Это были частью ученические упражнения, частью не изящные по форме, но искренние и богатые содержанием добровольные признания; это были отрывки из «*Lebensjournal des Dichters*», как он сам назвал одно из самых мелких стихотворений этого рода при его случайном появлении в свет¹. Наряду с тяжеловатыми одами, в которых много преувеличений и в содержании, и в выражениях, наряду с неудобопонятными философскими стихотворениями, в которых автор лишь с большим трудом прокладывает себе путь сквозь массу неразрешимых вопросов, здесь также встречаются более удобопонятные и более привлекательные стихотворения, написанные в форме песен или эпиграмм; появление и тех и других было большей частью вызвано какими-нибудь особыми мотивами, имевшими важное значение в глазах юноши. Однако любимый тон, на который молодой поэт всего охотнее настраивает свою лиру, — тон возвышенный и в высшей степени страстный. Что он между прочим писал очень нравившиеся в ту пору поздравительные стихотворения по случаю дней рождения и других торжественных случаев, понятно само собой и не нуждается в доказательствах, которые мы находим в оставшихся после его смерти тетрадках. Но мрачные мотивы играют у него более важную роль, чем веселые. Для одного очень патетического стихотворения послужило поводом несчастье, случившееся в семействе книгопродавца Кантера, с которым он был особенно дружен. В такую пору жизни, когда другие выражают в своих стихотворениях любовь и желание наслаждаться жизнью, муза Гердера сдружилась со смертью и с могилой — точно будто он еще не высвободился из-под влияния любимых сюжетов Трешо, чтения «Ночных дум» Юнга или «Могильщиков» Крейца. Еще не достигши 20-летнего возраста, Гердер — вероятно, пользуясь уважением, которое внушали его богословские познания и его положение в

¹ Кёнигсбергская газета. 1765. 6 дек. С. 97.

коллегии Фридриха, — произносит над гробом сестры Кантера (которая была немного моложе его самого) речь, а в заключение ее переходит от незрелой риторики также к незрелому, наполненному риторикой, дифирамбическому стихотворению¹. Загадка смерти, в особенности смерти «в юных летах», составляет главный сюжет его фантастических умствований. Смело выступая в качестве оратора в первый раз перед такой многочисленной публикой и не менее смело обращаясь с языком, он старается восполнить недостающую ему нравственную зрелость и житейскую опытность набором теоретических соображений и искусственных оборотов речи. Христианские уподобления и отзвуки тех выражений, которые употреблялись в церкви и в поэзии пиетистами, странно перемешиваются у него с классически языческими воспоминаниями. Он говорит о троне Заступника и о ягненке, за которым усопшая идет вслед в блестящем белом одеянии; тут же он говорит об умирающем Сократе и о Гекате, а слова матери-спартанки: «разве для того я тебя родила!» приводит как образец, которого должна держаться христианка. Но юность оратора, толковавшего о страхе смерти, всего яснее обнаружилась в постоянных воспоминаниях о его собственном прошедшем и в усилиях, которые он тратил на свою риторику. Мы не имеем указаний ни на какие особые личные мотивы его участия в этом горе; но нам известно, что с этой минуты он стал чаще помышлять о смерти и что его душевное настроение довольно долго находилось под влиянием пережитого несчастья. Только через два дня после того он написал стихотворение с целью утешить своего друга Куреллу, и, вероятно, около того же времени была написана та элегия, в которой заключительные строки упоминают о его собственном отце, умершем уже за несколько месяцев перед тем; это можно заключить из того, что тон, которым написана эта элегия, звучит так же, как тон элегии, написанной по случаю смерти Маргариты Кантер.

Вскоре после того были написаны оба больших стихотворения по случаю христианских праздников; это первые памятники начинавшихся более близких сношений между Гердером и Гаманом. Как «Песнь к Киру», так и надгробная речь Гердера, равно как его стихотворное послание к Курелле, были отпечатаны Кантером. Этот книгопродавец был в дружбе с Гаманом и незадолго перед тем склонил его к участию в новом литературном предпри-

¹ Речь (Воспоминания. I, 75 и сл.); заключительное стихотворение (LB. I, 1, 211).

ятии. Под названием «Königsbergsche Gelehrte und Politische Zeitungen» он основал в начале 1764 г. журнал, который должен был выходить еженедельно два раза и в котором предполагалось помещать, кроме политических известий, научные и литературные статьи, оригинальные очерки и главным образом объявления о находившихся в продаже книгах¹. Гаман, все еще живший без всяких обязательных занятий со времени неудавшейся в 1762 г. попытки получить место канцеляриста, склонился на просьбу принять на себя редакцию журнала, который действительно стал выходить с 3 февраля 1764 г. Когда Гаман стал искать себе сотрудников между своими друзьями и друзьями Кантера, то его выбор остановился прежде всего на молодом Гердере как на даровитом поэте. Он рассчитывал, что ему будет доставлено стихотворение на тему «Страстная пятница» от Гиппеля, который именно в то время начал вторично изучать в Кёнигсберге юриспруденцию, отказавшись от теологии; а стихотворения на праздник Пасхи он ожидал от Гердера.

Но на самом деле оба стихотворения написал Гердер, без сомнения воображавший, что превзошел в этом случае самого себя, так как дошел в своем смелом пафосе и в своем преувеличенном подражании Клопштоку до крайних пределов запутанности и неясности. В том номере журнала, который вышел 20 апреля, в Страстную пятницу, появилось под заглавием «Чужеземец на Голгофе, св. Лука 24, ст. 18» драматическое описание распятия и положения во гроб Христа, будто бы написанное со слов чужеземца, который был очевидцем случившегося. Вслед за тем, в номере от 23 апреля появилось стихотворение по случаю Пасхи; эта ода была написана в форме два раза повторявшегося разделения на строфы, антистрофы и эпистрофы; ее автор, без сомнения, воображал себя христианским Пиндаром.

Гаман вообще не отличался тонкостью вкуса и едва ли стал бы стесняться какими-либо эстетическими требованиями, когда факты, заимствованные из Библии, и предметы христианских верований служили темой даже для неблагозвучного и неизящного стихотворения; он, быть может, поместил бы на страницах своего журнала еще немало подобных безобразных стихотворений своего нового любимца, если бы этот последний сам не разубедился в достоинствах своего стиля — «того возвышенного стиля (как он впоследствии сам выражался), который внезапно возник из хаоса и еще не был знаком с грацией». При его влечении к самым воз-

¹ Сравн. Гайм Р. Herder und die Königsberger Zeitung. 1874, I, 409 и сл.

вышенным идеям ему так нравился торжественный тон оды и он с такой жадностью вчитывался в произведения самого Пиндара и в произведения его последователей и подражателей, что вместе с теоретическим изучением правил этого рода поэзии с увлечением пытался применять их на практике. Так, он занимался сочинением литургической оды «Песнопения первых христиан в день Пасхи»; вслед за тем он предполагал описать в форме гимна крещение новообращенных и их братскую трапезу; после того он трудился над одой в честь Петра Великого¹; и впоследствии он не раз возвращался к стихотворной форме од с большим или меньшим успехом.

Однако он перестал знакомить публику со своими стихотворными упражнениями и стал оставлять их в ящике своего письменного стола, придерживаясь правила *nonum prematur in annum*², по меньшей мере по той причине, что этот юный подражатель Пиндара увидел в одном вновь появившемся литературном произведении верное отражение своих собственных возвышенных стремлений. Он (как сам рассказывает³) сделал такие наброски христианских и немецких дифирамбов, которые он «извлек из недр нашей религии и нации» и из которых должны были выйти «опьяняющие песнопения со священным воодушевлением религиозным и политическим». Тогда неожиданно появились дифирамбы, которые хотя и были совершенно в ином роде, однако доставили ему случай проверить самого себя и заставили его быть более сдержанным. Это были дифирамбы Вилламова, который был в то время профессором в Торне: он был сын того морунгенского преподавателя закона Божия, к которому Гердер питал большое уважение. Поэтому и личные и объективные мотивы побуждали Гердера взяться за критику маленького сборника дифирамбических стихотворений. Свою первую рецензию он поместил в Кёнигсбергской газете⁴. Опираясь и на свои познания по истории литературы, и на требования изящного вкуса, он в сжатом изложении доказывал, что хотя эти стихотворения и не лишены некоторых достоинств, но несколько не похожи на ди-

¹ Наброски и отрывки тех двух стихотворений находятся в тетрадках Гердера; наброски этого последнего стихотворения можно найти у Суфана (Peter der Grosse, Herders Fürstenideal, Altpreussische Manatschrift von Reicke und Wichert X, 2, 97 и сл.).

² Пусть печатается на девятый год, т. е. не надо торопиться с изданием произведения, пусть останется время для его улучшения, совершенствования (лат.). — Прим. ред.

³ Отрывочные заметки. II, 318.

⁴ Там же. 1764. С. 30; SWS. I, 68 и сл.

фирамбы древних поэтов. Если первые, появившиеся в свет, риторические и поэтические произведения юноши обнаруживали хотя и большой, но еще не подчинявшийся никакой дисциплине и нередко впадавший в заблуждения талант, то эта первая критическая статья доказала, что Гердер был прозорливый, одаренный тонким вкусом ценитель чужих произведений, что его врожденными призваниями были эстетика и история литературы.

Вскоре после того в жизни Гердера произошел важный перелом, которым он был обязан своим влечениям к изящной литературе, своим связям с Гаманом и вместе с тем, конечно, приобретенной им репутации хорошего педагога¹.

Должность помощника ректора, учрежденная при рижской церковной школе лишь за несколько лет перед тем, оказалась вакантной. Уже ранее того Гаман не раз упоминал о Гердере в письмах к тамошнему ректору Линднеру, который был его старым другом. В то время как Гаман готовился к отъезду из Кёнигсберга по упомянутому нами ранее приглашению министра Мозера, ходили слухи о предстоявшем назначении Линднера на кафедру поэзии при Кёнигсбергском университете; поэтому Гаман написал Линднеру, что рекомендует ему в Кёнигсберге своего друга в лице Гердера. Он так сильно желал успеха своей рекомендации, что и своему юному любимцу присоветовал немедленно письменно отрекомендоваться Линднеру, который, в случае своего назначения в Кёнигсберг, конечно, имел бы дело и с коллегией Фридриха. Гердер не замедлил последовать этому совету и получил в ответ от Линднера запрос, не примет ли он место помощника ректора в Риге. Таким образом от Линднера исходил почин в этом деле². Следует полагать, что ему уже были знакомы поэтические произведения юноши, так как в числе мотивов, которыми он подкреплял свое предложение перед рижским магистратором, находится и тот, что рекомендуемый им человек «обнаружил свои способности и вкус к новейшей изящной литературе»; изящная литература была главным предметом его собственной ученой деятельности, и именно с целью ее поощрения он настоял на учреждении должности помощника. Весьма вероятно, что и Гарткнох замолвил доброе слово за своего друга

¹ То, что следует, заимствовано из писем (LB. I, 1, 302 и сл. и 308 и сл.), равно как из документов, помещенных у И. Сиверса (Herder in Riga. С. 40 и сл.).

² Сравн. письмо Линднера к Клотцу от 14 июля 1768 г. и письма немецких ученых к Клотцу (II, 132): «так как я был единственный человек, который в то время привлек в рижскую школу этого друга [Гердера] ввиду его гениальности».

Гердера¹; но более чем вероятно, что ректор собирал сведения о Гердере у его кёнигсбергского начальства и у его товарища Шлегеля, который был учеником Линднера². Одним словом, Гаман ничего не знал о том, что Линднер обратился к Гердеру с предложением, которое было немедленно принято. Сам Гердер не чувствовал сильной привязанности ни к своему прусскому отечеству, которое казалось ему страной рабства уже по своим военным законам, ни к Кёнигсбергу, в котором дышал «густым туманом беотийской атмосферы», ни к коллегии Фридриха — «к этой почтенной, старой 60-летней Фридерике», которая, пишет он, быть может, прежде и носила на лице вместо мушек шрам религиозности и морщину педантизма, но стала от этих искусственных украшений еще менее привлекательной, с тех пор как утратила свою молодость. Соглашение состоялось скоро. Более подробные сведения, собранные Гердером о его будущих обязанностях, побудили его охотно принять предложенное место; с другой стороны, он постарался доставить своему рижскому доброжелателю все нужные указания касательно самого себя — послал ему в виде образчиков своей преподавательской деятельности обе школьные речи, содержание которых нам уже известно и из которых одна была немедленно помещена в «*Rigische gelehrte Anzeigen*»; кроме того, он заявил, что, не любя перемены, надеется поселиться в Риге надолго, а несколько позже присовокупил, что намеревается служить при церковной школе по меньшей мере три года; все это доставило Линднеру возможность настоятельно рекомендовать своего кандидата рижскому магистрату³. Гаман, против всякого ожидания возвратившийся тем временем в Кёнигсберг из своей неудачной поездки, нашел это дело уже в полном ходу. Ему не оставалось ничего другого, как поблагодарить своего рижского друга за его «предупредительную заботливость и преданность». Рекомендация, которую он дал по этому случаю Гердеру, бросает самый яркий свет и на Гердера, и на его отношения к Гаману, но она уже не имела никакого влияния на ход переговоров, а лишь скрепила их результат. В письме к

¹ Гердер к Гарткноху, 1778 (*Dünßer C*, II, 82); «ведь благодаря тебе я попал в Ригу»...

² Сравн. сообщение, сделанное Вильперту одним неизвестным (LB. I, 1, 138).

³ Sivers, Herder in Riga. С. 40 и сл.; сравн. с письмами Гердера к Линднеру (LB. I, 1, 113 и сл.). Чтобы избежать противоречий в указаниях времени, не следует забывать, что на рижских письмах и документах время показано по русскому календарю. Впоследствии я буду цитировать, придерживаясь календарного стиля авторов.

Линднеру от 17 октября 1764 г. Гаман говорит: «При значительном объеме сведений исторических, философских и эстетических, при сильном желании возделывать самую плодородную почву, при более чем посредственной опытности в школьных занятиях, при способности легко усваивать и излагать предметы своего преподавания, он одарен девственной душой Виргилия и той впечатлительностью, благодаря которой мне всегда было так приятно сблизиться с лифляндцами и которая побудила Винкельмана написать такое приятное письмо. Поэтому я могу по чистой совести уверить вас, что благодаря этому симпатичному юноше с не совсем здоровыми глазами вы оставите в вашей школе такое после себя воспоминание, которое послужит вам наградой за ваши заслуги. Поспешите же с его назначением и приготовьте все, что нужно для того, чтобы он мог там хорошо устроиться, *et serves animae dimidium meae*».

Назначение Гердера на новую должность было готово 27 октября и было им получено в начале ноября вместе с ассигнованием ста двадцати пяти прусских гульденов на его путевые расходы. Он, как кажется, не встретил никаких затруднений, несмотря на то что слагал с себя прежнюю должность на половине школьного курса и отделялся от обязанностей военной службы. Тем не менее его сильно мучило воспоминание о данной им присяге, что явится на военную службу по первому требованию, и он стал дышать свободно лишь с той минуты, как оставил позади себя прусскую границу. По словам Бёттигера¹, он был так счастлив, что готов был припасть к земле и, подобно Бруту, целовать ее. В сентябре 1763 г. уже истек целый год со времени смерти его отца; так как он покидал свое отечество, то ему пришлось бы делить с государственной казной доставшееся ему небольшое наследство; чтобы «скорей развязаться с этим делом», он отказался от своей доли в пользу матери и сестер². В сопровождении Гамана, который провожал его до городских ворот, он покинул 22 ноября город, в который въезжал за три с половиной года перед тем с сильно бившимся от радости сердцем и в котором он, как сам выражался, «учился, учил и мечтал». Выехать ранее он не мог —

¹ Litterarische Zustände und Zeitgenossen. I, 112. «Воспоминания» (I, 33) неосновательно усматривают в юношеском стихотворении «Грудной младенец» намеки на военное рабство. И в более старой форме (LB. I, 1, 241) это стихотворение было ясным отголоском тех декламаций, которыми сопровождается в «Эмиле» Руссо размышление о пленении новорожденных.

² Гердер к Карлу Флаксланду (LB. III, 145). Подлинная бумага Гердера по этому делу хранится в числе ипотечных документов в морунгенском суде.

нельзя было добыть ни извозчика, ни прислуги, потому что все сообщения были в течение нескольких дней прерваны страшным пожаром, опустошившим гордый торговый город 11 ноября. Страшно-величественное зрелище, при котором присутствовал Гердер, внушило поэту мысль написать оду в библейско-пророческом тоне — «Скорбную песнь над пеплом Кёнигсберга»¹. Стихотворением в том же роде («Песню к Киру») когда-то началось его первое знакомство с Кёнигсбергом, а «Скорбная песнь» была его прощальным приветом этому городу. Она также появилась в печати у Кантера, и, конечно, нашлось хоть несколько читателей, которые отдали предпочтение смелости этих напыщенных строф перед жидкими, как вода, шестью с половиной сотнями александрийских стихов, которые были написаны по поводу кёнигсбергского пожара школьным товарищем Гердера Лаусоном и помещены в «Wöchentliche Königsbergische Frag und Anzeiguns-Nachrichten».

¹ LB. I, 1, 323.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЕРДЕР В РИГЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДОЛЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ЦЕРКОВНОГО ПРОПОВЕДНИКА; ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ СВЯЗИ

Переселившись в Ригу, Гердер нашел благоприятную для себя почву. Именно в то время главный город Лифляндии быстро расцветал, подобно человеку, который, оправившись от тяжелой болезни, снова начинает жить с обновившимися и более бодрыми силами¹. Воспоминание о тяжелых невзгодах, которые пришлось переживать во время Северной войны, освободившей Ригу от шведского владычества, еще не совсем угасло, но уже утратило прежнюю горечь; местное население не без некоторой гордости смотрело на русские орлы и видело в могуществе своей новой покровительницы гарантию внутреннего спокойствия и благосостояния. С 30-х и в особенности с 40-х годов оно стало поправляться от понесенных утрат и заглаживать последствия войны. Казенные заведения, пришедшие в совершенный упадок в годину тяжелых испытаний, стали мало-помалу оживать при содействии правительства, а взамен разрушенных публичных зданий стали возникать новые и более красивые. Из того, что с каждый годом увеличивалось число приходявших и уходивших кораблей, было ясно видно, что торговля, которая была душой рижской жизни и исстари источником благосостояния для местного населения, снова стала оживляться после продолжительного упадка. Но вслед за улучшением материальных средств населения стало заметно более сильное оживление и в умственной сфере. Вместе с увеличением богатства усилилось влечение к более благородным наслаждениям; купечество стало заводить более широкие торговые сношения и стало нуждаться в средствах для борьбы с невидимыми или скрытыми соперниками; стала

¹ В следующем рассказе мне служили руководством сочинения Экардта (Livland im achtzehnten Jahrhundert T. 1. 1876; Die baltischen Provinzen Russlands. 1868; Jungrossisch und Altlivländisch. 2-е изд. 1871; Baltische und russische Culturstudien. 1869, во 2-м изд.: Russische und baltische Charakterbilder zur Geschichte und Litteratur. 1876). Я воспользовался и местными сведениями автора, которые извлек из его писем.

чувствоваться необходимость поставить во главе городского управления таких людей, которые были бы достойными представителями города в его сношениях с центральным правительством и были бы способны ни в чем не отставать от местного дворянства, — все это возбуждало влечения к образованию, которые были тем более серьезными и сильными, что их нелегко было удовлетворить, что они возникали сначала лишь в немногочисленных кружках и встречали содействие лишь со стороны немногих выдающихся людей. Эти люди, стремившиеся лишь к тому, что могло принести существенную пользу, и рассчитывавшие на здравый смысл и на свободное развитие умственных сил, горячо взялись за те идеи, которые лежали в основе француско-германского просвещения. Ведь не было никакой возможности обойтись без позаимствований извне. За содействием пришлось обращаться главным образом к прежнему немецкому отечеству, с которым, таким образом, поддерживалась непрерывная духовная связь. Лифляндия и Курляндия, по неимению своего собственного университета, стали выписывать оттуда, и в особенности из Кёнигсберга, гувернеров, преподавателей и церковных проповедников. По меньшей мере в Риге относились к этим миссионерам немецкого духа, к этим представителям образования с признательностью и уважением. Такой человек, который с живостью и воодушевлением юноши посвящал все свои силы на удовлетворение этой потребности в образовании и при исполнении своей задачи умел становиться на самую возвышенную точку зрения, — такой человек, как Гердер, мог быть уверен в самом радушном приеме и в самом блестящем успехе.

Действительно, те годы, которые он провел в Риге, были самой приятной, самой счастливой и самой богатой эпохой его жизни. Там зародились в его уме те идеи, которые впоследствии принесли самые лучшие плоды. Там писал он отрывочные заметки о новой немецкой литературе, статью о Томасе Аббте и «Критические леса» — те первые литературные произведения, которые хотя и нуждались бы в поправках, но испускали обильный сок «подобно ветвям, внезапно оторванным бурей от дерева». Хотя под ними и не выставлялось имя автора, они распространили славу Гердера по всей Германии. Но в самой Риге это имя проносилось еще с иными чувствами. Местная личная деятельность Гердера, отражавшаяся и на его литературной деятельности, имела такое глубокое значение, что именно на нее мы должны прежде всего обратить наше внимание.

К числу рижских учебных заведений, переживших смутное военное время, принадлежала очень старинная церковная школа. Она вела свое начало со времен реформации и немедленно вслед за прекращением осады города была кое-как заново устроена, между тем как второе городское учебное заведение было закрыто в 1710 г. навсегда, а назначенный для дворянских и офицерских сыновей лицей был снова открыт лишь по прошествии двух десятилетий. Эта церковная школа находилась довольно долго в очень жалком положении, но потом стала быстро поправляться благодаря заботливости городских властей и способных ректоров; наконец, под управлением Линднера она достигла в течение последнего десятилетия такого процветания, что далеко опередила лицей, находившийся в заведовании старой и вялой дирекции. То была новая заслуга Линднера в его управлении школой, что он удачно выбрал в лицей Гердера такого наставника, который хотя и был моложе своих семерых сотоварищей, но был более всех их способен освоиться с духом заведения и поднятия его на более значительную высоту. Новый помощник ректора прибыл в Ригу, как следует полагать, в конце ноября или в начале декабря. Выдержав предварительный экзамен перед *collegium scholarhale*, он сначала был приватно введен в свою должность инспектором заведения, ратманом и председателем суда Шварцем¹.

Как было непохоже его новое положение на то, в котором он находился, живя в Кёнигсберге! На его внешней обстановке должно было благотворно отразиться прежде всего увеличение его материальных средств, хотя ему и пришлось на время обходиться без казенного помещения². По прошествии двух месяцев он писал своему другу Гаману, что при очень умеренной работе имел все, что необходимо в жизни и что высказано Лютером в четвертой молитве — за исключением жены и т. д... Конечно, и в церковной школе, точно так же как в коллегии Фридриха, еще многое делалось по старой рутине; как ни был Гердер доволен своим «поистине хорошим ректором», ему не все было по вкусу в учебном заведении. Он был от природы склонен к порицанию и его не

¹ Подлинные документы помещены у Сиверса (Herder in Riga. С. 43). Гердер был введен в должность 7/18 декабря 1764. Далее указания времени делаются по старому стилю.

² Там же. С. 42. Из документов, относящихся к сооружению в Риге памятника в честь Гердера, видно, что во время своего пребывания в Риге он постоянно жил в том церковном доме, на котором теперь сделана надпись и который стоял на бывшем *kleines Wageplätz*; эта площадь теперь носит название Herderplatz и украшена памятником, поставленным в 1864 г. (Там же. С. 64, 65).

легко было вполне удовлетворить; эта склонность обнаруживалась в нем даже в его ранней молодости и когда счастье улыбалось ему. Мог ли он не заметить противоположности между городом университетским и городом купеческим, мог ли он не чувствовать себя одиноким, когда ему пришлось жить первое время в Риге без знакомых и без тех поощрений к умственной деятельности, на которые был так щедр Гаман. Действительно, во все не легко было завести знакомства ни в замкнутых кружках богатого гражданства, ни в замкнутых кружках дворянства, резко отличавшегося от гражданства своими нравами. «Передо мной не растворяются двери для заведения знакомств», — говорится в одном из писем Гердера к Гаману. Однако они скоро растворились перед талантом, перед любезностью, предупредительностью. Благодаря частным урокам, которые стал давать Гердер в некоторых из самых почтенных семейств, он приобрел друзей не только в своих учениках и ученицах, но и в их родителях. Прежде всего ему открылся доступ в семейство Беренса, где когда-то был хорошо принят и Гаман. Чрезвычайно дельный, благородный и высокообразованный ратман Иоганн Кристофор Беренс, бывший в дружеских сношениях и с Линднером, и с Гаманом, и с Кантом еще со времени своего поступления в Кёнигсбергский университет, был вполне достоин того, чтобы Гердер воздвигнул ему еще в своих «письмах о гуманизме» (VI, 138 и сл.) памятник, конечно ничего не прибавивший к почету, которым пользовался Беренс среди своих сограждан благодаря своей общепользующей деятельности. Несмотря на то что он еще стоял на перепутье между 30-летним возрастом и 40-летним, он уже был центром кружка, деятельно заботившегося о распространении образования, и покровительствовал всем талантливым людям, попадавшим в сферу его влияния. Он сам и его братья Густав, Карл и в особенности младший Георг отнеслись с отеческой и братской заботливостью к новому пришельцу, ум и дарования которого сумели оценить по достоинству. Преимущественно Беренсу Гердер был обязан тем, что очень скоро сделался домашним человеком в самых образованных и самых знатных городских кружках, в семействах Готфрида Беренса, Арендта Беренса, Шварца, Цукербекера, Гейдефогеля, Граве, Буша, Мота и некоторых других.

Он извлекал из этих знакомств столько же пользы, сколько сам приносил. По поводу замечания, сделанного ему Гаманом относительно неправильности его слога, он писал: «Я сам до сих пор еще не созрел (*potum praesox*) для занятия общественной должности, для деятельности преподавателя, для знакомства со

степенными людьми и для правильного слога. Все мое образование было тем противоестественным образованием, которое делает из нас наставников в такое время, когда нам еще следовало бы самим учиться»; вслед за тем он выражает сожаление, что его образование не было достаточно методическим, что он мало бывал в обществе и потому не привык к светскому обращению, что он семимесячный зародыш, которому нужны дополнительное образование и присмотр и т. д. Но ни в каком другом месте он не мог бы более легко, чем в Риге, восполнить то, чего ему недоставало относительно светскости в обхождении; с другой стороны, ни в каком другом городе он не мог бы легче обходиться без всякой методы в своем школьном преподавании. Даже в Кёнигсберге, при посещении этого города в 1764 г., Трешо нашел в своем бывшем помощнике мало следов его прежней застенчивости и робости, а в Риге эти недостатки должны были совершенно исчезнуть — потому что всякий, кому удавалось попасть в эти с виду неприветливые кружки, находил там любезность, соединявшуюся с простотой в обхождении и с правами на личное уважение, находил там тон образованного общества и любезное гостеприимство. В течение всей своей жизни Гердер отдавал должную справедливость непринужденности рижских жителей в обхождении, их приветливости, умению себя держать и любезности; он никогда не мог позабыть, как хорошо ему жилось в этой среде.

Письма, которые он писал в первые годы своего пребывания в Риге, дышат таким довольством, которое может показаться преувеличенным. Лишь только он свыкся со своим новым положением, он стал вполне наслаждаться непривычной свободой и пользоваться гостеприимством своих новых знакомых. Лето 1765 г. он, по своему собственному признанию¹, провел так приятно, как никогда в течение всей своей жизни. Рига стоит только в двух милях от берегов Балтийского моря в безлесной и песчаной местности; внутренность города со своими узкими, мрачными и извилистыми улицами была в то время очень непривлекательна, а городские предместья были положительно отвратительны; но загородные дома богатых купцов и дворян, находившиеся в небольшом расстоянии от городских ворот и от городского вала, были окружены садами и парками, в которых можно было укрыться от городской пыли и грязи. Пользуясь приглашениями своих новых друзей, молодой Гердер бродил по этим летним дачам, а вместо высокопарных од в стиле Пиндара писал выливав-

¹ К Трешо (LB. I, 2, 106).

шиеся прямо из души песни, в которых превозносил идиллическую природу и искреннюю приветливость хозяев и которые оставлял этим последним в подарок в знак благодарности за гостеприимство. Так, из его «Landlied auf Gravenheide» видно, что он писал это стихотворение в то время, как гостил в поместье Гейдефогеля, в романтической местности на берегу моря¹. В Трастегофе он посещал молодого барона Вольдемара Дитриха Будберга, зятя лифляндского регирунгсрата Кампенгаузена. Этот Будберг был старше Гердера только четырьмя годами; он проводил в то время в небольшом поместье первые счастливые годы супружеской жизни. Одаренный от природы сильным влечением к поэзии и к изящным искусствам, он принадлежал к числу молодых лифляндцев, отличавшихся той любезностью в обхождении, которую Гаман надеялся найти в своем Гердере. Мейнгард — автор статей о характере и произведениях лучших итальянских поэтов и переводчик «Основ критики» Гома — был его ментором в Кёнигсберге и сопровождал его в продолжительном путешествии, предпринятом с целью учиться. В один из экземпляров первого из этих литературных произведений Гердер вписал те строки к своему другу, в которых так приятно отражается наслаждение солнечными днями и которые доказывают, как легко сглаживается различие общественного положения у людей с одинаковыми склонностями и с одинаковыми вкусами².

Молодой помощник ректора, натурально, всего более вращался в кружках местного гражданства, где его все любили и баловали. В некоторых листках, написанных рукой Гердера, еще сохранились следы той дружбы, которая привязывала его к самым почтенным рижским семействам. Он разделял и огорчения, и радости этих друзей. Воспоминанию об умершей Христине Регине Цукербекер он посвящает в сентябре 1766 г. прощальное послание; супругам Шварц-Беренсам он посвящает в ноябре 1768 г. колыбельную песню.³ Но самым большим для него удовольствием было то, что его друг Гарткнох, еще в 1763 г. открывший книжный магазин в Митаве, а вскоре вслед за тем такой же

¹ LB. I, 2, 37 и SW в отделе литературы. III, 97, где следует исправить имя; сравн. *Eckardt*. Livland im 18 Jahrhundert. I, 505. *Suphan*. Die Rigischen Gelehrten Beiträge и т. д. // Zeitschrift für deutsche Philologie. VI. С. 46, прим. 2.

² LB. I, 2, 41 и SW в отделе литературы. Yundert. III, 97. Относительно Будберга есть статья К. Г. Зоннтага (Taschenbuch Livona. 1812. С. 155 и сл.). Не был ли Будберг тем другом, с которым Гердер читал в сборнике Додслея «элегию в деревне на кладбище» (Отрывочные заметки. III, 234 прим.).

³ LB. I, 2, 168 и 366; SW в отделе литературы. III, 103.

магазин в Риге, окончательно поселился через два года в этом последнем городе¹. Более чем где-либо он был как у себя дома у Гарткноха, у которого скоро завелась и приветливая хозяйка². То были приятные, долго сохранявшиеся в воспоминании присутствовавших часы, когда он читал там перед внимательными слушателями то отрывок из «Мессиады», то избранное место из какой-нибудь вновь вышедшей книги, то им самим переведенный отрывок из сентиментального путешествия Иорика, или когда Гарткнох, желая доставить ему удовольствие, разыгрывал на фортепьяно какие-нибудь новые музыкальные сочинения. В этом обществе не было ни малейшей принужденности; занимались там всем, что могло возбуждать интерес, а если внимание гостей сосредоточивалось на каком-нибудь серьезном предмете, то иногда случалось, что они засиживались далеко за полночь. После продолжительной серьезной беседы мужчины усаживались вокруг чаши с пуншем — «после горячих философских споров они все томились жаждой; тогда входила служанка с корзинкой, наполненной золотыми гесперидскими яблоками». Этими словами начинается вакхическое песнопение, сохранившееся в бумагах Гердера; оно имеет сходство с той дидактической застольной песнью, которой заканчивается в «Отрывочных заметках о литературе» критика вилламовских дифирамбов; здесь слышится разгульное, приправленное остроумием, веселье, выраженное в такой форме, что поэт председательствует на пиршестве в качестве жреца Вакха и царя. Даже до крайности веселое душевное настроение принимает здесь высокий полет. После того как перед нашими глазами было перемешано содержание чаши, наполненной «яблоками в виноградном соку», мудрый, но вместе с тем заносчивый поэт называет этот напиток источником вечной юности, напитком патриархов, нектаром Геркулеса; он превозносит эту чашу всего более за то, что это — чаша единого духа, содержание которой «и горько, и сладко, и опьяняет, как сама жизнь»³.

¹ Гердер к Трешо 20 авг. 1765 г.

² Она была урожденная Мемель, родом из Митава и была замужем за Гарткнохом с 1767 г. (Экардт в статье о Гарткнохе: *Jungrussisch und Altlivländisch*. 2-е изд. С. 290).

³ Это стихотворение записано вместе с другими, впоследствии напечатанными, в той тетрадке в восьмую долю листа, которая относится к началу 70-х годов и в которую Гердер переписал свои отборные юношеские стихотворения (74 нумера). Остатки от песни за стаканом пунша, отзывающейся студенческими нравами и написанной, по всему вероятно, позже, находятся в тетрадке в восьмую долю листа, заведенной еще во время пребывания Гердера в Кёнигсберге.

Но из всех домов, которые посещал Гердер, самым привлекательным был для него дом купца Буша. Этот дом был ему приятен не потому только, что там собиралось приятное общество и что он был дружен с хозяином. Он пользовался особым доверием хозяйки дома, которая была очень умна, но несчастлива в супружестве; воспоминание об этой женщине глубоко врезалось в его душе и даже по прошествии многих лет он упомянул о своей привязанности к ней в таких горячих выражениях, что возбудил в своей невесте ревность, которую ему не легко было успокоить. Эта женщина была старше его несколькими годами; однако, как ни было высоко его мнение о ней, как ни были интимны и непринужденны их взаимные отношения, отзывавшиеся ухаживанием и сентиментальностью, мы все-таки не имеем никакого основания называть эту связь любовью или усматривать в ней что-либо достойное порицания. Эта связь была результатом обоюдного полного доверия, основанного на глубоком уважении, на сердечном участии и на потребности в искреннем обмене мыслей. Тут замешалось еще третье лицо — один честный, добродушный, обходительный малый, который был одарен неистощимой веселостью и при этом умел внушать полное к себе доверие; это был один из тех людей, на которых никогда и никак нельзя сердиться. Своему старому верному другу Бегрову Гердер писал самые веселые из всех своих писем; в его отношениях к Бегрову никогда не было никакого следа той обидчивости и придирчивости, о которых рассказывали его другие рижские друзья и которые всего чаще приходились на долю его верного друга Гарткноха; Бегрова он посвящал в такие тайны, которые было необходимо держать в самом строгом секрете. Именно в его письмах к Бегрову, точно так же как в его письмах к Гарткноху, мы находим полное подтверждение искренности тех признаний, которые он делал своей невесте касательно своих отношений к г-же Буш. Он признавался, что был ее другом и ежедневным посетителем вместе с другим честным малым, от которого оба они не скрывали никаких сердечных тайн. «В течение целых двух лет, — рассказывает далее Гердер, — я бывал у нее по утрам, ежедневно обедал, проводил послеобеденное время с вечера до поздней ночи: нас познакомила однородная болезнь наших глаз, а так как я с каждым днем все более и более научался ценить ее живой ум, доброе сердце и очень стойкий характер, то мы жили такими друзьями, каких немного найдется на свете и каких нельзя было найти в Риге. Мы ежедневно вместе болтали, вместе читали, спорили, мы друг друга утешали, пори-

цали и осыпали ласковыми словами, но ничего больше! Заходить далее этого значило бы оскорблять нашу дружбу. Я оказал некоторые услуги ей и ее детям; все радости и заботы, в которых я мог принимать участие, были у нас общими. Всему городу была известна наша дружба, потому что ради нее я отказывался от всяких приглашений в другие дома, и редко случалось, чтобы г-жа Буш не провожала меня в карете, когда я отправлялся на проповедь¹.

Эта связь сделалась прочной лишь в последние годы пребывания Гердера в Риге. Если же мы возвратимся к первому году этого пребывания, то мы найдем еще одно обстоятельство, которое должно было ободрять новоприезжего. Дело в том, что Гердеру представилась возможность поддерживать личные сношения с Гаманом, так что он мог прекратить свои горькие вздохи о том, что ему недоставало человека, который пробуждал бы его из умственного усыпления и «поощрял бы его на небольшие литературные предприятия». Станный, непрактичный и необходимый Гаман еще никак не мог, при своей склонности к ипохондрии, найти для себя такое новое положение, в котором мог бы иметь удовлетворительную деятельность; а теперь, когда ему уже было далеко за тридцать лет, он задумал еще раз искать место гувернера. В июне 1765 г. он приехал из Кёнигсберга в Митаву и остановился в доме своего приятеля, адвоката Тоттиена². От Митавы до Риги только семь миль. Гердера наэлектризовало уже одно известие о том, что его друг живет неподалеку от него³, и он воспользовался летними вакациями для поездки в Митаву. Гаман провел после того несколько месяцев в Варшаве вместе со своим другом и начальником, а потом отдал Гердеру визит в начале следующего года; на этот раз Гердер и Гаман, к которым присоединился и Гарткнох, провели вместе немало часов в серьезном обмене мыслей и предаваясь ничем не стесняемой веселости⁴. У Гамана исчезло его мрачное душевное настроение благодаря бившему ключом остроумию и веселости его «дорогого Гердер-

¹ LB. III, 181; сравн. 146. Между многочисленными письмами, которые бросают свет на эту связь, можно указать еще на следующие: LB, II, 16, 18, 26, 39, 79, 83, 88, *Dünßer A*, III, 52; сравн. 55, 79, 364; C, II, 18, 21.

² По словам Гильдемейстера (I, 419), он принял приглашение Тоттиена прожить несколько времени у него в доме и познакомиться на практике с делами.

³ Гаман к Гердеру (LB. I, 2, 89): «Ваши поэтические мероприятия не произвели большого влияния на мой высохший мозг».

⁴ LB. I, 2, 112, 118. Соч. Гамана. VII, 384. — И сохранившееся в рукописи письмо Кауфмана к Гердеру от 1777 г. упоминает об этом посещении и намекает на тогдашнюю чрезмерную веселость трех друзей.

хена», его *petit coeur gauche*, и он отблагодарил за это тысячами ласковых слов и одобрений и помощью в задуманных его юным другом литературных работах. Было предложено чаще посещать друг друга, и действительно Гердер предпринял весной 1766 г. вторичную поездку в Митаву, несмотря на то что дорога была дурна и что было небезопасно переезжать через Двину во время ледохода. По возвращении домой Гердер описал эту поездку необыкновенно веселым тоном и послал это описание своему «дяде Товию Шенди» в виде «главы из своего романа, в котором Шенди играл главную роль». Он никак не ожидал, что виделся с Гаманом в последний раз. Гаман не мог привести в исполнение своего намерения еще раз подольше «повеселиться» с Гердером в Риге до своего возвращения в Пруссию. В начале 1767 г. мы находим его снова в Кёнигсберге, где он получил ничтожную должность по акцизному ведомству и откуда уже не мог никуда отлучаться. С тех пор он мог поддерживать сношения с Гердером только письмами.

Хотя Гердер и бывал постоянно в обществе, в котором его хорошо принимали и от которого он с трудом отрывался для своих ученых и литературных занятий, все-таки не подлежит сомнению, что свидания с Гаманом немало содействовали тому, что он сохранял бодрое душевное настроение. Но при своей впечатлительной натуре он был неспособен долго довольствоваться тем, что имел. Сверх того, он, несмотря на свои юношеские физические силы, вел жизнь слишком утомительную для него и в умственном отношении, и в физическом. Такие приятные дни, какие он проводил в беседе с Гаманом, были редки; поэтому несколько не удивительно, что его напряженное состояние ума, его веселость и бодрость иногда уступали место «меланхолии». Тогда свойственное ученым и писателям самообольщение брало верх над привычками школьного преподавателя и светского человека — и в душу Гердера закралась мысль, что он в Риге не на своем месте. В конце 1766 г. он в первый раз стал высказывать жалобы на то, «как жалка жизнь ученого в торговом городе, где цена всему, даже касающемуся наук, определяется мерой, цифрами и весом». Хотя он не мог не сознаться, что именно в то время, когда его душевное настроение было особенно мрачно, он нашел более друзей, чем сколько ожидал, тем не менее он сам говорил в минуты хандры, что неохотно поддерживает свои личные сношения и что ему было бы всего приятнее «прекратить всякие знакомства и жить в полном одиночестве». Он беспрестанно скорбел о том, что у него нет знакомых литераторов, нет такого

общества, какого желал его своенравный ум, и что ему приходилось самому быть для себя и паствой и собеседником. Когда он был особенно угрюм, когда его мрачное расположение духа доходило до того, что он «бил самого себя и плакал», тогда ясно обнаруживались признаки физического нездоровья. Кому «весь мир кажется мрачным», тот хорошо сделает, если пошлет за доктором. Действительно, он сильно занемог в начале 1767 г.; у него сделалось воспаление легких, которое продержало его в постели несколько недель и едва не стоило ему жизни¹. И этого мало — немедленно вслед за тем ему пришлось лечиться от болезни глаз, которая держала его взаперти два месяца и не позволяла ему ни читать, ни писать². Но он страдал не одними физическими болезнями. В то время, как он лечился от болезни глаз, Рига дала ему такое блестящее доказательство своей признательности, которое привязывало его к этому городу новыми узами. Однако жалобы Гердера не прекратились; он даже почти раскаялся в том, что принял на себя новые обязательства. Чему же приписать все эти жалобы? Все они сводятся к часто высказывавшемуся намерению рано или поздно проститься с Ригой. Чем дольше ему приходилось ждать исполнения этого желания, тем менее был он в состоянии заглушать доходившее в нем до болезни душевное беспокойство и недовольство; у него все более и более зрело убеждение, что «умственные потребности» требуют перемены его положения. Едва ли не самыми знаменательными были в этом отношении следующие слова в его «невеселом» письме к Шеффнеру³: «Я не желаю ничего, кроме перемены, и при моем недовольстве поистине без всякой пользы истощаю мои силы. Всякое приглашение выехать отсюда куда бы то ни было и для каких бы то ни было занятий будет мне приятно, и ничто не мешает мне воспользоваться первым удобным случаем, чтобы познакомиться с новыми странами и новыми людьми» — и т. д. все в том же духе.

В нем, очевидно, совершался внутренний переворот, который с течением времени все усиливался. Что сначала было мимолетной мечтой, а потом стало набрасывать более или менее мрачную тень на его душевное расположение, то, наконец, обратилось в тяжелый душевный гнет, от которого уже не было возможности избавиться. Нетрудно было предвидеть, что каковы

¹ LB. I, 2, 228, 238.

² Там же. 229, 242.

³ Там же. 356.

бы ни были мотивы окончательной развязки, эта развязка будет заключаться ни в чем другом, кроме решимости покинуть Ригу.

Но почему же Гердер не принял такого решения раньше? Почему же — и в этом заключается обратная сторона дела — внутренний переворот совершался так долго? Конечно, в том не было ничего непонятного, что Гердер отвечал немедленным и решительным отказом на странное предложение Гамана променять рижскую должность на должность домашнего учителя¹. Однако как легко он согласился принять более ответственную должность, которая была ему предложена рижской думой во время его болезни, — согласился принять, предварительно отклонив более лестное предложение переехать в Петербург! Еще незадолго перед тем он заявил, что охотно примет всякое порядочное место, какое ему будет предложено вне Риги, и постоянно выражал желание жить в Берлине; однако он отложил эти намерения в сторону, лишь только Николаи намекнул на возможность исполнить его желание; и как скоро он согласился с доводами тех, кто указывал на выгодные стороны его рижской должности — на его независимость, на его спокойное положение и на уважение, которым он пользовался!² Все это вполне ясно доказывает, что доводы за и против были равносильны, что Гердер находил в Риге под «сенью дружбы» немало таких благ, которые были не менее ценны, чем казавшаяся ему столь привлекательной более широкая известность, и которые были достаточным вознаграждением за труды и лишения ученого, мечтавшего о более приятном досуге, о более разнообразных побуждениях к предприимчивости, — все это ясно доказывает, что Гердера привязывали к Риге не одни только внешние узы, не одни только личные отношения, а также душевная симпатия и такие крепкие нравственные узы, которых он не разорвал даже после того, как перестал жить в Риге.

Напротив того, на деле оказывается, что сила, привязывавшая его к Риге, сначала и довольно долго одерживала верх и что новоприезжий в значительной мере подчинился влиянию рижской умственной атмосферы. И светлые стороны преобладавшего в Риге купеческого духа должны были бросаться в глаза тому, кто нисколько не сочувствовал ни педантическому тону университета, ни пиетизму того заведения, в котором он до того времени преподавал. Даже в том кружке, к которому Гердер всего тес-

¹ LB. I, 2, 203, 210 и сл.

² Там же. 413.

нее примкнул в Кёнигсберге и которому была обязана своим возникновением кантеровская газета, все держались того мнения, что ученость должна приносить общую пользу и что в том нет ничего постыдного, если иногда случалось находить газетный листок «на столике подле постели горничной». Поэтому когда Гердер нашел, что в Риге было еще более сильно это влечение к полезности и что там приметно было сильное влечение к светскому изящному образованию, то он легко освоился с господствовавшим там настроением умов. «Способность ко всему приспособляться», за которую его так хвалил Гаман, научила его, как сделаться в среде купцов и светских людей ученым с купеческими и великосветскими воззрениями. Благодаря своей даровитой и сангвинической натуре, он даже стал там на такую ногу, что мог господствовать над этими тенденциями. Приспосабливаясь к воззрениям своих новых сограждан, он их идеализировал. Он не нисходил до них, а возвышал их до себя. Он был идеалистом среди практических людей и сумел придать более внутреннего содержания и более благородства как экономически меркантильному духу рижских жителей, так и их поверхностной светскости.

Таким он был преимущественно в том, что касалось его преподавательской деятельности.

Самым замечательным и самым интересным доказательством этого служит речь, которую он произнес 27 июня 1765 г. по случаю своего торжественного вступления в должность¹. Эта церемония долго откладывалась, быть может для того, чтобы соединить с нею вступление нового ректора Шлегеля в должность; для нее был выбран канун третьей годовщины вступления на престол Екатерины II. Линднер выехал из Риги в мае и уже по этому случаю Гердер воздал публично похвалу деятельности бывшего ректора по школе и выразил свою личную признательность этому достойному человеку; он написал в античном стиле оду, которая была напечатана Гарткнохом в Митаве; это было вполне приличное прощальное приветствие ученому ректору, уезжавшему в Кёнигсберг для занятия там кафедры поэзии². После не-

¹ Она напечатана в LB. I, 2, 42 и сл.

² «Жрец, песня перед алтарем; посвящается отъезжающему другу» (LB. I, 2, 27 и сл.; SW в отделе литературы. III, 99 и сл.). В рукописи сохранились два прибавления к более старому стихотворению, в котором Гердер приветствовал Линднера. Они, по всему вероятно, были написаны еще в Кёнигсберге, так как в них упоминается об ожидаемом переходе рижского ректора в Кёнигсбергский университет.

продолжительного промежутка времени на место Линднера был назначен, по его собственной рекомендации, Шлегель, который был товарищем Гердера по школе Фридриха и также представителем так называемой изящной литературы. При новом ректоре, точно так же как и при старом, направление школьного преподавания отличалось изящным вкусом. Этот отпечаток преимущественно лежал на должности помощника, которую Гердер занимал уже в течение полугода. Она была учреждена по почину Линднера взамен прежней должности каллиграфа. На помощнике ректора лежала обязанность заменять во всех классах других преподавателей, не явившихся на лекции; но вместе с тем он должен был пополнять существенные пробелы в прежней программе преподавания. Ему приходилось преподавать преимущественно реальные науки — естественную историю, специальную историю некоторых стран, математику и наконец учить французскому языку и стилю¹. Стало быть, в сферу деятельности Гердера входила именно та сторона школьного обучения, которая всего более ценилась в купеческом городе и которая имела самое важное значение в глазах практических людей, во всем искавших «непосредственной пользы, светскости и изящества».

Сообразно с этим Гердер выбрал темой для своей речи рассуждение о том, «в какой мере должен преобладать в школе вкус к изящному», а эту тему он развил с таким красноречием, которое, конечно, не повредило оратору в мнении слушателей тем, что в нем было более пылкости, чем изящества. Он начал с объяснения, каким не должен быть школьный наставник. На основании того, что он сам вынес в своей молодости из собственного опыта и что, к сожалению, подтверждалось положением низших рижских школ, он нарисовал портрет преподавателя-ремесленника и затем противопоставил ему «идеальный образец» «преподавателя, обладающего изящным вкусом». Есть только одно средство, — говорил он, — привлечь юношество к научному образованию. Не принуждение, не наказание, не сухое объяснение будущей пользы, а только «привлекательность может приковывать внимание юноши». Надо делать так, чтобы наука и добродетель были приятны ребенку. И личность преподавателя должна носить на себе отпечаток изящества, внушающего доверие. Ученик будет вполне полагаться только на такого наставника, который соединяет с ученостью и с взыскательностью способность

¹ Сравн., кроме вступительной речи, там же, с. 44, 45; «Путевые заметки» (LB. II, 156, 157).

внушать к себе любовь. Такой наставник «будет с веселым лицом вращаться среди друзей, отдавших ему всю свою душу; он сделается так же юным, как они, и будет преподавать им науки в таком виде, в каком они казались ему привлекательными, когда он сам был юношей; он сделается их школьным товарищем, будет вместе с ними работать, будет воодушевлять их своим пылом, подобно тому как от одного горящего угля зажигается другой». При этом Гердер не считал неуместным напомнить своим слушателям о грехах, о том времени, когда Алкивиад был как бы прикован к устам Сократа. Такое сочетание привлекательности и мудрости, продолжал оратор, служит самой надежной охраной от увлечения фальшивой привлекательностью и от наслаждения роскоши, неизбежной при процветании большого города. Но такое сочетание никак нельзя назвать невозможным, оно не составляет исключительной принадлежности так называемых изящных наук; напротив того, все зависит от изложения и от метода. «Метод, — восклицает оратор, — вот что приковывает внимание учащихся! Если я буду говорить живо, а не так, как говорят со стариками, если буду освещать в каждом предмете какую-нибудь новую сторону, если буду удачно соединять разнообразие с простотой, если буду ежеминутно наполнять всю душу слушателя, если буду возбуждать внимание со всех сторон, если буду избегать всего, что отвлекает внимание учащегося, если не буду лихорадочно перебегать от одного предмета к другому, а постоянно буду относиться ко всему с одинаковым вниманием, тогда я буду в состоянии собирать плоды с того, что посеял». Наконец, довершением изящества должны быть чистота сердца, нравственность наставника и та благородная благопристойность, которая не имеет ничего общего с умением говорить комплименты и с приемами танцевального учителя.

Тот оратор, который произнес публичную речь 25 августа 1864 г. при открытии памятника, воздвигнутого Гердеру в Риге¹, имел полное основание упомянуть в своей характеристике Гердера и об этой школьной речи. «Конечно, — говорит он, — еще никогда никто так не говорил в нашей школе, пристроенной еще в XIII столетии к тому крытому ходу, который был устроен для монахов. Я воображаю, какое чарующее впечатление произвела эта речь на присутствовавших при ней городских правителей и граждан; с этой минуты Гердер, конечно, вполне завладел серд-

¹ Публичная речь рижского библиотекаря Г. Беркгольца, напечатанная у Сиверса (Herder in Riga. С. 69 и сл.).

цами слушателей». Не подлежит сомнению, что именно так и случилось — ведь идеальный образец наставника был поставлен новым пришельцем на такую высоту, что должен был с первого же раза очаровать взоры и городских правителей, и граждан. К этому Гердер присовокупил не менее идеальную характеристику Риги, которая «сделалась под сенью русской державы чем-то вроде новой Женевы!» Он высказал так много лестных для рижского населения мнений и выказал так много патриотизма, что как будто хотел приступом завоевать доброе расположение своего начальства и своих сограждан. С такой же непреодолимой предупредительностью он вел себя в рижском обществе и потому скоро сделался общим любимцем в самых влиятельных кружках. Однако при своем умении подделываться под чужие вкусы, он умел и очаровывать сердца. Он имел способность видеть каждую вещь в идеальном свете, а этот свет действительно изменял и самую вещь. Когда он льстил тщеславию рижских жителей, он делал это с искренним увлечением и этим путем разжигал их честолюбие. Теми требованиями, которые он предъявлял к «преподавателю всего изящного», он придавал бодрости самому себе, а то, чего он требовал, он сам исполнял. Даже горячность, с которой он излагал эти педагогические идеи, служит нам ручательством в том, что он дошел до них своим собственным опытом.

Есть еще другое в том ручательство. Как в Кёнигсберге, так и в Риге взгляд Гердера на преподавание встретил общее одобрение. Благодаря привлекательному воодушевлению, которое он вносил в свой метод преподавания, благодаря симпатичности своего обхождения он сделался для своих учеников и учениц любимым наставником и производил на них неизгладимое впечатление¹. Гарткнох постоянно высказывал желание, чтобы его сын был воспитан Гердером². Воспоминание о школьной деятельности Гердера так живо сохранялось в Риге, что при открытии вакансий тамошнее школьное начальство неоднократно (последний раз в 1795 г.) обращалось к нему с просьбой рекомендовать хорошего ректора³.

¹ Сравн. свидетельство одного из его учеников, Бергмана, бывшего впоследствии обер-пастором (Воспоминания. I, 94).

² Сравн., например, ЛВ. II, 32 и 139.

³ Из находящегося у меня в руках рукописного письма (Огтерндорф, 6 дек. 1779 г.) видно, что после того, как Шлегель покинул школу, к Гердеру явился Иоанн Генр. Фосс, так как рижская дума имела его в виду и положила на выбор Гердера.

Но едва ли не самое надежное свидетельство исходит от самого Гердера. Небольшой образчик того метода, который был им рекомендован в его вступительной публичной речи, мы находим в набросанном начерно, но недоконченном продолжении «Торса»¹. Он говорит там об обучении стилю и, как следует полагать, высказывает то, что вынес из своего собственного обучения. Придерживаясь воззрений, которые были высказаны его любимым писателем, Аббтом, в 182-м письме о литературе, он не одобряет принятого в школах способа упражнять учеников в стиле, так как там учат писать по-латыни, прежде чем учить родному языку, потом заставляют упражняться в составлении немецких периодов и наконец рекомендуют за образец сочинения Геллерта; Гердер утверждает, что «изящество и внятность слога» приобретаются иными способами, за «целесообразность» которых «он может поручиться». Он говорит: «Прежде чем учить мальчика писать, надо научить его читать, а прежде чем учить его читать, он должен научиться слушать. Когда мальчик дошел до того, что, вникая в чтение наставника, его слух изошрился, стал чувствовать красоты и недостатки прочитанного, несообразности или силу оборотов речи и наконец стал произносить свои приговоры без колебаний, тогда следует сделать шаг вперед; тогда настало время раскрыть мальчику рот, научить его читать гибким языком все, что дадут, так, чтобы его язык как будто сам думал и чувствовал; только после того можно учить мальчика писать: тогда заставляйте его проверять написанное его опытным слухом, тогда заставляйте его прочитывать написанное его опытным языком». Далее Гердер доказывает, что согласно с вышеизложенной методой следует ввести обратный порядок в той системе, которой до того времени придерживались: при упражнениях в стиле следует начинать с такого изложения, которое всего ближе подходит к вседневному языку и всего менее похоже на книжный язык; «ораторский период» должен быть последним, а многие могут обойтись и без него.

Даже от тех школьных речей, которые Гердер произносил в Веймаре в более позднюю пору своей жизни, точно будто веет укрепляющей свежестью; в них также проглядывает тот метод преподавания, которого придерживался Гердер в Риге и который старается всему придавать наглядность и привлекательность. Именно в Риге многолетняя практика сделала Гердера образ-

¹ «О прозе здравого смысла». Этот отрывок можно найти в сокращенном изложении во 2-м томе SWS, в начале второй части продолжения «Торса».

цовым педагогом; там он усвоил те принципы и тот многосторонний взгляд на школьное дело и на методику, которые впоследствиигодились инспектору веймарских школ и которые постоянно высказываются в его речах. Все, что он там говорит о чтении наедине, о школьных упражнениях разного рода, очевидно, извлечено им из собственного опыта. На свое собственное обучение и преподавание «в лучшие годы его жизни он ссылается в особенности тогда, когда заводит речь (в шестой из веймарских речей) о преподавании географии. Он находит, что самой полезной для детей географией служит натуральная история; отсюда следует заключить, что география должна служить иллюстрацией для истории, и мы, конечно, не ошибаемся в этом мнении, так как сам Гердер излагал таким способом географию в рижской школе¹. В этой школе большей частью господствовали стремления к преобразованиям, от которых он не отказывался, когда покинул Лифляндию, прожив там пять с половиной лет, и к которым мы возвратимся в свое время. Все эти стремления истекали из убеждения, что всякое преподавание должно быть живым и наглядным и что всякое знание должно приносить в жизни какую-нибудь пользу. Когда ему пришлось готовить в латинской школе подраставших юношей к гражданской деятельности и к купеческой карьере, то в нем все более и более усиливалось отвращение ко всякой безжизненной учености и он все более и более восхвалял реальные науки, для преподавания которых он преимущественно и был приглашен на должность помощника ректора. Он как будто угадывал, что церковная школа превратится в следующем столетии в «городскую реальную гимназию».

Было бы поистине удивительно, если бы эта педагогическая деятельность Гердера не нашла отголоска и в статьях, которые были написаны им в Риге и были наполнены преимущественно эстетико-критическим содержанием. В Кёнигсбергской газете он обсуждал программу директора гимназии в Галле Миллера: «ожидание лучших времен для школ»; он одобрял нападки автора программы на деспотизм латинского языка и сочувствовал заступничеству за реальные науки². Ту же тему он обсуждал в начале третьего сборника «Отрывочных заметок о литературе», только с той разницей, что, порицая латинское направление

¹ О том, как он преподавал историю, видно из его письма к Канту (LB. I, 2, 298); там говорится, что он изучал английскую историю по сочинениям Юма.

² Кёнигсбергская газета. 1766. 31 янв. С. 9; SWS. I, 118 и сл.

в школах, становился на более возвышенную точку зрения и находил господство латинского языка вредным для всей нашей литературы и вообще для нашего образования. Его статья о методе в обучении стилю была, как мы уже ранее заметили, предназначена для «Торса». Наконец мы узнаем в нем даровитого наставника, когда он во втором «Критическом леске» противопоставляет мелочным комментариям Клотца к произведениям Горация тот метод, по которому он сам объяснял произведения римского поэта; здесь мы как будто присутствуем на лекции, во время которой он заставляет одного даровитого ученика читать и перечитывать одну из горацевских од, для того чтобы этот ученик понял и обнял всю совокупность производимого ею впечатления¹.

Преимущественно своей школьной деятельности Гердер был обязан и тем, что ему была предложена должность в русской столице. По прошествии почти трех с половиной лет после его переезда в Ригу, в то время как он по причине глазной болезни «жил как будто среди мертвых» — в апреле 1767 г., — он получил от начальства петербургской лютеранской общины приглашение на должность инспектора в учебном и воспитательном заведении, основанном этой общиной лишь за несколько лет перед тем; как на мотив этого предложения указывалось на необыкновенные дарования и заслуги, которыми Гердер отличился в Риге. Приглашение было заманчиво для Гердера. Ему было бы очень лестно сделаться преемником Бюшинга. Его положение должно было значительно улучшиться с внешней стороны. Он имел бы, конечно, больше работы, чем в Риге, и притом без всяких со своей стороны искательств. Он не долго колебался и отклонил предложение вследствие вмешательства его друзей и доброжелателей. Рижский городской совет вовсе не был расположен расставаться с таким человеком, и у него нашлось средство удержать Гердера в Риге. Гердер был не только школьным преподавателем, но после того, как он еще 24 февраля 1765 г. выдержал перед городской дирекцией экзамен *pro venia concionandi* и вслед за тем произнес в церкви свою вступительную проповедь², он был также и проповедником. В Риге школа и церковь еще находились в такой тесной связи с традицией, что ректоры и преподаватели

¹ Из многочисленных статей (большой частью программ), которые упоминают о Гердере как о педагоге, ни одна — сколько мне известно — не касается его рижской школьной практики и даже его рижской программы (Overlach Joh. Got. Herder als Pädagog. Riga, 1854).

² См. документы у Сиверса (Herder in Riga. С. 44 и 56). Проповедь была произнесена 15 марта на тему «Невинность Иисуса Христа».

в церковной школе были в то же время и церковными проповедниками; поэтому и Гердер говорил 27 июня в своей публичной речи, что постарается соединить в своем лице теолога со школьным преподавателем, христианина с философом. До того времени он всходил на церковную кафедру¹ только в экстренных случаях, когда без него нельзя было обойтись; однако он исполнял эту обязанность охотно и мог заметить, как публика теснилась на его проповедях. Таким образом, оказалось, что его желания, которые он ни от кого не скрывал, сходились с желаниями его сограждан. Он получил блестящее доказательство их доверия и уважения; только для него городской совет учредил экстраординарную должность проповедника и возвел его в звание *pastor adjunctus* при обеих, находившихся в предместьях церквях — при церкви Иисуса и при церкви св. Гертруды²; при этом Гердер был уволен от своей школьной должности и от прежней обременительной обязанности заменять других преподавателей. Избрание Гердера состоялось 24 апреля. Почти в то самое время, когда его друг Гаман вступил в Кёнигсберге на службу в акцизное ведомство, он выдержал вторичный богословский экзамен перед рижским городским капитулом и через несколько недель после того, в июле, был посвящен в помощники пастора и введен в должность президентом капитула, обер-пастором Эссенем³.

Конечно, не материальные выгоды побудили его принять новую должность. С включением небольшого жалованья, которое он получал с января 1765 г. как помощник библиотекаря Агелута при городской библиотеке, весь его годовой доход состоял из пяти или шести сот талеров, а это было очень немного в таком

¹ К Гаману (LB. I, 2, 210, 213).

² Звание адъюнкта было до того времени соединено с должностью пастора в сельской общине Бикерне; только на этом основании мог Линднер утверждать (к Клотцу, Письма немецких ученых и т. д. II, 132), что должность адъюнкта не была вновь учреждена. Приглашение от петербургской общины помечено 13 апреля 1767 г. (LB. I, 2, 247 и сл.). Ответ Гердера — у Дюнцера (С, III, 351 и сл.). Переговоры с рижским городским советом — у Сиверса (С. 45 и сл.). Декрет о назначении Гердера — от 25 апреля (LB I, 2, 250).

³ Из протокола городского совета [у Сиверса, с. 53] следует заключить, что экзамен происходил 20 июня 1767 г., а из дневника городского обер-пастора [там же, с. 57] видно, что он происходил 13 июня «на очень хорошо обработанную Гердером *schediasma de spiritu S. salutis humanae auctore*; посвящение в пасторское звание происходило 10 июля, а введение в церковь Иисуса 15 июля. Свою первую проповедь в церкви св. Гертруды Гердер произнес 29 июля (Сиверс. Humanität und Nationalität. С. 80, прим. 22).

городе, где жизнь дорога, и для такого человека, который не был от природы склонен к хозяйственной бережливости¹. Он принял новую должность вовсе не потому, что рассчитывал на увеличение своих доходов, а потому — как говорилось в его письменном отказе от предложения петербургской общины — что ему были не по вкусу практические и частью экономические обязанности инспектора; главным же образом потому, что он был проникнут чувством признательности за «нужную заботливость его рижских друзей» и за «предупредительное доверие его сограждан»; иначе говоря, он этим удовлетворял свое призвание к пасторской должности, которую никогда не терял из виду. Как было дорого его сердцу это призвание, всего яснее видно из прекрасной статьи «Оратор Божий», в которой гердеровский идеал церковного проповедника обрисован так же, как обрисован идеал преподавателя в ранее нами упомянутой школьной речи. Нам было бы всего приятнее предположить, что эта статья была написана именно в то время, когда Гердер готовился к своей новой должности. Однако на деле оказывается, что она была написана ранее, по всему вероятно еще в 1765 г., и, без сомнения, находилась в связи с «Отрывочными заметками о литературе»². В ней автор про-

¹ Указания на назначенные в пользу Гердера квартирные деньги и на недостаточность пасторского содержания см.: *Сиверс*. Herder in Riga. С. 45, 50. Относительно должности при библиотеке см.: *Сиверс*. Humanität und Nationalität. С. 79, прим. 17; LB. I, 2, 9, 110, 486; сравн. также LB. II, 156. Небережливость Гердера и его привычку «жить слишком на широкую ногу» ставит ему в упрек Гарткнох: *Dünßer* С, II, 34; сравн. письма Гамана к Гердеру (LB. I, 2, 37); сам Гердер сознавался в этих недостатках (LB. III, 146), а на дороговизну рижской жизни он сам жаловался (LB. I, 2, 414).

² К сожалению, до нас не дошел ответ Гердера на то место в письме его жены от 16 марта 1789 г., в котором она сообщает жившему в то время в Италии Гердеру, что нашла в его бумагах следующую заметку: «Ты в этом видишь оратора Божия и описываешь его точно таким, каков ты теперь сам; я вижу в этом изображении зародыш твоих собственных умственных и душевных свойств, — такой зародыш, который достиг теперь полного развития». В SW в отделе теологии (XV, 306) основательно замечено, что эта статья была написана «около 1765 г.»; «в Lebensbild» (I, 2, 75 и сл.) издатель замечает, что Гердер написал ее «в качестве кандидата при вступлении в должность проповедника», — стало быть, в начале 1765 г. Хотя в «Воспоминаниях» (I, 91) положительно говорится, что статья была написана в самом начале пребывания Гердера в Кёнигсберге, но это опровергается и слогом и содержанием статьи; я также не понимаю, почему Суфан полагает, что статья была написана ранее 1765 г. [Die Rigischen Beiträge. С. 65]. Она, очевидно, имела связь с 215-м письмом о литературе и имела сходство с теми статьями гомилетического содержания, которые были назначены для третьего сборника «Отрывочных заметок». Мне кажется неправдоподобным, чтобы эта статья была написана прежде, чем

верял и описывал самого себя. Хотя в ней идет речь не о самом авторе, а о какой-то посторонней личности, но это, очевидно, не более как маска; именно потому, что в статье ясно отражалась личность автора и что Гердер извлек характеристику оратора Божия «из своих собственных воспоминаний и из своего сердца», статья не могла появиться в печати.

Оратора Божия — так начинает Гердер — следует искать не между поэтами и политическими ораторами, не между актерами и философами. Оратор Божий «велик в смирении, блистателен без поэтической пышности, красноречив без цicerоновских периодов, могуществен без искусственных драматических приемов, мудр без ученых лжемудрствований, привлекателен без политической мудрости. У него нет риторического пафоса и жестикуляции, нет остроумного изложения с вкрадчивыми обращениями к слушателям и неожиданными отступлениями, нет академических объяснений, классификаций и доводов, нет «частых нравоучений, нет громовых нападков на еретиков и брани на вольнодумцев». Иными словами, Гердер ничего не хочет знать о таком проповеднике, который прибегает к искусственным приемам; ему противен педант на церковной кафедре точно так же, как противен педант на школьной кафедре. Настоящий проповедник должен пещись о душевном спасении своих слушателей; его слова должны иметь в их мнении вес уже потому, что это слова благочестивого, честного, разумного человека, принимающего живое участие в их тяжелых житейских заботах. В основу для своей проповеди он берет свой собственный опыт, свои наблюдения и какие-нибудь случаи из человеческой жизни. Он заставляет всей душой внимать его словам. Он умеет довести нашу внимательность к описываемому положению до умиления, но не до мистического восторга, и умеет так настроить нашу душу, что она чувствует присутствие Бога. Он не пишет на скрижали нашей души только слова, а выгравировывает на ней картину, полную жизни во всех ее очертаниях. Основная идея этой картины — мораль, ее сюжет — изображение человечества и жизни, ее краски — религия; и все это в нераздельном единстве. Таким способом мы наглядно распознаем наши обязанности при свете благочестивого упования на Бога. И этого еще мало — картина

Гердер испробовал себя на церковных проповедях, и вообще я не могу допустить, чтобы она была написана под влиянием престарелого Вилламова (Воспоминания. I, 24; SW в отделе теологии. XV, 308, прим.; сравн. выше, с. 74). Таковы основания того, что мною изложено в тексте.

переходит в жизнь и в движение; положение усложняется; исполнение нашего долга кажется нам все более и более необходимым — оратор заставляет нас, несмотря на все указанные им трудности, принять перед самими собой и перед Богом окончательное решение и полюбить добро. Он оканчивает тем, что укрепляет в нас эту решимость. Он не мучит нас описаниями вообразимой борьбы, из-за того чтобы «снискать благодать» — нет; он в конце концов снова перенесет нас в нашу индивидуальную сферу, в наш мир и к нашему призванию; и после того, как мы приняли решение вторично и более самоуверенно, он предстанет вместе с нами перед Богом, «для того чтобы принесенная нами жертва сердца упоилась небесным пылом».

Ни в одном из других сочинений Гердер не изображал идеал проповедника с такой же живостью, в такой же тесной связи со своими личными чувствами, с такой же полнотой и цельностью; но отличительные черты этого идеала, т. е. основные мысли той статьи, повторяются у него всякий раз, как ему приходится затрагивать эту близкую его сердцу и важную тему. Только он старается не изливать перед читающей публикой всего, «что у него на сердце», старается выражаться более спокойно и со ссылками на доказательства. Он понижает тон, потому что желает писать инкогнито — и в особенности потому, что не желает, чтобы в публике было известно его звание.

К этому первому излиянию его душевных мыслей всего ближе подходит и по форме и по содержанию статья о том «красноречии, вовсе не похожем на Цицероновское», какого требует гомилетика, — статья, показавшаяся самому Гердеру слишком ясно указывающей на звание автора и не в меру наполненной богословским содержанием, так что он отказался от своего первоначального намерения включить ее в «Отрывочные заметки о литературе»¹. Здесь он имеет в виду высказанное Аббтом в «Письмах о литературе» сомнение, чтобы наше новейшее красноречие могло быть поставлено на одну высоту с красноречием древних; он доказывает, что духовный оратор может придавать своим речам в некотором роде интерес новизны и что ему приходится разрешать одинаковую задачу с древними судебными и политическими ораторами, только с той разницей, которая обусловливается содержанием. И здесь настоящий духовный оратор называется «оратором Божиим», «оратором Господа»; и здесь

¹ Отрывочные заметки. III, 294. Эта статья напечатана во 2-й части SWS в виде прибавления к третьему сборнику «Отрывочных заметок». Сравн. там же. I, введение. С. XXIX.

к нему предъявляется требование, чтобы он вел речь не о фразах, а о фактах, об индивидуальных житейских отношениях как «отец семейства и духовный пастырь»; а все «мечты об идеале церковной проповеди» сводятся в заключение к тому положению — вполне совпадающему с содержанием прежней статьи частью даже выражениями и оборотами речи, — что как судебный оратор должен обсуждать политическое положение, так духовный оратор должен обсуждать «запутанное нравственное положение» и этим путем достигать настоящей назидательности.

И эта последняя статья, как уже было ранее замечено, не была напечатана; только некоторые отрывки из нее были помещены в форме кратких примечаний под текстом другой главы «Отрывочных заметок» (III, 263 и сл.), которая под заголовком «Есть ли у нас немецкие Цицероны?» заключает в себе лишь перепечатку той статьи Аббта из «Писем о литературе», которая вызвала статью Гердера. Но следующая глава «Отрывочных заметок» (III, 274 и сл.) была частью дополнением, частью повторением обеих ненапечатанных статей: «Будут ли у нас Цицероны на церковной кафедре?» При этом ставится на первом плане соображение, какова та публика, к которой обращается церковный оратор. Это — сборище людей, которые в средней сложности стоят на точке зрения здорового человеческого рассудка, развившегося под влиянием практической жизни! Для такого сборища годится только «общепонятный, дружеский и интимный тон, который нисходит до самого изящного языка обыденной жизни», — «лишенный прикрас, объяснительный тон, который основан на научном мышлении, но не выказывает его», — «языке здравого смысла и чувствительного сердца». Статья, натурально, оканчивается тем, что автор порицает «церемониальную натянутость периодов» и не желает видеть на церковной кафедре никаких Цицеронов.

Содержание статьи об «Ораторе Божием» отзывается и во многих других, как напечатанных, так и оставшихся ненапечатанными, статьях, в особенности в той, которая касается установленного Библией празднования субботнего дня¹. Было бы излишним приводить все высказанные Гердером воззрения в том же роде, но не будет излишним указать, как уже в то время твердо установились воззрения Гердера на церковную проповедь и как

¹ LB. I. 3, а, 566 и сл.; с этим можно поставить в параллель содержание статьи «Есть ли у нас такая же публика и такое же отечество, какие были у древних?» (SWS. I, 19); как сделать философию полезной (LB. I, 3, а, 244 и сл.); назначенная для продолжения «Торса» статья «О прозе здравого смысла»; наконец «Отрывочные заметки» (I, 153).

рано у него выработался тот взгляд на содержание проповеди, который мы находим и в описании его позднейшей пасторской деятельности. Просветленная религией нравственность в таком безыскусственном изложении, которое отличается наглядной живостью, горячей сердечностью и не допускает ни риторических приемов, ни догматической бездушности, — вот чего он требовал от настоящего проповедника и чем в высшей степени отличались его собственные проповеди даже в ту пору, когда его юношеское красноречие было в полном цвету¹. Что он при этом старался улучшать и внешнюю форму своих проповедей, видно из его признания, что он проводил по ночам целые часы, упражняясь в декламации². Но это имело лишь второстепенное значение в сравнении с той внутренней сосредоточенностью, с той сердечной горячностью, с которой он исполнял обязанности своего звания. Мы знаем от одного лица, вполне достойного доверия, что он неторопливо собирался с мыслями, прежде чем отправляться в церковь (куда обыкновенно ездил в карете), что после выхода из церкви он искал в своей комнате одиночества и что даже после окончания проповеди от него еще нередко веяло душевной кротостью. Эти полные воодушевления, но вместе с тем отличавшиеся своей простотой, проповеди придавали традиционным внешним формам новую жизнь и производили глубокое впечатление. Хотя забота о спасении души прихожан не входила в обязанности адъюнкта, хотя в одной церкви он произносил проповеди только после полудня раз в две недели, а в другой только по праздничным дням, в дни покаяния и в праздник Богородицы, тем не менее он своими проповедями создал для себя особую паству и на самом деле заботился о ее душевном спасении. Несмотря на то что его церковь находилась в предместьи, в нее стекалась самая многочисленная публика; в особенности образованные классы населения, юноши и женщины теснились на его проповедях и не давали ему покоя даже после выхода из церкви, так что ему приходилось прибегать к дополнительным письменным и словесным поучениям в ответ на запросы его слушателей³.

¹ Сравн. Воспоминания. I, 95, прим.

² К Шеффнеру (LB. I, 2, 192); сравн. к Гаману (Там же. 138, 139).

³ Бургомистр Вильперт к Карлу Гердеру (Воспоминания. I, 114, 95); Гердер к Трешо (LB. I, 2, 265); к Шеффнеру (268); к Канту (300); прощальная проповедь (478, 479). Сравн. указание регирунгсрата Фитингофа у Сиверса (Herder in Riga. С. 54) и письмо Гарткноха к Гердеру 6 августа 1769 г. (LB. II, 65); «есть люди, которые ввиду предстоящего назначения Гердера на должность проповедника в церкви св. Иакова, уже теперь нанимают там стулья из опасения, что потом их нельзя будет достать».

Благодаря тому, что до нас дошли некоторые из проповедей, произнесенных Гердером в Риге, мы в состоянии составить себе приблизительное понятие о впечатлении, которое они производили, — но не более как приблизительное. Гердер сам утверждал, что «проповеди должны отличаться внутренними достоинствами, что они должны иметь живое содержание, должны оставаться в сердце, а не на бумаге, должны производить неизгладимое впечатление», — и сообразно с этим воззрением он не хотел удовлетворить желание слушателей, чтобы его проповеди печатались¹. Однако если прочесть превосходную проповедь о молитве, более кротко-поучительную проповедь о Библии и ту замечательную прощальную проповедь, которую Гердер произнес перед своим отъездом из Риги и которая носит личный отпечаток; если прочесть их так, чтобы, читая, воображать, будто их слушаешь, то разве не чувствуется желание сделаться постоянным членом той христианской общины, у которой такой прекрасный руководитель? Все эти три проповеди² — общедоступного и вместе с тем возвышенного содержания; их основная мысль то развивается просто, то высказывается с настойчивым желанием убедить слушателей; они написаны таким языком, который привлекает, а иногда и очаровывает слушателя; они красноречивы без всяких притязаний на эффекты, ясны и кратки без всякого деления на части по ранее обдуманному плану; иными словами, они представляют практическое применение выработанной оратором теории духовного красноречия. Но две из них — проповедь о Библии и в особенности прощальная — освещают теорию Гердера с новой стороны; эта последняя проповедь, еще более первой, объясняет и оправдывает прежнюю проповедническую деятельность Гердера и вместе с тем хорошо обрисовывает характер и всю своеобразность этой деятельности. Она представляет дополнение к статье об «Ораторе Божиим». Эта статья была написана в самом начале проповеднической карьеры Гердера, а та проповедь переносит нас в такое время, когда Гердер уже прошел большую практическую опытность. Там — беседы с самим собой, здесь — публичная исповедь; там — программа, здесь — отчет о ее выполнении; там —

¹ Прощальная проповедь (LB. I, 2, 479, 480).

² Напечатаны в LB. I, 2, 454 и сл. и SW в отделе теологии. X, 280 и сл.; проповедь о молитве, IX, 202 и сл.; проповедь о Библии. X, 248 и сл. В тетрадках с учеными замечками немало набросков для проповедей, относящихся ко времени пребывания Гердера в Риге.

объяснение, как оратор должен и желал бы говорить, здесь — описание, как он говорил. Так, из той статьи мы усматриваем, что проповедям Гердера нередко ставили в упрек их вялый конец; а в прощальной проповеди Гердер заявляет, что он всегда соединял «объяснение долга с доказательствами», что он всего охотнее обращался к кротким, чистым сердцам, старался наводить их на размышления, а путем размышлений к окончательному решению, или — по его прекрасному выражению в проповеди о Библии — что он видит задачу проповедника в том, чтобы «сохранять мягкость сердца, вызывать к человеческой совести на ее собственном языке и приучать человеческий ум мыслить о возвышенных предметах на благородном непростонародном языке». Далее Гердер объясняет, что постоянно видел в Библии, в слове Божием, основание и источник своих поучений, но, придерживаясь Библии, не наполнял свои проповеди только библейскими словами и изречениями, а старался переводить «библейский язык на плавный язык нашего времени и нашей жизни» и выражать библейское учение «так же ясно, наглядно и своеобразно, как оно было выражено в то время, когда была написана Библия». Наконец, Гердер нам объясняет, какая проповедь, по его мнению, соответствовала своим содержанием духу Библии. «Распространять возвышенные и правильные понятия о Боге, выставлять в надлежащем свете нашу зависимость от Него и от Его Провидения, убеждать в необходимости сделаться достойными Его благодати, описывать высокий характер Христа, принимать его за образец во всем, что возвышенно и благородно, укреплять веру и упование в Бога — такова была моя цель. Мои слова были не человеческими, а божескими словами, которые руководили человеческой душой на пути к блаженству».

Из всего сказанного нами видно, что адъюнкт пастора, произносивший проповеди в церкви одного из рижских предместий, был рационалист, распространявший просвещение с Библией в руках и имевший много общего с тем Шпальдингом, который так превозносится в «Отрывочных заметках» (I, 153). Оттого-то против него и восстало духовенство с ортодоксальным лютеранским *Senior ministerii*, обер-пастором Эссенем во главе; а оттого, что он имел блестящий успех, он возбудил зависть в тех из своих сотоварищей, которым приходилось произносить их проповеди перед немногочисленными слушателями; он даже был вынужден подать жалобу на своего викария Бернгофа, состоявшего пастором при церкви Иисуса, за то, что этот викарий позволил себе

взвести на него клевету с церковной кафедры¹. Гердер был в их глазах и рационалист, и распространитель просвещения, и прикрывавшийся маской неверующий, и вольнодумец — конечно, только с богословской точки зрения. Однако есть другая, более возвышенная точка зрения, чем богословская, а ее-то именно и усвоил Гердер вполне сознательно. Он высказал ее самым определенным образом и своему почтенному наставнику Канту, и в момент расставания со своими прихожанами. Канту он писал: «Так как я вступил в мою духовную должность только потому, что мне было ранее известно, а теперь ежедневно подтверждается моим личным опытом, что при наших гражданских учреждениях в этой должности всего легче распространять культуру и развивать человеческий разум среди самого достойного уважения разряда людей, который мы называем народом, то эта гуманная философия и сделалась любимым предметом моих занятий». А своим прихожанам он заявил, что в своей деятельности проповедника он руководствовался желанием придать более важное значение благородным целям человечества, насадить такие идеи, которые могли бы дать счастье человеческой душе. «В сущности нас интересует в мире только то, что близко человечеству, что возникло из глубины нашего сердца, что как будто приходится сродни внутренним свойствам нашей натуры». Оттого-то те из его проповедей, которые всех более нравились, были гуманны и по-своему содержанию, и по форме. Развивая далее свою точку зрения, Гердер упоминает об упреке, который ему делали за то, что он произносил свои проповеди не как богослов, а как «философ, одевшийся в черное платье пастора». Что он был в своих проповедях философом, отчасти верно, отчасти неверно. Ведь он излагал не ученую философию и не только поучал своих слушателей, «но постоянно говорил от полноты своего сердца как такой человек, который вступает за интересы человечества». Поэтому если он и был философом, то его философия «всегда была *философией человечества*».

К великой идее о философии человечества сводится не только его деятельность как проповедника и преподавателя, но и все, во что он вдумывался, все, что он предпринимал и в качестве должностного лица, и в качестве частного человека.

¹ Заметка из дневника обер-пастора Эссена у Сиверса (Humanität und Nationalität. С. 70). Последствием жалобы Гердера было то, что консистория сделала выговор Бернгофу. Сравн. кроме письма Гердера к Карлу Флаксланду (LB. III, 145) и Гарткноха к Гердеру (LB. II, 30): «Ваши главные враги обер-пастор и ректор Шлегель».

Еще живя в Кёнигсберге, он носился с этой идеей, и все, что находилось с ней в связи, входило в состав его «любимых замыслов». Еще там у него возникло желание написать сочинение на заданную бернским правительством тему, «как сделать философские истины более доступными и более полезными для народа». В ту пору его мысли находились в состоянии брожения частью под влиянием декламаций Руссо против бесполезности и вреда наук, частью под влиянием мнений Канта и Гамана о негодности такой метафизики, которая не занимается, подобно Сократу, только тем, что действительно полезно для человеческого рода, частью под влиянием некоторых воззрений Аббта. Он привез с собой в Ригу первые наброски статьи, в которой он предполагал разработать вышеупомянутую тему, имевшую в его глазах особую важность. Приняв на себя новые практические обязанности в таком городе, где гражданин и купец стояли выше ученого, он снова взялся за наброски своей статьи и довел ее до той формы, в которой она дошла до нас, представляя нечто отрывочное, неполное и неясное даже в своих законченных частях¹. Ранее уже было нами указано, как близко он сходил в этой работе с идеями Канта и как эти идеи перемешивались с идеями Руссо и Аббта. Нас интересует здесь то, что главное практическое содержание статьи оказывается «основной программой всей деятельности Гердера в Риге», тем корнем, из которого выросли идеальные образы «Наставника изящного» и «Оратора Божия». Соответственно со своим новым положением Гердер ищет средства согласовать философию как науку с философией как орудием для практических целей. А для того, что ему нужно, он нашел общую формулу, в которой выражена его руководящая мысль. Независимо от тех необходимых отвлеченных исследований, которые делают философа «мучеником» из-за общей пользы, философия «должна низойти со звезд к людям», должна сделаться философией человечества, философией простого народа и здравого рассудка. Во множестве отрывочных объяснений, с которыми мы ближе знакомимся из позднейших речей и статей Гердера, смысл этого требования уясняется преимущественно по отношению к преподавателю религии и к воспитателю. В следующих словах Гердера всего лучше резюмированы его требования относительно философии: «Вместо того чтобы объяснять логику

¹ LB. I, 3, а, 207 и сл. Сравн. выше, с. 120. — Согласно с этим и Суфан определяет время, когда была написана статья Гердера (*Die Rigischen Gelehrten Beiträge*. С. 68).

и мораль, она философски развивает в человеке умственные способности и влечет к добродетели; вместо того чтобы заниматься политикой, она создает патриотов и граждан, подвизающихся на политическом поприще; вместо того чтобы сообщать бесполезные метафизические познания, она поучает тому, что доставляет человеку действительную отраду и что находится в непосредственной связи с его жизнью». «Посмотрите же, — прибавляет Гердер, — в какие я должен был вдаваться объяснения, чтобы высказать то, что мне было нужно; к счастью, то, что я сказал, большей частью уже давно входило в мои любимые помыслы».

Если Гердер был прежде всего представителем той «гуманной философии», которая обращается к «здравому рассудку народа», для того чтобы распространять культуру среди этого разряда людей, то к этой же высокой цели приспособлялась и другая сторона его деятельности в Риге. К этой цели должен был, по его мнению, стремиться не только церковный проповедник, не только воспитатель или преподаватель, но и писатель. Есть такой род литературной деятельности, который достоин, с этой точки зрения, самой ревностной заботливости. Понятие о такой литературной деятельности Гердер извлек преимущественно из произведений Аббта, который и служил для него в этом отношении образцом. В рецензии, написанной для Кёнигсбергской газеты (SWS. I, 79 и сл.) на книгу Аббта «О заслуге», он в первый раз хвалит Аббта как «философа здравого рассудка». Гердер повторяет эту похвалу в первой части «Отрывочных заметок» (I, 150 и сл.). То же повторяет он и в статье, которую написал после смерти Аббта в воспоминание об этом человеке; после того он, и со ссылками и без ссылок на Аббта, нередко повторял его изречения, комментировал их и развивал далее: он постоянно заводил речь о такой популярной (в лучшем смысле этого слова) литературной деятельности, которая имеет в виду человека, гражданина, «самую многочисленную, самую полезную и самую почтенную часть человеческого рода — народ». Гердер полагает, что церковный проповедник и настоящий народный писатель имеют одинаковую задачу, что оба они должны быть апостолами чисто человеческой философии, только различным способом, и потому оба должны придерживаться одинакового способа изложения и одинаковых способов выражения; все это нигде не высказано Гердером так ясно, как в оставшейся тогда ненапечатанной статье, которая носила заглавие «О прозе здравого рассуд-

ка»¹ и должна была служить продолжением сочинения, написанного в воспоминание об Аббте. В этой статье яснее, чем в какой-либо другой, сходятся все нити рижской деятельности Гердера и все его разносторонние стремления, как умственные, так и практические. Здесь Гердер является одним и тем же человеком и как философ, и как практический деятель, и как педагог, и как церковный проповедник, и как популярный писатель. Душой его деятельности является человеческая философия; Гердер характеризует ее словом «демопедия», а ее внешней формой должна быть, по его мнению, «проза здравого рассудка».

Гердер начинает с того, что всего ближе его сердцу, — с того, что может и должен сделать в этом направлении церковный проповедник. Здесь мы слышим от него то же, что уже слышали ранее: настоящий церковный проповедник всегда бывает нравственным наставником народа; он произносит проповеди не для того, чтобы оглушать слух и затемнять рассудок бессодержательным мистическим вздором; он умеет извлекать содержание своих проповедей из человеческого сердца, из задач воспитания, из деловых занятий, из личных знакомств. Он — «единственный демагог нашего времени». Его отличительная особенность заключается только в том, что он облекает философию здравого рассудка и обыденной жизни «в покров религии». «То содействие, которое он оказывает просвещению, я с чувством благоговения называю настоящим политическим и гуманным назиданием, которое тем более надежно и священно, что освещается богословским назиданием и носит отпечаток набожности». С церковным проповедником всех теснее связан общностью цели народный писатель — тот, кто участвует в еженедельных изданиях! Отсюда Гердер переходит к так называемым нравоучительным журналам, которые были пересажены на нашу почву из Англии с целью распространять нравственное, социальное и эстетическое образование и которые предназначаются преимущественно для многочисленного среднего сословия. Число таких журналов — легион; но они большей частью так скучны, неостроумны, неудовлетворительны ни по форме ни по содержанию, что они не имеют успеха, и, за немногими исключениями, скорее вредят, чем содействуют развитию нравственности и изящного вкуса. Положить преграды этому наплыву журналов

¹ Об этом сочинении уже было неоднократно упомянуто ранее. Я руководствуюсь в выдержках более старой и более тщательной редакцией, чем та, которую можно найти во 2-м томе SWS.

и воспрепятствовать этой порче литературы было главной целью «Писем о литературе», которые постоянно восставали против такого «маранья бумаги». В этой борьбе Гердер берет сторону «Писем о литературе» при всяком удобном случае, но едва ли не с большим рвением он старается привить к этому гнилому литературному корню более благородные ростки и придать той борьбе практическое направление. Подобно тому как обыденным проповедям он противопоставляет свой идеал проповеди, и плохим журналам он противопоставляет идеал хорошего. Он не допускает сомнений на счет того, что «хороший журнал может много содействовать образованию городского населения или, по меньшей мере, некоторых читателей». В третьем сборнике «Отрывочных заметок» (с. 61), вслед за нападками на плохие журналы, он восклицает: «Если бы я был Александр Великий и если бы вы принесли мне в золотом ящике сочинение, которое написано именно так, как должны писаться назидательные сочинения для самой многочисленной, самой полезной и самой почтенной части человеческого рода — для народа, то я не нашел бы ничего лучшего для хранения в том ящике». Вслед за тем он говорит, каким тоном должно быть написано такое сочинение, мимоходом упоминает о провинциальном журнале, который мог бы служить образцом, — об издававшемся в 1762 г. Герстенбергом «Ипохондрике», и в заключение, — точно так же как и в заметке по вопросу, как сделать философию общепользующей, — переходит к необходимости образования для прекрасного пола. Не иначе выражается он и в ненапечатанной статье, настаивая главным образом на сходстве между задачей журналиста и задачей настоящего церковника-проповедника. В ней говорится: «Вслед за благочестивыми беседами и поучениями я ставлю на первом месте журналы, каких я желаю. Там, где кончается деятельность одевшегося в черное пасторское платье демагога и где она должна кончаться, для того чтобы его святилище не переносилось слишком далеко от сени алтаря на площадь простонародья, там начинается деятельность журналиста; таким образом, журналист, с одной стороны, не будет предаваться благочестию и молитве там, где не следует, а с другой стороны, найдет перед собой уже наполовину проложенную дорогу. Он поставит себе первым долгом ознакомиться с образом мыслей и с предрассудками своей нации, своего времени, своего отечества и исправлять то, к чему не мог прикасаться духовный оратор. Он будет применяться к житейским условиям каждого и приносить каждому пользу, будет, когда нужно, заглядывать в сердца людей, будет

нападать на извращенный вкус, никогда не будет терять из виду национальных и местных особенностей вкуса и образа мыслей, а из философии и истории, из знания природы и из книг, из новых замечательных открытий будет черпать только то, что ему необходимо для его цели. Он может выбирать всякий иносказательный способ выражения, какой еще не устарел и не сделался противным от частого употребления в прежних журналах, а то, что есть занимательного в его статьях, должен излагать без книжного остроумия, с небольшою примесью поэтических прикрас; еще менее ему дозволительно шуточное переодевание, а всего менее употребление философских ораторских приемов. Его статьи должны нравиться своим содержанием, живостью своих описаний, глубоким и ясным пониманием человеческого сердца, а какое множество вспомогательных средств имеет он под рукой, так как может извлекать из всех наук то, что ему нужно!» Эта характеристика оканчивается хулой прежних плохих журналов и опровержением ошибочного мнения, будто можно довольствоваться хорошими немецкими журналами, а содержание лучших английских журналов облекать в немецкую форму. Затем Гердер переходит к тому, что более касается внешней формы, к стилю, которого следует держаться в таких, назначенных для народного чтения, статьях, к объяснениям понятия о классицизме, которые повторяются во 2-м издании первой части «Отрывочных заметок»; в заключение автор высказывает те же соображения касательно способа научать хорошему стилю со школьной скамьи, которые уже ранее познакомили нас с системой преподавания Гердера. Еще раз повторяем, что ни в какой другой статье не выступает так ясно наружу тесная связь между проповеднической, школьной и литературной деятельностью Гердера.

Что касается литературной деятельности Гердера, то было бы поистине удивительно, если бы человек, так красноречиво доказывавший необходимость народных книг для просвещения человека и гражданина, сам не попытался писать такие книги и сам не поступил в число журналистов. Ему представлялось немало к тому поводов при переселении на такую почву, которая крайне нуждалась в обработке, при переселении в такую провинцию и в такой город, где было столько же необходимо насадить образование, сколько было желательно направить его на правильный путь, для того чтобы легкомысленное французское просвещение не взяло верх над более серьезным немецким. Уже Кёнигсбергская газета преследовала такую же цель, какая была на уме у Гердера; еще бывши студентом, он заходил вместе с Гаманом и Кан-

том на «невозделанные нивы газетных муз». И в Риге стало с недавних пор появляться нечто вроде нравственного журнала, а Гердер, еще живя в Кёнигсберге, нечаянно сделался сотрудником этого журнала, согласившись, по настоянию Линднера, напечатать свою школьную речь «О прилежании в изучении нескольких ученых языков»¹.

По инициативе одного из членов магистрата в Риге стал выходить с половины 1761 г. еженедельный справочный листок под заглавием «Рижский указатель всего, что необходимо и полезно в обыденной жизни»². Но первый редактор этого издания, адвокат гофгерихта и секретарь главного управления, доктор юриспруденции Винклер (переселившийся из Лейпцига ученый) прибавил к нему «Die Gelehrten Beiträge zu den Rigischen Anzeigen», которые стали выходить раз в две недели толщиной в один печатный лист или в полтора. Один из рижских жителей, по всему вероятно никто другой, как Линднер, так отзывался об этом издании в Кёнигсбергской газете: в «Ученых приложениях» обращается главное внимание на Лифляндию, на ее население, на ее продукты и т. д., вообще на то, что может всем приносить пользу; но кроме того, там иногда идет речь и о других предметах, поучительных или интересных. Стало быть, для этого листка служили образцами нравоучительные журналы, но он носил местный провинциальный отпечаток. Винклер умер 20 февраля 1762 г.; тогда помощник ректора рижского лицея, Иоанн Готфрид Арндт взял на себя редакцию «Приложений», стал сам писать для них статьи и набирать сотрудников. При этом, конечно, вовсе не было речи о каком-либо общем для всех сотрудников плане и направлении; еще менее могла идти речь о том, чтобы согласовать ученость с общедоступностью. Ученые писали большей частью для самих себя, «для небольшого кружка любителей учености, или же, желая приобрести популярность, впадали в пошлость и в тривиальность. То ученый дерптский юрист Гадебуш помещал там приложения к немецкому словарю Фришена, то назначенный в Сунцель, в рижском округе, пастором Гардер писал для листка исследования о положении древних латышей на основании изучения латышского языка, то какой-нибудь теолог присылал туда извлечения из Бенгелевых объяснений Откровения

¹ См. выше, с. 141.

² Сравн. уже много раз упомянутую нами статью Суфана о «Рижских ученых приложениях»; кроме того, см.: *Eckardt. Die baltischen Provinzen Russlands*. С. 127 и сл.; *Livland im 18 Jahrhundert*. С. 502 и 260.

св. Иоанна. Рядом с этим обсуждались вопросы, касавшиеся хозяйства и кухни, и помещались анекдоты или рассказы из повседневной жизни, иногда вполне приличные, а иногда отличавшиеся пошлым остроумием. В газете была особая рубрика для объявлений о бежавших из Лифляндии и Курляндии крепостных людях и вместе с тем помещались в «Ученых приложениях» то статья Беренса «„О духе законов“ Монтескьё», то какое-нибудь стихотворение или какая-нибудь беллетристическая статья; разве в этой странной смеси всякой всячины не отражались, как в зеркале, рижские общественные порядки?! Разве это не было иллюстрацией к словам Гердера, называвшего в своих путевых записках Лифляндию «страной варварства и роскоши, невежества и высокомерия, свободы и рабства»?!

Само собой разумеется, что Гердер нашел это издание вовсе не похожим на такой образцовый журнал, о каком он помышлял и какого желал. Однако оно имело в его глазах то достоинство, что носило резкий местный отпечаток и потому не казалось ему настолько плохим, чтобы отклонить его от желания участвовать в нем и испробовать, насколько сам он владел «прозой здравого рассудка». Познакомившись с различными кружками рижского общества, он познакомился и с кружком тех людей, которые участвовали в «Приложениях к Рижскому указателю»; ему захотелось ознакомить читателей этих «Приложений» со своей «гуманной философией». От него нельзя было ожидать ни строгой разборчивости, потому что его собственный эстетический вкус еще был слишком мало развит, ни серьезной сдержанности, потому что все его стремления еще слишком сильно отзывались юношеством. Будучи таким идеалистом, каких мало, он не находил ничего дурного в том, что нисходил до уровня дюжинных людей, когда ему хотелось найти для себя слушателей, познакомить других с неудержимым потоком новых идей, теснившихся в его голове, и исполнить свое призвание к распространению просвещения и к литературной деятельности.

Чтобы вступить в сферу рижских ученых, новоприезжий должен был немедленно уплатить свою дань «Ученым приложениям». Весь первый номер 1765 г. написан Гердером¹. Как будто из желания доказать, что он во всех сферах литературы, как у себя

¹ Все гердеровские приложения (за исключением гимна на новый год, который помещен в: Воспоминания. I, 122 — с двумя замеченными Суфаном изменениями: *Rigische Gelehrte Beiträge*. С. 63) снова напечатаны в: *SWS*. I, 1—12 и 43—67.

дома, он поместил в том номере высокопарный патриотический «Гимн по случаю нового года», нравоучительную статью и прибавок к этому несколько страниц забавных стишков. Его статья под заглавием «Что дал нам истекший год и что обещает будущий» написана несколько изысканным слогом, который, очевидно, не без намерения усыпан прикрасами всякого рода; ее содержание сводится к положению, что день нового года должен быть «праздником решительных намерений»; в заключение он переходит к таким «пожеланиям, которые можно выражать рифмами», и пишет стихотворение, в котором рифмы, по правде сказать, так плохи, а остроты так пошлы и не забавны, что эта первая проба отнимает у нас всякое желание познакомиться с вторичной попыткой автора писать доступные для народа забавные стихотворения¹.

Тем не менее Гердер не отказывается от своих помыслов о задаче настоящего журналиста; он делает новые попытки попасть в настоящий тон популярного писателя. Переделка его вступительной речи² в статью кажется ему слишком широко и глубоко задуманной, и он откладывает ее в сторону, не доведя до конца. Наконец он помещает новую статью в 10-м номере «Приложений» 1766 г. На этот раз он написал настоящую главу из «гуманной философии», а тема, которую он обсуждает, оказывается антропологически-эстетической и вместе с тем практически-нравственной. В ее содержании видна связь с другими умственными влечениями и занятиями Гердера, в особенности с тем, что он вычитал у Винкельмана; в ее внешней форме видно усиленное старание автора быть удобопонятным и занимательным и приковывать внимание ясностью изложения. Здесь идет речь о вопросе, касаю-

¹ Об авторской деятельности Гердера свидетельствуют не только сохранившиеся в его тетрадках следы точно такого же рифмотворства, но и попадающиеся там подражания одному стихотворению, вышедшему из-под пера Трешо: рифмы на Новый год начинаются словами, что их следует читать «вместо поздравлений с Новым годом от стража троеночия»; этот намек на одно стихотворение Уца, отзывающийся вполне основательной насмешкой, встречается у Трешо в его «Kleine Versuchen im Denken und Empfinden» (с. 351); там «образчик ночного календаря, составленного почтенным стражем троеночия», снабжен примечанием со ссылкой на стихотворение Уца и введением, в котором читаем (с. 352): «Покойный отец мой был школьным учителем в одном знатном семействе и сочинял там, как умел, разные рифмы и стихотворения, какие ежегодно были нужны его господам в дни рождения и в другие праздничные дни. Что я нечто унаследовал из его стихотворного таланта, можно, по моему крайнему разумению, заключить из моих всех известных поздравлений с Новым годом, которые я посвятил вам несколько лет тому назад».

² LB. I, 2, 63 и сл.

шемся физиогномии: «следует ли считать телесную красоту за предвестницу красоты душевной?» В статье говорится, что тело и душа — близнецы, которые развиваются вместе; из этого соображения и из целого ряда неоспоримых фактов выводится подтверждение той мысли, что телесная красота свидетельствует о красоте душевной. Однако если ближе всмотреться в дело, то приходится различать не одинаковые степени красоты: цвет лица, правильность телосложения, привлекательность. Преимущественно эта последняя служит признаком и душевной привлекательности; однако внешняя привлекательность дает право делать не положительные, а только правдоподобные заключения о внутренней красоте, о действительном душевном величии и нравственных достоинствах; она дает по большей мере право делать заключение о природных задатках душевных достоинств. Такова, приблизительно, мысль, которую развивает автор. Его старание сделаться популярным очевидно. Он тщательно избегает всего, что отзывается исключительно одной философией, и вносит в статью множество наблюдений и положительных фактов. По всему видно, что автор многому научился у Монтескьё и Монтеня, у Юма и Шефтсбери, что, придерживаясь правила, преподанного в его собственных «Отрывочных заметках», он старался соединить «с английским юмором игривость французов и блестящее остроумие итальянцев», что он, вероятно, принимал за образец остроумную болтовню Канта «о влечении к изящному и к возвышенному», откуда заимствовал и значительную долю содержания. Все это бросается в глаза, но именно оттого и статья не достигает своей цели. Сам Гердер высказал в своих путевых записках сознание в том недостатке, что «он никогда не думал только о содержании, а всегда заботился вместе с тем и о форме». Эти слова объясняют нам, в чем заключаются недостатки и той статьи, о которой здесь идет речь. Слишком ярко бросающееся в глаза старание обделывать слог затемняет мысли, вместо того чтобы их уяснять, а легкое, почти вдающееся в болтливость изложение не столько преодолевает трудности проблемы, сколько скрывает их от глаз читателя. Искусственная удобопонятность очерков и журнальных статей Гердера никак не может равняться с действительной удобопонятностью его проповедей.

На менее трудную тему и менее искусственным слогом написана небольшая статья, в которой он высказывал частью религиозные, частью эстетические воззрения, служившие введением к его кантате на праздник Св. Троицы, которая была помещена в 12-м номере «Приложений» того же года. На этот раз речь шла о стихо-

творстве. Здесь нет того возвышенного тона, которым отличались помещенные в Кёнигсбергской газете стихотворения на Страстную пятницу и на праздник Пасхи, но здесь, к счастью, нет и той напыщенности, которая совершенно портила те стихотворения. Желание быть назидательным и общепонятная, практическая точка зрения соединялись здесь с музыкальной точкой зрения и этим удержали поэта от трескучей высокопарности. То было шагом вперед, что он отказался от оды, которая была для него нормальной формой и для священных песнопений (как это видно из духовной песни «на крещение первых христиан»), и перешел к кантате. Своей простотой и возвышенностью стихотворение вполне соответствует и духовной цели, и музыкальной. Впрочем, и статья, и стихотворение имели лишь местный интерес. Сочинение кантаты было вызвано появлением «плохой» кантаты ректора Шлегеля, написанной на тему «шествие Иисуса на смертную казнь» и помещенной в 8-м номере «Приложений». Гердер обиделся тем, что ему приписывали негодное стихотворение, и потому захотел показать, какой, по его мнению, должна быть кантата¹.

Затрагивая в своих стихотворных произведениях музыку, которую так любили его рижские сограждане, Гердер находил новый способ приобрести общее расположение. Несмотря на то что в музыке он был только дилетантом, его собственная любовь к ней очень ему пригодилась, благодаря тому что находилась в самой тесной связи с его влечениями к поэзии. Ведь музыка играла в Риге важную роль. Еще во время своей поездки в Италию в 1788 г., говоря о данном в Нюрнберге большом концерте, на котором присутствовало все знатное и богатое общество, Гердер вспоминал о том, как часто он присутствовал на концертах в Риге². Гаман писал ему в мае 1765 г.: «Концерты служат в Риге средством для сближения. Разве ваши музыкальные дарования не более для вас полезны в Риге, чем ваша археологическая муза?» Это указание не было оставлено без внимания. Статья, служившая введением для кантаты на великую пятницу, оканчивается тем, что поэт хвалит «тонкий музыкальный вкус» рижских жителей; он ничего так не желает для своего стихотворения, как «одобрения со стороны местных знатоков музыкального искусства, и в особенности со стороны некоего Мютеля, музыкальные произведения которого ценятся и в чужих краях». Через несколько месяцев после того, 1 октября 1766 г., происходило торжественное освя-

¹ К Гаману (LB. I, 2, 150); к Шеффнеру (Там же. 194).

² Поездка Гердера в Италию (*Dünßer B.*). С. 33, 34.

шение вновь построенной в Бикерне церкви св. Екатерины. При этом была исполнена кантата Гердера, и он мог похвалиться, что она очень хорошо удалась композитору¹.

Кроме концертов и театр служил сборным пунктом для рижского общества. Гердер также посещал представления странствующей труппы артистов, иногда приезжавшей в Ригу. Так как он высоко ценил искусство декламации и интересовался всеми отраслями литературы, в том числе и драматической, то посещение тех представлений было для него полезной школой. Из впечатлений, которые он выносил из театра, возникли и воззрения на драму, которые он намеревался изложить в продолжении «Отрывочных заметок», и намерения — правда, никогда не осуществившиеся — испробовать свои собственные силы на поприще драматического писателя². В одном из писем к Шеффнеру (LB. I, 2, 192) он высказывал свое мнение о представлениях рижской труппы (в 1766 г. это была труппа Менда) и около того же времени намеревался указать «недостатки здешней театральной труппы в исполнении трагедий» — а где же мог бы он поместить такие заметки, как не в «Ученых приложениях»?

Проект этой статьи записан в числе других в одной из тетрадок Гердера под 21 августа 1766 г.³ Целый ряд таких проектов с надписью «В Ученые приложения» начинается следующей темой для статьи: «в какой мере изменяются вкусы народов», и не подлежит сомнению, что для такой же цели предназначались «нравственные и эстетические соображения по поводу трагедии „Вольнодумец“», равно как заимствованная от Боккаччо «История Эммы и Эгингарда», которую Гердер намеревался рассказать по Бейлю. Другой, более старый список проектов, как кажется, предназначался для той же цели⁴. По инициативе императрицы Екатерины были основаны воспитательные дома в Москве и в Петербурге — наш человеколюбивый философ задумал изло-

¹ К Шеффнеру 23 сент. 1766 г. (LB. I, 2, 194); сама кантата помещена в LB. I, 2, 181 и SW в отделе литературы. IV, 177 и сл. Касательно другой кантаты Гердера см. далее, с. 193, прим.

² Сравн. письмо к Гаману (LB. I, 2, 138) с назначенной для «Отрывочных заметок» статьей «о немецком театре» (LB. I, 3, а, 35). Касательно остального см. далее, в начале 3-й главы этой книги.

³ В одной из других тетрадок, относящихся к 60-м годам, есть очень короткий очерк, приложенный к «Беседе о театре».

⁴ Оба списка в точности соответствуют рукописи у Суфана (Рижские ученые приложения. С. 70, 71). Там же есть указания на некоторые другие темы, намеченные Гердером, быть может, для «Ученых приложений»; это предположение может относиться и к некоторым другим наброскам статей.

жить свои соображения касательно воспитательных домов и нравственной цели таких учреждений. Он уже написал оду в честь Петра Великого, а теперь он пожелал объяснить, почему этот государь не годится в герои эпопеи. Он задумал описать успехи ученых занятий в Германии и в России. Из трудов петербургской Академии наук он хочет извлечь указания на результаты ее деятельности. Он желал бы написать историю изящных наук в Лифляндии по примеру сочинения Гауга «О положении изящных наук в Швабии», пользуясь относящимися к этому предмету замечаниями Аббта в «Письмах о литературе». Мысль описать «жизнь купца» легко могла прийти в голову человеку, жившему в торговом городе! Но в способе изложения приходит к нему на помощь крамеровский журнал «Северный наблюдатель» — задуманное описание должно иметь форму рассказа, который заимствован «из записок невидимого наблюдателя», т. е. такого, который сохраняет свое инкогнито, посвящен во все тайны и одарен мудрой проницательностью¹. Он намеревается изложить «проект основания особой библиотеки для купцов и особой библиотеки для горничных», и в этом намерении он, конечно, не нуждается в чьих-либо указаниях. «Господин Иост, школьный педант» — таков заголовок литературного портрета, который предполагалось написать по примеру Гагедорна и для которого некоторые черты уже были указаны во вступительной речи. Гердер желал испытать свои силы и в сочинении рассказов вроде «Тристрама Шенди» или вроде очерков Монтеня. У него были *in petto* и следующие темы: могут ли и в наше время возникать великие государственные перевороты из пустяков? Будут ли еще появляться между немцами оригинальные поэты, о новых открытиях в природе, о деспотизме и либертинизме в обхождении, о том, что в наше время уже не бывает друзей, и размышления по поводу суждений о красоте.

Вот как горячо желал Гердер писать журнальные статьи! Вот как много проектов зарождалось в его уме! Однако, за исключением самых обширных его сочинений, заголовки, к сожалению, так и остались заголовками. Даже те проекты, которые находились в самой близкой связи с более обширными сочинениями, не заходили далее концептов и введений. Из более старых проектов он серьезно взялся за проект статьи «Размышления по поводу суждений о красоте», потому что некоторые из замечаний и суждений, высказанных в этой недоконченной статье, могли быть перенесе-

¹ Сравн. окончание 66-й статьи (с. 67, 68, 70) и в особенности доставленную Клопштоком 123-ю статью во 2-м томе «Северного наблюдателя».

ны в статью «Телесная красота как предвестница красоты душевной». Из более новых проектов был отчасти приведен в исполнение только проект статьи «В какой мере изменяются вкусы народов»; но статья осталась недоконченной, потому что автор не был в состоянии справиться с историческим материалом. Впрочем, это было в сущности возобновление более старого проекта, лишь получившего более широкие размеры. Отрывочные остатки и того и другого сохранились в LB. I, 3, а, 3, 187 и 199. В качестве дополнений к сходным с ними по мысли первым, более крупным произведениям Гердера они не лишены интереса; но популярного писателя они не освещают никаким новым светом; манера выражаться в сущности прежняя, и мы постоянно выносим убеждение, что автор был не в меру глубокомыслен, что он достигал некоторого равновесия между серьезностью и шутливостью лишь с большим трудом и лишь в такой популярной форме, которая отзывалась натянутостью, что он еще не научился писать в одно и то же время и остроумно, и удобопонятно. Потому для нас имеет важность не столько то, что он писал, сколько то, что он замышлял. Для рижских «Ученых приложений» было бы во всяком случае не лишним, если бы из простых заголовков возникли настоящие статьи, а из этих статей (если бы они были написаны так, как были задуманы Гердером) составилась бы именно такой провинциальный журнал, о каком мечтал Гердер — журнал «в высоком смысле слова, и такое оригинальное издание, которое пришло бы в упадок лишь вместе с упадком провинциальных нравов и было бы в течение многих столетий любимой книгой для чтения». С назначением на должность церковного проповедника Гердер вступил с 1767 г. на новое поприще, на котором ему было более удобно распространять свои идеи о «гуманной философии». Только один раз во время своего пребывания в Риге, а именно в 1768 г., он снова задумал написать статью, принадлежавшую к разряду журнальных: «о том, как молодеет и как стареет человеческая душа»; впрочем, на этот раз «аббат Климент был тот, кто должен был вместо него выражаться его бойким юношеским слогом». Но эта статья предназначалась для Кёнигсбергской газеты, потому что издание «Ученых приложений» уже прекратилось; эти приложения заснули вечным сном еще в конце 1767 г., через несколько месяцев после смерти их редактора, помощника ректора Арндта¹.

¹ Сравн. письма Гамана к Гердеру (LB. I, 2, 437) и путевые записки Гердера (LB, II, 313). Мысли, которые Гердер предполагал изложить в задуманной статье, были гораздо позже изложены в «Тифоне и Авроре». Справочный листок выходил до 1852 г. (*Eckardt. Livland im 18 Jahrhundert. C. 502*).

Но кроме церковных проповедей и популярных статей у Гердера было еще одно средство знакомить его сограждан с гуманной философией с целью распространять между ними просвещение и гуманные идеи. Этим новым и очень действенным средством было масонство, распространение которого вдвойне полезно в такой стране, где между гражданством и дворянством существовала политическая рознь и где крепостное состояние до такой степени срослось с нравами и с понятиями о нравственности, что сейм 1765 г. отвечал следующим заявлением на задуманные правительством смелые проекты реформ: крепостное состояние возникло в Лифляндии «не из варварства, а из врожденного духа латышско-эстонской нации и может очень хорошо уживаться с гуманностью». Первая масонская ложа была учреждена в 1750 г. купцами Иоаном Цукербекером и Дидрихом фон дер Гейде. Она была распространительницей и представительницей просветительных идей того времени; к ней принадлежали лучшие люди из рижского населения; и Гердер не мог держаться в стороне от нее, если не хотел отнять важную опору у своих стремлений к распространению образования. Он был принят в число членов ложи в 1766 г. Мы охотно верим «Воспоминаниям», что и в этой сфере он умел внушить глубокое уважение и что он был выбран в секретари ложи, «несмотря на то что не имел надлежащего чина». В сочинениях и в письмах Гердера нет никаких указаний, которые дали бы нам возможность составить себе более ясное понятие о деятельности Гердера в этой сфере¹. Но следы этой деятельности сохранились на страницах одной из его тогдашних тетрадок в кратких проектах речей для масонской ложи — в проекте речи, которую он произнес при вступлении в звание члена-оратора, в проекте речи, для которой служили темой три опоры масонской ложи — мудрость, сила и красота, и в проекте той речи, которую он произнес в воспоминание об одном умершем сочлене.

Эта последняя речь была посвящена памяти умершего в 1767 г. рижского городского доктора Гандвига, который преобразовал тамошнее масонство и исполнял должность начальника масонской ложи, получившей с тех пор название «Zum Schwerdt»². Что Гердер считал устройство масонских лож за важное вспомогательное средство для распространения высшего об-

¹ О ней лишь вкратце упоминается в переписке Гердера с Шеффнером и с Гаманом (LB. I, 2, 147, 165, 423).

² По указанию Экардта (Livland etc. С. 501) и die baltischen Provinzen Russlands (с. 125).

разования в балтийских провинциях, видно, между прочим, из одного места в его путевом журнале, где он обсуждает вопрос, каким способом внушить дворянству сочувствие к этим образовательным целям¹.

Впрочем, для своего космополитизма и для своих гуманных стремлений рижские жители находили твердую опору в своем сочувствии к общественным интересам и в своем патриотизме. Кто намеревался проповедовать там философию человечества, тот должен был излагать ее в неразрывной связи с философией гражданина точно так, как ее излагал и любимый писатель Гердера, Аббт. Именно в этом отношении рижская атмосфера имела чрезвычайно глубокое влияние на Гердера. Он не привез с собой государственной мудрости из своей родины Пруссии, которая внушала ему отвращение своими бюрократическими учреждениями, а своими военными законами наводила на него страх, потому что угрожала его личной свободе. В главном городе принадлежавших России балтийских провинций, в Риге, у него впервые зародились влечения к политической жизни и к гражданской деятельности и понятия об обязанностях подданного. Ведь Рига — по его собственному выражению — была под русским владычеством другой Женовой, т. е. республикой, находившейся под покровительством могущественной монархии. В этом бывшем ганзейском городе еще сохранилась, говорит Гердер, по меньшей мере тень того гордого высокомерия, которым когда-то отличался Ганзейский союз. Хотя страна и переходила из рук одного монарха в руки другого, городские учреждения оставались в Риге такими же, какими были в Средние века. Несмотря на свой аристократический характер, они имели еще другую, более широкую, основу. Там было в полном ходу самоуправление, основанное на корпоративном начале. Все отрасли общественной деятельности были так распределены между магистратом и двумя гильдиями, т. е. между «тремя сословиями», из которых состояла *respublica Rigensis*, что все наличные силы гражданства сообща стремились к общественной пользе, хотя и разделялись по степеням в том, что касалось обязанностей, прав и почестей. А между тем как каждый гражданин имел право принимать живое участие в общественных делах и потому с гордостью чувствовал, что он живой член этой республики; старинные формы управления

¹ «Курляндскому дворянству, — говорит он, — следует принести пользу при помощи масонства»; здесь (LB. I, 3, a, 242) следует читать *Freimäurerei* вместо *Freimüthigkeit*.

придавали особую важность каждому должностному лицу, каждому официальному акту и тем поддерживали достоинство республики в глазах чужестранцев. Гердер, видевший эти порядки вблизи, стал уважать их и любить. Занимая привилегированное положение в качестве ученого и лица духовного звания, он в первый раз почувствовал на самом себе, какое счастье в свободе. Гердер без всяких оговорок неоднократно признавался, что жил в Риге в полной независимости и безопасности; и в более позднюю пору своей жизни он писал, что «в Лифляндии он жил, преподавал и действовал с такой полной свободой», какую едва ли когда-либо снова найдет¹. Если бы ему удалось получить более высокую духовную должность, то он мог бы иметь влияние на городское управление как член магистрата. Но и без этого Гердер был вовлечен в поток общественной жизни своими должностными и общественными связями. Те люди, знакомством и добрым расположением которых он пользовался, были патрициями в лучшем смысле этого слова и патриотами во всяком значении этого слова. Их образ мыслей перешел и к нему. Их политические воззрения и интересы сделались его собственными. Подобно им, Гердер также сделался рижским патриотом; он сделался еще более горячим русским патриотом, чем каким был, живя в Морунгене и в Кёнигсберге, когда Гаман (LB. I, 2, 423) тщетно требовал от него хоть сколько-нибудь прусского патриотизма. Вот почему деятельность Гердера в пользу гуманного образования нашла для себя в Риге твердую опору и получила резкий местный отпечаток. В этом же заключается главная причина его успеха и сочувствия, которое он встречал в Риге почти повсюду — и среди граждан, и в дворянских кружках, и у представителей правительства. Это сочувствие Гердер приобрел не только как занимательный и веселый собеседник, не только как несравненный преподаватель и проповедник, не только как оратор масонской ложи, поэт и писатель, но также как хороший рижский гражданин и верноподданный русской императрицы. Гердер не вмешивался в подробности тех политических вопросов, которыми были в то время заняты умы; напротив того, если он особенно интересовался какими-нибудь общественными делами, как, например, вопросом о крепостном состоянии, который так горячо обсуждался на сейме 1765 г., то это лишь сближало его со

¹ К своей невесте (LB. III, 145), к Гаману (LB. I, 2, 211) и к Николаи (LB. I, 2, 413). Также см. статью о «Bonhommiens» Беренса (Humanitätsbr. VI, 138 и сл.) и рецензию в «Немецком Меркурии» (1780. IV, 81 и сл.), на которую указал Суфан (Рижские ученые приложения. С. 67).

всеми слоями политического общества, потому что он не принимал никакого участия в происках партий. Гердер был верен своему призванию идеалиста, когда проповедовал «философию» гражданина и в поэтически-красноречивой форме горячо поддерживал то чувство патриотизма, которым были проникнуты рижские жители.

Накануне того дня, в который праздновалось восшествие на престол императрицы Екатерины, Гердер вступил в свою должность, а через несколько дней после того минул год с тех пор, как императрица, объезжая Лифляндию, посетила главный город провинции¹. Во время прибытия Гердера в Ригу там еще было свежо воспоминание об этом важном событии, так как со времен Петра Великого ни один император не посещал этого города; восторг, с которым население встречало императрицу, точно будто окончательно скрепил результаты завоевания. Отголоском этого восторга был тот «Гимн на Новый год», который был напечатан в первом номере «Ученых приложений» 1765 г. Уже тогда поэт освежил в памяти рижского населения воспоминания о тех праздничных днях во всем разнообразии их красок, и при этом он не поспешил на выражения своей безграничной верноподданнической преданности. А 27 июня 1765 г. он в конце своей вступительной речи снова напомнил о тех днях, когда монархия «сошла, как грация, со своего трона, осчастливила нашу Ригу, освятила наше новое судебное здание и вызвала из наших уст новые выражения радости». Он еще раз воспевал эти дни в гимне, который входил в состав его публичной речи и был написан на тему «восшествие Екатерины на престол»; здесь самый неприличный восторг выражается языком самой изысканной лести. Гердер говорит, что настоящая эпоха должна называться по имени Екатерины, подобно тому как предшествовавшая эпоха называлась по имени Петра Великого. Ввиду преобразовательной деятельности императрицы в «сфере законодательства поэт смотрит на Екатерину как на восседающую на престоле представительницу гуманной философии, как на мудрую и вместе с тем кроткую богиню мира, от которой тем не менее зависят судьбы Европы. А о том, как этот пришлец умел в своей публичной речи похвалить тот город, который пригласил его к себе, уже было говорено ранее. «Да процветает, — восклицает он, — город Рига, в котором с трудолюбием и с пользой соединяется изящество, с друж-

¹ Относительно путешествия императрицы и ее прибытия в Ригу см.: *Eckardt. Livland etc. I, 303 и сл.*

бой и с удобствами жизни — благосостояние, со свободой — покорность, с истинной верой — мышление, с добродетелями — грация; да процветает Рига, которая под сенью русской державы почти то же, что Женева!» Впрочем, в основе этой риторики лежал самый искренний патриотизм. Оратор вполне серьезно относился к данному им обету честно служить интересам города в своем звании преподавателя — ведь школа, в которой он преподавал, была в его глазах «рассадницей общественного блага» и воспитательницей граждан для рижской городской республики.

Почти через четыре месяца, после того как была произнесена эта школьная речь, 11 октября 1765 г., присутственные места были переведены в новое здание, постройка которого была начата еще за шестнадцать лет перед тем на денежные взносы, добровольно наложенные на торговцев, и которое было освящено императрицей во время ее пребывания в Риге. В такие дни рижские граждане любили публично высказывать свое чувство достоинства и свою патриотическую гордость, а вместе с тем и свою любовь к празднествам и к публичным зрелищам. Обстановка этого праздника вполне соответствовала важности города. В главную церковь, где проповедь была произнесена обер-пастором Эссенем, граждане отправились длинной процессией; впереди шли старики и старшины обеих гильдий, а вслед за ними ехали в каретах члены магистрата. Внутри здания речь была произнесена бургомистром Андреэ. После полудня происходит в церковной школе училищный акт, а Вильперт полагает (Воспоминания. I, 112), что Гердер был тот, кто произнес по этому случаю торжественную речь. Для этого, очевидно ошибочного предположения, послужила поводом статья Гердера: «Есть ли у нас такая же публика и такое же отечество, как у древних?»¹ Эта витиеватая статья была не торжественной речью, а сочинением, написанным по случаю праздника по собственному почину. Гердеру непременно хотелось и со своей стороны что-нибудь прибавить к торжественности праздника. Быть может, он увлекся желанием соперничать с ректором и показать, как следует писать статьи по случаю экстренных событий.

Написанная ректором Шлегелем для школы праздничная статья о том, что «достоинство городов олицетворяется в их ратушах», была наполнена очень сухой ученостью, а Гердер показал, как можно возвышать и литературные вопросы до одного

¹ См. введение Суфана к SWS. I, XVII. Достаточно начала этой маленькой статьи, чтобы убедить нас в неосновательности этого предположения.

уровня с нравственной и с патриотической точкой зрения. Он написал статью на тему «Есть ли у нас такая же публика и такое же отечество, как у древних?»¹ Первый из этих двух вопросов принадлежал к числу тех, которыми он уже давно занимался и не переставал заниматься впоследствии; он снова затронул этот вопрос в «Отрывочных заметках» по поводу высказанных Аббтом замечаний о том, как Гейнзе перевел «De oratore» Цицерона. Он разрешает этот вопрос отрицательно. В наше время, говорит он, вследствие перемен в нашей государственной жизни и в наших учреждениях, ни ораторы, ни писатели не имеют такой же публики, какую имели древние. Напротив того, на второй вопрос он отвечает утвердительно. Несмотря на перемену, происшедшую в воззрениях на политику и в отношениях религии к государству, говорит он, у нас и теперь есть отечество, которому мы можем посвящать себя с преданностью и с любовью. Этим убеждением проникнута вся статья с самого начала. Уже во введении к ней он выражает свою патриотическую радость по случаю окончания постройки ратгауза и здания для суда, а вся вторая часть статьи не что иное, как патриотическое воззвание к патриотизму, которое заканчивается чем-то похожим на оду. Гердер повторяет то, что говорил Аббт в своей статье «О смерти за отечество»: и при монархическом правлении, говорит он, «приятно и похвально жертвовать своей жизнью для отечества»; и у нас, точно так же как у граждан древних республик, слово «отечество» тесно связано с приятным словом «свобода»; разница только в том, что наша свобода отличается «приличием и умеренностью»; это та свобода, которую «Рига получила от ее всемилостивейшей императрицы и которой она наслаждается вполне и с беспредельной признательностью». И нам известна самоотверженная готовность жертвовать собой для отечества, хотя она менее слепа и менее фантастична, чем в древние времена; лучшим примером может для этого служить Петр Великий; он был «отцом своего старого отечества и творцом нового» и был таким правителем, что его патриотизма достало бы на десятерых монархов! Вслед за тем Гердер говорит о том, что ежедневно видел вокруг себя и

¹ В кратком эскизе этой статьи, находящемся в одной из гердеровских тетрадок, этот вопрос сначала имел такую форму: «Есть ли у нас римская публика и римское отечество?» Статья, помещенная в «Humanitätsbr» (V, 52 и сл.), не имеет почти ничего общего со статьей 1765 г., кроме заголовка. Эта последняя — с небольшими пропусками, которых потребовали некоторые местные соображения, — была прежде первой снова отпечатана в гамбургских «Unterhaltungen» 1766 г. (том V, I). Теперь ее можно найти в SWS. I, 13 и сл.

что сам пережил: только убеждение, что трудишься «на пользу отечества», может служить вознаграждением за все заботы и лишения, неизбежные при исполнении всяких общественных обязанностей. В заключение он ясно намекает на свои собственные отношения к новому отечеству; он выражает уверенность, что и чужеземцы могут трудиться с такой же пользой, с какой трудятся патриоты, и что «своими заслугами они могут приобрести новое отечество вне своей родины».

«По официальному приглашению», т. е. по желанию магистрата как патрона школы, Гердер напечатал свою статью. «Чужеземец» скоро сделался официальным поэтом и оратором во всех торжественных случаях¹. Ни городское начальство, ни правительство не могли желать лучшего выражения тех чувств, которые были общими для всего рижского населения; поэтому Гердер имел полное право стоять наряду с местными гражданами и считаться самым верным русским подданным. Кроме того, трудясь и в школьной, и в церковной сфере «с чувствами патриота», он не только оказывал услуги городу и государству, но также заботился о распространении образования и того счастья, источник которого находится в человеческой душе. Он впоследствии рассказывал своей невесте, что перед своим отъездом из Риги достиг «вершины общего сочувствия», что он был любим и городскими жителями, и поселянами, что его друзья и многие из юношей благоговели перед ним, как перед Христом, что он был любимцем и правительства, и дворянства, которые готовили ему, Бог весть какую, блестящую будущность; хоть эти слова и отзываются самохвальством, однако нет никакого основания сомневаться в их правдивости.

Гердер мог бы говорить в своей статье общепонятным языком и о патриотизме иного рода, если бы ему в том не помешала специальная цель, для которой эта статья была написана. Хотя от рижских жителей и требовалось, чтобы они были не только хорошими рижскими, но и хорошими русскими патриотами, однако это не мешало им быть в то же время и хорошими немцами. Духовная связь между принадлежавшей к русским балтийским провинциям немецкой колонией и ее немецким отечеством поддерживалась неослабно; в особенности в Лифляндии и главным об-

¹ И по случаю происходившего в 1765 г. бракосочетания наследного курляндского принца Петра, сына герцога Бирона, Гердер написал до сих пор сохранившуюся в рукописи кантату — вероятно, по настоянию Гаманова друга Тоттиена, который еще пользовался в то время доверием герцога.

разом в ее центре — в Риге решительно преобладал немецкий элемент, а вместе с ним преобладали немецкий образ мыслей и немецкий склад ума. Чем слабее были политические узы, привязывавшие немцев к их родине, тем легче им было согласовать их привязанность к немецким нравам, образованию, языку и литературе с их неизменной преданностью к русскому монарху. Чем меньше было у них общих интересов со смешанным славянским населением, среди которого они жили как бы особняком, тем глубже было их убеждение, что они представители и по призванию миссионеры высшей культуры. Колонизация не прекращалась, вследствие того что в Ригу постоянно переселялись немецкие ученые; а так как каждый новоприезжий немец сохранил в своем сердце хоть небольшую привязанность к своей родине, то его соотечественники всегда стояли в его глазах гораздо выше иноземцев. То же было и с Гердером. Он прибыл в Ригу немецким патриотом; тому обстоятельству, что он до того времени жил на самой окраине Германии, следует приписать страстный патриотизм, с которым он стал поддерживать среди своих соотечественников все, что было своеобразного в их складе ума, в их языке и искусстве, в их науке и поэзии. Это был идеальный патриотизм, сначала имевший в виду только духовные блага, вследствие чего и самое слово «патриотизм» утратило в устах немцев свое первоначальное значение: под ним стали понимать горячую преданность тому, что дорого для умственной жизни. Оттого-то Гердер и сравнивал «патриотическую преданность христианина к его религии» с патриотической преданностью иудея к его нации. Оттого-то он иногда и вел речь о своем собственном патриотизме по отношению к истинной философии и к изящному вкусу. Подобно тому как у греков, говорит он, патриотизм выражался в том, что они возвышали людей, оказавших услуги отечеству, и низвергали статуи тиранов, и его собственный патриотизм заключался в том, чтобы возвышать приходившую в упадок философию и обличать самоуверенное невежество¹. Гердер хочет отстаивать научные интересы, потому что с ними, по его понятию, связана честь немецкого имени. Он разделяет мнение Аббта, что философия — в сущности немецкая национальная наука. Вот почему он считает разрешение вопроса, как примирить философию с гуманностью и с политикой, за «патриотическую тему» — за такую задачу, которая должна интересоваться «всякого, у кого те-

¹ Отрывочные заметки II, 242; четвертый «Критический лесок» (LB. I, 3, b, 326; 529).

чет в жилах немецкая кровь и кто проникнут немецким философским духом»¹. Вот почему он, в качестве «немецкого патриота», скорбит о том, что Клотц и его последователи роняют в глазах публики важное значение истинной философии. Все, что пишут эти люди, кажется ему позором для немцев. Поэтому он и заявляет в предисловии к третьему «Критическому леску» о своем «патриотическом намерении» положить конец этим грязным проискам и «возвратить критике свободу». В том, что касается литературной деятельности, он считает себя вполне солидарным с немецкой нацией — быть может, повинувшись в этом случае и своим политическим симпатиям. Поэтому он требует такой истории немецкой литературы, которая приводила бы в движение «пружины национальной гордости», которая была бы для немецкой литературы тем же, чем было для английского государства знаменитое сочинение Броуна об английских нравах и принципах, которая была бы «голосом патриотической мудрости и приносила бы пользу отечеству»². Он желает, чтобы произведения Гомера были переведены на немецкий язык, — желает этого, как положительно утверждает в первом «Критическом леске», из патриотизма, из «любви к своему родному языку»³. Наконец и этого мало: он сознается, что интересуется немецким искусством и немецким образом мыслей как патриот. В одной статье о немецком театре, предназначенной для «Отрывочных заметок», он нападает на некоторые из новейших комедий за то, что в них характеры действующих лиц носят лишь слабый немецкий отпечаток, а немедленно вслед за тем говорит в оправдание своей неодобрительной критики, что «он пишет как патриот, который тем больше ценит достоинства немецких произведений, чем менее расхваливает достоинства произведений не-немецких; и тем охотнее не замечает немецких недостатков, чем менее способен выносить недостатки не-немецкие».

Вся остальная деятельность Гердера во время его пребывания в Риге была основана на этом не политическом, а крайне идеальном патриотизме, который тем не менее был искренним и глубоким патриотизмом немца. До сих пор мы говорили о Гердере как о преподавателе и церковном проповеднике, а из его литературной деятельности мы познакомились только с тем, что имело непосредственную связь с его жизнью в Риге. Но в этой

¹ LB. I, 3, а, 212 и сл.; сравн. письмо к Шеффнеру (LB. I, 2, 359).

² Отрывочные заметки. I, 6.

³ Первый «Критический лесок». С. 186.

деятельности есть и другая сторона, которая, хотя и не могла вполне освободиться от влияния рижской обстановки, но возвышалась над ним и по своим мотивам и по своим последствиям. Большая часть того, что Гердер писал в этот период времени «как дилетант и как патриот», было написано немецким патриотом и было посвящено немецкой литературе. Для этих занятий он пользовался промежутками времени между своими официальными обязанностями, а достигнуть успеха он желал не столько в окружавшей его сфере, не столько среди своих новых сограждан, сколько за границей и в Германии. И такого успеха он достиг. Если те занятия, о которых мы говорили ранее, доставили ему «любовь и уважение рижского населения», то благодаря его литературной деятельности его стали знать, уважать и бояться в Германии. Но именно эта деятельность и оторвала его от той почвы, на которой он до того времени трудился, — она заставляла его с течением времени все чаще и чаще обращать свои взоры на чужие края и наконец привела к тому, что он отказался от своей рижской должности и навсегда покинул берега Двины.

Посмотрим же, какова была эта новая сторона его деятельности и каково было содержание тех замечательных сочинений, которые юный автор писал в отдаленном уголке немецкой жизни и которые имели такое огромное влияние на развитие нашей отечественной литературы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОТРЫВОЧНЫЕ ЗАМЕТКИ О НОВЕЙШЕЙ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

I. Литературные проекты

Наряду с богословскими и философскими занятиями Гердера сильно привлекала к себе изящная литература еще в то время, когда он жил в Кёнигсберге. В нем рано развилось влечение к поэзии, так что чтение древних и новых поэтов рано сделалось для него потребностью и любимым занятием. Его записные тетрадки наполнились его собственными стихотворениями, в которых юношеская неопытность боролась с юношескою смелостью, а склонность к подражанию — с горячим стремлением к самостоятельности. Его внимание непреодолимо приковывали к себе и драматические произведения, и немецкая литература, которая лишь незадолго перед тем начала переходить от неизящных произведений писателей-ремесленников к более самостоятельным формам литературного творчества, стала все более и более расширять свою сферу и вместе с тем пыталась при помощи критики и теории выработать нечто вроде неизменных законов. С тем рвением, в котором жажда знания соединяется с любопытством и с которым в наше время следят по газетам за ходом политических событий, Гердер углублялся в чтение журналов, доставлявших ему сведения о том, что делалось в литературном мире, и главным образом извещавших его о всяком новом явлении в немецкой литературе. Он начал эти занятия в библиотеке Трешо, а продолжал их в книжном магазине Кантера. При его стесненном положении и при тревожной торопливости, с которой работал его ум, ему нередко приходилось довольствоваться тем, что случайно попадало в его руки, и черпать из второстепенных, мутных и эфемерных источников. Но, с одной стороны, благодаря философским воззрениям, которые Гердер заимствовал от Канта, с другой — благодаря гениальным замечаниям, которые высказывал Гаман, когда делился с Гердером своими обширными литературными познаниями, даже наскоро накопленный

запас поверхностных знаний постоянно обновлялся новыми плодотворными идеями — и всё, что вычитал юноша, скоро пустило в его уме корни, из которых стали выходить здоровые ростки.

Гердер привез с собой из Кёнигсберга в Ригу немало литературных проектов, для которых служили темами самые важные литературные вопросы. Он задумал перевести на немецкий язык вышедшую в 1760 г. в Лилле «*Parallèle des tragiques Grecs et Français*» и присовокупить к переводу свои собственные примечания. Он начал писать статью «Об оде» и надеялся, что она будет служить только началом для истории всей поэзии. Вместе с тем он начал писать примечания и прибавления к знаменитым «Письмам о литературе».

От первого из этих проектов всего менее можно было ожидать успеха. Не подлежит сомнению, что внимание Гердера было обращено на новое французское сочинение Гаманом, который сообщил это сочинение и своему другу Линднеру¹. Сделанная оттуда выписка находится в одной из самых старых записных тетрадок Гердера. Еще летом 1767 г. Линднер желал перевода французской книги, поэтому следует полагать, что рижский ректор, занимавшийся сочинением драм для школы, еще в 1765 г. горячо поощрял своего юного помощника к этой работе. О выходе в свет перевода было объявлено в каталоге книг, привезенных на ярмарку к Пасхе 1766 г.; но вскоре после того эта работа была приостановлена. «Мои разнообразные занятия, — писал Гердер 21 июня 1766 г., — почти совершенно отвлекли мое внимание от греческого театра; вместо того чтобы издать перед ярмаркой нечто недоконченное, я предпочитаю ничего не издавать!» Итак, эта работа осталась недоконченной точно так же, как все, что относилось к теории драмы. Сохранилось только начало перевода: в «Жизнеописании» можно найти не доведенное до конца предисловие и примечания к первой главе французского сочинения, да и те в неоконченном виде².

Проекты касательно истории поэзии зародились в уме юноши, вероятно, еще в то время, когда в нем впервые пробудилось влечение к стихотворному искусству. Что Гердер еще в отроческом возрасте обнаруживал желание изучить историю поэзии, видно из нескольких ученических и несамостоятельных заметок,

¹ См.: *Fünf Hirtenbriefe etc.* Hamanns Sch. II, 426.

² LB. I, 3, а, 8 и сл.; сравн. там же, с. XIV; LB. I, 2, 147. 164, 261. Haben wir noch jeßt das Publicum etc. С. 9, прим.; SWS. I, 18, прим.

помещенных в самом старом его дневнике. Кроме того, несколько листов наполнены у него пиитикой в виде извлечения из лекций Линднера или Бока¹; история поэзии, преимущественно немецкой, и здесь занимает выдающееся место. Наконец Гердер начал самостоятельно разрабатывать этот предмет и остановил свое внимание преимущественно на вопросе о происхождении поэзии и на исследовании сущности лирики. Настоящая поэзия стала развиваться в нашем отечестве со времен Галлера и Гагедорна в сфере лирики, а со времен Клопштока и Рамлера в сфере оды. Именно к этому последнему роду поэзии Гердер чувствовал самое сильное влечение; к сочинению од он прилагал все силы своего воодушевления, не умевшего справляться с трудностями выражения; но именно лирическая поэзия всего менее входила в то время в сферу теоретических исследований. Понятия об эпосе и драме, о басне и эпиграмме были выяснены, а неуловимый характера песнопений не поддавался наблюдению. Здесь нужно было восполнить пробел, нужно было проникнуть в самую глубину субъективной духовной жизни, отыскать там источник творческих поэтических способностей и изучить поэзию с того пункта, в котором она соприкасается с музыкой. Не там ли находился центральный пункт поэзии и не был ли именно этот центральный пункт настоящим источником поэзии? Доискиваясь происхождения стихотворства, Гердер приходил к убеждению, что его следует искать в песнопении и в оде; вдумываясь в сущность оды, он невольно вовлекался в исследование первых зачатков поэзии. Данные, которые он извлекал из написанной Блэкуэллом биографии Гомера, из лекций Лоута о поэзии евреев, из Макферсонова «Фингала», из датской истории Малле, казались ему совершенно согласными с теми основными понятиями о сущности поэзии, которые внушал ему Гаман. «Поэзия есть природный язык человеческого рода, а природный язык поэта — песнопение»; Гердер воображал, что, высказав это положение, он нашел ключ к истории поэзии. Он полагал, что если бы ему удалось доказать основательность этого положения, если бы у него достало терпения проследить все вытекающие из него выводы, то он оказал бы самую важную услугу, какую именно в то время можно было оказать пониманию поэзии и оживлению поэтического духа в Германии.

Юный сочинитель од стал серьезно работать по меньшей мере над статьей об оде еще в то время, как жил в Кёнигсберге.

¹ LB. I, 2, 193.

В расписании часов для занятий на одно из первых кёнигсбергских полугодий есть час, назначенный для изучения «оды». Из записных тетрадок Гердера видно, что он собрал все материалы, какие мог, — он собрал все философские мнения об оде, какие были высказаны Мендельсоном по поводу стихотворений г-жи Карш, Рамлером в примечаниях к произведениям Баттё, бреславльскими «Смешанными приложениями», и Мармонтелем в его французской пиитике. Уезжая из Кёнигсберга в Ригу, он оставил в руках Гамана статью об оде, без сомнения, ту самую, которая напечатана в «Жизнеописании» (1, 3, а, 61—93). В ожидании замечаний, которые будут высказаны Гаманом, он сам собирал дополнения, которые должны были «возвысить цену его статьи в мнении друга». Начало этой улучшенной обработки, как кажется, находится на тех немногих страницах, которые также помещены в «Жизнеописании» (с. 93 и сл.); но мы не в состоянии решить, в то же время или ранее был написан рукописный отрывок, с заголовком «О происхождении песнопений», начинавшийся вышеприведенным основным положением, составленный по всем правилам учености и снабженный цитатами внизу текста. Во всяком случае не подлежит сомнению, что статья об оде предназначалась для издания в свет. В каталоге книг, привезенных на ярмарку во время Пасхи 1766 г., было объявлено о предстоявшем выходе в свет как перевода упомянутого выше французского сочинения о трагедии, так и «Приложений к истории лирических песнопений». Но этими двумя объявлениями все и закончилось. Получив обратно от Гамана рукопись своей статьи (не ранее лета 1766 г.), Гердер писал в ответ о своем «погибшем детище», что намерен допустить его к первому причащению, но что при этом оно, быть может, сохранит только прежнее имя — а когда это случится, он не может сказать¹. На этом дело остановилось, хотя на свое намерение издать статью Гердер намекает даже в третьей части «Отрывочных заметок»; здесь он делает такие указания на содержание книги, упомянутой в каталоге, которые в главных чертах сходятся как с сохранившимся отрывком, так и с рукописным проектом сочинения «История песнопений». Вскоре после того работа, по-видимому, стала двигаться вперед, а «погибшему детищу» стала угрожать опасность, что даже его первоначальное имя будет заменено новым. Статья об оде расширилась до размеров «Очерка истории поэзии», который, однако, не заходил далее происхождения поэзии

¹ LB. I, 2, 177, сравн. 167.

и той основной мысли, что песнопение — «первородное дитя чувствительности». Довольно обширный отрывок, помещенный в «Жизнеописании» (1, 3, а, 98 и сл.), был написан, вероятно, в 1766 или 1767 г. Что он не был написан ранее, видно из того, что в нем и метода изложения лучше, и язык менее искусствен, а это было плодом тех замечаний касательно способа изложения, которые были сделаны Гаманом автору при возвращении статьи об оде. Что он не был написан позже, видно из того, что многое было из него перенесено в заново переделанное в конце 1767 г. издание первого сборника «Отрывочных заметок о новейшей немецкой литературе».

В это последнее сочинение, служившее комментарием для берлинских «Писем о литературе», вошло лучшее содержание всех других, только что упомянутых, статей, которыми были в то время заняты голова и перо нашего автора. И для этого труда был составлен план и намечены главные линии с ведома Гамана еще в Кёнигсберге. По свидетельству его кёнигсбергского товарища Бока, Гердер, еще бывши студентом, задумал писать «отрывочные прибавления» к «Письмам о литературе», из которых он усердно делал выписки; уже в то время Бок читал некоторые из гердеровских заметок, которые он впоследствии нашел в «Отрывочных заметках» лишь в более обработанной форме. Это предположение подтверждают и записные тетрадки с их многочисленными выписками и некоторые рукописные листы, о которых упоминает новейший издатель сочинений Гердера¹. Эта работа заставила Гердера отложить в сторону все остальные проекты. И для наших исследований она должна служить таким основным сочинением, при котором все отдельные статьи являются только побочными отпрысками. Это было первое многозначительное литературное произведение Гердера; к нему можно слово в слово применить то, что сам Гердер говорил в ненапечатанном похвальном отзыве о сочинении Винкельмана «Мысли о подражании греческим произведениям искусства»: «Может казаться странным, но вполне естественно, что первое произведение всегда остается в некотором отношении самым лучшим. В него вкладывает человек всю свою душу, когда в ней все благоухает, цветет и приносит плоды. Он заходит далее того, что находится в его власти, он угадывает более того, что знает, но он заносится в своих мечтах и приносит самого себя в жертву».

¹ Сравн. LB. I, 1, 134 и SWS. I, введение XXV и XXVI.

II. Письма о литературе

Мысль, вызвавшая появление «Писем о новейшей литературе», зародилась в голове Лессинга. Наша литература, обнаружившая особое оживление около начала XVIII столетия, уже пережила годы детства и школьного развития. Настроенная на серьезный тон дидактическая поэзия нашла себе даровитого представителя в Галлере, а легкая песня и болтливая басня — в Гагедорне. Но в то же время Готшед стал перестраивать здание немецкой литературы по систематически составленному плану. Под наставническим руководством этого лейпцигского профессора в то время стали заниматься всеми видами поэтического творчества со включением драмы, сообразуясь с преподанными правилами и указанными образцами и подчиняясь преимущественно французскому влиянию. Вслед за тем и теория, и творческая производительность приобрели более свободы и внутреннего достоинства благодаря более глубоким исследованиям цюрихских литераторов и влиянию английских образцовых произведений. Тогда несколько даровитых людей, утомленных борьбой между двумя школами, вступили по собственному почину и на собственный страх на новый путь, придерживаясь середины между стеснительными требованиями одной школы и лишенной изящества распушенностью другой. Более молодая школа, на стороне которой стояли «Бременские приложения» и поэты, жившие в Галле и в Пруссии, стала из соревнования пробовать свои силы во всех видах поэзии и изящной прозы. Тогда сферой упражнения для талантов сделалась поэзия в том широком объеме, какой ей тогда придавали при очень поверхностном знакомстве с древними писателями, при уважении к учебнику Баттё и при влиянии все более и более выдвигавшихся на первый план, образцовых произведений новейшей английской литературы; но между этими талантами было немного таких, которые отличались своеобразностью или богатством фантазии и чувств. Только Клопшток был между многочисленными стихотворцами настоящим поэтом — был гением между талантами. Даже молодой Виланд обнаруживал еще неуспевшие окрепнуть дарования, а звезда Винкельмана и Лессинга еще только начинала загораться.

Однако именно Лессингу — который был неумолимо строг к самому себе, был одарен ясным и проницательным умом, стремился к тому, что возвышенно, и был проникнут пылким честолюбием благородных душ — именно ему было суждено поло-

жить конец такому состоянию нашей литературы и скромности требований со стороны публики. Он яснее всякого другого понимал, что все прежние начинания и попытки были неудовлетворительны и что вследствие неспособности читателей верно оценивать литературные произведения даже плохие сочинения шли в ход наряду с немногими хорошими или удачными. Легкомыслие писателей, переводчиков и рифмоплетов раздражало его; а пошлость, бессмысленность, безвкусие и словоохотливость наших писателей, издававших книги для назидания или для развлечения публики, были ему отвратительны. Он мечтал о совершенно иной литературе — о такой, которая была бы национально-немецкого покроя, которая была бы самостоятельна и стремилась бы к ясно осознанной цели, которая не старалась бы угождать и льстить публике, а подобно древней литературе образовывала бы публику и воспитывала ее. Ему были вовсе не по вкусу кроткая снисходительность и мягкость, с которыми относилась к плохим литературным произведениям «Библиотека изящной литературы и свободных искусств», основанная в 1757 г. его другом Николаи при содействии Мендельсона. В мае 1758 г. он возвратился из Лейпцига в Берлин. Среди своих друзей, в разговорах с Мендельсоном и с Николаи, он стал высказывать самые резкие порицания, стал развивать в живом обмене мыслей свои требования и воззрения и убедил своих друзей в том же, в чем сам был убежден. А если бы публика могла услышать то, что тогда говорилось! Если бы все мнения высказывались публично с такой же ничем не стесняемой свободой! Для этого нужно было основать новый журнал, который не имел бы ничего общего с «Библиотекой» и был бы посвящен исключительно современной немецкой литературе. Самая свободная внешняя форма, подходящая к разговорной, была бы самой целесообразной. Поэтому самой удобной формой оказались письма, а именно письма к раненому на войне офицеру (Лессинг имел в виду Клейста), который желал следить за движением немецкой литературы; это были бы критические разборы выбранных по собственному произволу новейших литературных произведений — такие разборы, которые можно было продолжать пока была к тому охота или пока письменные сообщения не сделались излишними вследствие заключения мира: такова была мысль, вызвавшая появление «Писем о литературе».

Без участия Лессинга эти письма никогда не достигли бы своей цели. Лессингу они были обязаны тем смелым, живым, задорным тоном, который был так привлекателен и в котором не

без основания находили отголосок воинственного духа героических полчищ Фридриха; Лессинг наложил на них отпечаток своего самоуверенного, отважного и острого ума. Но если бы это предприятие было задумано в расчете на одного Лессинга, то «Письма о литературе» прекратились бы скоро и не сделались бы тем, чем они были на самом деле — «картиной немецкой литературы» во время Семилетней войны. Их первый номер вышел 4 января 1759 г., а последний 4 июля 1765 г., но уже в конце 1760 г. Лессинг отправился в Бреславль в качестве секретаря при генерале Тауэнцине, а его обещание присылать оттуда статьи для журнала осталось неисполненным. На его долю приходится не более шестой части всех писем. Но он подал пример остальным сотрудникам и пустил в ход все предприятие длинным рядом своих статей. Однако уже в первых частях издания примешиваются к его письмам письма Мендельсона; с четвертой до восьмой части они составляют главное содержание журнала, а в общем итоге наполняют почти третью часть всего издания. Осторожная осмотрительность и аккуратность анализа, которыми отличался философ, привыкший писать статьи преимущественно математического и умозрительного содержания, утомляли и надоедали, несмотря на то что были прикрашены иносказательными способами выражения, а рядом с остроумными и задорными статьями Лессинга они казались совершенно безжизненными. Николай, обыкновенно бравший на себя обязанность пополнять пробелы, еще менее Мендельсона был способен удовлетворить читателя своими статьями, которые при своем ученом и ясно изложенном содержании были приправлены плохим, самодовольным остроумием и не освещались ни одной искрой гениальности. Поэтому Николай и Мендельсону было хорошо известно, что без Лессинга они ничего не могут сделать. В особенности Мендельсон сознавал, что его монотонность невыносима, и старался поощрять себя к сочинению критических статей тем, что воображал, будто пишет не для публики или не для мнимого раненого офицера, а для Лессинга. При таком положении дел «Письма о литературе» прекратились бы еще в начале третьего года своего существования, если бы случайность или, верней, счастливая находка, сделанная Мендельсоном, не доставила им нового сотрудника в лице 23-летнего автора книги «О смерти за отечество».

Томас Аббт был в то время экстраординарным профессором философии во Франкфурте-на-Одере. Приглашением на эту должность он был обязан влиянию обоих Баумгартенов, из кото-

рых младший, занимавшийся эстетикой, преподавал во Франкфурте, а старший, занимавшийся богословием и живший в Галле, был доброжелателем Аббта. Именно в Галле учился даровитый и рано созревший юноша и там он начал свою карьеру в звании доцента. От теологии он перешел к философии, но вместе с тем изучал историю и под чарующим влиянием английской литературы стал сильно интересоваться изящными науками. Он родился в Ульме, во владениях Фридриха Великого и был страстным поклонником своего короля. Приехав во Франкфурт в самую несчастную эпоху Семилетней войны, он видел кунерсдорфское поле битвы, видел место погребения Клейста и был свидетелем воинственного пыла, вызванного затруднительным положением Пруссии. Ему также хотелось принести свою лепту для спасения отечества, которое он сам выбрал. Тогда он написал замечательную книгу «О смерти за отечество». Хотя Аббт и выступает здесь в тяжелом вооружении вольфовского последователя, доказывая с помощью педантических силлогизмов, что умирать геройской смертью за свое отечество есть обязанность каждого, однако из-за этих силлогизмов слышно, как сильно бьется юношеское сердце патриота и вместе с тем проглядывает искусство ритора, который старается сделать свои доводы убедительными и общепонятными тем, что приводит многочисленные примеры из древней и новой истории. Книга, написанная наполовину слогом учебника наполовину слогом декламации, достигла своей цели. Когда Шеффнер и его друг Нейман украдкой отправились из Кёнигсберга в прусскую армию с целью поступить в нее волонтерами, то у каждого из них лежал в кармане экземпляр книги Аббта¹. Когда Мендельсон прочел это сочинение в рукописи, он понял, что имеет перед собой такого писателя, который своим смелым красноречием принесет еще более пользы в литературной борьбе, чем на поприще политической публицистики.

С тех пор как Томас Аббт стал помещать свои статьи в 9-м томе «Писем о литературе», это издание получило новый

¹ *Scheffner. Mein Leben. С. 80.* Относительно Аббта см.: *Nicolai. Ehrengedächtniß Herrn Thomas Abbt. Berlin und Stettin, 1767.* В общей немецкой биографии Геттнера — статья «Abbt». Хотя статья Пруца в его историко-литературной карманной книжке 1846 г. включает в себе много неточностей и ошибочных мнений (самое грубое из них на с. 428, прим.), но ей бесспорно принадлежит та заслуга, что в ней высказан остроумный и в сущности верный взгляд. Статья Гейслера (*Ueber die schriftstellerische Thätigkeit Thomas Abbt's. Бреславль, 1852*) включает в себе ценные пособия для характеристики языка и стиля Аббта.

интерес. Когда он стал участвовать в издании более деятельно, чем Мендельсон (пятая часть журнала была наполнена его статьями), тогда для «Писем о литературе» снова настала эпоха юности — к ним в значительной мере воротились и прежняя свежесть, и прежняя заносчивость. Мало того, Аббт сделал для «Писем о литературе» то, чего не был в состоянии сделать сам Лессинг. Он не обладал ни полемической, ни стилистической виртуозностью Лессинга, не мог равняться с ним гениальностью и в особенности зрелостью умственного развития, тактом и личным влиянием. Но в его уме была одна черта, которой почти вовсе не было у Лессинга, несмотря на его полный жизни реализм. С необыкновенной живостью ума и редким трудолюбием Аббт соединял такое ясное понимание реальных условий жизни, какого нельзя было найти у тогдашних ученых и которое направляло его внимание именно на те стороны нашей литературы, которые до того времени оставались в самом большом пренебрежении. Даже Лессинг умел оценивать исторические сочинения только с точки зрения филолога. Напротив того, Аббт обратил свое внимание прежде всего на историографию, на красноречие, на сочинения нравоучительно-политические и национально-экономические и в особенности на связь литературы с практической жизнью; он подвергнул своей критике всю сферу не только научной, но и не стеснявшейся никакими законами прозы, и все это сделалось для него предметом метких наблюдений, верных замечаний, «очерков, воззрений и размышлений». Он постоянно жаловался на то, что в нашем отечестве пренебрегают прозой из желания писать стихотворным размером и что при изобилии стихотворных произведений «так беден наш запас исторических сочинений». Нашими прозаиками он также был недоволен, потому что, увлекаясь примером французов, они очень неискусно старались попадать в тот же тон, какого придерживались французские писатели в угождение своей публике, двору, столице и дамскому обществу; и наши нравоучительные сочинения он порицал за то, что они имели в виду только «людей в их домашнем быту», как будто мы не живем в государстве, как будто между нами нет граждан; он смеялся над тем, как эти сочинения «занимались мелочными приличиями, о которых толковали в истасканной сатирической форме, стараясь сделать эту форму как можно более привлекательной». Но для всех этих жалоб и вытекающих отсюда требований служит основой философское образование автора и его горячая любовь к классическим писателям, между которыми он

всех выше ценит Тацита; главное различие между древними и новыми писателями заключается, по его мнению, в том, что «первые всегда старались к чему-нибудь направить нашу волю, а вторые всегда обращаются к нашему здравому смыслу и по большей мере к нашему уму». С этим практическим взглядом согласуется и его неуважение к тем, «для кого весь мир сосредоточивается в их университете», и его нерасположение к учености, похожей на ремесло. Он с трудом подчиняется формализму современной философии как в своих двух главных сочинениях, так и в своих «Письмах о литературе», в которых свободный слог писем беспрестанно заменяет натянутый способ выражения, соответствующий требованиям школы. Но это еще не дает права считать его педантическим систематиком; в нем была сильна склонность к скептицизму, и его друг Мендельсон всеми силами старался найти в метафизике средства для борьбы с идеями Бейля, на которые ссылался Аббт. Мало того, Аббт усердно отыскивал теоретическую форму и для перехода от философии к практически-нравоучительным наукам. В этом смысле он говорит о науках этого последнего разряда как о «политической философии; он требует, чтобы философию вводили и в государство, и в историю; он делается поклонником Вольтера, изучавшего «логику для понимания истории», и неоднократно пытается определить задачу поистине прагматической историографии. Из всего сказанного видно, что статьи Аббта обнимали широкую сферу умственных интересов; в их содержании виден здоровый самостоятельный ум, который при всем своем рационализме, например, мог пожелать быть автором Мёзерова «письма к савойскому викарию»; а их непринужденная, нередко шероховатая внешняя форма носит на себе отпечаток самобытности. Журнал вышел из своей колеи только тогда, когда Аббт занялся своим сочинением «О заслугах», которое помешало ему принимать по-прежнему деятельное участие в «Письмах о литературе», и когда его заменили с 17-го тома Резевиц, а с 20-го неспособный Гриллон. Уже давно был заключен мир в Губертсбурге, и «Письма о литературе» должны были сойти со сцены. Еще до выхода их последних частей было предположено продолжать их издание под названием «Allgemeine Deutsche Bibliothek»; основателем этого нового журнала был Николаи, намеревавшийся помещать в нем обзор «всей» немецкой литературы начиная с 1764 г.; но направление «Писем о литературе» было усвоено первым литературным произведением одного из их читателей — Гердера.

III. Отношения Гердера к «Письмам о литературе»

Название «приложений» к «Письмам о литературе» было выставлено на самом заглавном листе трех сборников «Отрывочных заметок о новейшей немецкой литературе», изданных в Риге Гарткнохом осенью 1766 г. и на Пасхе 1767 г. без имени автора¹.

Сам автор ясно указывал на связь между своим сочинением и критическими статьями берлинцев. В предисловии к первому сборнику, вышедшему вместе со вторым, он говорит, что пишет не продолжение уже законченных «Писем о литературе», а приложения к ним и прибавления. Его скептицизм, зарождавшиеся в его уме вопросы и желание разъяснений побудили его обратиться к писателям с некоторыми запросами. Он вовсе не намеревается делать извлечения из 23 томов «Писем о литературе», вовсе не намеревается составлять из них «abregé по принятой моде», а хочет «принять их за руководство при изучении литературы своего отечества и изобразить картину этой литературы за последние шесть лет». Еще яснее он высказывается в рукописном, но неизданном предисловии к третьему сборнику²: «У самого меня было на сердце много такого, что просилось на язык»; а так как он был не более как «безмолвным праздным наблюдателем литературы», не был сотрудником ни одного из пользовавшихся известностью журналистов, не был членом ни одного ученого общества, то он стал писать дополнения к тексту «Писем о литературе». В напечатанном предисловии он снова говорит: «Я собираю высказанные в „Письмах“ замечания и то расширяю их кругозор, то отвергаю их или отстраняю; я то разрываю их на куски, то вместе сшиваю, быть может, для того, чтобы из этого вышло нечто очень непрочное». Действительно, таковы и были его приемы. Благодаря анонимности писателей, участвовавших в «Письмах», и благодаря тому, что все помещавшиеся там статьи были в одном направлении, он мог относиться к этому журналу как к цельному произведению, почти как к сочинению одного автора, а благодаря такому воззрению и близкому знакомству с содержанием «Писем», он мог «сшивать» высказанные там воззрения если не в систематическом порядке, то выбирая из них все, что подходило под ту или другую объективную точку зрения. Нико-

¹ Только на третьем сборнике, вышедшем на Пасхе 1767 г., обозначено на заглавном листе место издания.

² Теперь это предисловие напечатано в числе приложений к третьему сборнику во 2-м томе SWS (с. 205—206).

лаи писал ему 19 ноября 1766 г., после того как прочел два первых сборника: «Нас удивляет ваше близкое знакомство с содержанием писем... но когда вы сопоставляете выдержки из различных писем, то в этой работе оказывается недостаток внутренней связи, потому что различные авторы „Писем“ руководствовались различными целями». Действительно, для такого сопоставления различных выдержек нередко могут служить оправданием только цель и точка зрения комментатора; к тому же он позволяет себе делать в этих выдержках пропуски и сокращения и приравнивает их одну к другой посредством собственных вставок и небольших изменений. Иногда он делает длинные выписки из какого-нибудь автора, для того чтобы прицепить к их тексту свои замечания или в связном изложении, или в отрывочных заметках; иногда он перефразирует текст, иногда объясняет его, или дополняет, или критикует. Тон «Отрывочных заметок» проходит все промежуточные ступени между безусловным одобрением (в этих случаях он ограничивается или простыми выписками, или ссылками на то место, где помещена одобряемая статья в «Письмах о литературе») и подробной, горячей, даже заносчивой полемикой. Однако в них постоянно преобладает тон почтительного одобрения. «Письма» вообще имеют для юного автора «Заметок» то значение, что при общем уважении, которым пользуются, они служат для него патроном, который знакомит его с публикой и внушает ему смелость вступить на поприще публичной литературной деятельности. Только в редких случаях он выходит из рамки «Писем» и высказывает свои соображения не по поводу их содержания, а по поводу какого-нибудь постороннего сочинения, или отличающегося особыми достоинствами, или им самим выбранного. Он вовсе не желает продолжать «Письма о литературе» и неоднократно повторяет, что не хочет в своих критических отзывах выходить из рамок той эпохи, которую имели в виду «Письма»; однако он нередко сам берется за дело рецензента и разбирает какое-нибудь новое литературное произведение так, как его могли бы разбирать «Письма»; даже случается, что он мимоходом как будто пишет или для этого журнала, или о нем, или против него так, что читатель готов воскликнуть: «Как жаль, что он не мог быть сотрудником того журнала!»

Кроме того, не было никакой возможности постоянно относиться к «Письмам» как к такому журналу, в котором есть единство направления. Даже при беглом чтении «Писем» нельзя было не заметить, что их начало, середина и конец различались по тону и что такое же различие существовало между статьями сотрудников,

подписывавшихся условными знаками. Гердер сделал следующую совершенно верную характеристику различных стадий существования журнала: «*FLL* горячо толкало вперед; философское *D* хваталось за колесо, чтобы уменьшить быстроту его хода; богатое проектами *B* снова пустило колесо в ход после непродолжительной приостановки, но от трех последних частей уже намерено устраниваться»¹. Таким образом, Гердер был в состоянии различать по меньшей мере главных сотрудников по отличительным чертам их направления. Но в то время, как он писал «Отрывочные заметки», ему еще не был с полной достоверностью известен таинственный смысл условных знаков — пока не объяснил ему эту загадку Николай в письме от 21 декабря 1768 г. Гердер не сомневался в том, что буква *B* означала Аббта, буква *D* — Мендельсона. Но он только догадывался, что под буквами *FLL* и *G* скрывался Лессинг, а под буквами *Re* — Николай. Он впадал в заблуждение, стараясь отыскать между сотрудниками Рамлера и Пацке, а не будучи знаком с условными знаками Резевица и Гриллона, считал возможным сотрудничество Клотца в последних частях «Писем»².

Он стал неодинаково относиться к главным авторам писем — и к тем, чьи имена были ему известны, и к тем, чьи имена оставались ему неизвестными. В настоящее время мы слишком безусловно приписываем достоинства и влияние «Писем» участию в них Лессинга. На современников и в том числе на Гердера эти «Письма» производили иное впечатление. В своих «Отрывочных заметках» Гердер не имеет в виду статей Лессинга преимущественно перед всеми другими, а если касается их, то главным образом с полемической целью. Первое обстоятельство можно объяснить с некоторой натяжкой тем, что непосредственное впечатление «Писем о литературе» он переживал во время своих университетских занятий, когда первые двенадцать частей уже вышли в свет, а Лессинг уже давно отказался от сотрудничества. Второе обстоятельство ни в каком случае не может быть объяснено таким же путем. Эти два писателя сталкивались в то время в своем образе мыслей. Именно критические приемы Лессинга, по-видимому, всего более вызывали Гердера на возражения — самый выдающийся критик из нового поколения точно будто чувствовал внутреннюю потребность придирается к самому вы-

¹ Отрывочные заметки. II. 193.

² К Николай (LB. I, 2, 374); сравн. осмотнительное «быть может» в «Отрывочных заметках» (I, 151 и 157); Гердер ошибочно предполагает участие Рамлера (I, 115); сравн. письмо к Шеффнеру (LB. I, 2, 189) и вообще SWS. I, введение XXVII.

дающемуся критику из старого поколения. Их взаимные отношения установились бы несколько иначе, если бы «Отрывочные заметки» заговорили в своем предположенном продолжении о драме: но при тогдашнем положении обеих сторон автор «Отрывочных заметок» лишь редко сходиллся с мнениями своего великого предшественника и почти никогда не одобрял его критических приемов. Он неоднократно восстает против воинственного тона Лессинга, а потом, как будто заразившись этой слабостью, сам нападает на Лессинга в совершенно неуместных, многоречивых и жестких выражениях. Перечисляя в конце второго сборника «Отрывочных заметок» тех людей, в которых он желал бы найти критиков своего произведения, он не называет Лессинга. Против Лессинга направлена в особенности последняя глава третьего сборника, в которой идет речь о разномыслии между «Письмами о литературе», с одной стороны, Виландом, Крамером и Клопштоком — с другой¹. Гердер почти прямо называет это разделение на партии нравственным пятном и порицает рвение того критика, который становится на нравственную и религиозную точку зрения вместо эстетической; он «желает не быть таким же рецензентом», говорит о полемике между двумя партиями как о перебранке, которую следовало бы прекратить, и — явно обнаруживая, в чем именно он не сходится с Лессингом, — берет сторону Клопштока как глубоко чувствующего человека, христианина и поэта, против отзывавшихся теологией порицаний Лессинга.

Совершенно иначе относился Гердер к статьям Мендельсона. Этот знаменитый мыслитель, стоявший очень высоко и в мнении Канта, был в глазах Гердера самым высоким авторитетом, самым уважаемым писателем во всем, что касалось философии и эстетики. Еще в «Критических лесах» (I, 67) Гердер называет его «первым между сотрудниками „Писем“ по основательности его философских идей». В неизданном четвертом «Критическом леске» (LB. I, 3, b, 443) он говорит, что только рецензии этого «самого беспристрастного и самого последовательного из философов», помещавшиеся в «Письмах о литературе», могли навести ученика на путь истинной философии; именно в своих отрывочных суждениях Мендельсон оказывался таким писателем, о котором можно было сказать словами Фукидида, что «в филологию он вносил определенность, а в философии был стоек». Компли-

¹ Даже в основательном сочинении Данцеля о Лессинге вовсе не упоминается об этом первом столкновении Гердера с Лессингом. Отсюда видно, что Данцель был знаком с «Отрывочными заметками» только по извращенному тексту более старого издания.

менты этого рода неоднократно встречаются в «Отрывочных заметках»; самый лестный из них находится в третьем сборнике (с. 116) — здесь Гердер указывает на ряд статей Мендельсона о языке, повторяя слова Антимаха о Платоне: этот заменяет для меня многих! Он часто приводит «тонкие» замечания «остроумного D», то ограничиваясь их повторением слово в слово, то комментируя их, то развивая их далее, то скромно высказывая вызываемые ими возражения. Иными словами, он почти всегда относится к Мендельсону как ученик, который робко осмеливается иногда не вполне соглашаться со своим наставником и который считает свое единомыслие с этим наставником за доказательство того, что идет настоящей дорогой. Ему очень хотелось, чтобы этот человек высказал о нем свое мнение, и ему, конечно, было очень прискорбно, что обещанная рецензия осталась не напечатанной!

Но только к одному из трех главных сотрудников он чувствовал личное расположение. Между тем как с Лессингом он спорил, перед Мендельсоном преклонялся, в своих отношениях к Николаи и к Резевицу едва ли становился на какую-либо ясно определенную точку зрения, а относительно Гриллона даже позволял себе насмешки и шутливые подражания, он относился к заместителю Лессинга как к равному с ним товарищу, с которым обменивался из соревнования мыслями и планами. В сочинении, которое он впоследствии посвятил воспоминаниям об этом человеке, он говорит, что в «Отрывочных заметках» он имел в виду преимущественно Аббта, а причину этого предпочтения объясняет наводящим на новые мысли богатством содержания, которое находил в письмах Аббта¹. В 1766 г. он еще не был того мнения, которое высказывал в 1781 г.², что Аббт пошел по следам Лессинга с большей, чем Лессинг, смелостью, но не с большим успехом. Эта смелость сначала казалась ему очень удачной. Когда ему случается цитировать в «Отрывочных заметках» примеры лучших критических приемов (II, 194), он выбирает исключительно критические отзывы Аббта. Он вносит в «Отрывочные заметки» выписки из статей Аббта так же часто, как и суждения Мендельсона. Но первые гораздо чаще последних вызывают изложение его собственных мнений. Так как в его собственной голове гнездится множество разных проектов, то и «богатый проектами» писатель, подписывавшийся буквой B, был совершенно по его вкусу. Он находит, что «точно будто из его собственной головы Аббт выкрадывал» свои замечания (I, 24); некоторые выражения

¹ Топс. С. 35.

² Zerstreute Blätter. II, 394.

Аббта часто повторяются у него слово в слово, а два или три из писем Аббта служат для него текстом, к которому он находит всего более удобным прицеплять свои собственные размышления.

IV. Постепенное возникновение «Отрывочных заметок»

Из предисловия к первому сборнику «Отрывочных заметок» видно, что автор первоначально предполагал издать четыре таких сборника, рассчитывая посвятить по одному тому каждой из тех «четырех сфер литературы», которые перечислены во введении, — языковедению, изящным наукам, истории и философии. Но во время работы автор уклонился от этой программы. К отделу языковедения примыкают в виде эпизодов рассуждения о немецких подражаниях образцовым произведениям иностранной литературы, а намерение говорить о трех остальных сферах литературы постоянно откладывается до другого времени — и наконец остается без исполнения. Мы в состоянии проследить почти шаг за шагом, каким образом Гердер постоянно старается заново принаравливать рамки своей работы к ее постоянно расширяющемуся объему. Это видно прежде всего из заключительных слов второго сборника. После того как в этом сборнике автор окончил сравнение немецких подражаний с произведениями восточных и греческих писателей, он находил нужным прежде всего «расплатиться со всеми долгами нашей литературы» и только после того выкладывать наш собственный капитал. Поэтому в третьей части следует «кое-что сказать о наших римлянах, англичанах и французах», в четвертой части должна идти речь об эстетике, об истории и о философии, «только с тем чтобы этот обширный материал не выходил из рамок одной части». Этих рамок, конечно, не могло достать! Когда Гердер дошел в своей работе почти до конца третьей части, то он сообразил, что для упомянутых выше трех отраслей литературы понадобятся еще три тома вместо одного. Он высказал это в декабре 1766 г. Гаману, откровенно признаваясь, что исполнение его плана может осуществиться нескоро. Нить его идей становится все более и более длинной, и по окончании третьего сборника он вынужден изменить программу и расширить намеченные рамки. Из того, что предполагалось поместить в третьем сборнике, Гердер написал только статью об отношениях немецкой литературы к римской; в четвертом сборнике предполагалось вести речь об отношениях немецкой лите-

ратуры к литературе французов, англичан и, быть может, также итальянцев (судя по одному проекту, сохранившемуся в рукописи), и только вслед за тем дошла бы очередь до «эстетики, истории и философии». Таково было положение дела, судя по приписке к третьему сборнику и по письмам к Шеффнеру в феврале и в сентябре 1767 г. Четвертая часть должна была во всяком случае выйти в свет; но намерение «проследить все, что говорилось в „Письмах“ об эстетике, истории и философии», то намерение, которое сначала было в глазах автора главным, оставляется без исполнения — оно «откладывается в сторону или навсегда, или на время, как будет угодно публике». Затем следуют неоднократные уверения, что уже вышедшие в свет «Отрывочные заметки» только «предвестницы» сочинений совершенно иного содержания, — однако эти предвестницы сами не были доведены до конца! Ведь много раз обещанная четвертая часть осталась неизданной. Уже в письме к Клотцу от 31 октября 1767 г.¹ Гердер выражал свое сомнение касательно выхода этой четвертой части, потому что «материал слишком обширен и завел бы его далеко за пределы „Отрывочных заметок“». Он уже помышлял о полной переделке первого издания, а для того, что он намеревался высказать о новейших писателях, он предполагал построить «новый флигель», который, быть может, выйдет лучше, если будет отделен от главного здания. Были еще и другие причины — о которых речь впереди, — побудившие его не выпускать в свет четвертую часть. Из ее содержания лишь очень немногое уже было изложено письменно. Это немногое состояло из статей под заголовками «о немецком театре», «о направлении британских писателей в трагедиях», и из нескольких замечаний о французской оде; все это можно найти в «Жизнеописании» (I, 3, а, 18—60). Но более подробные указания на то, что должно было войти в состав четвертого сборника, можно найти в письмах к Гаману (LB. I, 2, 217) и к Глейму (с. 370). Из этих писем видно, что в том сборнике должна была идти речь о нашем подражании французам и англичанам, о наших комедиях и об их галломании, о направлении британских писателей в трагедиях, о нашем подражании дидактическим стихотворениям Юнга и Попа, наконец об отношении наших лирических стихотворцев к французским песням и к британским балладам.

Гердер с самого начала намеревался писать только отрывки, а на самом деле он написал только «отрывок отрывка». Его пер-

¹ Этого письма нет в «Жизнеописании»; его следует искать в письмах немецких ученых к Клотцу (II, 93 и сл.).

вое произведение было как в этом отношении, так и почти во всех других предзнаменованием того, какова будет вся его будущая литературная деятельность. Как он начал отрывками, так ими и кончил: все, что им было написано, было во многих отношениях более или менее похоже на отрывки. И не только в том заключается отрывочный характер его произведений, что они оставались большей частью неконченными, что они писались большей частью по какому-нибудь случайному мотиву или были «Приложениями», примыкавшими к чужим произведениям. И Лессинг не был систематиком, и о нем как о прозаике говорили, что он писал только отрывки; но его отрывки представляли нечто вполне законченное; они носят отпечаток такой цельности содержания, которая свидетельствует о цельности характера самого автора. Нельзя того же сказать об отрывках Гердера. В них идеи слегка набрасываются, а не развиваются, освещаются, а не исчерпываются — в них нет вытекающего из их содержания вывода, нет последовательности. В них видно то же, что сам Гердер находил особенно привлекательным у Лессинга, — что ум автора «постоянно работает, идет вперед и развивается»; но их привлекательность соединяется с какой-то горечью, потому что работающий ум никогда не находит для себя удовлетворения, никогда не отдыхает и никогда ничего не кончает; они похожи не столько на «описанный Гомером щит Ахилла», сколько на работу Пенелопы, которая ткала только для того, чтобы распускать сотканное и снова приниматься за то же тканье. Перед нами точно будто катящееся колесо, которое упадет набок, если его не будут постоянно подталкивать. Гердер, не переводя духа, переходит от одной работы к другой, а так как он постоянно или что-нибудь прибавляет к своим статьям, или что-нибудь в них урезывает, то каждая из этих статей кажется написанной после всех других и требующей переделки с самого начала. И действительно он их переделывал заново: такова была авторская метода этого человека даже в «Отрывочных заметках» о немецкой литературе, т. е. в том произведении, где впервые была намечена тема, которую он впоследствии частью только снова затрагивал, частью шире развивал со столь многочисленными и богатыми вариациями. Гердер был неутомим в переделках заново. Есть такие писатели, у которых их собственные произведения как бы совершенно отрываются от их ума, лишь только окончательно выпущены ими из рук; они смотрят на эти произведения как на чужие, о которых они почти совершенно позабыли и за которые им неприятно браться снова. Гердер не был из числа таких писа-

телей. Он вкладывал всю свою душу в то, что писал, и потому никогда не мог написать такое сочинение, которое могло бы жить и говорить само за себя помимо того, кто его написал. Он быстро набрасывал свои идеи на бумагу; потом, когда возвращался к написанному, он не довольствовался его исправлением и окончательной отделкой, а снова все вкладывал в свою душу и чувствовал необходимость все переделать заново. Для более тщательной отделки его статей у него не доставало терпения, а для их переделки заново у него никогда не было недостатка в энергии и в свежих идеях. Эта переделка иногда состояла в улучшении содержания, иногда в его сокращении или расширении; а иногда из нее выходило совершенно новое сочинение. Гердеру нередко случалось по три и по четыре раза переделывать одну и ту же статью, так что она утрачивала всякое сходство с тем, чем была первоначально. Ему, по-видимому, было совершенно чуждо свойственное в подобных случаях иным писателям опасение, что им никак не удастся вторично выразить их мысль в не менее удовлетворительной форме. Несмотря на то что он заранее намечал план статьи с аккуратным ее разделением на части, он делал выбор содержания в то время, как приступал к исполнению своего плана и даже в то время, как писал статью. Поток его идей прорывался сквозь преграды, поставленные первоначально, составленным планом. Мало того, так как в каждую работу он всегда вкладывал всю свою субъективность, то одни и те же группы идей врывались у него в совершенно различные сочинения. Одна и та же идея, никогда не высказывавшаяся вполне, встречается у него в нескольких местах; для нее не отводится никакого определенного места, которое соответствовало бы ее содержанию; она переходит в более или менее измененном виде из одной статьи в другую, из одного сочинения в другое и накладывает на них отпечаток принадлежности к одной семье. До самого конца своей литературной деятельности Гердер признавал, что он еще не все высказал. Перед смертью он скорбел о том, что лишен возможности развить еще некоторые идеи. У него, без сомнения, не было бы недостатка в новом способе освещения и в новых красках, но сами идеи, конечно, были бы только повторением того, что он уже прежде много раз высказывал. Вот почему его сочинения не имеют ясно определенных очертаний, вот почему он переходит от одной темы к другой и находит возможным переносить большие выдержки из какой-нибудь недоконченной статьи в другую, более новую, статью, как будто это мотивы музыкальной композиции. Гердеру нельзя отказать в богатом раз-

нообразии идей, но вся масса этих идей находится в постоянном движении, и ни одну из них он не развил до окончательных выводов, по меньшей мере ни одной из них не оставался верен до конца без всяких уклонений. Наконец, подобно его идеям, и его слова, обороты речи, особые выражения льются потоком; но его желание высказаться так сильно и ему хочется высказать так много, что сознательно или бессознательно он заимствует выражения у самого себя и привыкает к частому употреблению некоторых оборотов речи, по которым его можно почти безошибочно узнать, когда он не подписывает под статьями своего имени.

Эта суетливая торопливость в записывании идей, эта умственная подвижность, постоянно возвращающаяся на старый след в прежней внешней форме, заметны уже в мелких статьях Гердера. Но все это еще яснее видно из того, как возникли «Отрывочные заметки» и каков был их конец. Не только рамка изложения, но и само изложение постоянно изменялось и не перестало бы изменяться, если бы случайность не дала ему неизменной формы.

Сборники первый и второй по меньшей мере три раза подвергались переделке, прежде чем были напечатаны. Гердер уже прожил в Риге полгода, когда Гаман в письме от 18 мая 1765 г. убеждал его «не позабывать „Отрывочных заметок“». Это напоминание не осталось безуспешным. Даже можно сказать, что намерение Гердера писать «Отрывочные заметки» не было отложено в сторону благодаря одобрению, содействию и советам Гамана. Когда Гаман приезжал в начале 1766 г. из Митавы в Ригу для свидания с Гердером, этот последний читал ему и вместе с ним обсуждал те статьи, которые были готовы с осени 1765 г. и впоследствии вошли в первый сборник. Ближайшим последствием свидания было то, что те статьи подверглись переделке и что Гердер стал серьезно готовиться к изданию второго сборника. В феврале 1766 г. Гердер «весь погрузился в свою авторскую деятельность», насколько это позволяли ему его обязанности по школе, но он просил Гамана по-прежнему извлекать филологические указания из библиотеки Тоттиена, находившейся в Митаве в его распоряжении, и сообщать извлечения и замечания, мнения, нечаянные мысли, дополнения и советы для той книги, которую Гердер готовился «произвести на свет»¹. Было условлено, что когда рукопись будет готова, то Гаман напишет на ней слово «печатать»; поэтому автор послал в марте к «ангелу-покровителю»

¹ LB. I, 2, 121. — Относительно того, что следует далее, сравн. с. 118, 119, 127, 128.

своей авторской деятельности рукопись переделанной первой части и второй части; он просил Гамана прочесть эту рукопись «в качестве первого критика его произведений», делать в ней изменения по своему усмотрению и без всяких стеснений сообщить свое мнение. Гаман нашел нужным сделать лишь немного замечаний. Но под влиянием этих немногих замечаний или под влиянием устных объяснений во время пребывания Гердера в Митаве в апреле или в мае рукопись была еще раз переделана и дополнена автором, несмотря на то что она должна была перейти из рук Гамана в типографию и что в ярмарочном каталоге книг было возведено о выходе в свет «Отрывочных заметок». Еще 21 июня¹ рукопись находилась в руках Гердера; около этого времени он вторично отослал первый сборник для окончательного просмотра к Гаману, который нашел там «очень большие переделки»². Только осенью 1766 г. оба первых сборника появились в печати.

Работа над третьим сборником началась в мае 1766 г. немедленно вслед за тем, как Гердер побывал у Гамана в Митаве; она, по всему вероятно, была окончена незадолго до болезни Гердера, в конце декабря или в начале января следующего года, так как в то время он уже писал рецензии для «Allgemeine Deutsche Bibliothek», которую издавал Николаи³. На этот раз Гердер не имел времени для таких же тщательных и частых переделок, как перед изданием двух первых сборников. Хотя в первоначальном плане были сделаны, до поступления книги в печать, некоторые прибавки и пропуски, но вышедший на Пасхе 1767 г. томик не был бы так неудовлетворителен по своему составу, если бы Гердер посоветовался с Гаманом и не поспешил изданием своего труда. В какой мере автор надеялся исправить этот недостаток посредством нового издания, будет рассказано далее. Теперь мы будем говорить только о первом издании, даже относительно двух первых сборников. От этого первого издания исходило то влияние, которое оказали произведения Гердера на нашу отечественную литературу.

V. Общая точка зрения

Только в этом первом издании Гердер идет неуклонно по следам «Писем о литературе». Несмотря на то что он неодинаково относился к сотрудникам издания, он в сущности вполне

¹ Письмо к Шеффнеру (LB. I, 2, 144).

² LB. I, 2, 148, 166.

³ LB. I, 2, 139, 216, 228, 231.

усвоил точку зрения этих «Писем». Если бы необходимость принудила его примкнуть к какой-нибудь литературной партии, то он выбрал бы партию сотрудников «Писем» — «партию бамгартеновской школы, ту партию, к которой принадлежали сыны немецких Афин», как он ее называет (I, 49). Он потому примкнул к берлинским ученым — пишет он к Николаи (LB. I, 2, 232), — что их направление возбудило в нем сочувствие. Поэтому он немедленно поступил на службу в этот лагерь и изъявил готовность помещать начатые им для «Отрывочных заметок» критические статьи в журнале Николаи «Allgemeine Bibliothek», который выдавал себя за преемника «Писем о литературе». В своих суждениях о двух более старых литературных партиях, о готтшедианцах и бодмерианцах, он вполне сходится с Лессингом и с его друзьями. Он с ними вполне согласен в том, что мелочные, бессмысленные и словоохотливые нравоучительные еженедельные издания никуда не годятся. Он разделяет их мнение о положении нашей литературы в течение последних шести лет и настойчиво повторяет их жалобы на «недостаток оригинальных произведений, гениальных и изобретательных умов, на страсть немцев писать, подражая иностранцам и не имея никаких самостоятельных идей». Наконец он признает за «Письмами о литературе» — несмотря на то, что *aliquando dormitavit bonus Homerus*, — ту заслугу, что они исполняли свою миссию литературной критики как следует, что они с успехом «заостряли тупое железо» и что благодаря их острой критике «открылся источник изящного вкуса». Его «Отрывочные заметки», говорит он, должны быть прежде всего «памятником заслуг», оказанных «Письмами о литературе»¹.

Итак, он выдавал себя за поклонника «Писем о литературе», но он вовсе не был их слепым последователем. К досаде берлинцев, Гердер уделил автору статьи «Господин и слуга» Мозеру более почетное место, чем то, которое они ему отвели². В этом случае он, очевидно, подчинился благоприятному мнению Гамана о Мозере. А что же говорил Гердер о самом Гамане! Характеризуя литературное значение своего друга, он настойчиво старается направить отзывы «Писем» к более верному суждению о Гамане³: ведь и к произведениям Канта он требовал более высокого

¹ См.: Отрывочные заметки. II, 199, 200 и начало предисловия к первому сборнику.

² Николаи к Гердеру (LB. I, 2, 254) и Отрывочные заметки. I, 148 и сл.

³ Отрывочные заметки I, 161.

уважения¹. Но еще более резко было разномыслие в оценке произведений Клопштока. Точка зрения, с которой «Письма о литературе» определяли достоинство лирической поэзии Клопштока, не была точкой зрения Гердера. Ему крайне не нравилось мнение, будто песни Клопштока «так полны чувств, что, читая их, ничего не чувствуешь»; и в этом случае он, наперекор «Письмам о литературе», разделял мнение Гамана, который называл Клопштока «великим восстановителем лирической поэзии и находил величие его лирики именно в том, что он умел облекать свои чувства в слова². Гердер сознается, что многие из выражений Клопштока оставляли в его душе глубокое впечатление. Он сам был от природы лирик, чем и объясняется (как уже было ранее замечено) его протест против того, почти доходившего до насмешливости, несочувствия, с которым относился к добродушному поэту слишком рассудительный Лессинг.

Это глубокое различие во взглядах неизбежно должно было обнаружиться не только в отдельных суждениях, но и в общей точке зрения автора приложений к «Письмам». Здесь мы касаемся того пункта, в котором «Отрывочные заметки» возвышаются над уровнем «Писем» — возвышаются почти так же, как даровитый ученик становится на более высокую точку зрения, чем его наставник, которому, однако, он обязан возбуждениями в умственной деятельности и одобрение которого ему все еще дорого. Точно будто из отростка, привитого к корню «Писем», из «Отрывочных заметок» вырастают своеобразные отпрыски и цветки. На этих последних следует остановить наше внимание и при этом указать, как они извлекают свой сок и свою жизненную силу частью из оригинального склада ума самого Гердера, частью из влияния на него других даровитых людей, между которыми первое место принадлежит Гаману. В этих новых общих воззрениях Гердера и заключается главное достоинство и главное значение его сочинения. Ведь «Письма о литературе» имели в виду преимущественно литературную критику и при исполнении этой практической задачи только случайно и между прочим излагали теоретические воззрения, а у «Отрывочных заметок» было прямо противоположное направление. Они занимались критикой только между прочим, а главной их целью было развивать теоретические взгляды, которые высказывались в «Письмах». Обходя будничную работу рецензентов, они возвышаются до

¹ К Шеффнеру (LB. I, 2, 240).

² Отрывочные заметки. III, 312; Соч. Гамана. II, 303—305, сравн. V, 107.

праздничных общих обзоров. Они развивают преимущественно *идеи* и именно потому не только очищали нашу литературу, но главным образом имели положительно-плодотворное на нее влияние.

В этом отношении наше внимание прежде всего останавливается на двух в сущности параллельно развивающихся отделах гердеровского сочинения. Главной заслугой «Отрывочных замечаний» была та, что когда «Письма о литературе» впервые подали пример более глубокомысленной критики, то Гердер стал, придерживаясь этого образца, объяснять, в чем заключается «идеал настоящей критики». Во введении к первому сборнику автор берет за образец для своего идеала не только «Письма о литературе», но также «Библиотеку изящных наук» и «Всеобщую немецкую библиотеку»; в «предварительном объяснении» к второму сборнику задача настоящей критики становится более самостоятельной, и автор развивает ее, имея в виду только первое из тех трех изданий. Гердер желает такого журнала, который представлял бы «полную и законченную картину» современной литературы, был бы «прагматической историей в ученом мире». Со свойственной ему склонностью смотреть на произведения человеческого ума с исторической точки зрения, он вслед за тем высказывает такую мысль, которую едва ли мог заимствовать из «Писем о литературе»: он говорит, что в основе того журнала должна лежать «история литературы», которая должна постоянно служить для него опорой. Далее он требует патриотически-национального направления и стремления к усовершенствованию и таким образом снова попадает на ту дорогу, по которой шли «Письма о литературе». Он противопоставляет настоящего критика такому, у которого «дюжинный вкус» и которого он называет словами гамановской брошюры «писателем и критиком»¹. Та критика, какой он желает, должна оценивать «не книги, а направление», она должна уметь «переходить от идей к их источнику, который в уме писателя». Критик не должен по поводу обсуждаемого произведения излагать только свою собственную систему, только свои излюбленные воззрения, а должен «переноситься в сферу идей писателя и читать в его уме»; он должен читать критикуемое произведение «не как деспот, а как друг и помощник автора», должен «анатомировать внутренности книги» и сделаться «Пигмалионом автора»; иначе говоря, он должен приступать к делу не догматически и не с внешней стороны, должен вникать в сущность содержания и в своей характеристике писа-

¹ Соч. Гамана. II, 377; сравн. II, 382 с Отрывочными заметками. II, 191.

теля должен высказываться более положительно, чем отрицательно и неодобрительно.

Еще никогда не была так всесторонне и так метко обрисована задача настоящего критика. Она, конечно, никогда не могла бы быть так обрисована, если бы не был указан настоящий к тому путь резкостью и живостью критических статей Лессинга; но не менее верно и то, что эти критические статьи Лессинга, наполненные преимущественно резкими порицаниями, сходились только с одной стороной гердеровского идеала. При своей яркой оригинальности и при своих прокладывавших новый путь воззрениях они имели совершенно самостоятельное достоинство; кроме того, при жалком положении тогдашней литературы было прежде всего необходимо очистить ее таким беспощадным способом; но для богатых содержанием литературных произведений и для такой эпохи, когда литература уже достигла некоторого развития, нельзя было довольствоваться таким критическим методом, при котором порицания многосложны, одобрение односложно, а похвалы если и высказываются, то с некоторой нерешительностью. Гердеровские требования самым удачным образом восполняли то, чего недоставало этому методу, и именно в этом новом направлении, опиравшемся на историческую точку зрения, были впоследствии написаны А. В. Шлегелем прекрасные критические разборы сочинений Гёте, Гердера, Бюргера и др. Но, с другой стороны, Гердер не прав перед Лессингом, когда распространяет требование таких положительных критических приемов на все, а не на одни только лучшие произведения; в его характеристике настоящего критика есть та фальшивая черта, что, по его мнению, даже при разборе плохих и посредственных произведений рецензент должен чаще «отыскивать перлы», чем карать, порицать и предъявлять свои требования.

В своих позднейших критических статьях Гердер слишком часто впадал в ту ошибку, что хулил именно то, что было самого лучшего, а незначительные произведения превозносил с незаслуженным сочувствием. Но, с другой стороны, он неоднократно применял свою теорию критики поистине блестящим образом и выводил на свет никем не замеченные достоинства. Уже тогда можно было заметить, что эта теория исходила из глубины его собственной натуры и вполне ей соответствовала. Впрочем, те рецензии, которые он писал от 1764 до 1767 г. для Кёнигсбергской газеты¹, не следует оценивать по идеальной мерке, которую он

¹ Они напечатаны в SWS. I, 68 и сл.

указал в «Отрывочных заметках». Они очень различных литературных достоинств, и едва ли найдется между ними хоть одна особенно выдающаяся. Писались они для каких-нибудь случайных целей и большей частью были наскоро набросанными заметками, какие могли приходить на ум при первом, нередко очень беглом, чтении; сам автор не имел намерения выдавать их за образцовые, и они получали более высокое значение только тогда, когда разбираемое сочинение имело в глазах рецензента какой-нибудь особый интерес, как например вилламовские дифирамбы или кантовские «Грезы духовидца». Уже не таковы были рецензии, которые Гердер писал с начала 1767 г., во время своего пребывания в Риге, для «Всеобщей немецкой библиотеки»¹. В них видно постоянное старание «оценивать не книги, а направление автора», прежде всего и без всякой предвзятой мысли ближе знакомиться с целью и с воззрениями автора, а потом определять их достоинство и вместе с тем рассматривать их в связи с историей литературы. Впрочем, Гердеру беспрестанно приходилось говорить о посредственных или совершенно плохих произведениях; тогда становилась очень заметной слабая сторона позитивизма, который был уместен только при разборе богатых содержанием сочинений.

Но практического осуществления созданного Гердером идеала следовало прежде всего ожидать от «Отрывочных заметок». И это ожидание не было совершенно напрасным. Заявленная нашим критиком тенденция к позитивизму обнаруживается в виде дополнений и исправлений по меньшей мере в тех главах, которые были направлены специально против Лессинга и в которых Гердер вступался за Клопштока и частью за Виланда и Крамера. Кроме того, очень ясно заметна связь его метода с методом «Писем о литературе» там, где он в сущности только собирает их критические отзывы в одну массу, которую обделывает в цельную характеристику. Первый сборник (с. 144 и сл.) состоит из разбора лучших новейших произведений наших оригинальных писателей; хотя в этом разборе автор не относится с одинаковым вниманием ко всем писателям, но там, где он больше входит в подробности, в особенности при оценке произведения Винкельмана, Гагедорна, Мозера, Аббта и главным образом Гамана, он вообще придерживается своего принципа вдумываться в сферу идей разбираемого автора. Почти в том же духе написаны: помещенный во втором сборнике (с. 243 и сл.) и очень некстати облеченный в форму

¹ В первый раз они были все напечатаны в LB. I, 3, b, 1 и сл., а теперь в 4-м томе SWS.

диалога разбор клопштоковской «Мессиады»; разбор дифирамбических стихотворцев (с. 298 и сл.), написанный для контраста с разбором Гриллона в «Письмах о литературе»; разбор сочинений Глейма, Геснера, Герстенберга и Карша (с. 338 и сл.); разница от предыдущих разборов заключается в том, что здесь Гердер не намеревался высказать приговор о всей деятельности названных поэтов, а только хотел сравнить их с их греческими образцами. Наконец, и в третьем сборнике мы находим только попытки написать характеристику «наших римлян»: здесь характеристика различных разрядов стиля преобладает еще более, чем во втором томе, над характеристикой авторов, не говоря уже о том, что критик обнаруживает здесь утомление или, вернее, торопливость.

Впрочем, цель «Отрывочных заметок» заключалась (как уже было ранее замечено) не в том, чтобы разбирать отдельные сочинения, или не в том, чтобы служить сборником для образцовых критических разборов. В них предполагалось сделать обзор «всей» новейшей немецкой литературы, или, как это высказано в предисловии в следующей изысканной форме, — «плыть по тому течению, которое нередко заносило „Письма о литературе“ в пустынные страны, и оглядываться на твердую землю, когда этим „Письмам“ случалось открывать на море острова». Нам уже известно, что автор отказался от этих намерений, еще не пройдя половины пути, и что он вовсе не проникал в сферы эстетики, философии и истории. Впрочем, «Отрывочные заметки» и без того достаточно богаты содержанием. Они сгруппированы вокруг следующих двух главных тем: язык как основа литературы и отношения немецкой литературы к служащей ей образцом иностранной, в особенности в восточной и к классической.

VI. Первый сборник

В «Письмах о литературе» не раз затрагивался вопрос о связи языка с литературой и в особенности об отличительных свойствах немецкого языка и о его пригодности для поэзии и для прозы; это делалось частью по поводу написанного Михаэлисом на премию сочинения о взаимном влиянии народных мнений и народного языка, частью по поводу изданного Гейнце в немецком переводе сочинения Цицерона «Об ораторе», частью по поводу сочинения о свойстве ученых языков, написанного жившим в Галле профессором эстетики Мейером. С другой стороны, и Гаман в «Крестовых походах филолога» высказывал по этому

вопросу веские замечания, частью в связи с разбором сочинения, написанного Михаэлисом на премию, частью самостоятельно. Гердер придерживается воззрений, которые высказывались сотрудниками «Писем о литературе», и преимущественно воззрений Аббта: мимоходом он принимает в соображение и мнения, высказанные Клопштоком в статье о поэтическом языке; но все это освещается в его глазах блестящими, как молния, идеями Гамана, которые он сосредоточивает в своем уме в такую массу света, которая способна освещать обширные сферы литературы. Здесь нам в первый раз становится ясно, что собственный опыт побудил Гердера высказать следующее мнение о характере литературной деятельности Гамана: «В его замечаниях соединяется цельный обзор в одну точку зрения; но если найдется читатель, который попадет прямо на эту точку зрения, у которого есть способность к самостоятельным наблюдениям и который в состоянии понимать, употреблять в пользу и дополнять эти разбросанные наблюдения, то можно будет ему сказать: ты сам отыскал эту точку зрения»¹. Таким читателем является Гердер преимущественно в том, что касалось языка. Ясные на это доказательства можно в избытке найти во 2-м издании первого сборника. Там Гердер прежде всего указывает на «Крестовые походы филолога», говорит, что написанный Гаманом разбор сочинения Михаэлиса гораздо богаче содержанием, чем это сочинение и чем его разбор, написанный Мендельсоном, хвалит лежащий в основе гамановского разбора план, за исполнение которого «сто́ит украсить автора венком Аполлона», между тем как «Письма о литературе» в своей рецензии «Крестовых походов филолога», по-видимому написанной Мендельсоном, «останавливают свое внимание только на нескольких скорлупках, а до самого зерна вовсе не прикасаются»².

«Сфера языка — как сказано в первой главе «Крестовых походов филолога»³ — обнимает всё, начиная со складов и кончая образцовыми произведениями стихотворства и самой глубокомысленной философии, изящного вкуса и критики». Как Гердер усвоил себе это положение в несколько измененной форме, для того чтобы с помощью его определить объем литературы, видно на с. 8—9 введения к первому сборнику «Отрывочных заметок». Но это же положение служит текстом для намеченной в самом начале «Отрывочных заметок» темы, которую можно считать за осно-

¹ Отрывочные заметки. I, 160.

² SWS. II, 24 (SW в отделе изящной литературы. I, 53).

³ Статья по поводу одного академического вопроса (Соч. Гамана. II, 128).

ву всего следующего за тем критического обзора современной литературы, — для следующей темы (I, 20): «У каждого народа дух языка есть вместе с тем и дух литературы». Кроме того, гамановский филолог (с. 124) говорил о врожденном в нас «соответствии между органами чувства и пружинами человеческой речи». Гердер оплодотворяет эту мысль со всей интенсивностью своих чувств и со всей пылкостью своего воображения; к этому присоединяется его собственный взгляд на важное значение языка и то, что происходило в глубине его души во время его собственных авторских занятий, — и приведенная выше мысль разрастается у него в нескончаемый ряд размышлений. Он лишь слегка касается той обширной темы в начале своих «Отрывочных заметок» (с. 20): «Наши няньки, которые учат нас говорить, — вместе с тем и наши первые преподаватели логики». Во 2-м издании это положение разрослось в длинную статью о том, что язык — «орудие, хранилище и сущность» литературы, что он орудие человеческих мыслей и внешняя форма наук, так как «мысль всегда неразрывно связана с ее выражением»¹. Но уже ранее Гердер возвращался в третьем сборнике к этой теме и в длинной статье, от которой пришел в восторг юный Гёте, говорил в самых красноречивых выражениях, что слово рождает мысль, что чувство создает выражение, что мысль и чувство относятся к слову и к выражению точно так же, как, по учению Платона, душа относится к телу².

Дух народного языка есть дух народной литературы! Читая эти слова, невольно вспоминаешь, что Гердер впоследствии писал исследование о происхождении языка. Но теперь он уклонился от такого исследования, находя его слишком трудным. Зато, ввиду некоторых замечаний, высказанных Аббтом в «Письмах о литературе» касательно постоянного развития языков в их литературном употреблении, Гердер излагает общие соображения о развитии языка под заглавием: «О различных возрастах языка» (с. 27 и сл.). Он говорит о тех замечаниях Аббта, что они «точно будто выкрадены из его ума»; но здесь более, чем где-либо, выходит наружу его собственное гениальное воззрение, которое зародилось не под влиянием Аббта, а под совершенно иными влияниями. Он был обязан этим воззрением англичанину Блэкуэллу, своему другу Гаману и тому, кто написал историю древнего искусства.

Когда Блэкуэлл говорит в своем жизнеописании Гомера о тогдашнем положении языка, он с постоянными учеными ссыл-

¹ SWS. II, 8—29 (SW в отделе изящной литературы. I. 31—59).

² Отрывочные заметки. III, 50 и сл.; сравн. письмо Гёте к Гердеру в начале июля 1772 г. (*Dünßer A*, I, 40. 41).

ками на свидетельство древних писателей развивает положение, что самые древние люди издавали гораздо более громкие звуки, чем какие мы слышим от теперешних людей, и что первый разговорный язык был пением. Далее он говорит, что всякий первоначальный язык полон метафор, и притом самых смелых, и что во времена Гомера язык обыденной жизни еще облакался в метафоры; поэтому правило пиитики выражаться метафорами первоначально было природным свойством языка. Наконец, он говорил о влиянии нравов на положение языка и, в связи с этим предметом, о том, как стареют языки. Великому поэту не годится изысканный язык; гладкость стиля лишает нас множества самых многозначительных слов, самых сильных и самых красивых выражений, которые мы смело должны употреблять, подобно Вергилию, хотя бы нас и стали упрекать в подражании старинному франконскому языку и языку простонародья¹.

Учеными указаниями английского писателя воспользовался автор упомянутой нами ранее и оставшейся ненапечатанной статьи «О происхождении песни»; они вообще сходились с тем, что Гаман, со свойственной ему прозорливой догадливостью и красноречивой энергией, развивал в «*Aesthetica in puse*». Он говорил: «Поззия есть природный язык человеческого рода; как садоводство древнее земледелия, так и живопись древнее письма, пение древнее декламации, сравнения древнее выводов, мена древние торговли». И далее: «Наши праотцы покоились более глубоким сном, а их движения были бурным танцем. Они сидели по семи дней в молчании от глубокого размышления или от удивления — и раскрывали свои уста для летучих изречений. Чувства и страсти и выражаются картинно, и понимают только то, что картинно»².

¹ Блэкуэлл. Исследование о жизни и сочинениях Гомера; сравн. в переводе Фосса с. 49, 53, 54, 61, 73. О том, как высоко Гердер ценил сочинение Блэкуэлла и как много он был обязан этому писателю, свидетельствуют — кроме одного выражения в «Отрывочных заметках» (II, 265) и кроме упомянутой нами в тексте рукописной статьи — «Очерк истории поэзии» (LB. I, 3, а, 119, 120) и выражения в статье касательно того, как сделать философию полезной (LB. I, 3, а, 251); о том же свидетельствуют написанные в более позднюю пору Гердером слова в его сочинении 1778 г. на премию «О влиянии поэзии на нравы народов» (SW о литературе. XVI, 212) и другое место в статье «Гомер — любимец своего времени» (Horen. 1795. Статья 9. С. 58). Наконец даже в «Адрастее» (V, I, 132—133) Гердер воздает самые высокие похвалы Блэкуэллу, который, «если будет позволено так выразиться, перенес нас в эпоху певцов [ᾠοῖδων], не имеющих ничего общего с нашими писаками — пиитами».

² Соч. Гамана. II, 258.

Разве эти загадочные выражения не были только квинтэссенцией воззрений Блэкуэлла?

И разве произведения этих двух писателей не послужили фундаментом для того здания, которое было воздвигнуто по образцу винкельмановского «Очерка ученой системы»? Своей историей искусства Винкельман впервые перенес мысль о развитии в сферу объективной умственной жизни: Гердер, понимавший все, что касалось языка и поэзии, так же живо, как Винкельман, понимал все, что касалось изящных внешних форм, применил эту мысль к языку и к литературе. Намерение написать философию языка соединяется с его намерением написать философию истории. Частью как историк, частью как естествоиспытатель, частью как поэт, частью как философ он делает очерк истории развития языка, пишет — руководствуясь сходством обеих идей — «роман о различных возрастах языка» или, вернее, такую основанную на догадках историю языка, для которой служит точкой исхода положение: «поэзия есть природный язык человеческого рода».

Язык народа, еще не вышедшего из детского возраста — как полагает Гердер, — есть язык душевного движения и как таковой едва ли может быть назван языком. Тогда еще не говорят, а только испускают звуки; но потом, при дальнейшем развитии голосовых органов и при более близком знакомстве с предметами внешнего мира, этот первоначальный грубый язык возвышается до пения, к которому присоединяется жестикуляция. Затем Гердер старается объяснить, каким образом «ребяческий язык переходит в юношеский». Когда люди перешли из дикого состояния в такое, где было более внутреннего порядка, тогда они стали выражать на своем языке и нечувственные впечатления, но стали называть эти впечатления чувственными именами и потому стали выражаться при помощи фигур и метафор — тогда их язык вступил в возраст поэзии: «в обыденной жизни всякий выражался пением, а поэт лишь возвышал свой голос, выбирая приятный для слуха ритм», для того чтобы своими песнями (здесь содержание вышеупомянутого «романа» соприкасается с содержанием статьи «о происхождении песни») увековечивать воспоминание о замечательных подвигах и соединять в них вымыслы с нравоучениями. После того наступает возраст мужества. Между тем как поэзию начинают откладывать в сторону, стесняют ее установившимися в общественной жизни правилами, заставляют ее удаляться от природы и делают из нее особое искусство, начинает развиваться изящная проза, которая, при-

держиваясь требований более серьезного склада ума, урезывает все поэтические вольности, а поэтические рифмы заменяет благозвучными периодами. Наконец, старость заботится не о красоте языка, а только о его правильности — тогда наступает для языка философская эпоха.

Эти воззрения были чрезвычайно плодотворны и производили впечатление именно своим «романическим» бойким изложением. По меньшей мере в Германии они были новостью. Еще древние писатели считали за положительный факт, что развитию прозы предшествовала высокая степень развития поэзии. Но Гердер, воспользовавшийся гениальными замечаниями Гамана и научными указаниями Блэкуэлла, прежде всех объяснил этот факт, благодаря тому что постарался объяснить происхождение поэзии и прозы и стал смотреть на ту и на другую как на естественные фазисы развития языка, которое совершается одновременно с развитием народного образования. Даже Клопшток, в своей прекрасной статье о поэтическом стиле¹, считал различие, которое делалось между языком, употреблявшимся в поэзии, и тем, который употреблялся в прозе, за техническое обыкновение, соблюдение которого зависело от личного произвола писателя. В своем «романе» Гердер прежде всех доказал неосновательность этого воззрения как несогласного с историческими данными. Он доказал, что различие между языком поэзии и языком прозы вовсе не искусственное, а вытекающее из природы вещей, что следует вникнуть в процесс развития языка, чтобы понять, что проза возникла из поэзии и что эта последняя нуждается теперь более первой в искусственной отделке.

Все выводы, к каким приводит эта точка зрения, становятся ясными, когда Гердер вслед за тем применяет ее к нашему языку.

Мы находимся теперь, говорит автор «Отрывочных заметок», в прозаическом возрасте языка, когда поэзия существует только как искусство. Это положение самое выгодное, потому что оно позволяет нам «сворачивать в обе стороны», как в сторону поэзии, так и в сторону философии, как в сторону чувственного и изящного, так и в сторону нечувственного, правильного, «совершенного». При этом он указывает на неясность мнений, высказанных Зульцером² касательно способа улучшить язык, так как этот писатель, приняв в основу своих суждений совершенно неопределенное понятие о совершенстве языка, вообще прене-

¹ В 26-м номере «Северного наблюдения».

² В его «Kurzer Begriff aller Wissenschaften».

бегает тем, что есть чувственного в языке, а философского совершенства все-таки не достигает. Опровергая эти воззрения, Гердер отстаивает важное значение чувственного элемента в языке в той мере, в какой язык при всяких условиях служит органом выражения для чувственных существ, а не для чисто духовных. Он объясняет правильность и значение нечувственных выражений, достоинство синонимов, идиотизмов, перестановки слов — иными словами, всех тех особенностей языка, при помощи которых наша проза еще прикреплена своими корнями к старой родной почве поэзии.

Прежде всего Гердер энергически вступает за идиотизмы. Он живо и красноречиво развивает мысль, уже высказанную в форме отрывочного замечания Гаманом в его статье «об одном академическом вопросе»¹. Уже там было замечено, что каждый народ обнаруживает направление своего образа мыслей «в природных свойствах, формах, законах и обычных приемах своего языка, точно так же как в своем внешнем образовании и в своей общественной деятельности», что из этого направления образа мыслей «возникает своеобразие языка, обнаруживающаяся в идиотизмах», и стало быть, что все мастерское умение владеть языком, приписываемое Готшеду, ничего не стоит в сравнении с гениальным значением языка². Совершенно то же говорит и Гердер: идиотизмы — «такие красоты, которых никакой сосед не может похитить у нас посредством перевода и которые священны для богини-покровительницы языка; эти красоты тесно связаны с характером языка, который совершенно обеднеет, если их отнять у него». Это та почва, на которой с успехом развивается юмористический стиль, когда своеобразие языка гармонирует со своеобразным остроумием писателя. В противоположность со свойственной Готшеду манерой разжижать слог Гердер превозносит заслугу Бодмера и его последователей и в связи с этим указывает на оригинальный склад речи у Рамлера, Клейста и Глейма, у Лессинга и Аббта; он советует изучать произведения наших древних поэтов и писателей, отличавшихся выразительностью своих идиотизмов, и в особенности останавливает свое внимание на гениальности, с которой Клопшток создает новые способы выражения. Наконец, какую важную роль играют идиотизмы в «преподавании языка»? Ведь оно будет объяснять связь между духом языка и духом нации и найдет в этой связи главную

¹ Соч. Гамана. II, 117 и сл.

² Там же. 123, 124.

точку опоры для характеристики как целых народов, так и отдельных писателей.

Но как своеобразность языка, так и его богатство много теряют от лжемудрствований и от близорукого стремления к грамматической правильности. «Чистота языка вредит его богатству» — эти слова Гамана уже были повторены в «Письмах о литературе»¹, а Гердер снова развивает высказанную в них мысль. Указывая на богатство слов в восточных языках, он объясняет достоинство синонимов и доказывает, что этот способ выражать словами мысль во всех ее оттенках необходим для поэзии, которая в сущности «живет только таким изобилием выражений».

Доказав неосновательность мнения, будто можно развивать язык несамобытным путем, Гердер переходит — в связи с содержанием «Писем о литературе» — к вопросу о том, можно ли развивать язык переводами. И в этом случае для него служат руководством его основные послылки о постепенном развитии и изменении языка. На основании этих посылок он утверждает, что для нашего языка можно посредством переводов заимствовать от древнейших греческих поэтов лишь очень немного, уже по той причине, что эти поэты писали не в таком периоде языка, в каком мы пишем. Они писали при «юношеском возрасте» поэзии, который мы пережили уже давно. Поэтому мы не в состоянии в точности передать или просто позаимствовать от них ни их стихотворный размер, ни форму их периодов, ни их перестановки слов, ни их «энергические выражения».

Гердер всего дольше останавливается на вопросе о стихотворном размере и возвращается к нему именно по поводу многочисленных замечаний, которые были высказаны в «Письмах о литературе» касательно истории и свойств гекзаметра. Он говорит, что гекзаметр и вообще размер слогов образовался у древних именно при том юношеском возрасте языка, когда «в обыденной жизни всякий выражался пением, а поэт только возвышал свой голос, выбирая приятный для слуха ритм». Поэтому гекзаметр был в то время натуральным стихотворным размером; подобно ему и все другие полиметрические размеры развились из языка, который был уже сам по себе певучим и полиметрическим языком и который даже в обыденной жизни превосходил наш язык разнообразием длинных и коротких звуков, возвышений и понижений голоса. При теперешнем прозаическом возрасте языка мы реже повышаем или понижаем голос и наш способ

¹ Там же. 151.

выражения более монотонен; наш язык, по выражению Гердера, отличается «полнотой тона», а не «звучностью тона»; он с трудом возвышается до дактиля, а в сущности имеет достаточно «высоких и низких звуков только для ямбов и трохеев»; кроме того, он и теперь, как во времена своего поэтического возраста, слишком отрывочен в своих формах, слишком богат односложными словами, слишком сложен, так что для него неудобен полиметрический размер. «Прислушайтесь, — говорит Гердер, — к кадансам в пении детей и сумасшедших; они не полиметрические; но если это покажется вам смешным, то подите к поселянам и обратите внимание на самые старинные церковные песни; их последние слоги более коротки, а их ритм однообразен». Почти такими же словами выражается он в статье об оде¹: и тут и там он имел в виду замечание Гамана, что в Курляндии и в Лифляндии латыши распевают во время всякой работы каданс, состоящий из немногих повышений голоса и очень похожий на стихотворный размер². Конечно, Гаман хотел этими словами доказать «монотонность» гексаметра; но здесь та же, что у Гердера, основная мысль — что стихотворный размер возникает из врожденного в народе и в языке влечения к ритмическому размеру.

Но в том же месте своей статьи Гаман отнесся с явной иронией к мнению, которое было высказано в «Письмах» о вольном размере стихов Клопштока и которое заключалось в том, что этот размер не что иное, как «искусственная проза, расплывающаяся во всех мелких составных частях своих периодов». И на этот раз Гердер идет по стопам Гамана. Он повторяет замечания Гамана о сходстве стихотворного размера Клопштока с размером еврейской поэзии и прямо высказывает то, что у Гамана читается только между строками. Он говорит: этот удачный стихотворный размер следует назвать не искусственной прозой, а «самой натуральной и самой первобытной поэзией». Таким же удачным казался этот размер и Лессингу, которым были написаны те заметки в «Письмах о литературе», и Гаману. Лессинг рекомендовал его употребление в стихотворениях, назначенных для музыкальной композиции, и в драме, делая ту оговорку, что когда он употребляется в драме, то автор должен обращать внимание на декламацию актеров. Гаман со своей стороны заметил, что этот размер, «по-видимому, может служить праздничным одеянием лирической поэзии для такого поэта, который не желает быть

¹ LB. I, 3, a, 76.

² Aesthetica in nuce (Соч. Гамана. II, 304 и сл.).

дюжинным». Идя по стопам «Писем о литературе» и вместе с тем вдохновляясь идеями Гамана, Гердер заходит еще дальше: в своем взгляде на этот предмет он перефразирует и далее развивает те мысли, которые были высказаны и Лессингом, и Гаманом. Что было бы, рассуждает он, «если бы какой-нибудь дифирамбический стихотворец, какой-нибудь новый Пиндар или бард появился среди нас в том праздничном одеянии». Он, подобно Лессингу, рекомендует употребление того вольного стихотворного размера в тех стихотворениях, которые предположено положить на музыку, но он придерживается взглядов Гамана, когда присовокупляет к этим стихотворениям дифирамбы, чувствительные оды и лирические описания. Он, подобно Лессингу, рекомендует этот размер для драмы и для декламации; но он подробно развивает и доказывает свое мнение и сверх того высказывает предположение, не следовало ли бы облечь у нас в то праздничное одеяние произведения Шекспира и не всего ли лучше переводить этим размером произведения Юнга. Во втором сборнике «Отрывочных заметок» (с. 270) он говорит, что следовало бы попробовать переводить этим размером хоры греческих трагедий, а в другом месте говорит, что следовало бы перевести этим размером хоть одну главу из Книги Бытия. Наконец он высказывал все тот же взгляд и когда восставал против употребления гекзаметров в написанной для «Allgemeine Deutsche Bibliothek»¹ рецензии на перевод Оссиана, сделанный Деннисом в гекзаметрах, и когда советовал переводить Оссиана вольным стихотворным размером Клопштока, а к этому совету присовокуплял признание, что он сам попробовал именно так переводить некоторые отрывки из Оссиана.

И не тщетно Гердер давал такие советы, не тщетно он приглашал даровитых людей «применить к делу» его требования. Когда Бюргер приступил, через несколько лет после того, к переводу «Илиады» ямбами, он положительно ссылался на указания автора «Отрывочных заметок»², а когда Гёте стал изливать потоки дифирамбов, написанных вольным стихотворным размером, то он делал это также в качестве ученика Гердера.

Исходя из своей исторической точки зрения, Гердер настаивает на граничащей с невозможностью трудности переводить произведения Гомера, Эсхила и Софокла или подражать им не только в том, что касается стихотворного размера, но также

¹ LB. I, 3, b, 119 и сл.

² Соч. Бюргера в одном томе / Изд. Bohß. С. 139, 140.

в том, что касается конструкции предложений и выразительности отдельных слов. Иными глазами смотрит он на то, что касается греческих прозаиков, позднейших греческих поэтов и наконец римлян; его замечания о том, как мы должны обрабатывать наш слог по примеру этих образцов, очень сходятся с тем, что говорилось об этом предмете в «Письмах о литературе», и в особенности Аббтом. Более самостоятельные замечания мы снова находим лишь при переходе Гердера к вопросу, какую пользу могут нам принести переводы французских и английских произведений и подражание им. Несправедливые суждения французского «*Journal étranger*», из которого Николаи делал много извлечений для «Писем о литературе», вызывают со стороны Гердера наполненную похвалами характеристику нашего языка, в котором его восхищает изобилие гласных и придыхательных букв. Затем, по поводу выраженного французским автором с логической точки зрения неодобрения немецкой конструкции фраз, Гердер высказывает свои замечания о свойстве перестановки слов, а эти замечания принадлежат к числу самых остроумных, какие только можно найти в «Отрывочных заметках». И здесь он заимствует от «Писем о литературе», т. е. от Николаи и от Аббта, почти только одни внешние рамки; эти рамки он наполняет своими собственными воззрениями, для которых получил от Гамана и основной мотив, и некоторые очертания.

«Смешанные замечания о конструкции слов во французском языке» уже были разбросаны филологом в его «Крестовых походах»¹, и при этом шла речь о перестановке слов. Однако его замечания очень скоро переходят в чисто грамматические. Гердер глубже проникает в сущность этого вопроса и снова обнаруживаем свое умение применять историческую точку зрения. Его уму постоянно присуща мысль о постепенном развитии языка. Хотя он и уклонился от исследования происхождения языка, но он во всяком случае не разделял того мнения, что «самые древние языки были созданы Богом или придуманы каким-нибудь философом и вышли из его головы в полном вооружении, подобно тому как Паллада вышла в полном вооружении из головы Юпитера». Это и дало ему возможность наглядно объяснить происхождение перестановки слов из свойств человеческой природы. Если бы язык, говорит он, был придуман каким-нибудь философом, если бы он был предназначен для передачи только отвлеченных понятий, то конструкция его предложений соответствовала бы тому

¹ Соч. Гамана. II, 133 и сл.

порядку, в котором мысли следуют одна за другой. Но ведь мы создания с чувственными органами. Чувственная внимательность говорящего, его впечатлительность, его воодушевление выдвигает на передний план то ту, то другую точку зрения — а отсюда и происходят перестановки слов. Поэтому каждый язык в своих зачатках должен быть наполнен произвольными перестановками слов; в нем не может быть никакой правильной конструкции фраз; он неизбежно представляет собой бесконечно изменчивый хаос слов, который может быть понятен только при помощи жестикуляции и возвышений или понижений голоса. Этот «не подчиняющийся никаким правилам хаос» прекращается лишь мало-помалу. Первые песни, которые сочиняются для заучивания на память и вводят своим стихотворным размером некоторую правильность в изложении, являются образцами языка, но такими образцами, которых придерживаются по привычке, а не по обязанности; только с возникновением книжного языка та привычка начинает приобретать значение закона, который все еще не установился в своей окончательной форме; наконец, когда выработались прозаические периоды, устанавливается и более определенный порядок изложения. Из характеристики этого порядка Гердером ясно видно, что он вполне подчинялся следующему принципу Гамана: «все, что человек предпринимает, должно исходить из совокупности всех его сил»; это видно из того, что порядок прозаической конструкции предложений, по его мнению, не что иное, как совокупный результат «распределения образов так, как они представляются взорам, идей — так, как они возникают в уме, ударе — так, как требует слух». Только после введения такого порядка может, по его мнению, осуществиться его идеал чисто логической конструкции предложений, которая не допускает никакой перестановки слов, — это вполне согласно с тем, что он поставил «век философский» в конце различных периодов развития языка. В какой мере глава о перестановке слов служит объяснительным дополнением к тому «роману», в котором шла речь о различных возрастах языка, еще яснее видно из применения изложенных в ней принципов: ведь она кончается выводом, что французский язык не может равняться с немецким именно вследствие своей метафизической обработки, именно потому, что он допускает менее свободы в конструкции предложений; напротив того, немецкий язык, оттого что он *räumiger aufgeschürzt ist* (менее туго опоясан), стоит *auf dem Punkte der Behaglichkeit* (на точке удобства); первое из этих выражений Гердер заимствовал от Аббта, второе — от Мендельсона. Благодаря тому что в немецком языке

легче переставлять слова, он оказывается более «удобным» языком, т. е. он одинаково годное орудие и для поэта, и для прозаика, и для философа. В своем прежнем очерке истории языка Гердер говорил, что с нашим языком мы стоим на половине дороги между поэтическим изяществом и философским совершенством.

Однако, несмотря на столько преимуществ перед французами, мы можем, по мнению Гердера, кой-чему от них и научиться. Он вторит жалобам «Писем о литературе» на пошлость бесчисленных немецких ежемесячных и еженедельных журналов и сочинений, которые пишутся с целью поучать, утешать, назидать и забавлять; он полагает, согласно с мнением Гамана, что эти сочинения пишутся «для того чтобы наводить скуку на читателей». «Нужно, — говорит он, — внести в наши сочинения французскую живость и свободу и к этим качествам прибавить немецкую силу выражений». Наконец, он заводит речь о том, чему мы могли бы научиться у англичан, к умственному направлению которых мы питаем более сильную симпатию; но у него как будто уже истощилось терпение, и он в сущности ограничивается только жалобами на прежнее неблагоприятное для нас влияние английской литературы; он не развивает положения, что «мы должны сделать французскую легкость полезной для нас, прибавив к ней английскую твердость»; он только снова повторяет то, что уже было им высказано ранее: что наше назначение — проза здравого смысла и философская поэзия¹; впрочем, он спешит перейти к упомянутой ранее характеристике нескольких современных оригинальных писателей с целью объяснить на примерах то, что было изложено теоретически, подобно тому как это делал Винкельман, описывая некоторые из античных скульптурных произведений. Наконец в последней главе «об идеале языка» Гердер постоянно имеет в виду статью, которую Аббт поместил в «Письмах о литературе» касательно сочинения Мейера о свойствах ученого языка; эта глава есть нечто вроде сокращенного изложения всего, что составляет содержание всех предшествовавших «Отрывочных заметок».

VII. Второй сборник

Второй сборник находится в тесной связи с первым и с той частью его содержания, на которую нам уже приходилось указывать ранее. Вопрос о развитии нашего языка посредством пере-

¹ Сравн. I, 75.

водов снова наводит автора на вопрос о развитии нашей литературы путем подражаний. Именно этот вопрос и служит темой для второго сборника, но первоначально касается только поэтической литературы. Однако он теперь рассматривается с новой точки зрения. В «Письмах о литературе» постоянно высказывались жалобы на недостаток оригинальных и гениальных писателей. Гердер находил возможным помочь этому злу. Одни жалобы, говорит он, не ведут ни к чему. Разные размышления о свойствах гениальности также не помогут. Самых полезных результатов можно ожидать от влияния великих образцов — поэтому Гердер ограничивается старанием поощрять таланты посредством разбора чужих произведений и задается намерением взвесить достоинство немецких подражаний сравнительно с достоинством тех произведений, которые служили для них образцами.

Клопшток стал прежде всех писать стихотворения в подражание восточной поэзии; его примеру последовали швейцарцы в своих патриархадах, Крамер и некоторые другие. Гердер начинает с этих немецко-восточных поэтов и выражается здесь гораздо свободнее, чем прежде, вследствие того что в «Письмах о литературе» лишь мимоходом высказывались некоторые суждения об этом предмете. Для этой главы он почти ничего не заимствовал из «Писем о литературе». Гаман, настоятельно поощрявший его «на странствования по счастливой Аравии»¹, возбудил в нем сильный интерес к восточной филологии и научил его ценить своеобразный характер восточных писателей и восточную поэзию. Но не ему, а другому писателю Гердер был всего более обязан теми идеями, которые здесь развивал. Подобному тому как Винкельман впервые научил нас понимать греческую древность, Иоанн Давид Михаэлис стал основательно знакомить нас с еврейской древностью, издавая сочинения, которые составляют эпоху в истории литературы. Он издал с обильными примечаниями важное сочинение Лоуса «*De sacra poesi Hebraeorum*»; в его многочисленных отдельных статьях было немало очень ценных указаний, способствовавших пониманию Библии; по его совету датский король снарядил ту ученую экспедицию в Аравию, которая составила свою программу по указанию принимавших в ней участие ученых и плодом которой были произведения Нибура. Гердер — как это видно даже из его записных тетрадок — усердно изучал сочинения Михаэлиса и был признательным учеником и поклонником великого ориенталиста, которого уважал

¹ *Aesthetica in nuce* (Соч. Гамана. II, 293).

и высоко ставил даже Гаман, впрочем сопровождавший свои похвалы разными оговорками. Гердер неоднократно мимоходом хвалил Михаэлиса в Кёнигсбергской газете¹, а высказывая в первом сборнике «Отрывочных заметок» свои мнения о развитии языка, неоднократно принимал за точку исхода написанное Михаэлисом на премию сочинение «*Sur l'influence réciproque du langage sur les opinions etc.*» и называл Михаэлиса «нашим филологом — прорицателем в сфере восточных языков». В настоящей главе «Отрывочных заметок» он вполне руководствуется указаниями Михаэлиса; Гердер положительно заявляет (с. 207), что осмеливается разбирать сочинения тех немецких поэтов, для которых служила образцом прекрасная восточная природа и которые заимствовали у восточных писателей их приемы и литературный вкус, — а поощрение к этой работе он находит у того «великого немца, который, обладая достаточным знанием восточной филологии и достаточным поэтическим вкусом, чтобы судить об этом предмете, проложил в некоторых статьях дорогу и для других критиков». Гердер выражает желание, чтобы Михаэлис был в числе тех критиков (с. 380), которые будут разбирать его «Отрывочные заметки», а в конце третьего сборника (III, 330) он снова указывает на настоящие и будущие произведения Михаэлиса как на руководства, при помощи которых впервые можно правильно изучать и верно понимать восточные поэмы².

Вслед за этим Гердер излагает главные положения, которые будет развивать во всем этом отделе «Отрывочных заметок». Прежде он указывал на безусловную невозможность что-либо заимствовать из иностранных языков, а теперь он доказывает невозможность что-либо заимствовать из поэзии другого народа, с которым мы не имеем решительно ничего общего. Уже в статье об оде шла речь о «слепом подражании еврейским писателями», о «бесплодном сочувствии к восточной поэзии»³: теперь автор еще более обстоятельно объясняет читателям особенности и оригинальность восточной поэзии. Прекрасная восточная природа, говорит он, не имеет сходства с нашей; точно так же непонятны нам ни отечественная история восточных народов, ни их «нацио-

¹ SWS. I, 89, 90, 94; позднее в «*Recension der Hamburgischen Unterhaltung*»: «В Германии мало людей с его дарованиями и с его ученостью; как много он уже сделал и как много ему еще остается сделать!» (Кёнигсбергская газета. 1767. № 66).

² Сравни. кроме того LB. I, 2, 180, 243; I, 3, а, 113, 384; I, 3, b, 475; K. W. II, 88, 93, 141, 158, 207 и сл.

³ LB. I, 3, а, 70, 71.

нальные предрассудки», т. е. их поэтически-мифологические воззрения и понятия; дух их религии не имеет никакого сходства с духом нашей религии; сфера, в которой вращается их поэзия, совершенно иная, чем сфера нашей поэзии; наконец у них особый язык и особая пылкость поэтического чувства. К чему же привели бы при таких условиях подражания? Гердер предварительно подкрепляет свое мнение некоторыми примерами, ссылаясь на произведения Клопштока и Крамера, на пастушеские стихотворения, которые писал в иудейском духе Брейтенбах, и вместе с тем он молча порицает самого себя за свои попытки писать оды в восточном вкусе; затем он приходит к следующему заключению: подражатели будут описывать нам то, что для нас чуждо, часто вовсе не понятно и по меньшей мере очень далеко от нас; их заимствованные от чужеземцев поэтические вымыслы будут похожи на воздушные замки, их взятые взаймы чувства будут обливаться на нас холодом, а их выражения — даже если бы они достигли совершенств оригинала — будут казаться нам преувеличенными.

Какие же указания извлекает Гердер из этих соображений? Он излагал их еще в первом сборнике (с. 57, 58): прежде чем подражать произведениям восточной поэзии, надо научиться их понимать, а потом попытаться переводить их на основании этого понимания, опирающегося на филологию. Поэтические переводы восточных поэм таким человеком, который был бы и философ, и поэт, и филолог¹, имели бы на нашу литературу более сильное влияние, чем десяток оригинальных произведений. Такие переводы отнимут у подражателей всякую склонность к подражанию. Посмотрите, скажут они, как восточные писатели умели облекать свою историю и свою религию в поэзию; «заимствуйте от них не то, что они выдумали, а умение выдумывать, поэтизировать и выражать!» То, что они извлекали из своей натуры, из своей среды, из своего склада ума и из своего языка, ты извлекай из твоей натуры, из твоей среды, из твоего склада ума и из твоего языка: «образуй себя по этому образцу, чтобы сделаться подражателем самого себя!»

Эта мысль повторяется и во всех других отделах «Отрывочных заметок»: она является и здесь, и впоследствии лишь дополнительным объяснением к той теме, которую развивал Юнг в своем сочинении «On original composition»². Гердер «воспла-

¹ Который был бы таким же *triceps* (треглавым), каким он желал быть сам: статья об оде (LB. I, 3, а, 96, 97).

² Еще в 1760 г. вышли в свет в немецком переводе «Gedanken über die Originalwerke». Следующие цитаты я беру из 2-го издания этого перевода (Лейпциг, 1761).

менился»¹ от чтения этого полного огня сочинения, выписки из которого встречаются еще в самых старых из его записных тетрадок. Мнение Юнга, что пример и образцы древних писателей наводят на нас робость и сдерживают свободное развитие наших собственных творческих способностей, вызвало со стороны кведлинбургского школьного ректора Рамбаха возражения, которые он высказал в школьной программе. Напротив того, Гердер утверждает в одной из своих рецензий, помещенных в Кёнигсбергской газете², что если это мнение понимать как следует, то оно окажется верным. Дело только в том, чтобы «такой же гениальный человек, как Юнг, написал дополнение к его воззрениям на оригинальные произведения», чтобы он при этом более подробно обсудил самобытные достоинства древних произведений, сравнил эти произведения с нашими и закончил бы исследованием, «в какой мере для нас полезны, вредны и необходимы образцы», — а для такого плана, конечно, недостаточно школьной программы. Во втором и в третьем сборнике «Отрывочных заметок» Гердер поместил именно такие дополнения к мнению Юнга. У него постоянно повторяются основные мысли английского писателя — что «мы должны подражать не сочинениям древних, а их духу», что мы «тем более будем иметь с ними сходства, чем менее будем рабски подражать им», что мы будем в состоянии превзойти их «не путем позаимствования, а только благодаря благородному соревнованию, которое возможно только при близком знакомстве с их литературой»; эти и тому подобные выражения Юнга постоянно встречаются у Гердера частью даже все в одной и той же форме; одна цитата из сочинения Юнга помещена им даже в сочинении о духе еврейской поэзии (II, 355) и даже в «Каллигоне» (III, XXII). В качестве оратора, старавшегося ободрять своих слушателей, Юнг исполнял свой долг, когда хвалил оригинальность, поощрял к ней своих современников и, подобно церковному проповеднику, пытался доказать, что добродетель оригинальности возможна. В качестве комментатора Гердер развивает текст этой проповеди, стараясь извлечь из него пользу при помощи подробных исторических объяснений, практических примеров и указаний, находившихся в связи с тогдашним положением немецкой литературы; при исполнении этой задачи он проливает новый свет во все стороны.

¹ Как он сам положительно в этом сознался (Отрывочные заметки. II, 204).

² SWS. I, 121 и сл.

Чтобы проложить новую дорогу, он начинает с Востока. Сказав, что мы должны прежде всего «выработать из себя описателей нашей собственной природы», он высказывает достойную внимания мысль там, где у него идет речь о своеобразности «национальных предрассудков» на Востоке. «Какое же нам дело до национальных предрассудков восточных жителей? Мы должны отыскать поэтический материал этого рода в прошлом нашей собственной родины! Пусть изучают „заблуждения и сказания предков“ и пусть облачают их в поэтическую форму нашего времени. Если бы кто-нибудь стал сожалеть о том, что зародыш восточных вымыслов не проник к нам так же, как к испанцам и итальянцам, и не оплодотворил почву нашей отечественной поэзии, то я посоветовал бы ему посвятить его силы возделыванию родной почвы. Пусть он изучит мифологию как древних скальдов и бардов, так и своих собственных соотечественников. Среди скифов и славян, вендов и богемцев, русских, шведов и поляков еще сохранилось немало следов, проложенных их предками. Если бы каждый старался по мере своих сил тщательно собирать старинные национальные песни, то мы не только близко ознакомились бы с поэтическим складом ума наших предков, но и добыли бы такие поэтические произведения, которые могли бы, подобно приведенным в „Письмах о литературе“ двум латышским даинам, стоять наравне с балладами британцев, с песнями трубадуров, с романсами испанцев или даже с торжественными сагами древних скальдов — все равно будем мы изучать дайны латышей или национальные песни казаков, перуанцев или американцев».

Этими словами Гердер в первый раз прямо указывал на народные песни¹. Итак, он указывал нашим поэтам следующие два пути, на которых они могли достигнуть самостоятельности, новизны идей и своеобразности и перейти от неверного подражания к творческой деятельности: верно переводить иностранные поэтические произведения, изучать старинные национальные песни и, сверх того, отыскивать остатки первобытной народной поэзии. Он сам шел этими двумя путями, когда занимался переводами преимущественно восточных стихотворений и собирал народные песни, а таким образом придерживаясь середины между древней поэзией и новой, между поэзией подражательной и свободной от внешних влияний, он создал ту почву, на которой

¹ И в этом отношении он следовал примеру Блэкуэлла, который указывал на старинные испанско-мавританские романсы как на образчики настоящей народной поэзии (с. 51 перевода).

из этой свободной поэзии, в особенности из поэзии Гёте, могли распуститься самые восхитительные цветы. На этот раз он довольствуется теорией и критикой. Он заканчивает главу разбором клопштоковской «Мессиады» как самого «возвышенного из немецких произведений, написанных в подражание восточным писателям»; он дал этому разбору форму разговора между христианином и раввином и первоначально предполагал продолжать его во втором и третьем разговорах¹. Впрочем, в этом разборе идет речь не только о заимствованиях от восточных писателей, но также о христианском содержании поэмы и о ее эпическом характере — но здесь не место говорить ни о том, ни о другом.

От немецких поэтов, подражавших восточным писателям, Гердер переходит к тем из них, которые подражали грекам. Основная мысль в этой новой главе, натурально, такая же, как и в предыдущей. И здесь идет речь о том, что от подражания иностранным писателям следует перейти к «подражанию самим себе». И здесь указывается как на средство достигнуть этой цели на умение верно переводить и на всестороннее основательное изучение греческих писателей. Но в этой сфере уже было сделано более, чем в сфере изучения восточных писателей, — здесь Винкельман подал пример, вполне достойный подражания. Поэтому и Гердер более ясно формулирует свои требования. Он восклицает: «Где тот ангел-хранитель греческой литературы в Германии, который, став во главе всех, объяснил бы, как немцы должны изучать греческих писателей?» Грамматика, философия, эстетика, историческая точка зрения — все это, вместе взятое, необходимо для верного понимания греческих писателей, а при исполнении этого требования и немецкие философы были бы в состоянии высказывать свои мнения с философской точки зрения. Кроме того, необходимы верные переводы. Поддерживая, но вместе с тем усиливая требование, которое уже было высказано в «Письмах о литературе», Гердер желает, чтобы прежде всего были переведены во всей своей красоте произведения отца поэзии, Гомера, чтобы такой перевод сделался целью всей жизни какого-нибудь ученого, чтобы он «показал нам Гомера таким, каков он на самом деле, и объяснил нам, чем он может быть для нас». Этот перевод должен быть точен, и в нем не следует допускать никаких прикрас; он должен показать нам произведение Го-

¹ Иначе думает Суфан; он полагает (SWS. I, 541), что план этого продолжения относится к одной из позднейших переделок (1769). «Зародыш плана Мессиады», о котором идет речь в разговоре (с. 256), можно найти на двух страницах в осьмую долю листа в одной из старых записных тетрадок Гердера.

мера точно таким, каково оно на самом деле в своей старинной безыскусственной форме. Введением должно служить, вместе с некоторыми другими статьями, прекрасное исследование Блэк-уэлла о том, вследствие какого стечения естественных причин мог появиться этот поэт. При переводе должны быть примечания и объяснения «в высоком критическом направлении»; наконец, несмотря на то что Гердер ранее того протестовал против немецких гекзаметров, он говорит, что ему было бы «неприятно не видеть» в переводе гекзаметров, хотя бы они послужили лишь к тому, чтобы обратить наше внимание на недостатки нашего языка и нашей поэзии. Кроме того, он желает, чтобы были переведены произведения трагиков и Пиндара. И этого мало: он желает, чтобы новый Винкельман написал историю греческой поэзии и греческой философии¹. Эта история должна со ссылками на доказательства познакомить нас «с происхождением этой поэзии и философии, с их развитием, изменениями и упадком, и вместе с тем должна познакомить нас с разнообразными стилями различных стран, времен и поэтов»; она должна быть, подобно винкельмановской истории искусства, «не простым рассказом о последовательном ходе событий, а цельной, правильной во всех своих частях, системой — должна быть «научной системой». При этом, по замечанию Гердера, пришлось бы исчерпать целый «океан исследований» над сущностью греческой поэзии, над ее особенностями и над вызвавшими ее причинами. Далее, эта история должна познакомить нас с «идеалом греков в каждом из существовавших у них видов поэзии», должна сделать характеристику внешней художественной формы их произведений, должна проследить периоды греческой поэзии — и все это, конечно, с прагматическим применением к нашему времени и к нашей поэзии. «Это такой океан исследований, — восклицает он, — в который осмелится погрузиться только знаток древности, философ, одаренный изящным вкусом критик и даже, позволяю себе думать, только тот, кто сам поэт».

В наше время все эти желания могут показаться не требующими никаких доказательств, а от торопливости, с которой они предъявлялись одни вслед за другими, у иных, пожалуй, могла бы закружиться голова. Но дело в том, что они кажутся нам не

¹ Что он сам надеялся и намеревался сделаться новым Винкельманом, ясно видно из одного места в «Критическом леске» о винкельмановской истории искусства: «Как мне было бы желательно сделать относительно философии и поэзии греков то же, что сделал Винкельман относительно понимания их искусства!»

требующими доказательств потому, что мы уже давно имеем и такую филологию, и такие переводы, и такую историю греческой поэзии и философии, каких требовал Гердер; с другой стороны, мы имеем все это отчасти именно потому, что Гердер горячо и настоятельно указывал нам те задачи, которые следовало разрешить. Если Бюргер и Штольберг, а после них Фосс брались за перевод Гомера на немецкий язык, то это было по меньшей мере косвенным последствием вызова, сделанного автором «Отрывочных заметок». Первые филологические сочинения Фридриха Шлегеля были непосредственным плодом чтения «Отрывочных заметок» — хотя, конечно, и не их одних. Под влиянием воззрений Гердера и из соревнования с Винкельманом он написал статью об изучении греческой поэзии и очерк истории поэзии греческой и римской. Это были труды в высшей степени достойные уважения, и из них, как из плодотворного зерна, развилась наша теперешняя история греческой литературы¹.

Можно положительно утверждать, что следующие главы «Отрывочных заметок» служат лучшим доказательством основательности требований Гердера. Он сам был в то время знаком с греческими писателями лишь немного более основательно, чем те поэты, которым он указывал на их зависимость от греческих образцов; его познания по этой части едва ли давали ему право разрешать вопрос, в какой мере мы до того времени были подражателями греков, а некоторые из его суждений были так же неудовлетворительны, как и осужденное им в принципе подражание. Он был хорошо знаком с произведениями Гомера и был в избытке одарен способностью понимать дух его эпоса; поэтому, несмотря на свое пристрастие к Клопштоку, он не допускал сравнений между этим поэтом и творцом «Илиады» и указывал на недостаток движения и чувственной наглядности в «Мессиаде». Но вместо того чтобы повторять содержание разговора между христианином и раввином, он привязывается к замечаниям, набросанным в «Письмах о литературе» с подписью *FII*, и говорит, что Гомера так же мало понимали все греки, как мало понимают Клопштока все немцы; вслед за тем он вдается в такие объяснения по поводу выражения *χαλὺς χάραξός*, которые, несмотря на оказанную ему в этом случае Гаманом помощь², очень похожи на школьные. Эти объяснения представляют некоторый интерес только потому, что в них попадают некоторые дельные

¹ *Haym R. Die romantische Schule. Berlin, 1870. S. 179, 193 и сл.*

² Сравн. *LB. I, 2, 121 и 129; сравн. 257.*

замечания. Например, он вполне прав, когда советует изучать изменчивое значение таких сказуемых, для того чтобы верно понимать характер народа и дух времени, или когда он не находит в сочинениях Виланда, Изелина, Вегелина ничего, что напоминало бы о греческих писателях¹.

Более богата содержанием следующая глава, которая носит заглавие «Пиндар и дифирамбические стихотворцы» и высказывает такие воззрения, которые уже можно частью найти в рецензии сочинений Вилламова, помещенной Гердером в Кёнигсбергской газете. Нельзя сказать, чтобы здесь было видно более глубокое понимание поэзии Пиндара, чем какого можно ожидать от даровитого самоучки; но здесь привлекательна и остроумна попытка извлечь объяснение сущности дифирамба из истории его предполагавшегося постепенного возникновения при помощи некоторых на это указаний со стороны древних писателей — попытка, в основе которой лежит уже прежде высказанное Гердером воззрение на ход развития всякой поэзии. Гердер говорит, что дифирамбы — продукт еще грубой чувственной эпохи, и потому находит, что писать в наше время дифирамбы — бессмыслица. Он подкрепляет это суждение прекрасным, подробным критическим разбором дифирамбов Вилламова, отчасти с целью опровергнуть разбор Гриллона, помещенный в «Письмах о литературе», и оканчивает застольной песнью, как будто с намерением подражать дифирамбам своего земляка². Подкладкой для всей этой главы служат его собственные упражнения в сочинении дифирамбов и в подражании Пиндару, а с другой стороны, здесь многое напоминает его статью об оде. Уже в этой последней он высказал замечание, что наша лирика, в противоположность с тяжелой лирикой древних, прибегает к форме песни³. Именно здесь мы

¹ Касательно того, что он ошибочно принял сочинение Вегелина «*Leßte Gespräche Sokrates und Seiner Freunde*» за сочинение Виланда, см. прим. Суфана (SWS. I, 542). Еще К. Г. Шмид в своих «*Zusätze zur Theorie der Poesie*» (четвертый сборник, с. 164) ставит на вид эту ошибку Гердера.

² Застольная песнь находится с разными вариантами в дневнике Гердера; вот, например, ее 9-я строфа:

Griechen, euch begeister'immer
Dithyrambenwuth:
Mich begeistert Wein und Frauenzimmer
Doch — nur bis zu Lessings Gluth.

(Греки, вас постоянно воодушевляет неистовая страсть к дифирамбам; меня воодушевляют вино и женщины, однако не сильнее, чем Лессинга.)

³ LB. I, 3, а, 77.

ясно замечаем, как наш критик колеблется в выборе между различными точками зрения — между стесняющейся установленными правилами и свободной, между консервативной и радикальной. Иногда он старается только объяснить тот предрассудок своего времени, что древние образцовые произведения должны служить нормой для оценки других произведений; а иногда его основное правило, что писатель должен быть оригинален, заставляет его требовать и желать совершенно новой поэзии. Он желает, чтобы были переведены произведения Гомера, трагиков, Пиндара, и — несколько изменяя свою точку зрения — говорит, что было бы нежелательно видеть произведения Гомера переведенными иначе, как гекзаметрами; но ему кажется, что наш язык в сущности не годится для таких переводов и не поддается под стихотворный размер гекзаметров. Он сам вступает в соперничество с Пиндаром и пишет дифирамбы на разные древние и новые сюжеты; но он скоро отказывается от таких смелых и опасных попыток и находит, что для дифирамбов могут служить удовлетворительной заменой веселые застольные песни вроде тех, какие писал Лессинг.

И дальнейшие сравнения сильно страдают у Гердера от такой неопределенности его точки зрения и от его недостаточного знакомства с греческой литературой. Когда он называет Глейма немецким Анакреоном и за его «Песнь гренадера» ставит его «выше Тиртея», то мы — из нежелания укорять критика в незнакомстве с греческими писателями — должны напомнить, что даже Лессинг ставил «Песнь гренадера» наравне с произведениями Тиртея. Конечно, Гердер делает еще более грубую ошибку, когда, увлекшись одним шутливым выражением Лессинга в «Письмах о литературе», восклицает, говоря о Герстенберге: «Смотрите, здесь перед нами более великий писатель, чем Алкифрон!» Более основательны суждения Гердера об авторе пастушеских стихотворений Гесснере, которым так восхищались современники, и о Луизе Карш, которая печатала так много слегка набросанных стихов. По мнению Гердера, последнюю нельзя назвать немецкой Сапфо, а первого нельзя назвать новым Феокритом. От рассуждений о Феокрите и Гесснере Гердер переходит к объяснению понятия об идиллии; здесь он пользуется изложенной Мендельсоном в «Письмах о литературе» теории идиллии как взятым взаймы капиталом, который приносит доход только в руках должника. Он прибавляет к сухому изложению Мендельсона следующие положения: что страсть и чувство, выраженные наглядно, составляют альфу и омегу поэзии и что «украшать натуру» не значит вытеснять и искажать ее ссылками на вымышленный идеал

совершенства. В противоположность с мендельсоновской логической системой разделений на части и определений здесь обращает на себя внимание тенденция Гердера установить литературно-исторические категории историческим путем посредством изучения и сопоставления образцов, а с этой тенденцией здесь же соединяется старание проследить, как в каждом виде поэзии настоящая художественная форма постепенно развивалась из несовершенных зачатков. Все, что высказывает в этом отношении Гердер — более подробно касательно дифирамба, более сжато относительно идиллии, — доказывает нам, что в его уме зародилось намерение написать роман о различных возрастах каждого особого вида поэзии, сходный с тем романом, который был им написан о различных возрастах языка. Мы познакомились бы еще ближе с его воззрениями на этот предмет и получили бы от него очень ценное приложение к такой истории греческой поэзии, какой он желал, если бы он не отказался от своего намерения написать статью «об идеале греков в каждом виде поэзии» по той причине, как он выразился, что эта статья не удовлетворила бы его.

VIII. Третий сборник

Третий сборник принимает с самого начала направление, совершенно отличное от второго сборника, хотя и в нем обсуждается прежняя тема: сравнение немецких подражаний с их образцами. Подражание восточным образцам Гердер вставил в такие узкие рамки, что это стеснение почти равнялось совершенному запрещению. Напротив того, он поощрял к подражанию грекам только с той оговоркой, чтобы оно не отклонялось от правильного пути. Касательно подражания римлянам он упорно держался мнения, что римская литература оказывала более вредное, чем полезное, влияние на немецкую литературу и что вообще мы должны всего более стараться высвободиться «из-под римского ига». Здесь, очевидно, берет верх радикальная точка зрения; основное требование Гердера, чтобы наша литература сделалась самостоятельной, принимает здесь окраску национально-немецкого патриотизма отчасти под влиянием его рижской жизни и деятельности, а к его горячей заботливости о том, что национально, примешивается влечение к тому, что соответствует народным вкусам и общепонятно.

Он начинает с исторического обзора, который можно назвать поистине широко задуманным. Еще в предисловии к «Отрывоч-

ным заметкам» он указывал на историю литературы как на основу для правильной критики литературных произведений какого бы то ни было народа; для полного знакомства с греческими писателями он находил необходимой историю греческой поэзии и философии и указал, как должна быть написана такая история. Теперь его требования расширяются, и он находит необходимой всеобщую историю литературы. Нам уже не раз представлялся случай заметить, что когда в уме Гердера зарождалась какая-нибудь новая идея, то она свивала себе прочное гнездо в его голове и затем мало-помалу принимала такие широкие размеры, за которыми нелегко было уследить. Так случилось и теперь. Несколькими яркими штрихами — которые мы снова находим у него в более обработанном виде, лишь по прошествии многих лет, в седьмом сборнике писем о гуманизме — он прежде всего обрисовывает постепенное возникновение новейшей литературы из совокупного влияния идей, бродивших в литературе греков, римлян, северных варваров и восточных эллинов. Было бы желательно, говорит он, чтобы какой-нибудь историко-философский химик разложил направление новейшей литературы на его составные части. Но еще важнее задача проследить развитие этого направления с самого начала, т. е. расследовать, «каким образом дух литературы принял свой теперешний вид после всех своих колебаний и изменений!» А такая всеобщая история литературы представляется Гердеру лишь орудием для осуществления еще более широкого замысла: на самом краю горизонта уже всплывает перед его взорами история человеческого ума. Такое историко-литературное сочинение «снова облагородило бы опошлившиеся заглавия: „Histoire de l'esprit humain“ и „Geschichte des menschlichen Verstandes“».

Но на этот раз он останавливает свое внимание только на одной главе из истории возникновения новейшей литературы. Он ведет речь только о влиянии римского ума на немецкий.

После того как наши храбрые предки, говорит Гердер, сначала оборонялись от языка своих римских поработителей, к ним стал проникать пагубный римский дух со времен введения христианства и в особенности со времен Карла Великого. Монахи и толпы франкских священников стали распространять в Германии самый дурной римский дух и самый дурной римский язык. Допустим, что они были в то же время представителями более высокой культуры; все-таки остается неоспоримым, что они причинили нам большой вред, отняв у нас цельность нашего духа и нашего языка и извратив наш национальный характер. Но и в начале новых времен возрождавшиеся науки немедленно облек-

лись в новую римскую форму; ученость, литература и образование получили и сохранили такую окраску, которая была преимущественно латинской. Затем автор останавливает свое внимание на испорченности нашего языка и рассказывает, как этот язык был вытеснен латинским, как в него вносились латинские и французские элементы и как он был снова поставлен Готшедом на равную ногу с латинским. Он хвалит наш старинный немецкий язык и, выражая признательность за заслуги, оказанные в этом отношении швейцарцами, указывает как на образцовый на тот язык, которым говорили во времена швабских императоров, на язык Лютера, Опица, Логенштейна. Здесь, как видно, были высказаны мнения о различных предметах, не находившихся между собой в тесной связи. Тем не менее совершенно проста и понятна основная мысль Гердера. Еще в первом сборнике «Отрывочных заметок» (с. 50) он советовал собирать идиотизмы из времен миннезингеров, Опица, Логау и Лютера. Теперь он расширяет это требование, но все что относится к идиотизмам языка, к его старинным отличительным чертам, по-прежнему играет у него главную роль. Подобно тому как поэты должны сделаться «подражателями самих себя», говорит Гердер, и немецкий язык должен быть заново переработан так, чтобы сделаться «прототипом самого себя»; для этого нужно искать золото «в хижине старого немецкого Энния», т. е. «доискиваться старинных немецких слов из той эпохи, когда они были самыми выразительными» и с помощью их восстановить ослабевшую энергию немецкого языка.

Но вредное влияние латинского языка заходит еще далее. Господствуя в нашем воспитании и в наших школах, оно задерживает все наше умственное развитие. Это замечание переносит нас к ранее указанному нами пункту соприкосновения педагогической деятельности Гердера с его деятельностью литературной¹. Педантизм латинского воспитания задерживает парение юных умов и мешает развитию гениальных зародышей; чтобы развивать людей только полезных в обыденной жизни, следует отдавать предпочтение такому воспитанию, в котором играют главную роль реальные познания; даже когда ученое образование слишком односторонне направлено на изучение латинской литературы, то оно создает бездарных подражателей, а не свободных соревнователей.

И этого мало: латинский дух, к сожалению, проник даже в сущность наук. В качестве вспомогательного орудия схоластической философии латинский язык вместе со своей терминологией

¹ См. выше, в первой главе этой книги, с. 164, 165.

гией содействовал подавлению способности самостоятельно мыслить. Отсюда Гердер переходит к тем замечаниям касательно связи между языком и мыслью, которые были им изложены в первом сборнике. Увлекаясь этим своим любимым сюжетом, он, не теряя из виду мнений Аббта, объясняет, каков должен быть идеал изложения в настоящих популярных сочинениях (об этом мы уже говорили, когда характеризовали популярные произведения самого Гердера)¹. Еще красноречивее он развивает ту же мысль в ее применении к задаче поэта. Он доказывает, что только творческий гений способен сочетать живое чувство с выражением, со словом, значение которого неизмеримо; поэзия, по его мнению, приходит в упадок именно оттого, что нарушается естественное и непосредственное единство мысли и выражения, что поэзия, «похищенная у матери природы», становится «дочерью чопорности»; а отсюда само собой вытекает положение, что только на родном языке можно писать поэтические произведения, что можно вполне владеть только одним языком и, стало быть, оригинальный писатель непременно вместе с тем и национальный писатель. Далее отсюда следует, что, изучая и объясняя кого-либо из иностранных писателей, не следует забывать, что они чужеземцы. То, что Гердер здесь говорит о правильном понимании древних писателей, напоминает признание, сделанное Гаманом во втором из его писем об эллинизме, — что, читая древних писателей, он не обращает никакого внимания на подстрочные примечания ученых критиков². Мы, конечно, много потеряли от того, что некоторые языки совершенно вымерли. Но из этого еще не следует, что мы должны относиться «к древним как к таким мертвым людям», какими их сделало для нас «проклятое слово „классицизм“!» Объяснять Горация значит «относиться к нему как к находящемуся в живых писателю, который писал по такому-то поводу, с такой-то целью», — значит «возвращать ему жизнь, его стихотворения влагать в его уста и выслушивать их от него, его выражения объяснять его мыслями, его мысли объяснять находящимися налицо фактами, и все это воскрешать к новой жизни». Наконец, Гердер заканчивает этот ряд замечаний исследованием, в какой мере и в философии мысль и выражение могут и должны составлять одно целое. Это исследование нам уже известно, так как мы уже говорили о нем, когда шла речь о воззрениях, заимствованных Гердером из лекций Канта³.

¹ Сравн. выше, с. 177 и сл.

² Соч. Гамана II, 213, 214.

³ Сравн. выше, во второй главе первой книги, с. 112, 113.

Впрочем, оно менее ясно и менее убедительно, чем все изложенное выше; оно ничего не прибавляет к положению, которое Гердер желает доказать, — к тому положению, что как бы ни был полезен латинский язык в качестве «орудия учености», все-таки его влияние было вредно для национального духа, для свободы и оригинальности мышления и авторской деятельности.

После этих первых посылок, конечно, можно было ожидать, что подражания латинским образцам в нашей новейшей литературе подвергнутся более строгому порицанию, чем подражания образцам восточным и греческим. Однако это ожидание не сбылось. Глава «О некоторых подражаниях римлянам» (с. 70 и сл.) включает в себе так мало иллюстраций к только что приведенным соображениям, имеет такую слабую с ними связь, что в ней замечается не столько колебание между убеждениями неустановившимся и энергическим, сколько переход от первого к последнему. Мы, конечно, не ошибемся в нашем предположении, если скажем, что сопоставления, которые делает здесь Гердер, уже были большей частью изложены на бумаге, когда та более длинная статья еще вовсе не была написана. Она, очевидно, была впоследствии сюда присоединена и поставлена в начале. Те главы носят на себе отпечаток гораздо большей зависимости от «Писем о литературе», а здесь мы находим более свободное излияние мыслей автора, который иногда ссылается на некоторые места «Писем» без особенной в том надобности и как бы только для того, чтобы не уклоняться от принятой им внешней формы.

Можно положительно утверждать, что глава «Об одах Горация» была написана ранее многих других, так как здесь просто вставлено то, что сообщал Гердеру Гаман в письме от 29 августа 1765 г. Самое лучшее, что он намеревался сказать об оде, он отложил для той оставшейся недоконченной статьи об оде, о которой мы уже не раз упоминали ранее и на которую он здесь делает ссылки, сопровождаемые словами «может быть». Там он проследил бы исторически, как ода подвергалась у того или другого народа различным превращениям, подобно Протею, там он расследовал бы различные сюжеты оды, особенности ее языка и ритма, там он объяснил бы несходство между различными видами оды — между одой «чувства» и одой «действия», доказал бы, что ода — «первороденное дитя чувства», источник всех других видов поэзии, там он внес бы в эту всесторонне-законченную теорию оды большую часть того, что им было высказано в «Отрывочных заметках» о сущности поэзии и ее возрастах, наконец, он провел бы там параллель между древними и новыми сочинителя-

ми од¹. Но здесь он не выходит из более узких рамок. Говоря об одах Горация, он даже не находит уместным подробно разбирать произведения Клопштока и лишь мимоходом называет его оды «беседами сердца с самим собой». Почти безграничные похвалы выпадают на долю Рамлера как настоящего поэта, как автора «вполне образцовых од» и лишь слегка высказывается замечание, «что Гораций едва ли не слишком часто задерживает полет этого великого гения».

И глава о «стихотворении Лукреция» не имела бы большего значения, если бы она ограничилась несколькими замечаниями о наших «немецких Лукрециях», Галлере, Витгофе и Крейце: она становится интересной только там, где автор развивает идею о таком дидактическом стихотворении, которое было бы «достойно наполнить всю душу гениального человека». Эта идея характеристична для той точки зрения, которой в то время держалась наша поэзия, и еще более характеристична для умственного настроения Гердера; из нее видно, что в уме Гердера происходила борьба между поэтическими и философскими влечениями и что в нем гнездилась самая глубокая чувствительность вместе с недостаточной способностью к поэтическому творчеству, которую сдерживала рефлексия. Восставая против своего времени, он все-таки постоянно является его детищем и воспитанником. Вот почему, когда он утверждает, что его время «убивает поэзию», и когда он требует природной и народной поэзии, он в то же время постоянно пытается подготовить самую почву рефлексии к произрастанию истинно поэтических произведений. Он в сущности только определял средний уровень того, чего можно было ожидать от нашей тогдашней литературы, когда он неоднократно убеждал своих современников и своих соотечественников упражнять свои способности в прозе здравого смысла и в философской поэзии; он сам непрерывно занимался такими упражнениями: он, между прочим, писал, переписывал и переправлял дидактическое стихотворение о человеке. Именно здесь он говорит, что такое стихотворение о человеке было бы максимумом того, что может дать поэзия. Даже через несколько лет после того он признавался в письме к Мерку², что его мечты об этом предмете были неистощимы, и выражал сожаление о том, что его собственные «Отрывочные заметки» отчасти потерпели от того, что в них не была помещена «философическая эпопея о душе».

¹ См. статью «Об оде» (LB. I 3, а, 61 и сл.; 97).

² В апреле 1771 г. (LB. III, 368).

Ввиду дошедших до нас отрывков¹ из нее, мы не в состоянии разделять этого сожаления. Не подлежит сомнению, что в Гердере было более сильно, чем в ком-либо другом из его современников, влечение к такой истинной, самобытной поэзии, которая вырывалась бы потоками свободно и непосредственно из души. Но ему нужен был творческий гений, для того чтобы он мог попасть именно в тот пункт, где его требования были бы исполнены, а его влечение было бы удовлетворено. Осуществление той идеи, которая носилась в его уме в виде догадки, он сам перенес не туда, куда следовало. Он не без основания искал такого стихотворения, которое «затрагивало бы все стороны человеческого сердца», которое «стояло бы на самой большой высоте поэтического гения при нашей степени культуры и которое было бы самым оригинальным излиянием человеческой души». Он должен был искать такого стихотворения на почве лирики, на которую ему указывали и его теория оды, и его влечение к народным песням, или на почве драмы, на которую ему указывало чтение произведений Шекспира. Но он стал искать его на почве дидактической поэзии и в непосредственной близости к философии. Он променял глубоко душевное психическое влияние и происхождение поэзии на такой поэтический материал, который следовало извлекать из жизни человеческой души. Например, он с увлечением развивает ту мысль, что первоклассный поэтический гений должен усвоить философские умозрения о душе, должен вложить в каждую философскую истину чувственную жизнь, должен со своей небесной высоты обозреть всю мрачную глубину человеческой души и уметь передать нам все, что он там увидел и сам чувствовал; Гердер не сомневается в том, что такое стихотворение произвело бы на нас более глубокое впечатление, чем эпопея или драма, «которые могут затрагивать только одну струну или немного струн в человеческом сердце». Как будто переливы цветов происходят вовсе не от того, что луч света не только освещает сам себя, но и преломляется в бесчисленном множестве других предметов! Этот промах Гердера был в точности похож на промах Клопштока, который воображал, что произведет самое высокое поэтическое впечатление, если будет излагать в стихах такую тему, которая не входит в сферу поэзии, — великую религиозную тему об Искуплении. То было повторением ошибки Клопштока, которая, однако, была замечена самим Гердером²,

¹ Об этом можно найти указания у Суфана в примечании (SWS. I. 547, 548).

² Отрывочные заметки. III, 202.

что наш автор постоянно вращался только в сфере мыслей и чувств и даже свои сравнения заимствовал из умственной сферы.

Уже Гаман основательно указывал на то, что конец третьего сборника «Отрывочных заметок» вовсе не соответствует его началу¹. Он при этом имел в виду не одну только «связь этого конца с некоторыми разногласиями, возникшими между „Письмами о литературе“, с одной стороны, и Виландом, Крамером, Клопштоком — с другой»². Даже главы об элегии и о сатирах Горация были не чем иным, как объяснительными дополнениями к большой вступительной статье. Это, очевидно, были лишь приписки, едва ли прибавлявшие что-либо достойное внимания к отрывкам, заимствованным из «Писем о литературе»; это были на скорую руку набросанные замечания, из которых могло выйти и впоследствии действительно вышло нечто интересное только после второй или третьей переделки. Но содержанию вступительной статьи совершенно противоречит полное одобрение, с которым автор усваивает мнение Аббта, что Клотц является в своих написанных по-латыни сатирах настоящим преемником Горация и даже несколько напоминает Ювенала. С этой статьей сходятся только следующие главы, в которых идет речь об отношении нашего теперешнего красноречия к цicerоновскому. Отсюда можно сделать то заключение, что эти главы были зрело обдуманы и появились на свет под влиянием проповеднической деятельности Гердера³; Гердер как оратор обладал самостоятельностью, которой ему недоставало как поэту, поэтому и при критическом разборе современных поэтических произведений он высказывал лишь шаткие мнения о пределах поэтической самостоятельности.

Впрочем, в промежутке между вводной статьей и теми размышлениями, о которых мы только что говорили, вставлена в третьем сборнике (с. 123—169) особая статья, которая освещает с новой стороны, точно будто в его поперечном разрезе, вопрос о правильном способе подражать древним писателям. Не «Письма о литературе», а некоторые жидкие замечания, высказанные Клотцем в его «*Epistolae Homericae*», побуждают Гердера говорить «о новом употреблении мифологии» более подробно, чем прежде. Мы оставим в стороне вежливые отзывы о Клотце и полемику с некоторыми рецензентами, участвовавшими в «*Allgemeine Deutsche Bibliothek*» и в «Письмах о литературе», — и остановим наше внимание на главной идее в статье Гердера. Она вполне со-

¹ LB. I, 2, 261.

² Отрывочные заметки. III, 295 и сл.

³ Сравн. выше, в первой главе этой книги, с. 169.

гласна с теми основными правилами, которые были указаны Гердером для всякого подражания древним писателям. Подражание, говорит Гердер, само сделается оригинальным произведением, если оно заимствует от древних их искусство, их приемы, их поэтический гений; новейшие поэты должны при этом пользоваться древней или какой-либо другой мифологией, но не должны смотреть на нее как на заимствованные у других внешние украшения, как на безжизненный ученый набор фигурных выражений, а должны употреблять ее с новыми творческими дарованиями, должны сделать ее плодотворной и браться за дело искусной рукой. Указание на необходимость браться за дело искусной рукой едва ли было бы так определено, если бы Гердер уже не был знаком с содержанием Лессингова «Лаокоона»; он советует остерегаться мифологии, говорящей нашему воображению отдельными образами, так как она тогда обратилась бы в игривую и натянутую аллегорию; напротив того, он советует пользоваться ею при описании и какого-либо действия. Но он всего более настаивает на необходимости творческих дарований. Только здесь мы попадаем в тот пункт, в котором сосредоточен самый глубокий интерес всей статьи. Мифология древних, говорит Гердер, была их самым великим поэтическим произведением. Обыкновенных людей, естественные события, историю и окружающую природу они умели «творчески облечь в поэтическую форму и вдохнуть в них поэтическую душу». Первоначальным предметом этой мифологии, восклицает Гердер, были «небеса!», и почти ту же мысль он выражал в статье об оде¹: «Все это я имею в моем отечестве, в моей истории; вокруг меня разбросан материал для этого поэтического здания; недостает только одного — поэтического гения. Мы должны удивляться вам, древние писатели, и должны стоять перед вами с поникнутыми взорами: вы самую ничтожную вещь возвышаете из праха на блестящую высоту, а мы оставляем все окружающее нас творение Создателя в печальном запустении, для того чтобы грабить вас и плохо пользоваться награбленным!» А к какому же это приводит заключению? Оно уже было высказано Гаманом. «И там и сям — повсюду мифология! — говорит он в своей «*Aesthetica in nuce*», — поэзия есть подражание тому, что есть прекрасного в природе, и почему же открытия Ньюентита, Ньютона и Бюффона не могли бы заменить нелепую мифологию?.. Конечно, они должны бы были служить и действительно служили бы такой заменой, если бы это было воз-

¹ LB. I, 3, а, 72.

можно. А почему же мы не видим этого на деле? Потому что это невозможно, отвечают ваши поэты»¹. Звучащие как предсказания оракула слова Гамана повторяются у Гердера в виде столько же разумных, сколько метких предостережений; разница только в том, что Гердер менее резко восстает против «пошлой мифологии», позволяет разумно ею пользоваться и высказывает желание, чтобы с помощью ее методически развивалась фантазия теперешних поэтов. А так как древняя мифология изображала в аллегориях и олицетворяла то, что более всего льстит чувственности, то следует присматриваться к этим приемам поэтической фантазии греков и учиться у них искусству выражаться аллегориями; это искусство следует применять к окружающему нас «океану изобретений и наших отличительных особенностей» — «к новому миру открытий». «Короче сказать, мы должны изучать мифологию древних в качестве поэтической *гевристики*, для того чтобы мы сами сделали изобретателями». Здесь мы в первый раз слышим из уст Гердера ту мысль, что возможна совершенно новая мифология, которая была бы для наших поэтов тем же, чем была для древних поэтов древняя мифология; это та самая мысль, которую впоследствии снова развивали Фридрих Шлегель и Шеллинг, делая из нее более решительные и более широкие выводы². Гердер вообще не любил делать такие решительные выводы, какие свойственны доктринерам, не любил преувеличивать отдельные мысли до того, что они превратились бы в парадоксы. Сверх того, он, несмотря на свое старание все обновлять, сознавал свою зависимость от фактических условий, в которые была поставлена современная поэзия, и потому не мог упорно отстаивать такие слишком смелые воззрения. Пока дело идет об общих соображениях, у него хватает смелости далеко заходить вперед, но когда дело доходит до частных, он отступает назад. Поэтому и здесь он не настаивает на своей «мечте» о совершенно новой мифологии. «И легче, и безопаснее, — говорит он, — пользоваться мифологией древних, которая представляет уже готовый материал для поэзии». Только в этом смысле он понимает гевристический способ пользоваться древней мифологией, только в этом смысле говорит он, что из ее поэтических образов нужно уметь создавать новую мифологию. Древние мифы и повествования следует применять к более новым явлениям; им следует придавать новое поэтическое значение; их следует мес-

¹ Соч. Гамана. II, 260.

² См.: Гайм Р. Романтическая школа. С. 648, 649 и 692, 693.

тами изменять для достижения новых целей — иными словами, ими следует распоряжаться так же, как если бы эти материалы достались «хозяину дома и собственнику». Он объясняет свое мнение снова ссылками на произведения Рамлера и оказывается таким невзыскательным, что признает за оригинальную и истинную поэзию то искусство, с которым Рамлер перекраивает для своей новейшей поэзии то тот, то другой костюм из гардероба древней мифологии. В подтверждение своего взгляда Гердер также ссылается на некоторые из басен Лессинга и на некоторые пустяшные произведения Герстенберга. Он считает за «настоящее поэтическое пользование мифологией», когда, подобно этим двум писателям, стараются описать какое-нибудь явление природы, изобретение, происшествие наглядно, поэтически правдоподобно и поэтически изящно, примешивая сюда воззрения древней мифологии. Точно таким образом объясняет одна из басен Лессинга происхождение верблюда, точно так описывает нам Герстенберг происхождение поцелуя и т. п. И сам Гердер точно таким же образом описывал в баснях горлицу как образец нежной привязанности, умирающего лебедя, которому лира Аполлона сообщает дар пения, и другие тому подобные предметы. Здесь мы усматриваем возникновение тех чувствительных и частью уже в то время задуманных стихотворений¹, которые впо-

¹ В одной из рижских записных тетрадок Гердера, относящихся к промежутку времени от 1765 до 1766 г., мы находим следующие заготовки стихотворений: происхождение женской одежды; изобретение искусств и наук; изобретение различия между тем, что мое, и тем, что твое; изобретение букв; открытие [sic] оспы; происхождение различий между людьми, морщин, ямочек на лице; происхождение живописи, ваяния, колонн. Уже из этих заголовков видно, что для задуманных Гердером стихотворений должны были служить образцами произведения Герстенберга, а из слегка набросанных отрывков этих стихотворений видно, что Гердер намеревался постоянно употреблять в дело фигурный язык мифологии. Так, тему о ямочках на щеках предполагалось развить в трех сценах, перемешивая стихи с прозой; здесь предполагалось рассказать, как Венера, Паллада и Юнона возвратили заболевшей красавице здоровье по просьбе ее возлюбленного и наложили на ее щеки три ямочки в воспоминание о ее опасном положении и о ее спасении. Также в стихах он намеревался описать «создание горлиц». Вздых любви, раздавшийся из уст двух любовников, которых разлучает смерть, окрыляется и получает жизнь по милости богини любви; богиня кивнула головой; тогда вздох получил жизнь; ему были даны крылья любви, и вот появилась первая парочка воркующих голубков, обменивавшихся любовными вздохами:

Winkte, da floß der Seufzer
Lebend zusammen! Flügel,
Der Liebe Flügel wurden ihm!

следствии получили название «Парамифий» и, очевидно, имели сходство с баснями Лессинга, но по мягкости своих красок в то же время резко от них отличались. Но и развиваемая здесь теория, несомненно, была подражанием теории Лессинга. От воззрений Гамана Гердер перешел к воззрениям Лессинга и писал о гевристическом употреблении мифологии то же, что говорил Лессинг о гевристическом употреблении басен; Гердер сам положительно сознавался, что эта аналогия служила для него руководством. Лессинг доказывал и объяснял примерами, что из древних басен, как например из басен Эзопа, можно составлять новые басни, а Гердер говорил, что вся мифология древних может служить для нас обильным источником самостоятельных мифологических вымыслов. Но и этим не ограничивается зависимость Гердера от статей Лессинга о басне. Влияние этих статей постоянно заметно во всей рассматриваемой нами главе о мифологии. Значение, которое Гердер признает за мифологией и в сфере новейшей поэзии, основывается, по его мнению, между прочим, и на том, что мифологические личности «всем известны, потому что отличаются ясно определенным и к тому же очень поэтическим характером»; по мнению Лессинга, точно на таком же основании в баснях Эзопа выводятся на сцену звери. Кроме того, когда Гердер старается оправдать появление мифологических фигур в басне, он постоянно опирается на сделанное Лессингом определение басни, которое повторяет слово в слово. Наконец, когда он говорит о том, как трудно создать совершенно новую мифологию, он объясняет эту трудность необходимостью соединять дух вымысла с изображением фигур в уменьшенном виде. Он, очевидно, помнил замечание Лессинга, что при сочинении басен необходимо изображать фигуры в уменьшенном виде. Иными словами, не подлежит сомнению, что когда Гердер писал свою статью об употреблении мифологии, перед ним лежали развернутыми статьи Лессинга о басне.

Siehe! da saß der Täubchen
Girrendes erstes Brautpaar
Von Einem Liebe — Ach beseelt!

А эта парочка воркующих голубков служит с тех пор упряжкой для доброй богини, когда ее колесница спускается в рошу любви. Стихотворение, которое можно найти в одной из позднейших тетрадок Гердера, относящихся к началу 70-х годов, более чувственно и более привлекательно, чем парамифия, помещенная под таким же заглавием в «*Zerstreute Blätter*» (с. 178). В другой рижской записной тетрадке есть следующее заглавие одного небольшого стихотворения: «Происхождение красных роз».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПЕРЕДЕЛКА И ПРОДОЛЖЕНИЕ «ОТРЫВОЧНЫХ ЗАМЕТОК». «ТОРС»

I. Отрывочные заметки о драматургии

Чтобы вставить в свои «Отрывочные заметки» статью о новейшем употреблении мифологии, Гердер был вынужден отложить некоторые другие статьи, которые первоначально предназначал для третьего сборника и в которых намеревался высказать несколько замечаний «о наших французах и англичанах»¹. То, что им уже было заготовлено для этих статей, относится почти исключительно к драме: здесь идет речь о галломании в комедии и о том, как пишут трагедии англичане.

Воспользуемся этим случаем, чтобы познакомиться со взглядами Гердера на драматическое искусство на основании тех отрывков² из вышеупомянутых статей, которые помещены в «Жизнеописании».

Мы тотчас замечаем, что здесь гораздо менее остроумных, новых и метких замечаний, чем в статьях Гердера о лирике и дидактике. Когда Николай пригласил его написать рецензию комедий Лессинга, он отклонил от себя это предложение на том основании, что для этого требуется рецензент более сведущий в том, что касается театра³. Он не только был мало знаком со всем, что касается театра, но, кроме того, был от природы так склонен к лирико-риторическим приемам, был так глубоко субъективен, что не был в состоянии судить о композиции драмы; он смотрел на драматические литературные произведения только с точки зрения лирики, когда говорил, что они должны возбуждать менее сильное душевное движение, чем оды, и что они имеют целью не выражать, подобно одам, всю полноту чувства и воодушевления, а только «трогать и возбуждать»⁴. Если он иногда и возвышается

¹ К Гаману (LB. I, 2, 217); Отрывочные заметки. II, 378; сравн. выше, с. 216.

² LB. I, 3, а, 18 и сл. 54 и сл. Теперь также в SWS (II, 207 и сл.).

³ LB. I, 2, 278, сравн. 408.

⁴ Статья «Об оде» (LB. I, 3, а, 83).

над Лессингом, то именно в тех случаях, когда ведет речь о лирике; но критика Лессинга бесспорно превосходит его критику всякий раз, когда заходит речь о драме.

Нельзя сказать, чтобы его подвижный ум не пытался ознакомиться и с этой сферой литературы. Именно с этой целью он приступил к переводу «*Parallèle des tragiques*» и стал прибавлять к переводу свои комментарии; с этой же целью он посещал рижский театр. Он даже сам пытался писать драмы, как кажется, из желания не отставать от Лессинга¹. Он с признательностью подчинялся требованиям критики, которые были установлены Лессингом в «Драматургии», и почти так же живо, как «Драматургией», интересовался письмами о венском театре, которые начал писать талантливым фельетонным стилем Зонненфельс под маской Француза и которые он потом продолжал от собственного имени². Но он уже в то время сильно вчитался в Шекспира и именно благодаря этому близкому знакомству с произведениями английского писателя впоследствии был в состоянии сильно двинуть вперед и нашу драматическую поэзию. Но он мог это сделать только впоследствии, а теперь Шекспир был дорог его сердцу не столько в качестве великого драматического писателя, сколько в качестве великого поэта. Он неоднократно называет Шекспира истинным поэтическим гением, достойным стоять наряду с Гомером и с Оссианом, с Пиндаром и с Юнгом; он превозносит шекспировские монологи за то, что они производят лирическое впечатление, очень трогательны, полны чувства и страсти. Вместе с этим он, конечно, упоминает о волшебных чарах, к которым прибегает Шекспир, о его искусных вымыслах, указывает на его умение пользоваться содержанием британской истории, для того чтобы «иметь право над жизнью и смертью» своих действующих лиц, и объясняет такому жалкому критику, как Душ, что достоинства Шекспира заключаются не в колорите и не

¹ Так, например, в одной тетрадке в восьмую долю листа, относящейся к тому времени, когда Гердер жил в Кёнигсберге, намечен план античной трагедии под заглавием «Фидоклет»; написаны пятистопными ямбами только первая и вторая сцены первого из трех актов. Сравни. LB. I, 3, a, 16, в набросанном предисловии к «параллели трагиков»: «Проект трагедии „Христос“ по примеру „Евреев“ Лессинга». В другой тетрадке в восьмую долю листа можно найти — упоминаемый и в «Воспоминаниях» (III, 169) — план трехактной трагедии «*Mendoza und Alvere*», которая слегка напоминает «Сару Сампсон».

² Гердер к Шеффнеру (LB. I, 2, 271, 289); KW. I, 55; о Зонненфельсе к Николаи (Там же. 408); сравни. в четвертом «Критическом леске» (LB. I, 3, b, 403). Письма Зонненфельса о венском театре помещены в полном собрании его сочинений (Вена, 1784. Т. V, VI).

в украшениях, а в «широком, диком построении фабулы», в способности задумывать такой план драмы, что «голова кружится при одном поверхностном на него взгляде»¹. Эти разносторонние суждения о великом драматическом писателе были сведены в одно целое лишь в той статье о Шекспире, которая была написана Гердером в 1772 г.; до того времени Гердер иногда говорил о Шекспире в связи с общим вопросом о развитии нашей литературы путем подражания иностранным образцам, а в том, что касается драмы, Лессинг уже ранее Гердера высказал все, что можно было сказать самого дельного об этом предмете. Вообще, все замечания Гердера касательно драматургии не заходят много далее того, что говорил Лессинг в «Письмах о литературе».

Лессингу, как всем известно, принадлежит та заслуга, что он отучил наших драматических писателей от склонности к полному подражанию иностранцам и навел их на путь самостоятельного национально-немецкого творчества. Его нападки на задуманную Готшедом реформу театра по французскому образцу только повторяются в «Отрывочной заметке» Гердера, носящей заглавие: «Есть ли у нас французская театральная сцена?» Очень изящно и с явным намеком на пятое письмо Гамана о школьной драме (Соч. Гамана. II, 436 и сл.) Гердер называет нашу театральную сцену «ребенком, который путем подражания сделался благоразумным слишком рано» и который должен «многое в себе переделать», чтобы сделаться «новым Эмилем и питомцем природы». Уже Лессинг называл изгнание арлекина со сцены самой большой арлекинадой, какая когда-либо была разыграна, — а Гердер, ссылаясь на статью Мёзера о «грубом комизме», горячо одобренную и Лессингом в 18-й статье «Драматургии», еще решительнее старается облагородить гансвурста, доказать необходимость шутки и фарсы. Его мнение, что «находящаяся в детстве театральная сцена должна идти этой дорогой», было также мнением Лессинга; такого же мнения был и Гаман, который также «не чувствовал отвращения к подонкам драматического искусства» и видел в грубом фарсе лишь необходимую оборотную сторону сверхъестественного. Между тем как Лессинг вел речь преимущественно о трагедии, Гердер имеет в виду преимущественно комедию, когда задается вопросом, «может ли наша театральная сцена удержать свой оригинальный характер рядом

¹ К Шеффнеру (LB. I, 2, 190); Parallele etc. (LB. I, 3, a, 12, 13, 14). Рецензия писем Душа о развитии вкуса помещена в «Allgemeine Deutsche Bibliothek» (LB. I, 3, b, 65—67). Сравн. также ссылку на Шекспира в статье о мироздании по Моисею (LB. I, 3, a, 424).

с французской», а основой для его размышлений служит в этом случае одно замечание Мендельсона в «Письмах о литературе». Он касается вопроса о трогательной комедии и о мещанской драме, но и выше приведенные его размышления и его собственные драматические опыты таковы, что из его «разбросанных наблюдений и мнений» нельзя сделать никакого положительного вывода.

И в том, что касается трагедии, он вообще придерживается мнений Лессинга. Он повторяет жгучие слова, написанные Лессингом в 17-м «Письме о литературе», и заодно с ним берет сторону англичан против французов, сторону Шекспира против Корнеля и Расина. Только в «Отрывочной заметке» «о вкусе англичан в трагедиях» он принужден позволить себе «некоторые скромные уклонения» от мнений Лессинга; эти уклонения заключаются в том, что он не думает, чтобы английские драматические писатели и Шекспир могли быть безусловно хорошими образцами для немецкой драмы. По его мнению, Шекспир потрясает нас и ошеломляет; у него сценическая обстановка слишком разнообразна; он навязывает немецкому скептицизму много таких вещей, которые ему совершенно чужды и, кроме того, неправдоподобны. Гердер постоянно мечтает о совершенно оригинальной немецкой трагедии; но когда он требует, чтобы мы избрали середину между французскими и английскими писателями и чтобы главными отличительными особенностями будущей немецкой трагедии были привлекательность и занимательность, то мы невольно задаемся вопросом, выражал ли он этими словами какое-нибудь ясно определенное представление. И в предисловии к задуманному переводу «*Parallèle des tragiques*» он высказывает желание, чтобы немцы заимствовали у греков живость драматического действия, у французов — сентиментальность, у англичан — картинность, но почему же в «Отрывочных заметках», в главе о подражании грекам, говорится о драме лишь мимоходом? Гердер намеревался пополнить во 2-м издании второго сборника все пробелы и закончить параллель между писателями греческими и немецкими разбором «двух новейших оригинальных произведений» — это были «Филот» Лессинга и «Атрей» Вейсе¹; но именно на этом пункте перо выпало из рук Гердера. В рецензии Герстенбергова «Уголино» он отдает полную справедливость Лессингу в том, что в его «Филоте» взята за образец простота греков, но в той же рецензии воздаются такие же похвалы драме Клопштока «Смерть Адама»!

¹ Сравн. то, что говорится далее, и SWS. II, 200.

Тем не менее именно «Филот» побудил нашего критика написать в высшей степени странную статью о драме.

Ректор Линднер, усердно старавшийся возвысить церковную школу, задумал придать оживление школьному публичному акту и с этой целью написал несколько школьных драм, из которых те, которые он нашел самыми удачными, были изданы в свет под заглавием «Приложение к школьным занятиям» (Кёнигсберг, 1762) и с предисловием, полным самодовольства. Аббт указал в «Письмах о литературе» на недостатки задуманного плана и, упомянув мимоходом о «Филоте», признал никуда не годными и «Абдолонима», и все остальные драматические произведения Линднера. Добросердечный Гаман в своих «пяти пастырских посланиях о школьной драме» стал защищать своего старого друга от «заносчивых нападков критика» и остроумно придал пошлой мысли господина ректора совершенно новый оборот: по его словам, Линднер хотел доказать, что задача гения заключается в том, чтобы «возвратить драматическую поэзию в детство, омолодить ее и обновить». Гердер стал развивать ту же мысль, но придал ей, в особой отрывочной заметке о школьной драме¹, еще иной оборот. В качестве дальновидного педагога, он ничего не хочет знать ни о школьной драме, ни о детской драме, а требует юношеской драмы, ссылаясь в доказательство на «Филота». Чтобы омолодить театральные произведения, Дидро советовал выводить на сцену людей всех званий; но Гердер находит, что этой цели достигнуть легче, если будут изображать на сцене характеры и драматические положения юношей. Разве назначение драмы не заключается в том, чтобы выставлять перед нашими глазами в сокращенном виде выдающиеся сцены из человеческой жизни? А разве не входят в сферу человеческой жизни характеры и действия юношей, их образ мыслей и их похождения? Мало того, разве не удобнее ярко выставлять на сцене различные страсти и характеры в лице юношей и совершеннолетних мужчин, чем в лице мальчиков и стариков?

Для самого странного из драматических произведений Лессинга нельзя было найти более остроумного оправдания, чем то, которое заключалось в развитии этой также странной и юношеской мысли. Со всеми своими причудливыми изворотами, свойственными крайне оригинальным мнениям, она может быть поставлена почти наряду с намерением написать дидактическое

¹ Этот отрывок напечатан во 2-м томе SWS, с. 311 и сл. в числе материалов для 2-й статьи «Торса».

стихотворение о человеческой душе. Впрочем, она была лишь скоропреходящей прихотью. По крайней мере она не повторяется в написанной после того рецензии на драму «Уголино», несмотря на то что рецензент вполне основательно указывает на сходство между безрассудно смелым Ансельмом и Лессинговым геройским юношей. Впрочем, эта рецензия еще раз доказала, что одаренному нежной и глубокой чувствительностью Гердеру было очень далеко до верного понимания сущности драмы. От его внимания не ускользает то обстоятельство, что в «печальной картине» Герстенберга слишком мало движения, но он полагает, что в трагедии будет достаточно движения, если она будет изображать только «переворот в чувствах», только «их постепенное усиление до того момента, когда наступает развязка»; самую важную роль играет в его глазах лирический элемент, «мелодическая модуляция, с которой развивается ход драмы». Он вполне основательно замечает, что монотонность пьесы утомляет зрителя и даже внушает ему отвращение; но несмотря на это, он входит в мельчайшие подробности относительно лирического пафоса при изображении характеров! Иными словами, он обращает свое внимание не столько на драматическое содержание пьесы, сколько на ее поэтические достоинства и преимущественно с этой же точки зрения смотрит на пьесы Шекспира, на которые постоянно ссылается; он даже положительно утверждает, что не имел намерения писать статью специально о свойствах драмы, а только желал следовать за «потокотом своих чувств» и «делать критический разбор по внушению чувства»¹. И здесь, и в некоторых других статьях, касающихся трагедии, он высказывает бесспорно очень остроумные замечания о том, как авторы трагедий должны пользоваться историей вообще и в особенности историей их отечества; но во всех этих замечаниях так мало законченности, что они едва ли могли бы вызвать появление нового «Гёца Берлихингена». Только после того, как Лессинг довел до конца свою «Драматургию», и только после того, как Гердер познакомился с положением парижской театральной сцены, он был в состоянии оказывать действительное содействие развитию немецкой драмы по образцу Шекспира.

В этих «Отрывочных заметках» о драматургии, написанных Гердером в Риге, есть еще один пункт, который достоин внимания, ради того что в нем сказывается наряду с патриотизмом на-

¹ Точно так же он в первом «Критическом эссе» (с. 55) противопоставляет Лессинговым воззрениям на драму свой взгляд на Софокла «Филоклету».

шего критика и дорогой для него принцип самобытности. Николай развивал в «Письмах о литературе» (XII, 299 и сл.) ту мысль, что наша театральная сцена не выйдет из детского возраста, пока Германия будет заключать в себе несколько различных государств и пока не будет чувствоваться преобладающее влияние одной столицы и одного монарха. Гердер решительно и вполне основательно восстал против такого унитаризма, клонившегося к тому, чтобы сделать из Берлина то же, чем был Париж. Он доказывал, что существование театра, который стоял бы выше всех других, не соответствовало бы ни внутреннему положению Германии, ни ее нравам, ни ее потребностям, что преобладание господствующего при дворе вкуса имело бы скорее вредное, чем полезное, влияние и что не раздачами наград вызывают появление гениальных писателей. О таких внешних способах поощрения и о тех «жаждущих милостей» писателях, которые ищут покровительства у вельмож, он разделяет мнение, которое было высказано Мейнгардом в его статьях об итальянских писателях и которое одобрил Лессинг в своей рецензии этих статей. Напротив того, он ожидает полезного влияния на нашу драму именно от несходства между различными провинциями нашего отечества. Он полагает, что немецкая театральная сцена может сделаться вполне своеобразной только в том случае, если своеобразный характер каждой провинции будет отражаться на ней без всяких стеснений. «Наше отечество состоит из многих провинций; национальный отпечаток нашего театра также должен представлять смесь различных особенностей провинциального быта»; в особенности комедия могла бы извлечь большую для себя пользу из разнообразия «провинциальных нравов».

II. Памятная записка о Баумгартене, Гейльмане и Аббте. Первая статья «Торса»

Однако все эти «Отрывочные заметки» о драматургии остались в портфеле Гердера. Он отложил их в сторону, увлекшись совершенно новым литературным предприятием.

Именно тот человек, по следам которого Гердер всего чаще и всего охотнее шел в «Отрывочных заметках», — Томас Аббт кончил жизнь двадцати восьми лет 3 ноября 1766 г. в Бюкебурге, где он за год перед тем нашел в качестве доверенного лица при графе Вильгельме Липпе-Бюкебургском такую сферу деятельно-

сти, которая соответствовала его практическим вкусам гораздо больше, чем должность профессора в маленьком университете. «Смерть Аббта, — писал Гердер 19 февраля 1767 г. к Николаи, — лишила Германию незаменимого человека. Я не могу назвать другого писателя, который по своему образу мыслей и остроумию мог бы удовлетворять меня так же, как он; но лишь немногие способны усмотреть в том, что он сделал, и то, что он мог бы и желал бы сделать». Преждевременная смерть Аббта напомнила Гердеру о двух других писателях, которые так же рано расстались с жизнью и которым, подобно Аббту, он был обязан «самыми лучшими часами в своей жизни». Кому из нас не случилось вспоминать о таких выдающихся моментах в истории нашего собственного умственного развития, с которыми навсегда связан образ того человека, которому мы обязаны пробуждением дремавших в нас идей и новым блестящим их освещением? Если наши наставники и не были в общем мнении великими людьми, но они кажутся нам великими благодаря тому, что раскрыли нам глаза, и мы с признательностью чтим их память в течение всей нашей жизни. Почти так же была дорога Гердеру память Баумгартена, Гейльмана и Аббта, с которыми хотя он и не был лично знаком, но сходилась в направлении ума. Он знает, что эти люди не вызвали «никакого бросающегося в глаза переворота», но они дали ему много такого, чего он никогда не утратит. Можно вполне верить его собственному рассказу¹, что еще в 1762 г., когда только что умер Баумгартен, у него зародилось желание публично высказать, как был для него дорог этот умерший, что через два года после того у него зародилось такое же желание по случаю смерти Гейльмана, но он отказался от своего намерения только из опасения, что, восхваляя еретического теолога, сам прослышет за еретика. «Но когда я узнал о внезапной смерти Аббта, я уже не был в состоянии налагать на себя печать молчания: я оплакивал его смерть; мне казалось, что я вижу его тень, а в моем воображении носились перед моими глазами образы Баумгартена и Гейльмана. Я решился отправиться на их уже заросшую могилу и воздвигнуть им такой памятник, какой мог».

По этому случаю нам бросается в глаза такая прекрасная черта в характере Гердера, ради которой ему можно простить происходившие от его раздражительности суровость и резкость. Он

¹ Отрывок плана памятной записки о Баумгартене, Гейльмане и Аббте (LB, I, 3, а, 276 и сл.).

умел ненавидеть, потому что сильно чувствовал потребность любить. Если только он смотрел на человека в некотором отдалении, он умел распознать как его недостатки, так и его достоинства, и воздать этим последним должную похвалу с человеколюбивым сочувствием и с самой предупредительной готовностью. Из этой черты его характера проистекало все мастерство его критики; она возникла из его склонности мысленно переноситься в сферу идей той или другой личности, вычитывать из ее души то, что таилось в его собственной, и относиться с горячим сочувствием ко всякому своеобразному стремлению, ко всякой даже незначительной заслуге. Юный Лессинг, при своем воинственном стремлении к правде и справедливости, писал «Rettungen», а Гердер и в юности, и в старости любил воздвигать «памятники» и — по его собственному, часто повторяющемуся выражению — усыпать цветами могилы достойных людей.

Те люди, которым он пожелал воздать этот долг, были далеко не дюжинными. Имя Александра Готтлиба Баумгартена навсегда связано с названием эстетики. Иоанн Давид Гейльман занял почтенное место в истории теологии, благодаря своим богословским диссертациям и своему сочинению «Compendium theologiae dogmaticae», а его перевод Фукидида, до сих пор еще очень ценный, несмотря на свой старинный франконский слог, и его характеристика великого греческого историка¹ ставят его наряду с теми, кто проложил в Германии путь к основательному и осмысленному изучению греческих писателей. Гейльмана как переводчика единогласно хвалят и «Письма о литературе» и «Отрывочные заметки» Гердера (I, 75, 78). Та апокрифическая «Отрывочная заметка» о красноречии, в которой идет речь о церковных проповедях, заканчивается «венком, положенным на могилу Гейльмана» как автора статьи «Проповедник и его слушатели»². Влияние догматика Гейльмана на Гердера стало бы для нас более очевидным, если бы было приведено в исполнение намерение

¹ Kritische Gedanken von dem Charakter und der Schreibart des Thukydides, Lemgo, S. a.

² Сочинение Гейльмана носит заглавие: «Какие отношения должны существовать между церковным проповедником и его слушателями». В этой статье, точно так же как в «Отрывочной заметке» Гердера и в его статье «Оратор Божий», делаются резкие нападки на догматизирование с церковной кафедры и требуется, чтобы взамен книжного языка и библейских оборотов речи проповедник говорил простым общепонятным языком такие проповеди, которые прямо затрагивают за сердце, — чтобы от него исходили не «теоретические соображения, а трогательные мысли и нравоучительные указания» — чтобы его проповеди были нравоучительными в лучшем смысле этого слова.

Гердера прославить его наряду с Баумгартеном и Аббтом. Гейльман вышел из школы жившего в Галле богослова Баумгартена — брата того Баумгартена, который занимался эстетикой; благодаря своему близкому знакомству с греческой литературой и с лучшими произведениями новейшей литературы¹ он задумал изложить содержание догматики в самой привлекательной и самой безыскусственной форме. Вместе с тем, подчиняясь влиянию английской теологии и отчасти увлекаясь глубокими религиозными достоинствами немецкого пиетизма, он старался смягчить суровость ортодоксальной системы и придать некоторым догматам более понятный и более рациональный смысл. Наконец, он, подобно Эрнести и Михаэлису, желал, чтобы вся догматика была построена на основе точного, неизменно установленного, толкования Библии². В этом и заключалась та ересь Гейльмана, в которую опасался публично впутаться Гердер именно потому, что сочувствовал ей от всего сердца. Если бы он не отказался от намерения написать памятную записку о Гейльмане, он, конечно, пошел бы еще дальше в том же направлении — точно так, как, ничем не стесняясь, развивал далее и эстетическую теорию Баумгартена, и воззрения Аббта. Таковы были, в сущности, его отношения к названным трем писателям. Хотя он еще не сделал столько, сколько они, однако он уже предчувствовал, что превзойдет их. Баумгартену, который был самым лаконическим излагателем самых подробных философских систем, он был обязан элементами своих философских и эстетических воззрений. Крайне трудолюбивый Гейльман служил для него образцом в том, как можно согласовать с теологией классическое образование и широкое сочувствие к интересам литературы. Еще более возбуждавший его умственную деятельность и еще более приходившийся ему по вкусу образец он находил в «богатом новыми замыслами» Аббте, который с юношеским рвением и воодушевлением перешел от философии к истории, от сухих ученых занятий к живому влиянию на развитие человека и гражданина, —

¹ В числе его «Opuscula», изданных в 1774 г. в Йене Дановиусом, есть статья, написанная по-французски: «Traits de parallèle entre l'esprit d'irreligion d'aujourd'hui et les anciens adversaires de la religion chrétienne». Из другой его статьи: «De gustatu, in prima maxime aetate et scholarum spatiis conformando» видно, что он был последователем эстетики Баумгартена.

² Сравн. касательно Гейльмана: *Kloß*. Acta litt. T. I, часть II, 232 и сл.; к этому не прибавляет много нового Harles (De vitis philologorum II, 43). Касательно его теологической точки зрения см.: *Gaß*. Geschichte der protestantischen Dogmatik. IV, 97 и сл.

и Гердер мог воображать, что Германия немного потеряет от смерти Аббта, если Небесам будет угодно позволить ему самому долго сохранять свободу сердца и долго пользоваться досугом¹. Поэтому намерение воздвигнуть памятник трем писателям значило то же, что постараться поставить себя наряду с ними и вместе с тем возвысить себя на их счет. А это намерение предполагалось привести в исполнение именно теперь — когда в оценке объективного достоинства трех писателей пришлось бы указать на то значение, которое они имели лично для самого Гердера. Только о Баумгартене Гердер вспоминал и в более позднюю пору своей жизни, даже в конце своей литературной деятельности, как о творце эстетики, как о «человеке, основавшем школу настоящей критики»², а личности Гейльмана и Аббта он очень скоро совершенно потерял из виду.

Так как Николай уведомил его о своем намерении написать биографию Аббта, то он стал поощрять этого писателя к исполнению его намерения и к собиранию всех даже самых мелких литературных произведений покойного и стал с нетерпением ожидать указаний, которые мог извлечь из этих трудов Николай³; тем временем он все более вдумывался в «общую идею», которую намеревался положить в основу литературного памятника в честь трех писателей, и взялся прежде всего за характеристику Баумгартена, краткая биография которого уже была написана Аббтом⁴. Здесь он стал проводить ту идею с привлекательным воодушевлением⁵. Намерение написать дидактическое стихотворение о человеческой душе получило более определенную форму в применении к такому сюжету, который не позволял выходить из известных рамок. Сущность задачи заключалась в том, чтобы «изучить человеческую душу во всех проявлениях ее мыслей», описать ее «наглядно, верно, так, чтобы она сама казалась говорящей», — иными словами, описать ее так, как подобает «настоящему биографу души». Разве нет возможности написать вполне удовлетворительную психологию *a priori*, не прибегая с точностью естествоиспытателя к предварительному отделению индивидуальной личности от человеческой души. Эта задача, ко-

¹ Шеффнер к Гердеру (LB. I, 2, 333).

² Письма о гуманизме. VIII, 149, 178; Kalligone. III, 219.

³ Николай к Гердеру 30 декабря 1766 г. (LB. I, 2, 221), Гердер к Николаю 19 февраля 1767 г. (Там же. 230).

⁴ Теперь помещена в «Смешанных сочинениях» Аббта (IV, 215).

⁵ В упомянутом ранее отрывке памятной записки и пр., начало которого было переделано и помещено в «Торсе».

нечно, представляет бесконечные трудности! Даже самого себя человек знает лишь отчасти и не совсем ясно. Но пусть он вникает в чужую душу взором благоговейной любви — этот взор раскроет перед ним вместе с чужой душой и его собственную душу; «мы узнаём самих себя, как в платоновском воспоминании из небесного царства духов, когда кто-нибудь другой похищает наши мысли из нашей души». Именно это и случилось с Гердером при чтении произведений Аббта, Баумгартена и Гейльмана. И он так горячо настаивает на том, что чужая душа, которую мы разоблачили, переливает — «как будто поцелуем» — свою мудрость в нашу собственную душу, возвышает и вдохновляет ее, что мы заранее можем предвидеть субъективную окраску портрета трех писателей. Ему не удастся, как он сам в этом сознается, описать чужую личность, не наложив на нее в некоторой мере отпечатка «любовных грез» своей собственной души, так как нет возможности избежать, чтобы, описывая чужое направление ума, не внести в него и некоторые особенности своего собственного ума; итак, говоря о своих любимых писателях, Гердер стал бы описывать в их лице самого себя — так впоследствии думал и Гаман¹, конечно, еще лучше нас знавший Гердера.

Он хочет быть не только «биографом души», но также историком тех писателей и ценителем изложенных в их произведениях идей и таким образом «воздвигнуть им памятник из их собственных материалов». Здесь психологическую прозорливость Гердера озаряет новым светом поэтическое учение Платона о душе², и она оказывается гораздо более убедительной, чем психологическая близорукость тогдашней популярной философии какого-нибудь Зильцера или Мендельсона; а эта способность понимать индивидуальность человеческой души соединяется у Гердера с гениальными дарованиями критика и с точкой зрения историка. При своем дальнейшем развитии его новое литературное предприятие представляет очень близкое сходство с теми «Отрывочными заметками», в которых он описывал идеал настоящей критики. Как там он требовал, чтобы критик умел возводить идеи к их источнику, к образу мыслей писателя, так и здесь он этого требует от самого себя. Он хочет анатомизировать произведения трех писателей, чтобы разбудить их заснувший ум; он хочет изучить их склад ума, освоиться с ним вполне и обращать

¹ В конце рецензии «Торса» (Соч. Гамана. III, 416).

² Намеки на платоновскую мифологию души в «Федре» встречаются очень часто, как например: «Есть ли красота телесная и т. д.» (SWS. I, 44, 45; Отрывочные заметки. III, 70 и сл.).

свое внимание главным образом на их манеру писать, на то, что у них своеобразно, в противоположность с обыкновением журналов прицеплять к массе извлечений несколько собственных идей и обращать внимание больше на недостатки, чем на достоинства писателя; он будет придавать более важное значение форме и методу — тому, как мыслил писатель, чем тому, какой был плод его мышления.

Автор предполагал построить свое изложение на той же исторической основе, на которую уже ранее указывал в «Отрывочных заметках» как на необходимое условие для настоящей критики. Но теперь он приводит более остроумные и более глубоко-мысленные мотивы в подтверждение этого взгляда. Настоящий комментатор, говорит он, должен не только с любовью усвоить мнения автора, но должен также принять в соображение его прошлое и его будущее, постепенное развитие его убеждений и деятельности. Каждый автор имеет такую же связь со своим веком, какую имеет дерево с той почвой, в которой оно пустило свои корни; поэтому он должен носить на себе и «отпечаток своего времени». Стало быть, настоящий комментатор не тот, кто приспособляет мнения давно умершего писателя к мнениям своего времени, а тот, кто сначала обрисовывает все оттенки его мнений в связи с его эпохой, а потом дополняет их. Всякое описание чьей-либо умственной деятельности должно быть основано на понимании истории и законов постепенного развития; из этих слов Гердера видно, что в его уме снова мелькает уже знакомая нам и постоянно заманивающая его мысль написать историю наук и человеческого разума. Чтобы заложить фундамент для такой истории, необходимо, по его мнению, объяснять произведения какого-нибудь выдающегося писателя, как например Бэкона, указанием их связи с древними временами, оценивать их сообразно с требованиями того времени, когда они появились, и потом улучшать их сообразно с требованиями нашего времени. Именно так Гердер и намеревается поступать при оценке литературной деятельности своих трех любимых писателей. «Я намереваюсь, — говорит он, — указать пределы их значения для прошлых времен, для их собственной эпохи и для будущих поколений».

Он сам сознает, что требует от себя очень многого, а нам трудно предвидеть, к какой стороне своей задачи он отнесется с самым сильным сочувствием, в каком направлении он сделает скорей слишком много, чем слишком мало. К юношескому благочестию, которое внушило ему желание принести жертву в па-

мать усопших, постоянно примешивается юношеское честолюбие сделаться тем, кто будет далее развивать идеи этих усопших, очищать их и дополнять. Он неоднократно заводит речь о том удивительном факте, что человеческие души точно будто одарены притягательной силой магнита, так как передают одна другой свои врожденные способности; он говорит о «действительном переселении душ», которое заключается в том, что оставшийся в живых человек идет по стопам умершего и поднимает упавшее с плеч этого последнего одеяние пророка. К верному объяснению и описанию умственных особенностей тех писателей он присоединит критические комментарии к их сочинениям, для того чтобы постоянно указывать на их недоконченные проекты и очерки. Он будет объяснять их недостатки, будет останавливаться на их пунктах, откуда взор может обозревать более широкие сферы или легче проникать в их глубину; он будет указывать, «где посеяны те семена, из которых могли бы вырасти самые большие деревья, где стоят те тощие деревья, на которых должна показаться зелень, если о них позаботится какой-нибудь пророк», — иными словами, он намерен относиться к оставшемуся после трех писателей литературному наследию точно так же, как относился в «Отрывочных заметках» к письмам о литературе.

Именно в этом и заключалась опасность для нового литературного замысла. Новый поток идей направлялся в таком незначительном отдалении от старого, что идеи легко могли просачиваться из одного потока в другой или могли выйти из своих берегов и слиться в одно течение. Поэтому у Гердера накопилось лишь незначительное число новых идей, подобно тому как вышедшая из берегов реки вода частью находит для себя место в каком-нибудь новом бассейне, а остальная ее часть возвращается в прежнее ложе и усиливает быстроту потока. Из памятной записки о Баумгартене, Гейльмане и Аббте вышло только необделанное туловище статуи в честь Аббта; остальной материал пригодился для новой переделки «Отрывочных заметок» или для других статей, частью же остался без всякого употребления.

Гердер прежде всего взялся за памятник в честь Баумгартена. Придерживаясь своей программы, он начал с того, что постарался обрисовать направление философских идей Баумгартена, его литературные приемы и форму изложения¹. Баумгартен был в его мнении лишь второстепенным философом; его отличитель-

¹ См. указания, которые помещены в «Жизнеописании» (I, 3, а, 292 и сл.) под заглавием «Von Baumgartens Denkart in seinen Schriften».

ная особенность заключалась, благодаря его «способности метко характеризовать каждый предмет», в таком «резком и определенном выражении идей», какое необходимо для совершенства философии. Но чтобы употреблять такой чистый язык правды, необходимо предварительно добыть эту чистую правду; а истины Вольфовой философии доказывают, что баумгартеновское краткое изложение главных основ философии имеет форму «синтетической таблицы», годной для сведущего, уже прошедшего предварительную школу читателя. Для философии, еще не достигшей полного развития, и для подготовки к ее изучению нужен другой метод — аналитический. При этом следует заметить, что философия Баумгартена имеет свой особый филологический отпечаток. Разве можно одобрить такого немецкого философа, который постарался бы отнять у немецкого языка все его философское достоинство! К сожалению, Баумгартен связан латинским языком; сверх того, он не в меру подчиняется требованиям языка, так часто выражающего не сущность, а лишь внешность предмета, и вследствие того часто заменяет объяснение объективных понятий объяснением слов и их классификацией.

Но еще гораздо более интересует Гердера тот отдел баумгартеновской философии, который частью благодаря случайности, частью благодаря своим достоинствам навсегда обеспечил за этим писателем почетное место в истории немецкой философии; это — тот отдел, в котором Баумгартен так удачно придумал для науки об изящном название эстетики и вложил в это название тот заимствованный из философии Лейбница и Вольфа смысл, что под словом «изящное» следует разумеать полноту чувственного познания. Гердер старается объяснить и дополнить преимущественно те произведения Баумгартена, которые относятся к эстетике, здесь он всего более заботится о том, чтобы из семян выросли деревья, а тощие деревья покрылись зеленью.

Он объясняет направление Баумгартена ходом его умственного развития. Так как Баумгартен был учеником филолога Кристигау и в то же время читал произведения Вольфа, то из него вышел, с одной стороны, философ-филолог, с другой — философ поэзии, и он уже в своем первом сочинении пытался «пересадить философию Вольфа на почву ее юной подруги — поэзии». Из этих зародышей и возникла эстетика Баумгартена, а в этой эстетике Гердер видит «такую бычачью шкуру, которой можно обложить всю истинную философскую пиитику, так же как был обложен весь царственный город Дидоны».

Он усматривает главное достоинство этой эстетики в том, что она отводит в человеческой душе особую сферу «в собственность» поэзии. Это — сфера низших душевных сил, сфера чувственных понятий. Но вслед за тем комментатор говорит о том, как лучше осветить эту темную сферу, и тратит на это столько же горячности и красноречия, как и в то время, когда говорил о своем намерении написать дидактическое стихотворение о человеческой душе. Этой психологической, субъективной точке зрения он отдает предпочтение перед объективной точкой зрения Аристотеля и Баттё; он находит, что основное правило «доискивайся чувственного совершенства» более плодотворно и более полно жизни, чем правило «подражай природе». Но баумгартеновскую эстетику, конечно, следовало, с одной стороны, очистить и упростить, с другой стороны, дополнить психологическими опытами и наблюдениями. Ее можно очистить, подражая безыскусственности греков, а ее содержание можно пополнить тем, что исходит из глубины чувства, а не из набора бессодержательных философских выражений.

Гердер принимался несколько раз излагать на бумаге это содержание будущей памятной записки. Тем временем Николаи прислал ему три первых листа из своего сочинения «Ehrengedächtniss Herrn Thomas Abbt's», а вскоре после того и все сочинение¹; между тем он имел случай познакомиться с содержанием первого тома всеобщей истории, которую начал писать Аббт, и эта недоконченная работа показалась ему «грудой мраморных обломков»². Произведение того из трех писателей, с которым он всего более сходил в взглядах, отвлекло его внимание от сочинений Баумгартена; ему не стоило большого труда обрисовать личность Аббта: это было «описание образа мыслей Аббта в его внешних очертаниях», или — как стал теперь выражаться Гердер — в *Торсе*³.

Главные штрихи в этой характеристике уже давно нам знакомы: Аббт писал для всего человечества, он был наставником народа, был философом простолюдинов. Теперь эти главные достоинства Аббта объясняются его происхождением и тем, что он воспитывался «в среде среднего сословия граждан». От его любимых писателей Тацита и Саллюстия перешло к нему то понимание истории, которым он постоянно старался оживлять свои философские рассуждения; они же внушили ему желание подражать их

¹ LB. I, 2, 252 и (6 июля 1767 г.) 258.

² К Шеффнеру 15 сентября 1767 г. (LB. I, 2, 271).

³ То, что следует, извлечено из «Торса» (с. 24 и сл.).

слогу и выражаться с энергической краткостью. Если это не всегда ему удавалось, то причину этого следует искать в том, что он в то же время старался заимствовать у французских писателей живость и блеск, у английских писателей — картинность и юмор и наконец, сверх того, приспособлялся к тону «Писем о литературе».

Гердер долго останавливается на оценке слога, которым писал Аббт; даже те венки, которыми он обвиняет личность своего любимого писателя, почти совершенно скрывают эту личность от наших глаз; наше внимание отвлекают от Аббта листья и цветы, которые употребляет для этой цели и по мере надобности размещает Гердер. Он превосходно характеризует различие между слогом греков и слогом новейших писателей. По его словам, на стороне греков было то преимущество, что они «не выражались картинно», а «рисовали картины»; однако и наряду с безыскусственным греческим слогом, всегда выражающим все, что нужно выразить, не лишен достоинств новейший слог со своей «сжатостью» выражений. Гений, который желает вызывать появление других гениев, не может без утомления довольствоваться ясной, безыскусственной мудростью греков. «Удовольствие, испытываемое автором при виде того, как из-под его пера рождаются идеи и возникают образы, редко совмещается со строгой аккуратностью в обделке образов и идей. Те и другие сваливаются в кучу, но в этой куче лежат сокровища». От слога, которым писал Аббт, Гердер переходит к слогу вообще и как бы невольно начинает говорить о самом себе. В одном из своих прежних писем¹ он так возражал на замечания Гамана касательно его слога: «Я охотно признаюсь в неумении соединять свойственное всякому *homme d'esprit* флегматическое спокойствие с энтузиазмом гения». Далее он говорит: «Представьте себе, какую я испытывал бы душевную муку, если бы, занявшись подробным развитием какой-нибудь идеи, терял из виду десятков более новых идей, и примите в соображение жажду творчества в таком писателе, который видит, что из того, что он сеет, рождаются люди, а из того, что он пишет, — идеи». И как живо описывает он тот энтузиазм, ту душевную муку и каким образом то и другое чувство может сделаться высоким достоинством в писателе! «Мысли врываются со всех сторон, требуя для себя рассмотрения и изложения; они сталкиваются между собой так, что слышен треск, но наконец прокладывают себе дорогу. Из мыслей рождаются новые мысли, которые превращаются, без участия нашей воли, в изре-

¹ Написанном в октябре 1766 г. (LB. I, 2, 179).

чения; то является ко мне на помощь какая-нибудь метафора — зачем же отталкивать ее? то приходит на ум какой-нибудь исторический факт, и я желаю воспользоваться им. Но для того чтобы эта свита идей не осталась позади, как армия Дария, необходимо отвести для каждой из них небольшое место; сравнение превращается в метафору, метафора в имя прилагательное, исторический факт в пример; высказанное мнение объясняется примером и превращается в идею, а идея превращается в изречение». Далее Гердер доказывает, что наш язык отличается от греческого тем, что усвоил много чужеземных понятий, а потому писатель вынужден, чтобы быть понятным, создавать новые слова и прибегать к метафорам. Отсюда он переходит к произведениям Аббта, который, по его мнению, отличался способностью извлекать из нашего неподатливого языка новые способы выражения и благодаря этому сделался писателем общепонятным и поистине национальным — хотя и впадает в некоторые ошибки, о которых не совсем верно отзывался даже его биограф Николай.

Вслед за тем Гердер переходит от характеристики литературной деятельности Аббта к тому, как относился этот писатель к теологии. Несмотря на то что Аббт отказался от своих прежних теологических убеждений, все-таки Гердер замечает следы его первоначального теологического воспитания в некоторых из его воззрений на религию и в особенности в библейской окраске его слога. Таким образом Гердер снова заводит речь о слоге и не пропускает этого случая, чтобы повторить высказанный им в «Отрывочных заметках» совет — пользоваться нашим древним языком и в особенности теми сокровищами, которые заключает в себе Лютеров перевод Библии.

Наконец, несочувствие Аббта к университетской жизни наводит Гердера на замечания об отсутствии системы в способе изложения Аббта — и здесь живописец придает чужому портрету свои собственные черты лица. В его письме, написанном именно в то время к Шеффнеру¹, читаем: «Ничто мне так не противно, как наследственная склонность немцев строить системы». То же самое говорится здесь об Аббте, а объяснение причин такого склада ума может быть применено и к складу ума самого Гердера.

Для читателя постоянно становится все более и более ясно, почему Гердер мог найти именно в Аббте «собрата по уму». Это было нечто вроде той дружбы между мальчиками или юношами,

¹ От 31 октября 1761 г. (LB. I, 2, 287).

при которой дело никогда не обходится без идеалов, а каждый из друзей приписывает другому свои собственные самые возвышенные влечения и видит в нем отражение самого себя. Описание образа мыслей Аббта до сих пор сводилось к оценке его слога. А теперь Гердер наконец старается собрать все его сочинения «в свою душу». В этой окончательной характеристике, состоящей из психологического анализа, достаточно сделать лишь небольшие изменения, для того чтобы она подходила больше к Гердеру, чем к Аббту, которого мы теперь уже не можем выставлять в таком же блеске, в каком его выставлял Гердер, несмотря на наше уважение к его деятельному и энергичному уму. Гердер прав, когда говорит об авторе сочинения «О заслуге», что у него повсюду встречаются окончательные приговоры, которые если и не отличаются глубокомыслием, то отличаются полнотой. Он прав, когда находит у Аббта более пылкости, чем нежности чувств. Его также нельзя назвать неправым, когда он приписывает Аббту энтузиазм и называет его милым мечтателем, — но что касается остального, то кисть Гердера оказывается слишком щедрой и роскошной. Ввиду юношеской риторики, которой отличаются сочинения Аббта «О смерти за отечество» и «О заслуге», мы можем заметить, что скорее к самому Гердеру, чем к Аббту, можно отнести замечание, что лучи света, которыми Аббт озаряет свои сюжеты, «постоянно приливают новыми потоками» и что даже когда он не вполне убеждает читателя, он поражает его наглядностью своих доводов. Но способность олицетворять идеи действительно ли составляет самую выдающуюся черту в уме Аббта, или же она представляется Гердеру «самой возвышенной» только потому, что он сам чувствует в себе присутствие той «внутренней умственной силы», благодаря которой писатель в состоянии разоблачать неведомые истины? «Его эстетический вкус, его понятия о гуманности и о нравственности основаны на чувстве; то, что служит предметом для его наблюдений, близко и к его глазам, и к его сердцу; он не может видеть ничего изящного без того, чтобы прийти в восторг, он не может видеть ничего доброго без того, чтобы быть растроганным»; в нем сказывается тройное влечение — к изяществу, к гуманности, к добру, но так, что в основе всего лежит любовь к человечеству; все эти суждения нельзя назвать неверными по отношению к Аббту, но они еще более верны по отношению к самому Гердеру. При этом нам невольно приходят на ум Лессинг и Мендельсон. Нам всегда кажется несколько странным, что Лессинг был такого высокого мнения о своем Мендельсоне; но кого же могли бы

любить и уважать самые великие люди, если бы они не любили и не уважали тех, кто имеет хоть слабое с ними сходство? Точно так и юный Гердер любил и уважал писателя Аббта.

Характеристика Аббта была окончена Гердером в своих общих чертах; затем следовало написать и частью уже был написан «критический комментарий» к некоторым из сочинений Аббта — но на этом Гердер и остановился.

А Баумгартен? А Гейльман?

То, что уже было написано Гердером о первом из них, оказывалось недостаточным для сколько-нибудь законченной характеристики и вообще не удовлетворяло желания автора находить сходство с ним самим, а для характеристики баумгартеновской эстетики могло найтись и другое удобное место¹. Характеристика Гейльмана была по-прежнему такой щекотливой задачей, что Гердер вторично отказался от нее, не написав ни одной строчки. Итак, Гердер решился ограничиться в своем предприятии только произведениями Аббта. Все, что было ранее того им написано касательно содержания и метода изложения таких литературных памятников, могло оставаться в силе с небольшими изменениями и после того, как первоначально задуманный широкий план был вставлен в более узкие рамки. Все это было разделено на предисловие и на чрезмерно длинное введение «Об искусстве изображать чужую душу»; к этому была прибавлена характеристика Аббта «Im Torso», и эти три отдела были изданы в начале 1768 г. без подписи автора² под общим заглавием «О литературных произведениях Томаса Аббта; *Torс* памятника, воздвигнутого на его могиле; статья первая».

III. Переделка «Отрывочных заметок».

2-е издание первого сборника

Была еще другая причина, по которой первоначальный план памятной записки о трех писателях привел к такому результату. Первый том «Отрывочных заметок», равно как сборники первый и второй были быстро распроданы, и Гердеру предстояла их переделка для нового издания. Еще в конце лета 1767 г., немедленно

¹ Она была помещена, например, в четвертом «Критическом леске», который, впрочем, остался ненапечатанным.

² Сравн. с тем, что сказано выше о возникновении «Торса», введение Суфана к SWS. II.

но вслед за тем как он окончил лечение своих глаз и вступил в должность церковного проповедника, он обратился к Гаману с просьбой помочь ему в этой работе своими критическими замечаниями¹; в письмах к Шеффнеру, к Николаи, к Клотцу он в течение следующей осени неоднократно упоминал о новом издании, которое должно выйти в свет к следующей Пасхе или к празднику Святого Михаила, а из его письма к Шеффнеру от 31 октября видно, что он был всецело занят касавшимися нового издания вопросами². Но эта работа была двояким образом причиной того, что памятная записка была отложена в сторону. Она не только сосредоточила на себе умственные силы автора, но и поглотила часть материала, уже заготовленного для памятной записки; например, Гердер нашел, что из размышлений о философском языке Баумгартена и из некоторых отделов уже начатых комментариев к сочинениям Аббта нельзя сделать лучшего употребления, как вставить их в ту главу «Отрывочных заметок», где шла речь о языке.

Но в глазах Гердера вновь издать «Отрывочные заметки» было то же, что совершенно их переделать. Он так глубоко сознавал недостатки своего сочинения, что только теперь вознамерился превратить этих *filiū spurii, vultu deformes animoque haud ita liberati*³ в своих детей. Но чтобы оживить это новое произведение более вольным духом, нужно было прежде всего снять с него тесную зависимость от «Писем о литературе». То, что сначала считалось юным автором за желательную опору и за рекомендацию для его книги, стало превращаться для него в тяжелое бремя, по мере того как он стал сознавать, что может публично выступить перед публикой без посторонней рекомендации. Он стал сожалеть о том, что необходимость постоянно «ссылаться на „Письма о литературе“ сильно стесняла его»⁴, — и освобождение от этих уз было первой в высшей степени полезной переменой, отличавшей 2-е издание от 1-го. В новом предисловии⁵ было заявлено, что по причине многих неудобств, проистекавших и для

¹ В письме, которое не дошло до нас и на которое Гаман начал отвечать 29 ноября (LB. I, 2, 302).

² К Шеффнеру 15 сентября (LB. I, 2, 270); к Николаи 10 октября (Там же. 277); к Шеффнеру 31 октября (Там же. 284 и сл.); к Клотцу от того же числа (Briefe deutscher Gelehrten etc. II, 94).

³ К Шеффнеру (LB. I, 2, 285).

⁴ К Шеффнеру (LB. I, 2, 240).

⁵ SWS. II, 3 (SW в отделе изящной литературы. I, 20 — там, где издатель поставил слово *Nachbarschaft* вместо написанного Гердером слова *Nachbarn*).

автора, и для читателей из близкой связи с «Письмами о литературе», эта связь уничтожена, большая часть вставных цитат устранена, а вследствие того и в заглавии исчезло название «Отрывочных заметок» приложениями.

Таким способом было устранено главное препятствие для совершенной переделки «Отрывочных заметок», и автор прежде всего позаботился о более систематическом распределении содержания своих статей. В предисловии указан этот новый порядок изложения. Первый сборник должен был состоять из замечаний о языке, более самостоятельных, чем прежние; второй должен был заключать в себе только рассуждения о греческой литературе; в третьем предполагалось вести речь о римлянах; в четвертый должна была войти исключенная из второго сборника и расширенная в своем содержании статья о восточных странах, а для того чтобы не пропадали даром и остатки от прежних статей, сюда же должно было войти из 1-го издания все, что имело самую тесную связь с «Письмами о литературе»¹.

В предисловии сказано, что новое издание, пожалуй, может считаться за новое сочинение. Это совершенно верно относительно первого сборника. Ведь там почти ничто не осталось на своем прежнем месте; прежние статьи большей частью искрошены в куски, из которых, с примесью множества новых камней и нового цемента, воздвигнуто новое цельное здание почти не менее обширное, чем прежнее, несмотря на то что из него выброшен неподходящий к нему материал. Новое здание шире и выше прежнего; в нем более цельности и правильности, однако местами оно кажется чрезмерно обширным и на нем много вовсе ненужных украшений. Глядя на него, мы чувствуем то же, что чувствует каждый, когда переселяется из тесного и неудобного жилища в более просторное и удобное: мы чувствуем, что, несмотря на переход от худшего к лучшему, мы лишились некоторых мелких удобств, с которыми уже успели свыкнуться.

Например, мы прежде находили в самом начале книги прекрасную статью «О возрастах языка». С первого взгляда нам может не понравиться то, что теперь этот портал перенесен далее², — но потом мы вынуждены сознаться, что более всесторонняя его отделка вознаграждает нас за это в избытке. Действительно, только здесь становятся для нас ясны главные мотивы этого

¹ Из письма к Клотцу (SWS. II, 94) видно, что по первоначальному замыслу «статья о Востоке должна была наполнить весь второй сборник» в более тесной связи с тем порядком, какого Гердер придерживался в 1-м издании.

² Так что он теперь составляет только третий из главных отделов (SWS. II, 58).

очерка и вместе с тем вся глубина исторических воззрений Гердера. Но не одному только Винкельману или Монтескье он был обязан своей склонностью на все смотреть с исторической точки зрения. Более длинная статья, содержание которой было извлечено из статьи об истории поэзии¹, доказывает нам, как много пользы принесло ему изучение произведений Лессинга, из которых он так усердно делал извлечения: там Гердер излагал понятие о постепенном развитии и доказывал важность генетического объяснения вещей. В связи с этим он теперь подробнее вникает в тот вопрос о происхождении языка, которого лишь слегка касался в 1-м издании. Опровергая теорию Зюссмилха о божественном происхождении языка, он подробно развивает то, на что прежде только намекал, — что «народы именно при помощи языка мало-помалу научились мыслить и при помощи мышления мало-помалу научились говорить», что совершенно нелепа гипотеза о существовании только одного идеального языка и о происхождении языка из божеского откровения, что эта гипотеза «несовместима с возникновением всех других человеческих изобретений, с историей всех мировых событий и с какой бы то ни было философией языка», что нельзя составить себе никакого другого более разумного понятия о языке, как то, что он — «развитие рассудка» и «продукт человеческих душевных сил». Отсюда видно, что он уже тогда твердо держался того мнения, которое впоследствии подробно развивал в написанном на премию сочинении о происхождении языка. Но в сущности он только переносил на вопрос о языке ту полемику, которую вел против божественного происхождения поэзии в ранее написанном отрывке из истории поэзии². В то время он этим способом подвел философски фундамент под свой «роман о языке», а теперь он расширил и самое здание. Выказанный в то время взгляд на возрасты языка находился в связи с исследованиями Блэкуэлла о Гомере. Поэтому Гердер теперь дольше останавливает свое внимание на эпосе Гомера, стараясь как можно яснее доказать огромное несходство нашего языка с языком древнейших греческих поэтов. Он прекрасно объясняет на примере Гомера, в чем заключается столь важное для истории всякой литературы отличие натуральной поэзии от искусственной и как совершается переход от первой к последней. Гомер «попадает именно в тот пункт, тонкий как волосок и острый как лезвие меча, где натура и искусство со-

¹ Сравн. SWS. II, 61 и сл. с LB. I, 3, а, 98 и сл.

² Сравн. SWS. II, 66 и сл. с LB. I, 3, а, 118 и сл.

единились в поэзии, или, вернее, где натура поставила на границе своих владений законченное произведение своих рук, для того чтобы оттуда начиналось владычество искусства, а самое произведение служило памятником ее величия и совокупностью ее совершенств». С тех пор эти положения сделались атомами и в истории литературы, и в эстетике. Хотя Гердер и утверждает далее, что в составлении гомеровских поэм из рапсодий нигде не заметно «никаких скважин и никакой замазки», однако впоследствии нашлись более прозорливые критики, которые смотрели на это иными глазами; но у Гердера прежде всех других оказался такой поэтический слух, что он был в состоянии с восторгом уловить безыскусственную певучесть, которая слышится в спокойно катящихся, как волны, поэтических периодах этих поэм.

Итак, вся эта глава об истории языка передвинута далее, но вместе с тем значительно расширена. При новом распределении статей поставлено в начале богатое мыслями рассуждение о таком предмете, который лишь вкратце обсуждался в первом издании, — о связи языка с литературой; непосредственно вслед за тем помещена, в виде второго ряда «Отрывочных заметок», глава об особенностях, которыми отличается наш язык от языков соседних народов. В прекрасной статье «Язык как орудие человеческого мышления» смело высказано несколько желаний, которые впоследствии были исполнены или вполне или частью; например, там высказано требование немецкого словаря — настоящей семиотики¹, почерпнутой из анализа языка, — «отрицательной философии», критически пользующейся установленными правилами языка. Действительно! Мы тем менее имеем права быть недовольными новым распределением содержания, что историческая точка зрения автора постоянно видна и в поставленных в начале сборника статьях. Не более как последствием такого метода была даже та мысль, на которой здесь все вертится и которая ведет свое начало частью от Бэкона, частью от Лессинга, — мысль о преимуществе всего особого и своеобразного над общими отвлеченными понятиями. Язык существует только потому, что в нем есть жизнь, — а именно потому он и существует

¹ Этот способ выражения он, очевидно, заимствовал из «*Neues Organon*» (Лейпциг, 1764) Ламберта, который дал третьей главе своего сочинения название (которое, впрочем, употреблял и Баумгартен) семиотики (II, 5 и сл.). «Я изучил сочинение Ламберта, — писал Гердер 31 октября 1767 г. Шеффнеру, — и при случае опубликую мое суждение о нем и мои прибавления». На Ламберта он указывает и в SWS (II, 36, прим.), и позднее в статье о происхождении языка (с. 13).

только в форме национальных языков. «У каждой нации есть свой собственный запас идей, облекшихся в определенные внешние формы», — есть свой национальный язык и вследствие того есть национальная литература. Мало того, даже каждое литературное произведение, каждый вид литературы, каждая школа, каждый отдельный писатель имеют свой особый язык. Научный язык сам по себе; язык обыденной жизни также сам по себе, а внутри этих главных видов языка есть множество второстепенных различий. А когда все общие размышления Гердера о языке, частью вращающиеся в пучине нескончаемых вопросов и задач, применяются к нашему языку, то все снова сводится к доказательствам его своеобразности. Положение, из которого все исходит в этой заново переделанной главе, заключается в следующем: несмотря на то что в наш язык делалось много вставок, чуждых его характеру, все-таки если существует язык который можно назвать «первобытным, своеобразным национальным», то этот язык — немецкий; «он — своеобразное создание, которое имеет сходство с другими, но имеет свой первообраз в самом себе». Поэтому и похвалы нашему языку высказываются совершенно иначе, чем в 1-м издании. Как горячо делались в третьем сборнике нападки на господство латинского языка, так же горячо и гордо превозносятся здесь достоинства отечественного языка в связи с достоинствами немецкого национального характера и — так же, как там и в «Торсе», — делаются ссылки на язык Лютера и Опица. Наряду с защитой энергических слов в немецком языке восхваляются его «звучные слова», и при этом идет речь преимущественно о его «живом благозвучии», о его «живописной музыкальности», которыми поэту остается только пользоваться. Отчасти вследствие таких воззрений на немецкий язык Гердер и придавал такое важное значение внешней форме кантаты, что в предисловии к своей кантате на праздник Св. Троицы¹ требовал, чтобы ей было отведено место «вслед за эпическим стихотворением и драмой». Но Гердер снова напоминает нам о третьем сборнике, когда немедленно вслед за тем энергически восстает против обычных требований изучать классиков. Он переносит сюда статьи из рукописи, предназначенной для продолжения «Торса»², и из всего этого отрывка образуется в уменьшенном размере памятник в честь «Аббта, слишком рано умер-

¹ SWS. I, 59.

² «Rhapsodien aus der Philosophie der Sprachen» — этот заголовок стоит на рукописи, из которой мы извлекли эти сведения.

шего для Германии и для ее языка». Затем автор соединяет нападки на безжизненную правильность с нападками на требование учености, на слог, свойственный профессорам и требующий, чтобы все излагалось по параграфам, а от похвал тому, что национально, он переходит к похвалам тому, что общепонятно. Мы слышим голос одного из представителей периода бурных стремлений, когда Гердер насмехается над теми критиками, которые не позволяют употреблять «никакого смело придуманного нового слова, никакого выражения из обыденной жизни и не допускают никакой причуды, если только в ней может быть усмотрено нарушение какого-нибудь правила». Для тех писателей, которые хотят, чтобы их произведения были настоящим национальным сокровищем, он энергически требует права «обходить даже законы и правила». Наш язык, говорит он, еще не пережил периода своего развития. Такие образцы, которые могли бы навсегда оставаться образцами, быть может, и появятся с течением времени. «Пусть же у нас будут только провинциальные писатели, какие нужны для нашего народа, для наших сюжетов и для нашего языка, — а достойны ли мы называться классиками, это решит потомство!»

В общем результате оказывается, что первая и вторая главы в заново переделанных «Отрывочных заметках» более цельны, более правильно изложены и более богаты содержанием. Сверх того, некоторые новые литературные замечания были вставлены благодаря тому, что Гердер уже не шел в своих критических заметках по стопам «Писем о литературе». Так, в главу о вольном стихотворном размере вставлена похвала произведению Герстенберга «*Gedichte eines Skalden*». Автор упоминает мимоходом о «Дон Сильвио Розальва» (Гердер пишет: Антонио Розальва), обращает внимание на речь, с которой Лёвен обратился к гамбургским актерам, а в произведении Клаудиуса «*Versuche aus der Litteratur und Moral*» видит отвратительный образчик новейшей манеры излагать «самым цветистым слогом» самые большие пошлости¹. Наконец, в этой галерее наших лучших оригинальных

¹ Эти нападки на Клаудиуса были вызваны помещенным в «*Jenaischen Gelehrten Zeitungen*» (1767. № 76. С. 630) объявлением о выходе в свет его «очерков». В этих очерках говорилось: «Наш век слишком много занимается искусственными подделками, и наши писатели большей частью дают нам вместо золота эмаль и бронзу. Подумайте, чем были Плиний и Сенека сравнительно с Аббтом и Гердером; тогда, быть может, вы решите, какой металл преобладает в нашем столетии». Что это замечание раздражило Гердера, видно из его письма к Шеффнеру (LB. I, 2, 292). Но только в разбираемой нами статье он отвечал на это оскорбление.

писателей ему следовало бы заменить легкий очерк личности Лессинга более цельным портретом — следовало бы тем более потому, что у него уже давно был в руках полный «Лаокоон», о выходе которого в свет он успел только упомянуть в одном из примечаний к 1-му изданию. Однако вся характеристика оригинальных писателей перенесена с небольшими изменениями из старого издания в новое, и в ней по-прежнему говорится, что между произведениями Лессинга можно указать только на одно вполне законченное сочинение в прозе. Поэтому мы вынуждены предполагать, что по новому плану «Отрывочных заметок» для Лессинга было где-нибудь отведено особое место¹.

Между немногочисленными изменениями, которым подвергалась глава о семи оригинальных писателях, нам бросается в глаза одно примечание к характеристике Мозера, написанное с целью уменьшить высокое значение, которое придавали этому писателю. Это примечание было вызвано письменным заявлением Николаи, что многих сердит возвышение Мозера до одного уровня с классическими писателями². Этот факт наводит нас на подозрение, что на переделку «Отрывочных заметок» имели влияние доходившие до сведения Гердера критические замечания, но на самом деле эта переделка производилась под влиянием таких критических замечаний, которые высказывались печатно. Целый ряд прибавок был прямым ответом на упреки и указания его рецензентов³, и в особенности тех, которые писали в современных изданиях Клотца. Именно этим нападкам, принудившим автора «ясно высказаться», мы обязаны нападками Гердера на классицизм⁴ и в особенности прекрасным содержанием его «Романа о языке». Сюда же относятся и вышеприведенное мнение о Гомере, и то место, где Гердер переходит от Гомера как представителя юношеского возраста языка к возмужалости языка. Именно здесь Гердеру пришлось защищаться от неосновательного предположения одного рецензента, будто, по его мнению, в возрасте возмужалости языка уже не могут появляться хоро-

¹ См. дальше, № IV.

² Николаи к Гердеру 2 мая 1767 г. (LB. I, 2, 254, прим.; SWS. I, 220; SW в отделе изящной литературы. I, 118).

³ SWS. II, 42 (против упрека, сделанного в «Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen», за то, что он презрительно отнесся к приверженцам швейцарской школы); далее SWS. I, 227, SWS. II, 58, 60, 76, 79 (по тексту SW в отделе изящной литературы. I, 83, 125, 133, 139, 162, 172).

⁴ Он уже высказывался об этом предмете в полемике с Шеффнером (LB. I, 2, 163, 188).

шие поэты; эта необходимость защищаться и вызвала Гердера на самые глубокомысленные размышления. Ведь именно по этому поводу он доказывает высокое значение «того века, когда поэзия начала отделяться от философии, а натура от искусства». Именно там, по его основательному замечанию, находится «центральный пункт в сфере истории греческой литературы». Начиная с этого пункта он излагает цельный план истории греческой литературы и высказывает намерение описать, как после эпоса возникла лирика, а после лирики трагедия, как развитие музыки беспрестанно придавало новые формы обратившейся в искусство поэзии, пока эта последняя наконец не сделалась ученой поэзией. Далее он объясняет, как Геродот, этот Гомер прозаиков, служит для нас представителем того века, когда возникала проза, как потом проза достигла у Ксенофонта и Платона своей «самой высшей природной красоты, вершины безыскусственного красноречия», для того чтобы потом превратиться у Демосфена и Исократ в искусство, а еще позднее у Аристотеля и у его последователей сделаться еще более сознательно искусственной. Дойдя до этих размышлений, мы достигли самого выдающегося пункта во всем сочинении. После того изложение слабест, а следующие затем соображения о настоящем языке философии производят на нас такое впечатление, что дополнения, заимствованные из рукописной памятной записки о Баумгартене¹, скорее затемняют, чем уясняют первоначальную основную мысль — мысль о том, что писатель должен выражаться свободно и пользоваться провинциальными оригинальностями своего родного языка.

Впрочем, влияние критики на переделку «Отрывочных заметок» обнаружилось еще другим путем.

Нет ничего удивительного в том, что молодой, предприимчивый и очень начитанный писатель, так часто задумывавшийся над вопросами касательно языка и слога, еще не выработал для самого себя никакой определенной стилистической формы. Ему некогда было заботиться о слоге, когда он делал для Кёнигсбергской газеты скороспелые извлечения из наскоро прочитанных книг или писал о них отзывы. Потом, когда он писал рецензии для Николаи, он избегал слишком резких отличий от того тона, который господствовал в «Allgemeine Deutsche Bibliothek». Ког-

¹ Сделанные из этой рукописи заимствования указаны Суфаном в введении к SWS. II. Сравн. касательно этой части «Отрывочных заметок» выше, в книге первой, главе второй, с. 112, 113.

да он желал, чтобы его сочинение было общепонятно, он с сомнительным успехом стремился к осуществлению идеала, созданного им в подражание тому или другому образцовому писателю. Но когда он произносил церковные проповеди, он являлся именно таким, каким был на самом деле. Тогда его речь лилась прямо из его сердца; тогда он черпал нужные выражения из своих самых благородных природных чувств; тогда ему придавали бодрости и его общественное положение, и его отношения к слушателям — и он не стеснялся никакими целями или посторонними соображениями в том, что касалось его слога; здесь всего чаще встречаются те безыскусственные элементы трогательного, благородного и пылкого красноречия, которые мы находим в искусственной обделке в самых тщательно обработанных произведениях, относящихся к эпохе его путешествий. Но каким же слогом писал он свои «Отрывочные заметки о новейшей немецкой литературе»?

Это сочинение, так настоятельно требовавшее общепонятного изложения, отличалось не столько исполнением этого требования, сколько такими своеобразностями, которые, без сомнения, обнаруживали умственную энергию и самостоятельность автора, но вместе с тем свидетельствовали о происходившей в его уме борьбе и потому препятствовали спокойной и ясной оценке его достоинств. Современная критика стала немедленно и единогласно ставить «Отрывочным заметкам» в упрек их слог, наполненный натянутыми метафорами и намеками и имевший сходство со слогом только одного из тогдашних писателей. Начиная с Николаи и кончая Клотцем все находили, что в «Отрывочных заметках» господствовал «гамановский *cant*». Считалось несомненным, что безымянный автор был подражатель и ученик автора «Крестовых походов». Ведь даже во введении слышался отголосок некоторых выражений из гамановских «Облаков» и употреблялся «пантомимный» язык вроде того, каким произносил свои изречения «дельфийский оракул»¹; кроме того, в книге беспрестанно встречались такие обороты речи и такие выражения, которые если и не были прямо заимствованы от того филолога, то во всяком случае могли бы быть ему приписаны²; вообще

¹ Сравн. «Отрывочные заметки» (I, 18) с Соч. Гамана (II, 74); см. также: Отрывочные заметки. III, 325.

² Сравн., например, в «Отрывочных заметках» (I, 134): «Они пишут на скуку публике» с заглавием Сократических достопримечательностей; в «Отрывочных заметках» (I, 137) неоднократно употребляемое Гердером (LB. I, 3, а, 70 и 201) выражение: «смотреть на людей, как на деревья» с Соч. Гамана (II,

в ней преобладали такие же литературные приемы, какие были частью заимствованы Гаманом от великого английского юмориста Стерна, частью соответствовали оригинальному складу его ума, любившего выражаться загадками. Разве Гердер, находившийся в такой сильной зависимости от воззрений Гамана, мог не подчиняться влиянию и его литературных приемов? Сам Гердер должен бы был сознаваться в этом. Мы, однако, верим тому, о чем он неоднократно заявлял в своих письмах, — что только из желания не быть узанным он «писал под цветистым покрывалом запутанного слога, который не был его собственным слогом, а был только личиной»¹. Тем не менее нельзя отвергать того, что он заимствовал эту личину главным образом у сатирика, описывавшего филологические крестовые походы. При этом можно сделать только ту оговорку, что хотя он и писал слогом Гамана, но его слогу все-таки было еще далеко до гамановского, а когда он надевал на себя маску, то из-под нее нередко было видно его собственное лицо. Его слог не мог быть так же пестр и так же богат намеками, как слог Гамана, уже потому, что ему приходилось черпать не из первоначальных источников, как то делал Гаман, а из второстепенных². Его многоречивое изложение так резко отличалось от гамановской сжатости выражений и скупости на лишние слова, что он никак не мог бы выражаться, подобно Гаману, двусмысленными загадками. Наконец, он резко отличался от филолога синтаксической формой. У этого последнего конст-

71); в «Отрывочных заметках» (III, 34) намек на одно слово Монтеня со словами Гамана (II, 130, прим.). Следует полагать, что и устные замечания Гамана сохранялись в памяти у Гердера; сравн. «Отрывочные заметки» (I, 4), замечание о «Письмах о литературе» со словами Гамана в письме к Линднеру (I, 415).

¹ К Шеффнеру (LB. I, 2, 270); к Николаи (Там же. 412); к Канту (Там же. 296); Отрывочные заметки. III, 325; предисловие к 2-му изданию первого сборника (SWS. II, 5); заявление в «Voss. Zeitung» (LB. I, 2, 383).

² Так, Суфан указывает в примечании к 1-му тому (с. 148) своего издания (с. 537) на заимствование одной цитаты от Блэкуэлла; в примечании к с. 270 (с. 541) на то, что Гердер неоднократно пользовался изданными Михаэлисом «Praelectiones» Лоуса. Касательно ошибочного мнения, по которому Гердер присваивал себе намек на «смелого Марцелла» из сочинения Мозера «Treuherrliches Schreiben etc.», см. примечание Суфана к с. 307 его издания. Неоднократно встречающийся намек на слова Антимаха (Отрывочные заметки. III, 116; KW. III, 21 и в рукописном отрывке «Von dem Ursprung des Liedes»), вероятно, был заимствован из «Писем о литературе». Предположение, что неоднократные намеки на некоторые выражения Плутарха были заимствованы прямо из главного источника, оказывается неправдоподобным ввиду признания Гердера в письме к своему сыну Августу в феврале 1795 г., что он читал Плутарха лишь в более позднюю пору своей жизни (*Dünßer A*, II, 435).

рукция предложений более правильна и более или менее приспособляется к латинской периодологии. Древнефранконская напыщенная правильность грамматических конструкций представляет странный контраст с протестующим против всяких установленных правил направлением гамановских сочинений и со сжатостью их содержания. Но именно в этом отношении ученик не идет по стопам своего наставника. Гердер разрывает узы периодологии, которая была создана схоластическим умом, школьными и канцелярскими обычаями и вовсе не годилась для выражения новых идей, истекавших из свободы чувства и из живого понимания окружающих предметов. О нем можно сказать скорей, чем о прозаике Клопштоке, чем о Винкельмане и даже чем о Лессинге, что он действительно впервые вливал новый виноградный сок в новые меха. Он впервые делает относительно прозы то же, что сделал до него Клопшток относительно языка поэзии. Смело придумывая новые слова, он в то же время смело дает новую форму предложениям так, что гениальный Гаман неоднократно призывает его к порядку. Гаман не прощает ему новых составных слов вроде *Naturgenie* и укоряет его за слог, который «местами слишком боек и в котором плавное течение периодов слишком резко нарушается вопросами и восклицаниями»¹.

Именно таков был собственный слог Гердера. Его нельзя назвать ни маской, ни таким способом выражения, в основе которого лежал бы ясно сознаваемый принцип. Это была та юношеская, бившая через край, живая струя, благодаря которой он делал из латыни своих школьных декламаций нечто вовсе не похожее на хорошую латынь, а на своем родном языке сделался таким приятным собеседником, таким влиятельным оратором. Вовсе не стараясь защищаться ссылками на какие-либо принципы, он оправдывает свой неустановившийся слог своим еще неустановившимся складом ума или же — когда в нем начинает громче говорить чувство собственного достоинства — той гениальной жадой творчества, с которой никак нельзя сладить²; а впоследствии, на основании своей собственной литературной опытности, он описывает в «Торсе», как поток образов и идей смело прорывает плотину установленных правил и создает для себя особые слова и обороты речи. Именно так заставляет его писать его собственный гений, а эти новые литературные приемы он

¹ Гаман к Гердеру (LB. I, 2, 167). Слово *Naturgenie* действительно было вычеркнуто во 2-м издании.

² К Гаману (LB. I, 2, 178 и сл.).

возводит в основное правило и заявляет, что пишут всего лучше тогда, когда пишут так, как говорят, что иго латинской периодологии следует свергнуть, что слог профессоров и разделение по параграфам следует устранить и что тон образованной речи, являющийся отголоском действительной жизни, должен быть введен и в книжном языке.

Уже в третьем сборнике «Отрывочных заметок» он менее стеснялся тем, что было ему навязано со стороны. Когда Шеффнер нашел «менее цветистый» слог этого сборника менее юношеским, то Гердер вполне основательно заметил, что, напротив того, его слог скорее помолодел, чем состарился, что в нем «менее мастерства и картинности» и больше декламаторской пылкости и что он во всяком случае более ему свойствен, чем прежний¹. А это, прибавлял Гердер, еще яснее будет видно как в продолжении, так и во 2-м издании «Отрывочных заметок», так как теперь уже не существует та причина, которая сначала заставляла его появляться перед публикой «под цветистым покрывалом» и не подписывать своего имени. К тому же побуждало его еще другое обстоятельство. Ничто так не раздражало его, как обвинение в старании подражать Гаману. Теперь он решился как можно менее вовлекаться в такое подражание. А полемика с его рецензентами помогла ему отбросить тот способ изложения, который обратился у него с течением времени в привычку. У затронутого за живое Гердера пропала охота вырабатывать искусственный слог. Даже если бы его инкогнито оставалось не разоблаченным, он теперь позабыл бы свои прежние, заимствованные от другого, литературные приемы и дал бы полную волю своей врожденной горячности. Поэтому во 2-м издании, всякий раз как он сам объясняет и защищает свои произведения, он отбрасывает прежний тон загадочных намеков, метафор и сравнений и, вместо того, переходит к богатому новыми словами и оборотами и полному вододушевлению изложению, которое заставляет читателя «читать так, что он как будто слушает», и едва дает ему время делать необходимые приостановки. В небольшой статье о Томасе Аббте Гердер не только изложил свой теоретический взгляд на связь между слогом и складом ума, но также занялся практическими упражнениями в слоге. От своей прежней манеры писать он не отказался вполне, но постарался привести ее в равновесие с новыми более вольными приемами. Такое равновесие еще не уста-

¹ Шеффнер в рецензии третьего сборника (Кёнигсбергская газета. 1767. № 60); Гердер к Шеффнеру LB (I, 2, 269).

новилося в слоге нового издания «Отрывочных заметок»; здесь прежние своеобразности появляются наряду с натуральной гердеровской риторикой, которая здесь только что начинает брать перевес. То было одной из причин прекращения нового издания, что автору не удалось или показалось невозможными «совершенно уничтожить прежний тон»¹. Только в своем следующем произведении, в «Критических лесках», он совершенно сбрасывает с себя прежние узы и усваивает более самостоятельный тон, напоминающий скорее слог Лессинга, чем слог Гамана.

IV. Переделка второго сборника для нового издания

Переделка быстро подвигалась вперед. Уже в январе 1768 г. дело дошло до второго сборника, как это видно из одной заметки в одном из дневников Гердера. Первый сборник — в том новом виде, в каком он был отпечатан летом 1768 г., — может считаться за вполне зрелый продукт литературной деятельности Гердера, несмотря на то что под ним еще не было подписано имя автора. Это был доведенный до конца цельный труд; он подвергся критическим нападкам тогдашней прессы — нападкам, правда, бездарным; а в следствие того, что он был перепечатан в полном собрании сочинений Гердера, читающая публика до настоящего времени ближе с ним знакома, чем с 1-м изданием. Нельзя того же сказать о переделанном втором сборнике. Он оставался в то время ненапечатанным; даже в рукописи он не был окончательно обработан и представляет собой апокрифический памятник умственных дарований его автора². Нам точно будто дозволено присутствовать при генеральной репетиции театральной пьесы, которая исключается из репертуара перед самым началом представления. Некоторые сцены из этой пьесы были впоследствии напечатаны в связи с другими сюжетами и в измененной внешней форме, поэтому биограф может говорить о них, ничем не стесняясь. Напротив того, о других частях пьесы он должен уметь говорить с достаточной ясностью, но в то же время как бы прикрываться неко-

¹ К Николаи (LB. I, 2, 412).

² Только теперь содержание этого труда сделалось общеизвестным, благодаря тому, что помещено во втором томе издания Суфана (с. 109—202), который перепечатал его с рукописей, находившихся на различных ступенях редакционной переделки; см. введение к тому 1, с. XXXII—XXXIII.

торыми оговорками. На случай, если бы у него не достало такого умения, он попросит читателя не забывать, что они стоят вместе с ним, при закрытых дверях, перед занавесом, который никогда не приподнимался для современников Гердера.

Однако и этот переделанный второй сборник был уже в то время не менее первого достоин появления в печати! Ему придавало цельность то обстоятельство, что в нем шла речь только о греческой литературе. Но и в некоторых других отношениях он имел преимущество перед своим первоначальным содержанием. В самом начале Гердер придает новое и блестящее освещение вопросу о правильном способе подражания. И на греков он смотрит теперь с такой же возвышенной исторической точки зрения, с какой смотрел в третьем сборнике на римлян, — даже с самой возвышенной, какую можно себе представить, с всемирно-исторической. Он констатирует тот факт, что большая часть догреческой истории погружена для нас во мрак, что с первобытными нациями одного с нами происхождения мы знакомимся только через посредство греческой истории. Лишь сведениям, почерпаемым из Библии, мы обязаны тем, что не смотрим на историю древности только глазами греков. Какую же благородную задачу мы нашли бы в том, что стали бы изучать греческую историю именно в ее отношениях к истории других народов — что стали бы изучать ее как «орфографическое начертание древнейшей всемирной истории».

Вслед за этим многозначительным напоминанием, для которого служили внушением слова Гамана о «насквозь пробуровленном роднике греков»¹, автор переходит к истории литературы. Для нас эта история начинается с Греции, но разве действительно там следует искать зачатков «истории человеческого рассудка»? Разве тот, кто стал бы говорить о духе наук с талантом Монтескье, стал бы называть варварским то, что называли этим словом греки? Гердер старается наглядно объяснить нелепость такого суждения, спрашивая, что было бы, если бы какой-нибудь другой нации, а не грекам — например, скифам или арабам — было предназначено судьбой передать нам первоначальные формы наук. Во всяком случае, прибавляет он, наш историко-литературный горизонт расширяется, когда мы знакомимся с «умственными сокровищами какого-либо народа, который не был в рабстве у греков или не был одной из их колоний», — и упоминает здесь уже не в первый раз об Оссиане и о песнях скальдов наряду

¹ Соч. Гамана. II, 289.

с Гомером и Пиндаром. И переведенная на немецкий язык немедленно вслед за своим появлением в свет, как полагают, древнекельтская героическая поэма «Фингал», и отрывки из «Эдды», помещенные у Малле в его истории Дании, и письма Герстснберга о достопримечательностях литературы, и объявление об издании Михаэлисом арабской хрестоматии — все эти литературные новости 60-х годов производили на Гердера такое же впечатление, какое производило на современников Колумба известие об открытии новой части света. Уже в статье о новейшем употреблении мифологии¹ и в особенности в написанной в Кёнигсберге рецензии сочинения Малле², он высказывал такие же мнения, какие высказывает здесь, — а по причине таких мнений его должны были считать явным еретиком все ортодоксальные приверженцы классической древности.

Однако он в своих еретических мнениях заходил еще дальше. Он хотел подвести под вышеизложенное воззрение и искусство, несмотря на то что в этой сфере грекам бесспорно принадлежало первое место. Это навело его на суждения о Винкельмане, и он стал, опираясь на свои основные положения, разбирать «Историю искусства», которую, впрочем, очень восхвалял и ставил очень высоко. Отдавая полную справедливость тому, что в этой истории превосходно и неподражаемо, он прямо указал и на ее слабую сторону.

Замечания, которые он намеревался высказать о Винкельмане и о его сочинении, появились в печати, по случайным причинам, частью в более мягкой форме, частью в сокращениях. Остались ненапечатанными как эта часть «Отрывочных заметок», так и несколько других критических статей, которые Гердер называл «Критическим леском», о винкельмановской истории искусства. Через несколько лет после того также осталась ненапечатанной «похвала Винкельмана», которая имела много общего с прежними статьями о том же предмете и была написана на премию, назначенную кассельским обществом любителей древности. Всякий раз как Гердеру приходится говорить о Винкельмане, он выражает самое высокое уважение к гениальности этого писателя, а в статье о Винкельмане, которая была помещена в 1781 г. в «Немецком Меркурии», уничтожены все критические замечания, какие были сделаны в вышеупомянутой похвальной статье, и там осталось только то, что дышало самым горячим одобрени-

¹ Отрывочные заметки. III, 135, 146.

² SWS. I, 74.

ем. Между современниками Гердера Винкельман был почти единственный писатель, к которому он относился в печати без своих обычных порицаний и без требований улучшений. Поэтому та случайность, которая помешала Гердеру издать в свет первоначально написанную им статью, вполне согласовалась с теми чувствами, которые он питал к тому великому человеку. Но все эти факты получают в наших глазах еще более важное значение, когда мы узнаем, в чем именно Гердер усматривал неудовлетворительность и односторонность произведений писателя, внушавшего ему столь высокое уважение.

Эта односторонность станет очевидной, если при оценке винкельмановской «Истории искусства» принять за мерило чисто историческую точку зрения. Именно с такой точки зрения оценивает ее Гердер в той апокрифической «Отрывочной заметке», о которой здесь идет речь, а впоследствии он высказал то же мнение в немногих строках в небольшой статье, написанной в 1774 г. под заглавием «Auch eine Philosophie der Geschichte» (с. 27). По мнению Гердера, Винкельман представляет самый блестящий образец того заблуждения, что Грецию делают единственным центром истории, вследствие чего Винкельман является скорее систематиком, чем историком, — а в этом отношении и сам Гердер подражал Винкельману, когда писал свой роман о различных возрастах языка. Не подлежит сомнению, говорит далее Гердер, что греки получили свою культуру, законы, богов, науки, искусства от иностранных колоний. «Поэтому было бы ошибкой не принимать в расчет это чужеземное влияние, а объяснять ход греческой истории ее естественным развитием. Этим способом, конечно, можно нарисовать более красивое историческое здание, но тогда мы не могли бы составить себе сколько-нибудь верное понятие о необходимости, о своенравии, о неудержимом порыве исторических событий». Произведение Винкельмана — великолепное здание, но оно всего более похоже на «ученое здание и едва ли может быть названо историческим». Эта последняя мысль объясняется на примере: Винкельман объясняет первоначальную угловатость, но вместе с тем правильность греческих статуй тем, что в искусстве влияние науки предшествует влиянию изящного вкуса; а Гердер доказывает, что этот факт объясняется историческим путем: его причину следует искать в том, что греки продолжали строить на основании системы правил, заимствованных от другого народа — от египтян. Именно ссылкой на неудовлетворительное описание и неудовлетворительную оценку Винкельманом египетского искусства

Гердер далее доказывает, что этот историк принял из предубеждения за мерило для оценки греческий масштаб. Целым рядом отдельных пунктов он старается доказать, что во всем, казавшемся Винкельману достойным порицания, можно бы было найти положительную сторону, если бы искусство египтян оценивалось сообразно с их складом ума, сообразно с тем, что для них служило идеалом. С особенной наглядностью объясняет Гердер свою мысль в применении к стилю египтян. Чтобы оправдать свой упрек Винкельману за то, что он и касательно этого предмета «пишет как грек, а не как египтянин», Гердер сам берет на себя роль египтянина: он вводит египетского уроженца в залы, где стоят полные движения греческие статуи, и описывает, какое странное впечатление произвели бы они на этого чужеземца, привыкшего к «всегдашнему созерцанию» таких пластических фигур, которые всегда выражают спокойствие.

Однако Гердер не хочет далее расширять сферу своих замечаний о винкельмановской «Истории искусства». Он довольствуется вышеприведенными доказательствами своего мнения, что было бы полезно выяснить, какие позаимствования были сделаны греками от других народов и что греки «превосходно умели переваривать все эти позаимствования в своем более здоровом желудке». Отсюда Гердер возвращается назад к восторженному восхвалению греков и к объяснению, как правильное изучение их искусств необходимо для подражания им, — но все это уже известно нам из 1-го издания. Он дольше останавливается на переводах с греческого языка, ввиду того что в то время были сделаны некоторые новые попытки переводить греческих писателей и, между прочим, вышел гейльмановский перевод произведений Фукидида. Но его вызывают на новое отступление «изящные и привлекательные» статьи Клаудиуса о литературе и о морали, которые он уже порицал за их слог в переделке первого сборника. На этот раз речь идет о нравственной сторон греческой литературы и об отношении между нравственностью и поэтическим воззрением. Здесь мы снова находим случай заметить, как критика Гердера становится плодотворной благодаря тому, что ее порицания основаны на возвышенной точке зрения. Статьи Клаудиуса о нравах поэтов сводились к пустой болтовне о морали, причем не обращалось никакого внимания ни на национальные особенности, ни на свойства поэзии. Поэтому Гердер старается доказать, что лучшие поэты — если смотреть на них с точки зрения нравственности — занимают счастливую середину между страстными человеческими чувствами и мягкими, между стрем-

лением к тому, что необычайно, и стремлением к тому, что естественно. Сущностью стихотворного искусства обуславливается тот факт, что стареющая поэзия опирается на выработанные рас­судком правила красоты и морали, а юношеская поэзия руковод­ствуется теми поэтическими понятиями о нравственности, какие господствуют в ее время; наконец, в различных видах поэзии господствуют и различные воззрения на нравственность. От этих размышлений Гердер переходит к Гомеру и к Пиндару, затем от Пиндара, точно так же, как и в первом сборнике, к изданным Клотцем произведениям Тиртея, наконец к двум другим писате­лям, о которых Гердер говорит, что желал бы побольше таких писателей, которые стоят выше греческих. Эта первая часть вто­рого сборника заканчивается сравнением Винкельмана с Лессин­гом. Но на этом пункте нам пора вспомнить о нашем обещании не разоблачать того, что было скрыто от наших глаз самим авто­ром; а главное содержание той главы, о которой теперь шла речь, не оставалось скрытым от нас, несмотря на прекращение нового издания «Отрывочных заметок», — оно было перенесено самим автором в другое из его сочинений.

Иначе поступил Гердер с одной из глав, входивших в состав второй части переделанных «Отрывочных заметок», — именно с той главой, которая, точно так же как и в 1-м издании, была посвящена сравнению немецких подражаний греческим писателям с их оригиналами. Для статьи «О Пиндаре и о дифирамбических стихотворцах» Гердер воспользовался теперь рецензией, которая была им написана для «Allgemeine Deutsche Bibliothek» касатель­но различных изменений во 2-м издании вилламовских дифирам­бов¹. Эти, сделанные Вилламовым, изменения было необходимо принять в соображение, но вся глава оттого утратила свою пер­воначальную оригинальность, а ничего не выиграла. Напротив того, бесспорно выиграли остальные главы. То было выигрышем и улучшением, что были исключены и нападки на Лессинга по поводу *καλοῖς ἄδοι*, и нападки на Гриллона по поводу дурных отзывов о Сапфо и Коринне. Нуждавшийся в похвалах поэт, конечно, был очень благодарен за сделанную к главе прибавку об Анакреоне и Глейме, в которой автор доказывал, что Глейм пере­делал «картины» Анакреона в «песни». Само собой понятно, что такие отрывочные критические замечания представляют для нас самих лишь очень незначительный интерес, так как в наше время уже совершенно позабыты и «песни амазонок» Вейссе и «швей-

¹ Она напечатана в LB. I, 3, b, 1 и сл.

царские песни» Лафатера, которые были в то время литературной новостью и о которых идет речь в прибавлении к главе «Tug-täus und der Grenadier»; для нас имеет некоторое значение лишь то, что здесь Гердер снова энергически доказывает высокое достоинство настоящих национальных песен и мимоходом хвалит «романтическую благородную нежность» той песни о прекрасной Розамунде, которая, через восемь лет после того, занимала одно из первых мест в гердеровском сборнике народных песен.

Но более серьезного внимания требуют от нас две новые главы — так как третья новая глава касательно подражания греческим трагедиям у Лессинга в «Филоте», у Вейссе в «Атрее» остановилась на заголовке. В одной из этих двух глав проводится параллель между Гомером и Бодмером, которая была исключена из 1-го издания; вторая озаглавлена так: «Эзоп и Лессинг».

Конечно, в наше время уже совершенно позабыта бодмеровская поэма «Ной», или «Ноахида», как называли эту патриархаду после того, как ее содержание было увеличено и изменено. Но кто пожелал бы уяснить себе, действительно ли она заслуживала забвения, тот найдет на это ответ в гердеровской критике. Эта критика доказывает совершенную негодность «Ноахиды», которую нельзя назвать ни стихотворением, ни эпосей, не говоря уже о том, что она не имеет ничего общего с гомеровскими поэмами. Впрочем, Гердер едва ли не слишком снисходительно отзывается о бодмеровских «подражаниях гекзаметрам», так как, отвергая в них героический элемент, не отказывает им в гомеровской безыскусственности. Что касается всего остального, то комплименты, с которыми обращается Гердер к заслуженному «праотцу» Бодмеру, к «прозорливому, мыслящему и ученому критику», лишь служат введением к удостоверению, что его вычурному, лишенному вдохновения стихотворению, его безвкусному смешению самых разнородных элементов, недостает всего того, что делает Гомера тем, что он есть. Доказательства этого мнения изложены Гердером со всесторонней полнотой; его описание своеобразностей Гомера превосходно: мы постоянно слышим, говорит Гердер, только пение Гомера, но не певца; впрочем, все это было еще раз и более подробно изложено Гердером в сочинении, которое было издано в свет вскоре после того¹.

¹ Сравни следующую главу о «Критических лесах». Впрочем, о готовности Гердера признавать заслуги, оказанные Бодмером нашему языку, всего яснее свидетельствует помещенная в «Allgemeine Deutsche Bibliothek» (IX, 1, 193 и сл.) его рецензия бодмеровского сочинения «Grundsäßen der deutschen Sprache» (LB. I, 3, b, 78 и сл.).

Нельзя того же сказать о содержании главы «Эзоп и Лессинг». Лучшие из высказанных в ней идей появились в свет и составили новое целое в связи с другим мнением только по прошествии девятнадцати лет, в статье третьего сборника «Разбросанных листков о живописи, поэзии и басне». Они блистательно выдержали все испытания, еще в 1787 г. поражали своей новизной и меткостью и даже в настоящее время еще ничего не утратили из своей верности. Здесь в первый раз нам представляется возможность сделать сравнение между двумя великими критиками по поводу одного эстетического вопроса, который нетрудно обозреть во всей его целостности благодаря его нешироким рамкам. Классическое изящество произведений Лессинга происходит от их наглядной ясности, от их основательности, искусных выводов, умения согласовать теоретические соображения с их практическим применением; оттого-то его басни и можно перечитывать с таким удовольствием, какое нам едва ли доставит которое-либо из произведений Гердера. Именно благодаря таким достоинствам басни производили такое сильное впечатление на Гердера, что он беспрестанно писал к ним комментарии, а из хранившихся в них сокровищ старался извлекать для себя пользу. Вся глава о новейшем употреблении мифологии и связанная с ней идея «Парамифий» исходили из такой идеи, которая запала в душу Гердера из Лессинговых басен¹. И в ту эпоху его жизни, к которой принадлежат «Отрывочные заметки», и ни в какую другую эпоху Гердер не был в состоянии написать что-либо столь же законченное, как басни Лессинга, — точно так, как роскошно извивающаяся виноградная лоза не в состоянии достигнуть одинаковой вышины с тем ильмовником, вокруг которого извивается. Но дополнять и подтверждать меткие замечания Лессинга удачными применениями, смягчать его строгие окончательные выводы при помощи еще не спрошенного чувства, освещать самоуверенно произведенные им опыты посредством основанных на этих же опытах более возвышенных воззрений — в этом не было другого такого же мастера, как Гердер, а в ту раннюю пору своей жизни он брался за это дело едва ли не с более цельными и свежими силами, чем впоследствии. Автор «Отрывочных заметок» перебивает своего предшественника пестрой массой замечаний, из которых одни не что иное, как легкая, блестящая пыль, но некоторые другие выделяются из этой массы и оказываются настоящими крупинками золота.

¹ Сравни в предшествующей главе этой книги, с. 258, 259.

Всякому известно, до какого определения басни дошел Лессинг, опираясь на своего Эзопа и на те понятия, которые он заимствовал из Вольфовой философии, и как он объяснял в диалогически полемической форме это определение ссылками на другие теории. Он говорит: «Если мы применим какое-нибудь общее нравственное правило к какому-нибудь частному случаю, примем этот частный случай за факт и сочиним из него такую историю, в которой наглядно распознается общее правило, то такое сочинение называется басней». И на этот раз Гердер основывает свои замечания на предположении, что так называемый Эзоп может быть признан за образец; из этого предположения исходят все его рассуждения о том, действительно ли можно узнать древнего Эзопа в определении Лессинга и удалось ли баснописцу Лессингу *palingenesiren* (воскресить) греческого баснописца. Таким образом, он становится на одинаковую почву с Лессингом — разница лишь в том, что образ древнего Эзопа представляется ему в более точном и поистине в более верном виде. Тому Эзопу, какого он знает, никогда не приходится наглядно изображать «общие правила». Приписывать ему такие намерения — то же, что «совершенно отрывать его от времени, в которое он жил», и, значит, «проводить такую мысль, которая в духе французских писателей». Напротив того, басни греческого писателя заключают в себе γυνώμην, т. е. житейские правила, основанные на опыте истины, правила благоразумия в определенном отношении к какому-нибудь политическому или обыденному положению, к какому-нибудь происшествию из действительной жизни.

В этом заключается первое положение, которым Гердер исправляет теорию своего предшественника и которое стоит в наше время выше всяких возражений. Второе положение находится в тесной с ним связи: если бы басня имела целью делать наглядными «общие правила», то она входила бы в состав философии. В сущности она стоит на рубеже между поэзией и философией, однако так, что ближе к первой, чем к последней. Гердер говорит, конечно, хорошо зная, что и мнение Гамана об этом предмете на его стороне¹: «Я считаю басню за такую коренную основу, за такую миниатюрную частицу всей поэзии, в которой можно найти большую часть стихотворных правил в их первоначальной простоте и до некоторой степени в их первоначальном виде».

¹ Гаман к Гердеру (LB. I, 2, 306): «Эпос и басня — начало [поэзии] и, сверх того, не что иное, как ода и песня».

Эти два замечания ясно доказывали, в чем заключалась слабая сторона Лессинговой теории, и делали в ней нужные поправки. Менее достойны внимания или менее верны остальные замечания Гердера. Когда он говорит, что вместо слов Лессинга «применять к какому-нибудь частному случаю» следовало сказать «к какому-нибудь действию», то он не прав, полагая, что у Лессинга нет такого определения; он также не прав, полагая, что Лессинг требует только одного — чтобы басня была рассказана так, как рассказывают какое-нибудь действие, и что этим путем сглаживается различие между басней и историческим примером; но Лессинг резко и ясно устанавливает такое различие; Гердер хорошо бы сделал, если бы по этому поводу не ставил своему предшественнику в пример Аристотеля. Положительно не верно утверждение Гердера, будто Лессинг недостаточно резко устанавливает различие между вымыслом баснописца и историческим примером; критика заканчивается спором о словах, когда Гердер вступает за понятие об аллегории, которую точный Лессинг хотел исключить из своего определения. Во всех этих случаях Гердер слишком торопливо высказывает свои возражения, которыми не увеличивает веса своих двух первых положений, а, напротив того, ослабляет его. Только в тех двух положениях заключаются основные мысли, которые привели к блестящему установлению теории басни, после того как получили более широкую основу и положительное развитие. Впрочем, критика Лессинговой теории идет рука об руку с критикой Лессинговых басен и даже служит для этой последней чем-то вроде основы; здесь мы снова переходим на сторону Гердера и принуждены сказать вместе с ним: Лессинг не Эзоп. Однако Гердер ни в каком случае не желает идти рука об руку с цюрихскими критиками «Лессинговых басен, не похожих на басни Эзопа»; он высказывает прекрасное замечание, что Лессинг является в своих баснях гораздо более поэтом, чем сколько можно было ожидать, судя по его теории; но он основательно не признает за немецким Эзопом простоты древнего Эзопа: «прекрасное замечание, заманчивая выдумка, новый изящный оборот речи, неожиданная мысль, самый оживленный диалог — вот самые выгодные стороны Лессинговых басен, заменяющие простоту действия у Эзопа». А так как басня есть поэтическое произведение, то ее не следует вставлять в рамки той эпиграмматической сжатости, которой отличается изложение у Лессинга. В противоположность с крайней сжатостью Лессинговых басен Гердер рекомендовал более растяжимую форму изложения еще в своей рецензии поэтических произведений Гизеке, помещенной в «Allgemeine Deutsche Bibliothek» (LB. I, 3, b, 55); в том

же направлении он высказывает здесь желание не уменьшать славу «бодрого странствующего подмастерья» Лафонтена, по меньшей мере как сказочника.

Таково было новое содержание, приготовленное для второго сборника; и этот сборник был значительно улучшен благодаря сделанным исключениям и новым вставкам; и по его содержанию было заметно, что на автора имели некоторое влияние отзывы критиков о его 1-м издании. Гердер постарался исправить свой опрометчивый отзыв, вызвавший горячие порицания со стороны критиков, — тот отзыв, что Герстенберг должен стоять «выше Алкифрона». Поэтому он стал теперь сравнивать Герстенберга с Глеймом и восхвалять в его лице «нового Анакреона». Поэтому же он последовал совету Гамана «доставить себе небольшое удовлетворение»¹ в вопросе об Алкифроне: в том месте, где идет речь о переводах греческих литературных произведений, Гердер воспользовался тем, что произведения Алкифрона были переведены Гекселем, и высказал мнение, что произведения этого греческого писателя могли бы оставаться непере переведенными, — он даже прибавил подстрочное примечание, в котором попытался прикрыть свою собственную опрометчивость и выставить в смешном виде неосмотрительную заносчивость критиков.

V. Продолжение «Торса»

Но вызванная произведениями Гердера критика произвела на него такое тяжелое впечатление, которого не могли заглушить все сделанные им примечания, возражения и даже значительные улучшения. Намерение переделать и третий сборник «Отрывочных заметок» осталось неисполненными или было исполнено косвенным путем. В своей первой половине этот сборник нуждался в улучшениях гораздо менее, чем два первых сборника; в нем нужно было, по большей мере, поместить возражение на некоторые упреки рецензентов². Даже в его первоначальной форме Гердер твердо придерживался правила не уклоняться от главной темы — от римской литературы и от немецких подражаний римским писателям; только глава об употреблении мифологии не совсем подходила к этому

¹ LB. I, 2, 308.

² Как намеревался Гердер отвечать на упреки Гарве в его рецензии третьего сборника (*Neue Bibliothek der schönen Wissenschaft. V, I, 256* и сл.), можно видеть в *SWS. II, 246* и сл.

сюжету, а некоторые размышления о связи между мыслью и ее выражением, главным образом относительно латинского языка, были перемещены в переделанный первый сборник. И правило не придерживаться текста «Писем о литературе» соблюдалось во всей первой половине третьего сборника; наконец слог всего сборника был менее изысканным и более «своеобразным». Во всех отношениях эта третья часть «Отрывочных заметок» представляла собой переходную ступень между литературными приемами Гердера в 1-м издании и его литературными приемами во 2-м издании. Очень больших исправлений требовала только вся последняя часть сборника — в особенности глава об элегии и сатире.

К счастью, мы в состоянии указать, в чем заключались эти исправления. Гердер приступил теперь к исполнению своего намерения, высказанного в одном возражении Шеффнеру¹: для 2-го издания он постарался придать своим замечаниям об элегии «содержание и внутреннюю связь систематического изложения». В своей новой редакции глава об элегии прежде всего повторяет лежащие в ее основе воззрения Аббта вместе с разбросанными в «Отрывочных заметках» подстрочными примечаниями, но потом она переходит к дополнению этих примечаний «новым рядом идей и новым путем». Этот новый путь — тот самый, которого Гердер более или менее твердо придерживался во всех рассуждениях об эстетических понятиях, о новых явлениях в сфере языка и литературы, который соответствовал направлению его ума и его образованию и который постоянно указывался им как единственный правильный — *психологически-исторический*. Прежде всего он старается объяснить происхождение элегии из свойств человеческой души. В статье об образе мыслей Баумгартена он хвалил этого писателя за то, что «он отвел в человеческой душе особую сферу в собственность поэзии», а в письмах Мендельсона «о чувствах» и в его статье «о главных основах изящных искусств и наук» Гердер усматривал влияние той баумгартеновской мысли — усматривал шаг вперед на том психологическом пути, которого держался и Гомс в своих основах критики. Поэтому Гердер, как настоящий последователь Баумгартена, старается указать более тесные рамки для того вида поэзии, который называется элегией, и отвести ему «особую сферу в человеческой душе». Затем он приходит к следующему выводу: элегия описывает скорбь, но такую скорбь, которая смягчается тем, что относится к прошло-

¹ LB. I, 2, 269.

му, или к будущему, или даже к настоящему, но так, что «безутешна». Это определение, очевидно, несколько произвольно и составлено априористически; отождествление эстетического элемента с психологическим приводит к такому воззрению на элегию, что эта последняя перестает быть особым видом поэзии; тогда она делается особым стихотворным тоном, который может встречаться во всех родах поэзии. Эту ошибку нельзя было исправить тем, что Гердер задумал на основании вышеприведенного определения обрисовать в «легких чертах» «историю элегии» у всех народов и во все времена. В этом историческом очерке подводились под понятие об элегии, между прочим, и романсы британцев; во всяком случае он был слишком запоздалым явлением. Ему недоставало определенной исторической точки исхода и в то же время недоставало определенной нормы специально-эстетических правил. То было хорошо задумано, что психологически вывод поставлен в связь с историческим обзором — но этот вывод и этот обзор не приведены в равновесие; история служит не столько подтверждением, сколько объяснением предвзятой идеи, и этим способом мы получаем историю не различных фазисов существования элегии, а различных фазисов душевного настроения. В сравнении с этим изложением нельзя не отдать решительного предпочтения приемам Лессинга, который при определении различных понятий в области поэтики постоянно принимал за опору какое-нибудь совершенно определенное образцовое литературное произведение — или произведения Гомера, или античную драму, или басни Эзопа, или эпиграммы Марциала. Если рамки его определений оказываются вследствие такого приема слишком узкими, то рамки гердеровских определений оказываются часто (а в настоящем случае бесспорно) слишком широкими и легкорастяжимыми. Только там, где Гердер по примеру Лессинга, как например касательно басни, не выходит из более узких рамок, где он, согласно с предъявленным им самим требованием, исправляет психологическую эстетику Баумгартена, внося в нее «простоту греческих писателей», и принимает «греческое чувство» за главное руководство для своих рассуждений, — только тогда он, благодаря своей гениальной прозорливости, с пользой дополняет и расширяет критику Лессинга. С другой стороны, только после того, как он научился тщательно складывать одни подле других и приспоблять одни к другим все нити своих эстетических размышлений, научился отделять чувство от обзора исторических явлений, — только тогда сотканная им ткань оказалась прочной и вполне удовлетворительной.

Новая переделка главы о сатире не затрагивает так же глубоко ни психологической точки зрения, ни исторической. Относительно первой Гердер довольствуется тем, что поверхностному мнению Аббта, будто главное достоинство сатиры заключается в хорошем тоне, противопоставляет следующее положение: «достоинство сатиры заключается специально в остроумии». Относительно исторической точки зрения он предъявляет к сатире более строгие требования, ввиду того что она представляет особую категорию литературных произведений; здесь он только дополняет свои прежние замечания в пользу Ювенала и французских писателей, присовокупляя к ним похвалу гамановского любимого писателя Персия, несколько тонких замечаний, характеризующих сатиры Горация и главным образом указание одной задачи, о которой он сам осмеливается говорить лишь легкими намеками: эта задача заключается в том, что поистине философский ум мог бы взяться за изучение «сатирической поэзии всех времен, всех народов и всех гениальных писателей».

Впрочем, ни глава об элегии, ни глава о сатире, в том виде, в каком они дошли до нас, не предназначались для нового издания третьего сборника «Отрывочных заметок». Не подлежит сомнению, что они были первоначально задуманы именно для этого издания; но потом они были приспособлены путем небольших изменений к продолжению «Торса», который должен был состоять из комментариев на разные сочинения и главным образом на критические статьи Аббта, подобно тому как «Отрывочные заметки» писались в связи с содержанием «Писем о литературе». Стало быть, это продолжение «Торса» было не чем иным, как продолжением «Отрывочных заметок», только с тем различием, что оно ограничивалось статьями Аббта; оно частью заменило новое издание третьего сборника, частью снова занялось такими вопросами, о которых уже шла речь в первом и во втором сборниках, наконец частью проникло (в задуманных статьях третьей и четвертой¹) в такие «сферы», которые первоначально были отмежеваны для последних томов «Отрывочных заметок», — в сферы историческую и философскую.

Этот план нельзя назвать удачно задуманным. Замаскированная переделка «Отрывочных заметок» неизбежно вызвала повторения. Связь с содержанием «Писем о литературе» сдерживала Гердера внутри известных рамок; а разве связь с сочинениями

¹ Гердер говорит об этих статьях в своем возражении Шеффнеру (LB. I, 2, 359). Сравн. введение Суфана ко второму тому его издания.

Аббта не была бы еще более стеснительной и не показалась бы просто странной? Конечно, никто не будет сожалеть о том, что Гердер отказался от продолжения «Торса». Действительно, все, что автор намеревался сказать по поводу сочинений Аббта, могло быть гораздо лучше сказано без этой связи, а лучшее, что можно было сказать об Аббте, уже было подробно высказано Гердером в другом месте — в первой статье «Торса». Поэтому была написана только вторая статья, но ее содержание большей частью перешло в следующее сочинение Гердера. О содержании остальных статей уже было говорено ранее. Нам уже известно содержание главы об элегии и о сатире. О той главе, в которой идет речь о школьной драме, мы говорили в связи с драматическими воззрениями Гердера; о той, — в которой идет речь о прозе здравого смысла, мы говорили по поводу попыток самого Гердера написать что-нибудь общедоступное; теперь нам остается рассмотреть только главу о смешении языков и главу о важности изучения древних и новых писателей для нашего теперешнего умственного развития¹.

С одной стороны, одно из писем Аббта о литературе, с другой стороны, прибавление Гейнце к его переводу Цицероновского сочинения об ораторе — вот что побудило Гердера написать дополнительную статью к главе о языке, помещенной в первом сборнике «Отрывочных заметок», и указать принципы для разрешения вопроса, как сохранить чистоту нашего языка. Он разрешил этот вопрос именно так, как следовало ожидать от человека, который так горячо требовал общепонятного языка, но который вместе с тем так хорошо понимал потребность человеческой души выражать словами даже самые слабые оттенки мысли и обладал такой широтой исторического взгляда. Поэтому он в принципе признал возможность сохранить чистоту нашего языка, который можно назвать «своеобразным основным языком», хотя и не в такой же мере, как греческий, но в большей мере, чем латинский и производные от него языки. «Я люблю, — говорит Гердер, — употреблять своеобразные выражения моего языка и доискиваться его врожденных свойств». Однако мы получили от нескольких народов наши научные познания и многочисленные сведения, входящие в сферу нашего образования, а вместе с этими заимствованными от чужеземцев понятиями нам необходимы и такие чужеземные слова, как например *Genie*, *naïv* и др. К этому следует прибавить, что самостоятельное развитие неко-

¹ Все главы, которые предназначались для второй части «Торса», помещены в SWS. II, 295 и сл.

торых наук до некоторой степени оправдывает употребление технических выражений в популярном изложении, и наконец следует заметить, что перевод и чтение чужих сочинений должны незаметным образом содействовать развитию нашего языка. А старание сохранить чистоту языка, сделать его понятным и красивым не должно быть ни своенравным ни педантическим.

Вторая статья находится в связи с темой той написанной в Кёнигсберге школьной речи, в которой говорилось о прилежном изучении нескольких ученых языков. Она также примыкает в виде продолжения к полемике, которая велась в «Отрывочных заметках» против бездушного подражания древним писателям, и к размышлениям о том, чем должны быть для нас писатели древние и писатели новые. Она была лишь продолжением прежних статей, потому что она только расширяет вопросы о языке и литературе, рассматривая их с более высокой точки зрения — с точки зрения постепенного развития. Вместе с этим Гердер снова и более свободно затрагивает спорный вопрос, который так нелепо обсуждали во Франции с конца XVII столетия: кому следует отдать предпочтение — древним писателям или новым. Гердер обсуждает его в таком направлении, которое напоминает нам о педагогической деятельности Гердера и о влиянии его сношений с людьми образованными, но не учеными. Действительно, он только обсуждает этот вопрос, а в сущности не разрешает его или разрешает неясно и не вполне. Уже в том, что касается внешней формы, в статье гораздо более разговоров, чем в каком-либо другом из прежних произведений Гердера. Взвешивая все данные, он колеблется между положительными и отрицательными выводами; то он не решается вполне отрицать, то не решается утверждать. Разрешение вопроса «становится более трудным», и наконец автор отвечает на него тем, что предоставляет себе доказать свою мысль «в более обширном сочинении», которое «он желает довести до конца без огласки»; он, быть может, разумел то сочинение, для которого «Отрывочные заметки» должны были служить подготовкой. Разговорная форма статьи напоминает Лессинга, хотя у Гердера она гораздо более субъективна; содержание и окончательный вывод представляют по своей незрелости и неопределенности почти решительный контраст с произведениями Лессинга, умевшего выставять достоинства древней образованности и более односторонним образом и с большей энергией. Послушаем же, что говорит Гердер!

Он не считает вполне невозможным появление такого «своеобразного» немецкого гениального писателя, который развился

бы на изучении только немецкой литературы и не имел бы никакого понятия о литературе других народов. Затем представляется вопрос: в какой мере может быть достаточным знакомство с древними писателями только по переводам? Хотя для ученых оно и было бы недостаточно, но оно было бы достаточно для гения, для человека со вкусом, «читающего ради образования». А если бы сверх того появились замечательные произведения новейших писателей? «Я осмеливаюсь утверждать, что относительно знакомства с новыми и недавно разработанными науками несравненно полезнее изучение в оригиналах произведений английских и французских, чем греческих и латинских». И наоборот, в какой мере было бы полезно изучение в оригиналах произведений греческих и латинских без изучения в оригиналах произведений новейших писателей? Оно, без сомнения, было бы очень полезно; но без изучения новейших произведений нельзя бы было обойтись, если бы захотели воспользоваться сокровищами древних для практического применения и если бы захотели вдохнуть в эти сокровища новую жизнь. Языки древних — мертвые языки. Эти слова Гердера, очевидно, заключают в себе тот всего ярче бросающийся в глаза довод, который приводит к окончательному выводу. Поэтому, говорит Гердер, кто ограничивается подражанием древним, тот сам впадает в безжизненность, между тем как новейшие писатели пользуются живым языком и возвращаются в живом мире. Когда Аббт требует изучения древних писателей в оригиналах, он прав только в том случае, если предоставлено выбирать одно из двух — или изучение в оригинале лучших новейших писателей без изучения древних писателей, или это последнее без первого. Гердер полагает, что он предпочел бы последнее.

VI. Впечатление, произведенное «Отрывочными заметками» и «Горсом». Переход к «Критическим лесам»

Все эти статьи, как мы ранее заметили, были лишь переделкой, дополнением и продолжением «Отрывочных заметок» под новым заглавием и под новой фирмой.

Но почему же Гердер не продолжал свою работу под прежним заглавием и даже не захотел продолжать того, что уже было напечатано или написано под этим заглавием в новой переделке? Почему же он отказался от намерения издать только что нами рассмотренные статьи, которые должны были служить приложе-

ниями к произведениям Аббта, и заставил публику тщетно ожидать появления второй части «Торса»?

Причиной этого были главным образом те отзывы о молодом писателе, которые высказывались критиками из партии Клотца. Только после того как мы ближе познакомимся с успехом, который имели в публике «Отрывочные заметки» и «Торс», для нас станет ясно, почему Гердер отказался от продолжения этих произведений и взялся за новое, третье, сочинение.

Когда «Отрывочные заметки» появились в свет осенью 1766 и весной 1767 г., они встретили такой прием, который мог внушить гордость молодому автору. Самый сильный интерес они должны были возбудить в издателе «Писем о литературе». Лишь только Николай познакомился с содержанием томика, заключавшего в себе сборники первый и второй, он поспешил поблагодарить анонимного автора за его прекрасную книгу, уверял, что она доставила большое удовольствие его берлинским друзьям, и приглашал автора доставлять статьи в «Allgemeine Deutsche Bibliothek»¹. Почти в то самое время, как смерть Аббта отняла у него полезного сотрудника, он нашел для этого сотрудника заместителя в лице Гердера; таким естественным путем завязались между Николаи и Гердером сношения, которые прекратились лишь в 1774 г.

То было бы в порядке вещей, если бы в «Allgemeine Deutsche Bibliothek» появилась рецензия «Отрывочных заметок». Объявление о скором выходе в свет исправленного издания этих заметок было причиной того, что уже написанная рецензия была отложена в сторону² и оставалась никому не известной в бумагах Мендельсона до издания полного собрания его сочинений. Автор этой рецензии³ осыпает автора «Отрывочных заметок» самыми лестными похвалами, но ставит ему в упрек его влечение к таким основным принципам, которые не выдерживают проверки верным чувством; другими словами, смелые и далеко захватывающие воззрения Гердера кажутся осмотрительному и сдержанному Мендельсону не чем иным, как слишком смелыми гипотезами. «Систематическое» описание различных возрастов языка основано, по мнению Мендельсона, на изучении только греческого языка, — что неопровержимо верно. Философ не разделяет

¹ Николай к автору «Отрывочных заметок о немецкой литературе» от 19 ноября 1766 г. (LB. I, 2, 254 и сл.).

² LB. I, 2, 272, 277, 313, 325, 381.

³ Полн. собр. соч. Мендельсона. IV, а, 93 и сл.

того мнения, что строгое философское определение понятий препятствует обогащению языка, а вместе с тем и поэзии, многочисленными синонимами; он со своей стороны старается объяснить происхождение синонимов с односторонней исторической точки зрения — влиянием провинциальных диалектов на литературный язык. Он также высказывает некоторые возражения против теории Гердера о перестановке слов. В одном пункте этого возражения обнаруживается разномыслие между Мендельсоном и Гердером в основных воззрениях. Мендельсону не понятно стремление Гердера к естественности и непосредственности в поэзии. Он соглашается с тем, что тогдашняя немецкая поэзия была искусственной и состояла главным образом из сознательных подражаний, но он желает, чтобы она оставалась такой, какой была. «Совет пользоваться для поэзии только варварскими временами и варварскими народами — то же, что следующий совет искусному садовнику: ведь все ваши цветы и плоды первоначально росли в полях и в лесах; поэтому ваш искусственно возделанный сад будет еще лучше, если вы будете пересаживать в него только то, что растет в полях и в лесах». И вслед за тем Мендельсон доказывает необходимость философии и для искусства, и для поэзии. По мнению рецензента, гердеровские рассуждения — «парадоксы талантливого человека»; чтобы они были безвредны, в высшей степени необходимо ослабить их, ограничить известными рамками и проверить.

Очень жаль, что эти, хотя и неглубокомысленные, но разумные, замечания остались ненапечатанными. Они доставили бы Гердеру повод более ясно изложить его «парадоксы» в новом издании и были бы в этом отношении не меньше для него полезны, чем очень подробная рецензия, которая была написана юным Гарве почти в одном направлении с мендельсоновской и была помещена в «*Bibliothek der schönen Wissenschaften*»¹. И в этой рецензии осуждалась теория об истории языков на том основании, что она построена исключительно на греческой литературе и даже относительно ее не совсем верна; и здесь говорилось, что суждения автора «чаще являются выводами из его метафизики, чем выражениями его чувства»; вместе с тем из некоторых замечаний касательно главы о перестановке слов и о синонимах, видно, что сам рецензент находился под сильным влиянием своей

¹ Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften, T. IV, I. C. 40—78. О разборе третьего сборника тем же рецензентом уже было упомянуто ранее (с. 302, прим. 2).

собственной философии рассудка, которая очень стесняла свободу его суждений. Тем не менее Гердер выразил желание, чтобы у него было «побольше таких читателей» и на него произвели чрезвычайно приятное впечатление и скромно-вежливый тон рецензии, и серьезное отношение к предмету, и щедрые похвалы¹.

Если таковы были отзывы тех критиков, которые принадлежали к кружку Николаи, то Гердер имел полное право ожидать выражений сочувствия от того кёнигсбергского литературного кружка, для которого служила средоточием газета Кантера, того кружка, к которому он сам принадлежал и в котором он незадолго перед тем приобрел нового друга кроме прежних друзей — Гамана, Канта и Линднера. Немедленно после его отъезда из главного города восточной Пруссии был назначен секретарем в тамошнюю палату кёнигсбергский уроженец Иоанн Георг Шеффнер²; это был молодой человек, не оставлявший своей привычки заниматься литературой и писать стихи даже во время своей солдатской службы под знаменами Фридриха. Он был лично знаком с Рамлером, с Мендельсоном и со многими другими литературными знаменитостями того времени; благодаря своей обширной начитанности и в особенности знакомству с произве-

¹ Отрывочные заметки. I, 2-е изд.; SW в отделе изящной литературы. I, 178 (SWS. II, 83). Гердер писал Шеффнеру (LB. I, 2, 272), что считает эту рецензию «за ценный подарок ради ее основательности и подробности». Из других известных мне рецензий (кроме той, о которой будет идти речь в тексте) я упомяну только о той, которая была помещена в «Göttingische Gelehrten Anzeigen» (1767, № 38, с. 303 и сл.) и, как полагают, была написана берлинцем. Замечание, что под характеристику восточной поэзии можно подвести поэзию иудейскую, но не арабскую и не персидскую, заставляет думать, что автором рецензии был Михаэлис. Этот автор берет сторону Гесснера против слишком снисходительных суждений Гердера о Феокрите. Наконец здесь же высказано следующее замечание: «Почему наш автор делает из Бодмера и его подражателей нацию, которую он нередко порядочно унижает?» — на что Гердер возражал во 2-м издании (см. выше, с. 286, прим. 3). Позже были написаны замечания, которые высказал глава старой цюрихской школы Бодмер в одиннадцатой главе своих «Grundsätze der deutschen Sprache» (Цюрих, 1768) касательно того, что автор «Отрывочных заметок» вступает за идиотизмы и за синонимы. Гердеру не стоило большого труда разъяснить недоразумение, вызвавшее эти замечания швейцарского критика. Он исполнил эту обязанность с достоинством и спокойствием, поместив упомянутую ранее (с. 298, прим. 1) рецензию бодмеровской книжки в «Allgemeine Deutsche Bibliothek».

² То, что следует, заимствовано из известной автобиографии «Mein Leben, wie ich, Johann Georg Scheffner, es selbst beschrieben», напечатанной в Лейпциге в 1816 и изданной в 1823 г.

дениями новейших французских и итальянских писателей¹ он был полезным и деятельным сотрудником кантеровской газеты, пока не был переведен в 1767 г. на службу в Гумбиннен, где стал посвящать свои досуги другим литературным занятиям и в особенности переводам с итальянского языка. Именно совокупное участие в одной и той же газете привело несколько странным путем к сближению между Шеффнером и Гердером, занимавшимся в то время преподаванием в рижской церковной школе. Между ними возникло недоразумение, по поводу того что Шеффнер похвалил в газете какое-то незначительное сочинение, между тем как в присланной Гердером рецензии высказывался о том же сочинении неодобрительный отзыв; недоразумение было устранено, спор был улажен², и этим путем завязалась дружеская, касавшаяся только литературных вопросов, переписка, которая замедляла для обеих сторон общество ученых людей, недостававшее Гердеру в Риге, а Шеффнеру в Гумбиннене. Гердер находил сильное поощрение к занятиям и большую пользу в переписке с умным и желавшим ему добра приятелем, который относился к нему как ученик и высказывал даже неодобрительные замечания без всяких притязаний на право быть взыскательным судьей. Благодаря нескромности Кантера Шеффнер познакомился с содержанием первой части «Отрывочных заметок» в рукописи прежде, чем эта рукопись была окончательно пересмотрена перед поступлением в печать; тогда он высказал Гердеру некоторые замечания касательно содержания этого сочинения³. Он понял сделанный Гердером намек на желание, чтобы Шеффнер был рецензентом произведений своего приятеля⁴. В двух рецензиях, помещенных в Кёнигсбергской газете, Шеффнер взял на себя, при содействии Канта, труд отрекомендовать публике вышедшие в свет два тома⁵. В его статье слышится голос горячо сочувствующего Гердеру и признательного критика, который, однако, так беспристрастен, что не отказывается от своего права высказать некоторые сомнения. Он считает «Отрывочные замет-

¹ Он признавался Гердеру, что не знал ни греческого языка, ни английского (LB. I, 2, 164). Гердер называет его «вновь приобретенным прозелитом греческой литературы» (с. 291).

² Сам Шеффнер неточно рассказывает это происшествие в «Mein Leben» (с. 124). Подробности можно найти в LB. I, 2, 119, 131 и 134.

³ Гердер к Шеффнеру (LB. I, 2, 143); к Гаману (Там же. 151).

⁴ Там же. 203.

⁵ Кёнигсбергская газета 1767. № 5 и 60; Шеффнер к Гердеру (LB. I, 2, 224); Гаман обещал еще 7 апреля 1768 г. написать «мастерскую критику» «Отрывочных заметок», но не сдержал слова.

ки» дополнением к письмам о выдающихся явлениях в литературе; он не скупится на похвалы изобилию тонких и остроумных замечаний, а с легким неодобрением отзывается только об остроумном и картинном изложении в первом томике и о бесплодности заключительной главы во втором. Гердер, с трудом выносивший чужие критические замечания, остался доволен первым из этих замечаний; хотя другие порицания¹ и вызвали от него письменные возражения, они все-таки принесли ему пользу: едва ли хоть одно из них было оставлено без внимания при начинавшейся в то время переделке и при продолжении «Отрывочных заметок».

Впрочем, и от многих других Гердер получал лестные одобрения. Почти со стыдом он отвечал на похвалы своего наставника Канта, который доставил ему своим письмом гораздо более удовольствия, чем многие «очень достойные люди», обращавшиеся к нему с похвалами из более далеких мест². С большим самодовольством он уведомлял Трешо³, что его небольшое сочинение обратило на себя общее внимание и вызвало такие похвалы, каких он не ожидал, ввиду того что высказывал свои суждения ничем не стесняясь; он получил множество писем из различных мест Германии от таких людей, которые даже не знали его имени. Одно из этих писем было от Лафатера. Он из Цюриха обращался к «автору Отрывочных заметок» за советом, каким размером писать одно из задуманных им стихотворений. До нас не дошли ни этот запрос, ни ответ Гердера, не дошедший по адресу⁴. Напротив того, до нас дошли и письмо доброго Глейма, и ответ Гердера — эти первые доказательства близких сношений, не прекращавшихся в течение всей их жизни⁵. Автор «Отрывочных заметок», конечно, был «самым лучшим из всех критиков в глазах жадного на похвалы поэта, который был поставлен Гердером наряду с Анакреоном и выше Тиртея; а Гердер со своей стороны был польщен тем, что автор забавных песен спрашивал его мнения относительно некоторых предположенных улучшений; мог

¹ См. письма в LB. I, 233 и сл. и 269.

² LB. I, 2, 295.

³ Там же. 264.

⁴ Гердер получил письмо Лафатера через Николаи (LB. I, 2, 293) в конце в 1767 г.; относительно содержания этого письма и относительно того, что случилось с ответным письмом Гердера, сравн. письмо Гердера к Лафатеру от 30 октября 1772 г. у Дюнцера (А, II, 10) и письмо Лафатера к Гердеру (Там же. 29). Из одной заметки в дневнике Гердера следует заключить, что письмо было написано 12 января 1768 г.

⁵ От 8 февраля 1767 г. (LB. I, 3, b, 523) и от 20 февраля (LB. I, 2, 233).

ли он отвечать Глейму иначе, чем самыми щедрыми похвалами, которые были ему внушены и чувством гордости, и основательным уважением к музе Глейма?

Было еще одно письмо, также наполненное любезностями и лестными похвалами, на которое Гердер, однако, затруднялся отвечать. Оно было написано одним из тогдашних самых знаменитых критиков, издававшим «*Acta litteraria*». Его одобрительного отзыва Гердер горячо желал. Этот отзыв появился в «*Acta litteraria*»¹ на изящном латинском языке, а письмо издателя обещало еще более подробный отзыв на немецком языке в новом критическом журнале, издание которого именно в то время подготавливалось Клотцем².

Клотц был такой человек, которого можно было подкупить похвалами, а «Отрывочные заметки» не поскупились на них. Этот «тонкий знаток греческой литературы и меткий критик» был поставлен во втором сборнике (с. 260) наряду с Гесснером и с Эрнести, а в третьем сборнике он был осыпан еще более щедрыми похвалами: там (с. 262) его называли, за написанные им по-латыни сатиры, новым Горацием и таким писателем, который усвоил сущность латинского склада ума, латинского языка и в особенности горацевское остроумие; там в главе о мифологии было принято за точку исхода «одно из самых новых и самых изящных критических произведений» — сочинение Клотца «*Epistolae Homericae*» и при этом был придан отзыву такой оборот, что содержание этого сочинения, «быть может, только уясняет собственные идеи Гердера»; наконец Гердер так горячо восхвалял то «*Vindiciae Horatii*», то «*Genius Saeculi*», то «прекрасное сочинение об изучении древности», что местами встречавшиеся возражения почти совершенно ускользали от внимания читателя.

Нет никакого основания думать, что Гердер писал эти отзывы с предвзятым намерением льстить Клотцу. Такой юный и еще не вполне доучившийся поклонник древней литературы, как Гердер, мог, без всякого сомнения, многому научиться от такого филолога, каким был Клотц; сверх того, он, без сомнения, был вместе с многими из своих современников ослеплен искусным латинским изложением, изящной ученостью и высокомерным тоном Клотца³. Нельзя не признать слишком резким высказы-

¹ *Acta litteraria*. 1767. Т. IV, часть I. С. 115—121.

² См. уже не раз цитированное нами ответное письмо Гердера.

³ Эти оправдания исходят от него самого; см. конец второго «Критического леска» (с. 261, 262).

ный Гаманом упрек, будто Гердер хвалил Клотца из желания прислужиться наперекор своей совести и без полного убеждения¹. Этот упрек справедлив только в том отношении, что Гердер слишком скоро убедился в неосновательности своих похвал, что он из страха и из посторонних соображений не решался отказаться от своих прежних отзывов о Клотце и наконец что он из личных мотивов заговорил таким тоном, который не совсем приличен в устах человека, сначала так резко высказывавшего противоположные мнения.

Этот переворот можно проследить шаг за шагом.

Уже немедленно после окончания второго томика «Отрывочных заметок» Гердер написал для «Allgemeine Deutsche Bibliothek» такой разбор сочинений Клотца «Carmina» и «Opuscula»², который значительно уклонялся от похвал, высказанных в «Отрывочных заметках». Даже на основании принципов, изложенных в «Отрывочных заметках», рецензент мог отнести латинские стихотворения Клотца «по большей мере к третьему разряду поэтических произведений»; что касается «Opuscula», то он может по-прежнему похвалить в них изящный вкус, знакомство с древними писателями и изящное изложение, но должен пожалеть о том, что в них размышления слабы и недостает философского духа. Еще резче высказывает Гердер свои порицания в частной переписке. «Я никак не могу, — писал он около того времени, в феврале 1767 г., Шеффнеру, — одобрять размышления и эстетические замечания почтенного Клотца; в этом отношении у него неосновательный мелочный ум, в котором нет ни философии, ни точности и который, сверх того, туп. Его можно ценить только за начитанность и за хорошие верные чувства»³. Сочинение Клотца «Beitrag zur Geschichte des Geschmacks und der Kunst aus Münzen» могло только убедить Гердера в основательности его отзыва. Когда он получил из Галле письмо Клотца и критический отзыв об «Отрывочных заметках», помещенный в «Acta», он только что прочел то сочинение Клотца и отложил его в сторону, сказав: «Хорошо написано, но плохо задумано»⁴.

Точно таким же он нашел и отзыв, помещенный в «Acta». Когда он желал знать мнение Клотца, он никак не ожидал, что Клотц отнесет его произведение к разряду *libri minores* и вместе с общим одобрительным отзывом выскажет мимоходом несколь-

¹ LB. I, 2, 804 и 438.

² Напечатан в LB. I 3, b, 27, 33 и сл.

³ LB. I, 2, 241.

⁴ К Шеффнеру 15 сентября 1767 г. (LB. I, 2, 271).

ко слегка набросанных замечаний. Чем сильнее раздражал его этот высокомерно милостивый отзыв, тем труднее было ему отвечать на «любезное и дружественное письмо» Клотца. Он искал какого-нибудь предлога, чтобы замедлить ответ, и нашел его в приезде своего земляка, дифирамбического стихотворца Вилламова, который заехал повидаться с ним в Ригу на пути в Петербург, где принял ту самую должность, от которой отказался Гердер. Только по прошествии нескольких недель Гердер отвечал на полученное им письмо¹. Он написал свой ответ, как сам утверждает, с необходимой «осмотрительностью и с соблюдением должных приличий», но в сущности с очень заметным выражением недовольства по поводу нескольких замечаний своего критика; а закончил он письмо такими уверениями в почтительной преданности и в глубоком уважении, которые вовсе не согласовались с его низким мнением о достоинствах жившего в Гаме ученого.

Клотц был так избалован похвалами своих приверженцев и был так щекотлив во всем, что касалось его личности, что сумел прочесть ответ Гердера между строк. Он не догадался, что буква *C*, поставленная под рецензиями его «*Samina*» и «*Opuscula*», означала Гердера, но для него было ясно, что этот вновь появившийся рижский критик был очень обидчивый человек, что это был один из таких клиентов, которые легко могут выйти из повиновения. Уже тот факт, что этот критик принадлежал к берлинской литературной школе, возбуждал в нем недоверие и ревность. Николай был вполне прав, когда заметил Гердеру, что этот славлюбивый человек никогда не простит ни малейшего критического замечания². Действительно, Клотц не мог простить ни того скромного неодобрения, которое было высказано Гердером в третьем сборнике «Отрывочных заметок», ни того запоздавшего ответного письма, в котором тон так расходился с содержанием. Клотц тщетно старался сделать свою безусловную прислужницу из «*Allgemeine Bibliothek*», которую издавал Николай. Поэтому он и задумал основать свой собственный журнал, который издавался бы в Галле, заключал бы в себе обширные, написанные на немецком языке рецензии и заставил бы умолкнуть все остальные журналы и в особенности журнал Николаи.

¹ Сравн. LB. I, 2, 279, 284, 318; кроме того, заявление Гердера в «*Allgemeine Deutsche Bibliothek*» IX, 2 (LB. I, 3, b, 196) и письмо к Мерку в сборнике Варнера от 1835 (с. 43). Вилламов прибыл в Ригу в половине сентября (LB. I, 2, 273).

² LB. I, 2, 312.

Эта мысль была ему внушена одним из его самых ловких приверженцев, жившим в Йене и всегда готовым на литературную борьбу Риделем, и он решился немедленно привести эту мысль в исполнение¹. Несмотря на то что к его услугам уже были два издания — «Acta и Gelehrte» и «Hallische Zeitungen», он основал в 1768 г. вместе со своими единомышленниками новое третье издание — «Deutsche Bibliothek der Schönen Wissenschaften». «С удовольствием, — говорит Гердер в своем ответном письме, — узнал я о предстоящем издании „Библиотеки изящных наук“, которая будет выходить от вашего имени, и еще с большим нетерпением ожидаю рецензию, которую вы намереваетесь написать на мои „Отрывочные заметки“. Если рецензент помогает мне исправлять то, чего я не досмотрел, если он своими сомнениями и исследованиями лучше освещает то, что мной не было достаточно разъяснено, если он возражает мне в интересах истины и науки, то я смотрю на него как на товарища, работающего со мной за одним письменным столом, смотрю на него как на моего друга и Аполлона».

И сам Клотц, и участвовавшие в издании «Немецкой библиотеки» ученые вроде Риделя, Ширака, Гаузена, Мейзеля, Флёгеля, несколько иначе смотрели на ремесло рецензента. Уже в первом номере нового журнала (с. 161—180) было решено дать легкий урок автору «Отрывочных заметок» и потом, смотря по обстоятельствам, писать отзывы в том же духе. Там шла речь о первом томике «Отрывочных заметок», в третьем номере (с. 60 и сл.) был помещен разбор второго томика, а в четвертом номере (с. 177) были помещены «дополнения» к прежним отзывам². Склонность к сплетням находит для себя удовлетворение прежде всего в том, что заводится речь о личных свойствах «Иоанна Георга Гердера». Автор «Отрывочных заметок» принадлежит, по мнению рецензента, к «секте Гамана, или кёнигсбергской, которая грозит нашествием с севера» и к которой, кроме Гердера и Линднера, причисляется также автор шлезвигских писем о достопримечательностях литературы. Весь первый номер журнала наполнен рецензиями, которые имеют целью доказать негодность этой секты. Но в силу правила *divide et impera* Гердера еще

¹ Сравни. Guhrauer (Соч. Лессинга II, 3, 252 и сл.).

² Кроме того, неоднократно говорится об «Отрывочных заметках» в первом номере (с. 29—32 и 154), причем автор заметок называется то Гердером, то Гертером; во втором номере (с. 103) говорится об авторе с большими похвалами; даже в третьем номере (ст. 9, с. 44) его выводят на сцену в противоположность с Лессингом!

«не совершенно смешивают с этими людьми». Ровно в той мере, в какой Гердер ценил Клотца и разделял критические воззрения последователей этого писателя, его признают за «мыслителя, знатока древности, человека с тонким вкусом». Только жаль, что он не осыпал Глейма еще более щедрыми похвалами, что он взводил неосновательные обвинения на любимцев Клотца — на Крамера, Ланге, Виланда, Душа, что он хвалил в Гамане оригинального писателя! Но главное заключалось в том, что школа Клотца, при своей склонности к произволу, искала опоры в том принципе английской эстетики, который был усвоен в Гермаши Крузиусом — во внутреннем влечении к прекрасному, в «эстетическом вкусе». Автору «Отрывочных заметок» не следовало отвергать эту философию¹; ему следовало усвоить «ту методу, по которой англичане высказывают свои философские суждения о художественных произведениях»; о таких образцовых произведениях, «которые выше всяких правил», он не должен был судить на основании им самим придуманных воззрений; он «не должен был мыслить там, где следовало только чувствовать»! Действительно странно, по меньшей мере со своей внешней стороны эти суждения отвергавших философскую точку зрения последователей Клотца сходились с суждениями Мендельсона и Граве, которые так строго придерживались именно философской точки зрения; ни тем, ни другим не нравилось богатство идей у юного писателя; ни те, ни другие не придавали никакой цены тому, что было нового и плодотворного в критике Гердера, не придавали цены ни тому, что эта критика была проникнута глубоким чувством, ни ее гениальной смышлености. Мендельсон едва ли нашел бы в «Отрывочных заметках» что-нибудь достойное порицания, если бы автор не выходил то тут, то там из колеи вольфовско-баумгартеновской философии, а партия Клотца, наоборот, была недовольна привязанностью Гердера к системе Вольфа и упрекала его в том, что он заимствовал свой критический метод «большею частью из литературной школы Баумгартена». Итак, по мнению издававшегося в Галле журнала, главные недостатки автора «Отрывочных заметок» заключались в его привязанности, с одной стороны, к еретическим мнениям Баумгартена, с другой стороны, к еретическим мнениям Гамана. Но свое главное внимание обращает эта критика на «роман» о различных возрастах языка; она наставническим тоном опровергает изложенные в нем идеи, с удовольствием порицает то одно,

¹ Отрывочные заметки. III, 103.

то другое выражение, и даже иногда прицепляется к погрешностям и недосмотрам.

Прежде чем Гердер успел прочесть даже первую из этих оскорбительных статей, Гаман поспешил выразить ему свое соболезнование и убедил его возражать глубоко им презируемому «латинскому Готшеду», а тем временем Гаман со своей стороны разразился в Кёнигсбергской газете нескончаемыми насмешками над принадлежавшими к партии Клотца «домовыми и нечистыми духами критики»¹. Впрочем, в этих поощрениях с его стороны не представлялось надобности — обидчивый автор был глубоко оскорблен даже тем, что он прочел в первом номере «Библиотеки» Клотца. Он находил, что Клотц живет тем, что у него же похищает, а между тем извращает его мнения о Мендельсоне и Рамлере, относится к нему самым неприличным образом и при этом так мелочен, что нельзя воспользоваться ни одним из его замечаний². Гердер досадовал на самого себя за то, что своими прежними отзывами о Клотце способствовал незаслуженному прославлению этого писателя, а эта досада выражалась в особенной резкости его теперешних отзывов. В его глазах Клотц был такой писатель, который несмотря на незначительность своих заслуг и на свою неглубокомысленность был вознесен на высоту оракула изящного вкуса, но который, конечно, будет скоро низведен с этой высоты. Затруднение заключалось только в необходимости отыскать приличный способ перехода от прежнего тона суждений о Клотце к противоположному тону. Едва ли не самым лучшим способом был юмористический. Действительно, в уме Гердера зародилась мысль сделать из жившего в Галле профессора героя новой «Дунсиады», в которой он был бы представлен преемником Готшеда, главой секты, уголовным судьей над всеми, кто не хотел безусловно повиноваться ему, и в заключение описать его литературные похождения; Гердер даже написал стихами начало такой сатиры. Это был бы очень удачный прием со стороны такого писателя, который умеет обделать свою тему с забавной иронией и с привлекательным по внешней форме остроумием! Но то, что не удалось Попу, еще менее могло удасться его подражателю. Гердер никогда не

¹ К Гердеру (LB. I, 2, 303 и сл.); Полн. собр. соч. Гамана. III, 403 в сл. — В Кёнигсбергской газете (1768, № 6, с. 23) замечено, что вследствие опечатки поставлено слово *Poltergeister* (домовые) вместо слова *Rottgeister*. На рецензию Гамана ссылается Лессинг в письме к Николаи от 2 февраля 1768 г.

² В письме к Николаи от 13 мая 1768 г. (LB. I, 2, 318).

был так непривлекателен, как в то время, когда он насмехался и острил: его сатирические стихотворения, написанные с целью смешить, прогоняют с уст улыбку; тотчас видно, что они внушены озлоблением и причинили поэту именно столько огорчений, сколько должны были излить на его жертву насмешек. Поэтому он хорошо сделал, что отложил в сторону свою «Дунсиаду»¹; но он выразил свою досаду в такой прозе, которая была не много привлекательнее его стихов. Раздраженный до крайности, Гердер излил свое негодование прежде всего в новом издании «Отрывочных заметок», над которым он еще работал в то время: там он нападал на близоруких и болтливых рецензентов и неоднократно жаловался на неприличные о нем отзывы. Относительно самого Клотца он позволяет себе высказать только одно колкое замечание — что в его «прекрасном издании произведений Тиртея» недостает того, что всего лучше². Гердер налагает на себя меньше стеснений при переделке второго сборника. Если бы 2-е издание этого сборника вышло в свет, то на Клотца посыпались бы новые обвинения в неудовлетворительности его издания произведений Тиртея, ему сильно досталось бы за его книжонку о монетах и его имя было бы исключено из числа тех писателей, которые проложили в Германии путь к изучению греческой литературы.

Но все нападки, которым подвергался юный автор, казались ему крайне обидными и отнимали у него способность самообладания главным образом потому, что жившие в Галле рецензенты беспощадно разоблачали то, что касалось его личности.

При самом вступлении на литературное поприще Гердер принял по многим причинам твердое решение «писать, не подписывая своего имени, пока не будет в состоянии удивить мир такой книгой, которая будет достойна его подписи». Но исполнению этого намерения помешали частью доброжелательство его друзей, частью его собственная неосмотрительность. Еще до выхода из печати первого томика «Отрывочных заметок» Кантер разоблачил в Кёнигсберге его инкогнито, показав его рукопись

¹ План поэмы помещен в «Воспоминаниях» (III, 168); из него видно, что поэма должна была состоять из четырех песен. Изложенное на бумаге ее начало напечатано у Дюнцера (С, III, 305) под заголовком: «Отрывок из стихотворения на смерть Готшеда». Из рукописной тетрадки, в которую Гердер вносил разные извлечения, видно, что он приготавлился к сочинению своей поэмы, читая стихотворения Попа.

² Отрывочные заметки. I, 2-е изд.; SW в отделе изящной литературы. I, 177 (SWS. II, S2).

некоторым из своих друзей¹. Гердер тщетно заклинал своих доброжелателей не упоминать его имени и опровергать слухи о том, что он был автор заметок, «так как при его общественном положении похвалы за критические статьи не принесли бы ему пользы, а порицания причинили бы ему вред»². Слух о том, что он был автором новой книги, дошел из Кёнигсберга в Ригу, и нам смешно видеть, как Гердер, подобно страусу, старался тем глубже засовывать свою голову в куст, чем больше глаз было устремлено на него. То были не пустые слова, когда он писал Гаману, что после того как вышеупомянутый слух дошел до Риги, у него пропала охота писать, так как он был лишен возможности скрывать свое имя и чувствовал, что ему недостает свободы³; но разве то не было ребячеством, что он старался сохранить свое инкогнито при помощи отговорок, а упрашивая молчать всякого, от кого слышал лестные похвалы, в то же время сознавался, что он был автором новой книги! В третьем сборнике (с. 163) он не воздержался от соблазна почти ясно назвать себя по имени! Он не скрывал этого имени ни от Николаи, ни от Глейма, ни от Клотца. И в Берлине, и в Галле было всем известно имя автора «Отрывочных заметок»; в Петербурге было впервые обращено внимание на педагога Гердера благодаря его литературным трудам; в рижской городской думе указывали на его литературную известность как на мотив желания удержать его в Риге⁴ — тем не менее он не переставал упрашивать своих, живших вне Риги, друзей, чтобы они «никогда не упоминали его имени» и «читали бы его сочинения анонимно».

И к Клотцу он обращался с просьбой «не возвещать громко всему миру» о его имени, звании и общественном положении и вообще постараться, чтобы тон печатаемых в Германии книг и рецензий нисколько не зависел от того, кем написана та или другая книга. Это было то же, что требовать от огня, чтобы он не горел, или от кошки, чтобы она не ловила мышей; но из всего нами сказанного видно, с какими чувствами Гердер должен был

¹ LB. I, 2, 151, сравн. 143; Гердер к Канту (Там же. 296). Еще до выхода в свет «Отрывочных заметок» Линднер несколько раз (с. 27, 34, 35) упоминал в первой части своего «Lehrbuch der schönen Wissenschaften» (Кёнигсберг и Лейпциг, 1767) о том, что «печатается это сочинение, богатое остроумными рассуждениями».

² К Шеффнеру (LB. I, 2, 203).

³ LB. I, 2, 216.

⁴ См. примечание Дюнцера (С, III, 349) и сочинение Сиверса «Гердер в Риге» (с. 46).

читать такую рецензию, которая начиналась объявлением войны, была наполнена намеками на личное положение автора и даже в немногих объективных замечаниях отличалась тоном придиристичности и желанием нанести личное оскорбление.

Именно в таком тоне писались рецензии в журнале Клотца. Гердер вторично попытался скрыть свое имя при издании «Торса». Стиль этого произведения уже не напоминал произведений Гамана так же сильно, как их напоминал стиль первого томика «Отрывочных заметок». Чтобы не быть узнанным, автор даже позволил себе не совсем сочувственное замечание о восточно-библейском складе гамановского изложения¹. Он прибегнул к небольшой уловке — стал говорить об авторе «Отрывочных заметок» в третьем лице, но сам же себя выдал. Лишь только вышел в свет «Торс», как в Кёнигсберге и в Гумбиннене, в Берлине и в Галле все стали единогласно называть Гердера автором нового сочинения, не обращая никакого внимания на его возражения. Гаман отплатил за измену своего ученика очень дружественным, но слегка коварным замечанием²; Николаи высказался в своей «Библиотеке»³ с большей сдержанностью и даже в течение нескольких лет после того не разоблачал гердеровского инкогнито; напротив того, издававшиеся в Галле «*Gelehrten Zeitungen*», «Библиотека» Клотца, издававшиеся в Йене «*Gelehrten Zeitungen*» и немного позже основанная Риделем в Эрфурте «*Philosophische Bibliothek*»⁴ провозгласили во всеуслышание имя Гердера. «Нелепые, пошлые пустомели» — так назвал Лессинг сотрудников журнала Клотца. Одним из самых нелепых и пошлых пустомелей, конечно, был рецензент «Торса» — но он сумел из злости удачно попасть в самую чувствительную струну Гердера.

¹ Торс. С. 46, 47: «Конечно, когда филологи, пускаясь в рискованные крестовые походы, изображают не нашу религию, а только ее восточную сторону; когда они говорят не о ней и вместо возвышенного, понятного и выразительного языка употребляют какой-то странный, непонятный или даже шутиливый язык — то это можно назвать злоупотреблением; но это злоупотребление не отменяет общепринятого обыкновения» и т. д. Эта фраза безрассудным образом опущена в SW в отделе философии (XV, 55)!

² Соч. Гамана. III, 413: «Нам неизвестно, почему безымянный автор этого сочинения предпочел странное, непонятное или даже шутиливое название „Торса“ более известному и симпатичному названию „Отрывочных заметок“»; сравн. касательно этого «отмщения» письмо Гамана к Гердеру (LB. I, 2, 435, 436).

³ Дополнения к 1—12 томам журнала «*Allgemeine Deutsche Bibliothek*».

⁴ Hallische Neue Gelehrte Zeitungen. 1768. № 34; Allgemeine Bibliothek der schönen Wissenschaften. № 5. С. 32 и сл.; Ienaische Zeitungen von gelehrten Sachen. 1768. С. 53; Philosophische Bibliothek. № 1. С. 91 и сл.

Автор «Торса» (с. 6) не мог оставаться безнаказанным за то, что с иронией называл Клотца «новым Эразмом» и в противоположность тону этого профессора хвалил тон Аббта, не похожий на тон ремесленника; за это Гердеру пришлось услышать, что он позволил себе непристойные насмешки над человеком, занимающим почетное место, и что он провинился в оскорбительных нападках на Франкфуртский университет. Аббт или Лессинг отвечал бы на это смехом или еще более язвительными насмешками; а Гердер вспылал гневом за то, что с него сняли маску, и стал горько жаловаться на то, что на него сделали донос. «Господин Клотц, — писал он к Николаи, — вступился за всех профессоров. Этот низкий человек хочет быть грязным и ненавистным, когда не бывает смешон». И Шеффнеру он жалуется на «придирки» рецензентов; он говорит, что его перо немедленно узнают, что это отнимает у него всякую охоту писать и что он лучше бы сделал, если бы никогда не трудился над «Торсом»¹.

Последствием этого было то, что Гердер решил по меньшей мере не продолжать «Отрывочных заметок» дальше первоначального третьего сборника. Вслед за тем он, конечно, не без предвзятого намерения стал восставать против Глейма, о дружбе которого с Клотцем он узнал от Николаи. «Так как, — пишет он (LB. I, 2, 370), — без всякого с моей стороны повода меня осыпает оскорблениями целая партия немецких критиков, называя меня по имени, чего я, конечно, не заслужил, так как один из этих критиков ставит мне в вину увлечение химерами, другой — сочинение романа о языках, которого он, вероятно, не понял, третий — избыток философии, наконец четвертый — право на поступление в дом сумасшедших, и все это без указания достаточных оснований, то зачем же продолжать мне писать? Зачем подавать повод к тому, чтобы в Германии распространяли выдуманные анекдоты на мой счет и отправляли меня в дом сумасшедших, где вовсе не мое место! Моя книга не касается ни моего имени, ни моего звания, ни моей должности, и, вместо того чтобы распространять гамановскую секту, существование которой мне не известно, я буду молчать. Жаль только, что мне придется молчать о лирическом стихотворце, баснописце и сочинителе романсов Глейме, равно как об очень важных материях, которые я намеревался поместить в следующих частях». Между тем он попытался, при новом издании «Отрывочных заметок», взглянуть на написанные в подражание Анакреону песни Глейма

¹ LB. I, 2, 338, 357, 358.

с более правильной точки зрения, а не с той, с которой смотрели на них другие писатели.

Но Гердер еще недолго помышлял о выпуске в свет этого нового издания — приверженцы Клотца нанесли ему новое оскорбление, и он отказался от начатой работы.

Самый изворотливый и самый легкомысленный из сообщников Клотца, незадолго перед тем приглашенный на профессорскую кафедру в Эрфуртский университет, Ридель издал осенью 1768 г. вслед за первой частью «Теории изящных искусств и наук» небольшой томик дополнительных статей в форме писем под заглавием «О публике»¹. В десяти письмах к славившимся в то время и находившимся с ним в дружбе писателям он занимался в эклектическом направлении поверхностной болтовней (приготовлением «скверной кашицы из кусочков, не совсем разжеванных», сказано в гамановской рецензии) о разных эстетических вопросах. Лучшие мысли в этом сочинении были заимствованы от Гердера, которого автор осыпал то похвалами, то упреками, как это обыкновенно делают писатели, которые присваивают себе чужое добро. Но несколько замечаний, очевидно позже вставленных в текст девятого и десятого писем (с. 204, 214, 217), приводят нас в изумление. Вследствие «какой-то плутовской проделки» один экземпляр уже напечатанного, но еще не выпущенного Гарткнохом в свет 2-го издания первого сборника «Отрывочных заметок» попал в руки Риделя, который успел вставить в последние листы своего сочинения несколько обидных для Гердера замечаний о новом издании. Это окончательно вывело Гердера из терпения. Он постоянно желал сохранять свое инкогнито, но его постоянно называли по имени, насмехались над ним и оскорбляли его, а теперь те бесстыдные люди проникли даже в его рабочий кабинет, смотрели через его плечо на то, что он писал, и он должен был опасаться их даже тогда, когда сидел за своим письменным столом. Неудивительно, что он был вне себя от раздражения. Он не последовал доброму совету, который был дан ему Гаманом еще в то время, когда в «Библиотеке» Клотца появились первые на него нападки², — совету относиться к его врагу «со всевозможным равнодушием и хладнокровием» или же путем иронии и шутливости привлечь на свою

¹ Ueber das Publicum; Briefe an einige Glieder desselben, Йена, 1768. Даже в 1774 г. эта книжечка была снова издана в прежнем виде в качестве прибавления ко 2-му изданию «Теории».

² LB. I, 2, 304.

сторону тех, кто смеялся. Он с жаром и с обидчивостью отвечал в новом издании на нападки своих противников, и в то же время сделал в этом издании такие исправления и дополнения, которые отнимали у его врагов повод для придирок. Но теперь, когда нескромность Риделя вывела его из терпения, он поступил самым безрассудным образом, лишив публику возможности познакомиться с содержанием исправленного издания и ограничившись выражением своей досады. Он сообщил публике о причинах своего раздражения в длинной объяснительной статье, которую он поместил 24 декабря 1768 г.¹ в Фоссовой газете, уже не раз вступавшей за него и подчинявшейся влиянию берлинской литературной школы, и таким образом доставил Клотцу и Риделю удовольствие видеть, что каждый из их булавочных уколов причинил ему сильную боль. Кроме того, в этой статье было заявлено, что новое издание «Отрывочных заметок», в которое Ридель успел «заглянуть путем пронырства», быть может, никогда не появится в свете. Он скоро стал сожалеть, что, из опасения повредить своему общественному положению в Риге, он был вынужден оставить ненапечатанным все «объяснительное вступление»²; но это обстоятельство еще более подкрепило его в намерении отложить в сторону работу, которая сделалась ему противной оттого, что еще до выхода в свет была подвергнута его врагами критическому разбору. Он еще ничего не знал о новом еще более бесстыдном нападении, которое угрожало ему со стороны Клотца, когда он в январе 1769 г. отвечал на неоднократные запросы Николаи, что первый том нового издания уже напечатан, а второй готов в рукописи, но что ни тот, ни другой не выйдет в свет, если его издатель поступит согласно с его желанием.

Прекращение нового издания «Отрывочных заметок» было предзнаменованием и для участи задуманного продолжения «Торса». Именно в этом продолжении Гердер намеревался начать энергическую борьбу с Клотцем, именно там он надеялся вполне расплатиться с этим человеком, слабую сторону которого он теперь видел насквозь. По первоначальному плану³ предполагалось поместить в самом начале второй части «Торса» «три письма касательно суждений Аббта о первых произведениях Клотца» и в этих письмах подробно доказать бессодержательность и по-

¹ Эта статья напечатана в LB. I, 2, 382 и сл. Фоссова газета, говоря о «Библиотеке» Клотца в 34-м номере от 19 марта и в 37-м от 26 марта, решительно приняла сторону Гердера против Клотца.

² Это писал он еще 10 января 1769 г. к Николаи (LB. I, 2, 407).

³ К Шеффнеру (LB. I, 2, 358).

шлость когда-то расхваленных Гердером латинских сатир со всем их «площадным и студенческим остроумием»¹. В другой главе предполагалось возобновить и сделать более колким ранее помещенный в «Библиотеке» Николаи критический разбор сочинения («*Carmina*»), написанного жившим в Галле Горацием, и протестовать против сравнения этого нового Горация, с одной стороны, с Клопштоком, Глеймом, Вейссе, Удом и Герстенбергом, с другой — с Рамлером. Однако Гердер скоро понял, что такая подробная и всецело недружелюбная полемика с Клотцем могла бы показаться не совсем уместной в комментариях к произведениям Аббта. Если критик желал, чтобы его имя оставалось неизвестным, то об этом нельзя было и помышлять после того, что случилось с первой частью «Торса», — нельзя было помышлять тем более потому, что повсюду разбросанные во второй части ссылки на «Отрывочные заметки» ясно указывали имя автора. Если же Гердер намеревался во что бы то ни стало произнести свой приговор над Клотцем, если он выступал в этом случае и как *judex*, и как у *vindex*, который желал раскрыть перед публикой низость и неосновательность критических статей Клотца, то перед ним открывался только один приличный путь. Теперь ему следовало совершенно поднять забрало, которое уже было пробито в двух литературных походах; ему следовало откровенно сознаться, что он ошибался в своих прежних одобрительных отзывах о Клотце, затем вступить с этим писателем в единоборство, употребить против него в дело основательные доводы и ученые познания, ум и стойкость — иными словами, напасть на него так же смело и умно, как стал нападать именно в то время Лессинг в гамбургской газете.

К сожалению, Гердер не умел принять такое решение.

Он был так раздражен и оскорблен нападками Клотца, так глубоко убежден в низости этого человека, что не хотел предоставить другим расправу над ним, а с другой стороны, опасался, что, открыто вступая в такую борьбу, повредит своему общественному положению. Из ошибочных опасений за свое место и за свое общественное положение он избрал именно тот путь, на котором он неизбежно должен был лишиться и того, и другого. Он в третий раз осмелился выступить перед публикой с аноним-

¹ Эти письма находятся у меня в рукописи; они подкрепляют высказанное мной мнение многочисленными выписками из «*Mores eruditorum*», из «*Genius saeculi*» и из «*Ridicula litteraria*». Суфан (SWS. II, 364) основательно приводит лишь краткие выдержки из этих писем.

ным сочинением, большая часть которого была написана с целью уничтожить ненавистного противника. Приготовляясь к переделки второго сборника «Отрывочных заметок» (в статье о греческих писателях) он занялся разбором Винкельмановой «Истории искусства» и Лессингова «Лаокоона». Он высказывал свои мнения ничем не стесняясь и воображая, что его ум гуляет по «Критическому леску». Материал, который был им собран для статьи об «Истории искусства», был — как уже мы ранее заметили — большей частью перенесен в переделанный томик «Отрывочных заметок». В течение некоторого времени он, по его собственным словам¹, намеревался изложить свои «сомнения» в особом сочинении таким «тоном, который был бы достоин Винкельмана и обнаружил бы всю силу его ума», а к этому поощрял его «одобрительный взгляд», брошенный на него этим достойным человеком². Смерть Винкельмана заставила его отказаться от этого намерения, а чтобы взяться за сооружение памятника усопшему, он был слишком скромен³. Но Лессинг еще был жив. Ему Гердер мог изложить, например в форме послания⁴, те мысли, на которые его навел «Лаокоон». А разве нельзя было сохранить название «Критического леска», которое более соответ-

¹ KW. I, 276.

² В письмах Винкельмана к Устери от 2 января и к Мехельну от 13 января 1768 г. (Соч. Винкельмана. Берлин, 1825. Т. XI. С. 283 и 285). Гердера уведомили из Швейцарии, как отзывался о нем Винкельман в этих письмах. Касательно характеристики, помещенной в «Отрывочных заметках» (I, 144), Винкельман говорит в первом из тех двух писем: «Пользуюсь этим случаем, чтобы просить вас передать мою самую искреннюю признательность автору моего панегирика, помещенного в так называемых „Отрывочных заметках“». По его слогу, я узнаю в нем швейцарца и потому полагаю, что вы с ним знакомы». Во втором письме читаем: «Независимо от того, основательны воздаваемые мне похвалы или нет, они изящны по мысли». Сравн.: *Justi. Winckelmann. II, 2, 421.*

³ «В то время, когда Винкельман жил в Риме и когда вышли в свет его сочинения, я находился в том периоде юности, когда человек еще собирается со своими силами и старается отыскать в чувстве изящного ум и мысль. Поэтому я читал эти произведения с тем восторгом, который они способны внушать, и читал их часто. Они возбуждали в моем уме новые мысли, которые впоследствии изливались на бумаге и расширялись в объем по мере того, как я знакомился с произведениями искусства и читал другие сочинения. Когда пришло неожиданное известие о кончине Винкельмана, возбудившее общие сожаления, мне захотелось начертать его имя хоть на глиняной урне и присовокупить некоторые замечания и мысли, с которыми, по моему мнению, не может равняться никакой металл. Но я слишком высоко ценил этого человека, я ожидал и т. д.». Так выражался Гердер в том «Панегирике Винкельману», о котором нам много раз приходилось упоминать и который остался ненапечатанным.

⁴ KW. I, 274 и письмо к Лессингу (LB. I, 2, 416).

ствовало содержанию? Тогда было бы удобнее присоединить к этому томику о «Лаокооне» еще два небольших томика с нападениями на Клотца и его единомышленников и всему изданию дать общее название «Критических лесов» в том смысле, какой придает Квинтилиан слову *Sylvae*, — в смысле сборника идей, записанных без всякого плана по мере того, как они приходили в голову при чтении книг¹.

Несмотря на этот новый литературный проект, Гердер еще довольно долго не отказывался от намерения продолжать издание «Торса»; но так как значительная часть материала, предназначенного для этого издания, уже поступила в состав других произведений, то Гердер сначала на время отложил исполнение своего намерения, а потом и совсем от него отказался. Из материала, заготовленного как для продолжения «Торса», так и для переделки второго сборника «Отрывочных заметок», натурально, поступило в «Критические леса» все, что только могло сколько-нибудь подходить к их назначению. Хотя это новое произведение и имело решающее влияние на всю жизнь Гердера вследствие своих полемических нападков на Клотца, все-таки оно было не чем иным, как дальнейшим развитием прежних критических воззрений на литературу, чтобы не сказать исполнением того обширного плана, осуществление которого было начато Гердером в его двух первых произведениях. В сущности, все три произведения составляют одно целое: они отличаются одно от другого только заглавиями и теми внешними мотивами, которые вызвали их появление. Гердер поступил неудачно, когда принял за точку опоры произведения Аббта взамен «Писем о литературе»; то было в высшей степени полезной переменной, что он отложил произведения Аббта в сторону и принял одно из произведений Лессинга за центральный пункт для своих критических отзывов; напротив того, очень сомнительную пользу извлек он из того, что свои споры с Клотцем и с его приверженцами перенес из прежних произведений в новое.

¹ См. эпиграф в заголовке и Заключение первого «Критического леска».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«КРИТИЧЕСКИЕ ЛЕСА»

І. «Лесок» об «Истории искусства»

Первым «Критическим леском» была та статья о Винкельмановой «Истории искусства», которая сначала не носила этого названия, так как была предназначена для заново переделанных «Отрывочных заметок» о греческой литературе; нам уже известны ее основные идеи: Винкельман слишком придерживался греческой точки зрения и излагал «скорей научную систему, чем историю». Тем не менее для нас интересно последовать за Гердером в его «умственной прогулке» по истории искусства, для того чтобы уловить еще некоторые из его идей или во всяком случае для того чтобы проследить зарождение этих идей.

Гердер начинает высказывать свои сомнения и возражения уже по поводу введения, в котором Винкельман говорит, что принимает слово «история» в более широком смысле, чем тот, который оно имеет на греческом языке, и что он «попытается создать научную систему». Разве греки, говорит Гердер, намеревались создавать что-либо подобное из истории? И разве можно создать что-либо подобное так, чтобы сочинение все-таки оставалось историей?

Читатель, конечно, не позабыл, что если бы «Отрывочные заметки» были доведены до конца по первоначально намеченной программе, то в них шла бы речь об истории, о философии и об эстетике. Для недостающей статьи об истории может служить заменой то, что мы здесь находим¹.

Когда Гердер старается объяснить, в какой мере история может и должна быть научной системой, у него постоянно на уме воззрения «Писем о литературе», а в сущности воззрения Аб-

¹ Это можно сказать еще более потому, что Гердер намеревался посвятить часть этих исторических исследований Гаттереру и напечатать ее в его «Исторической библиотеке» в виде особой статьи. См. предисловие Суфана к третьему тому SWS.

бта, высказанные им по поводу «Истории иезуитов» Гаренберга и написанного Бертрамом продолжения к «Всеобщей истории Испании» Фермеры¹. Его замечания сводятся к тому, что нельзя требовать от историка полного и всестороннего описания исторических событий, точно так же как нельзя требовать, чтобы при изображении какого-либо тела с данной точки зрения от него не падала тень в какую-нибудь сторону. Ведь для того чтобы описать событие в его всесторонней цельности, т. е. в его внутреннем значении, необходимо расследовать его причины и последствия. Впрочем, наш критик становится в этом отношении на точку зрения Канта и Юма. «На этом пункте, — говорит Гердер, — прекращается прозорливость историка и начинается предвидение. Так как я могу указывать причины и последствия не по свидетельству моих глаз, а не иначе как по умозаключениям, по предположениям и догадкам, так как, делая эти умозаключения, я могу ссылаться только на сходство некоторых исторических фактов и, стало быть, моя прозорливость или мой ум является единственной порукой за правильность моих выводов, то отсюда ясно, что тот, кто пишет историю, и тот, кто философски вникает в ее содержание, стоят не на одинаковой почве». Писать историю и сочинять научную систему не одно и то же даже в том случае, если требуется, кроме исследования причинной связи, «совокупное изложение многих исторических событий по одному плану». Даже за это не может браться историк в строгом значении этого слова: кто за это берется, тот «творец, гений, живописец, художник» и, стало быть, больше чем историк.

Но вместо того чтобы продолжать эти рассуждения о сущности историографии, наш критик обращается к находящимся налицо образцовым историческим сочинениям. Он делает краткую характеристику Геродота, Фукидида, Ксенофонта, частью придерживаясь содержания соответствующих глав в первом томике переделанных «Отрывочных заметок»². Первый из них был, по словам Гердера, рапсодический историк, придерживавшийся научной системы очень нехотая и только для назидания своих греческих читателей. Историческое сочинение второго из них можно назвать чем хотите, но только не научной системой, построенной на описании Пелопоннесской войны. Третий из них — «этот самый благородный, самый скромный из всех историков, по-ви-

¹ «Письма о литературе». Т. IX, письмо 149—152; Т. XX, письмо 296—298.

² SW в отделе литературы. I, 179 и сл. (SWS. II, 84 и сл.).

димому, не придерживавшийся никакого плана и не высказывавший собственных мнений», — вполне отделяет историю и от философии, и от научной системы. Но иначе поступали его преемники. «Они находили слишком водянистым на вкус прозрачный поток исторических событий, среди которого тихо бежит струя исторической мудрости: они стали прибавлять к этому напитку философскую приправу и наконец стали прибавлять ее в таком количестве, что их произведения могут быть названы не историей, а философией по поводу истории». У Полибия история действительно превратилась в научную систему.

Отсюда Гердер делает скачок и прямо переходит к новейшим историкам, но между ними выбирает только Юма. Он изучил произведения этого писателя и — как утверждал в письме к Канту — начал школьное преподавание с британской истории главным образом для того, чтобы «быть в состоянии уяснять внутренний смысл исторических событий при содействии величайшего из новейших историков»¹. Юм был, по его мнению, «один из самых гениальных людей своего времени». Он читал произведения Юма с восторгом, признавал его за «прозорливого государственного человека, за глубокого мыслителя, за увлекательного рассказчика, за просвещенного критика», но извлек из его сочинений не исторические сведения, не знакомство с историческими фактами, а философию истории, т. е. познакомился со взглядом Юма на исторические события и с его манерой сопоставлять одни события с другими. В заключение он говорит, что история тем более достоверна, чем более плавности в ее изложении, чем более она основана на несомненных фактах и указаниях времени. Историография утратит свое настоящее значение, если сделается лжемудрствованием или систематическим изложением без исторической основы. Лучшая история та, в которой чисто фактическая часть содержания и придуманная автором научная система хотя и находятся во взаимной связи, но могут быть точно и ясно отделены одна от другой.

Нехудо сохранить в памяти эти общие правила, для того чтобы проверить их в применении к позднейшим историко-философским произведениям самого Гердера. Стал ли бы он придерживаться им самим установленных правил, если бы исполнил свое давнишнее намерение написать очерк истории XV и XVI столетий и сочинение об «источниках новейшей истории»?² Не

¹ LB. I, 2, 298.

² К Шеффнеру (LB. I. 2, 361).

был ли он, по природным свойствам своего ума, склонен не следовать примеру Ксенофонта и смешать историю с научной системой? Разве исполнение его давнишнего намерения написать «историю человеческого рассудка» не имело бы почти неизбежным последствием нарушение границ, отделяющих историю от научной системы? Разве он уже не нарушил этих границ в своих очерках истории языка и истории поэзии? Наконец, разве в своей брошюре «об изменении народных вкусов» он не отзывался о прагматическом методе исторического изложения, об исторических произведениях Вольтера и Юма очень благосклонно, придерживаясь воззрений Аббта и современного прагматического направления?¹

И в этом отношении он более искусно подмечал ошибки у других, чем сам их избегал, и по своему обыкновению наклонялся то в ту, то в другую сторону сообразно с требованиями данной минуты. На этот раз он вознамерился проверить вышеприведенные правила на винкельмановской «Истории искусства» и в своих суждениях о ней не забывать двойной обязанности «верить и расследовать». Те правила казались ему неоспоримо верными в применении к Винкельману; он возвращался к ним в оставшемся ненапечатанным панегирике Винкельману, а теперь он нашел для них новое подтверждение: в первом «Критическом леске» (с. 12) он говорит, что Винкельман имел в виду написать не столько настоящую историю, сколько историческую метафизику изящного на основании изучения древних народов, в особенности греков.

В этом же «Критическом леске» есть одно достойное внимания, новое критическое замечание относительно третьей статьи в винкельмановской первой главе: о причинах различия искусства у народов. В этой статье Винкельман объяснял физические и умственные превосходства греков почти исключительно «влиянием климата». Гердер основательно противопоставляет этому одностороннему влиянию значение наследственных свойств и развивает свою мысль главным образом по отношению к физическому развитию. Точно так же, как и в своей статье о физической красоте как о предвестнице красоты душевной, он напоминает о платоновском «Федре». На развитие красоты может иметь сильное влияние только душа, облекающаяся в тело в материнской утробе; влияние климата незначительно в сравнении с влиянием наследственности, которая передает красоту из рода в род.

¹ LB. I, 3, a, 201, 202.

Сами греки ясно сознавали превосходство своего племени; их поэты Гомер и Пиндар превозносили наследственные преимущества, происхождение которых возводили к богам; они гордились этими внешними формами красоты как национальным достоянием и сообразно с ними создали свои понятия об идеалах изящества и искусства. Гердер опровергает винкельмановский тезис и такими доводами, которые извлечены из опыта; затем он снова повторяет упрек в том, что Винкельман не придерживался настоящей исторической точки зрения и имел в виду только греков. Он говорит, что сам Винкельман увлекся греческими национальными понятиями о красоте, между тем как он должен бы был объяснить, каким образом греки, прежде всех других народов, применяли на практике, возвышали и развивали свои понятия о красоте. На этот вопрос следовало взглянуть с исторической точки зрения — следовало объяснить, почему между всеми народами, знакомыми с искусством, ни один не сравнился с греками по развитию изящного вкуса и по своим понятиям об изяществе. А при такой исторической точке зрения следовало принять в соображение прежде всего то благоприятное положение, которое занимали греки между азиатцами и европейцами, между египтянами и римлянами, и следовало указать, каким путем они усвоили культуру от прежних поколений и каким путем они передали ее потомству.

На остальных страницах этого «Критического леска» мы находим не столько выражение сомнений и возражения, сколько побочные идеи, возбужденные чтением «Истории искусства». Указания Винкельмана на различия народов по складу ума и на влияние этого различия на развитие искусства вызывают Гердера на некоторые размышления о таких предметах, которые не входят в историю искусства, — о развитии наук, вкуса и образования. Так, он снова указывает на важное значение Востока в истории искусства, снова повторяет мысль Гамана «о странствованиях по восточным странам»; при этом он заглядывает в сферу теологии — впрочем, только для того чтобы немедленно возвратиться назад; он указывает на некоторые суждения Винкельмана о художественных дарованиях и эстетическом вкусе итальянцев и англичан и оканчивает следующими словами: «Я вношу эти суждения в мою памятную книжку, для того чтобы поговорить о них, когда буду вести речь о „Лаокооне“ Лессинга».

Отсюда ясно видно, что этот «Критический лесок» не имел ничего законченного и был похож на отрывочные заметки, не-

смотря на высказанное Гердером в другом месте намерение идти вслед за Винкельманом даже при определении «метафизических основ изящного». Отсюда также видно, что свою умственную прогулку по истории искусств Гердер намеревался продолжать и что он предполагал перейти к «Лаокоону». И мы должны следовать за ним тем же путем.

II. «Лесок» о «Лаокооне»

Еще в то время, как в первый раз печаталась первая часть «Отрывочных заметок», — в конце лета 1766 г., — Гердер ознакомился с содержанием только что вышедшего в свет «Лаокоона». Он писал 23 сентября Шеффнеру: «Я читал это сочинение после обеда и в течение всей следующей ночи три раза с ненасытной жадностью». Именно в то время он был занят Гомером; поэтому замечания Лессинга о Гомере были для него «чем-то вроде семян, брошенных на только что вспаханную почву». Сочинение Лессинга имело связь с сочинением Винкельмана, и каждый читатель, натурально, делал сравнения между этими двумя писателями; замечания, высказанные по этому предмету Шеффнером, побудили Гердера также заняться сопоставлением двух писателей. «Сравнивая Лессинга с Винкельманом, — говорит Гердер, — я нахожу первого более плодовитым и полезным, второго более тщательным и прилежным; первый более вдумывается и умеет объяснить нам не только то, до чего он додумался, но и как он додумался; он вводит нас в лабораторию своего ума и научает нас мыслить; второй извлек самые возвышенные из своих идей из знакомства с древностью и сообщает нам только продукты своей умственной работы, а не ее приемы; первый — только ученый истолкователь, одаренный гением и изящным вкусом; второй — одаренный изящным вкусом антикварий, у которого окончательные приговоры редки, но очень определены. Лессинг сидит на плечах Винкельмана и потому видит шире и дальше; между эстетиками по профессии Винкельман не придерживается предпочтительно их сферы понятий, а между филологами по ремеслу такое же положение занимает Лессинг, и мы причисляем их к *ingratis Musis*».

Основные положения, высказанные Гердером в этих письмах, повторились бы в том сопоставлении Винкельмана с Лессингом, которое должно было служить содержанием для одной из глав заново переделанного второго сборника «Отрывочных

заметок»¹; но после того как этот переделанный второй сборник остался ненапечатанным, они были перенесены во вступительную главу первого «Критического леска», посвященного «Лаокоону» Лессинга; стало быть, здесь наконец находим мы ту характеристику Лессинга, которую обещали нам «Отрывочные заметки» при перечислении семи оригинальных писателей.

Следует полагать, что летом 1768 г., после смерти Винкельмана, был окончательно составлен Гердером план нового сочинения — «Критических лесов» в том виде, в каком они дошли до нас: вместо «Истории искусства» и «Лаокоона» Гердер избрал своим сюжетом «Лаокоон» и произведения Клотца. В его письме к Николаи от 9 августа находятся первые указания на задуманное предприятие. Оправдываясь в мешкотной доставке рецензий, он говорит: «То анонимное сочинение, которое я теперь готовлюсь издать, вы, может быть, найдете более удовлетворительным, чем несколько рецензий». Уже в каталоге книг, вышедшем в 1768 г. ко дню св. Михаила, было объявлено о предстоявшем выходе в свет сочинения «Критические леса, или Размышления о науке и искусстве с эстетической точки зрения, основанной на новейших литературных произведениях»; осенью были напечатаны первый «Критический лесок» и вслед за ним второй, «касательно некоторых произведений Клотца»; оба они были выпущены в свет в январе 1769 г.; только летом того же года был издан третий «Лесок», в котором шла речь еще о некоторых произведениях Клотца².

Что критический разбор «Лаокоона» был предпринят в связи со страстными нападками на Клотца, объясняется вовсе не простой случайностью и даже не бестактностью со стороны автора. Гердер искал в Лессинге опоры и прятался за его спиной вполне сознательно, и даже с благоразумной расчетливостью. Новый литературный план был задуман в ту пору, когда Лессинг объявил в гамбургской газете (20 июня 1768 г.) войну тому человеку, который именно в то время так глубоко оскорбил Гердера и так сильно уронил себя в его мнении. Гердер не мог бы найти ни луч-

¹ Сравн. выше, с. 297.

² Еще в половине октября 1768 г. Николаи (письмо к Лессингу от 18 октября: LB. I, 2, 365) читал первый лист в корректуре. Уже в 7-м номере эрфуртской ученой газеты была помещена 23 января рецензия и первого и второго «Критического леска». О том, будет ли напечатан третий «Критический лесок», Гердер не знал даже в октябре 1769 г. (LB. II, 77), во время своего пребывания в Нанте. Касательно того, что существовало два издания первого и второго «Леска», отличавшиеся одно от другого только заглавными листами, см. введение к SWS. III. Только третий «Лесок» появился с указанием издателя и типографии, где печатался (в Риге, у Гарткноха).

шего союзника, ни более благоприятной минуты для открытия военных действий с целью отмщения. Он был вправе надеяться, что успеет одолеть врага при содействии Лессинга, который также вступился за оскорбленного автора «Отрывочных заметок»¹. Хотя с его стороны и было безрассудством намерение вступить в борьбу безымянно, из-за угла; но чувство гордости заставило его вступать в эту борьбу равноправным боевым товарищем Лессинга — не в качестве его последователя, а в качестве такого писателя, который ранее его снискал уважение своей самостоятельной литературной деятельностью. Независимость такого положения ясно видна в самом начале «Критических лесов». Приступая в начале первого «Леска» к сравнению Винкельмана с Лессингом, автор отзывается с презрительной гордостью о той жалкой «стае критиков», о тех рецензентах, которые, помещая свои статьи в «Acta litteraria», не умели хвалить «Лаокоон» иначе, как в ущерб произведениям Винкельмана; и в дальнейшем изложении он тщательно отделяет свои отзывы о Лессинге от нелепых противоположных отзывов Клотца. Так, он пишет (с. 74): «Прежде чем опровергать мнения Лессинга, надо их понять». Вообще он постоянно опирается сначала на Лессинга, а потом на Винкельмана в своих нападках на лжекритика и лжеархеолога.

Еще задолго до того, как Гердер нашел в Лессинге помощника для борьбы с Клотцем, он отдавал справедливость выдающимся достоинствам этого писателя и получал от него самые плодотворные возбуждения к литературной деятельности. Лессинга как сочинителя песен он любил еще бывши мальчиком; Лессинга как драматического писателя он всегда был готов хвалить за его полные жизни и юмора диалоги²; с Лессингом как

¹ В тринадцатом письме антикварного содержания Лессинг говорит следующее касательно подписанной не буквой *F*, а буквами *Dtsch* рецензии третьего сборника «Отрывочных заметок», в которой осуждается выражение *Herkules im Torso*: «Разве не этот самый *F* упрекал в одном из предыдущих номеров „Библиотеки“ одного писателя в незнании, что такое „торс“, между тем как ему следовало бы поучиться мыслить у этого писателя, прежде чем находить у него какие-либо недостатки». Вследствие этого Гаман писал Гердеру 23 сентября 1768 г.: «Лессинг смело вступился за Вас».

² Сравн., например, его письмо к Николаи (LB. I, 2, 408); в бумагах, предназначавшихся для продолжения «Торса» (SWS. II, 364, 365); Отрывочные заметки I, 48, 80, 157. — О живом и непринужденном слого Лессинга идет речь в рецензии (LB. I, 3, b, 86); живость Лессинговых басен восхваляется в главе об Эзопе и Лессинге, в переделанном втором сборнике «Отрывочных заметок» (SWS. II, 199); о «напоминающем Катутла лукавстве» Лессинга как сочинителя песен идет речь в «Отрывочных заметках» (III, 205); что «у Лессинга такая голова, которая способна на все, чего захочет», сказано в SWS. II, 189 и далее.

участником «Писем о литературе» он иногда обменивался мыслями и даже вступил в горячий спор по поводу оценки клопштовской лирики; острая диалектика Лессинга всегда имела для него неотразимую привлекательность; он восхищался ею в «Драматургии», но уже ранее того извлекал из нее большую для себя пользу, читая статьи Лессинга о басне. Теперь он стал восхвалять «Лаокоон» как такое произведение, «над которым трудились три богини — покровительницы человеческих наук — музы философии, поэзии и эстетики»; он желает, чтобы его теперешнее произведение считалось «доказательством его уважения к автору „Лаокоона“», и пишет в том же духе уважаемому им писателю: «Не будет сказано ни одного слова, оскорбительного для такого человека, как Лессинг!»¹ Тем не менее мы едва ли уклонились бы от истины, если бы поставили над этим «Критическим леском» заглавие: за Винкельмана против Лессинга. Всякий раз, как Лессинг в своем «Лаокооне» в чем-нибудь не соглашается с автором «Истории искусства», Гердер берет сторону скорее последнего, чем первого. Он ценит первого совершенно иначе, чем последнего. Он смотрит на Лессинга с благоговением, как на «высшее существо», а на Винкельмана с глубоким уважением ученика, который мечтает о том, чтобы стать наряду с наставником. В комнате Гердера висели портреты «нескольких избранных» немецких писателей: на первом месте висел портрет Клопштока, ниже его — портреты Глейма и Клейста, ниже всех — портрет Винкельмана между портретами Галлера и Бодмера; Клопшток и Винкельман были в мнении Гердера «представителями двух крайних пределов человеческого ума и немецкой самобытности — были двумя маркграфами немецкого величия»². Только в большом отдалении от этих двух людей он отводил место другим писателям, которые ему нравились или по следам которых он старался идти; только к этим двум людям он относился с чувством чистого благоговения — с таким чувством, которое не оставляло его даже тогда, когда он критически разбирал их произведения. Даже самые сильные возражения против винкельмановской «Истории искусства» он высказывает сдержанно и таким тоном, который отчасти отзывается свойственными Винкельману торжественностью и воодушевлением. Ведь в конце первого «Критического леска» он признается, что в течение мно-

¹ LB. I, 2, 416 — в письме, которым он извещает Лессинга о предстоящем выходе в свет «Критических лесов».

² LB. I, 2, 237; KW. II, 89.

гих лет ежедневно переносился мыслью к древним, что он смотрит на Винкельмана как на воскресшего из мертвых грека, что читает и семь раз читал его произведения с таким же благоговением, с каким читает Гомера, Платона и Бэкона, и что подобно Винкельману сам видит своего Аполлона. И то правда, что когда он высказывал эти признания, он находился под впечатлением ужасного известия об умерщвлении Винкельмана, которое внушило ему мысль написать торжественную хвалебную песнь в честь великого усопшего, теперь вознесшегося к богам, — в честь героя, который не перестанет жить в созерцании вечной красоты¹. Обогащать можно только мертвых, а с живыми следует состязаться. Но и помимо этого соображения Гердер стоял ближе к Винкельману, чем к Лессингу, и по своим врожденным влечениям, и по складу своего ума. Он охотно вступает вслед за Лессингом в очень длинные диалектические рассуждения, но позволяет себе по временам уклоняться от строгой последовательности идей, чтобы удовлетворять настойчивые требования своего сердца, — позволяет себе удовлетворять эти требования в своих трогательных заключительных словах. Его силу составляет не беспощадное остроумие, свойственное Лессингу, а гениальная, вдохновляющая способность чувствовать биение чужого пульса — способность, очевидно, имеющая близкое сходство с тем воодушевлением, которым отличаются суждения Винкельмана об образовательных искусствах.

Этим объясняются и его отношения к тем воззрениям, которые изложены в «Лаокооне». Опровергая того, кто опровергал Винкельмана, он подражает первому из них даже в оборотах речи. Следуя за Лессингом шаг за шагом, как на прогулке, он не столько опровергает сделанные им выводы, сколько дополняет их. Он покидает его, только для того чтобы, пройдя по боковой дорожке, снова с ним сойтись; но на этой боковой дорожке он подбирает много такого, что было оставлено Лессингом в стороне с намерением или без намерения. Он большей частью старается «ограничить» выводы своего предшественника, но в то время как он их ограничивает, он придает им своим сердцем такую ширину, что они, быть может, и становятся более близкими к исти-

¹ «Хвалебная песнь в честь моего соотечественника Иоанна Винкельмана по случаю известия о его умерщвлении» (LB. I, 2, 327 и сл.) изменена в SW в отд. литературы (III, 165 и сл.). Переговоры с Мерком о предполагаемых изменениях см.: LB, III, 332. Из одной памятной книжки Гердера видно, что до получения известия об умерщвлении Винкельмана он намеревался написать стихотворение в честь Винкельмана после его «возвращения в отечество».

не, но утрачивают свою определенность. Хотя он всего чаще соглашается с мнениями Лессинга (в этом случае также подражая тому, как относился Лессинг к Винкельману), но он не соглашается с его «доводами», а, приводя другие доводы, он или придает тем мнениям больше глубины, или заставляет сомневаться в их основательности.

Лессинг писал свое сочинение главным образом с целью установить границы между поэзией и скульптурой, ввиду господствовавшей в этом отношении путаницы понятий, и при этом восстановить отличительные права и преимущества поэзии, утратившие свое прежнее значение вследствие одностороннего предпочтения, с которым относился Винкельман к образовательным искусствам. Преследуя эту цель с первой страницы своего сочинения, Лессинг восстает против мнения Винкельмана, что Лаокоон скульптора страдает точно так же, «как Филоктет Софокла»; он говорит, что страдания Филоктета не имеют сходства с той умеренной скорбью, которую Винкельман основательно замечает в выражении лица Лаокоона: Филоктет жалуется и кричит, наполняя театр возгласами, в которых слышны негодование, скорбь и отчаяние.

Относительно этого вопроса Гердер впервые не соглашается с мнениями Лессинга, принимая сторону Винкельмана. Подобно Винкельману он видит в Софокловом Филоктете такого героя, который среди своих страданий старается заглушить в себе скорбь; по его мнению, трагедия Софокла изображает скорбь во всех ее градациях, но всегда «скорбь сдержанную, а не такую, которая выражается без всяких стеснений». Гердеру не удалось доказать это положение; доводы, изложенные во второй и в пятой главах его Антилаокоона, не выдерживают строгой филологической проверки и не свободны от самообольщения. Что Лессинг принимал идею физического страдания за главную идею той трагедии, едва ли справедливо наполовину, а упрек, сделанный Лессингу за то, что он «как драматург» не в меру одобрял греческого драматического писателя, показался бы нам очень странным, если бы мы позабыли, что и в своей рецензии герстенберговского «Уголино» Гердер противопоставлял суждениям с точки зрения драматургии такие суждения, для которых служило основой сочувствие. Однако если мы отложим в сторону это резкое противоречие и неосновательность слишком одностороннего доверия к своим собственным чувствам, то мы найдем, что точка зрения нашего критика на трагедию Софокла была бы самой правильной, какую можно себе представить, если бы, при отдаленности

времени, действительно можно было не уклоняться от нее. «Будем читать, — говорит он, — так, что мы как будто видим на деле то, что читаем!» В «Отрывочных заметках» он говорил, что, читая Гомера, переносился мысленно в Грецию на покрытую народом площадь, где певец Ио распевал перед собравшимися слушателями рапсодии божественного поэта (еще Блэкуэлл заявлял требование, чтобы именно так читали Гомера). И здесь он точно так же восклицает: «Туда, на афинскую сцену устремите ваши взоры и перенеситесь мысленно!» Он обращается к нашим чувствам, научая нас «предаваться впечатлениям, которые производит трагедия», и «подобно греческим слушателям не позабывать вынесенных из нее натуральных впечатлений»! Эти впечатления, конечно, не могли быть совершенно натуральными; Гердер, конечно, не мог совершенно превратиться в греческого слушателя, а «драматург» не был в своих суждениях так мало похож на грека и так бесчувствен, как утверждает Гердер; тем не менее следующий затем анализ пьесы остроумен и привлекателен, а когда Гердер красноречиво доказывает, что будь главной целью трагедии Софокла изображение физических страданий, то эта трагедия превратилась бы в наводящую ужас пантомиму, он подкрепляет свое мнение тем основательным и убедительным соображением, что сострадание возбуждают в нас также совершенно иные мотивы — вся обстановка страдальца и его нравственная энергия.

Второе замечание Гердера, подобно множеству других, высказанных далее, касается Гомера. Недаром же Гердер называет «произведения Гомера и человеческую душу» источниками, откуда он черпает свои мысли. Он называет Гомера «своим Гоме-ром» на основании своего сочувствия к нему и потому что со страстным увлечением вдумывался в его произведения. В конце «Леска» он говорит: «В том, что касается Гомера, я редко разделяю мнения Лессинга». Действительно это так было, а мы должны со своей стороны прибавить, что для Гердера нередко было более верным руководителем его поэтическое чувство, чем для Лессинга его умение остроумно разлагать всякое понятие на его составные части.

Раненые воины, писал Лессинг, нередко падают у Гомера на землю с криками; ведь греков не стесняло никакое ложное чувство приличия: крик есть натуральное выражение физических страданий. На это Гердер замечает, что Гомер не всегда заставляет своих героев испускать крики, чтобы не препятствовать страждущему человеку пользоваться его правом. Напротив того,

и в той трагедии, о которой здесь идет речь, и во многих других Гомер применяется к характерам своих героев; он обособляет этих героев и заставляет их испускать крики только в тех случаях, когда этого требует их определенный индивидуальный характер. Гердер высказывает это замечание едва ли не слишком громгласно. Еще Блэкуэлл обращал внимание на индивидуальный отпечаток гомеровских характеристик¹. И Лессинг не стал бы против этого возражать. Но то были поистине плодотворные заключения, которые выводит оттуда Гердер, восставая против обыкновения Лессинга делать слишком скоро общие выводы и осмотрительно вникая в подробности.

Так, когда автор «Лаокоона» быстро приходит к убеждению, что только образованный грек мог в одно и то же время и плакать, и быть храбрым, то Гердер основательно протестует против такой преувеличенной грекомании. Это тот самый пункт, в котором он расходится в мнениях и с Лессингом, и с Винкельманом. Один из этих писателей влюбился в образовательные искусства греков, по выражению Гердера², «до самого мудрого безумия и до обожания», а другой видел в греческой поэзии безусловно образцовое явление, которое должно служить единственным руководством для всех суждений о свойствах и законах поэтических произведений; и житейские воззрения обоих писателей, их этические понятия подчинялись решительному влиянию греческой жизни. А что касается Гердера, то нам уже известно, что для его увлечения греческими писателями служило противовесом его влечение к поэзии восточных и северных народов — его широкое сердечное влечение ко всему человеческому. Он порицал Винкельмана за то, что он сделал Грецию единственным центром своих наблюдений над историей искусства; еще менее мог он одобрять эту греческую точку зрения в суждениях о поэзии. Греческая жизнь и жизнь всего человечества не были для него такими же равнозначными понятиями, какими они были для Винкельмана и для Лессинга, так всецело настроивших свои умы на древний лад, и какими они впоследствии были для Ф. А. Вольфа и В. Гумбольдта, для Шиллера и Гёте; напротив того, Гердер, подобно писателям нашего времени, видел в Греции страну, бросавшую яркий свет в широкой сфере всего человечества, а в его уме постоянно бродила мысль о более широкой истории поэзии, искусств и наук, образованности и нравов — о такой истории, ко-

¹ Исследование и пр. в немецком переводе, с. 347.

² О гравии в школах (LB. I, 2, 69).

торая, стараясь обнять «все народы и времена», сделалась бы «историей человеческого рассудка», всеобщей историей литературы и цивилизации. Между статьями, написанными для продолжения «Торса», была одна глава, в которой психологически объяснялось значение элегической поэзии и на этом основании был сделан исторический очерк этой поэзии¹. Гердер воспользовался теперь в своих возражениях Лессингу второй, исторической частью той статьи. Ссылаясь преимущественно на недавно вышедшие в свет песни Оссиана, подлинность которых он считал несомненной, он постарался доказать, что то прекрасное сочетание храбрости с чувствительностью, о котором говорил Лессинг, никак не может быть приписано одним грекам. Оно свойственно не одной какой-либо нации, а всякой нации, которая достигла известной степени культуры; оно встречается повсюду на той средней культурной степени, на которой народы перестали быть варварами, но еще не дошли до соблюдения утонченных правил вежливости и приличия. Он обрисовывает в общих чертах такую ступень нравственного развития и говорит: «Я становлюсь на нее, когда хочу всем сердцем чувствовать красоты гомеровских героев и греческих трагедий». Отсюда видно, что Гердер вовсе не отказывал в должном уважении ни греческому уму, ни превосходствам греческой поэзии: напротив того, именно с этой точки зрения он перешел от исключительного преклонения перед греками к правильному пониманию того, что касалось не одной только эстетики, а истории всего человечества.

Внимания к исторической точке зрения он требовал и в другом отношении. Он имел ее в виду, когда при разборе произведений Винкельмана в недоконченном «Леске» вел речь главным образом об «Истории искусства»; он имел ее в виду, когда в конце настоящего «Критического леска» говорил, что «Лаокоон» Лессинга должен бы был заняться не мелкими заблуждениями Винкельмана, а сущностью его сочинений, «всем зданием его истории», «еще возбуждающей столько затруднений». Итак, это был «второй» пункт, относительно которого Гердер высказывал свои порицания и желания как Винкельману, так и Лессингу! Он соглашается с ними обоими в том, что красота была у древних высшим законом для образовательных искусств; но затем он обращается к Лессингу с вопросами: «у каких древних народов так было? с какого времени? как долго? какие были производные

¹ Орывки из этой главы приведены Суфаном (SWS. III, 28 и сл.) под текстом первого «Критического леска».

и побочные законы? чем объяснить, что именно у греков, предпочтительно перед всеми другими нациями, красота сделалась высшим законом?» Это важные вопросы, присовокупляет Гердер, «а относительно последнего из них меня не вполне удовлетворяет даже Винкельман». Гердер требует, чтобы принимались в соображение различия во времени или, другими словами, чтобы было указано постепенное возникновение греческого идеала красоты, чтобы были указаны поводы и причины этой постепенности. Затем он обращает внимание Лессинга на некоторые частности, как например на совокупное влияние политических и религиозных факторов, на то, как мало-помалу очищавшиеся религиозные понятия очищали и понятия об искусстве и поэзии. Но Гердер не ограничивается возражениями Лессингу: «Я удивляюсь, — говорит он, — тому, что Винкельман не обратил в своих сочинениях внимания на такое очищение от чужеземных, старых, аллегорических понятий и не указал на принесенную ими пользу; главная задача истории искусства заключается в объяснении, каким образом изящная натура греков усвоила столько чужих, стеснительных для нее, идей».

Требование исторической точки зрения основано в конце концов на тех же мотивах, на которых основано требование, чтобы принимались в соображение индивидуальные особенности; это последнее требование встречается много раз при опровержении Гердером воззрений Лессинга. В том, конечно, нет резкого разномыслия, что Лессинг, говоря об изображении Агамемнона на картине Тиманфа с закрытым лицом, приписывает это нежелание художника изображать то, что внушает ужас, между тем как Гердер объясняет это желанием художника сообразоваться с требованиями определенного положения — положение царя, отца семейства, героя патриота¹; тем не менее характеристичен тот факт, что Гердер вздумал подкрепить общий эстетический мотив другим мотивом, заимствованным из частного случая. Гердер относился так враждебно к «общим правилами, что постарался — не совсем успешно — опровергнуть даже то мнение Лессинга, что ни с чем не сообразно изображать тела носящими-ся в воздухе. На индивидуальный характер гомеровских богов и героев он уже обратил внимание тогда, когда шла речь об испускавших крики раненых воинах. Он снова обращает внимание на

¹ Именно так думал Гердер, а не так, как понял его мысль Блюмнер («Лаокоон» Лессинга, с. 37), воображавший будто Гердер говорил о сочетании красоты с личным достоинством.

этот предмет по поводу замечания Лессинга о громадной телесной величине гомеровских богов, далеко превосходящей натуральные размеры человеческого тела; и на этот раз Гердер отвергает «общее правило» и доказывает, что величина и физическая сила богов соответствуют индивидуальному характеру каждого из них. Но всего энергичнее он отстаивает свои мнения при объяснении, чем отличаются воззрения художника на богов от воззрений поэта. Касательно этого предмета Лессинг ограничился замечанием, что поэт смотрит на богов как на такие существа, которые живут и действуют, а «кроме свойственных им всем отличительных особенностей одарены еще другими свойствами и чувствами, которые иногда могут брать верх над теми отличительными особенностями». Напротив того, по мнению Гердера, эти другие свойства и чувства, придающие богам индивидуальный характер, составляют главное — составляют настоящую сущность богов, а их «общий характер» обнаруживается впоследствии как второстепенное и производное понятие. Конечно, Гердер едва ли вполне прав, когда предоставляет прибегающему к мифологии поэту право с безусловной свободой создавать богов с индивидуальными характерами¹; тем не менее его воззрение и более глубокомысленно по своей основе, и более верно. Не подлежит никакому сомнению, что он вернее Лессинга понял сущность поэзии — потому вернее, что он сам мысленно переносился в сферу ее творческой деятельности, что для него поэзия не доведенное до совершенства искусство распоряжаться заранее приготовленным материалом, а удовлетворяющее врожденные влечения творческое проявление человеческого духа. Из склонного к поэзии человеческого духа, как будто из общего корня, вырастают поэзия и мифология. Гердер по меньшей мере близко подходит к этому положению, когда называет поэтов первоначальными создателями и отцами мифологии и когда, именно вследствие такого воззрения, смотрит на гомеровских богов главным образом как на «вполне индивидуальные небесные существа».

Уже здесь заметно, что эти два критика придерживаются различных точек зрения; это различие становится более ясным и более благоприятным для Гердера, когда Лессинг восстает против обыкновения живописцев покрывать часть картин (в особенности тех, сюжеты которых заимствованы от Гомера) чем-то вроде тумана с целью дать понять, что тот или другой предмет

¹ См. Блюмнера, с. 108, 109.

должен считаться невидимым. Недоступность для человеческих глаз, утверждает Лессинг, есть натуральное положение гомеровских богов; чтобы человек мог их видеть, нужно бы было значительно усилить его дальноркость; с другой стороны, когда Гомер, желая сделать какое-нибудь тело невидимым, прибегает к помрачению зрения или к прикрывающему тело туману, то это не что иное, как поэтические способы выражения. Гердер ясно доказывает неосновательность и того и другого мнения. Чтобы опровергнуть первое из них, ему было достаточно ссылок на факты и некоторых вполне убедительных соображений; а второе он опровергнул при помощи поэтического чутья, которое приходилось сродни поэтическому творчеству Гомера. Гомер действительно прибегает к поэтическому туману — как выражается Гердер, — но это не поэтический образ речи, не искусственный способ обозначать, что какой-либо предмет должен считаться невидимым. Такое объяснение «ставит Гомера наряду с теми ничтожными поэтами нашего времени, которые мыслят прозаически, а выражаются поэтически». Тот мало знаком с Гомером — с тем Гомером, который действует на наши чувства, — кто хочет отнять у нас «изящную ясность» его богов и описываемых им явлений. У Лессинга, который в других случаях был так прозорлив, были на этот раз задернуты глаза туманом, мешавшим ему ясно понимать поэта, или, вернее, его точка зрения, существенно отличавшаяся от точки зрения более молодого критика, затемняла в его глазах явную истину. Лессинг видит в древнем простодушном эпическом стихотворце искусного художника, у которого можно научиться, каким способом изображать невидимое видимым, а видимое невидимым; а Гердер как будто сам сочиняет поэму вместе с древним поэтом: читая Гомера, он не старается научиться у него правилам пиитики, а смотрит на его облеченных в плоть богов с безусловной сердечной верой, без предвзятых мнений, как настоящий грек и глазами настоящего грека.

Мы приходим к такому же выводу и снова принимаем, без колебаний, сторону Гердера, когда он отвергает мнение Лессинга, будто Гомер рассказывает нам, откуда взялись лук Пандара, колесница Юноны, скипетр Агамемнона, только для того чтобы с помощью этой «уловки» описать те материальные предметы согласно с требованиями поэзии, т. е. в их постепенном возникновении. Нет! гений поэзии, создавший гомеровские песнопения, не нуждался ни в каких «уловках» и не был с ними знаком. Чтобы наглядно описать предметы, стоящие рядом один с другим, он не направлялся окольным путем — не описывал эти

предметы так, что они как будто стоят порознь. Да и едва ли можно было это сделать при помощи той уловки, потому что все такие рассказы развлекают наше внимание, а когда дело идет только о том, чтобы описать лук, колесницу, скипетр, гораздо натуральнее описать эти предметы все вместе. Великая заслуга Лессинга заключается в том, что он обратил внимание на этот поэтический прием Гомера, но правильно понимать его мы научились только от Гердера. Он основан, по словам Гердера, не на сознательном и не на бессознательном соревновании с живописью, он основан и не на законах поэзии, а на своеобразных свойствах именно поэзии такого рода. Гомер должен был так поступать просто потому, что он вообще только рассказывает, что все его внимание сосредоточено на действии, что все подробности относятся к действию, что всякая частица этой поэмы сама собой, как бы в силу естественного влечения, делается одним из членов целого, делается рассказанным действием, — иначе говоря, потому что Гомер этический поэт¹.

Теперь мы дошли до того разномыслия между Лессингом и Гердером, которое касается главной цели «Лаокоона» — установления границ между поэзией и скульптурой. В третьей главе своего сочинения Лессинг говорит, что материальные пределы скульптуры заставляют ее ограничиваться изображением только одного мгновения, а отсюда он делает, между прочим, тот вывод, что скульптура должна выражать только то, о чем можно мыслить не иначе как преходящим образом. Гердер останавливает его на этих словах, но высказывает такое возражение, которое не столько разъясняет спорный пункт, сколько изменяет его смысл. Он заходит далее предположенной цели частью из пристрастия к Винкельману, частью вследствие привычки во все глубоко вдумываться. Ему вовсе не представлялось надобности замечать Лессингу, что в природе все преходяще и изменчиво, — так как сам Лессинг то же говорил; сам Лессинг заранее устранил упрек, будто по его основному правилу искусство должно отказаться от всяких выражений душевного чувства и жизни, — ведь он требовал от художника, чтобы то единственное мгновение было как можно более плодовитым, т. е. чтобы выбиралось такое мгнове-

¹ И по этому вопросу и по некоторым другим Гердера защищал от упреков Гервинуса Холевиус сначала в своем сочинении «Herders Bestrebungen innerhalb der schönen Litteratur» (с. 11, 12), а потом в своей «Geschichte der deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen» (II, 29). Всех более сочувствует Гердеру Болльман в своей статье 1852 г. «Ueber das Kunstprincip in Lessings Laokoon und dessen Begründung».

ние, которое открывает самое широкое поле для фантазии; с другой стороны, он допускал, что живопись может делать небольшие позаимствования из соседней сферы поэзии и соединять несколько различных моментов в один. Вопрос должен бы был заключаться, в том, как точнее уяснить понятие о плодотворном моменте, и главным образом в том, как точнее установить границы между искусствами, изображающими неподвижность, и искусствами, изображающими движение; при этом нужно было расследовать, какие существуют виды и степени преходящего момента и нельзя ли изобразить такое движение, которое включает в себе возможность остановки и минутной неподвижности¹. Такое исследование, конечно, всего лучше можно было произвести над памятниками древнего искусства; оно очень скоро привело бы к установлению различия между движением и действием и т. д. — но обо всем этом вовсе нет речи у Гердера. Его выражения заключают в себе *μετάβασις ἐς ἄλλο γένος*; он делает из технического вопроса метафизический, чтобы не сказать мистический. То «единственное» мгновение, которым у Лессинга ограничивается творчество скульптора, превращается у Гердера в «вечное» мгновение, которое, именно потому что оно вечное, рассчитано не столько на продолжительное и неоднократное созерцание, сколько на то, чтобы увековечивать данное явление. Возвратившись таким путем от Лессинга к Винкельману, Гердер требует для скульптуры «полной красоты» и «блаженного спокойствия греческой выразительности», похожего на то спокойствие, которое царствует в глубине моря в то время, как на его поверхности бушуют волны. Таким путем Гердер, быть может, и отыскал более глубокомысленную формулу, но от того, что эта формула более глубокомысленна, она не делается более годной для употребления. Удостоившаяся похвал от самого Гердера «практическая прозорливость» Лессинга в соединении с осмотрительностью и либеральностью выдерживает пробу удобоприменимости лучше, чем глубокомыслие его противника. Говоря об «увековечивании изображения», Гердер выражается метафорически, а эта метафора в сущности не что иное, как повторение в новой форме одной и той же мысли, несколько не объясняющей нам, в чем заключаются реальные условия красоты. То же самое много раз случалось с Гердером. Он очень удачно дополняет мнения своего предшественника, когда придает его положениям более глубокое значение при помощи своего сильно разви-

¹ См. Блюмнера, с. 45 и сл.

того эстетического вкуса; напротив того, он впадает в ошибки, сбивается с пути и не многому нас поучает, когда пытается превзойти своего предшественника в прозорливости, прибегая к высшим теоретическим соображениям, для которых служат руководящей нитью большей частью остроумные сравнения.

Это замечание по меньшей мере частью верно и по отношению к доводам, которыми Гердер опровергает основные положения Лессинга.

Когда Лессинг старается отыскать первоначальные основы для установления границ между поэзией и образовательными искусствами, он говорит: средствами изображения служат для живописи фигуры и краски в пространстве, а для поэзии членораздельные звуки во времени. Различием этих средств изображения обуславливается и неизбежное различие изображаемых предметов. Живопись или, вернее, всякое образовательное искусство может изображать главным образом только то, что существует одновременно, т. е. тела с их заметными для глаз свойствами, а поэзия может изображать только то, что совершается одно вслед за другим, т. е. действия.

Гердер не признает последовательности в этом рассуждении. Его возражения заключаются в следующем. Прежде всего оказываются неосновательными все сравнения Лессинга. Он опустил из виду, что членораздельные звуки в поэзии относятся к изображаемому предмету совершенно иначе, чем фигуры и краски в живописи. Живопись, конечно, действует только в пространстве и посредством пространства; напротив того, поэзия не действует при помощи последовательности во времени, так же как та — посредством сопоставления в пространстве. Одновременное существование внешних знаков в живописи есть самая своеобразная особенность этого искусства; напротив того, последовательность знаков в поэзии составляет необходимое условие, от которого зависит ее действие. Иначе сказать, когда поэзия действует следующими одни вслед за другими звуками, т. е. словами, то в этой последовательности звуков, в этой смене одних слов другими вовсе не заключается центральный пункт ее действия. Это различие очень важно! Оно основано на том, что в образовательных искусствах внешние знаки естественны, а в поэзии они, напротив того, произвольны и условны. Там фигуры и цвета, передаются непосредственно фигурами и красками, а здесь последовательность членораздельных звуков имеет второстепенное значение; действие этих внешних знаков в сущности основано на том, что в звуках есть «душа», что в элементы языка вкладывает-

ся произвольный смысл. Поэтому Лессинг не прав, когда утверждает, что поэзия не может изображать пространства и того, что имеет телесную оболочку. Все его рассуждение было бы неопровержимо верно, если бы он точно таким образом распределил роли между образовательными искусствами и музыкой. Эти два рода искусства действительно стоят на одинаковой почве и оба действуют естественными средствами; первый действует единственно посредством пространства, второй — единственно посредством последовательности во времени; в первом непосредственной основой красоты служит совместное употребление красок и фигур, во втором основой благозвучия служит последовательность звуков, искусная замена одних звуков другими. Но если даже допустить основательность определения, что поэзия действует посредством последовательности слов, то все-таки отсюда нельзя сделать того вывода, что именно «действия» составляют настоящий предмет поэзии, — так как понятие о действии отнюдь не совпадает с понятием о последовательности, напротив того, действие есть такая последовательность, которую производит сила какого-нибудь действующего существа.

Возражения Гердера сопровождаются изложением положительных воззрений. Он и в этом случае заимствует свои мотивы у английского писателя. Возражая Лессингу, он придерживается тех мнений, которые были развиты Джемсом Гаррисом в его диалоге об искусстве.

Гаррис заимствовал из этики Аристотеля разделение всех главных целей человеческой деятельности на такие, которые заключаются в самой деятельности, и на такие, которые заключаются в каком-нибудь произведении, на ἐνέργειαи и ἔργα. Он применил это различие и к художественной деятельности: каждое художественное произведение, говорит он, имеет в виду или движение, проявление энергии, или изготовление какого-нибудь произведения. Те результаты художественной деятельности, в которых составные части существуют одна после другой и которые по своей натуре представляют нечто преходящее, как например музыка, танец, человеческая речь, должны быть названы проявителями энергии, а те, в которых составные части существуют одновременно и по своей натуре не преходящи, как например статуя или картина, должны быть названы произведениями.

Гердер, как кажется, не читал подстрочных примечаний английского писателя и, конечно, не читал произведения Аристотеля, иначе он едва ли бы мог высказать следующую мысль: центральный пункт в произведении Лессинга заимствован от Аристо-

теля. Как бы то ни было, но он усвоил установленное Гаррисом различие¹ и постарался согласовать с ним новое разделение искусств, основанное на таком соображении, которое сохранилось в его памяти из лекций Канта. Он не отвергает разделения искусств на такие, которые, подобно пластике и живописи, довольствуются произведениями, предназначенными для вечного созерцания, и такие, которые, подобно поэзии и музыке, мимике и оркестике, доставляют удовольствие непрерывностью действия, проявлением энергии, но он превращает эту двойственность деления в тройственность, ссылаясь на три (указываемая тремя математическими науками) понятия о пространстве, о времени и силе. Пространство он уделяет только образовательным искусствам, время — музыке, силу — поэзии. Сущность поэзии, «центральный пункт ее действия», заключается не в совместном изображении предметов и не в изображении их одного вслед за другим, как то полагает Лессинг, а в силе, которая присуща членораздельным звукам речи и действует на нашу душу по своим особым законам, не похожим на законы последовательности звуков. Поэтому не основательно думать, что поэзия не может изображать того, что существует одновременно, — конечно, при том условии, если ее изображения полны энергии и чувственной жизни; напротив того, настоящая поэзия должна быть картинна, должна быть чем-то вроде живописи — и Гердер находит, что эта мысль уже высказана Баумгартеном в его определении поэзии как «чувственно совершенной речи». Далее Гердер замечает вполне основательно, но не исчерпывая вопрос вполне, что поэзия должна изображать движения, действия, но при этом должна сильно действовать на человеческую душу посредством замены одних представлений другими; тогда она делается «музыкой

¹ См. Dialogue concerning art in Works of J. Harris. Лондон, 1801. С. 22 и сл. с относящимся сюда примечанием (с. 155). Замечание Гурауэра (Lessings Leben. II, 1, 80), что Гердер делает скачок, переходя от Гарриса к Аристотелю, должно быть исправлено, а его основательные замечания (там же, с. 305) должны быть изменены. Впрочем, сам Гердер делает ссылки на Гарриса и приводит далее главные мнения Гарриса из его сочинения «Discourse on music, painting and poetry». Выписки из сочинений Гарриса попадают в записных тетрадках Гердера. Еще в рецензии сочинения Аббта «О заслугах» (SWS. I, 80) Гердер хвалил Гарриса наравне с Лессингом за его аналитический метод, а в «Каллигоне» (II, 4) он снова говорит о различии между проявлением энергии и художественным произведением и в связи с этим сюжетом упоминает о статьях Гарриса, которые были изданы в Данциге в немецком переводе еще в 1756 г. Касательно того, что Гердер был мало знаком с произведениями Аристотеля, сравн. примечание Суфана к SWS. II, 192.

души»; в этом случае обнаружится не одна только внешняя последовательность, о которой говорит Лессинг. После того автор долго останавливает свое внимание на картинной, живописной или пластической стороне поэзии, но в конце концов следующим образом объясняет противоположность между живописью, которая создает картину, и поэзией, которая имеет целью произвести сильное впечатление: живопись действует на зрение посредством красок и фигур, а поэзия действует на воображение посредством смысла слов.

Который же из двух критиков прав?

Первое впечатление, которое мы выносим из их разномыслия, заключается в следующем: Лессинг приходит к вполне определенным положительным выводам; поэт, который прочтет его «Лаокоон», найдет в этом сочинении руководство, на которое может безопасно положиться; он будет ясно понимать, каких ошибок следует избегать. Гердер вполне одобряет главные основы этого сочинения. Он ничего не возражает против основного правила Лессинга, что красота — принцип образовательных искусств: он даже опирается на легкий намек Лессинга, когда высказывает многозначительное замечание, что существует значительное различие между искусствами, основанными на наглядном изображении предметов, что живопись подходит к поэзии гораздо ближе, чем пластика, что исторический живописец должен по мере возможности придавать своим фигурам наглядность, изображая их действующими. Когда Лессинг, устанавливая свои общие правила, говорил, что действие есть настоящая сущность поэзии, то он имел в виду следующую практическую цель: он хотел нанести смертельный удар той поэзии, которой занимались его современники под влиянием английских образцов и которая была более описательной, чем картинной, и более картинной, чем живо и наглядно излагающей свою мысль. И с этим Гердер соглашался. То были до некоторой степени однозначные выражения, когда Лессинг говорил: поэзия имеет своим предметом действия, а Гердер говорил: поэзия должна производить сильные впечатления. «И я, — признавался Гердер, — всего более ненавижу безжизненную, неподвижную склонность к описаниям». Стало быть, до этих пор оба критика шли одним путем, и первый «Критический лесок» до этого момента только подкреплял и усиливал главные основные положения Лессинга.

Но Лессинг заботился только о практической пользе и старался установить такие ясные правила, что ими мог руководствоваться художник, который приступал к работе. Оттого-то он и

старался излагать эти правила так, чтобы они были как можно больше определенны и даже резки, как можно больше просты и понятны; он не без намерения оставлял без внимания исключения, которые, конечно, были ему известны и о которых он иногда упоминал только мимоходом; он приберегал их для продолжения «Лаокоона» с намерением говорить о них при оценке того или другого произведения искусства и поэзии. Иначе поступал Гердер. В своем «Критическом леске» он является таким наставником, который скорее поощряет к работе, чем запугивает строгостью своих требований. Он ведет речь не столько об общих правилах, сколько об общих законах — не столько о том, как должны были поступать наши художники и поэты, сколько о том, как действительно поступали художники и поэты в то время или прежде, в Германии и в других странах. Он не задавался практической целью в своих исследованиях, а своим сочинением он не произвел и не старался произвести такое же сильное впечатление, какое произвел своим сочинением Лессинг. Он постоянно заходит за резко обозначенные линии Лессингова разграничения между образовательными искусствами и поэзией и то тут, то там указывает на необходимость сделать эти линии более выпуклыми. То, что для Лессинга составляет исключение или извинительную вольность, Гердер старается также подвести под закон. Таким образом, он нарушает слишком узкие границы определений своего предшественника. Тот поэт, который поэт не по профессии, а милостью Божией, едва ли собьется с пути, если будет руководствоваться только определением Лессинга, что действия — настоящий предмет поэзии. Но то, что делает поэта настоящим поэтом, еще не вполне высказано в этих словах. Они не дают понятия о всей ширине поэтических впечатлений, о всем историческом объеме поэзии. Ссылки Гердера на Глейма, на Оссиана, на Клопштока, конечно, неудачны; такая шаткость мнений говорит в пользу чрезмерной взыскательности Лессинга; но Гердер, очевидно, прав, упрекая Лессинга за то, что он был наведен на свое общее правило только практическими приемами одного поэта — Гомера, мог бы он прибавить. Впрочем, он едва ли не заходит слишком далеко и едва ли не смешивает литературно-историческую точку зрения с эстетико-критической, когда, говоря о кровопролитии, которое произведут Лессинговы правила между древними и новыми поэтами, «дрожит» и за поэтов идиллических, и дидактических; но одного указания на настоящую лирику, на всю поэзию песен достаточно, для того чтобы выставить в ярком свете узкость Лессинговых общих правил.

Еще раньше Гердер основательно жаловался на бесцветность и вялость новейших од и, ввиду того что было сделано Лессингом для басни, выражал желание, чтобы появился новый Лессинг и для оды¹. Он был прав, когда не довольствовался восклицанием: нужно действие и постоянно новое действие! Благодаря своему поэтическому чутью и влечению к лирике он присовокупляет: нужны страсть и чувство! С этим находится в связи и та положительная заслуга, что он находит возможным установить различие между образовательными искусстваами и поэзией только при том условии, чтобы принималась в соображение и музыка. Еще по поводу своих собственных попыток сочинять кантаты он писал²: «Желательно, чтобы и в этой сфере появился новый Лессинг, который установил бы границы между музыкой и поэзией», — а мы уже видели, какие попытки установить эти границы он делал в своем «Критическом леске». Далее Гердер верно замечает, затрагивая самую сущность Лессинговой теории, что именно вследствие предназначения поэзии изображать действия или, как он выражается, вследствие ее «энергического характера», в состав ее входит не только живопись, но, с другой стороны, и музыка и что живопись и музыка, взятые вместе, совершенно исчерпывают ее сущность; наконец верно его замечание, что даже такой эпический поэт, как Гомер, был мастером в такой «музыкальной живописи». В других местах «Отрывочных заметок»³ касательно Гомера он говорит в связи с предыдущим, что этот поэт создавал поразительные картины посредством мимолетных штрихов и звуков, которые повторялись после «кругообразного» обхода, между тем как наши новейшие поэты «рисуют каждым словом, и каждое их слово уничтожает краски»; если к этому прибавить, что, говоря об описании смерти Лаокоона у Вергилия, он находит, что это описание производит впечатление «не столько на нашу душу, сколько на наш слух», — то мы будем вправе сказать, что все эти замечания служат блестящим доказательством тонкого поэтического чутья у нашего критика.

Итак, не подлежит сомнению, что Гердер расширил теорию Лессинга, доказал ее основательность и дополнил ее. Гервинус неосновательно упрекал его за то, что он из желания опроверг-

¹ В статье, написанной для продолжения «Отрывочных заметок» (LB. I, 3, а, 54); SWS. II, 230.

² В письме к Шеффнеру (LB. I, 2, 195).

³ Отрывочные заметки. I, 30, 69 и в особенности I глава 2-го издания; SW. в отделе изящной литературы. I, 167 и сл. (SWS. II, 77).

нуть основные положения Лессинга, искажил их и представил в ложном виде. И Гурауэр неосновательно замечает в пользу и как бы в оправдание Лессинга, что этот писатель имел в виду определить не внутреннюю сущность живописи и поэзии, а только то, что должно служить для них предметом¹. Лессинг устанавливал различие живописи и поэзии, очевидно, в общих чертах, а когда он основывал это различие преимущественно на различии сюжетов, не оставляя без внимания и способы выражения, — τὸ πρῶτον μὲν ὡς, — то он старался найти «первоначальные причины различия» и, стало быть, имел в виду различные свойства тех двух видов искусства. Однако он не проникает в сущность этого различия так глубоко, как было бы желательно. Разве Лессинг мог бы не согласиться с замечанием Гердера, что членораздельные звуки в поэзии относятся к изображаемому предмету не так, как в живописи относятся к нему фигуры и краски? Разве это замечание не проникает несколько глубже в сущность вопроса? Но, с другой стороны, не совсем безопасно проникать так глубоко вслед за Гердером: когда его выводы контролируются его начитанностью и его тонким эстетическим вкусом, то мы можем ожидать от него самых ценных указаний; в противном случае почва начинает колебаться под его ногами. Тогда мы должны относиться к нему точно так же, как он относился к Лессингу и как Лессинг отнесся к Винкельману. Мы можем соглашаться с его замечаниями, но не всегда можем соглашаться с его доводами. Он нередко высказывает верные мнения, но в его рассуждениях есть пробелы, а формулирование его мнений не выдерживает строгой проверки. Так, он основательно замечает, что в музыке последовательность звуков имеет гораздо более важное значение, чем в поэзии, но разве можно допустить, что музыка действует всецело и только последовательностью во времени? Разве главная сущность музыки заключается в созвучии, гармонии одновременных звуков, причем мелодическое развитие этого созвучия имеет лишь второстепенное значение? Кроме того, Гердер видит сущность поэзии в том, что только она одна действует силой; а разве музыка не действует также силой? Как нелогично его разделение искусств на такие, которые действуют посредством пространства, посредством последовательности во времени и посредством силы! Гердер хочет придать делению Лессинга более точности и глубины, а в сущности только налагает на него заплатку, так как, очевидно, делает скачок из одной сферы в со-

¹ Жизнь Лессинга. II, 1, 80.

вершенно на нее не похожую: уделяя другим искусствам пространство и время, он принимает в соображение их внешнюю сторону, форму и орудия их действия, а когда он уделяет поэзии силу, он принимает в соображение внутреннюю сущность поэзии — ту душу, которая дает ей жизнь. Точно в такую же ошибку впадает Гердер, когда говорит: живопись действует на зрение красками и фигурами, поэзия действует на воображение смыслом слов. В опровержение этого мнения мы можем привести слова самого Лессинга: «То, что мы находим прекрасного в произведениях искусства, мы находим не нашими глазами, а нашим воображением при помощи глаз». Из этих слов Лессинга видно, что он ясно сознавал, как поверхностно различие, основанное на различии пространства и времени. Его практический инстинкт удержал его от более глубокомысленных исследований; для его ближайшей цели было достаточно поверхностного разделения, которое никак нельзя назвать нелогическим. Его критик извлекает из таких более глубокомысленных исследований новые ценные указания на сущность поэзии — но он достигает этих результатов в ущерб логической точности и впадает в путаницу, которая со своей стороны также нуждается в поправках.

Однако, по-видимому, вовсе не трудно найти оправдание и для Гердера. Основание, по которому он ошибочно приписывал одной поэзии способность действовать силой, заключалось главным образом в том, что из всех искусств только она одна употребляет произвольные знаки выражения, а все другие употребляют натуральные знаки выражения. Но дело в том, что это основное правило, составляющее главный недостаток всей его теории, было признано и Лессингом, что оно встречается и у Гарриса и что оно было возведено в догмат статьей Мендельсона о главных основах изящных искусств и наук. Только с большими оговорками можно допустить мнение, что в поэзии средства изображения более произвольны, чем звуки в музыке, чем фигуры, краски и прочее в образовательных искусствах. Едва ли больше чем наполовину верно мнение, что смысл, заключающийся в словах и производящий в поэзии впечатление на нашу душу, вкладывается в них посредством их произвольного совмещения. Напротив того, язык — такое же натуральное средство изображения, как звуки и краски; хотя и нельзя его назвать непосредственно натуральным и хотя в нем есть внутренний смысл. Звуки и краски также искусственно действуют на нашу душу тем смыслом, который извлекается из них музыкантом и живописцем при помощи их субъективного воззрения на изображаемый предмет;

наконец, значительная часть того, что условно и произвольно в языке и в поэзии, встречается также в живописи и в музыке, в скульптуре и в архитектуре.

По прошествии только нескольких лет сам Гердер сделал в своем сочинении о происхождении языка решительный шаг вперед с целью устранить господствовавшее в течение всего XVIII столетия понятие об исключительно условном характере языка. Но уже ранее того ему удалось определить отношение поэзии к прочим искусствам более верно и более точно, чем в тех исследованиях, в которых он шел по следам Лессингова «Лаокоона». Гораздо менее важное сочинение, чем «Лаокоон», доставило ему повод исполнить то, на что он намекал в конце первого «Критического леска», когда сказал, что покуда желал установить только основные правила; впоследствии мы увидим, как он исполнил то, что обещал. И Лессинг еще не сказал своего последнего слова в первой части «Лаокоона». Он публично признавался, что был обязан автору «Критических лесов» важными указаниями¹, а в письме к Николаи (13 апреля 1769 г.) говорил, что Гердер никак не мог себе представить, какая конечная цель имела в виду автором «Лаокоона», и что он был единственный человек, ради которого стоило труда «очистить „Лаокоон“ от разного хлама»; как же после этого не сказать, что для нас было бы в высшей степени ценно продолжение «Лаокоона», дошедшее до нас лишь в отрывочных набросках! Но зато мы имеем продолжение гердеровского «Анти-Лаокоона»: в рукописи Гердер довел до конца другой «Критический лесок», в котором он снова обсуждает тему первого «Леска» в более пространном изложении.

III. Четвертый «Критический лесок»

Четвертый «Лесок» лишь урывками развивает те же воззрения, какие были высказаны в первом «Леске». Гердер имел обыкновение не продолжать постройку на прежде заложенном фундаменте, а переделывать и самый фундамент. Эстетическая теория, которую он здесь излагает, представляет собой не столько продолжение прежней литературной работы, сколько новый шаг вперед. Эта теория не только заходит далее прежней, но и глубже проникает в сущность задачи, а некоторые новые мотивы побуждают автора перейти на новую почву.

¹ Как древние изображали смерть (Соч. Лессинга. VIII, 225).

К новой работе Гердер приступил, по всему вероятно, в течение первых месяцев 1769 г. О своем намерении заняться ею Гердер в первый раз говорит в своем письме к Николаи от 10 января того же года — но при этом он ясно намекает на то, что несмотря на вызванные случайными причинами отклонения «Критических лесов» от их главной цели, все-таки они будут далее развивать те же темы, какие были первоначально намечены для «Отрывочных заметок». Кроме языка, этими темами были эстетика, история и философия. По меньшей мере относительно первой из них Гердер исполнил то, что обещал. В упомянутом выше письме к Николаи он говорил, что надеется в новом сочинении «последовательно изложить свои воззрения на эстетику и таким образом восполнить то, чего недостает в «Отрывочных заметках». «Я только что прочел, — говорится в конце четвертого «Леска», — что готов к печатанию словарь Зульцера» («Die Allgemeine Theorie der schönen Künste nach alphabetischer Ordnung»)¹. Следует полагать, что эти слова были написаны в марте, потому что точно в таких же выражениях Гердер высказывал в конце марта в письме к Николаи свое желание познакомиться с произведением Зульцера². Небольшое сочинение Гердера было доведено до конца в первой редакции ранее отъезда автора из Риги, так как из письма Гарткноха от 6 августа видно, что он читал это сочинение в рукописи; впрочем, автор исправлял эту рукопись в Нанте и только тогда придал своей статье ту форму, в которой она была впервые напечатана в «Жизнеописании»³.

Но внешний мотив, вызвавший появление четвертого «Критического леска», был полемического характера. С этой стороны новое сочинение было продолжением борьбы Гердера с партией Клотца. Между тем как «Лесок» второй и «Лесок» третий были направлены преимущественно против вождя этой партии, четвертый «Лесок» направлен против того самого выдающегося из приверженцев Клотца, который был лишь слегка задет в первом «Леске» и в предисловии к третьему⁴.

¹ Эти слова сказаны в первой приписке; см. введение Суфана к третьей части SWS.

² См. не помеченное числом письмо (LB. I, 2, 426), которое подучил Николаи 10 апреля (письмо к Гердеру от 11 апреля: LB. I, 2, 440).

³ Гарткнох к Гердеру (LB. II, 64); Гердер к Гарткноху (Там же. 73 — конечно, и здесь идет речь о переделке четвертого «Леска», с. 77). Отношение второй редакции к первой объясняет Суфан во введении к третьей части SWS. Опечатки «Жизнеописания» (I, 3, в, 217 и сл.) исправлены в четвертой части SWS.

⁴ KW. I, 187; III, предисловие, с. IV, V.

Ридель поступил благоразумно, решившись принять за основу для своей академической и литературной деятельности интересы эстетики, которая уже за несколько десятков лет перед тем стала возбуждать к себе сочувствие в Германии и которую Баумгартен возвел в своей «*Aesthetica*» на степень строгой и даже самостоятельной науки. Из лекций, которые Ридель читал в Эрфурте об основах «изящных искусств и наук», он быстро составил книгу, которая гораздо ранее баумгартеновского сочинения заслужила название эстетики в новейшем смысле этого слова и которая оставила далеко позади себя мейеровские «Первоначальные основы изящных наук». Действительно уже пора было заметить немецким сочинением мелочную теорию Баттё, которая оставалась мелочной даже после того, как ее постарались дополнить И. А. Шлегель и Рамлер. Тем временем значительно увеличился эстетический материал и был сделан решительный шаг вперед в определении основ этой науки благодаря психолого-эстетическим отрывочным исследованиям Мендельсона и Зульцера, благодаря выдающимся произведениям Гома и Бурке, наконец благодаря исследованиям Гагедорна о живописи, винкельмановской «Истории искусства», «Лаокоону» Лессинга и «Отрывочным заметкам» Гердера. Так как Ридель был не лишенным искусства, хотя и поверхностным, компилятором, то он собрал в своей «*Theorie der schönen Künste und Wissenschaften*» (Йена, 1767) результаты всех этих трудов, начиная с Дюбо и кончая Гердером и Лессингом, а всю эту разнообразную смесь полил соусом, который был составлен не столько из его собственных идей, сколько из слов и оборотов речи, которых у него было в запасе так же много, как у новейших фельетонистов. Он умел мастерски смягчать чужие мнения, если между ними было противоречие, и осмотрительно лавировать между ними с видом знатока дела. Но для такого бесцеремонного отношения к делу он нашел удобную опору в новейшей модной философии, в направленном против Вольфа учении Крузиуса и Дариеса, и в теориях английских моралистов и эстетиков: он видит в эстетике философию изящного вкуса, а изящный вкус он считает за внутреннее, непосредственное, свойственное всем людям влечение к прекрасному. В двадцать одной главе или статье книги Риделя ведется с этой точки зрения речь — без всякого порядка и самым небрежным образом — о красоте, о ее составных частях и о множестве понятий, более или менее общих всем искусствам; а о каждом искусстве в отдельности предполагается вести речь в особой части, которая будет издана впоследствии.

Книга Риделя должна была крайне не понравиться тому, кто восхищался «Лаокооном» Лессинга, кто находил в баумгартеновском определении эстетики единственное плодотворное зерно, из которого могла далее развиваться эта наука, кто научился у Канта ценить строгий аналитический метод Мендельсона и Зульцера, — не говоря уже о легкомыслии и бесстыдстве, с которыми Ридель то крал у Гердера его идеи, то хвалил его, то насмешливо порицал. В глазах Гердера эта книга уничтожала «всякие философские понятия об искусствах и о прекрасном». Ему казалось не понятным, как мог Лессинг одобрительно отозваться об этой книге в своих «письмах антикварного содержания»¹. По его мнению, это была «самая жалкая, самая бестолковая эстетика, какая была ему знакома», — это было новое доказательство того, что последователи Клотца намеревались оттолкнуть немецкую публику от истинной философии и сделать из этой последней остроумную болтовню. Из заметок, которые находятся в его записных тетрадках, видно, что он с ранних пор очень серьезно занимался исследованиями о происхождении нашего сознания, об отношении мышления к чувственным впечатлениям и в связи с этим пытался разяснить эстетические вопросы. В то время, как он ожидал найти настоящую, правильно изложенную эстетику в словаре, издание которого было так давно обещано Зульцером, он покуда занялся разбором риделевской «неудобоваримой рапсодии» и в связи с этим разбором стал излагать свои собственные взгляды на эстетику.

Таким образом, полемика послужила в четвертом «Критическом леске» поводом для изложения самых широких положительных воззрений. Главное содержание этой книги заключается в ее средней части, которая важнее и оригинальнее остальных частей и менее всех занимается полемикой. Самой основательной критикой автор занимается в первой главе; в третьей главе он высказывает порицания наряду с собственными мнениями. Эта последняя глава, очевидно, самая незрелая и менее других обработанная; она носит на себе следы нетерпения и скуки, которые стали брать верх над усидчивостью автора. Именно это усиливавшееся нежелание заниматься полемикой и вместе с тем сознание незрелости собственных воззрений были причиной того, что Гердер не решился издать свое сочинение даже после того, как заново переделал его в Нанте. Только по прошествии девяти лет,

¹ Полн. собр. соч. Лессинга. VIII, 20 Lachm. Сравн. письмо Гердера к Николаи (LB. II, 105).

после того как он неоднократно проверил прежние мнения на новых наблюдениях, исправил их и изложил в новом порядке, он издал выдержку из изложенной в том сочинении эстетической теории и в то же время небольшую книжку касательно предварительных понятий о теории человеческого сознания. Этими двумя сочинениями автор занимался одновременно; но они вышли в свет в 1778 г. отдельно одно от другого под заглавиями «Пластика» и рассуждение «о сознании и чувствах человеческой души».

«Лесок», о котором здесь идет речь, начинается остроумной критикой. В его первой части автор старается методически доказать неверность философских основ риделевской теории. Он выводит наружу противоречие, которое кроется в том мнении, что простые, непосредственные «чувствования» должны «указывать» нам, что истинно, похвально и прекрасно, — между тем как через посредство чувств мы сознаем только наше собственное существование и, иным путем, существование внешних предметов. В этом «крузиевско-риделевском лабиринте» исчезает всякая истинная, точная философия, какую излагали Мендельсоны и Зульцеры на фундаменте, который был заложен Лейбницем; в особенности философия прекрасного не может совмещаться с таким основным правилом: «что должно всем нравиться, то прекрасно», — она не может совмещаться с таким воззванием к неразумному инстинкту, к шестому чувству. Вслед за тем Гердер снова пользуется удобным случаем (так как статья о Баумгартене осталась ненапечатанной), чтобы «воскурить немного фимиама над тенью этого человека в такое время, когда его выдают за тупоумного, бесчувственного софиста». В своих «Письмах о публике», служащих дополнением к его теории изящных искусств, Ридель заявляет, что в изучении эстетики он не идет ни путем Аристотеля, ни путем Баумгартена, ни путем Гома¹. Напротив того, Гердер доказывает, что эти три пути сходятся в один путь, и только из их соединения может возникнуть настоящая эстетика, «самая плодovitая, самая изящная, самая новая из всех отвлеченных наук». Но систематический план для ее изучения начертан именно Баумгартеном — хотя и в несовершенно ясных очертаниях. Баумгартен излагал и «науку о чувстве изящного», или — как он выражался языком Вольфа — науку о чувственном познании, и «искусство изящно мыслить», или руководство к тому, как изящно пользоваться способностью чувственного познания. Только первая из этих наук есть эстетика;

¹ В первом «Письме о публике» (с. 9 и сл.), написанном к Вейссе.

она не искусство развивать изящный вкус, а наука об изящном вкусе. Затем Гердер старается устранить путаницу понятий, которая господствует у Баумгартена и в особенности у его ученика Мейера и этим способом спасти способную к жизни сущность баумгартеновского сочинения; с этой целью он говорит, что эстетика — «теория чувственных ощущений, логика воображения и поэзии; она расследует остроумие и проницательность ума, чувственные суждения и память; она разлагает прекрасное на составные части повсюду, где его находит — в искусстве и в науке, в человеческом теле и в человеческой душе». Тот был бы достоин зависти, кто сумел бы создать такую науку — такую по преимуществу психологическую науку! Гердер намеревается по меньшей мере расчистить для нее почву, намеревается прежде всего вымести «риделевский мусор».

И надо отдать ему справедливость в том, что он берется за это дело очень основательно. Ясно сознавая, что настоящая критика должна не только указывать заблуждения противника, но и объяснять, от чего они произошли, он при помощи психологического анализа объясняет, как постепенно зарождается то будто бы «врожденное влечение к прекрасному», о котором говорит Ридель. Он придерживается в этом случае основных положений философии Лейбница. Исходя от положения Лейбница, что понятия о вселенной первоначально лежат в нашей душе погруженными во мрак, он старается проследить постепенное пробуждение души и ее развитие, для которого служит побуждением положение души во вселенной и которое обусловливается желанием совершенствоваться. От простых ощущений мы очень нескоро доходим до развития фантазии и памяти, до остроумия, прозорливости и основательных суждений. Сначала бессознательно, благодаря «не понятному для нас механизму души», который, однако, полон «мудрости», и благодаря суждениям и выводам, которые возникают сами собой и от которых ничего не остается кроме простого ощущения, мы приобретаем еще не выясненные понятия и, между прочим, понятия о последовательном порядке, о сходстве, о совершенстве и, стало быть, также о красоте, так как, по определению Лессинга и Баумгартена, красота не что иное, как «чувственное совершенство». Наконец после того, как душа долго упражнялась в суждениях о совершенстве и несовершенстве вещей, после того, как суждение сделалось для нее таким же привычным делом, как ощущение, возникает вкус. Точно так же, как мнимое врожденное чувство истины и мнимое врожденное нравственное чувство, он зарождается медленно; это не

«основная сила», а «привычка подвергать нашим суждениям то, что прекрасно».

С понятием о развитии идет в философии Лейбница рука об руку понятие о спецификации. То же мы находим и в теории Гердера о вкусе. Из его объяснений, как постепенно развивается вкус, оказывается, что вкус подвергается бесконечным видоизменениям и вследствие разнообразного врожденного состояния душевных способностей, и вследствие того, что эти способности развиваются различно под влиянием неодинаких случайностей. Нации, века, отдельные эпохи, отдельные личности достигают неодинакой степени эстетического развития. Вкусы греков, готов, мавров неодинаковы. Вкус — Протей, на которого следует смотреть с исторической точки зрения, с точки зрения той или другой эпохи, с точки зрения нравов и особенностей каждого народа. Этот принцип индивидуальности Гердер применяет здесь так же настойчиво, как и повсюду; но ему удастся согласовать этот принцип с понятием о единстве идеала; а это удастся ему потому, что он и в этом случае придерживается лейбницевского рационализма. Один и тот же разум лежит в основе различно развивавшихся и различно применявшихся к делу суждений о чувственном совершенстве, точно так же, как он лежит в основе суждений о том, что истинно или ложно, что хорошо или дурно. Поэтому истина, совершенство, красота едины. Есть только один идеал красоты. Конечно, трудно, однако возможно «высвободиться из-под гнета посторонних влияний и независимо от вкусов какой-либо нации, эпохи или отдельной личности наслаждаться всем, что можно найти прекрасного во все времена, у всех народов, во всех искусствах и во всех видах изящного вкуса, — возможно наслаждаться прекрасным во всей его чистоте, отделив от него все чуждые ему элементы. Счастлив тот, кто может так наслаждаться! Он посвящен в тайны всех Муз, всех времен, всех преданий и всех изящных произведений; сфера его вкуса так же беспредельна, как история человечества; окружность этой сферы обнимает все века и все произведения, а тот счастливец стоит в ее центре.

В этом ряде идей ярко бросается в глаза то сочетание единства разума с бесконечным разнообразием индивидуальных исторических явлений, которое основано в принципах лейбницевской философии на понятии о постепенном развитии. Разум имеет свою собственную внутреннюю историю, а его вечное развитие отражается в развитии внешнем, временном: разве эта главная и основная мысль гегелевской философии не то же, что

систематическое изложение того, что говорит Гердер, имея в виду специально эстетику?

Однако умственное движение того времени придерживалось двух направлений, пока они не были соединены в одно критической философией Канта, — оно придерживалось или философии Лейбница и Вольфа, или философии Бэкона и Локка; а мысли Гердера прокладывали себе путь промеж этих двух течений, подчиняясь влиянию то одного, то другого. В особенности эстетика в том виде, как ее излагал Баумгартен, клонилась в обе стороны. В качестве науки о «чувственно совершенном она имела двойную физиономию; одной стороной она была обращена к метафизике, другой — к психологии; а причиной этого было учение о чувствах. Однако до того времени еще никто не придавал в Германии серьезного значения этой теории чувств — ни Баумгартен, ни кто-либо другой. Хотя Гердер и восхвалял Зульцера как «главного писателя об эстетике» за его «Теорию чувств», однако он порицал этого писателя за то, что он слишком «метафизически» объяснял понятие об удовольствии. Вообще все, что до того времени писалось в Германии об эстетике, вращалось в сфере психической, субъективной, вместо того чтобы исследовать чувственные ощущения на том, что прекрасно. Начиная «с самого верха» устанавливались неясные сложные понятия, вместо того чтобы путем «строного анализа расследовать в каждом виде искусства чувственное происхождение его первоначальных понятий¹. Конечно, не иначе поступал и Ридель. Он также вел речь о красоте, о величии, о благородстве и т. п., как будто эти понятия не образовались путем отвлечения из самых разнообразных и смешанных впечатлений. А по мнению Гердера, следует обратиться к корню этих понятий, отделить лежащее в их основе впечатление одно от другого и расследовать эти впечатления в месте их зарождения — «в каждом отдельном чувстве». Таким образом, и Гердер вполне сознательно противопоставляет всем прежним эстетическим методам метод эмпирико-генетический, метафизико-психологический и строго аналитико-физиологический. Не сходя с почвы эстетики Лейбница и Баумгартена, он едва не впадает в сенсуализм: он требует, чтобы основой для эстетики служила «физиология чувств и чувственных понятий». Мы точно будто слушаем Локка или Бэкона, когда Гердер говорит в красноречивом отступлении о «жалком положении нашей теперешней ученой сферы», о том, что виной этого положения наш

¹ Сравн. следующие места: LB. I, 3, b, 297, 410, 411 и 438.

язык, что мы довольствуемся «книжными идеями», тенью предметов, у которых нет никакой материальной оболочки, между тем как мы должны проследить каждую идею до ее чувственного зарождения и таким способом уяснить ее реальное значение.

А относительно эстетики он и этим не довольствуется, а заходит гораздо далее по тому же пути. Здесь начинается вторая часть четвертого «Леска», которая составляет его главное содержание.

Мы получаем понятие о прекрасном главным образом через посредство трех чувств — зрения, слуха и осязания. Поэтому необходимыми приготовительными занятиями для изучения эстетики должны быть эстетическая оптика, эстетическая акустика и такая же теория ощущений. Каждое из тех трех чувств имеет дело с особым разрядом предметов; соответственно с этим и существуют три изящных искусства, каждое из которых подражает природе, стараясь угодить которому-нибудь из трех чувств.

Скульптура есть по преимуществу такое изящное искусство, которое обращается к нашему осязанию. Считать ее за искусство для зрения значит становиться на фальшивую точку зрения, хотя до сих пор такая точка зрения и считалась всеми за правильную. Гердер ясно сознает новизну такого общего правила и говорит, что желал бы быть в состоянии со временем развить его далее. Он и впоследствии придерживался этого воззрения как важного открытия и принял его за основу для своей «Пластики». Его сильное влечение к чувственному, в противоположность абстрактному, метафизическому, вовлекло его в слишком высокое и одностороннее мнение о самом чувственном, самом «надежном» из всех чувств. Из его собственных слов видно, что он тогда находился под влиянием Руссо, снова возвратившего чувству осязания его старые преимущества над чувством зрения. Кроме того, он нашел для себя опору в тогдашних новых наблюдениях в сфере оптики. Слепой от рождения, о котором рассуждает Дидро в своей «Lettre sur les aveugles», слепец Саундерсон, вылеченный слепорожденный Чесельдена — вот те инстанции, на которые Гердер ссылается в подтверждение того факта, что зрение вообще ничего не знает о внешних формах и о наружности, что органы осязания — единственные органы, посредством которых посторонние тела действуют на наши чувства. Не обращая внимания на то, что изолированное осязание само превращается в абстракцию, не совместимую с взаимодействием одних чувств на другие, Гердер слишком скоро приходит к заключению, что «для глаз не существует скульптуры», и решительно выводит из

этого положения его дальнейшие последствия. Сущность скульптуры — изящное пластическое изображение, которое мы можем осязать в его изящных эллиптических очертаниях. Когда мы наслаждаемся, глядя на скульптурные произведения, то наши глаза стараются заменить осязание; мы стараемся смотреть так, что как будто осязаем это произведение, дотрагиваемся до него; воображение, которое чувствует пластическую красоту, питается теми впечатлениями, которые производит на него осязание: замеченные нами в статуе свойства суть «не что иное, как последствия осязания». Отсюда понятно, что благодаря интенсивной чувственности ощущений любители так восхищаются художественными произведениями этого рода, а Винкельман описывал эти произведения с такой восприимчивой фантазией. Отсюда также понятно, почему законы живописи не могут быть применимы к скульптуре. «Какое широкое поле для исследований, — говорит Гердер, указывая на то, как различен характер единства и цельности в картине и в группе скульптурных произведений, как скульптура не нуждается в красках и т. д., — какое широкое поле для исследований и как много вопросов было бы разъяснено и вместе с тем разрешено, если бы Винкельман, Каиллус, Веббс, Гагедорн, Лессинг и многие другие пользовались такими исследованиями в своих сочинениях об этом любимом сюжете нашего времени!» В первом «Критическом леске» Гердер лишь слегка намекал на необходимость различать те два вида искусства, которые в сущности ставились наравне одно с другим и у Винкельмана, и у Лессинга; поэтому то, что изложено выше, составляло чрезвычайно важный шаг вперед в сравнении с содержанием первого «Леска». И в том же принципе «осязания» Гердер находил объяснение того, что говорил Винкельман об аккуратности внешних очертаний в древних скульптурных произведениях, о мягкой драпировке тех произведений, об их мудрой простоте и блаженном спокойствии. Именно это блаженное спокойствие соответствует осязанию, которое происходит как бы в темноте, независимо от зрения.

То, что говорится вслед за тем о живописи, вызывает гораздо менее возражений и достойно полного одобрения. Живопись — такое искусство, в котором действуют на чувство зрения только плоская поверхность и краски. Поэтому между тем как скульптура может изображать физический предмет только в том виде, в каком он находится в данную минуту, живопись имеет более широкую сферу, так как может изображать «обстановку предмета». Ее сущность заключается в одновременном изображении

многих предметов. Освещение, тень, колорит, перспектива суть натуральные последствия оптического принципа. Автор высказывает еще более смелые воззрения, когда пробует наметить главные очертания для истории перспективы, причем снова возвращается к пластике. Понятие о перспективе развивается сначала при виде зданий; оно делает новые успехи при устройстве храмов и украшении театральных сцен. В применении к скульптуре оно послужило поводом для возникновения колоссальной пластики. Тогда статуя вывернулась из рук художника и любителя, ценивших ее достоинства при помощи осязания, и стала улаживать человеческие глаза, которые осязают издали: «Юпитер» Фидия должен был производить на глаз такое же впечатление, какое он по натуральным свойствам этого искусства произвел бы на осязание. Именно потому в живописи не дозволяется изображать то, что чрезмерно велико. Что же касается гигантских размеров египетских скульптурных произведений, то Гердер старается объяснить их так: когда зрение начинает учиться смотреть на физические предметы, оно обыкновенно склонно преувеличивать все размеры; египетская пластика не пошла далее такого ошибочного взгляда на размеры предметов, между тем как греки, напротив того, установили для образовательных искусств верные размеры и потому перешли от перспективы в пластике к перспективе в живописи. Это толкование, бесспорно, было остроумно, но еще более остроумно и в особенности очень характерно для воззрений Гердера было то, что, по его мнению, история развития чувств была руководящей нитью для истории развития искусств, а эта последняя служила освещением для истории человеческого ума. Перед ним постоянно мелькает в сумрачной дали философия истории. Он теперь устремляет на нее свой взор, говоря о психологии по поводу эстетики.

От эстетических соображений Гердер переходит к третьему, главному, искусству. Музыка есть изящное искусство для слуха. У нашего автора, точно так же как у Бэкона, постоянно на уме многочисленные *desiderata*; он, подобно Бэкону, постоянно указывает на такие места в умственной сфере, которые еще не были никем исследованы. Теперь он останавливается, говоря о музыке, на таком вопросе, который ясно указывает на задушевность и восприимчивость его чувств. Он говорит, что вполне разработаны физика и математика музыки, также ее практическая сторона — теория музыкальной техники; но ей недостает научного понятия о том, как действует звук, «еще не сказано ни одного слова относительно философии изящества звуков». Физика занимается

только физическим возникновением звуков, математика — только их количественными отношениями. Но слух, по мнению Гердера, так же мало способен различать размеры звуков, как глаз мало способен непосредственно определять расстояние. Что такое звук, взятый сам по себе, не объясняют нам ни Рамо своими указаниями на полутоны, ни Зульцер своими указаниями на правильный размер, на степень силы минутного ощущения — не говоря уже о том, что они не объясняют нам, каким образом звук может быть приятен для нас или неприятен, независимо от того, силен он или слаб, высок или низок. Здесь, очевидно, идет речь о том свойстве звука, в котором, по выражению эстетики Вишера¹, сосредоточивается «качественное содержание ощущения», — о том, что мы привыкли называть «тоном». Прекрасные исследования Гельмгольца уже доказали нам, что и это качественное содержание может быть объяснено и с физической, и с физиологической точки зрения гораздо подробнее, чем как объясняли его Рамо и д'Аламбер. Как бы то ни было, а наш эстетик все-таки прав, когда говорит, что в этом безыскусственном благозвучии элементарных тонов следует искать основу музыки, — подобно тому, как по мнению Лейбница, сущность тела следует искать в монадах. Поэтому Гердер требует «музыкальной монадологии». Для этого недостаточно только физики и математики; к желаемому результату может привести только «внутренняя физика ума», только «физиология человеческой души», только изучение той «материальной души», которая чувствует звук. Таким образом, Гердер, говоря о музыке, сходит с почвы сенсуализма; он становится на двусмысленную почву — полусенсуалистическую, полуйдеалистическую, когда говорит о «материальной душе» вследствие неуловимости музыкальных ощущений и вследствие того, что чувство слуха по своей природе «самое задушевное и самое глубокое» из всех чувств. С одной стороны, он как можно ближе придерживается сенсуализма, так как различию нервных ветвей слуха приписывает качественное различие впечатлений, производимых звуками, и, придерживаясь мнений Бурке², считает себя вправе утверждать, что когда нервы одинаково натянуты каким-нибудь звуком, то возникает чувство возвышенного, а если оно слабо, то возникает чувство прекрасного. С другой стороны, желая еще глубже проследить в душе произ-

¹ В этой эстетике (III, 801).

² Еще в письме в Канту он хвалил произведение «очень философского британца», нередко проникавшее в суть предмета глубже, чем кантовские «*Beobachtungen*» (LB. I, 2, 299).

водимые на нее впечатления, он говорит как о возможной науке о «патетике всех несложных музыкальных акцентов», а эта наука послужила бы, по его мнению, ключом к «прагматической истории музыки». Он хочет, чтобы только вслед за упомянутой выше музыкальной монадологией, или теорией элементарных звуков, была изложена в музыкальной эстетике теория последовательности звуков или мелодии, а за учением о гармонии он признает лишь второстепенное значение. Наконец, он считает себя вправе указать на совпадающее с зарождением языка происхождение поэзии как на историческое подтверждение фундаментальной важности, которую имеют ощущения, производимые отдельными звуками. Здесь мы встречаемся с такими положениями, которые уже известны нам из «Отрывочных заметок», и с таким воззрением, которое находится в тесной связи с тонким пониманием значения музыки для поэзии. Из языка, говорит Гердер, развилась музыка; она возникла не из «подражанию птичьему пению»; ее источником был первоначально певучий язык; а так как язык первоначально был не чем иным, как натуральной поэзией, то поэзия и музыка были неразлучными сестрами, а музыкальная поэзия — о которой он уже вел речь в статье о кантате — представляет столь достойное внимания явление. Музыка древних была живым, звучным языком; сначала возникла вокальная музыка, и только после нее инструментальная. Влияние Руссо очевидно сказывается в том, что Гердер в заключение упоминает о возрождении музыки в Италии, а музыку северных народов, как непозитичную, основанную на созвучиях, на гармонии, противопоставляет музыке древних народов, полной страсти и чувственности.

Таким образом Гердер доказал, что три главных искусства ведут свое начало от трех главных эстетических чувств. Но откуда же взялись остальные искусства?

Он считает архитектуру и садоводство лишь за усовершенствованные механические искусства, лишь за приемышей зрения. Впрочем, он старается воздать должное заслугам архитектуры, хотя она еще не принадлежит к числу подражательных искусств и потому находится вне «сферы настоящего искусства». Зато она обладает «некоторыми отвлеченными достоинствами изящества», которые ясно бросаются в глаза и удобопонятны. Этим и объясняется ее педагогическое достоинство. Кто ищет изящного, тот должен начинать с нее, так как она служит для него чем-то вроде разумной теории, «логикой и математикой прекрасного» и показывает в своих произведениях «идеал наглядного совершенства».

Это очень остроумно, но здесь недостает строгой последовательности! Здесь, очевидно, прерывается нить генетического физиологического происхождения искусств; здесь автор всё перевертывает вверх дном, от прежних строго методических объяснений переходит к метафизическому понятию «наглядного совершенства» и наперекор заявленным им самим требованиям разом ставит отвлеченность на первый план. Не наше дело исправлять его ошибки, хотя это едва ли было бы трудно: достаточно того, что он снова вступает на свой первоначальный путь в своих суждениях о танцевальном искусстве и о поэзии.

Непосредственно вслед за рассуждениями о музыке он ведет речь о танцевальном искусстве, т. е. о том настоящем танцевальном искусстве, которое существовало у древних. Это была музыка, которую сделали наглядной; она также была выражением чувств и страстей, но не посредством звуков, а посредством жестикологии и телодвижений, которые, так же как в музыке, были ритмическими. Напротив того, оркестика есть совокупное выражение всех изящных искусств: «от скульптуры она заимствует изящные формы тела, от живописи — красивые позы, от музыки — задушевное выражение и модуляции; ко всему этому она присоединяет живость и движение; в качестве искусства она представляет сочетание всего, что прекрасно, подобно тому как поэзия представляет собой такое же сочетание в качестве науки — в ней соединяются полная жизни скульптура, живопись, музыка, а все это вместе взятое составляет целую поэзию».

Не следует ли заключить из этих слов, что поэзия не искусство, а наука? Дело в том, что Гердер все еще не был в состоянии отделаться от ходячего в его время мнения, что поэзия принадлежит к числу изящных наук. Его собственный взгляд на этот предмет заключался в следующем: остальные искусства, обыкновенно называемые изящными, суть «настоящие дети той первобытной красоты, которая лежит в природе, а поэзия, «позже родившаяся внучка, — «неясная копия с многих других копий». Изящные искусства зиждутся непосредственно на чувствах, а поэзия зиждется на чувствах лишь косвенным путем. «Влечение к прекрасному изливается потоками из всех чувств на фантазию и, стало быть, переходит из всех изящных искусств в поэзию». Следовательно, поэзия не искусство чувственности, а искусство фантазии. «Как фантазия бессильна без помощи чувств, так и поэзия бессильна без помощи изящных искусств»; эта последняя — «единственное изящное искусство непосредственно для души». Затем Гердер подробно объясняет, почему поэзия — ученица ар-

хитектуры во всем, что касается размеров; он указывает, как и чему она должна учиться у скульптуры и живописи, каким образом она делается музыкой души частью благодаря слогаударениям, частью благодаря последовательности звуков и представлений — и наконец благодаря привлекательной живости движения делается подражанием и танцевального искусства.

Эти рассуждения, очевидно, сходятся с теми, которые были изложены в первом «Критическом леске» о сущности поэзии; в то же время у Гердера заметно старание изложить эти рассуждения более систематически. Но и здесь лишь слегка проглядывает то воззрение, что язык есть натуральный чувственно-умственный способ переводить чувственные ощущения в произведения фантазии, — то воззрение, по которому поэзия есть искусство, основанное на чувстве, точно так же, как искусство языка и как остальные искусства; отсюда видно, как еще до того времени было непоколебимо в уме Гердера предубеждение, будто язык есть только средство для данной цели, а слова только искусственные, произвольные знаки выражения!

При всем том, эти соображения Гердера имели важное и богатое последствиями значение для эстетики. Они пересадили баумгартеновскую эстетику на почву философской теории о чувствах. Гердер берет учение Баумгартена за точку исхода и, нападая на мелочное и неясное определение поэзии у Риделя, защищает баумгартеновское определение, по которому поэзия есть доведенная до совершенства чувственная речь; это не мешает Гердеру говорить, что Баумгартен «сократил целую науку в одну метафизическую основную формулу»; но после того как он придал этой формуле серьезное значение, описывая развитие чувств, он начинает нападать на Баумгартена и в противоречие со всеми прежними похвалами говорит, что сравнительно с настоящей эстетикой баумгартеновская эстетика не что иное, как «побочное произведение». Он намеревается наметить только главные очертания будущей эстетики, а на деле оказывается, что в этих очертаниях более систематической последовательности и внутренней связи, чем в том трехтомном сочинении, которое он впоследствии написал в опровержение кантовского учения о прекрасном и об искусствах¹. Он вполне сознавал, что указанный им путь был нов и правилен. Он говорит, что составленная по его плану

¹ Следующий факт должен показаться очень странным и вместе с тем может служить доказательством, как до настоящего времени еще мало изучали произведения Гердера: два писателя, относившиеся к Гердеру с просвещенным сочувствием и признававшие за долг справедливости указать услуги,

эстетическая теория имела бы полезное влияние на образование юношества. Он приходит в настоящий восторг от идеала такой науки и расширяет его в своем воображении до размеров науки в одно и то же время и философской, и исторической, которая — конечно, после многочисленных приговорительных исследований — делается «философской теорией и историей изящных искусств и наук».

Посмотрим теперь и на менее важное содержание третьей главы четвертого «Критического леска»!

То было многообещающее предприятие, когда Гердер задумал — по поводу некоторых глав Риделевского сочинения — проследить некоторые общие эстетические понятия в их применении к искусствам и доискаться их происхождения. Но он только уяснил смысл своей задачи, а не разрешил ее. Эта задача заключалась в том, чтобы возвести общие понятия к их чувственно-психологическому источнику и обособить их соответственно отличию одного искусства от другого. Так, говоря об иллюзии, Гердер замечает, что «у каждого художника и у каждого поэта есть свое собственное чародейство». Иллюзия бывает различна сообразно с различными свойствами каждой отрасли искусства. Архитектурные произведения возбуждают «удивление» — совершенно своеобразный род иллюзии, которому нелегко дать настоящее название. Оптический обман, который производят скульптурные произведения, есть «чувство живого присутствия». Оптический обман, производимый живописью, есть обман по сходству; это — иллюзия в настоящем смысле слова. Музыка «трогает нас, восхищает» и даже доводит до «сладкого самозабвения». Танцевальное искусство древних должно было производить самую сильную из всех иллюзий, должно было «очаровывать».

оказанные им эстетике, проходят молчанием и четвертый «Критический лесок», и многие другие из позже написанных статей по тому же предмету, а останавливают свое внимание только на «Каллигоне». И Циммерман, и Лотце ограничивались в своих сочинениях об эстетике упоминанием этого запоздавшего выходом произведения, между тем как Лотце должен бы был признать в Гердере своего предшественника по воззрению на эстетическое значение простых чувственных ощущений («История эстетики в Германии», с. 265 и сл.). Прекрасная статья А. Шёлля «Herders Verdienst und Würdigung der Antike und der bilden den Kunst», помещенная в веймарской памятной книжке о Гердере (Йена, 1845) основательно не входит в подробное рассмотрение «Kalligone», ничего не прибавившей к тем положительным воззрениям, которые были ранее того изложены в других произведениях Гердера; к сожалению, эта статья была доведена до конца прежде выхода в свет четвертого «Леска».

Наконец поэзия, которая заимствуется от всех искусств, заимствует от них и все виды иллюзии; поэтому каждый род поэзии производит особую иллюзию смотря по тому, с каким родом искусств он в родстве; так, иллюзия драмы заключается в «воображаемом присутствии», иллюзия оды — в «певучей увлекательности» и т. д.

Мы склонны ожидать самого интересного содержания от тех глав, в которых идет речь о юморе и о смешном, так как эта тема с давних пор казалась Гердеру очень заманчивой. Вероятно, еще во время своего пребывания в Кёнигсберге он готовился к сочинению статьи о смешном, так как наброски для такой статьи встречаются в его студенческих записных тетрадках. Он, как кажется, намеревался написать нечто такое, что могло бы стоять наряду с кантовскими размышлениями о прекрасном и возвышенном. Предполагалось установить различие сначала между видами смешного; при этом смешное было бы сопоставлено сначала с возвышенным, потом с прекрасным, а затем было бы подвергнуто исследованию соответственно различие времен, положений, наследственных особенностей, темпераментов и народов. Материалы были бы извлечены из «элементов» Гома и из сочинения Аббта «О заслугах»; для примеров смешного были сделаны извлечения из «Тристрама Шенди» и из «Дон-Кихота», и уже были набросаны на бумагу самые разнообразные замечания. Во 2-м издании первой части «Отрывочных заметок» автор объявил или, вернее, намеревался объявить, что он «с некоторого времени посвящает свои свободные часы исследованиям смешного в нравах и смешного в мыслях и в выражениях и при этом постарается установить основное понятие о смешном и его различные виды». Своему другу Шеффнеру он говорил об этой статье еще в феврале 1767 г., а в ответ на напоминание со стороны Шефтсбери он писал в октябре того же года: «Вам известно, что уже в течение нескольких лет моя голова занята статьей о смешном»¹. Теперь уже пора бы было изложить то, что так долго обдумывал Гердер. Но что же мы находим? Наряду с беспрестанно возобновляющимися нападками на Риделя только намеки и выражения желаний! Мы не узнаем ничего нового кроме того, что юмор, — «не обычный, а своеобразный образ мыслей», что в нем нравится «свободно выражающаяся оригинальная человеческая душа» и что то было бы интересное произведение, если бы ка-

¹ Отрывочные заметки. I. 2-е изд.; SW в отделе литературы. I, 99 (SWS. II, 46); LB. I, 2, 239 и 289.

кой-нибудь одаренный юмором автор исследовал это понятие «во всех его видах, во всех характерах и у всех писателей». Сам Гердер, конечно, не был таким писателем. Несмотря на его обещание сообщить некоторые новые идеи тому, кто возьмется составлять теорию понятия о смешном, он объясняет нам в главе, касающейся этого предмета, в сущности только причины, почему до сих пор не составлено такой теории. Он не в силах обнять все бесконечное разнообразие индивидуальных особенностей и правильно распределить его по отделам. Он не желает получить «акцизный ярлык на смешные выходки»; у кого есть юмор, тот пусть характеризует понятие о юморе, а не разделяет его по разрядам; о различных видах юмора можно сказать только то, что они не похожи один на другой, а лучший теоретик тот, кто нас ввел в «приятное общество всех забавных юмористов». Отсюда ясно, почему статья о смешном всегда откладывалась в долгий ящик; отсюда же можно было сделать заключение, что такая статья никогда не будет написана Гердером.

IV. Два «Леска» против Клотца

Но если в последней части направленного против Риделя «Леска» полемика брала верх над изложением собственных воззрений Гердера, то она играла еще более важную роль в тех двух «Лесках», где шла речь «о некоторых произведениях Клотца». Поэтому эти два «Леска» утрачивают в наших глазах интерес в той мере, в какой автор считал за свою главную задачу разоблачение недостатков Клотца и его приверженцев. Гаман называет второй «Критический лесок» «травлей писателей, делающих из критики ремесло или охотящихся на чужой земле». Он уже давно высказывал мнение, что *genius saeculi* живших в Галле профессоров очень жалок и никуда не годен; поэтому он полагал, что и Лессинг, и Гердер должны бы были употреблять свои досуги и свои дарования на законченные произведения, а не на то, чтобы мешать Клотцу наслаждаться его скоропреходящей славой¹. Однако с этим мнением нельзя согласиться безусловно. Литературная нравственность — так как именно о ней идет дело — требует борьбы точно так же, как и нравственность народной жизни. Для этого не было достаточно сарказмов Гамана,

¹ Рецензия двух первых «Критических лесков» в Кёнигсбергской газете. (Соч. Гамана, III, 430 сл.).

помещавшихся в мелкой местной газете. Полемическое сочинение, направленное против плохого писателя и интригана, также может быть «законченным произведением», а именно таким произведением были «Письма антикварного содержания» благодаря основательности суждений, которые хотя и касались не особенно важных предметов, но отличались точностью — благодаря благородному нравственному направлению автора и благодаря мастерству, с которым он вел борьбу. Если мы припомним, как большинство свидетелей этой борьбы было отуманено личными интересами, как была малодушна и труслива тогдашняя публика, то мы поймем, что в то время было бы вовсе не лишним, если бы хоть один голос громко и решительно принял сторону Лессинга. Но нужно было, чтобы этот голос не раздавался из уст человека, прикрывавшего свое лицо маской; к тому же мотивы, заставившие Гердера принять участие в этой борьбе, были сомнительной чистоты и он не умел с изяществом и уверенностью Лессинга отражать и наносить удары. Цель, которую он высказывает в предисловии к третьему «Леску», заслуживает полного одобрения. Ввиду того что незаконно присвоенная Клотцем диктатура в журналистике направляла общественное мнение на ложный путь, Гердер хочет восстановить «тон равенства и уважение заслуг», хочет сдержать «хвалебные, всех перекрикивающие голоса» и возратить критике свободу. Ему очень хорошо известно, что ведущий к такой цели правильный путь заключается в той уже ранее указанной в «Отрывочных заметках» критической методе, которая, освоившись с планом автора, разлагает все сочинение на составные части и при этом дополняет его. Касательно того, как он поступил с сочинениями Клотца, он говорит: «Сочинение, разложенное на свои составные части, более поучительно чем то, которое цельно, но состоит из разного вздора»; а касательно «мелочности» своих возражений он замечает, что «если его указания нередко бывают незначительны, то следует искать поучений в самой методе». Эти слова оказываются слишком самонадеянными в сравнении с содержанием произведения Гердера. Его предисловие вполне сходится с содержанием Лессинговых «Писем антикварного содержания», а к содержанию второго и третьего «Критических лесков» оно относится почти как оправдание в чем-то таком, что нуждается в оправдании. Гаман заметил Гердеру, что не совсем благоразумно «разом начинать четыре или даже пять сочинений и обещать их продолжение»; при таких условиях нет возможности собрать нужный материал, переварить его и работать *con amore*; тогда

нет возможности избежать вялости, небрежности, противоречий, повторений и других человеческих слабостей. Впрочем, нельзя сказать, что Гердер приступил к этим полемическим сочинениям без всякой подготовки; в особенности книжку Клотца о монетах он изучил подробно, как это видно из его сборника разных извлечений; но все эти работы получили окончательную отделку под влиянием досады и раздражения. Гердер стал слишком скоро сожалеть, что занялся этими бесполезными, непривлекательными и бедными «Лесами», — и не потому только что они привели к неприятным последствиям, а потому что он сознавал необходимость улучшений и исправлений, как например во второй части¹. И то, что говорится в предисловии касательно усвоенного Гердером полемического тона (который был слишком резок даже по мнению Шеффнера), было самообвинением, облеченным в форму оправдания. Гердер отвергает обвинение, что он резко нападал на личность противника; он говорит, что ввиду резкости тона его противников ему простительно иногда не соблюдать надлежащей меры, высказывать основательные порицания с горячностью и говорить громко, для того чтобы его слышали. А между тем он постоянно прикрывается безукоризненно чистым щитом Лессинга. Эпиграфом Лессинга «ἀγώνισμα μᾶλλον» он оканчивает свое предисловие, классическими выражениями Лессинга о вежливости и обходительности он оканчивает первую часть. Нам кажется необходимым сравнить литературные приемы этих двух противников Клотца; для первого «Леска» такое сравнение необходимо по отношению к его содержанию, а для остальных трех или четырех «Лесков» — по отношению к их внешней форме.

Слог «Критических лесов» заметно отличается от слога двух первых сочинений Гердера. Отголоски гамановских воззрений, которые в сущности не были во вкусе автора, а были ему навязаны, уже вовсе здесь не встречаются, точно так же как они уже не встречались в тех частях «Отрывочных заметок», где велась горячая полемика с «Письмами о литературе», — не встречались ни в переделке и в продолжении «Отрывочных заметок», ни во второй части «Торса». Но некоторые гамановские обороты речи еще встречаются местами и в особенности в первом «Леске»: двусмысленные выражения не годились для бывшей ключом словоохотливости Гердера; их мнимая краткость и сжатость не до-

¹ «Путевые записки» (LB. II, 274, 277); сравн. окончание четвертого «Леска» (LB. I, 3, b, 519).

стигали цели; сверх того, они были чем-то вроде маски; поэтому их заменил тот слог, который назван в первом «Леске» отличительной особенностью Лессинга, слог такого писателя, который «наводит нас на мысли», который — веселый собеседник, забавный рассказчик, который «ясно указывает нам повод для каждого размышления, разлагает его на части и потом снова соединяет в одно целое». Такое старание наводить на мысли и указывать, как они двигаются то в одну, то в другую сторону, было нами замечено уже в одной главе второй части «Торса»¹. Оно постоянно заметно и в первом «Критическом леске». Автор, писавший о «Лаокооне», желал бы обращаться к Лессингу в такой же диалогической форме, в какой написан «Лаокоон»; но его желание нелегко было согласовать с его логикой, и он гораздо более привык говорить, чем разговаривать. Поэтому хотя он и употребляет, подобно Лессингу, разговорную форму, но его слог носит на себе своеобразный отпечаток, который отзывается риторикой гораздо более, чем у Лессинга. Слог Лессинга постоянно одинаково ясен, а сам Гердер называет свой слог «полупонятным, полунепонятным»². Даже тогда, когда Лессинг обходится без вопросов и восклицаний, его слог отличается привлекательной живостью благодаря плавности и последовательности его идей. Напротив того, у Гердера каждое слово точно будто вырвалось из взволнованного сердца; его идеи облакаются в запутанные фигурные выражения даже тогда, когда это не согласно с самым содержанием. Поэтому он не только прибегает к чрезмерно частым вопросительным и восклицательным знакам, но также повторяет одну и ту же мысль в различных выражениях, прерывает сам себя, употребляет тире в знак того, что мысль приостановилась или прервалась. У Лессинга вопросительная форма обыкновенно заключает в себе и ответ, а Гердер ослабляет эту форму, торопясь отвечать самому себе — хотя бы то было при помощи скромных оговорок: «едва ли», «быть может». Оба они пишут с горячностью, но только один Лессинг владеет сам собой, только один он умеет быть в одно и то же время и страстным, и осмотрительным. Живость Лессинга — мужская, а живость Гердера более подходит к женской. «Стало быть, я не имею понятия о Гомере; стало быть, я не хочу знать греков!» Так выражаться значит наводить не только на мысли, но и на чувства. На его способе изложения слишком часто отражается нервная раздражитель-

¹ См. выше, с. 307.

² В «Путевых записках» (LB. II, 300).

ность, патологическое состояние писателя. В четвертом «Леске», вслед за длинной цитатой из книги Риделя он говорит: «Здесь каждое слово неприятно действует на мою нервную систему». В другом месте он говорит по поводу одного замечания Бурке, что почувствовал истину путем «чего-то похожего на внутреннее содрогание»; о таком же «содрогании по поводу новых психологических открытий» он говорит в своем дневнике, делая характеристику самого себя для самого себя. Эта впечатлительность и раздражительность отражаются в различной степени и на его слоге. Он беспрестанно переходит из спокойного состояния в тревожное, то чего-то пугается и выражает сердечную боль, то нахмуливает брови и покачивает головой, то дрожит, то краснеет, то бледнеет — эта манера переходит у него мало-помалу в слог, в часто употребляемые обороты речи; но именно потому она и служит доказательством искренности его чувств. В ней-то и заключается главное различие между жестикулирующей живостью лессинговского слога и живостью гердеровского слога. Первая возведена в искусственную форму, а вторая остается вполне натуральной; в первой мимический элемент вставлен в самую речь, а во второй он действует наряду с речью. Преувеличенная живость, не знающая никакой меры, порождает такой способ выражения, который полон жестикуляций; своим беспокойством она нарушает душевное спокойствие самого читателя. Это — более чем благородная свобода; это — непозволительная распушенность, нарушающая плавность и последовательность изложения. К этому следует прибавить, что у Гердера нет той способности выражать свои идеи наглядно, благодаря которой Лессинг умел соединять свои диалектические выводы в одном примере, в одной фразе, заимствованной из какой-нибудь басни, в одной эпиграмме; у Гердера также не было умения производить драматические эффекты. Он восполнял этот недостаток своими дарованиями лирика. Он был так впечатлителен, что не был в состоянии верно описать данный предмет, но зато был хорошим колористом. Некоторым из своих выражений он умел придавать ту меткость и остроту, ту наглядность и эффектность, которые редко встречались в его публичных проповедях. Удачно выбранные выражения и живописно сопоставленные слова выходят из-под его пера неожиданно, точно внушения свыше, а с их помощью ему удастся выразить свою мысль сжато и сильно.

Еще более неблагоприятно для Гердера его сравнение с Лессингом в том, что касается слога и всех приемов его полемики. Он вовсе не умеет держаться надлежащей меры ни в том, что ка-

сается внешней формы его полемических нападок, ни в том, что касается их содержания. Он порицал Лессинга за такую растянутость его писем о литературе, которая уместна лишь в церковных проповедях, но он сам еще чаще Лессинга отличался таким недостатком. С тех пор Лессинг выражался более кратко; его полемика с Клотцем более объективна и более сжата, чем его полемика с Крамером и с Базедовым; он старается, чтобы для его жерновых камней всегда было достаточно зернового хлеба, так как тогда не слышно той стукотни, которую производит пустая мельница. Вопросы, на которых вертится спор, часто бывают малозначительны; но автор обсуждает их с такой ученостью, с такой основательностью, что они приобретают большой интерес и что постоянно представляется случай перейти от частных к общим выводам. Напротив того, Гердер не умеет метко выбирать такие факты, на которые можно бы было во многих случаях ссылаться как на примеры. Вместо того чтобы остановиться на одном из таких фактов и рассмотреть его со всех сторон, он переходит от одного факта к другому, слегка касается то одного, то другого предмета и утомляет читателя тем, что беспрестанно возвращается к одной и той же общей точке зрения. А важнее всего то, что его возражениям нет конца, точно так же как нет конца его досаде и негодованию. Лессинг нападает на своего противника с гордой самоуверенностью, с бодрым сознанием своего превосходства; против взрывов его негодования нельзя устоять, потому что они обрушиваются только на нравственную пошлость и низость противника. Не так поступает Гердер. Даже его насмешки отзываются раздражением, досадой и пафосом. Даже его гнев выражается как-то шумливо и крикливо — точно будто кровь начинает бить ему в голову и он не в состоянии справиться с потоком своих слов, не в состоянии сделать из них надлежащий выбор. Его нетерпеливая раздражительность находит для себя слишком послушное орудие в его умении владеть языком. У него нет недостатка в таких резких выражениях, как «доморощенный торгаш», «навозное содержание» и т. п. «А разве поэзию греков, привыкшую все выставлять в наготе, — спрашивает он у своего противника, — можно было одевать в монашеские лохмотья?» «Разве какой-нибудь герой, — говорится в другом месте, — мог бы поддержать достоинство своего нравственного характера тем, что стал бы, подобно картезианскому монаху, важно и угрюмо выхрюкивать только свое *Memento mori*?» Гердер забывает, что спорщик оказывается неправым, если грубо извращает мнение противника, как бы оно ни было нелепо,

и что не следует браться за дубину, когда можно убить маленьким камешком.

Однако как бы ни были грубы и многоречивы эти нападки на Клотца, они все-таки могут быть поставлены наряду с полемикой Лессинга, потому что имеют свою особую привлекательность и свои особые достоинства. Как ни обнаруживает автор свою собственную слабую сторону, все-таки чем меньше он скрывает свои недостатки, тем больше он разоблачает недостатки противника. Только от него мы получаем всестороннее понятие о личности Клотца. Из писем Лессинга нам уже достаточно известно, что в литературной деятельности жившего в Галле писателя не было ничего основательного, что он был тщеславен и пускался на разные хитрости; но только гердеровская полемика объясняет нам, до какой степени он в своей деятельности отличался бездарностью и умственной ограниченностью. Лессинг обрисовывает личность этого человека с драматической живостью, но только Гердер был способен обрисовать все черты этой физиономии благодаря своему тонкому чутью и своей деликатной чувствительности. В конце концов полемика Лессинга оказывается более личной, чем полемика Гердера. Эта последняя постоянно стремится к общим выводам, постоянно старается проводить от данного пункта линии в широкую даль; оттого-то мы и находим в ней множество различных точек зрения, множество научных воззрений, которые заходят далеко за пределы личных интересов двух противников.

Впрочем, эти воззрения не новы для того, кто приступает к чтению «Критических лесов» после чтения «Отрывочных заметок». И во втором «Леске», и в третьем главное содержание составляют те же основные идеи, которые были изложены в «Отрывочных заметках», только с той разницей, что теперь автор излагает их в новой форме, применяясь к целям своей критики, и путем полемики представляет их в новом освещении. Поэтому нам будет нетрудно вкратце их обозреть.

Еще в том «Леске», где шла речь о «Лаокооне», Гердер наносил немало косвенных ударов Клотцу, но наносил их так, что они были как бы ответом на полемику, которую вел Клотц с Лессингом¹. Еще тогда (с. 251 и сл.) наш критик всего обстоятельнее опровергал безмысленное порицание, которое было высказано Клотцем в «*Epistolae Homericae*» относительно ссылки на Фер-

¹ См., напр.: К. W. I, 74, 76, 79; кроме того, сравн. с. 9, 29, 86, 140, 143, 145, 148, 153, 186.

сита, как совершенно неподходящего и смешного фигурного выражения; при этом Гердер обещал представить еще немало доказательств того, как этот прославленный знаток сочинений Гомера был мало способен понимать их настоящей смысл. Во втором «Леске» Гердер приступает к исполнению этого обещания и прежде всего призывает к ответу «*Epistolae Homericae*».

Там Клотц восхвалял Гомера в бессодержательных латинских фразах, а потом хулил его со своей бестолковой мнимой философской точки зрения. В ответ на это Гердер становится на ту историческую и полную живого сочувствия точку зрения, с которой мы уже знакомы из его прежних сочинений, с которой Винкельман судил о древних скульптурных произведениях, с которой еще никто до Гердера не смотрел на произведения поэтов и которую должны были впоследствии заимствовать от него другие писатели. Он не хочет произносить суждений, пока не поймет разбираемого сочинения; а чтобы понять его, он считает необходимым прочувствовать всей душой все его своеобразности, все условия, при которых оно возникло. Как в «Отрывочных заметках» он порицал и осмеивал невежественную и торопливую склонность к подражанию, так и теперь он горячо порицает и осмеивает ту одностороннюю критику, у которой есть только одна мерка для всех времен и для всех талантов и которая, подобно Клотцу, решительно признает Гомера за *summam vim et mensuram ingenii humani*. Только тот может говорить об этой *summa vis* и может принять тот абсолютный масштаб, кто, так сказать, перечувствовал все формы и метаморфозы человеческого ума, кто «сделался евреем, говоря о евреях, арабом, говоря об арабах, скальдом, говоря о скальдах, бардом, говоря о бардах», и таким образом «сделался способным понимать и Моисея, и Иова, и Оссиана с точки зрения их времени и их положения». Так же следует относиться и к произведениям Гомера. И к Гомеру нельзя относиться как к поэту всех времен и всех народов; в суждениях о нем следует принимать в соображение его природный характер и условия его времени. Хвалить его так же трудно, как и хулить, потому что мы «находимся далеко от той сферы, в которой он мыслил, рассказывал и пел». Поэтому мы должны по мере возможности перенестись мысленно в эту сферу. «Как нужно изолировать свое зрение, — восклицает Гердер, — чтобы смотреть на Гомера при внешней обстановке его времени; как нужно изолировать свой слух, чтобы вполне понимать его национальный язык; какую надо иметь восприимчивую душу, чтобы быть в состоянии сочувствовать всему, в чем сказывается его греческая нату-

ра!» По поводу нелепого замечания Клотца, будто Гомер унижает достоинство эпоса, примешивая к нему смешные приключения, Гердер ясно доказывает негодность основной точки зрения, с которой Клотц смотрит на Гомера. Он доказывает, что торопливый порицатель не понял разницы между смеющимся героем и тем, что смешно, точно так же как он не понял разницы между главными действующими лицами и второстепенными, и в особенности между господствующим во всей поэме тоном и отдельными звуками, раздающимися в некоторых частях поэмы. Это замечание, без сомнения, основательно и вполне достаточно для того, чтобы опровергнуть суждения какого-нибудь Клотца; но Гердер при этом оставляет без всяких опровержений то мнение Клотца, что достоинство — необходимое свойство эпоса, а удивление — то впечатление, которое эпос должен производить на читателя. Для нас не понятно, почему Гердер, несмотря на свое обыкновение держаться исторической точки зрения и в своих суждениях о поэтических произведениях принимать в соображение индивидуальность писателя, все-таки не мог высвободиться из-под влияния господствовавших в его время теорий и даже для разбора произведений Гомера не составил себе ясного понятия об эпосе. Он также придерживался того предвзятого мнения, что впечатление, производимое эпосом, должно быть основано на удивлении; его поддерживали в этом мнении поэтические произведения Мильтона и Клопштока, и он отличался от своего противника только тем, что применял это общее правило с меньшей строгостью¹.

Напротив того, основной принцип исторического обособления Гердер еще решительнее прежнего отстаивает в следующих параграфах, где подвергает проверке воззрения Клотца на употребление мифологии в новейших произведениях поэзии. Он снова утверждает, что не следует все сваливать в одну кучу, и на этот раз ссылается на поэтов эпохи Возрождения, на Виду и Саннадзаро, на Ариосто и Тассо. «Как высший судья должен быть всеведущим, для того чтобы понимать своеобразную нравственность всякого сердца, так и судья времен и народов должен быть знаком с понятием этих времен и народов, иначе он ничего не извлечет из собранного в течение стольких веков материала, кроме

¹ Та же теория находится в «Истории искусства» (LB. I, 3, a, 149): «Эпоса с внушаемым ею холодным удивлением»; статья об оде (Там же. 86, 87). И в четвертом «Леске» (LB. I, 3, b, 515) говорится, что свойственная эпосу иллюзия заключается в «возбуждающей сильное удивление наглядности».

каких-нибудь жиденских правил для критики». При более строгом применении этого принципа Гердер, натурально, берет назад то «безусловное одобрение», с которым он отозвался¹ в третьем сборнике «Отрывочных заметок» о мнении Клотца, что в христианских духовных стихотворениях мифология неуместна. Впрочем, все, что он теперь говорит об употреблении мифологии, не более как вялое и поверхностное повторение так метко высказанных в том сборнике мнений. Здесь ново только то, что он обошел молчанием в «Отрывочных заметках» из нежелания «делать слишком длинное отступление», — новы только его возражения на предложение Клотца употреблять аллегорию взамен мифологии. На решительность, с которой он теперь отвергает это предложение, конечно, имел влияние «Лаокоон» Лессинга. Прежде он хвалил Рамлера за то, что он «обладает высшим поэтическим искусством стихотворца, умением пользоваться аллегорией». Теперь он судит совершенно иначе: «Рамлер не в меру любит аллегии». Прежде Гердер писал такие подробные рецензии на оды Рамлера, что берлинские друзья поэта не решались печатать эти рецензии целиком и лишь некоторые выдержки из них вставили в новую рецензию, написанную Мендельсоном²; а теперь Гердер стал все более и более разочаровываться в Рамлере и стал хвалить Гагедорна — потому что «тон песен зависит от чувства, а не от характеристики аллегорического содержания, которая вставляет безжизненные символы в среду лирических чувств и все охлаждает, как лед».

Основное положение Гердера, что только та критика имеет цену, которая принимает в соображение исторические условия, снова сказывается в замечаниях о статье Клотца «*De verecundia Virgilii*», о которой было лишь слегка упомянуто в гердеровской рецензии сочинения Клотца «*Opuscula*»³. Эти замечания сводятся к следующему: и в суждениях о нравственности автора, точно

¹ Отрывочные заметки. III, 123. См. выше, с. 255 и сл.

² Николаи к Гердеру (LB. I, 2, 309, 310, 314) и ответ Гердера (Там же. 317); Николаи к Гердеру (Там же. 323). Рецензия потом появилась с начальными буквами имени Мендельсона в «*Allgemeine Deutsche Bibliothek*» (VII, I, 3 и сл.) и была помещена в полном собрании сочинений Мендельсона (IV, 2, 537). Сравн. введение к IV тому SWS. В продолжении «Торса» Гердер защищает Рамлера от взведенного Клотцем обвинения в бездарности и восхваляет его за статьи о Горации и за его заслуги касательно развития немецкого языка; однако он присовокупляет к этому отзыву замечание, что берлинские критики, как кажется, «осыпали этого поэта чрезмерными похвалами вследствие личного с ним знакомства». Как были впоследствии строги суждения Гердера о Рамлере, видно из его письма к Бойе от 11 июля 1772 г. (Вейнгольд. Heinrich Christian Boie. C. 160).

³ LB. I, 3, b, 39.

так же как в суждениях о его эстетических недостатках и достоинствах, следует становиться на его собственную точку зрения; кто хочет судить о стыдливости греческих и римских писателей, тот не должен сообразоваться с тем, что нам теперь кажется приличным или неприличным: он должен судить, соображаясь «с национальными чувствами тех писателей». Таким образом, против Клотца приводятся те самые доводы, которые предполагалось изложить в переделанном втором сборнике «Отрывочных заметок» против написанного Клаудиусом очерка нравов поэтов¹. Здесь мы читаем суждения, находящиеся в связи с этикой и с историей этических чувствований и понятий и в отдаленной связи с тем обширным изучением человечества и его внутренней истории, которое постоянно составляет тайный центральный пункт всех умозаключений Гердера. Понятно, что ученик Канта и Юма начинает с объяснения сущности стыдливости, устанавливая различие между стыдливостью как врожденным чувством, стыдливостью, получившей свою определенность среди общественной жизни, и стыдливостью нравственной. Затем он дополняет свои объяснения указанием различия в историческом развитии этих понятий, а в своем «историческом и географическом обозрении различных времен и народов» он начинает и пробует писать историю стыдливости. Наконец, он с основательной насмешливостью отзывается о бессмысленном смешении точек зрения нравственной и эстетической, в котором провинился автор «Opuscula». Он находит, что «расследование, была ли муза Вергилия чистой, целомудренной девицей», прилично благочестивым тетушкам и опытным в своем деле повивальным бабкам, но не влюбленному, в первый раз заключившему эту девицу в свои объятия; критик не должен быть судьей над нравственностью; не следует судить о *bona fama* поэта по его стихотворениям; Вергилий «был эпический поэт, и не его дело было наблюдать за исполнением шестой заповеди». Клотц даже не умел как следует обрисовать личный характер Вергилия, и Гердер берет на себя нечто вроде «защиты Вергилия», скромно соперничая в этом случае с Лессингом, который, конечно, был более его искусен. Общий вывод Гердера заключается в том, что все сбивчивые рассуждения Клотца на данную тему «напоминают старую привычку филологов писать простые заметки». Согласно с этим отзывом он сознается, что заблуждался, когда в «Отрывочных за-

¹ Сравн. выше, гл. 3, с. 296; в этом «Леске» положительно упоминается имя Клаудиуса (с. 160, прим.).

метках» ставил этого человека наряду с Гесснером и с Эрнести и признавал его за светило истинной философии. Теперь он противопоставляет Клотцу Гесснера и Эрнести, Лессинга и Винкельмана и на то место, которое Клотц занимал в его мнении, ставит Гейне, этого «почтенного знатока древности», этого издателя произведений Вергилия, этого писателя, прежде всех других указавшего нам, как следует комментировать древние литературные произведения в духе и вкусе самих авторов¹.

Характеристика филолога таким, каким он не должен быть, продолжается в следующей главе второго «Леска» при разборе сочинения Клотца «*Vindiciae Horatii*», которое было осыпано в третьем сборнике «Отрывочных заметок» лестными, хотя и не безусловными похвалами. Гердер доказывает всю несостоятельность того «*Commentarius in carmina poetae*», который занимает вторую самую обширную часть книги. Он указывает на обыкновение комментатора записывать бессвязные замечания, останавливаться на мелочных подробностях, упражняться над стихотворениями Горация «по специальному указанию милого Баттё» и этим способом отнимать у читателя поэтическое наслаждение; этим недостаткам он противопоставляет требование, чтобы на каждую оду смотрели как «на цельное выражение чувственных ощущений», чтобы в суждениях о ней сообразовались с выраженным в ней чувством, с господствующим в ней тоном, с отражающимся в ней лирическим настроением. Он хочет, чтобы при оценке лирических отличительных особенностей Горация принимался в соображение даже его стихотворный размер. Ссылаясь на Клопштока, он выражает желание, чтобы было объяснено, каким образом «каждый главный размер имеет свои собственные сочетания слов, свои соединительные частицы и благозвучия». Он порицает ту бессмысленную манеру «проводить параллели», которой не знакомо правило, что каждый вид поэзии, каждый язык, каждая эпоха, каждая цель придают изображаемому предмету особую окраску. Наконец, он протестует против «жалкого хлама мнимой учености» и взамен его требует ничем не стесняющегося сочувствия к разбираемому сочинению как главного и необходимого условия для более глубокого понимания поэтических произведений.

В конце второго «Леска» Гердер обещал, что будет продолжать разоблачение мелочности сочинений Клотца; это обещание он ис-

¹ Прежде всего К. W. I, 78; потом II, 196; сравн. в путевых записках (LB. II, 277).

полнил в третьем «Леске». Здесь он разбирает сочинение Клотца «*Beitrag zur Geschichte des Geschmacks und der Kunst aus Münzen*»; кроме того, он старается, разбирая «*Acta litteraria*», охарактеризовать общее направление критики Клотца и его приверженцев.

Сначала он слишком подробно характеризует слог и тон сочинения Клотца о монетах, но эта характеристика приводит его к очень удачным выводам. Он говорит о «сладкой водянистости сочинения», о жеманстве автора и о его «невыносимом тоне самоуверенности». Он указывает, как этот мнимый ученый пользуется чужими произведениями, как он превращает точные доводы Аддисона в декламацию и «постоянно мотает хвостом, чтобы сгладить следы позаимствований».

К сожалению, обвинения в неточности сами не более точны! Тону и слогу Клотца Лессинг мог противопоставить тон и слог своих собственных произведений, а Гердер мог противопоставить им только «приличный тон Винкельмана». Но нельзя того же сказать о содержании. Здесь критика Гердера находила для себя положительную опору в собственных идеях критика. Содержание книжки Клотца сводится к не заботящейся об истории болтовне и к не основанным ни на каких принципах рассуждениям о монетах. Гердер снова настаивает на необходимости исторического изложения, опирающегося на твердо установленную точку зрения. И нумизматика, по его мнению, освещается историей человеческого ума; и она, по его мнению, может считаться за «эстетику и за первобытный источник сведений для истории народов»; он применяет к ней те же соображения, которые так плодотворно высказывал касательно литературы и поэзии. И нумизматика есть продукт национальной общественной жизни. Законодательство, склад ума, религия, предприятия и вся историческая жизнь народа объясняют нам происхождение, процветание и упадок нумизматики, точно так же как и всех других искусств и наук. Гердер говорит, что Клотц вовсе не сознает необходимости указывать исторические различия и объясняет их с прагматической точки зрения; затем он слегка обрисовывает изменения во внешней форме монет, объясняет причины, по которым монеты были доведены до такого совершенства в Греции и в Риме, и указывает на неизмеримое различие нумизматики у древних народов и у новых.

В конце своего разбора «книжонки о монетах»¹ автор с негодованием бросает свое перо — но немедленно снова берется за

¹ Так он называет эту книгу в письме к Шеффнеру (LB. I, 2, 359).

него. Он сознает, что подвергает терпение читателей тяжелому испытанию; и сам он теряет терпение, тем не менее он никак не может найти конца. Он говорит сам себе, что «бродит по болоту», когда просматривает «Acta litteraria» с их пошлой критикой, облеченной в латинские фразы, — однако он никак не может отказать себе в удовольствии высказать по поводу целой дюжины таких рецензий насмешливые замечания с указанием необходимых поправок. Оставляя без внимания продукты такого чрезмерного усердия, мы постараемся отметить в них самые интересные выражения.

Почти в начале «Леска» мы находим замечание о четвертой пифийской оде Пиндара. Это — небольшое дополнение к гердеровской теории оды. Еще в первом «Леске» он показал на оде Горация «О счастье», в чем заключается тот способ объяснения, при котором критик мысленно переносится в положение поэта и в те временные условия, которые вызвали появление стихотворения. Так же поступает он и здесь. Наперекор неосновательному мнению, что Пиндар увлекался страстями и позволял себе произвольные отступления, Гердер видит в его замечательной победной песни «национальное, местное и индивидуальное произведение», в котором для каждой составной части есть какой-нибудь основательный мотив, и даже эпизод о походе аргонавтов представляет мифологически-историческую вставку, сделанную ввиду общей цели всего стихотворения. Как серьезно изучал Гердер произведения Пиндара, видно из сохранившихся в его бумагах неоднократных разборов пиндаровских од. Он уже давно намеревался подробно обрисовать поэтический характер «благородного греческого Пиндара», «своего старого Пиндара», «друга своей юности», — как он его называл. В третьем «Леске» повторяется это намерение, высказанное еще во втором (с. 241). Оно, как кажется, находилось в связи с еще не покинутым намерением написать «историю лирических песнопений».

Далее, по поводу чрезмерных похвал, которыми была осыпана в «Acta litteraria» «Новая История» Гаузена, Гердер делает несколько замечаний о том, как следует и как не следует писать историю: он говорит, что ее не следует писать так, как пишутся романы, не следует делать искусственные характеристики личностей с поддельным освещением, а следует верно излагать факты, по которым сам читатель мог бы составить себе ясное понятие о характере действующих лиц. Французская манера писать истории плоха, но еще вдвое хуже неискусные немецкие подражания.

Эти соображения развиваются далее в особой главе третьего «Леска»: «Об истории империи, историческая прогулка». Здесь мы снова переносимся в сферу тех идей, из которых одна часть уже была изложена в «Леске» о винкельмановской «Истории искусства». Если то, что мы там нашли, может считаться вознаграждением за обещанные, но неизданные «Отрывочные заметки» об истории¹, то в третьем «Леске» мы находим новое дополнительное вознаграждение.

В истории германской империи, в силу некоторых особых соображений, крайне необходимо придерживаться фактического направления, устранять прагматическую точку зрения древних историков и не гоняться, по примеру французов, за эффектами. Для истории греков и римлян служили основой поэтические народные сказания, из которых потом сама собой возникла философская точка зрения. Немцы не находятся в таком выгодном положении. Когда у нас впервые появляется историография, на ней лежит отпечаток средневековых предрассудков и монашеской монотонности. Наконец, начинает возникать теперешняя Римская империя: немецкая история есть история этой возникающей империи, но в ней нет ни ясности и цельности, которые мы находим в произведениях древних историков, ни того бросающегося в глаза величия, которым отличались древние республики и монархии. Поэтому она должна быть так же оригинальна, как оригинально германское государственное устройство. Чем проще и точнее будут ее излагать, тем лучше. «Настоящая национальная история немцев» может быть только «историей империи» — историей споров из-за рангов и из-за прав; ее необходимо излагать до некоторой степени с сухой пунктуальностью, в ней следует мерным шагом переходить от одного исторического документа к другому. Точная проверка фактов есть главное условие настоящей истории; поэтому главной отличительной чертой немецкой истории должна быть «сухость, соответствующая сухости исторических указаний», — пока не начнется с веком Карла V «во всей Европе возрождение человеческого ума»².

¹ См. выше, с. 329.

² Эти наскоро набросанные замечания об историографии, конечно, очень нуждавшиеся в пояснениях и вышедшие из-под пера человека, который сам еще ни разу не пробовал писать настоящее историческое сочинение, вызвали строгий неодобрительный отзыв и опровержения в «*Betrachtungen über die neuesten historischen Schriften*» (исторической карманной книжке, издававшейся в Альтенбурге: 1771 г.; часть 2, гл. 3, с. 385 и сл.).

Если Гердер в заключение намеревался разбирать книгу Клотца «О пользе и употреблении древних резных камней», то мы ничего не потеряли оттого, что появление первого тома Лессинговых «Писем антикварного содержания» заставило его остановиться на предисловии той книги. Гердер жаждал прочесть Лессинговы письма так же, «как мученик жаждет смерти» (письмо к Николаи от 21 ноября 1768 г.); о том, что он читал их с одобрением, он писал Николаи 10 января 1769 г. Тем временем, т. е. в конце 1768 г., Гердер, как следует полагать, окончил третий «Лесок». В конце этого «Леска» он говорит: «Я только что получил Лессинговы „Письма антикварного содержания“; как жаль, что я не мог получить их раньше! Какой в них увлекательный поток идей! Какая начитанность! Какое знание древности! Какое остроумие!.. Конечно, никто не найдет в моих „Критических лесах“ каких-либо следов тайного соглашения с Лессингом, однако несмотря на то что я живу далеко от этого писателя, его „Письма“ бросают луч одобрения на мои неблагоприятные отзывы о Клотце».

СТОЛКНОВЕНИЕ И ОТСТАВКА

В то время, как Гердер вел борьбу с Клотцем и его приверженцами, в его душе смешивались разнородные чувства. Когда Лессингу приходилось вести борьбу в том же роде, то он не терял ни бодрости, ни мужества, а у Гердера и бодрость и мужество скоро уступали место сомнениям, досаде и отвращению. Он постоянно старался успокоить свою совесть относительно своих горячих нападок на Клотца и в нем постоянно пробуждалось сознание, что он мог бы заняться чем-нибудь более полезным, чем мелочная полемика и чем борьба с лжекритиком, прославившимся при помощи разных пронырств. «Сколько времени я потерял напрасно», — восклицает он в конце третьего «Критического леска», а в полемическом сочинении, направленном против Риделя, он высказывает еще более громкие жалобы. «Из уважения к истинной философии и к изящному вкусу приходится доказывать негодность таких сочинений, которые все извращают, а если эти сочинения уже приобрели известность, то поневоле приходится разбирать их подробно, чтобы уничтожить их вредное влияние. На это тратятся лучшие годы нашей умственности жизни, во время которых можно бы было написать что-нибудь полезное, вместо того чтобы проводить их в уничтожении того, что вредно!»¹ А так как Гердер находился в то время вполне под впечатлением отзывов о его первых двух «Лесках», то для нас ясно, какие противоположные чувства сталкивались в его душе, когда он разговаривал сам с собой в конце четвертого «Леска»! Он спорит то со своими противниками, то с самим собой. Конечно, говорит он, мои «Критические леса» не лишены некоторых достоинств, а когда они будут улучшены и расширены в новом издании, то им отдадут справедливость! «А все-таки, — продолжает он, — когда я приближаюсь к концу моей работы, из моей груди вырывается вздох. Как неприятно быть вынужденным заниматься произведениями ничтожных людей и еще более неприятно

¹ LB. I, 3, 6, 326.

быть вынужденным нередко выражаться в их тоне! Как унижительно приноравливаться к дурным и мелочным условиям времени, для того чтобы подготовить наступление лучших времен!» Он видит перед собой совершенно иные задачи: «что-нибудь прибавить к ряду идей, возникших в человеческом уме, или о которых-нибудь из них умолчать; жить так, чтобы быть достойным похвалы, а потом умереть», — такой представляется ему будущность при благородных стремлениях его души.

И его жалобы, и его оправдания нельзя назвать вполне основательными. Он, очевидно, обманывал сам себя, когда старался себя уверить, будто он совершал «патриотическое дело», ведя борьбу под влиянием самого сильного личного раздражения. Он также обманывал сам себя, когда стал излагать положительные воззрения только потому, что ему надоела борьба и его утомило постоянное раздражение. И его критика, и его литературное творчество не были без посторонней примеси; он постоянно старается перейти от полемики к свободному развитию своих идей, но в то же время он постоянно нуждается в каком-нибудь стимуле, чтобы выложить все свое умственное богатство, а таким стимулом служит для него критика. Сочинения чисто положительного характера, которые были им до того времени задуманы, остались ненаписанными; их заменили те, которые должны были служить для них подготовкой. Семена его самых возвышенных идей пустили ростки именно в его первых критико-полемических произведениях, в «Отрывочных заметках», в статье, направленной против Лессинга, и едва ли не более всего в том «Леске», в котором он напал на Риделя.

Подобно статье об оде и истории поэзии, оставалась до сих пор недоконченной еще одна статья, задуманная в одно время с «Критическими лесами» и преимущественно имевшая в виду не критику и не личные споры, а изложение важных положительных воззрений. Еще более оригинальным произведением, чем вкратце обрисованная в четвертом «Леске» теория эстетики, были основы для изучения «археологии евреев».

Точкой исхода для этого сочинения служила та часть «Отрывочных заметок», которая занималась немецкими поэтами, подражавшими поэтам восточным. Там Гердер требовал для подражания восточным поэтам изящного вкуса в связи с изучением восточной филологии, и главным образом доказывал необходимость такого переводчика восточных произведений, который был бы и философом. Но было немало причин, по которым и его самого должно было привлекать к себе изучение восточной поэзии. Несмотря на то что он был в еврейском языке еще более са-

моучкой¹, чем в классической литературе, изучение этого языка привлекало его как теолога; оно привлекало его в то время как он занимался статьей об оде и общей историей поэзии, в то время как его намерение написать «историю человеческого рассудка» заставляло его мысленно переноситься от греческой культуры к восточной. В особенности в то время как он писал критический разбор винкельмановской «Истории искусства», в его памяти воскресали слова Гамана о «пробуравленных родниках греков» и о «странствованиях по восточным странам». В том лишь вкратце нами упомянутом (с. 263) месте, где идет речь о Винкельмане, Гердер говорит, что не только искусства, но и науки носят на себе восточный отпечаток, потому что большей частью возникли на Востоке. Поэтому следует расследовать возникновение восточных идей и их влияние. Умственное направление и природные свойства восточных жителей служат основой и для нашей теологии; наши священные книги написаны в духе восточных жителей и сообразно с их складом ума; наша религия прожила много столетий на Востоке, и т. д. Иными словами, повсюду встречающиеся следы восточных вкусов и восточной манеры философствовать заставляют всякого, кто пишет историю науки, подчиняться влиянию этого восточного духа².

Вполне естественно, что, когда Гердер задумал заняться изучением Востока, он начал с того пункта, в котором религиозный, поэтический и научный дух Востока представляется в своей цельности и первобытной чистоте; так как он любил во всем доискиваться первоначальных источников, то он обратился к самым древним памятникам восточной мудрости, религии и поэзии — к началу Библии, к книгам Моисея. При этом он, конечно, далеко зашел за пределы той главы «Отрывочных заметок», в которой шла речь о немецких подражаниях восточным поэтическим произведениям. Чем глубже он проникал в сущность этого предмета, чем больше он втягивался в сферу теологии, тем более он отодвигал на задний план ту ранее написанную главу; она была отложена в сторону при переделке «Отрывочных заметок»,

¹ Из помещенного в «Воспоминаниях» (I, 92), а потом у Сиверса (Herderin Riga. С. 56) протокола о его первом богословском экзамене видно, что «он отказался от испытания в еврейском языке». Сравн. признание Евтифрона (Geist der ebr. Poesie. I, 3).

² Надежда найти более глубокую истину в исторических памятниках Востока, чем у греков, всего сильнее выражена в той оде, которая была написана Гердером после отъезда из Риги; Гердер намеревался поместить ее, в качестве посвящения Михаэлису (LB. II, 35), в своем сочинении об археологии евреев. Это стихотворение помещено в своей первоначальной форме: LB. II, 45 и сл.

а исследования по поводу первых глав Библии, по поводу рассказа о патриархах и истории Моисея сделались сюжетом для нового, самостоятельного сочинения.

Для этого сочинения ему снова пришлось обращаться за содействием к тому другу, суждения которого были для него так полезны в начале его литературной деятельности, от влияния которого он потом, по-видимому, эмансипировался, но без указаний которого не было возможности обойтись, когда дело шло о вопросах, касавшихся Библии. Гердеру было известно, что Гаман написал, по поводу первой главы Книги Бытия, статью о зачатках истории человечества. В переписке между двумя друзьями неоднократно упоминается эта статья, иногда под заглавием «Reliquien», иногда и всего чаще под заглавием «Origines». Гаман писал Гердеру еще 13 января 1773 г.: «„Origines“ — небольшой очерк, который я намеревался написать после „Сократических замечаний“... В Риге я исписал пол-листа о „Книге Бытия“, и постоянно сожалею, что потерял его». То же сожаление выражено в письме от 17 января 1769 г.: «У меня едва ли сохранилось в памяти хоть одно живое слово из того, что я думал и мечтал об этом предмете. Однако это была моя любимая тема, и я был так всецело ею занят, что считал нужным употребить на ее разработку много лет». Отсюда видно, что Гаман давал Гердеру лишь очень неопределенные указания и скорей предостережения, чем указания. Когда Гердер обратился к нему в первый раз за советом, он отвечал в феврале 1768 г., что к истории сотворения мира бесспорно принадлежит и Откровение, а в январе 1769 г. он предупреждал Гердера, что история и философия Моисея — такие первобытные источники сведений, которые труднее понять, чем сочинения Гесиода¹.

Стало быть, из ответов этого чародея мы едва ли можем что-либо извлечь, кроме хронологических указаний, — тем более потому, что вопросные письма Гердера утрачены. Гердер впервые задумал писать новое сочинение весной 1768 г., т. е. почти в то самое время, когда он был занят новым изданием «Отрывочных заметок». Однако он более серьезно приступил к исполнению этого намерения лишь в начале следующего года, после того как новое издание «Отрывочных заметок» было частью окончено, частью отложено в сторону, и в то время или после того, как он был занят «Критическими лесами». После четвертого «Леска» это была последняя литературная работа, которой он занимался в Риге; это было первое свободное излияние его идей, служившее

¹ LB. I, 2, 320, 425; Соч. Гамана. V, 71, 72.

для него отдохновением от полемической борьбы с Клотцем и его приверженцами. Во время его отъезда из Риги сочинение об археологии евреев было окончено по меньшей мере в общем очерке, в первой редакции; Гарткнох уже читал это сочинение и имел основание ожидать, что, подобно четвертому «Критическому леску», оно будет очень скоро готово для выхода в свет¹.

Гарткнох ошибся в этих обоих ожиданиях. Автор, внезапно сделавшийся не в меру осмотрительным, пополнял и исправлял свой «Лесок» об эстетике, пока он не разросся до размеров отдельного сочинения о пластике, а в археологию евреев он вдумывался до тех пор, пока она не разрослась в гораздо более обширное сочинение, которое носило заглавие «Die aelteste Urkunde des Menschengeschlechtes» (Древнейший памятник человеческого рода). «Пластика» действительно была во многих отношениях более зрелым произведением, благодаря тому что в нее вошли самые плодотворные из тех идей, которые были изложены в гердеровской теории эстетики; а написанное в 1774 и 1776 гг. сочинение о древнейшем памятнике человеческого рода было переделано под влиянием совершенно нового житейского опыта и перемены воззрений, под влиянием существенно изменившейся точки зрения и некоторых побочных соображений; поэтому оно сделалось не более зрелым, а более неуклюжим по форме, более пестрым и более неясным. Здоровый зародыш первоначального сочинения пустил множество уродливых отростков и наконец заглох от избытка жизненных соков. Нам впоследствии придется объяснить причины его неудачного развития, а теперь нам предстоит приятная задача познакомиться с содержанием этого сочинения в его первоначальном виде и указать, каким образом поднялся так быстро и так высоко тот здоровый и сильный росток, который был посажен на почве рижской жизни Гердера в то время, как голова автора была наполнена высокими и светлыми идеями. В очерках, статьях и отрывках, которые были собраны издателем «Жизнеописания» под № 23—32 в дополнение к тому, что он сообщает о литературных занятиях Гердера в Риге, мы, конечно, найдем самое старое содержание и первоначальную

¹ LB. II, 35, 45 и 61, 68; сравн. III, 34. Касательно дальнейших занятий Гердера восточной археологией см.: LB. III, 85, 118, 200, 334. Что наши указания времени верны, видно из письма к Гейне в феврале 1772 г. (*Dünßer* C, II, 118): «Уже три года тому назад я стал заниматься этим предметом»; с этими же указаниями почти совершенно сходятся те, которые мы находим в письме к Гаману от 1 августа 1772 г. (Соч. Гамана. V, 72) и в письме к Николаи в ноябре 1772 г. (*Dünßer* C, I, 341).

внешнюю форму той статьи об археологии евреев, к скорейшему изданию которой Гарткнох поощрял своего друга¹.

Когда наш юный теолог писал очерк истории поэзии, он настойчиво отстаивал свое право включать поэзию священных книг в общий план своей истории и рассматривать ее с эстетической точки зрения, как «произведение человеческое, однородное с поэтическими произведениями других народов». Ввиду невозможности согласовать учение о божественном происхождении Священного Писания со своим убеждением, что поэзия была «природным языком человеческого рода» и имела у всех народов одинаковое происхождение, он постарался выпутаться из этого затруднения, допустив, что содержание и форма поэзии имели различное происхождение. Не подлежит сомнению, говорил он, что содержание иудейской поэзии божественно; но не подлежит сомнению и то, что форма ее поэтического изложения произошла из своеобразного умственного и чувственного настроения иудейской нации; даже необходимо допустить, что открывая иудеям истину, Бог сообразовался с этим настроением и не препятствовал ему выражаться с полной свободой. Это странное объяснение, основанное на таком непрочном различии, ежеминутно подвергалось опасности быть опровергнутым то с одной стороны, то с другой! Так, отстаивая человеческое происхождение поэтической формы, автор вместе с тем признавал основательность того воззрения, что даже каждое слово Библии истекает из Откровения; в другом месте он утверждал, что поэтический элемент не составляет существенной принадлежности Откровения, и потому скептик легко мог впасть в ошибочное мнение, что даже содержание священных книг было продуктом пылкой фантазии².

Однако мы взвели бы на автора незаслуженное обвинение, если бы заподозрили его самого в таком скептицизме на основании прекрасно изложенного им в «Отрывочных заметках» рассуждения о неразрывной связи между мыслями и их выражением или если бы мы усмотрели в установленном им схоластическом различии не более как лицемерное желание приноровиться к чужим теологическим предрассудкам. Ему как автору истории поэзии приходилось считаться не только с теологией своих читателей, но, без сомнения, и со своей собственной. Как бы то ни было, но он решился во что бы то ни стало отстаивать свое чисто

¹ Сравн. предисловие к LB. I, 3, с. XXVI и сл.; для сделанных там указаний остается ожидать подтверждения или исправления от издаваемого Суфаном полного собрания сочинений Гердера.

² LB. I, 3, а, 115, 117, 123.

человеческое воззрение, свое право рассматривать библейскую поэзию с точек зрения поэтической и филологической. Он, бесспорно, верил в божественность библейского содержания, но в то же время с полной уверенностью и решительностью настаивал на различии между содержанием и формой. В качестве человека, изучавшего историю поэзии, он присваивал себе безусловное право не стесняться никакими богословскими соображениями и смотреть на библейские рассказы с той точки зрения, что они были написаны под влиянием современного поэтического склада фантазии и ума¹. Он не отвергает Откровения, но считает позволительным и необходимым для своей цели вовсе не принимать его в соображение. Библия божественна — так формулирует он свою точку зрения, — но так как ее слова придуманы для человеческой души и, стало быть, по-человечески, то излагать ее следует по-человечески, а «вопроса о внушении Божиим вовсе не следует касаться при объяснении священных книг. Для меня все равно, Бог говорил устами Моисея или говорил сам Моисей: я слушаю только Моисея, а в остальное я верю»².

Дело в том, что Гердер, таким образом, окончательно перешел на почву той стремившейся к обновлению теологии, которая с половины XVIII столетия положила конец бесплодным и произвольным толкованиям церковного учения и для которой служили руководителями Землер, Михаэлис и Эрнести³. Старинную ортодоксию уже давно смягчил пиетизм; в то же время ее направили на новый путь идеи и доказательства Вольфовой философии; наконец, не опиравшийся ни на какую прочную основу человеческий рассудок упростил и разжидил ее содержание под влиянием английского деизма; тогда те нововводители дали ей новое направление, которое обещало сделаться опорой и спасением для утратившего свое влияние учения о вере и в то же время переносило это учение на новую почву, совершенно открытую для самых свободных исследований. Тогда снова стали изучать первоначальные источники, экзегетику и историю, а философию отодвинули на задний план. Догматику стали переделывать и исправлять, придерживаясь основ критико-экзегетической и исторической. При помощи всех средств, какие может до-

¹ LB. I, 3, a, 179.

² Замечания, собранные в LB. I, 3, a, 363 под заглавием: «Замечания о том, как поступают теологи при объяснении Библии».

³ Для того, что следует, я пользовался историей протестантской теологии Дорнера, 4-м томом истории протестантской догматики Гасса и историей рационализма Франка (3-я часть ист. прот. теол.). Можно сравнить и то, что говорится в сочинении Вернера «Гердер как теолог» (гл. 1).

ставить изучение филологии и истории, Михаэлис и Эрнести старались в своих сочинениях объяснять Старый и Новый Завет как человеческое произведение. Это новое направление было связано со старым тонкой нитью — благодаря оставшемуся на заднем плане понятию об Откровении; тогда еще не предвидели всех последствий, которые могли истекать из новой точки зрения; тогда еще уважали с большим или меньшим простодушием то, что непонятно, пока это непонятное не выдвинулось на первый план или пока оно не вызвало возражений вследствие усиленного старания схоластиков и философов сделать его понятным. Но Землер зашел еще дальше. Он стал применять новый принцип хотя без всякой методы и последовательности, но с достойной удивления энергией; он перенес критические исследования с коренных основ христианского учения на историю церкви и догматов, а против шаткости изменчивых теологических формул стал искать опоры во внутренних достоинствах нравственно-религиозных верований, которые независимы от тех формул.

Как Землер, так и Михаэлис выработали свои свободные воззрения, исходя из точки зрения пиетизма и ортодоксии. Таким же путем шел и Гердер. Несмотря на то что он с ранних пор стал усматривать лицемерие в церковном благочестии Трешо, а под влиянием лекций Канта убедился в негодности философски оформленной догматики, все-таки он еще долго был привязан своей фантазией и своей впечатлительностью к тем понятиям и метафорам, которые выражались в догматах. Он хвалил Клопштока как поэта за его благочестивые чувства; по примеру этого благочестивого стихотворца, он сам прибегал в своих одах и литургических стихотворениях к христианской мифологии и к способу выражения пиетистов¹. Однако рука об руку с улучшением его вкуса подвигалось вперед и развитие его богословских воззрений — благодаря своему здравому смыслу и понятию о постепенности исторического развития он еще в конце своего пребывания в университете решительно высказывался в пользу новой антидогматической теологии, в пользу свободной критики. Его богословская точка зрения прикрывалась той «гуманной философией», приверженцем которой он себя открыто признавал, и тем литературно-историческим способом мышления, посредством которого он старался проследить у различных народов и в различные времена самые разнообразные проявления человеческих

¹ Das Marterlamm liebegebraten am Kreuz и т. п.; сравн. в его речи, произнесенной в воспоминание о г-же Цукербекер: «В одежде, окрашенной кровью агнца» (LB. I, 2, 175).

мыслей и чувствований, для того чтобы отыскать ключ к «истории человеческого ума».

Самое красноречивое и самое ясное доказательство той новой точки зрения, на которую стал юный теолог еще в начале своего пребывания в Риге, мы находим в небольшом сочинении, выпущенном в свет на Пасху 1766 г., ранее «Отрывочных замечаний», без подписи его имени и без указания, где было напечатано. Оно было написано по поводу только что вышедшего из печати также без подписи автора сочинения ученого курляндского проповедника Г. Ф. Штендера под заглавием «Основанное на Священном Писании и на разуме объяснение учения о Святой Троице». Это сочинение, очевидно, возбудило и в Гердере желание изложить и его собственную критическую точку зрения. Он, по всему вероятно, сначала намеревался написать только рецензию новой книги для Кёнигсбергской газеты. Но именно в то время он прервал сношения с редакциями газет и после напечатания рецензии кантовских «Грез духовидца» перестал писать журнальные статьи. Нет ничего невозможного и в том, что рецензия богословского содержания показалась ему слишком пространной; как бы то ни было, но он собрал в одно целое исписанные листы, носившие отпечаток своего происхождения и своего первоначального назначения в сжатой и отрывочной форме изложения, и, дав им заглавие «Извещение о новом объяснении Святой Троицы», передал их для напечатания Гарткноху, всегда искавшему случая издать что-нибудь новое¹.

Статья Штендера была верным образчиком таких произвольных объяснений Священного Писания, у которых нет никакой другой основы кроме какого-нибудь вымысла или какой-нибудь гипотезы и которые прикрывают отсутствие научных сведений добрым намерением обращать неверующих, язычников, иудеев и деистов на путь истины. Ссылаясь на Михаэлиса, Землера и Эрнести, последователь новой критической теологии противопоставляет этим неправильным толкованиям те, которые объясняют нам, что «действительно значит то или другое место в Библии и, стало быть, как должны мы его понимать, сообразуясь с намерением священных писателей, с их способами выражения, с их временем и с теми случайными усилиями, при которых они писались. Гердер заявляет, что этот новый путь, на который в то время с успехом вступила теология, есть единственный правильный. Он

¹ Теперь эта статья напечатана в SWS I, 28 и сл.; сравн. статью Суфана «Первое теологическое сочинение Гердера» в «Zeitschrift für deutsche Philologie» (VI, 165).

говорит: «Когда Михаэлис черпает сведения из истории еврейского языка, а Землер из истории языков эллинского происхождения и из истории церковного языка; когда Эрнести с опытностью филолога сравнивает произведения писателей духовных и светских, старые истины и новые гипотезы, проверяя одни другими, то они придерживаются именно той методы, по которой следует изучать религию». Затем, рассматривая сочинение Штендера в подробностях, Гердер указывает на произвольность умозаключений автора, на то, что его суждения об учении о Святой Троице не новы и не убедительны, что им недостает философической определенности и что, несмотря на свои «ортодоксальные румяны», они вовсе не сходятся с настоящим учением церкви. Но нельзя сказать, чтобы заключение этого небольшого сочинения отличалось ясностью. Здесь автор устанавливает различие между церковным способом толкования священных книг, историческим и философским и требует от научной теологии соединения этих трех способов. Но в то время, как он устанавливает различие между тремя способами толкования, они сами собой сливаются вместе. Причина этого заключается главным образом в том, что Гердер снова рекомендует историко-грамматический путь для уразумения смысла библейских выражений и что от сравнительной истории религий, от этой важной составной части «истории человеческого рассудка», он ожидает содействия к более глубокому философскому объяснению библейского учения. Эта теолого-экзегетическая программа, очевидно, имеет сходство с эстетико-литературно-исторической программой «Отрывочных заметок». Гердер требовал от того, кто хочет писать историю поэзии, чтобы он был философическим «прорицателем», знатоком духа наций; и от того, кто берется объяснять Священное Писание, он требовал историко-философского гения, соединенного с «дарованиями истолкователя».

Но и в более старых произведениях Гердера, и в тех, которыми он был занят в описываемую нами эпоху его жизни, он держался все одной и той же точки зрения. Еще в написанной в 1765 г. (SWS. I, 89) газетной рецензии одного сочинения о Песни песней он отвергал мистически-назидательные толкования автора и требовал толкований объективных, основанных на знакомстве с восточными вкусами. В другой рецензии, написанной на перевод Даммом Нового Завета (SWS. I, 93), Гердер говорит, что не находит в этом переводе ни «даровитых толкований», ни соблюдения правил герменевтики, ни того умения проникать взором критики «во времена апостольские, которым отличаются Бенсон, Пирс, Михаэлис и Землер». В статье о том, как сделать философию

полезной, Гердер в том же духе нападает и на неуместное введение философских истин в сферу религии, и на старый аристотелевский догматический метод, которым «начали пользоваться с трусливой решимостью только двое или трое из наших теологов-философов», и на новейшую модную философию Крузиуса, которая, наоборот, переносит из теологии постулаты в главные основы метафизики; зато Гердер хвалит английских писателей и нескольких немецких теологов за их старание «распространить философский дух и на библейские истины». Наконец, критико-историческое воззрение на Библию лежит в основе всей главы «Отрывочных заметок», в которой идет речь о подражании восточным писателям. Когда там заходит речь о ветхозаветных ангелах и херувимах, наш критик без всяких обиняков относит эти существа к еврейской мифологии; христианская религия совершенно затмевает у него иудейскую религию, насквозь пропитанную национальным отпечатком, и он, ничем не стесняясь, утверждает, что в Псалмах большей частью шла речь о тогдашнем положении иудейского народа и потому «они могут иметь сколько-нибудь духовное значение только благодаря назидательным из них выводам».

Самое либеральное воззрение на догматы, натурально, было неизбежным последствием такой критико-исторической точки зрения. Это было бы всего яснее видно, если бы Гердер исполнил свое намерение написать памятную записку о Гейльмане. В ту пору Гердер всего ближе сходил в мнениях с Гейльманом и в особенности со Шпальдингом, который был последователем английской теологии, переводчиком сочинений Шефтсбери, красноречивым проповедником и писателем, умевшим очень удачно соединять самое искреннее благочестие и самое тонкое нравственное чутье со здравомыслием, не допускавшим никаких мистических и спекулятивных увлечений. Гердер обнаруживал свой собственный образ мыслей, когда говорил в похвалу автора «Мыслей о значении чувств в христианстве», что ему, быть может, удастся «внести в теологию такую мысль, которая, не имея ничего общего ни с деизмом, ни с вольнодумством, не была бы похожа и на такую формулу, которая повторяется слово в слово, как молитва»¹. Вследствие такого положения промеж двух крайних партий, Гердер стал защищать деистов против не допускав-

¹ Отрывочные заметки. I, 153; сравн. другие ссылки на Шпальдинга в «Отрывочных заметках» (III, 33, 279, 310); письмо к Гаману (LB. I, 2, 149); выдержку из Шпальдингова определения человека (LB. I, 3, а, 353; Там же. 363). Только впоследствии — в том письме к Мендельсону, о котором речь впереди, — он возражает против приводимых Шпальдингом доказательств бессмертия.

шей никакой критики нетерпимости какого-нибудь Триниуса и против фанатизма какого-нибудь Трешо; однако он стал насмехаться над бедностью деистических верований на таком же основании, на каком он защищал изобилие красивых выражений в языке против тех, кто хотел философски улучшать язык — на каком он всячески вступался за то, что чувственно, против того, что отвлеченно, на каком он отстаивал права поэзии против ясной, разумной прозы. Занимая такое срединное положение, он все-таки считает себя вправе называться приверженцем ортодоксии, а с другой стороны, не желает ничего лучшего, как сделаться «настоящим свободным мыслителем»¹. Таким свободномыслящим приверженцем ортодоксии он является в критическом разборе клопштоковской «Мессиады», когда порицает поэта за то, что в его изображении Спасителя слишком мало виден человеческий образ, за то, что он нуждается в присутствии дьявола для объяснения таких фактов, которые он мог бы объяснить свойствами человеческой души, и что о «страданиях Христа перед Господом» нельзя составить себе никакого определенного понятия². Но его рижские проповеди были всецело пропитаны таким свободомыслием, которое было основано на критико-историческом понимании Библии, отличалось задушевностью и удобопонятностью и оставляло далеко позади себя и старую ортодоксию, и пие-тизм. В этих проповедях он умышленно не касался самых таинственных частей христианского учения, не касался ни сотворения мира из ничего, ни конца мира, ни единства в трех лицах, ни заслуг Христа перед Господом и т. д.; он старался только внушать своим слушателям веру в человеческое предназначение и в будущее блаженство, вместе с тем укрепляя в них веру в бессмертие души и постоянно ссылаясь на Откровение Божие. Юный проповедник так выражал свой символ веры: «Бог указал нам наши обязанности и даровал нам наши познания; так как наша натура сделалась испорченной и несчастной, то он даровал нам, через посредство Икупителя Иисуса, возможность снова приобрести блаженство и Его Благодать; он оказал нам высокое божеское содействие, для того чтобы мы снова достигли первоначального величия нашей природы и нашли в ней блаженство». Это были мно-

¹ См. проповедь о Библии (SW., к теологии. X, 251); рецензию на первое прибавление Триниуса к его «Freidenker Lexikon» (SWS. I, 96, 97) и те места, где идет речь о деистах (LB. I, 3, а, 378 и 486).

² Отрывочные заметки. II, 246, 253, 255. — В ранее упомянутом плане «Мессиады» (с. 243, прим.) Гердер смотрит на историю Иисуса с обыкновенной человеческой точки зрения.

гозначительные выражения, намеренно подысканные так, чтобы они как можно ближе подходили к догматическим выражениям и чтобы с помощью их было легче запечатлеть в сердцах слушателей нравственный смысл и цель христианского учения. Понятие об искуплении Гердер объяснял с чисто этической точки зрения, понятие о божеском Откровении с чисто человеческой точки зрения, так что проглядывавший из его проповедей луч святости очень скоро исчезал из глаз. Молитва, говорит он, есть «средство улучшать себя нравственно и облагораживать свою душу». Святой Дух действует в нас только путем наших собственных мыслей и путем нравственного убеждения. Священные писатели мыслили хотя и «под ближайшим руководством Божиим», но в зависимости от условий своего времени и своего отечества, поэтому так и следует объяснять то, что они писали. Даже Иисус находился в зависимости от образования своего времени и своего народа и потому сообразовался с данными условиями, «основывая свою столь безыскусственную и нравственную религию». Он был человек, друг и брат людей и образец для всех нас по своему «высокому характеру». С духом этих проповедей вполне согласовался и тот план, который был изложен Гердером в его путевых записках для религиозного преподавания в задуманной им идеальной школе. Катехизис Лютера должен был служить основой для этого преподавания, но его следовало объяснять так, чтобы он сделался «источником обязанностей и человеческих познаний». На более высокой степени образования Гердер требует прагматически-исторического объяснения Библии и вместе с тем изложения такой догматики, которая «не была бы ни сборником библейских изречений, ни схоластической системой». Но если на этой ступени религиозное преподавание «вполне основано на филологии таких людей, как Михаэлис и Эрнести», то оно приведет к системе, «основанной на философии Реймаруса» и очищенной от бесполезных тайн и неясностей — от всех тех теорий, которые могут сделаться нравственно вредными, подобно теории о бесполезности добрых дел. Старую догматику следует заменить новой, а старый катехизис «катехизисом христианского человечества, написанным для нашего времени»¹.

Кто стал на такую точку зрения, тот едва ли может сделать еще шаг вперед, не отрешившись окончательно от христианских верований. Гердера отделяла от чистого деизма лишь узкая межа, которая, однако, была твердой преградой. Глубокое пони-

¹ LB. II, 200, 210, 216, 304.

мание религии и горячее искреннее чувство облагораживали ту мораль, которая составляла главную сущность его верований: отзывчивость на все, что касалось человечности, и совершенно своеобразная способность к поэтическим воззрениям придавали положительный характер его критико-историческим основным идеям. Если бы Гердер отложил в сторону лишь немногие из тех элементов, из которых составила его точка зрения, если бы он дал еще немного больше простора своим чувствам и своей фантазии, то он мог бы сделаться в его собственных глазах неверующим, мог бы сказать, что во время своего пребывания в Риге был «религиозным вольнодумцем»¹.

В то время как, живя в Бюкебурге, он был погружен в мистические верования, он превратился из панегириста Шпальдинга и Михаэлиса в противника их обоих. Именно в то время он отказался в «Провинциальных листках» от той точки зрения, которой придерживался в своих рижских проповедях; именно в то время он затемнил в своем «Древнейшем документе человеческого рода» свои свободные критические воззрения на Старый Завет. Напротив того, в то время как он вольнодумствовал, он написал «Археологию евреев». Его проповеди объясняли его тогдашнее чисто этическое воззрение на христианское учение, а его статьи об археологии стояли на одной высоте с его критико-историческим воззрением на Библию. В этих статьях не видно ни трусливого старания отличать форму священных книг от их содержания, ни старания оправдаться в уклонениях от богословского учения об Откровении. Поэтическое воззрение на древнейшую поэзию евреев становится совершенно наряду с воззрениями на поэзию Орфея или Гесиода. Оно совершенно устраняет воззрения богословские. Гердер смотрел и на книги Моисея только с эстетической точки зрения, а на древнейшие документы иудейско-христианской религии только с точки зрения строго исторической. Ведь история поэзии составляет, по его мнению, одну отрасль «истории человеческого ума», а история религии и философии — другую отрасль.

Действительно отрывок статьи «О различных религиях»² почти так же стар, как и «Очерк истории поэзии». Из него ясно видно, что для кантовского ученика, не понимавшего метафизики и ее доводов, историческое воззрение заменило утраченные догматические убеждения и послужило дополнением к практически популярной «Фи-

¹ Письмо к Мерку в первом вагнеровском сборнике писем (с. 35, 36).

² Он напечатан в LB. I, 3, а, 376 и сл. Что этот отрывок был написан так давно, видно из того, что он окрашен мнениями Руссо и что он сходен по направлению со статьей о том, как сделать философию полезной.

лософии человека и гражданина», подобно тому как Кант мало-помалу заменил те убеждения своей трансцендентальной критикой.

В этом отрывке говорится, что все философские положения, возникавшие при перемене систем мышления, не могут быть названы ни истинными, ни ложными, — это были человеческие мнения, продукты человеческой души. Вместо того чтобы опровергать ошибочные мнения, гораздо более необходимо объяснять, как могли они возникнуть: «Заблуждение есть самое важное из всех явлений и тем более важно, что оно произошло в духе моей натуры и я должен знать, откуда оно произошло». Философии еще недостает такой «разумной истории мнений», а нашей натуральной теологии также недостает «истории религий». Вместо того чтобы спорить с деистом о большем или меньшем числе будто бы вполне достоверных истин умозрительного содержания, более полезно изучить сферу деятельности здравого смысла, народного ума и выросшие на этой почве религиозные мнения. Ведь различные религии суть продукты национального склада ума как по своим метафизическим составным частям, так и по своим составным частям нравственным и богослужебным; все они человеческие и натуральные произведения, все они главным образом «явления натуральные». Самые несложные и самые древние религии — самые поучительные; они более всех других «разоблачают человеческую душу». Мы невольно вспоминаем роман о различных возрастах языка, когда Гердер далее говорит, что в религию, первоначально возникшую из чисто физических мотивов, проникает, на второй ступени ее развития, политический элемент; на ее третьей ступени развития ею овладевает поэт, и наконец за нее берется ученый систематик. Мысль о такой истории религии кажется ему настолько важной, что он сам охотно занялся бы этим дополнением к истории поэзии. Он «горячо желает, чтобы у него когда-нибудь достало и хладнокровия, и рвения на то, чтобы написать такую историю».

По меньшей мере в прелюдиях к такой работе не было недостатка. Подобно тому как для истории поэзии Гердер заложил фундамент в статье об оде и в статье о происхождении песни, и для истории религий он заложил фундамент в своих размышлениях о происхождении религии. А подобно тому как там служил для него руководителем Гаман, здесь он шел по стопам Юма¹. Он разделяет мнение Юма, что не благодарность, как иные утверждают,

¹ Сравн. отрывок о возникновении и распространении первых религиозных понятий (LB. I, 3, а, 382 и сл.). Извлечение из «Натуральной религии» Юма, помеченное 1—3 августа 1766 г., напечатано в LB. I, 3, а, 367 и сл.

а боязнь была матерью религий, что самая древняя религия состояла из суеверного поклонения причиняющим вред и оказывающим помощь богам, гнев которых люди старались смягчить и благосклонность которых старались снискать посредством молитв, жертвоприношений и исполнения обрядов¹. Останавливаясь на этой первой стадии развития религий и имея в виду преимущественно греков, Гердер объяснял в своем «Очерке истории поэзии», что те молитвы необходимо должны были превратиться в песни и что первые продукты поэзии именно по этой причине были торжественными воззваниями к богам, такими песнями, которые пелись с целью умиловить богов и очистить страну, ὕμνοι и ᾠδαί. Впрочем, относительно иудейской нации автор считает нужным допустить до некоторой степени исключение. Так как у этого народа «натуральные потребности постоянно удовлетворялись по божескому указанию», то весьма возможно, что там поэзия началась с исторических песен, с пастушеских песен и с благодарственных псалмов. Однако позже написанный отрывок статьи «о возникновении и распространении первых религиозных понятий» не находит нужным допускать такое исключение. Откладывая в сторону богословскую точку зрения о руководительстве свыше, Гердер переходит здесь к следующей ступени религиозного развития. Когда люди, говорит он, стали мало-помалу выходить из своего бедственного положения и заглушать в себе суеверный страх, когда они, несколько ближе познакомившись с натурой вещей, отпраздновали первый день отдохновения, который был чем-то вроде праздника для их ума, тогда, натурально, возник менее тревожный вопрос о происхождении вещей, тогда люди пожелали иметь теорию происхождения мира и человека, философию о добре и зле, генеалогию и историю своих предков, иными словами, то, что называется первоначальными сведениями — *origines*; таким образом, «вслед за первоначальной грубой религией, которая почти на всех языках называлась словом, происходившим от слова „страх“, возникло нечто вроде историко-физической философии». Ее главным источником были предания. Ответы на вопрос о происхождении вещей облекались в форму мифов. Эти древнейшие сказания, натурально, носили национальный и местный отпечаток; они облекались в фигурные, символические выражения, и подобно тем первым молитвам, которые были вызваны физическими лишениями и страхом, они также превращались

¹ Очерк истории поэзии (LB. I, 3, а, 131) и возникновения и т. д. (Там же. 382 и сл.).

в поэтические произведения с удобным для запоминания ритмическим размером. Поэтому Гердер полагает, что для изучения человеческого ума и сердца и для истории человечества было бы неоценимым пособием, если бы кто-нибудь описал дух этих мифологических произведений, подобно тому как Монтескье описал дух законов, и если бы кто-нибудь составил философическую историю того поэтического времени.

Положить начало для такой истории и наполнить один из самых важных ее отделов — вот та мысль, с которой была написана «Археология евреев». Ведь если у каждого из древних народов существовали такие мифологические национальные песни, то те, которые существовали у евреев, более всех других достойны нашего внимания. Оттого-то Гердер и приступает к их изучению и объяснению. К этой цели ведут и его исследования о древнейшей истории поэзии и его исследования о древнейшей истории религии. Он совершенно отодвигает на задний план тот теологический предрассудок, который до того времени постоянно стеснял его и сбивал с настоящего пути, — т. е. учение об Откровении. В первых главах первой книги Моисея он видит религиозное поэтическое произведение или, вернее, целый ряд поэтических произведений в религиозном тоне. Он хочет объяснить эти произведения с поэтической точки зрения, устраняя всякую другую точку зрения как вовсе не подходящую; он старается понять эти древние продукты религиозно-национального поэтического творчества в их первоначальном духе и смысле, хочет вдуматься в их содержание так же, как прежде вдумывался в содержание од Пиндара или Горация, поэм Гомера или отрывков из песнопений Орфея; он хочет прочесть их так, что как будто читает их в первый раз, хочет прослушать их так, что как будто слушает их в первый раз — с вполне беспристрастным сердцем и с умом, свободным от всяких предрассудков.

Прежде всего он делает в беглом очерке обзор первых одиннадцати глав Книги Бытия; более подробно он рассматривает первую главу — «Песнь о сотворении вещей»¹.

И с каким пылким красноречием старается он объяснить нам внутренний смысл этого произведения и перенести нас в сферу тогдашней жизни! «Я беру, — говорит он, — юношу, который любит созерцать природу, и веду его за несколько тысячелетий назад в среду первобытных обитателей Востока». И любовь к природе, и способность к поэтическому созерцанию, и фанта-

¹ LB. I, 3, а, 393 и сл. и 416 и сл.

зию он неумолимо возбуждает и в самом себе, и в читателях, для которых пишет или, вернее, с которыми он беседует и которым делает намеки и указания. И здесь мы снова слышим старый припев: чтобы живо понимать то или другое, надо превратиться в восточного жителя, надо освоиться с поэтическим естествословием, со складом ума восточных жителей! Первое средство настроить себя на один тон с поэтическим произведением заключается в том, что текст свободно и верно переводится на немецкий язык тем способом, который был указан в «Отрывочных заметках»; затем автор пробует еще с большей свободой изложить ход мироздания в стихотворной форме, которую можно назвать подражательной в лучшем смысле этого слова¹. Но наряду с переводом идут объяснения со ссылками на другие места Библии, которые Гердер так же поэтически воспроизводит с целью совершенно перенести нас в сферу восточных понятий, приводя однородные описания природы у Иова и в Псалмах. Однако, в то время как он дает нам объективное объяснение Библии при помощи самой Библии и держит нас в сфере чужеземных понятий, он не находит излишним освещать старинные поэтические рассказы посредством их сопоставления с произведениями новейших поэтов. Следя за «потокотом поэтических изображений», он указывает, как эти изображения отражались в произведениях Оссиана и Шекспира, Клопштока, Галлера и Клейста.

Но в его способе изложения, иногда переходящем в декламации, иногда напоминающем церковные проповеди, есть что-то утомительное. Нам становится неприятно, когда нас беспрестанно толкают то на одну, то на другую дорогу; мы охотно дозволяем настроить наши чувства на известный тон и дать нашим суждениям известное направление, но нам становится невыносимо, когда у нас отнимают всякую свободу. Да и по своей натуре этот способ объяснения тем менее удовлетворителен, чем он более щедр на слова. Ведя полемику с Клотцем, Гердер настоятельно указывал на то, что очень трудно понимать Гомера во всех особенностях его греческой натуры. Эта трудность понимать чужеземного писателя увеличилась в его глазах, когда он стал заниматься еврейской поэзией. Он нередко прерывает свои объяснения, для того чтобы выразить сознание, что нелегко «передать национальное произведение во всей его жизненной силе», что «нелегко читать такое произведение с полным сочувствием восточного жителя». «Мой голос, — восклицает он, — слишком

¹ См. стихотворение «Песнь о сотворении мира» (LB. I, 2, 398).

слаб, для того чтобы комментировать такое священное песнопение»; а далее он говорит: «Горе тому, кто будет читать такое песнопение по складам!» Тем не менее он не перестает ни комментировать его, ни читать по складам. Это утомляет нас, но мы воздерживаемся от порицаний. Ведь нельзя позабывать, что он первый затронул эту струну, что он сделался для еврейской поэзии новым Винкельманом и прежде всех воскресил тот поэтический дух Библии, который был сокрыт от глаз современников туманом теологии догматических толкований и который в течение многих столетий никем не был замечен, оттого что «тон Библии как будто притупил человеческие нервы».

Вот почему хорошая обратная сторона положительных объяснений Гердера заключается в том, что он решительно и безусловно устранил всякие чудесные толкования пристрастных теологов. Прежде всего он отверг «тот вредный предрассудок, что так называемый Моисей был величайший из естествослов». Этот предрассудок привел к тому, что каждый век, каждая нация, каждая школа, каждый своеобразно мыслящий человек старались приспособлять свою собственную систему физики к тому произведению Моисея, которое «не что иное, как восточное поэтическое произведение, построенное на внешних чувственных впечатлениях и вообще на ложных мнениях и народных понятиях того времени!» Точно так же неверны способы объяснения догматический и мистический. «Неужели, — с горячностью замечает Гердер, — тот, кто не лишен здравого смысла и добросовестности, может рассматривать с догматической точки зрения такое поэтическое произведение, которое было древним национальным и популярным произведением Востока?» Он убедительно доказывает, что такой способ объяснения нелеп, безрассуден и вреден. Касательно его нелепости и безрассудства, Гердер говорит, что такой догматический способ объяснения «отвергает все требования здравого смысла, вкуса и фантазии, нарушает границы между самыми разнородными душевными силами, извращает созерцательную способность человека и его рассудок и смешивает все виды наук и познаний. Догматика делается поэзией, а поэзия... делается, по прошествии нескольких столетий после рождения Христа, бессвязным содержанием догматов». Касательно вреда догматических объяснений Гердер говорит, что они «с детства наполняют человеческий ум нелепыми понятиями и впервые наводят его на такие бессмыслицы, при которых он воображает, что мыслит. Они-то подарили нам теологическую философию, с обманчивым блеском вплетающую в самые важные исследова-

ния те ложные понятия, которых иначе никогда бы не допустила философия. Наконец, они-то так часто заготовляли цепи и кинжалы или по меньшей мере горячие обвинения и преследования против настоящих естествоиспытателей, если физика этих последних не согласовалась с физикой Моисея в то время, как они объясняли нам чудеса мироздания». Этот способ объяснения, кроме того, непоследователен и лжив. Если следует объяснять Библию с догматической точки зрения, то следует всю ее объяснять таким способом! «Догматик не должен прибегать к оптическим и антропатическим уверткам всегда, когда ему вздумается и когда он не находит другого способа выйти из затруднения; он не должен прибегать к странным догматическим натяжкам, если надеется выйти с помощью их из затруднения». И все, что далее говорит Гердер о лживом объяснении Библии, отзывается или горячим желанием отстоять истину или едкой насмешливостью.

Нельзя не отдать справедливости этому разумному рвению! Даже Лессинг не нападал более резко, чем юный Гердер, на нарушение границ, отделяющих философию от догматических предрассудков, на новомодную бессмысленную теологию, на увертки и двусмысленные выражения тех, кто объяснял Священное Писание. Кроме того, Гердер не только опровергал одно заблуждение другим, но в то же время объяснял их причину; он мог это делать, потому что имел в своем распоряжении бесспорно верный способ доискаться истины. Он вполне сознает, что прежде всех серьезно развил лишь мимоходом высказанную другими писателями мысль, что первые главы Библии — поэзия. Он вполне убежден, что только его толкование согласно с «духом самого произведения, с духом языка, нации и страны» и что, когда оно будет прочно установлено, оно откроет глаза всякому беспристрастному человеку. Таким образом он соединяет твердость убеждения с бодростью нововводителя и, смело высказывая свои мнения, возвышается до роли реформатора. Он бросает за борт все жалкие увертки, к которым прежде прибегали приверженцы теологического понятия об откровении. Но он ведет горячую полемику в защиту того мнения, что Бог ниспослал откровение о физических и метафизических истинах иным путем, а именно через посредство дарованной им человеческому уму способности самостоятельно все глубже и глубже проникать в тайны мироздания. «Человеческий ум, отблеск божества! — восклицает он, — ты ниспослал мне откровение о философии! Вы Ньютоны и Лейбницы — благовестники, посланные божеством к человеческому роду; вас я должен слушать, изучать и принимать за руководите-

лей при отыскивании путей Божиих!.. Хотя я и должен сознаться, что наша философия и наше естествознание все еще представляют клетчатую постройку из второстепенных понятий и что они никогда не могут сделаться чем-либо другим, но в этом здании заключается для нас все!» А как он гневно и горячо нападает на «невежественную жестокость» тех, кто старается согласовать успехи естествознания, его открытия или гипотезы с мнимой непогрешимостью этой моисеевской истории сотворения мира — кто старается представить эти успехи в ложном виде или даже создать непреодолимые для них препятствия! Далее он пишет: «Когда такая ярость проистекает только из грязи заблуждений, умственной непоследовательности и невежества, тогда следует вступить с ней в борьбу и подавить ее!» Именно так он решился действовать. Он с гордостью сознает, к чему обязывает то, что он живет в веке достигшего возмужалости рассудка, в веке просвещения. «Я обязан, — заявляет он, — написать льготную грамоту для человеческого рассудка!»

Но эта льготная грамота получает свой окончательный отпечаток только после того, как Гердер вполне объяснил смысл той песни о мироздании, о которой здесь идет речь. Мы уже видели, как он следил за потоком заключающихся в той песне картинных описаний; теперь он объясняет, в чем заключался план всего произведения. По своему содержанию, говорит он, эта песнь была историей сотворения мира, по своей форме она была песнью напоминания — ее целью было установление и освящение субботнего дня. Эта песнь напоминала об установленном обыкновении работать в течение шести дней, а в седьмой день отдыхать.

Стараясь доказать основательность этого мнения, автор не обходится без некоторых смелых положений, без некоторых вымыслов, которые его пылкая фантазия выдает за факты. Основой для его выводов служит его теория о происхождении и свойствах древнейшей поэзии — то уже хорошо нам знакомое положение, что поэзия есть природный язык человеческого рода или, как здесь выражено это положение, что «поэзия живет во всем человеческом роде и что все душевные движения выражаются поэтически». Лишь только люди, говорит он, сколько-нибудь познакомились с искусствами и с умением приводить свои идеи в порядок и достигли некоторой степени развития, тогда отрывочные описания и выражения чувств превратились при содействии музыки в настоящую поэзию. Ближайшим дополнением этой внутренней связи были уподобления. Лоу указал на такие уподобления в еврейской поэзии, но неосновательно относил их

к антифонам, которые пелись хором в храме. По мнению Гердера, уподобления свойственны зачаткам поэзии: всякая старинная безыскусственная поэзия дикого народа любит этот ритм на два голоса. К тому же древнейшая поэзия возникла ради удобств запоминания, а эта цель всего лучше достигалась при помощи того симметричного повторения. Затем, опираясь на понятие о таком уподоблении ради напоминания — понятие лишь наполовину верное и во всяком случае не вполне выясненное, — фантастический взор Гердера усматривает в той песне о сотворении мира слишком много уподоблений и слишком много старания усовершенствовать память. С ним случилось то же, что случается со всяким, когда фантазия видит в очертаниях облаков или в группах звезд полные значения фигуры. Он находит, что задачи всех семи дней распределены в самой удобной симметрии и что задача каждого дня обозначена выдающейся метафорой. Он находит, что те три главных дня, которые отведены для создания света и солнца и для субботы, составляют блестящее священное средоточие мироздания и находятся в тесной между собой связи, а остальные четыре менее важных дня распределены между теми тремя днями. Он решается обрисовать фигуру в помощь памяти, служащую основой для всей песни, а именно шестиугольник — «самое просторное вместилище восточных песен». Он находит, что по структуре как целого, так и составных частей, эта песнь есть «мнемонический гиероглиф» — «полное жизни искусство усовершенствовать память!» Наконец, в связи с этим он касается и вопроса, мог ли Моисей быть автором песни. Стараясь доказать, что песнь была сочинена до Моисея, он не достигает своей цели, потому что ссылается только на этот мнемонически-иероглифический характер в противоположность декалогу, в котором вовсе не заметно такого же старания усовершенствовать память. Впрочем, Гердер прибавляет к этому указание на проглядывающие в имени Элоима следы политеизма и вообще на дух песни, которой еще не было знакомо позднейшее назначение субботнего дня служить напоминанием об исходе из Египта. В заключение Гердер с замечательной смелостью утверждает, что признаки употребления той песни задолго до Моисея встречаются в религиозных идеях других народов, как например персов.

В общем итоге оказывается, что уже в то время Гердер приплетал к верным основным идеям множество опрометчивых суждений. Не говоря уже о его необузданной склонности к симметрическим построениям, его главный недостаток заключался в старании предугадывать историческую связь явлений и, не-

смотря на мрак, покрывавший в то время религиозные понятия Востока гораздо гуще, чем в наше время, отыскивать или даже положительно усматривать влияние наших священных книг на те понятия. Увлекаясь смелой и широкой мыслью написать «историю человеческого ума», он питает надежду, что «в сходстве или несходстве народов по происхождению можно отыскать путь для уяснения, каким образом идеи этого древнейшего документа затемнились или извратились». Опираясь на несколько ненадежных указаний, он доходит до той «случайной мысли», что песнь о сотворении мира была «утренней песнью магов в семи хорах»; «ему хотелось бы считать песнь об искушении (Быт. 3) за вечернюю песнь магов»¹. В другом месте он увлекается мыслью, что продолжительная жизнь наших предков, от которых исходят первые зачатки умственного развития человеческого рода, была необходима для того, чтобы эти зачатки могли пустить более глубокие корни; он убеждает сам себя, что этот удивительный факт был последствием отеческой заботливости Божией; поэтическая сторона этой мысли очаровывает его ум до того, что он утрачивает способность к критической проверке, и этот поэтический истолкователь древних религиозных сказаний и песен незаметно снова превращается в человека, верящего в чудеса. Нет ничего неправдоподобного в том, что статья Гердера об образе жизни и о долговечности патриархов² была написана не во время его пребывания в Риге; то же можно заметить и о его догадках касательно «утренней песни» и «вечерней песни»; впрочем, для нас достаточно и того, что здесь мы находим указания на первые шаги Гердера по тому пути, который привел его от «Археологии евреев» к «Древнейшему документу». Стремление указывать историческую связь явлений вовлекло его в несогласные с историческими фактами фантазии, а его полное жизни поэтическое воззрение на Библию перешло в мистицизм: постоянно разрастающиеся плеве- лы не выдерживавших критики гипотез стали все более и более заглушать здоровые зародыши его нового толкования Библии.

От песни о мироздании, от этого «древнейшего документа, появившегося на утренней заре времен», от этого «свидетельства о древнейшей, безыскусственной и еще вполне практической религии», Гердер переходит к истории всемирного потопа (Быт. 6, 1—8), все еще придерживаясь своего рационалистически-поэтического способа объяснений; и здесь он находит «восточный на-

¹ Жизнеописание. I, 3, а, 574 и сл. 578 и сл.; номера 27 и 28.

² Там же. 581 и сл., номер 29.

циональный образчик исторической поэзии», а неосновательное догматическое объяснение этого события он отвергает¹. Даже всю историю Моисея он обзревает с этой точки зрения. Соответственно с очерком касательно песен Книги Бытия, он пишет очерк касательно содержания следующих книг Моисеевых². Он не сомневается в том, что и эти книги исходят не от самого Моисея. Он полагает, что от Моисея исходят только материалы для составления этих книг — законы, учреждения и отдельные вставки, а все историческое было вставлено лишь в более позднюю пору из сохранившихся в преданиях остатков национальных рассказов, точно так же как были составлены греческие сказания о походе аргонавтов и о борьбе под стенами Трои. Поэтому история Моисея представляется ему «первой, самой древней, самой безыскусственной эпопеей, какую мы имеем». По аналогии с поэтическими произведениями Гомера он старается объяснять отдельные факты — правда, с некоторой нерешительностью — чем-то средним между точками зрения мифически-поэтической и рационалистико-натуральной, а вследствие сравнения древнейшего эпоса со всеми другими как древними, так и новыми эпопеями у него рождается намерение написать статью о сущности эпической поэзии.

Таким образом, Гердер, благодаря своей поэтически-исторической точке зрения, дошел в своей теологии до таких пределов, за которые было небезопасно переступать. Его смелые попытки мимоходом заглядывать в сферу метафизики могли еще более отдалить его от установленной веры. Чтобы сделать его скептицизм безвредным, не всегда было достаточно той гуманной философии, последователем которой он себя открыто признавал, не всегда было достаточно его отговорок, что он становится на историческую точку зрения. Его мечтательность, без которой он никак не мог обойтись, и его влечение к смелым сравнениям и к блестящим гипотезам иногда наводили его на такие мысли, которые были чисто еретическими, вовсе не согласными с теологией.

Он однажды высказал такую внезапную мысль, что так как все ясные идеи возникают из неясных, то и мысли могут возникать из движения материи³. Согласно с этой мыслью, он сделал лишь один вывод из основных начал лейбницевской философии — он связал эту мысль с идеализмом той философии и стал возводить тленную материю в понятия о несложных нематериальных существах — о Лейбницевых монадах, и вследствие того

¹ Там же. 587 и сл., номер 30.

² Там же. 611 и сл., номер 31.

³ См. заметки, собранные в «Жизнеописании» под № 18; LB. I, 3, а, 365.

объявил, что движение, сила, свет — также проявления очень неясно мыслящих монад. Но разве эта внезапная мысль не подходит очень близко к материализму или даже к пантеизму, так как она приводит к заключению, что всё должно быть «в сущности едино»? И разве такое воззрение могло найти для себя место в пределах христианской теологии?

Нашему богослову, церковному проповеднику и апостолу «гуманной философии» никакая мысль не казалась более важной, чем та, что наше человеческое назначение оставалось бы не полным без бессмертия души. Но и это учение представлялось ему в очень своеобразном, очень не схожем с христианским догматом, виде, когда он вдумывался в него, становясь на точку зрения Лейбница или на ту же точку зрения, видоизмененную под влиянием английского сенсуализма.

«Федон» Мендельсона вышел в свет и очень скоро разошелся во 2-м издании. С самым напряженным вниманием, «сердцем и душой» прочел Гердер книгу, которая была написана с целью подкрепить несомненными доказательствами важную истину бессмертия души. Но в произведении скептического философа он нашел мысли Платона¹. Он признается в письме к Николаи от 10 января 1769 г., что несколько раз намеревался сообщить автору свои сомнения. Свое главное сомнение он намеревался изложить в четвертом сократическом диалоге — в рецензии для «Allgemeine Deutsche Bibliothek», а вслед за тем пожелал бы получить ответ автора. А когда Николаи стал и от своего имени и от имени своего друга поощрять его к исполнению этого намерения предпочтительно в форме самостоятельного сочинения², то Гердер действительно приступил к изложению своих сомнений: он собрал их не в форму диалога или рецензии, а в форму частного письма к новому Сократу. Это письмо, написанное в течение последних недель пребывания Гердера в Риге, дошло до нас в рукописи; а ответ Мендельсона от 2 мая 1769 г. и возражение Гердера, помеченное из Парижа 1 декабря, дошли до нас в печати; поэтому мы имеем полную возможность сделать обзор сомнений нашего скептического философа³.

¹ Сравн. Торс. С. 6, 7.

² К Гердеру 11 апреля 1769 г. (LB. I, 2, 446).

³ Письмо Гердера в подлиннике хранится в Веймарской библиотеке; письмо Мендельсона было помещено сначала в «Neue Berliner Monatsschrift» (1810. Т. XXIV. С. 92 и сл.), а потом в полном собрании сочинений Мендельсона (V, 484 и сл.); ответ Гердера на это письмо помещен в LB. II, 108 и сл. На предложение Николаи (LB. I, 2, 449, 450, повторенное LB. II, 49) включить первое

Что человеческая душа как мыслящая субстанция неразрушима, в этом Гердер так же убежден, как и автор «Федона». Только один феномен — так выражается он, придерживаясь лейбницевской терминологии, — прекращается со смертью, а мыслящая субстанция остается. Но она не может существовать бестелесно. Всякая аргументация, основанная на понятии о чисто духовном совершенстве, никуда не годна. И в настоящем случае Гердер не допускает такой чистой духовности, которую он находил неуместной и в теории философского усовершенствователя языка, и в скудных идеях деистической метафизики, и в прежнем изложении эстетики. Понятие о душе, свободной от всяких чувственных впечатлений, есть ошибочное понятие; что одно развитие душевных способностей не может составлять нашего назначения, так же верно, как и то, что это развитие не есть блаженство. Мы созданы со смешанной натурой духовно-чувственными существами; поэтому если наши теперешние способности должны служить данными для определения нашей будущности, то они приводят нас к заключению, что мы снова будем такими же существами со смешанной натурой, каковы мы теперь. «В натуре всё остается тем, что есть: моя человеческая субстанция снова будет человеческим феноменом или — если мы употребим выражение Платона — моя душа снова приобретет для себя тело». Этому положению не противоречит тот довод, что постоянное развитие есть наше назначение, — потому что всякая сила развивается только до известной ступени и потом уступает свое место другой силе. Цель природы может заключаться только в том, чтобы сделать нас совершенными здесь в то время, как мы живем людьми, но не в том, чтобы мы приобрели такие совершенства, которые были бы совершенствами только вне здешнего мира. «Я не вижу, — пишет Гердер, — усовершенствования ни в людях ни в каких-либо других существах: я вижу смену одних другими, я вижу кругообразное течение, которое поглощает само себя, которое обратно вливается само в себя; а у вас поток течет в гору». Всё может быть только тем, что есть. Все круговые движения в мире получили бы иное направление, вся натура превратилась бы в хаос и Бог должен бы был постоянно оказывать чудотвор-

письмо Гердера вместе с ответом Мендельсона в новое (3-е) издание «Федона», Гердер, будучи неудовлетворен ответом философа к Гарткноху 15 авг. 1769 г., (LB. II, 40), отвечал 16 авг. 1769 г. (LB. II, 54) уклончиво, на том основании, что, «при отсутствии дальнейшего ответа и дальнейших объяснений его письму придется письмом Мендельсона неверное освещение»; тогда Николай отказался от своего намерения (LB. II, 101).

ное вмешательство, если бы человек должен был превратиться в ангела, а ангел в Бога, если бы животное должно было превратиться в человека, а камень в животное. Для этого мира все совершенно — совершенно и для будущего; эта мысль наводит на «роман вечности», который, конечно, будет всяким написан по-своему. Впоследствии, после того как Гердер получил возражение Мендельсона, он изложил свою мысль в форме еще более отвлеченной: развитие, говорит он, есть только изменение того, что имеет форму, что случайно; оно относится только к такому определенному состоянию; если отнять это определенное состояние, то ничего не останется, кроме чистой субстанции нашей души. Способность к чему-либо есть нечто относительное, а не реальное: всё остается в своих главных составных частях тем, что есть. Но если это так (а в этом заключается окончательный вывод из сомнений Гердера), то человек не имеет никаких преимуществ перед остальными существами; для него нет другого бессмертия, кроме палингенезии. Затем следует объяснение, что такой вывод нельзя назвать неутешительным, что он для общества более полезен чем те, которые обыкновенно делаются. Он предохраняет от чрезмерного скептицизма и от преувеличенного понятия о наших обязанностях. «Все пять актов драмы происходят в этой жизни; к чему заглядывать в ту скрытую от нас сферу, куда еще не проникал ни один человеческий взор, и почему не довольствоваться объяснением только того, что составляет само по себе нечто цельное?» Но при оценке этого цельного не следует руководствоваться отвлеченными понятиями о нравственности! «Божеские цели более чем нравственны» — если принимать слово нравственность в общепринятом смысле. И для истинной нравственности, и для воспитания было бы полезно, если бы мы держались такого правила: «Воспитывай и себя, и других для этой жизни! Будь при твоей натуре, при твоих способностях, в каждом возрасте тем, чем ты можешь и должен быть! Только так, а не иначе, ты должен жить, чтобы потом умереть: ты во власти Божией!» Таковы требования гуманности и религии. В наш век мы, к сожалению, очень далеки от такой «настоящей гуманности»!

Здесь не место доказывать, что и в этом рассуждении о бессмертии души общая философская точка зрения Гердера была точкой зрения не догматического систематика, а человека, старавшегося доискаться истины, и была эстетической точно так же, как у его наставника Канта. Также нет надобности доказывать, что в этом случае, точно так же как и в своей теории прекрасного, он занял среднее положение между материализмом и спиритуа-

лизмом и что его философия догадок имела как бы двойную основу — стояла наряду, с одной стороны, с философией Лейбница, с другой — с философией Бэкона и Локка. Мы также не будем забегать вперед, не будем говорить о том, как в более позднюю пору своей жизни он часто возвращался к высказанным здесь в первый раз сомнениям и догадкам, как он при изменившихся внешних условиях своей жизни снова обсуждал ту же великую проблему, вступая в спор с Лафатером, как он то уклонялся от своих тогдашних убеждений, то возвращался к ним в своих «Идеях о философии истории», в своей статье о палингенезии, в диалогах о переселении душ и в некоторых других произведениях. Но мы не можем воздержаться здесь от замечания, что хотя самостоятельные воззрения Гердера и высказывались в форме догадок, они не сходились с точкой зрения церковного проповедника, который положительно заявлял, что его задача — вложить в сердца его слушателей христианское учение о бессмертии души на основании слова Божия. Его учение не было учением христианским, основанным на Библии. Он сам это признавал. Возражая Николаи, он говорил, что наша религия, к которой мы приучаемся с юности, скорей заглушает, чем опровергает его недоверие к учению о бессмертии души — недоверие, которое нередко высказывалось еще в древние времена.

Гуманный катехизис нашего философа, очевидно, расходился в этом пункте с христианским катехизисом. Но, при более тщательном рассмотрении, он расходился с христианским катехизисом и во многих других пунктах: ведь нелегко бы было согласовать с теологическим символом веры те критико-исторические воззрения на Библию, которые находились в тесной связи с широким замыслом написать историю религии и поэзии и с еще более широким замыслом написать историю человеческого ума. Это затруднение довольно долго устранялось посредством двойной бухгалтерии. Когда Гердер был занят статьями об эстетике, он постоянно старался по мере возможности не касаться теологии. Чтобы скрыть свои убеждения от публики и также от самого себя, он поворачивал в сторону всякий раз, как литературный вопрос грозил превратиться в теологический; он говорил, что теологию предоставляет теологам, что он ничего более, как честный мирянин, который хорошо знает свой греческий Завет; даже статейку о Троице он написал, будто бы, «без всякой предвзятой мысли, не потому, что он занимал и не потому что хотел бы получить богословскую должность», а статью о Гейльмане он лучше бы сделал, если бы вовсе не писал, для того чтобы не

попасть в еретический лексикон Триниуса или в еретические письма Трешо¹.

Однако такая игра в прятки не могла долго продолжаться. Церковный проповедник имел так много общего с писателем, а писатель так много общего с церковным проповедником, что они неизбежно должны были производить давление один на другого. С тех пор как Гердер стал комментировать Библию точно так же, как он комментировал произведения Гомера, с тех пор как он установил ребяческое различие между содержанием Библии, которое было дано Откровением, и ее чисто человеческой внешней формой, с тех пор как его философия стала все более и более отдаляться от церковных догматов, с тех пор он — по его собственному выражению — стал сознавать «противоречие между своими убеждениями и своими общественными должностями». Это случалось не тогда, когда он стоял на церковной кафедре, когда он теплотой своего сердца снова сливал человеческую философию с христианским учением об Искуплении, когда сознание, что он «производит чрезвычайно полезное впечатление» на слушателей, заглушало все укоры его совести, а тогда, когда он после проповеди проводил время в обществе или возвращался в свой рабочий кабинет. Тогда он чувствовал и жаловался своим друзьям, что должность церковного проповедника — при всем желании от того уберечься — заставляет его «наморщивать лоб» и что «честь носить форменную одежду пастора совершенно сбивает с толку»². В этом духе была написана вся прекрасная статья «О библейском установлении субботнего дня и о христианском праздновании воскресного дня»³, которая была дополнением к комментариям на песнь о мироздании и на песнь о субботнем дне; она служит красноречивым доказательством того, до какой степени гуманная философия не могла ужиться с духовным званием Гердера. В этой статье Гердер высказывает немного более того, что уже прежде было им неоднократно высказано

¹ Сравн. Отрывочные заметки. III, 272, 279, 295, 300, 303; кроме того, SWS. I, 29; Торс. С. 4 и наконец то, что говорится в «Критическом лесе» о винкельмановской «Истории искусства».

² Сравн. письмо к Гаману (LB. II, 59); к Николаи (LB. I, 2, 406 и II, 51); к Шеффнеру (LB. I, 2, 291, 357); путевые записки (LB. II, 158). Как кажется, и в разговорах у Гердера вырывалась подобные выражения. В одном, сохранившемся в рукописи, письме Гена к Гадебушу из Риги от 18 авг. 1769 г. говорится о Гердере: «Однообразная одежда церковных проповедников была так ненавистна Гердеру во время его отъезда (из Риги), что он скромно держался в стороне, уступая первое место Лодеру».

³ LB. I, 3, а, 543 и сл., под № 26.

относительно призвания церковного проповедника, но здесь он это излагает с особым жаром, с чувствами человека, который желал бы оградить себя от опасностей, связанных с тем призванием. Здесь чисто человеческие чувства прямо противопоставляются духовному благочестию, внешней торжественности и «церковному чувству», которое внушается обычными богослужебными обрядами. Очевидно, на основании собственного опыта автор жалуется на то, что душа церковного проповедника очень скоро облекается в вечное форменное одеяние. Он очень красноречиво нападает на полное прекращение в праздничный день всякой жизни и деятельности и объявляет, что настоящее богослужение заключается в том, чтобы, независимо от всякой церковной пышности и суеты, находить Бога в природе и поклоняться ему в гуманности, готовой оказывать практическую помощь ближнему.

Но наряду с отвращением к форменной пастырской одежде для него была тяжелым гнетом и его школьная должность. Несмотря на то что он был превосходным педагогом и проповедником, он в качестве писателя, стремившегося к самым идеальным целям, и в качестве человека, далеко заносившегося в своих мечтаниях, чувствовал себя как бы в плену в узкой сфере своих двойственных обязанностей. В своих путевых записках он говорит: «Я был недоволен собой как школьным преподавателем; эта сфера была для меня чуждой и неподходящей, а я сам имел с ней слишком мало общего и был слишком занят другим». К этому следует прибавить, что он находился в большой зависимости от такого ректора, которого считал пустоголовым, глупым, раболепным и своенравным, над которым он сознавал свое превосходство и в котором он всячески старался возбуждать зависть. Он еще задолго до своего отъезда из Риги жаловался «на несчастье быть подчиненным такому человеку, как Шлегель», а нам нетрудно себе представить, сколько неприятностей и столкновений приходилось ему тогда переносить¹.

¹ К Гаману (LB. I, 2, 211, 212). Другие неодобрительные отзывы о Шлегеле можно найти в LB. I, 2, 150; II, 39 (Гарткнох писал 1 июля 1769 г. Гердеру в Нант: «Ваши главные враги обер-пастор и ректор Шлегель». На это Гердер отвечал, намекая на посланный им в Ригу проект улучшения церковной школы: «Я мщу Шлегелю только тем, что, не мешая ему оставаться погруженным в его *dullness*, указываю ему, как улучшить его школу, и даю некоторым людям почувствовать, что я больше чем ничто»), 43, 76; *Dünßer* C, I, 323; II, 23, 194; *Weimar. Jahrbuch*. III, 1, 46 (к Распе: «Бог тупоумия создал его голову»). Однако хотя Шлегель и был плохим поэтом и бестолковым догматиком, он не был лишен некоторых достоинств как педагог. Сведения о его жизни и сочинениях можно найти у Гольдбека в «*Litterar. Nachr. V. Preussen*» (I, 590) и в «*Scliriftstellerlexikon Recke-Napiersky*» (IV, 68 и сл.).

Ранее (с. 156 и сл.) мы указывали еще другие причины постоянно усиливавшегося в Гердере недовольства, а теперь — после того как мы познакомились с литературной деятельностью Гердера во всем ее объеме и в главных ее мотивах — мы в состоянии ясно понять, почему неизбежно должна была все ярче и ярче обнаруживаться несовместимость его литературной деятельности с его деятельностью служебной, его общественного положения с его положением гражданина. Ему приходилось угождать в одно время двум господам: с одной стороны, его церковному начальству и рижской публике, с другой стороны, той многочисленной немецкой публике, к которой он обращался в качестве писателя. Какое тяжелое положение для честолюбивого и сознающего свои способности человека, который старается приобрести известность вне своего места пребывания, а между тем чувствует себя связанным обременительными обязанностями и мелочными соображениями! Мир так широк и так привлекателен, а Рига так мала, так бедна благоприятными условиями и вспомогательными средствами! Он жалуется на то, что в этих «гипербореических» или «сарматских» странах он приучается к одиночеству и его ум беднеет, — а эти жалобы становятся все менее и менее похожими на пустые фразы. У него постоянно перед глазами пример Лессинга, который должен был преодолевать такие же затруднения, с какими и ему приходилось теперь бороться. «Что делать, — писал он к Николаи (LB. I, 2, 406 и 409), — если мы лишены всех вспомогательных средств для образования в ту пору нашей жизни, когда мы всего более жаждем образования, — и сохрани Боже, чтобы эта пора скоро для меня миновала; что можно сделать с одними мертвыми книгами, если мы не знакомы с общим направлением литературы, с тоном хорошего общества, если мы лишены дружеского содействия в наших занятиях, если у нас нет ни библиотек, ни музеев? Нет, Лессинг никогда не сделался бы таким, каков он есть, если бы он был заперт в церковной сфере маленького городка или рабочего кабинета, если бы он должен был ограничиваться тем, что стал бы плодить в своем уме идеи и выводить из него мелких пресмыкающихся гадов». В том же письме он говорит: «Я завидую Лессингу во многих отношениях. Он всемирный гражданин, который с юной, еще не устаревшей душой перебрасывается от одного искусства к другому, из одного положения в другое; такой человек может сделаться просветителем Германии!»

Однако, несмотря на то что Гердер тяготился неудобствами своего положения, он едва ли скоро дошел бы до решимости

последовать примеру Лессинга, если бы одно неожиданное сплетение обстоятельств не вывело наружу несовместимости его положения как писателя с исполнением его служебных обязанностей в Риге. Окончательная развязка была — по его собственному выражению — вызвана «тем положением, которое он занял по отношению к сволочи, державшей сторону Клотца»¹. Далее он говорит, что сам не знал, какими первоначальными путями он дошел до такого положения.

Мы со своей стороны следили за ним шаг за шагом по этим путям вплоть до напечатанного в Фоссовой газете заявления и вплоть до анонимных нападок на Клотца, появившихся в «Критических лесах»². С непонятным ослеплением Гердер все туже и туже стягивает вокруг себя ту сеть, в которую сам должен попасться. Уже всем было известно, что не кто другой, как он, был автором «Отрывочных заметок» и «Торса», а он все еще воображал, что никто не узнает в нем автора «Критических лесов»! Какая была в том польза, что он выпустил в свет и первый «Критический лесок», и второй без указания места издания? Разве то не было чисто ребяческой хитростью, что, извещая Лессинга (LB. I, 2, 415 и сл.) о выходе в свет нового сочинения, он подписался начальными буквами своего имени, а его письмо было написано не его рукой? Даже если бы он сам умел хранить тайну, то разве у его противников не было ловких шпионов? Разве его сочинение не выдавало на каждой странице имени своего автора? Даже в толпе сотрудников «Библиотеки», которую издавал Николай, всем было известно имя автора³: при первом взгляде на книгу всякий тотчас узнавал автора «Критических лесов». Его тотчас узнал Шеффнер, который объявил ему напрямик, что никто другой не мог быть автором этой книги: «Если бы можно было отличать одного живописца от другого так же безошибочно верно, как можно отличать ваш слог от всякого другого, то не пришлось бы так много спорить об этом предмете». Гердера узнали и Шеффнер, и Николай, и Гаман; а всего хуже было для него то, что его

¹ К Николай 5 авг. 1769 г. (LB. II, 50 и сл.). Кроме этого письма, нам дают некоторые указания на причины его отъезда из Риги: по всему вероятно, оставшееся неотосланным письмо к Гаману (LB. II, 59 и сл.) и начало путевых записок (LB. II, 155).

² См. выше, с. 313 и сл.

³ Автором рецензии на «Уголино» его называет Флётель в письме к Клотцу от 20 июня 1770 г. (Письма немецких ученых к Клотцу. I, 158); в четвертом сборнике приложений к теории поэзии Хр. Г. Шмида (1769) говорится на с. 160: «Гердер сотрудничает в „Allgemeine Deutsche Bibliothek“».

узнали не только друзья, но и враги и что не прошло двух месяцев, как во всех газетах появились или одобрительные, или презрительные отзывы о новой книге, причем автор назывался по имени¹.

Наивное ослепление, с которым Гердер убеждал себя в возможности сохранять инкогнито, всего яснее заметно из окончания второго «Леска» и из предисловия к третьему «Леску». Он находил возможным то, что считал за свое право, а он считал за свое право то, что ему было лично желательно. «Мое имя, — писал он, — не грех произносить; стало быть — это прямой вывод из того положения, — почему его не называть? Почему кому бы то ни было запрещать угадывать его?» Это сочинение, говорится далее, есть чисто полемическое, написанное для временной цели и в таком тоне, который соответствует этой цели. Ввиду этого полемического, личного характера сочинения долг чести заставлял автора назвать себя по имени. Этот вывод натурально следует из предыдущего. Но у Гердера другая логика — логика эгоизма, сознающего свои добрые намерения. На основании вышеприведенных доводов автор не должен и не намерен открывать своего имени; он никогда не причислит эту книгу «к произведениям своего имени»; к таким произведениям он будет причислять только объективные и более важные по содержанию труды, и он считает себя вправе требовать от публики, чтобы она уважала его право на анонимность ради его авторской гордости и ради его удобств!

Эта наивная логика вовлекла Гердера в новые ошибки, которые следует назвать не только ошибками, но и унижительными для его личного достоинства поступками. При издании «Отрывочных заметок» он поступил неблагоразумно, признавшись в нескольких частных письмах, что был автором этих заметок. Он не хотел вторично делать ту же ошибку. Он вообразил, что если

¹ Шеффнер к Гердеру (LB. I, 2, 433). Николай к Лессингу 18 окт. 1768 г. (LB. I, 2, 365): он наверно знает, что Гердер — автор «Критических лесов», потому что тайком видел корректуру первого листа; сравн. письмо Николай к Гердеру от 11 апр. 1769 г. (LB. I, 2, 443): «И я и все мои друзья, мы с самого начала считали вас автором „Критических лесов“». Кроме того, см. письма Гамана к Гердеру от 24 янв. 1769 г. (LB. I, 2, 422) и от 9 апреля (Там же. 437). Мёзель писал Гердеру (Там же. 448): «Еще прежде, чем я увидел проклятые „Критические леса“, все говорили без колебаний или без оговорок: „Их автор — Гердер“» и т. д. В первом номере эрфуртской ученой газеты, вышедшем 2 янв. 1769 г., было объявлено, что печатается два «Критических леска», написанных Гердером, а в номере 23 янв. была помещена рецензия вышедшей тем временем книги и Гердер был назван ее автором. То же сделали Jenaer Gel. Zeit. № 17; Dieneuen Hallischen. № 13 от 13 февр.; Hamburger Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit. T. XII от 28 февр. 1769 г.

будет упорно отказываться от звания автора тех заметок, то это будет самое верное средство прекратить все нападки не его личность, все возражения, с которыми противная партия обращалась прямо к нему. Он так и поступил с Мёзелем, которому грубо отвечал на его неприятное письмо по поводу «Критических лесов». Точно так же поступил он с Николаи¹, и по этому случаю прибегнул к утонченной изворотливости, обнаружил необыкновенное искусство разыгрывать комедии и говорил неправду самым чистосердечным тоном. Такого же содержания были и его публичные заявления. Так как и Фоссова газета, и ученый эрфуртский журнал приписывали два «Критических леска» автору «Отрывочных заметок», то Гердер послал им заявление, что «он не принимал никакого участия в этой книге и, живя вдалеке, даже еще не видел ее»². Такой же протест он намеревался возобновить в конце четвертого «Леска» в очень странной двусмысленной форме. Автор «Критических лесов», говорится там, совершенно равнодушен к тому, что горластое невежество, задумавшее снять с него маску, лает на его тень. «Только жаль, — говорится далее, — что при этом употребляют во зло имя другого писателя и что низкие люди низким образом оскорбляют его личность, его должность и его звание! Чем мог бы я вознаградить этого невинного человека за то, что неумышленно подал повод к таким оскорблениям?»

Но вслед за тем, как были написаны эти слова, Гердер действительно подвергался за свои «Критические леса» таким нападкам, которые вполне заслуживали названия низких и оскорбительных. Клотц попытался отомстить за критику, которая была направлена против него во втором «Леске». Его способ мщения был столько же непристойен и груб, сколько верно рассчитан и оскорбителен. Не обращая никакого внимания на заявленный Гердером 24 декабря 1768 г. протест против нескромных разоблачений, которые дозволил себе Ридель в «Письмах о публике», «Библиотека» Клотца поместила в первом номере 1769 г. (с. 119 и сл.) вместо отзыва о «Критических лесах» рецензию еще не поступившего в продажу 2-го издания первого сборника «Отрывочных заметок». Стало быть, это было повторение риделевской выходки! Гаман назвал эту рецензию пасквилем, а Шеффнер пришел от нее в ярость³. И они были правы: кроме новых насмешек над спо-

¹ Мёзель к Гердеру (LB. I, 2, 447 и сл.); Гердер к Николаи (Там же. 412 и 425).

² Фоссова газета от 21 и эрфуртский Ученый журнал от 31 марта 1769 г.

³ LB. I, 2, 428 и 432. И Х. Г. Шмид смело говорит в прибавлениях к Теории поэзии (Там же. 160) о 2-м издании «Отрывочных заметок» как о таком сочинении, которое уже выпущено в свет.

собом выражения, над «диктаторским и бесстыдным» тоном автора «Отрывочных заметок», кроме обвинений во лжи и в искажении чужих слов, кроме старания доказать, что автор «знаком с греческими писателями только по слухам», в пасквиле делались непристойные грязные намеки на связь Гердера с Гаманом.

Если бы у Гердера было хоть немного хладнокровия и благоразумия, ему было бы нетрудно сделать это неловкое нападение безвредным, а того нечестного человека, который вышел за пределы приличия, поставить в смешное и неловкое положение. Гердер еще ранее намеревался не выпускать 2-го издания в свет, а теперь он окончательно принял такое решение. Он решился на это из малодушия, с досады и от не знавшего за что взяться негодования¹ и потому, подобно своим противникам, вышел из пределов благоразумия. Если бы он заявил, что Клотц совершил нечестный поступок, напечатав рецензию такой книги, которая еще не вышла в свет и которая была украдена из типографии, то он привлек бы на свою сторону всякого, кто не был из числа приверженцев Клотца, т. е. всю беспристрастную публику. Он действительно сделал такое заявление, но, к сожалению, этим не ограничился. Тогда ему пришлось расплачиваться за то, что он сам вел фальшивую игру, что он сам прибежал ко лжи, уверяя, что не был автором «Критических лесов». Одновременно с тем заявлением он поместил по совету Николаи в «Allgemeine Deutsche Bibliothek» и в «Гамбургском корреспонденте» объявление, в котором говорил, что, несмотря на его публичный протест, приверженцы Клотца не перестают называть его автором «Критических лесов», и снова энергически заявлял, что не он был автором книги, «тоном которой он также мало доволен, как и господин Клотц»².

Чтобы не впасть в несправедливую строгость в наших суждениях об этом поступке, мы должны стать на точку зрения тогдашней литературной нравственности. Анонимность в сфере критико-литературной публицистики была в то время в таком же ходу, как в наше время еще с большим основанием она в ходу в сфере

¹ К Николаи (LB. I, 2, 425). Касательно прекращения издания см. SWS. I, XXXI.

² Это объявление, напечатанное теперь в LB. I, 3, b, 196 и сл., помещено в «Allg. Deutsche Bibliothek» (IX, 2, 305 и сл.) и в «Гамбургском корреспонденте» (номер 80 от 20 мая 1769 г.). Совет Николаи (LB. I, 2, 444) поместить объявление и в этом последнем журнале привел к тому, что в 83-м номере была указана рецензия Клотца, для того чтобы читатели могли понять, в чем дело, а в номере 94 были напечатаны возражения Клотца и Виттенберга (редактора журнала «Корреспондент»). Кроме того, сравн. письмо Гарткноха к Гердеру (LB. II, 140) и касательно лживых возражений Клотца и Виттенберга (Там же. 29).

политической публицистики. Даже Лессинг, несмотря на свою прямодушную склонность к полемике и на свое правдолюбие, без всяких угрызений совести отвергал при помощи софизмов свое сотрудничество в «Письмах о литературе», а впоследствии, когда шла речь о его «Вольфенбюттельских отрывках», продолжал игру в прятки так охотно, что как будто дело шло об успехе какой-нибудь драматической интриги. Привычка вводить в заблуждение любопытных, подписываясь под рецензиями то одними, то другими начальными буквами, даже была формально возведена в систему, как например в «Allgemeine Deutsche Bibliothek», которую издавал Николаи, — а разве «Отрывочные заметки» и «Критические леса» не были также чем-то вроде литературно критического журнала? Разве Гердер не мог думать, что ему принадлежит право укрываться под защитой общепринятого обыкновения — а в крайнем случае вынудить признание такого права? Разве то было бы справедливо, если бы его одного заставляли подписывать его имя, между тем как в лагере его противников постоянно прибегали к утайке настоящих имен, к обмену ролей, а с другой стороны, к сплетням и к шпионству? И разве его личное положение не было из таких, к которым следовало относиться с особенной деликатностью? Разве он не был поставлен в необходимость самообороны? Разве с его стороны не было извинительно или по меньшей мере понятно, что раздраженный и напуганный нападками противников он потерял голову, а вместе с тем утратил чувство нравственного достоинства, утратил способность отличать позволительную скрытность от упорного отрицания истины?

Тогда голос неподкупной честности раздался из уст Гамана, который в этом случае доказал Гердеру свою неизменную дружбу. С такой ничем не стеснявшейся откровенностью, какой не позволил бы себе никто другой, он высказал юному сорвиголове всю правду. Еще 17 января он обратился к раздосадованному и раздраженному автору со следующим ценным наставлением: «И с точки зрения совести, и с точки зрения страстей вопрос об авторстве во все не мелочный; и в том, и в другом случае нельзя довольствоваться остроумием и ученостью». Затем Гаман в своей рецензии «Лесов», помещенной в Кёнигсбергской газете, публично убеждал Гердера прекратить брань с Клотцем и, подобно Винкельману, сосредоточить свои силы на каком-нибудь большом и достойном труда сочинении. Познакомившись с пасквилем Клотца, он обратился к Гердеру с самыми настойчивыми предостережениями. «Я виню Вас в том, — писал он 13 марта, — что вы так скоро приготовили новое издание ваших „Отрывочных заметок“, а от меня

это скрыли, но всего более виню Вас за вторую часть ваших „Критических лесов“. Что Ваше имя было в первый раз узвано, в том нет большой беды; но то, что потом случилось, кажется мне более важным, и я полагаю, что при теперешнем положении дела игра в жмурки не была бы для Вас полезна ни в каком отношении, а, напротив того, была бы более вредна, чем когда-либо. Право, я желал бы, чтобы Вы доказали побольше настоящей любви к Вашим дарованиям и побольше настоящего честолюбия. Одного такого честолюбия было бы достаточно, чтобы удержать Вас от желания связываться с таким умственно ограниченным человеком и с таким явным шарлатаном, как Клотц; оно не позволило бы Вам обнаруживать Вашу жажду мщения, которая едва ли основательна, или по меньшей мере не позволило бы Вам навлекать на себя подозрение, что Вы желаете мстить». Наконец, после того как Гердер напечатал свой протест, Гаман писал ему 9 апреля: «Ваше публичное отречение от „Критических лесов“ возбудило досаду во всех Ваших друзьях... Спокойно молчать, извлекать уроки из опыта, выбрать другую сферу деятельности с твердостью, без страсти и без горячности, но с трепетным страхом за бессмертие — вот единственный совет, который я могу Вам дать, если Вы желаете спокойно и в довольстве наслаждаться жизнью и если предпочитаете такое счастье всяким призрачным благам и проектам».

К сожалению до нас не дошло письмо, которым Гердер отвечал на это «пасторское послание» Гамана. Мы только имеем основание догадываться, что в то время он был вообще не доволен Гаманом. Совет Николай казался ему более веским, чем предостережения со стороны того человека, которого он когда-то называл ангелом-хранителем своей авторской деятельности. Он не отказался от намерения издать третий «Критический лесок», а вслед за первым отречением от этого произведения последовало второе. Впрочем, мы должны к его чести прибавить, что в минуты душевного спокойствия, когда он проверял сам себя, и его рассудок, и его совесть признавали основательность каждого слова, сказанного его другом. С течением времени он все более и более убеждался на опыте, что его неискренность была в тоже время и безрассудством. Николай мог принять его протест из желания сделать ему приятное, а Мёзель — из приличия и с насмешливой улыбкой, но на самом деле никто ему не верил¹. Приверженцы Клотца не переставали бросать ему в лицо то, что всего бо-

¹ Так, рецензия трех «Лесов» в «Альманахе немецких муз» (Х. Г. Шмида) на 1770 г. (с. 36 и сл.) выдает за несомненный факт, что Гердер, несмотря на все свои протесты, был автором тех «Лесов».

лее оскорбляло его. Так как в предисловии ко второму «Леску» он просил только одной милости — чтобы не выдумывали каламбуров насчет заглавия его книги, то преданные Клотцу журналы стали говорить о лесах, которые разведены на немецкой почве из лифляндских семян, или — еще остроумнее — о лесах, которые совершенно «вырублены». Так как он жаловался на выражения, оскорбительные для его должности, для его звания и для города, где он жил, то задорные критики стали указывать на каждое его выражение, казавшееся неприличным для церковного проповедника, или стали указывать на то, что автор «Критических лесов» похож в своих проповедях на критика, а в своей критике на церковного проповедника. Разве они прибегали ко лжи, когда называли его дилетантом, указывая на разные пробелы в его филологических познаниях?¹ А чем же можно было опровергнуть упрек в странной нетвердости убеждений — в том, что Гердер, признававший Клотца за образец учености и изящного вкуса, внезапно изменил свое мнение и стал беспощадно нападать на Клотца?

В результате вышло, что как ни были похвальны научные цели Гердера, как ни были основательны его идеи и воззрения, он оказался перед всеми неправым вследствие горячности своего поведения. Прежде всего он провинился перед самим собой. Дорога, по которой он шел, была очень раскатиста. Из писателя, посвятившего себя изучению философии человечества и ее истории и только что начавшего проникать в тайны древнейшей поэзии Востока, он превратился в сварливого человека, отстаивавшего свободу критики. Его высокие умственные интересы были засорены грязью литературного спора, в котором он не умел себя вести с достоинством. Он уронил себя в общем мнении и еще более в своих собственных глазах. Его воззрения, его литературная деятельность, его полемические статьи находились в резком противоречии с его званием и еще в более резком противоречии с его сознанием, что он не умел выпутываться из затруднений иначе, как при помощи разных неправд.

Было только одно средство выйти из такого неприятного положения и все-таки сохранить свое инкогнито, которое, впрочем, по-

¹ С каким коварством накинулись противники Гердера на эту слабую его сторону, видно из письма лифляндского пастора Гардера к Клотцу (Письма немецких ученых. II, 58). Из письма следует, что Гердер пригласил Гардера заняться переводом исследования Бурке о происхождении наших понятий о прекрасном и возвышенном, обещая присовокупить к переводу свои собственные комментарии (Сравн. LB. II, 140). После того этот почтенный пастор писал Клотцу, что так как Гердера подозревают в совершенном незнании греческого языка, то он устроил для Гердера ловушку, с намерением неверно переведа те цитаты из Гомера, которые приведены в сочинении Бурке.

стоянно обращалось ему во вред. Чтобы избежать взоров публики и в то же время заглушить укоры собственной совести, ему не оставалось ничего другого, как превратиться в невидимку — перестать писать и покинуть сферу его прежней деятельности. Он так объяснил в письме к Николаи тот шаг, на который он теперь решился и который был для всех неожиданностью: «Мое положение представляло такой резкий контраст с моим званием, а приверженцы Клотца так старались усилить этот контраст, что я не нашел ничего лучшего, как разом развязать себе руки, предоставить черни свободно изливаться ее злобу, а самому искать другого положения». В другом письме он говорит, что намеревался «сам себя подвергнуть ссылке, для того чтобы потом с честью снова выступить на сцену», а тем, кто не мог понять причины его «исчезновения», он указывал на жизнь Декарта¹. Он не говорил неправды, но и не высказывал всю правду, когда объявил с церковной кафедры своим прихожанам, что единственная причина его внезапного отъезда — «желание изучить мир Божий со многих новых сторон и сделаться во многих отношениях более полезным в своем звании, чем был прежде». При таких замыслах он, конечно, делал шаг вперед, а не назад, и впоследствии, когда предприятие удалось, натурально, выставлял его в идеальном свете, рассказывая своей невесте, что он уехал из Риги потому, что его добрый гений настойчиво внушал ему: «Пользуйся твоей молодостью и знакомься со светом!»

Как бы то ни было, а решимость уехать была подготовлена в течение многих лет постоянно возобновлявшимися неприятностями, и ему оставалось только привести ее в исполнение. При своем поступлении на службу в церковную школу Гердер связал себя обязательством только на три года, а потом, в 1766 и 1767 гг., когда ему предложили заключить новое условие ввиду полученного им из Петербурга приглашения, он согласился остаться на такой же срок; после того он намеревался путешествовать и избрать своим постоянным местопребыванием вместо берегов Двины Германию². Он писал Гаману, что нужен был какой-нибудь толчок извне, чтобы заставить его двинуться с места; а когда Николаи дал ему легкую надежду на получение места в Берлине, он в ответ на это писал в начале 1769 г., что не составил себе никакого окончательного мнения насчет того, следует ему уезжать или оставаться на месте, и что он не может сказать на этот счет ничего определенного: вероятно, только какие-нибудь косвенные указания или неожиданные случайности поло-

¹ В письме к Гарткноху (LB. II, 12 и 82).

² LB. I, 1, 319; I, 2, 212 и 232.

жат конец этому неопределенному положению. Отсюда видно, что Гердер зависел в своих действиях более от случайностей, чем от обдуманного решения так или иначе устроить свою будущность, а именно в этом и сказывалась, как тогда, так и впоследствии, его вера в судьбу и в его гения или готовность подчиняться воле Провидения. Решение, которое он теперь принял, было его собственным, так как, по его признанию, у него не доставало мужества и силы, для того чтобы иным способом выйти из его неприятного положения, — но оно, очевидно, было ему навязано неизбежной необходимостью. Он наконец дождался и того толчка извне, которого ожидал, и тех косвенных указаний и случайностей, на которые рассчитывал. «Действительно, — писал он в начале своих путевых записок, — обстоятельства нашей жизни зависят большей частью от случайностей: именно таким путем я попал в Ригу и на мою духовную должность; таким же путем я лишился этой должности и отправился путешествовать».

Но, решившись пуститься в путешествия, он должен был исполнить это намерение немедленно; «иначе, — писал он к Николаи, — из моего решения не вышло бы ничего, потому что уже были расставлены сети, чтобы задержать меня».

Действительно, он находился теперь почти в таком же положении, как в то время, когда рижские жители поручили ему, из опасения его потерять, должность проповедника в пригородных церквях. Еще в начале 1769 г. он писал Николаи, что от него не уйдет другая должность, лишь только она окажется вакантной, что ввиду давно ожидавшейся смерти престарелого Лодера правительство намеревалось назначить на его место Гердера церковным проповедником при городской церкви и ректором дворянского лицея¹. Эту-то сеть следовало прорвать, следовало — как выражается заносчиво Гердер — застигнуть противников врасплох, поразить их и привести в замешательство. Это ему вполне удалось, и после стольких неприятностей он наконец имел основание быть довольным. «Я попал, — рассказывал он Гаману, — прямо в цель, так как все провожали меня со слезами и с добрыми пожеланиями, а из симпатии к юношеству, с которым я хорошо уживался, меня осыпали поощрениями, которые по меньшей мере более бескорыстны, чем подарки». Немедленно вслед за окончанием пасхальных экзаменов в церковной школе он подал 5 мая 1769 г. в рижский городской совет прошение об

¹ LB. I, 2, 413; сравн. письмо Гамана к Гердеру от 17 января 1769 г. (Там же. 418); в этом письме идет речь, очевидно, об этих видах на будущее.

увольнении от его должностей ввиду предстоявшего продолжительного путешествия. После неоднократных тщетных попыток убедить его взять назад прошение об отставке он был через четыре дня уволен от службы в самых лестных для него выражениях¹. Когда член рижского городского управления Кампенгаузен постарался удержать его разными предложениями и обещаниями, он остался непоколебим. Переговоры, которые велись по этому поводу почти до самого отъезда Гердера², привели лишь к тому результату, что Гердер обеспечил себя на случай своего возвращения в Ригу, которое он серьезно имел в виду и которое он всем обещал, — он выехал из Риги, имея в кармане свое назначение на должность пастора при церкви св. Иакова и ректора императорского дворянского лицея³. Обстоятельства сложились очень благоприятно для его путешествия: корабль, на котором он должен был ехать, вез и его друга Густава Беренса. Он предполагал доехать вместе с Беренсом до Копенгагена; «метание жребия» должно было потом решить, каким способом исполнит он свое намерение побывать в Германии, Франции, Англии и Италии.

Он простился со своими прихожанами 17 мая; это расставание было трогательно и полно искренних сожалений; что касается всего остального, то в его приготовлениях к отъезду проглядывала какая-то тревожная торопливость. Он был так рад, что сбрасывал с себя все должностные стеснения и обязанности, которыми связал себя, когда был еще слишком молод; теперь он наконец мог пользоваться полной свободой и раскрыть новую страницу в книге своей жизни, а свою радость он очень ясно выразил в письме, которое написал за несколько дней до отъезда своему другу Шеффнеру и в тоне которого слышалось нечто похожее на молодечество. «Мне приходится продавать мою мебель и мои книги, для того чтобы расплатиться с моими долгами и уехать отсюда с честью, — итак

Frei von Mantel und Kragen
Will's Gott! übermorgen nach Kopenhagen!

(сбросив с себя мантию и форменную одежду, я — если Бог позволит — отправлюсь послезавтра в Копенгаген!) Без денег, без

¹ Хронологические указания относительно последних месяцев пребывания Гердера в Риге можно найти в путевых записках (LB. II, 156), в письме к Шеффнеру (I, 2, 486), в резолюции на просьбе об увольнении (LB. I, 2, 453) и в сочинении Сиверса «Herder in Riga» (с. 55).

² Воспоминания. I, 107; см. также рассказ Вильперта (Там же. 116).

³ Гердер к Шеффнеру (LB. I, 2, 487) и Гарткнох к Гердеру (LB. II, 66): «Вы имеете от правительства письменное обещание».

посторонней помощи, беззаботным, как апостолы и философы, отправляюсь я с целью видеть свет, изучить его с разных сторон и сделаться более полезным человеком». Когда Гердер говорил, что едет без денег и без посторонней помощи, он мог разуместь только официальную помощь, потому что его рижские друзья, как видно из его же переписки, снабдили его на дорогу всем, чем могли, а издатель его сочинений Гарткнох, поддерживавший его в намерении путешествовать¹, предоставил в его распоряжение свой кошелек с таким великодушием, которое поистине можно назвать удивительным.

Друзья Гердера отплыли вместе с ним. Стояла прекрасная весенняя погода (то был день 23 мая 1769 г.), и плавание вниз по Двине, а потом до рейда совершилось благополучно. Тогда внезапно разразилась буря с проливным дождем. Пришлось расставаться при раскатах грома и при блеске молнии:

Sieh, Freund! da fliehn sie hin im Ungewitter,
die Freunde meiner Jugend...

(Посмотри, друг мой! Буря уносит друзей моей молодости...)

Этимися словами начинается ода Гердера: «Когда я отплыл из Лифляндии»². Ему пришлось простоять два дня на якоре, и еще «стоя близь берега», он написал 25 мая (5 июня) к Гарткноху и к его жене две прощальные записочки, наполненные шутивными замечаниями о знамениях и чудесах, которыми небо сопровождало его отъезд. Эти знамения и чудеса предвещали вечную разлуку. Гердеру было суждено никогда более не увидеть берегов Балтийского моря, которые он теперь покидал с сердцем, полным радости и надежд.

¹ LB. III, 23, 35; *Dünßer C*, II, 82.

² Она напечатана в LB. II, 5 и сл.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ ГЕРДЕРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОТ РИГИ ДО ПАРИЖА

Только вечером 5 июня 1769 г.¹ вышел в море корабль, на котором находился Гердер вместе со своим «добрым, отличным спутником». Плаванию благоприятствовала превосходная погода. По гладкому, как зеркало, морю путешественники доехали 17-го числа до Копенгагена, а через два дня после того высадились в Гельсингёре.

Гердер первоначально намеревался высадиться в Копенгагене или в Гельсингёре, познакомиться в столице Дании с автором «Мессиады», с его другом Крамером, с теологом Резевицем, с поэтом Герстенбергом и потом направиться через Киль и Гамбург в Германию. Он при этом надеялся дополнить из свежих источников свои труды о немецкой литературе и о памятниках еврейской древности. Он воображал, что при обмене мыслей с теми людьми он «будет выбивать искры для нового направления литературы, которое начнет обнаруживаться с датской границы Германии и оживит эту страну». Он писал 18 июня Гарткноху, плывя на корабле мимо датского озера Мёэна, что во время переезда почти каждых десяти миль к югу от Копенгагена онмышлял о каких-нибудь «особых обязанностях и надеждах». Он разумел такие обязанности и надежды, которые находились в непосредственной связи с его прежними занятиями и могли послужить к их пользе. Но разве он внезапно оставил свою должность и свои занятия, для того чтобы немедленно снова связать себя заранее задуманными планами? Разве ему не следовало отдать себя на произвол минутному решению и направиться туда, куда подует попутный ветер? Этот вопрос разрешила ночь, проведенная перед Гельсингёром. Его личные удобства и добродушие его спутника положили конец всяким колебаниям. Так как его другу

¹ С этого момента и впредь время будет указываться по новому стилю. — Главным источником для этой главы служат материалы, собранные во 2-м томе «Жизнеописания».

Беренсу нужно было ехать по делам во Францию, то и он решился не расставаться со своим товарищем — он очутился на пути во Францию «почти вовсе этого не желая» и как бы «по воле жребия». После четырехнедельного спокойного и медленного плавания вдоль берегов Ютландии, Голландии и Англии (21 июня он отплыл из Гельсингёра, 3 июля достиг пролива, отделяющего Францию от Англии, а 12-го вышел из пролива) он вышел вместе со своим спутником на берег в Пенбёфе и в тот же день отправился сухим путем в Нант¹.

Там путешественники нашли самое предупредительное гостеприимство у Беренсова корреспондента Бабю; в особенности хозяйка дома — очень почтенная и любезная дама — умела сделать пребывание юного ученого в ее доме таким приятным, что он пробыл там несколько месяцев, снова предаваясь своим занятиям и не желая расставаться с приятным обществом. Он чувствовал, что ему нужно собраться с мыслями и воспользоваться отдыхом, для того чтобы серьезно подготовить себя к дальнейшим путешествиям. Кроме того, помимо экономических удобств, которые доставляла ему жизнь вместе с Беренсом, там все было ему приятно — и любезность французских провинциальных жителей, и нестеснительность местных обычаев, и красивые окрестности, и возможность доставать книги для чтения. Только для Германии он хотел быть невидимкой; поэтому для него не было ничего неприятного в том, что в Нанте скоро узнали, что он был довольно известный писатель, издававший сочинения о своей отечественной литературе. Его выдал один молодой купец по имени Кох; это был швед, получивший воспитание в Гамбурге, очень любивший немецкую литературу и знавший автора «Отрывочных заметок» и «Критических лесов» по статьям немецких журналов. Гердер находил большое удовольствие в обществе этого молодого даровитого человека, относившегося к нему с глубоким уважением из жажды знания; в нем пробудились во всей силе его педагогические влечения, и он стал подробно объяснять Коху то одну, то другую из своих любимых идей во время утренних прогулок по окружающим Нант прекрасным рощам, по которым он иногда бродил и в одиночестве с книгой в кармане и которые воскрешали в его уме мечты его юношеского возраста.

¹ Эти указания дней сделаны по рукописной отметке Гердера на одной тетрадке. Указания «Воспоминаний» (I, 126) представляют незначительное несходство. Судя по письму Гердера к Бегрову (LB. II, 24), он прибыл в Нант 16 июля.

Он иногда предпринимал и более длинные путешествия; он сам рассказывает о своих поездках внутрь провинции и о посещении Анжера, в котором его привлекала «Academie des belles letters»; иными словами, он пользовался всяким удобным случаем, чтобы осматривать то одну местность, то другую и знакомиться с бытом французского населения. Он неоднократно утверждал, что главной причиной его продолжительного пребывания в Нанте было желание изучить местный язык для знакомства с народными нравами и изучить народные нравы для знакомства с местным языком, так как ранее того он был знаком только с книжным французским языком, а сам говорил по-французски очень плохо. Он стал разговаривать, читать и писать по-французски и радовался тому, что число новых знакомств постоянно увеличивалось, — но нам кажется, что он не извлекал из этих знакомств большой практической пользы. В его письмах гораздо более литературных замечанием, чем каких-либо других; в них незаметно даже легкой попытки описать немаловажный и очень оживленный торговый город, который наводил его своим отдаленным шумом только на разные грезы и литературные замыслы, в то время как он прогуливался за городскими воротами по красивым аллеям, читая произведения Мармонтеля или Томаса. Он, и живя во Франции, оставался жадным к чтению ученым, который беспрестанно переходил от изучения одного писателя к изучению другого, смотря по требованию своего прихотливого вкуса. В конце своего пребывания в Нанте он писал Гарткноху: «Я перебрасывался от произведений Вольтера к произведениям Фрерона, от Фонтенеля к Монтескье, от д'Аламбера к Руссо; я интересовался то энциклопедистами и журналистами, то театральными пьесами, произведениями искусства, политическими сочинениями и вообще всем, в чем выражался дух времени».

Впрочем, нельзя сказать, что он совершенно прекратил свои прежние литературные занятия, увлекшись изучением языка и литературы, нравов и склада ума французской нации. Его привязывали к этим занятиям и обещания, данные им Гарткноху, и его личные интересы. Он все еще не переставал интересоваться новыми пасквилями, которые писались на него приверженцами Клотца, и болтовней газет о его отъезде, все еще не переставал с радостью встречать всякое известие об упадке влияния Клотца и об уменьшении его приверженцев. Но он уже совершенно отказался от критики. Он уверял, что стал совершенно равнодушен к тому, как отзываются о нем Клотц со всей своей родней; удалившись с пыльного поля брани, для того чтобы подышать но-

вым, чистым и свежим воздухом, он делает то, с чего ему следовало начать, — вооружается гордым сознанием своего превосходства и своей обязанности «еще более возвысить свое достоинство» и в своих собственных глазах, и в глазах публики. Таким образом, для него было достаточно ясно указано «поприще его ученой деятельности» — как это уже было им замечено в конце четвертого «Леска». Он намеревался прежде всего разделиться со своим прошлым с честью и как можно скорее; на нападки, которыми его осыпали, он намеревался отвечать не раздражительными возражениями, а более тщательной отделкой своих произведений, и потом — что было вполне согласно с советом Гамана — заняться совершенно новыми, более важными сюжетами, к чему уже было отчасти положено начало проектом сочинения об археологии Востока. Через несколько недель после своего прибытия в Нант он сообщал об этих намерениях тому из своих друзей, который занимался изданием его сочинений: «Прежде всего я хочу заняться новым улучшенным изданием моих прежних сочинений, а потом, отказавшись от всяких ничтожных случайных мотивов, писать только о том, что составляет результаты человеческого мышления во все века, и присовокуплять к этим результатам новые идеи, которые — как вам уже частью известно — я могу извлекать из очень разнообразных сфер». И действительно, он приступает к исполнению этого плана. Он начинает с переделки «Леска», написанного против Риделя. Между тем его ум непрерывно занят мыслью о том, что можно бы было сделать из прежних «Лесков» во 2-м издании. Он неоднократно помышляет о приготовлениях к этой работе, о том, что в Голландии, куда он намеревался переехать из Франции, он дополнит филологическое содержание тех «Лесков» и исправит их слабые стороны. Впрочем, он намеревался снова заняться и «Отрывочными заметками» и писать их продолжение. Согласно с первоначальным планом, в этом продолжении должна идти речь о французах; в этом случае он воспользуется главным образом тем знакомством с французским языком и с французской нацией, которое он приобрел во Франции; в конце августа он писал, что для этой части «Отрывочных заметок» он уже собрал весь нужный материал и полагает, что удивит Германию множеством своих наблюдений. Что же касается переделки прежних частей того же сочинения, то издатель, конечно, мог ожидать, что она или вовсе не коснется или мало коснется нового текста первой части, который уже был напечатан, но держался под замком. Однако автор не разделял его мнения. Его план, отвечал он

на убеждения Гарткноха, более широк; он выскажет свой взгляд на этот предмет в непродолжительном времени и даже, быть может, публично в «Библиотеке изящных наук», «так как, — прибавляет он, — многие из идей и предрассудков моей авторской деятельности совершенно изменились».

Бедный Гарткнох ничего не мог понять из этих слов. Письма Гердера были вполне понятны только в тех частях, где требовались новые присылки денег, а во всем остальном были настоящими загадками. Немедленно вслед за обещанием прислать рукопись четвертого «Леска» в самом непродолжительном времени и вскоре после очень неопределенного извещения о «более широком плане касательно „Отрывочных заметок“» Гердер делает еще более таинственный намек: «Я не хочу заранее рассказывать вам, в чем заключаются мои другие литературные занятия, а немецкой публике снова придется задаваться вопросом: кому принадлежит сочинение и его заголовок?» Потом он снова пишет: «Вы скоро кой о чем услышите из Германии; посмотрим, узнают ли там меня?»

Правда, которую Гарткнох мог бы угадать, если бы стал читать письма Гердера между строк, заключалась в том, что Гердер бессознательно отложил в сторону ту часть своей новой программы, которая касалась переделки прежних сочинений, занялся только той, которая имела в виду совершенно иные задачи, чем «рискованные критические заметки и модные занятия». Гердер был уже не тем человеком, который писал «Отрывочные заметки» и «Критические леса». Он изменился со времени своего отъезда из Риги и в особенности живя в Нанте. Но основные черты его характера остались такими же, какими были прежде. Иначе говоря, он переживал процесс перерождения, и потому его мысли находились в таком брожении, что он не был в состоянии ни доканчивать старое дело, ни приниматься за новое. Четвертый «Лесок» вовсе не был приготовлен к печати, а то новое сочинение, которым он хотел удивить, не подвинулось далее самой первоначальной к нему подготовки. Он погружался в воспоминания о прошлом, готовился к новой работе, разговаривал сам с собой, занимался самосозерцанием, отдавал себе отчет в самых разнообразных идеях, воззрениях и планах, которые именно в то время сталкивались в его уме, — поэтому единственное сочинение, какое он был способен написать при своем тогдашнем душевном настроении, было «сочинение не для публики, а для самого себя». В письме к Гарткноху (LB. II, 81, сравн. 78) он говорит, что очень много читает, что масса сочинений, на которые он по-

падает, сбивает его с толку, втягивает его в разные планы и потом снова расширяет эти планы. «Оттого-то, — продолжает он, — мой дневник и сделался так толст; он покажется очень странным, если мне или моим друзьям когда-нибудь придется его читать».

Действительно, это было очень странное произведение, но при всей своей странности оно лучше всякого другого объясняет нам, как мало-помалу созревали воззрения Гердера! В качестве путешественника, который ежедневно видит и переживает что-нибудь совершенно для него новое, он, живя в Нанте, пишет не отрывочные заметки о книгах, которые там читал, не проекты сочинений и статей вроде тех, какими были наполнены его записные тетрадки и портфели, а «Дневник»¹. В этом дневнике он остановился на октябре, хотя уже исписал два листа большого формата; «он все еще находится на корабле и ему еще далеко до Зунда» — разве мы не имеем основания ожидать самого подробного описания всего, что он пережил? Но это было бы тщетное ожидание! Он доказывает, что хорошо себя знает, когда говорит в одном месте «Дневника», что его ум способен не столько замечать, сколько наблюдать и вдумываться. Какая польза от того, что он принуждает себя поступать иначе? Лишь местами попадаются у него довольно яркие штрихи, которыми мы можем дополнить вышеприведенный сухой рассказ о его путешествии. Он вспоминает о божественных ночах, которыми наслаждался подле Копенгагена, о тех прекрасных днях, когда он плыл мимо охотничьих замков короля и мимо его флота, о тех прекрасных вечерах, когда пил отличный рейнвейн за здоровье короля. Он вспоминает о своих спутниках при переезде из Пенбёфа в Нант — но только для того, чтобы прибавить, что было бы почти унижительно описывать такое общество по примеру Тенитера и Тристрама. У него также идет речь об играющих вокруг корабля дельфинах, о каком-то штурмане или матросе, о французском лоцмане «с его деревянными башмаками и большой белой шляпой» — поистине, никогда еще не было написано более скудное описание путешествия!

Но путевой журнал не должен непременно состоять из описания путешествия. В письме, назначенном для Гамана, Гердер на-

¹ Он был вполне напечатан в первый раз в LB (II, 153 и сл.); его проверенный текст теперь помещен в 4-м томе сочинений Гердера, изданных Суфаном (с. 343 и сл.). С тем, что изложено выше, можно сравнить введение Суфана, а с подробностями дневника — примечания, помещенные в конце только что упомянутого тома.

зывает этот журнал «незрелым и причудливым» или, вернее, так называет свои «Тристрамовские мнения», которые там излагает и которые должны восполнить «недостаток описания достопримечательностей». Но именно потому этот журнал и привлекателен для биографа гораздо более, чем рассказы о самых разнообразных происшествиях. Гердер когда-то наполнил одну из своих старых записных тетрадок беседой «с самим собой»; это было бы самое подходящее заглавие для его путевого журнала — так как этот «Дневник моего путешествия» имеет очень слабую связь с отдельными моментами путешествия, с отъездом из Риги, с морским переездом, с высадкой на берег, с пребыванием во Франции и, постоянно уклоняясь от хронологической последовательности действительных фактов, наполняется отвлеченными размышлениями и замечаниями. Если из него выбросить немногие штрихи, обрисовывавшие ту сцену, внутри которой произносится этот богатый содержанием и оживленный монолог, то оно произведет на нас все то же впечатление и мы в сущности ничего не потеряем. Но, с другой стороны, следует заметить, что не будь этих перемен сценической обстановки, монолог или вовсе не был бы произнесен, или имел бы иное содержание. Именно вследствие нового положения, в котором находился Гердер, все гнездившиеся в его душе идеи пришли в движение — стали то истекать одна из другой, то сливаться в одно целое, то сталкиваться между собой, превращаясь в целые потоки. Все его природные влечения — его мысли, чувства, желания, до того времени принимавшие определенное направление под влиянием должностных занятий, литературных задач и целей, обязанностей перед публикой, — высвободились из прежних уз и стали выходить наружу по закону сочетания идей, которое лишь в очень незначительной мере совершалось под влиянием окружавших его новых предметов и пережитого им нового опыта. Эти перемешанные в пестром разнообразии *cogitata* и *visa* не новы для внимательного человека, уже знакомого с ними из прежних напечатанных и ненапечатанных произведений Гердера; но до того времени их можно было обозревать как бы на узкой и загороженной другими зданиями площади, а теперь они представляются нашим взорам в виде цельного здания. Впрочем, они представляются нашим взорам, конечно, не в определенной внешней форме, а в том нерешительном движении и колебании, с которым обыкновенно высказывается нежная, впечатлительная натура. Наряду с совершенно зрелыми идеями встречаются лишь наполовину зрелые, наряду с вполне развившимися — лишь только зарождающиеся, наряду

с такими, которые ежеминутно могут быть громко высказаны, и такие, которые нам как-то стыдно подслушивать, потому что это — мотивы и признания, потому что они такого рода, что неясно и стыдливо вырываются из глубины души, в которой они то всплывают наружу, то снова прячутся, то текут одна вслед за другой, то останавливаются и потом передумываются заново. Все самые здоровые корни литературных произведений Гердера представляются здесь нашим взорам совершенно обнаженными, но мы в то же время видим, как эти корни переплетаются под землей и как они срастаются с корнями других литературных произведений, которые будут написаны лишь впоследствии. Впрочем, в сочинениях Гердера никогда не было недостатка в самосозерцании, в изложении мнений, желаний и замыслов, в субъективной окраске, в такой внешней форме, которая походит на форму дневника; увлекаясь потоком своих идей и разгораясь от душевного волнения, он позабывает, что пишет для публики; чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о «Торсе» и о первоначальной, еще не обделанной форме его первых литературных произведений. Наоборот, его ум был так богат идеями, был так полон научных стремлений, что он точно будто пишет именно для публики, когда излагает в своем дневнике свои замечания и объяснения: там встречаются такие места, которые при незначительных изменениях могли бы служить текстом для новых «Отрывочных заметок» или для новых «Критических лесов». Оттого-то дневник Гердера в некоторой мере и принадлежит к числу его литературных произведений. Несмотря на то что он менее зрел, менее закончен и более юн, чем которое-либо из более значительных произведений Гердера, однако он более всех богат содержанием, и даже почти можно сказать, что его содержание неистоимо и необозримо. В нем отражается, как в зеркале, не только волнение, в котором находился ум Гердера в то время, но также прежнее состояние его ума и даже — в неясном полусвете — то направление, которое принял его ум впоследствии. На этих пестрых страницах можно прочесть и то, каким был Гердер, и то, каким он потом сделался, и даже то, каким он мог бы сделаться, если бы ему в том не помешали. Они написаны самым негладким, самым небрежным почерком, представляющим резкую противоположность с ясным, твердым, сжатым и всегда ровным почерком, по которому никак нельзя догадаться о быстроте теснившихся одни вслед за другими слов, точек зрения, мыслей и замыслов. И самое изложение то расплывается, то суживается, то понижает, то возвышает тон сообразно с изменчи-

вой скоростью умственной работы и с различными степенями душевной теплоты. Но всего более характеристичны те места дневника, где слова сыпятся на бумагу точно падающие на землю густые снежные хлопья. Тогда нетерпеливо стремящиеся вперед идеи автора не позволяют ему приискивать нужные выражения и доводить до конца начатые фразы; тогда он прибегает к вопросам и к восклицаниям, а периоды заменяются отрывочными словами. У него так сильно желание выразиться ясно для самого себя, что у него не заметно и следов прежней привычки прикрывать даже простые мысли метафорами и намеками. Кроме того, на его способ выражения, очевидно, имел влияние и французский язык, с которым он старался освоиться. В особенности в тех случаях, когда ему приходится характеризовать французский склад ума, у него нередко попадают в текст французские слова. И к его дневнику можно отнести то, что он говорит о своих письмах, — что они «нередко бывают наполнены бестолковщиной» и что иначе быть не могло, «потому что, — говорит он, — я именно теперь нахожусь на пункте смешения двух языков, не будучи в состоянии отдать предпочтения ни тому, ни другому».

Всякий, кому желательно изучить Гердера, конечно, прочтет эти замечательные листки. Кто прочтет их только раз или только два раза, тому покажется, что он слышал потрясающую душу, беспорядочные и сливающиеся одни с другими аккорды Эоловой арфы, по струнам которой пробегает порывистый ветер. Попытаемся же яснее различить эти звуки и собрать аккорды в одно целое.

Прежде всего нам вполне понятно то сознание своей свободы, которым наслаждалась в течение шестинедельного морского переезда душа человека, еще так недавно томившегося под тяжелым гнетом! В течение всей своей жизни Гердер не позабывал впечатлений, которые вынес из этого путешествия. И через двадцать лет после того, во время своего путешествия по Италии в Анконе, в Неаполе и в Венеции Гердер вспоминал о нем и говорил об испытанном им в то время благотворном влиянии морского воздуха; даже в «Каллигоне» он пытался, на основании этих юношеских воспоминаний, описать разнообразные виды моря¹. Самые свежие доказательства глубины тех впечатлений можно найти именно в «Дневнике» и в тех письмах, которые Гердер писал в одно время с «Дневником». Он сам говорит, что, когда уезжал из Риги, он был точно в беспамятстве; он устремился на ко-

¹ *Dünßer B*, 68, 220, 394. *Kalligone*. III, 23 и сл.

рабль без книг и без мыслей, точно будто он бросился в постель, чтобы заснуть. Тогда-то он почувствовал громадную разницу со своим прежним положением и постарался уяснить для самого себя свои новые чувства. Он мысленно переносится в так быстро и так внезапно покинутое им положение, которое занимал в Риге, — переносится на кресло перед своим письменным столом, на церковную кафедру и на школьную кафедру, в общество тех людей, с которыми был близок, в более широкую сферу своих друзей и поклонников, своих завистников и врагов. А теперь он все это покинул и потерял из виду, теперь он точно будто оторвался от действительного мира и вольно носится в воздухе «по открытому, широкому морю в среде небольшой кучки людей... его окружают картины совершенно иной, живой и постоянно деятельной природы; он парит между пропастью и небесами, ежедневно окруженный все одними беспредельными элементами и лишь по временам останавливавший свои взоры на вновь появившемся облачке, на каком-то идеальном мире!» В письме к Гаману он говорит, что во время всего продолжительного, спокойного и поистине поэтического плавания он не мог делать ничего другого, как мечтать — но эти мечты были многозначительны и поучительны.

И на этот раз такие мечты облеклись у него в форму богатой идеями поэзии. Вслед за прощальной одой, о которой уже было упомянуто ранее, он написал во время морского переезда оду «Гений будущности»; в этом остроумном стихотворении развивается мысль, что человеческий ум, благодаря накопившемуся в нем прошлому житейскому опыту, способен читать будущее в самом себе «в волшебном зеркале своего моря»; оно наполнено отзвуками од Пиндара и, по словам самого Гердера, «вращается в сфере морских картин». Другие мечты, приходившие ему на ум на море, он записал в своем «Дневнике», но — как всегда случается с описываемыми мечтами — перепутал их с другими новыми картинами и размышлениями. Эти мечты касались физики, истории, психологии, педагогики и политики.

Мечты о физике были более других настоящими мечтами и яснее других указывали на то место, где возникли. Это — внезапные мысли человека, который, не обладая никакими познаниями по части естествоведения, давал полную волю своей фантазии, повсюду искавшей аналогии. Еще бывши ребенком, он мечтал о водном мире; теперь эти ребяческие идеи воскресли в его уме, и он придал им более определенности, подобно тому, как какой-нибудь Роджер Бэкон или какой-нибудь смелый схоластик

высказывал мнения и догадки, возникшие в детском возрасте естествознания из расследования сверхъестественных вещей, но все еще не выходившие из таинственной неясности. Он говорит, что вода — очень тяжелый воздух, и, развивая далее эту мысль, он задается вопросами, нельзя ли при помощи новых телескопов проникнуть взором внутрь этого сгустившегося воздуха и изучить на дне моря мир растений и животных, не имеют ли рыбы особых чувственных органов и потому испытываемые ими ощущения не должны ли быть совершенно другими, чем у животных, которые живут на суше, — и тому подобное.

Едва ли менее причудлив он и тогда, когда в массе плывущих сельдей видит историю перекочевывавших с места на место северных народов и вслед за тем высказывает разные игривые исторические мечтания. Он останавливается на фантастической идее, что прежде потоки перекочевывавших народов выходили из Азии, а впредь будут выходить из Америки и из Африки, и что на основании этой догадки можно с уверенностью Ньютона предсказать направление будущей литературы и всемирной истории. Такие любознательные люди, как Гердер, обыкновенно склонны к выдумкам и предсказаниям, потому что желают прогресса и увеличения сферы уже добытых знаний, а их смелые мечтания нередко оказывались настоящими открытиями и новыми научными идеями. И в основе смелой догадки Гердера лежит очень важная и плодотворная идея — идея аналога человеческой истории с природой и желание обозреть эту историю в ее цельности так, чтобы в ней было изображено всестороннее, изменчивое, разнообразное развитие человеческого рода, — так, чтобы она была «всеобщей историей развития мира». «Какое это будет великое сочинение, — восклицает он, — в котором будет идти речь о человеческом роде! о человеческом уме! о возделывании земли! О всех странах! временах! народах! силах! смешениях! личностях! Об азиатской религии, хронологии, полиции, философии! Об искусствах, философии и полиции у египтян! Об арифметике, языке и роскоши финикийян! О всем, что касается греков! О всем, что касается римлян! О религии, законах, нравах, войнах, понятиях о чести у северных народов! О временах папского владычества, о монахах, об учености! О северно-азиатских крестовосходах, пилигримах, рыцарях! О христианском и языческом возрождении учености! О блестящем веке Франции! Об английских, голландских, немецких выдающихся личностях! О китайской и японской политике! О естествознании нового мира! Об американских нравах и т. д... Какая обширная тема: человеческий род

не исчезнет, пока все это не будет исполнено! Пока гений просвещения не облетит землю! Это будет всеобщая история развития мира!»

Не случайно и не внезапно возникали эти мечты в праздном уме нашего мореплавателя: они исходили из глубины его души, вырастали из таких зародышей, которые уже давно там таились, а теперь начали пускать ростки. Натурализм бэконовской философии уже давно сталкивался в уме Гердера с немецким спиритуализмом, с желанием удовлетворить интересы нравственные и интеллектуальные. Из этого столкновения возникла идея о палингенезии, возникли основные понятия Гердера о теории искусства. Отсюда исходит его склонность к скептицизму, которая распространяется даже на понятие о добродетели в тех местах «Дневника», где автор беседует сам с собой, и которая — при воспоминании о его рижской подруге — о заставляет его сомневаться в необходимости отречения от природных влечений и от земного счастья, то наводит его на вопросы вроде следующего: разве законы о браке имеют какое-либо другое значение, кроме значения «второстепенных законов для размножения человеческого рода?» А мысль о «всеобщей истории развития мира» постоянно вертелась у него в уме; под названием «история человеческого рассудка» она с большей или меньшей определенностью служила подкладкой для всех его воззрений на историю языка, поэзии, литературы и религии различных народов. Теперь эта старая мысль лишь ярче прежнего осветилась и приняла более широкие размеры. С одной стороны, она заставляла Гердера обращаться к прошедшему, а с другой стороны, обращала его взоры на будущее. План всемирной истории, до сих пор представлявшийся уму Гердера в каком-то тумане, становится более ясным и начинает принимать более определенную форму; он впоследствии осуществится, сначала в «Древнейшем документе», а потом в «Идеях об истории человечества».

Менее фантастичны, менее смелы и неопределенны его мечты психолого-эстетического содержания. Чтобы отвечать на постоянно занимавшие его вопросы о психологическом происхождении религии и мифологии, вымыслов и веры в вымыслы, он извлекает указания из чувственных ощущений, из того, что он сам испытал во время плавания. Так, он стал тверже прежнего держаться за заимствованное им от Юма мнение, что страх — мать религии. Ему становится понятно, почему беспомощное положение мореплавателя среди угрожающих его жизни опасностей заставляет его прибегать к вере в богов и в предзнаме-

нования, к молитве и к соблюдению благочестивых обрядов, и почему его живая фантазия принимает многочисленные натуральные явления за содержание для мифологии. Ему становится понятно, почему мореплаватель, посещая новые страны и постоянно наталкиваясь на неожиданные приключения, чувствует влечение ко всему, что ново, странно, удивительно. Наконец, он объясняет, каким образом вера в удивительные приключения распространяется и укрепляется путем рассказов; затем он высказывает намерение «объяснить, каким образом зарождается в человеческой душе вера в чудесное и необычайное», и написать «логику для поэтических вымыслов», которую потом следовало бы проследить в ее применении ко всем временам, народам и видам поэзии; в связи с этим он даже помышляет — наперекор Юму и Мендельсону, Бернулли и Ламберту — о «теории вероятности», предполагая извлечь ее основу также из человеческой души. Это была его старая мысль о более тесной связи между логикой и психологией. И современная философия, которая была его любимой темой, представляется ему в новом свете, благодаря тому что он теперь может «философствовать без помощи книг и вспомогательных орудий, глядя на природу».

Но не эти эстетико-философские идеи, не эти мечты об истории литературы и о философии истории стояли в его уме на первом плане. В сфере его прежних идей было два центральных пункта, находившихся в связи один с другим; они назывались гуманной философией и историей человеческого ума. Во время своего пребывания в Риге он сосредоточивал на этих двух пунктах все свое внимание. Он стоял на точке зрения гуманной философии, когда обращался к рижским жителям со своими проповедями и увлекал их своим красноречием; но впечатление, которое он производил, не удовлетворяло его; он старался расширить эту узкую сферу деятельности и не был собой доволен ни в роли ревностного труженика, ни в роли проповедника, ни в роли собеседника и гражданина. Ему гораздо больше нравилось обращаться ко всей образованной немецкой публике в тех замечательных сочинениях, содержание которых мы потому-то и сочли нужным подробно анализировать и которые следует считать за приложения к истории человеческого ума. Теперь все это изменилось. Неприятности, которые приготовила ему эта литературная деятельность, отбили у него охоту продолжать ее, а с другой стороны, именно в ту минуту, как он расставался со своими прихожанами, со своими официальными должностями, со своими прежними согражданами, он понял, какие глубокие следы оставляла после

себя его деятельность в Риге, как сильна была его привязанность к этой деятельности и сколько было любви и уважения к нему в тех, с кем он расстался. Этим и объясняется совершившийся в нем переворот: он стал проклинать свои «Критические леса» и почувствовал желание возвратиться к тем практическим занятиям, которые прежде нередко казались ему обременительными. Может показаться странным, но вполне достоверен тот факт, что пока он жил в Риге, он искал вне этого города высшей цели для своих стремлений, а с тех пор как он покинул Ригу, ничто не казалось ему таким привлекательным, как надежда снова приняться за его прежнюю полезную, влиятельную и почтенную деятельность в среде рижского населения. Только теперь он сделался настоящим рижским гражданином и настоящим русским патриотом. Главной причиной такого переворота было то соображение, что по возвращении в Ригу он займет новое положение — уже не будет в зависимости от презираемого им директора, а будет стоять во главе особого заведения. Его привлекала новизна и в особенности отдаленность цели — такова была его натура, как он сам в том сознается. Оттого-то он, еще бывши ребенком, составлял разные планы, внушенные детским честолюбием. Оттого-то он в течение всей своей жизни никогда не довольствовался своим положением и всегда стремился к чему-то лучшему. Он не принадлежал к числу тех счастливых людей, которые умеют быть довольны тем, что имеют; но недовольство всегда заставляло его до крайности напрягать его лучшие душевные силы. Способность его ума возбуждать и в других умственную деятельность проистекала из его беспокойных стремлений к лучшему; а за ту славу, что он умел лучше всякого друга прокладывать новые пути и указывать новые цели, он поплатился мучительными сожалениями и мучительными желаниями — тем, что обманывался в своих ожиданиях и страстно увлекался своими мечтами.

Он не только усердно старается поддерживать личные связи, которые завел в Риге, — не только посылает, тотчас после прибытия в Гельзингёр, большой пакет писем к своим рижским друзьям и доброжелателям, не только утверждает, что «друзья, которые знают нас по нашей жизни», составляют ту настоящую публику, одобрение которой для него более ценно, чем одобрение рецензентов, — но вместе с теми письмами посылает рижскому сенату (т. е. членам городского совета и его секретарю Беренсу) начало «составленного им с пылким рвением и с полной свободой» плана улучшить церковную школу; в то же время он

излагает «ту точку зрения и те соображения», которые, по его мнению, «следует усвоить, для того чтобы сделать из прежней церковной школы такую, какой она в сущности должна быть». Даже свой «Дневник» он начинает тем, что с раскаянием вспоминает о том времени, когда жил в Риге; он говорит сам себе, что ему следовало довольствоваться его должностью при рижской школе, не поступать в церковные проповедники и не вступать на литературное поприще — что ему следовало сделать из себя «не чернильницу для писания ученых статей, а словарь искусств и наук, с которыми никогда не был знаком и в которых ничего не смыслит», что ему следовало пользоваться его скромным положением для основательного, правильного, и не скороспелого самообразования и, таким образом, пользоваться своим юношеством по-юношески. Но это были не более как призраки, создаваемые его фантазией, потому что все эти мечты об иначе направленном умственном развитии обнаруживают такую ненасытность требований и расширяются до таких неопределенных размеров, что невольно приходишь к такому убеждению: если бы он воротился в свое прежнее положение, он сделал бы из избытка своих гениальных идей такое же употребление, какое сделал в первый раз. Однако и эти призраки свидетельствуют о том, как сильно его влекло в ту самую среду, которую он только что оставил и из которой так часто желал вырваться. Еще яснее, чем из его скорбных воспоминаний, это видно из тех планов, которые он строил для будущего. То, чего он не сделал и не мог сделать в звании преподавателя при церковной школе, он хочет сделать в качестве будущего начальника дворянской школы. Он спешит составить для этой дворянской школы план полного преобразования; он подробно объясняет, в чем заключается «идеал школы», и наполняет этими объяснениями несколько листов своего «Дневника». Тогдашнее устройство дворянской школы служит лишь рамкой для его педагогических мечтаний: внутри этой рамки он дает полную волю своей фантазии и своей склонности к составлению разных проектов. В этом идеале школы он излагает с радикальной окраской все те основные воззрения на педагогику, которые возникли у него под влиянием рижской атмосферы, под влиянием его склонности к реализму и в связи с идеями Аббата и Миллера и которые уже были им публично высказаны в третьем сборнике «Отрывочных заметок».

Поэтому идеальная школа Гердера есть реальная во всех значениях этого слова. Она реальна главным образом по предметам преподавания и вообще в ней должна быть реальной система

преподавания. Здесь, по-видимому, применяется к педагогике все, что говорил Бэкон против бессодержательных отвлеченных идей, против той философии, которая спорит только о словах, — ведь основной принцип этого школьного плана заключается в том, что «вместо названий предметов нужны самые предметы, вместо безжизненных понятий — живые воззрения». Поэтому преподавание реальных наук составляет главную сущность того образования, которое «развивает в нас гуманность и которого достаточно на всю нашу жизнь»; а преподавание языков примыкает к реальному образованию как предмет второстепенной важности.

Преподавание реальных наук должно быть разделено на три ступени, а руководящей нитью при этом разделении должна быть психологическая точка зрения. Эти три ступени соответствуют возрастам детскому, ребяческому и юношескому, так как преобладающую умственную силу в первом возрасте составляют ощущения и чувства, во втором — фантазия, в третьем — рассудок и ум. Однако последовательное развитие этих душевных сил может быть до некоторой степени и одновременным. Поэтому наш педагог считает за «высшее искусство в преподавателе и за средство обеспечить человеку счастье на всю его жизнь», если душевные силы будут с юности равномерно развиваться и пропорционально расширяться, а такого результата можно достигнуть, если предметы преподавания будут на каждой ступени разделены на три группы. На нижней ступени — наглядное преподавание натуральной истории, живо рассказанные исторические события и глубоко прочувствованное преподавание катехизиса с гуманной точки зрения. По аналогии с этой тройственностью, в которой натура, история и отвлеченные понятия составляют три отдела, должно быть организовано преподавание и на ступенях второй и третьей. На второй ступени преподавание должно носить более научный отпечаток: натуральная история уступает место естествоведению, физике и тесно связанной с физикой метафизике; всеобщая история уступает место истории отдельных народов; наконец, преподавание религии переходит в прагматико-историческое объяснение религиозных понятий и Библии, не переставая быть гуманным преподаванием. Затем на третьей ступени совершается переход от опыта к умозрениям. Натуральная история, естествоведение, математика излагаются научным образом, получают систематический характер; история и география преподаются с политической и прагматической точки зрения; преподавание религии и гуманных идей возвышается до фи-

лософии — но до такой философии, которая является «результатом всех опытных наук», которая должна быть основана на психологии и, стало быть, должна обнимать эстетику, этику, политику и теологию, так что ученик, переходящий из такой школы в университет, будет снабжен познаниями энциклопедиста.

Что касается преподавания языков, то если бы мы и позабыли все, что было ранее говорено об этом предмете Гердером, нам все-таки нетрудно бы было догадаться, как теперь смотрел на это преподавание наш педагог при его реалистическом направлении и при его старании распространять гуманное образование. Он прежде всего требует, чтобы «не языку учили по грамматике, а грамматике учили по языку», а ближайший отсюда вывод тот, что основой для преподавания языков должно служить преподавание родного языка. Далее отсюда следует, что на первой ступени следует учиться родному языку и упражняться в нем не отдельно от прочих предметов преподавания, а в связи с ними. Хотя впоследствии преподавание немецкого языка в определенные часы и становится более самостоятельным, но все-таки оно должно сохранять постоянную связь с преподаванием реальных наук — ведь при изучении наук ученик должен учиться прежде всего говорить, а потом писать, должен изучать синтаксис и риторику, должен освоиться со всеми родами стиля: с описательным и с повествовательным, с трогательным и с философским, с практическим и с деловым.

После того как начато преподавание родного языка, следует преподавать французский язык, потому что он, по словам Гердера, самый легкий и самый правильный, самый употребительный в Европе и самый необходимый и наконец потому что «для нашего склада ума» он самый развитый; оттого-то «для нас» и необходимо изучать его даже прежде латинского языка. «Я желал бы, — прибавляет он, — чтобы даже ученые люди знали французский язык лучше латинского». В низшем классе преподавание начинается с «легкой болтовни» на французском языке. Во втором французском классе учат говорить и писать по-французски, а чтобы познакомить учеников с красотами и оборотами речи чужого языка, их заставляют читать произведения лучших французских писателей. В третьем классе это чтение и упражнения в стиле заходят в сферу критики и философии, и тогда приступают к изучению философской грамматики этого языка, который уже сам по себе философский.

Только после изучения французского языка, даже — еще лучше — и после изучения итальянского языка, приступают к изуче-

нию латинского. Но и здесь следует начинать не с разговоров, а с «живого чтения». Во втором классе развивают слог ученика на чтении римских историков и ораторов; в третьем классе следует еще глубже знакомить учеников с духом римского языка, присовокупляя к чтению других латинских произведений и произведения поэзии.

По этим настойчивым требованиям «живой наглядности» преподавания взамен «ни к чему не ведущего заучивания отдельных слов и фраз» мы узнаем в Гердере школьного оратора и автора «Отрывочных заметок»; однако то, что он писал в «Отрывочных заметках» и в «Критических лесах», не совсем согласно с его требованием приступать к преподаванию греческого языка лишь вслед за латинским и с его заявлением, что он еще не вполне выяснил для себя, как следует преподавать эти два языка; он не становится в противоречие со своими прежними воззрениями только в том, что и здесь говорит о необходимости начинать преподавание обоих языков с чтения лучших писателей. Уже ранее было нами замечено, что он постоянно колебался между новейшим образом мыслей и старым, между практическим реализмом и историческим идеализмом; но здесь одерживает верх первое из этих двух направлений. В истории ума «сообразно с требованиями нашего времени, нашего общества, наших нравов и языка» поэзии предшествует проза — поэтому чтению греческих поэтов должно предшествовать чтение прозаиков, несмотря на то что поэты явились ранее прозаиков. Наконец, преподавание еврейского языка Гердер ограничивает очень узкими рамками; он требует, чтобы к нему приступали как можно позже и чтобы довольствовались изучением еврейской грамматики.

Описывая свой идеал школы, Гердер точно будто стоит одной ногой на рижской почве и готовится приступить к исполнению своего проекта завтра или послезавтра. Он беспрестанно входит в самые мелкие подробности. Он не только указывает будущих преподавателей того или другого предмета, не только решает, что для изучения различных специальных предметов следует размещать учеников по различным классам, но даже устанавливает на бумаге, как велико должно быть число учеников, как должны быть распределены часы занятий, как следует контролировать занятия учеников, и входит в разные другие подробности. Однако, как ни кажется с виду законченным этот школьный проект, с ним случилось то же, что и с литературными проектами Гердера, которые с виду были так же точны, но никогда не приводились с точностью в исполнение. Способность Гердера изла-

гать систематический планы, очевидно, не находилась в равновесии с богатством его идей. Всякий желал бы, чтобы его преподаватель был проникнут таким же духом, какой сказывается в проекте Гердера, но мы имеем основание сомневаться в том, чтобы этот проект, столь определенный во многих подробностях и столь неопределенный во многих других, мог быть кем-либо применен на практике; да и его автор едва ли обладал необходимыми для такого применения практическими дарованиями организатора. Здание было задумано в таких широких размерах, что место постройки оказывалось слишком узким. Кроме того, мы встречаем и такие противоречия, которые непременно послужили бы непреодолимым препятствием для осуществления плана. Разве высокопарный идеализм Гердера, извлекающий для себя пищу из знакомства с жизнью греков и римлян и с историей человечества, не находится в противоречии с тем реализмом, представителем которого он желал сделаться и для которого было так мало задатков в его собственном образовании? Мы удивляемся и невольно улыбаемся, когда он нисходит со своих возвышенных целей к благоразумному взвешиванию внешних удобств и старается организовать свою школу так, чтобы она могла привлекать к себе лифляндских дворян, когда он вслед за изложением причин, почему следует отдавать предпочтение французскому языку, говорит, что видит в этом средство придать школе «блеск». И этого мало! Он прибегает к другому, еще более важному, приспособлению, которое резко противоречит основным соображениям нашего педагога. В конце своего «Дневника» он так выражает свою мысль о педагогической реформе: дело идет о том, чтобы «возвратить человеческой душе юность», так как наше время, к сожалению, старо, наш век — век опытности, полиции, политики, удобств и потому не может вдохнуть в душу юноши возвышенные идеи, не может придать ей оригинальность; отсюда само собой следует, что основой для воспитания должно служить то, что наглядно и конкретно. Но Гердер требует совершенно противоположного: при подробном описании своего идеала школы он всего более настаивает на том, чтобы молодых людей развивали сообразно с требованиями их времени. Он положительно высказывает намерение «применяться к требованиям своего времени» и потому желает, чтобы и устройство его школы было приспособлено к этим требованиям. Он неоднократно характеризует свой век такими словами: это такой век, «в котором господствует только дух коммерческой, финансовой и просветительной деятельности», это — век

экономических и материальных интересов. Само собой разумеется, что ему следовало бы постоянно придерживаться раз высказанных воззрений на его время, — но он не останавливается на них, а идет далее. С одной стороны, он требует, чтобы посредством воспитания были расширены рамки умственного развития и чтобы этому развитию было дано другое направление; с другой стороны, он сознательно старается придать своей школе отпечаток практически экономической полезности. Он хочет, чтобы из его школы выходили «самобытные гении», а в то же время старается внушать своим воспитанникам такое утилитарное направление, какое господствует в окружающей их сфере.

Нельзя сказать, чтобы не было никакой возможности устранить эти противоречия. Разве в «Республике» Платона не встречаются точно такие же противоречия? А когда какой-нибудь гениальный человек, как например Бэкон, принимал реализм за основу для своих воззрений, разве тогда не обнаруживалось, что этому принципу можно придавать всякое значение, что на него можно смотреть с двух сторон, смотря по тому, какая точка зрения будет преобладать — теоретическая или практическая? Но настоящую причину противоречий мы можем понять лишь тогда, когда проникнем в душу нашего прожектера. В этой душе таится идеальное стремление к улучшению человечества и вместе с тем жажда славы и успеха. Эти влечения перемешиваются одни с другими, вследствие чего старание приспособляться к духу своего времени извращает понятие о том идеале, который предполагается осуществить посредством воспитания. Кроме того, эта душа еще не отдает себе ясного отчета о созданной ею самой системе образования. Если школьный проект Гердера был, с одной стороны, вызван желанием удовлетворить ту потребность в образовании, которая существовала в Риге, то, с другой стороны, он был по своему содержанию выражением тех тенденций, которые бродили и сталкивались в уме его составителя. Гердер беспрестанно берет за точку исхода то, что касается лично его, и беспрестанно возвращается к ней. Он чувствует на самом себе недостатки прежнего обыкновенного образования и хочет предохранить других от этих недостатков. Он постоянно жалуется на то, что сам не получил такого образования, какого желает для других. Он сожалеет о том, что его сведения в естественных науках ограничены, что он учился языкам, латинскому и французскому, не так, как следовало, и сам признается, что его знакомство с древним миром недостаточно наглядно. Он желал бы возвратить своей собственной душе молодость и найти средство,

как сохранять ее. «Дела вместо слов!» — восклицает он, обращаясь к самому себе. Он главным образом желает сам проникнуться духом экономически-политическим и утилитарно-практическим. Иными словами, в его школьном плане выражается в резко определенных формах его собственный идеал образования в том виде, в каком он представлялся его уму именно в то время, когда его мысли находились в брожении и он был не доволен занятиями, за которые взялся. То же случается со всяким, кто после чрезмерного употребления сладкой пищи желал бы съесть чего-нибудь кислого или горького. Почти такова была и та умственная диета, которую Гердер наложил на самого себя и желал наложить на других как лучшее целебное средство. В основе всего, что говорит Гердер, лежит верный инстинкт, но при своем желании найти питательную пищу он не пренебрегает и такой, которая груба и плохо изготовлена; он не уяснил себе понятий о реализме и утилитаризме и смешивает их одно с другим так, что они сталкиваются, а его суждения о том, что способен выносить и переваривать его собственный умственный организм, совершенно неверны.

Впрочем, не было никакого основания опасаться, что эти влечения к реализму, внезапно отклонившие его от отвлеченных идей, могут совершенно заглушить в нем склонность к идеализму, которая лежала в основе его характера. Настанет время, когда он, отбросив всякое честолюбие или по меньшей мере воодушевившись более благородным честолюбием, будет протестовать против тех уступок, которые он теперь делал утилитарным стремлениям своего времени; настанет время, когда он будет восставать против этих стремлений с преувеличенной односторонностью именно потому, что сам прежде не в меру им предавался. Но даже теперь он придерживался утилитарного направления только во имя той «гуманной философии», которую не терял из виду даже в то время, как был всецело занят литературой и эстетикой. Мысль о гуманности как о конечной цели всякого здорового воспитания служит связующим звеном между его первоначальным идеализмом и внезапно вспыхнувшим влечением к реализму, эта мысль — второе заключительное слово в его идеале школьного устройства и образования.

Гуманное образование должно, по мнению Гердера, соединяться со всяким другим специальным и реальным образованием, должно служить для них мерилom и придавать им правильное значение. С проектом школы соединяется и проект «катехизиса гуманности»; в этом последнем проекте высказывается все то, чем

воодушевлялся Гердер во время своей деятельности церковного проповедника и духовного пастыря; в нем указывается связь между должностями школьного преподавателя и проповедника, которые Гердер надеется занять после своего возвращения в Ригу. Там идет речь о «книге для гуманного и христианского образования», о «катехизисе христиан для нашего времени». Гердер мечтает о такой популярной книге, которая и научала бы религии пониманию своих обязанностей и, придерживаясь христианского учения, обнимала бы все человеческие отношения, указывала бы во всех этих отношениях идеальную цель ни с чем не смешанной гуманности, старалась бы убеждать, возвышать ум, согревать душу. Она должна начинаться с объяснения, каковы природные физические и душевные свойства человеческой натуры и к чему должен стремиться каждый человек сообразно с этими свойствами; затем должна идти речь о системе общественного образования, сначала в общих чертах, потом в применении к положению различных сословий и к государственной жизни, далее в применении к искусствам, к наукам и ко всему, что украшает и разнообразит жизнь; в заключение должны быть пополнены все пробелы и должны быть преподаны возвышающие душу религиозные наставления. При этом автор слегка высказывает намерение внести гуманные понятия в содержание христианского учения и в христианский культ и приспособить их к точки зрения своего времени. Поэтому, чтобы составить такой гуманный катехизис, необходимо изучить прежде всего человеческую душу, а потом дух своего времени¹.

А разве для того чтобы изучить то и другое, не требуются опыт и практическое знание людей? Автор признает основательность таких требований, вносит их в свой гуманный катехизис и почти бессознательно переходит к новому проекту. Так как путешествие впервые доставило ему возможность изучать людей, то он «постоянно будет вращаться между людьми как путешественник». Он намеревался вести особый журнал, в который будет вносить свои наблюдения над людьми, извлеченные частью из его ежедневной жизни, частью из чтения книг. А это

¹ О гуманном катехизисе идет речь в путевом журнале на с. 191; сравн. 202, 210, 217, 219, 304 (SWS. IV, 368, 376, 381, 385, 387, 442). Впрочем, как кажется, еще в то время, когда Гердер жил в Риге, у него родилась мысль о гуманном катехизисе, и он произносил эти два слова. Ген писал Гадебушу 18 августа 1769 г.: «Мне кажется еще более правдоподобным, что, когда он приедет (т. е. когда Гердер возвратится в Ригу), гуманный катехизис будет позабыт» (Суфан, прим. к SWS. IV, 368).

намерение немедленно переходит у него в проект популярного сочинения под заглавием «Летопись сочинений для человечества» («Jahrbuch der Schriften für die Menschheit»). У него снова является старая мысль, лишь облеченная в новую форму, — мысль об издании нравоучительного журнала, написанного более благородным слогом, чем другие журналы. Целью журнала должно быть образование в лучшем смысле этого слова. Такой цели должно соответствовать и содержание, которое он слегка намечает в виде программы¹. Из всех сочинений, наук и искусств журнал будет извлекать только то, что «непосредственно касается гуманности, помогает понять ее значение», а потому в нем не следует помещать ни полемических статей, ни чисто ученых. Этот проект осуществился по прошествии многих лет в «Письмах о гуманизме» и иным способом в «Адрастее».

Однако, как бы ни были с виду несбыточными такие проекты реального и вместе с тем идеально гуманного образования, они получали в уме их автора конкретную, практическую форму, благодаря тому что имелась в виду и та почва, на которой придется их осуществлять. Сочиняя план новой организации школы, Гердер имел в виду «лифляндскую местную школу». Он намеревался «сделать национальное детище Лифляндии из того Эмиля, который изображен у Руссо таким гуманным дикарем»; его школа должна по мере возможности носить провинциальный отпечаток. Образованию лифляндцев он посвятит себя и в своем духовном звании; под своим руководством и благодаря своим усилиям он сделает из Лифляндии «колонию усовершенствованной протестантской религии». «Лифляндия, — пишет он, — такая провинция, которая досталась иноземцам. Многие из этих иноземцев пользовались ею, но до сих пор только на купеческий манер, с целью обогащения; мне, так же иноземцу, она предоставлена с более возвышенной целью — для того чтобы ввести в ней образование!»

Действительно, это — благородная цель! Гердеру она представляется во всем своем достоинстве и во всем своем объеме. Призвание ввести образование в Лифляндии кажется ему призыванием «реформатора», а образцами такой деятельности, не только педагогической, не только религиозной и душевспасительной, но и всесторонне просветительной, представляются ему великие не-

¹ См. этот очерк в LB. II, 490, 491; впрочем, там, на последней строчке, пропущено имя Кестнера, которое следовало поставить между именами Якоби и Гаттерера. В путевом журнале с. 188 и сл. (SWS. IV, 367 и сл.).

мецкие и швейцарские реформаторы, даже древние мудрецы и законодатели. Его ум заносится высоко; его сердце воспламеняется благородным желанием достигнуть такой возвышенной цели. Тому другу, который желал ему успеха без всякой зависти и от которого он ничего не скрывал, даже когда не в меру оберегал свое собственное достоинство и увлекался слишком смелым честолюбием, он писал: «Я тружусь для школы так серьезно и для человечества так благородно, что где бы ни осуществились мои планы и намерения, им всюду отдадут должную справедливость. Разве время Ликургов и Солонов, Кальвинов и Цвинглиев, основавших маленькие вполне счастливые республики, окончательно миновало и разве не может настать благоприятная минута для основания такого заведения, которое было бы рассадником образования и образцом для всего человечества, для современников и для потомства? Я не имею того, что вижу у всех других: я вовсе не чувствую потребности в удобствах жизни, имею лишь слабое влечение к наслаждениям и вовсе не знаком с корыстолюбием. Что же мне остается кроме полезной деятельности и общественных заслуг? К ним-то я с жаром стремлюсь, и мое сердце сильно бьется при мысли о таких благородных замыслах»¹. Эти слова написаны в его «Дневнике путешественника» в той беседе, которую он ведет сам с собой; но мы находим их отзвук и в его письме к другу; здесь он снова поощряет себя на попытку основать «республику для юношества» и восклицает: «Я живу в этом мире, но что же он мне даст, если я не приобрету бессмертия!» Он говорит здесь о республике для юношества, а на деле оказывается, что учреждение задуманной им школы должно служить для него только первым шагом и опорой для введения более широких реформ; с желанием сделаться «гением Лифляндии» он соединяет не только гуманные планы для народного образования, но и такие планы, которые носят очень определенный политический отпечаток.

В его замечаниях о тех странах, мимо которых ему пришлось плыть, видна незрелость мыслей; он сам называет их «политическими мечтаниями на море». Например, несмотря на то что он был прусский уроженец, как невысоко он ценил величие прусского короля, которое кажется ему в сущности отрицательным! до какой степени это величие скрывается от его глаз антипатичным для него пристрастием короля к французской философии и к французской литературе! каким бессмысленным должно ка-

¹ К Гарткноху (LB. II, 75).

заться нам сравнение этого короля с Пирром и вытекающее из этого сравнения предсказание, что Пруссия тогда только будет счастлива, когда будет разделена на части! Гердер был немного лучше подготовлен к тому, что говорил о характере голландцев и о неизбежной гибели тех государств, в которых все зиждется на торговой предприимчивости, — он прочел в Каттегате книгу «*Sur le commerce de la Hollande*»¹; об Англии он не нашел повода высказать что-либо достойное внимания, но о политическом положении Риги он говорит на основании того, что сам испытал и видел. Еще во время плавания он вел с Беренсом разговор о своих проектах реформ для Риги². Он рисует печальную картину рижских политических порядков. Он находит, что тогдашние городские учреждения похожи на гермафродита, что это — мнимая республика, в которой не преобладает ни настоящая свобода, ни безусловная готовность к повиновению, в которой все в войне со всеми и в которой существует бестолковый антагонизм между городскими должностными лицами и коронными. Он полагает, что такие порядки не могут долго продержаться. Он сам, после возвращения в Ригу, будет не городским чиновником, а коронным. Тогда ему представится возможность взять на себя роль посредника между двумя борющимися властями; его голова наполнена проектами политических реформ, которые все сводятся к одной цели — к тому чтобы упрочить за городом обладание его привилегиями посредством введения более прямой зависимости от центрального правительства. Он надеется, что его идеи встретят одобрение и задуманные им реформы осуществляться при содействии его друзей и благодаря его связям с представителями как городского, так и центрального правительства!³ Наконец, он высказывает свои надежды, желания и замыслы с такой горячностью, с такой торопливой опрометчивостью, что доходит до восклицания: «Быть может, мне когда-нибудь удастся шепнуть словечко на ухо императрицы!.. в этой надежде я постараюсь развить в себе способность выражаться, смотря по надобности с хладнокровием или с жаром, постараюсь развить в себе умение излагать мои мысли со спокойной ясностью, к которой лишь позже приходит на помощь энтузиазм... как жаль, что я взялся пи-

¹ Это видно из рукописной заметки Гердера; сравн. в путевом журнале с. 254 и SWS. IV, 409 с относящимся сюда прим.

² Густав Беренс к Гердеру, Бордо 16 декабря 1769 г. (LB. II, 133).

³ На трудности, с которыми сопряжено введение реформ в Лифляндии, он указывал через два года после того в рецензии (помещенной в: *Allg. Deutsche Bibl.* XVII, 609) на сочинение «К публике лифляндской и эстляндской».

сать „Критические леса!..“ Я по мере моих сил буду избегать литературной деятельности и приучаться к деятельности практической! Как буду я велик, если сделаю из Риги счастливый город!»

Шепнуть словечко на ухо императрице! На этой мысли он немедленно сосредоточивает свои душевные силы, и она незаметным образом превращается в план преобразования рижского дворянского училища и рижских городских учреждений, и даже в более смелый план направить все русское государство на новый путь к просвещению. Уже не в первый раз приходит ему эта мысль. Своему другу Бегрову он говорил о ней, еще живя в Риге, а теперь сообщил ему письменно о своем намерении издать сочинение политического содержания, между тем как в письме к Гарткноху лишь неясно намекал на сочинение, которым он удивит весь мир¹. Главным стимулом для такого предприятия была законодательная деятельность Екатерины. Теперь, т. е. в конце его пребывания в Нанте, он с пылким рвением приступает к делу под влиянием известия о победах, одержанных русской армией над турками. Императрица задумала издать для всей своей обширной империи новый подробный свод законов, который предполагалось составить по указаниям разума, в духе господствовавших в то время французских философских понятий о просвещении, для чего и было приказано собрать на совещание избранных представителей от всех провинций империи: разве такой патриот и такой апостол гуманной философии, каким был Гердер, мог относиться к такому начинанию без самого пылкого энтузиазма? Взоры всей Европы были устремлены на пестрое собрание народных представителей, открывшее свои заседания в Москве в августе 1767 г.; даже после того, как над этим публичным зрелищем был опущен занавес и составление свода законов было возложено на комиссию из небольшого числа членов, все с напряженным вниманием ожидали результатов этой законодательной работы. Тем временем произошли более ярко бросавшиеся в глаза и более громкие события, которые еще сильнее приковали к себе общее внимание и покрыли императрицу новой славой, удовлетворявшей ее честолюбие лучше и полнее, чем что-либо другое. Еще в октябре 1768 г. Порты объявила России войну, а во время кампании 1769 г. успех был решительно на стороне русской армии, несмотря на ошибки ее начальников. После уничтожения одной части главной турецкой армии при Хотине эта кре-

¹ Сравн. выше, с. 437, 438. См. замечательное письмо к Бегрову: LB. II, 84 и сл.

пость в сентябре того же года без сопротивления сдалась русским, которые вслед за тем без больших усилий завладели Молдавией и Валахией. Так же успешно шли дела на театре военных действий в Азии; там генералы Тотлебен и Медем принимали от имени своей императрицы изъявления покорности от народов, живших в Армении, в Грузии и в стране черкесов. Наконец, русский флот отплыл из Балтийского моря в Средиземное с целью подать грекам сигнал к восстанию и вступить в борьбу с морскими силами турецкого султана. Национальное самолюбие и патриотические чувства русского народа достигли своего апогея ввиду таких успехов и такой отважной предприимчивости. Патриотизм Гердера также воспламенился и нашел для себя выражение в фантастических грезах. Отвага русских замыслов нашла отголосок в его пылком темпераменте, в его сильно возбужденной фантазии, и он связал свои гуманные желания с варварской завоевательной политикой, ничем не стеснявшейся в выборе средств. Разве и в душе Екатерины не соединялось проповедуемое философами человеколюбие с самым беззастенчивым честолюбием и с ненасытной жаждой владычества; разве Вольтер и Дидро не находились в переписке с Екатериной и не прославляли эту императрицу-философа? Гердер был энтузиастом еще более Вольтера и Дидро; сверх того он был русским подданным; стало быть, с его стороны было естественно желание приобрести влияние на замыслы императрицы и иметь какую-нибудь долю участия в ее славе. Итак, ввиду блестящей перспективы, которая открывалась перед Россией, он задумал написать политическое сочинение, в котором описал бы дела Екатерины в том свете, в каком они представлялись его взорам. Это сочинение он хочет написать пылким слогом Руссо и с блестящим остроумием Монтескье на немецком языке или — если это окажется необходимым — на французском. Быть может, ему улыбнется фортуна, так же как она улыбнулась Вольтеру, и любимец императрицы Орлов подсунет ей сочинение Гердера, сказавши, что оно написано каким-то неизвестным путешественником! Он начнет с законодательной деятельности императрицы и затем перейдет к другому сочинению, более важному по своему содержанию. Образцом будет для него служить не система Монтескье, а его метода. Монтескье — на которого сама императрица ссылалась в своей инструкции, составленной для законодательной комиссии, — писал о духе законов; а Гердер будет писать о духе законов специально по отношению к России; он будет приравнивать к России идеи Монтескье; вместо метафизики законодатель-

ства он напишет метафизику образования, которая будет носить приблизительно такое заглавие: «О культуре народов и в особенности России». Он старается уяснить для самого себя основную мысль своего будущего сочинения частью при помощи критических указаний на слабые стороны законодательной деятельности Екатерины, частью при помощи критических замечаний о книге Монтескье. Он упрекает французского философа в том, что тот выводил свои общие мнения и положения из недостаточного числа положительных фактов, что тот не придавал надлежащей важности указаниям опыта, что тот недостаточно придерживался исторической точки зрения, что тот не обращал достаточного внимания на постепенное развитие народов, на их нравы и законы. Следует иметь в виду не столько законы, сколько нравы и обычаи, а потому самым полезным было бы изучение диких и полудиких народов, у которых только что начинается цивилизация; из бессознательных врожденных влечений народа возникают сознательно составленные законы (в этом мнении ясно виден последователь лейбницевской философии), которые не что иное, как изображение врожденного народного характера, и остаются в силе, пока он не изменится. Заблуждения царственной законодательницы Гердер ставит в вину французскому философу. Увлечшись формулами, в которых этот философ выражал свои мнения, Екатерина смотрела на свое государство как на монархию, между тем как оно явно клонилось к водворению произвола, а потому она, в качестве верной последовательницы Монтескье, вздумала все основать на мотивах чести, между тем как русской натуре свойственны раболепный страх и склонность к деспотизму. Сверх того, она придавала законодательству слишком большое значение и влияние, вместо того чтобы иметь в виду главным образом улучшение нравов, и т. д.

В бумагах Гердера сохранилось немало заметок, которые служили подготовкой к задуманному им политическому сочинению¹. Однако именно в этой подготовке мы распознаем причину, почему сочинение не было написано. Даже его титул — «О культуре народов и в особенности России» — обнаруживает неопре-

¹ Сюда принадлежат напечатанные в LB. II, 350—356 (а теперь в SWS. IV, 464—468) «мысли при чтении Монтескье» вместе с ненапечатанным (наполняющим девятнадцать часто исписанных страниц в четвертую долю листа) извлечением из «*Esprit des lois*»; кроме того, напечатанные в LB. II, 478—485 заметки «об образовании народов», которые продолжаются в LB. II, 337—349. Связь между этим началом и продолжением восстановлена в SWS. IV, 469 и сл. Наконец, сюда же принадлежат напечатанные в LB. II, 485—489 наброски для статьи об образовании народов.

деленность плана. Гердер постоянно имеет в виду Россию, но эта точка зрения служит для него лишь средством наглядно развить более широкую мысль. Дело в том, что именно Россия представляется ему самой удобной страной для введения национального образования, что Россия столько же способна к цивилизации, сколько нуждается в ней, и что именно там пытались вводить национальную педагогическую программу сначала Петр Великий, а потом Екатерина. Гердер находит там широкую сферу для применения своей точки зрения на педагогику, своего учения о том, что следует возвратить человеческой душе юность. Его идея о народном образовании согласуется с его идеей об образовании каждого человека в отдельности, а обе эти идеи снова согласуются с его воззрениями на древность языка и поэтических дарований, с его требованием, чтобы поэзия отказалась от подражаний и искала в первобытной национальной поэзии средства для того, чтобы снова сделаться юной и самобытной. В состарившейся Европе Россия представляется ему еще юношески-здоровой страной, и ему кажется привлекательной задача, как развить силы юношеской полудикой нации, как сделать из нее «оригинальный народ». Увлекаясь своей фантазией, он, между прочим, говорит: «Украина сделается новой Грецией; прекрасное небо, под которым живет тамошний народ, веселый нрав этого народа, его природные музыкальные способности, его плодоносная почва и т. д. разом окажут свое благотворное влияние; из таких же мелких диких племен, какие когда-то населяли и Грецию, образуется цивилизованная нация; границы ее владений расширятся до берегов Черного моря, а оттуда по всему миру!» Он, очевидно, сам не замечает, до каких нелепостей доходят его замыслы и грезы. Преобразователь Риги уже воображает себя преобразователем России; из преобразователя-педагога он превращается в преобразователя политического, а из политического преобразователя одного города он превращается в политического преобразователя обширной империи, «в законодателя царей и королей». Его грезы, точно гигантских размеров тени, переходят с узкой лифляндской сферы на всю Россию, а оттуда на весь земной шар; дух новой культуры, который должен возникнуть на Востоке, «перейдет в Европу, погруженную в усыпление, и подчинит ее своему господству!» В этих проектах умственных завоеваний, о которых мечтает наш политик-идеолог, как будто отражаются и стремление русского народа к завоеваниям, и политика императрицы.

Но то, чем занят ум Гердера, не ограничивается одной политической — он занят философией истории! Записка, которую Гердер хо-

тел приготовить для Екатерины и которую он предполагал окончить в самом непродолжительном времени в Голландии или в Англии, превращается в план «обширного сочинения», которое должно занимать его в течение всей его жизни; содержанием для этого сочинения снова служат те грезы о философии истории, с которыми мы уже познакомились в другой части «Дневника» и из которых должно выйти сочинение «о культуре всех стран, всех времен, всех народов, всех сил, всех видов» — должна выйти «всеобщая история всемирного образования». Содержание этого произведения действительно было бы необозримо и неистощимо! Ведь в него должны были стекаться, как в океан, бесконечные исследования всякого рода. «В него должны входить, — как говорится в «Дневнике», — история, воспитание, психология, литература, древность, философия, политика, язык, законодательство, изящные науки, общественная жизнь, обычаи, искусства, моды, названия — словом, всё!» Это — сочетание двух основных идей Гердера — гуманной философии и истории человеческого ума; оно представляет собой самую законченную формулу для характеристики умственных влечений Гердера. В «Идеях об истории человечества» эта формула представляется нам в своем полном развитии.

Впрочем, все эти идеи пока сводятся к практической цели — к деятельности педагогической и политической. Гердер неоднократно уверяет своих друзей, что «его ученый склад ума изменился». Он настойчиво противопоставляет будущее «обширное сочинение» своим прежним сочинениям, которыми он «обидел знатоков дела»; он говорит, что добрый гений убедил его отказаться от прежней деятельности и заняться новым «обширным сочинением». Но правда заключается в том, что он сам не отдает себе ясного отчета в характере своих стремлений к деятельности, в свойстве своих разнообразных идей и в целях своего честолюбия. Хотя он нередко заявляет, что хочет отучиться от склонности к литературной деятельности, что «хочет посвятить себя цивилизации живого мира», что хочет принудить себя «на все смотреть с точки зрения политики, государственных интересов и финансов и хочет освоиться с духом законодательства, торговли, полиции», тем не менее во всех этих практических проектах и намерениях ясно виден идеолог и теоретик. Было очевидно, что этот человек никогда не сделается государственным человеком, что он никогда не будет влиять на общественное устройство иначе как издали — словами и сочинениями, литературным путем, распространением таких идей, которые всего сильнее воодушевляют человека. Даже каждая из его идей превращается, по-

мимо его воли, в заглавие сочинения, которое следует написать и за которое он сам намеревается взяться. Хотя он и досадует на то, что его голова превратилась в «шкап, наполненный бумагами и книгами», все-таки эта голову похожа на библиотеку, наполненную будущими сочинениями. Кроме своего «обширного сочинения», кроме гуманного катехизиса и летописей немецкой литературы для изучения человечества, он помышляет о догматике, о гомилетике, об истории церкви, о жизнеописании Иисуса, о переводе Библии, об особом сочинении касательно юношества и старости человеческой души. Хотя все это и имеет некоторую связь с его проектами педагогического и политического содержания, но нас нисколько не удивляет тот факт, что после того как эти проекты рушились, их основной идеальный мотив уцелел и пережил честолюбивые мечты Гердера о непосредственной практической деятельности.

Нет, этому человеку, очевидно, было суждено сделаться не государственным человеком, а писателем. Это доказывает нам еще другое соображение, основанное на знакомстве с содержанием его «Дневника». Из всех идей, какие там развиваются, самыми зрелыми оказываются те, которые, лишь слегка касаясь сферы политической и национально-педагогической, примыкают к содержанию «Отрывочных заметок о литературе». Все, что говорит Гердер, стараясь охарактеризовать французов и французскую литературу, прекрасно сказано. В этом случае Гердер разом превращается из русского патриота в немецкого. Несмотря на его сильное влечение ко всему общечеловеческому, несмотря на его намерение «пробудить человечество из усыпления» и ввести новую юношескую культуру, здесь ясно проглядывает в связи с этими идеальными мечтаниями такая же привязанность к Германии, какая заметна в его первых «Отрывочных заметках». Во Франции еще сильнее, чем где-либо, бьется его немецкое сердце. В одном письме к Гаману он говорит: «Теперь я живу в Нанте, где изучаю французский язык, нравы и склад ума, но не стараюсь их усвоить, потому что чем ближе с ними знакомлюсь, тем более они меня отталкивают». В другом письме, написанном уже из Парижа (к Николаи), он говорит, что его патриотическая привязанность к Германии усиливается тем больше, чем он дальше от нее и чем дольше ее не видел, между тем как у других людей, живущих далеко от отечества, такая привязанность слабеет; он только для того и скитается по чужим краям, чтобы потом с большей пользой и вполне посвятить себя своему отечеству. Он неоднократно насмехается в своих письмах над теми молодыми

людьми, которые возвращаются из своих поездок в Париж французскими фатами; именно с целью дать хороший урок этим поклонникам Франции, с которыми ему не раз случалось сталкиваться в Риге, он написал пастору Герике в Ригу то, к сожалению, утраченное письмо, в котором он описывал французов, французские порядки и французские вкусы¹. Он писал Гарткноху, что, подобно изгнанникам, жаждал услышать чей-нибудь голос из своего отечества; подражать французам он еще не научился, но собрал достаточно материалов для нового отдела «Отрывочных заметок». Эти материалы, предназначенные для продолжения «Отрывочных заметок», находятся в «Дневнике»; на них-то мы и должны, в заключение, остановить наше внимание.

Основная точка зрения, с которой смотрит наш гениальный наблюдатель на умственное направление французов, находится в связи с его идеями о юности и старости человеческой души. Он видит во французах устаревшую нацию, которая сядет на мель на своей преувеличенной утонченности нравов и на своем просвещении, остановившемся на одном пункте, — подобно тому, как это было в древности с греками. Эпоха французской литературы миновала; богатая жатва уже собрана, а теперь все живут только на развалинах прошлого; знаменитая энциклопедия и другие тому подобные сборники доказывают, что производительная деятельность ослабела. Даже об оригинальных достоинствах эпохи Людовика XIV составилось неверное понятие. Французы, без сомнения, многое заимствовали от итальянцев и от испанцев, у которых гораздо больше изобретательности, гораздо больше естественности и гениальности, а сами французы к этому прибавили, в сущности, только «то, что мы называем изящным вкусом». Их более хладнокровный образ мыслей, их язык, более годный для выражения философских идей и более развитый для выражения отвлеченных понятий, дали им возможность умерить пылкость испанцев и итальянцев — но, устраняя то, что им казалось причудливым и грубоватым, они устранили и то, что было нежно, трогательно и комично; подчиняясь требованиям более холодного здравого смысла, они утратили пылкость воображения и стали впадать в аффектацию. И во французской литературе стал господствовать тот принцип чести, которым Монтескье характеризовал сущность монархии, т. е. монархии французской. Этот принцип, в котором отражается дух монархических обычаев, дух придворных нравов, господствует

¹ LB. II, 39.

во французском языке. «Некоторое благородство мыслей, некоторая свобода выражений, вежливость в словах и в обхождении — таков отпечаток как французских нравов, так и французского языка». Гердер старается доказать основательность этого мнения на некоторых отраслях литературы, в особенности на философии и истории, и на произведениях некоторых писателей. Он берет для примера произведения Вольтера и Руссо. Цель этих писателей заключалась не столько в отыскании истины, сколько в желании «отличиться» и этим способом прославиться. «Вольтер тщеславен и дерзок, Руссо горд и кичлив, первый уверен, что никто не может с ним равняться, и отделяется только остроумием, второй отделяется невыносимыми, еще никогда неслыханными оригинальными мнениями и парадоксами». Гердер старается проследить в самых разнообразных проявлениях это кокетство французского стиля, представляющее резкую противоположность с безыскусственностью и с «бурными порывами языка истины и чувства». Он указывает как на резкие отличия французского языка от немецкого, так и на резкие отличия французского языка от греческого, который так же не был знаком с этими «благопристойными оборотами речи», с этими «светскими любезными фразами», — чем и объясняется совершенное несходство греческой трагедии с французской, которая постоянно употребляет натянутые выражения. Автор усматривает это стремление к благопристойности во всех чертах французского характера и в складе французского ума и приписывает его происхождение к природным свойствам французов, средневековому феодальному духу, влиянию итальянских и испанских нравов, обычаям, господствовавшим при дворе Людовика XIV. В этой характеристике французских нравов встречаются такие удачные и остроумные обороты речи, такие эпиграмматические колкости, каких мы не находим в других сочинениях Гердера. В результате оказывается, что с этими нравами не может симпатизировать его немецкая натура; однако в то время, как он их изучает и описывает, он сам заражается ими и подчиняется их очарованию. Он обрисовывает их отчасти так же, как стал бы обрисовывать француз; благодаря гибкости своего ума, он сам делается французом в обхождении с французами. Вследствие того, что ему приходится выражаться то по-немецки, то по-французски, он не только ведет речь о лакейской литературе, об *honneur* и *honnêteté*, о *gaieté* и *politesse*, не только сам начинает употреблять французскую конструкцию фраз и французские обороты речи, но, например, даже объясняет неудовлетворительность французской филосо-

фии свойствами французского языка. Вследствие изобилия своих отвлеченных терминов, говорит он, этот язык мешает глубже проникать в объективную истину: «философия французского языка мешает философии мыслей». Конечно, говорит он далее, это философский язык, но «французы должны бы были писать на нем не для французов!» Эти слова, бесспорно, остроумны, но они лишь так же «приблизительно основательны», как, по мнению Гердера, «приблизительно основательна» французская философия; а в то время как Гердер высказывает свои порицания, он находится вынужденным ухаживать за теми, кого порицает.

Ко всем прежним противоречиям следует прибавить еще одно, совершенно новое! Тот самый человек, который принимается с горячим рвением за изучение французского языка и требует, чтобы в его школе этот язык преподавался прежде латинского и греческого, однако чувствует такое отвращение к этому поверхностному языку, к его удобопонятности, к его искажениям ради требований светскости, что теперь снова отдает предпочтение употреблению латинского языка в ученых сочинениях. Мало того, тот самый человек, который судит о французской литературе почти так же, как Клопшток или как Лессинг, однако подчиняется чарующему влиянию ума и слога именно тех писателей, слабые стороны которых он так строго и так метко осуждал. Это почти такое же противоречие, как между его желанием вводить экономически-практическое образование и его тенденцией направить образование на иной путь. Оно лишь служит для нас наглядным доказательством подвижности и живости, богатства и многосторонности его природных дарований. У него нет ни того пристрастия, которое происходит от умственной ограниченности, ни того, которое происходит из цельности характера. Вот почему он будет поддерживать протест Лессинга против зависимости немецкой литературы от французской, но в то же время будет отдавать справедливость блестящим сторонам французского ума, будет переходить с одной точки зрения на другую и этим способом вносить более беспристрастия в смелый и решительный приговор, который был произнесен Лессингом.

В связи с умственной подвижностью Гердера находится и тот факт, что он умел извлекать более или менее пользы для своего собственного образования даже из изучения такой специальной литературной сферы или такого писателя, которые внушали ему отвращение и вызывали резкое порицание. Например, он многому научился и не переставал учиться, читая произведения Монтеня, Вольтера и Дидро. Он критиковал сочинения Томаса, Кле-

мана, Мармонтеля, однако умел наслаждаться прелестью их слога и намеревался заимствовать ее у них. Мы уже слышали его неодобрительный отзыв о Руссо — однако он когда-то сильно увлекался этим писателем и отчасти был ему обязан своей неискоренимой склонностью к мечтательности! Едва ли можно вполне согласиться с мнением того даровитого автора истории литературы, который отвергает сильное влияние Гамана и считает Руссо настоящим руководителем юношеского развития Гердера¹. Это мнение, если мы не ошибаемся, преувеличено в том отношении, что оно приписывает влиянию Руссо даже то, что было последствием врожденного сходства характеров — сходства двух писателей в их манере чувствовать, мыслить и действовать или в их подчинении тому, что можно назвать заразительным духом их времени. Из имеющихся у нас документов ясно видно, что чтение произведений Руссо воодушевляло восемнадцатилетнего Гердера в начале его студенческих занятий и даже вредно влияло на него²; но те же документы не позволяют нам сомневаться в том, что юноша перестал односторонне увлекаться произве-

¹ Геттнер. История литературы восемнадцатого столетия. III, 3, а (в главе о Гердере).

² К доказательствам, которые приводит Геттнер в подтверждение своего мнения, можно прибавить немало других. Стихотворение «Грудной младенец» (LB. I, 1, 241) написано под непосредственным влиянием чтения «Эмиля»; его происхождение совершенно неверно указано в «Воспоминаниях» (I, 33). Упомянутое выше, на с. 36, стихотворение «о человеке» развивает мысли Руссо и превозносит этого писателя; одно выдающееся место из этого стихотворения приведено Суфаном (SWS. I, 547). В другом стихотворении говорится, что «исполненный божественного чувства» Руссо смотрит на муравьиные забавы людей, а у поэта кружится голова, когда он смотрит на Руссо. В одной из записных тетрадок, относящихся ко времени студенческих занятий Гердера, значится в числе различных проектов для сочинений в прозе и такой проект: «Об изобретении различия между тем, что мое и что твое»; при этом сделана приписка, что это сочинение должно быть написано согласно с мнениями Руссо. В статье о первом богословском сочинении Гердера (*Zeitschrift für deutsche Philologie*. T. VI. С. 174, прим.). Суфан сообщает, как Гердер распределял часы своих занятий для одного из первых кёнигсбергских семестров: он и начинал и оканчивал день чтением произведений Руссо. Следы этого чтения видны в наполняющем несколько листов извлечении из «Эмиля» и в переводе одного места из «Элоизы» (касательно самоубийства), которое Гердер называет «образцом потрясающего душу красноречия»; кроме того, мы могли бы указать немало других упоминаний Гердера о его любимом авторе. Между более старыми сочинениями Гердера всех сильнее отзывается влиянием Руссо статья о том, как сделать философию полезной для народа (LB. I, 3, а, 207 и сл.; см. в особенности с. 223); выше, на с. 55, уже было указано, в чем влияние Канта взяло верх над влиянием Руссо.

дениями Руссо очень скоро — еще в первые годы своего пребывания в Риге¹. Юм лучше всякого друга объяснил ему, что натуральное состояние, которое превозносил Руссо, не что иное, как химера, и что человеку от природы предназначено развивать себя для общественной жизни. Чтение произведений Руссо не могло возбуждать в нем влечений к естественному и первобытному более сильно, чем влияние Гамана, а рано пробудившаяся в нем склонность на все смотреть с исторической точки зрения, конечно, не могла быть внушена теми произведениями. Гердер сходил с Руссо в широком понимании гуманности и в проистекавшем отсюда требовании гуманного воспитания; он имел много общего с Руссо по своей восприимчивости, по пылкости своих чувств, ниспровергавшей все встречавшиеся на пути преграды, но он очень скоро разошелся с мнениями Руссо и зашел гораздо далее их. Гердер не понимал, каким образом женеvский гражданин мог сделать из «расплывшейся полноты чувств» принцип для фанатически последовательного и монотонно изложенного учения, а потом сделал из него мотив для такой же монотонной и растянутой поэзии. Но зато его собственная полнота чувств навела его на ясное понимание натуры и истории, смысла гуманности, отличительных особенностей каждого народа и индивидуума, языка и поэзии, религии и нравов — она послужила для него той почвой, на которой все его мысли находили для себя более или менее верный отголосок. Основная мысль французского писателя встречается и у Гердера, но у этого последнего она является в новом виде — гораздо более глубокой и правильной и потому едва узнаваемой. Этим объясняется и то, как отзывался Гердер об авторе «Эмиля» с половины 60-х годов. Величие Руссо как писателя для него по-прежнему бесспорно. И увлекательное красноречие Руссо, и его очаровательный слог, и взрывы его чувствительности производят на Гердера неотразимое впечатление, в особенности когда он начинает перечитывать «Новую Элоизу». Он чувствует симпатию к Руссо как человеку и защищает этого «старого школьника» против всех «всеведущих бездельников». В качестве автора «Эмиля» Руссо представляется ему великим наставником в деле распространения такого воспитания, которое постоянно приспосабливается к врожденным человеческим свой-

¹ К Шеффнеру 31 октября 1767 г. (LB. I, 2, 290): «Мое философское, дидактическое стихотворение, написанное для Канта, было отрывкой желудка, не в меру наполненного тем, что я вычитал у Руссо». К Канту (Там же. 297): «Юм мне менее нравился, потому что я все еще увлекался произведениями Руссо; но с тех пор, как» и т. д.

ствам, которое неопрометчиво и ничего не навязывает насильно; но он совершенно расходится с Руссо в другом отношении: в том, что касается воспитания для общественной жизни, говорит Гердер, «Руссо не может служить руководителем». Он берет сторону Руссо против тех, кто говорит о просвещении как о конечной цели, к которой мы должны вечно стремиться; но он считает столько же безрассудным стремление назад к тем временам, «которые уже миновали». Он не хочет, чтобы ему клеветали на настоящее время и внушали ему отвращение к этому времени; он восстает против нечеловеколюбивой сентиментальности, которая развивается от привязанности к таким вымыслам. В заключение Гердер не видит возможности пользоваться тем, что находит у Руссо великого, хорошего и изящного, — именно потому, что у Руссо постоянно проглядывают французское честолюбие и желание отличиться. В этом и заключается то, «что портит сочинения Руссо, что заставляет его считать самые обыкновенные вещи новыми, малые — великими, истинные — ложными, а то, что ложно, выдавать за истину. Этот писатель ничего не говорит просто; у него все ново, поразительно, удивительно; вот почему, все, что прекрасно само по себе, представляется у него в преувеличенном виде, а то, что истинно, становится у него пошлым и перестает быть истинным». Исправлять его заблуждения не стоит труда, а его идеи «при всем своем величии неприменимы или вредны вследствие ложного направления его ума».

И в более позднюю пору своей жизни Гердер постоянно был такого же мнения о Руссо, отдавая справедливость тому, что было хорошего у этого писателя, порицая то, что у него было дурного, и лишь по какому-нибудь случайному поводу признавая перевес хорошего над дурным или наоборот¹. В сущности, он свел свои счета с Руссо ранее, чем с которым-либо из тех извест-

¹ Самые сильные нападки на Руссо — которого он причисляет вместе с Вольтером, Дидро, Гельвециусом, Юмом к категории философов, просветителей и «мудрецов своего века», — встречаются, как мы это увидим в следующей книге, в сочинениях бюкебургского периода; однако и тогда еще заметны у Гердера его старинная привязанность к проповеднику чистой гуманности и его горячее сочувствие к писателю и поэту. Сравн., напр., переписку Гердера с его невестой (*Dünßer A*, III, 21, 48, 106) и «Воспоминания». I, 208 (в «Древнейшем документе», часть 4, с. 71). Уже в сочинении о происхождении языка встречаются мимоходом нападки на Руссо. В сочинениях веймарского периода похвалы смешиваются с порицаниями или же соединяются в очень основательный общий приговор; такие приговоры можно найти в 28-м теологическом письме (SWS. X, 306); кроме того, сравн. «Письма о гуманизме». I, 14; II, 58; III, 156 и т. д.

ных писателей, которым он был обязан своим умственным развитием. Причиной того, что он именно в ту пору установил такую резкую границу между своими воззрениями и воззрениями Руссо, заключается в том, что он именно в то время решительно увлекся практической политикой и стал приспособлять свои идеи об образовании отдельных личностей к образованию целого народа.

По той же причине он подчиняется влиянию другого великого француза в такой же мере, в какой отделяется от Руссо. Между всеми французскими писателями того времени никто не стоял в его мнении так высоко, как Монтескьё.

Он уже давно привык преклоняться перед Монтескьё. Автору сочинения об изящном вкусе он был обязан многими замечаниями в своих эстетических исследованиях¹. От автора «Размышлений о причинах величия и падения римлян» и «Духа законов» Винкельман заимствовал много важных идей о философии истории, а Гердер многое заимствовал и у того, и у другого. Когда Гердер намеревался заняться историей религий, он говорил сам себе, что путь к самым верным политическим воззрениям ему укажут Монтескьё, Юм и Бомель; когда он задумал положить в основу этого обширного предприятия исследование первоначальных понятий о религии, то эта задача представлялась ему в такой формуле: извлечь из веков варварства «дух первобытных традиций и мифологических песнопений», подобно тому как Монтескьё — конечно в тысячу раз с большей пользой — «извлек для гражданского законодательства дух законов»². Именно то, что более полезно, казалось ему теперь более привлекательным, чем то, что более таинственно. Сочинение о воспитании для общества, о народном образовании было бы не по силам такому писателю, как Руссо; его, очевидно, мог написать только «новый Монтескьё»³. Гердер называет Монтескьё «великим» и «несравненным». Мы уже видели ранее, как верно он умел указывать и недостатки «несравненного», для того чтобы самому избегать их; но с другой стороны, он находит — и в этом он совершенно прав, — что Монтескьё реже всех других писателей впадает в общие для всей французской литературы заблуждения, что он удачнее всех других обороняется от этих заблуждений, вступая в борьбу с духом французского языка. Хотя французский ум и его

¹ Отрывочные заметки. III, 76; Четвертый К. W.; LB. I, 3, b, 445 (SWS. IV, 149).

² О различных религиях (LB. I, 3, a, 380) и «о возникновении и распространении» и т. д. (Там же. 391).

³ Наброски для статьи об образовании народов (LB. II, 488).

наводит на ложный путь, хотя и он не умеет воздерживаться от *faux brillant* и еще менее от фальшивого философствования, все-таки он превосходит всех своих соотечественников благородством и простотою, даже местами, как например в своих письмах, выражается как Винкельман¹ — это была высшая похвала, какую можно было услышать из уст Гердера. Иначе говоря, Гердер в то время подчинялся влиянию Монтескьё гораздо более, чем влиянию какого-либо другого французского писателя, несмотря на то что горячо нападал на французские нравы. Величие и трофеи Монтескьё мешают ему спать. Он неутомимо изучает произведения Монтескьё именно потому, что хочет превзойти его. Подобно тому, как Монтескьё описал с психологической точки зрения различие системы государственного управления, и Гердер намеревается описать различные возрасты в задуманной им статье о юности и старости человеческой души и затем изложить «систему человеческой жизни»². Изучение двух главных сочинений Монтескьё должно служить подготовкой для исполнения его намерений преобразовать Лифляндию и написать историю человеческого рода, которая постоянно вертится у него на уме в очень неясных очертаниях³. Эти очертания начинают принимать определенную форму — и Гердер замышляет философски-историческое сочинение об образовании народов и политический мемуар об этом предмете, причем он имел бы в виду преимущественно Россию и манифест императрицы Екатерины. Тогда он уже безусловно будет идти по следам Монтескьё. Он будет мыслить или по меньшей мере говорить так, как говорил Монтескьё, но усвоит не его систему, а его методу⁴. В этих мыслях и предположениях он провел последние недели своего пребывания в Нанте. Он уезжает из Нанта в Париж и читает дорогой только произведения Монтескьё⁵.

Если мы примем в соображение всю обширность ученых занятий и планов, трудов и мечтаний, в которые был всецело погружен автор «Дневника», то нам станет понятно, почему его сердили запросы рижских друзей о причинах его продолжительного пребывания в Нанте и почему он, незадолго до своего отъезда оттуда, писал Гарткноху: «Пусть всякий расстанется с этим миром так же, как я расстанусь с Нантом; тогда он оставит после себя

¹ Сравн.: Путевой журнал. 213, 259, 264, 267, 282, 284, 305 (SWS. IV, 382, 412, 415, 418, 427, 429, 443).

² Путевой журнал. 317 (SWS. IV, 450).

³ Там же. 195, 208 (SWS. IV, 317, 380).

⁴ Там же. 244, 247 (SWS. IV, 403, 404).

⁵ К Бегрову (LB. II, 88).

много пользы и о нем будут вспоминать не без уважения». Впрочем, были и случайные причины, задерживавшие его в Нанте. Вскоре после его приезда туда, ему пришлось еще раз прибегать к хирургической операции над его больным глазом; но нам ничего не известно о ее последствиях. Кроме того, его задержало там, в самом конце его пребывания, нездоровье. Наконец, у него не стало терпения ждать полного выздоровления, и он выехал из города. Он сел 4 ноября в почтовую карету и прибыл 8-го числа в столицу Франции.

К сожалению, до нас дошло немного сведений касательно его пребывания в Париже. Не подлежит сомнению, что он так долго откладывал посещение этого города отчасти и потому, что при свойственной немецким ученым застенчивости он боялся погрузиться в водоворот столичной жизни, «где ему пришлось бы видеть на каждом шагу роскошь, тщеславие и французскую пустоту». Правда, он постоянно говорил самому себе, что ему представляется случай насладиться французской оперой и комедией, декламацией, музыкой и танцевальным искусством в самом средоточии их блеска, что под руководством своего опытного соотечественника Вилле он может изучить гравирование на меди, живопись и ваяние, что он познакомится с французскими учеными по меньшей мере настолько, что составит себе некоторое понятие о том, какой у них внешний вид, как они живут, как говорят, как держат себя дома и в обществе; но в его уме возникали колебания: не будет ли его соотечественник хорошим руководителем только в сфере искусств? будет ли он сам в состоянии объясняться с иноземцами и чем-либо их заинтересовать? не будут ли французские знаменитости строго придерживаться светских обычаев, приличий и формальных визитов? Он, очевидно, вез с собой в Париж столько же новых замыслов, сколько старых предубеждений; вот почему он многое уловил своим проницательным взором, но едва ли что-либо изучил фундаментально. Он покинул Париж с такими же неблагоприятными для французской столицы предубеждениями, с какими приехал туда¹. Делая обзор того, чему он там научился, он был доволен вынесенными оттуда наблюдениями и идеями, но общее впечатление, которое произвел на него Париж, вовсе не казалось ему ни утешительным, ни возбуждающим к умственной деятельности. Он так выражал итог этих впечатлений: «Все, что составляет вкус и роскошь в искусст-

¹ Основательно и без преувеличений говорит об этом француз Joret в своем прекрасном сочинении «Herder et la renaissance littéraire en Allemagne au XVIII siècle» (Paris, 1875. С. 291).

вах и в учреждениях, сосредоточено в Париже: но так как вкус есть только самое поверхностное понятие о красоте, а роскошь есть только призрак красоты, нередко восполняющий ее отсутствие, то Франция никак не может вполне удовлетворять меня и она мне поистине надоела»¹. В первом письме, которое он написал оттуда², еще сильнее слышатся неудовольствие и досада. В своем «Дневнике» он нередко проверяет самого себя, нередко упрекает себя за то, что горячо берется за все, что ново, а потом все бросает по недостатку выдержки и упорного терпения, что часто отведывает то, чего не был бы в состоянии переварить его желудок; поэтому он убеждает сам себя в необходимости порядка и последовательности в своих занятиях, в необходимости более углубляться в то, что его интересует, и изучать его более основательно — в этих упреках самому себе сказывается его благородная душа, более способная сознавать свои слабости, чем брать над ними верх. Пылкость таких увлечений и горячность, с которой он брался за все, что было ново, еще долго и до некоторой степени в течение всей его жизни заменяли у него терпение и стойкость, без которых нет возможности исчерпать до дна содержание какой-либо идеи. Полный развлечений Париж был менее всякой другой столицы способен приучить его к умственной сосредоточенности. В несколько недель он успел осмотреть Лувр, Пале-Рояль и увеселительные замки. Он делал этот осмотр с такой же быстротой, с какой привык читать, и потом пришел к убеждению, что в этом обширном городе в дурное время года «гораздо лучше читать, чем осматривать, и что гораздо более можно вынести из чтения, чем из того, что увидишь». Так как он, по его собственным словам, не любил писать подробные отчеты, то в конце своего пребывания в Париже он сообщил своему другу в Ригу лишь краткий обзор того, чем он занимался в Париже. Из этого обзора видно, что Гердер твердо придерживался своей программы. Главной опорой служил для него знаменитый гравер на меди Вилле, который был гессенским уроженцем, но сделался настоящим парижанином после более чем двадцатилетнего пребывания в Париже, и которому рекомендовал Гердера или Будберг из Риги, или Вейссе из Лейпцига. Гердер нашел в этом соотечественнике превосходного руководителя для того, что было интересного в Париже по части искусства. Он не оставил без внимания ни одной сколько-нибудь замечательной отрасли искусства. «Я старался, —

¹ LB. II, 123.

² К Гарткноху (LB. II, 89); следует полагать, что он выражал те же мысли Беренсу: см. письмо Беренса к Гердеру (Там же. 92).

пишет он, — изучать книги и людей, декламацию и драму, танцы и живопись, музыку и публику». А как было бы интересно описание личных сношений Гердера с парижскими литературными знаменитостями, если бы такое описание могло быть составлено! К сожалению, он не виделся ни с Гриммом, ни с Бюффеном, ни с Мармонтелем, потому что они жили в то время вне Парижа. Но он познакомился с главными издателями энциклопедии, с Дидро и с д'Аламбером; он познакомился с Томасом, с д'Арно, с Дюкло, с Бартеlemi, с де Гинем, с Добантоном, с Гарнье, т. е. с людьми, занимавшимися самыми разнообразными специальными науками и обладавшими самыми разнообразными дарованиями. Частью с досадой, частью со стыдом он узнал, что в этих сферах — несмотря на выходявший в Париже «*Journal étranger*» — имели очень поверхностное знакомство с положением немецкой литературы, что там ценили произведения Гесснера, а в произведениях Клопштока не находили ничего привлекательного. Он был со своей стороны лучше подготовлен к сближению с французскими литераторами. Как должно было интересовать его знакомство с Томасом, сочинения которого («*Eloges*») он с такой жадностью читал в Нанте, относя их прямо к себе, и в произведениях которого он так основательно извинял склонность к декламации, «всегда приятные и поучительные заблуждения». Ему, который вел с Клотцем спор о достоинстве монет, как должно было казаться интересным знакомство со знатоком этого предмета Бартеlemi! В качестве писателя, сильно интересовавшегося всем, что касалось Востока, сколько должен был он находить точек соприкосновения с исследованиями де Гиня о связи культуры китайской с египетской! Он сделал немало выписок из сочинения Гарнье «*Homme de letters*» и, конечно, мог вполне сочувствовать серьезным религиозно-нравственным воззрениям этого писателя. Но с самым полным сочувствием он отнесся к Дидро! Что ему было за дело до того, что и Дидро был мало знаком с немецкой философией? Это не мешало ему считать Дидро за «лучшего философа, какой найдется во Франции». Разве не стоило бы приехать в Париж только для того, чтобы насладиться беседой этого человека, которого он называет то новым Платоном, то Теренцием нашего столетия (несмотря на то, что нападает на задуманные им нововведения в драме) и в сочинении которого в память о Ричардсоне он находил так много «огня, души, чувства, жизни»¹. Гердеру, ко-

¹ Сравн.: Отрывочные заметки. I, 80, 102, 130; вторая статья «Торса» (SWS. II, 315); Кёнигсбергская газета. 1767. № 66 (SWS. IV, 225).

нечно, было невыгодно вести разговор на французском языке, но его красноречие имело много общего с красноречием французского писателя. У них было много общего и в других отношениях. Многосторонность познаний и жажда новых открытий сближали Дидро с Гердером. Оба они не годились для точных философских исследований, потому что в основе их характеров лежал поэтический элемент; они не годились и для поэзии, потому что слишком быстро увлекались то новыми мыслями, то новыми чувствами. Оба они стремились к тому, что естественно и нравственно, оба восставали против отвлеченностей, против неизменных правил, против всяких систем, оба были эклектики и оба колебались между скептицизмом и энтузиазмом¹. Для своих исследований об эстетике в четвертом «Критическом леске» Гердер избрал тот самый путь, который был проложен у Дидро в его «Lettre sur les aveugles» и в его письме «Sur les sourds et les muets». Когда в Париже Гердер снова завел речь об этих вопросах, то он постарался придерживаться философских воззрений Дидро точно так же, как в политических вопросах он придерживался воззрений Монтескье, т. е. «его методы, а не его системы». Наконец, Гердер сходил с Дидро в своих взглядах на нравственно-образовательное значение театра и задумал «подкрепить в этом отношении мнения Дидро» — подобно тому, как гораздо позже, в своих «Письмах о гуманизме» (III, 147), он ссылаясь на мнения Дидро с целью подкрепить свои собственные. В Нанте он лакомился статьями энциклопедии, читал программу Дидро и знаменитый «Discours préliminaire» д'Аламбера. В одной рецензии, написанной через несколько лет после того, мы находим доказательства сильного впечатления, которое вынес Гердер из личного знакомства с д'Аламбером. Он описывает личность д'Аламбера, «верно придерживаясь своих воспоминаний»². Он нашел, что наружность этого знаменитого математика вполне соответствовала характеру его литературной деятельности и его гуманности; он видел в д'Аламбере «человека хладнокровного, спокойного, трудолюбивого, и при всем том учтливового, услужливого, приветливого, неутомимого и при своей скромной наружности важного и во всех отношениях отличного» — видел «в минуту раздражительности и гордость ученого, скромно устраниаясь от всяких споров»;

¹ На это родство по убеждениям основательно указывал и Розенкранц в своей книге о Дидро (II, 398).

² Рецензия лафатеровской «физиогномики» (Lemgoer Auserlesene Bibliothek. X, 348, 349). Ее нет в SW; она, конечно, будет помещена в VIII томе издания Суфана. Касательно чтения энциклопедии см. LB. II, 57, 62, 80.

«конечно, — говорит далее Гердер, — у д'Аламбера не было ни оригинальности Дидро, ни свойственной Арно угрюмости, которая отражалась на лице этого писателя так же резко, как и на его полных ужаса рассказах».

К этому краткому рассказу о том, что он делал в Париже, Гердер присовокупил замечание, что он зарыл собранные им семена «до весны, которая когда-нибудь настанет». Однако он не ограничивался посещением замечательных людей и осмотром достопримечательностей; он находил время и для ученых занятий, и для переваривания того, что ему удавалось добыть, а из того, что он называет в другом месте своей «пряжей», кое-что дошло и до нас. В этом отношении для нас служат источниками сведений, во-первых, заключительная часть путевого журнала, относящаяся ко времени его пребывания в Париже, во-вторых, ряд отрывочных заметок, которые были в то же время набросаны им на бумагу. Из этих документов видно, что он, с одной стороны, готовился продолжать начатые в четвертом «Критическом леске» размышления о свойстве искусств и в особенности о свойстве образовательного искусства, а с другой стороны, подчинил свои размышления об эстетике влиянию тех педагогических и политических замыслов, которыми был занят в конце своего пребывания в Нанте.

Гуляя в Версальском саду, он вдумывался в то отличие пластики от живописи, что первая была, по его мнению, искусством для осязания, вторая — искусством для зрения, а мысль об этом различии казалась ему такой важной, что он развил ее в четвертом «Критическом леске» в своей «Пластике» прежде всех других идей о том же предмете. Благодаря многочисленным наглядным указаниям, которые он нашел в Париже, он стал еще глубже вдумываться в то различие и стал вдаваться в различные подробности относительно свойств скульптуры как такого искусства, которое предназначено для осязания. Но в то время как он, стоя на этой чувственной точке зрения, доходил в своих выводах до парадоксов и вдавался в причудливые воззрения *à la Diderot*, у него возникла новая, более идеальная точка зрения. Статуя должна производить приятное впечатление на наше осязание, но чтобы производить это впечатление, она должна кроме того выражать какую-нибудь мысль: «в этом предназначенном для осязания произведении должна быть мысль, говорящая нашему уму». В этом движении вперед он заходит далее того, что развивал в четвертом «Критическом леске», и доходит до «символики изящества форм». Его сенсуализм снова сходится с метафизикой Вольфа и Баумгартена: пластическая красота есть «получаемое при помощи осязания понятие о совершен-

стве»; понятие об осязаемой нами красоте соприкасается с тем, что истинно и хорошо, и мы с удовольствием чувствуем в изяществе пластических форм целесообразность, здоровое состояние, совершенство человеческого телосложения. С этой точки зрения — которая впоследствии, когда он жил в Италии, навела его на новые идеи, — он рассматривает говорящее нашему уму выражение лба, глаз, носа, рта, телосложения.

С этими мыслями он смотрел на статуи и на картины, но они не покидали его и в театре¹. Часто посещая театры, он восхищался актрисами Дюмениль и Арну, актерами Молэ и Лекеном. Так как Париж был центром и высшей школой театрального искусства, то он выносил из театра самые сильные впечатления; но и там он смотрел и слушал с разными планами и с разными предрассудками на уме, а потому и не мог вкушать полного наслаждения. Его эстетические размышления об опере и балете сводятся в сущности к тому, что нам уже известно из четвертого «Критического леска»; нова и характеристична для его лирической натуры только критика, с которой он относится к опере вообще. По его мнению, опера должна быть упрощена и должна быть основана исключительно на возбуждении чувств; он хочет, чтобы действие выражалось в ней не словами, а только пантомимой и чтобы для самых сильных чувств служили выражением лирическая музыка и песня. Его воззрения на драму — как нами ранее было замечено² — не отличались ни глубиной мысли, ни оригинальностью. Он увлекался поэзией шекспировских драм; он был убежден, что задача драмы «ближе и яснее представлять нам, как бы в сокращенном виде, замечательные сцены из человеческой жизни, и потому противопоставлял требованию Дидро, чтобы театр обрисовывал нам отличительные особенности разных сословий, другое требование — чтобы театр обрисовывал нам отличительные особенности людей; наконец, он находился под влиянием полемики, которую вел Лессинг в своей «Драматургии» против французской рутинной трагедии; вот почему посещение французского театра приносило ему главным образом ту пользу, что он еще яснее прежнего сознавал его недостатки и судил по ним о всей нации. Во французской опере он прежде всего усматривает отсутствие

¹ LB. II, 377; и размышления, помещенные в LB. II, 427 и сл. под заголовком «Заметки о французском театре», примыкают в рукописи (под заголовком «Изящные искусства — написано в Париже 2 декабря») непосредственно к размышлениям «Об изящном искусстве осязания», с. 379—385. (Только вышеупомянутые заметки о театре снова напечатаны в SWS. IV, 449 и сл.)

² См. выше, с. 260 и сл.

человеческих чувств и простоты; то и другое, по его мнению, заменяется в ней тем, что поражает удивлением. В ней удивительны и содержание, и музыка, и декорации. И в ней он усматривает основной принцип французской нации — честолюбие. Такие же недостатки находит он и в трагедии. Только в некоторые особенно выдающиеся моменты представления лучшие актеры действительно расшевеливают в нем человеческие чувства. Что касается всего остального, то вместо человеческих чувств, которые должны носить на себе различные отпечатки сообразно с тем, о какой эпохе, о каком народе идет речь, он постоянно видит изображение чувств только французской нации. Он находит много роскоши и пышности для глаз, но находит мало пищи для души; старание не нарушать приличий отнимает силу у голоса природы, страсти и чувства. Не называя Лессинга по имени, он вполне разделяет мнение гамбургского драматурга, что в «Заире» Вольтера настоящую любовь заменяет французская любовь, т. е. светское ухаживание, а вспоминая о шекспировском Гамлете, он говорит, что не знает ничего более бессмысленного, чем появление тени в Вольтеровой «Семирамиде». Он приходит к заключению, что трагедия существует не для Франции, не для таких монархий, какова французская, и не для французского языка, выражающего все страсти пустыми фразами¹.

Заметки Гердера о комедии более богаты содержанием, чем его заметки о трагедии. Но он писал их не столько с эстетической точки зрения, сколько с психологической и нравственной. Вообще во всех своих суждениях о драматургии он постоянно теряет из виду эстетическую сторону предмета и высказывает их в связи со своими национально-педагогическими планами. В числе средств распространять образование в каком-либо народе и в особенности в русском народе театр занимает, по его мнению, одно из самых выдающихся мест; но наибольшего успеха в этом отношении он ожидает от комедии, которая ближе затрагивает народную жизнь, и от оперы, которая непосредственно действует на человеческие чувства; он полагает, что и та и другая могли бы скоро достигнуть процветания в том государстве, которое он имеет главным образом в виду. Для трагедии нет нужных условий не в одной только Франции; она и в России едва ли могла бы найти для себя благоприятную почву. Действительно, комедия была во Франции и более богата содержанием, и более полна жизни; хотя

¹ Сравн. замечания, высказанные в путевом журнале, с. 285, 286 (SWS. IV, 430).

и в ней Гердер находил разные недостатки, однако он чувствовал на самом себе ее влияние; на комедии всего чаще делались в то время разные эксперименты, и именно ее касались те попытки реформ в драматической сфере, которые предпринимал Дидро. Вот почему Гердер желал бы, чтобы было обращено внимание, кроме мещанской трагедии, и на так называемую «честную комедию», которая занимает середину между трагедией и комическими фарсами, выводя в надлежащей обстановке на сцену людей различных сословий, с различными пороками, характерами и всяких возрастов; он делает обзор различных действующих лиц в комедиях и в трагедиях, говорит, что их характеры должны носить различный отпечаток, смотря по тому, к какой они принадлежат нации, и что драматический писатель должен, по примеру Шекспира, изображать постепенное развитие этих характеров согласно с естественными законами и с поразительной наглядностью. Он воображает, что в опере, действующей на зрителей только мимикой и лирической музыкой, и в честной комедии он нашел такие средства для распространения образования, которые принесут более пользы даже, чем влияние церкви. Увлекаясь этими мыслями, он восклицает: «Настанет ли когда-нибудь такое время, что монастыри и церковные кафедры будут разрушены, а театр будет очищен от своих недостатков и будет наводить на всякие иллюзии?.. ах, если бы я мог чем-нибудь этому содействовать! Я по меньшей мере постараюсь поддерживать мнения Дидро».

С первых дней своего пребывания в Париже Гердер не рассчитывал оставаться там более одного месяца. Густав Беренс, выехавший из Нанта почти в одно время с ним и отправившийся в Бордо по своим делам, должен был заехать за ним в Париж, чтобы вместе направиться в Голландию. Оттуда Гердер предполагал проехать в Англию, а из Англии в Копенгаген и наконец в Германию. По крайней мере, таков был план его путешествия, составленный для него Беренсом после того, как этот последний не нашел возможности заехать за ним; но в голове самого Гердера бродили совершенно другие фантастические замыслы — ему хотелось завернуть в Португалию и в Испанию, а оттуда в Италию. Но он только теперь узнал по опыту, как дорого жить в Париже, и посылал Гарткноху одно вслед за другим письма с настоятельными просьбами о денежной помощи — как жаль, что фортуна не снабдила его неистощимым кошельком или что нельзя было переезжать с одного места на другое, ничего не платя за проезд!

Против всякого ожидания ему представился случай для таких даровых переездов. В конце ноября он получил от Николаи изве-

стие, что живший в Копенгагене пастор Резевиц намерен обратиться к нему с предложением сопровождать одного немецкого принца в путешествиях. С этим предложением обратились бы к нему еще в то время, когда он заезжал летом в Копенгаген, если бы он не изменил цели своего путешествия и не исчез из виду у тех, кто в нем нуждался. Наконец, в начале декабря Гердер получил в Париже от Резевица письмо с тем предложением, о котором его предупреждал Николай¹. Князь-епископ Любекский Фридрих Август изъявлял желание, чтобы Гердер отправился после Пасхи будущего года в трехлетнее путешествие вместе с его единственным 16-летним сыном, наследным принцем Петром Фридрихом Вильгельмом (родившимся 3 января 1754 г.), который в то время воспитывался в Кильском университете под надзором своего гувернера Каппельмана. Нам не известно, кто обратил внимание князя на Гердера и почему он пожелал, чтобы именно Гердер сопровождал молодого принца в качестве наставника и пастора. Предложенные условия были выгодны для Гердера: кроме покрытия всех расходов и жалованья в триста талеров ему обещали, по окончании трехлетнего путешествия, хорошее место пастора или место профессора при Кильском университете и немедленно давали профессорский титул. Гердер был такого характера, что от него нельзя было ожидать немедленного окончательного ответа, а на этот раз для его нерешительности могло служить оправданием и его тогдашнее положение. В Риге ему были даны положительные обещания, хотя и без точного назначения срока для их исполнения. Следовало ли ему отказаться от этих надежд? Мог ли он внезапно заглушить свою сердечную привязанность к Риге? Мог ли он разом отказаться от широких планов, которые он с таким увлечением составлял для своей будущей деятельности в этом городе? А с другой стороны, его главным и самым пылким желанием было желание путешествовать долго и по дальним странам, путешествовать в обществе, со всеми удобствами, так чтобы ему был всюду открыт доступ, и не на чужие деньги, а на свой собственный счет. Не зная, как выйти из этих затруднений, он отвечал такими требованиями и возражениями, в которых ясно высказывались его противоречивые желания. Он потребовал в одно и то же время и более того, что ему предлагали, и менее — он пожелал, чтобы ему увеличили жалованье и в особенности чтобы ему предоставили большую свободу относительно срока его службы; напротив того, он отказывался

¹ Письмо от 11 ноября (LB. II, 116 и сл.) было отправлено через Нант.

от предложенного ему титула и от должности, которую ему обещали после прекращения взаимных обязательных отношений. Он едва ли мог надеяться, что все его желания будут исполнены. Но, против всякого ожидания, он нашел со всех сторон самую любезную предупредительность. Кампенгаузен, к которому он обратился в то же время за советом и с запросом относительно того, на что он мог рассчитывать в Риге, отвечал ему через Гарткноха (то же было сказано в письме Кампенгаузена, которое лишь позже дошло до своего назначения и заключало в себе то же обещание, выраженное несколько осмотрительнее и, как нашел Гердер, не без дипломатической тонкости), что он может принять предложение, для того чтобы, ничего не тратя, познакомиться со светом и еще более обогатить свой ум, и что обещанное ему в Риге место останется за ним¹. С другой стороны, и любекское правительство согласилось на все его желания, присовокупив уверение, что оно не помешает ему исполнить обязательства, принятые им на себя в Риге, а после того, как он в достаточной мере исполнит свои обязанности по отношению к принцу, его будут письменно рекомендовать петербургскому правительству².

Из того, как Гердер наконец решился принять то, что ему предлагали, виден его мягкий, впечатлительный, но в то же время взыскательный и женски-раздражительный характер. Можно было ожидать, что он примет предложение с полным доверием и удовольствием. Напротив того, он поспешил излить в письмах к своим друзьям невнятное чувство, которое лежало у него на сердце. В его характере было некоторое сходство с несчастным характером Руссо. Нельзя себе представить более сердечных и более любезных писем, чем те письма Густава Беренса к Гердеру, которые дошли до нас. Таковую же готовность оказывать всякую помощь, такое же бескорыстное участие находим мы в письмах Гарткноха. Но Гердер не придает этим дружеским письмам никакой цены; избалованный самоотверженной преданностью своих друзей, он дает полную волю своему нраву — по меньшей мере одна из тех форм, в которых он выражает им свою привязанность, заключается в бранных словах, в придириках и упреках, перемешанных с ласковыми выражениями. Его друзья думали более о нем, чем о самих себе, когда желали, чтобы он уладил дело с эйтинским правительством; однако они выражали мимоходом сожаления о том, что они сами будут в потере и что намерение

¹ Гарткнох к Гердеру (LB. II, 142).

² Решение князя-архиепископа подписано 2 января 1770 г. (LB. II, 146), а письмо Резевица — 20 января (Там же. 147).

снова привлечь его в Ригу становилось неудобноисполнимым или откладывалось на долгое время. Но Гердер находил, что они выражали свои сожаления без достаточной горячности, что он был привязан душой к рижскому обществу гораздо больше, чем оно к нему; он без малейшего основания жаловался на равнодушие своих рижских друзей, а Гарткноху даже намекнул на то, что его радость будто бы объясняется его надеждой впредь избавиться от новых денежных требований. Иначе говоря, сколько было радости на сердце у Гердера при его отъезде из Риги, столько же было у него на сердце грусти ввиду предстоявшей перемены в его судьбе. К этому моменту его жизни мы всего охотнее относим то стихотворение, в котором он меланхолически вдумывается в «неясное, как призрак, направление» своей жизни, а в конце с гордым самосознанием взирает на свою загадочную будущность¹ — точно будто его гений одержал верх над унынием, столь свойственным его впечатлительному характеру. По меньшей мере, не подлежит сомнению, что в то время возникли в его уме те соображения, которые он высказал в своей прекрасной оде. Он воображал, что ему от рождения предназначено в одиночестве бродить по расходящимся в разные стороны путям под влиянием каких-то непонятных велений рока, наперекор указаниям его доброго гения, наперекор надеждам, которыми он себя ласкал; так было до сих пор; но разве так должно быть и впредь! Именно его смирение и доставляет ему окончательную победу; его жизненные пути «будут те же, как и прежде! Праведник, покинувший свою прежнюю гладкую колею, не солгал перед богами и перед алтарем! Он не лицемерил из-за пурпура и золота, а неотступно стремился в своей жизни только к истине, к гуманности, к добродетели. Итак, измученный странник, вперед! К чему бы ни привела твоя судьба»!..

¹ Моя судьба (LB. III 16); SW в отделе литературы. III, 112.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ИЗ ПАРИЖА В ЭЙТИН; ИЗ ЭЙТИНА В СТРАСБУРГ

Во второй половине декабря Гердер выехал из Парижа. На Рождество, как рассказывают «Воспоминания» (I, 132), он был в Брюсселе и осмотрел как там, так и в Антверпене все достопримечательные произведения нидерландского искусства¹. Из Антверпена он отправился морем в Амстердам. В статье об Оссиане и о песнях древних народов² он писал: «У меня еще свежо воспоминание о той ночи, когда я читал Фингала и ожидал утра на севшем на мель корабле, которого не могли сдвинуть с места ни буря, ни морской вал и вокруг которого бушевали волны и полуночные ветры». Эти слова относятся именно к переезду из Антверпена в Амстердам. Корабль, на котором ехал Гердер, был застигнут сильной бурей неподалеку от Гааги и сел на мель подле берегов Голландии. В корабле открылась течь, и он простоял всю ночь на месте, ежеминутно подвергаясь опасности потонуть. Только утром подошли на помощь лодки, и высадившиеся на сушу путешественники видели с берега, как корабль пошел ко дну. Гердер писал 20 января, что он благополучно прибыл в Гаагу³; оттуда он отправился через Лейден в Амстердам.

Мы не имеем никаких более подробных сведений об этом путешествии. Ни из «Дневника», ни из каких-либо других заметок Гердера не видно, какую он извлек для своего ума пользу из своего непродолжительного пребывания в Голландии. А он возлагал так много надежд на свое там пребывание. Он рассчитывал, что займется там отделкой своего политического сочинения об образовании народов, что дополнит там свои познания в греческой и латинской литературе, для того чтобы исправить недостатки «Критических лесов». Предложение, которое он получил

¹ Касательно одного впечатления, вынесенного им из брюссельского театра, см. его письмо к невесте (*Dünßer A.*, III, III).

² *Von deutscher Art und Kunst.* C. 20; см. также: *Aelteste Urkunde.* I, 24.

³ Фразер к Гердеру (*LB.* II, 141).

из Эйтина, изменило его планы; в Амстердаме он был извещен об окончательном решении князя-епископа — и все прежние планы были отложены в сторону. О своем политическом сочинении он уже не говорит ни одного слова; только некоторые из политико-педагогических идей нового Монтескьё встречаются впоследствии в совершенно новой форме в сочинении на премию «о влиянии правительства на науки» и в «Адрастее»¹, между тем как только историко-философская сущность его прежнего плана получила дальнейшее развитие в его уме. Со времени его прибытия в Париж он, без сомнения, всего усерднее предавался тем размышлениям об эстетике, которые потом мог снова проверить на художественных произведениях Голландии. Напротив того, для более основательного изучения филологии у него едва ли было достаточно свободного времени и материалов. Лейденский университет, в котором читал в то время лекции знаменитый Рункен, конечно, мог бы оказать ему некоторую помощь в этом отношении; там Гердер мог бы не только записаться «ученой всякой всячиной», но и освоиться с тем строгим и серьезным направлением в изучении классической древности, от которого он пришел в восторг после чтения знаменитого панегирика, написанного Рункеном в честь Гемстергюй², — но на это ему пришлось бы употребить несколько недель, а не несколько дней; если же в некоторых из его литературных произведений 70-х годов и заметна более строгая метода, то этот шаг вперед никак нельзя приписывать его непродолжительному личному знакомству с голландскими учеными³.

В Лейдене Гердер познакомился еще с одной личностью, от которой ему впоследствии пришлось выносить неприятности тем более неожиданные, что первое знакомство было слишком сердечно и возбудило в нем самые пылкие надежды. При наследном принце дармштадтском Людвиге состоял тогда в звании гувернера эльзасский уроженец Франц Михаил Лейхзенринг⁴. Гердер всего более радовался тому, что нашел в этом, немного менее

¹ Сравн. то, что говорится о будущности прилегающих к Черному морю стран в статье «О влиянии» и т. д. (с. 53), и то, что говорится в путевом журнале (LB. II, 242; SWS. IV, 402). Сверх того, см. отзыв об этом сочинении в письме к Глейму (*Dünßer* C. I, 103) и «Адрастею» (III, I, 75 и сл.).

² Frankf. Gel. Anzeigen. 1772. № 87, рецензия «De vitis philologorum», Harles.

³ Суфан. Введение (SWS. III, XV).

⁴ Лучшей статьей, в которой идет о нем речь, до сих пор остается статья Варнгагена в «Denkwürdigkeiten und Vermischten Schriften» (т. 4).

его самого, молодом человеке соотечественника, с которым мог откровенно обмениваться мыслями, — так как он долго был лишен этого удовольствия в «обедневшей людми» Франции. Лейхзенринг был многосторонне образованный, светский и красно говоривший человек; это был один из тех людей, которые одарены самым тонким вкусом во всем, что касается ума и образования, но за недостатком какой-либо реальной цели в жизни привязываются к какой-нибудь оригинальной мысли, к какой-нибудь химере, к какой-нибудь фантастической цели, стараясь придать ей серьезное значение. При непродолжительном знакомстве такие люди могут казаться приятными, привлекательными и даже выдающимися. Таким показался Гердеру и Лейхзенринг. Хотя от его внимания и не ускользнули слабые стороны этого человека, но при мягкости своего характера он не мог воздержаться от сочувствия к оригинальному мечтателю, отличавшемуся такой нежной и восприимчивой натурой. Общим любимцем их обоих был Стерн, а какой крепкой связью для двух сердец служит увлечение одним и тем же автором! В этих случаях дружбу скрепляет совокупное чтение каких-нибудь трогательных страниц, причем у обоих друзей текут из глаз слезы. Хотя воодушевление Гердера питалось богатым запасом великих идей, а воодушевление его друга было скоро остывающим пылом поверхностного увлечения, хотя чувствительность одного была глубока, серьезна и сдерживалась сильным умом, а чувствительность другого была пошла и напыщенна, но чтобы более основательно изучить друг друга, у них неостало времени, и Лейхзенринг расстался с Гердером в убеждении, что нашел в нем закадычного друга, готового вступить в то общество святых людей или в тот «орден чувствительности», основание которого он задумал именно в то время¹.

В феврале Гердер был в Амстердаме. «Дело с принцем улажено, — писал он оттуда Гарткноху, — и я отдаюсь моей судьбе»². Он продолжал свое путешествие через Фрисландию, Гамбург в Гольштинию, но остановился на довольно продолжительное время в Гамбурге. Ведь в Гамбурге жил тот человек, который был в глазах Гердера выше всех французских и голландских ученых,

¹ Касательно встречи Гердера с Лейхзенрингом в Лейдене см. письма Гердера к Каролине Флаксланд (*Dünßer A*, III, 32); письма Каролины к Гердеру (Там же. 26); письма Гердера к Каролине (LB. III, 222), к Мерку (Там же. 325, 326); Лафатера к Гердеру (*Dünßer A*, II, 29); Гердера к Лафатеру (Там же. 62); касательно пребывания Лейхзенринга в Лейдене: *Jacobi. Auserlesene Briefe*. II, 401 (к Гарве).

² LB. II, 149; сравн. III, 28.

взятых вместе. Именно в то время Лессинг готовился к отъезду из Гамбурга, для того чтобы занять место библиотекаря в Вольфенбюттеле; этот отъезд замедлился к счастью для Гердера и к удовольствию для самого Лессинга. «Мне было бы очень жаль, — писал Лессинг 3 марта Эберту¹, — если бы меня не было теперь в Гамбурге. Угадайте, кто приехал сюда несколько дней тому назад? Гердер... Мне, конечно, было очень приятно лично познакомиться с ним; покуда я могу сказать вам о нем только то, что я им очень доволен». Целых две недели, писал Гердер Гарткноху (LB. III, 26), я провел в обществе Лессинга и порядочно наговорился с ним обо всем. Когда он явился к Лессингу, у него было легко на сердце: он уже успел убедиться в неосновательности своих опасений, что автор «Лаокоона» мог оскорбиться его смелой критикой, перейти на сторону его противников и оскорбить его самолюбие². Он убедился в этом, когда прочел во время своего путешествия кроме второго тома «Писем антикварного содержания» и прекрасное сочинение Лессинга «О том, как древние изображали смерть»³. То, что великий критик защищался в этом сочинении против одного упрека, сделанного ему Гердером, не имело большого значения, так как возражения сопровождались замечанием, что автор был обязан этому ученому важными указаниями. Разве эти последние слова не служили для Гердера щедрым вознаграждением за нападки со стороны всех преданных Клотцу рецензентов и за новые нападки со стороны Клотца в его «*Lectiones Venusinae*»?⁴ Чтобы понять, какое приятное впечатление должен был произвести на Гердера отзыв Лессинга, следует припомнить, как мало был способен Гердер заглушать в себе раздраженное самолюбие писателя, на которого взводилось столько оскорбительных обвинений. Даже по прошествии шестнадцати лет это впечатление еще было свежо в его памяти. Сочинение Лессинга, как он признавался во втором сборнике «Разбросанных листков» 1786 г. (XI, XII), «порадовало его не только своим содержанием, выводившим его на новые идеи и самостоятельные исследования, но всего более тем, что отзывалось о нем с большим благородством и внушало ему такое же уважение к характеру автора,

¹ Это письмо неверно помечено Лахманом (XII, 243) 3 февраля; см. изданные Редлихом письма Лессинга.

² Путевой журнал (LB. II, 349; SWS, IV, 478); к Гарткноху (LB. II, 40); к Николаи (Там же. 55).

³ Это сочинение, вероятно, находилось в числе книг, полученных Гердером от Николаи (LB. II, 152) в Амстердаме. Еще 4 ноября 1769 г. Николаи (Там же. 100) уведомил его о выходе в свет этого сочинения.

⁴ Гердер к Гарткноху 29 апреля 1770 г. (LB. III, 26).

какое он прежде питал к его умственным дарованиям». Там же Гердер говорит, что во время его бесед с Лессингом у них вовсе не было речи о тех археологических вопросах, на которых вертелось сочинение «О том, как древние изображали смерть». Не подлежит сомнению, что у Гердера отлегло на сердце после его дружеских разговоров с Лессингом о Клотце; с той минуты, как Лессинг пожал ему руку, его уже не могло тревожить воспоминание о его враге. Поводом для обсуждения эстетических вопросов послужило, между прочим, сочинение Бурке о возвышенном и прекрасном. Оба критика изъявили желание перевести это сочинение на немецкий язык и комментировать его; Гердер приглашал жившего в Зунцеле пастора Гардера заняться этим переводом, а сам намеревался заняться только комментариями; после того Гарткнох вступил в переговоры с Гарве касательно перевода, а Гердер мог уверить рижского издателя, что ему нет никакого основания опасаться конкуренции со стороны Лессинга; вместе с тем Гердер сообщил этому издателю некоторые указания Лессинга, которыми мог воспользоваться переводчик¹. На эстетиче-

¹ К тем указаниям на намерение Лессинга, которые приведены Данцелем (I, 352, 353), следует присовокупить письмо Николаи к Лессингу от 23 июня 1770 г. (*Lachmann*. XIII, 226) и письмо Вейссе к Гердеру от 30 декабря 1768 г. (LB. I, 3, в, 527); что Гердер сообщил вышеупомянутое сведение Гарткноху, видно только из письма этого последнего от 23 июня 1770 г. (LB. III, 34). О переводе Гардера мы знаем из письма Гардера к Клотцу от 25 сентября 1770 г. (*Briefe deutscher Gelehrten an Klopß*. II, 58). Что Гердер вел о переводе переговоры с одним лифляндским пастором, носившим почти одинаковое с ним имя, видно из письма Гарткноха к Гердеру от 14 ноября 1769 г. (LB. II, 140). Из того же письма видно, что Гарткнох обратился в поисках за переводчиком того же сочинения к Вейссе и что, по всему вероятно, именно Вейссе рекомендовал ему Гарве. Перевод Гарве, о котором Гердер осведомлялся в феврале 1772 г. (*Dünßer C*, II, 23), вышел в свет только в 1773 г., но без дополнительных статей (сравн. письмо Гарткноха к Гердеру: *Dünßer C*, II, 39, 40). Что Гердер интересовался сочинением Бурке, также видно из его письма к Канту (LB. I, 2, 299), из одного места в четвертом «Критическом леске» (LB. I, 3, в, 374) и из одного извлечения, сделанного Гердером из статьи гамбургской «Новой газеты» (1769, № 24). Находящееся у меня перед глазами рукописное извлечение получило заголовок «Замечание о сделанном у Бурке определении красоты», конечно, от издателя «Жизнеописания», который выдал его за гердеровский (LB. II, 416 и сл.). Та статья гамбургской «Новой газеты», из которой частью выписана, частью вкратце извлечена статья, помещенная в LB, была написана, как мне сообщил Редлих, Герстенбергом; она начинается в № 24 с писем Риделя о публице, продолжается в № 25—27 под заглавием «Anmerkungen V über die Schönheit» в виде отступления, возвращается в № 27 к сочинению Риделя и оканчивается в № 28 и 29. Принадлежащий Гарве перевод сочинения Бурке цитирован Гердером в сочинении «Vom Erkennen und Empfinden» (с. 28) и в «Калигоне» (III, 12).

ские вопросы должны были навести двух собеседников разговоры о «Драматургии». Что касается французского театра, то они были на этот счет одного мнения. Не следует ли предполагать, что Гердер красноречиво и живо описал впечатления, которые выносил из французского театра в Париже, и что встретил полное одобрение со стороны Лессинга? Не следует ли предполагать, что после вечера, проведенного в гамбургском театре, они заводили разговор о Шекспире и что воспоминание о происходившем в то время обмене мыслей отозвалось на статье, которую Гердер написал вскоре после того о Шекспире? Что заходила речь о поэтике Аристотеля, нам положительно известно: ведь из тогдашних разговоров с Лессингом Гердер узнал, что Лессинг работал над комментариями к «Кодексу всей греческой драматургии»¹. Но обсуждались не только эстетические, а также теологические вопросы. Уже в то время находилась в руках Лессинга и крайне интересовала его рукописная «Апология» Реймаруса, из которой вольфенбюттельский библиотекарь впоследствии извлек и издал те «Отрывочные заметки неизвестного», которые так раздражили и упорно верующих и мало верующих. Сам Гердер рассказывает нам, что ему приходилось выслушивать мнения Лессинга об этом предмете и что эти мнения выставили в ярком свете бескорыстную любовь Лессинга к истине². Итак, Гердер вынес из этих непродолжительных личных сношений самые разнообразные стимулы для будущей деятельности, а главным образом неизгладимое впечатление, которое произвели на него характер, обхождение и склад ума Лессинга. Доказательством глубины этого впечатления служит не только прекрасный памятник, воздвигнутый им в 1781 г. в память умершего Лессинга, но почти каждая строка, в которой ему приходилось упоминать о Лессинге как о человеке или как о писателе. На свое личное знакомство с поэтом он ссылаясь, через много месяцев после свидания, в горячей похвале, с которой говорил о «Минне фон Барнгельм» в письме к своей невесте; и в одном письме к Гаману он говорил, что хотя и не находится ни в каких сношениях с Лессингом, но хорошо знает его «как человека»³. Преклоняться перед которым-либо из писателей, еще не сошедших со своего земного поприща, было не в характере Гердера; но перед Лессингом он преклонялся. Он впрямь никогда не говорил о Лессинге иначе, как с глубоким ува-

¹ Сравн. статью о Лессинге в «Разбросанных листках» (II, 402).

² Там же. 407.

³ LB. III, 155; Соч. Гамана. V, 74.

жением и преданностью. Он никогда не позволял угаснуть тем искрам Лессингова ума, которыми осветился его собственный ум. Свидание в Гамбурге было одним из таких моментов в жизни Гердера, с которыми были связаны самые долговечные впечатления и самые сильные возбуждения к умственной деятельности.

Гердеру было достаточно знакомства с Лессингом, для того чтобы сблизиться со всем образованным гамбургским обществом. Если бы для юного ученого понадобились еще какие-нибудь рекомендации, то он мог получить их через посредство масонов. Гамбург должен был иметь в его глазах сходство с Ригой только с той разницей, что среди веселой общественной жизни в городе, построенном на берегах Альстера, умственные интересы и занятия литературой играли более выдающуюся роль, чем в городе, построенном на берегах Двины, и что там немецкая образованность достигла более самостоятельного развития, была менее проникнута французским духом и более подчинялась английскому влиянию. Самого предупредительного друга Гердер нашел в приятеле Лессинга, веселом и предприимчивом Боде, который со свойственной деловым людям горячностью содействовал, подобно Николаи, успехам литературы и просвещения и в качестве книгопродавца, и в качестве переводчика. Через посредство Лессинга и Боде открылся для Гердера доступ и в семейство Реймаруса, где приобретенная философскими сочинениями известность и общее уважение поддерживались заслугами знаменитого врача того же имени и его сестры Элизы. К тому же кружку принадлежал остроумный и либеральный пастор Альберти, в семействе которого Гердер провел немало приятных часов. Обер-пастор Гёце считал этого сотоварища за закоренелого еретика и уже стал в ту пору вести открытую войну против его нововведений. Гердер не преминул посетить этого ученого обер-пастора, так как по меньшей мере в том, что касалось Клотца, он держал сторону «Писем антикварного содержания» и «Критических лесов»¹. С другой стороны, для Гердера имело

¹ Гарткнох к Гердеру 6 июля 1770 г. (LB. III, 82): «Обер-пастор (фон Эссен) рассказывал мне, что Гёце писал ему о вашем посещении» и т. д. «Вашему другу Альберти и вашему другу Гёце», — говорится в 1771 г. в письме Клаудиуса к Гердеру (*Dünßer A*, I, 366). Об Альберти упоминают также Клаудиус (LB. III, 226) и Боде (*Dünßer C*, III, 283) в письмах к Гердеру. Памятником заведенного в Гамбурге знакомства с Боде служат сообщаемые Дюнцером (C, III, 282 и сл.) письма, которые делают излишними всякие другие ссылки, в особенности потому что об этом знакомстве еще будет идти речь далее. Умершему в Веймаре в 1793 г. старому другу Гердер посвятил прощальный привет в «Письмах о гуманизме» (4-й сборник, с. 148 и сл.). Сравн.: Воспоминания. I, 133.

большую важность знакомство с Базедовом, который был в то время профессором в Альтоне. Его собственные идеи о педагогической реформе, по-видимому, нашли для себя определенную форму выражения в уме северо-эльбского Бернгарда. Но он нашел эти идеи совершенно искаженными и не мог питать сочувствия к человеку, «который не мог выносить никакой музыки!». Впоследствии он так характеризовал этого человека: «Это честный и бестолковый человек, на которого находят такие минуты, когда он не уверен, действительно ли небо синего цвета». В другом месте он называет издателя элементарного сочинения о воспитании «слепым Геростратом» и именно вследствие своего личного с ним знакомства говорит по поводу основанной в 1774 г. филантропической школы, что этому дессаусскому Pontifex maximus не поручил бы на воспитание не только людей, но даже телят¹.

Но в сфере названных нами людей Гердер встретился с человеком, вовсе не похожим на Базедова, — он всей душой полюбил Матиаса Клаудиуса. Незадолго перед тем 30-летний Клаудиус отказался от звания редактора гамбургских «*Address Comtoir Nachrichten*» и жил в Гамбурге без всяких средств и без всяких занятий². Его стесненное положение становилось для него еще более тягостным, оттого что он, как кажется, уже в то время был влюблен в свою Ребекку. В одном из своих писем к Герстенбергу³ он говорил: «Гердер приехал сюда с неделю тому назад и уезжает сегодня в Киль... Вы можете себе представить, с каким любопытством я слушал его рассказы о Гамане и о разных других предметах. У него очень живой характер. Я уже несколько месяцев провожу время в том, что слушаю других; самому говорить нет охоты; во мне засела проклятая любовь». Эта влюбчивость отчасти отозвалась и на его привязанности к новому другу. Он написал только что уехавшему Гердеру нежное письмо⁴, а через полгода после того закончил другое письмо к Гердеру следующими словами, напоминающими дружбу Давида с Ионафаном: «Ваша любовь для меня — то же, что любовь женщин»⁵. Гердер расска-

¹ К Лафатеру (*Dünßer A*, II, 103); к Гарткноху (*Dünßer C*, II, 57); к Гаману (Соч. Гамана. V, 184). Приведенные выражения, конечно, относятся ко времени пребывания Гердера в Бюкебурге; более благосклонно отзывается о Базедове Гердер в письме к Мерку, написанном в октябре 1770 г. из Страсбурга: «Вследствие увольнения Бернсторфа, вероятно, должны были втихомолку удалиться „Клопшток, Базедов и многие другие хорошие люди“».

² *Herbst*. Matthias Claudius. Кн. первая, гл. IV (4-е изд. с. 64 и сл.).

³ Сообщено Редлихом в Гамбурге.

⁴ 25 марта 1770 г. (LB. III, 20).

⁵ LB. III, 226.

зывать ему о Гамане, о котором не любил говорить с «дюжинными людьми». Поэтому он возбудил в Клаудиусе самое сильное сочувствие к Гаману, а этому последнему рассказывал о Клаудиусе в первом письме, которое написал после продолжительного молчания, в 1772 г., своему «старому, дорогому Сократу»¹. Выражения, которые он употребляет в этом письме, напоминают те выражения, которые когда-то употреблял Гаман, говоря о юном Гердере. Он говорит, что Клаудиус чрезвычайно благородный юноша, *castus, probus, ingenuus facie et animo*, более его самого похожий на Алкивиада и даже пытавшийся во что бы то ни стало пробраться к Гаману в Курляндию. Действительно, он мог видеть в добром Клаудиусе своего *alter ego*. Если бы он не был Гердером, он, конечно, мог бы быть Клаудиусом. И в то время и по пришествию многих лет он не переставал превозносить искренность, девственную чистоту, чувствительность и добродушие нового друга, который нравился ему своим характером, в особенности потому что не заявлял никаких притязаний и потому не подавал повода к спорам или к соревнованию. С рассказами о Клаудиусе он стал постоянно обращаться к тем людям, к которым питал сердечную привязанность и которых считал способными сочувствовать такому благородному юноше. Когда он вскоре после того нашел в Дармштадте девушку, внушившую ему любовь, и в Мерке — нового друга, он стал расточать похвалы «маленькому, доброму и в высшей степени искреннему юноше». Мерку он говорил о Клаудиусе, как о величайшем гении, какого нашел в Гамбурге, «как о друге с оригинальным умом и с таким сердцем, которое пылает, как каменный уголь — спокойно, сильно, и захватывает у вас дыхание». Через четыре года после того он высказывал желание, чтобы Глейм когда-нибудь сошелся у него с Клаудиусом и снова называл Клаудиуса «невинным ребенком, которого душа озаряет вас лунным светом и обливает ароматом бессмертия»². В этом человеке его всего более очаровывали безукоризненная нравственность, непритворная религиозность и в особенности природный поэтический отпечаток характера. Он любил Клаудиуса так же, как любил музыку и уединение, как любил тон и дух в поэзии природы. Именно об этих предметах — о происхождении языка и о поэзии как о «природном языке человеческого рода» — беседовал в то время Гердер с Клаудиусом, а этот последний внимал его словам как словам красноречивого

¹ Соч. Гамана. V, 10.

² К Каролине Флаксланд (А, III, 114); к Мерку (LB. III, 202); к Глейму (С, I, 37).

наставника¹. Даже не подлежит сомнению, что для этого любителя народных и безыскусственных песен служили объяснительными примерами выписанные Гердером из «Вандсбекеровского вестника» для его невесты песни — эти летучие листки, «в которых почти вовсе не было ни внутренней связи, ни учености, ни содержания, но в которых звучали некоторые струны сердца, из которых редко извлекались такие звуки»². С первой минуты знакомства Гердер ничего не желал так горячо, как возможности жить вместе с этим «самым нравственно чистым человеком, какого он когда-либо знал». Он высказывал Клаудиусу предчувствие, что они когда-нибудь поставят свои хижинки рядом одна с другой; это говорил он «в Зеgeberге — там, где находится Калькберг», — стало быть, следует полагать, что они однажды вместе предпринимали поездку по Голштинии. В течение многих лет его не покидала эта надежда; она постоянно приплеталась и к планам его собственной жизни, и к его стараниям как-нибудь пристроить бедного юношу с его молоденькой женой. Эта мечта не осуществилась. Хижинка, которую Гердер успел на короткое время доставить своему другу, не стояла рядом с его собственной; сношения между двумя друзьями поддерживались только письмами; они лишь изредка посещали друг друга; тем не менее Клаудиус не переставал любить даже «ворчливого» Гердера, а этот последний также до конца был верен своей привязанности к этому преданному человеку, несмотря на то что с течением времени все более и более обнаруживалось различие в их воззрениях. После их вторичного свидания в Гамбурге Клаудиус получил при содействии Гердера занятия в «Вандсбекеровском вестнике», но и после того этот «добрый Асмус» не переставал получать небольшую денежную помощь от своего друга; еще более ясным доказательством их взаимной сердечной привязанности и схождения в их убеждениях служит тот факт, что Гердер поместил в своем сборнике народных песен 1779 г., в числе собранных отовсюду не известно кем сочиненных песен, вечернюю песнь Клаудиуса в качестве образцовой, а впоследствии включил во вторую часть книги о духе еврейской поэзии статью «Вандсбекеровского вестника» о музыке.

Гердер нашел так много привлекательного в Гамбурге, что выехал из этого города с намерением как можно скорее туда возвратиться. Уже в течение следующего месяца это намерение

¹ Сравн. письмо Клаудиуса к Гердеру (А, I, 364).

² К Каролине Флаксланд (А, III, 125); письмо к Мерку, приведенное у Вагнера (II, 35).

было приведено в исполнение; и все, что мы до сих пор говорили о личных сношениях Гердера с Лессингом, Клаудиусом и их друзьями, должно быть отнесено к обоим посещениям Гамбурга Гердером¹. Уезжая оттуда в первый раз, приблизительно 10 марта, он спешил в Киль навстречу принцу, которого должен был сопровождать в путешествиях. Немедленно вслед за тем он отправился вместе с принцем к эйтинскому двору; там, в маленьком городке, главным украшением которого был княжеский замок со своим густым и отчасти обезображенным разными причудами садом и с привлекательным видом на море, жил Гердер в течение следующих месяцев, уже совершенно свыкшись с новой обстановкой. Оттуда он вторично посетил Гамбург, а всего чаще посещал соседний университетский город, куда вела красивая дорога через Плён и Клостер-Приц; разные другие поездки скоро познакомили его со всеми окрестностями. Гердер впоследствии с удовольствием вспоминал о Киле как о маленьком городе, похожем на деревню. Когда в 1800 г. шла речь о перемещении его друга И. Г. Мюллера из Швейцарии в Голштинию, он шутя говорил об отголосках с островов эйтинского придворного моря; именно по этому случаю он с удовольствием вспоминал о Киле, как об одном из тех мест, где он бывал «в своей юности, т. е. в эпоху своих безрассудств». «Теперь, — писал он, — Киль представляется мне в привлекательном свете благодаря бесцеремонным разнообразным знакомствам, благодаря красивым окрестностям и приятным соседям... Голштинский ландшафт — настоящий вуверманновский: чрезвычайно красивые луга, на которых пасутся многочисленные стада рогатого скота и табуны лошадей, как будто одарены глазами в виде озер; их пересекают живые изгороди, море оттуда недалеко и т. д.»². С этим согласуется и то, что нам рассказывают «Воспоминания»: он не любил жить там, где не было лесов, а со времени своего пребывания в Риге стал любить море; поэтому он в течение всей своей жизни вспо-

¹ Что Гердер вторично приезжал в Гамбург, видно из его письма к Гарткноху от 29 апреля (LB. III, 24); это письмо находится у меня в подлиннике; оно помечено рукой Гердера: Гамбург, 29 апреля. Но некоторые недоразумения все-таки не устраняются этим письмом: едва ли можно отнести к этому вторичному пребыванию Гердера в Гамбурге «четырнадцать приятных дней, проведенных с Лессингом», как это делает Дюнцер (введение к его изданию стихотворений Гердера, с. LI): ведь Лессинг был болен в первой половине апреля (письмо к Эберту, 15 апр.) и уже в конце месяца находился на своем новом служебном посту в Вольфенбюттеле.

² Письмо к И. Г. Мюллеру (август 1800 г.) у Гельцера (Protestantische Monatsblätter. XIV, 293); наши дополнения заимствованы из рукописи.

минал «о красивой, покрытой зеленью Голштинии» и часто высказывал желание возвратиться туда. Там же нам рассказывают, что Гердеру нравилось общество образованного местного дворянства и что он сам превратился в голштинца. В то время он познакомился с молодым графом Бернсторфом и после одного дня, проведенного вместе с ним в деревне, всю жизнь сохранял неизгладимое о нем воспоминание¹. Кроме того, он искренно подружился с Фридрихом фон Ганом, который был почти одних с ним лет, но уже был в то время женат, жил в Нейгаузе и часто бывал в Киле. Кроме математики, естественных наук и астрономии, в которой он впоследствии приобрел громкую известность, Ган занимался и философией. Он был от природы очень гуманным человеком, любил музыку и живопись и сам умел рисовать — стало быть, сходилась во многих пунктах с Гердером. Этот последний познакомил его в то время с началом своей статьи о пластике, и они уже тогда провели в разговорах о философии немало приятных часов, которые повторились по прошествии нескольких лет в Пирмоне. Гану впоследствии представился случай оказать его другу деятельную помощь самым великодушным образом, а Гердер в 1802 г. в своей «Адрастее» воздвиг поэтический памятник автору размышлений о солнце, о туманных пятнах на Орионе и многих других астрономических сочинений — тому человеку, как выразился Гердер, который «презирал придворную пышность»².

О своем положении при эйтинском дворе Гердер писал Гарткноху в первый раз 29 апреля. «Я, слава Богу, до сих пор пользуюсь благосклонностью и чрезвычайными отличиями при дворе — понятно, среди знати, примеру которой следуют и мелкие люди, как это всегда бывает при дворах мелких владетелей; они еще ниже других сгибают передо мной свою спину. Здесь еще не слыхивали таких проповедей, как мои, и, конечно, не видывали таких манжет, какие я ношу; если, с другой стороны, это возбуждает в иных зависть, то это самое естественное последствие того,

¹ Рецензия речи Гегевича, произнесенной в память Бернсторфа в «Erl. Gel. Anmerkungen und Nachrichten» (1798, № 40; SW в отделе философии. XV, 413).

² См. стихотворение «Orion. An den Erblandmarschall von Hahn» (Адрастее, Т. 3, часть 2. С. 268). О Гане есть сведения в биографическом очерке Лиша «Friedrich Hahn, der erste Graf seines Geschlechts», в истории и документах рода Гана (Т. IV. Шверин, 1856. С. 255 и сл.); снова отпечатан в «Jahrb. des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde» (Т. XXI. С. 81 и сл.). О дружбе этих двух людей мы получили бы еще более ясное понятие, если бы под именем Agathon, о котором Гердер писал Каролине (Воспоминания. I, 224), следовало разуместь Гана.

как создан свет, в котором постоянно действуют две силы — притягивающая и отталкивающая». Он впоследствии никогда не опровергал этого одобрительного отзыва. Даже после того как он отказался от своей должности, он неоднократно заявлял, что «со всех сторон встречал такие выражения одобрения и доверия, которые превосходили его ожидания», что для него «все» было возможно и что «все восхваляли его, любили его и преклонялись перед ним».¹ Очевидно, благодаря чарующему впечатлению, которое производила его личность, он снискал доброе расположение придворных и полную доверия привязанность молодого принца, воспитанием которого до того времени занимались придворные и педанты² и которому было приятно найти в новом воспитателе человека. При немногочисленном дворе был феноменом такой человек, как Гердер, который был полон жизни, еще находился под влиянием впечатлений, вынесенных из путешествий, был увлекательным наставником, красноречивым церковным проповедником, мастерским чтецом и занимательным собеседником, умевшим говорить обо всем остроумно и разгонять при дворе скуку. Точно так же, как в Риге, его стали любить и баловать, и он довольно долго вполне наслаждался отличиями, которые были для него новы и которые удовлетворяли и его честолюбие, и его влечение к более высокому общественному положению. Князь и княгиня были достойны его высокого уважения; добродушного, мягкосердечного принца он искренно полюбил; с веселой и остроумной сестрой принца он находился в самых лучших отношениях. Какое было ему дело до того, что и там, так же как в Риге, он возбудил неудовольствие в среде официальной ортодоксии? Роль, которую играл в Риге Эссен с компанией, принял здесь на себя эйтинский придворный пастор и суперинтендант Вольф. Свободномыслящий человек, для которого служил христианским катехизисом катехизис гуманности и который произносил проповеди в совершенно новых выражениях и даже

¹ К Николаи, 6 мая 1771 г. (С, I, 317); к Каролине, в январе 1772 г. (А, III, 172); к ней же (Воспоминания. I, 123). И между придворными у Гердера были искренние поклонники. О директоре музыки в Эйтине говорится в ненапечатанном месте из письма, помещенного в «Воспоминаниях» (I, 213 и сл. — № 11): «Этот пожилой человек был готов со всеми ссориться из-за меня». С другим, более молодым, другом Гердера, по имени Бах, знакомит нас содержание письма, написанного Бахом к Гердеру 8 апреля 1796 г. и находящегося у нас в руках. Бах сопровождал до Гастендорфа Гердера при его выезде из Эйтина вместе с принцем; при расставании Гердер уговаривал его жениться, и он последовал этому совету.

² См. указания Кориариуса о воспитании принца (LB. III, 37 и сл.).

на совершенно новые темы, натурально, был в глазах Вольфа «последователем социинанизма». Вольф высказал это обвинение в особенности по поводу проповеди, которую произнес Гердер по случаю конфирмации принца и его допущения к принятию Св. Тайн; но это обвинение осталось, к удовольствию Гердера, без всяких последствий. У него было достаточно свободного времени, а в случае надобности и достаточно книг для продолжения его любимой работы — статьи о пластике для четвертого «Критического леска»; кроме того, он имел в виду исполнение самого горячего из всех своих желаний — ему предстояло путешествие в Италию, к которому он начал готовиться еще живя в Париже¹.

Но мог ли он быть уверен, что его желание действительно исполнится? Когда он глубже всматривался в свое положение, то приятная перспектива мало-помалу становилась мрачной. В Эйтине все шло прекрасно; но во время путешествия будет ли его влияние на принца по-прежнему неограниченным, будет ли он сам по-прежнему свободен в своих действиях? Принц не был счастливо одарен от природы; вместе с некоторыми дарованиями он обнаруживал опасную склонность к мечтательности, которая, сосредоточиваясь сама в себе, делала его недовольным, мнительным и задумчивым; при своем слабом, пассивном и нерешительном характере он был склонен подчиняться постороннему влиянию и был еще более склонен к колебаниям во всем, что касалось нравственности и религии. С такой натурой следовало обходиться осмотрительно, по твердо установленному, последовательному плану. Но Гердер замечал, что в этом отношении его влиянию будет препятствовать влияние гувернера. Он пришел к убежденно, что в воспитании молодого человека были сделаны ошибки и даже что весь план путешествия был задуман нецелесообразно, но он не был в состоянии изменить того, что было сделано. Однако он не скрыл своих опасений, а откровенно высказал свое мнение подруге княгини, ее штатс-даме, девице Дюгамель². Ввиду дурных предчувствий относительно результатов путешествия, ему, быть может, следовало бы действовать с большей энергией и уже тогда довести дело до разрыва. Но он ограничился легкими предостережениями. Он попросил дозволения подать даже во время путешествия в отставку, «если только он заметит, что его присутствие не будет приносить принцу реши-

¹ Путевой журнал (LB. II, 310; SWS. 445). В бумагах Гердера есть извлечение из «*Voyage d'un Français en Italie 1765—66*» (Venise, 1769).

² Сравн. кроме рассказа в «Воспоминаниях» письмо к Каролине (LB. III, 146).

тельной пользы». Ему, конечно, позволили то, в чем не было возможности отказать.

Гердер произнес 15 июля в Эйтине прощальную проповедь, а через два дня после того принц Петр Фридрих Вильгельм выехал — как было сказано в гамбургской газете — из Эйтина в Страсбург «в сопровождении тайного советника Каппельмана, господина Гердера и значительной свиты». С 19 по 22 число путешественники пробыли в Гамбурге¹. Клаудиус имел удовольствие еще раз увидеть своего Гердера и скрепить узы дружбы, связывавшие его с этим «симпатичным юношей». Он писал 27 июля Шёнборну: «Я вижу в Гердере такого человека, который при всей своей блестящей живости расположен и к мечтательности»². На пути пришлось останавливаться, для того чтобы посетить дворы ганноверский и кассельский; к счастью, и тут и там нашлись такие предметы и такие люди, которые интересовали нашего любознательного путешественника больше, чем придворная жизнь. Для человека, занимавшегося пластикой, имело особую важность посещение Вальмоденовского собрания художественных произведений в Ганновере и музея в Касселе. Инспектором музея в Касселе был профессор Распе. Этот тщеславный ученый, умевший ловко применяться к условиям придворной жизни и лишь гораздо позже совершивший то преступление, которое заставило позабыть его литературные заслуги, уже пользовался в то время большим влиянием. Его славу увеличивали обширные познания по части языковедения и литературы, естествознания и археологии, участие во всем, что могло удовлетворять господствовавшую в то время потребность в остроумии, и многочисленные личные связи. Поэтому знакомство с ним могло казаться полезным и желательным, а в глазах Гердера он был не только литератором, не только сведущим руководителем при обзоре вверенного ему музея, но так же тем человеком, который впервые обратил внимание Германии на Оссиана и еще в 1765 и 1766 гг. поместил в «Новой библиотеке изящных наук» разбор сочинения Перси «Reliques of ancient English poetry»; но знакомства с ним Гердер желал еще более потому, что Распе заодно с Лессингом и с автором «Критических лесов» нападал на Клотца по случаю изданного этим последним сочинения о пользе и употреблении резьбы на камнях. Сколько интересного мог узнать от Распе Гердер, в последнее время не имевший времени

¹ Сообщено Редлихом из № 115 и 116 гамбургской «Новой газеты» того же года.

² *Гербст.* М. Клаудиус. 4-е изд. С. 83; 3-е изд. С. 108 и прим. на с. 581.

следить за всеми явлениями в немецкой литературе? Сколько интересных книг он мог найти в библиотеке нового друга? Не говоря уже о том, что он мог свести знакомство с помощниками Распе, с этими «Beaux-esprits блестящего кассельского общества»¹. И в Гёттингене, через который шла дорога в Кассель, Гердер завел личные знакомства; именно там он познакомился с предприимчивым Бойе, который потом усердно поддерживал свои сношения с Гердером и умел в течение многих лет извлекать из них пользу для своего «Альманаха муз»².

После путешествия, продолжавшегося четыре недели, Гердер прибыл около 13 августа через Ганау в Дармштадт. Мать принца была в родстве с дармштадтским царствующим домом, так как была с материнской стороны внучкой ландграфа Эрнста Людвига Гессен-Дармштадтского³. Потому-то и предполагалось остановиться там на более продолжительное время. Вскоре после того Гердер писал Гарткноху: «Я нашел здесь такого человека, подобных которому едва ли найдется во всей стране больше трех, и такую девушку, подобных которой едва ли найдется только три во всей Германии»⁴. С Иоанном Гейнрихом Мерком он завел там дружескую связь, которая пустила в его сердце более глубокие корни, чем в сердце Мерка, и которая вслед за принесенными ею первыми богатыми плодами сначала стала слабеть, а потом скоро и совсем прекратилась. Через посредство Мерка он сошелся с Каролиной Флаксланд, в лице которой приобрел самую лучшую и верную, самую подходящую для него и самую достойную его подругу жизни, какую мог найти. Взаимная любовь возникла в этих двух юных сердцах самым естественным образом⁵. С кригсратом Мерком новоприезжий познако-

¹ Касательно Распе следует сравнить: Weimar. Jalirbuch. I, 1. С. 1 и сл. (где на с. 4 следует поставить вместо т. 4 т. 1 и 2 «Neue Bibl. d. schön. W.»). О тогдашних отношениях между Гердером и Распе можно составить себе понятие из помещенных там (с. 41 и сл.) писем Гердера (в особенности см. с. 42 и 51); рукописные ответы Распе на эти письма находятся у нас перед глазами. Из обоих указанных нами в тех письмах мест видно, что знакомство возникло не через посредство Гёпфнера, как это сказано в предисловии на с. 8.

² «Здесь я познакомился и с великим Гердером», — писал 29 октября 1770 г. Бойе к Кнебелю (Knebels litt. Nachlaß. II, 85). Здесь могла идти речь о лете, а не об осени (Вейнгольд. Бойе. С. 179].

³ См.: Гоффмейстер. Historisch-genealog. Handbuch. 3-е изд. С. 62 и сл.

⁴ LB. III, 85.

⁵ Все, что рассказано нами далее, может быть положительно доказано. Но и в «Воспоминаниях», и в дошедших до нас письмах мы находим так много сведений, что считаем излишними подробные указания источников.

мился через посредство воспитательницы молодых принцесс, девицы Раванель, а Мерк ввел его в дом тайного советника Гессе, жена которого была урожденная Флаксланд. У госпожи Гессе была двадцатилетняя сестра — Мария Каролина. Она уже в течение многих лет жила сиротой в доме своего зятя в несколько угнетенном положении — в такой зависимости от вспыльчивого и неделикатного хозяина дома, которая при ее чувствительном сердце стоила ей немало слез. В отцовском доме она привыкла к иному обхождению. Она была младшей дочерью жившего в Рейхенвейере виртембергского правительственного комиссара Флаксланда и вместе со своими семью сестрами была воспитана «на гроши» матерью, совершенно посвятившей себя своим детям. В такой же скромной обстановке и под таким же гнетом рос тот человек, с которым она теперь познакомилась. Его находили очень остроумным и приятным собеседником и стали с удовольствием проводить время в его обществе. С ним близко сошлись, то принимая его у себя, то встречаясь с ним в обществе, то предпринимая вместе с ним прогулки по окружающим Дармштадт рощам. То в веселой болтовне, то в серьезных разговорах развивалось и выходило наружу взаимное влечение двух предназначенных одно для другого сердец. Гердер старался сделать свое общество как можно более приятным. Он читал вслух произведения Клопштока, Клейста, миннезенгеров; его чувства находили тогда отголосок в сердце молодой девушки. Она почувствовала еще более сильное к нему влечение, когда услышала его проповедь. Еще никогда он не слышал таких горячих похвал из таких невинных уст. При его врожденной сердечной нежности и чувствительности ему не раз случалось одерживать победы над женскими сердцами; он беззаботно поддерживал очень близкую дружескую связь со своей рижской приятельницей¹; но в большинстве случаев он держал себя как руководитель и духовный пастырь и никогда еще не обнаруживал намерения связать себя на всю жизнь. Мы ничего не знаем о его любовных интригах во время ранней молодости, а его юношеские стихотворения с эротическим отпечатком были холодными, нередко вовсе не изящными школьными упражнениями, из которых только можно заключить, что его отвращение к «ученой горничной» было непритворно. Он мог, не краснея от стыда, говорить о своей нежной привязанности к той рижской приятельнице и о своем почтительном участии к ее судьбе; он мог вполне искренно уверять

¹ См. выше, с. 154.

свою новую приятельницу, что впечатление, которое она произвела на него, «было единственным и первым в своем роде». Тогда в первый раз в его сердце закралась самая чистая, самая невинная любовь, быть может, не в меру завладевшая всеми его чувствами; она была внушена ему так, что он сам того не замечал, — самым детски-невинным сердцем, которое отдавалось ему вполне и без всякого внешнего принуждения. Ему кто-то предсказывал, что своими проповедями он когда-нибудь добудет любовь молодой девушки. Теперь это предсказание сбылось. Стройная белокурая девушка с невысоким лбом и большими голубыми глазами понравилась ему своей бойкостью и живостью, своей заботливостью о домашнем хозяйстве, своим альзасским акцентом, своей игрой на клавикордах и своими песнями. Ее тяжелое положение, внушавшее ему сочувствие к ней, и ее горячая любовь к ее сестрам обратили на себя его внимание, и дело мало-помалу дошло до полуюсных недосказанных выражений взаимной привязанности. Час разлуки вызвал на более откровенное объяснение. В день ее рождения он написал ей рано утром то письмо, в котором откровенно рассказывал, как развивалась его склонность к ней и что он к ней чувствовал. Это были не отрывочные страстные возгласы влюбленного, а слова человека, который привык отдавать самому себе отчет в своих чувствах, который знает, что любит и что отдает лучшую часть своей души одинаково настроенной душе во имя «невинности, сердечной привязанности и добродетели». Эта любовь выражается в сладкой и вместе с тем священной дружеской привязанности, и при этом высказывается только желание, только намек на надежду, что эта связь может быть упрочена на всю жизнь. Без всяких притязаний и в полном блаженстве от своей почтительной любви Каролина принимает признание человека, которого способна любить так же, как Мета любила Клопштока, и которому готова верить свою судьбу, как своему ангелу-хранителю. Она получила написанные им радостные строки вечером того дня рождения, который собрались отпраздновать в княжеском замке у девицы Раванель; после того как он получил ее ответ, он на следующий день не нашел случая говорить с ней и был принужден торопливо проститься; утром того дня, который был назначен для отъезда, он снова прибегнул к перу, чтобы излить свои мысли и чувства. Он писал: «Даже если бы нам никогда не пришлось увидеться...» Но далее писал: «Придет время, когда все будет нам улыбаться, — это говорят мне не только мои желания, чтобы так было, но все мои самые сладкие надежды, все предчувствия мое-

го сердца»; он просил ее писать ему, обещал, что сам будет ей писать — хотя, быть может, не иначе как холодным тоном благопристойности. Одним словом, это было такое письмо, после которого главный вопрос все еще оставался нерешенным. Лишь благодаря дружеской плутни Мерка дело дошло, за четверть часа до отъезда, до такой сцены, до которой еще ни разу не доходили двое влюбленных. Он доставил Гердеру в своем доме случай сойтись с красивой девушкой без свидетелей. Тогда они повторили друг другу то, что чувствовали. Это была разлука, сопровождавшаяся и слезами, и радостными улыбками. Гердер лишь с трудом вырвался из пылких объятий девушки; за ним был прислан нарочный, и он едва поспел к отъезду. Через несколько минут после того он послал своей возлюбленной поцелуй из дорожной кареты и выехал из города с совершенно новыми впечатлениями, и с такими надеждами, которые могли дать его жизни совершенно новое направление.

Мерк был его поверенным и посредником в его сердечной привязанности. Это, натурально, очень возвышало Мерка в глазах Гердера. И эта роль посредника не кончилась с отъездом Гердера из Дармштадта; напротив, именно с того времени она сделалась и более важной, и более трудной, и более ответственной. Нужно было поддерживать и сохранять в тайне сердечную связь, которая в сущности была доведена до формальной помолвки. Через посредство Мерка обменивались влюбленные письмами. Он был поверенным их обоих; на нем лежала обязанность утешать оставшуюся в одиночестве девушку и помогать ей советами, а в письмах к Гердеру подробно описывать все, что ее касалось. Почти все письма Гердера к Мерку указывают нам именно на эту сторону их взаимных отношений. Под влиянием того, что Мерк рассказывал ему в своих письмах о грезах, которым предавалась влюбленная девушка в своем одиночестве, он писал Мерку: «Сознаете ли вы, друг мой, как приятно ваше положение посредника между двумя сердцами, которые только через вас обмениваются чувствами и обаверяют вам свои самые сокровенные желания! Сознаете ли вы это счастье и будете ли вы достойны его!» Он дает «посреднику» очень щекотливые поручения, но за то долго сохраняет в своем сердце самую искреннюю признательность. Ко всем достоинствам, за которые он любил Мерка и даже — как неоднократно выражался — боготворил, постоянно присоединялась и та заслуга, что Мерк служил для него посредником и поверенным; об этой заслуге своего друга он напоминал и самому себе, и своей невесте, когда у него возникли те

неприятные отношения к Мерку, вслед за которыми их дружеская привязанность совершенно охладела. В этом смысле он выражался еще в марте 1772 г., после того как усилился между ними разлад, и в декабре того же г. в письме к Каролине: «Я сохранию вечное к нему уважение и дружбу, так как мое сердце все еще относится к нему как посреднику в наших первых чувствах и желаниях и так как он в сущности благородный человек».

Если бы мы имели перед глазами кроме писем самого Гердера и письма Мерка к Гердеру, которые, как кажется, утрачены, то мы были бы в состоянии лучше понять характер и истории этой дружбы, а также характер того замечательного человека, который играл такую важную роль и в жизни Гердера, и в жизни юного Гёте.

Выдающиеся факты из жизни Мерка хорошо известны в общих чертах¹. По окончании своих университетских занятий он сопровождал одного молодого аристократа во французскую Швейцарию, откуда возвратился на свою родину в Дармштадт вместе с молоденькой женой; затем он поступил двадцати шести лет на службу секретарем при тайной канцелярии, а потом в 1768 г. занял должность военного кассира с титулом кригсрата. Он не был счастлив ни в своем семействе, ни на службе. Будучи всесторонне образованным человеком, он очень рано стал содействовать успехам немецкой литературы, сначала как переводчик, потом как автор написанных с поучительной целью поэтических произведений, и в особенности как неумолимый критик. Талант и врожденная склонность сделали из него прилежного рисовальщика, опытного собирателя художественных произведений и торговца этими произведениями. Деятельный, неусидчивый характер заставлял его перебрасываться от одного занятия на другое. В последние десять лет жизни его занимали исследования по части естественных наук и собирание коллекций; однако вместе с тем он вовлекался из желания наживы или из любознательности в самые разнообразные промышленные предприятия. Он был ловким, хорошо знавшим свет придворным, пользовался расположением своего государя, был остроумным собеседником, умевшим собирать у себя в Дармштадте кружок влиятельных и образованных людей, и вместе с тем был в сношениях с людьми, стоявшими во главе тогдашней литературы. Однако

¹ К сведениям, которые можно подчеркнуть из первого тома Вагнеровского сборника писем, не прибавили ничего выдающегося ни «Denkmal» Ад. Штара (1840), ни компиляция Циммермана «J. H. Merck, Seine Umgebung und Zeit» (1871).

этот деятельный ум ни в чем не достиг значительных и решительных успехов. Он был слишком умен, для того чтобы сделаться чиновником, пунктуально исполнявшим свои обязанности, так любил деловые занятия, что не мог достигать окончательных результатов ни в какой сфере умственной деятельности, и потому, несмотря на свою предприимчивость, ни в чем не нашел для себя удовлетворения. Он был в дружбе со всеми и для всех служил посредником, но у него едва ли был хоть один друг, на которого он мог бы вполне положиться и который оставался бы ему верен до конца. Ему как будто было предназначено судьбой привлекать к себе людей только для того, чтобы их отталкивать от себя; с течением времени он все более и более оставался в одиночестве среди стольких людей, которые прежде любили и уважали его и которым он не раз оказывал полезные услуги. Этому больному, разбитому душой человеку, не питавшему доверия ни к другим, ни к самому себе, пришлось выносить тяжелые утраты, и он дошел до такого раздражения, что в 1791 г. сам прекратил свою жизнь.

Нельзя сказать, чтобы было трудно оценить литературную деятельность Мерка так же, как ее оценивали другие, и, между прочим, Гервинус, хотя этот последний и отзывался о ней едва ли не слишком благосклонно. Одаренный необыкновенным здравомыслием, умственной проницательностью и способностью находить для метких суждений меткие выражения, Мерк мог бы сделаться образцовым критиком или блестящим сатириком, если бы был способен более страстно увлекаться избранным предметом, если бы имел достаточно силы воли, чтобы неуклонно стремиться к заданной цели, или если бы в его чувствах было более искренности и силы. Пренебрегая всем, что посредственно, он сам не пошел далее посредственности. Умея верным взглядом распознавать гениальность в среде бездарностей, прикрытых искусственными прикрасами, он сам не обладал мужеством гениальных людей и не был в состоянии принять что-нибудь действительно великое. Благодаря своему здравому рассудку и изящному вкусу он был способен различить то, что было достойно высшей похвалы, но потом присоединял к такой похвале порицания, а для того, что было слабо и плохо, находил оправдания ради относительной пользы. Ему недоставало односторонности в его занятиях, недоставало бодрого доверия к победоносной силе того, что благородно, недоставало воодушевления и веры. Несмотря на то что он обладал наблюдательным умом, обширным знанием света и людей, спо-

способностью подмечать все смешное, его поэтические опыты и сатирические очерки обиденной жизни не заходили далее ясности и верности описания, а по своей внешней форме отличались какой-то напыщенностью. С другой стороны, и его критические статьи поражали основательностью замечаний, но не были настолько ценны, чтобы производить сильное впечатление. Для его ума был помехой тот же ум, а для его прозорливости была помехой пошлая рассудительность, потому что он не находил опоры ни в самоотверженной любви, ни в страстной ненависти. Вот почему к его сатирической резкости и желчной язвительности примешиваются малодушное добросердечие и благовидная снисходительность. Своими язвительными остротами он иногда напоминает Свифта, своими коварными намеками — Аддисона, выразительностью своего слога — Лессинга и еще более Мёзера, но все это представляет такую пеструю смесь, что он не может быть поставлен наряду ни с одним из этих писателей. Этот деловой человек и эклектик, служивший для всех посредником и при этом всегда готовый для критики, мог долго вести разные дела вместе с Виландом, но Гёте и Гердеру мог внушать сочувствие и уважение только в лучшую раннюю пору своей жизни. В то время, о котором здесь идет речь, он был похож на запуганного честного человека, который то внезапно принимает двусмысленное положение по какой-то непонятной причине, то со свойственной Гофману неожиданностью, кстати или некстати, высказывает какую-нибудь обидную истину или язвительный сарказм.

Всеми признано, что характер Мерка остался не вполне выясненным даже после того, как он был так превосходно обрисован у Гёте¹. Именно личность Мерка и была той нравственно-психологической загадкой, которую автор «Поэзии и правды» хотел не столько разрешить, сколько облечь в самую ясную формулу. В ней нет ни одной черты, которая не подтверждалась бы вполне и той ролью, которую играл Мерк в своих отношениях к Гердеру и к его невесте, и отзывами их обоих о Мерке. Понятно, что в портрете, который мы находим у Гёте, преобладают темные краски, потому что он был нарисован, когда Мерка уже давно не было в живых и когда поэт собрал в одно целое все впечатления, которые вынес из сношений с этим замечательным человеком. В отзывах, написанных Гердером в то время,

¹ См. дельные примечания Лёпера к известному месту двенадцатой книги в «Dichtung und Wahrheit».

когда он вел знакомство с Мерком, сначала все блестит ярким светом; но понятие, которое он составил себе об этом человеке, очень скоро начинает завлакиваться все более и более густым мраком. Гердер считал Мерка благородным, добросердечным человеком, к которому, по доброте его характера, обращался с просьбами о поддержке. Движимый чувством признательности, он постоянно находит в своем друге превосходные качества, расточает похвалы его складу ума, его чертам лица, в которых выражается его чувствительное сердце, и ведет речь о «нежном пыле, которым веет от всей его натуры и от его сердца». Даже тогда, когда Каролина, ранее самого Гердера имевшая случай заметить неровности характера, слабости и недружелюбие Мерка, то порицает его алчность и в особенности его отношения к жене, то упоминает о его капризном изменчивом обхождении, о его лицемерии и нескромности, то рассказывает, как он ко всему «примешивает что-то неприятное» или хочет дать понять, что «он чем-то не вполне доволен», — даже тогда Гердер умеет ничего не слышать и все извинять. Он остается верен своему убеждению, что Мерк — «в сущности благородный человек». Ему самому было прискорбно, когда Мерк стал относиться к нему более сдержанно, чем прежде, и не отвечал на его пылкие дружеские излияния с такой же горячностью; однако он все-таки не переставал обходиться с ним как с другом и только просил его «воздерживаться от тайных козней и подозрений» и радовался, когда замечал, что его другу удавалось одолеть в себе склонность к раздражительности (от которой всех более страдала Каролина, и даже только она одна), вялость и бездушные. Он самым энергическим образом защищал Мерка от обвинений, которые взводились на него Лейхзенрингом и Каролиной. «Мне кажется, — писал Гердер весной 1772 г., — что я вижу все, что происходит в его душе! Я ценю в нем не научные познания, не ум, не политическую опытность; его характер, бесспорно, сделался мрачным и может лишить его способности ясно видеть вещи». Из всего сказанного видно, что характеристика Мерка у Гёте не совсем одинакова с понятием, которое составил себе о Мерке Гердер. С той минуты, как Гердер получил ясные доказательства нескромности Мерка, т. е. с 1773 г., он внезапно стал совершенно иначе отзываться о своем бывшем друге; он стал обращаться к другим с самыми горькими жалобами на Мерка; он уверял, что Мерк «изменил» ему и заподозрил этого человека в таких низких проделках, что, когда Лафатер прибыл в июне 1774 г. в Дармштадт, очень серьезно советовал

ему остерегаться Мерка¹. Быть может, не остался без влияния на его отзыв о Мерке и тот факт, что Гаман, познакомившийся с Мерком осенью 1773 г. после его возвращения из Петербурга, чувствовал сильнейшее отвращение к этой «мартышке», как он называл Мерка, и не скрывал этого отвращения от Гердера². Но когда Мерка постигло в 1774 г. самое тяжелое из всех несчастий, какие могут постигнуть мужчину, то было достаточно свидания с Мерком летом 1775 г. в Дармштадте, для того чтобы строгие отзывы Гердера об этом несчастном заменились выражениями сострадания³. И по своей натуре, и по своей судьбе Мерк действительно был более всякого другого достоин сострадания. Все, что было в нем причудливого и желчного, все, что было в нем коварного, злобного и мекфистофелевского, привело

¹ А, II, 109. — Самый резкий отзыв Гердера о Мерке высказан в письме к Гаману, написанном в мае 1774 г., но выпущен в печати (Соч. Гамана. V, 73): «Чем был для вас Мерк, тем был он для меня в тысячу раз больше, и для моей жены еще больше. Чтобы дать ему приличное название, было бы мало назвать его лицемером, обманывавшим исподтишка, клеветником, подстрекателем на все дурное; но я не хочу называть его тем именем, какого он стоит, и вы должны позабыть о нем и не связываться с ним. На ваше письмо, которое он переслал мне, он не получил никакого ответа, и впредь он никогда не получит от меня ни одной строчки. Он не только разболтал тайны в таком деле, в котором я со слепым доверием полагался на него, как на верного друга, но клеветал на это дело, чернил его и искажал разными нечестными способами. Это третий человек на земле, которого я желал бы никогда не знать, — однако это желание безрассудно! Этой адской кошке было суждено без ее ведома и воли, даже наперекор им, оказать мне помощь в таком деле, в котором я вижу перст Божий, — именно в моей женитьбе. Именно моей жене, а в лице ее и самому мне он нанес такое оскорбление, которого ничем нельзя загладить. И этот человек, неспособный сделаться ничьим другом, в большой дружбе с Николаи! Теперь он находится в Швейцарии с целью украдкой увести свою добрую жену в Германию на новые мучения. Желаю ему счастья».

² Соч. Гамана. V, 44, 62, 83, 133.

³ Гердер к Лафатеру (А, II, 141). Подробности этого происшествия Гердер сообщил Циммерману в октябре 1774 г. (*Бодеманн*. J. G. Zimmermann. С. 323). Это место относится к письму Циммермана от 14 октября (*Dünßer* А, II, 341 и сл.); в том месте этого письма, которое было опущено в печати, Циммерман упоминает о дошедшем до него из Швейцарии известии, что Мерк, приехавший в Швейцарию с целью взять с собой жену, узнал, что она не была ему верна. Теперь нам понятно, какое «ужасное» происшествие заставило Мерка быть невнимательным слушателем в то время, как Гёте читал ему вслух «Вертера». Теперь нам становится понятным и содержание писем, которые Мерк писал к Николаи (*Вагнер*. III, 99 и 102). Стоит труда разъяснение и следующего вопроса: тот сатир, о котором идет речь у Гёте и значение которого так странно старался объяснить Шерер, не был ли намеком на случившееся с Мерком несчастье?

лишь к тому, что никогда и ничем он не мог быть доволен. «Он все представляет себе в черном и преувеличенном виде — он несчастлив», — писал Гердер своей невесте еще в мае 1772 г. по поводу размолвки, давно возникшей между Мерком и его женой. Только упоминания о том, что Мерк был достоин сострадания, только этой черты его характера, к сожалению, недостает в портрете, нарисованном у Гёте. Этому даровитому человеку не доставало только способности находить в ком-нибудь и в чем-нибудь счастье, не доставало способности чем-либо увлекаться без всякой задней мысли; он был несчастный и болезненный человек, а оттого что он был несчастлив и болезнен, его светлый обширный ум сделался для него источником душевных страданий, сделался вредным и для него самого, и для других; он стал казаться более дурным человеком, чем действительно был, а его врожденные слабости взяли верх над его природной добротой и даровитостью.

Но возвратимся к тому времени, когда Гердер в первый раз сошелся с Мерком в Дармштадте. Мы составили бы себе очень неполное понятие об их взаимных отношениях, если бы позабыли, что их дружба имела самостоятельное важное значение для Гердера независимо от того значения, которое придавала ей любовь Гердера к Каролине. Знакомство с Мерком принесло громадную пользу Гердеру тем, что содействовало удовлетворению его умственных потребностей и развитию его понятий о жизни, — вообще имело большое влияние на его характер. Мерк был третьим из тех выдающихся людей, с которыми он сдружился во время своего путешествия. На Лессинга, который был гораздо старше его, Гердер смотрел глазами юноши, который преклонялся перед великим писателем, желал бы идти по его следам, но постоянно сознавал свое ничтожество перед ним; в Клаудиусе он нашел товарища, с которым его связывала юношеская дружба, отличавшаяся обоюдным фанатическим самоотвержением; но дружбу, которая связывала его с Мерком, он сам называл «дружбою двух сильных геройских сердец». Он не находился в подчинении у Мерка, не относился к нему, как Давид к Ионатану, а жал ему руку как равный равному, как мужчина мужчине. В складе ума, которым был одарен Мерк, точно будто соединялось очарование, которое производил Лессинг, с привлекательностью, которой отличалась личность Клаудиуса; своими познаниями и внушительной основательностью своих суждений Мерк напоминал Лессинга, а при тех обстоятельствах, которые сблизили его с Гердером, он показался этому последнему таким же доб-

рым, сострадательным, чувствительным и даже поэтически настроенным человеком, каким был Клаудиус. Мерк привязывал к себе Гердера самыми разнообразными узами; он умел лучше многих других распознавать гениальность дарований и вполне разумно шел навстречу всем природным влечениям Гердера. Когда их дружба начала охлаждаться, Гердер с грустью вспоминал о тех днях, когда их взаимные отношения отличались сердечной искренностью; он говорил об их «первой взаимной привязанности, об их влиянии одного на другого» и потом упорно старался поддерживать прежнюю сердечную теплоту и искренность их дружеской связи; разве все это не доказывает, как была богата последствиями эта связь в течение тех немногих дней, которые Гердер провел в обществе Мерка? Гердер нашел в Мерке такого человека, «в обществе которого развиваются чувства и крепнут идеи», — точно так же, как и Гёте, годом позже, нашел в Мерке такого же человека. Мерку можно было говорить без всякого исключения обо всем, чем было наполнено сердце Гердера, и обо всем, чем была наполнена его голова. Гердер был уверен, что для всего найдет сочувствие и проливающее свет суждение. Если бы эти два человека взялись за дело сообща, так что вклад Гердера заключался бы в идеях, а вклад Мерка в руководящем занятии уме, то мы получили бы целый ряд самых плодотворных литературных произведений. Они сошлись на том, на чем трудно бы было ожидать сближения, как это нередко случается с людьми, неожиданно завязывающими личные связи в новой среде и на чужой стороне. Гердер поместил в Кёнигсбергской газете извлечение из путешествий Шай¹; оказалось, что «плавный перевод», заслуживший от него похвалу, принадлежал Мерку. Так как Мерк занимался предпочтительно этнографией и историографией, то Гердер нашел в нем человека, охотно выслушивавшего его широкие планы касательно всеобщей истории или его воззрения на рассказы Моисея о сотворении мира. С Мерком он мог пускаться в разговоры о древней и новой литературе и мог быть уверенным, что Мерк укажет ему на то, что ускользнуло от его внимания, и обменяется с ним самыми ценными замечаниями и идеями. С Мерком можно было пускаться в философские размышления и можно было толковать о пластике, так как он был знатоком этого дела, был одарен изящным вкусом и сам рисовал; Гердер стал относиться к нему с таким уважением, что даже не хотел отдавать свою статью о пластике в печать, прежде чем она будет

¹ Кёнигсбергская газета. 1765. № 80 и 88; SWS. I, 81 и сл.

просмотрена Мерком в рукописи. С таким же доверием, с каким он прежде обращался к Гаману и с каким он долго не мог обращаться ни к кому другому, он письменно сообщал Мерку о том, что выносил из чтения книг, просил его оплачивать тем же, уведомлял его о ходе своих литературных занятий и присылал ему написанные статьи. Он не только отвечал на письма Мерка, но и пытался подражать его стихам. Басни Мерка, по-видимому, возбудили в нем соревнование и желание писать басни в иной форме¹. Для Мерка он в первый раз открыл портфель со своими стихотворениями, которых прежде никому не показывал, и подвергнул его прозорливой критике свои старые и новые поэтические наброски. Он ничего не скрывал от человека, который когда-то был единственным поверенным в его сердечной привязанности, его представителем при девушке, которую он полюбил. Он не налагает на себя никаких стеснений в сношениях с этим другом, личность которого неразрывно связана в его душе с другим, еще более дорогим, существом. Его письма должны верно изображать все, что происходит в его сердце. Вскоре после своего приезда в Страсбург он писал Мерку: «Смотрите в мои бумаги, как в зеркало, — и любите меня таким, каким меня знаете». Разве не все равно, продолжает он, что сначала люди распознают друг друга как бы ощупью и еще не успели изучить друг друга? «Будем относиться один к другому как друзья и будем представлять себе друг друга в идеальном свете сколько душе угодно; от этого пробегают искры по душе и по сердцу! Мы наэлектризуем друг друга к деятельности, которая потом непременно даст нам счастье. Это — то же, что вдохновение, то же, что чудная творческая способность давать душе жизнь, быть может, похожая на электрическую искру, которая зажигает нашу кровь». Это были потоки чувствительности, вслед за которыми едва ли мог надолго увлекаться Мерк при своем характере, а если и увлекался, то, вероятно, потому, что старался обманывать сам себя; а полный искренности Гердер не мог долго и так высоко парить в излияниях своей чувствительности. К тому же в характере Гердера была и другая сторона, которой он слишком близко соприкасался с характером Мерка. И в его характере была та склонность всему придавать кислый вкус, от которой он предостерегал своего друга. И у этого легко воодушевлявшегося человека было та-

¹ LB. III, 324, суждение Гердера о баснях Мерка. Шлоссер в письме к Мерку (*Вагнер*. I, 51) упоминает о баснях Гердера. Тетрадка с баснями Гердера — у Вагнера (III, 27 и сл.).

кое же расположение к сварливости, в каком он упрекал своего здравомыслящего друга. Все эти причины неизбежно должны были привести к недоразумениям, к разочарованию, к раздражению и наконец к разрыву.

Письма Гердера к Мерку и к Каролине будут впредь служить для нас главным источником сведений о том, что пришлось переживать нашему путешественнику. Под влиянием впечатлений, с которыми он выехал из Дармштадта, он писал, что, спускаясь при выезде с горы, «находился в беспамятстве и в опьянении», «был неподвижен, нем, и почти не способен ни о чем думать»; а потом его мысли постоянно возвращались к его возлюбленной. Мы оставим в стороне и эту болтовню влюбленного, и те описания его сердечных чувств, с которыми он обращался к своей «милрой Психее», к своей «стройной и резвой гречанке», а оставим наше внимание на его пребывании в Карлсруэ. Через Мангейм — где он осматривал коллекцию образцов античных произведений и задумал новые дополнения к своей «Пластике» — и через Гейдельберг он прибыл вечером 29 августа в Карлсруэ, где снова предполагалось провести целую неделю по причине пребывания там двора.

Для Гердера стоило труда познакомиться с баденской княжеской четой. Маркграф Карл Фридрих Баден-Дурлахский вступил в управление на восемнадцатом году своей жизни, в то время, когда Гердер был двухлетним ребенком; его владения были в то время очень обширны, но он старался сделать из них образцовое государство, усиленно заботясь о материальных и духовных интересах своих подданных. Он относился чрезвычайно серьезно к своим обязанностям правителя; благодушие и человеколюбие были душой его отеческого управления; хотя он и придерживался нового учения физиократов, но это не мешало ему правильно относиться ко всему, что касалось высших интересов образования. Его либерализм соединялся с искренним благочестием, а успехам немецкой литературы он радовался в значительной мере и потому, что видел в них средство для усиления патриотических чувств и для поднятия духа немецкой нации. По прошествии многих лет он, при содействии Гердера, задумал основать национально-немецкий ученый институт, а первое между ними знакомство завелось в ту пору, о которой здесь идет речь. Клопшток — который был приглашен маркграфом в 1774 г. в Карлсруэ в качестве «поэта, воспевавшего религию и отечество», и прожил там гостем довольно долго, — отзывался о маркграфе как о таком человеке, с которым есть о чем поговорить. Таким же

нашел маркграфа и Гердер летом 1770 г. Он рассказывает, какие оказывал ему маркграф отличия, как неоднократно подходил к нему среди собиравшегося при дворе общества и наводил разговор на важные вопросы о распространении человеческого благосостояния и свободы. Это — прибавлял Гердер — первый государь, в котором не заметно никакого важничанья, свойственного лицам его сана, и едва ли не самый лучший — говорил он в другом месте — из всех тогдашних немецких государей. На Гердера каждый день сыпались новые милости, и он даже по прошествии полугода вспоминал в письме к гофрату Рингу (с которым познакомился в Карлсруэ) о милостях «превосходного государя» и столь «доброе властителя»¹. И супруга маркграфа отличалась разнообразием своих талантов и богатством своих познаний. Впрочем, Гердеру никогда не нравилась в женщинах ученость, а к льстивым комплиментам и к ухаживанью он был в то время менее чем когда-либо расположен — и ему показалось, что по этой причине супруга маркграфа относилась к нему с некоторой холодностью. Он, вероятно, мог бы загладить дурное впечатление, которое произвел на нее своим неумением быть любезным, — он, вероятно, приобрел бы и ее благосклонность, если бы исполнил желание маркграфа услышать его проповедь. Но, к обоюдному сожалению, этому помешала непродолжительность пребывания в Карлсруэ. Путешественники отправились в дальнейший путь раньше, чем ожидал Гердер; они прибыли в Страсбург, как кажется, вечером 4 сентября.

¹ № 3 тех писем Гердера, которые сообщил Эрих Шмидт (Im neuen Reich. 1879. № 26).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СТРАСБУРГ

Просмотрим еще раз первые любовные и дружеские письма, которые Гердер посылал в Дармштадт. Разве они не должны были в каждой строчке дышать счастьем и радостью? Разве не следовало бы ожидать, что солнечный луч первой чистой любви наполнит восторгом сердце Гердера и что надежда в скором времени осуществить его давнишнее намерение побывать в Италии представится ему вдвойне привлекательной?

Вместо этого мы находим, что к радостным чувствам, которыми была наполнена его душа, примешивается какая-то неприятная фальшивая нота. Немедленно вслед за своим приездом в Страсбург он писал Рингу¹, что в Карлсруэ он находился в таком расположении духа, которое скорее отталкивает прежних друзей, чем помогает приобретать новых. Несмотря на то что он все не был равнодушен к вниманию, которое ему оказывали при дворе, он признавался своей возлюбленной, что тяготился всеми любезностями, которыми его осыпали, и что ему были приятны только те часы, которые он проводил в одиночестве; а когда он заводит речь о том, как будет жить вместе с избранницей своего сердца, то сознается, что его мрачная фантазия всегда заканчивает эти мечты слезой, вызванной самой глубокой меланхолией.

В основе его характера лежало расположение к мрачным мыслям: на горизонте его сердечных чувств всегда были готовы появиться облака, для того чтобы превратить самое яркое солнечное небо в сумрачное. Впрочем, на этот раз небо действительно не было таким солнечным над его головой. Познакомившись со всеми условиями его тогдашнего положения, нельзя не сознаться, что он имел достаточные причины впадать в дурное расположение духа и беспокоиться. Это положение было особенно неприятно при только что возникшей в его сердце любовной привязанности.

¹ № 2 писем, сообщенных Э. Шмидтом (Im neuen Reich. 1879. N 26).

Тех шести недель, которые он провел в путешествиях вместе с принцем и его свитой, было вполне достаточно, для того чтобы оправдать мрачные предчувствия, мучившие его перед отъездом. Одинаково неспособный и к энергическому образу действий, и к дипломатической осмотрительности, он не мог поставить себя во время путешествия в такое положение при принце, какого не мог достигнуть в Эйтине при явном противодействии со стороны руководившего путешествием аристократа. Нам неизвестно, в какой мере было основательно его убеждение, что его спутники завидовали отличиям, которыми он был не в меру осыпан при эйтинском дворе, и теперь, когда все от них зависало, стали мстить ему; но уже одно убеждение, что действительно так было, должно было стеснять его в сношениях с княжеским гувернером; к тому же он сам не знал, имел он равные с этим гувернером права или же был подчинен ему. Другое дело, если бы он один состоял при принце! А теперь он был рабом придворного этикета, должен был подчиняться чужим распоряжениям, был в зависимости от таких людей, с которыми не находился в свободных искренних отношениях¹, — таким образом, в его глазах подтверждалось все, чего он заранее опасался, и подтверждалось вдвойне именно потому, что он все это предвидел. Разве так желал он путешествовать? Он желал путешествовать с принцем, а выходило наоборот — принц с ним путешествовал. Он уже начинал тяготиться и «своей зависимостью и тем, что его таскали от одного двора к другому». С каждым днем он все яснее понимал, что при таком ходе дел он вовсе не достигнет своей цели, что «во время путешествий он не будет путешествовать».

Но не одни только тревожные предчувствия, а также некоторые посторонние соображения заставляли его не рассчитывать на новую должность почти с той самой минуты, как он ее принял. Средство освободиться от нее находилось в его кармане уже в ту минуту, когда он сажился в дорожную карету принца.

Не говоря уже о его постоянном намерении когда-нибудь возвратиться в Ригу, он получил незадолго до отъезда из Эйтина новое чрезвычайно настоятельное приглашение на такую должность, которая была во многих отношениях чрезвычайно привлекательна для него. Все счастливые перемены в жизни Гердера были плодами его прежней литературной деятельности. Его маленькое сочинение о Томасе Аббте нашло с первой минуты сво-

¹ Какого дурного мнения он был о Каппельмане, видно из окончания одного из его писем к Каролине (А, III, 446).

его выхода в свет самого ревностного читателя в том владетельном графе, при котором Аббт состоял на службе в последние годы своей жизни. Это сочинение внушило графу Вильгельму Липпе-Шаумбургскому высокое уважение к уму автора, а так как бюкебургский советник консистории и обер-пастор Кнефель кончил жизнь, то граф не находил более достойного заместителя открывшейся вакансии, чем тот писатель, который так высоко ценил его незабвенного Аббта и в котором он надеялся найти вознаграждение за понесенную утрату¹. Адресованные к Гердеру письма были сначала отправлены в Ригу. Этим объясняется, почему одно из этих писем, помеченное 1 февраля 1770 г., было получено им только в июле. Эти письма писал советник казначейства и директор полиции Вестфельд, который так же восхищался сочинениями Гердера; он постарался выразить Гердеру желание графа с самой горячей настойчивостью и представить ему в самом благоприятном свете новую должность, ожидавшую его в Бюкебурге. Второе письмо с тем же предложением застало Гердера в Дармштадте. Оно уже находилось в его руках, когда он почувствовал любовь к Каролине Флаксланд. Мы, конечно, не ошибемся, высказывая догадку, что его готовность принять предложение была последствием частью того, что он полюбил Каролину, частью того, что он был недоволен своим «фальшивым положением» при принце. В письме к графу он изъявил 24 августа готовность принять бюкебургскую должность, конечно, в том предположении, что эйтинское правительство согласится на его увольнение и, кроме того, с такими оговорками, что он предварительно будет сопровождать принца в Страсбург и что впоследствии — хотя бы по прошествии нескольких лет — ему не откажут, как бы в вознаграждение за то, что он теперь терял, в дозволении предпринять путешествие в Италию².

Таким образом, Гердер удачно приискал такую форму ответа, в которой были приняты в соображение все его личные интересы! Однако его душевная тревога не прекратилась. Ему представлялся случай выйти из его неприятного положения, но он не мог быть уверен в успехе. Он действовал втайне от своего эйтинского начальства. Его отношения к принцу оставались с виду такими же, какими были прежде, но он уже прервал их изъяснени-

¹ Это видно из писем Вестфельда (LB. III, 45 и 49). Собственный рассказ Вестфельда, помещенный в «Воспоминаниях» (II, 18 и сл.), не совсем верен.

² Содержание письма Гердера видно из ответа Вестфельда от 31 августа (LB. III, 119); сравн. письмо Гердера к Гаману от 24 августа 1776 г. (Соч. Гамана. V, 182).

ем своего согласия на присланное из Бюкебурга приглашение. Тогда эти отношения сделались еще более прежнего двусмысленными и невыносимыми. К этому следует прибавить душевное волнение, которое возбуждали в Гердере воспоминания о романтической сцене, разыгравшейся перед его отъездом из Дармштадта. Вовсе не удивительно, что в его голове точно будто гуляли «морские волны», что он воображал себя отшельником, которого никто не в состоянии понимать и которому невыносимо чье-либо присутствие, что, сидя в дорожной карете принца, он разговаривал со своими спутниками так, как разговаривает погруженный в меланхолию и душевнобольной человек, или же погружался в свои мечты и мрачно молчал, что среди всех развлечений, какие представляла жизнь в Карлсруэ, он был доволен только тогда, когда в одиночестве в лесу или ночью в своей комнате мог свободно предаваться своим мыслям, своим надеждам и желаниям, своим сомнениям и своей грусти. С каким нетерпением он ожидал ответа из Бюкебурга! Этого ответа ему пришлось ожидать в Страсбурге довольно долго, а в течение этого времени его тревожное состояние усиливалось вместе с его нетерпением. Он писал, что выносит пытку, и называл свое положение «тухлым, гнилым», не соответствующим ни намерениям эйтинского двора, ни его собственным; он жаловался на «уколы прямо в сердце и мелкие придирки», на «бесчисленные коварные оскорбления, которые действуют, как яд». Для него вполне ясно, что ему следует со всем этим развязаться и положить этому конец. Но тогда в уме этого чувствительного человека возникают мучительные нравственные сомнения иного рода. Не будет ли он с виду неправ? Не угрожает ли ему та опасность, что его будут считать человеком неделикатным, ничем не довольным, гордым, беспокойным? Для такой нежной натуры, как натура Гердера, самым мучительным был выбор окончательного решения. Ему было бы всего приятнее, если бы он мог предоставить решение какому-нибудь оракулу, а всего более его успокаивала та мысль, что до того времени «все перевороты в его жизни совершались с быстротою толчка». После того, как он завел с принцем разговор о своем положении и этим только поставил себя в еще более трудное положение, он писал 12 сентября Мерку: «Я надеюсь, что всё разрешат непредвидимые случайности; на всех перепутьях в моей жизни я с благоговением полагался на этих детей Провидения, подобно тому как честный авгур полагался на полет птицы».

Но случилось только то, что едва ли могло не случиться и что Гердер сам себе подготовил. Наконец пришли из Бюкебурга так

нетерпеливо ожидавшие депеши, о которых он так часто справлялся на почте! Условия Гердера были приняты там без всяких возражений. Граф Вильгельм считал решенным, что Гердер явится в Бюкебург, лишь только найдет к тому возможность, высказывал ему в собственноручном письме свое удовольствие и желание его видеть и немедленно вслед за тем прислал ему формальное назначение на должность¹. Тогда Гердер был принужден положить конец своим колебаниям. Он послал 16 сентября в Бюкебург письмо с просьбой об отсрочке, со слезами на глазах сообщил вечером 20 сентября о своем отъезде принцу, который был глубоко огорчен этим известием, но сам не знал, как ему следовало поступить. В то же время он сообщил о своем решении Каппельману: «Я не ожидал, что мне так скоро придется воспользоваться свободой, которая была предоставлена мне его светлостью епископом так милостиво и без всяких ограничений; однако я решился воспользоваться этой свободой, о чем заявляю вам письменно и немедленно письменно сообщу в Эйтин. Между нами возникло недоразумение: на моем месте желали иметь кандидата теологии, который был бы вместе с тем и гувернером. Я на это не гожусь; но мы находимся в такой стране, где можно найти десяток таких кандидатов. Здесь их можно найти, а в Италии я был бы связан и поставил бы принца моим отъездом в затруднительное положение. Я многим обязан эйтинскому правительству, но оно, конечно, не потребует, чтобы я пожертвовал многими годами моей жизни для такого путешествия, которое не представляет для меня никакого интереса, и для занятия такой должности, на которой я сам не знаю, что от меня требуется. Я сам никогда не искал этой должности, да и никак не мог себе представить, что буду вами поставлен в крайне неловкое положение, — так, сегодня мне пришлось обедать без скатерти и без прислуги и самому ходить вниз, чтобы выпросить соли. Я не имею ни желания, ни надобности сделаться ничего не значащим нулем или предметом насмешек для прислуги. А приведенный мною случай — лишь один из многих тому подобных. Итак, я надеюсь, что по истечении этого месяца прекратятся мои теперешние обязанности, а для того чтобы мой отъезд не подал пубlique повода думать, что между нами произошла ссора, я принимаю в графстве Липпе-Шаумбургском должность обер-пастора, которой охотно предпочел бы путешествие в Италию даже на мой собственный счет»². Оставалось

¹ Документы в LB. III, 119 и сл.

² Выписка из оставшихся после Гердера бумаг, сделанная рукой Ринга и сообщенная Эрихом Шмидтом под № 4.

только получить увольнение из Эйтина. Принц надеялся, что отставка придет лишь через несколько недель, но она уже была готова в начале октября. Гердер писал Мерку, что отставку получил от «епископа вместе с выражениями его высокого уважения и в вежливой форме; что герцогиня казалась очень тронутой, а оба они, очевидно, были удивлены тем, что случилось». «Итак, — прибавляет Гердер, — еще одна мечта не сбылась! Наша жизнь похожа на ночное бдение».

Однако продолжительная, мучительная неопределенность его положения и его тревожное душевное состояние отразились и на его отношениях к жившей в Дармштадте возлюбленной. Именно в течение тех дней, когда он ожидал увольнения из Эйтина, ему пришлось получить очень внушительный урок и пережить бурю, которая взволновала его до глубины души, хотя и разразилась из ясного неба. Среди своих душевных тревог он находил единственное утешение в письмах, которые получал из Дармштадта, и в мыслях о своей «дивно милой девушке». Ее образ был для него путеводной звездой на жизненном пути, ее слова вносили свет в его душу после пережитых мрачных дней и казались ему голосом ангела. Но теперь он получил от нее письмо, в котором она извещала его о прекращении переписки, — это было прощальное письмо, написанное резким и оскорбительным для него тоном.

Нетрудно понять, что происходило в сердце бедной девушки, чтобы заставить ее написать такое письмо. Нет ничего удивительного в том, что такой человек, как Гердер, показался тайному советнику Гессе — после знакомства, продолжавшегося лишь несколько дней, — сумасбродом и взбалмошным человеком, на которого нельзя полагаться и с которым опасно связываться. Каролине не раз приходилось слышать, как многие с подозрением отзывались об этом иноземце, завернувшем в Дармштадт на столь короткое время. Все равно, была ее тайна всем известна или не была, — ей старались представить Гердера ненадежным человеком и для дружбы, и для супружества. Перечитывая письма Гердера, Каролина находила в них немало подтверждений того, что слышала, — ведь наряду с выражениями самой искренней нежности и самой сильной любви, которые доказывали прочность и глубину сердечной привязанности Гердера, было немало признаков какого-то лихорадочного беспокойства, каких-то причудливых колебаний, которые снова открывали вопрос, уже считавшийся решенным, и по-видимому оправдывали подозрение, что этот человек едва ли способен к безусловной

и продолжительной привязанности. Он сам признавался, что из его писем было нелегко добиться толку. Но главной причиной всего было то, что человек с таким беспокойным и постоянно стремившимся вдаль умом, как Гердер, едва ли был способен к прочной привязанности. Не была ли его любовь к Каролине просто забавой, которую он мог внезапно прекратить под влиянием каких-нибудь новых впечатлений? В своих письмах он иногда выражался с такой ничем не стеснявшейся откровенностью, что его любовные признания производили на Каролину впечатление самых горячих поцелуев и заставляли ее краснеть от стыда. Но рядом с этими признаниями встречались и такие выражения, которые заставляли думать, что он сознательно отступает назад и намерен довольствоваться чисто платонической любовью. Она обручилась с ним на его груди, в его объятии и в данном ему поцелуе; он вспоминает об этой сладкой минуте и мечтает о возобновлении такого блаженства — но через несколько строк далее он точно будто пробуждается из усыпления, точно будто силой вырывается из ее объятий: «Дорогой мой друг, знакомство со мной никогда не должно служить препятствием для вашего счастья... хорошо, если оно могло доставить вам удовольствие хоть на несколько мгновений»... Разве Каролина могла не удивиться и не призадуматься, читая такие слова? Разве можно удивляться тому, что такая манера Гердера то пылко увлекаться своей страстью, то сдерживать себя и даже становиться в оборонительное положение сбивала с толку и пугала бедную девушку и что у Каролины вырвалось страшное слово «я покинута»? И могла ли она успокоиться, когда он отвечал ей: «Вы очень несправедливо судите о моем сердце, когда придаете некоторым словам в моих письмах отрицательное значение, — это не что иное, как выражения искренней, почтительной, застенчивой дружбы... Ради моего собственного спокойствия мои выражения сохраняют прежнюю скромную неопределенность»! Разве эта заботливость о его спокойствии могла уgomонить ее сильно бившееся сердце? Во всяком случае мы должны отдать справедливость благородству намерений Гердера! Он не хотел окончательно себя связывать, до тех пор пока не определится его судьба и пока он не будет в состоянии сдержать свое слово. Тем не менее он был не прав. Ведь на самом деле он уже давно вышел из пределов той «скромной неопределенности». Он и принимал, и сам расточал так много нежностей и ласок, что уже не имел права отказаться от формального обручения. Его возлюбленная отдалась ему всем своим сердцем. И долг, и честь, и совесть за-

ставляли его соединить его судьбу с ее судьбой и, стало быть, заставляли его поторопиться устройством его судьбы, для того чтобы он мог навсегда соединиться с нею. Он делал большую натяжку, стараясь убедить самого себя, что добродетель, самоотвержение и уважение к личному достоинству его возлюбленной заставляют его не связывать себя решительным словом; он был ослеплен себялюбием, когда увлекался этим фантастическим понятием о мужской добродетели, вовсе не принимая в соображение искренних чувств любящей девушки. Чтобы успокоить ее, он наконец прибегнул к такому средству, которое так же было внушено не столько любовью к ней, сколько себялюбием. Взамен всяких других ответов на ее тревожные вопросы и сомнения он написал ей 22 сентября уже не раз нами упомянутое письмо с описаниями различных сцен из его жизни; стараясь опровергнуть резкие отзывы, которые высказывал о нем зять Каролины, он в этом гордом и себялюбивом письме беспрестанно повторял в виде припева, что он с самого детства «обнаруживал твердость характера» во всех прежних житейских положениях, и в заключение говорил, что и с любовью он был бы неспособен шутить. Быть может, не каждый из читателей признает изложенные в письме доводы убедительными; письмо оканчивается в высшей степени меланхолической припиской — он говорит, что его надежды обыкновенно никогда не сбываются, и затем со вздохом восклицает: «Неужели вы не считаете меня одним из тех людей, которые никому не могут дать счастья!» Эта приписка, конечно, совершенно уничтожала хорошее впечатление, которого можно было ожидать от содержания его письма.

Но когда Каролина получила это письмо, она уже находилась под впечатлением другого письма, которое получила двумя днями ранее и которое было оскорбительно для ее самолюбия и для ее женской чувствительности. По поводу нескольких замечаний, высказанных ею о тех книгах, которые она читала, Гердер прочел ей в том первом письме коротенькую лекцию о Минне фон Барнгельм, о Клопштоке и Гесснере; в этих частью насмешливых, частью поучительных замечаниях было нечто похожее на тот тон, каким Гердер обыкновенно спорил со своими друзьями, лишь выражаясь с еще большей резкостью. Однако как ни романтична личность наставника, превратившегося в любовника, все-таки от любовника, принимающего на себя роль наставника, требуется некоторая осмотрительность! В высшей степени разумные и неопровержимо основательные поучения и указания Гердера были строгим укором для девушки, добродушно выска-

завшей свои суждения. Разве ее собственное чувство не могло служить ей верным руководителем, хотя бы оно и не сходилось с отзывами критики? И разве она не имела права полагаться на свой собственный вкус? К душевной тревоге, вызванной колебаниями ее возлюбленного, присоединилась досада, вызванная его наставническим тоном, — в ней заговорила гордость; личность ее друга внезапно представилась ей в непривлекательном свете, и она решила отказаться от человека, который был способен насмехаться над ней, который считал ее слишком неразвитой и глупой и против которого она желала отстоять свою личную независимость и свое право чувствовать по-своему. Она отвечала раздражительным тоном на его «выговоры»; она с оскорбительной холодностью и даже с насмешливостью высказывала ему свое желание, чтобы ему было хорошо и чтобы «его непостоянная судьба не очень сильно бросала его из стороны в сторону»; «для того чтобы их переписка не причиняла ему огорчений», она просила его впредь совсем не писать ей; и ей самой становилось как-то неловко от многолетней переписки, а так как не было никакой надежды свидеться, то можно было положить конец всяким стеснительным обязательствам!

Одним словом, это был во всей форме отказ с прекращением всяких сношений!

Мы обязаны этому отказу несколькими письмами Гердера, в которых он изливал свои чувства в самой трогательной форме. Кто хочет познакомиться с лучшими образчиками его красноречия, тот должен прочесть как то, что он писал в ответ на «страшное, странное, непонятное» письмо Каролины, так и оба его нравоучительных послания. Его жаждущее любви сердце высказывается здесь вполне. С неудержимым пылом, с изливающейся потоками чувствительностью, с настойчивыми страстными заклипаниями он снова старается завладеть сердцем Каролины; он устраняет недоразумения, кладет к ее стопам всю свою богатую душу и в то же время изливает свою скорбь в самых искренних, самых трогательных выражениях. В том, что письмо Гердера достигнет своей цели, нельзя было сомневаться. Каролина раскаслась еще прежде, чем прочла его. Примирение состоялось скоро, а то было лишь чем-то вроде эпилога, когда Гердер был принужден успокаивать ревность своей возлюбленной, объясняя ей характер своих отношений к г-же Буш. Последствием этого мимолетного недоразумения было лишь то, что оба влюбленных лучше узнали друг друга и впредь были более уверены один в другом. «Всеми клятвами своего сердца» он снова уверял ее

в «своей вечной дружбе», а она теперь уже понимала, что этим следует довольствоваться. Эти клятвы никогда не были нарушены, но эта первая буря служила предзнаменованием новых огорчений и недоразумений.

Через несколько дней после того, как Гердер снова отыскал свою разгневанную «беглянку» и с восторгом обменялся с ней условиями «вечного мира», пришла из Эйтина отставка: таким образом, усилилась надежда на свидание в Дармштадте, а мысль о более прочной связи стала ближе к своему осуществлению. Гердер написал 16 октября в Бюкебург, что окончательно принял предложенное ему место.

Однако, прежде чем явиться к своей возлюбленной и прежде чем занять в Бюкебурге новую должность, он пожелал воспользоваться своим пребыванием в Страсбурге, для того чтобы сделать операцию над своим больным глазом. Это намерение зародилось у него еще в Карлсруэ, и он стал серьезно помышлять об операции с первых дней своего пребывания в Страсбурге¹. Он соблазнялся и некоторыми другими проектами из желания извлечь как можно больше пользы из своего пребывания в Страсбурге и из своей вновь приобретенной свободы. Ему хотелось побывать в Швейцарии, чтобы познакомиться с устройством некоторых швейцарских республик и с одним из центров тамошней литературной деятельности — с Цюрихом или с Базелем; кроме того, он задумывался над вопросом, не будет ли для него полезно приобрести в Страсбурге звание доктора теологии²; но в конце концов он пришел к убеждению, что ему следует прежде всего так поправить свое здоровье, чтобы можно было явиться к его прелестной Каролине со здоровым глазом.

¹ В письме, которое он написал (№ 3) Рингу без пометы числа в конце своего пребывания в Страсбурге, читаем: «Самой несчастной из всех мыслей, какие когда-либо приходили мне в голову, была та, которая пришла мне в голову в Карлсруэ». Он просил 5 сентября Ринга сообщить ему имя того страсбургского глазного доктора, о котором ему говорил в Карлсруэ зять Ринга, Виландт. Сравн. письмо к Гарткноху от того же числа и письмо к Каролине от 9-го числа.

² Желание получить звание доктора теологии, как кажется, не оставляло Гердера и в Бюкебурге. Он, как кажется, рассчитывал на содействие со стороны своих знакомых, живших в Эйтине и в Киле. На это предположение наводят два места из (ненапечатанных) писем принца Петра. Он писал 11 февраля 1773 г. из Эйтина: «Я получил ваше письмо и уже стал хлопотать о том деле, о котором вы меня просили, но не называл вашего имени. Ваше письмо я сжег». А 27 января 1775 г. он писал из Дармштадта: «Я, не называя вас, писал о вашем деле в Эйтин. Желаю, чтобы на этот раз я имел более успеха, чем в том, что касается вашего докторского звания; впрочем, и касательно этого последнего я еще не утратил последней надежды».

Задача заключалась в том, чтобы устранить слезный свищ, открыв для жидкости слезного мешочка возможность вытекать через нос; для этого нужно было сделать надрез в слезном мешочке и просверлить отверстие в носовой кости. Уже несколько раз, и в последний раз в Голштинии, Гердер готовился к такой операции, но ограничивался одними приготовлениями¹. Теперь он приступил к делу с самыми лучшими надеждами и с полным доверием к искусству знаменитого оператора Лобштейна — ведь этот профессор уверял его в благополучном окончании лечения никак не позже, чем через три недели! К сожалению, результат не оправдал этих надежд и предсказаний, и бедному Гердеру пришлось выносить новые и крайне мучительные испытания. После разлуки с принцем он занял особую квартиру². В середине октября началось лечение. Сначала изломался инструмент. Следующие попытки произвести операцию не принесли никакой пользы. Гердер с отчаянием описывал 21 ноября своему старому рижскому другу Бегрову это лечение, затянувшееся против всякого ожидания на долгое время. Вкратце упомянув о других, касавшихся его самого, фактах, он писал: «Прежде чем выехать из Страсбурга, я придумывал, какую бы мне сделать глупость, чтобы ознаменовать мое там пребывание. Я мог выбирать одно из двух — или надеть на себя, ради забавы, шапочку доктора теологии, или же позволить просверлить мой нос, для того чтобы излечиться, как меня уверяли, от слезного свища. Носовому каналу было отдано преимущество перед дурацкой шапочкой, потому что шапочка была бы тотчас снята с моей умной головы, а канал оставался в моем носу; тогда я приступил к делу и позволил просверлить мой нос, несмотря на уверения доктора, что я унесу с собой в могилу мой нос в том самом виде, в каком он находился до сих пор. Негодяй сверлил крепко и потом уверял, что мой нос крепок, толст и не похож на другие носы; осмотрев носы всех, кто стоял вокруг меня, я был принужден поверить его словам. Потом я в течение целой недели носил в носу свинцовый прутик, подобно тому как св. Павлу было „дано жало в плоть“, а св. Элефан постоянно носил свое кольцо; затем в течение двух недель мне спринцевали носовой канал, и я уже воображал, что эта дыра так же хороша и надежна, как всякая другая, однако на

¹ О семи попытках операции он писал Каролине (LB. III, 213).

² О переезде из гостиницы «Zum Geist» в квартиру принца, которую отделяли от гостиницы четыре дома, и о переезде оттуда на собственную квартиру см.: LB. III, 109 и 213.

деле оказалось, что слезный мешочек не хочет выпускать свою жидкость в эту клоаку, и тогда доктор стал в тупик. Он стал зондировать, дергать, щипать, рвать мой несчастный слезный мешочек, уверяя, что этот негодяй сидит не на том месте, на каком должен сидеть всякий честный слезный мешочек, что он сдвинулся со своего места и т. д., — а мне благоразумие приказывает спокойно сидеть, несмотря на боль и на досаду». Только после того, как Гердер призвал на помощь другого доктора — самого опытного из страсбургских хирургов, Буша, как будто возникла надежда на успешный исход операции¹. Однако и эта надежда оказалась обманчивой. Несмотря на все старания, не удалось образовать искусственную выемку, по которой могли бы постоянно истекать слезы. Тогда пришлось отказаться от операции и залечить рану, для того чтобы не усилилась болезнь, которую хотели вылечить. После окончания лечения Гердер писал весной 1771 г. Рингу: «Не только из трех недель вышло два раза три месяца, но из одной попытки сделать разрез и просверлить нос вышло двадцать таких попыток и двести зондирований и т. д.; наконец, после всех физических страданий, расходов, беспокойств, неприятностей, моему глазу хуже, чем прежде». Такие же подробности и такие же жалобы мы находим в письме, написанном в то же время к той, перед которой Гердер надеялся показаться со здоровым глазом!

Само собой понятно, что Страсбург произвел на Гердера неприятное впечатление. Все, что он писал оттуда об этом городе и об его окрестностях, представляет резкую противоположность с тем, что мы читаем у Гёте в его «Поэзии и правде». Это вполне естественно. Гёте возвратился туда в полном цвете своих физических сил для сознательного наслаждения своим восстановленным здоровьем; в многочисленном кружке знакомых он ежеминутно находил для себя поощрение и средства для своего дальнейшего умственного развития; он вступал тогда в важную эпоху своей жизни и готовился подвести первый итог результатам своего образования; ему было там так же хорошо, как рыбе в воде, а потому и театр его деятельности представлялся его взорам в светлом виде. А Гердер, переживший хорошее время в Эйтине и один миг насладившийся в Дармштадте высшим блаженством, находился в Страсбурге в самом печальном положе-

¹ Самые полные подробности можно найти в письме, в котором Гердер просил Мерка (LB. III, 328 и сл.) посоветоваться с дармштадтским лейб-медиком Лейхзенрингом, братом Франца Лейхзенринга.

нии: он переживал одно горе вслед за другим, не знал, к чему приведет его новая привязанность, и попал в руки безжалостных докторов; он впал в такое уныние, какого еще никогда не испытывал, и по своему обыкновению смотреть на все окружающее с точки зрения своего минутного душевного настроения, он не мог быть доволен тем городом, в котором пережил так много горя. Вскоре после приезда в Страсбург он писал: «Это самый жалкий, самый пустынный, самый неприятный из всех городов, какие мне приходилось видеть во всей моей жизни. Не говоря уже о людях, здесь даже нет ни одной рощи, ни одного места, где можно бы было лежать в тени с книгой в руках и предаваться своим мыслям». И потом он постоянно бранил этот «пустынный француско-немецкий городок»; еще более неодобрительны были его отзывы о Страсбургском университете. Для всех, кроме медиков, Страсбург — гнилое местечко; оно «так дрянно, так покрыто ржавчиной, и в нем так много старинных немецких украшений *à la Française*», что там нет никакой возможности написать толковую книгу. Все эти отзывы едва ли были основательны. Между университетскими учеными он близко сошелся, как кажется, только с Оберлином; еще много времени спустя после того, он с удовольствием вспоминал о дружеских сношениях с этим человеком и пользовался его многосторонними научными познаниями¹. Впрочем, даже в первые дни своего пребывания в Страсбурге он не обнаруживал большого желания осмотреть город и познакомиться с местными знаменитостями. Он был до такой степени занят мыслью о возможности отделаться от своей должности при принце, что через неделю после своего приезда в Страсбург еще ни с кем не виделся и ни у кого не был. Уже в конце сентября он писал, что почти совсем не выходит из своей комнаты. Затем наступило обязательное сидение дома во время лечения глаз, а продолжительность этого лечения отбила у него всякую охоту с кем-либо знакомиться. Он писал в декабре: «Я сделал величайшие невежливости из желания избежать знакомств»; а потом писал в январе: «Я запираю мою дверь на задвижку перед всеми, потому что, кто бы ко мне ни пришел, моя комната кажется мне еще более скучной».

¹ Я имею в копии шесть писем Гердера к Оберлину (сообщенных мне Эрихом Шмидтом); одно из них, не помеченное никаким числом, относится ко времени пребывания Гердера в Страсбурге и включает в себе просьбу о присылке «Истории религий древних персов, парфян и мидян» Т. Хайда; остальные написаны в промежуток времени от 6 мая 1773 г. до 31 декабря 1781 г. Ответные письма Оберлина найдены мной в бумагах, оставшихся после смерти Гердера.

Тем не менее нашлись два или три человека, имевшие беспрепятственный к нему доступ, посещавшие его почти ежедневно и не обращающие внимание на то, принимал он их любезно или нелюбезно. В Страсбурге было немало русских немцев, которые старались познакомиться с Гердером в качестве его соотечественников. Таким путем, как кажется, завелось знакомство с эстляндцем Рейтерном; это был дюжинный молодой человек, приносивший с собой в комнату больного лишь скуку¹. Гораздо приятнее для Гердера было общество другого русского немца, бранденбургского уроженца Даниила Пегелова, отказавшегося от своей должности штаб-лекаря в Шлиссельбурге, для того чтобы пройти в Страсбурге под руководством Лобштейна курс хирургии и получить звание доктора медицины. Он был двоюродный брат Гердерова друга Бегрова; о его приезде Гердер был заранее уведомлен из Риги; а прибыл он в Страсбург после того, как уже началось лечение глаз. Этот «честный, добрый юноша», этот дородный и красивый малый был и по своим хорошим и по своим дурным свойствам живым портретом своего рижского двоюродного брата, точно будто оба они были «вылиты в одной молочной форме»; он всей душой привязался к Гердеру. Он нашел для Гердера другую квартиру рядом со своей собственной, утро проводил в университете, а вечера в комнате больного, которому доставлял удовольствие своим присутствием. С ним нельзя было толковать о философии, но он всегда был готов осушить вместе с Гердером кружку пунша или разыграть ту неприятную роль, которая выпадала на долю одного из участников во французской карточной игре l'Nombre².

В одно время с Пегеловым посещал больного Гердера другой страсбургский студент, изучавший юриспруденцию и представлявший во всех отношениях противоположность со своим университетским товарищем. Насколько был приятен и спокоен русский, настолько же отличался буйной живостью немец — франкфуртский уроженец, Иоанн Вольфганг Гёте, которому был в то

¹ Письмо к Каролине (А, III, 72 и 264). Касательно личности Рейтерна см. прим. 217 Лёпера к «Поэзии и правде» Гёте.

² Сравн. касательно этого юноши рассказ Гёте, прим. 353 Лёпера к «Поэзии и правде» и сообщения Эриха Шмидта «Goethe und O-Ferul» (Neuen Reich. 1877. № 47), из которого сделана следующая выписка в страсбургской университетской памятной книжке от 13 ноября 1770 г.: «Daniel Pegelow Brandenburgensis in exercitu Russico stipendia faciens ut chirurgus primarius in legione pedestri Schlüsselburgensi, au Louvre». Если Гердер (судя по письму к Бегрову: LB. 268) именно там нанял квартиру, то остается сомнительным, была ли это та самая перемена квартиры, о которой он извещал Каролину (с. 213).

время двадцать один год. Гердер лишь случайно упоминал в своих письмах о фактах из своей обыденной жизни; только о том, что находилось в непосредственной связи с его личными удобствами или неудобствами, или же о том, что сильно занимало его ум, он заводил письменную беседу с Мерком и со своей невестой. Он был в то время так занят самим собою, что не нашел ничего особенного в юноше, который был очень легкомыслен, — не усмотрел таившегося в этом юноше поэтического гения. Во всех своих письмах из Страсбурга Гердер ничего не говорил об этом молодом человеке, посещавшем его во время неудачного лечения глаз почти каждый день утром и вечером, и даже иногда проводившего с ним целые дни. Только после того, как Каролина познакомилась с Гёте в Дармштадте в начале марта 1772 г. и отозвалась о нем с большими похвалами, Гердер в первый раз заговорил и о нем, и о своих свиданиях с ним в Страсбурге¹. Тогда он писал: «Гёте действительно хороший человек, но несколько легкомыслен и склонен к шутливым выходкам, за что я постоянно его упрекал. Впрочем, он был единственный человек, посещавший меня в Страсбурге во время моего затворничества и доставлявший мне удовольствие своим присутствием; даже могу сказать без хвастовства, что я внушил ему некоторые идеи, которые могут когда-нибудь принести плоды».

Но впечатление, которое произвел на юношу сам Гердер, было чрезвычайно сильно. Между тем как Гердер свысока смотрел на «доброго юношу», с которым сошелся случайно, напротив того, этот юноша взирал с глубоким уважением на удивительно-го человека, знакомство с которым было для него «самым важным событием» в течение его пребывания в Страсбурге. Оттого-то это знакомство и запечатлелось в душе Гёте во всех главных подробностях и во всех своих последствиях; оттого-то мы и обязаны ему таким верным портретом тогдашнего Гердера, с которым не может равняться никакой другой. Кем-то было основательно замечено, что, рисуя портрет Гердера в своем сочинении «*Dichtung und Wahrheit*», Гёте употребил в дело слишком мрачные краски, потому что его энтузиазм к прежнему ментору уступил место более хладнокровной и менее благосклонной оценке. Но хладнокровен лишь рассказ и хладнокровен в той мере, какая необходима для всякого верного рассказа: мы находим в нем самые ясные доказательства энтузиазма, с которым Гёте взирал в то время на Гердера; если же там и идет речь о неприятных впе-

¹ А, III, 205; Воспоминания. I, 219.

чатлениях, ослабивших тот энтузиазм, то мы находим в тогдашних письмах самого Гёте самое полное и поистине неожиданное подтверждение того, что в душе Гёте действительно смешивались два противоположных чувства.

Гёте рассказывает нам самым увлекательным образом о своей первой встрече со знаменитым человеком, который — лишь только пронесся слух о его приезде в Страсбург — возбудил общее желание познакомиться с ним в том кружке, к которому принадлежал Гёте. Нам положительно известно, что многие тогда лично познакомились с Гердером; в этом числе были: почтенный актуариус Зальцман, молодой Лерсе, тот эльберфельдский хирург, о котором упоминает Юнг Штиллинг под именем Труста, и наконец сам Юнг Штиллинг. Из того, что сообщает Юнг и что подтверждает Гёте, нам известно, какое сильное впечатление произвела на первого из них гениальность Гердера; Гердер обрисовал Юнгу «все в цельном очерке» и «дал ему толчок к вечному движению»¹. И для заведения этого знакомства лучшим посредником мог служить Гёте, так как ему прежде всех удалось сблизиться со знаменитым новоприезжим. Он сошелся с Гердером, как следует полагать, в конце сентября, т. е. около того времени, когда Гердер уже пережил тяжелые заботы, по причине которых он в начале своего пребывания в Страсбурге избегал новых знакомств и был ни для кого не доступен². Гёте пришел в гостиницу «Zum Geist» с намерением отыскать там какого-то новоприезжего; при входе в гостиницу внизу лестницы он увидал человека, который так же намеревался идти наверх и который был одет так, как одеваются лица духовного звания. Еще в Гамбурге было замечено, что Гердер ходил одетым *en abbé*³. С этим вполне сходится и то, что говорит о Гердере

¹ Jung Stillings Wanderschaft. С. 173. — О том, что Юнг написал Гердеру письмо после отъезда последнего из Страсбурга, нам известно из первого письма Гёте к Гердеру (*Dünßer A*, I, 25). Из двух позднейших писем Юнга (из Лаутерна, 7 мая 1780 г. и из Гендельберга, 23 января 1787 г.), найденных в оставшихся после Гердера бумагах, только последнее указывает на заведенное в Страсбурге знакомство. Юнг послал в 1787 г. Канту и Гердеру свое анонимное сочинение «*Blicke in die Geheimnisse der Naturweisheit*» (сравн. письма Гамана к Гарткноху и к Шеффнеру: Соч. Гамана. VII, 352 и 355; письмо Юнга к Канту 1 марта 1789 г.: *Altpreuß. Monatsschr.* XV, 253). «Еще в Страсбурге, — писал Юнг при отсылке этого сочинения, — вы должны были заметить мое влечение к плодотворной философии. С тех пор я думал» и т. д.

² То же говорит Лёпер в прим. 351 к «Поэзии и правде» Гёте.

³ LB. III, 33. — Касательно одежды Гердера сравн. указания, приведенные Лёпером в вышеуказанных местах.

Гёте: «Его напудренные волосы были завиты вокруг головы в локоны; он отличался от всех своим черным платьем и в особенности своей длинной, черной, шелковой мантией, концы которой он подбирал и засовывал в свой карман». Гёте, ни минуты не сомневавшийся в том, что это был Гердер, представился ему, понравился ему своей юношеской откровенностью и без труда получил дозволение посещать его. Гёте говорит далее: «Была какая-то особая мягкость в его манере себя держать, которая была очень прилична и благопристойна, хотя ее и нельзя назвать ловкой. Он был круглолиц, с довольно высоким лбом, не совсем плоским носом, несколько вздернутым, но чрезвычайно приятным ртом. Из-под его черных ресниц смотрели два черных, как уголь, глаза, которые производили впечатление, несмотря на то что один из них обыкновенно бывал красен и находился в воспаленном состоянии».

Так удачно заведенное знакомство привело к частым свиданиям, а участие, с которым отнесся Гердер к положению юноши, доставило ему полное доверие этого последнего. Однако, хотя Гердер и был способен очаровывать своей любезностью, он иногда бывал в таком дурном расположении духа, что всех отталкивал от себя. Все друзья, с которыми он был так близок, что мог ни в чем не стесняться перед ними, были знакомы по собственному опыту с этой «отталкивающей стороной его характера», с его причудливыми выходками, с его раздражительностью, так легко доходившей до насмешливых и бранных чувств, до придирок и упреков. В особенности в его письмах к Гарткноху эта раздражительность проглядывает слишком часто и отнюдь не в менее резкой форме, чем на словах. Даже Каролина Флаксланд испытала ее на себе и была этим огорчена до глубины своего сердца. Но то было вполне естественно, что Гёте чаще всякого другого испытывал на себе изменчивость душевного настроения Гердера, так как этот юный сорвиголова, привыкший, чтобы все его баловали, без сомнения нередко выводил Гердера из терпения и тем, что говорил, и тем, как себя вел. Сравнивая юношу с воробьем или с дятлом, Гердер делал неизящное сравнение, но ведь он был свидетелем того, как Гёте «проделывал разные шутовские проказы, прыгал и очень громко кричал по поводу самого ничтожного приключения». Таким же описывал своего друга Юнг Штиллинг в то время, как посетил его в 1774 г. в Эльберфельде; он рассказывает, что Гёте танцевал вокруг стола, корчил гримасы и так кривлялся, что заставил эльберфельдских жителей думать, будто он не в здравом уме. И этот-то ребячески шаловливый юноша со-

шелся с тем человеком, который не знал радостей детского возраста, который не имел времени жить по-ребячески, который был с молодых лет задавлен работой и, еще будучи юношей, должен был держать себя со строгостью и благоразумием школьного учителя и духовного пастыря, — понятно, что юноше приходилось выслушивать от Гердера придирчивые замечания и наставления. Когда Гёте с важностью рассказывал о своей коллекции печатей и тому подобных забавах, то его слова вызывали смех. Ему приходилось выслушивать иногда игривую, а иногда и едкую эпиграмму то за изящные переплеты, в которых он поставил у себя произведения классиков, совершенно ему не знакомые, то за незрелую любовь к искусству, с которой он восхищался картинами Доменико Фети, то за разные другие причуды, которые были в глазах Гердера безрассудными или ребяческими¹. При таких взаимных отношениях Гердер, конечно, не мог вполне оценить дарования «доброго юноши». Он навел на Гёте некоторую робость и заставил его быть более осмотрительным и более сдержанным в его признаниях. Об ухаживании за Фредерикой Брион, которое началось еще осенью, Гердер, конечно, ничего не знал. И мистико-кабалистические занятия химией, которые Гёте начал во Франкфурте и продолжал в Страсбурге, он благоразумно скрывал от строгого судьи. Даже о том, что в нем было самого лучшего, он не намекал ни одним словом. Он был того мнения, что если бы показал Гердеру свою комедию «*Mitschuldigen*», то едва ли избежал бы строгих укоров. О слегка обрисовавшихся в его уме характерах Гёца и Фауста он еще не мог ни с кем говорить — таким образом, блестящее золотое сокровище ускользнуло от взоров его друга, замечавшего только внешнюю пеструю оболочку.

Ко всему сказанному следует прибавить еще одну причину, по которой суждения Гердера о Гёте должны были отзываться такой резкостью, какой они, быть может, не имели бы при ином стечении обстоятельств. Со времени своего отъезда из Риги Гердер переживал процесс умственного перерождения, вступивший в новую фазу именно в Страсбурге под влиянием недавно пережитых забот, болезни и одиночества. Сознательно или бессознательно он замечал в молодом ветренике такую же черту характера, какая была в нем самом и от которой он решил отделаться.

¹ Гердер мог видеть в Париже картины Доменико Фети и также его картины на сюжеты, взятые из Библии, — но, конечно, не упомянутые в эпиграмме параболические картины Дрезденской галереи (см.: *Waagen. Kunstwerke und Künstler in Paris*. С. 512 и 771).

У нас еще свежи в памяти те места из его путевого дневника, в которых он упрекал себя в отвратительной склонности к беспорядку и старался укрепить в себе решимость впредь устранить поверхностность в своих занятиях и отучиться от привычки то-ропиться и ничего не доканчивать. Он считал себя вправе думать, что со времени своего отъезда из Парижа он достиг в этом отношении некоторых успехов. Об этой непрестанной упорной борьбе с самим собой и о результатах этой борьбы, не прекращавшейся в течение всей его жизни, свидетельствуют не только отрывочные признания в его «Дневнике», но также его письма к самым близким из его друзей и к той, которая почти была его невестой. Около того времени, когда он называл Гёте «легкомысленным и шутливым», он говорил о самом себе, что прежде он был «горяч, тщеславен, неудержим в своих порывах и причудлив», что в нем было «бесконечно много непостоянства, легкомыслия, юношеского пыла и вместе с тем кокетства». Но он был таким только прежде — так как уже из Страсбурга он хвалился перед своими рижскими друзьями тем, что стал «более мужественным, более зрелым, более развитым, более опытным, более похожим на британцев и, быть может, втрое более искренним, вместо того чтобы быть легкомысленным, похожим на французов и непостоянным», что его ученые занятия теперь более зрелы, более основательны и что, как ему кажется, он стал более крепким и душой и телом. В Риге он был похож на соленое мясо, которое «вкусно, но не может равняться с сочным, натуральным, здоровым мясом. Переделать мой характер я старался во время моего путешествия...»¹ Однако, несмотря на эти выражения самодовольства, он сознает, что большая часть работы еще не сделана. Он этого не скрывает в письмах к своей возлюбленной: «Мои собственные недостатки и ошибки, в которых я сам виноват, могли бы довести мою меланхолию до сумасшествия, если бы меня не преследовала другая неотступная мысль — достигнуть того, чего мне недостает!»

Так как Гердер сам сознавался, что в его суждениях иногда слышались «страшные диссонансы», то он не мог произвести безусловно приятного и гармонического впечатления даже на такого слушателя, который был готов внимать его словам с самым напряженным вниманием; но его глубоко нравственная натура, постоянно руководившая всеми его действиями, внушала уважение даже тем, кто был предубежден против него. Его натура от-

¹ LB. III, 84, 93, 139, 264, 270 (A, III, 112, 113; C, II, 21; *Вазнер*. I, 36).

личалась нравственной чистотой и влечением к роли педагога. Несмотря на то что он ясно сознавал свои собственные недостатки и боролся с ними, в нем было так «сильно желание находить даровитых юношей, способных к дальнейшему развитию», что он имел полное право делать самому даровитому из когда-либо встречавшихся с ним юношей те же самые упреки, какие он когда-то сам выслушивал, не без обидчивости, от Гамана. Он не всегда делал эти упреки таким спокойным, благосклонным тоном, какой лучше всякого другого достигает своей цели. Его склонность к критике всегда соединялась с «духом противоречия». Он мог бы сдерживать себя перед каким-нибудь недалеким, кротким, чувствительным юношей, но Гёте раздражал его пылкостью своих влечений, своей опрометчивой отвагой. Гёте нисколько не впадает в преувеличение ни тогда, когда говорит в своей автобиографии о чрезвычайной привлекательности и остроумии разговоров Гердера, ни тогда, когда высказывает замечание, что в этих разговорах всего чаще слышались противоречия и желание сказать что-нибудь неприятное и оскорбительное. Ведь вскоре после отъезда Гердера из Страсбурга Гёте писал глубоко им уважаемому человеку, что вынес из Страсбурга нечто похожее на «собачьи воспоминания» и что некоторые из полученных им синяков все еще возбуждают чесотку, подобно «недавно залеченной ране при перемене погоды»¹. Наконец, следует заметить, что постоянно усиливавшееся мрачное душевное настроение Гердера должно быть в значительной мере приписано постоянно ухудшавшемуся положению больного, которого раздражали и беспрестанные проволоочки, и физические страдания! А достойный доверия очевидец этих страданий хвалил твердость и терпение, с которыми пациент выносил все мучительные для него распоряжения доктора, которые были последствием глазной операции; далее он свидетельствует о том, что после неудачи лечения в меланхолическом смирении Гердера было что-то поистине возвышенное и что благодаря этому Гердер навсегда внушал глубокое уважение всем, кто его знал и любил. Вот те победы, которые Гердер одержал над своей натурой; все остальное следует приписать нетерпению, раздраженно и изменчивости душевного настроения, но все это извинительно, тем более потому что Гердер был осужден докторами на тягостное бездействие и скуку. Все это засвидетельствовал Гёте и подтвердили письма, которые писал Гердер из Страсбурга. Эти письма выра-

¹ А, I, 36.

жали сначала самонадеянность и геройское мужество, а потом безжизненное, лишь иногда прерываемое тяжелыми вздохами, смирение и отзывались то самым возвышенным настроением ума, то совершенным упадком духа, проходя все ступени между этими двумя крайностями. Он не предвидел ничего дурного, когда в начале лечения называл себя таким пациентом, который «неподвижно сидит со здоровым телом и с прокислым сердцем»; потом он стал по временам падать духом, как например когда он просил извинения в том, что на его письмах как будто лежит густая туча; с течением времени эта туча становится все более и более густой; даже в письмах к своей возлюбленной он уже не был в состоянии высказывать радостные надежды и заглушать грустные предчувствия своей измученной души, «наполненной мрачными мыслями». Он то сравнивает себя с больным, пробуждающимся из усыпления, Лиром, то запрещает своей возлюбленной предаваться грусти, потому что желает от нее не грусти, а злости, то извещает своих дармштадтских друзей, что привезет им «только развалины самого себя», и со вздохом восклицает: «Меня тревожит мысль, что голос может совсем пропасть, если нет никакой охоты петь и нельзя свободно дышать!» Эти позднейшие письма были именно таковы, какими он потом сам их охарактеризовал: даже когда они были веселого содержания, эта веселость отзывалась натянутостью; он писал их только для того, чтобы не возбудить беспокойства своим молчанием, и потому они наполнялись разными «гримасами и фиглярствами». И на этот раз мы вправе упрекнуть Каролину за то, что она стала выражать свою досаду на холодный и натянутый тон этих писем. Но она, конечно, все простила Гердеру, когда прочла следующий ответ: «Неужели я до такой степени несчастлив, что если не буду плакать и стонать, то ни одна дружеская душа не поймет моего положения и не поверит, как сильно я страдаю?» И далее: «Если бы вы видели причину моих душевных страданий не столько в моем больном глазе, сколько в моем характере, то вы, может быть, почувствовали бы сострадание ко мне, может быть, пожалели бы меня и без моих надгробных песен, которых я и не могу и не желаю петь». Но с сочувствием, которое возбуждают в нас эти слова, неразрывно связано уважение, которое внушает нам этот человек своим присутствием духа. В его страсбургских письмах постоянно высказывается утешительная мысль: «Кто может знать, какую это принесет пользу?», — а на этот вопрос он с уверенностью отвечает: «В одиночестве душевные силы крепнут, а характер выносит полезные испытания».

Иначе и быть не могло: даже Гёте вынес из своего личного знакомства с Гердером преимущественно «нравственные» впечатления. К этой поре его жизни всего ближе применим эпиграф его автобиографии: $\delta \mu \eta \delta \alpha \rho \epsilon \iota \varsigma \alpha \nu \theta \rho \omega \pi \omicron \varsigma \omicron \upsilon \pi \alpha \iota \delta \epsilon \upsilon \epsilon \tau \alpha \iota$.

Благодаря тому что Гердер обходился с Гёте, которому уже был двадцать один год, как с ребенком и как со школьником, Гёте сделался человеком. Благодаря тому что Гердер порицал его чаще и строже, чем следовало, Гёте — как он сам в том сознавался — достиг благотворного самопознания и стал употреблять в дело свои лучшие силы. Упомянув о том, что в кружке Глейма превозносили без всякого разбора ничтожные литературные произведения и увлекались самообольщением, Гёте говорит: «В кружке, к которому я принадлежал, и я легко мог впасть в привычку друг друга поддерживать и превозносить. К счастью для меня, мое самодовольство, моя склонность любоваться самим собой, мое тщеславие, моя гордость и мое высокомерие подверглись очень тяжелому испытанию благодаря моему неожиданному сближению с Гердером; это испытание было единственным в своем роде; оно вовсе не соответствовало духу времени и именно потому было для меня особенно внушительно и чувствительно». Будущий поэт то падал духом, то воодушевлялся смелыми надеждами; он чувствовал себя в одно и то же время и униженным и поставленным на небывалую высоту. Ему в первый раз приходилось иметь дело с таким человеком, умственное превосходство которого стояло выше всяких возражений. Он выносил бранные и неодобрительные выражения этого человека, потому что прекрасные и благородные душевные качества Гердера, его обширные познания и глубокомысленные суждения производили действие чар, от которых нельзя было уберечься. С одной стороны, он чувствовал сильное влечение и глубокое уважение к Гердеру, с другой — он был недоволен резким тоном наставника, и в его душе возник разлад, какого он еще никогда не испытывал. Но этот разлад был в высшей степени плодотворен по своим последствиям. Все это рассказывает нам сам Гёте в «*Dichtung und Wahrheit*» и рассказывает так подробно, что мы в состоянии совершенно перенестись в его положение. Для нас становится вполне понятным возникший в душе Гёте разлад, когда мы читаем его полные самой милой откровенности протесты против виновника стольких неприятностей, не перестававшего письменно относиться к своему молодому другу с такой же придирчивостью, с какой обходился с ним во время личных свиданий. Этих двух людей можно бы было сравнить с Сократом и с Алкивиа-

дом, если бы ученость Гердера была более методической и если бы Гёте не превосходил Алкивиада благородством и возвышенностью своего ума. Гёте чувствует боль от наносимых ему ударов — но он все выносит и умеет снова ободрить себя утешительными надеждами. Он сгибает свою спину под бичом гердеровских насмешек, но это не мешает ему видеть в строгом критике свой оракул, своего наставника, даже то солнце, вокруг которого он желал бы вращаться в виде неизменно преданной планеты. Все упреки и колкости, которые ему приходилось выносить, глубоко засели в его памяти и точили его, как червь, но в то время как он старается уберечься от них, он вдумывается в их внутреннее значение; его не легко оттолкнуть от себя этим способом; проникнутый сознанием высоких достоинств Гердера, Гёте привязывается к нему со смирением, но и с полным сознанием: «Я не выпущу Вас! Ведь Иаков боролся же с ангелом Господним. Я Вас не выпущу, даже если бы мне пришлось изувечить себя!»¹ Все-таки нелегко решить, кому эти отношения делают больше чести — Гёте или Гердеру; не подлежит никакому сомнению только то, что сближение этих двух людей обозначает один из самых плодотворных моментов в развитии литературы; даже можно сказать, что оно было моментом настоящего зарождения новой немецкой поэзии, не имевшей ничего общего с поэзией Клопштока и Виланда. В «*Dichtung und Wahrheit*» Гёте так отзывается о первой самой плодотворной поре своих личных сношений с Гердером: «Что касается пользы, доставленной мне этими немногими неделями, то я могу сказать, что все, впоследствии мало-помалу исполненные, намерения Гердера были в то время высказаны в своей сущности и что благодаря этому я был поставлен в выгодное положение — все, что я до того времени замыслил и изучал, я мог дополнить, связать с более высокими целями и расширить».

Гёте сообщает содержание многих, более или менее важных суждений, которые были ему высказаны Гердером. Мы со своей стороны постараемся дополнить эти сообщения и, изучая влияние, которое имел Гердер на Гёте, будем вместе с тем знакомиться с деятельностью Гердера во время его пребывания в Страсбурге и с теми идеями, которые его тогда занимали.

Гердер усердно занимался в Эйтине пластикой; он надеялся окончить свое небольшое сочинение об этом предмете еще до своего отъезда вместе с принцем в Италию. Он дошел до третьей

¹ А, I, 28, 36.

главы, в которой намеревался изучить достоинство пластических форм на живом человеческом теле; тогда ему пришлось отправляться в путешествие¹. Но основные идеи этого сочинения не покидали его ни в Дармштадте, ни в Мангейме, ни в Страсбурге, и он повез их с собой в Бюкебург². Он со всех сторон изучал и применял основной принцип пластики, что зрение обманывает, а истина только в осязании и что если бы у человека была тысяча глаз, но не было рук для осязания, то он оставался бы в течение всей своей жизни в «платоновской пещере». Эту мысль Гердер высказывал и Мерку, и Гёте, а когда он неоднократно замечал этому последнему, что он на все смотрел только глазами, то эти слова были чем-то вроде упрёка. «Теперь я понимаю, в чем дело, — писал спустя много месяцев после того Гёте, — надо закрывать глаза и ходить ощупью»³.

Но Гердер не находил возможности работать в Страсбурге над своим сочинением о пластике. Этот город казался ему совершенно неудобным местом для занятий этого рода⁴, хотя Гёте именно там составил себе живое понятие о немецкой архитектуре. При тех вспомогательных средствах, которые доставляла Страсбургская библиотека, было легче подвинуть вперед другую работу, которая была давно отложена в сторону, но о которой Гердер также говорил с Мерком, — а именно статью о еврейской археологии. Вот почему Гердер сидел с половины сентября до ноября среди массы книг, придумывая разные гипотезы касательно той песни о мироздании, в которой он уже ранее усмотрел иероглифические достоинства и домоисеевское происхождение. Одна внезапная мысль приводит его в неописанный восторг: он воображает, что делает новое открытие и может ясно доказать, что та песня была известна египтянам на первобытном восточном языке, гораздо более древнем, чем еврейский, и что египтяне почерпнули из нее все свои религиозные догматы и всю свою мифологию. Он хватается за эту мысль и за «сотню других новых мыслей»; позабывая им самим установленное правило, что ничего нельзя достигнуть при помощи одного зрения, при помощи

¹ Письмо к Гарткноху (LB. III, 26) я отношу к пластике; сравн. письмо Гарткноха к Гердеру (Там же. 34). Касательно занятий пластикой в Эйтингене см.: LB. III, 84 (сравн. 81); письмо принца Петра к Гердеру (С, III, 281); письмо Гердера к Гану (у Лиша, с. 94); LB. III, 44: указание на пользование библиотекой владетельного князя.

² LB. III, 64, 65, 116; А, III, 90.

³ А, I, 40, сравн.: Пластика. С. 11 и 14.

⁴ Письмо к Гарткноху (LB. III, 84).

осматривания предмета со всех сторон, он неудержимо устремляется в среду иудеев и арабов, египтян и эфиопов, сирийцев и самаритян; его отрывает от этих исследований ответ, полученный из Эйтина, и он снова вынужден сознаться, что он не нашел ничего вполне удовлетворительного, что он гонялся за призраками, которые видел на таком далеком расстоянии, что никак не мог их уловить¹. Однако и от этих попыток кое-что досталось на долю Гёте, у которого была так сильна жажда критических исследований, что он уже давно обратил свое внимание на книги Моисея и вообще на Библию. Нам неизвестно, поощрил ли его Гердер на издание его статьи «О двух библейских вопросах», или же эти остроумные еретические воззрения принадлежали к числу тех, которые он опасался сообщать своему взыскательному наставнику. Однако в этом случае он нашел возможность связать свои мысли с «более возвышенной точкой зрения». Гердер едва ли успел вполне познакомить юношу со своими незрелыми и покрытыми туманом исследованиями, о которых только что шла речь; но он познакомил Гёте со своим взглядом на дух еврейской поэзии и научил его смотреть на древнейшие документы человеческого рода как на поэтические произведения — одним словом, он без сомнения передал Гёте все, что было самого ценного в его «Археологии Востока».

Но так как и статья об археологии не подвигалась вперед, то Гердер, несмотря на свое мучительное положение и на свои физические страдания, еще раз сосредоточил свое внимание на другой работе. Он привел в исполнение одно из своих давнишних намерений. Так как он с давних пор обращал свое внимание на вопрос о происхождении языка, то для него не могло быть более приятной задачи, чем та, которую предложила разрешить Берлинская академия: «Если бы люди были оставлены при их врожденных способностях, то были ли бы они в состоянии изобрести язык? и какими способами они могли бы сами собой дойти до такого изобретения?»² На внутренней стороне обертки одной из своих рижских записных тетрадок Гердер записал и эту задачу, и

¹ Его внимание приковано к этой работе, несмотря на то что незадолго перед тем, 5 сентября (LB. III, 85), он писал Гарткноху, что при своем тогдашнем положении не мог помышлять об археологии. Об этом же он писал Мерку (Там же. 118, 200 и сл., 334), Каролине (236), Гарткноху (264), Рингу незадолго до своего отъезда из Страсбурга; сравн. вышеприведенное письмо к Оберлину.

² Эта задача была предложена Академией в 1769 г. в дополнение к удостоенному в 1759 г. премии сочинению Михаэлиса о влиянии языка на мнение и т. д. (Nouvelles mémoires de l'Academie. Année 1770. C. 28).

назначенный Академией срок для ее разрешения. Еще из Нанта он писал Гарткноху, что намеревается заняться ею в следующем году. «Этот превосходно задуманный, важный и поистине философский вопрос, — прибавляет Гердер, — как будто нарочно задан для меня»¹. Срок для представления сочинения истекал в самом непродолжительном времени — 1 января 1771 г., и Гердер написал в несколько недель прекрасную статью «О происхождении языка». Он был не совсем доволен этой статьей, появившейся в печати в начале 1772 г., и, вероятно, хотел оправдать ее недостатки в глазах Николаи, когда сообщал ему, что написал ее «бегло, второпях, в последние дни декабря». Напротив того, из сохранившихся в бумагах Гердера набросков видно, что она не была написана разом, а неоднократно переделывалась. Именно эти разнообразные заметки доказывают, что статья была написана в очень короткое время, так как они быстро следуют одни вслед за другими, а их содержание, при перемене формы изложения, остается почти без изменений. Вся масса идей уже изложена в первой редакции; изменения делаются только в их распределении по отделам, а главное достоинство окончательной редакции заключается в их более ясном распределении, в старании наглядно отметить главные пункты, в более сжатом изложении — что, однако, не помешало автору изливать новые потоки красноречия и с особенным тщанием обработать все, что касалось полемики². Несмотря на неоднократные переделки, сочинение уже было готово к Рождеству и было отослано без подписи автора, при записке, к секретарю Академии Формею³. Из того, как были написаны «Критические леса», нам уже хорошо известно, как быстро шла у Гердера всякая работа, если содержание уже было для нее готово. Что же касается содержания для статьи о языке, то оно уже давно было в голове Гердера. В одном месте более старой редакции статьи он положительно утверждает, что философские идеи, возбуждаемые заданной темой, «бродили в его уме еще задолго до того времени, когда он стал писать статью». Еще в первом сборнике «Отрывочных заметок» (I, 99) он высказывал убеждение, что язык не выдуман ни Богом, ни каким-либо философом; сочинение Зюссмильха, старавшегося доказать божест-

¹ И в путевом журнале (LB. II, 248; SWS. IV, 405) он упоминает об этой задаче с одобрением.

² Не наше дело, а, скорей, дело издателя сочинений Гердера, подробно изложить содержание отрывочных заметок и сообщить самые интересные из более старых заметок, оставшихся ненапечатанными.

³ К Гаману (Соч. Гамана. V, 8).

венное происхождение языка, было им прочитано немедленно по выходе в свет. Уже 31 октября 1767 г. он писал Шеффнеру: «Так как Зюссмильх снова взялся за гипотезу о происхождение языка и стал поддерживать мнения Руссо наперекор мнениям Моисея (Мендельсона), то мне захотелось еще раз публично высказать несколько замечаний об этом предмете»¹. У него уже был почти готов материал для статьи о философии языкознания, и ему уже было известно все, что было написано на эту тему Ламбертом, Аббтом и др. Поэтому академическая задача была ему совершенно по вкусу: она лишь доставляла ему удобный случай собрать в одно целое, привести в порядок и изложить те мысли, которые уже давно бродили в его голове. Она находилась в связи с ранее обработанной им темой о происхождении поэзии, и ему оставалось только применить к опровержению божественного происхождения языка многие из тех аргументов, которыми он опровергал божественное происхождение поэзии в своем очерке истории поэзии². В той мере, в какой эта задача соприкасалась с вопросом об отношении чувства слуха к остальным чувствам, она имела связь с теми исследованиями свойства чувств, которые входили в содержание четвертого «Критического лесска» и статьи о пластике. Она имела не менее близкую связь с исследованиями Гердера о развитии образования у различных народов, и многие из заимствованных от путешественников сведений о языке диких народов так же могли служить материалом для статьи о происхождении языка. Наконец она имела связь с теми размышлениями о различии между грамматическим изучением языка и практическим, которые Гердер высказывал по поводу своего старания изучить французский язык во время своего пребывания во Франции. Эта тема как будто нарочно была задана для того человека, который имел полное право похвастаться в своем путевом журнале, что «ни у кого не было таких же как у него задатков для понимания философии языка»! Это была задача и психологическая, и историческая! Она попадала именно в тот пункт, который издавна очень сильно возбуждал любознательность Гердера; ему издавна хотелось расследовать «происхождение того, что имеется налицо, и в особенности происхождение человеческих произведений и изобретений»; достигнуть

¹ Можно бы было предположить, что рецензия на сочинение Зюссмильха в «Allgemeine Deutsche Bibl.» (173 и сл.) написана Гердером; однако это предположение опровергается и внешней формой рецензии, и ее содержанием.

² LB. I, 3, а, 177 и сл.

этой цели можно было только по следующей методе, которую он признал за правильную в то время, когда расследовал происхождение поэзии: «когда нельзя объяснить происхождение вещей историческими фактами, тогда следует прибегать к помощи философских выводов и правдоподобных догадок». Именно в настоящем случае приходилось придерживаться такого правила, и именно здесь Гердер мог с огромным успехом воспользоваться гибкостью своего ума, своей способностью делать наглядные сопоставления и гениальной восприимчивостью своей души к чувственным впечатлениям. Академия не могла оказать более важную услугу наукам и литературе. Своим вопросом она заставила Гердера сосредоточить на одном предмете его умственные силы, которые до того времени разбрасывались от избытка идей в необозримую ширь; она задала срочную работу человеку, который не был в состоянии остановить свой выбор на каком-нибудь из многочисленных литературных планов и не имел достаточно терпения, чтобы довести которое-нибудь из задуманных сочинений до конца. Для Гердера была польза и в том, что назначенный срок был недлинен. Его статья выигрывала от своей законченности гораздо более того, что могла бы выиграть от изобилия ученых указаний, фактов и цитат. По ее содержанию тотчас видно, что она была написана при помощи незначительных литературных пособий — большей частью по имевшимся наготове выпискам и по памяти. Несмотря на то что она неоднократно переделывалась, она носит на себе отпечаток торопливости, в особенности во второй, менее зрело обдуманной части; а чем ближе она подходит к концу, тем более становится заметной торопливость; но в своей цельности она представляет одно из самых блестящих доказательств гениальности автора!

Относительно вопроса о происхождении языка существовало два главных противоположных воззрения — ортодоксальное и рационалистическое. Приверженцы первого из этих воззрений утверждали, что язык не был создан собственным человеческим трудом, а был дарован от Бога. Приверженцы второго воззрения полагали, что и язык, подобно всем человеческим учреждениям, возник вследствие состоявшегося между людьми добровольного соглашения. Оба воззрения, очевидно, касались только внешней стороны вопроса и оставляли сущность проблемы неразрешенной. Оба они были основаны на предположении, что человек одарен способностью говорить и даже что он уже умеет говорить. Теория божественного происхождения языка никак не могла объяснить передачу языка от Бога человеку, если не предполагала

заранее, что человек одарен и способностью говорить, и разумом. Возникновение языка путем добровольного соглашения так же было не понятно без предварительного предположения, что язык уже существует. Поэтому Гердер восстал против обоих воззрений и, полемизируя с новейшим представителем гипотезы о божественном происхождении языка, Зюссмильхом, доказывал ее бессмысленность. Но и в третьей гипотезе, разрешавшей вопрос слишком легко и безыскусственно, он усматривал ошибку, происходившую от недостатка дальновидности. По сенсуалистической теории французского материализма, как например по мнению Кондильяка, язык есть натуральный продукт нашего чувственного организма: этот чувственный организм издает звуки, а эти звуки вызывают от других подобных нам существ сочувственные отзвуки — и таким образом язык вырабатывается сам собою; он — не что иное, как развитие крика, вызванного каким-нибудь ощущением; его происхождение не только не сверхъестественное, но даже не человеческое, не только не божественное, но просто скотское. Гердер отвергает и другие второстепенные гипотезы, старавшиеся разрешить загадку устройством голосовых органов или склонностью людей к подражанию тем звукам, которые раздаются в природе; он отвергает и колеблющийся из стороны в сторону эклектический натурализм Руссо и в противоположность всем этим догадкам высказывает мнение, что человеческий язык коренится в нашей духовной натуре — в том, что служит специальным отличием человека от животных. Все содержание его статьи основано на этом отличии человека от животных; таким образом, он расходится в мнениях и с Кондильяком, который принимал животных за людей, и с Руссо, который принимал людей за животных. Он вовсе не намеревается выставлять новую, более правдоподобную гипотезу, как того желала Академия, а хочет доказать, что необходимость постепенного возникновения языка «есть самая неопровержимая философская истина». И в этом случае, точно так же, как во всех других вопросах, и точно так же как в своей эстетике, он колеблется между натурализмом французско-английской философии и рационализмом немецкой. Придерживаясь первой, он прибегает к натуральному способу объяснения, а придерживаясь второй, он ищет основу для своих объяснений в разуме. В других случаях он остается при таком дуалистическом, эклектическом образе мыслей. Но на этот раз самое свойство проблемы заставляет его отказаться от такого двусмысленного положения или от такого противоречия с самим собой. Он сознает, что язык есть нечто на-

турально духовное. И его происхождению он дает такое же объяснение. Вот почему Гердеру удалось в этом случае попасть так верно в цель, как едва ли это удавалось ему при разрешении других вопросов; вот почему это единственный из всех научных вопросов, в котором он не только собрал подробные данные, но даже заложил прочный фундамент для продолжения начатой работы.

Животные, говорит он, до некоторой степени обладают от природы способностью понимать друг друга, т. е. чем-то вроде животного языка: это — результат их животного механизма, их инстинкта. Но мы видим совершенно другое в том, что касается человека. У человека нет никакого языка от природы и по инстинкту — так как некоторые отрывочные звуки, которыми он выражает свои ощущения и которые у него общи с животными, никак не могут быть названы человеческим языком. Его право называться человеком основано на том, что сферой для его деятельности служит весь мир и что он одарен способностью мыслить, т. е. рассудком или умом, между тем как животные одарены только инстинктом, т. е. такой способностью понимания, которая при своей ограниченности не заходит далее очень узкой сферы. А под способностью человека мыслить следует разуметь не какую-либо отдельную умственную силу, а всю совокупность человеческих сил, все человеческие способности, начиная со способности воспринимать чувственные ощущения и кончая способностью самого ясного мышления. Благодаря своей смысленности (*Besonnenheit* — по мнению Гердера, это слово всего лучше выражает его мысль), человек в состоянии преднамеренно останавливать свое внимание на предметах внешнего мира и подмечать в них такие признаки, по которым может их «распознавать». Благодаря тому, что он сохраняет эти признаки в своей памяти, предметы получают в его уме определенность. «Первый сохранившийся в памяти признак выразился в слове, а вместе с этим словом был изобретен язык». Каждый из таких признаков был обозначен особым словом, а весь человеческий язык представляет совокупность таких особых слов. Так, впечатление, производимое на человека овцой, сосредоточилось в резко выдающемся внешнем признаке; быть может, из всех отличительных особенностей овцы ее блеяние произвело самое сильное впечатление на человека; в таком случае он стал раз навсегда узнавать ее по этому признаку; для него овца есть то животное, которое блеет; и это отличительное свойство овцы сохранилось в его памяти как название, как особое слово. Отсюда следует заключить,

что вследствие отличительных особенностей человеческой натуры язык должен был возникнуть даже в том случае, если бы человек жил в совершенном одиночестве, вне всякого общения с другими людьми. Стало быть, язык возник бы даже в том случае, если бы человек никогда ни с кем не говорил. По мнению Гердера, «язык был тайным соглашением человеческой души с самой собой, и это соглашение было так же необходимо, как-то, чтобы человек был человеком».

Далее Гердер объясняет, как сама натура помогла человеку связать замеченный им отличительный признак предмета со звуком голоса и таким образом сделать из внутреннего языка внешний, издающий звуки. Он объясняет, что всякий предмет производит самое сильное впечатление на слух, а потому первый словарь был составлен из звуков, которые долетают до человеческого слуха. Но издающие звук предметы кажутся такому чувственному существу, как человек, живыми и действующими; он олицетворяет натуру; то, что первоначально было словом, становится названием, а названия снова различаются по родам: с зачатками языка сплетаются зачатки мифологии и поэзии. Гердер затрагивает в этих объяснениях свою старую любимую тему о связи между языком и поэзией; он повторяет и вместе с тем дополняет суждения, которые высказывал в «Отрывочных заметках». Первоначальный язык был, по его мнению, не что иное, как сборник поэтических элементов, как «словарь человеческой души, который был вместе с тем мифологией и чудной эпопеей, описывавшей действия и говор всех существ; это было непрерывное, полное страсти и живого интереса сочинение басен»; язык был и долго оставался чем-то вроде пения, из которого мало-помалу развились самая древняя поэзия и музыка.

Гердеру предстояло разрешить еще одну задачу: ведь не все предметы издают звуки. Откуда же человек научился обозначать звуком то, что не издает никакого звука? Разве названия цвета или круглой формы имеют такую же натуральную связь с обозначаемыми предметами, какую имеет слово «блеяние» с бляющей овцой? Какая связь между зрением и слухом, цветом и словом, запахом и звуком? Ответ Гердера остроумен и убедителен. Различные чувства сливаются в конце концов в одно чувство, в особенности у неразвитых людей; в основе всех чувств лежит ощущение, а ощущениям свойственно выражаться звуками; поэтому лишь только это ощущение, испытанное через посредство какого-либо из чувств, возвысилось до ясного сознания отличительных признаков предмета, оно вызывает произнесение

слова, т. е. зарождение языка. Так же остроумно и наглядно объясняет Гердер, почему слух обыкновенно служит тем посредником, который лучше всех остальных чувств передает испытанные ощущения и уяснившиеся понятия. Например, слух оставляет в стороне и неясные внешние признаки, с которыми нас знакомит осязание, и слишком тонкие внешние признаки, с которыми нас знакомит зрение: он останавливается на средних, более общих, признаках — а это главное. В осязании преобладают чувственные ощущения, зрение слишком холоднокровно и невосприимчиво — в этом отношении слух так же занимает середину и потому является удобным органом для создания языка. Осязание вызывает лишь моментальные ощущения, а зрение разом обнимает бесконечное множество предметов; напротив того, слух вносит в нашу душу один звук вслед за другим; это — самое ясное из человеческих чувств, потому что в его действии есть постепенность.

Постаравшись доказать необходимость человеческого происхождения языка на основании духовной природы человека и его чувственной организации, Гердер подкрепляет свое воззрение указаниями на действительные свойства языка. Он прежде всего сравнивает древние и первобытные языки с более новыми и более развитыми. Он доказывает на примерах, что более древние языки ярко характеризовали предметы при помощи слуха и ощущений и выражали одно испытанное ощущение другим при помощи смелых метафор. Он объясняет, почему отсюда естественно возникло изобилие синонимов. Он считает за несомненный факт, что во всех языках отвлеченные понятия выражаются не иначе как на основании чувственных впечатлений, а чувственные впечатления не иначе как на основании звуков и ощущений; наконец он развивает то положение, что чем первобытнее язык, тем менее в нем грамматических правил.

Однако в заданном Академией вопросе, кроме того, требовалось выяснить, «каким путем» люди могли бы выработать для себя язык, если бы они были предоставлены самим себе. На этот второй вопрос должна была служить ответом вторая часть гердеровской статьи. Но точка зрения, на которую стал Гердер при разрешении проблемы, поставила его в невозможность дать подробный ответ на этот второй вопрос, так как сделала такой ответ излишним. Кто считал человеческий язык за необходимый продукт, за неизбежное излияние человеческой природы, тот в сущности не мог вести речи об изобретении языка. Для него не существовал и вопрос о средствах изобретения языка. Ему при-

ходилось несколько изменить самый вопрос и к этому измененному вопросу приноровить ответ. Если язык дан человеку вместе с его существованием, вместе с его организмом и с его положением во вселенной, то не может идти речи по большей мере о постепенном развитии языка и о тех внешних условиях, которые благоприятствуют этому развитию. Это действительно и составляет содержание второй части статьи.

Гердер начинает с того, что необходимость развития языка объясняется той же человеческой натурой, в которой коренится необходимость возникновения языка. Благодаря своей смышленности человек постоянно стремится к усовершенствованию. Если же первое впечатление, произведенное на его память, не могло оставаться не выраженным в слове, то и все другие впечатления, все другие плоды его смышленности выражались словами; нить его мыслей превратилась в нить слов; в то время, как он постоянно развивается при помощи мышления, т. е. осмысленного пользования всеми своими умственными силами, он в то же время создает для себя язык.

Кроме того, развитие языка обуславливается тем, что человек живет в обществе ему подобных существ и что развитие каждого связано с развитием целого поколения. Путем образования и воспитания каждый усваивает образ мыслей своего семейства, своего племени. Сообразно с образом мыслей семейства образуется и язык, который становится более богатым и более методическим при его изучении и преподавании.

Третий «естественный закон» заключается в том, что развитие языка есть результат неизбежного разделения человеческого рода на различные нации. Человек так создан, что может жить во всех странах земного шара. Под влиянием различных климатов и различного образа жизни возникают особенности произношения и особенности характера в языке; сколько различных наций, столько различных языков: «язык — новый Протей, странствующий по всему земному шару».

В заключение автор говорит, что развитие языка совершается по тому же более высокому плану, по которому совершается развитие всего человеческого рода. У Гердера философия языка основана на его гуманной философии и потому сводится к философии истории. У каждого человека, отдельно взятого, нет ни одной мысли и ни одного действия, которые оставались бы без всякого влияния на целый разряд людей и на его развитие. Эта нить мыслей тянется от одного пункта — от первой человеческой пары — и выражается человеческим языком, который имеет у каж-

дой нации особую форму; все языки представляют постоянно развивающееся целое и с этой точки зрения язык есть «сокровищница человеческих идей, в которую каждый вложил что-нибудь свое, это — сумма деятельности всех человеческих умов!»

Какое богатство идей в этой статье, занимающей немного более двухсот страниц! Это было такое семя, которое должно было принести свои плоды подобно новым воззрениям, высказанным Гердером в сфере эстетической критики. Статья Гердера о происхождении языка навсегда устранила более старые односторонние гипотезы и положила основание для новой настоящей философии языка. Впоследствии, когда Вильгельм Гумбольдт снова стал подробно разрешать проблемы, возникающие из свойств языка, он пользовался тем, что уже было доказано Гердером. Он повторял основную идею Гердера. И он говорил, что человек — «поющее существо, которое соединяет со звуками мысли»; и он находил, что язык — «естественное развитие лежащих в человеческой натуре задатков», «плод внушаемого разумом инстинкта»; и он был того мнения, что этот инстинкт не отдельная душевная сила, а действующая в известном направлении совокупность природных человеческих свойств. Он повторял и заключительную, историко-философскую мысль Гердера. Его знаменитое введение к статье о языке Кави носит заглавие: «О различии в складе человеческого языка и о его влиянии на умственное развитие человеческого рода», высшая задача всеобщего языковедения заключается, по его мнению, в том, чтобы обозреть все, по-видимому, бесконечное разнообразие языков «и проследить во всех исторических переворотах ход умственного развития человечества, руководствуясь изучением языков, имеющих глубокую связь с этим развитием». Он повторяет мнения Гердера, придавая им более глубины, определенности и ясности; он заново и с хладнокровной неторопливой осмотрительностью передумывает то, что Гердер торопился высказывать не переводя духа. Опираясь, с одной стороны, на сделанный Кантом глубокомысленный анализ того способа, которым приобретает человек свои познания, с другой стороны, на сделанное Шиллером блестящее описание всей совокупности человеческих способностей, Гумбольдт мог проникнуть до более глубоких зачатков возникновения языка и, сверх того, мог согласовать созданную Гердером новую науку — философию языка (большей частью на основании идей Лейбница) с более развитыми научными понятиями нашего времени. Но в его распоряжении находилась очень обширный запас подробных сведений по языковедению.

нию, между тем как Гердер делал свои выводы на основании элементарных познаний в еврейском языке и тех скудных сведений, которые извлекал из рассказов миссионеров и путешественников. С тех пор языковедение делало новые успехи, с одной стороны, благодаря непрерывным исследованиям происхождения языков, с другой стороны, благодаря тому, что было обращено внимание на физиологические условия, при которых развивался тот или другой язык — но тем более делает чести Гердеру тот факт, что он сумел твердо стать на правильную точку зрения без помощи тех эмпирических основ, только в силу своей гениальной прозорливости и сообразительности.

Гёте рассказывает, что ознакомился со статьей Гердера по рукописным тетрадкам, которые получал от автора, и что прочел ее «с большим удовольствием и с большой для себя пользой». Он прибавляет со скромностью и, без сомнения, согласно с истиной, что обсуждавшийся в статье вопрос никогда не приходил ему в голову, что он едва ли был в состоянии понять всю важность заданной темы и что ни по своим познаниям, ни по своему умственному развитию не был в состоянии произнести какое-либо суждение о том, как был разрешен вопрос Гердером. Тем не менее нам вполне понятно, какую пользу он мог извлечь из чтения статьи. Нам положительно известно, что он познакомился с содержанием «Отрывочных заметок» только после своего пребывания в Страсбурге, а «Критических лесов» он, без сомнения, еще не читал до того времени¹. Статья о происхождении языка была первым сочинением Гердера, которое он читал, — но по этой статье можно было составить себе полное понятие о Гердере. Гёте выразил в следующих словах главную пользу, которую он извлек из своего личного знакомства с Гердером: «Я научился смотреть на поэзию с совершенно другой стороны и понимать ее совершенно иначе, чем прежде»; стихотворное искусство евреев, народная поэзия и принадлежность древнейших документов человеческого рода к разряду поэтических произведений доказали ему, что «стихотворное искусство есть общее достояние всех народов, а не личное достояние нескольких даровитых и образо-

¹ Гёте к Гердеру, в начале июля 1772 г. (А, I, 40): «Две недели тому назад я начал в первый раз читать ваши „Отрывочные заметки“». Хотя Лёпер (прим. 354 к «Поэзии и правде» Гёте) и ссылается на письмо Гёте к Ёзеру от 14 февраля 1769 г. в доказательство того, что Гёте уже ранее был знаком с содержанием «Критических лесов»; но эта ссылка ничего не доказывает: из письма Гёте к Ёзеру можно, скорее, заключить, что Гёте читал только насмешливые рецензии, написанные приверженцами Клотца.

ванных людей». Этому научил Гердер жадно его слушавшего юношу в ежедневных беседах. Но то же воззрение высказывалось в рукописной статье о происхождении языка. Здесь говорилось о языке то же, что ранее говорилось о поэзии: и язык был плодом не умственных усилий нескольких людей, а врожденных способностей, которыми одарены все народы! В статье высказывалось положение, что поэзия есть природный язык человеческого рода, что она возникает вместе с зачатками человеческой речи, что в этих зачатках коренятся зачатки как поэзии, так и мифологии. В ней излагалось на небольшом числе страниц то же, что было подробнее развито в «Отрывочных заметках», — что «первоначальный человеческий язык был пением», что лучшие произведения древней поэзии суть «остатки от тех времен, когда язык был пением», что в развитии языка есть различные возрасты и что язык формируется вместе с развитием поэзии, историографии и красноречия. Статья наглядно объясняла и склад, и значение языка по истекавшим из его недр поэтическим произведениям, а происхождение семейных и племенных языков объясняла, между прочим, ссылкой на то, что «во всех странах земного шара, почти у всех мелких наций — как бы они ни были малоразвиты — есть песни о деяниях их предков», и что в этих песнях собраны все сокровища языка и образованности тех наций. Эти объяснения соприкасались с важным вопросом о достоинстве народных песен и поэзии «дикарей»; статья извлекала из области еврейской поэзии самые красноречивые доказательства того, как постепенно обнаруживается врожденная способность создавать язык, каким образом получают ощущения через посредство чувств и каким образом всякое ощущение выражается в звуке; на поэтический характер древнейших документов статья указывала по поводу рассказа Моисея о том, как Бог привел животных к человеку, для того чтобы он знал, как их называть, и снова по поводу другого рассказа (о котором идет речь в «поэтическом отрывке к археологии истории народов»), в котором описывается столпотворение и разделение народов и языков. Вся статья была основана с начала до конца на той важной истине, что все поэтическое — как входящие в поэзию элементы языка, так и самая поэзия — есть продукт не какой-либо отдельной даровитой личности, а всей совокупности человеческих умственных способностей, есть продукт не рефлексии, а естественного влечения, в котором не было никакой рефлексии. Статья высказывала эту истину в опровержение мнений Зюссмилха о внешних улучшениях языка, полученного путем Откровения. «Я не могу понять, — чи-

тал Гёте, — каким образом наш век может до такой степени всецело погружаться в мрачные лаборатории искусственности, что ни разу не подумает, какой яркий луч света можно извлечь из изучения природы. Из величайших геройских подвигов человеческого ума, которые он мог совершать и рассказывать только в постоянной борьбе с условиями тогдашней жизни, сделаны темы для школьных упражнений в пыльных тюрьмах, где воспитывается наше юношество; образцовые произведения человеческого стихотворного искусства и красноречия превращены в какие-то детские забавы, из которых и старые, и молодые дети учатся составлять фразы и придумывать общие правила. Мы стараемся усвоить внешнюю форму этих произведений, но совершенно потеряли из виду их дух; мы изучаем их язык, но не имеем понятия о той среде, в которой зарождались их идеи». Это говорилось в опровержение мнений Зюссмилха, подобно тому как тоже самое говорилось в «Критических лесах» в опровержение мнений Клотца. А подобно тому как в полемике с Клотцем Гердер требовал, чтобы писатель, объясняющий произведения Гомера и Горация, прежде всего освоился с особыми условиями, при которых писали те поэты, с тогдашним языком, тоном, складом ума, и теперь он требует, чтобы преподаватель древних языков судил об их происхождении не иначе как строго сообразуясь с теми первоначальными ощущениями, которые создают язык. Как там, так и здесь он противопоставляет историческую точку зрения той, которая основана на лжемудрствованиях; он сознает, как трудно освоиться с условиями и требованиями отдаленных времен, с их грубым остроумием, с их смелой фантазией и «национальными чувствами»; он объясняет, в чем заключаются эти трудности, но это не мешает ему осуждать того философа, который — вместо того чтобы проникнуть в живую лабораторию языка — «не смел сделать ни одного шага вне случайных условий нашего времени». Ко всему вышеизложенному следует прибавить повсюду щедро разбросанные отрывочные психолого-эстетические замечания, касающиеся пластики, объяснения энергии и взаимной связи человеческих чувств, опровержения ограниченных и грубых понятий французского сенсуализма, полемические нападки на парадоксы и несообразности в произведениях Руссо; кроме того, Гердер с напоминающим Руссо красноречием старается, с одной стороны, доказать могущество ничем не извращенной природы, а с другой стороны, отстаивать права гуманизма против тех, кто низводит человека на один уровень с животными; наконец, он провозглашает, что бесконечное

совершенствование есть историческое предназначение человеческого рода. Поистине можно сказать, что это небольшое сочинение заключало в себе почти все, что уже было более подробно изложено в прежних сочинениях Гердера; здесь встречались и некоторые новые идеи, которые были более подробно развиты впоследствии, а вся статья доказывала, как были сильны те «тайные умственные стремления», которые все ясней и ясней выступали наружу в позднейших произведениях Гердера.

К чтению этой статьи следует присовокупить и живое слово, которое еще более возбуждало в Гёте умственную деятельность и которое было поучительно еще во многих других отношениях! Беспредельная общительность наставника наводила юношу «на новые идеи ежедневно, далее ежечасно»; «не было ни одного дня, который не доставил бы ему самых плодотворных указаний». Широкие воззрения, изложенные в статье о языке, должны были запечатлеться в уме восприимчивого слушателя еще более глубоко при их устном объяснении! Он усваивал их легко, потому что они были согласны с его собственным образом мыслей и казались ему лишь выражением того, к чему стремился его собственный творческий гений! А какими плодотворными оказались они в практическом применении и сколько новых литературных сокровищ раскрыли они перед глазами Гёте! Он был мало знаком с новейшими произведениями немецкой литературы, когда жил в Лейпциге, и даже не вполне был с ними знаком, когда жил во Франкфурте, а теперь Гердер познакомил его «со всеми новейшими стремлениями этой литературы, со всеми направлениями, которые в ней обнаруживались». Только теперь у него явилось желание познакомиться с первыми литературными произведениями Гердера; когда он летом 1772 г., живя в Вецларе, в первый раз прочел «Отрывочные заметки», ему казалось, что он как будто снова беседует с Гердером, как будто снова пользуется его устными указаниями; то, что он там прочел касательно греческих писателей, казалось ему повторением его собственных идей; глава о тесной связи между мыслями и их выражением так ему понравилась, что показалась ему «ниспосланным свыше явлением». В Страсбурге Гердер познакомил Гёте прежде всего с произведениями того писателя, которому сам был больше, чем кому-либо другому, обязан плодотворными указаниями и поощрениями; он не столько старался дать Гёте ключ к пониманию оригинальных идей этого писателя, сколько забавлялся замешательством, в которое придет юноша при чтении загадочных произведений северного чародея; тем не менее и Гёте подчинялся

влиянию Гамана; он сам не знал, как и почему ему казались такими привлекательными гамановские откровения, а «сократические достопримечательности» произвели на него такое сильное впечатление, что живя во Франкфурте уже в то время, когда был доведен до конца «Гёц фон Берлихинген», он стал писать драму в честь афинского мудреца, в котором он, вместе с Гаманом, усматривал «страстное желание задавить всякую ложь и всякие пороки — в особенности те, которые прикрываются лицемерием»; ведь этот мудрец был в глазах Гёте чем-то вроде «рыцаря железной руки!»¹

Но Гёте был обязан Гердеру не только более широкими литературными познаниями, а также способностью оценивать современные литературные произведения. По словам Гёте, остроумные, нередко оскорбительные и желчные критические отзывы Гердера разорвали завесу, до того времени скрывавшую от его глаз бедность немецкой литературы; «тогда на отечественном небе осталось лишь немного значительных звезд, а ко всем остальным писателям он стал относиться как к падающим звездам». О Геллерте, этом «великом поэте горничных»², Гердер отзывался в одном из своих страсбургских писем к Мерку с крайним пренебрежением; о Ваттгофе, этом педантическом подражателе Галлера, он отзывался в другом письме едва ли менее неодобрительно³. Гёте слышал такие же и еще более строгие отзывы прямо из уст Гердера и научился у него оценивать поэтические достоинства с большей взыскательностью.

Указания Гердера переходили от современной литературы к литературе прошлых столетий и от отечественной литературы к иностранной. Без сомнения, по совету Гердера, Гёте стал впервые серьезно читать произведения Гомера — ведь наставнику было приятно иметь такого ученика, который умел простодушно внимать простодушному древнему певцу и представлял себе гомеровских героев «такими красивыми, высокорослыми и свободно разгуливающими, как аисты»⁴. Влиянию Гердера следует приписать и то, что Гёте, составивший себе понятие о греческом быте по «Музариону» Виланда, стал теперь изучать этот быт из первоначальных источников, стал вскоре после отъезда из Страсбурга

¹ Гёте к Гердеру (А, I, 35).

² SWS. I, 44.

³ LB. III, 118 и сл.

⁴ Гердер к Мерку (*Вагнер*. I, 44). Совершенно в духе Гердера гётевское указание, как следует читать произведения Гомера; в письме к г-же Laroche (*Jungen Goethe*. III, 43, 44).

читать Ксенофонта и Платона, а потом перешел к произведениям Феокрита и Анакреона и наконец стал восхищаться Пиндаром. Между новейшими писателями Гердеру особенно нравился Свифт; в сочинениях, которые Гердер писал в Риге, он не ссылался ни на одного из иностранных писателей (за исключением Стерна) так часто, как на этого «почтенного сатира» — так он называл Свифта в «Отрывочных заметках»¹. Быть может, не без преувеличения и из желания оправдать² данное им и Мерком Гердеру прозвище «декана» Гёте утверждал, что «между всеми писателями и людьми» Гердер всех более уважал Свифта; во всяком случае не подлежит сомнению, что Гердер настойчиво указывал Гёте на произведения великого сатирика. Кроме того, Гердер был очень высокого мнения об Оливере Гольдсмите. Три или четыре раза он перечитывал в Страсбурге «Векфильдского священника» и рекомендовал это сочинение своей дорогой дармштадтской приятельнице как «одну из самых лучших книг, какие написаны на каком-либо языке», как такую книгу, в которой все гуманно — и личности, и юмор, и характеры, и сердечные чувства, и сентенции³. Мы вовсе не расположены оставлять, подобно Гердеру, без внимания грубые недостатки этого романа ради его идиллического и юмористического содержания, и далее это содержание не представляется нам таким чистым и нравственным, каким его изображает поэтически разукрашенная характеристика у Гёте. Мы с удовольствием читаем первые сцены романа, но кончаем его вполне разочарованными. Все-таки из всех английских сочинений прошлого столетия эта книга пользуется в Германии самой большой известностью и популярностью и будет читаться еще многими будущими поколениями. Для нас эта книга имеет особое значение только в той мере, в какой она останавливала на себе внимание Гердера и Гёте. Одно ее заглавие напоминает нам, что Гердер читал ее во время своей болезни вслух перед своими двумя собеседниками, что он то опровергал неостроумные замечания тучного медика, то сдерживал потоки чувствительности в более молодом слушателе, то укорял их обо-

¹ Сравн., напр.: SWS. I, 35; Отрывочные заметки. I, 45, 161; KW. I, 126; II, 198; III, предисловие; кроме того, LB. I, 2, 67; I, 3, а, 47, 192; I, 3, в, 347, 442, 492, 508, 509 (SWS. IV, 87, 147, 179, 190). Путевой журнал (LB. II, 313; SWS. IV, 447).

² Гёте к Гердеру (A, I, 45); Гёте к Мерку (*Vagner*. I, 55).

³ LB. III, 276, 279, 280, 363; сравн. KW. II, 134. Он читал эту книгу в переводе Вейссе; сравн. Вейссе к Гердеру 30 декабря 1768 г. (LB. III, в, 526). И впоследствии он снова брался за это сочинение A, III, 39; *Zerstr.* VII. IV, 137.

их за ребяческую недалёковидность их суждений. Но имена доктора Примроза и его дочери Софьи напоминают нам пастора Бриона и Фредерику, а вместе с ними Зезенгеймскую идиллию и сцены той трогательной любовной истории, которую Гёте с таким искусством связал с чтением гольдсмитовского рассказа.

Именно в английской литературе Гердер выбирал те выдающиеся произведения, которые рекомендовал своему юному другу; к области этой же литературы большей частью принадлежали те «пособия и новейшие сочинения», которые он, по словам Гёте, привез с собой в Страсбург. Он сам хвалился тем, что начал более походить на британцев, чем на легкомысленных, непостоянных французов; в то же время он утверждал, что стал более серьёзно заниматься английской литературой, которая заключает в себе так много сокровищ¹; а подобно тому, как он прежде того сообщал Гаману о всем, что извлекал из чтения книг, он стал теперь сообщать Мерку свои замечания о прочитанных сочинениях, которые принадлежали почти исключительно к английской литературе². Дело в том, что английская литература не случайно и не на короткое время отвлекла его внимание от французской: с тех пор, как он вдоволь начитался в Нанте и в Париже французских книг, он видел только дурные стороны французской литературы. И из его Дневника, и из его путевых заметок видно, что его пребывание во Франции внушило ему решительное несочувствие и к французским нравам, и к французскому языку, и к французской литературе и философии. Чем сильнее все это привлекало его до прибытия во Францию, тем сильнее теперь от себя отталкивало: живя во Франции, он стал сознавать своеобразность своей немецкой натуры; оттуда он вывез решительное отвращение к французскому складу ума, и это чувство окрепло в нем и усилилось во время его пребывания в Страсбурге, который был наполовину французским городом, наполовину немецким.

Всем хорошо известно, что и в уме Гёте совершился во время его пребывания в Страсбурге такой же переворот; он еще более решительно, чем Гердер, отказался от прежнего сочувствия к направлению и внешним формам французских литературных произведений и стал отдавать предпочтение национальному немецкому направлению. До того времени на умственное развитие юного поэта слишком сильно влияли язык, вкусы и искусства французской нации. Гёте был еще ребенком, когда его родной

¹ LB. III, 264.

² LB. III, 321 и сл., 324, 340.

город был занят французскими войсками; он в то время научился говорить на французском языке так же свободно, как говорил на своем родном языке; он усовершенствовал свои познания во французском языке, посещая французский театр и слушая проповеди протестантских пасторов. У него скоро зародилось смелое желание что-нибудь написать для французской сцены, а его приятель Дерон познакомил его со всеми скучными драматическими произведениями времен Людовика XIV. Хотя он и насмеялся над париком престарелого Годшеда в то время, как жил студентом в Лейпциге, но французские парики не казались ему смешными — он начал писать французскую трагедию, перевел одну из комедий Корнеля, принимал за образец французские драматические произведения и их подражания александрийцам даже тогда, когда писал «Капризы влюбленного» «Mitschuldigen». В нем совершился переворот только в Страсбурге, только в «эльзасской полу-Франции», несмотря на то что его привлекло туда именно сочувствие ко всему французскому. Не подлежит сомнению, что причиной этого переворота было знакомство с местными нравами и многие другие побочные обстоятельства. Все это описано в «Dichtung und Wahrheit» с вполне удовлетворительной ясностью. Все, что мы там читаем, могло бы случиться с каждым из нас: там рассказано, как молодому человеку надоели постоянные придирки и порицания за его не совсем правильный французский выговор и как наконец он принял, вместе с несколькими соотечественниками, решение «совершенно отказаться от употребления французского языка и посвятить себя изучению родного языка». Очень правдоподобно и совершенно понятно, что товарищи, сходявшиеся в Страсбурге за обедом под председательством Сократа—Зальцманна, почувствовали отвращение к французской системе управления и ее злоупотреблениям и стали с гордостью смотреть на великого северного короля, как на полярную звезду современной истории. Мы вполне сочувствуем этим юношам в том, что они, из отвращения к французской чопорности, чванились своей немецкой грубостью и неприужденностью, — в том, что они не пугались, когда в их пирушках принимал участие какой-нибудь «всем хорошо известный своим немецким патриотизмом простофиля». Мы находим глубокую поэтическую правду по меньшей мере в рассказе, как юноша бежал от страстных поцелуев и приманок француженки, а потом увлекся привлекательностью, молодостью и невинностью немецкой девушки; он, конечно, никогда не чувствовал так сильно противоположности между немецкими нравами и фран-

цузскими, как в мучительные дни, предшествовавшие разлуке, как в то время, когда его возлюбленная «порхала, как птичка», в своей простой немецкой одежде среди разодетого по моде французского общества в Страсбурге. Однако в рассказе Гёте есть большой пробел. Он вполне ясно и сознательно описывает противоположность между тем, что он в то время чувствовал вместе со своими товарищами, и теми идеями, которые были плодом его французского образования. Мы сделались страстными врагами всего французского, говорит он, потому что по своей молодости все делали со страстью; мы отвернулись от французской литературы, оттого что «она была устарелой и чванной и сама по себе, и в лице своего представителя Вольтера». Но он умалчивает о том, что пришел к такому убеждению не сам собой, а благодаря Гердеру. Что французская литература была «устарелой и чванной», что в ней — как говорится далее — господствовал дух общественных приличий и общественных отличий, что жатва уже давно была собрана и потому самым выдающимся талантам XVIII столетия предстояло только подбирать оставшиеся колосья, что поэзия французов холодна, что их критика не исправляет, а уничтожает, что их философия непонятна и неудовлетворительна — все это, очевидно, было отзвуком тех воззрений, которые сложились в уме Гердера и которые он высказывал своему юному другу, без сомнения, еще с большим красноречием и с большей страстностью, чем на страницах своего путевого журнала. Именно в тех письмах, которые Гердер писал из Страсбурга, встречаются некоторые из самых резких и самых неодобрительных отзывов о соотечественниках Вольтера. Так, сообщая Мерку свое мнение о вышедшей в 1770 г. второй части анонимного сочинения Делиля Десаля «*De la philosophie de la nature*»¹, он говорит, что в этой книге «нет ничего, кроме бессмысленной психологии, что она растянута, противна и однообразна». Так судил он о французском сочинении, написанном в опровержение материализма, а напротив того, хвалил основанный на эстетических воззрениях, оптимистический пантеизм англичанина Шефтсбери. Его отзыв о знаменитой «*Système de la nature*», вероятно, был еще более строг — так как Гёте, но всему вероятно, высказывает мнение своего друга, когда говорит о впечатлении, которое производили эти бессодержательные отвлеченности, эти

¹ Амстердам, 3 вол. in 12^o; впоследствии это сочинение издавалось несколько раз и его содержание было расширено. 7-е издание в 10 т. вышло в 1804 г.; на немецкий язык оно переведено в 6 т. (Берлин, 1787).

«жалкие атеистические» философские мнения на молодежь, посвятившую себя культу живой природы.

И не об одной только философии, а также о поэзии, и всего более о ней, шла речь в беседах Гердера с Гёте.

С того времени как Гердер служил секретарем при любителе поэзии Трешо, он не переставал упражняться в сочинении стихов наряду с более серьезными занятиями. В его записных тетрадках постоянно встречаются его поэтические произведения. Он неутомимо складывал строфы, строчил стихи и подыскивал рифмы, частью из потребности излить таившиеся в его душе чувства, частью из юношеского влечения к подражанию. Он сочинял неуклюжие дидактические стихотворения, стараясь подражать Попу и Галлеру, Крейцу и Виттгофу. Он пытался писать религиозные и политические дифирамбы, для которых заимствовал фигурные обороты речи большей частью от псалмописцев и от пророков. Он соперничал с Пиндаром и с Горацием, с Клопштоком и с Рамлером. Он воображал, что был в состоянии доказать на примере, как следует писать кантаты. Однако он, кроме того, с ранних пор сделался учеником Лессинга и Клейста, Гагедорна и Глейма. Подобно им и подобно Уцу и Вейссе, он сочинял в стихах песни и рассказы, идиллии и эпиграммы, или же, смешивая поэзию с прозой, забавлялся подражанием Герстенбергу, о котором имел такое высокое мнение. В черновых набросках его стихотворений можно найти все виды поэзии, начиная с драмы и кончая эпиграммой, и все тоны, начиная с высокопарно-возвышенного и кончая цинически-грубым.

Лишь немногие из этих юношеских и школьных упражнений попали в печать, но и они — за исключением двух стихотворений, попавших в «Отрывочные заметки», — были напечатаны таким образом, что их можно считать за неизданные¹. Если Гердеру когда-нибудь и приходила мысль издать самые удачные из его стихотворений², то он с течением времени совершенно отказался от нее. Он вовремя пришел к сознанию настоящего достоинства своих поэтических дарований; в этом отношении он не

¹ Несколько эпиграмм в Кёнигсбергской газете (1765. № 97); рассказ об «отце, убившем своего сына» (Там же. 1765. № 75); см. мою статью о Гердере и о Кёнигсбергской газете (Im neuen Reiche. 1874. I, 611 и сл.).

² На это указывает двойной список его старых стихотворений, помещенный в конце одной тетрадки с выписками, которая велась во время его пребывания в Кёнигсберге и в Риге. В первом из этих списков названы заглавия 24 стихотворений и высказывается намерение написать посвящение «моей красавице» и в конце поместить «приложение эпиграмм».

поддавался тому ослеплению, которое происходит от тщеславия; он умел оценивать достоинства и недостатки своих поэтических произведений так же верно, как если бы шла речь о произведениях постороннего человека. «Я не поэт, — писал он Каролине Флаксланд как бы в оправдание нескольких поэтических строчек, которые написал в воспоминание о романтических часах, проведенных в Дармштадте, — у меня недостает таких легких чувств, которые я мог бы выражать в рифмах, проверяя стихотворный размер по пальцам»¹. Некоторые из поэтических импровизаций, отосланных им из Страсбурга в Дармштадт², он называет «поэтическим мараньем» и «площадными произведениями», а те небольшие стихотворения, которые Бойе взял у него в следующем году для помещения в гёттингенском «Альманахе муз»³ без имени автора, он называет «игрушечными стихами», которые он писал большей частью только из желания упражняться «в языке и в различных оборотах речи». Как бы в подтверждение и в дополнение этих суждений он говорит, что в его стихотворениях все относилось «к самой узкой сфере какого-нибудь положения, стечения обстоятельств или впечатления», — но именно по этой причине он и предостерегает, чтобы в его стихотворениях не искали чего-либо другого и чтобы им не придавали такого значения, какого они не имеют⁴. С большим самодовольством, но все-таки без больших притязаний говорит он о своих одах, т. е. о том разряде своих поэтических произведений, который, бесспорно, более всех других имеет право так называться. Когда Мерк упрекал его за встречающиеся в этом разряде стихотворений аллегории, он отвечал: «Я сам часто бываю ими недоволен; но что же делать? То внутреннее влечение, которое заставляет меня писать стихи, есть смесь философии и чувствительности, а та и другая тесно связаны с какой-нибудь мыслью и потому превращают оду в цельную аллессию». В другом месте он так отвечает на одобрительный отзыв Мерка: «Вы делаете мне много чести, говоря, что неясность моих стихотворений имеет некоторое сходство с характером стихотворений Клопштока. Благодаря потокам своей чувствительности (когда это не что иное, как чув-

¹ LB. III, 219, 220; еще в 1767 г. он писал Глейму: «Если бы я был поэтом» (LB. I, 2, 234).

² LB. III, 280, 367.

³ A, III, 208; Вейнгольд. С. 180.

⁴ A, III, 202; сравн.: Там же. 269, где он скромно сознается в невозможности сравнивать одно из его стихотворений со стихотворением Гёте «Wanderer».

ствительность) Клопшток стоит много выше меня; но зато от его од ничего и не остается в душе, кроме неясного отзвука мало понятных чувств! Точно отзвук колокола! Мне кажется, что моя чувствительность местами оставляет после себя нечто более ясное — искру, сентенцию, аллегорию, основное правило, или, если хотите, называйте это как-нибудь иначе»¹. Если взять все эти суждения в их совокупности и правильно распределить по предметам, то наш собственный отзыв окажется почти излишним. Мы всего охотнее готовы подписаться под последним из этих критических отзывов Гердера о самом себе. В нем таится признание, что Гердеру, так же как и Клопштоку, не удалось вложить в его поэтические произведения всю совокупность волновавших его чувств и наглядно выразить эти чувства.

Хотя Гердер и не был, по его собственному мнению, рожден настоящим поэтом, но неожиданно вспыхнувшая в его сердце любовь расшевелила таившееся в его душе влечение к поэзии. Выехав из Дармштадта в упоении от своего счастья, он дорогой призывал к себе «юношу с арфой Давида», для того чтобы в упоении внимать звукам его арфы; в Карлсруэ он роется в «таких книгах, которые говорят чувству»; он с благоговейным восторгом читает лучшие из песен Якоби и Герстенберга, как будто они нарочно для него написаны, — хотя он уже не раз читал их прежде того; он счастлив, когда ему попадаетея какое-нибудь еще не знакомое ему стихотворение Клопштока, совершенно расплывающееся от чувствительности. Мысль о его возлюбленной до такой степени примешивается ко всему, что он читает, думает и чувствует, что он сам желал бы сделаться одним из тех провансальских поэтов, которые «воспевали только любовь». Чтобы быть в состоянии что-либо читать, он берется только за такие сочинения, которые могут возбуждать в его душе «мысли о той, кем эта душа наполнена». В числе тех книг, которые доставляют ему самое большое удовольствие, он называет Виландова «Агатона» и «Новую Элоизу» Руссо. В начале своей жизни в Страсбурге он писал Мерку, что жажда и изнеможение его души заставляют его читать преимущественно поэтические произведения, что он считает за благодеяние для себя, когда его ошеломляют страдания и жалобные вопли героев и героинь греческих трагедий. Как все это хорошо характеризует чувствительность Гердера и его взгляд на поэзию! Он хочет находить повсюду отзвук своего собственного душевного настроения. Охватившее

¹ LB. III, 333.

его душу волнение усиливает не его способность к поэтическому творчеству, а его поэтическую восприимчивость. Когда тяжелые думы омрачают ниспосланное ему новое счастье, он лишен дара прогонять эти думы песнопениями. Между тем как тот юноша, с которым он недавно сошелся, осыпал свою возлюбленную, как весенними цветами, такими неподражаемо привлекательными и задушевными песнями, каких не певал ни один немец в течение многих столетий, он сам выражал свою не менее искреннюю любовь заимствованиями самых торжественных звуков у высокопарной лиры Клопштока, а самых веселых — у Виланда и Якоби или даже у говоруна в Герстенберговом «Ипохондрике»!¹ С той минуты, как он расстался со своей возлюбленной, они начали сообщать друг другу, пересылать, указывать и рекомендовать поэтические произведения всякого рода, а это придаточное занятие Гердера с течением времени приобретало в его глазах все большую важность, так как придавало некоторый интерес и некоторую свежесть его письмам, в которых все более и более отражалось грустное душевное настроение несчастного больного. Он начал одами Клопштока, перешел от Клопштока к Оссиану, к песням в драматических произведениях Шекспира, к старинным английским балладам и к разным образчикам народной поэзии. Сначала он переписывал то, что ему нравилось, потом стал переводить, а из переводчика превратился в поэта. Когда Мерк пожелал познакомиться с его прежними стихотворениями, он собрал их из своих старых бумаг и препроводил в Дармштадт; вместе с переводами и подражаниями он изредка набрасывал на бумагу новые стихотворения, то выражая свою скорбь о своем «слабом, тусклом глазе», то отвечая стихами на стихотворения Мерка, то сочиняя оду на сборник клопштоковских од, напечатанный в виде манускрипта по желанию ландграфини Гессен-Дармштадской. Все это были попытки внести сколько-нибудь веселости в мрачную комнату больного — все это были развлечения, которые заменяли научные занятия, отложенные в сторону во время второй половины его страсбургского одиночества.

Однако нельзя сказать, чтобы эти развлечения не имели никакой связи с научными занятиями и чтобы те часы, которые Гер-

¹ LB. III, 70: «Из любовного архива моего племянника» в перепечатанном Додслеем «Ипохондрике», 2-е изд. — в 12-й части; во 2-м изд. бременском и шлезвигском — в 6-й части. Это — выражение самого Герстенберга. Также сравн.: LB. III, 151 относительно письма в «Ипохондрике» (в изд. Додслея — с. III, в другом изд. — с. 75).

дер посвящал изучению поэтических произведений, были напрасно потерянным временем. Напротив того, в тех развлечениях таился зародыш, который уже давно ожидал благоприятных условий для своего развития, который потом в течение многих лет то был предметом забот, то предавался забвению и из которого наконец вырос плод — тот сборник народных песен, который увидел свет в 1778 и 1779 гг. Гердер уже давно советовал воспользоваться «старинными национальными песнями»; еще ранее того у него зародилось намерение написать «историю лирических песнопений», а материалы для этого сочинения он стал отыскивать и собирать еще в то время, как был студентом Кёнигсбергского университета¹. Намерение составить для самого себя сборник лучших песен, для того чтобы наслаждаться ими и подражать им, выступает лишь теперь на передний план и сливается в одно целое с прежними замыслами. Гердер писал Каролине из Карлсруэ: «Мне пришла в голову странная мысль составить маленький сборник немногочисленных немецких поэтических произведений, которые я считаю за верное выражение чувствительности и полноты сердца»²; в эту «книгу песен» он намеревался включить, между прочим, несколько стихотворений Герстенберга, а Каролину просил переписать для этой книги оды Клопштока.

Но на самом деле составил не такой сборник песен, а другой в том же роде.

Следуя совету Мерка, Гердер наложил на себя обязанность еженедельно выписывать из своих бумаг и исправлять по одному самому зрелому из своих собственных старых стихотворений; сюда же он присоединил некоторые из вновь написанных им стихотворений, равно как переведенные или переделанные в разное время отрывки из Оссиана, из Шекспира, из «Reliques» Перси и из других источников; таким образом составил пестрый сборник, в котором не было никакой другой внутренней связи, кроме субъективной связи личного сочувствия и вкуса. Все это

¹ См. выше, с. 243; Народные песни. II, 314. — Частью влиянию Гамана, частью влиянию Гердера следует приписать тот факт, что ректор Линднер в своем весьма бестолковом «Учебнике изящных наук» (в первой части которого — 1767 г. — неоднократно принимаются в соображение еще не выходявшие и то время в свет «Отрывочные заметки») положительно и довольно подробно указывает на старинные песни, приводя ряд примеров («Первоначальная поэзия была говорящей музыкой, а первые стихотворения были песнями и т. д.» — часть II, с. 45 и 61).

² LB. III, 78, 94, 128.

было переписано рукой Каролины. В тетрадку почтовой бумаги, обернутую в серебряный лист, она вписала весной 1771 г. поэтические произведения, которые были присланы Гердером из Страсбурга ей и Мерку. В эту серебряную книгу — так будем мы называть ту тетрадку — вошли как те стихотворения, которые были выражением собственных чувств Гердера, так и те, в которых он находил отголосок своих собственных чувств и которые он усвоил путем вольного подражания; в число этих последних было включено забавное стихотворение Клаудиуса «*Es ritten drei Reuter zum Thor hinaus*», а все они принадлежали к разряду натуральной и народной поэзии¹. В этом сборнике Гердер без предвзятого намерения выражал свое убеждение, что и ему самому и всей тогдашней искусственной поэзии следует прибегнуть к народной поэзии и вполне освоиться с ее духом, для того чтобы создать нечто действительно поэтическое. Из этого составленного в Страсбурге сборника стихотворений впоследствии образовалось путем естественного прогресса то образцовое собрание народных песен, в которое лишь между прочим были вставлены некоторые из собственных стихотворений Гердера, написанных в подражание народным песням, или некоторые из песен Клаудиуса и Гёте.

Из писем, которыми Гердер сопровождал пересылку стихотворений в Дармштадт, мы можем извлечь нечто вроде комментариев к той страсбургской книге песен. Как усердно он занимался собиранием старинных поэтических произведений, ясно видно из его приписки к тому письму, при котором он посылал Каролине «идиллию из равнин Лангедока». Он говорит в этой приписке, что мог бы прислать Каролине «из своей мелочной лавочки» еще много других стихотворений: «арабских — о погонщиках ослов, итальянских — о рыбаках, американских — об охоте на снегу, лапландских, гренландских и латышских». Но всего яснее видна из его писем причина, почему составленная им книга

¹ «Серебряная книга» заключает в себе 74 номера. Для меня не подлежит никакому сомнению, что она тождественна с тем списком стихотворений, о котором Каролина писала Гердеру 14 июня 1771 г. (А, III, 66; сравн. 72, 76). Лучшим доказательством этого служит сходство содержания со стихотворениями, которые Гердер присылал из Страсбурга, — насколько нам известны эти стихотворения из страсбургской корреспонденции, помещенной в 3-м томе «Жизнеописания». Впрочем, Гердер впоследствии делал много собственноручных поправок в рукописи Каролины. О сборнике песен такого же рода будет идти речь далее под названием «Книги графини»; эта книга была составлена во время пребывания Гердера в Бюкебурге.

песен вовсе не была сборником произведений современных поэтов. Теперь он еще решительнее, чем прежде, сознавал необходимость заменить натянутость и искусственность тогдашней поэзии более энергичным тоном наивной старинной поэзии, в особенности той, которая носила на себе национальный отпечаток. Теперь ему стало казаться, что даже произведения Клопштока не могут подходить под эту новую мерку. Уже в «Отрывочных заметках», в разговоре между раввином и христианином, он признавался, что не находит в «Мессиаде» настоящего эпического духа, что там мало действия и чисто человеческих чувств; теперь он стал высказывать то же мнение, но гораздо решительнее прежнего. «Перечитывая „Мессиаду“ Клопштока, — пишет он, — я сознаю изысканность выраженных в ней чувств; но я нахожу, что у автора до крайности невыносимо все, в чем должны выражаться человеческие характеры и человеческая деятельность, — невыносимы и его ангелы, и его черти». И несмотря на то что он с жадностью читал оды своего любимого поэта, несмотря на то что «на всем пространстве от Гамбурга до Цюриха от него получались письма с требованием присылки самых мелких стихотворений, вышедших из-под пера этого поэта», он прочел своей возлюбленной наставление, которое было не совсем приятно для этой восторженной поклонницы Клопштока. Не затрагивая чести поэта, он находит в его произведениях «тысячи недостатков». Он пишет Каролине: «Что вы в состоянии разделять чувства, выраженные в стихотворениях Клопштока и Гесснера, очень хорошо и похвально, но тут кроется приятное заблуждение, которое и я с удовольствием разделяю с вами: ведь эти поэты описывают любовь по понятиям нашего времени. А посмотрите, как изображена любовь в старинных шотландских песнях бардов! — только в этих песнях любовь дышит нежностью, привлекательностью, благородством, устойчивостью и такой нравственной чистотой, которая очаровывает нас, но не приписывает нам ничего, кроме настоящих человеческих чувств». С той же точки зрения он ставит Нинатому Оссиана выше Ариадны Герстенберга, а стихотворение, написанное Клейстом в подражание любовной песни лапландца, несравненно ниже оригинала. «Не удивляйтесь, — так поучает он свою дармштадтскую подругу, — тому, что лапландский юноша, не знавший грамоты, не учившийся ни в какой школе, и едва ли веровавший в какого-либо бога, пел лучше майора Клейста! Ведь лапландец сочинял свои песни налету в то время, как мчался по снегу на своих северных оленях, торопясь добраться до того озера, на берегах

которого жила его возлюбленная; а Клейст подражал его песням по книге». Еще более знаменательно то, что он говорил в письмах к Мерку по поводу старинных песен, встречающихся в произведениях Шекспира. Если бы ему когда-нибудь пришлось побывать в Британии, то он непременно заехал бы в Валлис, в Шотландию и на западные острова. «Тогда, — продолжает он, — я пожелал бы услышать, как поются народные кельтские песни с их настоящим выговором и с тем выражением, которое придают им местные жители, — те песни, которые в своей теперешней форме гекзаметров и греческого стихотворного размера — то же, что раскрашенный и опрысканный духами бумажный цветок в сравнении с живыми, красивыми цветами, которые благоухают на диких горных возвышенностях». Точно так же он находит (и уже давно высказывал это в «Библиотеке» Николаи), что сделанный Денисом перевод Оссиана не имеет сходства с тоном мнимого древнего барда, а сделанный Виландом перевод произведений Шекспира грубо отзывается духом Нового времени, в особенности в лирических отрывках. Именно такие неудачные переводы привели его к полному сознанию различия между современным стихотворством и первоначальной настоящей поэзией; именно теперь он понял, в чем заключается настоящая сущность поэзии и стал надеяться, что своими указаниями наведет на лучший путь и Клопштока, и Герстенберга, и многих других. Как виландовский Шекспир был мало похож на настоящего Шекспира! И как вообще было мало сходства между произведениями Шекспира и всеми тогдашними драматическими произведениями, в особенности теми, исполнение которых он видел в Париже и которые ему были так противны своим отсутствием всякой поэзии. Великий британец уже давно был близок его сердцу. Теперь он снова стал изучать его произведения вместе с изучением поэзии старинных народных песен и баллад. Он обращает внимание своей невесты на Шекспира и главным образом на «единственную трагедию, какая написана о любви», противопоставляя ее трагедии Вейссе «Ромео и Юлия»; затем он советует Каролине прочесть «Отелло», «Гамлета», «Сон в летнюю ночь»; он просит у ней позволения быть «ее руководителем при изучении произведений Шекспира» и действительно наполняет несколько писем вопросами и указаниями касательно «Ромео» и «Гамлета». Мерку он писал о своем «бешеном влечении к Шекспиру»; каждое из произведений этого автора — писал он Каролине — представляет цельную философию той страсти, о которой идет речь. «Мерк, вероятно, говорил вам, — прибавляет он, — до какой степени я

страстно увлекаюсь произведениями Шекспира; я не читал эти произведения, а изучал их в полном смысле этого слова».

Само собой понятно, что все эти отрывочные мнения, лишь случайно высказывавшиеся в письмах, развивались более красноречиво и более подробно в беседах с Гёте. Поэзия есть общий дар всех народов, а не наследственное достояние нескольких даровитых, образованных людей. Это доказывают народные песни, Оссиан, Шекспир. В особенности произведения Шекспира представляют по своей поэзии резкую противоположность с благопристойной французской драмой — в каждом из них мы находим полную философию какой-либо из человеческих страстей. Такова была тема, к которой постоянно возвращалась беседа Гердера с Гёте. Подобно Мерку и Каролине, и ежедневный собеседник Гердера получал выдержки из его книги песен; он стал переводить романсы и песни Шекспира, стал распевать их или вслух декламировать¹. Гердер приглашал и Гёте, и его друзей собирать сохранившиеся в Эльзасе остатки народной поэзии — и это приглашение не осталось бесполезным. Юный поэт, очень любивший песни и одаренный от природы веселым характером, охотно собирал такие песни вместе с их мелодиями во время своих странствований по Эльзасу; он был чрезвычайно доволен тем, что ему очень скоро удалось отослать своему дорогому наставнику собранную добычу². О латышских песнях Гердер мог говорить на основании своего собственного близкого с ними знакомства. Он указал любознательному Стендеру латышскую грамматику, по которой сам начал в Риге изучать латышский язык. Натурально заходила речь и о старинной северной поэзии. Что Гердер дал Гёте издание Резениуса («Edda Islandorum») и ближе познакомил его с северными сказаниями о героях — это говорит нам сам Гёте в «Dichtung und Wahrheit»; и многие другие заглавия книг, на скорую руку записанные в дневнике³ у Гёте и принадлежавшие все к тому же разряду, Гёте узнал из уст того же наставника, который еще за много лет перед тем написал для Кёнигсбергской газеты рецензию истории Дании Малле. Что касается поэзии Оссиана, то Гёте, еще живя в Страсбурге, делал из нее переводы; во Франкфурте он не переставал этим заниматься, а «Вертер» носит на себе следы его знакомства с этой поэзией.

¹ Некоторые из этих песен Гёте впоследствии декламировал и пел перед своими дармштадтскими знакомыми: *Dünßer A*, III, 196 и 216; Воспоминания. I, 219 (к *A*, III, 205).

² № 3 писем Гёте (*Dünßer A*, I, 29 вместе с приложением, с. 153 и сл.).

³ *Schöll Briefe und Aufsätze von Goethe*. С. 63 и сл., в особенности с. 121 и сл.

Не кто другой, как Гердер, заставил его заинтересоваться этим литературным явлением и внушил ему желание приобрести сведения, необходимые для понимания Оссиана. Он занимался этим предметом вместе с Гердером и для Гердера — как писал этому последнему в сентябре 1771 г. из Франкфурта; он доставлял Гердеру в Бюкебург сведения об изданных Макферсоном отрывках мнимого подлинника «Теморы» и — совершенно в духе Гердера — высказывал замечания о различии тона у Оссиана и в изданных Томасом Перси балладах. Наконец, что касается Шекспира, то Гёте уже давно — еще в то время, как жил в Лейпциге, — познакомился с этим писателем из сочинения Додда; это знакомство имело решающее влияние на его литературную деятельность; все, что он прочел в той книге, произвело на него сильное впечатление. И сделанный Виландом перевод он уже не только прочел, но с жадностью проглотил, а теперь он дошел до такого энтузиазма, что ему казалось, будто «над ним парит нечто очень возвышенное», будто «чья-то чудотворная рука мгновенно даровала слепорожденному зрение». Таковы были признания самого Гёте; но в «*Dichtung und Wahrheit*» он не объясняет нам, в какой мере это воодушевление поддерживалось, усиливалось и озарялось влиянием Гердера. Что оно было усилено Гердером — это не подлежит никакому сомнению: сам Гердер говорит, что то были минуты возвышенного душевного настроения, когда он «неоднократно обнимал своего юного друга перед священным портретом Шекспира». Но следует полагать, что воодушевление юноши, кроме того, и озарялось влиянием Гердера. Ведь Гёте, конечно, не раз приходилось выслушивать такие же наставления, какие Гердер читал Каролине относительно «Ромео и Юлии». Если он высказывал Гердеру такие же мнения о книге Додда, какие мы находим в «*Dichtung und Wahrheit*», то Гердер, конечно, отвечал на это насмешками над такими *florilegia* тощих цветков, которые собраны праздными, слабыми и кривыми руками» и по которым «никак нельзя распознать всех достоинств Шекспира»¹. Если он отзывался о Виландовом переводе произведений Шекспира точно так же, как отзывался о нем в автобиографии, то нетрудно себе представить, как за это доставалось и переводчику, и панегиристу! Не подлежит сомнению, что только благодаря Гердеру юный энтузиаст составил себе полное и верное понятие о Шекспире; не кто другой, как Гердер, объяснил ему, как следу-

¹ Эти слова взяты из одной старой и из другой еще более старой редакции гердеровской статьи о Шекспире.

ет переводить Шекспира; не кто другой, как Гердер, объяснил ему, в чем заключаются своеобразный характер и исключительное достоинство произведений Шекспира, и научил его понимать и оценивать эти произведения в связи с историей литературы. Чтобы составить себе понятие о том, что думалось и говорилось о великом британце в страсбургском кружке молодежи, следует, по словам Гёте, прочесть статью Гердера о Шекспире, помещенную в «Листках для немецкой жизни и искусства», и заметки Ленца о театре. Если бы все это было напечатано в ту пору, говорит Гёте, то сюда можно бы было присовокупить его собственные суждения о Шекспире, которые он высказывал во Франкфурте, и суждения Лерсе. Обозревая все эти данные в их совокупности, нельзя не прийти к заключению, что влиянию Гердера следует приписать тогдашнее увлечение произведениями Шекспира и все суждения, которые высказывались о великом английском писателе и юным Гёте, и многими другими.

Вышеупомянутая статья Гердера о Шекспире заключает в себе совокупность и квинтэссенцию того, что Гёте узнал в Страсбурге из уст Гердера об этом важном предмете. Но той статье предшествовала в названных листках другая статья — «Извлечение из переписки об Оссиане и о песнях древних народов». Здесь мы также находим совокупность и квинтэссенцию того, что устно высказывал Гердер о народной поэзии и о поэзии искусственной. В страсбургских письмах Гердера можно найти только отрывки и слабые отголоски того, что высказывалось об этом предмете в устных беседах. Однако мы не лишены возможности близко ознакомиться с тем, чему Гердер красноречиво обучал в то время, как болезнь не позволяла ему выходить в Страсбурге из его комнаты. Более половины того, о чем он в то время вел речь, изложено в вышеупомянутых двух статьях, и изложено так, что мы как будто слышим живую устную речь. «О немецкой жизни и искусстве. Несколько летучих листков» — таково заглавие тетрадки¹, с которой начинаются те статьи; оно также напоминает нам о созревшем в Страсбурге решении вступить в борьбу с тогдашним направлением французской литературы. Гердер так озаглавил свою небольшую статейку именно с той целью, чтобы она осталась памятником его страсбургского сближения

¹ Гамбург, 1773, у Боде, 182 страницы in 8⁰, напечатанные на скверной бумаге и с множеством опечаток. В мае 1773 г. Гердер отослал к Распе «Рапсодию», в которой «принимал незначительное участие и желал бы, чтобы это участие было еще менее значительно» (Weimar. Jahrbuch. III, 50). Боде прислал ему первое экземпляры 19 мая (*Dünßer C*, III, 285).

с Гёте, который незадолго перед тем так блистательно выступил на литературную сцену со своим «Гёцем». Этим он как будто посвящал в рыцари того «одетого в кирасы юношу, который так рано вступил на одну с ним дорогу». Наряду с двумя своими собственными статьями и со статьей Мёзера о немецкой истории он поместил в «Летучих листках» статейку Гёте «О немецкой архитектуре», написанную по поводу страсбургского собора, — а в конце статьи о Шекспире обнимал в глазах всей публики своего друга, возымевшего смелую мысль «соорудить нашему выродившемуся отечеству шекспировский памятник из наших рыцарских времен и на нашем родном языке».

В тетрадке, озаглавленной «О немецкой жизни и искусстве», встречаются отголоски и других, позднее возникших, сношений. Обе статьи Гердера были написаны не ранее июля 1771 г., в Бюкебурге; к статье об Оссиане была сделана еще позднее приписка, а статья о Шекспире изменялась и дополнялась еще в 1772 г.; все это было издано лишь весной 1773 г. Гердер был неправ, когда говорил, что писал те статьи или по меньшей мере первую из них во время своего путешествия; он был также неправ, когда писал в январе 1773 г. Гарткноху, что свою статью об Оссиане передал Боду для печатания во время своего пребывания в Гамбурге. Он справедлив только в том отношении, что содержание обеих статей уже давно было готово в его уме, что высказанные там идеи созрели во время его путешествия и в значительной мере в Страсбурге, а были они изложены на бумаге лишь только он нашел свободное для того время в Бюкебурге¹.

¹ Это ясно видно из писем, которые Гердер писал летом 1771 г. из Бюкебурга Каролине Флаксланд (*Dünßer A*, III, 81): «Я несколько дней работал над статьей о Шекспире, но работал не в таком духе и не с таким увлечением, как сначала предполагал. Теперь я хочу кое-что написать о песнях древних народов; это должно мне лучше удалиться». С этими словами согласуются следующие факты: в письмах к Гердеру, написанных ранее 14 октября (№ 3 и 4, *Dünßer A*, I, 30, 31 прим. и 32), Гёте говорит об обеих статьях в таких выражениях, из которых ясно видно, что Гердер в то время известил его о начатой работе. Боду извещал ему 17 сентября 1771 г. (*Dünßer C*, III, 283) благодарность за статью об Оссиане, присланную только в то время, но без статьи о Шекспире, а 26 октября (из этого письма Дюнцер (*A*, I, 365 прим.) сообщил только отрывок) снова благодарил его, прося о присылке новых статей. Наконец Гердер извещал в феврале 1772 г. (*Dünßer C*, II, 22) Гарткноха, что до того времени ничего не писал в Бюкебурге, кроме немногих заметок, помещенных в 16-м томе *A. D. V.*, и «статьи о скальдах, помещенной в „Достопримечательностях“». Ввиду этих указаний следует считать (умышленными или неумышленными) неточностями и следующие слова в письме к Николаи от 11 марта 1773 г. (*Dünßer C*, I, 346): «написанные налету или при постоянных перерывах во время

Впрочем, от Боде исходил тот внешний повод, который побудил Гердера напечатать статью об Оссиане. Предприимчивый Боде, незадолго перед тем сделавшийся книгопродавцом, задумал возобновить издание «Писем о достопримечательностях литературы»¹, которое ранее выходило под другой фирмой и прекратилось в 1767 г. с выпуском третьего сборника. Он настоятельно просил у Гердера статей для нового издания, а Гердер дал ему обещание исполнить его желание, как потому что был обязан ему многими любезностями во время своего пребывания в Гамбурге, так и потому что приятно проводил время в его доме. Уже два первых сборника «Шлезвигских писем», появившихся в 1766 г., в то время как Гердер только что издал две первые части своих «Отрывочных заметок», сильно привлекли к себе его

путешествия и т. д.», и следующие слова в письме к Гаману от 21 июля 1773 г. (Соч. Гамана, V, 38): «старые, написанные во время путешествия», и наконец следующие слова в письме к Гарткноху в январе 1773 г. (*Dünßer A*, I, 45 прим.): «оказавшему мне много любезностей Боде я передал, во время пребывания в Гамбурге, статью в несколько листов о старинных песнях, которая должна была появиться в „Письмах“ Герстенберга и т. д.». Эти последние слова опровергаются как благодарственным письмом от Боде, так и находящимся у меня в руках рукописным письмом гамбургского издателя от 21 мая 1770 г.; из настоятельной просьбы этого издателя о присылке статей для «Достопримечательностей» видно, что хотя Гердер и обещал, во время своего пребывания в Гамбурге, доставить те статьи, но еще не доставлял их. Поэтому я никак не могу разделять мнение Суфана, что письма об Оссиане были написаны «еще во время переезда из Риги в Нант или вскоре после того», что они «уже были большей частью написаны в 1769 г.». Вплетенные в изложение путевые впечатления, очевидно, не что иное, как воспоминания, насчет которых автор давал полную волю своей фантазии; сверх того, они относятся преимущественно к кораблекрушению 1770 г. В то время как Гердер писал свои письма об Оссиане, он уже был знаком со 2-й и 3-й частью перевода Дениса; в них, кроме того, встречается так много указаний на первое время жизни Гердера в Бюкебурге, и эти указания имеют такую близкую связь с содержанием статьи, что нет никакой возможности допустить, что она была написана ранее. Так как из писем Боде видно, что он получил статью об Оссиане не прежде сентября 1771 г., то следует считать за умышленную неточность Гердера или за опечатку в указании года и то примечание в приписке (О немецкой жизни и искусстве. С. 114), в котором сказано: «Прежние поправки статьи были утрачены автором несколько лет тому назад» (вероятно, следовало сказать: «в прошлом году»). Ввиду письма Боде от 19 мая 1773 г. (*Dünßer C*, III, 285) я мог бы допустить, что приписка, сделанная в 1772 г., была доставлена Гердером лишь после того, как статьи об Оссиане и Шекспире были набраны.

¹ Первым издателем был И. Ф. Гансен в Шлезвиге. Еще в 1768 г. Боде завел с ним переговоры о приобретении всего запаса «Достопримечательностей», а весной 1769 г. это дело было окончательно улажено.

внимание. Это было нечто вроде новых «Писем о литературе», в которых Гердер нашел совершенно другую точку зрения, чем в «Письмах» берлинских литераторов. Это были произведения живших в Дании немецких писателей, между которыми Герстенберг играл такую же руководящую роль, какую играл Лессинг в берлинском литературном кружке. Эти писатели относились без всякой задней мысли к трем главным партиям в немецкой литературе; наряду с условным признанием заслуг, оказанных Готшедом немецкому языку, они писали остроумные пародии на пошлые произведения швейцарских литераторов; они хвалили Аббта, частью хвалили, частью порицали великого усовершенствователя поэзии Рамлера и произносили над «Письмами о литературе» погребальную речь, в которой нападали на некоторые жертвы берлинской критики, и, конечно, всего более на «Северного наблюдателя». Однако их критика не задавалась целью руководить литературой; они разделяли в этом отношении мнение высоко ими уважаемого Гамана, который отстаивал независимость гения от критики; они очень энергично проводили мысль о различии между поэтической гениальностью и простым изящным вкусом, хотя не совсем искусно и не совсем ясно пытались определить сущность гениальности при помощи понятий о вдохновении и об иллюзии. Им были не по вкусу ни швейцарская школьная эстетика, ни баумгартеновская; они полагали, что критиковать следует остроумно и ничем не стесняясь. При помощи иносказательных способов выражения они постоянно старались поставить занятие рецензента наравне со свободным изложением собственных идей. Они намеревались разбирать не только новые произведения немецкой литературы, но и выдающиеся произведения всяких иностранных писателей. Они на самом деле очень расширили сферу своей деятельности — к разбору произведений Спенсера они присоединили оценку произведений Ариосто и горячо превозносили «Дон Кихота». Однако их всего сильнее привлекала поэзия англичан и северных народов. Их провинциальная точка зрения обнаруживалась в неоднократных обзорах тех влечений к изящным наукам, которые сказывались в Копенгагене, в пристрастном восхвалении Клопштока, в особенностях в частых указаниях на мифологию «Эдды», на «руническую поэзию», на сокровища, хранившиеся в старинных датских песнях. Понятно, что автор «Уголино» стал подробно заниматься разбором и оценкой произведений Шекспира, что автор «Песни скальда» стал восставать против тех, кто «доказывал неспособность северных стран производить поэтов», что, говоря об

Оссиане и о «Reliques» Перси, он стал указывать на «Kiämpe Viiser» — на остатки датской национальной поэзии.

Одним словом, Гердеру были больше по сердцу эти шлезвигские письма о литературе, чем те, которые издавались в Берлине. Правда, он не мог воздержаться от того, чтобы не высказать в «Торсе» нескольких критических замечаний касательно их стиля и литературных приемов; но уже ранее того — когда у них возник спор с «Письмами о литературе» — он принял их сторону в статьях для третьего сборника своих «Отрывочных заметок»; потом, готовясь к продолжению «Торса», он неоднократно упоминал о них и хвалил их за то, что наперекор тогдашнему стремлению критики все хулить, они «указывали на все, что было изящного в произведениях даровитых писателей», и наконец публично назвал их в первом «Критическом леске» «одним из лучших критических журналов того времени»¹. Кружок, из среды которого возник этот журнал, был главной целью его путешествия: он намеревался посетить в Копенгагене Герстенберга, прочесть вместе с ним «Письма о достопримечательностях литературы» и написать для этого издания статью о скальдах². То намерение, которого он в то время не исполнил, он мог исполнить теперь по просьбе Боде. Роль сотрудника в «Достопримечательностях» была ему больше по вкусу, чем роль сотрудника в «Библиотеке» Николаи, и он был вполне достаточно подготовлен к ней. И для содержания восьмого письма об Оссиане, о Перси и о «Kiämpe Viiser» и для содержания писем от четырнадцатого до восемнадцатого, в которых шла речь о Шекспире, у него было на сердце много такого, что просилось на бумагу. Дополнением к первому из этих писем было «Извлечение из переписки об Оссиане и о песнях древних народов»; в связи с последними из упомянутых писем находилась статья о Шекспире.

Из оставшихся после Гердера бумаг ясно видно, что и статья о Шекспире действительно была с самого начала предназначена для «Достопримечательностей», хотя Гёте и выпрашивал ее у Гердера для 14 октября с целью внести ее «в состав литургии»

¹ Гердер к Шеффнеру, 23 сентября (4 октября) 1766 г. (LB. I, 2, 196); Торс. С. 36 (SWS. II, 277) касательно 13-го и 20-го писем в «Достопримечательностях»; продолжение «Торса» (SWS. II, 322) касательно 12-го письма; продолжение «Торса» (SWS. II, 352); Критический лесок. I, 34 (SWS. III, 25). Даже позже (Народные песни. I, 322 и Zeugnisse I, 11) он ссылаясь на «Достопримечательности» и называл их (Письма к Юму. VII, 67) «таким сборником писем, который заслуживает гораздо большего внимания, чем какое ему оказывают».

² Путевой журнал (LB. II, 293; SWS. IV, 434).

по случаю устроенного во Франкфурте праздника в честь Шекспира. Кроме напечатанной статьи сохранились еще два более старых черновых очерка, а самый старый из них имеет внешнюю форму послания к автору статьи о произведениях и гении Шекспира. Сочувствуя этой статье во всем остальном, Гердер высказывает свое удивление по поводу изложенной там и заимствованной от Полониуса классификации произведений Шекспира на трагедии, историю, комедии и т. д. Взамен этой классификации он выражает в следующей форме мнение Герстенберга, что сфера Шекспира обнимала «человека, мир, все»: в произведениях Шекспира есть только одна общая им всем черта — что они не драмы в греческом смысле слова, а история. Этим объясняет Гердер все причуды поэта, которые нельзя назвать ошибками, так как они были необходимы для выяснения его мысли и для достижения его цели. «Но речь об этом впереди, — говорит в заключение автор письма, — а теперь мне нужно комментировать нечто другое, а не статьи о Шекспире».

Оставляя в стороне вопрос о том, когда были написаны эти листки — во время пребывания Гердера в Бюкебурге или ранее, — мы переходим ко второму, гораздо более обширному очерку, в котором Гердер уже не придерживается внешней формы послания к Герстенбергу и, исходя из прежней точки зрения, высказывает более положительное суждение о настоящем характере шекспировских произведений. На этот раз (вероятно, не прежде лета 1771 г.)¹ он более подробно, чем прежде, развивает положение, что эти произведения — «драматическая история», «история мира, природы, человечества»; он придает своим суждениям характер полемических нападок на Варбуртона и на переведенную Эшенбургом английскую статью о гении и произведениях Шекспира, подробно говорит о способе драматически поэтизировать историю и т. д. А когда, после всех этих объяснительных отступлений, автор снова дошел до того пункта, на котором остановилась первая редакция статьи, он объясняет, в чем заключается противоположность между шекспировскими произведениями и греческой драмой, и с этой точки зрения доказывает, что мнимые нарушения Шекспиром драматических правил и трех единств не недостатки, а достоинства, необходимость которых обусловлена своеобразностью его произведений. Гердеру

¹ По причине связи с появившейся лишь в 1771 г. в переводе Эшенбурга «статьей о гении Шекспира». Рецензию этой новой книги он отослал к Николаю 7 сентября 1771 г. (*Dünßer C*, I, 322). Она помещена в *A. D. B.* (XVII, I, 207 и сл.) и снова напечатана в 5-м томе издания Суфана.

еще оставалось объяснить, каким образом поэт умел производить на зрителя цельное впечатление, несмотря на кажущуюся пестроту изображаемых им явлений и действующих лиц. Но он снова делает перерыв, откладывая эти дальнейшие объяснения «до другого раза» и довольствуясь тем, что он уже успел установить «точку зрения, с которой только и можно читать Шекспира».

Только крайняя необходимость, как следует полагать, наконец заставила его приступить к третьей и последней редакции. Первое продолжение «Достопримечательностей» вышло в свет в 1770 г.¹ без участия Гердера. Для второго номера этого продолжения Гердер прислал — в исполнение данного им Боде обещания — статью об Оссиане, а статью о Шекспире оставил у себя, потому что сам не был ею доволен. Тогда Боде уведомил его, что тот второй номер продолжения, который должен был выйти на Пасхе 1772 г.², не мог быть выпущен; тем не менее Боде говорил, что отдал присланную ему Гердером статью в печать. Как же следовало поступить? «Для того чтобы изданная отдельно статья не показалась слишком бедной содержанием», Гердер нашелся вынужденным сделать к ней и чужие, и свои собственные дополнения³. Чужими дополнениями были статья Гёте вместе с переведенным с итальянского подлинника «очерком готической архитектуры» и статья Мёзера; собственными дополнениями были приложение к статье об Оссиане и заново переделанная статья о Шекспире. В этой переделке связь с герстенберговской классификацией произведений Шекспира уже не служит точкой исхода, а проявляется позже и случайно; эпилогом служит для нее обращение к автору «Гёца», прочитанного Гердером в начале 1772 г.⁴ Но не только вступление и окончание новы в этой третьей редакции, в ней нов весь состав статьи. Можно бы было ожидать, что здесь будет обсуждаться отложенный на время вопрос о цель-

¹ «О достопримечательностях литературы. Продолжение первой статьи». Гамбург и Бремен. У Крамера, 1770 (152 страницы). Боде писал Гердеру 20 июля 1771 г.: «Видели ли вы продолжение статей о достопримечательностях литературы? Именно ту часть, в которой вы могли бы принять участие? Не пожелаете ли вы исполнить данное вами обещание и прислать ваши статьи?» Как кажется, непосредственно вслед за этим напоминанием (*Dünßer C*, III, 282) Гердер занялся своими двумя статьями (*Dünßer A*, III, 81).

² Боде к Кнебелю 2 марта 1772 г. (Бумаги, оставшиеся после смерти Кнебея. II, 118).

³ Это видно из его письма к Гарткноху.

⁴ Гёте к Гердеру, № 5 и 6 (*Dünßer A*, I, 34 и 42); Гердер к Каролине Флаксланд в мае (*Dünßer A*, III, 251) и в июле 1772 г. (Там же. 302).

ности композиции в произведениях Шекспира. Но это ожидание, к сожалению, не оправдалось. Напротив того, здесь выключены некоторые интересные замечания, которые входили во вторую редакцию статьи. В этой окончательной форме статья все-таки сохранила характер отрывка и легкого очерка, но несмотря на это является вполне округленной. То, что было лишь случайными прибавками или отступлениями, отложено в сторону, и с резкой определенностью здесь высказывается намерение изменить точку зрения для оценки произведений Шекспира; затем Гердер приводит это намерение в исполнение правильным, методическим путем, сопоставляя греческие драмы с шекспировскими и снова пользуясь тем материалом, который был заготовлен для первоначальной редакции.

Стоит труда ближе ознакомиться с новой точкой зрения Гердера и с теми идеями, которые составляют содержание статьи.

Здесь — точно так же, как и в предпоследней форме статьи, — неоднократно делаются ссылки как на Герстенберга, так и на Лессинга. Между мнениями того и другого статья Гердера придерживается середины. Она дополняет и исправляет мнения и того и другого. Гердер взглянул на произведения Шекспира с более высокой точки зрения, чем те два писателя. Его статья составляет эпоху как в воззрениях на Шекспира, так и в оценке литературно-исторических произведений.

После того как Лессинг указал в «Письмах о литературе» на значение Шекспира лишь в общих чертах и дал немецким писателям совет принять за достойные подражания образцы шекспировские произведения взамен французских, которые так восхвалял Готшед, Герстенберг был первый писатель, высказавший более глубокомысленный взгляд на своеобразность великого британского драматурга. Внешним для этого поводом послужил сделанный Виландом перевод шекспировских драм, в котором Герстенберг усматривал грубое извращение и изуродование оригинала. Он полагал, что оценивать драмы Шекспира по одной мерке с греческими драмами, значило становиться на ошибочную точку зрения. Греческая драма находилась в связи с публичным культом, а ее главная цель заключалась в том, чтобы возбуждать страсти или вызывать смех. Хотя произведения английского писателя достигают тех же целей, но они имеют главным образом в виду «живое изображение нравственных свойств»; они не имеют цельности и не стремятся непосредственно к той главной цели, которой задавались греческие драмы. Каким же способом англичанам удалось превзойти греческих виртуозов?

Герстенберг отвечает на это: Лир, Макбет, Гамлет и т. д. суть «олицетворения характеров», а не «трагических вымыслов». Он далее развивает свою мысль, противопоставляя шекспировского «Отелло» трагедии Юнга «Месть», написанной во французском вкусе в подражание «Отелло». Автор «Отелло» имел в виду не впечатление, производимое на слушателей, не возбуждение страха или сострадания, а объяснение природных свойств ревности в их самых тонких оттенках, в их самых тайных пружинах, и в применении к отдельной личности; гениальность этого автора заключается именно в том, что с умением талантливо изображать страсти он соединял умение с таким же талантом изображать все остальное. Герстенберг признается, что этот «любимый гений матери-природы внушает ему удивление и восторг», — и этими словами внушает нам недоверие к его беспристрастию. Тем не менее, когда он старается защитить своего любимого писателя от упреков в «ложном вкусе», он прибегает только к оправданиям. Вместо того чтобы доказывать, что Шекспир старался только верно изображать природные свойства каждого предмета в их самых мелких чертах и во всей их резкой особенности, Герстенберг довольствуется ссылкой на смягчающие вину обстоятельства, когда защищает Шекспира от обвинений в неверности костюмов, в изысканности выражений и т. д.; в заключение он ссылается на свой личный вкус — на то, что безыскусственная природа, которую изображает Шекспир, «нравится ему гораздо больше, чем так называемая изящная природа, которая, из опасения показаться слишком богатой или слишком бедной, выступает в золотых оковах». Панегирист Шекспира не в состоянии постоянно придерживаться той правильной точки зрения, которую он высказал при сравнении греческих драм с шекспировскими; он не в состоянии вполне выяснить эту точку зрения и провести ее до конца, не сбиваясь с дороги. Он сам не замечает того, что вместо греческого театра имеет в виду французский, — чем и объясняется, почему он при восторженном сознании величия Шекспира все-таки не умеет отбросить узкого воззрения на господствовавший в то время кодекс драматических правил. Он даже снова старается доказать, что у Шекспира вовсе не заметно недостатка в «драматическом искусстве» там, где оно оказывается нужным, и, сам того не сознавая, частью берет назад свои прежние похвальные отзывы, когда говорит, что в композиции «Ошибок» и «Виндзорских веселых женщин» автор хоть сколько-нибудь приблизился к совершенству древней драмы. В заключение он основательно относит шекспировские

истории к «самому необделанному разряду драматических произведений», но это не мешает ему утверждать, что произведения Шекспира представляют «нечто цельное», в котором «есть начало, середина и конец, есть внутренняя связь, есть цель, есть резкая противоположность между отдельными характерами и группами»¹.

Гораздо одностороннее, но вместе с тем несравненно яснее и последовательнее были те суждения о Шекспире, которые высказывал Лессинг в своей «Драматургии» и которые он уже ранее излагал в их главных чертах в «Письмах о литературе». Несколькими отрывочными намеками, несколькими незабвенными отзывами о том или другом из шекспировских произведений он выразил свое высокое уважение к гению великого британца. Он преклоняется перед этим гением так же, как преклонялся перед ним сотрудник «шлезвигских писем». Он, подобно Герстенбергу, противопоставляет дух шекспировских драм духу французского театра, но так, что когда он кладет на весы, с одной стороны, шекспировские произведения, а с другой — французские, то перевес всегда остается на стороне первых. Так, и по его мнению, «Ромео и Юлия» — «живое изображение» всех самых узких, самых потаенных путей, которыми любовь вкрадывается в наше сердце, а «Отелло» — такое же изображение ревности. Но ясность его ума не позволяет ему разделять мнение Герстенберга, что такое наглядное изображение человеческой природы есть нечто совершенно своеобразное и представляет резкую противоположность с возбуждением страстей, с воздействием на душу зрителя. Герстенберг усматривал такую противоположность вследствие того, что постоянно имел в виду французские трагедии и их подражания, заботившиеся лишь о впечатлении, которое они произведут на зрителя, лишь об эффектах и потрясающих сценах в ущерб естественности, — но он позабывал, что трагедия французская и трагедия греческая не одно и то же. Что эти два разряда трагедий не только не имели ничего общего между собой, но даже существенно отличались один от другого, выяснил Лессинг прежде всех и самым несомненным образом. Он решительно утверждал, что Шекспир — какими бы то ни было средствами, и какими бы то ни было новыми путями — достигает настоящей цели трагедии так же всецело, как Софокл или Эврипид. Так как он был верным последователем аристотелевской поэти-

¹ Статью Герстенберга можно найти в «Достопримечательностях» (второй сборник, письма 14—18).

ки, то он усматривал эту цель преимущественно в возбуждении и ярком изображении страха и сострадания, а потому слишком безусловно ставил Шекспира наряду с Софоклом, не обращая внимания на несходство в композиции произведений этих двух писателей. Он не делает ни малейшей попытки оправдывать оригинальную неправильность шекспировских пьес. Он видит в этой неправильности нечто «механическое» и не придает ей большого значения в сравнении с главной целью трагедии. Как практический руководитель на пути к улучшениям, как настоящий преобразователь он восстает только против лицемерного соблюдения той мнимой правильности, какую мы находим у Корнеля и у Вольтера, а с другой стороны, он предостерегает от ошибочного мнения, будто в несоблюдении никаких правил кроется тайна драматических эффектов и признак гениальности.

Гердер, как уже было ранее замечено, придерживается середины между мнениями Герстенберга и Лессинга. Он более сочувствует первому из них, потому что постоянно руководствуется в своих суждениях чувствами. Из писем Герстенберга — как сказано в более старых набросках той же статьи — он составил себе более ясное понятие о Шекспире, чем из многих сочинений, написанных об английском драматурге его соотечественниками. В этих письмах, говорит Гердер, виден человек, который «еще не испорчен критикой литературных правил, который не теряет из виду оставленных древними образцов, который был способен понимать у Шекспира всю ширину характеров, страстей, влечений, поэтических вымыслов и способов выражения и который старался все это понимать, применяясь к тому времени, когда жил Шекспир, к его народу и к его языку». Подобно Герстенбергу, и Гердер главным образом желает показать Шекспира таким, каков он на самом деле, — перечувствовать и объяснить содержание его произведений; а практическое намерение Герстенберга указать настоящий путь для нашей собственной драматической поэзии упоминается лишь слегка в виде желания и неопределенной надежды. Подобно Герстенбергу, Гердер желает изменить «точку зрения», с которой следует оценивать произведения Шекспира, а та точка зрения, которую он устанавливает, в сущности одинакова с герстенберговской. Обе более старые редакции этой статьи вовсе этого не скрывают; только в напечатанной статье Гердер откладывает в сторону мнения Герстенберга и с более высоким сознанием своего достоинства высказывает новое воззрение, которое намеревается подробно развить. И Гердер был до некоторой степени прав. Он впервые подробно объяснил различное

происхождение драмы греческой и английской и этим заложил прочную историческую основу для понимания, в чем заключается различие их содержания. Он впервые последовательно и стойко провел усвоенную им точку зрения, не сбиваясь, подобно Герстенбергу, с дороги. Он впервые отказался от всякой защиты и от всяких оправданий Шекспира и стал объяснять все своеобразности поэта своеобразным характером его произведений. Наконец он впервые объяснил оставленные у Герстенберга без разъяснения отношения греческой драмы к французской, а сделал он это благодаря своей исторической точке зрения и благодаря убеждению, что и театральная сцена постоянно проходила различные стадии своего развития; оттого-то он и был в состоянии указать тот пункт, в котором греческая драма сходится с германской. А его наставником был в этом случае Лессинг. Если бы его единомыслие с Лессингом уже не было доказано его ссылкой на этого писателя в напечатанном тексте рассматриваемой нами статьи, то о нем мог бы свидетельствовать текст предпоследней редакции, в котором Гердер цитирует принадлежащее драматургу «превосходное» объяснение аристотелевской теории, принимающей за основу драмы страх и сострадание. Если бы его единомыслие с Лессингом уже не было доказано неодобрительной характеристикой французского театра в путевом журнале, то мы нашли бы новое для него доказательство в появившейся почти одновременно с рассматриваемой нами статьей рецензии, которую Гердер написал для «Всеобщей Немецкой библиотеки»¹ на эшенбургский перевод брошюры о Шекспире; в этой рецензии Гердер говорит о Вольтере и о его оценке произведений Шекспира совершенно таким же насмешливым тоном, как Лессинг, а гамбургскому драматургу он воздает похвалу за то, что он возвысил свое порицание Корнеля «до самой определенной философии». Таким образом Гердер в сущности дополняет мнения Герстенберга мнениями Лессинга, когда признает основательность аристотелевской теории и указывает ее резкое отличие от мнимо аристотелевского кодекса; но он заходит далее Лессинга и до некоторой степени снова берет сторону Герстенберга, когда доказывает, что шекспировские пьесы представляют собой совершенно новый и своеобразный вид драмы и что их нельзя подчинять аристотелевским правилам иначе как с некоторыми оговорками. Но он заходит далее этих обоих писателей главным образом в том отношении, что переносит все свои суждения на историческую поч-

¹ См. выше, с. 570, прим.

ву, — между тем как Лессинг вовсе не придерживался такого взгляда и не имел ясного о нем понятия.

С самого начала статьи Гердер самым решительным образом вступает на этот путь историко-генетических исследований. Он применяет к области драмы те самые приемы, которые употреблял в «Отрывочных заметках» и в «Критических лесах» для исследования языка и всех литературных явлений. Драмы Софокла, говорит он, так же далеки от драм Шекспира, как небо от земли, — а это потому, что они имели совершенно различное происхождение. Греческая трагедия (а комедия совершенно откладывается в сторону) возникла из богослужебного хора, из дифирамба — чем и объясняются все ее своеобразности. И единство фабулы, и единство места и времени были для древних писателей естественными законами, истекавшими из сущности драмы; в особенности неосновательно мнение (это замечание, очевидно, направлено против Лессинга), будто древние упростили фабулу; напротив того, они должны были усложнить ее, для того чтобы создать из хорового пения драму. Но то, что было в то время естественным законом, теперь уже утратило этот характер; а так как писатели все-таки не переставали придерживаться внешних приемов древних драматургов, то отсюда и возникли те безжизненные подражания, те «кукольные театральные пьесы», которые отличаются мнимыми совершенствами, считаются образцовыми произведениями условного вкуса и встречаются у французских писателей, у Корнеля, Расина, Вольтера. Как все пошло бы иначе, если бы который-нибудь из новейших народов стал, вместо слепого подражания, создавать свою собственную драму согласно со своей натурой, со своими нравами, мнениями, традициями и любовными приключениями, подобно тому как греки создали свою драму из хора — хотя бы эта новая драма возникла из карнавальных представлений и из кукольной комедии! Именно так и поступили англичане. Пользуясь самыми разнородными материалами и подвергая их самой разнообразной обработке, гениально даровитый Шекспир сумел производить одинаковое с древними трагедиями впечатление, сумел возбуждать и страх, и сострадание, и создал вполне цельную драму. Поэтому, несмотря на несходство между произведениями Шекспира и Софокла, эти два писателя — родные братья (в этих словах слышится отзвук мнений Юнга¹). Софокл изображал, поучал,

¹ «Шекспир не потомок древних писателей, а их брат» (Юнг. Мысли об оригинальных произведениях. С. 67 перевода. 2-е изд.).

приводил в умиление и воспитывал греков, а Шекспир — северных жителей. Натура, настоящая человеческая натура служила для них обоих «содержанием, темой и руководством». Чтобы понять всю своеобразность произведений Шекспира, необходимо уяснить, в чем заключалось его отличие от Софокла. Гердер входит в подробные объяснения по этому предмету. Он говорит, что Шекспир не имел дела с таким же простодушным народным характером, с каким имели дело греческие сочинители драм: он создал нечто цельное из разнообразия сословий, образа жизни и т. д. Он не нашел в Англии простоты в ее истории, вымыслах и предприимчивости; напротив того, он нашел в ней историю всякого рода и из этих столь разнородных материалов создал удивительное целое, в котором видно не столько единство действия, сколько единство происшествия, великого события. Поэтому особенность его пьес заключается в том, что в них изображается в драматической форме история человечества. С неподражаемой меткостью Шекспир умел — скорее как творец, чем как поэт — соединять целый мир самых разнообразных явлений в одно происшествие; а чтобы описываемое происшествие носило на себе отпечаток истины, ему постоянно приходилось идеализировать место и время действия и этим способом достигать желаемого впечатления на зрителей. Софокл был всегда верен природе, так как он всегда описывал действие, происходившее в данном месте и в данное время; Шекспир мог быть верен природе только при том условии, чтобы его мировые факты и судьбы человечества относились «ко всем местам и временам, в которых они совершаются». Вслед за этим Гердер доказывает на примерах «Макбета», «Гамлета», «Отелло», как хорошо понимал Шекспир свою задачу, как он переносил каждое отдельное явление, каждый отдельный факт в их живую сферу, в надлежащее место и время и, таким образом достигая высшей естественности, производил самую сильную иллюзию; далее Гердер очень остроумно доказывает, что размер пространства и времени определяется содержанием идеи, и потому настоящий поэт имеет право заменять наружный размер времени идеальным.

Гердер так горячо вступался за достоинства Шекспира как драматурга Нового времени, так красноречиво превозносил его величие как поэта, с таким увлечением цитировал выдающиеся места в его драмах, что число поклонников английского поэта очень увеличилось и у многих явилось желание подражать ему.

Однако это не помешало одному знатоку истории литературы присовокупить к одобрению гердеровской статьи замечание,

что в этой статье есть один важный недостаток. Позабыв наставление Лессинга, что драма — не изложенная в форме диалога история, Гердер увлекся написанными Шекспиром в его юности пьесами из английской истории и смешал сущность драматического действия с сущностью эпического события — единство действия с единством действующего лица¹.

Едва ли можно согласиться с порицанием, высказанным в такой форме. Оно не подтверждается содержанием напечатанной статьи и окажется еще более шатким, если мы заглянем в более старые наброски той же статьи.

Прежде всего следует заметить, что Гердер имеет главным образом в виду не сцены из английской истории. Он ссылагается на «Лиру» и на «Отелло», на «Макбета» и на «Гамлета» только тогда, когда хочет уяснить свою точку зрения, а эти ссылки он делает только мимоходом и вкратце, даже когда ссылагается на те драмы, в которых являются действующими лицами Ричарды и Генрихи. Правда, он говорит в конце статьи, что каждая из шекспировских пьес заключает в себе «историю» — какое-нибудь геройское и государственное деяние, с помощью которого рисуется характеристика Средних веков»; но от ошибочного понимания слова «история» предохраняет нас как все остальное содержание статьи, так и следующая прибавка Гердера: «или цельный великий факт в мировом событии, в человеческой судьбе». Ведь Гердер постоянно придает главное значение полной драматической законченности и цельности. Великий британец восхищается его именно тем, что ввиду совершенно новых условий и совершенно новых сюжетов, он не хуже образцовых афинских драматургов умел удовлетворить аристотелевское требование единства драматической картины, вовсе не заботясь о возбуждении страха и сострадания. Понятию о действии, выражающему сущность греческой драмы, он, правда, противопоставляет понятие о происшествии, *événement*, но делает это только с целью выразить первым из этих слов несложность драматизированного содержания, а вторым — его разнообразие, запутанность и разнохарактерность. Каждая из шекспировских драм представляет, как он это неоднократно утверждает, драматический микрокосмос — отдельный мир, в котором все проникнуто одной мыслью. Он очень далек от желания заменить единство действия единством действующего лица; напротив того, он доказывает, что в цель-

¹ Гетнер. История немецкой литературы. Кн. третья, часть первая, в главе о Гердере.

ном изображении истории какой-нибудь страсти видно совокупное действие людей с самыми несходными характерами — как это видно и во всех всемирно-исторических событиях. Он доказывает это ссылкой на «Отелло»; он находит что «Король Лир» — настоящая драма именно потому, что здесь самые разнообразные условия, побуждения, характеры, положения приспособлены к цельной характеристике отца, детей, короля, шута, нищего. Когда Лессинг говорил, что трагедия не то же, что изложенная в форме диалога история, он только хотел этими словами яснее доказать, что поэту, заимствующему свой сюжет из истории, предстоит совершенно иная задача, чем добросовестное изложение исторических фактов в разговорной форме. А разве Гердер был другого мнения? Самую характеристическую особенность Шекспира он усматривал не в том, что Шекспир писал исторические драмы, а в том, что в его драмах выражался «дух» истории в самом высоком значении этого слова. Он признает за этими драмами не эпический, а историко-философский характер, когда усматривает в них «небольшой, слабый отблеск божественной справедливости». К сожалению, он прерывает свою статью именно на том пункте, где начинается главная суть всего исследования, где ему следовало бы объяснить, «благодаря каким искусным приемам творчества Шекспир мог создавать из плохих романсов, новелл и вымышленных историй такое полное жизни целое и какие законы исторического, философского, драматического творчества руководят каждым его шагом, каждым его искусным приемом». Этот пробел частью восполнен той припиской, которая предшествовала изложению напечатанной статьи. Действительно, в этой приписке Гердер попытался ответить на те важные вопросы. Здесь он укоряет «тучного Варбуртона» за его «учительские наставления» Шекспиру по поводу некоторых исторических неточностей и объясняет, что главная суть заключается не в исторической точности, не в том, что изображается, а в том, как изображается; далее Гердер настаивает на необходимости расследовать, «каким способом Шекспир все объясняет характером и складом ума, каким способом он ясно читает и описывает то, что происходит в человеческой душе, каким способом он так обрисовывает все сходные между собой и несходные обстоятельства, что читатель как будто сознает закон необходимости и может на основании предшествующих причин наверно предсказать, какова должна быть развязка. Шекспир как будто раскрывает перед нами книгу Провидения; на читателя как будто нисходит дар пророчества, так как внутренняя связь опи-

сываемых событий приводит его к убеждению, что ввиду существующих налицо причин никакая сила не в состоянии предупредить необходимую развязку. Разве можно быть недовольным такой манерой пользоваться историей и новеллами?» Гердер также нападает на автора неоднократно нами упомянутого английского очерка и настоятельно указывает как на заблуждение на мнение этого автора, будто Шекспир переносил на театральную сцену английскую историю в таком виде, что в ней нельзя было искать истины. Гердер так всецело сочувствовал высказанному Лессингом неодобрению «истории, облеченной в форму диалога», что считал совершенно излишним всякое новое выражение этого сочувствия. Он сводит свои мнения к тому положительному выводу, что Шекспир перенес на театральную сцену не просто историю, а драматическую историю; затем он высказывает серьезное намерение развить этот вывод и выяснить «законы исторического, философского и драматического искусства». Он доказывает, что при всякой попытке объяснить какое-либо событие теми причинами, которые его вызвали, в нашем уме происходит нечто вроде драматического представления, так как в этом случае мы отбрасываем несущественные обстоятельства, ясно представляем себе настоящие побудительные причины и мало-помалу составляем себе цельное понятие о случившемся. «То же делают виртуоз истории» глазами рассудка, а драматический писатель глазами фантазии. Изображать прошлые события так, чтобы они представлялись неизбежным последствием действующих причин и таким способом вызывать иллюзию, нам всего легче тогда, когда мы изображаем нашу собственную жизнь, так как в этом случае мы считаем себя способными на все давать ясный ответ. То же делает и драматург, но его задача труднее. Ведь ему нужно «сделать из истории диалог, обрисовать в диалогах характеры, из цельных характеров создать действие, а из действия создать драматическое представление». Однако все это было сделано Шекспиром; поэтому тот историк, который сумеет как следует пользоваться его произведениями, постарается заимствовать от него многие искусные приемы и научиться у него, как следует обрисовывать данное положение, как создавать и проводить характеры, как изображать людей в действии. Таково искусство великого английского драматурга и таков закон, которым он руководствовался; но мы не придаем сколько-нибудь важного значения вопросу, действительно ли он «не раз переносил на театральную сцену такие события, которые составляют принадлежность истории, а не театра, и действительно ли он не в меру

потакал готическим вкусам своего времени, выводя на сцену шумливых рыцарей», — для нас достаточно того вывода, что Шекспир, «изображая исторические события, достигал самой сильной театральной иллюзии».

Разве в этих положениях не высказано то же, что думал Аристотель, когда находил, что в трагедии больше философии, чем в истории? Разве здесь оставляются без внимания существенные особенности драматического стиля и разве они смешиваются с особенностями стиля эпического? Здесь Гердер еще подробнее, чем по прошествии тридцати лет в «Адрастее», высказал свое убеждение, что задача настоящей трагедии, как шекспировской, так и греческой, заключается в изложении такой фабулы из человеческой жизни, в которой страсти изображаются продуктом человеческого характера. И в «Адрастее» он устанавливал различие между греческими трагиками как такими поэтами, которые описывали своих героев, и английским трагиком как таким поэтом, который описывал мировые явления, — разница только в том, что в «Адрастее» центральным пунктом для его изложения служили понятия о судьбе и очищающее влияние трагедии, а здесь таким пунктом служили различные размеры сюжета. Позднейшие суждения Гердера не противоречили его прежним суждениям, а развивали их далее и дополняли.

В «рапсодии» «Летучих листков», конечно, есть немало пробелов. В ней нет решительного мнения о том, в чем должно заключаться драматизирование истории и каким способом поэт может достигать цельности впечатления. Сам Гердер очень неудовлетворительно исполняет то требование, с которым обращался как рецензент в «Allgemeine Bibliothek» к авторам английских очерков, — требование указать не только красоты в произведениях Шекспира, но и способ, которым они созданы. Дело в том, что Гердера нельзя обвинять в указании неверного закона для драматической композиции — его можно обвинять в том, что он не указывает никакого закона. То не было простой случайностью, что он прервал свою статью именно на том пункте, с которого начиналась «главная сущность исследования». Он вовсе не драматург. Ему, правда, удастся обрисовать широкими штрихами историческую конструкцию «северной» драмы в отличие от древней и от французской; ему удастся так глубоко прочувствовать некоторые существенные особенности шекспировской поэзии, что он в состоянии формулировать их и ясно описать, — но великий поэт все-таки скрывает от его глаз великого драматурга. Он углубляется в чудеса творческой гениальности Шекспира; он

восхищается умением Шекспира производить «иллюзию» и очаровывать нас изображением «живого мира во всей его документальной точности». Но он до такой степени восхищается Шекспиром, что уже не в силах разбирать по косточкам его произведения, не в силах уловить мастерские приемы его творчества, его художественную мудрость, тайны его композиции, его драматическую технику. Даже тогда, когда он прокрадывается в мастерскую, где Шекспир занимался творчеством, он делает это под влиянием чувства и только для того, чтобы снова говорить о впечатлении, которое производит поэт, перенося факты и положения из одного места в другое, из одной эпохи в другую. Подобно Герстенбергу, он находит, что драмы Шекспира — живые, движущиеся картины, в которых художник умел превосходно изобразить свет и тени, тон и цвета. Он не смешивал эти произведения с эпическими композициями, а смотрел на них почти как на лирические стихотворения. Его главная сила заключается в способности сочувствовать всем лирическим мотивам. Он восклицает, как будто после чтения оды: «Если бы я мог найти слова для выражения того главного чувства, которое господствует в каждой драме и всю ее наполняет!» Еще одно обстоятельство было причиной такого воззрения. Французские драмы он видел исполненными на французской сцене, а с драмами Шекспира он был знаком только из книг. Поэтому театральная сцена представлялась его воображению не иначе как с натянутой высокопарностью и благопристойной декламацией французских пьес. Французская сцена со своей «балаганной обстановкой», среди которой «произносятся благопристойные диалоги», заставляла его относиться с пренебрежением к сценическим представлениям. «Когда я читаю Шекспира, — говорил он, — для меня не существуют ни театр, ни актеры, ни кулисы». Он полагал, что лучше поймет шекспировские драмы, если будет их читать, чем если бы видел их в исполнении Гаррика. Но он заблуждался: ведь именно в театре возникли эти «театральные картины», каждая из которых представляла полный жизни особый мир, а Шекспир умел в таком совершенстве производить «иллюзию» именно потому, что был в одно и то же время и поэтом, и актером, потому что он был воспитанником театральной сцены. Когда Гёте не заботился в своем «Гёце» о какой-либо внутренней связи между описываемыми явлениями, довольствуясь тем, что в них выступало на сцену одно и то же действующее лицо, то он этим доказывал, что неверно понял наставления Гердера; когда он драматизировал историю рыцаря железной руки,

совершенно теряя из виду театральную сцену, то в этом следует винить, без сомнения, не кого другого, как его страсбургского наставника.

Тем, что Гердер обращал особое внимание на лирические моменты в произведениях Шекспира, объясняется его старание собирать разбросанные в этих произведениях песни. Таким образом, драмы Шекспира представлялись ему в самой тесной связи с поэзией баллад и народных песен, а потому и статье о Шекспире было отведено место рядом с письмами об «Оссиане и о песнях древних народов».

Об Оссиане! Поистине странно, что эта поэтическая маска должна была служить исходным пунктом для суждений Гердера о духе и достоинстве древней народной поэзии. Теперь уже всем известно, что те песни Фингалова сына, будто бы жившего в III столетии после Р. Х., вовсе не так стары и вовсе не подлинные произведения народной поэзии, а плод очень талантливой и искусной мистификации, — что они написаны Макферсоном. Но в настоящем случае это не имеет значения; хотя Гердер и был вовлечен в такое же заблуждение, какое было в то время всеобщим в Германии, все-таки эти поддельные песни оказали ему такую же услугу, какую могли бы оказать настоящие. Его заблуждение не было полным, когда ему слышались в макферсоновском «Оссиане» такие же отголоски натурального и искреннего чувства, какими он восхищался, читая Гомера и Иова, Шекспира и народные песни. Какое ему было дело до того, что Макферсон был искусным подделывателем; ведь этот подделыватель так хорошо умел пользоваться старинными ирскими песнями и шотландскими сагами, что сумел придать наружный вид подлинности своему несколько монотонному выражению возвышенных чувств и характеристических душевных впечатлений; все-таки он имел более права называться настоящим поэтом, чем те бездушные сочинители стихов, которые, подражая классическим образцам по всем правилам искусства, тщетно старались вложить в свои произведения природную свежесть и жизненную теплоту. Эта оссиановская поэзия бардов была лишь поэзией душевного настроения; в ней господствовал сентиментальный тон, похожий на тон некоторых новейших произведений. Но и это не могло отталкивать Гердера; напротив того, благодаря своей сентиментальности, оссиановская поэзия была более всякой другой способна, подобно музыке, возбуждать в иссохшем сердце влечение к той настоящей поэзии, источником для которой служит чувство. Такую услугу оказал «Оссиан» всему тогдашнему поколе-

нию; такую же роль играет он и в статье Гердера. Он служит, с одной стороны, не более как подкладкой для целого ряда других менее двусмысленных поэтических произведений. Тон этой поэзии, полный, по словам Гердера, «возвышенности, невинности, простоты, оживления и человеческого благополучия», дал ему возможность объяснить его современникам, как много настоящей простоты и безыскусственности в поэтических произведениях народного духа.

И целым поколением позже, в написанной для журнала «*Horen*» статье о Гомере и Оссиане, и в конце своей жизни, в написанной в 1803 г. «*Адрастее*», Гердер говорит о приятном изумлении, которое возбуждало в нем в 1761—1765 гг. появление Оссиана¹. Германия впервые познакомилась с Оссианом по двум изданным в 1764 г. в Гамбурге переводам в прозе некоторых отрывков в этой поэзии; в это время Гердер кончал университетский курс в Кёнигсберге, а проект истории лирических песнопений стоял у него на первом плане. На Оссиана он стал ссылаться в «Отрывочных заметках» в укор тем, кто не признавал никаких других образцовых произведений, кроме греческих и римских; имя Оссиана он стал ставить наряду с именами Гомера и Шекспира, когда хотел назвать самых великих поэтических гениев²; указывая на Оссиана, он нападал в «Критических лесах» как на чрезмерную склонность Лессинга подражать тону греческих писателей, так и на бестолковые похвалы, которыми Клотц осыпал Гомера³; он так твердо верил в неподдельность поэзии Оссиана, что его не могли поколебать высказывавшиеся в Ирландии сомнения касательно древности и подлинности макферсоновского издания⁴. В 1768 г. появился первый том Оссиана в переводе Дениса; тогда Гердер в первый раз подробно высказал свое мнение о вновь открытом древнем певце в рецензии, написанной для «Библиотеки» Николаи⁵. Он был вполне основательно недоволен тем, что переводчик, употребляя гексаметры, придавал произведениям северного барда внешний вид произведений Гомера; по

¹ Horen. 1795. Т. 4. № 10. С. 87; Адрастее. V, 2, 340 и сл.

² Отрывочные заметки. III, 135; 146; Рецензия на «*Briefe zur Billung des Geschmacks*» в A. D. B. VII, 2, 149 (LB. I, 3, в, 66 и SWS. IV, 284).

³ Критический лесок. I, 38 и сл., 226, 228; II, 18.

⁴ Рецензия гамбургских бесед в Кёнигсбергской газете 1767, № 98 от 7 декабря (SWS. IV, 231); сравн. более поздние отзывы в «*Horen*» и в «*Адрастее*» (Там же).

⁵ Allgemeine Deutsche Bibliothek. X, I, 63 и сл.; LB. I, 3, в, 119 и сл.; SWS. IV, 320 и сл.

его мнению, переводчик должен бы был изучить размер строф и стихотворный размер скальдов и переводить вольным клопштоковским размером. В виде пробы он сам перевел таким размером несколько отрывков из Оссиана; и то не было простой случайностью, что эти опыты перевода встречаются в статье о песнях Моисея касательно сотворения мира¹: увлечение оссиановской поэзией совпадало с его влечением к древней еврейской поэзии.

В статье, написанной в 1771 г., снова идет речь о том же, о чем шла речь в рецензии 1769 г. Теперь находились в руках нашего критика второй и третий тома перевода Дениса, английский текст и изданный Макферсоном мнимый первоначальный гальский текст². Впечатления, которые вынес Гердер из своего морского путешествия и из своих «мрачных приключений», еще усилили его влечение к Оссиану; в Нанте он в первый раз прочел подробное извлечение из статьи Блэра об Оссиане³; в то время как болезнь заставляла его жить в Страсбурге без всяких обязательных занятий, он переводил то тот, то другой отрывок из Оссиана и наслаждался элегическим тоном и этих стихотворений, и других, сходных с ними по направлению; в начале своего пребывания в Бюкебурге, внутри своей уединенной «кельтской хижины», он увлекался Оссианом еще сильнее прежнего⁴; тогда он был в таком расположении духа, что был в состоянии изложить на бумаге все, что у него лежало на сердце касательно этой темы.

Он снова возвращается к неудовлетворительному переводу Оссиана тем бардом, который жил на берегах Дуная. Эти критические замечания он потом высказал более подробно в той рецензии для «Библиотеки» Николаи, которая была продолжением прежней рецензии⁵. Здесь, «в извлечении из одной переписки», он старается прежде всего установить новую и, по его убеждению, единственно правильную точку зрения, с которой следует оценивать произведения Оссиана, — точно так же, как он старался установить такую точку зрения для оценки произведений Шекспира. По его мнению, Оссиан вовсе не эпический поэт; его стихотворения — «песни, народные песни, песни необразованного

¹ LB. I, 3, а, 441.

² Николай прислал ему в 1770 г. в Амстердам два тома перевода Дениса (LB. II, 152). Кроме того, сравн. письма Гёте к Гердеру (№ 4), Гердера к Мерку (Vagner. I, 27, 28).

³ LB. II, 36 и 62 (в первом месте, конечно, следует читать *persische*, а не *er-sische*); ранее Гердер был знаком с произведением Блэра не вполне — только по извлечению; см. рецензию гамбургских бесед.

⁴ Сравн. письма к Каролине (напр.: *Dünßer A*, III, 51, 53, 96, 125, 128).

⁵ Там же. XVII, 2, 437 и сл. Она снова напечатана в SWS. V.

и преданного чувственности народа». Установив эту точку зрения, Гердер приступает к характеристике всего разряда подобных поэтических произведений. Он иногда снова возвращается к стихотворениям Оссиана, только для того чтобы указать в них своеобразные черты такой поэзии.

Эта характеристика не отличается ни всесторонностью, ни последовательностью. Она состоит из разных объяснительных примеров, из разных образчиков иностранной и отечественной народной поэзии. Как будто из желания подражать живости и отрывочности, безыскусственности и импровизации тех стихотворений, о которых идет речь, статья беспрестанно обрывается; но потом она снова возвращается к прежней нити идей и как бы в виде припева повторяет одни и те же основные положения. Гердер, по своему обыкновению, вероятно, переделывал некоторые из этих небольших отрывочных заметок, которые он выдает за письма, — вероятно, намекая на то, что адресует эти письма к Мерку; но вся статья не подвергалась такой же неоднократной переделке, как более последовательно изложенная статья о Шекспире. Это — по его собственному выражению — «легкие наброски». Он совершенно прав, когда в своей «приписке» предупреждает, что эта небрежная «болтовня» не может и не должна служить образцом для тех, кто захотел бы писать о том же предмете. Однако никакое искусство и никакое старание не могли бы приискать более выгодной формы для произведения того впечатления, которого желал Гердер.

При всем своем умении владеть языком и стихом, говорит Гердер, Денис — плохой переводчик Оссиана, потому что не умеет попадать в тон оригинала. Невозможно хуже его переводить народные песни. Ведь в таких песнях выражение внутренних ощущений и внутреннего смысла имеет определенную форму, особый тон и мелодию. Еще Блэр пытался доказать, что древние кельты вовсе не были варварским народом, — но его доводы только доказывали, как была поверхностна его собственная культура. Гораздо более верно замечание Гердера, что поэзия может существовать при отсутствии всякой культуры. Он высказывает об этом предмете, в духе Гамана, такие же суждения, какие, например, высказывал касательно древней религиозной поэзии, когда разбирал песнь Моисея о сотворении мира. «Дикий» народ, по его мнению, есть народ, полный жизни и свободный. Поэтому чем больше он дик, тем больше жизни, вольности, чувственности, лиризма в его народных песнях. И необыкновенное впечатление, которое производят эти песни, и тот факт, что они не позабывались в течение многих столетий, следует приписать

живости напева, его размеру, похожему на аккомпанемент танца, наглядности образов, внутренней цельности содержания, как бы непреодолимой потребности высказать чувства, симметрии слов и слогов и плавности мелодии. В доказательство этих мнений Гердер ссылается на ритм в песнях скальдов, который действует непосредственно на слух и как будто служит указанием такта в танцах. Он ссылается на сходство оссиановских песен с песнями североамериканских дикарей, у которых пение так же живо, мелодично и сопровождается пантомимой. Как бы в доказательство того, что он имеет право судить о духе, который преобладает в песнях Оссиана, он ссылается на впечатления, которые вынес из своего морского путешествия, и на то, что, живя в Лифляндии среди латышей и эстонцев, он имел случай познакомиться с остатками таких старинных диких песен и танцев. В заключение он приводит несколько образчиков перуанских стихотворений в более или менее верном подражании.

От тона и ритма, т. е. от тех музыкальных свойств, которые всего выше ценит критик, одаренный тонким слухом Гердер переходит к драматическому движению, которым отличались старинные песни. Он неоднократно повторяет, что в этих песнях беспрестанно делаются скачки от одного предмета к другому, и, стараясь доказать это мнение на самых разнообразных примерах, он прибегает к психологическим объяснениям. Он говорит, что это свойство песен объясняется юношеской фантазией, которая еще не знакома с отвлеченными понятиями и потому еще не утратила своей первоначальной силы. Для всех песен таких диких народов служат сюжетом выдающиеся предметы, действия, происшествия, которые берутся прямо из жизни и выражаются в такой же чувственной форме, в какой они представляются нашим взорам. По этому поводу Гердер указывает на противоположность между этой юношеской поэзией и поэзией нашего времени — между натуральной поэзией и поэзией искусственной. Он снова высказывает те же замечания, которые уже были им высказаны в «Отрывочных заметках», но на этот раз придает им больше резкости и определенности. Поэты старого времени, говорит он, умели лучше всяких других соединять достоинство, благозвучие и изящество с той определенностью выражения, которая свойственна полным юношеским сил детям природы. Оттого-то «рапсодии Гомера и песни Оссиана были чем-то вроде импровизаций»; но тот природный дар, о котором выше шла речь, стал мало-помалу слабеть; наконец «явилось искусство, а натура заглохла». Тогда все стало отзываться «неестественно-

стью, слабостью и искусственностью». «Поэзия сделалась из самого бурного и самого верного выражения человеческих чувств чем-то неопределенным, вялым и нерешительным; стихотворения сделались предметом ребяческих и школьных упражнений».

«Летучие листки», в которых была помещена эта статья, носили заглавие «О немецкой жизни и искусстве». Автор переходит в заключение к нашим отечественным народным песням и этим придает своей статье практическое направление. Старинная любовная песня, старинная немецкая басня и «детская песня» (здесь автор разумел не что иное, как песню о выросшем на лугу розанчике) приводятся в виде образчиков и подкрепляют то требование следовать примеру англичанина Перси, которое уже высказал Распе, извещающая в «Библиотеке» Вейссе о выходе в свет «Reliques». И у нас, говорит Гердер, немало таких «народных, провинциальных и крестьянских песен». А кто же собирает их во всех немецких провинциях «на больших дорогах, на городских улицах и на рыбных рынках в то время, как поселяне распевают их хором?»

В самом конце статьи Гердер жалуется на пошлый и грубый тон, который стали придавать в Германии поэзии романсов, первоначально отличавшейся благородством и торжественностью. Он говорит, что из этого рода поэзии можно бы было сделать другое употребление — можно бы было с помощью его «несколько упростить» нашу лирику, приучить ее «к выбору более простых сюжетов и к более благородному изложению, одним словом, избавить нас от многих искусственных украшений, употребление которых уже сделалось почти обязательным». «Если я не ошибаюсь, — говорит в заключение автор, — то лучшие лирические стихотворения, какие появились у нас теперь и уже давно появлялись, отличаются именно таким мужественным энергическим немецким тоном или приближаются к нему. А разве нельзя ожидать появления новых стихотворений в том же роде?»

Итак, Гердер снова заводит речь — как это видно из переписки с его невестой — о внутренней связи между старинными песнями и теми немногими новейшими стихотворениями, которые были, по его мнению, «верными выражениями чувства и глубины души». В этом-то в сущности и заключается цель его ссылок на народную поэзию. Не из любви к древностям, не с ученой целью, а под влиянием естественных, инстинктивных влечений он раскрывал сокровищницу, в которой хранилось так много образчиков настоящей первобытной поэзии.

Нас не должен удивлять тот факт, что, высказывая приведенные мнения, Гердер впадал в некоторые заблуждения, что его

оценка и некоторых старинных, и некоторых новейших произведений поэзии неверна. Точно такую же неточность мы уже заметили в его сопоставлении древних писателей с новыми в «Отрывочных заметках». Хотя он и вполне основательно противопоставлял живые естественные отголоски поэтического чувства «безжизненному складыванию стихов», но сам он все-таки подчинялся духу своего времени. Он не впадал в заблуждение Блэра, старавшегося отыскать у Оссиана соблюдение аристотелевских правил; но в нем сказывались только зачатки более возвышенных поэтических стремлений, и он не был в состоянии с безусловной верностью отличить настоящую поэзию от искусственной, непритворную наивность от фальшивой. Только такой мощный поэтический гений, каким был Гёте, был в состоянии совершенно избавить нас от искусственной поэзии. Но путь к этому улучшению был указан Гердером. Наряду с проповедованием самых радикальных правил для натуральной поэзии, наряду с самым резким порицанием натянутости в современных произведениях поэзии, он установил такую точку зрения для своей критики, которая позволяла ему считать и современных писателей представителями общего всем народам поэтического вдохновения. Признаками настоящей поэзии он считает твердость и правдивость, живость и точность. Но гении бывают различных родов. Одни лишь изливают то, что им внушает мгновенно заговорившее в них чувство, — таков гений Клопштока, Глейма, Якоби. Другие, как например Мильтон, Галлер, Клейст, Лессинг, выражают в минуту вдохновения то, что они прежде долго и глубоко обдумывали. Наконец, в третьем разряде соединяются два первых; к нему принадлежат Рамлер, Виланд, Герстенберг, примеру которых в некоторой мере следуют все счастливо одаренные натуры. Однако между этими поэтами, которых наш критик не считал за мгновенно гаснущие, падающие звезды, за «скало-спелых стихотворцев», был один, который стоял в его мнении выше всех остальных. Подобно тому как он грубо заблуждался, принимая новейшие поэтические произведения Макферсона за настоящие старинные народные песни, достойные стать наряду с произведениями Гомера, он заблуждался и в своих чрезмерных похвалах поэтическим дарованиям Клопштока. Его статья об Оссиане начинается первым из этих заблуждений и кончается вторым; но оба они проистекают из одного источника — из влечения автора ко всему, в чем выражается музыкальность поэзии, из влечения к чрезмерной чувствительности, к пластическому изображению душевной скорби и страстей.

Действительно, в рассматриваемой нами статье Гердер постоянно возвращается к произведениям Клопштока. В «*Hermans-schlacht*» критик усматривает настоящий тон бардов, во всех новейших стихотворениях поэта он находит такие же драматические диалоги, такие же меткие выражения, какие он восхвалял в песнях диких народов. За такие живые скачки меткие обороты речи он ставит песни Клопштока наряду с церковными песнями Лютера. Впрочем, он хвалит их не безусловно; он находит, что они не всегда похожи на настоящие народные песни, потому что в них нередко обрисовываются такие тонкие оттенки чувств, которые может уловить только очень развитой читатель; несмотря на это, он находит, что самые смелые из этих песен производят более сильное впечатление и более легко удерживаются в памяти, чем те дюжинные песни, в которых излагаются сухие поучения и не пропускается ни одна из побочных мыслей.

После того Гердер говорил о Клопштоке как о лирическом поэте, всего подробнее в рецензии его од, написанной для «*Allgemeine Deutsche Bibliothek*»¹. Если мы примем в соображение все другие случайные и устные отзывы критика о великом сочинителе од, то нам придется сознаться, что ни одна из слабых сторон поэзии Клопштока не ускользнула от его внимания. Он находит, что эта поэзия слишком духовна, слишком нежна и похожа на «отголосок колокольного звона». В то же время рецензия почти одобряет высказанный Лессингом упрек, что некоторые из стихотворений Клопштока не что иное, как «вспышки фантазии»; к этому упреку рецензия присовокупляет, что в некоторых других стихотворениях Клопштока идет речь о таких предметах, которые вовсе не годятся в сюжеты для од. Рецензент ясно дает понять, что он не разделяет мнений поэта касательно употребления старинной германской мифологии и касательно храбрых подвигов Херуска Германна, а в другом месте² говорит о «призрачном отечестве», которое создавал для себя поэт. Так же подробно и метко высказывает автор рецензии свое мнение о клопштоковской метрике. Трудно себе представить более компетентного критика. Хотя Гердер и хвалился тем, что умел мастерски читать оды Клопштока³ в кружке благоговейных слушателей, однако он

¹ Там же. 1773. Т. XIX, I, 109 и сл.; SW в отделе литературы. XX, 305 и сл. Эта рецензия должна быть помещена в издании Суфана в 5-м томе. Гердер послал ее к Николаи 23 ноября 1772 г. (*Dünßer C*, I, 340).

² К Каролине (*Dünßer A*, III, 141); сравн. письмо Гердера к Мерку (*Вагнер*. I, 26), к Бойе (*Вейнгольд*. С. 169).

³ К Каролине (A, III, 142).

не одобрял искусственности некоторых стихотворных размеров, придуманных поэтом. Он высказывал, бесспорно, основательную мысль, когда говорил, что здесь идет речь только о чувственных впечатлениях, а потому невозможно делать до бесконечности новые изобретения и вновь придуманный размер сводится на упрощенный греческий. Таковы недостатки, замеченные критиком в клопштоковской лирике; но он указывает на них с большой сдержанностью и как бы мимоходом — а как, наоборот, полны воодушевления расточаемые Клопштоку похвалы! Как настойчиво хвалит Гердер оригинальность поэта и уклоняется от необходимости подводить его произведения под установленные для од правила; как решительно он признает за поэтом право выбирать свои сюжеты и излагать их, руководствуясь единственно указаниями своей фантазии; как безусловно он требует, чтобы всякий, кто приступает к чтению од Клопштока, заранее сочувствовал поэту; как сильно он выражает свое собственное сочувствие к тем естественным чувствам, которые изливаются в этих стихотворениях из полноты сердца, из вполне раскрывающейся перед читателем благородной души; наконец, как тонко он замечает, что в каждой из песен Клопштока есть особый дух, особая окраска, особый тон и привлекательность, которые можно найти в мельчайших особенностях стихотворного размера и в мастерски приспособленном к этому размеру языке!

Однако Гердер еще более безусловно и более горячо восхвалял великого лирического поэта в том прибавлении к статье об Оссиане, которое было написано ранее этой рецензии. Когда ему попал в руки первый сборник од, изданный по почину самого Клопштока, он пришел в неописанный восторг. В ту минуту он перестал думать об Оссиане и о народных песнях и стал восхвалять только Клопштока. В своей статье он только мимоходом указывал на некоторые новейшие поэтические произведения, которые, по его мнению, несколько подходили к характеру настоящей натуральной лирики, и лишь высказывал свои надежды на будущее, даже когда заводил речь о стихотворениях Клопштока. А теперь его поразило удивлением богатство содержания в новом сборнике. Он совершенно изменил свой прежний взгляд. В этом сборнике он нашел ту настоящую немецкую лирику, которая ранее того, по его мнению, только зарождалась. Все желания и ожидания, которые он выражал в своих критических статьях, оказались теперь осуществившимися. Гений Клопштока совершил то, чего не могла бы добиться никакая критика. Стихотворения Клопштока — полные гармонии отголоски цветущей

юности, отголоски сердца, не подчиняющиеся никаким установленным правилам, не подражающие никаким иностранным образцам; это не искусственно задуманные, бессодержательные картины — не картины Рембрандта, а картины Гвидо, Корреджо или Рафаэля; а мимоходом упомянув неодобрительно о кантатах Рамлера, критик в избытке своего восторга выражает надежду, что стихотворения Клопштока окажут влияние даже на музыку и что поэзия и музыка достигнут совершенства, взаимно действуя одна на другую.

В конце статьи о Шекспире Гердер говорит о «Гёце» юного Гёте, как о многообещающем начале литературной деятельности, как о попытке создать новую немецкую драму; а в прибавлении к статье о народных песнях он говорит об одах Клопштока как о такой настоящей немецкой лирике, которая уже достигла своего высшего совершенства!

Автор «Гёца» принял со свойственной начинающим писателям скромностью благословение своего друга, который, сверх того, высказал заочно свое мнение о недостатках «Гёца», указав, как и в чем «оказалось вредным влияние Шекспира». Автор «Мессиады» принял поднесенный ему венок с таким чувством самодовольства, которое устранило всякую мысль о возможности чему-либо научиться от других; он с безусловной преданностью преклонился перед Гердером, «обладавшим такой сильной поэтической восприимчивостью» и вместе с тем выразил свое удивление по поводу того, что критик не хотел признать и «Hermannsschlacht» за образцовое драматическое произведение¹.

Возложенный на главу Клопштока венок был во многих отношениях вполне заслуженным, главным образом потому, что никто не был более Клопштока достоин такого венка. Хотя сыпавшиеся на него похвалы и были слишком безусловны, хотя его оды не вполне удовлетворяли те требования, которые были предъявлены к настоящей лирике автором статьи «О песнях древних народов», хотя они по меньшей мере не удовлетворяли требования наглядности и картинности, все-таки воззрения Гердера указывали на более широкую цель, чем та, которая была достигнута Клопштоком и послужили стимулом для юного поколения. Статья Гердера помогла Бюргеру — уже ранее того познакомившемуся с содержанием «Reliques» Перси — составить себе

¹ Гёте к Гердеру (№ 7 и 6); Клопшток к Гердеру от 5 мая 1773 г. (*Dünßer A*, I, 202; у Лаппенберга письма от Клопштока и к Клопштоку, с. 249). Письмо Клопштока было ответом не на рецензию од, помещенную в *A. D. B.* (как это думает Дюнцер), а на «Листки о немецкой жизни и искусстве».

более ясное понятие о характере народных эпико-лирических песнопений, а при содействии гётевского «Гёца» она до такой степени расшевелила его честолюбие и воспламенила его фантазию, что вызвала появление «Леноры». «Листки о немецкой жизни и искусстве» не то чтобы вызвали появление бюргеровских баллад, а, скорее, поощрили поэта к работе и послужили для него руководством; а когда Бюргер попытался в «Сердечных излияниях о народной поэзии» отдать себе отчет в своих стремлениях, он лишь высказал на своем собственном языке те же положения, которые были за три года перед тем развиты в статье Гердера¹. Если бы эта статья была написана несколькими годами позже, к ней пришлось бы делать второе прибавление. Она должна бы была возложить другой, и еще более изящный, венок на автора «Гёца» как на самого настоящего лирического стихотворца, достигшего совершенства в сочинении лирических песнопений. Гётевская лирика стояла выше произведений Оссиана и Клопштока. Еще в то время, когда юный Гёте собирал, странствуя по Эльзасу, народные песни для своего высокочтимого наставника, из-под его собственного пера изливались такие народные, безыскусственно задушевные и благозвучные песни, каких повсюду искал Гердер и какие в простительном ослеплении воображал, что нашел у Клопштока. Автору переписки «О песнях древних народов» было суждено только отыскать источник народных песен, сделать его доступным для всех и по временам черпать из него усадительный напиток; но Гёте ближе склонился к этому источнику, стал жадно черпать из него здоровье, энергию и красоту и не только сделался истолкователем свойств настоящей лирики, а также воссоздал ее своим самостоятельным творчеством.

¹ Бюргер к Бойе 18 июня 1773 г.; Бойе к Бюргеру 28 июня; Бюргер к Бойе 8 июля 1773 г. (*Штродтман*. Письма от Бюргера и к Бюргеру. I, 122, 128, 130) «Сердечные излияния» Бюргера из «Немецкого музея» 1776 г. (*Вольф*, с. 319 и сл.). Далее будет идти речь о благоприятном отзыве, который был высказан Гердером о Бюргере в статье «Сходство между английской и немецкой поэзией».

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

**ОТШЕЛЬНИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В БЮКЕБУРГЕ**

ДВА ГОДА ОДИНОЧЕСТВА

В то время, как Гердер был занят своей глазной операцией, он получил из Бюкебурга ответ на свое письмо от 16 октября 1770 г., в котором изъявлял готовность принять предложенную ему там должность и извещал о своем скором приезде; вместе с ответом он получил и деньги на дорогу, о которых сам просил¹. Но он нашелся вынужденным написать 15 января 1771 г. в Бюкебург, что положение его глаза все еще не позволяет ему пуститься в путь. Бюкебургский двор оказывал ему самую любезную предупредительность даже в том, что касалось его денежных затруднений; только после того как он снова известил о своем приезде в конце февраля, а вслед за тем от него не получалось никаких известий в течение семи недель, Вестфельд написал ему несколько резкое письмо, в котором выражал вполне понятное беспокойство².

Беспокойство в Бюкебурге было бы еще более сильно, если бы там узнали, что приглашенный тем временем позволил себе по меньшей мере интересоваться иными проектами.

В половине марта он получил из Дармштадта предложение занять должность профессора теологии в Гиссене и таким образом сделаться сотоварищем знаменитого Бардта; но он не принял этого предложения «по многим причинам». Его нисколько не привлекала университетская сфера. Прежде чем занять ту должность, ему пришлось бы предварительно держать экзамен на доктора теологии. При его щекотливом самолюбии, предложение казалось ему чем-то вроде милостыни³.

¹ Письма Вестфельда и графа Вильгельма; оба от 30 октября (LB. 111, 253 и сл.).

² Письма Вестфельда от 10 февраля, 7 марта и 13 апреля 1771 г. (Там же. 334, 359, 375).

³ Гессе к Гердеру 9 марта 1771 г. (LB. III, 351); Гердер к Каролине (Там же. 355); № 3 писем к Рингу, относящихся к последним дням пребывания Гердера в Страсбурге; к Гарткноху в августе 1771 г. (в одном месте, выпущенном у Дюнцера — С, II, 18). Об этом приглашении в Гиссен упоминается и в письме

Однако уже в течение нескольких месяцев он обращал свои взоры на ту страну, куда его всего сильнее влекли его воспоминания и тайные желания. Около половины ноября он получил от Гарткноха известие о смерти рижского генерал-суперинтенданта вместе с намеком на то, что живи он в Риге, ему непременно досталась бы открывшаяся вакансия. Лишь за несколько недель перед тем он окончательно принял бюкебургскую должность; поэтому предостережение его друга «покуда не принимать никаких предложений» оказалось запоздавшим. С другой стороны, он сам должен был бы сознаться, что, ввиду его молодости и еще непрочной установившейся репутации ученого, он не мог рассчитывать на такую высокую духовную должность, как должность лифляндского епископа. Однако именно эта должность была «конечной целью его странствий по лифляндским хижинам»; если бы он не попал теперь на открывшуюся вакансию, то на нее, по всему вероятно, назначили бы кого-нибудь другого, под чьим начальством ему не позволило бы служить его самолюбие, да и доступ к должности ректора лица, которую ему постоянно обещали, был бы для него окончательно закрыт. Что же оставалось делать? Полученное от Гарткноха известие совершенно сбило его с толку и вместе с тем сильно раздражило его. Больной, прикованный к одному месту, и увлекавшийся самыми противоположными желаниями, Гердер не имел духа разом отказаться и от заманчивой вакансии, и от надежды получить какую-либо другую должность в Лифляндии. Он нерешительно и без твердой надежды на успех избрал такой дипломатический образ действий, который был вдвойне негоден — и потому что он не был прямодушен, и потому что он не мог привести к желаемому результату. С намерением произвести некоторое давление на влиятельные сферы, он просил своих рижских друзей придавать как можно больше важности его приглашению в Бюкебург, но не говорить, что он уже принял это приглашение; с другой стороны, он, как будто ничего не зная о кончине генерал-суперинтенданта, обратился к правительственным властям с «таким наивным письмом, какое мог написать только ребенок». Однако он сам говорил: «Я не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло, а по правде сказать, я даже был бы недоволен, если бы из этого действительно что-нибудь вышло!» Он так поступил, потому что сознавал, что если не получит должности генерал-суперинтен-

к Брандесу от 5 января 1776 г. (Archiv für Literaturgeschichte. T. VIII, часть 1. С. 85); Гердер писал, что «ему предлагали место второго профессора теологии, проповедника и суперинтенданта».

данта, то ему придется навсегда отказаться от надежды возвратиться в Лифляндию — а это сознание может служить некоторым оправданием для его образа действий.

Но обстоятельства так сложились, что ему не пришлось нарушать обещание, данное бюкебургскому двору. Вместо должности суперинтенданта, на которую едва ли захотели бы его назначить, советник правления Кампенгаузен предложил ему письмом от 21 апреля только должность ректора лицея, которая оказалась вакантной вследствие того, что престарелый Лодер уже дослужился до пенсии, и с которой были соединены звание дьякона при главной церкви и звание ассессора в императорской обер-консистории. Когда это письмо пришло в Страсбург, Гердер уже находился на пути в Бюкебург. Рижское правительство не могло согласиться на те условия, при которых он соглашался принять предложенную должность, — в чем он, без сомнения, сам был заранее уверен; должность ректора занял пастор Гардер, издавший в немецком переводе философию истории Базина и исследования Бурке о возвышенном и прекрасном. Таким образом для Гердера был закрыт доступ к той должности, которая была ему обещана перед его отъездом из Риги, и он должен был бесповоротно отказаться от всяких расчетов на Лифляндию¹.

Наконец, он был в состоянии выехать из Страсбурга в начале апреля. Он не намеревался останавливаться в Карлсруэ, но, как кажется, полученное им от маркграфа приглашение заставило его поступить иначе; на этот раз он счел нужным исполнить желание маркграфа и произнести в его присутствии церковную проповедь; какое ему было дело до того, что местное духовенство было крайне этим недовольно?²

Затем он поспешил в Дармштадт. Как часто он мысленно стремился туда из своей страсбургской «берлоги, в которой все

¹ Источником для вышеизложенного служат письма Гартноха к Гердеру от 9 [20] октября 1771 г. (LB. III, 256), Гердера к Гартноху и Бегрову от 21 ноября 1770 г. (Там же. 259 и сл. и 265 и сл.); сравн. письмо к Каролине (Там же. 274), Кампенгаузена к Гердеру 21 апр. 1771 г. (*Dünßer* C, II, 16) и переписка Гердера с Гарткнохом (Там же. 16—19 и 24). Гердер писал Каролине 11 мая 1771 г.: «Я снова получил приглашение в Лифляндию, но не принял его, потому что уже порвались некоторые сердечные узы, прежде привязывавшие меня к той стране» (*Dünßer* A, III, 52). Касательно Гардера, которого Гарткнох называет «таким же глупым и себялюбивым, как Шлегель, и еще более злым», сравн. выше, с. 426, прим. и Суфана (*Die Rigischen Beiträge, Zeitschrift für deutsche Philologie*. IV, 49 и сл.).

² Воспоминания. I, 162; *Ring. Herders Leben*. С. 194; Лафатер к Гердеру (*Dünßer* A, II, 121).

напоминало о смерти и тлении»! В дармштадтском обществе он надеялся окрепнуть и «телом и душой»; он предавался самым сладким мечтам о предстоявшем свидании с теми, кто был ему дорог; он воображал, что то будет самая приятная, самая романтическая эпоха в его жизни — что он снова найдет наслаждение и душевное спокойствие в обществе своей возлюбленной, с которой он короче прежнего познакомился из ее писем, и в обществе Мерка и других друзей, которые стали ему еще более прежнего дороги в качестве посредников между ним и Каролиной. Но на деле вышло совсем иначе! Ему нескоро удалось сбросить с себя бремя тех душевных забот, которыми он так тяготился в Страсбурге. С тяжелым душевным настроением вступил он в напыщенное дармштадтское общество, которое было натянутым и замкнутым и не допускало искренности и интимности в обхождении. Виновником такой перемены был не кто другой, как Лейхзенринг. Говоря в своих письмах об этой неприятной стороне дармштадтского общества, Гердер так живо описывает¹ своего сладкосердечного патрона, его обхождение и влияние, что нам только одно остается непонятным — почему не вытолкали за дверь этого нарушителя общего спокойствия. С того времени, когда Лейхзенринг встретился с Гердером в Лейдене, он составил себе такое понятие об этом новом знакомом, которое было похоже на «портрет, нарисованный красками молочного цвета», но под которое вовсе не подходил серьезный, нередко резкий и даже отталкивавший от себя, настоящий Гердер. Отыскивание в человеческом сердце настоящих и мнимых совершенств было целью жизни Лейхзенринга, его призванием и деловым занятием; поэтому он не мог понимать такого человека, как Гердер, ум которого был направлен к тому, что полно значения, богато содержанием и правдиво, и который не имел времени только забавляться сердечными ощущениями. Чувствительность была для Лейхзенринга добродетелью, предметом восторженных увлечений и религией. Кто не был одного с ним мнения, кто не призна-

¹ Все, что следует далее вплоть до конца этой главы, почерпнуто большей частью из наполняющей 3-ю часть сборника «Aus Herders Nachlaß» (A, III) переписки Гердера с его невестой от апреля 1771 г. до апреля 1773 г. Впрочем, приходилось делать некоторые дополнения к этому сборнику на основании тех мест из писем Гердера, которые помещены в «Воспоминаниях» (I, 202 и сл.). Кроме того, я имею в руках несколько писем Гердера и Каролины, оставшихся ненапечатанными; они не особенно интересны и находятся у меня в копии, которая не отличается полнотой; в ней вполне списаны только некоторые из тех писем.

вал его священного культа, кто не хотел ничего знать о письмах, ленточках и других предметах, которыми обменивались нежные сердца, тот был, по его мнению, бесчувственным варваром, не был достоин ни любви лучших людей, ни дружбы Лейхзенринга. А эта ортодоксия не выносила противоречий и отличалась высокомерием. Поведение этого «магистра Титира» было поистине ребяческим. Вместо того чтобы искать уединения или объяснить цель своих требований, «бледнолицый, молчаливый» Лейхзенринг появлялся со своей недовольной миной в обществе, лишь мимоходом произносил несколько отрывочных слов, нашептывал женщинам на ухо свои замечания о характере новоприезжего и повсюду вносил чувство недоверия и неудовольствие.

Если бы и все дармштадтские жители не были заражены той же болезнью, которая достигла в Лейхзенринге своей высшей степени, то нарушителю общего спокойствия указали бы ту же дорогу, по которой торговец пряностями повел патера Брея в гётевской шуточной комедии. Чувствительность, идеальность, нежность и мягкосердие были в то время в воздухе; всякий образованный человек, который не был совершенно глупым и пошлым, должен был приносить свою дань этому господствовавшему настроению; он должен был плакать, читая рассказ Йорика о патере Лоренцо или о несчастной Марии; ему было бы стыдно, если бы он не проливал слез вместе с Клопштоком над несчастной Цидли или если бы не приходил в восторг от нежных песен Якоби. Даже Каролина была до такой степени настроена на этот тон, что, например, была оскорблена «неестественным» и «неделикатным» образом выражений в Лессинговой «Минне». И сам Гердер был от природы так впечатлителен, что нередко впадал в чрезмерную чувствительность и сентиментальность. Он был одарен таким серьезным и твердым умом, что ему не могли нравиться «нежные до тошноты письма Глейма и Якоби»; однако самое легкое выражение искреннего чувства было способно возбудить в нем сильное сочувствие. Он горько жалуется на невыносимый, не допускающий никаких возражений образ мыслей Лейхзенринга, который «относится с презрением ко всякому, кто не восхищается произведениями Якоби»; при полном сознании своих более возвышенных целей, он беспощадно насмехается над «праздношатающимся общим наставником», который интересуется только трогательными приключениями красивых Магдалин и монашенок, возится с записочками и с ленточками и пожимает руки сотням девочек и мальчиков; однако разве при первом излиянии своих чувств он не дал бледному юноше права

считать себя его последователем? Разве его отношения к Каролине не обнаруживали то его привязанность, то нерешительность, то его беспредельную преданность, то его сдержанность; разве даже беспристрастный наблюдатель не нашел бы все это очень странным и не стал бы относиться с недоверием к характеру человека, честные побуждения которого оставались от всех скрытыми?

Но на эти отношения не следует смотреть с той же сентиментальной точки зрения, с какой смотрел на них Лейхзенринг. Такой благоразумный человек и искренний друг, каким был Мерк, мог бы дать Гердеру добрый совет довести эти отношения до окончательной развязки и открыто объявить о своем намерении вступить в брак с Каролиной. Гердеру следовало бы не иначе уезжать из Дармштадта, как женихом, и потом перевезти свою невесту в новое место жительства, лишь только это окажется возможным. Добросовестный Гердер, без сомнения, возразил бы, что исполнить такой совет невозможно. Он находился в то время в таком положении, что не мог бы обзавестись собственным хозяйством. Каролина была бедна и не принесла бы ему ничего. Он сам был должником всех своих друзей. Он пустился в дорогу на взятые займы деньги. Для покрытия расходов на свое лечение и на свое пребывание в Страсбурге он взял задаток у своего нового начальства, а после того Гёте еще доставил ему денег займы. Он не знал, каково будет его новое положение, не знал, не придется ли ему и в Бюкебурге жить со дня на день; он так привык увлекаться разными надеждами и проектами, что ему была недоступна мысль о возможности немедленно приковать себя к новому месту, обзаведясь там хозяйством. Однако эти затруднения не были такого рода, что их нельзя было преодолеть. Его друзья могли бы возразить на все его отговорки, что, при его небрежности, его материальное положение не улучшится и по прошествии нескольких лет, — могли бы предсказать ему, что он сам будет сожалеть о своей нерешительности и проволочках.

Однако всякий находит только такое счастье, какого ищет. Только горечь продолжительной разлуки могла навести Гердера на мысль, что ему следовало еще до лечения его глаз взять к себе Каролину, хотя бы им пришлось жить «займами, подааниями, воровством». А для того чтобы бракосочетание с Каролиной показалось ему высшим блаженством, ему еще нужно было пережить и перечувствовать разные испытания, которые вполне уяснили бы характер его привязанности.

Первым последствием подслушиваний и нашептываний, которыми было занято дармштадтское общество, было то, что за-

стенчивый влюбленный настроил себя если не на тон такой же чувствительности, какую проповедовал Лейхзенринг, то на тон какой-то возвышенной сентиментальности. После того как он в слезах расстался с Каролиной, его первое письмо было написано не в тоне настоящего любовного послания, а, скорей, в тоне клопштоковских стихотворений. Он говорил, что нить судьбы должна разворачиваться сама собой, что ее не следует ни разрывать, ни задерживать. Он говорил о «самом нежном сочувствии, которое они друг другу обещали, о сближении и дружбе их умов и сердец!» Его подруга сделала бы для него музой и ангелом-хранителем и возвысила бы его на такую высоту, которой он не мог бы достигнуть сам собой. «Наши письма должны заключать в себе историю нашего сердца, наших мыслей и убеждений»; тогда мы проводили бы время «в более приятном обществе, чем если бы были друг подле друга!» Трудно себе представить более платоническую любовь, а бедная психея вынесла вскоре после разлуки тяжелую болезнь и потом, натурально, настроила себя на тот же платонический тон. Как очень переимчивая ученица, она старается превзойти своего возлюбленного своей возвышенной сентиментальностью. Она находит высшее счастье в том, что Гердер желает быть ее «ангелом-хранителем»; она также находит, что очень приятно любить в разлуке, что тогда душа достигает «такой возвышенности и силы, какую едва ли может чувствовать при постоянном личном обмене мыслей».

То первое письмо Гердер написал дорогой из Франкфурта-на-Майне; второе письмо он писал 23 апреля в Касселе, в родительском доме Гёте; здесь он упоминал о похвалах, которыми осыпала Гёте¹ его сестра; но сам он думал только о Дармштадте; поэтому он вовсе не имел желания видаться со своими кассельскими старыми знакомыми и ему было гораздо приятнее читать какую-нибудь книгу, чем входить с кем-либо в разговоры. Наконец 28 числа поздно вечером он достиг Бюкебурга вместе с приехавшим к нему на встречу Вестфельдом. Добрый Вестфельд, так горячо хлопотавший о назначении Гердера на новую должность, был крайне удивлен, когда увидел господина советника консистории в светло-голубом платье, обшитом золотом, в белом жилете и в белой шляпе; что могли подумать бюкебургские жители при виде такого модного и неприличного для духовной особы костюма! И для самого Гердера первые впечатления были крайне неприятны. Вестфельд счел своим долгом немедленно

¹ Гёте к Гердеру, № 4 (А, I, 33).

доложить графу о приезде Гердера. Граф изъявил желание, чтобы новоприезжий был немедленно ему представлен. Не было возможности обойтись без бородобрея и без парикмахера, которых отыскиали в такой поздний час лишь после долгих розысков. Уже было 9 часов, когда Гердер наконец окончил свой туалет и наконец мог представиться в одежде французского аббата нетерпеливо его ожидавшему графу. Граф не придавал большой цены напудренному парику и шелковой мантии, но любил, чтобы его приказания исполнялись с пунктуальностью военной дисциплины. Поэтому он принял Гердера очень холодно; первое свидание не могло внушить им взаимного расположения; Гердер был живой, красивый юноша с мягкими чертами лица, а граф держал себя с напыщенной важностью, к тому же был худой, высокорослый мужчина; оба они казались разочарованными, и каждый из них, вероятно, подумал, что они едва ли придутся друг другу по вкусу¹.

Этот граф Вильгельм Липпе-Шаумбургский был столько же странный, сколько недюжинный человек. Когда он родился в 1724 г. в Лондоне, нельзя было ожидать, чтобы ему пришлось когда-нибудь стать во главе управления, потому что он был младший из двух сыновей своего отца. До семилетнего возраста он воспитывался в Англии и совершенно по-английски, а при дворе его отца ему было не место тем более потому, что после смерти его матери его отец нашел себе другую жену. Так как его готовили к военной службе, то он был отправлен одиннадцатилетним мальчиком для обучения военному делу в Женеву; потом он ездил для продолжения его занятий военными науками в Лейден и в Монпелье и наконец поступил в Лондоне юнкером в королевскую гвардию. Смерть его старшего брата неожиданно открыла перед ним новое поприще. Он возвратился, по желанию своего отца, в Бюкебург, для того чтобы познакомиться с делами управления. Но жизнь в Бюкебурге сделалась для юного графа крайне неприятной и даже совершенно невыносимой, вследствие того что при маленьком, небогатом и склонном к пышности бюкебургском дворе влияние хитрой любовницы преобладало над влиянием нелюбимой и склонной к ханжеству законной супруги², а государственные доходы безрассудно тратились на эту лю-

¹ «Воспоминания» (I, 179), несколько дополненные находящейся в моих руках статьей Вестфельда, которая была напечатана в «Воспоминаниях» (II, 6 и сл.) с некоторыми пропусками.

² Очень неблагоприятный отзыв Гердера о старой графине у Дюнцера (A, III, 473 и сл.).

бовницу. После того как он при Деттингене в 1743 г. в первый раз участвовал в сражении вместе со своим отцом, состоявшим в то время на голландской службе в генеральском чине, он провел следующие годы своей жизни частью на службе волонтером в императорской армии, частью в путешествиях по Швейцарии и Германии, по Италии и Англии. То были годы самых необузданных увлечений. Хотя он и занимался в Италии музыкой и живописью, но свое геройское мужество и чрезмерное честолюбие тратил на самые безрассудные предприятия; он любил, подобно англичанам, биться об заклад и придумывал такие состязания, которые были соединены с опасностью для его жизни. Его крепкое здоровье выдержало все его рискованные затеи, а его богатый ум не оскудел ни от излишка развлечений, ни от скуки среди безделья. После двухлетнего пребывания в Италии юный сумасброд возвратился, по требованию своего отца, на родину. Он застал отца больным; вскоре после того, в 1748 г., его отец скончался и 24-летний Вильгельм стал во главе управления. Он немедленно приступил к самому радикальному преобразованию существующих порядков; даже на хорошие стороны этих порядков он смотрел с такой же ненавистью, какую так долго возбуждали в нем их бросавшиеся в глаза недостатки. Он постарался положить конец прежнему бестолковому государственному хозяйству. Все, что отзывалось роскошью, он не только отменял, но с яростью искоренял. Некоторые новые здания были разрушены, а их обломки были оставлены на месте как бы для напоминания о прошлом. Вновь заведенные сады были опустошены, мебель и домашняя утварь были розданы в подарок, проданы или уничтожены. Такое же опустошение он произвел в сфере должностных лиц и придворной прислуги; все его заботы сосредоточились на усовершенствовании военной части. Но он полагал, что ему самому еще недоставало необходимых военных познаний и основательной подготовки. Поэтому он провел несколько лет в новых путешествиях, которые начались и закончились посещением двора Фридриха Великого; он объехал Италию и Венгрию вплоть до турецкой границы с целью изучить военные учреждения различных европейских государств. Обогадив свой ум разнородными наблюдениями и практическими познаниями, он наконец возвратился в 1753 г. в свою резиденцию. Тогда во всех его действиях обнаружилась зрелая обдуманность и такая же энергия, какая была видна в его юношеских безрассудных выходках, — и он приступил к исполнению своей важной задачи по заранее намеченному плану. Из своего небольшого государства

он постарался сделать новую Спарту. Не стесняясь в исполнении своих замыслов противодействием со стороны государственных чинов, он ввел между своими подданными общую воинскую повинность и таким образом создал небольшую отборную армию, которую заставлял неумоимо заниматься военными упражнениями. Этой армии скоро представился случай доказать ее достоинства на деле. Когда вспыхнула Семилетняя война, липпешаумбургские войска поступили в распоряжение английского главнокомандующего и в нескольких сражениях с французами отличились своей дисциплиной и знанием военного дела. Они сражались еще с большим успехом, с тех пор как герцог Фердинанд брауншвейгский был назначен в 1758 г. главным начальником союзной армии. И сам граф Вильгельм, в то время командовавший всей артиллерией, не раз имел случай выказать свою блистательную храбрость и свои дарования военачальника. Но несмотря на то что все отдавали полную справедливость его воинским дарованиям и заслугам, его благоразумные советы и ничем не стеснявшееся прямодушие были не по вкусу ни его начальникам, ни его боевым товарищам, а некоторые странности в его обхождении вызывали насмешки. Все это непременно окончилось бы ссорой; поэтому для графа был большим счастьем тот неожиданный поворот в ходе дел, который открыл для него другое, более высокое, поприще.

Французское правительство возбудило Испанию к войне с Португалией и с завоевательными целями прислало ей значительные подкрепления, притворно ссылаясь на желание освободить Португалию от английской зависимости, а в сущности имея в виду вознаградить себя за понесенные в Германии поражения. Нужно было помочь плохо подготовленной к войне Португалии. Английское правительство отправило туда свои войска, а граф Липпе-Шаумбургский был назначен главнокомандующим союзной армией англичан и португальцев. Весной 1762 г. он отплыл в Португалию, заехав по дороге в Англию. Ему предстояла чрезвычайно трудная задача, но он разрешил ее так хорошо, как только было возможно. При глубоком упадке, в котором находилось военное дело в Португалии, ему пришлось все заново создавать и воспользоваться находившимися налицо незначительными военными силами для отражения первого неприятельского нападения. Он сумел с успехом выдержать борьбу и в то же время во всем ввести коренные реформы, несмотря на глубоко укоренившиеся злоупотребления, на национальные предрассудки и на зависть, которую он возбуждал в качестве иностранца. Он не

упал духом от первых неудач и успешно довел дело до конца, благодаря своим дарованиям полководца и своей стойкости. Всякая опасность миновала для Португалии, когда между Францией и Англией были установлены 3 ноября 1762 г. предварительные мирные условия. Испанская армия отступила в расстройстве, между тем как португальская армия успела привыкнуть к дисциплине и научилась полагаться на свои собственные силы. А после того как мир был формально заключен, граф не переставал заниматься в Лиссабоне переустройством португальской армии. Наконец, когда эта армия была довольно прочно организована, он передал главное начальство маркизу Помбалу; покрытый славой и осыпанный изъявлениями признательности за свои заслуги, он покинул поприще такой успешной деятельности и прибыл в ноябре 1763 г. в Бюкебург. Он возвратился не таким, каким уехал. Недаром он близко познакомился с государственной деятельностью маркиза Помбаля. Его небольшое государство немало пострадало от войны — теперь настало время наслаждаться и благодеяниями мирного времени. Подданные графа могли убедиться на деле, что самый храбрый воин может быть и самым человеколюбивым. Свои обязанности правителя он стал исполнять со свойственной ему добросовестностью и энергией. Он стал всего более заботиться о распространении просвещения, о поощрении ремесел и в особенности земледелия. Он попытался осуществить в малом виде такой идеал правителя, какой находил в Фридрихе Великом, — идеал самодержца, который пользуется своей властью для просвещения и для блага своих подданных. Военное дело по-прежнему было его любимым занятием, но он смотрел на готовность к войне только как на самое верное средство предупредить войну. То, что в настоящее время показалось бы нам пустой забавой, имело важное значение для тогдашней Германии, разделенной на множество мелких государств, — в прибрежной части графства, у так называемого Штейнгудерского моря, граф построил на небольшом искусственно созданном острове крепость Вильгельмштейн; это был самый совершенный образец фортификации — такой образец, которому, по мнению графа, должен был подражать каждый из крупных и мелких немецких владетелей, для того чтобы сделать Германию недоступной для нападений ее внешних врагов. Там же граф основал военное и инженерное училище, в котором — именно во время пребывания Гердера в Бюкебурге — воспитывался тот самый Шарнгорст, который при следующем поколении доказал своей деятельностью, каков был дух, господствовавший в во-

енных заведениях графа. Кроме того, граф сам принимал как посредственно так и непосредственно деятельное участие в обучении юношества. В сочинении об искусстве ведения оборонительных войн он изложил все, что было плодом его военной опытности и его наблюдений, а такой выдающийся человек, как Гнейзенау, служит нам порукой в том, что в том сочинении были развиты все те идеи, на которых была впоследствии основана система прусского поголовного восстания 1813 г. и которые помогли освободить Германию от владычества Наполеона. А при этом граф заявлял, вовсе не для прикрасы, что тот, кто облагораживает военное ремесло, стремится к гуманной цели. У него отнюдь не было недостатка в сочувствии к более возвышенным требованиям умственной деятельности. При этом его привлекало не столько то, что было блестяще, сколько то, что было дельно и основательно. Его разговор был жив благодаря его богатой опытности, а любимой темой для его бесед служили не только военные дела, но также политика и история, искусство и философия. Он знал наизусть целые отрывки из драм Шекспира и сам иногда пробовал писать французские стихи. При его маленьком дворе усердно занимались музыкой; он сам хорошо рисовал, очень любил картины и собрал хорошую картинную галерею. Его литературный вкус точно так же, как общее настроение его ума, был направлен к тому, в чем выражалось что-нибудь великое и геройское. Поэтому он охотно отдавал предпочтение древним, и в особенности римским, писателям перед новыми и любил читать произведения Цезаря, Саллюстия и Тацита. Он иногда вдавался в скептические размышления о неудовлетворительности всех человеческих учреждений, но разгорячался при мыслях о свободе и геройских добродетелях, о Провидении и бессмертии души. Свои лучшие чувства он выражал в поговорке *probite et droiture* или в таких словах, как *dévouement à la mort*, так как вообще любил самые сжатые выражения. И его внешность выражала несколько напыщенное чувство личного достоинства. Насмешливые испанцы имели некоторое основание сравнивать его с Дон Кихотом; но кто ближе его знал, тот находил в странных или смешных сторонах его характера что-то внушающее уважение, а это уважение скоро переходило в сочувствие. Таким единогласно описывают его и Циммерман, и Мендельсон. Отзыв этого последнего подтверждается и Гердером, только с тем различием, что Гердер не разделяет мнения Мендельсона, что у графа «в его грубом вестфальском теле была самая чистая греческая душа». «Трудно себе представить, — говорит Гердер, — более благородную осанку.

У графа красивый склад головы, ясные, приятно сверкающие глаза, изящный нос, выдающийся подбородок, красивая выпуклая грудь; всякий, кто обращает внимание на осанку, а не на красивый костюм, чувствует, глядя на него, высокое уважение, а людям со слабыми нервами он внушает нечто вроде удивления и благоговения. Руки он носит благородно и почти романтически, как и вообще есть что-то романтическое в его образе мыслей и в его образе жизни. Прибавьте к этому, что он был выше всех своих соотечественников и телом, и умом, а в последние годы своей жизни искал величия только в добре и в гуманности; благодаря этим свойствам, его наружность утрачивала все, что в ней было грубого и чисто вестфальского». Только военный человек был бы в состоянии написать его биографию, прибавляет Гердер. Одним словом, граф был, по мнению Гердера, чем-то вроде «древних героев»¹.

Само собой понятно, почему этот философ-герой чувствовал сильное влечение к Томасу Аббту, написавшему брошюру о смерти за отечество и о заслуге и переведившему произведения Тацита. Только год с четвертью прожил этот юный талантливый писатель в Бюкебурге, но в течение этого времени он был ежедневным и любимым собеседником графа. Аббт очень хорошо умел приноравливаться к странному характеру графа и очень искусно исполнял выпавшую на его долю роль. Философ так ясно понимал требования деятельной и деловой жизни, а граф так сочувствовал идеям философа, что при взаимном уважении они дополняли и возвышали один другого. Кто знает, что выработалось бы из Аббта в такой школе: во всяком случае граф был обязан новому другу самыми благородными начинаниями и расширением своего умственного кругозора — так, благодаря Аббту он стал впервые интересоваться отечественной литературой. И на дела внутреннего управления Аббт стал бы приобретать все более и более влияния, если бы прожил долее и если бы по-прежнему умел выносить покорность перед старшими. Смерть Аббта изба-

¹ Не подлежит никакому сомнению, что Гердером были написаны и разбор мендельсоновских сочинений в августовском номере «Немецкого Меркурия» 1782 г. вместе с вышеприведенной характеристикой графа (с. 185), и весь отдел «Литературной переписки» (Там же. 169 и сл.). Как содержанием этого отдела, так и некоторыми местами из сочинений Мендельсона и Циммермана пользовался Варнгаген, написавший биографию графа Вильгельма для «*Biographischen Denkmale*» (I, 1 и сл.); в этой биографии вполне и искусно обработанный относящийся к этому сюжету литературный материал. Для всего, что нами изложено в тексте, служит основой книга Варнгагена.

вила их обоих от таких новых испытаний. Граф долго горевал о преждевременной смерти друга. Он надеялся найти в Гердере вознаграждение за эту потерю — однако как было мало сходства между Аббтом и Гердером и как мало было общего между Гердером и графом! То было невинное заблуждение, когда Гердер, в своей статье об Аббте, говорил о сходстве своих идей с идеями этого писателя. То было новое и более сильное заблуждение, что он считал себя способным заменить Аббта.

Холодность первого знакомства скоро была позабыта с обеих сторон. Граф, питавший глубокое уважение ко всяким умственным дарованиям, относился к Гердеру очень почтительно и внимательно. Он с гордостью и с удовольствием узнал, что в самом начале пребывания Гердера в Бюкебурге Берлинская академия удостоила премии его статью о происхождении языка. Он несколько раз прочел статью и сообщил ее автору свои письменные о ней замечания, в которых его одобрение не ограничивалось пустыми комплиментами¹. Ему было лестно подумать, что всем будет известно — будет известно и поклоннику Вольтера, Фридриху Великому, — какого человека он имеет у себя на службе. Впоследствии он неоднократно это высказывал и удивлялся тому, что так долго оставляют при нем такого выдающегося человека; он даже сознавал и открыто говорил, что Гердер выше, гораздо выше Аббта. Однако он никогда не чувствовал такой же привязанности к Гердеру, какую внушил ему Аббт, а Гердер со своей стороны также не был в состоянии искренно полюбить графа. Странно видеть, как эти два гениальных человека, жившие в отдаленном уголке Германии так близко один от другого, относились друг к другу с застенчивой сдержанностью, как будто опасаясь один другого! Гердер всегда отдавал полную справедливость выдающимся достоинствам своего повелителя. Он хвалил благородный характер графа, который иногда казался причудливым только потому, что был слишком велик для той страны, которой управлял. Он сознавал, что из всех сколько-нибудь

¹ См. письмо графа от 22 февраля 1772 г. в «Воспоминаниях» (I, 265 и сл.). Какую важность имело это обстоятельство в глазах бюкебургских жителей, видно из того, что в липпе-шаумбургском календаре 1776 г., в «Хронике достопримечательных событий, случившихся в графстве Липпе-Шаумбургском с 1748 г.», значится под 1772 г. следующее: «В 1772 г. на долю Бюкебурга выпала та честь, что двое из его жителей получили премии от обеих самых знаменитых ученых академий в Германии, а именно советник консистории Гердер... и Вестфельд от Королевского гёттингенского ученого общества за свою статью о барщинных повинностях».

недужинных людей, с которыми ему приходилось встречаться, граф был именно тот, кто всех лучше понимал его и во многих отношениях сходил с ним в мнениях. Однако, прибавляет Гердер, в течение скольких часов глава государства может быть человеком! В нем все-таки постоянно виден государь, и он слишком избалован. Однако это обстоятельство не сбило Гердерова предместника с настоящей дороги. Аббт именно тем и снискал доверие графа, что изъявлял ему безусловную покорность и приносивался к его слабостям, к его вкусам, к его любовным влечениям, принимая во внимание благородные стороны его характера и имевшуюся в виду полезную цель. Такими дарованиями царедворца и политика не обладал более гордый преемник Аббта, также избалованный безусловной преданностью своих друзей. Ему была вовсе не по вкусу та роль, которую исполнял Аббт. Этот последний жил во дворце и обедал за графским столом. Но Гердер не хотел налагать на себя таких стеснений и опасался возбудить ревность в тех, кто искал почета при дворе. Еще менее было ему по вкусу всякое вмешательство в дела светского управления, хотя ему было вовсе не трудно подчинить и эту сферу своему влиянию; он слышал со всех сторон и сам был того же мнения, что Аббт бесполезно потратил на такое вмешательство и свое время, и свое душевное спокойствие, и свой гений, — и он вовсе не желал следовать такому примеру. Все обстоятельства так складывались, что из уважения не могла возникнуть дружба, а при невозможности взаимного сближения не могло возникнуть взаимное доверие. Препятствиями служили возраст и общественное положение, характер и склад ума. Гердер был двадцатью годами моложе графа; он родился в то время, когда граф уже успел в первый раз участвовать в сражении; человек, еще не достигший зрелости, имел дело с человеком уже вполне зрелым. Оба они достигли своего положения различными путями, следуя голосу своих внутренних влечений. Один из них развился среди самой оживленной общественной деятельности, а другой — в своем рабочем кабинете. Оба они были своенравны: один отличался своенравием привыкшего повелевать главы управления, другой — своенравием обидчивого ученого. Повелитель был строго аналитический мыслитель, одаренный математически-философским умом; его подчиненный был нетерпеливый энтузиаст и скорее поэт, чем философ; первый был герой, второй был мягкосердый, чувствительный человек. Первый ставил выше всего военную дисциплину и порядок; второй не придерживался никакого порядка и никакой методы даже в ученых занятиях. Еще будучи

юношей, Гердер возненавидел в своем прусском отечестве военный деспотизм, а теперь ему приходилось жить при дворе такого государя, который вводил в своих владениях еще более сильный милитаризм, чем в Пруссии! Но насколько Гердеру были не по вкусу ни солдатское ремесло, ни солдатский характер, настолько же графу были не по вкусу ни звание, ни характер духовной особы. Граф желал, чтобы новый церковный проповедник смотрел на свои духовные обязанности как на второстепенное дело и занимался преимущественно литературой. Так как сам он был реформатского вероисповедания, между тем как его подданные были лютеране, то он держал при дворе особого проповедника, по имени Кателя. Не из душевной потребности, а только в знак милости он раз в месяц посылал летом из своей дачи придворный экипаж за Гердером, который должен был произносить проповедь в его комнате и потом излагать письменно ее содержание, — «точно будто этим оказывали честь моей душе», с презрением замечает Гердер.

Гердер так хорошо читал вслух! А читал он охотно, если был окружен понятливыми и сочувствовавшими ему слушателями или если мог, ничем не стесняясь, рассуждать о прочитанном и высказывать свои объяснительные замечания или свои порицания. Но теперь ему приходилось произносить или читать вслух свои проповеди перед созванными по особым приглашениям слушателями и считать это за особую честь; он с горечью на сердце рассказывал об этом своей невесте и скоро перестал скрывать, что вежливость такого рода вовсе не была для него лестной. Какими потоками лилась его речь и как он был красноречив, когда обращался к разделявшим его мнения друзьям и к восприимчивым юношам или когда беседовал с Гёте в Страсбурге! Теперь он находился в совершенно другом положении; он чувствовал себя не на своем месте, когда ему приходилось, после произнесенной в замке проповеди, по целым часам прогуливаться с графом по садовым аллеям и рощам, не для того чтобы с жаром развивать свои любимые идеи, а для того — как он писал своей невесте — чтобы вести речь о «пустых отвлеченностях и о метафизике» или же для того чтобы, преклоняя голову, молча выслушивать сухие скептические рассуждения светлейшего философа, который очень любил слушать самого себя и в ответ на все возражения постоянно возвращался все к одним и тем же излюбленным философским воззрениям; как неприятно было его положение, когда на придворном концерте он не мог наслаждаться музыкой, оттого что граф заставлял его выслушивать длинную

проповедь о тщете всех человеческих стремлений! Делая общий вывод из этих фактов, Гердер писал еще в августе 1772 г.: «Мое положение при графе остается без перемен: мы не в состоянии понимать друг друга, между нами нет ничего общего, и мы не созданы один для другого»¹.

Кроме зависимости от графа Гердер находился в зависимости и от директора полиции Вестфельда, игравшего роль посредника при его назначении на бюкебургскую должность. В семействе Вестфельда Гердер нашел любезный прием; в роскошно устроенном доме Вестфельда он прожил несколько недель, пока не меблировал свою казенную квартиру, и в течение двух лет постоянно там обедал². Вестфельд был образованный человек, любивший серьезные научные занятия. По своим занятиям в Гёттингенском университете и по своей должности он всего более интересовался национально-экономическими и административными вопросами, которые он старался разъяснять и с исторической точки зрения; за его статью о барщинных повинностях ему была присуждена в 1773 г. Гёттингенским ученым обществом премия; историю крепостного права в Германии он изучил самым основательным образом³. Он не оставлял без внимания и изящные науки, а потому многого ожидал от Гердера и лично для себя⁴. Однако между ними не установилось вполне интимных отношений. Чем больше Вестфельд сознавал свою ответственность за назначение Гердера, тем яснее он понимал, что новоприезжий был вовсе не такой человек, какой был нужен для графа и для Бюкебурга и какого он надеялся в нем найти. Несмотря на то что он относился к своему гостю со всевозможной пре-

¹ Главные указания касательно отношений Гердера к графу можно найти в переписке Гердера с Каролиной (*Dünßer A*, III, 56, 58, 323—324); Воспоминания. I, 203 и сл., 206, 215, 216, 218, 226. Кроме того, их можно найти в переписке Гердера с Гарткнохом (*Dünßer C*, II, 28, 74).

² О переезде на собственную квартиру он извещал 25 мая 1771 г.; находившийся неподалеку от его квартиры (*A*, III, 461) дом Вестфельда он еще в марте в 1773 г. называл таким домом, где он ест, пьет и проводит время (Там же. 473). Об устройстве дома Вестфельда см. письма Лихтенберга к Дитериху (*Vermiscnte Schriften*. VII, 106).

³ Сравн. письма Гердера к Гейне (*C*, II, 162) касательно Вестфельда и его неприятного положения в Бюкебурге. В своем письме Гердер рекомендует Вестфельда на должность профессора при университете. К Николаи он писал 7 сентября 1771 г. (*C*, I, 323): «Вестфельд действительно обладает большими познаниями; теперь у него много свободного времени; он, может быть, снова стал бы участвовать в вашем журнале, если бы вы его пригласили. Он единственный человек, с которым я здесь сошелся».

⁴ Вестфельд к Гердеру 19 августа 1768 г. (*LB*. I, 2, 361 и сл.).

дупредительностью и с дружеским вниманием, он все-таки не мог достигнуть того, чтобы Гердер был доволен своей новой жизнью. Кроме того, у этих двух людей были вовсе не сходные темпераменты и характеры; в обхождении осторожного, осмотрительного и очень расчетливого Вестфельда Гердер не находил той искренней доверчивости и откровенности, той сердечной теплоты, которые были для него душевной потребностью¹. А Вестфельд не только не помогал ему, а даже мешал свыкаться с новой средой. Бюкебургское общество было менее образованно, чем всякое другое, среди какого жила Гердер, не исключая даже эйтинского. Умственный кругозор мелких должностных лиц был очень узок, а люди военного звания интересовались только тем, что касалось их профессии. Нужно было много свободы и много доброй воли, чтобы отыскать в этом обществе лучшие или сколько-нибудь сносные элементы. Вестфельд, описывавший в своих первых письмах к Гердеру бюкебургскую должность самыми привлекательными красками, сделал все, что мог, чтобы лишить Гердера и такой свободы, и такой доброй воли. Он прежде пользовался большим доверием графа, а теперь он находился в натянутых с ним отношениях. Поэтому и он, и его жена принадлежали к числу бюкебургских недовольных. По их рассказам система графского управления не принесла пользы ни самому графу, ни его подданным. Причина их недовольства видна из того, что писал Гердер в начале своего пребывания в Бюкебурге. Он горько жаловался и на множество рассеянных по всей стране бесчестных авантюристов, и на низкопоклонное, грязное мелкое чиновничество, и на отсутствие среднего сословия, и на деспотизм управления, и на корыстолюбие фаворитов, которые из желания сохранить свои места опасаются, чтобы он не сделался тем же, чем был Аббт. Его личный опыт, по-видимому, подтверждал все то, что ему рассказывали. После первых визитов он жаловался на то, что кроме членов семейства Вестфельда не нашел ни одного

¹ Это видно, между прочим, из сохранившегося в рукописи письма Вестфельда к Гердеру от 4 сентября 1775 г. В 1774 г. Вестфельд нашел для себя место в Ганновере. В конце переговоров о назначении Гердера в Гёттинген (см. ниже, в последней главе этой книги) Вестфельд исполнял роль посредника. Вслед за изложением разных доводов, он писал Гердеру: «Я говорю вам это от искреннего сердца, а не с целью склонить вас к изъятию вашего согласия. Я не такой человек, который мог бы вас уговорить или по меньшей мере попытаться бы вас уговаривать... Если вы мне ничего не ответите, то я не буду за это сердиться, да и вообще не сердился на вас и тогда, когда узнал, как холодно вы обо мне отзывались. Ничто на свете не может умалить моего к вам уважения». Сравн. также письмо от 19 сент. 1774 г. (Воспоминания. I, 239).

человека, с которым пожелал бы снова увидеться. «Пустые головы и такие камни, из которых едва ли можно вызвать искру при помощи огнива! Женщины далеко не привлекательны, никогда ничего не читали и совершенно необразованны» — полное отсутствие у людей «такой души, с которой было бы желательно сойтись хоть на четверть часа». Наконец, прожив в Бюкебурге больше года, он стал относиться к окружавшей его среде, по-видимому, с большим беспристрастием и с большей справедливостью; он стал отчасти обвинять самого себя в том, что под влиянием первых неприятных впечатлений держался от всех в стороне и, не заводя никаких интимных знакомств, не мог сойтись с «добрыми людьми», которых надо уметь отыскивать. Однако именно по этой причине все осталось по-старому и во всех его письмах повторялись все те же жалобы. Даже в семействе Вестфельда он действительно сблизился только с детьми. Кроме этих детей он не находил никого, «с кем мог бы раскрывать свою душу». Даже те люди, с которыми ему приходилось часто иметь дело, не понимали его; он был вынужден скрывать от них свое сердце и свою душу из опасения, что они употребят его доверие во зло. Одним словом, он не нашел никого, кто мог бы вполне его оценить. Тогда ему пришлось, в первый раз в его жизни, узнать на горьком опыте, что люди не делаются лучшими под его личным влиянием.

Только с церковной кафедры он мог обращаться к тем людям, с которыми не мог сблизиться иным способом. Он был главным церковным проповедником и должен был произносить свои проповеди каждое воскресенье попеременно утром и после обеда. Но у него вовсе не было прихожан, потому что в то время как его должность оставалась вакантной, прихожане привыкли посещать проповеди второго церковного проповедника, пастора Дюве¹. И наружность Гердера, и характер его проповедей не могли сразу внушить к нему расположение. Бюкебургские жители тарасили от удивления глаза, когда этот маленький, худощавый человек с высоким тупеем на голове и с шелковой мантией на плечах, концы которой были засунуты в карман, проходил по церкви² рядом со своим почтенным сослуживцем; и сам он сознавал, что не умел попадать в тот тон, который мог нравиться в окру-

¹ Он был в то же время гарнизонным проповедником (А, III, 68). Священником небольшой католической общины в Бюкебурге был Кирхгоф.

² Построенная в 1615 г. городская церковь носит не без основания надпись: «Exemplum religionis non structurae».

жавшей его сфере, что он должен был казаться странным и даже смешным. А в какой мере его «легкая, как перышко, особа» (как он сам выражался) не была способна внушать уважение к его пасторскому званию, в такой же мере не могли внушать этого уважения и его проповеди. Это были «излияния чувств от полноты сердца без всяких ораторских прикрас и натяжек», а из вступительной проповеди, произнесенной 5 мая¹, видно, что Гердер, кроме того, горячо нападал на бездушные формулы верований, на «вялое, бессмысленное, машинальное благочестие». И в Бюкебурге он поспешил заявить своим слушателям, что намеревается руководить прихожанами в настоящем духе христианской религии, намеревается указывать им путь к добродетели и к блаженству и будет поучать их не только добродетели, но также «более изящному вкусу». Этим способом он снискал любовь образованных рижских жителей; этим же способом он снискал одобрение при дворах в Эйтине, Дармштадте и Карлсруэ. Для бюкебургских жителей проповеди такого рода были слишком возвышенны, слишком безыскусственны по своей внешней форме, слишком непривычны, духовны и неудобопонятны по своему содержанию. «Искра, которую я стараюсь раздуть, — говорил Гердер, — такого нежного свойства, что с помощью ее нет возможности зажечь этот наваленный горами лес». Еще до его приезда в Бюкебург в среде местного духовенства сложилось убеждение, что он еретик, проповедующий учение не Христа, а сатаны; хотя простолудины и не разделяли этого мнения, но и в их глазах Гердер был не столько настоящей духовной особой, способной назидать их, сколько ученым человеком или даже знатным царедворцем. К тому же — как он сам откровенно признавался в своей прощальной проповеди² — он вовсе не придерживался «похвального обыкновения навещать прихожан», потому что он не чувствовал призвания к пастырской деятельности такого рода и потому что очень дорожил свободным временем. Ему приходилось начинать с самого низу и готовить слушателей для своих проповедей, обучая детей догматам веры. Только после первой конфирмации, на Пасхе 1772 г., он почувствовал, что начал приобретать некоторое влияние. Он писал тогда: «Это первый фундамент моего будущего прихода; трудно описать, как дети любят меня и как они ко мне привязаны — это доставляет мне по меньшей мере несколько приятных часов».

¹ SW в отделе теологии. VIII, 5 и сл.

² Воспоминания. II, 164.

Не в лучшем положении находился он и при исполнении своих остальных должностных обязанностей. Подобно тому как он был церковным проповедником без прихожан, он был попечителем школ без школ и советником консистории без консистории. Подлежавшие ведению консистории немногочисленные дела находились в руках двух советников¹, которые и без содействия Гердера могли разрешать их исстари установившимся механическим способом. Гердеру приходилось «заседать вместе с безмозглыми людьми, между которыми он был самым недоверчивым»; ему приходилось выслушивать жалобы с вовсе не свойственной ему важностью, просматривать таблицы и исполнять разные другие «священные, но очень скучные обязанности». Но он не мог сделать ничего существенно полезного! Он должен был довольствоваться тем, что ему удалось отменить употребление старого катехизиса, составленного Якоби; на преобразование пришедшей в упадок гимназии² и на улучшение плохих народных школ не было денежных средств, а об исправлении казавшихся ему никуда не годными церковных установлений нечего было и думать³.

Одним словом, положение Гердера представляло во всех отношениях резкую противоположность между внешним блеском его должности и его внутренним недовольством, между его мечтами о полезной деятельности и той неблагоприятной почвой, на которую он был поставлен. Он не мог не сознаваться, что был вполне доволен внешней обстановкой своего положения. Это была спокойная, прибыльная и почетная должность. Он был «самым счастливым из всех бюкебургских должностных лиц». Он всех ближе стоял к повелителю и чувствовал себя вполне «независимой духовной особой»; ему со всех сторон оказывали высокое уважение или по меньшей мере внешний почет, несмотря на это он в своих откровенных письмах постоянно жаловался на отсутствие серьезной цели, на то, что он лишен возможности влиять на своих прихожан и не находит удовольствия ни в чем

¹ Советников юстиции Шмидта и Кнефеля.

² Трехклассная латинская школа находилась под управлением престарелого ректора Даниила Антона Раушенбуша; граф тщетно обнадеживал Гердера, что после смерти этого ректора приступит к преобразованиям; ректор умер только в 1782 г.; в 3-м классе престарелый Иоанн Веге давал уроки только тем ученикам, которые приходили к нему на дом. Это говорит Бурхард в программе, составленной для Бюкебургской гимназии в 1862 г.

³ Кроме приведенных в тексте извлечений из писем к Каролине, см. письма к Мерку: в сентябре 1771 г. (*Вагнер*. II, 38) и в октябре 1772 г. (*Вагнер*. I, 35).

обществе. То было отголоском первого впечатления, которое произвел на него Бюкебург, когда он писал, что вступает в должность, которая ему так же подходяща, как должность старосты в какой-нибудь деревне; «я избалован, — писал он далее, — после путешествий, различных развлечений и шумной придворной жизни, мне кажется, что стены маленького городка обрушатся на мою голову»; вскоре после того он писал, что он столько же на своем месте, сколько на своем месте «гнездо аистов на алтаре». И впоследствии он выражался все в том же смысле. Он называет Бюкебург своим Патмосом, а самого себя изгнанником; он сравнивает свое положение с положением Свифта в Ирландии или же говорит, что он гниет, что спустился с мировой сцены в подземелье, что нашел совершенно противоположное тому, чего желал, что над ним висит туча, что он «живой мертвец» (это сказано в письме к Глейму), «Лазарь в гробу, прикованный к утесу Прометей, приросший к скале Тезей»¹. Нам вовсе не трудно сочувствовать всем его жалобам. Когда он вспоминал о своей прежней жизни, о счастье, которым наслаждался в Риге, о воздушных замках, которые строил во время своих путешествий, то ему, конечно, должна была казаться крайне бесцветной его бесцельная, уединенная и вовсе не романтическая жизнь в маленькой пустынной резиденции немецкого графа. Этот мечтатель, у которого постоянно бродили в голове разные честолюбивые замыслы и который только что вышел из своей страсбургской тюрьмы, был обречен на ежедневные бесплодные должностные занятия в маленьком городе только с двухтысячным населением! Автору путевого дневника приходилось возиться с церковными книгами и с деловыми бумагами консистории! Можно ли удивляться тому, что он считал себя жертвой какого-то колдовства, что все его окружавшее было ему непонятно, что он не узнавал самого себя! Общий итог его жалоб сводился к тому, что «по своему неблагоприятию» он ошибкой попал в такое место, которое вовсе для него не годится и в котором ему решительно нечего делать, что он еще ни в чем не ошибался так же сильно, как в том, что ожидал найти в Бюкебурге!

При таком грустном душевном настроении он находил наслаждение только в природе — в привлекательных окрестностях

¹ *Dünßer* C, I, 25. Выражения в том же роде, сходные с теми, которые он употреблял в письмах к Каролине, можно найти в письмах: к Гарткноху (C, II, 27, 31, 32); к Терезе Гейне (Там же. 129, 139); к жене Мерка (*Вагнер*. III, 24); наконец в его публичном признании, высказанном в прощальной проповеди 1776 г. его бюкебургским прихожанам (Воспоминания. II, 165, 166).

Бюкебурга. Не находя удовлетворения ни в обществе, ни в официальной сфере, он стал жить романтической жизнью «отшельника и философа». В этом отношении он ни в чем не чувствовал недостатка. Новый просторный дом, в котором он жил, стоял почти на самой городской окраине и был окружен зеленью, а перед домом был небольшой садик, замыкавшийся городским валом¹. Он начал с того, что устроил в саду несколько беседок и дерновых скамеек. С высоты городского вала, за которым тотчас начинался лес, открывался очень красивый вид на горы; ему стоило сделать несколько шагов, и он мог любоваться, с одной стороны, видом покрытого лесами Гарля с лугами и садами у его подножия, с другой стороны — видом отражавшегося в воде графского замка. Он нередко просиживал там с раннего утра до вечера и даже за полночь, прислушиваясь к пению соловьев и наслаждаясь розами и ягодами, которые росли в саду; иногда он бесцельно бродил по лесистым возвышенностям с произведениями Клопштока, Гесснера, Оссиана в руках, или со сборником песен Томаса Перси, или с письмом от своей возлюбленной. При шелесте листьев на верхушках деревьев ему казались еще более благозвучными поэмы Оссиана; под тенью буковых деревьев и дубов, подле какого-нибудь быстрого ручейка полевые цветы напоминали ему о венках, которые плела Офелия, а вся окружающая местность напоминала тот романический Арденнский лес, который описан в драме Шекспира «Как это вам нравится». «С ночным спокойствием и с ночной радостью в душе» он смотрит на солнечный закат и на восход луны; он больше чем когда-либо наслаждается весенними, летними и осенними днями, постоянно думая о своей возлюбленной и постоянно переходя от поэтических мечтаний и сладких надежд к грустным воспоминаниям и размышлениям. Красивая местность вовлекала его и в более длинные прогулки. Ничто не доставляло ему такого же удовольствия, как стремглав проскакать верхом до какого-нибудь соседнего селения и дорогой позабыть обо всем, что его заботило. Он стряхивал с себя все тревожные мысли, и в его душе снова появлялись бодрость и энергия, когда ему случалось проскакать шесть миль, отделявших Бюкебург от Лемго; тогда все его душевные впечатления сливались в похожую на псалмы мелодию. Пирмон отделяют от Бюкебурга только несколько часов

¹ Теперь перед этим домом проходит улица, которая переименована в 1871 г. в Herderstraße в воспоминание о том, что прошло сто лет со времени прибытия Гердера в Бюкебург.

езды. Во второй год своей службы в Бюкебурга он провел в Пирмоне весь июль¹ не столько для пользования целебными водами, сколько из желания «перемены и развлечения». И туда манила его натура, а не игорный дом, «не разгуливавшие по аллеям куклы». В его словах слышится душевная бодрость. Эта местность кажется ему «самой красивой, самой романтической, какую можно себе представить»; розы, украшающие стакан, из которого он пьет целебную воду, напоминают ему Каролину; освещенные луной леса, в которых был разбит Вар, напоминают ему своими громадными дубами и буковыми деревьями клопштоковский идеал старинного германского величия и старинной германской храбрости — хотя все это и сопровождается вздохами о том, что люди, которые теперь там живут, не имеют ничего общего с окружающей их природой.

Мы в первый раз слышим от Гердера такие подробные описания природы; а наслаждения, которые она ему доставляла, даже охладили его рвение к серьезным занятиям. Он не был в состоянии продолжать литературные труды, начатые в Эйтине и в первое время его страсбургской жизни, частью потому что был в мрачном душевном настроении, частью потому что тратил свое время на развлечения. Он деятельно и охотно занимался только такой литературной работой, на которую он смотрел как на забаву. Через несколько недель после своего приезда в Бюкебург он взял из библиотеки Распе «Reliques» Томаса Перси, с тем чтобы возвратить их через год². Он с невыразимым удовольствием читает старинные баллады и воображает, что они переносят его в эпоху его юности. Английские песни он носит с собой, пускаясь в дальние прогулки. Он переводит их целиком или частями, как будто стараясь подражать слышанной им мелодии и постоянно вступая в борьбу с таким «дисциплинированным языком», как немецкий, а это занятие нравится ему, в особенности потому что он трудится для своей подруги³. Но, кроме того, у него есть и более высокая цель, частью психологическая, частью историческая. «Хотя этот детский тон, — пишет он, — и производит на слушателя самое ничтожное впечатление, тем не менее я надеюсь извлечь отсюда ничто не лишнее для меня большого зна-

¹ Еще в первый год своей жизни в Бюкебурге он намеревался отправиться туда вместе с Вестфельдом; письмо к Распе 31 мая 1771 г. (Weim. Jahrb. III, 42).

² К Распе 31 мая 1771 г. и 25 августа 1772 г. (Weimar. Jahrb. III, 46, 47). Распе прислал ему эту книгу 4 августа 1771 г. (*Dünßer C.*, III, 286).

³ Кроме некоторых мест в письмах к Каролине (А, III, 95; Воспоминания. I, 219 и сл.) см. письмо к Мерку (*Vagner.* II, 30, 36).

чения». Он смотрит на изучение баллад с такой же точки зрения, с какой смотрел на изучение и на перевод «древнейшей восточной книги» — книги Иова; в том же направлении он старается увеличивать свой сборник переведенных отрывков из произведений Шекспира. Все это были отголоски страсбургской жизни. О народных песнях, об Оссиане и Шекспире он вел речь и в начале своей переписки с Гёте; с этими же сюжетами находятся в связи и знакомые нам две статьи, написанные для Боде¹.

Но он не ограничивался переводами чужих стихотворений, а пытался выражать стихами свои собственные чувства — что также было отголоском страсбургской жизни, только с той разницей, что когда он в Страсбурге сидел больным взаперти, он не мог вдохновляться так же легко, как в то время, когда бродил по садам и лесам вокруг Бюкебурга. Хотя он сам и не был в состоянии воспевать свою возлюбленную так, как желал, но это не мешало ему все-таки писать в честь нее стихи. Бойе уже напечатал его старые поэтические упражнения в «Альманахе муз», скрыв имя автора; а теперь Гердер стал писать импровизации к своей возлюбленной или по поводу виденного им сна, или по поводу присылки ее портрета — стал излагать свои поэтические «грезы» и размышления. Это были письма в форме стихов с рифмами, не всегда удачно повторявшие то, что он уже прежде высказывал в прозе, и носившие на себе отпечаток его тревожного душевного настроения. Стихотворения удаются ему всего лучше тогда, когда он приправляет их желчью Свифта, бойким остроумием или ревностью. Мы будем впоследствии говорить о том, чем занимался Гёте, живя в Дармштадте. С начала марта 1772 г. он часто посещал этот город и в числе других песен, написанных под влиянием дармштадтской жизни, сочинил «Felsweihegesang» к Психее; в этом стихотворении он с высоты утеса с участием смотрел вниз на молодую девушку, погрузившуюся в мечты об отсутствующем любовнике. Эта мысль была не во вкусе Гердера. Он находил не в меру смелым поэта, который позволял себе обречь Психею на такую печальную роль, что ей точно будто приходилось укорять отсутствующего любовника? Он поспешил написать «импровизированный ответ», заключавший в себе грустный упрек «сбившемуся с толку идолослужителю», который не был посвящен на то, чтобы воспевать тот утес; вместе с этим Гердер обращался к возлюбленной с красноречивым описанием наступающей весны, которая принесет им обоим «бутоны розы

¹ См. выше, с. 564 и сл.

упования». Это стихотворение было написано в сущности из соревнования с Гёте, который отвечал Гердеру, «что впредь не будет посягать на его право наводить грусть на его возлюбленную». И Гердер со своей стороны поспешил написать несколько одобрительных слов этому «доброму и благородному юноше» — тогда между ними возобновились прежние хорошие отношения. Касательно того что в начале следующего года Гёте и Мерк стали ради забавы состязаться в сочинении вольных стихов, нам, к сожалению, известно только содержание реплики, написанной Гердером. В «*Bilderfabel für Goethe*» было больше желчи, чем поэзии, и Гёте имел полное основание обидеться этим стихотворением; тем не менее оно очень характеристично; в нем видно, с одной стороны, гордое сознание собственного превосходства, с которым Гердер сдерживал порывы смелого юного поэта, а с другой стороны, умение Гердера выражать чисто личное недовольство в живой поэтической форме. «*Bilderfabel*» — оскорбительное придиричивое послание в стихах, в котором Гердер, наряду с жалобами на свое тогдашнее неприятное положение, высказывает уверенность, что снова возвысится до юношеской бодрости. Гёте играет у него роль дятла, а он сам — сокол, который сначала не мог высоко летать, но скоро взлетит высоко на стыд крикливому, заносчивому и не в меру важничающему дятлу¹.

Еще более замечательно стихотворение, которое было внушено Гердеру изучением Шекспира и близким знакомством с частью драматическим, частью лирико-музыкальным характером национальной поэзии баллад. В шекспировском «Юлии Цезаре» его поразила личность Брута. Он находил в Бруте «одного из самых благородных смертных — благородного во всем»; «его образ глубоко запал в мою душу», — писал он Каролине. А кроме характера благородного римлянина, и его участь возбуждала в Гердере сострадание и наводила его на серьезные размышления, главным образом потому что и сам он так мало имел удачи в своих широких замыслах. Исполнение самых благородных желаний не в наших руках, а в руках судьбы — эта мысль уже начинала делаться его «любимой философией»; из нее он черпал утешение для самого себя и ею надеялся осветить все течение исторических событий. Ему хотелось свести все содержание шекспировской драмы к одной истине, именно к такой «господствующей

¹ Содержание стихотворения «*Felsweihegesang*» сообщил Вагнер (I, 115). Остальное видно в А, III, 239, 252, 263 и сл. Гётевская реплика — А, I, 42. «*Bilderfabel*» — А, I, 46 с прим. Дюнцера.

шей мысли», и выразить это содержание в лирической форме. Он задумал описать с назидательностью драматического баснописца, «как ничто на свете не может считаться безусловно хорошим, как все получает свою окраску извне, как самое лучшее начинание зависит от прихоти судьбы»; в качестве лирического поэта он хотел верно описать, «что должен был чувствовать Брут, когда судьба оказалась ему неблагоприятной и он пришел к убеждению, что ему следует расстаться с жизнью»¹. Из этого должна была выйти назидательно-лирическая драма; ее содержание составляли бы только извлечения из Шекспира, а положения действующих лиц служили бы только подкладкой и рамкой для выражения чувств. Гердер всегда ясно видел слабые стороны клопштоковских драм; он метко порицал расплывчивость и вялый характер действующих лиц в неудачной драме «Давид»²; благодаря сжатости и краткости изложения ему удалось придать Бруту, Кассию и Цезарю некоторое сходство с героями шекспировских драм — однако и его «Брут» имел более сходства с клопштоковскими героями, чем с шекспировскими! Насколько были бы более живы и пластичны и гётевская драма «Юлий Цезарь», и задуманные Гёте драмы «Магомет» и «Сократ», и как мало сходства имел с гердеровским произведением «Гёц», во многих отношениях обнаруживавший слишком большое подражание Шекспиру! Не говоря уже о том, что гердеровский «Брут» вовсе не годился для театра, в нем так сильно сталкивались драматизм и лиризм, что ни тот ни другой не достигал вполне своей цели: из него вышел лишь очерк, который не удовлетворяет нас своими чисто поэтическими достоинствами. Впрочем, и сам автор не намеревался создать чисто поэтическое произведение; у него была другая побочная цель. Один из сыновей великого Иоганна Баха, Фридрих Бах состоял при графе Липпе-Шаумбургском в должности концертмейстера; он был композитором и заведовал всем, что касалось придворных концертов³. Это обстоятельство побудило Гердера заняться практическими опытами относительно той связи между музыкой и поэзией, которая занимала его ум еще во время его пребывания в Риге; подобно тому как он мечтал

¹ Воспоминания. I, 221 и 222; в связи с этим указания Дюнцера (А, III, 258). Остальные, касающиеся «Брута» места в переписке с Каролиной: Воспоминания. I, 207, 233—234 и А, III, 274, 409, 410.

² Рецензия «Давида» в «Allgemeine Deutsche Bibliothek» (XX, I, 3 и сл.) впервые перепечатана в SWS. V.

³ Сведения о нем очень скудны; см.: *Bitter*. Carl Philipp Emanuel und Wilhelm Friedemann Bach und deren Brüder. II, 131 и сл.

о новой поэзии, он мечтал и о новой музыке; ему грезился идеал внутренней связи между этими двумя искусстваами — такой особый род поэзии, который, как выражался Гердер в конце статьи об Оссиане, «представлял бы настоящую середину между живописью и музыкой», и такой особый род музыки, «который не преобладал бы над поэзией». Поэтому его «Брут» был не чем иным, как «драмой для музыки», как темой, ожидавшей своего исполнения от музыканта. Его стихотворение должно было служить «лишь тем же, чем служит надпись на картине или на статуе, — объяснением, руководством для музыкальных идей». Оттого-то оно и кажется «отрывочным и неудовлетворительным в чтении; его следует не читать, а слушать; слова должны только оживлять трогательные музыкальные звуки, а эти звуки должны говорить, действовать, растрогивать, только придерживаясь указанных поэтом смысла и рамок». Он назвал свое стихотворение «комментарием в музыкальных иероглифах» к тому, что находится в Плутарховом жизнеописании Брута и в шекспировском «Юлии Цезаре». Со всеми этими объяснениями он обратился к знаменитому Глюку. Ему посоветовал обратиться к Глюку Ридель, охотно воспользовавшийся этим удобным случаем, для того чтобы — ввиду смерти Клотца — примириться с таким опасным врагом, как Гердер, и устранить все прежние «недоразумения». Ридель был вызван из Эрфурта в Вену на должность профессора при тамошней Академии художеств и вошел в близкие сношения с Глюком; в то время как этот композитор ездил в октябре 1773 г. в Париж для постановки на сцене его «Ифигении», Ридель жил в его доме и заведовал его делами. Встретив в качестве протестанта препятствия для продолжения своей профессорской деятельности, он стал искать новых занятий. В июле 1773 г. он обратился с письмом к автору «Критических лесов». Он писал Гердеру, что чтение статьи «О немецкой жизни и искусстве» возбудило в нем желание отыскать какого-нибудь талантливого немецкого композитора, который написал бы на стихотворения Клопштока музыку. В столице Германии, Вене, нашелся такой композитор в лице Глюка, который вполне проникся духом Клопштока и написал музыку на множество клопштоковских од и даже на всю драму «Hermannsschlacht»; Клопшток уже получил многие из этих музыкальных сочинений; Ридель изъявлял готовность прислать некоторые из них и Гердеру. Вслед за тем Гердер подписался на издававшуюся Риделем винкельмановскую историю искусства и вошел в сношения с самим Риделем; однако он сам отправил 5 ноября 1774 г. своего «Бру-

та» к великому композитору, выражая надежду, что, быть может, какой-нибудь добрый гений внушит ему желание написать музыку по меньшей мере на некоторые отдельные сцены!¹ С тех пор как Гердер стал в июле 1771 г. глубже вникать в эту тему, она уже не переставала занимать его ум. В мае 1772 г. он послал своей возлюбленной первоначальный набросок стихотворения; при позднейшей переделке он ввел туда личность Порции. Все это он изложил на бумаге в сущности «для самого себя»; однако его сочувствие к героическим добродетелям римлян сходилось со вкусами графа; поэтому он посвятил свой труд графу и поднес ему свое сочинение в рукописи в день его рождения, 9 января 1774 г. Этот подарок был принят очень любезно. Граф писал ему: «Мне было чрезвычайно приятно получить от вас текст для оперетки „Брут“, задуманный с римским чувством, в духе Шекспира, и написанный выразительным немецким языком». Граф даже принялся переводить некоторые отрывки стихотворения на французский язык, и впоследствии снова принимался за эту работу с целью сделать в ней поправки². По его желанию, оригинал был напечатан, после того как была исполнена в Бюкебурге музыка, написанная на этот текст Бахом. Лучшим доказательством того, что сам Гердер был доволен своим произведением, служит тот факт, что он старался спасти его от забвения при содействии другого, еще более великого, художника³. Однако он еще несколь-

¹ Письмо к Глюку помещено в «Steyermärkische Zeitschrift» (№ 10. Грац, 1830). Письма Риделя к Гердеру, из которых второе написано 26 ноября 1773 г., находятся у меня в рукописи. В последнем из этих писем он советует Гердеру обратиться к Клопштоку или к Бойе за экземплярами немногочисленных музыкальных сочинений Глюка, изложенных на бумаге, — ведь «Глюк сочиняет музыку в своей голове, а пишет ноты только в случае крайней необходимости. На драму „Hermannsschacht“ он не написал ни одной строчки».

² Письмо графини к Гердеру (Воспоминания. II, 106; сравн. Воспоминания. I, 260, 267, 268). Отрывок перевода, несколько стихов из последней сцены и позднейший проект поправок в переводе находятся у меня в подлинниках.

³ Из находящихся у меня в подлиннике писем графини к жене Гердера видно, что музыкальное сочинение было исполнено в первый раз 27 февраля. Графиня пишет: «Бах был очень доволен; в особенности вторая сцена третьего акта была им глубоко прочувствована... В четверг исполнение будет повторено для вас и для господина Гердера и т. д.». Графиня изъясляет 7 марта свою признательность Гердеру за вновь присланную ей превосходную сцену: «Все, что вы прежде писали, было превосходно, но получить новый отпечаток красоты и правды благодаря этому верному историческому очерку, первое из этих произведений уже отдано в печать». И она снова пишет 21 марта: «Посылаю вам несколько экземпляров „Брута“ — это все, что я могу вам прислать; я очень сожалею, что этих экземпляров так мало». Отсюда видно, что граф считал

ко раз принимался писать такие же музыкально-поэтические иероглифы. Он доставил Баху для переложения на музыку несколько духовных кантат — в 1772 г. кантату на воскресение Лазаря, а на Рождестве того же года кантату на детство Христа. Это были религиозные стихотворения, которые Гердер писал в подарок графине, между тем как позже написанный «Филоктет» имел и по содержанию, и по форме изложения некоторое сходство с «Брутом»¹.

Но между тем как Гердер искал развлечения в сочинении текстов для музыки, он, с другой стороны, старался приохотить себя к не менее легкой, почти механической, литературной работе. Еще со времени своего пребывания в Риге он был в долгу у Николаи по статьям, обещанным для «Allgemeine Deutsche Bibliothek». Он из Нанта писал к Николаи, извиняясь в недоставлении заказанных ему рецензий и прося на время не рассчитывать на них, а для доставления таких статей, которые не были немедленно необходимы, как например для статей о клопштоковской «Мессиаде» и о продолжении Денисова перевода произведений Оссиана, дать ему отсрочку². Лишь только он поселился на постоянное жительство в Бюкебурге, он известил об этом Николаи 6 мая 1771 г. Он называет себя «странствующим» идиотом немецкой литературы» и «совершенным невеждой в том, что каса-

рукопись своей собственностью и отдать ее в печать от себя. Это печатное издание, сделавшееся большой редкостью, носит следующее заглавие: «Брут. Драма для музыки. Переложена на музыку концертмейстером Бахом в Бюкебурге. 1774». В тексте, помещенном в SW в отделе литературы (VI, 204 и сл.), есть немало изменений; когда будет доведено до конца издание Суфана, оно даст возможность сравнить эти изменения с содержанием первоначального текста.

¹ Сравн. А, III, 251 и 445; Там же. 408, 416, 464; Воспоминания. II, 83, 95. — Об исполнении «Лазаря» графиня упоминала 29 ноября 1773 г. в письме к Каролине (сохранившемся в подлиннике). О «Филоктете» я нахожу первое упоминание в письме графини к Каролине от 27 декабря 1774 г. и потому считаю ошибочным высказанное в «Воспоминаниях» (I, 197) предположение, что «Филоктет» был написан в 1772 г.; наконец в стихотворении «Чужеземец на Голгофе» Гердер обрабатывал такой сюжет, которым занимался еще в Кёнигсберге (см. выше, с. 138). Эта пьеса была исполнена в Бюкебурге в первый раз на Святой неделе 1776 г., как это видно из письма графини от 9 апреля того же года. Все эти пьесы, с включением «Michaels Sieg и Pfingstcantate» (1773), напечатаны частью в «Воспоминаниях» (II, 144 и сл.), частью в SW в отделе литературы (IV, 182 и сл. и VI, 193). Кантаты собраны в одно целое в издании стихотворений у Дюнцера (с. 514 и сл.).

² LB. II, 53; для того, что следует, служила источником сведений переписка, напечатанная у Дюнцера (C, I, 317 и сл.).

ется наших новейших геройских подвигов»; но чтобы снова ознакомиться с текущей литературой, не было другого лучшего средства, как заняться составлением рецензий. Николай охотно принял его предложение, и Гердер посылал ему разные заказанные и незаказанные рецензии начиная с 7 сентября 1771 г. и по 14 августа 1773 г.¹ Он писал Гарткноху, что этим способом старался только уплатить старые долги. Однако, кроме того, ему было желательно поддерживать сношения с берлинской литературной школой и приобрести доброжелателей в редакции влиятельного журнала. Николай мог оказать ему новые услуги: ведь он серьезно помышлял о поездке в Берлин, для того чтобы посоветоваться насчет своего еще не совершенно излечившегося глаза. Вместе с Николаи он выносил разные оскорбления от приверженцев Клотца; к тому же он нуждался в помощи Николаи на случай, если бы его сочинение на премию навлекло на него новые нападки. Он сам напрашивался на поручение писать рецензии богословских сочинений, а когда Николай оставил это предложение без ответа, он горячо принялся за рецензии по отделу изящных наук, который был специальной сферой его занятий еще в Риге. Поистине странное зрелище! Самый гениальный из рецензентов поддерживает еще в течение целых двух лет дружеские сношения с самым дюжинным издателем, оттого что такие сношения желательны и выгодны для них обоих. А с каким презрением когда-то отзывался Гердер о письмах Николаи, как об «отрыжке жвачки ученого ремесленника», и с каким одобрением он отзывается теперь о журнале этого ремесленника, как вежли-

¹ Частью на основании переписки Гердера с Николаи, частью на основании одного выражения в письме к Гарткноху (С, II, 37 (однако там вместо С должно стоять L)), частью на основании совпадения разных внешних и внутренних мотивов, я полагаю, что кроме рецензий, перечисленных в SW (в разделе литературы. XX, 411, под № 10 (A. D. V. XVII, 2, 437 и сл.) и под № 11—22), Гердер написал следующие рецензии: о послании «к лифляндской и эстляндской публике» (A. D. V. XVII, 2, 609) и о кратком очерке эстетики Линднера (A. D. V. XX, I, 212 и сл.). Гердер подписывался буквами L, F и Ds. Я не вполне уверен, что Гердером написано объяснение на статью «касательно нравственной красоты и т. д.» (A. D. V. XIX, I, 261 и сл.), хотя Суфан и склонен думать, что оно написано Гердером. В рукописи я еще нахожу (С, I, 326) отложенную рецензию крамеровской оды «Лютер» и очень одобрительную рецензию «Исследований» Тукманна о древней истории северных народов. Что названными здесь рецензиями исчерпывается их список, подтверждается счетами, которые вел Николай всему, что печатал. Том SWS. VIII обещает нам все рецензии, помещенные в течение тех лет в «Allgemeine Deutsche Bibliothek». В SW напечатана только рецензия клопштоковских од (в разделе литературы. XIII, 271 и сл.). Сравн. SWS. IV, предисловие, с. VI.

во и почтительно выражается он даже тогда, когда не соглашается с его мнениями! Оба они, очевидно, еще не пришли к ясному сознанию несходства своих убеждений; но Николай едва ли не прежде Гердера пришел к такому сознанию. По некоторым пунктам они еще сходились во взглядах. Оба они были противниками и школы Клотца, и школы Готшета и Геллерта; оба они были одного мнения о страстной склонности Зульцера к нравоучениям и об отсутствии определенного направления в статьях, которые печатались в «Allgemeine Theorie der schönen Künste». Когда Гердер отдавал предпочтение рамлеровскому развитию идей Баттё перед шлегелевским и защищал Мендельсона от нападок Шлегеля, когда он порицал Якоби за слащавость публичных лекций о Горации, когда он утверждал, что драматические произведения Шекспира лучше удовлетворяют требования театральной сцены, чем произведения Вольтера и французских писателей, и вместе с тем хвалил Эшенбурга за искусные переводы — Николай охотно помещал в своей «Библиотеке» такие отзывы. Совершенно во вкусе Николай была и гердеровская рецензия смешанных произведений его друга Лессинга. Здесь Гердер дополнял замечания остроумного критика точно так же, как он их дополнял в своих замечаниях о Лессинговой теории басен и когда говорил в своих «Критических лесах» о «Лаокооне». Речь шла о теории эпиграммы. Рецензент высказывал желание, чтобы установление объективных понятий об этом роде поэзии было дополнено указанием производимого им субъективного эстетического впечатления и главным образом объяснением его происхождения и развития, он требует, чтобы наряду с эпиграммами Марциала был принят в соображение и тот живописный разряд эпиграмм, который так нравился грекам и который способен проходить различные ступени развития, — одним словом, он здесь уже высказывает ту мысль, которая была впоследствии подробно развита в первом и втором сборниках «Разбросанных листков»¹. Высказывая эти замечания, Гердер не сходил с той почвы, на которой стоял сам Лессинг; его похвалы Лессингу отличались изящным вкусом, и он скромно сравнивал себя с той тощей полевой мышью, которая могла только восхищаться при виде роскоши, среди которой жила ее городская подруга. Поэтому Лессинг не мог считаться виновником разлада между Гердером и Николаем. Несходство их точек зрения обнаружилось в первый раз при оценке произведе-

¹ Замечания касательно антологии греков, в особенности касательно греческих эпиграмм (Zerstr. Blätter. I, 99 и (вторая часть статьи) II, 103).

ний Клопштока; тогда Гердер убедился в рационалистической пошлости берлинца, восстававшей и против излишней возвышенности лирических чувств, и против нефилософских понятий благочестивого сочинителя од. Однако оба они снова сошлись в порицании пустоты содержания и клопштоковских, и оссиановских произведений. Они вели себя в этом отношении с дипломатической тонкостью. Гердер подробно изложил для Николаи план своей рецензии клопштоковских произведений, выслушивал от Николаи возражения и старался принимать эти возражения в соображение, не отказываясь от своих основных воззрений. А Николаи был так скромен или благоразумен, что признавался в непонимании этого предмета и предоставлял полную свободу Гердеру. У него сложилось его собственное мнение о Клопштоке, но в качестве издателя «Библиотеки» он считал нужным сообразоваться с общественным мнением; какое ему было дело до того, что его мнения и вкусы совершенно расходились с мнениями и вкусами рецензента? Он знал цену и дарованиям этого рецензента, и его сотрудничеству в «Библиотеки», а Гаман был не единственный человек, объяснявший ему, что сотрудничество Гердера делает ему честь и привлекает к нему массы подписчиков. Однако «крылья можно подвязывать или подрезывать». Действительно, только касательно одного пункта Николаи не был в состоянии отказаться от своих прав издателя — он не выносил гердеровского стиля, не выносил нарушения общепринятых правил, не выносил погрешностей против логики и грамматики, странных оборотов речи, слишком смелых сравнений и метафор. Но именно в этом отношении Гердер был уступчив до крайности. Он защищается от обвинений в смелости своего слога, так как в своих рецензиях «вдается в болтовню именно для того, чтобы быть понятным», — но он по-прежнему придает значение исключительно только содержанию своих статей и потому предоставляет недовольному издателю безусловно делать в его статьях изменения и пропуски. «Во всем мире не найдете человека, который был бы менее меня равнодушен к изменениям слов, выражений, метафор, периодов». Ему было хорошо известно, что Николаи и Мендельсон очень заботились о слоге и о правильности выражений, и он был готов следовать их указаниям. В начале своей литературной деятельности он старался выработать искусственный слог, а теперь он был до такой степени равнодушен к форме изложения, что стал выражать свои мысли сообразно с тем, как настроен его ум в данную минуту — то многозначно, то сжато, то высокопарно, то языком обыденной жизни;

он вовсе не заботится о слоге, потому что ему приходится заботиться о многом другом и в особенности о самом себе: поэтому он очень доволен, если его публично пожурят за эти недостатки, — лишь бы только журили в меру. «Поверьте, мой дорогой друг, что я не ищу оригинальных выражений, а употребляю их бессознательно; это — *labes aspersae*, а не *illecebrae conquisitae*, и как я благодарен всякому, кто по дружбе указывает мне на разные пятнышки!»

Впрочем, переписка не постоянно велась в таком дружеском тоне; нельзя не заметить, что с течением времени Гердер начинает тяготиться этим внешним гнетом, но не знает, как от него отделаться. Причиной разрыва были другие литературные занятия Гердера, за которыми бдительно следил Николаи. Первым поводом к неудовольствию было открытие, что Гердер печатает свои рецензии еще в другом журнале, который был конкурентом «Библиотеки». Это были «Frankfurter Gelehrten Anzeigen», а сотрудничество Гердера в этом журнале было последствием его дружбы с Мерком.

Франкфуртский ученый журнал существовал с 1736 г. В 1772 г. он перешел в руки Дейнета¹. Тогда он стал выходить в увеличенном объеме; совершенно изменилось и его содержание. Редакцию журнала принял на себя, по настоянию Мерка, автор катехизиса для сельских жителей и друг Гёте, Иоанн Шлоссер. В сотрудники были приглашены Гёпфнер, некоторые из его гиссенских сотоварищей, дармштадтский ректор Венк, юный Гёте и многие другие; а через посредство Мерка и Гёте и Гердер скоро получил приглашение участвовать в журнале. Гердер принял это предложение ради Мерка, которого считал настоящим руководителем предприятия. Оно было ему очень кстати, потому что доставляло ему возможность выражать его мнения без всяких стеснений и не ограничиваться — как того требовал издатель «Библиотеки» — только такими сюжетами, которые принадлежали к сфере изящных наук. В рецензиях, которые он присылал одну вслед за другой с апреля по октябрь 1772 г., он разбирал сочинения исторические, богословские, педагогические, филологические и философские². А к Мерку он относился с большим

¹ О журналах, издававшихся во Франкфурте-на-Майне, см.: Schwarzkopf. 1802. С. 27. Издание вышеупомянутого журнала прекратилось лишь в 1790 г.

² Эти рецензии не вошли в SW; их следует искать в SWS. VIII; их список помещен в SW (в отделе литературы. XX, 413). К перечисленным там девяти рецензиям следует присовокупить рецензию сочинения Михаэлиса о законе Моисея (№ 34 от 28 апреля 1772 г.). Гердер не привел в исполнение своего намерения написать рецензию на сочинение Гартлея «О человеке» (к Мерку: Вагнер. I, 41).

доверием, чем к Николаи, и называл его «Сократом-Аддисоном». О Гёте он говорит в своих статьях как «о молодом самонадеянном человеке с сильно шаркающими петушьими ногами», а самого себя называет «ирландским деканом с плетью в руках». «Сократ должен внимательно наблюдать за этими людьми, — продолжал Гердер, — потому что им предоставлено неограниченное право изменять и вычеркивать все, что им вздумается, — в особенности вычеркивать. Я очень часто употребляю такие выражения, что можно бы было подумать, будто читатели не понимают немецкого языка; а так как у меня вовсе нет той изящной округленности слога, которой вы вводите читателей в заблуждение, то всякий раз, как я читаю мои собственные произведения, я остаюсь ими недоволен и чувствую, что в них господствует внутренний разлад»¹. Но Мерк и не имел намерения и не был в состоянии очищать гердеровские рецензии от всего, что в них было грубо и угловато; а что касается тона этих рецензий, то редакция журнала намеревалась вести в этом отношении дело без стеснений для сотрудников². Поэтому следует полагать, что гердеровские рецензии печатались в том виде, в каком были написаны; их трескучие фразы послужили образцом и для рецензий Гёте, который, кроме того, на каждом шагу доказывал своими отзывами, что был учеником Гердера и был пропитан его идеями. Если Гердер действительно надеялся, что никто не узнает о его сотрудничестве во «Франкфуртском ученом указателе», то он обманулся в своих ожиданиях. Когда он отзывается о своих статьях с крайним пренебрежением, когда он говорит, что писал их «без всякой цели и почти против воли, вовсе не чувствуя призвания к этому занятию»³, то в этих словах сказывается его досада на то, что ему еще раз не удалось сохранить свое инкогнито. Даже если бы его тайны не разболтал Шлоссер, то орла можно бы было узнать по его крыльям, как выразилась Каролина. Его узнали по некоторым свойственным ему одному выражениям и, как обыкновенно водится, стали приписывать ему рецензии Гёте и некоторых других критиков, написанные в одном направлении с его собственными. По этому поводу ему пришлось выслушивать замечания от Гейне и от Кестнера, от Распе и от Клаудиуса, от Лафатера, от Гарткноха, и, что было для него всего более неприятно, — от Николаи; а в Йене даже было напечатано, что в рецензии статьи о происхождении языка, он сам себя назвал одним

¹ К Мерку в октябре 1772 г. (*Вагнер*. I, 37).

² (Гётевское) послесловие к году 1772 (напечатано в «Юном Гёте». II, 480).

³ К Лафатеру (A, II, 81); к Каролине (Воспоминания. I, 232).

из самых гениальных людей своего времени! Он не мог сходить-ся в мнениях с жалкими «уличными крикунами», прославлявшими Шлоссера; ему казались невыносимыми нелепости, которые писались на его счет; поэтому он беспрестанно заявлял, что его участие в журнале было крайне незначительно, — в одном письме он говорил, что написал для журнала не более семи рецензий, в другом письме говорил, что написал в течение целого года рецензий десять. «Мне очень неприятны, — писал он к Гейне, — нападки за мое сотрудничество во франкфуртском журнале; я совершенно невинен и впредь постараюсь ни в чем не провиниться». И своей дармштадтской подруге он писал: «Я хочу отказаться от всякой критики и литературной борьбы — лучше буду сам писать, чем критиковать то, что пишут другие»¹. Ему по меньшей мере было нетрудно распроститься с франкфуртским журналом. Беспощадный тон журнала и, как выражался Гёте, «безза-стенчивое старание ниспровергать всякие стеснения» возбуждали в публике негодование и навлекли на издателя множество неприятностей. В послесловии к последнему номеру журнала, вышедшему в 1772 г., Гёте заявил, что те рецензенты, которые возбудили своими статьями самое сильное неудовольствие, устраняются от сотрудничества. Направление «Указателя» до такой степени изменилось, что, например, в августе 1773 г. (№ 64), в рецензии гердеровских «Листков» о немецкой жизни и искусстве, автора обвиняли за его непатриотические нападки в статье об Оссиане на Геллерта, Вейссе, Лёвена и Шиблера. Тогда уже никто не мог заподозрить Гердера в сотрудничестве, а те немногочисленные рецензии, которые он писал в 1772 г., и те более многочисленные рецензии, которые писал Гёте, придали журналу такой же резкий отпечаток, какой когда-то придавали «Письмам о литературе» рецензии Лессинга. Тогда рецензии Гердера производили на публику — по словам одного гамбургского писателя — такое впечатление, что Гердер был чем-то вроде запевалы, а все остальные сотрудники только вторили ему².

Гердер занимался поэзией преимущественно для самого себя и для своей возлюбленной, вполне сознавая, что это было не

¹ Для всего вышеизложенного служили источником письма Гердера: к Гарткноху (С, II, 37 (сравн. 38 прим.)); к Николаи (С, I, 342 (сравн. 339)); к Распе (Weimar. Jahrb. III, 48 — в ответ на письмо Распе от 8 сент. 1772 г.); к Гейне (С, II, 138, 143 (сравн. 141) и 159); к Гаману в январе 1774 г. (Bremer Sonntagsbl. 1859. № 42); к Каролине (Воспоминания. I, 232 (сравн. А, III, 229, 389 и 404)); к Мерку (Wagner. I, 41).

² Клаудиус к Гердеру (А, I, 373).

главное его занятие, а только забава и развлечение; он писал рецензии не совсем охотно, как будто не имея духа прекратить эти занятия и постоянно повторяя, что «он не чувствует ни призвания, ни желания сделаться *dictator figundae clavis* в анархической республике немецких муз». Действительно, ему была бы гораздо более по вкусу какая-нибудь самостоятельная работа, если бы она могла идти успешно при его тревожном душевном состоянии! Ему хотелось закончить статьи о пластике и о еврейской археологии. В июле 1771 г. он скорбел о том, что все еще не продвигаются вперед ни эти две статьи, ни статья о Шекспире и что он не чувствует себя в состоянии работать с необходимой последовательностью. Мы уже ранее упоминали о том, что Боде поощрял его к окончанию статей об Оссиане и о Шекспире, но для занятия пластикой Бюкебург представлял еще менее удобств, чем Страсбург. Поэтому в августе 1771 г. Гердер вел речь о своем намерении побывать в Ганновере, для того чтобы осмотреть Вальмоденовский музей и «по меньшей мере настроить свою душу на надлежащий тон»; действительно, зимой 1771/72 г. он останавливался на пути в Гёттинген для внимательного осмотра музея, а в начале следующего года упросил Распе прислать ему из Касселя литую форму головы Лаокоона, таинственно намекая, что эта голова нужна ему для важной цели¹; и с Гейне он часто беседовал в Гёттингене о пластике, но не написал об этом предмете ни одной строчки; только в письмах к доброму Гарткноху, скромно напоминавшему о необходимости окончить начатые статьи, он иногда заводил речь и о пластике².

Еще более близко было к его сердцу и более серьезно занимало его ум сочинение о рассказе Моисея. Ради этого сочинения он предпринимал поездку в Гёттинген. Он собирался туда еще в ноябре 1771 г. с целью добыть в гёттингенской библиотеке нужные материалы³. В начале февраля 1772 г. он привел это намерение в исполнение; с тех пор Гейне стал помогать ему в задуманной работе советом и делом, а главным образом присылкой книг. Незадолго до своего отъезда в Гёттинген он написал Каролине: «Для сочинений, которые пишутся для публики, у меня недостает вдохновения или, верней, недостает охоты. Я по временам принимаюсь за такую работу, но в моей голове все путается, и я откладываю работу в сторону. Гораздо самоувереннее выражал-

¹ К Распе 25 августа 1772 г. (Weimar. Jahrb. III, 45, 46) и следующее письмо к Распе (Там же. 47).

² К Гейне (С, II, 120 и 127); к Гарткноху (С, II, 22, 42).

³ К Бойе 9 ноября 1771 г. (Вейнгольд. С. 181, прим. 2).

ся он по возвращении из поездки: «Я собираю для истории и философии человечества (хотя и без достаточного рвения) столько замечательных материалов, что из этого непременно должно что-нибудь выйти... Лазарь погружен в усыпление, но его тело не подвергается гниению». В письмах, которые он писал летом 1772 г. к Каролине, к Гарткноху и к Гаману, он также упоминал об этих приготовительных занятиях, которые не считал за настоящую работу; он говорил, что несмотря на его трудолюбие, все подвигалось вперед медленно и с трудом, что он не мог принуждать свой ум к работе, что он не был в состоянии работать даже если хотел, что у него все вываливалось из рук, что он читал и собирал материалы для обширного сочинения о первоначальной истории мира с таким усердием, к какому только теперь сделался способен, но ему еще недоставало «божеского призвания»¹. Причины такого душевного настроения вполне понятны; понятны и кажущиеся противоречия в словах Гердера. Он в первый раз брался за такое сочинение, которое требовало обширной ученой подготовки. Основная идея этого сочинения — изложение древнейшей истории человеческого рода — принадлежит к числу самых многозначительных. Сам Гердер требует от себя очень многого при исполнении этой задачи. Он еще не может равнодушно вспоминать о тех порицаниях и нападках, которые навлек на себя своими прежними, более или менее импровизированными и скороспешно набросанными на бумагу критическими статьями. Он был бы так доволен, если бы «не написал ни одной строчки, прежде чем достиг 30-летнего возраста!»² Он хотел во что бы то ни стало избегать новых неприятностей, хотел заставить позабыть все то, что прежде писал, хотел выступить перед публикой совершенно новым, еще вовсе не известным писателем. Но какой тяжелой работы требовало исполнение таких намерений! Он терял и бодрость духа и терпение ввиду накопленной массы ученого материала, с которой ему нужно было справляться; он чувствовал, что его гений был как будто поражен бессилием и скован; его честолюбивое желание скорей отличиться не сходилось с его желанием блеснуть новизной и величием идей; его усердие к работе мешало ему заняться теми статьями, которых давно ожидал от него издатель! Он так много трудился, а еще ничего не написал! В ноябре 1772 г. он писал Каролине:

¹ К Каролине (Воспоминания. I, 220 и А, III, 124); к Гарткноху (С, II, 18, 29, 30, 31, 32); к Гаману (Соч. Гамана. V, 12).

² К Гарткноху (С, II, 21).

«Неужели вы думаете, что я в течение двух лет вовсе не работал и проводил время в такой праздности, от которой можно умереть со стыда?» Вместе с этим он высказывает надежду, что все пойдет иначе, когда он соединится со своей возлюбленной; а когда осуществление этой надежды становится более близким, он находит нужным, прежде чем взять к себе Каролину, заняться авторской деятельностью «по необходимости и из дружбы» к Гарткноху.

Поездка в Гёттинген в феврале 1772 г. не только послужила началом для подготовки к большому сочинению по археологии, но и доставила ему душевный отдых, в котором он так нуждался при своей бюкебургской обстановке. Вот что он писал Каролине немедленно по возвращении из Гёттингена¹: «Поездка в Гёттинген была необходима при моем душевном настроении и была так удачна и приятна, как никакая другая. Она была для меня полезна не в ученом отношении, хотя я и отправился туда с обширным и важным замыслом, для исполнения которого работал даже по ночам, все-таки я не жалею о совершенном прекращении всяких занятий в течение целой недели — зато я нашел друга и подругу. Быть может, оттого что я был душевно к тому настроен и подготовлен, мои душевные силы освежились и окрепли благодаря знакомству с надворным советником Гейне и его супругой». Затем следует восторженная характеристика двух супругов — такая характеристика, какую мог бы написать страстно влюбленный юноша, говоря о той, которая внушила ему его первую любовь. Читая ее, мы мысленно переносимся в ту эпоху юности, когда человек не стыдится с полной искренностью изливать перед любимой девушкой свои чувства языком, который был создан для выражения этих чувств Клопштоком. Гердер чувствовал такую потребность в дружбе и в любви, что ему можно бы

¹ Воспоминания. I, 216 и сл. № 15 (к А, III, 185). Касательно остальных подробностей о пребывании Гердера в Гёттингене и о его отношениях к супругам Гейне см. «Корреспонденцию» (С, II, 118 и сл.). Кроме того, Бойе писал Кнебелю (в оставшихся после Кнебеля бумагах II, 118): «Гейне, Гердер и я проводили все вечера у кого-нибудь из нас». О других гёттингенских знакомых Гердера редко идет речь, хотя Гердер и видался со многими. В своих письмах к Гейне он просил передавать от него поклоны только Кестнеру и Дице. О том, что Лихтенберг посетил его в Бюкебурге в конце августа 1772 г., он писал Каролине (А, III, 336); он называл Лихтенберга самым приятным человеком, который снова влил в его душу способность наслаждаться чьим-либо обществом. Сам Лихтенберг подробно описал это свидание в письме к Дитриху от 7 сентября (Смешан. сочин. Лихтенберга. VII, 104 и сл.).

было в этом позавидовать, если бы разочарование не было делом таких чувствительных сердец. Именно в те годы своей жизни, когда человек переходил от юности к зрелому возрасту, он завел немало таких дружеских связей, которые носят на себе отпечаток юношеских увлечений. Как горячо он обнимал Клаудиуса, с каким пылом он бросился в объятия Мерка и какой фантастический отпечаток приняли его отношения к Лафатеру и к Циммерману! То же можно сказать и о его отношениях к супругам Гейне. Он уже давно читал в лице Гейне ученого знатока древности. Он находил в сочинениях этого ученого большое сходство со своими собственными идеями, находил то влечение к изучению древних времен и народов, недостаток которого он ставил в упрек Клотцу. Так, еще в то время, когда он не был лично знаком с Гейне, он всей душой сочувствовал простоте и величю, тщательности исследований и спокойному глубокому размышлению, которые находил в предисловии этого писателя к изучению древности. Теперь он нашел, что Гейне как человек был еще более симпатичен и еще более достоин уважения, чем как ученый; по его словам, это была «самая благородная, самая нежная, самая привлекательная душа, какой нельзя искать в человеке, посвятившем себя изучению латинской древности, и какую едва ли можно найти в течение столетий»; это был заклятый враг интриг, образец нежности, кротости и скромности, которому нужно было только разгонять окружавший его «туман человеческой апатии». В последний день пребывания Гердера в Гёттингене Гейне рассказал ему историю своей печальной, полной самоотвержения, юности — такую странную и поразительную историю, которая послужила утешением и поощрением для Гердера, также обреченного в его тогдашней «пустыне» на жизнь, требовавшую самоотверженности и терпения. С таким же сочувствием относился он к Терезе Гейне и в письмах к Каролине с восторгом описывал как эту женщину, так и всю семейную жизнь Гейне. Тереза Гейне была в его глазах одарена «самой искренней чувствительностью и была образцовой матерью»; она была не красива, но, когда она молчала, в ее лице выражалась мечтательность, а говорила она так, что в ее словах была видна вся ее душа; «я читал вместе с ней оды Клопштока; мы обменялись нашими экземплярами этих од; она высказала свое мнение лишь в немногих словах, но я не думаю, чтобы кто-нибудь другой мог высказать о Клопштоке более глубокомысленное и более восторженное мнение». Из писем Терезы к Гердеру видно, что эта женщина была всей душой погружена в меланхолическую мечтательность

и что жизнь была бы ей тяжела, если бы она не находила упоения в возвышенных идеях, мечтаниях и фантастических увлечениях. Понятно, что Гердер мог поверить ей тайну своей сердечной привязанности. И в ее робкой благородной душе он возбудил любовь. Из их откровенных признаний видно, какое неотразимое впечатление производил Гердер на жаждавшие любви женские сердца. Кисть, которой Тереза рисует портрет Гердера, — очень слабая кисть, но она рисует без фальши и вполне повинувшись голосу любви. Тереза знала не много достойных уважения людей, но добродетели даже самых даровитых отзывались какой-то суровостью. «А когда передо мной явился мой Гердер, тогда как будто открылись передо мной небеса и всем моим существом овладел какой-то высший дух, облеченный в изящное гибкое тело. Как мое сердце стремилось навстречу вашему сердцу! Я нашла в вас заслуги, добродетели, нежное чело-веколюбие, изящность понятия о нравственности, привлекательное, соединявшееся с возвышенными чувствами мужество и наконец нашла человека, достойного любви!» А обоюдная симпатия зародилась через посредство клопштоковских стихотворений, которые Гердер читал вслух: «Вы понимали мои слезы, когда ваш мелодичный голос, такой приятный и такой трогательный голос, вкладывал в мою душу гармонические стихи Клопштока!»

Итак, Гердер приобрел новых друзей — но это были дружба и любовь в разлуке! Такою же была и его дружеская связь с Клаудиусом. Как тяжело было ему на сердце, когда Клаудиус сообщил ему 20 сентября 1771 г., что собирается жениться, и потому просил доставить ему какую-нибудь небольшую должность в бюкебургских владениях. По этому поводу Гердер писал Каролине: «Бедный Клаудиус не знает, что и я сам еще не имею прочного места и до сих пор пью кофе из чужой чашки. Я писал ему, чтобы он еще раз побывал у меня, а к будущей весне, когда все расцветет и оживится, я предсказываю ему, что и он найдет место, где будет жить своей любовью, — так медленно зреет все на свете». Две парочки влюбленных, которые жили бы так близко одна от другой, — это напомнило бы Арденнский лес в драме Шекспира «Как это вам нравится»; такая фантазия казалась не в меру романтической даже Гердеру, так как люди «еще не живут в жилище праведных или в небесном Иерусалиме». Впрочем, Асмус устроился на собственный счет так романтически, как было возможно. С 1771 г. он был редактором «Вандсбекеровского вестника», по приглашению Боде. Он вместе с Боде обратился

к Гердеру с приглашением сотрудничать в их журнале¹, и Гердер стал время от времени доставлять им разные поэтические мелочи, старые и новые эпиграммы и переводы и даже раз прислал рецензию для помещения в «ученом отделе» или в «поэтическом уголке» маленького журнала². Однако это редакторское место

¹ Клаудиус к Гердеру (LB. III, 225); Боде к Гердеру (С, III, 282). Оба они потом неоднократно повторяли свою просьбу.

² Из поэтических призывов, напечатанных в «Вандсбекеровском вестнике», Редлих (*Die poetischen Beiträge zum Wandsbecker Boten gesammelt und ihren Verfassern zugewiesen*. Гамбург, 1871) положительно приписывает Гердеру следующие стихотворения: 1) год 1771, № 168: «Песенка к лютне»; № 173: «Добрый человек и безрассудная собака» (сюжет того и другого стихотворения заимствован из «Векфильдского священника»); № 195: «Орел и червяк»; 2) год 1773, № 16: «Иоанн»; 3) год 1774, № 21: «Картинки» (14 номеров); № 22: «Продолжение картинок» в 10 номерах; № 24: «Окончание картинок» в 3 номерах; № 43: «Параллель»; № 53: «Вопрос»; № 191: «К его друзьям» (Ног. III, 2); № 193: «К Каллиоппе» (Ног. III, 4); № 201: «К Бахусу» (Ног. II, 19); № 202: «К винному кувшину» (Ног. III, 21); № 206: «Картинки» в 2 номерах; 4) год 1775, № 8: «Картинки» в 3 номерах; № 11: «Картинки» в 1 ном.; № 20: «Картинки» в 2 ном.; № 31: «Картинки» в 7 ном.; № 44: «К Делиусу» (Ног. II, 3); № 45: «К республике» (Ног. I, 14); № 46: «К бландузийскому источнику» (Ног. II, 13) и там же: «К Неодулу» (Ног. I, 12); № 49: «К Риму» (Ног. IV, 4); № 60: «К себе» (Ног. I, 4); № 74: «К Диане и Аполлону» (Ног. I, 21). Редлих не вполне уверен в принадлежности Гердеру следующих стихотворений: год 1771, № 205: «Аристотелевская сколия в похвалу добродетели»; № 207: «Молодость и старость»; год 1772, № 76: «*Quod summum formae decus etc.*»; № 77: «*Sic dixit: illi autem etc.*»; год 1773, № 3: «Мария»; год 1774, № 65: «К живописцу». В находящемся у меня в руках письме от 24 марта 1804 г. к вдове Гердера Клаудиус утверждает, что все названные выше стихотворения, кроме нескольких других, были написаны Гердером; вероятно, на основании этого же указания и Дюнцер приписывает те стихотворения Гердеру. Клаудиус присовокупляет к своему списку: «Эти стихотворения, вероятно, написаны Гердером и даже только за исключением одного или двух, без сомнения, им написаны, хотя я и не имею возможности это доказать достоверными документами». Хотя список Клаудиуса, очевидно, не полон и хотя его указания касательно трех статей 1772 г., № 83, 95 и 149 (которые, по мнению Редлиха, были доставлены частью Штокгаузенем, частью Фридрихом Шмидтом) не верны, мое внутреннее убеждение все-таки заставляет меня разделять мнение Дюнцера. Из рецензий Гердеру, без сомнения, принадлежит та, в которой сделан критический разбор Шмидтовой биографии поэтов, год 1771, № 185 и 186 — она была снова напечатана в «Weimar. Sonntagsblatt» (1857, № 43); это подтверждают и вышеупомянутое письмо Клаудиуса к Гердеру, и письма Гёте (А, I, 36); быть может, Гердером же была написана небольшая рецензия сочинения Вальтера «*Die Weissagungen des Propheten Jesaias*», год 1775, № 30. Она подписана буквой О и к ней прибавлена следующая заметка: «Докт. Гёте издаст на Пасхе 1775 г. из типографии Мейера замечательное, недавно вышедшее сочинение „*Du théâtre ou nouvel essai sur l'art dramatique*“, которое переведено под его руководством и к которому он написал примечания и дополнения».

вовсе не было прибыльным; журнал с трудом влачил свое существование. Клаудиус задумал собрать и издать свои *honmots*, разбросанные в «Adress Comptoir Nachrichten» и в «Вестнике», но не мог найти издателя, а Гердеру также не удалось отыскать такого издателя, который захотел бы купить произведения Клаудиуса. Но влюбленный по уши поэт обошелся и без этого! Он поспешил вступить в брак со своей «простодушной, чистосердечной крестьянской девушкой», а удивленный этим известием Гердер воскликнул: «Как жаль этого бездомного, бедного Клаудиуса. Помочь ему нет никакой возможности! Будь он духовного звания, я взял бы его к себе!»¹ Но стесненное положение доброго юноши было постоянно предметом его забот. В октябре 1772 г. он написал к зятю Каролины тайному советнику Гессе в Дармштадт письмо, в котором умолял что-нибудь сделать для его «доброего, милого Клаудиуса». Он просил для Клаудиуса звания профессора изящных наук в Гиссене; но Гессе отвечал², что это место уже занято автором антологии Шмидтом; так же неудачна была попытка Гердера пристроить его друга в Курляндии при университете, который предполагалось основать в Митаве³. Прошло еще несколько лет, прежде чем Гердеру удалось найти должность для этого так мало пригодного для какой-либо должности человека.

Но в то время, как один из его новых друзей причинял ему столько тяжелых забот, ему не давали покоя и его старые друзья. Он в течение нескольких месяцев оставлял без ответа письма, неоднократно получавшиеся от Гарткноха. Ему было всего труднее отделяться простыми извещениями и откровенными признаниями именно от Гарткноха, которому он был так много обязан, которому он так много обещал и которого покуда не был в состоянии удовлетворить. Наконец, в августе 1771 г., когда его принудили взяться за перо известие о смерти мужа его старого друга — г-жи Буш — и необходимость принять какое-нибудь окончательное решение касательно предложений Кампенгаузена, в тоне его письма слышались нерешительность, смущение и натянутость⁴; он говорил, что еще не считает уместным прерывать свое молчание и вынужден примиряться с мыслью, что его рижские друзья имеют основание быть недовольными его поведением; в другом месте он говорил о своем «намерении» молчать и о желании, что-

¹ К Гаману (Соч. Гамана. V, II).

² 5 декабря 1772 г.; это письмо сохранилось в рукописи.

³ А, III, 380.

⁴ *Dünßer* C, II, 17. — Для дальнейшего изложения служат источником сведений следующие номера в переписке с Гарткнохом.

бы о нем позабыли! Но его сердце не выдержало, когда старый друг уведомил его о кончине своей жены, оставившей после себя малолетних детей. Во всех следующих письмах Гердера видно больше сердечности и откровенности; после того как они обменялись легкими упреками за прошлое, между ними восстановилось прежнее взаимное доверие и Гарткнох наконец узнал, какая была причина продолжительного молчания Гердера. Он узнал — уже через год после переезда Гердера в Бюкебург, — что его старый друг переживал очень тяжелый кризис, что любовь заставила его переселиться в такое место, где он жил в совершенном одиночестве, что он сделал ошибку, приняв на себя бюкебургскую должность и потому не решался взять к себе свою возлюбленную. «Теперь вам все объяснилось, — писал Гердер, — и мое молчание, и происшедшая во мне перемена, и мой отказ от должности в Лифляндии, и моя виновность перед моими друзьями! Если я согрешил перед вами, то простите меня! ведь я уже достаточно за это поплатился».

Этого было достаточно. Хотя у Гарткноха было немало своих собственных семейных забот, он извинил Гердеру его неделикатное поведение и сделал все, что мог, чтобы успокоить своего друга. Он удовольствовался тем, что Гердер дал ему очень неопределенные объяснения касательно давно обещанных, но все еще не написанных статей, а относительно большого сочинения, которым был теперь серьезно занят, не дал никаких определенных указаний; он стал снабжать Гердера книгами и пересылать ему из Риги в Бюкебург его пожитки с аккуратностью самого добросовестного комиссионера, так что Гердер не знал, что ему делать при виде этого хлама, так живо напоминавшего ему о его рижской жизни, — плакать или смеяться, благодарить Гарткноха или сердиться на него.

Этому верному другу скоро представился случай оказать Гердеру еще более важные услуги.

Из Лейпцига, куда Гарткнох приехал на пасхальную ярмарку 1772 г., он прислал Гердеру 26-й номер Кёнигсбергской газеты, в котором была помещена гамановская рецензия статьи Гердера о происхождении языка.

И эта статья, и назначенная за нее от академии премия уже причинили ее автору немало неприятностей. А так как Гердер намеревался начать новую эру своей литературной деятельности, то ему было крайне неприятно, что гамановская рецензия напоминала ему о прошлом и могла навлечь ему новые беспокойства. В то время, когда все поздравляли его с назначенной за его ста-

тью премией, он писал¹: «Эта премия, по правде сказать, вовсе не доставила мне большого удовольствия. Напротив того, она заставляет меня опасаться разных возражений и полемических статей. В моем сочинении много новых основных положений, и оно опровергает массу ходячих идей, уже возведенных в научную систему, а из газет видно, что на премию было представлено 29 сочинений; стало быть, у меня много завистников: меня ожидают разные неприятности, потому что я уже отложил в сторону мои боевые снаряды и не хочу снова браться за них». Чтобы избежать этих неприятностей, он не мог отговариваться тем, что не он был автором статьи; но разве нельзя было предотвратить нападки, прибавив к статье некоторые дополнительные объяснения? Он испросил на это разрешение от академии, но не принимался за работу, и потому что не чувствовал к ней охоты, и потому что не находил свободного времени; ему было очень приятно, что сама академия сделала небольшие изменения в тех местах его статьи, где он нападал на Зюссмильха, — а поступила она так потому, что Зюссмильх когда-то сам был ее членом². Гердер со страхом и с нетерпением ожидал выхода статьи в свет; но он снова впал в сильную нервную раздражительность, когда увидел ее напечатанной отдельной довольно большой книжкой в осьмую долю листа (в Берлине, у Фосса, 1772 г.); это было его первое сочинение, напечатанное с его именем под заголовком без приложения каких-либо других статей; но при ней не было извлечения на французском языке, которое обыкновенно печаталось самой академией — точно будто академия не хотела возлагать на себя новой ответственности за содержание книги. Николай уже давно писал ему в ответ на его запросы, что хотя острое содержание статьи и вызывает большие похвалы, но в способе изложения все порицает склонность к вычурным выражениям. Гердер писал на это в ответ: «Если бы который-нибудь из членов академии сжалился над этим несчастным сочинением, как я был бы ему благодарен! А теперь оно уже напечатано, и я стыжусь его». Он сам дивится небрежности своей работы и не понимает, какой демон сбил его с толку и как мог он писать таким слогом для академии; хотя содержание статьи и отличается ясностью идей, но способ изложения этих идей бросает тень на

¹ К Каролине (Воспоминания. I, 206).

² Гердер к Формею 28 августа 1771 г., в рукописи; сравн. написанное почти в то же время письмо к Гарткноху (С, II, 18: «Академия уже сделала с моего согласия некоторые изменения; но это касается лишь мелочей, и мне, без сомнения, предстоит тяжелая борьба»).

автора; каково бы ни было полезное влияние статьи, лично для него она может иметь только неприятные последствия. Посылая ее к Гейне, Гердер писал: «Что бы вы ни нашли в ней, она по своему тону не „отголосок моей души“!» В таком же тоне пишет он посвящение графу и письмо Каролине: «Мне придется тревожить вас в последний раз известиями о литературной борьбе по поводу моего сочинения на премию. Оно пагубно для меня, и я был бы рад взять его назад; но этого уже нельзя сделать; впрочем, оно принесет свои плоды, после того как выдержит первое сильное нападение. Теперь я ни за что не написал бы его»¹. Он никак не может успокоиться и ищет какого-нибудь способа предотвратить ожидаемые нападения. Он пишет заявление к публике, которое желает присоединить к своему сочинению, и обращается по этому поводу к Мериану, к Зульцеру, к Николаи. Он умоляет Николаи — ввиду того, что приверженцы Клотца нападали на них обоих, — не оставлять его без помощи, «не взваливать на его шею позора, которого он не заслужил вполне. Он помышляет об издании небольшого приложения, в котором сам будет критически разбирать свое сочинение и этим способом предупредит своих противников. Если бы удалось только «смягчить резкость первых отзывов публики», то потом можно бы было издать такой французский перевод всего сочинения, в котором оригинал был бы переделан. Впоследствии он узнал от Мериана причину, по которой сделанное им извлечение не было напечатано вместе со статьей, а будет издано особо; два академика нашли, что заявление к публике доставлено слишком поздно — когда сочинение на премию уже успело разойтись в значительном числе экземпляров; сверх того Зульцер старался успокоить его самыми лестными похвалами «философскому духу сочинения». Наконец, очень разумны были советы Николаи. Высказав и свое собственное мнение о достоинстве сочинения, и отзывы других, Николаи писал: «Я не могу одобрить вашего намерения издать приложение, в котором вы постараетесь некоторым образом опровергнуть то, что сами написали. Если в вашем сочинении есть недостатки, то они не ускользнут от внимания знатоков; но я нахожу вовсе не уместным, чтобы сам автор указывал эти недостатки тем полужнатокам, которые иначе вовсе не заметили бы их... Что же касается дополнений, то это будут не более как до-

¹ Николаи к Гердеру и Гердер к Николаи (С, I, 327, 328); к Гейне (Там же. II, 120); к Каролине (А, III, 178); граф Вильгельм к Гердеру (Воспоминания. I, 265).

полнения, а не цельные статьи, и, сверх того, это будут скороспелые дополнения, потому что вам остается мало времени». И намерение Гердера издать французский перевод встречало, по мнению Николаи, некоторые препятствия; впоследствии, если бы потребовалось новое издание, Гердер мог бы переделать свое сочинение, а покуда ему следовало довольствоваться тем, что было в его сочинении хорошего¹.

Действительно, нелегко было понять, почему автор был так недоволен своим сочинением и с чьей стороны он опасался оскорбительных порицаний и возражений. Этого не понимал ни один из друзей Гердера, которым он сообщал устно или письменно свои опасения. Ни Гейне, ни кому-либо другому из этих друзей не было известно, почему то сочинение Гердера было менее всех других его сочинений настоящим «отголоском его души»; все восхищались этим сочинением точно так же, как мы восхищаемся им теперь; даже появлявшиеся в печати отзывы большей частью вовсе не оправдывали опасений автора. Вот как мало был уверен в самом себе этот богатый новыми идеями писатель, вот как он напрасно мучил сам себя, стараясь уничтожить плоды своей собственной литературной деятельности! Это объясняется и несчастной раздражительностью его характера, и тем, что он был очень недоволен своим положением в Бюкебурге.

А теперь для его ипохондрии, по-видимому, послужил оправданием тот номер Кёнигсбергской газеты, который был ему доставлен Гарткнохом; этот номер газеты дал его ипохондрии иное направление и послужил поводом для давно подготавливавшегося болезненного кризиса, от которого он надеялся излечиться, но который беспрестанно вовлекал его в новые душевные кризисы.

С тех пор как Гердер выехал из Риги, он часто вспоминал о своем престарелом Гамане; когда он пожелал знать мнение Гамана о своем внезапном отъезде из Риги, Гаман написал ему успокоительное письмо, на которое он отвечал из Нанта также письмом, — но оставил это письмо на своем письменном столе². О Гамане он говорил и с Клаудиусом, и с Мерком. Из Страсбурга он писал Мерку: «Я не позабыл, что состою в долгу перед этим

¹ Николаи к Гердеру 18 февраля 1772 г. (С, I, 330); Зульцер к Гердеру от того же числа; Мериан к Гердеру 21 февраля; эти два последних письма сохранились в рукописи. Из первого видно, что изменения, касавшиеся Зюссмильха, исходили от Зульцера. Сделанное Мерианом извлечение было прочитано в заседании академии 6 июня 1771 г.; оно было чрезвычайно кратко и было напечатано в «*Mém. de l'Année 1771*» (с. 17—20).

² LB. II, 56, 70, 80, 89 и сл.

добрым человеком и буду писать ему в самом непродолжительном времени; я знаю, что он примет мое письмо за перышко из крыла эфирного гения». Когда Гарткнох ехал в феврале 1772 г. из Риги через Кёнигсберг на ярмарку, Гердер просил его передать самый сердечный поклон «почтенному престарелому Гаману»: «Ах, если бы вы привезли мне от него письмо! Я десять раз собирался писать ему, но и для него я не выхожу из моей берлоги»¹.

Тогда-то, вместо ожидаемого письма, он получил рецензию, вместо дружеского послания объявление войны! Еще раньше Гердера Гаман вдумывался в происхождение языка, но гердеровское сочинение, в котором доказывалось человеческое происхождение языка на основании доводов, заимствованные из тогдашней философии, было ему вовсе не по вкусу. Оно было в его глазах чем-то вроде ереси. Гаман усматривал божеское откровение повсюду — и в природе, и в истории, поэтому и человеческому языку он приписывал высшее, божественное происхождение; именно это убеждение он противопоставил воззрениям Гердера, обещая в скором времени снова заняться этим вопросом.

А всего прискорбнее было для Гердера то, что такой протест исходил именно от Гамана! Это дало новую пищу его мрачным думам. Он был вне себя от недружелюбного тона, которым была, по его мнению, написана рецензия. Он называет ее в письме к Гарткноху «злобным пасквилем», а в ослеплении от безрассудного раздражения воображает, что к нему относится одна из более старых гамановских статей, и потому считает себя вправе жаловаться на гнусную измену, на разрыв дружеской связи².

Гарткнох не ошибся, когда усмотрел в содержании гердеровского письма глубокую, искреннюю привязанность в борьбе с раздражением и с негодованием. Так как ему были хорошо известны и причудливый нрав Гамана, и раздражительный характер Гердера, то он успел без большого труда устранить недоумение. По происшествии только нескольких недель Гердер получил от своего старого наставника письмо, в котором Гаман

¹ К Мерку в сентябре 1770 г. (LB. III, 117); к Гарткноху (С, II, 23; сравн. LB. III, 304 и 368).

² Гердер к Гарткноху в мае 1772 г. (С, II, 27 и сл.). Этим более старым гамановским сочинением было предисловие к переводу варнеровского описания лома в костях (Соч. Гамана. VIII, 282 и сл.); на безрассудные подозрения Гердера Гаман делает намеки в письме к Гердеру (Соч. Гамана. V, 116); касательно их взаимных отношений сравн.: Соч. Гамана. V, VII и в особенности: *Гильдейстер*. V, 53.

уверял его в своей неизменной дружбе; к этому письму была приложена журнальная статья, под заглавием «Расправа с рецензентом»; она была написана с целью загладить дурное впечатление, произведенное гамановской рецензией¹. Гаман остался при своем прежнем мнении, совершенно расходившемся с мнениями Гердера, и снова высказал его в небольшом сочинении «Последние предсмертные мысли кавалера Розенкрейца о божественном и человеческом происхождении языка»²; но и сам Гердер не нашел в этом сочинении ничего для себя оскорбительного. В его сердце проснулись и прежняя любовь, и прежнее уважение к его «верному, дорогому, неизменному другу». Он ни за что на свете не хотел быть вероотступником в глазах своего старого «друга, Пана и Сатира»; он сознавал, что в течение последних лет ничего не черпал из этого богатого источника высоких идей, и в длинном письме, похожем на «целый фолиант писем», он высказал свое раскаяние и чистосердечно описал все, что касалось его материального положения и душевных тревог³.

Интересно проследить, как, с одной стороны, Николай, а с другой — Гаман старались подчинить своему влиянию богатый, но неустойчивый в своих убеждениях ум Гердера. Подобно маятнику, который качается из одной стороны в другую, и Гердер сближался в своих мнениях то с Николаи, то с Гаманом. Здравомыслящему Николаи, который прислал ему сочинение о кавалере Розенкрейце, он объяснял мистическую теорию Гамана о происхождении языка так разумно, как только было возможно. Он основательно замечает, что мнения Гамана сводятся к следующему положению: Бог даровал людям язык, но не путем сверхъестественного внушения (о котором идет речь в ортодоксальном учении), а через посредство животных и натуральных наклонностей. Он теперь поддерживает мнение о божественном проис-

¹ Письмо помечено 14 июня 1772 г. (Соч. Гамана. V, 6); вместе с прежней рецензией тидемановского сочинения «*Versuch einer Erklärung der Sprache*», в конце которой говорилось о скором выходе в свет гердеровского сочинения на премию, и вместе с «Расправой» Гаман напечатал свою рецензию гердеровского сочинения под заглавием «Две рецензии вместе с приложением касательно происхождения языка». Эти три статьи напечатаны вместе и в полном собрании сочинений Гамана (IV, 1—20).

² Соч. Гамана. IV, 21 и сл.

³ К Гаману 25 августа 1772 г. — это письмо напечатано с некоторыми пропусками в полном собрании сочинений Гамана (V, 7—14). Вообще вся переписка, которая велась с тех пор между Гердером и Гаманом, напечатана в сочинениях Гамана; однако текст гердеровских писем следует дополнять по оригинальным письмам.

хождении языка, ввиду его чувственной наглядности, и настаивает на том, что человек во всем слышал слово Божие, во всем видел Бога и т. д. В сущности это то же, что было сказано в сочинении на премию, но только было сказано другими словами без ссылки на чувственность, без пророческой высокопарности («мы — прозаические люди выражаем это так: человек создал для себя язык сообразно со своими природными и животными наклонностями»¹). Однако в своих отношениях к чародею-прицателю Гердер вовсе не был таким прозаическим человеком, который мог бы быть причислен к одному разряду с Николаи. Напротив того, он смеется над «благородным, разумным каналом», через который к нему дошло сочинение о кавалере Розенкрейце. Правда, и Гаману он старается доказать, что его сочинение на премию в сущности развивало ту же теорию, также было основано на положении, что Бог через посредство натуральных и животных наклонностей вложил в уста человека способность выражать то, что ему нужно. Но немедленно вслед за этими оправданиями Гердер извиняется, а вслед за извинениями изъясняет свою покорность. Королевская прусская академия не требовала и не могла требовать от сочинения на премию доказательств божественного происхождения языка. Но он утверждает, что заимствованная от Лейбница внешняя эстетическая форма была только маской, — и это утверждает он после того, как, наоборот, был недоволен тоном своего сочинения, так мало соответствовавшего требованиям академии! И этого мало. «Уверяю вас, — продолжает он, — что образ мыслей в этом сочинении на премию имеет на меня так же мало влияния, как та картина, которую я теперь вешаю на гвоздь к стене». В следующем его сочинении — о первом документе человеческого рода — будут приведены доказательства «совершенно противоположного мнения»; поэтому он надеется, что престарелый кавалер Розенкрейц снова ободрится и будет произносить вместо проклятий благословения.

Нет! Гердер сходилась в своих мнениях гораздо больше с Гаманом, чем с Николаи. Влияние этого последнего чувствовалось только издали и очень слабо, а Гаман все более и более привлекал Гердера на свою сторону с непреодолимой силой; он замечал происходившую в мнениях Гердера перемену и радовался, что снова отыскал своего Алкивиада, как радуется отец, отыскивший без вести пропавшего сына. Он старается вполне завладеть

¹ К Николаи 2 июля 1772 г. (С, I, 334).

душой своего ученика В ответь на многоречивые сердечные излияния Гердера он пишет: «Теперь мне самому смешна моя сократическая скорбь о том, что такой юноша, как Гердер, имел слабость увлечься современными писателями и усвоить их *bon ton*; но теперь моя радость так же искренна, как радость св. Павла, когда он убедился, что не основательно роптал на коринфян. Эбергарду он писал: «Гердер покаялся мне во всех своих грехах, а Гиерофант публично простит ему эти грехи»¹.

Действительно, таково было серьезное намерение Гиерофанта. У него так странно смешивались идеальные влечения с материальными, объективная точка зрения — с личной, что он стал писать, по поводу важного вопроса о происхождении языка, такое сочинение, в котором шла речь только о его личных отношениях к Гердеру и о его личных интересах. Он стал писать «филологические размышления и сомнения по поводу сочинения на академическую премию»². Все наше знание, писал он, истекает из откровения и преданий. Поэтому все, и в том числе язык, приобретается человеком посредством учения, а не выдумывается. Хотя гердеровское сочинение на премию и пытается доказать человеческое происхождение языка, но если сделать из положений Гердера все правильные выводы, то окажется, что эта попытка доказывает божественное происхождение языка. Приводимые Гердером доказательства опровергают сами себя. Он сначала утверждает, что человек одарен специфическими отличиями от животного, а потом говорит, что человек все-таки принадлежит к числу животных, что он мыслит и говорит также по инстинкту. Но далее Гаман позволяет себе коварную ироническую выходку, которая возбудила бы зависть в его прототипе — в древнем Сократе: он говорит, что «увенчанный на пифийских играх победитель» вовлекся в слабость своего времени ко всему относиться критически; но так как этот победитель «преклонил перед ним колена», то он торжественно милует его, благословляет и публично обнимает, как самого достойного из всех друзей чародея.

Если бы эта рукопись была напечатана, она привела бы в крайнее смущение Гердера, которого Гаман заставлял играть перед публикой такую жалкую роль. Она должна была служить до-

¹ К Гердеру 6 октября; к Эбергарду 7 октября 1772 г.; письмо к Гердеру было вложено Гаманом в письме к Эбергарду; это было сделано Гаманом с целью «выместить на филистерах свое неудовольствие» (Соч. Гамана. V, 15, 19; сравн. 21). Поэтому письмо Гамана не скоро дошло до Гердера через посредство Николаи (С, I, 340).

² Напечатаны в первый раз в сочинениях Гамана (IV, 37—72).

полнением к другой рукописи — к письму, которое Гаман написал на французском языке к королю (au Salomon de Prusse¹), читавшему только французские сочинения. В этом письме Гаман высказывал смелое желание, чтобы его величество еще более прежнего заслужил название отца своих подданных, чтобы он оказал свое покровительство немецкой литературе и отомстил за смерть Винкельмана, — тогда «Гердер будет Платоном и президентом вашей академии наук»! Гердер, к счастью, отделался одним страхом. В печати появилось только объявление о предстоявшем выходе в свет обоих сочинений; оно было написано языком, едва понятным для читателей, не посвященных в тайные замыслы Гамана, и имело внешнюю форму «Разговора автора с самим собой», адресованного к Николаи с предложением издать те два сочинения². Гаман излагал в этом «разговоре» содержание обеих рукописей в самых причудливых выражениях: по его словам, там заключалась апология «пифийского победителя» и высказывалось требование защитить честь Винкельмана и «оскорбленного Гердера». Николаи напечатал в нескольких экземплярах только свой уклончивый ответ Гаману³, написанный в подражание гамановскому посланию самым напыщенным слогом и подписанный именем Целия Серотина. Гердер получил гамановский «Разговор автора с самим собой» и ответное послание Николаи вместе с тревожным указанием содержания тех оставшихся ненапечатанными произведений Гамана, в которых его имя и его личность играли или должны были играть такую опасную роль. Он встревожился при мысли, что ему придется ссориться или с Гаманом, или с Николаи. К Целию Серотину он написал письмо, в котором жаловался на то, что его впутывали в дело, не спросив его согласия и очень неделикатным образом, а своего Гамана он умолял пощадить его «скромное провинциальное положение», его духовную должность, в особенности в такое критическое время, и не навлекать опасностей на самого себя⁴.

¹ Напечатано в первый раз в сочинениях Гамана (VIII, 191—199). В предисловии к IV тому ошибочно замечено, что приложением к филологическим размышлениям и сомнениям служило «Lettre perdue d'un Sauvage du Nord». Верное указание можно найти на с. 190 VIII тома. Эту поправку просмотрел Гильдемейстер (II, 84).

² Теперь напечатано в сочинениях Гамана (IV, 73 и сл.).

³ Гильдемейстер (II, 83) ошибочно утверждает, что Николаи сам читал рукописи.

⁴ Николаи к Гердеру 2 марта; Гердер к Николаи 11 марта 1773 г.; к Гаману от того же числа (указание в сочинениях Гамана (V, 27) на 9 марта было ошибкой издателя).

Гердер скоро избавился от этих забот, так как Гаман сначала успокоил его насчет содержания своих рукописей, а потом, в ответ на его неоднократные просьбы «оставить его теперь в покое», отказался от намерения печатать и «Размышления и сомнения», и их французское приложение¹. Однако и над заботами Гердера постоянно брало верх радостное сознание, что ему снова принадлежит сердце Гамана и что он сам всей душой принадлежит Гаману. С той минуты как между ними возобновилась переписка, дружеская связь Гердера с Николаи становится все более шаткой, а влечение Гердера к Гаману становится все более сильным. Всякий раз как Гердер получает от Гамана новое письмо, он приходит в неописанный восторг только при виде адреса на конверте. Он настоятельно просит Гарткноха прислать ему оставшиеся в Риге старые сочинения чародея — тот экземпляр этих сочинений, на котором сделаны автором рукописные заметки: он хочет вдоволь насладиться сочинениями Гамана и «снова возбудить в себе сочувствие к его идеям». Он просит Гарткноха доставить ему и те статьи, о которых шла речь в «Разговоре с самим собой», — «все равно горек миндаль или сладок! Он во всяком случае достигает цели, принося здоровье»². Недовольство своим сочинением о происхождении языка он выражает теперь совершенно в гамановском духе; в качестве писателя, обращенного на истинный путь указаниями кавалера Розенкрейца, он пишет Мерку, что теперь вполне убедился в неосновательности своих воззрений и намеревается доказать это тем глупцам, которые нуждаются в доказательствах!³

Это отречение от прежних убеждений было вскоре после того публично высказано в «Древнейшем документе». Именно это сочинение было с самого начала задумано с одобрения Гамана и на основе гамановских воззрений; у Гамана Гердер просил сообщения его мнений о книгах Моисея или письменных замечаний об этом предмете⁴. Но первым доказательством такого возврата к гамановским идеям или, вернее, полной победы этих идей над всем, что до того времени гнезилось в уме Гердера,

¹ Гаман к Гердеру 20 марта 1773 г.; Гердер к Гаману 21 июля 1773 г. (Соч. Гамана. V, 38). Рукопись филологических размышлений была потом подарена автором Мозеру (Гарткнох к Гердеру — С, II, 59), а от этого последнего перешла к Гердеру (Соч. Гамана. V, 162 вместе с дополнением на с. 189 VIII тома).

² С, II, 36, 40, 42, 44, 46.

³ Вагнер. I, 41.

⁴ Это видно из гамановского ответа (Соч. Гамана. V, 24, 25) на то письмо Гердера от 2 января 1773 г. (сравн. А, I, 417), которое до нас не дошло.

была написанная для франкфуртской газеты рецензия переведенного на немецкий язык сочинения Джемса Бетти «О свойствах и неизменяемости истины в противоположность с мудрствованиями и скептицизмом»¹. Хотя автор этой рецензии не высказывает безусловного одобрения произведению шотландского писателя, хотя он находит, что декламации этого писателя, направленные против Юма, Беркли, Бэйля, не достигают своей цели, что даже неверная теория не может считаться ответственной за все проистекающие из нее практические заблуждения и что каждая спекулятивная система имеет свое достоинство в качестве хорошо изложенной гипотезы, в качестве поэтического вымысла; но в общем результате он восстает заодно с «философом здравого смысла» против преувеличения отвлеченных умозрений, против всякого одностороннего философствования, против «модного призрака того столетия»; заодно с тем философом он требует философии для «цельного человека» — такой философии, которая не чуждалась бы чувства и опыта, которая признавала бы, что всякая истина должна быть наглядна, должна быть основана на природном влечении к правде и к добру. Иными словами, это была гамановская религиозная философия; автор рецензии признает себя ее последователем, когда заканчивает свои рассуждения такой выпиской из «Сократических достопримечательностей», которая «говорит в нескольких остроумных строках едва ли не более того, что заключает в себе все сочинение Бетти».

Этот безусловный переход на сторону гамановских воззрений был самым выдающимся событием в течение тех двух лет, когда Гердер жил в своем бюкебургском одиночестве. Этим завершился тот переворот в убеждениях, который подготовлялся со времени пребывания Гердера в Страсбурге, обнаруживался вплоть до его переезда в Веймар во всем, что он думал, делал и писал, и представлял резкую противоположность с мирскими, даже практически-политическими идеями, занимавшими его во время его путешествий и в Нанте. Главной причиной переворота было то возбуждение нравственного чувства, которое уже не раз сказывалось во время тяжелых страсбургских испытаний; а разрешилось оно переходом к «новым религиозным убеждениям». С тяжелой душевной борьбой и с необходимым самоотвержением он старается отложить в сторону все помыслы, внушаемые мирским честолюбием; в то же время он отказывается от своих прежних рационалистических воззрений, и, как бы для того чтобы

¹ Frankfurter Gel. Anz. 1772, номера 84 и 85 от 20 и 23 октября.

найти для себя душевное спокойствие и утешение, он со всей энергией своей фантазии погружается в религиозную мечтательность и в положительные верования.

Об этом внутреннем перевороте и о его мотивах Гердер неоднократно сообщал своим друзьям с полной откровенностью. Как эти новые признания противоречили той заносчивости, той пылкой жажде почестей, отличий бессмертия, которая сказывалась в его нантском дневнике! Теперь он пишет Гарткноху: «Ослепленный страстями юноша воображает, что все легко дается, и мечтает о том, как достичь какого-нибудь блестящего положения!.. А я мечтаю теперь о второй половине моей жизни! Которые-нибудь из этих мечтаний и осуществляются! Я хочу жить с достоинством, в добре и в душевном спокойствии!»¹ О том, как он был ранее избалован счастьем и молодостью, а теперь в своей бюкебургской должности признавал свое бессилие, он говорил в той проповеди, в которой прощался со своими бюкебургскими прихожанами². Именно этот прошлый опыт заставляет его довольствоваться скромными желаниями, заботиться о своей нравственной чистоте, «жить для самого себя» и «трудиться для своего личного благосостояния». Он стремится к тому, чтобы всегда быть «твердым в убеждениях, степенным и безукоризненным». Он пишет Каролине: «Прошло время моего тщеславия и моего жалкого существования; теперь я только желаю жить в природе и в правде... Почести и чванная пышность уже давно утратили в моих глазах всякую привлекательность. Бессмертная слава — пустая, покрытая колючками скорлупа, для которой могут служить зерном только добродетель и гуманность. И днем, и ночью я теперь помышляю только о том, как отделаться от всяких пошлостей и не иметь в виду никакой другой цели, кроме той, чтобы быть человеком». Он был бы совершенно доволен, если бы ему удалось сделаться лучшим во всей Германии сельским пастором; тогда он «стал бы писать сельские идиллии, а всю ученость и все мирские заботы предоставил бы стоявшему в Архипелаге русскому флоту». Иногда он высказывает не свои намерения, а скорей свои наблюдения над самим собой: его нравственные стремления принимают вид натурального внутреннего переворота, который приводит его самого в удивление. Он находит, что его натура совершенно изменилась, что некоторые «распустившиеся листочки отвалились от него» и что «в нем зреет

¹ С, II, 27, сравн. 32.

² Воспоминания. II, 166.

какой-то плод». Однако он все еще старается найти оправдания для такой перемены, вызванной его положением; он хочет остаться при этой перемене и надеется на содействие своей возлюбленной, когда она будет жить вместе с ним. Он радуется такой перемене, потому что «при своей прежней дикости» он был бы менее достоин тех сокровищ, которые таятся в сердце Каролины; он взывает к содействию Каролины, для того чтобы сделаться таким деятельным человеком, каким он создан от природы¹. На свою новую дружескую связь с Терезой Гейне и с ее мужем он смотрит с такой же нравственной точки зрения. И этим новым друзьям он признается, что «ему хочется сделаться совершенно другим человеком — вовсе не таким, каким прежде казался»; что он уже давно помышляет только о том, как «сделать из себя именно такого человека, каким он желает быть»; прежде его «ум был совершенно отуманен мечтами о мирской деятельности и общей пользе», а теперь он отказался от этих целей и потому просит своих друзей о поощрении и содействии².

Гердер несколько изменял тон этих признаний, когда имел основание опасаться, что они вызовут порицание. Дальнозоркий Мерк очень скоро заметил происшедшую в нем перемену и сообщил Каролине, что Гердер уже не тот человек, каким был прежде, когда был точно птичка на ветке. Что Мерк не мог сходиться в мнениях с Гердером, было видно и из того, что тон его писем сделался более сдержанным. Гердер старался избежать разрыва с человеком, которого привык уважать, относился к Мерку с полной откровенностью и признался ему в перемене своих религиозных убеждений. В одном из писем, написанных в октябре 1772 г.³, он говорил, что его положение в Бюкебурге произвело в нем внешнюю перемену, что прежде во всем, что он делал, были видны горячность, тщеславие, неудержимые порывы, юмор и что, конечно, нелегко, хотя и не совершенно невозможно превратить причудливого мечтателя с козлиными ногами в стройного Аполлона. Далее он писал: «Вы легко можете себе представить, что у теолога исчезло прежнее вольнодумство; но вы едва ли могли ожидать, чтобы этот вольнодумец превратился во вдохновенного мистика. Но чем меньше наша душа довольна окружающей средой, тем охотнее она создает или измышляет для себя новую среду. Мысль о небесах никогда

¹ А, III, 51, 56, 78, 159, 280, 353, 401; Воспоминания. I, 208, 215, 220 и некоторые другие тому подобные выражения.

² С. II, 121, 149, 159.

³ Вагнер. I, 35.

не покидает отшельника». К сожалению, нам приходится лишь путем догадок доискиваться содержания ответного письма Мерка; ни он сам, ни Гёте, с которым он в то время находился в самых частых сношениях, не могли понять, какой переворот совершился в уме нашего отшельника; они ничего не знали о том, что Гердер снова подпал под влияние Гамана; поэтому можно предполагать, что в своем ответном письме Мерк высказывал разные замечания касательно характера и положения Гердера и давал такие советы, которыми Гердер не мог воспользоваться; при этом он, по всему вероятно, не скрывал и своей заботливости о положении Каролины Флаксланд. Гердер отвечал на это двумя письмами, быстро следовавшими одного после другого¹, и старался устранить причины такого недоверия. Он называет Мерка плохим утешителем, а Гёте плохим прорицателем, плохим знатоком человеческой природы и плохим астрологом. Он отвергает нелепое мнение, которое они составили себе на его счет. Его душа, как он сам признается, часто находится в таком положении, что из нее раздаются пронзительные, а не гармонические звуки; его прежнее вольнодумство подвергается такому тяжело-му испытанию, которое, вероятно, превратится в испытание огнем. А неосновательные порицания его друзей принадлежат, как он выражается, к «его чаше страданий в той юдоли, в которой он если не на радость их всех, то им наперекор, когда-нибудь появится с иной чашей в руке». «А так как, — продолжает он, — я стараюсь подавить в себе все, что отзывается тщеславием и эгоизмом, и мне недостает для пробуждения моих душевных сил только того чуда, о котором я говорил, то вы не должны торопливо произносить ваш окончательный надо мной приговор, а должны пробуждать меня из усыпления и поощрять».

Из содержания этих писем уже ясно видно, что Мерк и Гёте были не те люди, чьим убеждениям Гердер всего сильнее сочувствовал. Именно в то время их переписка превратилась в «перебрасывание комков снега», в тот обмен плохих стихотворений, от которого сохранился единственный остаток — уже ранее нами упомянутая «*Bilderfabel für Goethe*».

Прежний вольнодумец, превратившийся теперь во «вдохновенного мистика» и окончательно променявший Николаи на Гамана, вступил в переписку с тем писателем, которого незадолго перед тем начали считать главой и гениальным пророком всех благочестивых мечтателей. Через три месяца после того как Гер-

¹ Вагнер. I, 37 и сл. и I, 40 и сл.

дер возобновил прежние сношения с северным чародеем, он в длинном письме выразил свое дружеское сочувствие к цюрихскому апостолу, а эта дружеская связь с Лафатером скрепила привязанность к лагерю верующих.

С половины 60-х годов Лафатер непрерывно помышлял о большом дидактическом стихотворении, которое было бы дополнением к клопштоковской «Мессиаде» и было бы написано на самую возвышенную тему, какую только может себе представить человеческая душа, — на тему будущей жизни. Колеблясь в выборе внешней формы для этого стихотворения, он обращался за указаниями к знатокам этого дела, к поэтам и к критикам, подобно тому как в наше время спрашивают мнения экспертов, прежде чем приступить к большому промышленному предприятию. Он обращался с тем же вопросом и к автору «Отрывочных заметок», но до него не дошел ответ Гердера¹. В связи с его широким поэтическим замыслом его также занимал вопрос о божественности содержания Священного Писания; он с рвением самоучки доискивался отличительных свойств ума и силы, а это занятие навело его на исследование библейского учения о вере, о молитве и об умственных способностях; он вычитал из новозаветных книг, что дар пророчества и способность творить чудеса не были исключительным уделом времен апостольских и, стало быть, даже в наше время они могут встречаться у христиан в какой бы то ни было стране; тогда он снова стал собирать мнения и, составив список вопросов, касающихся этого предмета, разослал его «ко всем друзьям истины для беспристрастного экзегетического исследования». Гердер получил в Париже адресованный на его имя экземпляр «трех вопросов» и почти в то же время узнал от Николаи о новой наивной выходке Лафатера — о том, что Лафатер посвятил Мендельсону свой перевод сочинения Боннэ «Апология христианства» и при этом публично потребовал от Мендельсона или опровержения доказательств, приводимых у Боннэ, или обращения в христианство². Всякий, кто вступал в переписку с Лафатером, мог сделаться жертвой его нескромной болтливости — и Гердер надеялся укрыться во Франции от его настойчивых требований. Но и независимо от опасения компрометировать

¹ См. выше, с. 313. В «Воспоминаниях» (I, 234) говорится, что Лафатер «не раз» обращался к Гердеру с письмами в Ригу. Гердер говорит о трех письмах от Лафатера (LB. II, 106).

² LB. II, 93 и сл.; сравн.: Гесснер. Жизнь Лафатера. I, 338 и сл. Лафатер. Мысли о будущей жизни. I, III; письмо Николаи к Гердеру (LB. II, 101).

себя перепиской с Лафатером, Гердер вовсе не чувствовал желания отвечать на предложенные ему вопросы. Нам уже известно содержание философской статьи, которой он закончил свои споры с автором «Федона» по вопросу о бессмертии души¹. По своим убеждениям он принадлежал скорее к числу философских скептиков, чем к числу верующих, и если не сходилась во мнениях с Мендельсоном, то еще менее сходилась во мнениях с Лафатером. Он писал к Николаи²: «Несмотря на свое прямодушие и усердие, Лафатер — энтузиаст и нередко такой энтузиаст, который находится в совершенном ослеплении»; упомянув о предложенных ему трех вопросах, он продолжал: «Эти вопросы задуманы крайне поверхностно, без всякого знакомства с языком Библии и с первыми временами христианства, а потому открывают путь к тысяче новых сумасбродных идей. Какое жалкое положение нашей религии! Ортодоксия без человеческого здравого смысла, реформации, совершающиеся с безрассудной торопливостью, а теперь проявление нового фанатизма — только этого еще не доставало!»

Из этих слов Николаи понял, что Гердер был одного с ним мнения об этом мечтателе. И Каролина не обнаружила сочувствия к Лафатеру, когда Гердер сообщил ей — через три года после того, в декабре 1772 г., — содержание восторженного послания, написанного Лафатером в ответ на его письмо³. И в Дармштадте составилось о цюрихском апостоле такое же мнение, какое имели о нем в Берлине, так как до того времени только Лейхценринг был лично с ним знаком. «Не могу понять, — писала Каролина Гердеру, — о чем вы говорили ему в вашем письме и как вы дошли до такой странной и фантастической с ним дружбы?» Гердер стал читать сочинения Лафатера только со времени своего пребывания в Бюкебурге и только с тех пор, как стал писать и читать преимущественно о том, что касалось богословских вопросов. Он прочел только что вышедшие в свет «Библейские рассказы для юношества» и хотя не нашел их тон вполне соответствующим безыскусственному библейскому повествованию, однако был глубоко растроган их задушевностью. Проповеди Лафатера и вышедшие еще в 1768 и 1769 гг. первые две части «Мыслей о вечности», которые прежде лишь слегка просматривал, он внимательно прочел в такое время, когда узнал о кончине своей

¹ См. выше, с. 414 и сл.

² LB. II, 106.

³ Николаи к Гердеру (LB. II, 145); в переписке с Каролиной (А, III, 410, 415, 419).

матери¹, и потому «жил душой вне этого мира». Эти произведения убедили Гердера, что Лафатер был вовсе не похож на того человека, каким он его знал по некоторым плохим стихотворениям и по ходившим неосновательным слухам; в ответ на выраженное Каролиной удивление Гердер писал: «После Клопштока Лафатер — едва ли не величайший гений во всей Германии (только не в качестве поэта); каждую старую и новую истину он объясняет так наглядно, что ему прощаешь даже все его сумасбродства, а во всех его размышлениях и мечтаниях видна такая сердечная искренность, которая очаровывает меня».

Лафатер действительно отличался и гениальностью, и сердечной искренностью, но его гениальность, никогда не достигавшая зрелого развития, всегда довольствовалась ребяческими фантазиями и мелочами, а к его сердечной искренности примешивались тщеславие и лукавство, и она лишь вовлекала его в самообольщения. В нашей литературе еще не было другого примера, чтобы так ярко заблиставшая на литературном горизонте звезда угасла в таком мрачном тумане; еще не было примера, чтобы лучшие люди, так горячо любившие и превозносившие писателя как нового пророка, потом отвернулись от него с таким презрением, отвращением и суровым порицанием. В то время как Гёте и Гердер видели в Лафатере гения, которому не было равных, и считали его за вполне безупречного человека, Николай и Мендельсон вполне основательно не разделяли ни этой незрелой восторженности, ни этого наивного сочувствия; а те, которые жили в самых близких сношениях с новым пророком и подвергались непосредственному влиянию его привлекательной личности, не переставали питать к нему любовь и преданность даже после того, как Гёте и Гердер уже давно прервали с ним сношения и признали в нем только католического попа и иезуита. Лафатер

¹ Во время своих путешествий он несколько раз писал к своей матери (к Гарткноху — LB. III, 265) из Парижа, из Амстердама, из Страсбурга, но, не получая от нее ответа, опасался, что ее уже нет в живых (Там же. С. 86, 259). После того Гарткнох уведомил его в письме от 10 мая 1772 г., что его мать находится в очень плохом положении (С, II, 25). И прежние опасения насчет ее здоровья, и это письмо Гарткноха принадлежали к числу тех тяжелых испытаний и огорчений, которые переживал Гердер в своем бюкебургском одиночестве. Он писал в ответ Гарткноху (С, II, 27), что тяжелое положение его матери длится бесконечно и что он постоянно думает о ней. Чтобы ей помочь, он занимает деньги и просит своего друга передать их ей. Его последнее письмо уже не дошло до нее. Его сестра уведомила его письмом от 19 сентября 1772 г., что мать его скончалась 3 сентября, и он со скорбью писал об этом своей невесте (С, II, 33 с прим.; Воспоминания. I, 228 и А, III, 361).

был человек добрый, но слабохарактерный, богато одаренный от природы, но нетвердый в своих убеждениях, с горячим сердцем, но с самым мелким самолюбием¹.

Даровитость этого писателя, его пылкая фантазия и его горячее сердце, сначала казавшееся таким чистым и благородным, ни в чем не сказывались так блистательно, как в «Размышлениях о вечности». А это сочинение должно было служить лишь подготовкой и программой для упомянутого нами ранее большого стихотворения о будущей жизни. В письмах к своему другу Циммерманну Лафатер объяснял, какие идеи и каким способом он будет развивать в том стихотворении; печатая эти письма, он приглашал всех читателей помогать ему в таком великом предприятии. Он предполагал начать с описания человеческой натуры, потом при помощи доказательств, основанных на аналогии, объяснить путем догадок, что наша жизнь продолжается и после нашей смерти, объяснить также путем догадок, в чем должно заключаться наше будущее существование, и наконец извлечь более определенные указания из божеского откровения. Он намеревался прибегать и к метафизическим, и к нравственным доводам, и к заимствованным из природы сравнениям, и к заимствованным из Библии изречениям. С фантастическим увлечением человека, открывшего новую истину, он старается проникнуть в загробный мир, точно так же как естествоиспытатель старается уяснить законы окружающего нас мира или как историк старается объяснить тайны прошлого. Он пытается построить свой фантастический воздушный замок на фундаменте естественных наук, увлекаясь главным образом примером автора «*Contemplation de la nature*», Боннэ, которого называет «отцом своего стихотворения». Натуралистические и рационалистические понятия он соединяет с нелепыми теологическими и мистическими в одну мнимую науку о будущей участи человеческой души. Верный духу своего времени, Лафатер был в одно и то же время и мыслителем, и сумасбродным мечтателем, и скептиком, и слепым верующим; поэтому он не пренебрегает никакими научными пособиями своего времени, чтобы придать своим стремлениям к идеальной нравственности и святости такую наглядную определенность, такую чувственную ясность, которая удовлетворила бы и его ум, и его фантазию. Подобно сказочнику, кото-

¹ Так выражался сам Гердер в тех, без сомнения, относящихся к Лафатеру словах, которые мы находим в предисловии к сочинению Мюллера (1791) «Признания замечательных людей касательно их самих» (I, X).

рый приплетает к действительным фактам разные небылицы в уверенности, что этим способом он всего вернее приобретет доверие своих слушателей, и наш мечтатель прибегает к мнимым научным доводам, чтобы доказать естественную связь нашей будущей жизни со здешней жизнью и аналогию «пневматических» законов — с физическими. Опираясь на сочинения Боннэ и Лейбница, он высказывает догадку, что после смерти нашего земного тела наша душа переселится сама собой в более изящно организованное воздушное тело, которое доставит ей возможность жить в обществе других душ и в котором она останется до всеобщего воскресения мертвых. Все, что нам известно о таком двойном воскресении мертвых и о будущем суде, мы знаем только из Откровения; поэтому здесь, по-видимому, совершенно прерывается нить научных объяснений; но потом автор снова берется за нее. На основании этих фактов, известных нам из Откровения, он пускается в дальнейшие рассуждения о жилище, которое предназначено для христиан после всеобщего восстания из мертвых, о телосложении праведников, о высшей степени физических, умственных и нравственных сил, которыми будут одарены преобразившиеся христиане. Мы переносимся в мир чудес, но остроумный мечтатель старается придать своим гипотезам физическое правдоподобие и благочестивый, нравственный смысл. Подобно тому как Кант и Лаплас пытались, на основании ньютоновских исследований, установить законы нравственного мира, и Лафатер пытается описать высшую, но все-таки чувственно-духовную природу посредством остроумного применения законов действительного нравственного мира — он пишет натуральную историю христианского неба. Он говорит, что небо, при всем своем величии и несмотря на то, что оно служит престолом Божиим, быть может, имеет такую же организацию, как наша земля и другие планеты, но только несравненно более изящную. И будущее блаженство праведников не что иное, как естественный продукт их высшей нравственности. Постоянно ссылаясь на Боннэ, Галлера и Бюффона, Лафатер самым подробным образом описывает совершенства небесных тел праведников; эти тела, подобно преобразившемуся телу Христа, состоят только из света и одарены всеми свойствами света; к самому тонкому свету приспособлены их глаза и все их другие чувства и способности. Хотя все эти гипотезы и кажутся ребяческими, однако для них служат до некоторой степени оправданием глубокая вера автора и его идеально-нравственные стремления. Он выдумывает так много чудес и надеется, что они действительно совершатся, потому что его

влечение к совершенствованию так же сильно, как и его склонность к фантастической мечтательности. Обыкновенные сказочники недобросовестны, а Лафатер только облачает во внешнюю форму свое желание быть человеком добродетельным и святым. У него постоянно повторяется основная мысль, что достоинство наших умственных, физических и политических способностей будет определяться в будущей жизни соразмерно с возвышенностью наших нравственных достоинств. «Кто так же свят, как Иисус, тот будет так же, как он, блажен». Автор высоко заносится в описании, какого удивительного совершенства достигнут способности преобразившихся святых, но причину и цель такого расширения их могущества он постоянно видит в их святости. Фантазии, с которыми стали в наше время заигрывать даже люди, обладающие положительными знаниями, кажутся нам такими же ребяческими, как фантазии Лафатера, но они не отличаются такой же, как у Лафатера, тесной связью с нравственной жизнью человека. После того как наш любезный мечтатель пообещал праведникам соучастие во всемогуществе Божиим, он восклицает: «Какая невыразимо блестящая надежда, приводящая все наши телесные и душевные нервы в сладкий восторг! Я когда-нибудь буду в состоянии делать то, что хочу делать», — однако «я буду желать делать только то, что хорошо и что по силам тому лицу, для которого я служу представителем во вселенной!»

В этой книге было высказано немало таких идей, которые должны были нравиться Гердеру и благотворно влиять на его душевное состояние. И по своему собственному складу ума он был склонен усматривать соотношение между законами природы и законами человеческого ума; путем аналогии он нередко вдавался в догадки и развивал религиозные воззрения и даже — как это доказывает его «Дневник» — иногда пускался в фантастические мечтания о физических законах. В более раннюю пору своей жизни он относился с насмешкой и с резким порицанием к чрезмерной фантастичности лафатеровских идей; а теперь его душевная бодрость ослабела; он сам признавался Каролине, что поступил в разряд мечтателей и стал верить таким безрассудным идеям, которым прежде никогда не верил; поэтому он нашел, что серьезность содержания, скрывавшаяся под лафатеровскими странными догадками, была так священна, что заставляла позавидовать о своей смешной внешней форме. Привыкнув отыскивать в каждой книге личные особенности ее автора, Гердер нашел в произведении Лафатера такого человека, который прибегал к литературному изложению только для того, чтобы высказаться

с полной откровенностью. Ему казалось, что он от полноты души сочувствует Лафатеру; он усмотрел в произведении этого писателя такую симпатичную скромность, такие изящные и глубокие нравственные идеи, такую ребяческую веру в Бога, что не мог не полюбить автора, не мог не признаться ему в этой любви. Вся умственная жизнь Гердера была в то время сосредоточена на сочетании религиозности с горячим желанием полного нравственного обновления; он помышлял только о нравственности, основанной на искренности сердца, а именно такая же мысль составляла лучшую долю содержания «Размышлений о вечности». Он заглушил в себе раздражительность и свифтовский юмор, с которыми отвечал на письма своего дармштадтского друга, и обратился к Лафатеру с такой же вкрадчивой искренностью, с таким же сердечным сочувствием, с какими отнесся впоследствии к скромному Юнгу Штиллингу. Личность Лафатера занимает в его душе место рядом с личностями Гамана и Клаудиуса. С этими тремя людьми его связывают и сходство в основных воззрениях, и сходство в чувствах. Хотя Лафатер и обладал более богатым запасом идей, чем Клаудиус, Гердер стоял в некотором отношении выше их обоих. В отношении к Гаману он был покорным учеником, а к Лафатеру он мог обращаться как к равному и даже с наставническим тоном, на который ему давали право его многостороннее образование и здравый ум.

Гердер открыл свое сердце Лафатеру в длинном и даже очень длинном письме¹. Он говорит, что совершенно сходится с Лафатером теплотой и горячностью религиозного чувства, которое не угасало в нем с юности, а теперь взяло верх над прежними припадками вольнодумства. Ему неприятно говорить о холодном, бездушном тоне, который стал преобладать в христианстве, неприятно говорить о пошлой морали, которую проповедуют философствующие английские богословы, он ничего не хочет знать о философах и богословах, которые «хотят все возратить в варварское состояние», ничего не хочет знать о нерадивой перифра-

¹ Этим письмом начинается ряд писем, которыми обменивались эти два писателя; они сообщены Дюнцером (А, II, 10 и сл.) и служат основой для дальнейшего изложения в нашем тексте. Дополнением служат письма, сообщенные Гегнером в «Beiträge zur näheren Kenntniß und wahren Darstellung Lavaters». У Дюнцера лафатеровские письма напечатаны не без пропусков; подлинные письма со своими условными письменными знаками и со своими междустрочными переводами дают понятие о ребяческих приемах этого писателя. Но в сборнике Дюнцера нет того, богатого содержанием, письма Лафатера к Гердеру от 21 августа и 2 сентября 1773 г., которое находится у меня в рукописи.

зировке библейских изречений, посредством которой отнимают у нас последнее средство знакомиться со словом Божиим. Впрочем, с другой стороны, Гердер восстает против игривой фантазии Лафатера. Говоря о сочинении Канта «Грезы духовидца», Лафатер выразил сожаление, что автор оставил без внимания влияние нравственности на нашу будущую жизнь; касательно этого вопроса Гердер разделял мнения своего старого наставника, а не своего нового друга; несмотря на свое сочувствие к религиозно-нравственному энтузиазму Лафатера, он относится к мечтаниям этого писателя о будущей жизни почти так же, как относился Кант к грезам Сведенборга. В глазах Гердера такие фантастические грезы не что иное, как «ребяческое умничанье». Он в самых ясных, самых определенных и самых разумных выражениях противопоставляет фантастической морали мораль осмотрительного верующего, а ребяческому любопытству — скромную сдержанность. Когда заходит речь о будущей жизни, говорит он, мы должны опустить наши глаза и отказаться от всякого знания. Единственная связь каждой честной души с вечностью заключается в таком нравственном чувстве, которое видит во всех условиях нашего земного существования зачатки будущей жизни. Даже Библия поведала нам о будущей жизни только то, что она находила нужным, — только то, что касается нашего нравственного чувства, нашего человеческого звания. Все сводится к воздаянию за нашу нравственность, и достаточно, если «мы будем в здешнем мире пробуждать в себе будущего ангела, а относительно всего остального полагаться с безусловным смирением на волю Божию».

Это прекрасное письмо вызвало от Лафатера восторженный, переполненный изливаниями радости и дружбы ответ и послужило началом для продолжавшейся семь лет переписки, в которой искренняя сердечность поддерживалась сходством идей и убеждений, а старший из двух писателей преклонялся перед младшим. Хотя Лафатер постоянно не в меру увлекался своим бурным энтузиазмом, Гердер все-таки ни на минуту не переставал относиться к нему с горячим сочувствием. От внимания Гердера не ускользали бросающиеся в глаза слабости этого писателя, и он указывал ему на них в самых мягких неоскорбительных выражениях. Он порицал несообразности, безрассудства и торопливые выводы этого энтузиаста. Он сожалел о том, что Лафатер слишком разбрасывается в своей литературной деятельности и попустому тратит свое красноречие. Ему слишком скоро пришлось упрекать своего друга за нескромность, с которой он познакомил

всю читающую публику с содержанием их писем, напечатав их в продолжении «Размышлений» и в «Отрывках из дневника самонаблюдателя»¹. Он предсказывал, что Лафатер навлечет на себя еще более тяжелые испытания, что он когда-нибудь попадет в «тигель», в котором ему придется очищаться посредством огня, и советовал ему не разбрасываться бесцельно в разные стороны, а сосредоточить свое внимание на какой-нибудь определенной сфере занятий². Однако все эти замечания Гердер высказывал самым мягким, отеческим тоном; несмотря на все замеченные им у Лафатера недостатки, он отдавал полную справедливость искреннему прямодушию этого писателя, его детскому благочестию, его покорности перед волей Божьей и даже видел в нем образец, ниспосланный ему свыше для его собственного нравственного совершенствования. Другу Лафатера Циммерману Гердер признавался, что знакомство с таким человеком, как Лафатер, было настоящим для него благодеянием. От его прозорливости, как кажется, еще совершенно ускользали и тщеславие, и лукавая расчетливость Лафатера, которые стали выступать более ярко наружу лишь впоследствии. Он полагал, что никто другой, кроме него, не в состоянии излечить Лафатера от чрезмерной склонности к фантастическим грезам, потому что он понимал этого писателя лучше всякого другого. Он находил, что натура у этого человека из чистого золота. В литературной деятельности Лафатера, во всей его жизни, сосредоточивавшейся в религии, Гердер усматривал такое удивительное явление, которое было редкостью во все века, а в том веке было единственным в своем роде и совершенно затемняло мудрость современных скептиков. Для того чтобы этот знаток человеческого сердца, этот религиозный гений не имел себе равных, нужно было только выяснить и развить его религиозную систему. Поэтому Гердер решительно переходит на сторону Лафатера и хочет помогать ему в выяснении и развитии той религиозной системы, для того чтобы самому черпать из этого богатого источника силу и здоровье.

Поэтому никому другому, кроме Лафатера, — даже не исключая Гамана — Гердер не высказывал так подробно тех нравст-

¹ См.: Unveränderte Fragmente aus dem Tagebuche eines Beobachters seiner selbst, oder des Tagebuches Zweiter Theil. Лейпциг, 1773. С. 185. — Здесь (с. 217) напечатаны и письмо к Гердеру № 3 (А, II, 30 и сл.), и выписка из А, II, 41—43 (с. 1 и сл.); извинения Лафатера по этому поводу в рукописном письме от 21 августа и 2 сентября 1773 г.; сравн. А, III, 426, и А, II, 73; Гегнер, с. 23 и А, II, 37. Первое большое письмо Гердера Лафатер напечатал в 4-й части «Размышлений» (с. 5—21; сравн. также в 4-й части с. 9 ответ на А, II, 17).

² Гердер к Циммерману 2 июня 1773 г. (Гегнер. С. 25 и сл.).

венно-религиозных воззрений, которые теперь преобладали в его умственной жизни и послужили темой для сочинений, написанных им в течение второй половины его жизни в Бюкебурге. Поводом для переписки Гердера с его новым другом послужили лафатеровские «Размышления о вечности» и обмен мыслей касательно формы и содержания задуманного Лафатером стихотворения о будущей участи человеческой души; поэтому вопрос о бессмертии души стоял на первом плане в тех письмах, которые пересылались из Бюкебурга в Цюрих и из Цюриха в Бюкебург. И в сочинениях, написанных Гердером в Бюкебурге, этот вопрос постоянно всплывает наружу. То, что Гердер сообщает теперь своему другу касательно «глубоких предчувствий своего сердца о бессмертии души и вечной жизни», послужило текстом для того, что Гердер впоследствии писал об этом предмете в «Древнейшем документе» и в «Объяснениях к Новому Завету» и т. д. Здесь всего яснее видно то превращение вольнодумца в мистика, о котором он сам говорит. Мысли, которые он высказывает по этому предмету в письмах к автору «Размышлений», служат противовесом для тех мыслей, которые он высказывал автору «Федона». Он занимает срединное положение между философом и религиозным человеком; от первого из них он начал отдаляться, а со вторым стал сближаться. Впрочем, он не отказывается от той склонности во всем искать нравственных мотивов, которая служила основой для его прежних воззрений; эта склонность ясно видна и в том, что он писал в Веймаре на ту же тему, теперь она облекается в иную форму и переносится с почвы философской на почву религиозную.

С целью помочь своему другу в собирании материалов для его большого поэтического произведения Гердер объясняет в статье — написанной весной 1773 г., но, к сожалению, не доведенной до конца, — каким способом он стал бы внушать людям веру в бессмертие души. Он принял бы за точку исхода Откровение при помощи тех символических указаний, которые нам дает сама природа. Наглядно и живо описанная аналогия между сном и смертью служила бы подготовкой к размышлениям о будущей жизни. При этом автор прибегнул бы к другим однородным идеям и предчувствиям, заимствованным из мифологических идей древнего мира и в особенности из Библии, которая и в этом случае представляет собой первоначальный источник мудрости и поэзии. Затем следовало бы идти по пути, указанному самим Богом, который в эпоху детства человеческого рода навел его на понятие о бессмертии души при помощи знаменательных фактов

и испытаний. Убийством Авеля, смертью Адама и взятием на небеса Эноха начинается описание царства мертвых, в которое попал Ной со своим потомством, потому что пережил Всемирный потоп. Затем на почве деятельности иудейской нации Бог укрепляет в человеческом сердце надежду на будущую жизнь посредством разных знамений — тем, что пробуждает в Аврааме веру в приобретение потомства, тем, что внушает различные предсказания будущего, воскрешает мертвых, берет св. Илью на небеса и т. д. Надежды и ожидания иудеев очищаются и идеализируются Христом; его воскресение делается темой апостольских проповедей — и все это заканчивается откровением св. Иоанна. Таковы постепенные знаменательные указания самого Бога; в своей последовательности и внутренней связи они должны составлять поэтически изложенное религиозное доказательство бессмертия души. Это доказательство должно предшествовать всяким бездушным философским доказательствам. Из этих последних — т. е. из доказательств, основанных лжемудрствованием на бестелесности человеческой души и т. д., — можно заимствовать только «цветки», только «самый сильный сок»; так же следует поступать и с теми нравственными доводами, которые основаны на требовании более высокой справедливости, чем та, которую мы находим в здешней жизни. О другом нравственном доводе — еще более религиозном — Гердер уже вел речь в своем первом письме к Лафатеру. В общем выводе Гердер основывает надежду бессмертия на стремлении к более высокой нравственности, на предчувствии будущей жизни, на указываемых самой природой аналогиях, которые подтверждаются верованиями всех народов и достигают достоверности благодаря божеским знамениям; но он совершенно игнорирует доказательства метафизические.

Нельзя не пожалеть о том, что Гердер не привел в исполнение своего намерения (возникшего еще прежде чтения «Размышлений») написать другую статью о том же предмете; она доставила бы нам повод для еще более близких сопоставлений с мендельсоновским «Федоном». В начале 1772 г. он намеревался писать о бессмертии души в «форме нескольких сократических диалогов»¹, но не для публики, а только для одной читательницы. Эта мысль пришла ему в голову по поводу таких личных отношений, которые едва ли не сильнее всех прежних повлияли на перемену его убеждений, которые пробудили в нем заглушенные зародыши

¹ К Каролине (Воспоминания. I, 190; сравн. А, III, 204).

набожности, умерили тревожное состояние его души и более, чем что-либо другое, примирили с неприятными сторонами его жизни в Бюкебурге. Это были его личные отношения к супруге графа Липпе-Шаумбургского, Марии Элеоноре.

Графине было 22 года, когда ее родители выдали ее в 1765 г. замуж за гораздо более пожилого человека, не спросив на то согласия ни у ее сердца, ни у ее ума¹. Она была младшей дочерью двоюродного брата графа Вильгельма — графа Фридриха Липпе-Бистерфельдского, и двойничной сестрой его друга и боевого товарища Фердинанда. Граф Вильгельм составил себе понятие о ней по ее портрету и по ее письму к нежно любимому брату и горячо полюбил ее. Он стал просить ее руки, прежде чем имел случай видеть ее, а она, из желания угодить брату, вообразила, что любит этого серьезного и сурового человека. Однако граф Вильгельм приобрел в ее лице редкое сокровище. Графиня отличалась необыкновенной красотой; в ее наружности, в ее манере себя держать и в ее походке было что-то особенно привлекательное: в них отражались, как в зеркале, ее кроткая душа, ее добросердечие, невинность и смирение. Гердер писал Каролине: «Если вы хотите иметь понятие об олицетворении грации, о кротости, любви и ангельском смирении, соединенными в одном лице, то вы найдете все это в графине». Чтобы изобразить ее наружность, он нарисовал «самый привлекательный маленький портрет Марии». Однажды он послал Лафатеру для его «Физиогномики» ее портрет, не называя ее по имени; стараясь охарактеризовать этот портрет в стиле автора «Физиогномики», Гердер говорит, что это — «изображение чистоты сердца»; «посмотрите, — пишет он², — какая ясность на ее челе! Обратите внимание на ее высокий, полный выражения лоб и на то, в каких мягких очертаниях он спускается над ее глазами, выражающими душевное спокойствие. Это — олицетворение скромности и смирения! Точно будто она хочет сказать: „Я служительница Божия!“ Она молча идет едва слышной поступью! Это — изображение Хариты на христианском надгробном памятнике. Разве вы не ожидаете, что когда она раскроет опущенные вниз глаза, то они заблестят, как утренняя звезда, как небесное сияние, которое окружает восставшего из мертвых?»

Какой резкий контраст представляла высокая, неповоротливая фигура ее мужа с такими чертами лица, в которых отража-

¹ Касательно всего, что следует, см.: Воспоминания. I, 188 и сл.

² А, II, 155.

лись сила и твердость, глубокая серьезность и непреклонная энергия! Такой же контраст виден и в том, как протекла жизнь обоих супругов¹. Лишившись матери с той минуты, как появилась на свет, графиня провела свое детство и раннюю молодость при отце в его вестфальском поместье; там она воспитывалась вместе со своим любимым братом Ионафаном. Шестнадцати лет она переехала к своей овдовевшей сестре, графине Промниц, которая заменила ей родную мать. Там ее мягкое, чувствительное сердце подпало под влияние пиетизма, который господствовал в сфере ее родственников; после ее поездки в Вернигероде у ней завязались дружеские сношения с семейством Штольберга, с которым она была в родстве; там она приобрела подруг, с которыми завела переписку, наполняя все свои письма выражениями своей любви к Спасителю. Ее природный ум и юношескую веселость омрачили те мысли о самоистязании, которые так часто были предметом разговоров в окружавшей ее среде и о которых она так много читала и писала; ее набожность превратилась в тревожную заботливость о спасении ее души и в ее характере стало обнаруживаться какое-то болезненное чувство страха. Таким образом, ее ум оказался настроенным совершенно иначе, чем ум ее мужа, который после разгульной молодости, после многолетних странствований и геройских подвигов стал смотреть на жизнь глазами старика, стал руководствоваться в своей жизни строгими философскими принципами и требовать от всех безусловной покорности. Характер графини отличался мягкостью и уступчивостью, характер графа отличался определенностью убеждений и причудливостью; она была христианская святая, он был чем-то вроде античного героя. Ввиду несходства их характеров и воспитания можно бы было подумать, что между ними не могло быть взаимного сочувствия и привязанности, а на деле оказалось, что для этих двух честных и благородных натур служили прочной связью одинаковые душевные качества, одинаковое желание добра, одинаковое стремление к нравственному совершенству. На деле оказалось, что полноте их супружеского счастья препятствовала их чрезмерная взаимная любовь. Граф относился со сдержанным нежным уважением к безусловной покорности, с которой его жена подчинялась воле своего «бесцен-

¹ Для того, что следует далее, мы приняли за руководство сочинение Фроммеля «Ludämilia von Schwarzburg-Rudolstadt. Maria von Lippe-Schaumburg» (с. 31 и сл.); там кроме биографических сведений о графине можно найти многочисленные извлечения из писем, которые она писала до и после своего вступления в брак.

ного супруга». Они все более и более сходились в своих чувствах. То было для нее несчастьем, что в первые годы ее супружества граф сблизился с Аббтом, — застенчивая молодая женщина не могла принимать участия с серьезных философских беседах, которые вел граф со своим новым другом, и ей пришлось жить в одиночестве. Ее участие в скорби графа по случаю смерти Аббта дало ей новые права на привязанность ее мужа, но она все еще получала от него менее того, что сама давала. Она могла надеяться, что заменивший Аббта Гердер внесет что-нибудь новое в ее жизнь, а с тех пор как она в первый раз услышала проповедь Гердера, она стала все более и более ценить его проповеди, стала все более и более находить их поучительными и трогательными.

Гердер не имел привычки кому-либо с чем-либо навязываться; поэтому он держался в стороне, а обстоятельства так складывались, что заставляли его быть сдержанным еще более обыкновенного. Граф горячо желал иметь сына и надеялся, что его желание скоро исполнится; но через несколько месяцев после прибытия Гердера в Бюкебург графиня разрешилась от бремени дочерью; граф был сначала крайне огорчен, но потом стал относиться к своей жене с самым нежным участием, и новорожденное дитя еще сильнее скрепило сердечную связь между родителями. Но молодая мать прожила вместе с ребенком четверть года вне Бюкебурга; Гердер знал только по слухам, что она была «чрезвычайно добрая, человеколюбивая дама», что она была очень хорошо к нему расположена, но не имела большого влияния при дворе. Кроме того, он полагал, что при ее воспитании и при ее склонности к пиетизму ей едва ли могли нравиться его проповеди; иными словами, он был совершенно к ней равнодушен; сверх того, он был обижен тем, что графиня однажды не захотела его принять; но ему скоро пришлось стыдиться своей обидчивости.

Он писал в январе 1772 г. своей невесте: «Вот уже две недели, как я начинаю жить в Бюкебурге новой жизнью, и мне все представляется в новом свете благодаря перемене, происшедшей в одной особе». Дело в том, что графиня воспользовалась обыкновением посылать на Новый год подарки и написала Гердеру письмо, в котором открыла ему свою душу. Она написала это письмо, отложив в сторону всякие посторонние соображения, нарушив соблюдение всяких формальностей и заглушив в себе природную застенчивость; она с откровенностью и со смирением признавалась, что при ее желании просвещать свой ум проповеди ее почтенного наставника имели для нее большую цену, и она

с доверием обращалась к этому наставнику с просьбой и впредь быть ее руководителем. Сколько ума и сердечной доброты, восклицает Гердер, сколько сердечной мягкости и привлекательности видно в этом письме и какая из него видна чистота души! И так на деле оказалось, что Гердер вовлекся в самое непростительное заблуждение; ему не оставалось ничего другого, как отвечать на полученное письмо с такой же откровенностью, с какой оно было написано. В своем ответе на признания графини он счел нужным упомянуть о неудовлетворительности своего положения, так как из ее слов: «Навещайте нас!» — он понял, что ей уже было известно, как мало был он доволен жизнью в Бюкебурге. Вслед за тем он виделся с графиней, разговаривал с ней; он заметил, что сам граф стал обходиться с ним не так, как прежде; его свидания и разговоры с графиней стали повторяться, и он восхищался здравым умом и верным чувством графини в ее суждениях о тех литературных произведениях, которые были доступны для ее понимания. Впечатление, которое она производила на него, он верно описал своей невесте в вышеупомянутом письме: «Она точно будто не создана для здешнего мира; она нежного и слабого телосложения; с тех пор как она родила дочь, ее лицо стало бледным, точно будто на него наложен небесный покров в знак того, что она предназначена для высшего мира. Мне кажется, что она будет недолговечна. Я не имею случая часто с ней разговаривать, поэтому я могу обращаться к ней только с церковной кафедры. Какое счастье найти такого ангела там, где никак нельзя было ожидать, что он так близко от вас! Нужно было только разогнать что-то вроде тумана!»

Графиня сделалась самой ревностной слушательницей и в то время, как Гердер произносил проповеди, и в то время, как он обучал детей; когда она уезжала из Бюкебурга или когда не могла выезжать из дому по нездоровью, она имела при себе проповеди Гердера, изложенные письменно нарочно для нее¹. Она постоянно вела переписку с Гердером; а сколько было прелести в робких признаниях ее благородного сердца, когда она просила Гердера доставить спокойствие ее душе и благодарила за полученные от него наставления! А какую благодарную задачу находил для себя Гердер в том, что ему приходилось красноречиво высказывать перед этой восприимчивой женщиной все, что было самого возвышенного в его душе, и заглушать в ней те тревож-

¹ Сюда относятся напечатанные в «Воспоминаниях» (II, 65) письма графини к Гердеру и только одно уцелевшее письмо Гердера к графине (с. 115 и сл.).

ные мысли, которые проистекали из ее прежних смутных понятий о религии! Ему постоянно приходилось отклонять от себя похвалы, которыми она искренно осыпала его; но ему было приятно узнать из ее писем, что Библия, прежде казавшаяся ей непривлекательной книгой, становится с каждым днем все более для нее понятной и привлекательной, что ее «тоскующая, измученная душа, получившая отвращение к жизни», нашла в нем неопределимого друга, который направил ее на истинный путь, внушил ей бодрость и научил ее спокойно наслаждаться жизнью. Большой мастер в деле воспитания и умственного развития людей с восприимчивым сердцем, Гердер прибегал для назидания графини к разнообразным средствам, и, между прочим, к указанию книг для чтения. Графа он познакомил с произведениями Канта, а для графини он выбрал произведения Шпальдинга и Иерусалема — он знал, что мягкая ясность и спокойная сердечная теплота этих писателей послужат лекарством для ее души. Кроме того, он рекомендовал ей песни Клопштока и последние песни «Мессиады» и прислал ей переведенное Лафатером сочинение Боннэ; а когда Лафатер написал ему восторженное дружеское письмо, он сообщил содержание этого письма графине, для того чтобы она вместе с ним познакомилась с «чистым религиозным сердцем» этого замечательного писателя и извлекала из его сочинений сердечную усладу.

Графине, уже пережившей столько тяжелых утрат, пришлось переживать новое несчастье. Ее двойничный брат, который поселился в Бюкебурге вместе с женой и дочерьми, с которым она жила душа в душу и который был для нее вторым отцом, скончался 23 апреля 1772 г. после продолжительной болезни. Это несчастье еще сильнее скрепило узы, привязывавшие ее к тому, кто так ревностно и с таким участием заботился о спасении ее души. Проповедь, которую произнес Гердер в первый после смерти брата графини воскресный день «о мрачных и светлых мыслях у человеческой могилы»¹, отличается таким богатством идей, что даже задуманные Гердером сократические беседы о бессмертии души едва ли могли бы вместить в себе более разнообразное содержание; здесь высказываются такие же суждения, какие Гердер впоследствии излагал в письмах к Лафатеру; эту тему он умел с особенным искусством развивать именно в своих пропо-

¹ Эта проповедь напечатана в SW (IX, 145—178), очевидно, в более тщательной отделке, чем в какой была произнесена; но время ее произнесения указано неверно.

ведях. С непоколебимой уверенностью, с красноречием, не пренебрегавшим никакими доводами и не допускавшим никаких возражений, он доказывал, что нет ничего более достоверного, чем загробная жизнь, и что, напротив того, смерть навеки невысказана и ничем не может быть доказана. Таковы светлые мысли у человеческой могилы, а мрачным мыслям мы не должны предаваться. Богу угодно, в отеческой о нас заботливости, скрыть загробную жизнь от наших глаз непроницаемым покровом. Мудрость ангела, способного знать будущее, была бы несчастьем для человека при условиях его земного существования; земля, на которой нам суждено трудиться и искать счастья, отвергла бы нас, нас отвергли бы и небеса, для которых мы должны готовиться нашими земными добродетелями. Эти слова были сказаны не исключительно для тех, кто желает заглянуть в будущее, а также для тех благородных сердец, которые глубоко сознают ничтожество человеческой жизни, для тех благочестивых людей, которые стремятся всеми силами своей души к будущей жизни, и в особенности для той, которая утратила со смертью брата половину своего сердца. Вся проповедь была утешительным, непреодолимым возбуждением к жизни. Извещая Каролину о смерти брата графини, Гердер писал: «Я надеюсь, что смерть брата послужит для графини началом новой жизни». Эту надежду могло усилить письмо, в котором графиня извещала ему свою признательность; в нем сказывалась твердая и спокойная решимость графини продолжать ее земное существование со всеми его радостями и обязанностями, не переставая думать об усопшем. Впрочем, Гердер сумел и иным способом внушить ей бодрость. Он сочинил для нее и посвятил ей кантату «О воскрешении Лазаря», а она приняла этот подарок с такой признательностью, что Гердер написал для нее к Рождеству Христову другое однородное «произведение любви и благочестия» — ораторию «Детство Иисуса». Благочестие автора и полное любви сердце той, для которой кантаты были написаны, придали этим произведениям Гердера такую цену, на которую они не могли бы претендовать в качестве поэтических произведений, не говоря уже о том, что они много выиграли от того, что Бах положил их на музыку. Они нашли в набожности графини Марии такой же отголосок, какой был вызван «Брутом» в философском ум графа Вильгельма¹.

¹ Касательно этих кантат и позднейших стихотворений Гердера, положенных на музыку, см. выше, с. 623 и сл.

Между тем как Гердер делился с графиней своими умственными и душевными сокровищами, и она со своей стороны щедро вознаграждала его за эти услуги. Трудно решить, с которой стороны больше давалось, чем получалось. Гердер и графиня как будто были созданы для того, чтобы служить друг для друга бесконечно ценной опорой. Хотя ничем не удовлетворявшийся Гердер не переставал жаловаться на то, что живет в Бюкебурге, как на пустынном острове, в совершенном одиночестве, однако его прежнее положение изменилось к лучшему: он уже не мог жаловаться на то, что у него нет в Бюкебурге ни одного друга и что он ведет там бесполезную жизнь. Графиня Мария сделалась посредницей между ним и графом, между ним и теми людьми, с которыми он сталкивался при исполнении своих должностных обязанностей и в обществе. Она при всяком удобном случае уверяла Гердера, что граф питает к нему высокое уважение и не менее ее самой желает, чтобы он не покидал Бюкебурга и был доволен своим положением; нам нетрудно вообразить, что, с другой стороны, она говорила графу в пользу своего любимого наставника; мы невольно разделяем ее радость, когда ей показалось, что эти два близких ее сердцу человека стали лучше прежнего понимать друг друга, стали ближе сходиться в разговорах и в обхождении. Как трогательны ее постоянно повторявшиеся просьбы к Гердеру не падать духом и не скорбеть о том, что ему приходится жить в Бюкебурге! Как трогательны ее кроткие увещания и благоразумные уверения, что Бог, конечно, не напрасно привел его в Бюкебург, что есть два сердца, которые благодарят Бога за его присутствие и что его пребывание в Бюкебурге есть счастье для многих, для всех. С тех пор он произносил свои проповеди, зная, для кого их произносит. Графиня заменяла для него весь его приход, а забота о ней научала его произносить такие проповеди, которые оказывали полезное влияние и на остальных прихожан¹. Теперь он знал, что есть хоть одно сердце, которое сочувствовало ему, и он видел в графине свою утешительницу, образец добродетели и святую женщину. Не подлежит сомнению, что она стояла выше его в нравственном отношении и что несмотря на узость своих религиозных понятий, была более его набожна. Ему казался привлекательным даже духовный слог ее писем, слегка напоминавший слог пиетистов, потому что это был «верный отголосок ее души»; он находил, что высокопарность, с которой она

¹ Сравн. не раз нами упомянутую прощальную проповедь (Воспоминания. II, 165).

выражала даже самые искренние чувства и задушевные мысли, совершенно подходила к ее возвышенной, благородной натуре; «это объясняется, — писал он, — ее исключительным положением, и я сам всячески стараюсь поддерживать в ней такое настроение». Благочестие графини неизбежно должно было сделаться источником назидания и для ее духовного руководителя. Похвала из ее правдивых уст не имела никакого сходства с лестью; она не возбуждала тщеславие, а сдерживала его; когда графиня выражала ему свою почтительную признательность, он сознавал, что он вовсе не таков, каким она его считает, что пыл благочестия, который струится по всем его жилам, еще не совершенно очищен от примеси ложных идей. В графине он находил такое чистосердечие, какого сам старался достигнуть, такую чистоту сердца, которая выше всякой гениальности даровитых людей, выше всякой мудрости философов. И как глубоко он все это сознавал! После получения от графини одного из ее писем он писал: некоторые выражения ее сердечных чувств, и именно таких, которые отличаются своей наивностью, до такой степени возвышенны, что по целым дням не выходят у меня из головы. В другой раз он говорит, что одно из писем графини служило для него «небесной манной в течение несколько дней»; «я должен сознаться, — прибавляет он, — что почти ничьи похвалы еще не производили на меня такого впечатления, какое производят похвалы графини, и мне кажется, что благодаря ее высокому мнению обо мне я сделаюсь гораздо лучшим человеком, чем был прежде; поэтому я внимательно изучаю содержание ее писем». Действительно, он смотрел на свою «любезную, кроткую, ангельскую графиню», как на святую. Она была для него «настоящей клопштоковской Марией и по наружности, и по имени, и еще втрое более по своей душе», — как он выражался в письме к своей гёттингенской приятельнице¹. Он готов бы был приложиться устами к каждому следу ее шагов, и только с тех пор как он стал все ближе и ближе с нею знакомиться, надежда выехать из Бюкебурга уже не кажется ему безусловно радостной; при мысли о разлуке с графиней у него «перевертывается вся внутренность». Эта переписка была, подобно признаниям, которые делаются на исповеди, покрыта глубокой тайной. В Бюкебурге о ней никто не знал, кроме графа; сама графиня уничтожила во время своей последней болезни все письма, которые получала от Гердера; из этих последних писем уцелело только одно, между тем как письма графини хранились

¹ С, II, 150.

Гердером как сокровище, с которым он не был в состоянии расстаться, — они составляют и для нас настоящее сокровище. Однако Каролина имела полное право быть посвященной в такую тайну, которая имела столь важное значение для душевной жизни Гердера. Он неоднократно сообщал ей об откровенных признаниях графини и заранее приучил ее уважать женщину, которая впоследствии обходилась с ней как с родной сестрой. Он находил наслаждение в непрерывной переписке с Каролиной и в то время, когда, живя в своем одиночестве, еще не нашел новых друзей и не возобновил старых связей с прежними друзьями. Он делился с ней всем, что было у него тяжелого и радостного на сердце, сообщал ей замыслы и надежды, свое недовольство и свои жалобы, ничего от нее не скрывая. Он писал ей, что не раз намеревался сделать из переписки с ней «тайный дневник своих заблуждений». Действительно, такой характер имела эта переписка в течение тех двух лет, которые Гердер провел в Бюкебурге. В начале этой главы мы уже говорили о платоническом тоне, на который Гердер настроил свои отношения к Каролине после свидания в Дармштадте. Но в противоположность с этим тоном у него постоянно вырываются из-под пера выражения совершенно других, более натуральных, желаний. Он говорит о своей сладкой надежде разделить с ней свое одиночество. Тогда он нашел бы, что скучный Бюкебург лучше всякого рая. Как он будет счастлив, когда она будет гулять по саду, в котором он устроил беседки и дерновые скамьи! Он пишет, что нередко бродит утром по пустым комнатам своей квартиры, как будто гоняясь за какой-то тенью, и тогда его фантазия создает то грустные, то утешительные призраки. Даже теперь неприятно читать эти письма, когда подумаешь о положении бедной девушки, отдавшей свое сердце такому мечтателю. Для нее оказались полезными пережитые ею испытания, потому что, как она сама писала, они «научили ее выжидать и все переносить с терпением». Насколько мы склонны осуждать Гердера, несмотря на трудности и неопределенность его тогдашнего положения, настолько же нам симпатична бедная девушка, которая, несмотря ни на что, хранит в своем сердце свою чистую любовь, которая радостно ловит каждый легкий намек на предстоящую жизнь вдвоем, но лишь только замечает в Гердере недоверчивость или холодность, тотчас изъявляет готовность любить его в разлуке и даже с великодушным самоотвержением отказаться от него, предоставить ему полную свободу. Когда он стал в первый раз жаловаться ей на свое положение в Бюкебурге, как мило она упрекала его за то,

что, «еще не успев осмотреться», он высказывает торопливые суждения и обнаруживает нетерпение! А когда она убедилась, что он не уживется в Бюкебурге, как мило стала она уговаривать его, чтобы он покинул этот неприятный город, потому что он бабочка, которая любит порхать по белому свету; а покуда он будет порхать, она постарается устроить свой собственный теплый уголок для себя и для своих сестер!

Однако Гердер был вовсе не намерен следовать таким советам. Он ни за что на свете не изменил бы девушке, которая уже почти формально была объявлена его невестой; в его характере не было и тени притворства или легкомыслия; но его фантазия и его сентиментальность мешали ему здраво обдумать свое собственное положение и положение Каролины и затем принять какое-нибудь окончательное решение. Так как в его глазах все было покрыто каким-то туманом, отчасти вследствие того что он не доверял самому себе, то он вел себя как самый безжалостный эгоист в отношении к той, которую любил так нежно и так искренно. Если бы он был в состоянии ясно смотреть на вещи, он непременно пришел бы к убеждению, что положение Каролины было во многих отношениях более тяжелым и более достойным сострадания, чем его собственное. Она по-прежнему жила в доме и на счет такого человека, который нередко позволял себе невыносимые гневные вспышки; она душевно страдала не только за себя, но и за свою сестру, которая не нашла счастья в супружестве. Кроме того, ее тревожили заботы о ее старшем брате, которому изменила его возлюбленная. Еще более тревожила ее участь ее старшей сестры, которая страдала душевным расстройством и снова покинула своего мужа. Положение ее семейства было вообще очень печально. Так как ее брак с Гердером был отложен на неопределенное время, то она задумала покинуть дом Гессе, устроиться где-нибудь в деревне вместе со своим братом и взять к себе несчастную сестру, нуждавшуюся в тщательном уходе.

Впрочем, в Дармштадте общественная жизнь не была такой монотонной, как в пустынном Бюкебурге. Почти через месяц после отъезда Гердера из Дармштадта туда приезжали на короткое время Виланд и Глейм — и Каролина с восхищением описывала приятные часы, которые она проводила в обществе этих друзей. Лето и осень 1771 г. она провела вместе с семейством Гессе в обществе Мерка и Лейхзенринга; во время загородных прогулок по горам и по лесам она постоянно мечтала об отсутствующем друге. Но с наступлением зимы все это изменилось. Лейхзенринг уехал, а Мерк был занят тем, что давал при дворе

уроки английского языка и проводил время в обществе больной Урании — т. е. девицы Руссильон, занимавшей должность штатс-дамы при герцогине Пфальц-Цвейбрюкенской, которая жила в то время в Дармштадте; Каролине пришлось проводить время в обществе своих сестер и жены Мерка, и она стала разделять со своими друзьями недоверие к Мерку, вызванное его двусмысленным поведением. Именно в то время как она вела эту уединенную жизнь, погружаясь в описанные выше заботы о ее близких родственниках и приучаясь относиться к самому дорогому из всех своих друзей только как к «самому милому брату», Гердер сообщил ей о своем неожиданном сближении с графиней Марией — но почти в то же время и она неожиданно приобрела новую подругу. О приезде этой кроткой и нежной подруги уже давно предупреждали Каролину и Мерк, который воспел ее под именем Лили, и Лейхзенринг; с той минуты как Каролина познакомилась с Лили, между ними был заключен дружеский союз — причем, само собой разумеется, проливались радостные слезы. Девица Луиза Циглер была одних лет с Каролиной; она состояла в должности штатс-дамы при супруге ландграфа Гомбургского¹,

¹ Самые подробные биографические сведения о Луизе Циглер можно найти в сочинении К. Шварца «Ландграф Фридрих V Гессен-Гомбургский и его семейство» (Рудольштадт, 1878. I, 148 и сл.); я дополнил эти сведения некоторыми извлечениями из семейной переписки Штокгаузена. Потом Лили вышла в Гомбург замуж за Густава Штокгаузена, впоследствии служившего в прусской армии в звании генерала; с 1775 г. она жила в Анкламе, потом в Штеттине и в Фрауштадте, а после смерти своего мужа, в 1804 г., — в Берлине. Приехав на время в Гомбург, она умерла там 25 февраля 1814 г.; у нее была дочь, умершая еще в 1802 г.; а ее сын умер в 1843 г. в звании прусского генерал-лейтенанта. Письмо Мерка за № 44 (*Вагнер*. II, 97 и сл.) было, по мнению Шварца, адресовано к Луизе Штокгаузен. Неосновательно предположение Шварца (Там же. 175), будто со времени выхода Каролины и Лили замуж между ними прекратились всякие сношения. У меня находятся 18 подлинных писем от Лили к ее подруге; из этих писем первые семь были написаны еще в 1773 г., следующие шесть — в 1774 г., два — в 1775 г., а все они были написаны из Гомбурга. Более поздние письма написаны в 1778 г. из Фридрихсфельде, подле Берлина, а два последних написаны в 1781 г. Все эти письма подтверждают то мнение о Лили, которое мы могли составить себе по ранее известным документам и в особенности по рассказам Каролины, — по всему видно, что это была очень добрая и чувствительная женщина, созданная скорей для дружбы, чем для любви; но ее письма производят на нас грустное впечатление: из них видно, что эту бедную женщину мучили и физические недуги, и душевные заботы, и огорчения; ей пришлось проводить последние годы ее жизни в непривлекательной местности, без всяких друзей и в большой нужде; все это представляло резкий контраст с приятными воспоминаниями о тех счастливых днях, которые она проводила в Гомбурге и в Дармштадте.

а теперь приехала на две недели в Дармштадт. Кто ее не знает из биографии Гёте? Каролина писала о ней: «У этой девушки самое чувствительное, самое благородное, самое доброе сердце; это первая женщина, к которой я привязалась всей моей душой. Эта мечтательница приготовила для себя могилу в своем саду, устраивала там беседки, разводила розы и всегда водила с собой барашка, который вместе с ней ел и пил». Она прислала Каролине, в день ее рождения, голубое сердечко на белой ленточке как символ им взаимной дружбы; при расставании она «задышалась от волнения», «а ее глаза закатывались, как у умирающей». Две подруги не переставали обмениваться нежными письмами, а содержание писем Лили передавалось Гердеру, точно так же как содержание писем графини передавалось Каролине¹.

И для Гердера, и для Каролины дружба вносила некоторое разнообразие в их уединенную жизнь. Гердер уведомлял свою невесту о своей поездке в Гёттинген и о сокровище, которое он нашел в доме Гейне; Каролина сообщала Гердеру о приятных днях, проведенных в обществе Гёте. Еще в конце 1771 г. она рассказывала Гердеру, что Мерк ездил во Франкфурт и там познакомился с Гёте и с Шлоссером. «Как странно, — писала она 9 марта 1772 г., — что мы постоянно обмениваемся рассказами о наших новых друзьях! Несколько дней тому назад я познакомилась с вашим другом Гёте и с Шлоссером. Они приезжали на несколько дней к Мерку; мы вместе провели два вечера и один раз вместе обедали. Гёте — добросердечный, веселый малый без всяких притязаний на ученость; он постоянно возился с детьми Мерка; в его тоне и в его разговоре есть некоторое сходство с вами, и я искала его общества». Как сильно билось ее сердце, когда Гёте с воодушевлением говорил ей о Гердере, с каким удовольствием слушала она Гёте, декламировавшего одну из гердеровских баллад, как ей казалась привлекательной душевная бодрость Гёте! В начале следующего месяца Гёте снова появился в Дармштадте; незадолго до его приезда появилась в дармштадтском обществе и г-жа Ларош — та красивая, любезная и остроумная светская женщина, которая была автором романа «Девушка Штернгейм», возбуждавшего сильный восторг и в Гердере, и в его невесте; в конце апреля Гёте приезжал в Дармштадт в третий раз в одно время с Лили. Все эти посещения вносили в жизнь дармштадтского общества оживление и разнообразие. Недоразумения с Мерком были устранены. Гёте всех занимал, читая от-

¹ А, III, 197, 207, 378.

рывки из своего «Гёца» и из «Тристрама Шенди»; он распевал или декламировал отрывки из Шекспира, сам сочинял новые песни, придумывал разные забавы, то сидя дома, то гуляя по лесу, а на большом утесе, который был любимым местом Психеи, вырезал свое имя, в знак того что считает себя его владельцем. Он воспевал в увлекательных стихах трех молодых девиц — Уранию, Лили и Психею, а этой последней очень хотелось, чтобы ее новая гомбургская приятельница, уже очаровавшая немало чувствительных сердец, была похищена молодым Берлихингеном — потому что «Гёте очень хороший человек, а они были бы достойны друг друга»¹. Уведомляя 8 мая Гердера, что Гёте уехал из Дармштадта на несколько месяцев в Вецлар, Каролина называла его «нашим другом, ниспосланным с небес»; при прощании она «поцеловала его, и ее сердце обливало слезами»².

Все, что рассказывала Каролина о неприятностях своего положения и о развлечениях, которые находила в дармштадтском обществе, возбуждало в душе Гердера разнородные чувства. Так как он сам был недоволен своим положением, то и неприятное положение его дорогой «сестры» не наводило его на решимость оказать ей помощь, а, с другой стороны, описание приятных часов, проведенных Каролиной в дармштадтском обществе, пред-

¹ Из писем Каролины нам известно, что первой и самой сильной любовью Лили была любовь к лифляндцу Рейтерну, что потом ей нравился гофмейстер наследного принца дармштадтского Ратзамгаузен, что некто по имени Боден очень за ней ухаживал. Отношения к этому Бодену, которого Каролина называет «пошлым малым», отзываются и на письмах Лили к ее подруге, вплоть до того времени когда Штокгаузен внезапно посватался за Лили. Однако и Гёте произвел сильное впечатление на Лили. Через несколько недель после своего вступления в брак она писала Каролине: «Я с каждым днем все менее сознаю, что мое сердце создано только для нежной дружбы; оно не знакомо с пылкой страстью влюбленных, или, вернее, чувствовало такую страсть только к одному человеку; он (Рейтерн) уже не существует для меня, но для моего душевного спокойствия необходима уверенность, что он счастлив; мне было бы очень приятно, если бы Гердер доставил мне какие-нибудь сведения о нем. Да, моя Психея, я счастлива и буду счастлива, но меня постоянно будет тревожить мысль, что я сделала несчастными два таких благородных сердца, как Г[ёте] и Б[оден]». Еще в 1778 г. она писала Каролине: «Что подельывает Гёте, этот милый пилигрим? Остался он таким же, каким был прежде, или же сделался придворным человеком? Если он действительно сделался придворным — чему я не могу верить, — то не напоминайте ему о Лили: но так как я вполне уверена, что в нем не могло произойти такой перемены, то передайте ему добрые пожелания от его старой знакомой».

² Из приписок на полях письма № 58, которое не было напечатано у Дюндера (А, III).

ставляло такую резкую противоположность с однообразием его собственной жизни, что к выражениям его привязанности к Каролине примешивалась какая-то раздражительность. Ему казалась привлекательной чувствительная Лили, но ему вовсе не нравилось, что его возлюбленная отзывалась с таким увлечением о его страбургском друге, хотя он и отдавал полную справедливость поэтическим дарованиям этого друга. Его суждения о «добром юноше» отзывались чем-то похожим на ревность, и он находил нужным сдерживать мечтательность Каролины в приличных границах. По поводу разочарования, испытанного Каролиной при личном знакомстве с Ларош, Гердер писал ей: «Довольствуйся привязанностью тех, кого хорошо знаешь, и не увлекайся тем, что создает твоя фантазия. Тебе достаточно знакомства с Глеймом, с Виландом, с великим Гёте, с просветителем язычников Лейхзенрингом, с миледи Сеймур». Рассказы Каролины о Гёте, о Лили и обо всех поэтических развлечениях дармштадтского общества заставляли его мысленно переноситься в ту приятную сферу, которая «мелькала перед его глазами, как волшебное явление». «Как бы я желал, — пишет он, — быть там и возобновить мои прежние дружеские отношения с Гёте; сколько я вынес бы новых впечатлений!» Но на самом деле ему пришлось переживать неприятные впечатления! Стихотворение Гёте «Felsweihe an Psyche» ему вовсе не понравилось; ему было крайне неприятно и то, что Психея играет в этом стихотворении жалкую роль, и то, что Гёте говорил там о своих личных отношениях к Психее; нам уже известно содержание импровизированного ответа, который был написан Гердером¹.

Именно в то время как Каролина находила столько развлечений в Дармштадте, т. е. весной и летом 1772 г., совершился решительный переворот в странных отношениях Гердера к его невесте. Гердер находил, что в письмах Каролины прежний тон совершенно изменился, что он сделался «ученым, классическим, сентиментальным», как то доказывали длинные рассуждения Каролины о том, что она читала, о «девице Штернгейм», о «Дон Кихоте» и т. д. До какой степени были неестественны отношения между двумя влюбленными, всего лучше видно из следующих слов самого Гердера в письме, написанном в феврале 1772 г.: «Неужели так вечно будет продолжаться, что мы не будем уметь ценить друг друга?» Он искренно это сознавал — однако не ему, а ей принадлежит та заслуга, что дело было доведе-

¹ См. выше, с. 622.

но до окончательной развязки. В то время как она была озабочена положением сестер, но, очевидно, находилась под влиянием франкфуртского пилигрима, так живо напоминавшего ей об их общем друге, она решилась обратиться к Гердеру с таким вопросом, на который он уже давно должен бы был дать ей положительный ответ. «Ах, мой милый Гердер, как жаль, что мне первой приходится заводить об этом речь!.. Напиши мне, вечно дорогой друг, чего желает твое сердце и надеется ли оно, что обстоятельства когда-нибудь позволят тебе взять к себе бедную девушку, — или же они не позволят тебе это сделать». В то же время она сообщает своей сестре свой замысел доставить любимому человеку место в Гиссене. Ответ Гердера отличается непонятной для нас нерешимостью. Он говорит, что письмо Каролины, полное любви, невинности, скромности и доверия, было для него чем-то вроде «распускающейся розовой почки, которая склоняется к его груди с каплей утренней росы», но касательно того, чего он может ожидать от положения своих дел, он «скоро напишет с большими подробностями». Но Каролина настаивает на решительном ответе. Она требует личного свидания и обмена мыслей; она с милой наивностью болтает о том, что будет «хорошей женой и хорошей матерью», и затем изъявляет готовность ждать, так как ее любовь неизменна и она твердо уверена в неизменности его любви. Ей наконец удастся одержать верх над его нерешительностью, которую он сам называет «безрассудной». Потом она пишет то трогательное письмо¹, в котором опровергает его безрассудные упреки, отзывающиеся сердечной холодностью. Ее заставляла быть сдержанной не холодность ее сердца, а ее застенчивость. Ей так часто говорили, что его привязанность к ней может послужить ему во вред; оттого-то она так несчастна! Оттого-то она и не решилась заводить речь о желании своего сердца соединиться с ним на всю жизнь; «я полагала, что вы сами должны бы были этого желать... я полагала, что вы не хотите и не можете говорить со мной об этом откровенно, пока не устроите вашу жизнь по вашему вкусу, — вот видишь, мой милый, мой дорогой, какой терпеливый ягненок твоя невеста!» Однако в конце своего письма Каролина как будто теряет терпение; она спрашивает, не может ли Гёттинген сделаться таким местом, где будет хорошо им обоим, и есть ли какая-нибудь надежда хоть через несколько лет соединиться на всю жизнь. Это наконец развязало язык непрактичному Гердеру, в котором никакие мнимые высшие

¹ А, III, 287.

нравственные соображения не могли заглушить сознания его прямого долга. Он кается перед ней в своей нерешительности, но уже откладывает в сторону всякие колебания: «Или ты будешь моей бесценной женой, или я останусь одиноким на всю жизнь!.. С наших сердец снята печать, и уже ничья рука не будет в состоянии наложить ее снова!» К этому письму было приложено стихотворение, в котором Гердер выражал свои любовный мечтания и еще яснее выказывал свою решимость.

Сделав этот первый шаг к развязке, Каролина уже решительнее прежнего заглушает в себе свое «девичье безрассудство», а чем более она настаивает, тем более укрепляется в уме Гердера убеждение в необходимости соединиться с ней навсегда; он уже не предается отвлеченным мечтам, а все здраво обдумывает; он находит, что свою новую жизнь он нигде не мог бы начать так хорошо, как в Бюкебурге, в этом идиллическом уединении; он надеется, что все покажется ему в новом свете, когда он будет жить там женатым человеком, и он приступает к приготовлениям, чтобы принять свою будущую жену приличным образом.

Наконец, благоприятная случайность приходит на помощь к его мешкотности и неумелости взяться за дело как следует. Бедной девушке уже не раз приходила в голову мысль покинуть дом ее зятя и обзавестись собственным хозяйством вместе с ее старшим братом и ее несчастной старшей сестрой. По поводу новой непристойной выходки этого зятя Каролина заявила ему, что не желает оставаться в его доме и в пылу негодования проболталась о своей тайне — о том, что она невеста Гердера. Тогда ее положение совершенно изменилось: Гердер был вынужден сообщить Гессе о своем желании жениться на Каролине; а так как ему стало вполне ясно, в какое печальное и затруднительное положение была поставлена Каролина, то его совесть заставила его сделать все, что от него зависело, чтобы высвободить ее из-под невыносимого гнета. Он, наконец, решился преодолеть те чисто внешние затруднения, которые до того времени служили препятствием для его женитьбы. Избалованный и непрактичный Гердер тратил в Бюкебурге свои деньги так же нерасчетливо, как в Риге и во время своего путешествия; к его старым долгам прибавились новые, преимущественно по покупке книг. При своем душевном недовольстве он не придавал большого значения своей денежной нужде, а теперь именно эта нужда выдвинулась на первый план. Пришлось обратиться к тому человеку, который уже так часто выручал Гердера. Добрый Гарткнох помогал Гердеру

деньгами во время его путешествия, а теперь доставил ему средства для женитьбы. Гердер обратился к этому другу с самыми откровенными признаниями, нисколько не скрывая от него, что сам был виновником своего затруднительного положения. В сентябре 1772 г.¹ он сообщить Гарткноху и о своей денежной нужде, и о своем намерении жениться. «Представьте себе, — продолжал он, — что я должен чувствовать, когда подумаю, что презренный мамон и моя прежняя непредусмотрительность ставят меня в такое унижительное положение, что я не в состоянии свить мое собственное гнездо». Он был уверен, что его просьба не останется без удовлетворения, так как в то же время писал своей невесте, что только ожидает окончания «одного небольшого, очень небольшого дела», а потом предоставит ей устроить все остальное. Между тем как он старается оправдаться в ее мнении, приписывая свою прежнюю мешкотность судьбе, которая стесняла его свободу, он требует, чтобы Каролина впредь обо всем заботилась вместо него: «Если я тебе дорог, то займись теперь по-серьезнее нашим планом. Я так безрассуден, так нерешителен, так легко сбиваюсь с толку! А твое мнение — то же, что указания ангела. Так как ты сделала первый шаг, то, прошу тебя, не переставай сообщать мне твои предположения, вопросы, советы, не переставай говорить мне все, что думаешь и чего требуешь!»

Точно будто чье-то проклятие лежало до сих пор на взаимной привязанности Гердера и Каролины и заставляло их откладывать естественную развязку на неопределенное время, а теперь это проклятие было снято. Гердеру хотелось провести вместе с Каролиной даже приближавшуюся зиму; по меньшей мере к весне он рассчитывал непременно вызвать ее в Бюкебург. Между тем и Каролина избавилась в конце сентября от стеснявших ее забот, благодаря тому что ее сестра была помещена в благотворительное заведение, а ее брат наконец получил давно обещанную должность в Дармштадте. Теперь она могла всецело посвятить себя заботам о самой себе. Гердер уже хлопотал о приобретении всего, что нужно для домашнего хозяйства, а Каролина болтала в своих письмах о том, как они будут жить вместе, как будут хозяйничать и беречь деньги, и даже о том, как будут воспитывать детей, так как она намеревалась взять к себе одного гердеровского племянника и еще двух молодых пансионеров. Самым нетерпеливым оказался Гердер, а самой спокойной, довольной

¹ С, II, 32.

и уступчивой оказалась Каролина. Нельзя сказать, чтобы их тогдашняя переписка не вызывала никаких недоразумений: Гердер, по своему обыкновению, иногда придирался к какому-нибудь неосторожному слову Каролины, но она умела тотчас заглаживать следы своей неосмотрительности. Она писала Гердеру: «Ты — маленький Бог, который ниспосылает тучи, но потом снова все освещает ярким солнечным светом». Эти слова верно характеризуют всю историю их взаимной привязанности как в то время, когда они были только женихами, так и в то время, когда они жили в браке. Их будущее счастье было обеспечено их душевными качествами; сердечная впечатлительность и чувствительность Каролины постоянно умерялись душевным благородством Гердера и ее собственной безусловной преданностью. В те тяжелые годы, когда она жила вдали от Гердера и только переписывалась с ним, она выдержала такое испытание, которое было верным ручательством за их супружеское счастье.

И в Бюкебурге огласилась тайна гердеровской привязанности; там также ожидали приезда молодой супруги советника консистории. Эта важная новость сделалась предметом общих толков, еще прежде чем сделалось известным имя избранницы. По этому случаю к Гердеру отнеслись с самым искренним участием г-жа Вестфельд и другая его соседка, г-жа Бешеффер; а Гердер обнаружил полное к ним доверие, отчасти потому что его сердце с нетерпением ожидало окончательной развязки, отчасти потому что он тяготился заботами о своем домашнем устройстве. Его совесть стала упрекать его за то, что он прежде не умел ценить таких добрых женщин; он стал заранее радоваться тому, что его Лина найдет в Бюкебурге любезный прием, а в г-же Бешеффер найдет такую подругу, которая заменит ей родную мать. Прежде всех он открыл свою тайну графине, а ее искреннее участие было для него более утешительно, чем чье-либо другое. Именно в то время графиня была еще более прежнего одинокой вследствие отъезда вдовы ее умершего брата. Она надеялась найти в жене Гердера вознаграждение за эту утрату и заранее составила себе самое благоприятное мнение о Каролине. Она доказала свое участие и на деле — тем, что стала явно или втайне помогать устройству домашнего хозяйства для молодых супругов. Никогда еще она не обращалась так часто к Гердеру со своими письмами. По ее почину, весь двор приезжал поздравлять Гердера перед его отъездом в Дармштадт для бракосочетания.

Письма, которые писала Каролина в течение этих последних месяцев своего одиночества, дают нам лишь смутное понятие

о том, как ей жилось в Дармштадте. Тамошнее общество приятно оживилось в ноябре и декабре 1772 г. вследствие пребывания там «добросердечного пилигрима» Гёте. Каролина нашла, что после вейларского эпизода он сделался более спокойным и более веселым; и в разговорах с Каролиной, и в письмах к Гердеру он радовался счастьем их обоих и тому, что скоро снова увидится со своим страсбургским собеседником. И подруги Каролины — чахоточная Урания и мечтательница Лили, никогда не знавшая, чего хочет ее собственное сердце, — разделяли радость невесты; и в доме Гессе жизнь Каролины сделалась более сносной, с тех пор как всем стало известно ее предстоящее замужество. Относительно того, какую роль играл при этом Мерк, наши сведения несколько сбивчивы. Из неровности его обхождения с Каролиной, из его писем к Гердеру, из ответных писем Гердера и из некоторых выражений, встречающихся в письмах Гердера к Каролине, как кажется, можно сделать тот вывод, что он не верил в счастье, ожидавшее Каролину в браке с таким человеком, который, по-видимому, был так непостоянен в своих привязанностях и, бесспорно, был крайне причудлив. Письма двух влюбленных почти всегда проходили через его руки; неужели Каролина не ошиблась в высказанном ею подозрении, что он позволял себе распечатывать и читать эти письма?¹ О том, что и он сам, и его друг Гёте относились с недоверием к прочности любовной привязанности Гердера, свидетельствует одно письмо, написанное Мерком к жене в феврале 1774 г.² Неутешительные для Каролины толки дармштадтского общества усилились в начале 1773 г. вследствие появления Лейхзенринга, уезжавшего на несколько месяцев из Дармштадта вместе с наследным принцем. Этот сентиментальный собеседник и прежде немало надоедал двум влюбленным тем, что навязывался со своими советами. Потом Гердеру слишком часто приходилось читать в письмах Кароли-

¹ Каролина высказала это подозрение в письме от 6 апреля 1763 г., которое не вошло в печатный сборник ее писем: «После твоего последнего письма, в котором (...) я уже не получала от тебя писем; я не могу допустить, что твои письма не доходят до меня, потому что Мерк распечатывает их... однако мне кажется, что ему очень хотелось бы знать, что я пишу тебе о нем и о Л[ейхзенринге]. Мне уже не раз хотелось просить тебя, чтобы ты не адресовал твоих писем на его имя, — иначе, пожалуй, до меня не будут доходить и те редкие известия, которые я от тебя получаю!» Сравни. А, III, 373.

² Вагнер. III, 88: «Гердер и Каролина, как мне кажется, догадались, что я и Гёте относимся с недоверием к счастью, которое ожидает подругу жизни такого странного человека, как Гердер».

ны разные подробности о Лейхзенринге, и он стал, к огорчению Каролины, очень резко отзываться о ее приятеле. Лишь только Лейхзенринг возвратился в Дармштадт, он до такой степени снова завладел доверием Каролины, что она писала в марте Гердеру: «Еще никогда его общество не было для меня так же приятно, как теперь, и мне кажется, что он любит тебя более чистой, более искренней, более братской любовью, чем твои друзья». Она настойчиво упрашивала Гердера помириться с Лейхзенрингом. Она без большого труда достигла своей цели, быть может, потому, что тем временем у Гердера возникли какие-то пререкания с Мерком и с Гёте и что Гёте был крайне недоволен гердеровской «*Bilderfabel*». Между Мерком и Лейхзенрингом возникла явная вражда, причем Каролина держала сторону последнего против первого. К счастью для Гердера, он был так уверен в своем сокровище и в будущем счастье, что мог издали относиться к этим раздорам с таким хладнокровным благоразумием, к какому прежде не был способен. После идиллического описания своей жизни в Бюкебурге и городских окрестностей, которые представляются ему теперь в совершенно новом, розовом, свете, он пишет Каролине: «Не поддавайся влиянию тех трех причудливых людей, которых называют Гёте, Мерком и Лейхзенрингом, — что бы они ни говорили обо мне». В другой раз он оставляет без внимания жалобы Каролины на Мерка и пишет ей: «Ведь Лейхзенринг не что иное, как мотылек с красивыми золотыми крылышками... Эти люди так часто заводили ссоры из-за меня и так часто высказывали обо мне свои умные мнения, что они стали мне противны... когда ты будешь со мной, мы будем на все смотреть более спокойными глазами».

В этом случае Гердер был вполне прав — главным образом потому, что Каролине уже давно было пора покинуть ту сферу, в которой она так долго жила. Все несогласия, все антипатии, которые вносили в то время разлад в дармштадтское общество, годились только на то, чтобы сделаться сюжетом для шуточной комедии, — и Гёте не пропустил случая написать такую комедию. Ему также была противна привычка Лейхзенринга повсюду соваться со своими советами, и он, подобно Мерку, становился более сдержанным в своих отношениях к Каролине, по мере того как она подпадала под влияние «великого просветителя язычников». «Карнавальная шуточная комедия о фальшивом пророке, патере Брее, которую, пожалуй, можно превратить и в трагедию после Пасхи» — таково было заглавие той драматической фарсы, которую Гёте написал в ожидании приезда Герде-

ра, по всему вероятно, одновременно со стихотворением «Ярмарка», о появлении которого Каролина сообщала в Бюкебург, как кажется, только по слухам¹. Гёте вывел на сцену духовную особу, которая возбуждает недоверие и раздоры между торговцем пряностями Мерком и его доброй соседкой. Якоби впоследствии очень восхищался верным изображением Лейхзенринга в тех стихах, где говорилось, что он «хочет повсюду сравнять горы с долинами и все, что неприятно для глаз, замазать глиной и известкой». Лейхзенринг постоянно был занят широкими филантропическими планами с целью просвещать публику, а именно в то время публично возвестил о своем намерении издавать «*Journal de lecture*», в котором будут печататься лучшие выдержки из романов и из других книг; Мерк находил это намерение безрассудным и на практике неисполнимым, между тем как Гердер, из любезности, всюду рекомендовал новый журнал². Гёте осмеял в своей шуточной комедии и эти замыслы, в которых все было так «аккуратно распределено» и «хорошо обдуманно». Но главный интерес пьесы заключался в том, что патер Брей стал ухаживать за дочерью соседки, что ему захотелось полакомиться чужим, запрещенным кушаньем. Вскоре после того приехал жених Леоноры, служивший в драгунах капитан Баландрино, который был в отлучке «более двух лет»; он узнал всю правду от торговца пряностями, которого всегда считал за «честного малого». Он скоро пришел к убеждению, что патер Брей нисколько не повредил ему в глазах молодой девушки, а при содействии торговца пряностями он разыграл ловкую шутку с этим непрошеным утешителем, направив его к стаду свиней со всеми его трактатами о распространении просвещения и об улучшении всемирной нравствен-

¹ А, III, 489: «Мерк уже восстановил его (Гёте) против Лейхзенринга, и Гёте недавно прислал сюда стихотворение „Ярмарка“, написанное с целью угодить Мерку и вывести на сцену Лейхзенринга». Эти слова едва ли могли относиться к «Ярмарке» — такое же мнение высказывает и Вильман в своей попытке объяснить смысл этого стихотворения (Preuss. Jahrb. XLII, 51). Это недоразумение устраняется нашим предположением, что Каролина смешала одно сочинение Гёте с другим, потому что не читала ни того ни другого. Loeper (517 прим. к «*Dichtung und Wahrheit*») полагает, что о «патере Брее» идет речь и в ярмарочном стихотворении.

² К Распе 26 апреля 1773 г. (Weim. Jahrb. III. 48) и к Николаи 19 июня 1773 г. (С, I, 352). Я отношу сюда же и ненапечатанную приписку в конце письма к Гарткноху, написанного в августе 1773 г.: «При сем прилагаю объявление, которое уже распространено в Петербурге в значительном числе экземпляров».

ности. Пьеса кончается так же, как она кончилась в действительной жизни:

So laßt uns denn des Schnacken belachen
Und gleich von Herzen Hochzeit machen!

(Посмеявшись над этой проделкой, весело приступим к свадьбе!)

В конце апреля, после проведенной в труде Святой недели, Гердер тронулся с места и прибыл 26 апреля в Дармштадт¹. Кружок его дармштадтских друзей начинал пустеть, Мерк готовился сопровождать ландграфиню в ее поездке в Петербург, Лейхзенринг также готовился к отъезду², бедную Уранию похоронили за несколько дней перед тем; Гёте, живший в Дармштадте с половины апреля, возвратился во Франкфурт, после того как присутствовал при бракосочетании своего друга³. Бракосочетание совершилось в воскресенье, 2 мая. «Почтенный, престарелый пастор, — говорится в «Воспоминаниях», — сочетал нас браком в присутствии моих родственников, при яркой вечерней заре. То было божеское благословление, которое он произнес над нами. Любовь моих сестер, ясные майские дни и лунные ночи, точно голос Божий, скрепили и благословили наш брак... Мы поспешили уехать из Дармштадта»⁴.

¹ Супруга Гердера к Глейму 26 апреля 1784 г. (С, I, 104): «Так как мой муж приезжал ко мне женихом, чтобы отвезти меня к себе домой».

² Ненапечатанное письмо Каролины к Гердеру от 6 апреля 1773 г.: «Лейхзенринг остается до мая, Мерк уезжает 7-го, а его жена — 15-го».

³ Письмо Гёте к Кестнеру не от 3 мая, а от 4-го, так как Гердер вступил в брак 2 мая, что удостоверено как свидетельством Каролины, так и неоднократно указанными в письмах Циглера к Каролине. Бракосочетание совершал, по словам Вагнера (I, 24, прим.), городской пастор Вальтер. Прощение, с которым Каролина обратилась 27 февраля 1773 г. к ландграфу Людвигу Гессен-Дармштадтскому касательно разрешения на вступление в брак, напечатано в гердеровском альбоме Кюнцеля (Дармштадт, 1865, с. 258).

⁴ Это извлечено из рукописных «Воспоминаний». Из писем Лили к Каролине видно, что Лили еще была в Дармштадте во время пребывания там Гердера и что вслед за тем ее посетили в Гомбурге Гердер и Каролина. Непомеченное никаким числом письмо от Гёте к Кестнеру (Jungem Goethe. I, 368, № 67), по-видимому, подтверждает догадку, что молодые супруги заезжали во Франкфурт к Гёте. В Касселе они сделали визит Распе, как это видно из письма, написанного к этому последнему накануне Троицына дня, 29 мая 1773 г. (Weim. Jahrb. III, 49). Путешественники, дольше пробыли в Гёттингене в обществе Гейне. О том, что они там провели день Вознесения Господня (20 мая), Гердер упоминает в письме из Флоренции от 21 мая 1789 г. (В, 373). Об их пребывании в Гёттингене идет речь и в письме Гердера к Гейне от 14 декабря 1787 г. (С, II, 206).

ГЛАВА ВТОРАЯ

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Гердер уже давно не писал такого же веселого письма, как то, в котором он (21 июля 1773 г.) извещал своего «старого дорогого Пана» о своем супружеском счастье.

Blauäugig wie das Himmelszelt,
Ein schwebender Engel auf der Welt.

(С глазами голубыми, как небесный свод, она парит в этом мире, как ангел.)

Так описывал Гердер другу свою жену и говорил далее: «Но вы понимаете, что уже теперь прошло время писать стихи, а приходится распевать только те, которые были прежде написаны; и так я мог бы жить в полном счастье, если бы вокруг нас все было как следует. Так как с самого начала нашего знакомства мы оба вынесли много сердечных страданий, то я полагаю и надеюсь, что Бог будет милостив к нам».

Если бы вокруг нас все было как следует! Эта оговорка доказывает нам, что Бюкебург был по-прежнему неприятен для Гердера и что сам он остался таким же, каким был прежде. Однако глубокое сознание супружеского счастья берет верх над его возобновляющимися жалобами на его неприятное положение. В январе 1774 г. он писал Лафатеру: «Мой челнок все еще носится по бурному морю под нависшими тучами, еще несколько времени ему придется оставаться в таком положении; но я надеюсь, этому настанет конец, тогда я еще более буду ценить мое счастье. Моя жена служит для меня такой утешительницей и таким ангелом, что я не нахожу слов, чтобы описать ее, а несколько других хороших людей в этом маленьком уголке для нас то же, что мыс Доброй Надежды». В мае 1774 г. он снова жаловался Гаману на то, что ему приходится жить в Бюкебурге — «в этой Ханаанской земле среди камней и утесов, вдали от всего света»; но он говорит далее: «Я занят исполнением моих должностных обязанностей. Здесь у меня нет таких друзей, как вы, а есть толь-

ко несколько доброжелательниц; но моя жена для меня всё, а в будущем году, в моей детской гимназии, она будет для меня еще в десять раз более ценной. Я надеюсь на совершенно новую жизнь и на успех».

Но в то время как он писал это письмо, он лишился единственного друга, с которым мог вести оживленные беседы о научных предметах, — Вестфельд уезжал из Бюкебурга, для того чтобы поступить на ганноверскую службу. Впрочем, Гердер мог легко примириться с этой утратой, потому что, с тех пор как женился, стал заводить новые знакомства. Только с тех пор как он обзавелся собственным хозяйством и любезной хозяйкой, он стал вступать в более близкие сношения с бюкебургскими жителями. Местное население стало относиться к женатому пастору с большим доверием, а сам он стал охотно сближаться с теми, кто искал случая услужить ему и его жене; только тогда бюкебургские жители научились ценить его по достоинству и только тогда он стал знакомиться с бюкебургскими жителями. В числе тех дам, которые доказали ему свою дружбу во время его приготовления к женитьбе, первое место после графини Марии принадлежало г-же Бешеффер. Сам Гердер говорил о ней в конце своей бюкебургской жизни: «Она настоящая для нас мать и больше чем мать — такой друг, подобного которому никогда не найдешь». Эта добрая женщина была для Каролины такой преданной советницей и помощницей, какой могла бы быть только родная мать¹. Отношения Гердера к графине, а через ее посредство и к графу также сделались более приятными, с тех пор как он представил им свою жену. Графиня не напрасно радовалась приезду новобрачной — с первого знакомства между ними завязалась такая искренняя дружба, какая была возможна при различии их общественного положения. Когда Гердер писал в январе 1774 г. к Гейне, что и ему, и его жене оказываются «всевозможные милости и дружеское сочувствие», то он разумел под этими словами милости и сочувствие графа и графини. Не менее важно было для Гердера и то, что его сношения с прихожанами сделались для него более приятными, с тех пор как расширился круг его знакомств. С тех пор он стал все более и более принараиваться в своих проповедях ко вкусам своих слушателей. С начала 1774 г. он избрал темой для своих проповедей жизнь Иисуса и производил сильное впечатление даже на самых необразован-

¹ К Гаману (Соч. Гамана. V, 181); к Каролине (А, III, 494); Воспоминания. I, 237, 238.

ных прихожан. Из соседней деревни крестьяне приходили в своих полотняных блузах слушать его проповеди и приносили с собой свои экземпляры Библии, для того чтобы отмечать те места, на которые указывал проповедник. О том, что Гердер совершенно изменил прежнее содержание своих проповедей, он сам писал Лафатеру; это подтверждают и дошедшие до нас проповеди Гердера, которые, без сомнения, были еще более красноречивы в устном изложении, чем в печати¹.

Мы не будем входить в дальнейшие подробности касательно домашней жизни молодой супружеской четы. Что прежние друзья Гердера сделались друзьями и его жены, видно из писем, которые посылал Гердер в Ригу и в Кёнигсберг, в Цюрих и в Гёттинген. После того как Гердер обзавелся домашним хозяйством, ему приходилось принимать к себе гостей. Прежние неприятные воспоминания, вероятно, показались ему менее неприятными, когда к нему приехал в декабре 1773 г. в гости старый страсбургский приятель Пегелов. Гердер оставил Пегелова в Страсбурге больным при смерти; но после того Пегелов успел побывать во Франции и в Англии, а теперь готовился к возвращению в Россию. Так как ему приходилось проезжать через Кёнигсберг, то Гердер поручил ему передать Гаману устные приветствия вместе с кусочком черного вестфальского хлеба. Это поручение Пегелов исполнил только через восемь месяцев, потому что замешкался в пути, — поэтому приветствия Гердера оказались запоздалыми, а кусочек вестфальского хлеба покрылся плесенью². Тем временем Гарткнох успел доставить в Кёнигсберг более свежие новости из Бюкебурга. Отправляясь на пасхальную ярмарку 1774 г., он заехал в Бюкебург и остановился в церковном доме — то была приятная встреча после разлуки, длившейся около пяти лет. Каролина всей душой полюбила этого человека, который был самым преданным другом ее мужа, всегда готовым помогать Гердеру всем, чем только мог; после отъезда Гарткноха в Лейпциг, она написала ему письмо, в кото-

¹ Воспоминания. I, 245 с прим.; к Лафатеру (А, II, 83, сравн. 118); проповеди (SW IX в отделе теологии).

² К Гарткноху (С, II, 37); об этом посещении извещало письмо Гарткноха к Гердеру (Там же. 47); на письме, которое Гердер послал с Пегеловым Гаману (Соч. Гамана. V, 84), находится следующая заметка, написанная рукой Пегелова: «Докт. Пегелов выехал из Бюкебурга в декабре 1773 г.», и слова «получено 13 августа 1774 г.»; сравн. письмо Гамана к Гердеру (Соч. Гамана. V, 86). Об этом госте упоминает и графиня Мария в письме к Каролине от 11 декабря 1773 г.

ром благодарила его за то, что «он и ее включил в свой дружеский союз с Гердером»¹.

Во время этого посещения между Гердером и Гарткнохом велись и деловые беседы. Уже в течение всего предшествовавшего года в их письмах постоянно шла речь о новых сочинениях, о доставке книг, о присылке и печатании рукописей. С началом брачной жизни Гердера начинается и новая эпоха в его литературной деятельности.

Извещая в письме от 12 апреля 1773 г. Гарткноха о своей предстоящей поездке для бракосочетания, Гердер писал, что вместе со своим вступлением в брак он намеревается «праздновать и возрождение своего прилежания». Эти слова оправдались на деле. Гердер откровенно признавался, что внешним стимулом к более усидчивой работе был расчет на вознаграждение звонкой монетой, — ведь экономическое положение молодых супругов причиняло им немало забот². Вторым, еще менее скрытым стимулом было желание приобрести более громкую известность и «дописаться» до возможности выехать из Бюкебурга. Но главной причиной «возрождения» его прилежания было то более спокойное и вместе с тем более высокое душевное настроение, которым он был обязан присутствию любимой женщины. В этом он яснее сознавался в письме к Лафатеру (в половине октября 1773 г.). Сообщая Лафатеру, что у него уже давно лежат «на сердце и под его изголовьем» два или три сочинения, он говорит далее: «Если из всех этих замыслов вышло что-нибудь существенное, если эти сочинения написаны именно так, как я желал их написать, то я этим обязан моей дорогой жене; они долго лежали в хаосе и в течение многих лет были предметом ежедневного бесполезного труда; из них что-нибудь вышло только благодаря тому, что подле меня сидела жена с ее спокойным взором и светлым лицом». Однако медовый месяц предъявлял свои права: по меньшей мере в письме к Гаману от 21 июля 1773 г. Гердер говорил, что его литературная работа все еще не движается вперед, но зато потом «пойдет быстрее прежнего». Действительно, она устремилась вперед подобно потоку, который был долго задержан плотиной. Гердер обнаружил теперь поистине удивительную деятельность и плодovitость. Уже в начале августа было го-

¹ См. корреспонденцию с Гарткнохом № 30 и сл.; о прибытии Гарткноха упоминает и графиня в письме к Каролине от 21 апреля.

² «Расходы на наше обзаведение и долги Гердера составляли сумму в 600 талеров. Этим началась наша брачная жизнь», — писала Каролина в «Воспоминаниях», сохранившихся в рукописи.

тово первое небольшое сочинение — касательно философии истории, и в его уме уже «зародилось и жгло его голову» новое сочинение, гораздо более обширное¹. Это была та, задуманная еще за несколько лет перед тем, «Археология евреев», которой он только теперь придал ту форму, в которой находил возможным издать ее в свет. В августе и в сентябре были окончены три первые части «Древнейшего документа человеческого рода» — таково было новое заглавие, которое он дал этому сочинению. Королина рассказывает², что Гердер работал с необыкновенным воодушевлением и что все сочинение он написал так, что оно точно будто вылилось из одного душевного порыва, точно будто автор не успевал перевести духа. Или рано утром, или всего чаще около четырех часов он садился за работу и окончил ее невероятно скоро — в несколько недель. Но и этого мало. В октябре он послал печатать третью рукопись — небольшой томик народных песен, а в следующем месяце уже были готовы «Провинциальные листки к церковному проповеднику»³. «Вы видите, — писал Гердер Гарткноху после отсылки трех первых сочинений, — что я вовсе не бездействовал в течение прошлых лет; я хотел дать моим идеям время созреть, а потом разом пустить их в ход и со всех сторон толкнуть ученую республику вперед; вы увидите, какой подымется необыкновенный шум». В другой раз он писал, что те сочинения были «дети, зачатие которых относится к далекому прошлому и которые появились на свет после продолжительной беременности»; затем он снова утверждал, что «они наделают страшного шума и пойдут в ход».

В этих трудах Каролина служила для Гердера не только музой, но также «дорогой помощницей», или, как он выражается, «важной пособницей при распространении слова Божия»; однако и этими трудами еще не ограничивалась авторская деятельность Гердера. Прежде чем приступить к сочинению о «Древнейшем документе», он постарался исполнить все свои прежние обязательства — послал 14 августа 1773 г. обещанные Николаи рецензии, а 12 января 1774 г. отправил к нему последний сверток рукописей⁴. И статьи для Кёнигсбергской газеты были написаны в конце лета или осенью 1773 г. Литературные проекты неутомимого труженика заходили еще много далее того, что было ему по

¹ К Гарткноху (С, II, 43).

² Воспоминания. I, 240.

³ Переписка с Гарткнохом, № 22, 23, 25; К Лафатеру (А, II, 61). Переписка с Гейне, № 28, 29.

⁴ Переписка с Николаи, № 22; С, I, 355, прим.

силам. Он, между прочим, намеревался перевести сочинения Гемстергюи¹. Он надеялся, что еще в октябре 1773 г. будет в состоянии выслать вслед за другими рукописями и сочинение о пластике, которое должно было состоять из двух томиков в восьмую долю листа²; были отложены в сторону только «Отрывочные заметки», о продолжении которых настаивал Гарткнох; «прежде этих заметок, — писал Гердер, — следует окончить вторую часть сочинения о происхождении языка, да и с той нет необходимости спешить»³. Но его влечение ко всему, что касалось теологии, и появление одного замечательного сочинения заставили его отложить все прежние проекты и заняться «Объяснениями Нового Завета». К этой работе он приступил в декабре 1773 г. и, упоминая в одном из своих писем об этом новом предприятии, имел полное право утверждать, что «сидит на месте и работает, как лошадь»⁴.

Ни типографщики, ни издатели не могли поспевать за таким неутомимым писателем. Гердеру хотелось, чтобы его первых три сочинения вышли в свет к Рождеству 1773 г., так как к пасхальной ярмарке «уже должно было появиться нечто новое»⁵. Две рукописи он отправил для печатания в Вейссенфельс к Ифе, а «Древнейший документ» отправил для печатания в Лейпциг к Брейткопфу, но ему скоро пришлось жаловаться на мешкотность первого из этих издателей. Этой мешкотностью и объясняется, почему самое объемистое из четырех сочинений («Древнейший документ») вышло в свет ранее остальных. Уже 13 января 1774 г. автор был в состоянии вручить графу Вильгельму экземпляр этого сочинения; 12 февраля он извещал Гарткноха, что печатание окончено, а 29 марта полный экземпляр сочинения уже находился в руках Лафатера⁶. Напротив того, те сочинения, которые печатались у Ифе, не выходили в свет до Святой недели. Только в июне Гердер получил экземпляры философии истории и провинциальных листков⁷. Ему была особенно неприятна мешкотность, с которой печатались народные песни; она доставила ему возможность взять назад эту рукопись.

¹ К Гарткноху от 10 августа и 13 сентября 1773 г.

² Объяснения о пластике по подлинному письму № 22 к Гарткноху.

³ К Гарткноху № 24 (С, II, 50).

⁴ К Гарткноху № 26 (С, II, 51).

⁵ К Гарткноху № 24 (С, II, 49, 50).

⁶ Изъявление благодарности графа Гердеру от 14 января, в рукописи к Гарткноху № 28; Лафатер к Гердеру (А, II, 91).

⁷ К Гарткноху (С, II, 60).

Таким образом, Гердер вступил в 1774 г. на литературное поприще с тремя сочинениями, которые имели по своему характеру очень мало сходства с теми, которые он писал в Риге и вскоре после своего отъезда оттуда. История человечества была связующим звеном между теми и другими. Но прежде стояла на первом плане эстетика, а теперь преобладали вопросы, касающиеся теологии. Даже при обсуждении теологических вопросов Гердер уклоняется от того направления, которого он придерживался в своих прежних сочинениях. Его теперешние литературные произведения свидетельствуют о том глубоком внутреннем перевороте, который мы описали в предыдущей главе в его внешних и внутренних мотивах, в его отличительных чертах и в его постепенности. Перемена, происшедшая в домашней жизни автора, подготовила нас к пониманию причин, по которым он вступил в новую эпоху своей литературной деятельности; а его новые сочинения дают нам возможность обозреть во всем его объеме тот переворот, который совершился в его уме. Мы рассмотрим эти сочинения каждое в отдельности, придерживаясь того порядка, в каком они выходили в свет.

I. «Еще философия истории»¹

Это маленькое сочинение было переписано набело чужой рукой; оно было отправлено для печатания в Вейссенфельс окольным путем, а письмо к издателю было написано под диктовку Гердера Каролиной — все это делалось с целью скрыть имя автора. Стало быть, Гердер и теперь находил нужным сохранять свое инкогнито и вести ту же игру в прятки, какую вел при издании «Отрывочных заметок», «Торса» и «Критических лесов». Он настоятельно просил Гарткноха скрывать имя автора; он не хотел, чтобы это имя упоминалось даже в ярмарочном каталоге книг; еще до выхода сочинения в свет он писал: «Умалчивайте о моем имени! Даже лучше сделаете, если будете лгать и обманывать или если выставите какое-нибудь вымышленное имя — лифляндское, русское, самогитское *et cetera!*»² И на этот раз он дал Гарткноху повод заметить, что он сам не умеет молчать и потому

¹ «Еще философия истории для назидания человечества. Вклад ко многим другим вкладам этого столетия». S. l., 1774; 190 страниц 8°.

² Эти слова находятся в письме к Гарткноху № 32, которое осталось ненапечатанным; кроме того, сравн. № 20 и 28.

делает бесполезными все старания издателя. Действительно, еще до выхода книги в свет он намекал в письмах к Лафатеру и к Гейне на предстоявшее появление его сочинения без имени автора, а когда, отсылая экземпляры новой книги к этим друзьям, он снова просил их не произносить его имени¹, он, конечно, мог предвидеть, что по меньшей мере болтливый Лафатер не будет хранить тайну. И сам он был уверен в том, что его выдаст его слог и что его имя «разгласится само собой». Он боялся этого или надеялся — так выражался этот странный человек, доказывая этими словами, что в его душе сталкивались совершенно противоположные желания.

О достоинствах своего сочинения он вовсе не был низкого мнения. Извещая своего рижского друга об окончившемся печатании книги, он говорил, что это «очень хорошая книга»; он хотел, чтобы она была красиво напечатана, как «одно из привлекательных произведений нашего столетия», потому что она действительно «очень привлекательна»². Это и была та причина, которая внушала ему надежды. Но были и другие причины, которые внушали ему страх. От того, кто занял место Аббта, всего менее можно было ожидать такого сочинения, которое было во многих отношениях выражением недовольства автора его положением — выражением той мысли, что автор не на своем месте в той среде, где ему приходится жить. Местами встречались ясные указания на положение дел в Бюкебурге, на образ мыслей и на систему управления того человека, который восхищался Фридрихом Великим и старался ему подражать. Сам Гердер сознавал неловкость таких намеков, когда мотивировал свое инкогнито соображением, что его сочинение может повредить ему при дворе, так как оно нападает на те принципы тогдашнего времени, которых придерживаются повсюду.

Действительно, эта полемическая тенденция господствует во всем сочинении. Это было не что иное, как жалобы и нападки на дух того времени, как это ясно видно даже из отзывающегося насмешкой заглавия. По словам самого Гердера³, он «сыпал горящие уголья на голову своего века». Он выпустил это сочинение в свет в виде изложения той точки зрения, которой он будет дер-

¹ К Лафатеру (А, II, 61); к Гейне (С, II, 165, 166); к Лафатеру (А, II, 108); к Гейне (С, II, 174; окончание № 37); к Гану (у Лиша: Там же. 121).

² К Гарткноху (С, II, 43). К великой досаде Гердера (Там же. 57, 60), книга была усеяна опечатками.

³ С, II, 413.

жаться в своей новой литературной деятельности. В своих прежних сочинениях он сам стоял на почве всеми усвоенных воззрений, а во время своего первого пребывания во Франци даже едва не стал приноравливаться к тогдашним политическим идеям. Правда, он уже ранее высказывал свои возражения против некоторых ложных идей — он уже ранее противопоставлял основанную на исторических объяснениях критику той эстетической критике, которая исходила из неизменных предвзятых положений, противопоставлял чувственность и индивидуальность односторонним отвлеченным понятиям, необходимость свободного творчества — бездушной подражательности, полную жизни натуральную поэзию народного гения — мертвой, отвлеченной поэзии; но все это он делал, более или менее придерживаясь идей современной философии, лишь развивая, объясняя или дополняя эти идеи. Теперь у него другая цель. Теперь он становится в революционную, резкую оппозицию с направлением идей своего времени и с современным образованием. Он восстает не против тех или других мнений или того или другого склада ума своего века, а против всего века. Он доказывает негодность не той или другой односторонности в господствующей философии, а негодность философии вообще. Его век и современная философия сделались для него синонимами. Он с презрением отзывается о «нашем философском, бездушном мире», о «свойственной кроту прозорливости, которой отличается этот блестящий век», и со страстной горячностью упрекает этот век за то, что «слово „философия“ он начертал у себя на лбу крепкой водкой, которая, по-видимому, сильно действует на его мозг».

Итак, это было не что иное, как памфлет; впоследствии сам Гердер так называл свое сочинение¹; но это был памфлет с политической подкладкой. Хотя он был наполнен нападками на тот век, он был «вкладом к многим вкладам того века»; хотя он был наполнен нападками на философию, он был «также философией». Гердер исходит из такого пункта, в котором его образ мыслей всего ближе сходится с господствующими мнениями, но для того, чтобы немедленно опровергнуть эти мнения. Гордившиеся своими умственными превосходствами и своими стремлениями к прогрессу современники Гердера любили философски изучать тот путь, которым совершалось развитие человеческого ума; поэтому одной из их любимых наук была философия истории; а в их высокомерных философских суждениях об истории

¹ К Эйхгорну, октябрь 1783 г. (С, II, 286).

ясно обнаруживалась несостоятельность тех воззрений, которые были господствующими во всех сферах их умственной деятельности. Именно благодаря тому, что Гердер усвоил историческую точку зрения, он был в состоянии опровергать ходячие мнения и предрассудки. Он имел в виду историю человеческого ума при всех своих прежних литературных предприятиях, что всего яснее видно на статье о происхождении языка. Он с давних пор не оставлял непрочитанной «ни одной новой книги, в которой шла речь об истории человечества», и от его внимания не ускользала ни одна из высказанных там выдающихся мыслей¹. История философии и всеобщая история образования — таковы были те рамки, к которым он постоянно приспособлял все свои широкие литературные и научные проекты, задуманные им еще в то время, когда он писал свои путевые записки, и лишь на время отложенные в сторону.

Поэтому памфлет, наполненный нападками на то время и на тогдашнюю философию, знакомил публику с воззрениями автора на философию истории, а эти воззрения разрослись в такой проект всеобщей истории, который был насквозь пропитан полемическими целями.

Основой для гердеровских воззрений на историю служит благочестивая вера — вера в Откровение. Он утверждает, что ходом исторических событий руководит провидение. Но из философии своего времени он заимствует понятие о том, каким образом одни исторические события истекают из других. От школьного понятия о «совершенствовании» он переходит к лейбницевскому понятию о развитии. Развитие совершается как в том, что производит природа, так и в истории. Этим объясняется, почему с каждым успехом всегда соединяется какая-нибудь утрата. Совершенствование никогда не обходится без каких-нибудь недостатков. Точно так и человеческая натура не может бытьместилищем безусловного, самостоятельного, неизменного счастья — «каждая нация имеет в самой себе свой центральный пункт счастья».

В ту пору были одновременно в ходу два воззрения на историю, оба возникшие на почве просвещения. От противоположности с ними гердеровское воззрение приобретает некоторую определенность.

Одни с энтузиазмом высказывали уверенность, что человечество постоянно идет вперед по пути к совершенствованию, что

¹ Предисловие к «Идеям о философии истории».

именно в то время высокообразованная Европа находилась в периоде цветущей юности и, путем добродетели и мудрости, готовила для себя еще более счастливую будущность — приближалась к периоду своей возмужалости; одним из главных представителей этого направления был швейцарец Исаак Изелин, написавший в 1764 г. очерк «истории человечества», который уже достиг в 1770 г. 3-го издания. Руководящей идеей для такой оптимистической философии истории служило убеждение, что каждый отдельный человек идет вперед по пути к добродетели и к счастью, причем понятие о просвещении совпадало с понятием о счастье, о распространении здравых идей, о добродетели; «так что, — по словам Гердера, — из всеобщего непрерывного стремления к совершенствованию был сделан сюжет для романа».

Другие — и во главе их Вольтер со своим уже устаревшим «Очерком нравов и духа народов» — видели во всех исторических событиях нечто похожее на маскарадное представление, в котором несколько неизменных естественных законов до бесконечности видоизменяются под влиянием пестрого разнообразия нравов и обычаев. Заблуждения и предрассудки сменяются одни другими с бесконечной непрерывностью, и лишь благодаря счастливым случайностям люди делаются немного более благоразумными и прозорливыми, а среди этого хаоса преступлений, безрассудств и бедствий иногда встречается оазис просвещения — как это случилось в веке Вольтера. Это скептическое воззрение на историю не усматривало в ходе исторических событий ни плана, ни прогресса; для него история была то же, что работа Пенелопы, которая распускала ночью то, что соткала в течение дня.

Гердер стал на середине между этими двумя воззрениями на историю. По его мнению, не подлежит сомнению, что в ходе исторических событий есть прогресс и план; но прогресс зависит не от людей, и мы можем распознавать конечную цель руководящего божества лишь «по результатам и остаткам отдельных исторических явлений». Эти явления не цель, а только ведущее к цели средство, только отдельные моменты в развитии целого, а человек — только слепое орудие для скрытой от наших глаз цели Божьей. Еще по поводу своего «Брута» Гердер говорил, что его «любимой философией» была та, которая признавала, что «люди достигают высокого положения вовсе не потому, что стремятся к этой цели», тратят на нее свои силы, — что люди «ползают, как муравьи, на колесе фортуны». Его убеждения можно назвать фатализмом — но этот фатализм полон веры

и благочестия. По его мнению, мы усматриваем в истории определенную цель только в той мере, что мы способны догадываться о существовании высшей, божеской цели. Он еще далее заходит в этом воззрении: путаясь в лабиринте событий, мы должны знать, что этот лабиринт — «дворец Божий, построенный только для Бога, быть может, для того чтобы веселить Его взор, но вовсе не для наших удобств!» Впрочем, он снова уклоняется от этого безотрадного предположения. Он признает несомненным только то, что смысл бесконечно разнообразной исторической драмы недоступен человеческому уму, что только высшее не человеческое существование может раскрыть перед нашими глазами план тех событий, которые кажутся нам не понятными. Таким образом, у Гердера все сводится к вере и к догадкам. Он писал о своем сочинении своему другу Лафатеру¹, что оно — «ключ к пониманию человеческой истории в том, что в ней темно и неясно, что оно ключ к пониманию человеческого сердца».

Однако, читая сочинение Гердера, мы замечаем, что автор не высказал всего, что у него было на уме. Говоря с такой определенностью о плане и о цели, он впадает в противоречие с самим собой, когда освещает смысл исторических событий указанием такой цели, которую можно только предугадывать. Какое же значение следует придавать его неоднократным заявлениям, что он намеревается подробно объяснить целесообразный ход исторических событий и этим способом опровергнуть учение тех философов, которые во всем видят бесцельный результат человеческих влечений и усилий и все превращают в такой хаос, в котором нет места ни для добродетели, ни для Бога? «Если бы мне удалось, — восклицает он, — связать самые разнообразные явления в одно целое, не смешивая их одни с другими, если бы мне удалось объяснить, как эти явления относятся одни к другим, возникают одно из другого, исчезают одно в другом!» и т. д. В другом месте он снова мечтает о такой подробной истории человечества, которая была бы дополнением к «благородному исполинскому труду» Монтескье, но была бы еще более благородным произведением, — о такой истории человечества, которая была бы основана не на философском духе того времени, а на «понимании откровения Божия». В этих словах Гердера не следует искать зародыша гораздо позже им написанных «Идей об истории человечества». Сочинение, которым он был теперь занят, было в совершенно ином роде и исходило из совершенно

¹ А, II, 61.

иной точки зрения. То последнее слово, которое он теперь не решился высказать, однако, просилось на уста. Что оно не будет угадано читателями, он сам ясно сознавал. Он пожелал нового издания своего сочинения, для того чтобы придать ему большую ясность и новое направление, в особенности в окончательных выводах¹. Касательно этого важного пункта он всего яснее высказался в письме к Лафатеру. Он писал Лафатеру², что предполагал издать вторую часть, «которая относилась бы к первой, как ключ к замку, а таким ключом были бы религия, Христос, конец мира с переходом к вечному блаженству». Он не был уверен в том, что когда-нибудь напишет эту вторую часть. Читая первую часть, его друг должен воображать, что имеет перед собой замок, к которому еще нет ключа. На деле оказалось, что в то время, как Гердер писал это письмо к Лафатеру, он уже был занят тем сочинением, которое указало всему миру, в чем заключается тот ключ, и которое носило заглавие «Объяснения к Новому Завету».

Хотя та книжечка Гердера, которая носила заглавие «Также философия истории», была лишь программой для задуманной, но еще не написанной истории человечества, и хотя автор еще не сказал в ней своего последнего слова, однако она не ограничивалась изложением общих воззрений, а присоединила к нему очерк исторических событий вплоть до настоящего времени. Чем более этот очерк уясняет нам основную точку зрения автора, чем более он служит для Гердера опорой для опровержения господствовавших в то время воззрений на философию истории, тем более важно для нас подробное знакомство с его содержанием.

Точно так же, как и в своем сочинении на премию, Гердер утверждает, — согласно с рассказом Моисея, — что род человеческий произошел от одной четы. Он усматривает материнскую заботливость Провидения в тех чрезвычайно благоприятных естественных и климатических условиях, при которых начал развиваться этот первоначальный зародыш будущей истории. В той же аналогии с природой, которую он постоянно имел в виду при объяснении исторических событий, его благочестивый взор усматривает подтверждение того факта, что это первоначальное развитие совершалось просто, без грубых толчков и именно таким удивительным путем, какой описан в священных книгах. Из того соображения, что для первоначальной организации

¹ В письме к Гану (у Лиша, с. 121).

² А, II, 110.

юного человеческого рода нужно было время, чтобы пустить глубокие корни, Гердер выводит заключение, что продолжительная жизнь патриархов была столько же естественной, сколько необходимой! Он с увлечением описывает патриархальные зачатки истории как «золотой век находившегося в детстве человечества» — описывает с увлечением в противоположность с унижительными для человечества идеями философов. Он доказывает, что вызывавший так много порицаний восточный деспотизм был в те древнейшие времена самой благотворной отеческой властью, опиравшейся на ребяческие религиозные чувства. Он с пылким красноречием опровергает мнение Вольтера и его последователей, будто такая благочестивая вера и такая покорность народов были насильно навязаны обманщиками и злодеями, духовенством и тиранами. Высказывать такое мнение — значит судить о древних временах с точки зрения наших теперешних понятий и нашего теперешнего равнодушия к религии. Из «Отрывочных заметок», из «Критических лесов» и из множества повсюду разбросанных прежних суждений Гердера нам уже известна его противоположная точка зрения — нам известно его требование, чтобы писатель вникал в дух каждого народа и каждой эпохи. Он настойчиво предъявляет теперь то же требование. Характеризовать какую-либо нацию можно, по его мнению, только тогда, когда «питаешь к ней сочувствие». Необходимо «познакомиться с условиями данного времени, данной страны и с их историй и все это перечувствовать в своем сердце». Это правило он прежде очень удачно применял к оценке поэтических произведений отдаленных времен, но не мог так же удачно применить к изучению истории. Поэтические черты в библейском описании века патриархов отчасти заслоняют от глаз автора исторические события, главным образом потому что к этим поэтическим чертам примешивается религиозная окраска. Из сочувствия к поэтически-религиозному духу преданий автор заглушает в себе голос критики. Он вполне прав, когда восстает против грубой, противной, пошлой заносчивости, с которой Вольтер и компания разрешали все, что касается древнейших времен. Такие ложные мнения можно было опровергнуть, конечно, только путем самого ясного описания тех времен. Тем не менее не подлежит сомнению, что Гердер все выставляет в слишком ярком свете. Прежние философы рисовали эпоху патриархов в карикатурном виде, а Гердер старается разукрасить ее. Философски-рационалистическим суждениям он противопоставляет поэтически-сентиментальные, а чрезмерной

критической разборчивости — совершенное отсутствие всякой критики.

Впрочем, в дальнейшем изложении автор становится на правильную точку зрения. После того как он окончил описание детского возраста человечества, он с беспристрастием описывает даже темные стороны дальнейших исторических событий. Теперь нам нравится у него старание характеризовать исторические явления путем объяснения индивидуальных особенностей каждого народа. Он вполне сознает важность исторической характеристики и в чем заключается идеал живого описания великих исторических событий и эпох, хотя и не надеется достигнуть такого идеала. Он говорит, что хочет писать характеристики, а не поверхностные очерки. Несмотря на то что он был одним из последователей Монтескьё, он восстает против старания «все развешивать на двух тоненьких булавочках»; он хочет строгой правды и по мере своих сил старается оберегать себя от «пошлых общих мест» и от «бессодержательного остроумия».

Поэтому в объяснении дальнейшего хода исторических событий он принимает за руководство ту же аналогию с различными человеческими возрастами, к которой издавна привык прибегать. Он говорит, что вслед за детством человеческого рода настало отрочество. С берегов Евфрата, Окса и Ганга провидение протянуло нить исторических событий к берегам Нила и в Финикию. Взамен патриархального образа жизни пастухов и кочевников возник в Египте образ жизни землепашцев — вместе с земельной собственностью там возникло строго регулируемое общественное устройство, при котором дети приучились к порядку, к прилежанию и к исполнению гражданских обязанностей, а все эти учреждения находились в естественной связи с требованиями и с выгодными сторонами египетской почвы и египетского климата. Многосторонний и изменчивый характер исторических событий точно будто принимает в его уме отпечаток индивидуальных особенностей, и он измеряет достоинство египетских порядков, египетского государственного устройства, религии, науки, искусства не чужеземным масштабом и не масштабом одностороннего сочувствия к грекам, как то делали Винкельман и Шефтсбери, — он снова повторяет в нескольких строках то же, что излагал более подробно в исправленном, но ненапечатанном, втором томике «Отрывочных заметок»¹. Но вслед за тем он противопоставляет египтянам финикиян. Эти последние

¹ См. выше, с. 295.

основали первое торговое государство, сделали первый шаг к республиканской свободе, а те добродетели, в недостатке которых их могли бы упрекнуть жители восточных стран и египтяне, они заменили свойственной только им одним осмотрительной предприимчивостью и такой изобретательностью, для которой служат главной целью удобства жизни. Несмотря на несходство по складу ума, египтянин и финикийнин были близнецы, родившиеся от одной матери; но финикийнин «был более развитым ребенком, который пускался в далекие странствования и разносил по улицам и по рынкам остатки древней мудрости и древнего искусства; затем появился на сцене прекрасный греческий юноша, заимствовавший свое образование от тех близнецов, но умевший переделывать на свой лад и идеализировать все», что получал извне. Автор живо описывает, как в Греции «все дышало юношеским весельем, грацией, забавой, любовью», хотя и не без некоторого ущерба для прежних дарований; а говоря о тех условиях, при которых созрела эта греческая образованность, автор напоминает суждения Винкельмана только с той разницей, что он дополняет эти суждения ссылкой на связь со всемирной историей. Наконец в римлянах олицетворялась «возмужалость человеческих способностей и стремлений». Но Гердер полагает, что нелегко охарактеризовать эту возмужалость одним метким выражением; по его мнению, это была «достигшая зрелости судьба древнего мира».

После того как было ниспровергнуто всемирное владычество римлян, началось новое время; но при описании этого нового времени автор уже совершенно теряет из виду аналогию с различными возрастами человеческой жизни; нить исторических событий прерывается и тогда выступают на сцену северо-германские народы, жившие такой патриархальной жизнью, какая возможна на севере. В то время как северные народы устремляются на юг, у них развиваются новые способности, возникают новые учреждения, и таким образом возникает новый «северо-южный мир». Кроме того, провидение уже давно приготовило в христианской религии новую закваску для находившихся в состоянии брожения зачатков новой жизни. Гердер старается изобразить дух христианства с таким же безукоризненным беспристрастием, с каким его мог бы изобразить «чужеземец, мусульманин или мамелюк». В этом случае, точно так же как и во многих других, он ясно доказывает нам, что его философия истории не имеет сходства с философией истории Боссюэ или Вольтера. Только в своих позднейших «Объяснениях Нового Завета»,

только ввиду необходимости дать положительный ответ на последний из затронутых им вопросов, он устанавливает связь между естественным ходом исторических событий и тем доисторическим, сверхъестественным, спасительным замыслом, исполнителем которого явился Христос. А здесь Гердер еще не высказывает такой мысли, вызванной необходимостью выпутаться из затруднительного положения. Здесь он решительно заявляет, что проявление божеской воли в этом мире и среди людей нельзя объяснять иначе, как мирскими и человеческими мотивами. Во всяком случае то, что он говорит здесь о христианстве, не имеет ничего общего ни с верой Боссюэ во все сверхъестественное, ни с верой в Откровение Божие. Он смотрит на христианскую религию только как на самую чистую, самую идеальную, самую всеобщую этику, только как на «самый гуманный деизм», который должен взять верх над всеми национальными религиями и сделаться всемирной религией. Именно потому он и полагает, что эта религия должна сделаться связующим звеном между народами и что в своем смешении с мирскими элементами она должна служить самым полезным орудием для дальнейшего совершенствования человечества. Благодаря тому что все находившиеся в состоянии брожения силы были проникнуты духом христианства, из них возникло то удивительное явление, которое называется Средними веками, — возникли те порядки, при которых монашеское благочестие совмещалось с рыцарской храбростью, любовные ухаживания — со страстью к исканию приключений, тирания — с привязанностью к неограниченной свободе, и при которых самым странным образом сталкивались и смешивались понятия влечения восточных жителей, римлян, северных народов и сарацинов.

Автор уклоняется от характеристики различных периодов средневековой истории, но точно так же, как при описании времен патриархов, порицает ревнителей просвещения за их односторонние и неверные суждения о восточном деспотизме и о Средних веках. То было результатом усвоенной им точки зрения на историю, что он указывал на оборотную сторону медали — на положительную важность средневековых исторических событий, на которую уже указывал ранее его Юстус Мезер. Эта глава точно будто написана в параллель с восхвалением рыцарских времен в гётевском «Гёце» и с прославлением «немецкой архитектуры» в сочинении, посвященном памяти Эрвина Штейнбаховского. Гердеровская статья похожа на красноречивую апологию Средних веков. В ней говорится, что когда Вольтер и Юм, Роберт-

сон и Изелин в один голос отзывались о Средних веках с крайним несочувствием, то это происходило оттого, что они принимали те века за самые мрачные и непросвещенные, — мерилом для их оценки служила более развитая интеллигенция, в которой они видели прогресс их собственного времени. Гердер полагает, что можно прибегать к такому масштабу и к такому методу только ради уяснения контраста; но к ним не должен прибегать тот, кто хочет обозреть быт и цели тех времен в их цельности, и в особенности тот, кто смотрит на ту эпоху как на одно «звено в течении времен». Самое замечательное из всех его возражений против господствовавшего воззрения заключается в том, что не одним просвещением питается человек и что одна свобода мысли еще не дает счастья, что каковы бы ни были чувства, влечения и деяния, они имеют не менее важное историческое значение. Одинаково необходимо доставлять пищу как для ума, так и для сердца. «Я вовсе не намерен, — говорит Гердер, — вступаться за беспрестанные переселения народов, за беспрестанные опустошения, за войны и ссоры с вассалами, за распространение монашества, за благочестивые странствования, за крестовые походы, но я желаю доказать, что во всех этих явлениях есть внутренний смысл. Это было брожение человеческих способностей! Это было исцеление целых поколений посредством усиленной деятельности! Я даже позволю себе сказать, что судьба снова завела остановившиеся громадные часы (конечно, с сильным шумом и так, что гири не могли висеть спокойно); тогда было слышно, как скрипели колеса!» Далее Гердер доказывает, что то время отличалось добродетелями, которым мы можем позавидовать при всей нашей философии и при всей нашей цивилизации; он доказывает, что происходившая в то время внутренняя ломка подготовила в будущем немало успехов и что, с другой стороны, средневековая жизнь заключала в самой себе вознаграждение за свои недостатки и потому была настоящим прогрессом в сравнении с жизнью древних народов. «Начиная с Востока и кончая Римом история представляла нечто вроде голого пня, на котором стали показываться сучья и ветки только впоследствии». Именно это изобилие сучьев и ветвей, именно эта путаница составляет оригинальную и важную по своим последствиям особенность средневековой жизни. Наконец, даже в этой путанице господствовало некоторое единство! И в средневековой иерархии автор находит нечто достойное похвалы: несмотря на все свои насилия, папство было в руках провидения орудием, посредством которого устанавливалась еще более возвышенная связь между народами

и распространялось убеждение, что все люди должны быть христианами и братьями.

Здесь, как видно, были приняты Гердером за основу те самые идеи, которые были впоследствии исторически изложены Иоанном Мюллером и далее развиты Новалисом в статье о христианстве, А. В. Шлегелем в берлинских лекциях, а вслед за ними проповедовались остальными приверженцами романтизма. Из дальнейшего содержания гердеровской статьи мы еще яснее увидим, как мало общего имел романтизм с новыми идеями и как ему пришлось многому учиться у Гердера.

Вместе со старанием защитить Средние века от нападков со стороны ревнителей Просвещения у Гердера видно желание унижить столь громко прославленное теми ревнителями Новое время. Только в дальнейшем содержании статьи до такой степени преобладает полемическое направление, что оно совершенно затемняет и поглощает историко-философское изложение. В фантастическом пристрастии к образованию своего века Гердер усматривает главное заблуждение и старается умалить значение того исторического периода, который начинается с Реформации и с возрождения искусств и наук. Прицепляясь к тому факту, что то были большей частью механические изобретения, которые изменили положение мира в конце XV и начале XVI столетия, он приходит к заключению, что и «так называемое новое Просвещение в сущности чисто механическое». Вслед за тем он подробно развивает эту смелую мысль. Этот природный пруссак и подданный одного из величайших полководцев изливает свою старую ненависть к военной службе, говоря о механизме новейшего военного устройства, об основанной на этом устройстве новейшей системе государственного управления и мимоходом упоминая об орлах Фридриха, которые возвышаются над барабанами, знаменами и пушечными ядрами. С таким же несочувствием он говорит о новейшей философии, которая, по его словам, так же не что иное, как ремесло, как механическое занятие, не имеющее никакого влияния на человеческую жизнь и не приносящее никакой пользы нашему внутреннему усовершенствованию. То же можно сказать о юриспруденции, о государственном хозяйстве, о системе государственного управления! Вместо богатых содержанием индивидуальных особенностей повсюду преобладают общие правила, а все, что касается какого-нибудь искусства или ремесла, излагается в энциклопедических лексиконах в сжатом *abrégé raisonné* (еще в своих путевых записках Гердер считал издание таких лексиконов за признак исчезновения всякой оригина-

нальности). Французы, которые в этом отношении служили образцом для других народов, доказывают нам, что новейшее остроумие и новейший изящный вкус также принадлежат к разряду механических усовершенствований, — в этих словах снова слышатся те замечания, которые Гердер записывал в своем нантском дневнике. Все превратилось в некотором отношении в механику — т. е. все заострено соображениями и размышлениями, как объясняет автор свое мнение, несколько похожее на парадокс. По этому поводу следует еще раз заглянуть в путевые записки Гердера, чтобы не позабыть, что автор жаловался там на свое собственное абстрактное умственное развитие, на то, что он слишком мало наслаждался жизнью, и потому объявлял, что впредь будет интересоваться только тем, что реально, полно жизни и непосредственно ведет к счастью; также следует припомнить, что при обсуждении и эстетических, и педагогических вопросов он постоянно отдавал предпочтение чувственному и действительно существующему перед всякими отвлеченными и призрачными идеями. Теперь он применяет эти воззрения и к философии истории. Именно то, что он находит хорошего в «мрачных» временах Средних веков, служит в его глазах доказательством несостоятельности новой эпохи Просвещения. Вследствие преобладания мышления, вследствие привычки философствовать и рассуждать ослабели желание и способность наслаждаться жизнью. Автор, очевидно, снова имеет в виду то государство, где распространение просвещения поставляет предмет самых усиленных правительственных забот, когда говорит, что некоторые большие, «философически управляемые толпы людей» дошли в своей философии до того, что считают себя за настоящие машины и вознаграждают себя за свое рабство только распрославленной «свободой мышления», т. е. правом не уклоняться в своем мышлении от некоторых предрассудков. «Эта дорогая для них, безжизненная, жалкая, бесполезная свобода мышления служит вознаграждением за все, в чем они, вероятно, гораздо более нуждаются, — за сердечную теплоту, за гуманность, за наслаждение жизнью!» Кому не придут при этом на память откровенные отзывы Лессинга о «проклятой галере» и о той берлинской свободе мысли и печатного слова, которую так восхвалял Николай? В занимавшемся философией истории Гердере мы тотчас узнаем педагога, когда он вслед за тем утверждает, что одно просвещение не дает счастья, а в доказательство своей мысли ссылается на современное образование и воспитание. Просвещать, говорит он, не значит развивать. Идеи порождают только

идеи; они только придают мышлению более ясности, правильно-сти и последовательности; они не укрепляют наших душевных сил; сами по себе они не вызывают на земле появления никаких плодов; напротив того, пропасть, отделяющая то, что мы думаем, от того, что мы чувствуем сердцем, расширяется все более и более, и все образовательные заведения не только не достигают конечной цели всякого образования — гуманности и человеческого счастья, но совершенно заглушают эту цель.

Автор до такой степени увлекается этой темой, что лишь с большим трудом сдерживает свою раздражительность. Его сочинение мало-помалу превращается в филиппику, наполненную желчными и преувеличенными нападками на его век. Он не знает никакой меры в своих порицаниях, когда заводит речь о похвалах, которыми Юм, Вольтер и Робертсон осыпали тот век и все, «что в то время так блистательно подвинулось вперед»; — эти отвратительные похвалы возбуждают в нем все силы его ума, столь склонного к противоречиям. Тогда нам приходится применить к нему самому изречение Эпиктета, которое он поставил в заголовке в качестве эпиграфа: «Люди возмущаются не фактами, а мнениями о фактах». Если те чрезмерные хвалители прибегали к резким краскам, то он прибегает к еще более резким, частью даже отвратительным, краскам. Он говорит, что написанная Боссюэ история не что иное, как «декламация и церковная проповедь». Мы даже не знаем, как назвать тот насмешливый и утомляющий однообразием иронии поток бранных слов, который он изливает по поводу этого сочинения. Характеристика века Людовика XIV вся целиком не что иное, как сатира: на этих страницах всего чаще попадаются те «большие куски желчи», о которых сам Гердер упоминал в письме к своему другу Гану¹.

Наконец, излив все свое негодование, автор переходит от чрезмерного пессимизма своих историко-философских воззрений к более положительным выводам. Эти выводы он излагает в заключительной главе, которой дает странное название «приложений», как будто из сознания незрелости своего сочинения. Хотя он и не отказывается от своего прежнего мнения, что его век страдает внутренними недугами, однако он не сомневается в том, что в силу господствующих в истории общих законов постепенного развития и «мы на нашем месте служим для судьбы целью и орудием». Если наш век полезен в каком-нибудь отношении, то именно «вследствие своей зрелости, возвышенности

¹ В неоднократно нами цитированном письме (у Лиша, с. 121).

и возбуждаемых им надежд». «Все события нашего времени, — говорит Гердер, — отличаются более высоким значением и более важными последствиями — а эти два достоинства служат вознаграждением за то, что деятельность каждого из нас менее энергична и менее способна удовлетворять нас». Он находит, что хотя мы и утрачиваем нашу индивидуальную своеобразность, но благодаря оживлению взаимных сношений и находящимся в нашем распоряжении средствам мы можем подчинять нашему влиянию более широкие сферы; он без предвзятого намерения доходит до того, что отдает справедливость тем механическим усовершенствованиям и тем стремлениям к обобщению, о которых прежде отзывался с такими язвительными порицаниями. Примеры, на которые он указывает, не позволяют сомневаться в том, что именно таково его мнение. Например, он говорит, что теперешний Сократ (он, как кажется, имел в виду своего Гамана) мог бы трудиться на пользу потомства и всего человечества с меньшей самоуверенностью, чем афинский Сократ в своей узкой сфере, но зато он может руководствоваться более широкой точкой зрения. Наконец, резюмируя все сказанное, автор говорит, что чем менее всякая благородная деятельность может рассчитывать в наше время на непосредственный успех, тем выше ее достоинство, тем обильнее будут плоды от «втайне далеко разбросанных семян». А в то время как автор затрагивает эту струну и презрительный тон предшествующей главы мало-помалу переходит в поощрение и одобрение, мы точно будто читаем все, что происходит в душе человека, который сначала бушевал, как высоко вздымающиеся морские волны, теперь эти волны хотя еще и пенятся, но уже более плавно бегут одна вслед за другой. Он не отказывается от прежде высказанных обвинений, но переходит к выражению своих надежд на будущее и к предсказаниям. Он связывает эти предсказания с постоянно повторяющейся во всем сочинении любимой мыслью, что в истории замечен такой же прогресс, какой мы замечаем в растущем дереве! «Именно на самых высоких древесных ветвях расцветают и зреют плоды». Вслед за веком Просвещения настанет более возвышенное, более счастливое время. Он объясняет, каким путем обратятся в источник благополучия для человечества не только недостатки нашего времени, не только утонченность его нравов, его стремления к свободе, равенству и общежитию, но даже его неверие и безбожие. Эта точка зрения доводит его даже до признания великих заслуг Фридриха и Вольтера. И теперь все его рассуждения сводятся к тому же положению, которое он выска-

зывал в своих путевых записках, — к тому, что «просвещение не может быть конечной целью, а всегда бывает только средством»; но теперь это средство кажется ему еще менее целесообразным, и он с усиленным рвением доискивается высшей цели. Он говорит, что не намерен пускаться в предсказания будущего, однако на последних листах его сочинения постоянно господствует пророческий тон. «Мы трудимся для великой будущности». «Мы готовимся к исполнению новой роли — но, конечно, путем разложения». Он прибавляет, что его слова, конечно, относятся к очень отдаленной будущности. Он не хочет предсказывать, какая новая сила придаст тогдашнему просвещенно благотворную внутреннюю теплоту; но мы читаем между строк, что он имеет в виду религию и что он надеется найти в Откровении те «источники, из которых можно удовлетворять испытываемую в степи жажду», — таков его загадочный способ выражения, напоминающий слог северного чародея. Все сочинение Гердера, и в особенности его окончание, служит верным выражением того настроения, которое сделалось господствующим в его душе, с тех пор как он нашел для себя точку опоры в своем домашнем счастье. Честолюбивые мечты о реформаторской деятельности, даже в духе тогдашнего Просвещения, — те мечты, которые гнездились в его уме за несколько лет перед тем, — уступили место смирению, которое было не вполне искренним и с которым упорно боролся его темперамент. Он желал бы спокойно трудиться «в бедной хижине» на пользу человечества, но при этом он не отказывался от надежды руководить духом своего времени и в неизвестности готовить великую реформу. Поэтому он горячо желает «лучшей будущности», которую надеется подготовить главным образом посредством воспитания, — поэтому он советует и самому себе, и своим собратьям не утрачивать ни веры, ни рвения, плавая по открытому морю среди блуждающих огней и туманов того времени, и постоянно направлять свои взоры к тому центру, вокруг которого все вертится, — «к истине, к тому, что ведет к пользе и к счастью для человечества!»

Общий вывод из всего нами замеченного — тот, что автор постоянно мечется в своих суждениях из стороны сторону, беспрестанно изменяет тон этих суждений, не развивает своей мысли с достаточной ясностью, не делает достаточно определенных выводов. А все это свидетельствует о внутренней борьбе, происходившей в душе автора, о незрелости его верований и убеждений.

II. «Древнейший документ человеческого рода»

Небольшое сочинение, содержание которого мы только что изложили, заключало в себе главную сущность тех идей, которые были в то время господствующими в уме Гердера. В нем заключался зародыш всех других сочинений, написанных Гердером в ту пору его жизни. А его главное значение заключается в том, что оно служит как бы предисловием к тому более обширному, но оставшемуся недоконченным сочинению, которое носит заглавие «Древнейший документ человеческого рода»; только первый том этого нового литературного произведения, разделенный на три части, был издан ранее философии истории; подобно этой последней он вышел в свет без имени автора¹.

В менее объемистом сочинении Гердер признавался, что в его уме созрел план такой истории человечества, которая проникнута чувством благоговения перед Откровением Божиим. Первым и самым важным шагом к изложению такой истории было описание зачатков человеческой истории, т. е. того детства человеческого рода, которое было предметом таких горячих похвал на первых страницах того сочинения. Там автор уже высказал убеждение, что мы не можем жаловаться на недостаток указаний, если желаем разогнать мрак, окружающий те древние времена. От той эпохи уцелело немало остатков и памятников, уцелел «самый драгоценный памятник — наставление, с которым сам Отец Небесный обратился к детскому возрасту человечества, уцелело Откровение». Само собой понятно, прибавляет автор, что это Откровение, несмотря на свою древность, должно служить руководством и для нас, потому что большая часть живущих на земле народов до сих пор еще не вышла из детского возраста; «куда бы мы ни направили наши стопы среди так называемых диких стран, повсюду долетают до нашего слуха такие звуки, которые объясняют нам смысл Священного Писания, повсюду мы находим живые комментарии к содержанию Откровения»². Эти слова доказывают нам, что старание Гердера проникнуть в древнейшие времена истории и изучить заключающиеся в Библии сведения о тех временах находилось в связи с его старанием изучить народную поэзию — «песни дикарей». Именно на

¹ Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts. Erster Band, welcher den Ersten, Zweiten und Dritten Theil enthält. Riga, bei Hartknoch, 1774 (383 страницы in 4°).

² Также философия истории. С. 155.

такую связь указывает более старое письмо¹, в котором Гердер писал Мерку, что из древних баллад — из этих «ребяческих звуков» — он надеется извлечь «важные» указания.

Кроме того, из его маленького историко-философского сочинения очень ясно видно, что его старание извлечь из Библии сведения о зачатках истории человечества находилось в тесной связи с практической целью вдохнуть новый жизненный дух в век Просвещения и подготовить более прекрасную будущность. Стоит только понять содержание той «оставляемой в пренебрежении книги, которая называется Библией»; «детство человеческого рода неминуемо окажет свое влияние и на детство каждого индивидуума», потому что религия оставляется в пренебрежении и гаснет повсюду, где люди живут холодным рассудком, а ее голос, раздающийся из Библии, воспаляет душу². Что именно в таком направлении и с такой целью был написан «Древнейший документ», ясно видно из того, что автор писал в мае 1774 г.³ Гаману: «Я писал мое сочинение, для того чтобы оно сделалось зачатком и утренней зарей для новой истории и философии человеческого рода. Поверьте мне, дорогой друг, что Божеское Откровение и религия, которая теперь не что иное, как критика и политика, когда-нибудь сделаются безыскусственной историей и мудростью человеческого рода. Тогда Библия поглотит в себе и все семь древних наук. Тогда только мы начнем сознавать трудность нашего положения — пока не настанет день, когда *facta* и *acta* все нам разъяснят. Как счастлив тот, кто задолго готовится к такой перемене, возвещает о ней и содействует ей! Теперь я служитель наук, но хочу служить им неизменно». Еще 15 января 1774 г. он писал Лафатеру, прося его высказать такое суждение о новой книге, которое исходило бы из глубины души: «Знайте, что это такой памятник Божеского Откровения, перед которым я ничто и как автор, и как читатель, и как исследователь, и перед которым мы все ничто; стало быть, тут немыслима ничья обидчивость. Я ничто — Бог всё».

Однако рука об руку с религиозным рвением выступает наряду с ним рвение к научным исследованиям. К религиозному воодушевлению, с которым пишет Гердер, примешивается стремление к новым открытиям. Эти два направления то сливаются одно

¹ Вагнер, II, 36.

² Также философия истории. С. 147.

³ Соч. Гамана. V, 70 и сл. (в том подлиннике, которого мы придерживаемся, Гаман прибавил заметку: «Получено через Гарткноха 27 мая 1774 г.»).

с другим, то служат опорой одно для другого. Еще прежде чем он дошел до окончательного изложения своих идей (в августе 1772 г.), он писал Гаману: «Его гений нашептывает ему, что если смотреть на это дело с точки зрения тщеславия, то его можно считать за новое открытие; но если смотреть на него со смирением и с любовью к истине, то его можно принять за божеское внушение». В письмах к Гаману и к Лафатеру он придавал научным указаниям второстепенное значение, называл их «внешней оболочкой, удобрением и землей», из-под которой должно вырасти пшеничное зерно во славу Божию. Но тем громче он высказывал радость и уверенность человека, сделавшего новое открытие, и в более старом письме к Мерку из Страсбурга¹, и в письмах, которые писал к Гейне и во время работы, и после ее окончания. Когда он, по случаю своего посещения гёттингенской библиотеки, в первый раз сообщал своему новому другу о своем открытии и о его важности, он сам сознавался, что говорил о самом себе тоном «рыночного шарлатана»; не менее самоуверенно, даже не менее хвастливо он в ноябре 1773 г. извещал того же друга об окончании своей работы². И в заголовках отдельных частей сочинения слышится почти такой же тон «рыночного шарлатана». Первая часть носит заглавие: «Священное Писание, смысл которого выяснен по прошествии многих столетий»; вторая часть выдает себя за «ключ для понимания священных наук египтян», а третья часть озаглавлена так: «Остатки древнейшей истории нижней Азии»; эти заглавия еще более подходят на рекламы в объявлениях, отосланных к Гарткноху (13 сентября 1773 г.) для помещения в ярмарочном каталоге книг; они имеют такое сходство даже в письме, которым Гердер извещал Гейне в ноябре 1773 г. об окончании своей работы³. Наконец к Распе, к этому «счастливому изобретателю», Гердер писал 21 мая 1774 г.: «Я тоже сделал открытие, но, к счастью или к несчастью, я открыл самый древний, самый известный — и самый неизвестный памятник во всем мире».

¹ LB. III, 200.

² С, II, 118 и 164.

³ В письме к Гарткноху, в том месте, которое осталось ненапечатанным у Дюнцера (С, II, 45), он приводит следующий заголовок: «Часть первая: Священное Писание, смысл которого уяснен по прошествии многих столетий. В рукописи 16 листов. Часть вторая: найденный ключ к пониманию семи священных наук египтян. В рукописи 9 листов. Часть третья: смысл памятника древнейшей финикийско-халдейской истории разгадан. Также 9 листов».

И в заголовке, и в предисловии, и в тексте сочинения мы находим такое же сочетание горячего заступничества за славу Божию и за Откровение и высокомерной, шарлатанской самоуверенности человека, сделавшего важное открытие. Уже на первых страницах сочинения Гердер с презрением отзывается о новоизобретенной «водянистой религии» и заявляет читателю, что Библия — «эта старая бессмысленная книга, этот истертый, ни на что не годный древний документ развратного Востока», — до сих пор остававшаяся ни для кого не понятной, делается для всех понятной, благодаря тому что с нее будет снята завеса, которая прикрывает книгу в ее начале и «которую до сих пор еще никто даже не пытался приподнимать». Он лишь с виду выражается с большей скромностью на последней странице, когда обещает читателю дальнейшие разоблачения словами *si quid novisti rectius*. «Если читатель хоть слегка уразумеет важность, цель, влияние этого исследования, то пусть он не обращает внимания на способ изложения, на мелочи, на имена; имя автора не будет бросаться в глаза своими золотыми буквами точно так же, как не бросается в глаза написанное на небесах имя того, кто написал изучаемое нами великое произведение; не его имя следует чтить, а следует изучать, объяснять, распространять ту драгоценную истину, которой он доискивается, тот священный документ древности, с которого началось умственное развитие человеческого рода!» И своим друзьям Гердер неоднократно заявляет, что величие цели и смысл всего сочинения должны служить оправданием для его недостатков, в которых он откровенно сознается в своих письмах к Гейне и к Канту¹.

Под влиянием своего религиозного рвения, под влиянием своего негодования и своего высокомерного презрения к чужому образу мыслей и к чужой учености Гердер торопливо написал с большими претензиями на ученость такую книгу, которая отзывалась дилетантизмом, в которой он давал полную волю своим страстным увлечениям и в которой сказывалось гениальное сознание собственной силы; но в этом сочинении не было заметно никакой последовательности; оно поражало безобразием своей внешней формы и отсутствием всякой metody — это было самое незрело обдуманное, самое запутанное, самое неудобочитаемое сочинение, какое когда-либо выходило из-под пера Гердера. Даже Гаман, так глубоко сочувствовавший и содержанию, и цели сочинения, назвал его *monstrum horrendum*. Мерк отозвался об

¹ К Гейне № 28 и 33; к Гаману (Соч. Гамана. V, 70).

этом сочинении как о самом странном, но гениальном недоноске, который был во всех своих частях безобразен и ни к чему не годен. В длинной остроумной рецензии, которая, впрочем, осталась ненапечатанной, он опровергнул все содержание книги своими ироническими замечаниями; в письме к Николаи он говорил, что это «самая отвратительная книга, какая когда-либо была написана», но что тем не менее она имеет в его глазах цену как отражение идей ее автора¹. О самом авторе Мерк пишет: «Гердер похож на такого человека, который садится в халате верхом на лошадь, разъезжает в этом виде по улицам и еще требует, чтобы все его за это одобряли и находили основательными причины такой выходки. Высокомерный тон заголовков, хвастливый набор цитат и беспрестанно меняющийся характер изложения должны всякого возмущать. Трескучие фразы касательно истасканной гипотезы, основание которой (что иероглифы были в употреблении ранее буквенного письма) все допускают, но против которой восстают с санными вилами и молотильными цепями в руках все догматики, все переводчики Библии и комментаторы, были и остаются совершенно ненужными»... Такой отзыв был резок, но основателен. Далее Мерк замечает, что заключающиеся в сочинении Гердера отзывы о разных книгах могли бы быть высказаны по большей мере какому-нибудь хорошему приятелю перед книжным шкафом, а на все сочинение можно смотреть как на рукопись, назначенную для друзей; в этих словах верно характеризована чрезмерная торопливость и незрелость всей литературной работы. Но именно в то время, как вся масса изложенных там идей и весь мало-помалу накопленный ученый материал находились в состоянии брожения, Гердер преподнес публике еще не готовый для питья напиток. Этот напиток был гораздо более годен для питья в то время, когда он в первый раз вытекал из виноградных тисков в прежнем проекте еврейской археологии; впоследствии из него вышло хорошее вино в теологических письмах и в сочинении о духе еврейской поэзии, а в том виде, в каком он находился теперь, его следовало бы оставить в бочке, а не предлагать публике с громкими похвалами — точно будто сам хозяин винного погреба находился в состоянии опьянения.

Речь шла о первой главе первой книги Моисея².

¹ Вагнер. III, 110 и сл. и 105, 106.

² С тем, что следует, можно сравнить разбор древнейшего документа в сочинении Вернера «Herder als Theologe, ein Beitrag zur Geschichte der protestantischen Theologie» (Берлин, 1871), с. 196—202; также с. 100 и сл.

Точно так же, как и в прежнем очерке¹, автор опровергает мнения всех тех, кто искал в той главе физики или метафизики или с целью опровергнуть библейский рассказ о мироздании, или с целью доказать его достоверность и объяснить его содержание. Восставая против прежних школьных, более или менее разумных толкований, он старается смотреть на ту главу глазами беспристрастного исследователя, а для того чтобы это удалось ему, он из удушливых школ, в которых преподают историю Востока, старается мысленно перенестись в такую сферу, где можно дышать вольным восточным воздухом. С этой целью он старается прежде всего объяснить смысл каждой отдельной мысли в Библии и «установить ее значение согласно с господствовавшими на Востоке понятиями» — причем он вдается в большие подробности и употребляет в дело все свое красноречие. Из его прежней статьи нам уже знакома манера излагать его библейские рассказы таким способом, что он точно будто вкладывает их в душу читателя.

Затем Гердер переходит к вопросу, какая цельная картина составляется из этих рассказов? По его мнению, не подлежит никакому сомнению, что в основе этой истории мироздания лежит изображение утренней зари — изображение рассвета.

Но дело мироздания разделено на шесть рабочих дней, за которыми следует седьмой день, назначенный для отдыха. Поэтому и рассказ рассматриваемого автором древнего документа старается установить последовательность в работе и в отдыхе по преподанному самим Богом образцу.

Дальнейшее внимательное рассмотрение того, что было сделано в течение тех семи дней, доказывает нам (какое новое открытие!), что мы имеем перед глазами иероглиф — такой Иероглиф, из которого развились у нас все виды письменности и символы и из которого возникли древнейшие искусства и науки. Задачи каждого из семи дней распределены равномерно и образуют симметрически начертанный шестиугольник с небесным светом в середине — а во всем этом видна хорошо рассчитанная соразмерность частей! Цель этой картины, нарисованной для того, чтобы она вечно сохранялась в человеческой памяти, заключается в том, чтобы служить недельным календарем, к которому могло бы примыкать всякое счисление времени. Мало того, это изображение, рассматриваемое с точки зрения символики, было первым образцом для письменности и для языка, а вследст-

¹ См. выше, с. 405 и сл.

вие того сделалось источником всякой человеческой мудрости, из которой могли развиваться естествознание, мораль, религия, летоисчисление, астрономия и философия, — сделалось «путеводителем для семи искусств и наук»!

Наконец, этот иероглиф, и по своим внешним очертаниям, и по своим размерам, соответствует наружности созданного по образу Божию человека как микрокосмоса, в котором соединяется сущность всего небесного и земного. «Человек с головой, руками, ногами и остальными частями тела был прототипом первого иероглифа».

Как разнообразно содержание этого нового сочинения Гердера! Здесь идет речь об утренней заре и в то же время об истории мироздания, о праздновании субботнего дня и в то же время о иероглифе, о письменности и языке, об искусствах и науках! А это разнообразие содержания объясняется тем, что первая книга Моисея заключала в себе первое поучение, с которым Бог обратился к человеку; она была образцом божеской педагогики — «обнимала все умственное образование, из которого все должно было развиваться на вечные времена».

Вот как далеко заводит нас первая часть «Древнейшего документа»! Она заводит нас гораздо далее, чем те положения, которые развивались в более старой рукописной статье; сверх того, в ней автор становится на совершенно новую точку зрения.

В более старой рукописной статье автор вовсе не высказывал той мысли, что в основе истории мироздания лежало представление об утренней заре, о рассвете. В то время как он наслаждался в Бюкебурге красотами природы, прогуливаясь в одиночестве по садам и лесам, его врожденное влечение к природе сделалось более искренним и более сильным. Восход солнца застает его за работой. Он сам сознается, что писал свое сочинение «глядя на раннюю утреннюю зарю». Точно так же нова мысль, что в человеческой наружности следует искать основные черты того богатого содержанием иероглифа, который заключается в описании мироздания. Здесь проглядывают те же мысли, которые Гердер развивал в своей «Пластике» и которые окрасились мистицизмом под влиянием грез лафатеровской «Физиогномики»; именно в письме к Лафатеру (в мае 1774 г.) Гердер придал своим новым идеям еще более определенный смысл, а Лафатер со своей стороны украсил введение к своей «Физиогномике» извлечениями из «Древнейшего документа» касательно высокого значения человека как существа, созданного по образу и подобию Божию. Наконец, Гердер не только в первый раз усматривает иероглиф

в рассказе о мироздании, но также в первый раз находит в этом иероглифе зародыш всякого человеческого умственного развития. Прежде он утверждал, что единственной целью того рассказа было установление празднования субботного дня, а теперь он пришел к убеждению, что цель рассказа заключалась в преподавании все обнимающих наставлений юному человечеству.

Только эта последняя мысль совершенно изменяла прежнюю точку зрения и переносила все содержание статьи на почву совершенно новых воззрений.

Прежние мнения автора сводились к тому, что первая глава первой книги Моисея была старинной восточной национальной песней, возникшей из потребности объяснить происхождение мира и человеческого рода в мифологической форме, проникнутой религиозным духом. Теперь это нечестивое воззрение уступило место теологическому. Автор, проникнутый верой в незапамятную древность рассматриваемого документа, отказывается от своего собственного положения, что поэзия была первоначальным, природным языком человеческого рода. Он утверждает, что при первоначальном положении мира и человеческого языка не могла возникнуть песнь с глубоко обдуманном планом и с такими возвышенными идеями; поэтому он старается отыскать более высокий источник, из которого мог бы возникнуть тот природный язык человеческого рода. Он не совершенно отвергает свое прежнее положение, а отнимает у него значение высшего объяснительного принципа. Он говорит, что рассматриваемый им документ — «не песнь, а памятник», такой памятник, от которого ведут свое начало все другие памятники, все языки, все песни, картинные описания, поэтические и философские произведения. Творцом этого памятника был не поэтически-настроенный человеческий ум, а сам Бог — чем и объясняется, почему памятник до сих пор сохранился. «Так выражать свою мысль и так сохранять ее выражение может только Бог»; поэтому «древнейший документ — божественный документ»; он также постоянно носит на себе поэтический отпечаток; поэтому его высокое происхождение не лишает нас права объяснять его содержание при помощи других поэтических произведений; но автор поступает вполне последовательно, устраняя из подстрочных примечаний ссылки на однородные поэтические воззрения, которые встречаются у Оссиана, у Шекспира, у Мильтона и у Клопштока, и заменяя их цитатами, заимствованными от Иова, из Псалмов и от древних пророков. Мифологическая точка зрения еще менее национально-поэтической могла совмещаться с таким понятием

о божественном происхождении документа. Тот самый писатель, который прежде так часто ссыался на национальную мифологию евреев, теперь отзывается с самыми презрительными насмешками о тех новейших писателях, которые пытаются объяснить Библию при помощи ссылок на восточную мифологию и «превращают в возникшие на Востоке национальные вымыслы даже самую естественную и самую божественную форму изложения». Он нападает, по-видимому, только на преувеличения тех писателей — но на самом деле эти нападки так энергичны, что вместе с ванной он опрокидывает и купавшегося в ней ребенка.

Однако он когда-то так горячо и так красноречиво восставал против божественного происхождения поэзии, а в своем сочинении о происхождении языка так блистательно опровергнул гипотезу Зюссмильха! Каким же способом он теперь объяснит нам и докажет божественное происхождение «Древнейшего документа»?

Чтобы сделать это божественное происхождение понятным для нас, а главным образом для самого себя, он прибегает к тому объяснению, что в рассказе о семи днях мироздания отражается постепенность солнечного восхода. Эту мысль можно бы было назвать удачной, если бы она была высказана с необходимыми ограничениями и между прочим. Но Гердер выдает ее за важное открытие и немедленно применяет ее к установлению догматов. Он делает из нее следующий вывод: Бог поведал автору «Древнейшего документа» историю мироздания через посредство повторяющегося факта — через посредство солнечного восхода; а этот автор в сущности не был автором — «то, что он писал, было ему внушено свыше путем Откровения». Этим словам, по-видимому, следует придавать такой смысл: божеское откровение действовало на ум и чувства впечатлительного юного человека только посредством натурального впечатления, производимого ежедневным явлением природы. Но слово «только» могло бы ввести нас в заблуждение относительно того, что составляло сущность воззрений Гердера. Хотя первое Откровение Божие и было не чем иным, как откровением в природе, т. е. совершалось через посредство натурального явления, постоянно повторяющегося, общепонятного и производящего чрезвычайно сильное впечатление, но «чтобы объяснить это явление, был необходим голос наставника, а этот голос можно было услышать только из уст Божиих». Таким образом, Гердер впадает в мистическую неясность, переходя от того, что естественно, к тому, что сверхъестественно. Допустим, что можно разделять его поэтиче-

ское воззрение на понятие о натуральном откровении и о натуральной религии в противоположность с господствовавшим в то время рационалистическим воззрением, которое с такой натяжкой приписывало натуральные явления человеческой изобретательности и распределяло их по разрядам; все-таки мы не будем в состоянии идти по следам автора, у которого то, что естественно, немедленно превращается в то, что сверхъестественно. Он не признает никакого различия между натуральной религией и религией Откровения, или положительной; он, по-видимому, старается соединить эти две религии в одну — старается соединить «натуральную религию, преподанную Откровением, с теми указаниями, которые можно извлекать, изучая мир и человека», — это Гердер называет «настоящим историческим распутыванием» гордиева узла. Однако следует заметить, что, стараясь соединить натуральное с положительным, он отдает преимущество последнему. Он прежде был того мнения, что человек, предоставленный своим собственным природным способностям, должен сам, путем естественного развития, создавать для себя религию, язык, искусства, науки, не в таком только смысле, что для того, кто верует в Бога, сама природа есть Откровение, созидание, проявление всего могущества Божия; такого мнения Гердер придерживался в то время, когда он вместе с Юмом и Михаэлисом пришел к убеждению, что первые религиозные понятия возникли под влиянием удивления и страха, — в то время, когда он доказывал, что «изобретение языка так же естественно для человека, как и то, что он во всем действует как человек». Теперь он уже стал думать иначе. «Положительная религия, — говорит он, — так же стара, как наш мир; она древнее натуральной религии и при ее помощи возникла эта последняя». Он старается доказать основательность этого мнения ссылкой на исторический «факт» — на рассматриваемый им документ. Он считает за положительный факт, что этот документ — источник всех знаний начиная с летоисчисления, письменности и языка и кончая высшими науками. Он самым наивным образом отстаивает достоверность этой гипотезы и старается при помощи априористических доводов доказать, что первая глава первой книги Моисея действительно заключает в себе зародыш всяких знаний. В противоположность со своими прежними воззрениями он верит и утверждает, что люди едва ли могли сами собой так скоро научиться измерять время, что они сами собой никогда не научились бы говорить и писать. Бог «раскрыл глаза и просветил ум своего любимого создания, Бог развязал этому любимому созданию язык». «Оте-

ческое содействие Создателя» было необходимо для того, чтобы люди научились читать по складам в книге мироздания, чтобы они не терялись в этом хаосе самых разнообразных явлений, чтобы они поняли смысл этой «ошеломляющей рапсодии». Только тогда они научились измерять время, говорить и писать. Он решительно опровергает то, что прежде говорил в своем сочинении на премию. В том сочинении он будто бы хотел доказать только то, что человек одарен от природы способностью к развитию языка, но он решительно протестовал против возможности воспользоваться этой способностью без содействия свыше, решительно восставал против высказанного у Руссо «ложного понятия о *rèflexion en puissance*»! Теперь он находит, что для врожденных способностей человека необходима «возбуждающая сила», необходимо божеское назидание, и усматривает такое назидание в «Древнейшем документе», который будто бы был первым примером иероглифического «письменного обращения Бога к человеку»! Другими словами, то значение, которое его неосмотрительная фантазия усматривает в «Древнейшем документе», он приписывает мудрости Божией и с нескончаемой декламацией доказывает, как был глубокомыслен и целесообразен избранный Богом способ преподавания!

Однако мы должны быть осмотрительны в наших порицаниях! Автор не ограничивается вышеприведенными доводами, когда старается доказать, что «Древнейший документ» был тем первым божеским откровением, из которого возникла всякая цивилизация. Он держит наготове другое, действительно историческое доказательство! Разве его положения не окажутся неоспоримо верными, если будет доказано, что появление рассматриваемого им документа предшествовало возникновению языка, письменности и образования, что этот документ был источником всех преданий и всякой цивилизации у всех народов на земле, — если это будет доказано критическим рассмотрением исторических памятников и изучением первых зачатков народного образования?

Читатель, быть может, заметит, что такое неслыханное намерение неосуществимо. Чтобы проникнуть в такие отдаленные времена, у нас нет руководящей нити, нет надежных указаний; браться за такое дело было бы то же, что стараться проникнуть нашим взором в необъятное мировое пространство по ту сторону Млечного Пути. В обоих случаях нельзя бы было обойтись без догадок, без априористических посылок, которые в исторической сфере еще более ненадежны, чем в сфере естествознания.

Высказывая такие сомнения, читатель, конечно, был бы вполне прав. Однако сколькими великими деяниями богата всемирная история, сколькими великими открытиями обогатилась наука только благодаря уверенности в том, что кажется с первого взгляда невозможным! Величие гения заключается именно в том, что он дерзает братья за то, что кажется невозможным, — если только это невозможное не бессмысленно и если удача не должна оставаться бесплодной. Даже неудавшееся предприятие может обнаружить благородство стремления, может служить стимулом для плодотворной предприимчивости, может служить указанием на достижимые цели.

Именно в таком роде было то предприятие, за которое взялся Гердер с недостаточными средствами, почти наудачу, и с преувеличенным мнением о своих собственных силах.

Великая и верная мысль, которая служила для него руководством, заключается в том, что все умственное развитие человеческого рода ведет свое начало от одного зародыша, от одного явления природы. И все философские системы проникнуты той же мыслью — все они стараются объяснить совокупность бытия одним высшим, безусловными принципом. Эту господствующую во всех философских системах тенденцию Гердер переносит в область истории. Подобно тому как систематически построенная философская система связывает все бытие с какой-нибудь основной идеей, и Гердер связывает все человеческое образование, все историческое развитие человеческого ума с первоначальным фактом, о котором свидетельствует «Древнейший документ». Он опровергает философские воззрения тем, что основные идеи философов не что иное, как гипотезы, а свои собственные объяснения исторических явлений он выдает за правильные на том основании, что они исходят из положительного факта. Дело в том, что этот мнимый факт также не что иное, как гипотеза. Она приобретает значение основной идеи благодаря живой фантазии автора, которая соединяется с уверенностью, что вся история есть божеское откровение, т. е. развитие исторических явлений по установленному Богом плану. Таким образом, «Древнейший документ» находится в связи с сочинением Гердера «Вклад к многочисленным вкладам нашего столетия»; а эти два сочинения в значительной мере послужили стимулом для Джамбаттисты Вико, выдававшего свои научные воззрения на философию истории за *nuova scienza*.

С тенденцией Гердера возводить всякое человеческое образование к одному общему источнику согласуется и тот способ,

которого он придерживается при изложении доказательств. Он старается только «упрощать» и «сравнивать». В массу разнообразных фактов и преданий он старается внести единство. Вместо того чтобы все «расширять», он старается все «суживать». Вместо того чтобы разделять, он старается соединять в одно целое «все страны, все отдельные проявления человеческого разума». Он даже старается, чтобы эти разрозненные части соединялись в одно целое сами собой. Факты должны говорить сами за себя только вследствие того, что они поставлены рядом одни с другими. Их сходство должно бросаться в глаза, а не должно быть логическими выводом. Автор хочет, чтобы для всякого оно было ясно, но не хочет его доказывать; он придерживается генетически-исторического метода. И эта тенденция была поистине возвышенной, несмотря на то что на деле автор не провел ее вполне удовлетворительно! Этим путем Гердер создал идеал сравнительной мифологии, сравнительной истории религии и культуры и дал надолго толчок для дальнейших исследований.

Кроме того, Гердер высказывает требования, которые мы уже не раз слышали из его уст и которых он более строго придерживался в других сочинениях. Вместе с тенденцией все сопоставлять и возводить к одному началу он обнаруживает тенденцию к историческому обособлению. Кроме наглядности цельного обзора он требует наглядности и в характеристике частных. Точно так же как в «Летучих листках о философии истории», он здесь утверждает, что нельзя объяснять своеобразные свойства каждого народа при помощи таких отвлеченных понятий, которые применимы ко всем странам. «Во всем, что касается того или другого народа, — говорит он, — идите по стопам этого народа и под тем небом, под которым он живет!» Он высказывает эту мысль по поводу египтян. Он говорит, что для понимания их религиозных воззрений следует совершенно отложить в сторону отвлеченные идеи нашего времени, следует освоиться с «символическим настроением ума» у древних египтян; затем он с горячим убеждением доказывает, что египетское обыкновение обоготворять животных объясняется тем тесным сближением человека с животными, которое свойственно народам в их юношеском возрасте. Он требует, чтобы этой точки зрения всегда держались при изложении еще находившейся в то время в своем зародыше истории философии. Еще Гаман нападал в своих «Сократических достопримечательностях» на тот способ, которым излагали эту отрасль истории Станлей и Бруккер; он требовал, чтобы тот, кто пишет историю философии, изучал философию не

как ученый или мудрец, а как «зритель ее олимпийских игр», всей душой погружаясь в идеи великих мыслителей. В том же духе Гердер восстает против «современных сочинителей календарей и составителей разных систем», против дурной привычки отрывать древних мыслителей от окружавшей их сферы, болтать о них разный вздор, урезывать или извращать их мнения и признавать их годность или негодность; он желает, чтобы эту «важнейшую часть истории человеческого ума», эту «историю философии в человеческом роде» написал человек с чувством и со знанием, способный понимать ее внутренний смысл. Это желание и это указание также не были высказаны бесплодно — они до сих пор достойны того, чтобы их не оставляли без внимания.

Но от предъявления тех или других требований еще далеко до исполнения этих требований на деле. Посмотрим же, каким путем автор старается привести нас к убеждению, что все исходит из рассказа Моисея о сотворении мира, а этот рассказ был делом божеского откровения.

Изложению своих доводов автор посвящает вторую и третью части своего сочинения; уже в более старой рукописной статье об археологии евреев он старался доказать, что «Древнейший документ» был впервые составлен вовсе не Моисеем; в той статье¹ он лишь вкратце высказывал мнение, что «эта поэма» — «самая священная восточная древность, самый древний документ, появившийся на утренней заре времен, быть может, написанный на старинном восточном языке и вычеканенный на какой-нибудь колонне или на каком-нибудь алтаре». Во второй части рассматриваемого нами сочинения автор высказывает ту же мысль, но более подробно — теперь он решительно утверждает, что тот древний документ исходит не от Моисея. Он говорит, что «еще задолго до Моисея этот документ был известен в самых отдаленных странах и что для живших в тех странах народов он, вероятно, служил основой не только для их религиозных верований и мифологических сказаний, но также для их общественных учреждений, для их искусств и наук»; эта мысль, как утверждает самодовольный автор, может служить объяснением для всего, что касается древности; она должна освещать для нас самые темные события из древнейшей жизни народов.

Автор начинает с Египта. Он говорит о семи священных знаках у египтян, о приписываемых Тоту изображениях, о мифологии и естествознании египтян, об их хронологии, иероглифах, го-

¹ LB. I, 3, а, 516.

сударственных учреждениях, памятниках-пирамидах, обелисках, мумиях, и во всем этом находит тот древнейший символ — ту рассказанную Моисеем историю сотворения мира, в которой весь труд мироздания разделен на семь дней! Этим способом он уясняет для себя все, что касается египетской древности. Он полагает, что обыкновение все облекать в символическую форму было отличительной особенностью египтян и проистекало из знакомства с тем древнейшим документом, который дошел до них от других народов; так, обращенная лицом к востоку статуя сына утренней зари Мемнона была священным символом, изображавшим мироздание; «она может служить комментарием к первой части моего сочинения», — говорит Гердер. В рассказе Моисея следует искать прототип всего, что нам кажется непонятным в истории Египта, потому что только Моисей «сохранил первое детское одеяние человеческого рода в цельности, без новых заплат»; ему и его нации мы обязаны тем, что это одеяние уцелело в своем первоначальном виде от всяких позднейших попыток переделать его по вкусу той или другой нации. И финикийская космогония, приписываемая Санхуниатону, была лишь новым извращением того же древнейшего текста. Не чем иным была и древнейшая греческая философия начиная со времен Фалеса, который признавал воду за первоначальную причину всего видимого мира; философия Ферекида, Пифагора и т. д. также была «отзвуком того же священного сказания». Автор проникает во времена еще более отдаленной древности; он говорит, что весь сабеизм состоит из отзвуков моисеевского рассказа; предания о происхождении этой сабейской религии и философии ведут свое начало от времен Сифа; она находилась в упадке уже во времена Авраама — таким образом, автор восходит к самым древним зачаткам истории человечества! В следующих главах он доказывает основательность своего воззрения указаниями на гностицизм, который был только новым греческим названием древней халдейской философии, был выражением идей, возникших вовсе не у иудеев и не у греков, а заимствованных из гораздо более древнего источника; далее он указывает на каббалу, в которой также ясно видно ее халдейское происхождение, и наконец, на религию Зороастра, которая лишь недавно перестала быть для всех тайной благодаря переводу «Зенд-Авесты» Анкетилем. Эта религия своими шестью Амшаспандами (ангелами шести дней мироздания) еще яснее обнаруживает связь с «Древнейшим документом»; она еще ближе подходит к первоначальному источнику, с которым имеет более близкое сходство, чем фило-

софия халдеев, иудеев и гностиков. Но где же, наконец, находится этот первоначальный источник? Где же следует искать пещеру Митры? Где же было дано то божеское откровение, верным хранителем которого был Моисей? Третья часть сочинения Гердера не дает ответа на эти вопросы. Словами: «Подожди, читатель, и запасись терпением», — автор обещал издать продолжение своего сочинения, но это обещание осталось неисполненным!

В нашем кратком обзоре содержания второй и третьей части «Древнейшего документа» мы не входили в подробное изложение доводов автора, ограничиваясь их общей характеристикой. Эти доводы решительно ничего не доказывают и не выдерживают никакой критики: это — ряд выдумок и уверток, разбросанных с самодовольным хвастовством и с претензией на неопровержимую ясность и достоверность. Кант, получивший это «*monstrum horrendum*» от Гамана, метко попал в цель, сказав, что «триумф Гердера не был вызван одержанной победой»¹. Хотя старание Гердера все сопоставлять и все соединять в одном общем обзоре и заслуживает до некоторой степени одобрения, однако никакая серьезная критика не может обойтись без умения строго различать и обособлять рассматриваемые явления. Тех, кто до того времени занимался историей древнейших преданий, историей религии и философии, Гердер обвиняет в путанице, употребляя самые грубые оскорбительные выражения; а его собственное сочинение представляло хотя и остроумную, но самую невыносимую, самую бессмысленную путаницу. Он еще никогда не впадал в такое сильное разномыслие с Лессингом, еще никогда так резко не нарушал требований основательной критики. В его сочинении мы находим прототип того, что впоследствии дала нам сравнительная мифология, — только с той разницей, что эта мифология опиралась на заимствованные из Шеллинговой философии идеи и способ изложения. Что исследования такого рода не могли привести ни к каким надежным результатам, объясняется уже тем, что у них не было никакой надежной эмпирической основы. В настоящее время мы обладаем гораздо более обильными материалами для исследования связи между самыми древними историческими явлениями; с тех пор как Гердер сошел

¹ См. два письма Канта к Гаману от 6 и 8 апреля 1774 г. (Соч. Гамана. VIII, 234 и сл.; Там же. 242). Эти интересные письма — по непонятной для нас причине — не попали ни в то полное собрание сочинений Канта, которое было издано Розенкранцем, ни в то, которое было издано Гартенштейном. Далее будет идти речь и об этих письмах, и об ответных письмах Гамана.

с литературного поприща, открыто немало новых исторических памятников; благодаря успехам филологии, мы научились добираться до смысла этих памятников; в настоящее время мы уже имеем ключ к объяснению египетских иероглифов и мы начали понимать древневавилонское клинообразное письмо; наконец, мы в состоянии расширять сферу наших исследований при помощи сравнительной филологии и при этом руководствоваться хорошо разработанным методом; таким образом, наши взоры начинают проникать сквозь туман, окружающий седую старину; однако именно эти усовершенствованные орудия исследований не позволяют нам надеяться, что нам когда-нибудь удастся добратся путем исторических исследований до самых первых зачатков истории человечества. Но это казалось возможным ребяческому энтузиазму даже без приобретенных нами с таким трудом вспомогательных орудий. Автор «Древнейшего документа» мог черпать свои сведения только из самых мутных источников — из таких компиляций, как «*Pantheon aegyptiacum*» Яблонского или как сочинение Гайда «*De religione veterum Persarum*»; только в «Зенд-Авесте» Анкетилиа он мог найти такие указания, которые были почерпнуты прямо из первоначального источника. Недостаточность этих вспомогательных средств была для Гердера еще гораздо менее важным препятствием, чем отсутствие всякой методы в его исследованиях. Увлекаясь своей неудержимой фантазией и своей жадой новых открытий, он принимает самое отдаленное и поверхностное сходство за неоспоримое доказательство, он повсюду находит то, что желает найти; перелетая на крыльях фантазии через самые высокие груды препятствий, он находит, что все для него «ясно как солнце». Он хвалится умением объяснять смысл символов, а перед этим умением растворяются врата древности, как перед магическим словом «Сезам!» Иначе говоря, все эти генетические доводы, которым он придает такое важное значение, в сущности не что иное, как фиглярство, которым он потешает сам себя, не что иное, как призрак, который представляется его взорам, оттого что он ослеплен тем убеждением, которое засело в его уме, — убеждением, что рассказ Моисея о сотворении мира есть сохранившийся в своей первоначальной чистоте памятник первого откровения, с которым Бог обратился к человеческому роду. Если действительно таков этот памятник, то из этого древнейшего откровения Божия должны истекать все другие сведения о сотворении мира, о возникновении и развитии человеческого образования. Из этого ряда размышлений, очевидно, и возникло содержание всего сочинения.

Автор начал свое изложение с многозначительного содержания иероглифа, который заключается в «Песне о сотворении мира». Вторым новым открытием или, вернее, вторым вымыслом было то, что этот иероглиф лежит в основе всей египетской теологии и философии. К этому Гердер присовокупил мистическую мысль, что этот иероглиф исходит прямо от Бога. Из сочетания этих идей само собой истекало все остальное содержание сочинения; но центр тяжести находился в мистической гипотезе о божеском откровении; поэтому Гердер и указывал самым близким из своих друзей, Гаману и Гану, на первую часть «Древнейшего документа», а о частях второй и третьей умалчивал¹.

Из всего сказанного видно, что сравнительно с более старой рукописной статьей совершенно новы и основная мысль автора, и все направление его сочинения, и его полемические приемы. Теперь еврейская археология превратилась, по выражению Гамана, в божественную археологию. В то время, когда Гердер считал первую главу Книги Бытия за старинную национальную поэму, он имел целью написать «льготную грамоту для человеческого ума» — проложить открытую дорогу для развития естествознания наперекор тем, кто старался поставить науку в зависимость от физики Моисея. Он и теперь не отказывается от этой цели, но лишь между прочим. Он повторяет высказанную в рукописной статье мысль, что те исследователи провинились в «самом насильственном, самом безжалостном угнетении человеческого ума»; но теперь он всего более возмущается тем, что такие натянутые объяснения ставятся в связь с «самой древней святыней». Он прежде утверждал, что «наша философия и наше естествознание все еще не что иное, как клетчатые постройки из второстепенных идей» и никогда не могут сделаться ничем иным, каковы бы ни были их ожидаемые в будущем успехи; а теперь он подчеркивает эту мимоходом высказанную мысль и подробно доказывает, как неудовлетворительны наши человеческие познания о мироздании и о его конечных целях. Теперь оказываются сократившимися в несколько строк и все отступления касательно установленного Библией празднования субботнего дня и празднования воскресного дня, и все горячие нападки на «слегка отзывающееся святостью благочестие» — этот «опиум души», на «мистические бессмыслицы», которые проповедуются в наших церквах, тогда как там следовало бы развивать ясные понятия о действительной жизни и о том, что может содействовать человеческому

¹ К Гаману (Соч. Гамана. V, 70); к Гану (у Лиша, с. 122).

счастью¹. Это отступление уже не подходило к направлению всего сочинения: прежняя тенденция Гердера, близко соприкасавшаяся с идеями, которые проповедовались в веке Просвещения, превратилась теперь в тенденцию, горячо восставшую против тех идей.

Но вместе с этим сочинение Гердера было таким же полемическим сочинением, каким были вторая и третья части «Критических лесов» и каким было лишь в ином виде «Приложение к философии истории». Именно благодаря этому полемическому направлению автора, благодаря его «ненасытной жажде завоеваний» новая книга сделалась для Гамана чрезвычайно приятной духовной пищей. Гаман находил настоящее наслаждение в том, что автор, стараясь восстановить настоящее значение «Древнейшего документа», по необходимости «разрушал все ограды и укрепления, воздвигнутые новейшими схоластиками и последователями Аверроэса, и развеивал по воздуху прах этих сооружений»². Кант, соединявший с ученостью здравомыслие, был другого об этом мнения. Он был вполне уверен, что в богословских вопросах дилетантизм не в состоянии бороться с серьезной ученостью, несмотря на свою страсть к завоеваниям и на свой энтузиазм, и что приверженцы ортодоксии не достигнут никакого успеха в борьбе с знатоком филологии и древности Михаэлисом. «Ввиду этих соображений, — говорил он в конце своего второго письма к Гаману касательно нового сочинения Гердера, — я очень опасаясь за продолжительность триумфа без победы, доставшегося на долю того, кто восстановил значение древнейшего документа, ведь против него восстанет густо сомкнутая фаланга знатоков восточной древности, которые не позволят, чтобы человек, не посвященный в их знание, мог так легко захватить добычу на их собственной почве». Это опасение было основа-

¹ Это отступление было очень неудачно переделано в разговорную форму в тот промежуток времени, когда первоначальная рукопись еще не получила предназначенной для печати внешней формы; эта переделка, вероятно, относится к тому времени, когда автор жил в Бюкебурге и когда ему было так трудно снова приняться за литературную деятельность (SW в отделе теологии. XV, 296 и сл.). Такой же переделке подверглись и другие части рукописной статьи (LB. I, 3, а, с. XXVIII). В этом виде рукопись читал Гейне в начале 1772 г. Гердер писал ему (С, II, 127): «От прежней формы почти ничто не может и не должно оставаться без изменений: диалог совершенно устраняется; я сам не могу понять, как могла прийти мне в голову мысль писать в форме диалога».

² Prolegomena über die neueste Auslegung der ältesten Urkunde (Соч. Гамана. IV, 186).

тельно в особенности потому, что дилетантизм взялся за это дело с чрезвычайным высокомерием и с пренебрежением ко всяким приличиям, а свое вторжение на чужую почву он предпринял не так, как ведут военные действия, а по-разбойнически, с наглым бесстыдством. Почти на каждой странице новой книги делались наглые нападения на того самого Михаэлиса, который прежде был в глазах Гердера «великим» писателем, «мудрецом», «знатоком восточной природы», «прорицателем во всем, что касалось восточных языков», «филологом с очень верным чутьем» и о сочинениях которого он при всяком удобном случае отзывался с восторженными похвалами признательного ученика! Теперь же Михаэлис был в мнении Гердера главным представителем бессмысленных, несогласных с духом древности объяснений Библии, представителем надменной, пошлой и отвергавшей всякую религию учености. В этом тоне Гердер начал отзываться о знаменитом ориенталисте в двух рецензиях, написанных для «Франкфуртских ученых известий»¹, а в «Древнейшем документе» этот тон усилился до своих крайних пределов. В «Воспоминаниях» есть намек на то, что одной из причин таких нападков были впечатления, вынесенные Гердером из Гёттингена; но с этим едва ли можно согласиться. Напротив того, под влиянием тех впечатлений Гердер должен бы был избегать полемики или смягчать ее тон. На это есть указания в письмах самого Гердера. Он между прочим писал: «Мое сочинение было написано не для Гёттингена, а для Германии в такое время, когда я вовсе не думал о Гёттингене»². Скорее, можно предположить, что во время своего пребывания в Гёттингене он составил себе такое неблагоприятное мнение о личности, характере и деятельности знаменитого ориенталиста и ему нашептывали так много дурного об этом писателе, что все это отозвалось и на содержании его сочинения. На это указывает то место в письмах Гейне³, где идет речь о гёттингенском «архангеле с его пестрым одеянием, украшенным мишурой»; на то же указывает раздражительность гердеровской полемики, постоянно нападающей на «гордость знаменитого нововводителя», который «не раз сам сплетал для себя венки». Но главной причиной полемических нападков, без сомнения, было убеждение Гердера, что его точка зрения не может схо-

¹ Эти рецензии были написаны на сочинения Михаэлиса (Mosaisches Recht. 1772, № 34 в Versuch über die siebenzig Wochen Daniels, № 64); сравн. рецензию на «Betrachtungen über den Orient», № 69.

² К Гейне № 33 (С, II, 170).

³ С, II, 141.

диться с рационалистическими мнениями Михаэлиса и что его собственные воззрения должны взять верх над старанием Михаэлиса объяснять все, что касается древности, при помощи «нелепых гипотез». Действительно, изданный знаменитым ориенталистом «перевод Старого Завета с примечаниями для неученых», впервые обнимавший произведения Иова и пятикнижие Моисея, должен был возмущать всякого человека с поэтически настроенным умом — перевод отличался вялостью и неизяществом слога; примечания постоянно обнаруживали неспособность ученого толкователя Библии понимать склад ума древних писателей. К тому же Гердер, усвоивший новую, основанную на вере, точку зрения осуждал у Михаэлиса такие убеждения, которые когда-то были его «собственными, и подобно всем новообращенным с удвоенной горячностью нападал на те воззрения, которыми отчасти сам когда-то увлекался. Он писал Гейне, что не мог поступать иначе, имея дело с таким демоном. Но как он глубоко сознавал могущество этого демона, ясно видно из его наивного убеждения, будто он не выходил из пределов приличия, будто его нападки на великого ученого «не были невежливы»! А на самом деле он выражался с такой заносчивостью, на которую ему не давали права ни ограниченный запас его познаний, ни основательность его доводов. Он писал оскорбительным и презрительным тоном. Он позволял себе выражаться таким тоном даже тогда, когда осмеливался касаться этимологических вопросов; он давал такую волю своей раздражительности, что, когда старался поднять своего противника на смех, впадал в площадное фиглярство.

Для Михаэлиса мог служить утешением тот факт, что Гердер точно таким же тоном нападал и на других столько же знаменитых и даже еще более знаменитых писателей. Гердер не только усилил заключающиеся в более старой рукописи полемические нападки на физические и метафизические объяснения книг Моисеевых, но направил эти нападки и на историческую критику этих книг. Не много лучше, чем с Михаэлисом, он обходится с Мозгеймом, с Варбуртоном, с Шультенсом и со всеми писателями, занимавшимися тем же сюжетом, над которым он сам работал. Он вступает в борьбу с общим направлением всех прежних объяснений древней истории и Библии и лишь изредка относится с некоторой снисходительностью к какому-нибудь трудолюбивому компилятору, без помощи которого он не был бы в состоянии строить свои воздушные замки. Он вступает в борьбу с духом своего века и позволяет себе выражать в неприличной

форме свое несочувствие к натуралистической точке зрения Вольтера, Гельвеция, Руссо, к объяснительному методу Вольфа и его последователей. Возвышаясь над ходячими понятиями ортодоксии, он осыпает эту ортодоксию горячими обвинениями в неверии и выражает презрительное желание искоренить ее. Во всем объемистом сочинении разбросаны те же резкие выходки, которые мы находим собранными в одно целое в «Приложении к философии истории». Гердер нападает и на «физический век» Просвещения, обнаруживший свое философское направление всего более в том, что и сам себя, и все тогдашнее поколение унизил до одного уровня с животными, даже ниже животных, и на «наше политико-экономическое время», и на стремление этого склонного к критике столетия все обособлять и расчленять, и на «учение о любви к человечеству, на веротерпимость, неверие и мнимую мудрость», и на «чрезмерную умственную заносчивость нашего состаревшегося времени». Но все эти нападки сосредоточиваются на порицании метафизики. О метафизике Гердер отзывался так же, как отзывался Лютер о схоластике. То, что называется философией, по его мнению, не что иное, как продукт «высохшего ума». Философия постоянно ведет речь только о «внутренней возможности», но не обращает внимания на действительность, «ее способ доказывать заключается лишь в замене одних слов другими, в установлении связи между некоторыми понятиями, которым придают условный смысл». Но слова не более как «отдельные, произвольные, не вполне удовлетворительные внешние знаки», а истина или должна заключаться в целом, нерасчленяемом, глубоком ощущении, или же она совсем для нас недоступна. «Все ложные мудрствования возникли из чувств, но развивались отсюда лишь с помощью разных натяжек». Рассуждениям автор противопоставляет чувство, доказательствам — веру и таким образом обрисовывает нам свою философскую точку зрения гораздо яснее, чем в своей рецензии на сочинения Баттё. Это в сущности точно такая же точка зрения, какой придерживался Гаман, а эти воззрения, основанные на чувстве и вере, впоследствии еще подробнее развивались Гердером в противоположность не только с догматизмом Вольфа, но и с критическими воззрениями Канта.

Но Гердер не ограничивается тем, что отвергает философию своего времени; взамен этой философии он описывает деяния Божии и объясняет божеское откровение. Его философия, основанная, с одной стороны, на чувствах и ощущениях, а с другой

стороны, на фактах, является в одно и то же время и философией истории, и философией откровения. Мудрецы того времени унизили человеческий род и метафизически, и нравственно, и физически; его следует снова возвысить не эгоистическими рассуждениями, а посредством понимания божеского откровения, посредством религии; все должно быть направлено к одной конечной цели — к тому, чтобы сохранять зародыши религии. Опровергая ту мысль, что религию обманом создало духовенство, автор снова заводит речь о том, что все ведет свое начало от религии. От нее вело свое начало всякое образование; она первоначально для всего была телом и душой, во все влиwała кровь и жизнь. Как законодатели, так и поэты, как поэты, так и философы до очень поздних времен ничего не извлекали из нее, кроме теологии; но религия ведет свое начало от основателя всякого законодательства — от Бога (здесь автор делает смелый скачок, в оправдание которого приводит мнимоисторические доказательства). Это мнимое важное открытие должно иметь неоценимое значение для истории человечества и для истории всех наук — но в особенности оно неоценимо «для религии»! «Какими бессмысленными, смешными существами тогда окажутся те, которые отвергали религию? Ведь тогда станет ясно, что они отвергали не религию, а самую достоверную историю всего мира». Когда Гердер, в более раннюю пору своей жизни, считал своей задачей развитие «культуры и человеческого ума», распространение религиозных понятий и верований в связи с просвещением, тогда он обращался преимущественно к той «почтенной части человеческого рода, которую мы называем народом»; теперь он также высказывает желание, чтобы истолкованная им заново Библия сделалась оракулом Божиим «для лучшей и самой многочисленной части человечества — для детей и для народа». Он горячо надеется, что снова настанет время «наглядной божеской религии»; он разделяет эту надежду с детьми и с простолюдинами, так как только у них есть религия и так как они составляют ту «самую благородную часть человеческого рода», которая презирает и осмеивает деизм Вольтера и Юма.

Итак, наш автор кладет свое сочинение на алтарь Божий. Его конечная цель — проповедовать и снова оживить религиозные верования, как это видно и из его писем. Такова же была его цель, когда он писал небольшое сочинение о философии истории, и эту же цель он преследует с самым горячим рвением в своем следующем небольшом сочинении — в «Пятнадцати

провинциальных листках для церковного проповедника». Он постоянно пишет несколько сочинений на одну и ту же тему, тогда как всякий другой на его месте написал бы только одно сочинение. Подобно тому как во время его пребывания в Риге его сочинения примыкали одно к другому, лишь изменяя внешнюю форму и способ изложения одних и тех же идей, и в сочинениях, написанных во время его пребывания в Бюкебурге, ясно видна одна и та же нить идей. Это были импровизированные, отрывочные излияния мыслей, вызванные одной целью и служившие дополнением одно для другого.

III. «Провинциальные листки для церковного проповедника»

Должность, которую занимал Гердер, служила ближайшим поводом для его стараний возратить впавшей в пренебрежение религии ее прежнее значение и влияние и проповедовать ее простолюдинам и детям. Сознывая всю важность этой должности и пользуясь вынесенным из нее опытом, он писал провинциальные листки не как ученый для ученых, а как церковный проповедник для церковных проповедников; это было нечто вроде практического дополнения к двум предшествующим сочинениям. Гердер писал 14 ноября 1774 г. Гаману, что он может и должен высказать все то, что имеет тесную связь с его положением и с его обязанностями и без чего все устные наставления были бы пустыми словами. Уведомляя Лафатера о выходе в свет нового сочинения¹, он также говорил, что здесь идет речь об обязанностях и о положении церковного проповедника.

Но специальным поводом для издания «Провинциальных листков» было желание Гердера вступить в полемику с автором одной книги, написанной на ту же тему. Его сочинение о философии истории было вызвано горячим желанием опровергнуть воззрения на этот предмет, возникшие в веке Просвещения; его «Древнейший документ» был наполнен нападками на рационалистические и полурационалистические объяснения Библии; а появление его «Провинциальных листков» было вызвано негодованием, которое возбуждала в нем берлинская теология — эта «мудрая, ученая, искусно изворачивавшаяся синагога самого знаменитого на земле столичного города». «Листки» были на-

¹ А, II, 61.

правлены главным образом против главы этой синагоги, против Шпальдинга¹.

Под влиянием нравственной философии Шефтсбери и теологических произведений английских писателей Шпальдинг усвоил такую теологическую точку зрения, которая находилась в противоречии, с одной стороны, с неизменно установленными ортодоксальными понятиями и в их старинной форме, и в той новой форме, которую им придал Вольф, с другой стороны, с неверием деистов. Между верой в божеское откровение и требованиями здравого человеческого рассудка ему удалось отыскать такую середину, которая удовлетворяла все требования человеческого сердца и главным образом удовлетворяла его собственное нравственное чувство. Не увлекаясь ни догматическими формулами, ни сомнениями любознательного разума, он привел в равновесие рассудок и чувство и выработал такое понятие о христианской религии, которое находило в благочестии опору для добродетели, а в добродетели — опору для благочестия. В таком положении посредника, старавшегося согласовать противоположные мнения, он обнаружил чрезвычайно благотворную деятельность и в качестве писателя, и в качестве церковного проповедника; тогда он стал для многих служить опорой среди господствовавшего в столице легкомыслия и неверия. Он привлек к себе многочисленных приверженцев не глубокомыслием своих идей и не своими поэтическими дарованиями, а своей добродушной правдивостью, своим умением убеждать и такой душевной кротостью, которая вполне соответствовала характеру его учения. Он сделался классическим представителем примирения между тогдашним просвещением и такими понятиями о религии, какие могли удовлетворять душевные потребности его современников.

И теологические воззрения Гердера долго стояли на таком же уровне, как это было ранее нами доказано². Во время рижского периода его литературной деятельности он по самым разнообразным поводам хвалил Шпальдинга, на слова и авторитет которого много раз ссылался в подкрепление своих собственных мнений — например, когда старался защитить Клопштока от взведенных на него Лессингом обвинений в бессмысленной меч-

¹ С тем, что говорится далее, сравнить жизнеописание Иоанна Иоахима Шпальдинга, составленное им самим и изданное его сыном Георгом Людвигом Шпальдингом (Галле, 1804), также статью Сака (*Sack. Über J. J. Spalding als Schriftsteller // Theologischen Studien und Kritiken*. 1864. Часть 4. С. 589 и сл.).

² См. выше, с. 398 и сл.

тательности и чувствительности. И в Риге, и в своей первой бюкебургской проповеди он выражался как верный последователь Шпальдинга. От памятной записки Шпальдинга о его жене Гердер пришел в восторг, когда прочел ее в первый раз, а проповеди и сочинения Шпальдинга он, живя в Бюкебурге, рекомендовал своей графине для чтения¹. Но тон его суждений быстро изменился. После того как он несколько раз перечитал ту памятную записку, она перестала ему нравиться, а в заявлении Шпальдинга касательно напечатанных без предварительного разрешения автора писем к Глейму он усмотрел поповский склад ума². Увлекаясь лафатеровскими «Мечтами о вечности», он противопоставляет дух этого сочинения тому «холодному, бесчувственному тону», в котором стали обсуждать религиозные вопросы под влиянием английских писателей, а в ранее нами упомянутом³ в первом письме, написанном из Бюкебурга к Лафатеру, он говорит, что именно в этом и заключается главный недостаток произведений Шпальдинга, который таким образом творит без предвзятого намерения еще не всеми сознаваемое зло. В том же письме Гердер сравнивает Шпальдинга с Михаэлисом и находит, что первый из них под влиянием своей рассудительности и своего «спокойного темперамента» поступает с энергическими библейскими выражениями так же, как Михаэлис, — перефразирует их и превращает в бездушные определения, в философскую мораль. А как резко высказывается он через год после того, также в письме к Лафатеру, против того самого Иерусалема, которого он когда-то так восхвалял и в котором когда-то видел своего единомышленника! Здесь шла речь о сочинении Иерусалема «Размышления о важнейших истинах религии» и о 2-м издании сочинения Шпальдинга «О пользе должности церковного проповедника». «Ваш Шпальдинг, — пишет Гердер⁴, — с каждым днем все боль-

¹ К Каролине (ЛВ. III, 221); Воспоминания. II, 70, 77, 78, 82. — И письменно Гердер обращался к Шпальдингу по поводу назначения в Морунген нового главного пастора. В ответном письме Шпальдинга от 12 января 1773 г. (сохранившемся в рукописи) выражено глубокое уважение к Гердеру и высказано желание, чтобы он пользовался своими выдающимися умственными дарованиями и своим умением энергически выражаться и больше писал для публики, для «просвещения своих современников». «Какую большую вы принесли бы пользу, — писал Шпальдинг, вероятно, в ответ на сделанный Гердером намек, — если бы занялись философией человечества как источником человеческих добродетелей и духовного утешения».

² К Каролине (А, III, 318); к Мерку (*Вагнер*. II, 34).

³ См. выше, с. 660.

⁴ А, II, 75.

ше и больше возмущает меня. Во 2-м издании его сочинения о церковном проповеднике нет ни одного слова о том, каким должен быть такой проповедник перед Богом и перед людьми! Там говорится только о том, каким должен и мог бы быть проповедник в силу предоставленных ему привилегий во владениях его величества прусского короля, для того чтобы быть сколько-нибудь похожим на настоящего проповедника!» В тоне «господина советника высшей консистории» он слышит «благочестивый вопль» — и все это говорится в письме к такому человеку, который когда-то сам принадлежал к числу учеников Шпальдинга. Ведь Лафатер прожил вместе с Феликсом Гессом в 1763 г. девять месяцев у Шпальдинга, бывшего в то время пастором в маленьком городке Померании Барте; Шпальдингу он был обязан тем, что приготовился к занятию пасторской должности и в течение всей своей жизни питал к этому человеку самую искреннюю привязанность. Понятно, что Гердер оскорбил Лафатера своими отзывами о Шпальдинге; он был вынужден смягчать свои выражения и наряду с порицаниями литературной деятельности Шпальдинга выражать свое неизменное уважение к личным достоинствам этого писателя.

То, что Гердер высказывал в откровенных письмах к Лафатеру, скоро должно было сделаться известным всей читающей публике. Вышеупомянутые резкие отзывы Гердера о Шпальдинге были лишь отголосками полемического сочинения, направленного против Шпальдинга и уже доведенного до конца, в то время когда писались те отзывы. Гердер заранее подготавливал Лафатера к выходу в свет нового сочинения, говоря, что это будет небольшой томик рассуждений об обязанностях церковного проповедника и что там, «быть может, найдут оборотную сторону прекрасного и возвышенного Шпальдингова трактата»; но он не послал нового сочинения прямо к Лафатеру из опасения огорчить его и очень радовался, когда узнал, что Лафатер терпеливо вынес все, что могло ему не понравиться в содержании сочинения¹. Нельзя не подивиться тому факту, что именно то сочинение, которым Гердер боялся огорчить Лафатера, было самым определенным выражением его перехода от идей Шпальдинга к идеям Лафатера; мало того, в то время как Гердер писал новое сочине-

¹ В то время как он (в оставшемся ненапечатанном месте из письма к Гарткноху за № 32) поручал своему издателю переслать «Провинциальные листки» Лафатеру, он сам (№ 21 к Лафатеру) отправил свое сочинение только к Пфеннигеру, для того чтобы Пфеннигер прочел его Лафатеру. Касательно произведенного этим сочинением впечатления см. № 21 и 22 в переписке с Лафатером.

ние, он так глубоко сочувствовал идеям пылкого благочестивого энтузиаста, что сначала хотел посвятить свой труд именно этому «другу и собрату по званию и по надеждам». Своим появлением новая книга установила различие между двумя религиозными направлениями, до того времени сливавшимися в одно. Именно в то время как она вышла в свет, Гёте, Лафатер и Базедов собрались в Эмсе! И Лафатер и Гердер были учениками Шпальдинга; первый еще был привязан к бывшему наставнику старыми узами; и Гердер в одном месте «Провинциальных листков» еще раз настраивает себя на либеральный тон, признавая, что «безыскусственно спокойное достоинство Шпальдинга» так же благотворно для религии, как лафатеровское «ангельски нежное предчувствие, что в каждом из нас живет ангел». Но не таково было общее направление сочинения — оно расходилось с идеями Шпальдинга и согласовалось с идеями Лафатера. Гердер прежде всякого другого понял различие между идеями этих двух писателей, резко и со страстным увлечением объяснил, в чем заключается это различие, и водрузил знамя нового религиозного направления, подобно тому как ранее того водрузил знамя нового поэтического направления, — хотя впоследствии он снова возвратился к более ясным идеям и, почувствовав отвращение к лафатеровской мечтательности, снова стал верно судить о Шпальдинге.

Главным побуждением для издания нового сочинения послужило появление той книги, в которой шла речь о пользе пасторской должности. Гердер сам признался — хотя впоследствии и отказался от этого признания, — что изложенные в той книге «странные и односторонние понятия о пасторской должности» побудили его взяться за перо, чтобы писать «Провинциальные листки». Поэтому, чтобы понять содержание его полемиического сочинения, необходимо предварительно ознакомиться с содержанием того сочинения, против которого была направлена эта полемика.

Из самого заглавия книги Шпальдинга — вышедшей в 1772 г. первым изданием и уже в следующем году потребовавшей нового издания — видна точка зрения автора. Ввиду общего пренебрежения к пасторскому званию, скромный Шпальдинг становится в оборонительное положение. Он был бы доволен и лично для себя, и для своего звания, если бы мог отвести этому званию всеми признанное почетное место в государстве и в обществе, если бы мог убедить своих противников в пользе, доставляемой исполнением пасторских обязанностей. Поэтому он

прежде всего старается устранить всякие преувеличенные понятия о назначении пасторского звания. Он решительно отвергает усвоенное церковной иерархией понятие, что лица духовного звания облечены особой святостью и особой властью! Христианский церковный проповедник — не священник; он не такой же, как апостолы, посланец Божий, облеченный высшими полномочиями. Все неблагоприятные отзывы Юма о духовенстве падают сами собой, если лица духовного звания отказываются от всяких притязаний на принадлежность к особому духовному сословию. «Наше назначение, — говорит Шпальдинг, — заключается в том, чтобы излагать и объяснять закон Божий, и в том, чтобы поучать мудрости и добродетели»; достоинство нашего звания должно быть основано исключительно на той пользе, которую оно приносит. Лицо духовного звания должно приобретать уважение и влияние только своей личной деятельностью, только своей ученостью, образованностью, общепользовными практическими познаниями и в особенности тем, что оно учит понимать религию и достигать духовного счастья. Только этим и объясняется, почему духовенству предоставляется особое положение в государстве. Государственная власть не будет препятствовать проповедованию такой «граждански безвредной религии, какова христианская», даже будет положительно заинтересована успехами такого проповедования, потому что добродетель приносит государству пользу, — ведь преподаватели такой религии, которая «поучает добродетели и счастьем во имя Божие», суть «хранители общественной нравственности».

Едва ли можно высказать более верный и более разумный взгляд как на призвание пастора, так и вообще на религию. Автор устанавливает ясные границы для сферы влияния христианства, подобно тому как заботящийся о сохранении своей жизни человек тщательно взвешивает свои собственные силы и отводит для себя такую узкую сферу деятельности, внутри которой он способен уберечь себя от угрожающих опасностей. Все заботы христианского проповедника должны сосредоточиваться на том, чтобы сделать людей лучшими, чтобы сделать их благочестивыми и чтобы доставить им так тесно связанное с благочестием душевное спокойствие. С этой целью должны сообразоваться и поучения проповедника. Но он не должен ограничиваться преподаванием нравственности без помощи учения о вере. Это учение основательно сравнивали с часами, назначение которых заключается в том, чтобы точно указывать постепенность движения стрелки. Поэтому необходимо извлекать из учения о вере и про-

поведовать все то, без чего не может быть основательного и прочного побуждения к честной жизни и без чего даже честная жизнь не может доставить прочного душевного спокойствия. Однако при этом не следует пользоваться всеми без исключения библейскими истинами. Ученое объяснение священных книг и практическое преподавание религии не одно и то же. Еще менее следует пользоваться всеми бесплодными, чисто спекулятивными догматами, каковы, например, учение о Св. Троице и о двойственной натуре Христа. То было бы настоящей «смертельной отравой для христианства», если бы мы стали придавать мнимому «истинному учению» такое важное значение, которое вовсе не зависит от практической полезности христианства. Наконец, и те догматы, которые при их правильном понимании имеют полезное значение, но легко могут быть истолкованы в превратном смысле (как например о способности веры доставлять вечное блаженство и о врожденной нравственной испорченности), следует излагать осмотрительно, тщательно применяясь к степени умственного развития теперешних христиан. Только необходимо, и даже вполне достаточно, чтобы проповедовалась вера во Христа. Но проповедовать веру во Христа значит наводить на тот путь к блаженству, который был им указан; ведь преданность и признательность к «нашему ходатаю перед Богом», ведь сознание великой важности той услуги, которую он нам оказал, и той дорогой жертвы, которую «он принес для нас», служат важным и даже главным средством к направлению нашего ума на честный путь.

Вместе с такой готовностью делать уступки ради примирения противоположных воззрений автор обнаруживает привлекательную искренность и правдивость. К тем, кто предается «опротечивым влечениям к переменам», автор обращается с требованием христианской скромности и сдержанности, однако нисколько не обнаруживая неосновательной привязанности ко всему старому; напротив того, он настойчиво требует улучшений и в содержании катехизиса, и в книге церковных песен, и в богослужении. При всем этом он находит необходимым, чтобы служитель Божий отличался искренностью своих доводов, чтобы он всегда говорил только то, что чувствует в своем сердце. И наконец, с какой душевной теплотой он взывает к своим сотоварищам по пасторскому званию, убеждая их быть хорошими людьми, для того чтобы благотворно влиять с церковной кафедры на слушателей!

Публичное проповедование религии представляет крайне трудную задачу в такое время, когда среди бурь общественной

жизни человеку так легко сбиться с пути и когда атмосфера до того насыщена идеями о просвещении, что не принимает в себя никаких идей о сверхъестественном. Такая задача по необходимости сводится к попыткам соглашения и примирения. Кто достиг бы такого, вполне искреннего примирения, тот открыл бы в старом Евангелии «новое Евангелие», о котором говорил Лессинг, — тот сделался бы настоящим Спасителем теперешнего поколения. В душе Шпальдинга совершилось такое примирение, которое хотя и не отличалось особой глубиной мысли, но с виду было серьезно задумано. Шпальдинг поставил яйцо в неподвижное положение, разбив его с одного конца. Он пожертвовал многим из существенного содержания христианского учения, а от современных идей о просвещении заимствовал только то, что было в них поверхностного, — поэтому его способ примирения долго не был так же остроумен, как тот, который был задуман Шлейермахером; однако и он не был лишен достоинств — книга Шпальдинга стояла на одном уровне с умственным развитием тогдашнего духовенства и ставила преподавание христианского учения на более высокую ступень. Эту задачу автор исполнил добросовестно, разумно, искусно, в изящной форме и с практической пользой. Он, бесспорно, придал исполнению пасторских обязанностей более существенной пользы и этим способом многим доставил спокойствие совести.

Однако все образование того времени достигло важного поворотного пункта. Оно начало глубже прежнего проникать в сферы мышления и чувственных ощущений. Чувство и страсть стали пробуждаться из своего усыпления, фантазия начала предъявлять свои права и смело проникать на ту почву, которую иссушил холодный человеческий рассудок. В тех людях, которые были одарены более глубоким умом, как например в Гамане, пробудилось желание и действовать, и страдать, и наслаждаться жизнью всей совокупностью своих человеческих сил. Это желание выразилось всего резче в поэтических произведениях юного Гёте, но ни в ком оно не было таким сильным и многосторонним, как в Гердере. Поэтому для Гердера задача заключалась не в том, чтобы достигнуть внешнего примирения между религией и господствовавшим в науке и в государстве рационалистическим направлением, а в том, чтобы заменить это рационалистическое направление религиозным, не в том, чтобы уладить политический или дипломатический компромисс, а в том, чтобы вызвать решительный переворот в пользу религии. Он сначала доискивался творческих способностей человеческого ума и доискался

только первоначальной поэзии; но, придерживаясь нити исторических исследований, он стал еще глубже прежнего раскапывать историческую почву и докопался в ней до животворного сознания присутствия Божия. Прежде Библия была для него поэтическим произведением, а теперь она сделалась для него божеским откровением, и он стал жадно черпать из этого источника для того, чтобы утолять из него и жажду других. Поэтому и все рассуждения о «полезности» пасторской должности казались ему такими же бессмысленными и жалкими, как рассуждения о задаче поэта подражать древним поэтическим произведениям или о конечной нравственной цели поэтических произведений. Он намерен вести речь не о полезности, а о высоком значении пасторского звания, и не в качестве примирителя, а в качестве просвещенного священнослужителя, в качестве пророка; поэтому он не будет держаться оборонительного положения, а будет открыто и с энергией нападать на своих противников; он не сходитя со Шпальдингом не потому только, что у них различные воззрения, но и потому, что у них различные темпераменты. Шпальдинг все спокойно взвешивает и очень умерен в своих суждениях, а Гердер ко всему относится с запальчивой горячностью и сам сознается, что для своего собственного душевного спокойствия желал бы быть таким же чистосердечным и добродушным, как Шпальдинг. У Гердера прорывается наружу страстность в противоположность Шпальдингову мягкосердечию, пристрастие — в противоположность беспристрастию, гениальность — в противоположность здравомыслию, полный новых идей ум — в противоположность благоразумной сдержанности.

Гердер сам писал Шпальдингу, что «Провинциальные листки» были составлены в двух частях «из разной смеси»¹. Большая часть рукописи этого сочинения найдена в оставшихся после Гердера бумагах²; поэтому мы имеем полную возможность обо-

¹ Письма, которыми обменивались Шпальдинг и Гердер, находятся у меня в рукописях, но письма Гердера — в подлинниках, а письма Шпальдинга — в копиях. Найденные в оставшихся после смерти Шпальдинга бумагах два первых гердеровских письма касательно «Провинциальных листков» и два ответных письма Шпальдинга напечатаны К. Г. Саком в «Theolog. Studien und Kritiken» (1843, часть I, с. 90 и сл.). Приведенное нами в тексте выражение находится в том издании на с. 99.

² Только большая часть, так как этой рукописью пользовался Дж. Г. Мюллер для своей неудовлетворительной переделки «Провинциальных листков» (SW в отделе теологии. XV. 147 и сл.). Тогда были вырваны не только некоторые страницы, но даже целые листы ради удобств типографии (причем самый текст сочинения иногда изменялся); были вырваны и такие страницы, которые остались ненапечатанными.

зреть первоначальное содержание сочинения при помощи тех изменений, которые были сделаны Дж. Г. Мюллером на основании той рукописи при издании полного собрания сочинений Гердера.

Это содержание ясно доказывает нам, что и «Прибавление к философии истории», и «Древнейший документ», и «Провинциальные листки» выросли на одной и той же почве, питались одними и теми же соками и заимствовали эту пищу друг у друга — все эти три сочинения написаны с целью отстоять религию и все три основаны на исторической точке зрения. «Древнейший документ» излагал только начало историко-философского сочинения; та же тема излагается и в книге «для церковного проповедника». Уже в первом из этих сочинений автор жаловался¹ на то, что в его время ни одно сословие не поставлено в более невыгодное положение, чем духовенство, у которого нет никакой сферы деятельности. С каждым поколением духовное звание все более и более утрачивало и свое достоинство, и свою святость, так что высшим идеалом пастора является теперь тот, «кто угрожает муками ада для государственных целей, кто старается, как умеет, утешать угнетенных или объясняет в наполненных философией красноречивых проповедях, в чем заключается неосуществимый на практике идеал человечества». Однако именно от «осыпаемого насмешками духовного звания» исходит всякая образованность, какую мы находим в этом мире; только благодаря ему поддерживалась эта образованность, между тем как все другие сословия — даже государственные люди и философы — навели ее на ложный путь и старались подавить ее. Развитие этих положений, изложенных в «Древнейшем документе», составляет главное содержание книги «для церковного проповедника», а вслед за изложением этого исторического обзора автор объясняет (в первоначальной, делившейся на две части, рукописи), как постепенно вырождалось духовное сословие. И тогда, когда он объясняет, в чем заключаются обязанности пастора, и тогда, когда он опровергает господствовавшие в его время и изложенные Шпальдингом воззрения на эти обязанности, он постоянно имеет в виду историческое развитие понятий о духовном наставнике, хотя местами и прерывает нить своих рассуждений случайными отступлениями.

Автор начинает с патриархов, которые были первыми духовными руководителями и избранными Богом орудиями его воли. Все зачатки духовного звания коренятся в той эпохе патриархов,

¹ Древнейший документ. I, 133, 134; сравн. с 99.

которую автор превозносит с таким же пылким благочестием, с каким превозносил ее в «Приложениях к философии истории». Он точно будто беседует сам с собой, когда отвергает годность тех поэтических патриархад, о которых уже прежде высказывал свое мнение по поводу бодмеровской «Ноахиды»¹, и затем выражает желание, чтобы ему когда-нибудь удалось достойным образом описать эту священную почву находившегося в детстве человечества. Для достижения этой цели необходимо, как он полагает, не поэтическое изложение, а только религиозно-историческое. Он, очевидно, имеет в виду продолжение своего «Древнейшего документа», когда «на своем пути сквозь сумеречный свет утренней зари» обнаруживает желание изложить историю патриархов такой, какой она была на самом деле, — когда он пытается описать жизнь Авраама, принесение в жертву Исаака, которое теперь кажется ему более возвышенным, чем вымышленный рассказ об Ифигении, и еще более живописный тип патриарха Иова, в сравнении с которым так ничтожен греческий Филоктет. В лице Мельхиседека он видит «иероглиф древнейшего священства» — иначе говоря, он полагает, что теперешнее духовное звание должно извлекать свои жизненные соки и силы из той блаженной эпохи патриархов! Первые отцы семейств были только хранителями тех первоначальных указаний, которые были преподаны Богом человеку; в них следует искать зачатков священнического звания (при этом автор ссылается на один параграф «Оснабрюкской истории» Мезера); стало быть, это звание — если смотреть на него в настоящем его значении — было не человеческим учреждением, а «делом Божиим», и даже было более первобытно, чем царская власть. Эта святость происхождения соединяется со священническим званием и по сие время. «Мы знаем, — сказал Шпальдинг, — каким путем мы достигаем нашего звания». «Это ничего не значит, — возражает Гердер, резко отвергая и это робкое напоминание, и теорию, изложенную в «Contrat social», — наше звание ведет свое начало непосредственно от Бога и потому его существенные отличия не могут зависеть от таких человеческих соображений». И по сие время, говорит он, можно найти настоящих патриархальных лиц духовного звания — конечно, не в столицах и не вблизи от двора, а в скромных сельских приходах. Было бы безрассудно требовать ученых догматических познаний от этих простодушных пастырей; но было бы еще более безрассудно сбивать их с настоящего пути

¹ Сравни выше, с. 298 и SWS. II, 163 и сл.

философскими рассуждениями или же вовлекать их в сомнения и в индифферентизм такими антидогматическими декламациями, какие встречаются в книге Шпальдинга. Уже за много лет перед тем Гердер обрисовал для самого себя обязанности «оратора Божия»¹; теперь он снова рисует некоторые черты того же идеала, стараясь объяснить, какой должна быть «церковная проповедь в своей самой безыскусственной простоте», какой должна быть патриаршеская проповедь. Наконец, он объясняет, насколько в наше время мы располагаем более обильными, чем в древние времена, образовательными средствами для исполнения священнических обязанностей, не отнимая у этих обязанностей их патриархального духа. Именно в духе этих древних времен следует и можно пользоваться в помощь теологии и возникшими в Новое время науками. И поэзия, и философия, и история человечества, и натуральная история снова должны войти в состав теологии. Только служитель Божий — говорит Гердер, далее развивая мысль, которую он уже начал высказывать в «Древнейшем документе», — только служитель Божий когда-нибудь будет в состоянии написать такую всемирную историю, в сравнении с которой все прагматические толкования Вольтера и Юма обратятся в прах, который разносится ветром!

Вместе с этим Гердер пишет нечто вроде истории священнического звания. Стараясь придерживаться нити исторических событий в своем объяснении важности духовного звания, он озаглавливает свою вторую главу словом «священник». По поводу высказанного Мезером мнения, что у германцев жрецы были священными национальными должностными лицами, составлявшими такое сословие, которое играло роль посредника между остальными сословиями, Гердер старается историко-генетическим способом доказать, что и в моисеевской республике естественным путем возникло такое же национальное сословие — но под словами «естественным путем» он понимает не подражание египтянам, не человеческое соглашение или человеческий произвол, а волю Божию, выраженную в наизидание человеческому роду. Таким образом, мы «снова возвращаемся к главной основной мысли всего сочинения, что священническое звание учреждено Богом». А от этой мысли Гердер переходит (но совершенно иначе, чем Шпальдинг) к опровержению нападок Юма на священническое звание. Он начинает с указания на мягкий робкий способ защиты у Шпальдинга. Он говорит, что священники не только

¹ Сравн. выше, с. 167—168.

могут, но обязаны считать себя за членов такого сословия, которое учреждено непосредственно самим Богом. Наше назначение заключается вовсе не в том, чтобы «совершать для народа жертвоприношения», — оно более широко и более полезно. Личность каждого из нас не облечена никакой особой святостью, но в силу возложенных на нас обязанностей мы должны быть благочестивее других. Цель нашей должности, конечно, не требует, чтобы «мы соединялись в особую партию и составляли общими силами нечто вроде заговора», но она требует, чтобы все лица нашего звания были проникнуты одним и тем же духом, — потому что мы пользуемся некоторыми привилегиями не по «милостивому разрешению гражданского общества», а в силу божеского права, как естественные представители церкви, как национальные должностные лица. Затем следует опровержение мнений Юма. Гердер старается доказать, что если характер духовенства дошел до такой нравственной испорченности, какую ему приписывает Юм, то виной такой перемены — законодательство и политика, и вслед за тем осыпает насмешками «жалкого, бездушного умника», который так радуется этой испорченности. «Не словами, а делами, — говорит он, — следует опровергать мнения Юма. Ведь и в нашем отечестве духовенство находится в жалком положении, хотя и в не таком жалком, как в Англии». Затем следует уже давно знакомый вам рассказ о его собственной жизни — о том, как его долго отталкивало от себя лицемерие духовенства, как он все-таки сам поступил в духовное звание, как он провел целые годы в поисках религии, как он мало-помалу совершенно отвернулся от «лжеумудрствований наших новых теологов», но все еще чувствует глубокое отвращение ко многим недостойным членам его сословия¹. Его рижские и, конечно, также бюкебургские наблюдения придали мрачную окраску его описанию, как «малодушная гордость и хитрое властолюбие соединяются с раболепным смирением, как злоба соединяется с влиятельным положением, мошенничество — со святостью, и все это прикрывается священническим званием». Однако он выносил из своей жизни и более приятные впечатления, которые наконец научили его многое извинять. «Он работает для самого себя, не мыслит, а чувствует для других; своим желаниям он не видит конца, но предоставляет их исполнение Тому, от кого все зависит. Его душа похожа на ту виноградную ветвь, которая вьется вокруг колючих растений, но наконец прикладывает себе дорогу, и хотя

¹ См. выше, с. 82.

ее плоды кисло-сладки и не совсем зрелы, все-таки она радуется приятным лучам осеннего солнца».

В третьей и последней главе первой части автор излагает понятие об обязанностях настоящего церковного проповедника, для которого принимает за образец третий исторический прототип — пророков. Шпальдинг сказал, что церковный проповедник «отчасти», лишь в «менее высоком значении слова» — то же, чем были у израильтян пророки, а у язычников философы. Это сравнение и слово «отчасти» очень не нравятся Гердеру! По его мнению, церковные проповедники занимают более высокое положение: «они — то же, что пророки в высоком значении этого слова». Ведь пророки были прежде всего «чудотворцами», т. е. «доказывали чудесами божеское заступничество за его религию и за его уставы». Поэтому по меньшей мере не следовало бы насмехаться над благородной уверенностью Лафатера, что и в наше время возможны чудеса и пророчества (в этих словах снова сказывается перемена, происшедшая в прежних воззрениях Гердера). Наши теперешние заступники за религию, конечно, не имеют никакого сходства с теми пророками, которые свидетельствовали своими чудесами о могуществе Божиим. При помощи своих философских доводов они в состоянии доказать только возможность откровения со своей неглубокомысленной человеческой точки зрения и на основании гипотез — да и это они делают очень плохо и бестолково, между тем как у их противников гораздо более ума и остроумия! Но есть еще другой способ доказывать истину религии. Он заключается в том, чтобы показать божеское откровение в том виде, в каком оно было ниспослано, в том, чтобы проследить выражение воли Божией в разные времена и у различных народов, в том, чтобы перевести и объяснить Библию для народа таким же способом, какой был указан на деле Лютером. «Где же найти такого энергичного человека, такого нового Лютера, который был бы так же чистосердечен, как Лютер, хотя бы и не обладал одинаковой с ним ученостью, у которого были бы такие же, как у Лютера, голова и сердце, такая же душа и такой же склад речи?» Однако Гердер не решается сказать, что в его лице появился такой новый Лютер; на всех страницах его сочинения можно прочесть между строк, что он желает быть или со временем сделаться заместителем Лютера и вовсе не скрывает этого от своей возлюбленной¹. Все помыслы о новой реформаторской и многосторонней литературной деятельности,

¹ Воспоминания. I, 233; сравн. А, III, 402, прим. и 407.

которые мы находим в его путевом журнале, снова здесь высказываются в теологической обделке и в религиозном направлении. Всего яснее он высказывается в приписке к своему сочинению и в посвящении этого сочинения Лафатеру: «Я имею нечто общее с тем человеком, с которым не осмеливаюсь себя сравнивать и который сделал в этом мире то, чего я никогда не буду в состоянии сделать; быть может, я только расчищу путь для слова Божия, сметая с дороги камень и пни. <...> Если Провидению будет угодно, то я посвящу для такой цели самые зрело обдуманные из моих сочинений, а ваш пример, мой друг, кажется мне таким красноречивым, что должен служить для меня поощрением. Я сознаю, что мне предстоит еще много труда, если я окажусь достойным моего назначения в этой жизни! Итак, нужно работать, и только тогда исполнить свое назначение! Надо поучать и, как бы изошряясь в поучениях, всеми силами стараться убеждать. Религия — великое творение Божие, сохранявшееся в течение стольких столетий и у стольких народов, — прими меня в твоё лоно, для того чтобы я проповедовал тебя моим собратьям таким способом и так всесторонне, как того, быть может, требует мое земное назначение!» Из этих слов ясно видно, в каких отношениях находился Гердер к Лафатеру; из них также видно, как честолюбие политического реформатора превратилось в честолюбие пророка. И «Приложение к философии истории», и «Древнейший документ», очевидно, служили приступом и подготовкой к тем двум сочинениям, которые также находились в тесной между собой связи, — к «Истории божеского управления на земле» и к сочинению о Библии, которое должно было служить дополнением к Лютерову переводу Библии и имело целью объяснить для современников и для потомства значение Моисея, Иова, псалмопевцев и пророков. Это были пророческие грезы, которые Гердер впоследствии осуществил иным, более разумным, способом. Два продукта его умственной деятельности — «Идеи о философии истории человечества» и сочинение «О духе еврейской поэзии» — зародились именно в то время, когда Гердер был всецело охвачен религиозным энтузиазмом, и хотя они отличались более светским характером, но все-таки носили на себе отпечаток того времени, когда были в первый раз задуманы.

Далее автор говорит, что пророки были те люди, которые «уличали народ в его прегрешениях и наводили его на путь истины, изображая самыми яркими красками, как добродетель ведет к общему счастью». И в настоящее время следует на основании этого факта объяснять сущность священнических обязанностей.

Но в книге Шпальдинга об этом не говорится ни слова; в ней идет речь о том, как священническая должность могла бы быть «полезной» и «безвредной» даже без тех существенных ее отличий — без божеского содействия и без пророческого рвения; ее автор смотрит на священническую должность как на должность «духовного полицейского чиновника»; он имеет в виду только «полицейскую религию», находящуюся в союзе с полицейски управляемым государством, так как рекомендует для текста церковных проповедей не слово Божие, а какое-нибудь послание к Кейту, к Мопертюи или к Бредову; он ведет речь о том, что должно менее всего интересовать церковного проповедника, — об отношениях религии к государству, о слабых сторонах догматики, книги церковных песен, катехизиса и богослужения! А духу этого сочинения вполне соответствует и дух тех церковных проповедей, которые произносятся в наше время. Таким бездушным, вялым, смиренным и изящно выражающимся теперешним проповедникам Гердер противопоставляет проповедника, всегда ярко и метко выражающего свою мысль, всегда, выбирающего для темы своих проповедей какой-нибудь выдающийся факт из народной или из частной жизни, всегда выражающегося с жаром и поражающего своим красноречием, как молотом, против которого не устоит никакой утес. Именно таким проповедникам и следует подражать!

Наконец, автор говорит, что «пророки чувствовали присутствие Божие и вдохновлялись духом Божиим». А по мнению Шпальдинга, церковный проповедник не что иное, как «официальное лицо», назначаемое для изложения и для объяснения Священного Писания и способное довольствоваться своим собственным умом. Эта противоположность наводит Гердера на рассуждения о пиетизме, к которому он относился, с одной стороны, с сочувствием, вследствие того что не одобрял «ни такого христианства, которое ищет для себя опоры в лжеумудрствованиях, ни такого христианства, которое во все слепо верит», с другой стороны, с несочувствием, вследствие того что находил внешнюю форму пиетизма неудовлетворительной и отзывающейся духом религиозной секты. Стараясь противодействовать влиянию превратных понятий, уцелевших от пиетизма, Шпальдинг изложил (еще за одиннадцать лет до издания своей книги «О пользе пасторской должности») свои «Мысли о достоинстве чувств в христианстве», которые были заново изданы в 1764 и 1769 гг. со значительными дополнениями. Это более старое сочинение Шпальдинга также сделалось для Гердера предметом критики, и мы должны

познакомиться с его содержанием, для того чтобы быть в состоянии понимать смысл критических отзывов Гердера.

Шпальдинг начинает это сочинение опровержением учения пиетистов о том, что мнимое сверхъестественное влияние божественного духа, испытываемое благочестивым человеком в момент его обращения в истинную веру и духовного возрождения, распознается простым чувством, которое нетрудно отличить от естественных перемен, совершающихся в нашей душе. Опираясь, с одной стороны, на наши сведения о свойствах человеческой натуры, с другой стороны, на текст Священного Писания, Шпальдинг старается доказать, что сила таких внутренних впечатлений есть обманчивый признак их непосредственно божеского происхождения. Если бы можно было распознавать непосредственное божеское влияние, то оно обнаруживалось бы как в высших, так и в низших душевных способностях, но мы видим, что в этих последних познание и воля объясняются «общими законами мышления». Напротив того, нет никакой возможности чувством распознавать особое божеское происхождение тех спасительных впечатлений! Эти впечатления производятся «словом» и, стало быть, не принадлежат к числу непосредственных, а при всех впечатлениях, производимых косвенным путем, чувство есть только средство, но никак не главная причина. Даже в том случае, если бы мы не были в состоянии объяснить возникновение тех идей, которые возбуждают в нас духовные влечения, все-таки та сила, которая в нас действует, есть сила истины, хотя бы мы этого и не сознавали и хотя бы эта истина не была для нас вполне ясной. Наконец, если мы допустим, что особое влияние божеского духа приходит на помощь к силе истины, то влияние благодати все-таки вернее распознается не чувствами, а из его конечных целей — из того, что человек наводится этим путем на такие убеждения, которые заставляют его исполнять волю Божию, которые могут сделать его и добродетельным и счастливым. В этих доказательствах высокого нравственного достоинства религиозной жизни заключается главная сущность Шпальдингова сочинения. Придерживаясь той же точки зрения, автор в 1-м издании своего сочинения указывал на совесть как на исключительную сферу, в которой проявляется влияние божеской благодати; он высказывал в виде «гипотезы» мнение, что через посредство человеческой совести Бог оказывает свое влияние на сферу нравственности по непреложным законам, которые однообразны, но вместе с тем разнообразно применяются, подобно тому как в физическом мире он проявляет свое влияние силой тя-

готения. Благодаря своему осмотрительному правдолюбию автор перенес эту гипотезу в следующих изданиях своего сочинения из текста в предисловие; но его основное воззрение осталось без изменений; его руководящей мыслью по-прежнему была та, что Бог оказывает свое влияние на человеческую душу, направляя ее на путь к нравственному очищению, усовершенствованию и успокоению; только ввиду бросающейся в глаза натуралистической окраски таких воззрений, автор несколько ярче выдвинул на первый план религиозное направление — он стал все возводить к Богу и во всем усматривать действие божеской благодати. Таким образом, у него уже был готов ответ на тот вопрос, разрешению которого посвящена вторая глава его сочинения: следует ли считать необходимыми для христианина те пылкие чувства, которых требует учение пиетистов? Достоинство всяких благочестивых чувств, говорит Шпальдинг, определяется только соразмерно с тем, насколько они способствуют улучшению человеческого сердца и человеческого образа жизни и вместе с тем поддерживают благочестивую надежду на божескую благодать, ниспосылаемую нам через посредство Христа. Все, что толкуют о страшном положении человечества, о внезапном пробуждении человеческой души и ее обращении на истинный путь, о чувственном и магическом влиянии посредника, иными словами, все, что сверхъестественно, несовместимо с той истинной верой, которая стремится к очищению совести и сама собой зарождается из той же совести.

В этом старом сочинении Шпальдинга мы находим здоровое и цельное понятие о том, в чем должно заключаться христианское благочестие. Оно было чистым отблеском такой души, в которой добродетель неразрывно соединяется со страхом Божиим, или, говоря словами Шлейермахера, оно было выражением «самой совершенной религиозной нравственности в данной сфере»¹. Это воззрение, отвергавшее все сверхъестественное и в мирской, и в духовной жизни, вполне удовлетворяло господствовавшую в то время потребность все объяснять рассудком и потому имело право объяснять все религиозные влечения единственно необходимостью нравственного самоудовлетворения. Однако та узкая сфера, внутри которой этот образ мыслей безусловно господствовал и всех вполне удовлетворял, не внушала сочувствия Гердеру при его более широких умственных стремлениях

¹ Рецензия Шпальдинговой биографии (Aus Schleiermachers Leben. In Briefen. IV, 611).

и при его беспокойном уме. Он восстал против воззрений Шпальдинга именно потому, что нашел в них зародыш своих собственных нравственно-религиозных идей. Против спокойной религиозности Шпальдинга, привлекавшей своей мягкостью и гармоничностью, он разразился бурным потоком идей, более глубокомысленных, но менее зрелых, более богатых и остроумных, но иногда оскорблявших слух диссонансами. Так как дело шло об оценке христианского чувства, т. е. о настоящем средоточии религиозной жизни, то разномыслие между Гердером и Шпальдингом обнаружилось по этому случаю еще яснее, чем при обсуждении вопроса о пользе священнической должности.

Гердер вполне разделяет несочувствие Шпальдинга к «эпидемии набожности». Ему так же, как и Шпальдингу, вовсе не по душе такая «болезненная чрезмерная чувствительность». Но он полагает, что следовало иным способом предохранять от этого зла — иным способом бороться с ним. Он не находит в сочинении Шпальдинга ни верной философской, ни верной теологической точки зрения. По его мнению, автор вовсе не имел надобности прибегать к тому неосновательному предположению, что внушенные Богом чувства когда-то безусловно преобладали в нашей душе, вытесняя из нее и заглушая в ней человеческие чувства и мысли. Но главный недостаток Шпальдинговой психологии заключается в том же, в чем гамановский ученик издавна упрекал психологию последователей Вольфа и всех философов, писавших в веке Просвещения. Разделение душевных способностей на высшие и низшие, говорит Гердер, не что иное, как философская абстракция. Вместо того чтобы отдавать предпочтение высшим способностям перед низшими, следовало поступить наоборот, потому что низшие способности — самые сильные и самые надежные и потому что они служат основой и материалом для высших. Что же значат декламации Шпальдинга против чувства и ощущений, против чувственных впечатлений, побуждений и влечений, что значат его постоянные ссылки на зрелое размышление, на хладнокровно взвешенные мотивы, на твердость намерений, вместе с постоянно повторяющимися сравнениями с тем, чему нас поучает зрение — это самое хладнокровное из всех человеческих чувств? Напротив того, именно через посредство чувств, побуждений и влечений человек всего чаще наводится на хорошее и на дурное и именно к нашим чувственным способностям обращаются самые благородные из всех наук — история и поэзия. Заблуждение Шпальдинга становится вполне ясным, когда заходит речь о религии! Священное Писание, кото-

рое, по словам Гердера, служит для нас единственным образцом философии и психологии, «принимало в соображение все наши душевные способности в одинаковой мере». Из этих слов видно, что точка зрения Гердера не сходилась с точкой зрения Шпальдинга не только по отношению к психологии, но и по отношению к теологии. Рационализм Шпальдинга относится к Священному Писанию как почтительный ученик, который, однако, заимствует от наставника только то, что согласно с его собственными воззрениями и потому нередко придает библейской поэзии прозаический смысл; «фигурные и цветистые выражения» Священного Писания он переводит на более простой и удобный для него язык. Напротив того, Гердер сочувствует библейской поэзии и считает ее за выражение божественной истины. Поэтому Библия служит для него непосредственным подтверждением его психологических воззрений. И в этом случае точно так же, как во всем, что он писал, живя в Бюкебурге, он обходится без всяких критических исследований. Поэзия чудес служит для него вполне достаточным доказательством того, что чудеса действительно совершались, и ему вовсе не трудно опровергать мнения Шпальдинга, основывая свои возражения на том убеждении, что «никто не может отвергать главной основы откровения — чудес и знамений Божьих». Так же, как и в «Древнейшем документе», он говорит: ввиду совершающегося чуда нет времени рассуждать и употреблять в дело высшие душевные способности; чудо охватывает всего человека и главным образом его душу, которая вполне предается испытываемому впечатлению. Несогласие Гердера с рационалистическим воззрением, наконец, выражается в положении, что религия по своему существу есть факт и историческое явление. И по мнению Гердера, Бог действует на человеческую душу «словом» — но и это слово есть история, наглядное изображение, рассказ, чувственная речь, псалом, стихотворение, заповедь, обращение к человеческому сердцу; с этим словом Бог обращается преимущественно к чувственным способностям и всего охотнее к простому народу, для того чтобы руководить всеми его влечениями, для того чтобы внушить ему то чувство радости, т. е. ту «веру», которой ему не может внушить «медленное преподавание добродетели через посредство высших душевных способностей». Однако сам Гердер чувствует, что для его положений недостает прочной основы. У него нет никакой другой основы, кроме ссылки на Библию, божественный авторитет которой не нуждается, в его мнении, ни в каких доказательствах. Он убежден, что не философам и не догматикам, а только источ-

нику всякой догматики — Библии — принадлежит разрешение вопроса, каким способом Бог влияет на наши разнообразные душевные способности; именно она и объясняет нам, что это влияние действует через посредство исторических свидетельств и проявлений божеской силы и что вера выше убеждения, внушаемого рассудком и совестью. Однако, как ни презрительны отзывы Гердера о «гипотезах» философа, о его бездушных умствованиях, он в конце концов все-таки противопоставляет философской теории своего противника также философскую теорию. Эта философическая подкладка его психологических и теологических воззрений, его ссылок на исторические факты, его веры в чудеса и в откровение видна в его нападках на Шпальдингову гипотезу о человеческой совести. Несмотря на несочувствие Гердера к такому скептику, каким был Юм, его буйный мистицизм подчиняется влиянию английской философии наравне с кротким рационализмом Шпальдинга. Он становится на эмпирически-номиналистическую почву. По его мнению, Бог действует на нас через посредство нашей совести не по каким-либо однообразным законам, похожим на законы тяготения или света. Даже эти последние, мнимо однообразные естественные законы, по его мнению, не что иное, как ложное отвлеченное понятие, возникшее из наблюдения отдельных явлений, не что иное, как «феномен слабого зрения». Точно так же смотрит он и на человеческую совесть. Эта совесть, говорит он, не что иное, как отвлеченное понятие о совокупности душевных способностей в той мере, в какой их деятельность нравственна. Но на самом деле оказывается, что Бог действует на нас всякий раз каким-нибудь новым, особым способом, и притом действует на каждого из нас отдельно от других. Религия есть чувство и вера человека, взятого в отдельности от всех других, и всякая настоящая молитва возможна только при такой индивидуальной вере. Именно в этом и заключается исторический характер религии. Религия есть способность чувствовать историческую связь Бога с человеком при всех обстоятельствах своей жизни, ежеминутно к при всяком положении своего сердца.

Таково было пророческое воодушевление, с которым Гердер подвергал критике более старое сочинение Шпальдинга. Он кончает эту главу и вместе с тем первую часть своего сочинения новыми указаниями на «людей, полных веры и божественного духа», как на образцы для церковного проповедника.

Вторая часть сочинения переходит на почву Нового Завета, для того чтобы указать, как говорится в надписи, на проповедни-

ков христианского учения, т. е. на Христа и на апостолов, как на новые, высшие образцы для церковного проповедника. Но автор вполне увлекается усвоенной им исторической точкой зрения; он с пафосом описывает этот высокий пункт исторического развития религии. Пророки, говорит он, умолкли — и все лежало в развалинах, когда Иоанн возвестил пришествие Христа. Наконец, пришел Христос — это облеченное в плоть Слово, это изображение Божества в грешном человеческом теле; его жизнь была не доведенным до конца замыслом, но она полна беспримерного величия. А всего важнее то, что Христос пришел только в виде всемирного наставника. Он был только наставником, священнослужителем, вестником Божиим и жертвой за весь мир. Здесь Гердер высказывает ту мысль, которая уже была у него на уме, но осталась невысказанной в то время, как он оканчивал свое «Приложение к философии истории»; вместе с этим он старается поставить священническое звание так высоко, как только можно; звание проповедника, говорит он, было званием Христа, а Христос был едиnorodный сын Божий. Автор опровергает воззрения докетов и социниан на личность Иисуса и противопоставляет этим воззрениям свое собственное, по его мнению, единственное, какое согласно со Священным Писанием. Христос, несомненно, был истинный Бог; также несомненно, что он был настоящий человек и чувствовал так же, как и мы. Ввиду той цели, для которой Гердер писал свое сочинение, он сильно настаивал на человечности Иисуса — но постоянно в таком смысле, что именно в этой человечности отражалась его божественность. Именно вследствие того что натура Иисуса была вполне человеческой, он служит образцом для всяких человеческих стремлений и в особенности для духовных наставников — этих преемников Христа. Автор очень удачно пользуется своей способностью погружаться всеми своими чувствами в исторические явления, когда описывает отдельные отличительные черты этого образца. Но когда он заканчивает свою красноречивую речь выражением желания, чтобы жизнь Иисуса была описана, по указаниям евангелистов, «с достоинством, с простотой и в связи с историей», то он приплетает сюда разные нападки на лжемудрствования догматиков и рационалистов и на пошлую манеру перефразировать текст священных книг. Его удары направлены на этот раз не столько на самого Шпальдинга, сколько на Шпальдингова друга Теллера. Сочинение Теллера «Словарь Нового Завета» уже вышло 2-м изданием; это была необходимая вспомогательная книга для церковных проповедников, объяснявшая немецкий перевод Но-

вого Завета в духе очень бедной идеями примирительной теологии. Она не могла понравиться Гердеру ни формой изложения, ни своей теологической точкой зрения. Он находил, что в способе изложения Теллера вовсе нет филологической точности, что автор превращает текст Нового Завета в «гомилетическую болтовню» и только затемняет и извращает смысл священных книг. Гердер возвращается к содержанию этих книг с целью обрисовать личность апостолов так же, как он обрисовал личность Христа. Шпальдинг лишь с робкими оговорками признавал апостолов за образцы для теперешних церковных проповедников; учение Павла о важности веры в противоположность с добрыми делами он откладывал в сторону, полагая, что оно обуславливалось особым положением этого апостола по отношению к тогдашней иудейской юриспруденции. Ввиду таких оговорок Гердер стал хвалить все, что было сделано Павлом, а Иоанна, у которого все истекало из сердца, стал выдавать за другой цельный образец христианского наставника — за нового Петра и Иакова. Гердер ссылается на послания Иоанна, в которых идет речь не об одной только «пользе» проповеднического звания; иначе говоря, он находит, что весь Новый Завет вплоть до пророческой книги Откровения есть храм Божий, «в котором духовный наставник должен постоянно вращаться, для того чтобы сделаться одним из его столпов».

Если бы Гердер не уклонялся от избранного им исторического пути, то ему следовало бы говорить теперь об отцах церкви. Но он только мимоходом упоминает об отцах церкви во второй главе, носящей заглавие «Церковные наставники». «Только со времен Лютера, — говорит Гердер, — начинается настоящее восстановление званий священнического и проповеднического»; «именно во времена Реформации начало выделяться, под влиянием тогдашних временных и местных условий, особое сословие евангелических проповедников». Гердер устанавливает резкое различие между званием протестантского наставника и римским священством. Он, по-видимому, сходится со Шпальдингом в непризнании никаких иерархических притязаний, но и в этом отношении его точка зрения носит отпечаток полемики. На этот предмет следует, по его мнению, смотреть с исторической точки зрения, не вдаваясь в «лжемудрствования». В одно время с учреждением новой должности евангелических проповедников вошли в употребление символические книги, были положены основы для догматики и были установлены внешние формы богослужения. Вместо того чтобы философствовать об этих предметах

с точки зрения нашего времени, их следует освещать сведениями о той эпохе, в которую они возникли.

С этого момента сочинение Гердера разделяется на три отдельные части, в которых идет речь сначала о символических книгах, потом о догматике и, наконец, об обязанностях церковных проповедников и о церковных уставах.

Говоря о символических книгах, Гердер старается как можно тверже держаться единственного, по его мнению, правильного метода — исторического. Так как символические книги вошли в употребление по случайным причинам, то их смысл становится понятен только при знакомстве с их происхождением. Чисто историческим путем следует искать ответа и на вопрос, в какой мере с тех пор изменилась почва религиозного преподавания; всякая другая критика этих книг была бы «не годной и нищенской». На основании таких исторических исследований можно будет выяснить, в какой мере направление тех книг приравнивалось к духу времени. Требование отменить употребление символических книг совершенно безрассудно. Это было бы то же, что «откладывать в сторону знамена и заменять их детскими побрякушками и детской болтовней». Это было бы тем более безрассудно, что символические книги — такие внешние знаки отличия, которые служат основой для нашей религиозной свободы. Кто же мог бы заменить их новыми книгами? И где же те przygotowительные работы, которые необходимы для такой замены? Только необходимо по мере сил устранять то безрассудное злоупотребление, что содержание тех книг объясняют не по их внутреннему смыслу, а по буквальному, и необходимо предохранять себя от лицемерия. Но возбуждать неясные сомнения — значит нарушать настоящие обязанности церковного проповедника (в этих словах снова ясно видно несочувствие Гердера к сочинению Шпальдинга). Задача заключается в том, чтобы в духе Лютера распространять и с большей пользой применять на практике прежнее учение; такой труд принесет больше пользы, чем «нравоучительные возгласы, как бы они ни отзывались аристократизмом и сколько бы они ни отличались возвышенностью идей».

Резкое различие между поэтически-историческим благочестием Гердера и рационально-нравственным благочестием Шпальдинга не менее ясно выступает наружу при разрешении вопроса о достоинстве догматики. Проповедник должен соединять свои поучения с догматикой, не потому только что этим способом он облегчает для себя объяснение христианских обязанностей. Вероучение и мораль находятся в гораздо более глубокой внутрен-

ней связи; они исходят из одного корня — из слова Божия. Все поучения церковного проповедника суть не что иное, как религиозные поучения; но религия есть не что иное, как объяснение и практическое применение Библии в самом широком ее смысле. Здесь всего яснее видна внутренняя связь идей Гердера. Его психологические воззрения сходятся с его воззрениями теологическими, а эти последние — с педагогическими; его настойчивые указания на цельность человеческой природы соответствуют важности, которую он придает внутренней связи исторических явлений, а этой внутренней связи соответствует то исключительное значение, которое он придает Библии. Откровения Божии, говорит он, почти никогда не были поучительными словами, а были фактами, были постоянно далее развивающимися историческими явлениями. Поэтому он отказывается от высказанной в путевом журнале мысли, что план обучения должен начинаться с Лютера катехизиса; теперь он требует, чтобы преподавание религии начиналось с ее истории и чтобы из знакомства с этой историей мало-помалу развивалось понятие о нравственности и о догматике. Конечно, такого правила проповедник должен придерживаться, обращаясь к прихожанам со своими поучениями. Все должно начинаться с истории религии, и все должно завершаться догматикой. Никак не следует заводить споры о том, что касается религии, и не следует под влиянием случайных причин то соединять преподавание религии с преподаванием морали в одно целое, то отделять их одно от другого — ведь одни нравственные поучения никак не могут заменить цельную, первоначальную религию! Объяснение Библии, т. е. изложение истории божеского откровения, должно быть для церковного проповедника не побочным делом, а главным. Гердер, очевидно, руководствуется своим собственным опытом, когда говорит, что после нескольких лет пребывания в должности проповедник сам сознает необходимость придерживаться такой методы сначала в своих поучениях к детям, а потом и в своих поучениях к людям зрелых лет. Всякое другое преподавание морали и догматов осталось бы бесплодным! Если же религиозные поучения будут основаны на объяснениях Священного Писания, то «церкви не будут оставаться пустыми или не будут посещаться ничего не понимающими людьми». А так как природные дарования проповедников разнообразны, то одни проповедники будут излагать историю в высоком значении этого слова, будут настоящими отцами и наставниками для детей, а другие, которые более способны «чувствовать присутствие Божие в природе», будут произносить в этом духе

и свои проповеди. В этих размышлениях Гердер обнаруживает всю ширь своего ничем не стесняющегося ума, несмотря на то что он резко нападает на обычный, однообразно официальный тон тех проповедей, в которых поучают нравственности, искусно уклоняясь от разрешения самых трудных вопросов. В противоположность с умением берлинских проповедников произносить проповеди, приспособленные к просветительным идеям того времени, Гердер требует, чтобы проповедование слова Божия было в одно и то же время и самым разнообразным и самым безыскусственным. Он кончает советом брать в пример великого реформатора и все упрощать так, как это делалось во времена Лютера.

Наконец, Гердер связывает с мыслью о Лютере и ту главу, в которой ведет речь «об обязанностях церковного проповедника и о церковных уставах». Однако он не берется исторически объяснить, каким образом, после этого реформатора, «возникла новая реформация, которую Лютер назвал бы улучшениями, исходящими от юристов»; он отказывается от научных исследований протестантского церковного права, которое в конце концов основано только на силе, на прихоти и на практической пользе; он будет довольствоваться смиренными жалобами — но эти жалобы очень скоро переходят в самые язвительные насмешки. Острие этих насмешек направлено на слишком скромные окончательные выводы Шпальдингова сочинения — на то, что церковный проповедник будто бы обязан существованием своего сословия, своим влиянием и своими правами только «уступчивости со стороны гражданского общества» и что он оправдывает эту уступчивость, принося пользу и в нравственном отношении, и в политическом. Это воззрение, низводящее должность проповедника на степень «терпимого учреждения», служит, по мнению Гердера, доказательством того, до какой степени утрачено настоящее понимание сущности религиозных обязанностей; поэтому он старается выставить последствия такого воззрения в самом ярком и самом неблагоприятном свете.

В своей последней главе «О церковных проповедниках-философах» Гердер лишь слегка придерживается исторического метода и все сильнее увлекается полемикой. Он решительно протестует против мнения Шпальдинга, что церковные проповедники в некотором отношении то же, чем были у язычников философы, что они «поучают мудрости и добродетели». Он лишь слегка указывает на постепенное историческое развитие того, что теперь называется христианской проповедью, и затем прямо пере-

ходит к настоящему времени. Он рассказывает, как теперь произносятся проповеди, и в то же время порицает их содержание. Это та же тема, которую он уже ранее обсуждал в «Отрывочных заметках», в «Ораторе Божьем» и в статье о праздновании воскресного дня. Хорошо, если бы в этих изящных, поучительных проповедях, служащих образцами для всех проповедников, было хоть что-нибудь похожее на убедительность, ясность, живость тех речей, которые произносились великими древними ораторами! Но в них нет ничего, кроме неясных общих идей, кроме широко задуманных вступлений, вялых объяснений, далеко захватывающих подразделений и вторжений в посторонние сферы, длинных периодов; они никогда не касаются отличительных особенностей какого-либо положения или душевного состояния, никогда не увлекают ни ум, ни сердце слушателя и именно потому наполнены какими-то туманными поучениями! На здорового человека они производят крайне неприятное впечатление! Эти новейшие проповеди отчасти отзываются полемикой и двусмысленностью содержания. Ведь если церковные проповедники должны «поучать мудрости и добродетели», то отчего же они не исполняют этой обязанности во всем ее объеме! Они, пожалуй, могли бы совершенно отказаться и от официальной религиозной обстановки — от готических зданий с их алтарями и кафедрами, от напоминающих монашеские церемонии обрядов крещения и причащения св. тайн, от исповеди и от отпущения грехов, — могли бы отказаться от всего, что на самом деле несовместимо с той небольшой долей мудрости, которая заключается в их поучениях! Есть только один способ помочь этому злу — «следует восстановить истинную религию; иначе церковный проповедник сделается самым двусмысленным, самым бесполезным посредником на земле. Поэтому сочинение Гердера заканчивается горячим воззванием к тем проповедникам, которые не желают быть только «раз в неделю произносящими речи философами», а хотят быть настоящими проповедниками слова Божия. Они не должны терять из виду «ни исторического развития своего звания, ни цели своего призвания, ни тех, кто служат для них образцами». Они должны верить в откровение Божие, преподанное Библией и историей всего человеческого рода; они должны признавать Христа за высочайший образец и за краеугольный камень вечного блаженства. В упомянутых нами ранее приписке и посвящении автор заявляет о своем единомыслии с Лафатером, предварительно извинившись в том, что все сочинение написано в полемическом духе.

Частью практическая, частью полемическая цель автора, которая так ясно высказана в конце рассматриваемой нами рукописи, служит объяснением для тех переделок, которым подверглась эта рукопись перед поступлением в печать¹. В ней совершенно исчезла историческая подкладка, служившая основой для научных воззрений. Ее содержание не подчиняется требованиям исторического метода, который оказывается слишком стеснительным для живого, полного страсти изложения, рассчитанного на впечатление, которое оно должно производить на сердца современников. Сосуд, в котором были сосредоточены мысли автора, разбивается вдребезги, и пенившиеся внутри его волны разливаются во все стороны. Шесть глав сочинения превращаются в пятнадцать «Провинциальных листков». Первоначальный порядок изложения совершенно изменяется, а прежнее содержание сочинения распределяется в таком виде, что получает характер излияния сердечных чувств, вызванного желанием опровергнуть то или другое мнение противника. То, что прежде имело внешний вид отступления и вводного полемического объяснения, выступает теперь на первый план, а ссылки на великих исторических деятелей как на достойные подражания образцы получают второстепенное значение. Все сочинение получает еще более резкий отпечаток полемической статьи, написанной в опровержение мнений Шпальдинга. Это ясно, между прочим, из того, что каждое положение автора высказывается в опровержение того или другого Шпальдингова тезиса и что для этих положений служат темой большей частью эпиграфы сочинения «О пользе пасторского звания» или ссылки на сочинение «О чувствах». Из содержания первоначальной приписки почти ничего не выброшено или, вернее, кое-что выброшено только из главы о патриархах, имевшей много общего с «Древнейшим документом». Все до такой степени сокращено, что первоначальный объем сочинения

¹ «Для церковного проповедника. Пятнадцать провинциальных листков». Лейпциг, 1771 (без имени издателя). 148 страница in 8°. К рассмотренному нами манускрипту всего ближе подходит небольшой рукописный очерк, в котором содержание распределено по исторической схеме того манускрипта, но отступления разделяются на особые главы; в нем двенадцать глав вместо первоначальных шести и потому он имеет более близкое внешнее сходство с напечатанными «Провинциальными листками», в которых пятнадцать отдельных номеров. Кроме того, в этом очерке находятся следующие надписи, которых нет ни в большом манускрипте, ни в напечатанном сочинении: «Разговор между Шпальдингом, Бетти и Юомом»; «Понятие о церковном каноне»; «Объяснение двух сект среди отцов церкви».

уменьшился по большей мере до одной трети; две части соединены в один томик, в котором немного больше сотни страниц, а их содержание распределено в следующем порядке.

Появившиеся в печати «Провинциальные листки» начинаются с той последней главы, в которой Гердер опровергал мнение Шпальдинга, будто церковных проповедников можно сравнивать с языческими философами, будто они «назначаются для того, чтобы поучать мудрости и добродетели». Во втором «Листке» автор восстает против мнения Шпальдинга, что церковных проповедников можно сравнивать с пророками в «низшем значении этого слова». При этом автор излагает те же доводы, которые заключала в себе прежняя глава о пророках, но всего более нападает на низкое мнение Шпальдинга о проповедническом звании, стараясь объяснить, какое впечатление должно производить такое мнение, с одной стороны, на простодушных сельских пасторов, с другой стороны, на тех пасторов, в уме которых зародились тревожные сомнения насчет пользы их звания. Прежние размышления об обязанностях церковного проповедника и о церковных уставах служат содержанием для третьего «Листка»; здесь автор резко и презрительно нападает на Шпальдинга за то, что он отводит для церкви слишком скромное положение в государстве. В четвертом «Листке» автор, основываясь на одном библейском изречении, положительно утверждает, что церковные проповедники не что иное, как проповедники божеского откровения. Изложенные здесь мысли уже известны нам из той главы в первоначальной приписке, где шла речь о догматике. Из той же главы взято содержание двух следующих «Листков», в которых автор снова нападает на Шпальдинга, стараясь доказать, что в книге Шпальдинга вовсе нет никакой догматики и что догматика, основанная на Библии, необходима; здесь новая переделка оказывается более основательной и более тщательной, чем прежняя редакция; полемика принимает более умеренный тон; автор дает ей новое направление, стараясь объяснить, как он стал бы поступать, если бы стал излагать содержание Библии в догматической форме с филологической осмотрительностью и точностью, как он стал бы рассуждать о догматике с преподавателями этого предмета и какого практического применения догматики он стал бы требовать от церковных проповедников. Он посоветовал бы проповедникам не обходить молчанием темные места Библии, а тщательно объяснять их; он не стал бы опровергать догматическое учение и по меньшей мере стал бы выбирать объяснительные примеры прямо из основных положений христиан-

ского учения. Высказав замечание, что без помощи Библии и догматики нельзя дать ясный ответ ни на один из теологических вопросов, автор переходит к критике мнений Шпальдинга о достоинстве чувств; эта критика служит содержанием для трех следующих «Листков»; она заканчивается частью неоднократно указанными на важное значение догматики, т. е., прибавляет автор, «филологически объясняемой философии Библии», частью в миролюбивом направлении указаниями на то, что церковные проповедники одарены от природы разнообразными способностями и потому каждый из них может проповедовать своим особым способом. Затем десятый «Листок» наполнен желчными нападками на символические книги. В следующих «Листках» идет речь о духовном характере проповедника. Автор сначала возражает против нападок Юма; потом он доказывает, как неудовлетворительно Шпальдинг защищает проповедническое звание от нападок этого писателя; такая защита, говорит он, — то же, что признание негодности этого звания, то же, что «отказ от данного лозунга»; наконец, в связи с одной цитатой из «Оснабрюкской истории» Мезера автор исторически объясняет происхождение, древность и важное значение священства, повторяя то, что он говорил в первоначальной рукописи в главе о патриархах и о священстве. Таким образом, в последних главах напечатанных «Провинциальных листков» автор отчасти снова вступает на тот исторический путь, которого держался в прежней редакции. В предпоследней главе он насмехается над философскими доказательствами религий и требует, чтобы «истина откровения доказывалась его содержанием» и правильным объяснением Библии; здесь он повторяет почти то же, что говорилось в прежней главе о пророках и патриархах. Наконец, в последней главе вкратце излагается содержание прежней главы о «христианском наставнике» и делаются указания на пример Христа и апостолов.

Ганноверский теолог Клокенбринг писал Гердеру¹ касательно «Провинциальных листков»: в вашей маленькой книжечке вы излили на бедного читателя целый поток идей; к нему нельзя прибавить ни одной новой мысли, хотя из ваших пятнадцати «Листков» вышла лишь небольшая книга в четвертую долю листа. Так же отзывался о небольшом историко-философском сочинении Гердера Брандес; его мнение разделял и Циммерман, который сказал, что заключающимися в этом сочинении идеями француз при-

¹ 25 июня 1774 г.; это письмо сохранилось в рукописи.

вел бы в восторг всю Европу¹. Там точно так же, как и в «Провинциальных листках», вызывал порицание слог Гердера; многие высказывали желание, чтобы Гердер не переставал мыслить по-своему, но чтобы он выражался как Тацит или, еще лучше, как Монтескьё, д'Аламбер или Гельвеций. Даже Мерк советовал автору «Древнейшего документа» и «Философии истории» взять секретаря, который писал бы вместо него, потому что он «постоянно ищет нужных выражений и никогда не находит их»².

Это был старый упрек, которого не избежало ни одно из литературных произведений Гердера; но когда он высказывался касательно трех сочинений, написанных в Бюкебурге, он имел совершенно иное значение. Новое содержание и еще небывалый пафос придавали внешней форме этих сочинений особый отпечаток. Изобилие идей у нашего автора, соединявшееся с чрезмерной впечатлительностью, всегда с пренебрежением относилось к способам выражения. Сверх того, он в самом начале своей литературной деятельности нарочно старался выражаться не совсем ясными намеками, для того чтобы в нем можно было узнать гамановского ученика; потом в «Критических лесах» он выражался более самостоятельно, отчасти благодаря влиянию Лессинга; наконец, в написанном на премию сочинении о происхождении языка он старался, несмотря на витиеватость своего слога, выражаться последовательно и ясно, так что заслужил одобрение от тех филологов, которые присудили ему премию. Но в письмах об Оссиане он снова выражается отрывочными, бессвязными фразами, а в рецензиях, написанных в то же время, он «из желания быть понятным, вдается в настоящую болтовню». Однако только те три сочинения, которые были написаны в 1773 г., всецело отличаются по своему слогу тем направлением, которое господствовало в так называемом «периоде бурных стремлений». Кроме торопливости изложения в них видна горячность, с которой автор старался изменить свой слог вместе с переменой своих прежних убеждений. Во всех трех сочинениях встречаются такие отрывочные фразы, каких не дозволил бы себе ни один осмотрительный писатель, и такие смелые нарушения всяких грамматических правил, от которых его тщетно предостерегали и Гаман, и Николаи; на увещания этого последнего он дал следующий ответ: «Дайте мне больше простоты, цельности и устойчивости в идеях; тогда слова будут сами собой распределяться

¹ Циммерман к Гердеру (А, II, 341).

² Мерк к Николаи (*Вагнер*. III, 106).

в надлежащем порядке; а теперь они перепутываются одни с другими». Изложение Гердера вообще отличается отсутствием ясности; он не в состоянии подвигаться вперед мерными шагами; его речь то широко разливается, как морские волны, то становится чрезмерно сжатой и скупой на слова и ограничивается краткими полужабыми намеками. Подобно тому как драматические писатели «периода бурных стремлений» протестовали против благопристойного слога французских трагедий, и Гердер протестует против «пресмыкающегося, как змея, слога и вкрадчивого красноречия светлых и изящных умов того столетия». Подобно тем писателям, он относится с пренебрежением к педантическим правилам и к вошедшим в общее употребление литературным приемам, но в то же время впадает в противоположную крайность — в бесформенный натурализм. Он не придает никакой цены той привлекательности или по меньшей мере приятности слога, которая так легко достигается писателем только благодаря формам и синтаксическим правилам языка, уже достигшего полного развития. Он не заботится не только об изяществе слога, но даже об округленности своих выражений и о внешней между ними связи. Он считает позволительным все, что ему приходит на ум в то время, как он держит в руках перо. Минутное влечение, чувство, страсть, воодушевление составляют в его мнении главную суть. Подобно тому как в своих стихотворениях он внезапно переходил от поэтических оборотов речи к прозаическим, и в свою прозу он иногда вносит поэтические выражения. Он, по-видимому, считает нужным вносить и в прозаическую речь те перескакивания от одной мысли к другой, те эллизы, которые так ему нравились в народных песнях. К этим особенностям его слога следует отнести и то, что Гаман называл «утаиванием» и «алкивиадовским извращением частиц речи»¹; сюда же относится склонность Гердера усиливать выразительность слов посредством опущения некоторых слогов². Еще в «Отрывочных заметках» он с похвалой отзывался об употреблении энергических вы-

¹ Напр.: «Schöpfer alleinist's, der die ganze Einheit... denkt» — «Только Творец может мысленно обнять единство целого» (Также философия истории. С. 49). Этому должны содействовать и проповедники, wenn Bibel ihre Sache ist (если Библия их дело). Однако произнесение проповедей Predigers fast ganzes Amt — почти единственная обязанность проповедника (Провинциальные листки. С. 70) и т. д.

² Гердер пишет *Anspiel* вместо *Anspielung* (Древнейший документ. I, 179), *einfachen* вместо *vereinfachen* (Там же. I, 359), *wickeln* вместо *verwickeln* (Также философия истории. С. 188), *Forderniß* вместо *Erforderniß* (Провинциальные листки. С. 76) и т. п.

ражений и о перестановках слов; теперь он без всяких стеснений прибегает к этим литературным приемам; он старается как можно чаще употреблять самые энергические выражения, но такие выражения слишком часто отличаются у него чрезмерной резкостью. Он любит поэтические и устарелые слова и формы¹; первыми он обязан Клопштоку, вторыми — Лютеру и его переводу Библии. Но всего чаще он сам составляет новые слова и выражает свои мысли в сжатой форме такими смело придуманными производными словами, которые понятны только в связи с целой фразой; это — продукты минутной фантазии, у которых такая субъективная окраска, что они никак не могут войти в постоянное употребление². Ко всему сказанному следует прибавить такую необузданную риторическую пылкость, которая заставляет автора прибегать к самым странным и почти совершенно непонятным фигурным выражениям³.

¹ Напр.: *Rege* (Древнейший документ. I, 120 и в др. местах), *Lispel* (Провинциальные листки. С. 109), *anreucht* (Также философия истории. С. 179) и т. п.

² Я приведу несколько примеров таких составных слов. В «Древнейшем документе»: *Einfältigung*, *Regkraft*, *gegleichsamt*, *Schaffersboten* (вестники Божии, ангелы), *scheinlich* (вместо *scheinbar*, *wahrscheinlich*), *Spielfigur*, *Anerinnerung*, похвалы *angeekelt* к сочинению, *hinüberekeln*, *dunkelgläubig*, *Nachplaudergeschichte*, *Bücher* und *Kißelphilosoph*, *stirnhinweg*, *Kräftekräfte*, *Kleinling*, *Glattpfennig*, *zukeßern*, *Allsegling*, *Glattpfennig*, *Zukeßern*, *Allsegunng*, *Himmelerwernung*, *Erdenichts*, *Ernstgesicht*, *menschenväterlich*, *Immersichselbstvermehrter* и т. д. В сочинении «Также философия истории»: *argwütherich*, *Tadeltraum*, *Wunschwanderungen* und *Hoffnungsfahrten*, *Hülsengeschichte* (т. е. такая история, которая не обращает внимания на внутренний смысл событий), *Ziehwolke*, *Hohnlüge*, *Seitabverzerrung*, *Zusammenwelt* und *Folgewelt* и т. д. В «Провинциальных листках»: *Allenfallsbeziehung*, *eingreisen* (преподавать ребенку религию философски), *Triumphkram*, *Kummerseelen*, *Sauigelhirten* (чтобы придать более выразительности слову *Sauhirt* — свинопас), *Daumengruft* (чтобы выразить незначительную величину пальца), *Herzensschwindung*, *unsylbig* (вместо *stumm*) и т. д. Во «Франкфуртском ученом указателе»: *Buchstabenhineinkünstelung*, *Da-zukommenheiten*, *Hinläßigkeit* и т. д. Такие составные слова, натурально, встречаются уже в ранних произведениях Гердера, но там они не так многочисленны. Только немногие из этих слов Гримм поместил в своем словаре. Для филологического изучения оборотов речи Гердера, оригинальность которых здесь лишь слегка указана, будет служить основой полное собрание сочинений Гердера, издаваемое Суфаном.

³ Приведем несколько примеров! Обратите внимание на насмешливое повторение слова *des* в «Древнейшем документе» (I, 157): «O des weiten düstigen Mantels von wahrscheinlicher Vermuthung! des!», на употребление анафоры в презрительно повторяемом выражении «Lehrer der Weisheit und Tugend!» (Провинциальные листки. С. 8), на повторяемые в виде припева слова «politisch höflicher kann nichts sein!» (Там же. С. 19). На с. 77 повторяется в виде припева даже междометие «Hm!» Отсутствие всякой связи в словах встречается очень часто, а в «Провинциальных листках» оно встречается беспрестанно.

Однако хотя все три написанные в Бюкебурге сочинения имеют многие общие черты, каждое из них отличается своими особыми оригинальностями. Хотя Мерк и основательно заметил, что способ изложения в «Летучем листке о философии истории» похож на стремительный поток идей, который не течет так же спокойно, как река Плейссе, однако здесь не особенно резко шокируют читателя бурные выходки автора, и Гердеру кто-то заметил, что в этом «Листке» он доказал свою способность писать так, что его можно понимать. Гораздо более несообразностей мы находим в слоге «Древнейшего документа». При всей своей многоречивости это сочинение отличается неудобопонятностью; в некоторых частях оно написано в дифирамбическом стиле, в некоторых других оно неряшливо и неизящно; отсутствию всякого метода в обсуждении научных вопросов соответствует отсутствие всякого стиля в способе изложения; схематическое разделение на семь глав еще ярче обнаруживает бессвязность содержания и служит новым напоминанием о мистическом характере основной идеи. Но с каждым новым сочинением слог Гердера становится все более и более фантастическим. В «Провинциальных листках» мы находим вполне оригинальную форму изложения, которая, правда, имеет некоторое сходство с формой изложения в путевом журнале, но еще никогда не встречалась ни в одном из напечатанных произведений Гердера. Не подлежит сомнению, что не одно только нетерпение побуждало автора выражаться таким отрывистым слогом, нисколько не похожим на многоречивый слог «Древнейшего документа». Автор, очевидно, желал, чтобы его памфлет представлял резкую противоположность с сочинением Шпальдинга даже относительно слога. Между тем как Шпальдинг старается все взвесить и объяснить так, что читатель не находит надобности прибавлять даже одну четверть какой-нибудь своей собственной идеи, напротив того, Гердер хочет, чтобы его мысль понимали на полуслове. Он до такой степени пренебрегает округленностью своих периодов, что нередко лишь начинает изложение своей мысли, а с того момента, как эта мысль становится сама собой понятной по своей логической связи с предыдущим, он предоставляет читателю мысленно доканчивать ее изложение. Для писателя, у которого так быстро зарождались и связывались между собой новые идеи и который торопливо извлекал содержание одной рукописи из содержания другой, правильная форма изложения была до такой степени стеснительна, что он старался только высказать все, что думал, вовсе не за-

ботясь о форме, — однако старался излагать свои идеи такими же глубоко прочувствованными, какими они зарождались в его уме. Поэтому хотя первоначальное, более подробное изложение его идей и получает более сжатую форму, все-таки оно носит на себе отпечаток беспокойного, порывистого, пылкого характера автора. Сокращенное изложение не отличается ни большей ясностью, ни большей точностью; в нем только чаще прежнего встречаются опущения слов, в нем менее внутренней связи и последовательности. Оно выражает идеи автора в таком сокращенном виде, что несколько подходит к манере стенографов писать условными знаками; логические доводы имеют внешнюю форму вопросов и ответов; автор беспрестанно прибегает к восклицаниям и перескакивает от одной мысли к другой; иными словами, в противоположность с тем проповедническим «полемическим стилем» Шпальдинга, который так не нравится Гердеру, мы находим здесь декламаторский слог, в котором преобладают опущения слов и междометия.

Такой неслыханно бесформенный способ изложения, по-видимому, самый удобный для автора. К нему автор снова прибегает и даже доводит его до крайних пределов бессвязности в той небольшой статье, которую он написал или в одно время с «Провинциальными листками», или немедленно после их окончания — написал, очевидно, в один присест.

Гердер написал «Найденные листки из летописей новейшей немецкой литературы 1773 г.»¹ в исполнение желания издателя Кёнигсбергской газеты, книгопродавца Кантера, который обратился к нему с просьбой прислать какой-нибудь небольшой вклад в эту газету, когда-то печатавшую первые продукты литературной деятельности Гердера. Свою склонность к роли рецензента, которую он прежде удовлетворял под контролем Николаи и Мерка, Гердер мог на этот раз удовлетворить без всяких стеснений с чьей-либо стороны. Теперь он, по выражению Мерка, «высказал решительный приговор над всеми широкими, как океан, явлениями немецкой литературы»; он высказал свое мнение о всех сколько-нибудь замечательных литературных произведениях, вышедших в свет в течение 1773 г.; это было нечто вроде заметок на полях ярмарочного каталога книг — заметок, написанных в форме отрывков. Непогрешимый судья вкратце

¹ Касательно того, чем было вызвано это сочинение, см.: *Haym R. Wiederfundene Blätter zu Herders Schriften // Im neuen Reich. 1873, II, 513 и сл.* — там напечатана не попавшая в SW статья, которую я взял из продолжений к 10-му, 12-му и 14-му номерам Кёнигсбергской газеты 1774 г.

высказывает свое одобрение или неодобрение над целой грудой новых книг и вслед за тем с полной самоуверенностью характеризует положение немецкой поэзии, критики, философии, истории и теологии. Нас более всего интересует его отзыв о «Мессиаде», которая была доведена до конца к Пасхе 1773 г. Кроме того, что уже ранее говорилось в «Отрывочных заметках» о прежних стихотворениях Клопштока, мы находим здесь самую меткую характеристику клопштоковской поэмы. Как в «Отрывочных заметках», так и здесь порицания высказываются вместе с горячими похвалами. По мнению нашего критика, «Мессиада» — единственный в своем роде бессмертный памятник немецкой поэзии и немецкого языка; но это не такая же национальная поэма, как поэмы Гомера и Оссиана; по своей основной мысли это скорее произведение юноши, чем произведение человека зрелых лет, скорее подражание Мильтону, чем непосредственное воодушевление откровением; герой поэмы «более похож на того Христа, о котором ведут речь живущие в Галле ученые, чем на того, которого мы знаем из нашей религии»; начало поэмы плохо подходит к ее концу; она не может вполне удовлетворить ни самого искреннего приверженца ортодоксии, ни самого набожного человека; наше время, говорит Гердер, требует более мужественной, «более стойкой, более философски настроенной Музы»! Менее интересны и более отрывочны следующие отзывы о поэзии бардов, о подражателях Анакреона, о журнальной и переводной литературе, о сочинениях Михаэлиса, Бардта и Теллера касательно Библии, о Шпальдинге и Эбергарде, о Лессинге и Лафатере, и о многих других. В этих отзывах мы находим только то, что уже было более понятно изложено в одновременных произведениях или рецензиях Гердера. Главная отличительная черта новой статьи заключается в том, что здесь автор ничего не излагает с достаточной ясностью, ограничивается только поверхностными указаниями и отделяется каким-нибудь резким словом или намеком. Здесь доведена до своих крайних пределов та бессвязность внешней формы, которую мы находим в «Провинциальных листках». Автор точно будто передает только отрывки из более связного изложения. Поэтому часто встречающиеся тире обозначают пробелы; но в этих пробелах, по мнению автора, не менее содержания, чем в самом тексте; а в этом тексте так же часто выпускаются слова, так же много загадочности и намеков, как в слоге Гамана. Свою недавно придуманную стенографическую манеру выражаться рецензент соединяет с иероглифическим

способом выражения своих «Отрывочных заметок». Он подражает Гаману, и хотя Гаман не одобрил «искривленного слога» новой статьи, однако он нашел в ней так много схожего со своим собственным способом выражения, что прибавил к ней голову и хвост, для того чтобы сделать ее еще более пестрой и странной¹. Таким образом, эта «нелепая статья» — как ее назвал Гердер, скоро раскаявшийся в том, что написал ее, — служила заключением и чем-то вроде вычурной подписи для написанных в течение 1773 г. трех сочинений; она отличалась доведенной до крайних пределов причудливой бесформенностью и заключала в себе такую критику, которая носила на себе самый яркий отпечаток «периода бурных стремлений».

¹ Нет ничего удивительного в том, что эту статью многие приписывали Гаману. В «Немецком Меркурии» (VIII, 2, 175) сказано: «„Найденные листки“ можно читать только для того, чтобы ближе познакомиться с оригинальным слогом Гамана: это не что иное, как бессмысленное осмеивание чужих произведений». Сравни письмо Мерка к Николаи (*Вagner*. III, 95): «Здесь все невежды приписывают эту статью Гаману».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИСПЫТАНИЯ ПИСАТЕЛЯ

Почти все сочинения, выпущенные Гердером в свет из бюкебургского захолустья, были вызовами на борьбу. Он с необыкновенной самоуверенностью бросил перчатку представителям новых идей своего времени. С горячностью, по которой распознается скорее страстный темперамент, чем настоящее мужество, он направлял свои нападки на самых ученых и самых знаменитых между своими современниками, на самых влиятельных и всеми уважаемых. Его вызовы не могли остаться без ответа, и ему пришлось переживать еще более тяжелые минуты, чем те, которые были последствием его рижской литературной деятельности и в особенности издания «Критических лесов». В ту пору он еще мог ласкать себя обманчивой надеждой, что анонимность предохранит его от неприятностей; но теперь такая надежда была бы еще более прежнего безрассудной. В ту пору Гердер мог надеяться, что найдет поддержку в своих связях с сильной литературной партией и в сочувствии Лессинга, приобретенном не пронырствами, а личными достоинствами; а теперь его связи с той партией были прерваны; лишь слабые узы связывали его с небольшой франкфуртской партией, которая сначала не отличалась внутренней дисциплиной, а потом скоро совершенно распалась; Гердер не мог ожидать большой пользы и от своих дружеских отношений к «Вандсбекеровскому вестнику» и к лагерю цюрихских литераторов. Наконец, его положение было невыгодно и в том отношении, что прежде он имел в лице Клотца и его приверженцев таких противников, которые своей неумелой критикой сами навлекли на себя общее презрение, а теперь ему приходилось иметь дело с влиятельными гёттингенскими и берлинскими литераторами — с такими людьми, как Михаэлис и Шпальдинг, репутация которых была прочно установлена. Он с крайне безрассудной смелостью вступил в борьбу со всем умственным направлением своего времени, не выставляя своего имени, которое, однако, было всем известно, не имея почти ни одного единомышленника,

не сообразив, как велик запас его собственных боевых средств, и не подготовившись к борьбе изучением боевых приемов. Он, бесспорно, превосходил всех своих противников умом и гениальностью, энергией и шириной идей, но он не обладал их умением выражаться ясно и осмыслительно и, несмотря на свою начитанность, не обладал необходимыми для борьбы основательными и точными научными познаниями. Он вовлекался в самые рискованные предприятия под влиянием своего воодушевления и своей фантазии; но, когда ему приходилось бороться с вызванными им самим опасностями, он падал духом. Поэтому ему редко случалось одерживать решительные, бесспорные победы и наслаждаться их плодами. Прокладывая во все стороны новые пути, он повсюду терпел поражения. Горячность, с которой он излагал свои идеи, заранее внушала ему уверенность в успехе; но ему приходилось платить за такую неосновательную уверенность сердечными муками, потому что он принимал всякую неудачу и всякое порицание за личное оскорбление.

Именно это и было главной причиной всех его тяжелых испытаний. Теперь ему снова пришлось переживать такие испытания. На него стали сыпаться обвинения за обвинениями, и его последние сочинения сделались для него источником самых горьких разочарований.

Первый удар был нанесен ему таким человеком, от которого он всего менее мог этого ожидать, но который бесспорно имел полное на то право. На одну из его анонимных рецензий, появившуюся 28 июля 1772 г. во «Франкфуртском ученом указателе», ему отвечал гёттингенский историк Шлёцер настоящим памфлетом, который был написан прямо с целью проучить в глазах всей читающей публики советника бюкебургской консистории Гердера.

Под заглавием «Краткое изложение моей всеобщей истории» Шлёцер издал в 1772 г. небольшую книжку в четырнадцать печатных листов в качестве руководства для студентов¹. Он проводил здесь ту же мысль, которую в то же время, но иным способом, старался проводить Гаттерер, — мысль о необходимости соединить весь исторический материал в одно энциклопедиче-

¹ *August Ludwig Schlözers, Professors in Göttingen. Vorstellung seiner Universal Historie. Series juncturaque.* Гёттинген и Гота, у Дитериха, 1772. — Касательно дальнейшего содержания текста см.: *Wesendonck. Die Begründung des neueren deutschen Geschichtsschreibungs.* С. 128 и сл.; также лекцию Waiß'a о гёттингенских историках в сборнике лекций «гёттингенских профессоров» (Гота, 1872, с. 239 и сл.).

ское обозрение. Энергический и практичный ум автора старался объять всю совокупность исторических явлений при помощи многостороннего изучения этих явлений в их подробностях. При этом автор старался придать своему ученому изложению такое направление, которое соответствовало направлению, господствовавшему в философии в течение так называемого «века Просвещения». История должна была сделаться из предмета, заучиваемого на память, «предметом умственной работы и философского мышления» — однако в очень узком смысле этих слов. Отыскивая в исторических фактах внутреннюю связь между причинами и их последствиями, автор обнаруживал свою уверенность в том, что здравый человеческий ум способен удовлетворить все притязания философии на объяснение исторических явлений. Понятие о всеобщей истории как о настоящей науке привело автора к убеждению, что изложение всеобщей истории должно быть «систематическим», что оно должно постоянно иметь в виду все «человечество», а значение отдельных народов следует определять соразмерно с их участием в великих мировых переворотах. Но Шлёцер не идет далее этих положений. Он имеет в виду еще другую важную цель — уничтожить зависимость всеобщей истории от философии. Он хочет, чтобы «история человечества», которую до того времени разрабатывали преимущественно философы, сделалась исключительным делом историков. Поэтому, после того как он слегка коснулся философской точки зрения и заимствовал у философии самые необходимые идеи, он снова смотрит на всеобщую историю как на «всеобщую историческую энциклопедию или как на основу для изучения всех исторических явлений во всем их неизмеримом объеме». Он старается ввести рациональные приемы для запоминания исторических фактов — на самом деле у него все сводится к практически понятным обобщениям и сокращениям, а его старание ввести в изучение истории систематичность незаметным образом переходит в старание облегчить труд запоминания.

Нельзя не отдать автору справедливости в том, что он упорно трудился над разрешением своей трудной задачи; но вместе с тем нельзя не улыбнуться ввиду безуспешности его усилий, которая была естественным последствием того, что у него не было ни возвышенной руководящей точки зрения, ни серьезного философского образования, ни эстетических воззрений. Отыскивая такой метод, по которому можно бы было излагать исторические факты в их взаимной внутренней связи, он имеет в виду только реальную и синхронистическую связь. Чтобы облегчить запоминание хроно-

логии, он прибегает к следующим четырем «искусственным приемам»: он уменьшает цифры годов тем, что ведет счет годам сначала до Р. Х., а потом после Р. Х.; он сводит годы к круглым цифрам, которые легче удерживаются в памяти; он подкрепляет синхронистическую связь реальной связью; наконец, в-четвертых, он указывает на одновременность сходных или противоположных исторических явлений. Это не что иное, как практические приемы преподавателя. Приступая к исполнению своей задачи — к распределению исторических событий по эпохам, он решительно идет к своей цели. Оставляя без внимания покрытые мраком зачатки человеческого рода, он отбрасывает всю древнюю историю вплоть до основания Рима. Точно так же поступает он со всей новой историей со времени «падения папского Рима» до настоящего времени. Причина, по которой он воздерживается от изложения новейшей истории трех последних столетий, свидетельствует о его добросовестности. «Мне еще очень трудно, — говорит он, — внести единство и внутреннюю связь в это бесконечное разнообразие исторических явлений и изложить эти явления систематически». Таким образом, римская история является в его изложении фундаментом всемирной истории, а эту последнюю он очень поверхностно разделяет на части, излагая ее на трех курсах и постепенно входя в более подробное объяснение отдельных исторических явлений. Но вслед за синхронистическим распределением мировых исторических событий он приступает к их распределению «синтетическому». Здесь ему предстояло сделать выбор между методами хронографическим, техно-графическим, т. е. таким, который принимает в соображение преимущественно успехи искусств и новые открытия, географическим и этнографическим. Он отдает предпочтение этому последнему, а понятию о народе он придает преимущественно политический смысл, так что у него всеобщая история в сущности сводится к истории государств. Затем он как в древней, так и в новой истории различает девять «главных народов» и наконец, в виде дополнения, делает краткий обзор «истории главных народов всего мира».

С первого взгляда ясно, что воззрения Шлёцера на историю не могли сходиться с воззрениями Гердера. Не только основные идеи Шлёцера, но также слог и тон его изложения носили на себе такой резкий отпечаток господствовавших в «веке Просвещения» идей, что были противны Гердеру так же, как были противны Гаману¹. Здравомыслие и ясность, которые Шлёцер вносил в

¹ Соч. Гамана. V, 23.

свое изложение, представляли резкую противоположность с воззрениями Гердера, для которых служили руководством чувства и фантазия. Шлёцер старался установить внешнюю последовательность событий и объяснить их смысл, а Гердер искал в них внутреннюю связь. Шлёцер прокладывал себе путь сквозь массу добытых наукой исторических подробностей, руководствуясь несколькими предвзятыми идеями, а Гердер догадывался, что история имеет особое значение, вовсе не соответствующее нашим чисто рассудочным воззрениям, что она развивается по плану, установленному божеским откровением. У гёттингенского историка не было органа для эстетических воззрений, а у Гердера этот орган был так сильно развит, что все его суждения истекали из его чувствительного сердца. Свою умственную проницательность Гердер направлял преимущественно на те таинственные рассказы об истории первобытного мира, которые казались Шлёцеру такими ненадежными и неясными, что он относился к ним с равнодушием или с пренебрежением. Вслед за историей патриархов Гердера сильно интересовала изящная сфера греческой жизни, а Шлёцер не чувствовал никакого влечения к изучению этой идеальной сферы. Ввиду того что римляне отличались своей смышленостью, политическими способностями и жадой к завоеваниям, Шлёцер считал их за самый выдающийся из всех девяти «главных народов», а Гердер еще в своих «Отрывочных заметках» восставал против чрезмерно важного значения, которое придавали всему, что исходило от римлян.

Почти в одно время с изданием Шлёцера руководства к изучению всеобщей истории были изданы два тома его «Всеобщей северной истории»; в этом сочинении всего ярче выступали наружу главные достоинства автора — богатство его познаний, строгость его критики, искусство, с которым он распределял в ясном порядке пеструю массу исторических фактов. Современники вполне основательно признавали это сочинение за первоклассное, а Гердер — относившийся с особым интересом к истории северных стран, вследствие того что жил довольно долго в России, — отзывался о книге Шлёцера с таким пренебрежением, в котором сказывалось сильное личное нерасположение к ее автору. Свое мнение он высказал прежде всего в письме к Гейне. В том сочинении, писал он, виден человек, который умеет лучше всякого другого присваивать себе чужое добро и потом тоном победителя хвастаться своей добычей. Там второпях собран в одну кучу разный вздор; исторический пирронизм автора не имеет «никакой правильной основы»; тон его критики низкого

разряда и точно будто заимствован из «Библиотеки Клотца». Шлёцер был, по мнению Гердера, всем обязан своим предшественникам и той роли, которую играл в России; поэтому наш критик высказывает свое намерение надеть Шлёцеру новых хлопот. В своих «Найденных листках» он сильно отделал Шлёцера за его сочинение; но главная причина его неодобрения обнаружилась лишь тогда, когда он говорил в письме к Гаману (по поводу Мейнерсовой «Истории религии древних народов») о «шлёцерианизме исторической критики», который в его глазах не что иное, как «наглая манера подо все подкапываться подобно кроту, для того чтобы не видеть лучей яркого солнца»¹.

Если бы Гердер, высказывая свое мнение о точке зрения Шлёцера, ясно изложил свой собственный взгляд на этот предмет, если бы за мерило того, чего можно требовать от всеобщей истории, он принял то более глубокомысленное воззрение, которое вскоре после того он высказал в своем «Приложении к истории философии», то он оказал бы настоящую услугу историографии и мог бы внушить такое понятие о всеобщей истории, которое примирило бы философов с историками.

Но мы не находим ничего подобного в рецензии, которая была напечатана во «Франкфуртском ученом указателе». Нет ничего неправдоподобного в том, что нерасположение Гердера к личности Шлёцера было возбуждено в Гёттингене завистниками историка. В кружке Гейне все были расположены дурно отзываться как о Михаэлисе, так и о его ученике Шлёцере; сверх того, Гейне был так доволен неодобрительным отзывом Гердера о «Северной истории», что намекнул своему бюкебургскому приятелю на необходимость проучить Шлёцера во «Франкфуртском указателе» так же, как были проучены Михаэлис за сочинение о законодательстве Моисея и Шлегель за статью о сочинении Баттё². Гердер не оставил этот намек без внимания и написал рецензию с явным намерением обуздать самоуверенность знаменитого историка. Здесь Гердер употребил в дело те же критические приемы, какими приводил в замешательство Гёте во время устных с ним бесед в Страсбурге. Он начинает свою рецензию с чисто юношеским высокомерием, упражняясь в неизящных каламбурах насчет заглавия шлёцеровского сочинения. Он призна-

¹ В письме к Гейне (С, II, 133 — там, на с. 132 слово *Mordgeschichte* поставлено, вследствие опечатки, вместо *Nordgeschichte*); *Im neuen Reich*. 1873. II, 422; письмо к Гаману (Соч. Гамана. V, 136).

² С, II, 135 (там на с. 11 и 12 следует читать Шлегель вместо Шлёцер). — Только первая из этих двух рецензий была написана Гердером.

ет, что содержание этого сочинения «хорошо обдуманно и полезно», но не находит в нем «педагогической точности, не находит целей и достоинства, которых следовало ожидать от университетского преподавателя». По мнению Гердера, автор беспрестанно впадает в декламацию и старается блеснуть своим изложением; но для университетских занятий нужны учебники, а не «красивые фейерверки из воздушных мечтаний». Далее Гердер говорит, что руководящая нить всего сочинения «красиво сплетена из разных новейших сочинений», потому что автор обязан другим писателям большей частью того, что сам пишет. То же можно заметить касательно всего, что говорит автор о духе, плане и единстве всеобщей истории. Высказывая это замечание, Гердер ясно обнаруживает причудливую недобросовестность своей критики: он не только упрекает автора за недостаток глубокомыслия в его философской точке зрения, но даже осмеивает попытку автора придерживаться какой-либо философской точки зрения. Он говорит, что для всеобщей истории недостает необходимых подготовительных работ, что почва для такой истории еще недостаточно расчищена и что тот берется за крайне трудную задачу, кто старается провести одну идею сквозь всю историю человеческого рода. Но на самом деле тогдашний Гердер был менее всякого другого вправе высказывать такие замечания. Мы снова узнаем настоящего Гердера, когда он требует, чтобы тот, кто старается облегчить запоминание исторических подробностей, руководствовался более эстетическими воззрениями. Он доказывает, что шлёцеровское разделение истории на части похоже на механическое соединение однородных фактов. Он основательно замечает, что придуманные автором пособия для памяти частью ненадежны и странны, что они должны чаще сбивать учащихся с толку, чем служить для них облегчением, и что задача преподавателя истории заключается не в том, чтобы составлять таблицы в помощь памяти, а в том, чтобы излагать исторические события «наглядно и в непрерывной внутренней связи». При этом Гердер беспрестанно повторяет в виде припева, что придуманный Шлёцером новый способ вести счет годам не стоит того, чтобы его излагали таким высокопарным тоном; наконец, рецензент позволяет себе наставническим тоном указывать великому историку на те или другие мнимые ошибки, ссылаясь на фактические данные.

Гердеру пришлось дорого поплатиться за эту легкомысленную рецензию. Конечно, и Гейне, и все те, кому не нравилось высокомерие Шлёцера, с удовольствием читали приговор, произне-

сенный франкфуртским журналом над этим писателем. Гейне писал Гердеру¹: «Эта благотворная рецензия — единственная в своем роде, потому что здесь никто не мог бы высказать того, что я в ней нашел, а все, что я сам знаю, вполне согласуется с высказанным в ней здравым суждением». «Однако, — говорит он далее, — вы не должны воображать, что имя автора этой рецензии долго останется неизвестным: вас слишком ясно изобличают свойственные вам обороты речи и проблески вашей фантазии». Шлёцер был не из числа таких людей, которые способны прощать обиды. Его ответ на гердеровскую рецензию, вероятно, был вызван еще тем обстоятельством, что именно в то время ходили в Гёттингене слухи о приглашении Гердера в число университетских преподавателей, — по крайней мере таково было мнение Гердера. Как бы то ни было, но ровно через год, после того как появилась в печати анонимная рецензия, и именно в то время как Гердер довел до конца свои три новых сочинения, он был встревожен известием, что Шлёцер печатает против него целую книгу. По своему заглавию эта книга составляла вторую часть шлёцеровского «Краткого изложения всеобщей истории»²; но ее цель была яснее указана в предисловии и в следующем дополнительном заглавии, поставленном вслед за предисловием: «Помещенный в 60-м номере 1772 г. „Франкфуртского ученого указателя“ отзыв советника липпе-шаумбургской консистории Иоанна Готтфрида Гердера о всеобщей истории Шлёцера, вместе с замечаниями Августа Людвига Шлёцера касательно искусства рассматривать всеобщую историю». Шлёцер задается целью доказать, что рецензенты позволяют себе писать возмутительные бессмыслицы, и выбирает для примера гердеровскую рецензию, потому что она «отличается от других крайним невежеством, неприличным тоном и личностью своего автора». Здесь ярко выступают наружу чистосердечие Шлёцера, основательность его суждений и разумная взыскательность. Даже его слог, не стесняющийся никакими эстетическими требованиями, отличается в полемике ясностью выражений, энергией и живостью. Его статья не оставляет ничего желать относительно основательности суждений. На двенадцати печатных листах он подробно возражает на все гердеровские нападки и почти всегда метко попадает в цель. Он не оставляет без возражения ни одного из ошибочных суждений Гердера и на каждой странице доказывает, что Гердер не может

¹ С, II, 141.

² Гёттинген и Гота, у Дитериха, 1773.

равняться с ним ни ученостью, ни начитанностью. В сорока с лишком параграфах он преподает Гердеру поучения и указывает его промахи; он старается объяснить «остроумному беллетристу» отличительные особенности сжатого слога, которым не умеет владеть Гердер. Но в пылу полемики он сам нарушает правило *ne sutor ultra crepidam* (не суди о том, чего не знаешь), за неисполнение которого карает своего противника. Местами он позволяет себе не совсем приличные выходки; например, он говорит о «новой расе теологов, появившейся на свет лишь несколько ночей тому назад», об «изящно-остроумных писателях, которые забавляются сочинением статей о церковных уставах, об апокалипсисе и символических книгах и для которых народные песни, распеваемые на улицах и рыбных рынках, так же интересны, как объяснения религиозных догматов». Он повторяет обвинения, которые взводились на Гердера его старыми противниками — приверженцами Клотца, повторяет не только замечания, которые были ими высказаны против историографической главы «Критических лесов», но также их неосновательное замечание, будто все, что есть хорошего в сочинении Гердера о происхождении языка, выкрадено из одной французской рукописи. Он повторяет старые обвинения в подражании гамановскому слогу и позволяет себе лично оскорблять Гердера замечанием, что он разыгрывает роль аббата. Он беспощадно напоминает о том, что Гердер — духовная особа и советник консистории, и сожалеет о том, что такой человек «примкнул к ватаге пошлых рецензентов». Все эти отзывы не касались гениальных воззрений Гердера и совершенно игнорировали их, точно так же, как франкфуртская рецензия игнорировала достоинства шлёцеровского сочинения. Тем не менее Шлёцер метко выставил на вид все слабые стороны Гердера и как человека, и как рецензента. Он неопровержимо доказал неосновательность большей части обвинений, взведенных на него гердеровской рецензией. Он чрезвычайно удачно назвал эту рецензию «ребяческой литературной выходкой». Наконец, он не был совершенно неправ и в том, что приписывал появление рецензии влиянию, которое имели на Гердера некоторые из его гёттингенских друзей. Он говорил, что Гердер для других доставал из жаровни каштаны и «унизил себя до того, что изливал чужую желчь»¹.

¹ Что в эту полемику было замешано имя Гейне, видно из письма Гердера к Гейне (№ 28). Но подозрения Шлёцера, очевидно, падали преимущественно на Гаттерера. На то, что Гердер подчинялся влиянию этого профессора

Эти обвинения были для Гердера более тяжелы, чем то, что когда-то писал против него Клотц, — потому что они были более основательны, более объективны, более колки и исходили от более достойного человека, хотя и были направлены на одни и те же слабые стороны гердеровской критики. Друзья Гердера были основательно озабочены шлёцеровскими нападка. Лафатер полагал, что Гердер не должен оставлять без возражений этот «собачий лай», а добрый Клаудиус взялся возражать вместо своего друга, несмотря на то что не любил мешаться в ученые споры. Всех энергичнее высказал свой разумный совет Гаман: «Оставьте, мой дорогой Гердер, без внимания шлёцеровскую навозную кучу. Кто будет советовать вам поступить иначе, тот не желает вам добра»¹. И Клаудиус, и Гаман сделали все, что могли, чтобы защитить обиженного.

Со свойственным ему лукавством, носившим личину юмора и добродушия, редактор «Вандсбекеровского вестника» сумел выставить на вид хорошие стороны гердеровской рецензии и слабые стороны шлёцеровских возражений. Он насмешливым тоном бичевал ремесленническую гордость гёттингенского историка, который «не допускает, чтобы беллетрист мог вести речь об истории, а ткач — о годности или негодности проглоченных им пилюль»; из гердеровской рецензии он цитировал то место, из которого всего яснее видна противоположность между глубоко-осмысленными воззрениями Гердера и манерой Шлёцера распределять исторические факты по табличкам². Еще язвительнее, остроумнее и основательнее вступился за своего земляка Гаман: ведь Гаман отличался крайней нетерпимостью, когда не сочувствовал чьим-либо воззрениям или к кому-нибудь питал личное нерасположение; кроме того, он отличался пристрастием, если затрагивали кого-нибудь из его друзей. По его мнению, Гердер имел полное основание «глумиться» над сочинением Шлёцера. Бросающиеся в глаза бессмыслицы во второй части шлёцеров-

Quasimodomortuus, указывает (впрочем, не совсем точный) рассказ Христиана Шлёцера об этой полемике (Schlößers öffentliches und Privatleben. I, 199 и сл.). На это указывают и дополнения, сделанные Шлёцером к некоторым экземплярам его полемической статьи против Гердера; эти дополнения состоят из изложенных на целом листе возражений касательно его соперничества с Гаттере-ром, также занимавшимся всеобщей историей. Клаудиус писал Гердеру (A, I, 374): «Шлёцер уехал в Африку, после того как таким образом проучил Гаттерера и проучил его еще иным способом».

¹ A, II, 89; A, I, 375; Соч. Гамана. V, 82.

² Отзыв Клаудиуса из WB (1773. № 208. 1774. № 3 и 5) был снова напечатан в «Redlichs Nachlese» в 9-м изд. его произведений (С. 29 и сл.).

ского сочинения были, по его мнению, доказательством того, что франкфуртский рецензент был вполне прав, отзываясь о первой части сочинения Шлёцера как об «ученой болтовне». Он прибегает к искусной уловке, стараясь доказать, что спорный вопрос заключается только в том, «правда ли, что господину профессору Шлёцеру недостает главного — недостает тех здравых, систематических, всеобщих воззрений, которые необходимы при изложении всеобщей истории». Это, прибавляет он, очень хорошо сознавал сам автор; оттого-то он и накинулся на рецензента, с яростью медведицы, у которой отняли ее детенышей; оттого-то он и излил на бумаге всю свою желчь. В заключение Гаман остроумно замечает, что этот порицатель наших беллетристов, употребивший в дело во второй части своего сочинения все свои боевые снаряды, доказал, что ему самому более всех прилично название беллетриста, и таким образом сам сделался «героем своей собственной Дунциады»¹.

На таких друзей Гердер мог вполне полагаться. Он отказался от намерения возражать от своего собственного имени, несмотря на то что и «Вандсбекеровский вестник», и Кёнигсбергская газета не имели большого круга читателей. Так как он сам опасался увлечься своей раздражительностью, то он поступил очень благоразумно, оставив шлёцеровские обвинения непрочитанными. Сначала он намеревался отвечать Шлёцеру с большой сдержанностью; потом он выжидал удобного случая, чтобы ответить Шлёцеру «живо, кратко, налету и с достоинством», но скоро совершенно отказался от таких намерений. Несмотря на то что он именно в то время выражался в «Древнейшем документе» самым задорным тоном и, по выражению Гамана, третировал все столетие *en canaille*, он писал Гейне: «Мне надоела полемика так же сильно, как корове надоедает жевать чертополох»; а Гарткноху он писал, что уже дорого поплатился за свою полемику с Клотцем и впредь будет спокойно жить в мире со всеми. Ему было тем легче обречь себя на молчание, что его противника не было в то время в Германии и что он уверил сам себя, будто Шлёцер «очень дурной человек», у которого была только одна цель — сделать невозможным назначение Гердера в Гёттинген. К этому следует присовокупить еще более основательное соображение. Он признавался Лафатеру, что «отказался от помещения во франкфуртском журнале рецензий и что раскаивался в том, что

¹ Гамановская рецензия была помещена в Кёнигсбергской газете 24 января 1774 г.; она перепечатана в полном собрании сочинений Гамана (IV, 373 и сл.).

их писал. «Я вообще не чувствую, — говорил он, — никакого призвания к таким занятиям: что же касается моей рецензии, написанной против Шлёцера, то мне не раз хотелось отказаться от нее — я сожалею, что этого не сделал, и буду впредь молчать»¹. Но слова, написанные им в письме к Гейне: «Мы когда-нибудь снова с ним встретимся!» — должны были осуществиться на деле вовсе не в том недружелюбном смысле, какой им придавал Гердер. Нам положительно известно, что впоследствии, во время неоднократного пребывания Шлёцера в Веймаре, Гердер относился к своему прежнему врагу с непритворным доброжелательством, а когда биограф Шлёцера замечает, что это доброе расположение Гердера объясняется его сознанием, что он когда-то провинился перед Шлёцером, то нельзя не признать основательности такого предположения. И публично Гердер загладил перед Шлёцером свою старую вину. Требование франкфуртского рецензента, чтобы Шлёцер издал не очерк всеобщей истории, а настоящую всеобщую историю, этот последний исполнил в 1792 г., издав первую часть своей «Всемирной истории». Она была написана в духе прежней программы, но издатель «Разбросанных листков» назвал теперь автора «философским мыслителем, широко обнимающим исторические события»; в «Письмах о гуманизме» говорилось с явным одобрением о шлёцеровском «Государственном праве», а в «Эрфуртских ученых известиях» 1798 г., при оценке шлёцеровской истории немцев в Трансильвании и его дополнительных лекций об исторической критике, прежний строгий рецензент превратился в безусловного поклонника дарований и заслуг великого историка².

Однако нападки Шлёцера еще не были самыми тяжелыми из всех испытаний, которые пришлось переживать Гердеру в течение этого бурного периода его литературной деятельности; да и не всегда он умел вести себя с такой благоразумной сдержанностью, с какой отнесся к шлёцеровским нападкам. Относительно своей неудачной рецензии он еще мог бы оправдываться тем, что она состояла из слегка «набросанных» заметок; но он не мог так же легко примириться с неуспехом своего большого сочинения, на которое потратил все свои лучшие силы и в которое вложил всю свою душу. Он мог оставить непрочитанной полеми-

¹ К Гарткноху (С, II, 49); к Гейне (Там же. 164, 165, 166); к Лафатеру (А, II, 81).

² Разбросанные листки. IV (1792), 200; Письма о гуманизме. V, б, 19 (письмо 59); SW в отделе философии. XV, 397 и сл.

скую статью, но когда его стали осыпать насмешками, упреками и порицаниями, он при своей чрезмерной чувствительности не мог оставаться равнодушным, и ему нисколько не было легче, оттого что он заранее предвидел неприятности, которые навлечет на себя своими последними сочинениями. По меньшей мере «Древнейший документ» и «Провинциальные листки» сделались для него причиной не блестящих страданий мученика, а невыносимой досады и горьких разочарований.

Впрочем, он имел основание быть довольным отзывами своих друзей о том из своих новых сочинений, которое ранее других вышло в свет. Издатель извещал его 15 мая с Лейпцигской ярмарки, что «Древнейший документ» хорошо раскупают и что ему желательно иметь побольше таких сочинений¹. Гейне, которому Гердер уже давно сообщил о готовившемся для печати сочинении, был так дипломатичен, что от него нельзя было ожидать вполне откровенного отзыва о новой книге. Он написал Гердеру письмо, в котором наряду с несколькими незначительными замечаниями высказал самые лестные похвалы; но он не отказывался от ранее сделанных оговорок и уклонился от публичного выражения своего мнения².

Лафатер высказал такое мнение, какого следовало ожидать от искреннего друга, вполне сходявшегося с Гердером в убеждениях. Однако в его отзыве виден такой пылкий мечтатель, который, несмотря на увлечения своей фантазии и на свою чрезмерную чувствительность, не лишен здравомыслия и прозорливости. Вместе с выражением своего восторженного одобрения он высказывает несколько метких оговорок и делает несколько метких вопросов. Он находит слог нового сочинения бесподобным; однако и в этом отношении он делает некоторые возражения, которые отличаются не столько своей основательностью, сколько тем, что хорошо характеризуют этого многоречивого назидательного болтуна: он находит, что выражения Гердера слишком «загадочны по своей краткости и слишком высокопарны». Кроме того, он замечает, что нападки на Михаэлиса следовало бы отложить в сторону, и предупреждает своего друга, что к нему будет «придираться ватага безмозглых и бездушных рецензен-

¹ Впоследствии это сочинение распродавалось менее успешно. Гарткнох писал 25 апреля 1781 г. Гердеру, что, несмотря на все нападки, сыпавшиеся на «Древнейший документ», это сочинение распродается хотя и не очень бойко, но довольно хорошо, и что у него осталось налицо только 200 экземпляров первой части. Сравн. письмо Гарткноха к Гердеру № 57.

² С, II, 170 и сл.; 176, 178 (№ 41); прежние отзывы там же, с. 133 и сл.

тов»¹. Это было не совсем то, чего Гердер ожидал от Лафатера; поэтому он писал Гаману, что и для Лафатера «Древнейший документ» — неудобоваримая пища. Однако именно в кружке неученых приверженцев Лафатера это сочинение нашло самых признательных читателей. Так как в этом кружке не имели никакого понятия об исторической критике, то «Древнейший документ» считался там за назидательную и пророческую книгу. Автор получал из Швейцарии самые утешительные известия о впечатлении, которое производили там его последние сочинения. Ему было очень приятно узнать, что именно те из сочинений, которые вызывали неодобрение со стороны ученых, очень нравились простодушным людям из простонародья. Один крестьянин, по имени Босгард, и одна бедная крестьянская девушка обратились к нему с благодарственными письмами². Вместе с Лафатером и его друг Пфеннигер читал «Древнейший документ» с самым горячим сочувствием³. То же можно заметить и о молодом богослове Гефели, который принадлежал к числу самых горячих приверженцев Лафатера. Впоследствии Гефели поместил в «Немецком Меркурии» очень сочувственный разбор «Древнейшего документа», после того как ранее напечатанная в том же журнале статья отделила Гердера за это сочинение самым беспощадным образом⁴. Клаудиус прежде всех публично отозвался о новом со-

¹ А, II, 91 и сл., 99.

² К Гарткноху № 49 (С, II, 73 и там же приведенные Дюнцером выписки); но главного внимания заслуживают следующие слова в письме к Гаману (Соч. Гамана. V, 136): «Один швейцарский крестьянин прислал мне письмо в шестнадцатую долю листа касательно моих старых заметок об истории человеческого рода; оно дошло до меня через Лафатера и очень порадовало меня». Два письма одной крестьянской девушки находятся у меня в подлинниках. Это, без сомнения, та самая крестьянка, о которой упоминает Лафатер (А, II, 147) наряду с другими поклонниками Гердера.

³ Это видно из писем Лафатера к Гердеру (№ 16 и 18) и из сохранившегося в подлиннике письма Пфеннигера к Гердеру 29—31 августа 1774 г.

⁴ Письма Гердера к Лафатеру (А, II, 111) с примечаниями Дюнцера. Лафатер неоднократно писал Гердеру, что Гефели до такой степени увлекается «Древнейшим документом», что в нем «не осталось ни одной капли ума и крови, которая не была бы гердеровской» (А, II, 138, 147); Пфеннигер к Гердеру (Там же. 157). Рецензия, которую написал Гефели, была напечатана в мартовском номере «Немецкого Меркурия» (1776, XIII, 203 и сл.), а в более старом отзыве, помещенном в «критических известиях с немецкого Парнаса» («Меркурий», ноябрьский номер 1774, VIII, 174 и сл.), Гердер и Гаман выдаются за вожжаков особой секты: там подвергаются порицанию вместе с «Древнейшим документом» и «Провинциальные листки»; только «Приложения к фолософии истории» удостоились менее строгого отзыва. Сравни. «Schnorr v. Carolsfeld» (Архив для истории литературы. IV, 308, 314, 315) и письмо Лафатера к Гердеру (А, II, 149).

чинении своего друга. В 88, 90 и 92-м номерах «Вандсбекеровского вестника» 1774 г., стало быть, как следует полагать, в первых числах июня, он на свой манер расхвалил новую книгу, называя ее «отголоском Востока», «чудным явлением, возвышающимся до облаков, и произведением гения». Клаудиусу особенно нравилось поэтическое воззрение на рассказ о сотворении мира как на божеское откровение, проявившееся в виде утренней зари; ему также нравился контраст между этим воззрением и прозаическим и схоластическим воззрением «господ деистов и китайских остроголовых умников», но, высказывая свое полное сочувствие, он воздерживается от оценки дальнейших идей автора. В качестве «эклектического мистика» он вынужден отказаться от оценки идей, изложенных в частях второй и третьей, хотя и считает себя вправе относиться ко всему сочинению с горячим сочувствием. Он вовсе не намерен высказывать порицания, когда замечает, что слог Гердера «не имеет сходства с обыкновенным способом изложения, в котором поток идей разливается постепенно в надлежащей последовательности, а похож на бурный поток, прорывающийся сквозь плотины и запруды». Клаудиус предупредил своей рецензией даже отзыв самого ревностного покровителя литературной деятельности Гердера. Лишь только Гаман успел слегка пробежать новую книгу, он поспешил (2 апреля 1774 г.) выразить ее автору свое горячее одобрение: «Полониусы нашего времени, — писал он, — которым нравится только философская и политическая приправа, вероятно, будут утверждать, что Гердер превзошел старого Гамана. Но мы с вами больше их смыслим в этом деле. Мои шталмейстерские услуги будут в распоряжении вашего испанского рыцарского духа для борьбы со всякими Шлёцерами и их единомышленниками. К вашей романтической *animalcula* точно будто нарочно приспособлен мой трескучий способ выражений». Этот отзыв, конечно, был очень приятен для Гердера, а передавший ему гамановское письмо Гарткнох присовокупил к этому отзыву немало других в том же роде. Однако одна строчка в этом письме смутила Гердера. В ней было сказано, что Гаман поспешил передать новую книгу Канту, для того чтобы он разобрал ее по кусочкам. Но какое же было Канту дело до этой книги! Все ее слабые стороны ясно рисовались в глазах автора, лишь только он помышлял об отзыве такого критика. «Понтий Пилат изящного вкуса в Пруссии» (так называл Гердер автора наблюдений над чувством изящного и возвышенного), конечно, был бы крайне недоволен новой книгой; он, конечно, разделит бы приводимые Гердером

факты на действительные и только возможные, стал бы насмехаться над тем, что не действительно, а только возможно, и продолжал бы в этом тоне до конца. Не приговор философа интересовал его: он желал получить от Гамана такое «пространное и искреннее послание», в котором Гаман изложил бы ему все, что чувствует при чтении новой книги, и все, чего от нее требует. Но Гаман уже давно втайне готовился к публичному одобрению своего собрата по авторской деятельности. Он решился печатно расхвалить «Древнейший документ» с такой же настойчивостью, с какой прежде хулил сочинение о происхождения языка, потому что первое из этих сочинений свидетельствовало о происшедшей в убеждениях Гердера перемене — о том, что он отказался от идей «эпохи Просвещения» и перешел на сторону людей благочестивых и верующих. Чтобы лучше исполнить свою задачу, Гаман обратился за содействием к Канту. Кант охотно исполнил желание Гамана и, сделав краткий анализ сочинения своего прежнего ученика, заметил со свойственной ему иронией, что он не в состоянии вполне оценить достоинства той темы, которую развивает автор. Гаман назвал этот кантовский анализ «скелетом» и сам написал краткий разбор сочинения, причем высказал самое горячее сочувствие основной идее автора. Возражения Канта, требовавшие более точного уяснения основной идеи Гердера, побудили Гамана написать второе письмо; здесь Гаман снова восхвалял теорию и способ изложения Гердера за их возвышенную «ортодоксию» и вместе с тем высказал убеждение, что никакая критика не в состоянии опровергнуть божественности той первой и самой древней части Библии, так как эта божественность служит сама для себя доказательством. В Страстную пятницу Гаман пробежал новое сочинение Гердера, а в первое воскресенье после Пасхи он написал второе письмо к Канту. Он прибавил к этому письму нечто вроде предисловия или отступления, в котором говорил не от своего собственного лица, а письма Канта отложил в сторону — таким образом составил тот крайне причудливый и написанный неудобопонятным гамановским языком памфлет, который предполагалось как можно скорее отпечатать и который носил следующее заглавие: «*Christiani Zacchaei Telonarchae Prolegomena über die neueste Auslegung der Aeltesten Urkunde des menschlichen Geschlechts; in Zweien Antworthschreiben an Apollonium philosophum*»¹. Эти «Prolegomena»

¹ Эта статья напечатана в сочинениях Гамана (IV, 181 и сл.). Касательно того, каким путем возникла эта статья, сравн.: Соч. Гамана. V, 60 и выдержки, приведенные там же, VIII, 234; там же помещены оба кантовских письма.

он импровизировал под именем «Набера Флинка» с оговоркой, что впоследствии выскажет свое мнение более подробно. Он отдал свое произведение в печать 9 мая, но печатание протянулось до ноября к великой досаде Гамана, который надеялся, что его рецензия появится в свет прежде всех других¹. Гердеру пришлось покуда довольствоваться письменными одобрениями от своего друга, а тем временем на него обрушилось немало разных бед.

Вскоре после того как Гердер прочел торжественный гимн, написанный в честь его сочинения Клаудиусом, он получил (как сам писал Гарткноху) от Николаи «грозное письмо» — «самое язвительное и самое бессмысленное», какое можно себе представить². Это письмо, действительно, было очень язвительно и дерзко, но едва ли его можно назвать крайне бессмысленным. Оно было написано с той неделикатной откровенностью, которую позволял себе Николаи из убеждения в своем умственном превосходстве, и не подлежит сомнению, что оно было вызвано отчасти досадой Николаи на то, что Гердер перестал писать статьи для «Всеобщей библиотеки». Николаи видел в Гердере писателя, отказавшегося от прежних убеждений, и потому счел уместным выяснить как можно лучше различие их точек зрения. Он предположил, что полученный им экземпляр «Древнейшего документа» был ему прислан самим автором, и без всякого вызова со стороны Гердера — только из желания «по-братски с ним расстаться» — он позволил себе прочесть ему насмешливо-критическую лекцию с претензиями на остроумие. Своему бывшему другу, которого тщетно старался перевоспитать, он ставил в упрек неясность и мистический отпечаток сочинения, склонность к аллегориям, не основанные ни на каких доказательствах соображения, с помощью которых можно делать какие угодно выводы, «восточный» способ выражения, который, по выражению рецензии «Вандсбекеровского вестника», бушует, как волны Дуная; все эти обвинения Николаи высказывал с бесстыдством и с самодовольством человека, вполне уверенного в превосходстве своих идей, и вовсе не подозревал, что под этими недостатками может скрываться какой-нибудь достойный внимания зародыш истины. Гердер сначала намеревался оставить это письмо без ответа; но у него не достало на это ни гордости, ни хладнокровия. По про-

¹ Клаудиус к Гердеру № 16, 17, 18, 19; кроме того, см. выдержки, приведенные издателем полного собрания сочинений Гамана (VIII, 234).

² К Гарткноху № 38 (С, II, 62); в подлинном письме также находятся слова: «самое язвительное» и т. д. Письмо от Николаи и дальнейшую переписку см.: С, I, 355 и сл.

шествию одного с половиной месяца он послал свой ответ, который, правда, был написан с сознанием собственного достоинства, но ясно доказывал, что Николай удалось задеть его за живое. Из этой переписки ясно видно, какая глубокая пропасть разделяла этих двух людей, вежливо переписывавшихся между собой в течение многих лет. Гердер обращается к Николаю с вопросом, на каком основании он считает себя вправе произносить такие окончательные приговоры? Вполне естественно, пишет Гердер, что при своем «лишенном фантазии, просвещенном, точном уме» Николай не способен понимать такие произведения, как «Древнейший документ». Он кончает свое письмо просьбой совершенно позабыть о его существовании. Но у Николай были другие намерения. Он не ограничился тем, что написал для своей «Библиотеки» длинную рецензию первой части «Древнейшего документа», более подробно изложил в ней упрёки, высказанные в письме, и доказывал цитатами неустойчивость убеждений автора¹. Он, кроме того, написал к Гердеру письмо, в котором снова с самодовольством выражался как человек, вполне уверенный в своем умственном превосходстве. Ему, говорил он, очень жаль, что Гердер не в состоянии выслушивать откровенную правду, высказанную с самыми честными намерениями. Он был тот, кто первый заговорил оскорбительным тоном; но это не мешает ему читать Гердеру наставления и объяснять, что не похвально оскорблять и унижительно желать оскорбить, но не быть в состоянии этого сделать! Иначе говоря, это было, по выражению Гердера (в письме к Гарткноху²), «изящное, нравственное, невинное послание с ангельскими ударами по боку».

Бедный Гердер! Почти в то же время ему пришлось вести еще другую, гораздо сильнее волновавшую его, переписку и переживать гораздо более тяжелую внутреннюю борьбу по поводу его другого сочинения — «Провинциальных листков». Это сочинение было горячим нападением на такого человека, который сам не был в состоянии на кого-либо горячо нападать, — оно было объявлением войны против самого миролюбивого из всех людей, который, сверх того, был тем теологом, чьи воззрения Гердер

¹ Allg. D. Bibl. XXV, I, 23—61. В этом же духе написана более бесцветная и более бедная содержанием рецензия, которая была напечатана в «Lemgoe Auserlesene Bibliothek» (VI, 333—351). Более серьезен и более учен отзыв, напечатанный в «Götting. Philol. Bibliothek» (III, № 1 и 2). Другие рецензии появились в «Allgem. Theol. Bibliothek» (том VI) и в «Frankf. Gel. Anzeigen» (1774. № 68).

² С, II, 71.

долго разделял и чьему умственному влиянию был очень многим обязан. И как сам он не сознавал, что берется за очень щекотливое дело! Он успокаивал себя мыслью, что можно отделять личность того или другого писателя от его убеждений. Относительно самого себя он, действительно, допускал на деле такое различие. Он божился в письме к Лафатеру, что считает Шпальдинга самым достойным человеком, что желал бы иметь его искренность, прямодушие и сердечную доброту, но что Шпальдинг не нравится ему как наставник, как церковный проповедник и как христианин. Именно эти мысли Гердер высказал в предисловии к «Провинциальным листкам»; он надеялся, что, установляя различие между автором и человеком, он ослабит в глазах читателей ту неприязнь к Шпальдингу, которая проглядывала в его сочинении. Он, очевидно, возлагал слишком большие надежды на здравомыслие читателей, потому что установленное им различие было всего менее применимо к Шпальдингу, отличавшемуся цельностью своего характера. Если бы в то время нашелся человек, способный дать Гердеру добрый совет, то он сказал бы Гердеру, что никто не поймет его руководящей идеи, что его изъявления уважения к Шпальдингу будут приняты большинством читателей за пустые фразы. Из желания все миролюбиво уладить Гердер сделал еще дальнейший шаг и достиг только того результата, что его стали считать или за крайне причудливого, или за крайне двуличного человека; лишь только ему были доставлены печатные экземпляры его нового сочинения, он послал 15 июня 1774 г.¹ один из этих экземпляров Шпальдингу, признаваясь, что был автором «Провинциальных листков». Письмо, которое он написал по этому случаю Шпальдингу, было наполнено противоречиями. Он старается оправдать себя в том, в чем сам раскаивается. Он старается устранить удивление, с которым Шпальдинг будет читать новое сочинение. Он уверяет Шпальдинга в своем глубоком уважении. Но ввиду того, к чему стремится теология Теллера, Эбергарда и других, он счел нужным позаботиться и о практической пользе. Он просит извинить резкий тон, который и ему самому крайне не нравится, с тех пор как он читает

¹ 15 июля, которым помечено подлинное письмо Гердера к Шпальдингу, следует считать за описку. Касательно печатного оттиска как этого письма, так и трех следующих писем, которыми обменивались Гердер и Шпальдинг, см. выше, с. 741, прим. 1. На основании самых несомненных документов И. Г. Мюллер описал, в оправдание Гердера, весь ход этих пререканий в предисловии к 15-му тому SW, в отделе теологии. Sack (Там же. С. 91, прим.) впадает в заблуждения, пытаясь исправить указания Мюллера.

свое сочинение в печати. Он «ни за что не хочет навлечь на себя даже самое легкое подозрение в каких-либо кознях» против высокоуважаемого Шпальдинга. Он вообще надеется, что и в его жизни уже прошло время личных столкновений. Он желал бы услышать от Шпальдинга доброе слово касательно впечатления, которое произведет на него новое сочинение.

Шпальдинг отвечал Гердеру самым приличным тоном. Он говорил, что прочел новое сочинение с удивлением и не на радость для себя, но тем не менее без обидчивости. Он воздерживается от всяких суждений о тоне сочинения, так как и сам Гердер им не доволен. Он находит, что Гердер неверно понял смысл его сочинения, что он видит противоречия там, где их нет, и гораздо бы лучше сделал, если бы старался указывать на то, в чем их мнения сходятся. А в тех случаях, когда их мнения действительно расходятся, Шпальдинг не находит убедительными доводы Гердера; он не видит у Гердера старания осмотрительно и кроткими мерами вести читателя к уразумению истины, которую не всякий способен разом постигнуть орлиным взглядом. «Не среди бури и грозных туч, — говорит он, — следует искать познание истины, которую Бог ниспослал нам в руководство». Шпальдинг сознает ограниченность своих собственных дарований и от всего сердца отдает справедливость выдающимся дарованиям Гердера, но обращается к Гердеру с просьбой сделать эти дарования более полезными для церковных проповедников и для всего человечества, внося в свои сочинения более ясности, мягкосердечия и беспристрастия.

Таким образом, автору «Провинциальных листков» были самым деликатным образом указаны неосновательность и незрелость его суждений, и вместе с тем ему был доставлен случай примириться со Шпальдингом. Но не все относились к гердеровской полемике так же снисходительно и хладнокровно, как тот, кто был всех более ею затронут. Ввиду того что полемические нападки исходили от писателя, еще так недавно высказывавшего совершенно противоположные воззрения, в берлинском кружке стали подозревать Гердера в тайных замыслах, в личных мотивах и стали придумывать на его счет разные догадки. Там всем было известно, что после смерти гальберштадтского генерал-суперинтенданта Михаэлиса Глейм обращался к министру Цедлицу с просьбой назначить на открывшуюся вакансию Гердера, но получил отказ; из этого факта, натурально, делали вывод, что Гердер должен питать вражду к тем лицам духовного звания, к которым министр обращается за указаниями. Впоследствии стало из-

вестно, что Гердер имел виды на открывшуюся в Гёттингене вакансию генерал-суперинтенданта. Тем временем появились в Кёнигсбергской газете очень странные отзывы Гердера о книгах, вошедших в новый ярмарочный каталог; тогда многие заметили, что отзывы о бранденбургских теологах были очень резки, а о гёттингенских — очень снисходительны. Это обстоятельство резко бросалось в глаза после чтения «Провинциальных листов». Эти «Листки» и письмо Гердера к Шпальдингу точно будто всем раскрыли глаза, потому что заключали в себе новые, чрезвычайно горячие, нападки на бранденбургских теологов и в особенности на самого влиятельного и самого почтенного их представителя. Даже тон «Листков» поражал своим сходством с тоном рецензии, напечатанной в Кёнигсбергской газете. А кроме того, еще появилось письмо Гердера к Шпальдингу! Теллер не отличался кротостью Шпальдинга; он по своей заносчивости имел более сходства с Николаи; поэтому, прочитав то письмо, он поспешил высказать самое неодобрительное мнение об образе действий Гердера. Сообщая о выходе в свет нового сочинения Гердера своему другу Иерусалему, жившему в Брауншвейге, он писал, что Гердер чрезвычайно горячо напал на Шпальдинга и сам прислал обиженному свой памфлет вместе с изъяснениями самого безграничного уважения. Поэтому, писал он, следует полагать одно из двух — или что Гердер крайне бестолковый человек, или что он действует с какой-нибудь задней мыслью, относясь к Шпальдингу так неприязненно в угоду другим, а в частном письме отдавая справедливость его личным достоинствам¹. Зульцер и Николаи разделяли мнение Теллера. Оба они воображали, что испытали на самих себе двоедушие Гердера. Они не находили никаких оправданий для образа действий Гердера, в особенности ввиду разных «преувеличений и хвастливых выходов», которые встречались во всех последних сочинениях Гердера, и всего чаще в «Древнейшем документе»; самый мягкий приговор, какой можно было произнести над Гердером, заключался, по их мнению, в том, что это был человек, на которого никак нельзя ни в чем полагаться, что он, быть может, был рабом своей собственной фантазии или, быть может, ему вскружило голову чрезмерное славолубие. Это мнение, с примесью разных сплетен касательно положения Гердера в Бюкебурге, они стали раз-

¹ Все это видно из находящегося у меня в подлиннике письма Теллера к Гердеру от 22 сентября 1774 г. О тех местах этого письма, в которых идет речь о переговорах касательно замещения вакансий гальберштадтской и гёттингенской, будет говорено далее, в последней главе этой книги.

глашать во все стороны и в письмах ко всем своим корреспондентам, которые также стали деятельно распространять все эти толки и слухи¹.

Все это слишком скоро дошло до сведения Гердера. Первую разразившуюся над ним бурю ему пришлось переживать во время его пребывания в Пирмоне. Туда же должен был приехать Циммерман, еще за несколько месяцев перед тем испросивший у графа разрешение на отъезд и для Гердера, и для его жены. Гердер искал излечения от геморроидальных припадков, от которых сильно страдал еще предшествовавшим летом, — как это видно из его письма к Лафатеру, приглашавшему его приехать на свидание в Швальбах. Он пробыл в Пирмоне две недели — с 7 по 21 июля — и остался доволен результатами лечения. Его здоровье поправилось, несмотря на то что ему пришлось выносить в Пирмоне немало душевных тревог. Кроме Циммермана и некоторых других друзей и доброжелателей, приехавших из Ганновера, он нашел там Мендельсона — это была его первая и единственная в течение всей его жизни встреча с этим писателем. Ему доставляли немало удовольствия оживленные беседы с его другом, графом Ганом. В Пирмоне же жила в то время его старая рижская знакомая и бывшая ученица — племянница Георга Беренса, Иоанна Шварц². К сожалению, сочинения Гердера послу-

¹ Письмо Зульцера к Циммерману (*Бодеман*. J. G. Zimmerman. С. 243, 246); сообщение, сделанное Николаи Гарткноху (письмо Гарткноха к Гердеру: С, II, 69); Гаман к Гарткноху (Соч. Гамана. V, 99); впрочем, здесь кое-что выпущено из того письма. Содержание этого гамановского письма полнее приведено Гарткнохом в том письме к Гердеру от 22 октября (2 ноября), которое следовало бы вставить у Дюнцера (С, II) между № 43 и 44. Гарткнох пишет Гердеру: «Гаман читал в Кёнигсберге одно письмо, присланное из Бранденбурга; там говорится, что Вы поссорились с местным владельцем и теперь остались без всяких средств существования, что Вы предлагали ему Ваши услуги, но безуспешно, что Ваше обхождение и Ваша манера одеваться отличаются такими же солицизмами, какими отличается ваш слог». «Это известие, — продолжает Гаман, — кажется мне наполовину не совершенно неправдоподобным; оно так встревожило меня, что я решился обратиться к Вам с просьбой известить меня о положении Гердера. Я вижу, что автор „Провинциальных листков“ (которых Гаман еще не читал в то время), церковный проповедник, который носит на обоих плечах и свою мантию, и Лютера со Шпальдингом... Но я не хочу говорить о том, возможно ли сопоставлять Христа с лукавым. Если же это делается из политических расчетов, то не следует ли назвать такую политику грубоватой и не совсем честной или же, употребляя модное выражение, слишком странной? Ради золота и т. д.».

² Касательно пребывания Гердера в Пирмоне см. письма Гердера к Лафатеру (А, II, 100, 102, 108, 111, 113); Циммермана к Гердеру (А, II, 337 и сл.); Циммермана к Зульцеру (*Бодеман*. С. 242); Гердера к Мендельсону (21 февраля 1781 г.)

жили для него и в Пирмоне источником огорчений. Он сам пустил в ход один экземпляр своей философии истории; в Пирмоне все стали толковать об этом сочинении, а из доходивших до его сведения отзывов Гердер мог заключить, что ему придется выносить «страшную бурю» как по поводу этого сочинения, так и по поводу некоторых других. Ему было прискорбно подумать о первом письме, которое написал ему Николай касательно «Древнейшего документа». Теперь он получил ответ Шпальдинга на свое письмо, при котором был приложен экземпляр «Провинциальных листков»; наконец — что всего хуже, — почти в одно время с этим ответом и еще прежде выхода в свет «Провинциальных листков» он узнал о содержании теллеровского письма к Иерусалему, и до его сведения дошли толки о том, что он позволил себе осыпать Шпальдинга оскорблениями, что он потом стал раскаиваться в этих оскорблениях и наконец написал с явным лицемерием письмо к тому, на кого прежде взводил гнусные обвинения. Понятно, что ему была отравлена его жизнь в Пирмоне, что он не был в состоянии наслаждаться обществом своих друзей и что он избегал встреч с Мендельсоном, который также не искал случая сблизиться с ним. Он писал Лафатеру: «Я полагал, что Пирмон будет для меня раем, а что же вышло! Именно там разразилась над моей головой такая гроза, что я был потрясен до глубины души и смотрел сквозь густые, мрачные тучи даже на тех добрых людей, присутствие которых прежде так радовало меня». Он попытался облегчить свою душу новым письмом к Шпальдингу, написанным, без указания места и времени, быть может, еще во время его пребывания в Пирмоне; к сожалению, то густое облако, о котором он писал Лафатеру, мешало ему ясно видеть его собственные ошибки. Он сознавался, что поступил бестактно и неосмотрительно, но видел свою вину не в том, что осыпал оскорбительными нападками достойного уважения человека, а только в том, что, отсылая Шпальдингу экземпляр своего сочинения, написал ему письмо. Он полагал, что «безрассудное добросердечие» побудило его сделать этот фальшивый шаг, который он впоследствии называл *égarement du coeur*¹. В том же духе

(А, II, 221) и Мендельсона к Гердеру (Полн. собр. соч. Мендельсона. V, 582); Гердера к Гейне (С, II, 172); к Гарткноху (Там же. С. 62) — в подлиннике этого письма есть упоминание о Иоанне Шварц, которая была в то время замужем за Дирсеном, а вскоре после того овдовела; я имею в руках два ее письма к Гердеру: одно из Пирмона от 7 августа 1774 г., другое из Гамбурга от 11 февраля 1775 г. Наконец, письмо Лиша (Там же. С. 91) и письмо Гердера к Гану (Там же. С. 123).

¹ К Лафатеру (А, II, 112); к Гаману (Соч. Гамана. V, 105).

было написано его второе письмо к Шпальдингу, которое по меньшей мере было новым *égarement du coeur* и снова свидетельствовало о его неспособности ясно сознавать собственные недостатки. Он, конечно, с полной искренностью уверял Шпальдинга, что писал ему первое письмо без всякого лицемерия и вообще без намерения осыпать его лстивыми похвалами, а экземпляр своего сочинения прислал вовсе не с намерением оскорбить его. Но именно в том и заключалась его вина, что он оскорбил Шпальдинга без всякого намерения. Ему не доставало сознания, что не следует нарушать ничьих прав на личное уважение. Он не был в состоянии хоть на одно мгновение мысленно поставить себя в положение Шпальдинга — он по-прежнему старался оправдать появление своего оскорбительного для Шпальдинга сочинения и с этой целью прибегал к разным софизмам, которые не сделались менее негодными оттого, что он принимал их за истину. Он говорил, что всякая новая книга похожа на призрак, что она может дать совершенно ложное понятие об авторе, так как все зависит от того, какими глазами взглянут на нее читатели и какое вынесут из нее впечатление. Свои «Провинциальные листки» он написал именно против такого «призрачного Шпальдинга»! Этим объясняется и разница между сочинением Гердера и его письмом к Шпальдингу! Если бы прежние эпитафии и были заменены новыми при 2-м издании книги, то она все-таки осталась бы такой же, какой была прежде! Вот все, в чем заключались оправдания Гердера. Это было лишь введение к новым жалобам и новым обвинениям. Он повторял прежние жалобы только потому, что в письме, посланном из Берлина в Брауншвейг, на него возведено самое возмутительное обвинение, так что он сожалеет не о том, что написал новую книгу, а о том, что послал ее Шпальдингу.

Разве от этой новой выходки можно было ожидать чего-либо другого, кроме новых неприятностей для Гердера! Впрочем, ответ Шпальдинга был очень мягок и благоразумен. Шпальдинг основательно отвергал взведенное на него Гердером обвинение, будто он был не вправе кому-либо показывать письмо Гердера; затем он не менее основательно заметил, что все пререкания приведут к точно таким же последствиям, к каким привело бы появление «Провинциальных листков» и без всяких пререканий. Но Гердеру всех более докучал тот друг Шпальдинга, которого он назвал в письме к Гаману «распространителем разномыслия по всему миру». Вполне естественно, что Теллер узнал от своих друзей об обидных отзывах Гердера и не хотел оставлять их без

ответа. Поэтому он написал к своему бюкебургскому сослуживцу письмо, в котором откровенно признавался, что он был тот берлинский пастор, который написал в Брауншвейг обидный для Гердера отзыв; затем он подробно объяснял причины, побудившие его высказать такой отзыв. Он вовсе не намеревался отказываться от своего прежнего мнения. По его мнению, это дело оставалось в прежнем положении даже после того, как Гердер написал новое письмо к Шпальдингу. В качестве искреннего друга Шпальдинга, он горячо вступает за обиженного. Он говорит, что гердеровские нападки на Шпальдинга возбудили в нем сильное негодование, а попытку установить различие между человеком и писателем он считает бессмысленной и даже совершенно невозможной, когда идет речь о таком человеке, как Шпальдинг. Эти откровенные излияния своих сердечных чувств Теллер заканчивает следующими словами: «Я желал бы, чтобы вы печатно объяснили, в чем заключается содержание ваших церковных проповедей, какое значение вы придаете религиозным догматам, каковы результаты ваших экзегетических исследований, — иными словами, в чем заключается ваш идеал религиозных воззрений; только тогда можно бы было понять то, что в настоящую минуту никому не понятно, — что вы разумеете под словом „христианство“ и какой, по вашему мнению, должна быть настоящая христианская проповедь. Пока вы этого не сделаете, я останусь при моем прежнем убеждении, что если бы служитель Всевышнего был таким, каким вы желаете его сделать, то он не имел бы ничего общего с Мельхиседеком. Ведь Мельхиседек поднес Аврааму хлеб и вино и благословил его, а вы, во всех ваших пятнадцати „Провинциальных листках“, подносите нам укус с полынью».

Ввиду этой резкой выходки Теллера, Гердер снова утратил способность действовать с хладнокровной осмотрительностью. Лишь только он прочел письмо Теллера (29 сентября), он поспешил обратиться к Шпальдингу с самыми горькими жалобами на такое нарушение его домашнего спокойствия — на нескромность и дерзость Теллера, который собрал «целую клоаку гнусных и дьявольских доводов» и бросает эти доводы ему в лицо «самым мошенническим образом». Причина таких жалоб нам совершенно понятна: негодование, которое возбудили в Гердере низкие мотивы, приписанные ему Теллером, служит несомненным доказательством его добросовестности. Но для нас также ясно, что всякое ложное суждение о его намерениях ставило его в крайне опасное положение — ведь и на этот раз он, по своей

раздражительности, поступил крайне неблагоразумно. Воображая, что можно заставить позабыть прошлое, и желая совершенно отрубить узел, над распутыванием которого трудились такие люди, как Теллер, он заявил, что формально и публично берет назад свои прежние письма к Шпальдингу и впредь никогда не будет упоминать о них в печати. Во-вторых, он обратился к Шпальдингу с крайне странным требованием предъявить Теллеру его настоящее письмо *in natura*. Наконец, с совершенным отсутствием сознания своей собственной вины он снова утверждал, что причиной всех пререканий была нескромность Шпальдинга, который сообщил Теллеру содержание его письма, — поэтому он заявлял, что может требовать удовлетворения только от самого Шпальдинга.

Он мог бы заранее угадать, каков будет ответ Шпальдинга¹. Очень спокойно, но вместе с тем очень энергично Шпальдинг снова отвергал упрек в нескромности; он решительно отказался сообщить Теллеру содержание письма, наполненного оскорбительными для этого последнего выражениями; он изъявлял готовность позабыть обо всем, что касалось лично его самого, — но с оговоркой, что в случае, если его поставят в необходимость защищаться, он воспользуется прежней перепиской как средством оправдать себя в общественном мнении; в заключение он снова высказал убеждение, что «в подобных спорах горячность бесполезна, так как она препятствует спокойному обсуждению спорного вопроса и нередко заводит спорящих далее той цели, какую они имели в виду».

И без этих благоразумных наставлений поражение Гердера было полным. Он был до крайности возмущен упреками Теллера, но был лишен возможности обороняться. Мало того, эти пререкания создавали ему непреодолимые препятствия во всем, что он предпринимал. Возвратившись из Пирмона, он снова сталмышлять о переезде из Бюкебурга. Он стал искать должности профессора теологии при вновь учреждаемой в Митаве академической гимназии. На эту мысль его навел один из молодых приверженцев Лафатера, Гартман, который был приглашен в Митаву из Цюриха; Гартманох также советовал своему другу искать места в Митаве, так как оттуда было бы легче перейти в Ригу обер-пастором. Но Зульцер, указаниями которого руководствовался герцог курляндский при выборе профессоров, написал к Гартману письмо, в котором говорил о «Провинциальных лист-

¹ Этот ответ был написан 9 октября.

ках», о письмах Гердера к Шпальдингу, о двусмысленном характере и дикой фантастичности Гердера, — и в заключение высказывал убеждение, что назначение такого человека было бы неудобным. Об этом же известил своего друга Гарткнох именно в то время, когда Гердер был крайне раздражен последним письмом Шпальдинга и письмом Теллера. «Ради Бога, — писал тогда Гердер в ответ Гарткноху, — скажите Гартману, чтобы он не хлопотал обо мне; мне все обращается во вред, а берлинские враги утверждают в семь голосов, будто я нападаю на них в моих сочинениях с целью получить то ту, то другую должность!» Эта вражда постоянно становилась ему поперек дороги, точно привидение; так было в то время, когда он искал должности в Митаве; то же повторилось, когда он стал искать места в Гёттингене. По случаю этого последнего искательства ему, сверх всего, пришлось выносить и ту неприятность, что одним из кандидатов на ту же должность был «злбный негодяй Теллер»; одно из его писем к Гейне доказывает, как сильно его тревожила в то время дурная репутация, которую он себе создал «Провинциальными листками»¹. Но всего прискорбнее было для него то, что даже в письмах Гамана он нашел отголосок неблагоприятных о нем отзывов. Впрочем, именно в то время как он совершенно упал духом, он получил утешительное известие — Клаудиус уведомил его о выходе в свет гамановских «Prolegomena» и прислал ему печатный экземпляр этого сочинения². Гердеру было приятно видеть, как хорошо была понята и ясно развита его другом основная мысль «Древнейшего документа», как умна была защита даже слабых сторон этого сочинения; он изъявил северному чародею свою признательность и просил доставить ему кантовский разбор «Древнейшего документа». Вместе с этим он с грустью упомянул о неприятностях, которые навлек на себя своей историей философии и своими «Провинциальными листками», — хотя Гаман еще не был в то время знаком с содержанием этих двух сочинений. Между тем берлинские литераторы давали полную волю своему озлоблению; они отравляли жизнь Гердера, в то время как он был обрадован рождением своего первого ребенка. Он выразил эти чувства в письме к Гаману, но, немедленно вслед за отправкой этого письма, Гарткнох прислал ему извлечение из одного гамановского сочинения, поразившее Герде-

¹ Это письмо было написано поздней осенью 1774 г. (С, II, 175, 176).

² Клаудиус к Гердеру (А, I, 387); Гердер к Гаману (Соч. Гамана. V, 103 — в печати сделано много пропусков).

ра крайним удивлением. И до слуха Гамана, очевидно, дошли берлинские толки и сплетни! Оказалось, что Гаман был готов верить этим толкам по меньшей мере наполовину и даже вообразил, что Гердер действительно лицемерил, что он из личных расчетов отказался в «Провинциальных листках» от прежних убеждений и сделал уступки берлинским теологам. Все это, конечно, были лишь недоразумения, которые не трудно было разъяснить. Тем не менее это огорчило Гердера. «Стало быть, — писал он Гаману, — может настать и непременно настанет такое время, когда меня перестанут понимать даже мои друзья — когда меня перестанет понимать даже Гаман». Затем он разъяснил суть дела, но, натурально, не мог воздержаться от самых горьких жалоб на берлинских литераторов. Он называл этих литераторов злыми духами, клеветниками, *διάβολοι*, такими священнослужителями и левитами, которые, не будучи сами в состоянии возбуждать преследования, подстрекают других на преследования и на гнусные дела. Он говорит, что ему было нанесено такое ужасное, ничем не вызванное оскорбление, при виде которого «всякий честный человек, конечно, будет скрежетать зубами»¹. На случай, если бы на него стали взводить новые клеветы, он считает нужным принять некоторые меры предосторожности — он желает обратно получить свои письма к Шпальдингу, для того чтобы сообщить их содержание своему кёнигсбергскому другу, а в крайнем случае и всей читающей публике. Он решается (17 ноября) написать Шпальдингу последнюю коротенькую записку, в которой просит отослать ему его три прежних письма и при которой возвращает письма, полученные им от Шпальдинга. «Я не понимаю, — говорил он в конце этой записки, — в чем заключается упомянутая в вашем последнем письме крайняя необходимость опубликовать содержание моих писем. Не я познакомил публику с содержанием этих писем, однако никому другому, как мне, приходится получать с каждой почтой письма, в которых меня осыпают оскорбительными обвинениями в том, что я их написал. Да будет Бог судьей между мной и вами!» В этом деле Гердер, как видно, не был в состоянии сделать ни одного малейшего шага без сильного душевного волнения. Он получил обратно свои письма, но при этом ему еще раз пришлось выслушать дружеские наставления от Шпальдинга.

¹ К Гарткноху № 44 и к Гаману (Соч. Гамана. V, 107 и сл.); в этом последнем письме сделаны в печати пропуски, но оно находится у меня в подлиннике.

Но Гердеру не шли впрок благоразумные советы Шпальдинга; даже Гарткнох не был в состоянии навести его на правильный путь, сообщив ему одно выражение из письма от Николаи, для того чтобы он впредь был более осмотрительным; Гердер усмотрел в этом выражении новое оскорбление и обратился к Гарткноху с просьбой впредь не сообщать ему того, что «пишут такие низкие люди»¹. Тем не менее он вынес полезное поучение из пережитых им душевных волнений. Все дурные черты его характера вышли наружу только потому, что в глубине его души таились благородные влечения. Он был способен вполне подчиниться влиянию такого друга, который сумел бы относиться снисходительно к его слабостям и вызывать к деятельности его лучшие силы. Он был похож на избалованного ребенка, которого можно перевоспитать только любовью и стойкостью, — а именно таким способом и старался перевоспитать его Гаман. Под наблюдением и с помощью Гамана он преодолел все затруднения и вступил на новый, более благородный, путь.

Поэтому письма к Гаману всего лучше знакомят нас с тем, что происходило в душе Гердера в эту тяжелую эпоху его жизни². Он сам сознавал недостатки своих последних сочинений, но их основную мысль и конечную цель он считал безукоризненными. В нападках, которыми осыпали его «апостаты» за его «Провинциальные листки», он видел только доказательство того, что «соль щиплет язык»; но, с другой стороны, никто не сознавал яснее его того факта, что «соль заключает в себе множество осадков», так что «пропитанное ей изложение идей извращает мысль автора и внушает отвращение». «Пока во мне будет жив дух Божий, — писал он, — я буду стремиться к тому, чтобы из дыма вспыхнул огонь, чтобы из хилого зародыша вышел плод; я ежедневно с горестью сознаю, что я не зрел, как недоспелый виноград, но что я все-таки не похож на засохший терновник». В таком сознании собственных недостатков и в таких добрых намерениях его поддерживали меткие наставления его верного друга Гамана; вполне одобряя цель, которую имел в виду Гердер, Гаман зорко подмечал и указывал ему его недостатки; он то сдерживал высокомерие Гердера своими отеческими советами, то поддерживал в нем мужество в минуты упадка духом; он был таким образцовым истинным другом, который «брал сторону Гер-

¹ № 45 и 48 переписки Гердера с Гарткнохом (С, II, 69 и 71).

² Здесь мне приходится отказаться от цитат, главным образом потому что я пользуюсь для дальнейшего изложения такими указаниями, которые пропущены в 5-м томе полного собрания сочинений Гамана.

дера против его врагов, но восставал против него вместе с его друзьями». Своими «Prolegomena» он доказал, что был искренним доброжелателем Гердера, а предостережениями, которые давал Гердеру в своих письмах, он доказал, что был способен давать разумные советы. Он постоянно повторял Гердеру свою любимую поговорку: *et ab hoste consilium!* В этом смысле он считал вполне основательным замечание Зульцера, что следует остерегаться своей собственной фантазии. Самым мягким, но самым решительным тоном он постоянно повторял Гердеру то же, что ему говорила его собственная совесть, и постоянно указывал ему, как следует очищать свою совесть и направлять ее к надлежащей цели. Мы не можем разделять мнение Гамана, что Гердеру следовало приняться за продолжение «Древнейшего документа», но все другие советы Гамана были вполне основательны: он советовал Гердеру воздерживаться по мере возможности от всякой полемики, излагать свои мысли с большим тщанием, избегать чрезмерно резких и оригинальных выражений, не останавливаться на второстепенных вопросах, отбросить накопившийся у него разный хлам, но вместе с тем и самому успокоиться, и дать покой публике. Касательно полемики Гердера со Шпальдингом Гаман не скрывает своего неодобрения и читает Гердеру мораль по поводу его *égarements du coeur et de l'esprit*; в заключение он просит Гердера отложить в сторону всякую мысль о заговорах, будто бы составляемых против него в Берлине, и «не портить дело неуместными оправданиями, совершенно излишними отстаиваниями своей личной чести и другими тому подобными выходками». Наконец, он с особенной настойчивостью указывает Гердеру на недостатки его слога; он говорит об ужасных искажениях немецкого языка, о манере Гердера портить содержание статей их странным изложением, о нелепых словосочетаниях и о разных других *licentiae poeticae*, которые обнаруживают судорожную умственную работу; он полагает, что Гердер непременно должен воздерживаться от всякой заносчивости. «Пить только одну воду или только одно вино, — прибавляет Гаман, — не совсем приятно; следует пить то воду, то вино». Гаман очень хорошо знает, что на его предостережения могут возразить: врач, исцели сам себя! Но он все-таки не будет молчать; он дает Гердеру не только советы литературного критика и друга, но также советы духовного отца, который никогда не забывает, что у всякого писателя есть свои человеческие слабости. Поэтому он полагает, что неприятности, которые выносит Гердер от своих врагов, не должны мешать ему наслаждаться его семейным счастьем.

ем. Ведь все эти пререкания и внушаемые ими опасения в сущности не что иное, как призраки, которые Гердер создает своим воображением, для того чтобы мучить самого себя; того, что сделано, уже нельзя переделать, а будущее не в нашей власти; поэтому и в том, и в другом отношении следует полагаться на волю Божию.

Какое впечатление производили на Гердера эти увещания, которые при случае повторял ему и Гарткнох, всего яснее видно из высказанного им однажды возражения: эти увещания «приятны на вкус, но возбуждают корчи в желудке». Он относится к ним так, что постоянно впадает в противоречия с самим собой, — то признает их основательность и принимает их с благодарностью, то усматривает в них личную для себя обиду. Страсти то разгораются, то успокаиваются в его душе; он то оправдывается, то сам себя осуждает, то увлекается новыми замыслами, то дает своим друзьям положительные обещания следовать их советам. Впрочем, нельзя сказать, чтобы эти советы оставались бесплодными, в особенности потому что друзья Гердера находили поддержку в его жене. Касательно своего слога он оправдывался тем, что в этом слоге «выражался его негибкий, вялый, непрактичный и склонный к аллегории склад ума, что это было нечто вроде *aegri somnia* в платоновской пещере»; когда проясняется его ум, тогда и его слог делается более ясным; впрочем, он серьезно старается устранять недостатки этого слога. Однако он не перестает резкими словами бранить своих противников; «Древнейший документ» нельзя было, по его мнению, писать иначе как полемическим тоном, потому что лохмотья, которыми покрыта седая старина, не допускают более объективного и более изящного изложения; несмотря на это, он будет впредь избегать такого тона, будет впредь «избегать столкновений с глупцами» и, пользуясь поучениями, вынесенными из борьбы с Клотцем, совершенно устранил повод к вражде с Шпальдингом и с его последователями. Он надеется, что эта вражда заставит его переродиться и сделаться более безукоризненным человеком; он надеется, что с каждым новым шагом будет все более и более удовлетворять своего дорогого Гамана, к которому обращается со следующими словами: «Не переставайте, дорогой друг, предостерегать меня, но вместе с тем поддерживайте во мне надежду и укрепляйте во мне душевную бодрость — ведь я сам предвижу, что это последняя будет мне крайне нужна». «Богу известно, — говорит он в другом письме, — как много я работаю над самим собой»; а для будущего 1775 г. он выбирает

для себя следующий девиз: «Раскаиваться в заблуждениях, больше молчать и твердо стоять за истину!»

Как ни трудно было ему осуществить все эти добрые намерения, однако он их не терял из виду — это ясно видно из его следующих сочинений, из его «Объяснений к Новому Завету», из «Посланий двух братьев Иисуса» и из второй части «Древнейшего документа». Теологическая точка зрения Гердера остается в этих сочинениях в сущности без перемены, но личные полемические нападки здесь менее резки, и вообще заметно старание выражаться более спокойно и более ясно. Как три названных выше сочинения, так и другие находящиеся с ними в связи статьи теологического и не теологического содержания, которые были доведены до конца и изданы лишь по прошествии нескольких лет, свидетельствуют о решительной перемене в направлении литературной деятельности Гердера во время его пребывания в Бюкебурге. Подробный разбор этих сочинений объяснит нам, в чем они отличаются от рассмотренных нами ранее, и вместе с тем докажет нам, что они находятся в тесной внутренней связи с тем, что было ранее написано Гердером, и возникли из тех же идей, которые он ранее развивал.

ТРИ НОВЫХ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯ

І. «Объяснения к Новому Завету»

Ввиду высокопарных обещаний, которые были высказаны в «Древнейшем документе», следовало ожидать, что Гердер прежде всего приступит к продолжению этого сочинения; ведь и сам он говорил в конце третьей части «Древнейшего документа», что «достиг подножия той горы, на вершине которой должен совершенно рассеяться туман». Однако не подлежит никакому сомнению, что автор еще сам не знал, каким способом он постарается рассеять этот туман. Гейне уже давно просил его разъяснить то, что оставалось темным и непонятным в «Древнейшем документе»; Гаман также заявлял ему о своем желании познакомиться *in pise* с дальнейшим содержанием этого сочинения; но Гердер не дал утвердительного ответа ни тому, ни другому. Правда, немедленно вслед за выходом в свет первых трех частей, он хвастливо уверял Гейне, что в следующих четырех частях (ведь он непременно хотел придерживаться священной цифры «семь») все недоразумения «исчезнут, как маленькая туманная звездочка», а Гамана он утешал тем, что «части четвертая и седьмая озарят его сочинение ярким светом»; но он сам себя вводил в заблуждение этими обещаниями и даже признавался Гаману в письме от 24 августа 1776 г., что продолжение «Древнейшего документа» «еще кроется в тайнике его души»¹.

Правда заключалась в том, что он забрел в такой лабиринт, из которого не мог выйти по намерению руководящей нити. Сверх того, заговорив в конце третьей части о религии Зороастра, он так заинтересовался всем, что касалось Востока, что совершенно позабыл о необходимости далее продолжать свое странствование. Он вообразил, что нашел в «Зенд-Авесте» Анкетилия ключ

¹ Переписка с Гейне: С, II, 141 (6 августа 1772 г.); 164 (в ноябре 1773 г.); переписка с Гаманом: Соч. Гамана. V, 72 (в мае 1774 г.); 180 (9 августа 1774 г.) и 184 (24 августа 1776 г.).

к объяснению таких тайн, которых вовсе не касалась первая глава Книги Бытия. Он говорил в «Древнейшем документе» (I, 364), что «Зенд-Авеста» — «вполне ясная, полная жизни эпопея первого, вечного Слова Божия», что из этого источника возникла вся греко-восточная философия, впоследствии послужившая для апостолов вспомогательным средством для развития их новых, более возвышенных, идей и для проповедования Евангелия, и что в учении Зороастра заключается такой объяснительный комментарий к Новому Завету, которым еще никто не пользовался и который превосходит своей ясностью и своей древностью сочинения Филона и Платона.

Он счел нужным воспользоваться этим открытием, хотя бы для этого пришлось на время отказаться от продолжения «Древнейшего документа». Его пылкой натуре была свойственна такая склонность увлекаться всем, что ново, и подчиняться самым свежим впечатлениям. И разве объяснение нового древнейшего документа не было бы более важной заслугой и более прямым путем к его цели, чем объяснение Ветхого Завета? Для своих проповедей о жизни Иисуса он углублялся в изучение Евангелий, и в особенности четвертого Евангелия, которое было для него привлекательнее всех других, вследствие его склонности ко всему, что отзывалось мистицизмом. Продуктом этого двойного влечения были «Объяснения к Новому Завету, извлеченные из вновь открытого восточного источника»¹: это было нечто вроде дополнения к «Древнейшему документу», в сущности развивавшего ту же основную мысль, которая была высказана в этом последнем сочинении.

Однако Гердер не совершенно отказался от продолжения «Древнейшего документа». Еще весной 1744 г. он приступил к продолжению этого сочинения, хотя и не с того пункта, на котором остановился в конце первой части²; но новый замысел одержал верх. Теперь Гердер сосредоточил свое внимание исключительно на Евангелии св. Иоанна. Об этом шла речь в письме Лафатера еще 22 апреля 1774 г. В ответ на одно недошедшее до нас письмо Гердера Лафатер писал: «Твоего брата, Иоанна, ты хочешь вырвать из собачьих лап <...> и вступить за Евангелие, на которое нападают с таким громким лаем?» Когда Гартк-

¹ Напечатаны в 1775 г. в Риге у Гарткноха со следующим эпиграфом: Ἰδοὺ μαχοῖ ἀπο ἀνατολῶν παρעהενοντο καὶ ανοιξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσηνεγκαν δωρα; 144 стр. in 4°, и в изящной внешней форме.

² См. ниже, в пятой главе.

нох приезжал на Пасху в Бюкебург, между ним и Гердером шла речь о новом сочинении касательно Евангелия св. Иоанна, а вплоть до июня 1774 г. это сочинение носило несложное заглавие: «Иоанн»¹. Даже из «Объяснений к Новому Завету» ясно видно, что именно таков был первоначальный план сочинения: автор не только сосредоточивал в этих «Объяснениях» все свое внимание на Евангелии св. Иоанна, но, кроме того, обращался к читателям со следующими откровенными словами (с. 62): «Вместо тех вялых объяснений я пытался изложить те немногие ясные идеи, которые находятся у этого евангелиста, — но моя рука замерла».

Наконец, наше предположение подтверждается и содержанием бумаг, найденных после смерти Гердера. В этих бумагах мы находим сначала краткие наброски, а потом и более подробное изложение сочинения об Иоанне; здесь, начиная с самого вступления, автор яркими штрихами обрисовывает смысл каждой главы Евангелия, излагая ее содержание в сжатой форме. В то время как его работа находилась на этой первой ступени своего развития, он извещал Гамана, что пишет «Объяснения к Новому Завету»². В течение лета эта работа вступила в дальнейший период своего развития. Гердер писал 10 сентября своему кёнигсбергскому другу: «Я теперь занят исключительно Зенд-Авестой и Новым Заветом. Поверьте мне, что я выскажу много нового и перстом силы одолею Теллера и всех ему подобных». Он в то время заново переделывал свое сочинение, которое уже превратилось из сочинения о св. Иоанне в сочинение о Новом Завете. «Из моего небольшого сочинения о св. Иоанне, — писал он 3 сентября 1774 г. Лафатеру, — выйдет сочинение о Новом Завете; на каждой странице приходится вносить новые открытия и объяснения». Из слов «перст силы» и из содержания рукописи видно, что в то время новое сочинение имело большое фамильное сходство с «Древнейшим документом» и с «Провинциальными листками». Оно еще сильно отзывалось полемикой и заключало в себе немало резких выходов против Михаэлиса и Теллера. В особенности своему нерасположению к Теллеру автор старался доставить полное удовлетворение. Он писал 29 сентября

¹ Гарткнох к Гердеру 15 мая 1774 г. (С, II, 55); Гердер к Гарткноху 18 июня 1774 г.: «Иоанн живо подвигается вперед» и т. д. (С, II, 60 — эти слова пропущены в печати).

² В мае 1774 г. (Соч. Гамана. V, 74, сравн. 72: «Я еще напишу нечто такое, чего еще менее ожидает от меня мой дорогой Гаман»).

Шпальдингу: «Теперь печатается другое мое сочинение, которое еще ближе затрагивает Теллера; оно уже не находится в моих руках, в то время как я вам пишу это письмо».

Однако, хотя новое сочинение и было отдано в печать, оно снова возвратилось к своему автору. Цолликофер, взявший на себя корректуру, не скрыл от Гердера своих сомнений касательно уместности новых нападок на Теллера¹. Под впечатлением как этого указания, так и воспоминания о неприятностях, которые были последствием издания «Провинциальных листков», Гердер принял благоразумное решение сделать в своем сочинении поправки. Он вытребовал назад свою рукопись. Как кажется, под влиянием сообщенного ему Гарткнохом неодобрительного отзыва Гамана² он решился выбросить несколько листов, в которых шла речь о «Зенд-Авесте» (именно это заглавие он всего чаще придает новому сочинению в своих письмах), и этим способом, как он писал издателю 19 ноября 1774 г., «избавиться от всяких неприятных пререканий с гримасником и с пачкуном»³. Но Гердер потребовал возвращения корректурных листов, не для того только чтобы сделать поправки в своей рукописи, а для того чтобы совершенно изменить все содержание сочинения⁴. Он был непрерывно занят этой работой до 11 февраля 1775 г.; в этот день он наконец отправил рукопись в печать при помощи «клеysterа и ножниц»⁵. «Он обчистил ее так хорошо, как только было возможно», — писала Каролина Гарткноху. Он искренно радовался и тому, что очистил ее от полемических и стилистических наростов, и тому, что его книга заключала в себе интересные открытия

¹ Гердер к Гарткноху (С, II, 67).

² См. выше, с. 799 и 795.

³ В том же смысле он выражался 16 ноября в письме к Гаману и после окончания работы в письме к Гарткноху в феврале 1775 г. (С, II, 71). Быть может, сюда же следует отнести (опущенное в печати у Дюнцера) то место из письма к Гаману от 14 ноября, где читаем следующее: «Ни один из моих врагов не может упрекнуть меня в том, что я не сумел извлечь пользы из его нападок. Я с горестью и с самопожертвованием докажу это на таком факте, о котором я узнал за день перед тем (т. е. 12 ноября), прежде чем я получил (в утешение от того факта) вашу „Телонарху“. Но вы узнаете обо всем только тогда, когда дело будет сделано».

⁴ Это отчасти видно и при сравнении напечатанного сочинения с прежним изложением, которое отчасти сохранилось отрывками в оставшихся после смерти Гердера бумагах, частью дошло до нас вполне. Подробные указания касательно этого предмета мы предоставляем критической разборчивости издателя всех сочинений Гердера.

⁵ К Гаману (Соч. Гамана. V, 128); Каролина к Гарткноху (С, II, 70).

и выводы. В этом духе писал он, во время печатания книги, 27 марта 1775 г., Гаману, который жаловался на то, что Гердер не хотел дать ему никакого понятия о содержании нового сочинения¹: «Вы напрасно заботитесь, дорогой Гаман, о положении моего новорожденного в руках его черной повивальной бабки. Он не имеет ничего общего с разной сволочью; это — богословское сочинение, соответствующее моему званию, в котором я по меньшей мере могу найти этим способом честную смерть. Зачем я стал бы взывать к вам о помощи: перед нами появились с Востока новые маги; мы уже видели их звезду! В пылу первого упоения я, быть может, не в меру предавался радостному чувству? К тому же мой золотой телец так часто переливался из одной формы в другую и так одеревенел, что я не был в состоянии сказать ни одного слова, которое не ввело бы вас в заблуждение. Что же оставалось мне делать, иначе как молчать? Стало быть, мой дорогой заступник и соратник, я ничего не разбалтывал вам не из недоверия к вам, а из опасения сбить вашего Буцефала с пути и из смирения. Это, пожалуй, будет мое первое сочинение, в котором не возбудят вашего неудовольствия ни аллегории, ни нелепые украшения, ни шероховатые ἀλλότρια. Я сижу верхом на осленке или на спине моего верблюда в его благочестивом странствовании; когда какой-нибудь блудящий огонек манит меня в сторону, верблюд останавливается на том месте, где был». В том же тоне написаны письма, при которых он отправил своим друзьям — цюрихскому и кёнигсбергскому — экземпляры нового сочинения, вышедшего из печати к пасхальной ярмарке². В письме, написанном к Гаману в Троицын день, читаем: «Это произведение стоило моей музе самых больших трудов; она три раза почти совершенно отказывалась от него, и потом три раза снова принималась за него; теперь оно вышло в свет, и меня не тревожат никакие известия о постигшей его судьбе. Вы по меньшей мере найдете, что способ изложения и более тщателен, и более правилен. В тех суждениях, которые касаются богословских вопросов, я строго держался ортодоксального пути промеж скал и утесов и вполне уверен, что с этой стороны мне не может угрожать никакая опасность». Наконец, в письме, написанном

¹ Соч. Гамана. V, 134; приведенные в тексте слова взяты из письма, сохранившегося в рукописи.

² К Лафатеру № 32; к Гаману в Троицын день 1775 г. (Соч. Гамана. V, 141 и сл. — это письмо отъез в Кёнигсберг Гарткнох, снова воспользовавшийся своей поездкой на ярмарку, для того чтобы побывать у Гердера); к нему же 18 июля 1775 г. (Там же. V, 145 и сл.).

в июне, сказано: «Мои маги просят у вас дружеского гостеприимства, так как в заступничестве они не нуждаются. Вы, быть может, будете недовольны тем, что я ссылаюсь на догматы без всяких объяснений их содержания; но, ввиду требований нашего времени, я не мог поступить иначе. Только ты, Руперт-привратник и по рождению чародей, создан для того, чтобы прославлять Царя Небесного».

Мы, конечно, вправе многого ожидать от сочинения, которое было так тщательно обдуманно и так хорошо написано, что сам автор был вполне им доволен.

Действительно, и по своему направлению, и по тону изложения оно имеет много преимуществ над «Древнейшим документом». Оно менее многоречиво, более широко задумано и более цельно. Его слог более округлен и более правилен, несмотря на свою пылкость и бойкость. Но и на этот раз автор не был в состоянии воздержаться от бранных слов. По поводу этих бранных слов Клаудиус писал ему 1 сентября 1775 г.: «Впрочем, вы и на этот раз, по вашему обыкновению, не побоялись отделять членов вашей коллегии, и вам, конечно, придется за это поплатиться». Хотя Гердер и не называл по именам ни Михаэлиса, ни Теллера, ни кого-либо из их приверженцев, тем не менее его сочинение наполнено самыми резкими выходками и против той «новейшей системы изложения, которая прикрывает самый пошлый натурализм, социнианизм и эпикуреизм фразами, выхваченными из Нового Завета», и против «направления наших новейших толкований, парафраз, лексиконов и тому подобных изданий», и против «модных философов», которые «разводят водой выражения Нового Завета и превращают их в напыщенные бессмыслицы», и т. д.; местами попадаются в виде отступлений насмешливые пародии на противников автора; даже при окончательной очистке своего сочинения Гердер не вычеркнул из него некоторых грубых выражений — например, он называет издатель «глупыми скотами» (*dumme Vieh*).

Нам уже известно, по какому поводу и с какой целью было написано новое сочинение. Гердер считал «Зенд-Авесту» за самый древний из всех доступных для нас источников той халдейской мудрости, которую принесли с собой возвращавшиеся из изгнания иудеи и которая в своей смеси с греческой философией служила руководством для Христа и его апостолов, лишь влагавших в эту смесь более духовное содержание. На этом Гердер основывает свое право объяснять содержание Нового Завета содержанием «Зенд-Авесты». Он хочет только указать на некото-

рых примерах, как следует приступать к таким объяснениям. Он намеревается этим способом уяснить смысл только нескольких главных идей, имея в виду преимущественно Евангелие св. Иоанна, — он предполагает, как можно реже входить в подробности, чтобы скорее достигнуть «цельного обзора»; кроме того, он будет постоянно помнить, что понимание Нового Завета облегчается не только изучением «Зенд-Авесты», но также изучением Ветхого Завета.

Из этих заявлений видно, что автор предоставлял себе очень широкую свободу. Он освобождал себя от обязанности проследить постепенное развитие древних восточных идей до эпохи Христа и апостолов. Он также освобождал себя от обязанности удовлетворить более строгие требования, которые могли быть предъявлены филологами. Он имеет в виду цельность обзора, но позволяет себе делать разные отступления. Стало быть, мы должны отказаться от надежды, что найдем в его сочинении дополнение к ученым объяснениям Нового Завета. В этом сочинении вовсе нет речи о таких надежных критических приемах, с помощью которых можно бы было пользоваться «Зенд-Авестой» для объяснения Нового Завета. В нем вовсе нет речи и о каком-нибудь определенном, выдержанном до конца, методе. Не говоря уже о манере автора отрывочно и торопливо приводить под текстом разные цитаты, мы замечаем, что, постоянно делая скачки, он слишком далеко заходит в своем утверждении, что новозаветные понятия ведут свое начало от халдеев и от Зороастра; сверх того, он иногда совершенно теряет из виду тот источник, из которого намеревался черпать свои объяснения. Даже можно сказать, что несмотря на все цитаты, которые он приводит из книги Анкетиля, он объясняет Новый Завет вполне независимо от этой книги. Если — как он основательно замечает — апостолы вложили более духовный смысл в те слова и понятия, которые были в ходу в их время, то он должен бы был придерживаться этого нового, более духовного, смысла и главным образом стараться уяснить его. Подобно тому как для апостолов греческий язык служил только орудием для распространения новых идей, так и для него связь новозаветного языка с языком «Зенд-Авесты» служит только вспомогательным средством для изложения его собственных воззрений на Новый Завет. Хотя он иногда и пользуется своим новооткрытым источником, но в общем результате оказывается, что он делает ссылки на «Зенд-Авесту», только для того чтобы протестовать против пошлых толкований Нового Завета, только для того чтобы указать

на преобладание в Новом Завете восточных религиозных понятий и затем объяснять его содержание на основании своих собственных религиозных воззрений.

Таким образом, оказывается, что то новое открытие, о котором автор так хвастливо возвещал в «Древнейшем документе», играет в новом сочинении скромную роль, а на передний план выступает изложение его собственных идей. Главная цель Гердера — ближе познакомить его современников с духом новозаветного учения. Он объясняет Новый Завет, для того чтобы уяснить смысл догматов, но его конечная цель чисто практическая. Он переходит от своих объяснений к библейскому тексту и говорит, что эту «книгу, наполненную разными осадками», следует отбросить и читать Новый Завет с новым пониманием, с новым сознанием важности его содержания. Но его следует не только читать, но и уметь понимать. «Новый Завет, — говорит он, — написан не для того чтобы его изучали, анализировали и объясняли, а для того чтобы его созерцали, чувствовали сердцем и жили по его указаниям». Эта священная книга сама собой становится понятной для того, кто читает ее с целью найти в ней руководство для всей своей жизни.

Соответственно этой цели нового сочинения автор сначала излагает новозаветные идеи в их общем смысле своими собственными словами, а потом уже пишет свои «объяснения» или «примечания».

Таким образом, новое сочинение представляется не чем иным, как изложением всех догматов, заключающихся в Новом Завете. Оно получает такой характер в особенности по причине распределения своего содержания. Между сочинениями Гердера найдется немного таких, в которых содержание было бы изложено в таком же строгом порядке. В трех книгах, из которых каждая разделена (точно так же, как и в «Древнейшем документе») не без некоторой искусственности и натяжки на семь глав¹, Гердер ведет речь сначала о метафизическом Христе до его пришествия на землю, потом о главных моментах его земной жизни и наконец о его деятельности после его земной жизни. При этом он — как сам писал Гаману — «придерживался строгой ортодоксии, даже когда встречались на пути скалы и утесы». Это — самое ортодоксальное из всех сочинений Гердера. Оно более всех других

¹ В одной из более старых редакций нового сочинения даже видно намерение Гердера дать трем частям, каждая из которых заключает в себе семь глав, такой же внешний вид, какой они имеют в «Древнейшем документе».

отдаляется от рационалистических воззрений на христианское учение и на евангельскую историю¹. Но верования Гердера носят на себе мистический и поэтический отпечаток. Он с особенной горячностью восстает и против поверхностных истолкований новозаветных идей в духе просвещенных понятий своего времени, и вообще против скептицизма и неверия тогдашних философов; но едва ли менее горячо нападает он и на нелепую, ортодоксальную догматику, касающуюся лишь внешней стороны предмета, и на юридическое, «жертвенное» понятие об Искуплении; наконец, он не разделяет и воззрений пиетизма с его «понятиями о возрождении в мрачном мертвом бездействии». И если бы его стали причислять к мистикам обыкновенного покроя, он, конечно, заявил бы против этого протест. Хотя он и писал Лафатеру по поводу сочинений Этигнера, что ставит мистиков много выше последователей Вольфа, однако немедленно вслед за этим утверждал, что огонь мистиков светит сквозь дым. Он полагает, что Лафатером избран средний путь между мистиками и философами, и потому намеревается сам идти тем же путем. Поэтому он с увлечением вчитывается в спекулятивную мистику Евангелия св. Иоанна и в глубокомысленную христологию св. Павла, но ему все-таки не удастся рассеять туман, который то больше, то меньше затемняет ясность его идей. В понятии св. Иоанна о Христе как о вечном воплощении слова Божия он находит самое верное фигурное наглядное выражение единосущности Христа с его Небесным Отцом, а в этой единосущности он видит основную мысль новозаветного Откровения, без которой все было бы «призрачно и непрочно». Он без всякого труда приходит к убеждению, что мы сделались избранниками Божиими через посредство Иисуса еще прежде начала мира. Мысль о том, что царство Иисуса есть царство света и жизни, он умеет окружить таким полумраком, что она получает в одно и то же время и мистическую окраску, и рационалистическую. Еще труднее решить, в чем заключается его понятие о князе тьмы, находящемся в борьбе с царством света: несмотря на то что он действительно указывает на наше незнание со всем невидимым миром духовных сил

¹ Сравн. основательные замечания Юлиана Шмидта во введении к его изданию (появившемуся в 1869 г. в Лейпциге и печатавшемуся у Брокгауза) «Идей об истории человечества» (с. XXXII). О новом сочинении Гердера говорится очень кратко в ранее нами упомянутой книге Вернера (с. 250 и сл. и 114), которая не лишена достоинств, но не достаточно ясно указывает на постепенность в развитии богословских воззрений Гердера и придает этим воззрениям слишком резкий отпечаток либерализма.

и пишет Лафатеру, что верит в существование дьявола, он все-таки видит в дьяволе не что иное, как символ природного влечения к злу и придает лишь практическую нравственную цель всему, что говорится о злых духах. На учение об Искуплении он смотрит с точки зрения мистика; согласно с Лютером он полагает, что оно постигается верой, а согласно с Гаманом он утверждает, что вера есть продукт всех созерцательных душевных способностей. Его ортодоксия еще ярче бросается в глаза, когда он переходит к фактам евангельского рассказа. Что Иисус «был зачат не по естественным законам, а стоящей выше этих законов властью Божией», кажется ему таким же достоверным историческим фактом, как появление ангела, возвестившего о его рождении, как поклонение волхвов, как голос, раздавшийся с небес во время крещения Иисуса. И чудеса, которые совершал Иисус, он объясняет со своей мистической точки зрения. Он насмехается над господствовавшими в его время понятиями о чудесах; он ничего не хочет слышать о различии между предзнаменованиями и настоящими чудесами, а находит, что все это само собой понятно как «проявление повсюду присущей божественной силы». Преображение Христа, его нисхождение в ад и вообще все подробности апостольских повествований он без всяких колебаний вносит в состав своих верований, но всем этим верованиям придает мистическую окраску. Он лишь слегка касается исторической достоверности тех подробностей и останавливает свое внимание главным образом на их религиозном значении. Он не сомневается в том, что Иисус снова придет на землю судить живых и мертвых, но он не старается объяснять смысл тех выражений, в которых было предсказано это событие, а довольствуется изложением учения Иисуса о воскресении мертвых, о нравственном переходе в иные условия бытия и об ожидающей нас после этого перехода счастливой будущности. В том же роде его воззрения на Тайную вечерю и на Св. Троицу. В Тайной вечере он не усматривает ни настоящего претворения хлеба и вина в плоть и кровь, ни простого символического изображения отвлеченной идеи, а видит в нем таинство. Наконец, учение о Св. Троице он принимает не за догмат, а за истину этико-мистического содержания.

Именно таким этическим отпечатком отличаются все мистические верования Гердера. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть, например, его объяснение, почему следует исполнять во имя Иисуса даже самую незначительную из наших житейских обязанностей. «Не внешним только образом, — говорит Гердер, — должны мы во всем сообразоваться с учением Иисуса: мы

должны жить в нем, должны сделаться ветвями, питающимися соком его учения, должны проникнуться его духом, должны черпать истину только из его источника». А после того как он довел свое сочинение до конца, он писал Глейму: «Прочтите „Этику“ Спинозы»¹. Он, как кажется, только в то время в первый раз прочел эту книгу, которая впоследствии должна была получить в его глазах еще более важное значение. Почти в то же время он советовал графу прочесть эту книгу². Он в нескольких строках вкратце изложил этико-пантеистические идеи «бездушного геометрически точного шлифовальщика стекол», а именно: что «небеса находятся повсюду, что перед понятием о Боге исчезают понятия о пространстве и времени, что Бог может пребывать только там, где находит самую чистую мысль и обнаруживающуюся на деле любовь; что эта любовь есть Бог, который пребывает во всяком месте или, вернее, не пребывает ни в каком месте, что эта любовь есть Бог, когда она обнаруживается в деле, возвышаясь над условиями пространства и времени, когда она все обнимает, со всем сливается и совершает все, что случается в мире». Он вполне основательно замечает, что у Спинозы мистицизм соединяется с самой бездушной метафизикой, и усматривает в учении этого философа отголосок восточных идей. Поэтому, подчиняясь влиянию глубоких нравственных идей новейшего мыслителя, он извлекает из учения Спинозы еще другое объяснение новозаветных истин кроме того, которое он извлекал из «вновь открытого восточного источника». Он отождествляет христианство, и в особенности учение св. Иоанна, с возвышенными воззрениями знаменитого атеиста. Сначала он делает это в следующем примечании: «Этика Спинозы включает в себе высшую рассудочную мораль, которую он сам находил совершенно сходной с нравственным учением христиан». Но ту же мысль он вполне ясно выражает в конце нового сочинения, а затем снова высказывает в другом сочинении, которое было задумано им в то же время³. Он говорит: «Спиноза без сомнения, не был ни христиа-

¹ От 15 февраля 1775 г. (С, I, 36).

² Ни одно из более старых упоминаний Гердера о Спинозе (LB. I, 3, а, 209, 589; II, 471; О немецкой жизни и искусстве, 103; рецензия сочинения «Батте» во «Франкфуртском указателе»; Древнейший документ. I, 297 и 303) не указывает на то, что Гердер читал «Этику» Спинозы. В письме к Мерку (LB. III, 111) он упомянул бы не об одном только Шефтсбери, если бы в то время был уже знаком с сочинениями Спинозы. Что он советовал графу прочесть «Этику», видно из письма графини к Каролине от 27 декабря 1774 г.

³ О познании и чувствовании. С. 51, 52; см. далее, в следующей главе.

нином, ни мистиком. Но возьмите, помимо его метафизики, те части его нравоучительных сочинений, где идет речь только о нравственности, и посмотрите, в какой религии поучения и надежды на будущую жизнь подкрепляются такими же ясными и убедительными фактами».

Приведенные нами выражения бросают самый яркий свет на направление нового сочинения Гердера. Это направление было этико-мистическим, но оно находилось в тесной связи с верой в достоверность евангельского повествования. Опорой для таких этико-мистических воззрений служила, с одной стороны, историческая точка зрения, а с другой — твердая вера в Библию как в божеское откровение. Эта вера, служившая для Гердера центральным пунктом его богословских убеждений, связывает «Объяснения Нового Завета» с двумя другими, ранее написанными, богословскими сочинениями, принадлежащими к бюкебургскому периоду литературной деятельности Гердера. Желание доказать святость Библии вызвало появление «Провинциальных листков», а «Объяснения Нового Завета» занимаются только новозаветными книгами, подобно тому как «Древнейший документ» занимался первой главой Ветхого Завета. В своем новом сочинении автор возвещает о продолжении своих исследований¹ и действительно указывает на внутреннюю связь между рассказанными в Евангелиях фактами и первоначальной историей человеческого рода, между смертью Иисуса и первым непосредственным божеским откровением, преподанным в начале мира. «Древнейший документ» занимается началом мироздания, а «Объяснения» — конечной целью мироздания; эти два богословских сочинения, очевидно, отсылают читателя к тому историко-философскому сочинению, которым начинается целый ряд богословских произведений Гердера. Более старое из них указывало лишь слегка на тот «ключ к замку», который еще был скрыт от глаз читателя в «Приложении к философии истории», а более новое указывало на этот ключ более ясно и определенно. В них снова высказываются следующие положения: что в назначении человеческого рода непременно есть определенная цель, но что никакой философ не в состоянии выяснить, почему народы и времена сменялись одни другими; однако автор при этом ясно указывает нам, где следует искать указаний той определенной цели: по его словам, эти указания можно найти в книгах Ветхого и Нового Завета. Он говорит, что «Иисус есть средоточие и крае-

¹ Объяснения к Новому Завету. С. 10, 22, 69.

угольный камень всего мира, что по нему создан Адам, что он будет судьей над всеми людьми и что через его посредство человеческий род восходит к Богу».

Итак, сквозь все последние сочинения Гердера проводится одна и та же руководящая мысль — это лишь отрывки одного и того же сочинения, лишь части одного целого, находящиеся в тесной между собой связи. Объясняя, в чем заключается эта руководящая мысль, мы сделали обзор историко-философских и этико-религиозных воззрений Гердера. Но и связь с его философскими воззрениями видна в новом сочинении еще яснее, чем в «Древнейшем документе» и чем в «Провинциальных листках». Богословские воззрения Гердера основаны на его вере в откровение, а его вера в откровение возникла из скептицизма, который развился в нем под влиянием английской опытной философии, и в особенности сочинений Юма, и на который его навел Кант путем полемики, возбужденной именно этим влиянием и направленной против догматизма философии Лейбница и Вольфа. Но Кант был наведен своим скептицизмом на изложение основ для новой метафизики, а его ученик, одаренный менее пытливым и менее методичным умом, перешел от скептицизма к вере. Гердеру были незнакомы те новые пути, которые именно в то время пролагал тяжелым умственным трудом Apollonius philosophus: он шел тем же путем, какого уже давно придерживался Zacchaeus Telonarcha. Нить его размышлений сводилась приблизительно к тому положению, что рассудок руководствуется опытом и что, стало быть, всеобщий разум может быть только результатом опыта, пережитого человеческим родом. Но плоды человеческой опытности нигде не связаны в одно целое; разум также проходил через различные фазы исторического развития, и его никак нельзя считать за нечто самостоятельное и абстрактное. Человеческий род не мог бы существовать, если бы не был создан Богом, его существование не может и никогда не могло продолжаться без содействия Божия, а без внушений свыше он не мог бы знать того, что знает. Поэтому было бы безрассудно противопоставлять разум откровению. Напротив того, разум должен держаться в известных границах, должен искать опоры в откровении. «Если философия будет такой, какой должна быть, то она придет к сознанию своего происхождения, источника своей силы и пределов, за которые не должна переступать: тогда она не будет впадать в разноречия с откровением, т. е. с теми законами умственного развития человечества, из которых она сама возникла; она не что иное, как жидкое облачко абстракции, ма-

ло-помалу поднявшееся над распространяющими вокруг себя благоухание растениями роскошного сада Божия и ничего не стоящее без этого сада». С другой стороны, и из истории, и из опыта видно, что божеские внушения всего яснее распознаются из откровения иудейского и христианского. Именно из Библии ясно видно, в чем заключается назначение человеческого рода. Поэтому только в Библии, а не в какой-либо другой религиозной книге, следует искать откровения. «Коран», «Зенд-Авеста» и т. п. заключают в себе только мифологию, описание богослужбных обрядов, полезные нравоучения, а откровение изложено только в Библии!

В этих соображениях вовсе не трудно указать тот пробел и недостаток, ту *petitio principii*, что автор устанавливает известные пределы для человеческого опыта, но сам взывает к опыту, чтобы доказать, что Библия заключает в себе божеское откровение. Мы не ошибемся, если будем искать под этой аргументацией иных, более скрытых, мотивов. Эта точка зрения была усвоена Гердером под влиянием его религиозно-нравственных влечений и его старания во всем отыскивать историческую постепенность. Подобно тому как его поэтическая восприимчивость заставляла его увлекаться произведениями Гомера и Шекспира и народными песнями, и его религиозная впечатлительность, его влечение к благочестию, и его фантазия заставляли его увлекаться духом новозаветных священных книг. Подобно тому как он высоко ценил изящную пластичность гомеровских богов, он высоко ценил глубокомыслие и достоверность евангельского рассказа о жизни Иисуса и о деле Искупления. Именно в этом и заключается значительный прогресс его воззрений в сравнении с воззрениями, господствовавшими в его время. Его мнения — по внешней форме — нельзя назвать мнениями верующего; их нельзя назвать и бессмысленными мнениями неверующего — это были не что иное, как излияния сердечных чувств. Он относится к древним священным книгам христиан с таким глубоким чувством, что безусловно верит и в исторические факты, и в идеи, которые там изложены. Он настоятельно требует, чтобы при объяснении Нового Завета придерживались его духа и читали его с сочувствием к возвышенности его содержания. А глубокое религиозно-нравственное впечатление, которое производят эти священные книги, вполне овладевало его душой. Он делался неспособным судить об этих книгах с такой же умственной свободой, с какой судит о произведениях поэзии, и лишь изредка пытался устанавливать различие между способами выражения,

бывшими в употреблении в те древние времена, и обозначаемым предметом, между мнением писателя и объективным фактом¹. И в этом новом сочинении, точно так же как в сочинении о Ветхом Завете, он доказывает, что ему не доставало среднего понятия между поэзией и верой — не доставало понятия о мифе. Касательно того как изгоняли нечистых духов, он говорит: «Все это или обман и самое грубое суеверие, или правда: я не вижу никакого третьего способа объяснения», — как будто, действительно, было так трудно найти этот третий способ объяснения! Хотя ему и удастся ослабить возбуждаемое рассказами о чудесах недоверие, благодаря тому что он отыскивает в них символический смысл и придает им нравоучительную цель, тем не менее он вполне разделяет веру апостолов в чудеса, а в этой вере он утрачивает всякую осмотριтельность.

Как бы то ни было, а это был едва ли не единственный способ снова возбудить заглухнувшее влечение к религии и сочувствие к глубокому внутреннему содержанию основных истин христианского учения. К тому же, мистически-сочувственное объяснение древних священных книг было необходимой подготовкой к их чисто историческому, критико-рациональному анализу. И насколько эти объяснения Гердера были более разумны и более остроумны, чем фантастическая попытка Лафатера снова вызвать к жизни такой же дар творить чудеса, каким отличались времена апостольские! Гердер, конечно, прибегал к очень странным средствам борьбы, когда резко выставлял наружу отличительные особенности почти совершенно заглухнувшего новозаветного религиозного направления, когда он пользовался для своей цели учением Спинозы и только что открытым в то время сборником богослужебных обрядов и молитв парсов; но недостатки этих средств борьбы восполнялись той же гениальностью, которая научила Гердера оценивать по достоинству тон оссиановских песен и привела его к пониманию духа настоящей народной поэзии. Поэтому при оценке заслуги, которую оказал Анкетиль переводом «Зенд-Авесты», мы должны иметь в виду не

¹ Поэтому нельзя назвать вполне верными заявления Гердера, когда он, из желания устранить недоразумения, вызванные его сочинением, говорил в 1780 г. (в письмах об изучении теологии, часть II, с. 354 и сл.; SWS, XI, 134 и сл.), что старался объяснять «не фактические указания, а слова, не небесные тайны, а фигурные выражения того времени» и что вел речь «ни о чем другом, как о складе речи». К числу рецензий, которые Гердер имел в виду в этих оправданиях, принадлежит та, которая была напечатана в «Lemgoe Auserlesene Bibliothek» (VIII, 534 и сл.).

только доставленную этим переводом возможность изучить философию «Зенд-Авесты» и не только его влияние на дальнейшие религиозно-философские исследования, но также то обстоятельство, что в руках Гердера этот перевод послужил вспомогательным орудием для того, чтобы воскресить в человеческом сердце настоящий дух новозаветного учения.

II. «Послания двух братьев Иисуса»

В одной из более старых редакций введения к «Объяснениям Нового Завета» сказано: «Если у меня достанет свободного времени и терпения, то я напишу нечто еще более интересное касательно других побочных источников для изучения древних языков, в особенности касательно апокрифических евангелий и перевода Св. Писания семидесяти двух толковников, но прежде всего касательно некоторых книг, входящих в состав Нового Завета». По меньшей мере последняя часть этих предположений осуществилась на деле; но в первых сочинениях, которые были написаны Гердером вслед за «Объяснениями Нового Завета», шла речь о двух самых мелких посланиях, входящих в состав Нового Завета, и об Откровении св. Иоанна.

В одно время с «Объяснениями» вышли в свет «Послания двух братьев Иисуса, принадлежащие к числу наших священных книг»¹.

Гердер обратил внимание на эти письма, как кажется, потому что нашел в письме Иуды некоторые непонятные и странные выражения касательно падших ангелов, борьбы св. Михаила с сатаной и т. п. И эти темные выражения он надеялся выяснить при помощи «вновь открытого восточного источника» или, как он выражался со свойственной ему горячностью, «сделать их ясными, как солнце». Для этих дополнительных исследований он не нашел места в своих «Объяснениях к Новому Завету», которым старался придать догматическую цельность. Зато к этим исследованиям примкнули другие историко-критические исследова-

¹ «Послания двух братьев Иисуса, принадлежащие к числу наших священных книг, вместе с разоблачением пустых догадок о Новом Завете» (Лемго, в типографии Мейера, 1775; 112 стр. in 8° — «Чтоб свести счеты о доставке книг», Гердер отослал свою рукопись не к прежнему рижскому издателю, а в Лемго). Касательно того, что следует, сравн.: *Вернер*. С. 116 и 250 и сл.

ния; письмо Иуды, натурально, побудило автора заняться письмом Иакова, а эти два письма навели его на изучение истории первобытного христианства — таким образом, это небольшое сочинение было задумано в одно время с более обширным, в качестве дополнения к этому последнему. Главная цель автора видна из самого заглавия — братья Иисуса как авторы двух посланий. Приняв эту точку зрения, Гердер пытается «изложить древнейшую историю церкви». В связи с этим сюжетом находятся и объяснения послания Иуды, основанные на содержании «Зенд-Авесты». Наконец, в совершенно внешней связи с новым сочинением находится полемика с теми «причудливыми истолкователями Священного Писания, у которых головы наполнены гипотезами», и «проверка пустых догадок» касательно содержания тех двух посланий и некоторых мест в Евангелии св. Матфея. Это маленькое сочинение написано более толково, чем «Объяснения к Новому Завету»; по мнению Гердера, оно не могло интересовать Гамана, который был «врагом всяких материальных гипотез, как основательных, так и сомнительных, и которому нравились только скрытый внутренний смысл и туманность идей»¹.

Однако каковы бы ни были заблуждения, в которые вовлекался Гердер вследствие своей склонности к мистицизму и вследствие своей привязанности к ортодоксии, его ум не был способен довольствоваться воззрениями односторонними, мелочными и малодушными. Несмотря на то что он был искренним христианином и верил в Священное Писание, он был способен вполне самостоятельно и здраво судить о тех вопросах, которые не находились в непосредственной связи с его воззрениями на цели и содержание откровения и христианского учения. Поэтому он не разделял высказывавшихся теологами «монашеских» сомнений насчет того, действительно ли были у Иисуса братья и сестры. Он, ничем не стесняясь, доказывает негодность тех изворотливых толкований, с помощью которых иные пытались отвергнуть неоднократно упоминаемое в Новом Завете существование братьев и сестер Иисуса; он требует, чтобы слова евангелистов принимались в том смысле, в каком были сказаны. По его мнению, Мария могла быть избранной Богом матерью Иисуса, а Иисус мог быть рожденным вследствие непорочного зачатия Искупителем мира, хотя бы Мария не отказывалась, после рождения Христа,

¹ В оставшихся ненапечатанными местах из письма, написанного к Гаману в Троицын день 1775 г. (Соч. Гамана. IV, 141 и сл.).

от брачной жизни и хотя бы Христос рос вместе со своими родными братьями и сестрами. Отсюда видно, что если Гердер, с одной стороны, и не был в состоянии высвободиться из-под гнета предвзятых убеждений, то, с другой стороны, он мыслил вполне свободно. Точно так же, как у христиан апостольских времен, у него склонность к критике соединялась с религиозными верованиями, здравомыслие соединялось с мистической верой в чудеса, натуральные понятия перемешивались с фантастическими. Он не отдает себе ясного отчета о том, как трудно согласовать — не с монашеской, а с натуральной, чисто человеческой точки зрения — понятие о брачном сожитии Иосифа и Марии с понятием о сверхъестественном зачатии перворожденного сына Марии. Его собственная благочестивая вера не находит ничего непонятного в евангельском повествовании, и он без всяких усилий приходит к убеждению, что если Иисус и вырос в среде семьи, размножившейся путем естественных рождений, то этот факт соответствовал целям божеского Провидения.

В настоящее время почти все исследователи сходятся в убеждении, что упоминаемый в начале рассматриваемого Гердером послания Иаков был не кто иной, как брат Иисуса, — т. е. тот самый Иаков, о котором повествования апостолов и послание к галатам говорят, что он стоял в Иерусалиме во главе иудействующих христиан, и который, по словам Иосифа, впоследствии умер мученической смертью. Именно таково было и мнение Гердера. Но для него вовсе не существует вслед за тем вопрос, насчет которого мнения менее единогласны, — вопрос о том, было то послание написано самим братом Иисуса или кем-либо другим от его имени. Он прямо приступает к описанию характера и жизни Иакова на основании тех скудных указаний, которые находит в Новом Завете, у Иосифа, у Гегезиппа и в приведенном у Иеронима отрывке из евангелия назареев. Фантазия Гердера приходит на помощь к его предвзятому убеждению; он несколько не сомневается в том, что послание написано именно тем, кому его приписывают, что «приписывать его кому-либо другому значило бы сделать его непонятным с начала до конца, а что теперь оно становится ясным в каждом выражении, в каждом слове, в каждом слого». С этой точки зрения Гердер излагает и объясняет содержание послания. С полным сознанием своеобразных свойств и достоинств этого документа Гердер старается при изложении его содержания придерживаться его слога — даже того порядка, в котором в нем излагаются мысли, и даже его конструкции фраз, точно будто дело идет о каком-нибудь произведении поэзии. Он

находит, что это послание никак нельзя назвать «наполненным пустой болтовней», что оно постоянно «выходит из области прозы». Эти мнения он высказывает в примечаниях, постоянно стараясь выставить в самом ярком и самом благоприятном свете дух послания во всем, что рисует характер Иакова. Он находит, что здесь сказывается дух обратившихся в христианство фарисеев или ессеев, дух кротости и терпения, дух законности, но такой законности, которая допускает свободу и потому нисколько не противоречит учению св. Павла о необходимости веры.

Более осмотрительная критика, без сомнения, не найдет все эти воззрения вполне основательными и даже не найдет вполне точным то, что в них основательно; но не подлежит сомнению и то, что только гердеровская критика, вникавшая в самую суть дела, с ничем не стеснявшейся свободой и с душевной теплотой, была способна придать историческим исследованиям первобытного христианства такую наглядную понятность, без которой и чисто рассудочная критика может впадать в такие же заблуждения, в какие впадают люди, усваивающие без всякой критики всякие догматически предрассудки. Именно на этот раз Гердер попал на такой продукт новозаветной литературы, который был сравнительно прост и удобопонятен, который почти имел значение первобытного источника сведений и который был способен пролить свет на темные зачатки христианского учения. Независимо от того, кто именно был автором послания Иакова и было ли оно написано десятком лет раньше или позже, оно, бесспорно, знакомит нас с древнейшей, первобытной формой христианского учения и было написано иудействующим христианином в чисто христианском духе к другим иудействующим христианам. Гердер не питал сочувствия к этой древнейшей форме христианского учения, потому что слишком сильно увлекался мистическим глубокомыслием Евангелия св. Иоанна; он разделял мнения Гамана об «идолопоклонническом» уважении, с которым Толанд и его последователи относились к первобытной церкви как к настоящей и к истинной¹; тем не менее он был одарен таким пониманием исторических событий, что был способен с толковым сочувствием проследить, каким образом из той первоначальной узкой формы христианской религии развилась форма более широкая и с более духовным содержанием; его ум приступал к исследованиям с такой свободой, что был способен отыскать присутствие христианских идей даже там, где они еще находились

¹ К Гаману 15 июня 1775 г.

в «пеленках»; наконец, его уму все представлялось с такой живой наглядностью, что он усматривал ясно определенные факты в изменчивом ходе развития христианского учения и придавал этим фактам слишком много достоверности. Таким образом он составил из смешения достоверных фактов с сомнительными нечто вроде исторического повествования, которое в своих подробностях сильно нуждалось в пересмотре и в поправках, но в целом было довольно верным изображением внутренних порядков и преобразований в первоначальной христианской церкви. Он старается согласовать с посланием и с историей Иакова все, что говорит Эпифаний о секте назареев. Он говорит, что они были не еретиками, а иудействующими христианами, подчинявшимися одному из братьев Иисуса; их христианское учение было точно такое же, какое мы находим в писаниях св. Иоанна, св. Петра и св. Матфея; так как они находились в очень близких сношениях с членами Иисусова семейства, то они могли мало-помалу прийти к убеждению, что Иисус был ничего более, как сын Иосифа и Марии. Это были те самые христиане, которые спаслись бегством в Пеллу в то время, как римляне подступили к Иерусалиму. К ним было написано послание Иакова — это был «последний колокольный звон, долетевший до их слуха, прежде чем этот религиозный памятник был обращен при помощи каменьев и молитв в развалины за несколько лет до разрушения Иерусалима». Но с назарейми имели много общего эбиониты, хотя их разогнали и преследовали иным способом. Наконец, Гердер старается доказать, что и евангелие назареев, и евангелие эбионитов были не что иное, как еврейские подлинники, послужившие образцами для св. Матфея, и что сначала первое из тех евангелий, а потом и второе были совершенно позабыты теми, для кого были написаны.

В том, что касается послания Иуды, Гердер твердо придерживается убеждения, что непосредственно из «Зенд-Авесты» следует черпать объяснения Нового Завета. Послание, которое было написано братом Иакова и братом Иисуса, Иудой, носит, по словам Гердера, отпечаток учения «Зороастра, религии персов и магов». Исходя из этой предвзятой мысли, он считает достоверным предание, будто сфера деятельности Иуды находилась в верхней Азии, в Персии. Этим и объясняется в его глазах особый отпечаток, который лежит на этом послании. По его мнению, оно было написано не против гностиков, а против персидских еретиков, против тех пошлых, погруженных в чувственность людей, которые относились к христианскому учению с пренебрежением, потому

что оно не обращалось к чувственности; наш теолог даже не отказывает себе в удовольствии сравнить тех еретиков, которых так усердно и так горячо уличал Иуда, с теперешними «отвергающими христианство философами, у которых религия основана на здравом человеческом рассудке!» Таким образом, Гердер вовлекается в не выдерживающие никакой критики суждения, с одной стороны, под влиянием своей излюбленной идеи и своей склонности к незрелым выводам, с другой стороны, из горячего желания доказать неосновательность идей, возникших в так называемом веке Просвещения. Впрочем, его эстетическое чутье проявляется в том, что он самым решительным образом признает послание Иуды за оригинальное произведение, а второе послание св. Петра — за более разукрашенную копию. Но какую невысокую цену имеет это субъективное чувство, взятое в отдельности! Ведь оно не мешает Гердеру утверждать, будто св. Петр, незадолго до своей смерти, грелся у огонька, разведенного его более молодым предшественником, и будто он прибавил к тексту послания Иуды такое начало и такой конец, «какие мог прибавить только св. Петр»!

III. «Откровение св. Иоанна»

В «Посланиях двух братьев Иисуса» (с. 64) есть указание на то, что Гердер предполагал заняться разбором содержания наших Евангелий. Сравнительную краткость третьей книги «Объяснений Нового Завета» Гердер оправдывал, в одной из оставшихся ненапечатанными приписок, своим намерением поговорить о том же предмете «подробно в другом месте», а в напечатанных «Объяснениях» (с. 122) снова говорится — по поводу обещанного воскрешения мертвых, — что нет никакой возможности объяснить это учение из того, что говорится у идолопоклонника Зороастра и что, подобно самой священной части Нового Завета, оно находится в связи с непосредственным божеским откровением с самого начала мира.

Из этих слов, по-видимому, можно заключить, что в уме Гердера возникло намерение указать связь между «Древнейшим документом», т. е. между началом Ветхого Завета, и последней пророческой книгой Нового Завета.

Кроме того, были и другие мотивы, побудившие Гердера заняться преимущественно этой пророческой книгой, т. е. Апокалипсисом св. Иоанна. Именно Апокалипсис получил в глазах Гердера выдающееся значение вследствие тех исследований

о древнейшей истории церкви, на которые он был наведен посланиями Иуды и Иакова. Да и по своему содержанию Апокалипсис — самая поэтическая из всех новозаветных книг.

В особенности с этой последней стороны «Откровение св. Иоанна» было привлекательно для Гердера — как он сам в том сознается в «Теологических письмах» 1780 г.¹ Картинность и символические выражения этой книги казались ему такими возвышенными, благородными и изящными, что он чувствовал непреодолимое желание перевести ее и объяснить ее содержание. Только осенью 1779 г. вышло в свет новое сочинение под следующим заглавием: «*Maran atha*. Книга указанной Богом будущности, печать Нового Завета»², а летом того же года оно получило ту форму, в которой предстало пред публикой³. Однако, судя по тому, что сказано в первой приписке, Гердер начал писать его еще в 1774 г.; даже можно предполагать, что оно было начато годом ранее, если принять в соображение одно указание в «Теологических письмах», между тем как из содержания писем, которые Гердер писал из Бюкебурга, можно заключить, что оно было начато не ранее весны 1775 г.: ведь автор в первый раз упоминает о нем в письме к Лафатеру, написанном в апреле 1775 г., и в письме к Гаману, написанном 18 июня того же года⁴. При этих письмах препровождались экземпляры «Объяснений Нового Завета» и «Посланий двух братьев Иисуса», и в то же время в них высказывалось обещание написать «нечто новое». Стало быть, следует полагать, что новое сочинение было написано

¹ В 21-м письме второй части (с. 362 и сл.); оно было снова напечатано в SW (в отделе теологии XII, 261 и сл.), а теперь его можно найти в SWS (XI, 139 и сл.).

² В Риге у Гарткноха со следующим эпиграфом: «Свидетельство Иисуса есть дух пророчества», 345 стр. in 8°; сравн. письмо Каролины к Глейму от 2 января 1780 г. (С, I, 69) и письмо Гердера к Мендельсону от 10 декабря 1779 г. (А, II, 217).

³ Еще в мае он предлагал издать к дню св. Михаила это свое «образцовое и последнее сочинение» (к Гарткноху 6 мая 1779 г.; сравн. окончание письма, написанного 10 октября 1779 г.). В июле он был занят этой работой (к Лафатеру № 54); 18 августа она была «вообще успешно доведена до конца» (к Гаману 29 августа 1779 г.: Соч. Гамана. VI, 94) и в течение того же месяца была напечатана (к Гарткноху 29 августа 1779 г., в рукописи; сравн. С, II, 86, прим.).

⁴ А, II, 130 и в письме к Гаману, сохранившемся в рукописи: «Я, быть может, скоро пораду вас чем-нибудь новым» (Соч. Гамана. V, 148). Еще 30 октября 1772 г., в письме к Лафатеру, он называл «Откровение св. Иоанна» такой поэтической книгой, содержание которой ему непонятно.

или в одно время с двумя только что нами упомянутыми, или немедленно вслед за ними.

В оставшихся после смерти Гердера бумагах эта книга имела в своей первоначальной форме только семьдесят пять листиков в четвертку и носила следующее заглавие: «*Johanne's Offenbarung. Ein heiliges Gesicht; ohn' einzelne Zeichendeutung verständlich*»; она имела следующий эпиграф: Εὐω το Α και το Ω. Ερχομαι ταχυ. Ερχου. Это та самая рукопись, которая уже в то время читалась в маленьком кружке друзей Гердера. Наученный прежним опытом, автор приступил на этот раз к делу с крайней осмотрительностью. Чтобы избежать переделки своего сочинения, после того как оно будет напечатано, он пожелал заранее узнать мнения своих друзей. Прежде всех других прочла новое сочинение графиня Мария; познакомившись с содержанием «Посланий двух братьев Иисуса», она обратилась 5 мая 1775 г. к Гердеру с просьбой прислать ей рукопись¹. Что эта рукопись находилась не в руках Гердера, видно из коротенького письма к Лафатеру, написанного стихами в июне того же года; она перешла осенью из рук Гёте к Лафатеру, а Ленц получил ее, как кажется, от самого автора. Она была передана Гердером в 1777 г. графу Генриху Эрнсту Штольбергу с просьбой высказать его мнение; и мнение Цолликофера Гердер пожелал выслушать прежде, чем отдавать ее в печать. Гердер говорил правду, когда писал Гарткноху и в «Теологических письмах», уже после выхода в свет новой книги, что она уже была прочитана множеством различных людей в целой половине Германии².

В конце 1775 г. автор пришел к убеждению, что его работа требует пересмотра³, и множество исписанной бумаги свидетельствует о неоднократных переделках, частью вполне оконченных, частью оконченных только наполовину; одна из этих переделок с посвящением в честь верной бюкебургской доброжелательни-

¹ В письме к Каролине, сохранившемся в рукописи.

² К Лафатеру № 37 (А, II, 139) — касательно времени, когда было написано это письмо, сравн. «I. G. Zimmermann» Бодемана (с. 89); к нему же 4 октября 1775 г. (А, II, 142): «Мой Апокалипсис тебе перешлет Гёте или уже переслал». Этой книги ожидал Лафатер, а вместе с ним ее ожидал весь кружок цюрихских литераторов (к Гердеру 7 октября 1775 г. А, II, 146); 8 ноября она находилась в руках Лафатера (А, II, 148); письма Ленца к Гердеру, к сожалению, без пометы числа, № 8 (А, I, 236 и сл.); письмо графа Штольберга к Гердеру от 11 мая 1777 г. (сохранившееся в рукописи) и (также сохранившееся в рукописи) письмо Цолликофера к Гердеру от 15 сентября 1779 г.; к Гарткноху 10 октября 1779 г. (С, II, 87) и в «Теологических письмах» (Там же).

³ К Лафатеру 30 декабря 1775 г. (А, II, 153).

цы, г-жи Бешепфер, уже была, по-видимому, готова к печати в феврале 1778 г., но была еще раз задержана для нового пересмотра¹. Несмотря на это, сам Гердер не придавал большой важности различию между напечатанным сочинением и его первоначальной формой. Нельзя придавать существенного значения той перемене, что перевод был первоначально изложен чем-то вроде вольного стихотворного размера; более существенные перемены заключались в следующем: автор сначала придерживался мнения, что «Апокалипсис» был написан после разрушения Иерусалима, в царствование Домициана², а потом перешел к убеждению, что эта книга была написана за шесть или за семь лет до разрушения города, в царствование Нерона; в связи с такой переменной находится изменение некоторых подробностей и более тщательное их объяснение; однако и эти перемены мало касались сущности воззрений Гердера. Автор не вполне прав, когда говорит в «Теологических письмах», что при переделке своего сочинения он только отбросил ямбы, а комментарии оставил без изменений, — ведь он сам прибавляет, что о разрушении Иерусалима вообще мало говорилось в первоначальной рукописи. Но он вполне основательно утверждает, что и прежде и после он держался того мнения, что иносказательные выражения, в которых автор «Апокалипсиса» намекал на события иудейской войны или на разрушение Иерусалима, заключали в себе указания на иные, более важные, факты. Говоря о несходстве между своими прежними и более новыми объяснениями тех иносказательных выражений, он пишет: «Для моей цели вовсе не было надобности расследовать, был „Апокалипсис“ написан до разрушения Иерусалима или после. И в том и в другом случае и содержание, и цель „Апокалипсиса“ остаются все теми же: эта книга описывает будущность царствия Иисуса, аллегорически сравнивая его с первым пришествием Иисуса».

Именно это основное воззрение выступает наружу в первоначальной рукописи более ясно, чем в книге, носившей заглавие «*Maran atha*». Позднее предпринятые автором более подробные

¹ Пока еще не вышло в свет все издание Суфана, мне приходится ссылаться на то, что говорится о различных редакциях нового сочинения у И. Г. Мюллера (SW в отделе теологии. XII, предисловие) и в прибавлениях к его книге (с. 264 и сл.). Однако и Мюллер не мог воздержаться от изменения в гердеровской рукописи некоторых выражений, которые показались ему не совсем личными.

² Слово «Диоклетиан» находится и в письме к Лафатеру (А, II, 153), и в рукописи 1774 г. вследствие описки.

объяснения отдельных аллегорий современными историческими событиями лишь затемняют мысль автора, не говоря уже о том, что они неудачны. Первоначальное изложение имеет те преимущества, что оно было плодом первоначально возникшей идеи и носит на себе такой отпечаток безыскусственности и свежести, который впоследствии совершенно исчез вследствие стараний автора ничего не оставлять без объяснений и предотвратить возможность возражений. Не только перевод, но даже комментарии сначала имели более поэтическую форму, гораздо менее отзывались притязаниями на ученость и были чем-то вроде импровизации, рассчитывавшей на понятливость добродушных читателей¹. Новый издатель сочинений Гердера, конечно, поступит совершенно правильно, если поместит текст 1774 г. наряду с тем, который был напечатан; но нам приходится взять в основу для нашего разбора позднейший текст 1779 г., т. е. тот текст, который составляет содержание напечатанной книги. Мы в этом случае поступим точно так же, как поступил сам автор, когда в феврале 1778 г. в предисловии к гораздо более обширной переделке своего сочинения выставил слова: «Бюкебург, в марте 1775 г.»² Ведь именно в том городе и в то время возникли зачатки его сочинения; отсюда это сочинение извлекло свои лучшие соки и туда следует отнести его как дополнение к «Древнейшему документу» и как последнее из того ряда сочинений, для которых служили лишь прелюдии «Приложения к философии истории».

Итак, под влиянием сильного впечатления, которое произвел на Гердера аллегорический способ выражения в «Апокалипсисе», он стал объяснять содержание этой книги точно так же, как объяснял «поток аллегорических выражений» в первой главе первой книги Моисея, — с той только разницей, что на этот раз он был менее многоречив. Ввиду постоянной зависимости «Апокалипсиса» от пророческих ветхозаветных повествований, он счел нужным начать с объяснения этих последних. При этом он руко-

¹ Новые элементы проникали в переделку лишь мало-помалу. Еще в редакции 1778 г. (которая, впрочем, остановилась на первой половине сочинения) заглавие было следующего содержания: «Iohannes, Offenbarung; ohne Zeichendeutung in ihrer verständlich schönen und hohen Bilder sprache, unbefangenen Iunglingen und Anfängern erläutert».

² Это видно из того факта, что сообщенное Мюллером (с. 9) предисловие хотя и подписано «Б... в марте 1775 г.», однако впервые оканчивается следующими словами, заключающими в себе анахронизм: «Впрочем, это сочинение посвящено памяти усопшей, находившей в нем утешение еще в последний год своей жизни и т. д.». Сообщенная Мюллером приписка устраняет тот анахронизм, что Гердер имел в виду графиню Марию, умершую лишь в 1776 г.

водствуется и некоторыми другими соображениями. Он хочет оказать «аллегориям этой книги такую же честь, какую мы оказываем всякому поэту и всякому писателю», т. е. «при ее чтении иметь в виду ее внутреннюю связь и извлекать ее объяснения из нее самой». Кроме того, ее следует объяснять сообразно с условиями того времени, когда она была написана. Мы должны мысленно перенестись в первое столетие после Р. Х., должны мысленно перенестись в положение тех, для кого она была предназначена, должны освоиться с ее языком, с ее историей, с высказываемыми в ней надеждами и с достигнутыми ею результатами. При таких руководящих идеях Гердер решительно и с успехом восстает против более старых объяснений книги, основанных на причудливых догадках, и, между прочим, против тех объяснений, в которые вовлекся дальнзоркий Бенгель в первой половине XVIII столетия. «То бабьи сказки, — говорит он, — когда утверждают, что есть особый ключ для понимания той книги или что этот ключ утерян». А в другом месте он говорит: «Во всей этой книге я не нахожу ни одного мистического и типического выражения».

Но как ни похвально намерение Гердера извлекать из самых аллегорий объяснение их смысла и придавать им только такое значение, какое имел в виду их автор, все-таки остается сомнительным, способен ли возвыситься до чисто объективных толкований такой писатель, который смотрит на свой сюжет пристрастными глазами влюбленного? В глазах Гердера «Апокалипсис» не только поэтическая книга, но такая книга, которая полна самой возвышенной, самой неподражаемой поэзии. Всякий беспристрастный исследователь приходит к убеждению, что по своей свежести и оригинальности она далеко уступает ветхозаветным книгам и даже что она почти вся наполнена позаимствованиями. Действительно, она лишь собирает в одно пестрое целое отрывки более древних пророчеств. Фантазия автора «Апокалипсиса» пленяется тем, что наводит ужас и поражает своей чудовищностью. Всякому сколько-нибудь беспристрастному читателю бросается в глаза и отрывочность аллегорий, и отсутствие всякого плана в изложении. Гердер вовсе не признает существования этих эстетических недостатков, которые он называет недостатками только для «просвещенного слуха» его современников. Он старается убедить себя в том, что хотя и не следует «рисовать аллегории на лохмотьях», но что аллегории «Апокалипсиса» вообще естественны, изящны, возвышенны, что автор пользуется ветхозаветными пророчествами самым наглядным, самым изысканным и самым разумным способом, что вся книга написана по достойному удив-

ления плану. Мы, конечно, находим вполне основательным требование, чтобы истолкователь прежде всего вдумался в объясняемое им сочинение и прочувствовал его содержание; но он может сделаться верным и поучительным истолкователем только тогда, когда охладает его воодушевление. А объяснения Гердера написаны под влиянием его воодушевления и сводятся к напыщенной перефразировке оригинала, неспособной убедить такого читателя, ум которого не отуманен пристрастием Гердера.

Кроме того, Гердер смотрит на «Апокалипсис» с совершенно оригинальной точки зрения и вносит в изложение аллегорий свойственную ему беспокойную торопливость. По нашему мнению, в «Апокалипсисе» беспрестанно встречаются сбивающие читателя с толку недомолвки, вследствие того что в нем много вставных пророческих видений. Иначе смотрит на эту книгу наш комментатор: он находит, что вся она представляет собой от начала до конца описание будущего пришествия Христова и что изложение ее содержания должно производить цельное впечатление. Однако он полагает, что нет возможности достигнуть такой цели! «Смысл слов улетучивается, между тем как слова медленно ползут одни вслед за другими; перед нами полная жизни аллегория, но слова так часто приходится размещать в самом разнообразном порядке, что аллегория не утрачивает наглядности только в глазах такого читателя, который полон воодушевления». Он на каждом шагу сознает противоречие между раздроблением аллегорий на составные части и той последовательностью во времени, в которой аллегории изложены их автором. Он старается преодолеть это затруднение, то снова соединяет в одно целое разделенные на части аллегории, то спешит перейти к тому, что следует далее, то делает только намеки взамен объяснений, то обходит затруднения, вместо того чтобы останавливаться на них, — иначе говоря, он постоянно ведет борьбу с трудностями объяснения, а разве такая борьба не должна была иметь неизбежным последствием торопливость, запутанность и неясность?

Наконец, главный недостаток заключался в том, что Гердер смотрел на «Апокалипсис» с такой же точки зрения, с какой смотрел на книги Моисея, на Евангелия и на все новозаветные книги, за объяснение которых брался. Для него «Апокалипсис» не только поэтическая и не только религиозно-поэтическая книга, но, сверх того, заключающая в себе божеское откровение. Она написана, бесспорно, языком своего времени и под влиянием условий своего времени человеческой рукой, и потому ее содержание следует объяснять так же, как объясняют содержание

других литературных произведений, — но ее настоящим автором был Бог. «Даже в писаниях пророков, — говорит Гердер, — Бог применялся к любимым и нередко юношеским понятиям этих людей; пророки были чем-то вроде струнных инструментов, из которых Бог извлекал самые нежные звуки». Автор уверен, что нашел здесь такое откровение, с которым не может равняться никакое другое, которое служит довершением и дополнением того первоначального откровения, которое мы находим в повествовании о сотворении мира и в котором заключается ключ к объяснению истории человечества. Он приступил к объяснению этой книги, только потому что она подтверждает данное в Ветхом и в Новом Завете обещание приближающегося царствия Божия и Христова, только потому что она заключает в себе ручательство в том, что «кукольная комедия» истории и «мелочная жизнь нашего времени, похожая на жизнь улитки или червяка», преобразится в вечную жизнь, в вездесущее присутствие того, от кого все получает и свое начало и свой конец.

Таким образом, оказывается, что эстетические воззрения Гердера подчиняются его богословским воззрениям и суживаются под их влиянием, а в своих историко-критических суждениях он также стеснен этим влиянием.

Это видно уже из того, что он говорит об авторе «Апокалипсиса». Историческая критика бесспорно доказывает, что автор «Апокалипсиса» не мог быть автором четвертого Евангелия. Но Гердер отвергает этот факт с пылкостью слепого энтузиазма. В подтверждение своего мнения он ссылается только на субъективные чувства, но выражает эти чувства в самой напыщенной форме: «У кого есть глаза, чтобы видеть, и есть душа, чтобы чувствами понимать характер какого-либо произведения, тот найдет, что ум и сердце Иоанна верно отражаются в его Откровении, или же признает, что и другие его сочинения написаны кем-нибудь другим». При изложении своих доводов, сильно отзывающемся декламацией, Гердер вовлекается в софизмы — например, когда он объясняет стилистическое отличие Евангелия от Апокалипсиса различными требованиями стиля исторического и стиля поэтически-пророческого. «Что сказали бы, — восклицает Гердер, — о том, кто стал бы сравнивать катулловскую Беренику и Пелея с каким-нибудь жизнеописанием у Непота?» Какой странный аргумент! Ведь если между Откровением св. Иоанна и его Евангелием так же мало сходства, как между описанием Береники и Пелея, с одной стороны, и жизнеописаниями императоров — с другой, то отсюда следовало бы заключить, что Откро-

вание и Евангелие принадлежат таким же несхожим между собой писателям, какими были Катулл и Непот.

Закоренелые теологические предрассудки вовлекают Гердера в различные заблуждения и в том, что касается понимания современной истории, — смысла и значения «Апокалипсиса».

Он становится на вполне верную точку зрения, когда говорит, что св. Иоанн должен был писать свою пророческую книгу языком, понятным для тех, для кого она была предназначена. Он также верно замечает, что высказанные в этих пророчествах обещания должны были осуществиться, по мнению св. Иоанна, в самом непродолжительном времени. Стало быть, говорит Гердер, снова увлекаясь предвзятыми мнениями верующего, следует полагать, что эти обещания осуществились уже давно, именно в предсказанном близком будущем, потому что, если бы они не осуществились, они были бы ложным предсказанием; ведь предсказание, сделанное *post eventum* (как он сам сначала думал), не есть предсказание. А в доказательство того, что «Апокалипсис» действительно заключал в себе предсказания, Гердер ссылается главным образом на сходство между содержанием «Апокалипсиса» и предсказаниями Христа. Он снова основательно указывает на сходство между содержанием этой книги и теми словами Иисуса, которые приведены в 24-й и 25-й главах Евангелия св. Матфея; эти слова служат, по его мнению, «ключом для объяснения Апокалипсиса». Однако вслед за тем Гердер обнаруживает полное отсутствие всякой критики, когда говорит: «Если эта книга заключает в себе неправду касательно царствия Христова, которое служит для нее главным содержанием, и если эта неправда доказана неисполнением предсказаний в указанное время, то следовало бы признать, что Христос, Евангелия и апостолы также говорили неправду». Христос уже ранее предсказывал разрушение Иерусалима. Автор «Апокалипсиса» повторяет это предсказание, только видоизменяя его под влиянием позже пережитых событий и подробностей иудейской войны. В напечатанных комментариях — в которых, как было нами ранее замечено, Гердер говорит, что «Апокалипсис» был написан до разрушения Иерусалима, в 63 или 64 г., — он постоянно сравнивает аллегории «Апокалипсиса» с историческим повествованием Иосифа и находит возможным доказывать даже на мелких подробностях, что эти аллегории вполне согласны с самыми выдающимися фактами иудейской войны. Даже если допустить основательность этих мнений, то нам все-таки придется натолкнуться на непреодолимое затруднение: ведь, по словам «Апокалипсиса», немед-

ленно вслед за разрушением Иерусалима должны были совершиться второе пришествие Христа, воскресение мертвых, общий суд и должно было начаться тысячелетнее царствие — но эта часть предсказаний не исполнилась на деле. Гердер сознает, как трудно устранить такое серьезное и решительное возражение, — но он находит средство выпутаться из затруднения! Он прибегает к тому же мистицизму, которым отличались его «Объяснения Нового Завета». Он истолковывает содержание «Апокалипсиса» в том же спекулятивно-мистическом духе, в каком было написано Евангелие св. Иоанна, и с тем складом ума, который усилился в нем вследствие чтения сочинений Спинозы. Он решительно восстает против антирелигиозного мнения «пустомелей и их единомышленников»¹, будто «Апокалипсис» не что иное, как иудейско-христианская поэма. Это мнение он находит таким ужасным, что никак не может допустить его. Нет, говорит он, как с несомненной ясностью исполнилось предсказание о разрушении Иерусалима, так же точно должно исполниться предсказание второго пришествия Христа. Оно должно исполниться и непременно исполнится! В этом случае Гердер позволяет себе буквально объяснять значение слова «скоро», когда речь идет о разрушении Иерусалима, и объяснять то же слово в переносном смысле, когда речь идет о втором пришествии Христа! От основательного мнения, что «Апокалипсис» был написан для тогдашних христиан и был для них понятен, потому что применялся к событиям того времени, Гердер делает странный скачок и высказывает убеждение, что эта книга должна быть еще более понятной для нас. Изречение, что «никому не известны время и час», он объясняет вовсе не в том смысле, в каком его понимали апостолы. Он полагает, что с этим изречением Христа нельзя согласовать мнение, будто автор «Апокалипсиса» намеревался заранее указать час второго пришествия. «Я признаюсь, — говорит он, — что если бы таково было намерение автора Откровения, если бы у него хоть слегка зародилось такое намерение, то я немедленно отвергнул бы эту книгу как несогласную с христианским учением. В том-то и заключается духовная сущность христианства, что никому не известно пришествие Господне, что каждый ежечасно ожидает этого пришествия и готовится к нему добрыми делами». Гердер полагает, что все это ясно видно из содержания «Апокалипсиса»! В словах «скоро», «скорое пришествие» заключается, по его мнению, отсутствие какого-либо определенного указания времени! Автор «Апокалипси-

¹ Так сказано в рукописной редакции 1778 г.

са» точно указывает время, а по мнению Гердера, он возбраняет какое-либо точное указание времени и, становясь на более возвышенную точку зрения, сам отвергает только что сделанное им исчисление времени касательно подробностей иудейской войны! По словам Гердера, в «Апокалипсисе» все содержание сводится к пришествию Христа, συντελεῖα αἰῶνος значит то же, что παρουσία, а это последнее слово означает и настоящее и будущее!

Нет надобности доказывать, что такое воззрение не может быть согласовано ни с какими принципами экзегетики и представляет самое непозволительное извращение ясного смысла текста. Усваивая эту теорию, основанную на «более возвышенной точке зрения», Гердер отказывался от исторической точки зрения и снова брался за тот фантастически-метафорический способ объяснений, который сначала был им самим признан за неудовлетворительный. Он сначала говорил, что во всем «Апокалипсисе» нет ни одного мистического и типического выражения, — а теперь он нашел, что вся эта книга типична и мистична в «здравом смысле» этих слов! От объяснений того, что полно мистицизма, конечно, следует воздерживаться и в здравом, и в нездравом смысле слова; но не менее несомненно и то, что — помимо требований экзегетики — мистика любознательного исследователя существенно отлична от мистики безусловного благочестия. А мистика Гердера, смотревшая на все и даже на историческое развитие *sub specie aeternitatis*, была настоящей религиозностью; в ней выражались убеждения, которые, при своем узком иудейском кругозоре, были проникнуты духом христианства наравне с убеждениями апостолов и даже — зачем об этом умалчивать? — были более искренны, более глубоки, были возвышенны и более истинны, чем убеждения автора «Апокалипсиса». «В том и заключается духовная сущность христианства, — говорит Гердер, — чтобы всегда ожидать пришествия Господня, но не спрашивать, когда настанет час его пришествия». Гердер развивает эту мысль¹ с самым привлекательным красноречием и не менее красноречиво доказывает, что именно с таким душевным настроением следует читать эту книгу, даже если бы подробная история ее воз-

¹ Люке (*Lücke. Versuche einer vollständigen Einleitung in die Offenbarung des Johannes*. 2-е изд. С. 1051) основательно хвалит идеальное воззрение Гердера. Кто прочтет в «*Maran Atha*» (с. 295 и сл.), тот не будет в состоянии разделять мнение Блека (*Bleek. Vorlesungen über die Apokalypse*. С. 59), будто в этом сочинении Гердера высказана менее определенно, чем в «Теологических письмах», та точка зрения автора, что разрушение Иерусалима служило ручательством за окончательную, более величественную развязку.

никновения оставалась неразъясненной, что эта книга написана для всех сердец и для всех времен; в ней изложена сущность христианства и всемирной истории; она носит на себе отпечаток убеждения, что пришествие Христа недалеко, что скоро настанет его царствие; поэтому она должна служить поучением и утешением для всех общин, в среде которых живет мысль о Христе.

При всех своих недостатках эти гердеровские комментарии на «Апокалипсис» в высшей степени замечательны. В них ярко бросающиеся в глаза заблуждения стоят наряду с драгоценными истинами. Здесь мы не найдем ни правильности строго логических выводов, ни выдержанности критико-исторической точки зрения. Кто привык к методическим исследованиям, тот всегда будет с досадой откладывать эту книгу в сторону; в этом отношении она стоит выше «Древнейшего документа», только потому что в ней делаются ссылки на более достоверные факты. Но и в ней, точно так же как в «Древнейшем документе», нет никакой выдержанной до конца, определенной точки зрения. Автор основывает свои объяснения то на смысле слов, то на смысле аллегорий, то на содержании книги. Он смотрит на объясняемый текст то с исторической точки зрения, то с символической, то с мистической и практической. Он постоянно высказывает зараз слишком много. Изобилие идей, нетерпеливая торопливость, блестящее разнообразие красок характеризуют и способ изложения, и ум автора. С другой стороны, в книге ярко выступает наружу та правда, которая основана на чувствах и фантазии, на поэтической восприимчивости и на глубоком влечении к тому, что идеально. Тем не менее новое сочинение Гердера было важным шагом вперед в объяснении «Апокалипсиса» и новозаветных книг. Впрочем, первый шаг к историческому объяснению «Апокалипсиса» уже был сделан Гуго Гроцием; потом женевец Абоци еще более ясно доказал, что «Апокалипсис» не что иное, как *extension de la prophétie du sauveur sur la ruine de l'état Judaique*; впоследствии шли по тому же пути Ветштейн, более шаткий в своих убеждениях Гаренберг и отличавшийся здравомыслием своей критики Землер¹. Гердер во многом сходил с этими писателями и в особенности с Абоци; он восставал только против выводов, к которым привела последователей Землера их историческая точка зрения; но он был тот, кто навсегда упрочил победу за теми ис-

¹ Самый полный обзор всех объяснений «Апокалипсиса» можно найти у Люке (с. 951 и сл.), более краткий обзор у Блека (с. 23 и сл.). В книге Вернера изложено содержание и взвешены тенденции гердеровских комментариев (с. 252 и сл.).

следованиями, в основе которых лежало изучение современной истории. Он достиг этого результата не своими учеными исследованиями, которые вызывали немало основательных возражений, а именно своими отступлениями, в которых не было ни учености, ни метода. Именно позитивизм его воззрений был той внешней оболочкой, под которой критика могла пустить глубокие корни. Благодаря тому что его изложение отличалось душевной теплотой и воодушевлением, благодаря тому что он постоянно указывал на поэтическое содержание «Апокалипсиса» и на его практическую применимость, эта мрачная и непривлекательная для чтения книга приобрела друзей и поклонников; вместе с этим Гердер примирил теологию с тем критико-историческим направлением, которое казалось таким непривлекательным в лишенном всякой поэзии, сухом изложении землеровских последователей. По выражению Люке, и другим исследователям пришлось идти по стопам этого «одаренного пророческим духом человека, умевшего придавать ясный смысл всему, что идеально». Он писал 8 сентября 1781 г. Гердеру: «Вы были одним из моих первых руководителей, даже моим единственным руководителем при изучении покрытого мраком содержания книги св. Иоанна»; и Гердер со своей стороны сочувствовал дальнейшим исследованиям своего последователя; он даже стал мало-помалу соглашаться с воззрением на «Апокалипсис» как на драму и говорил, что признает комментарии Эйхгорна за «первые настоящие комментарии этой книги». Для оценки и для понимания этой пророческой книги наступила новая эпоха вследствие более подробного изучения иудейско-апокалипсической литературы, предпринятого Блеком и Эвальдом; с другой стороны, Тюбингенская школа попыталась доказать, что чисто историческое воззрение на «Апокалипсис» способно оценивать по достоинству и поэтическое, и пророческое содержание этой книги, не увлекаясь никакими предвзятыми теологическими убеждениями и не впадая в мистицизм; выводы Гердера были частью одобрены, частью устранены; тем не менее из его гениального сочинения до сих пор сыплются искры для всякого, кто умеет их находить под дымом и пеплом.

СОЧИНЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО И ФИЛОСОФСКОГО СОДЕРЖАНИЯ; ПРОДОЛЖЕНИЕ «ДРЕВНЕЙШЕГО ДОКУМЕНТА»

І. Второе сочинение, удостоенное премии

Именно в то время (в июне 1775 г.), когда Гердер оканчивал первоначальную редакцию своей книги «Откровение св. Иоанна», он получил неожиданное вознаграждение за разнообразные неприятности, которые навлек на себя своими теологическими сочинениями. Берлинская академия вторично присудила ему премию в своем заседании 1 июня 1775 г. На этот раз премия была назначена за сочинение, принадлежавшее к сфере изящных наук, — за ответ на предложенный 3 июня 1773 г. вопрос: «Какие причины вызывают извращение вкуса у различных народов?»

И в глазах самого Гердера, и в глазах его друзей это отличие служило вознаграждением за прошлое. Лишь только Гаман узнал о назначении премии из газет, он поспешил выразить Гердеру в письме свою радость. Сердечно радуясь, говорит он, что на долю моего друга выпало «это небольшое удовлетворение», несмотря на противодействие со стороны его врагов, и надеюсь, что «эта вторая пифийская победа будет полезна для нашей *ecclesia pressa*». Новое сочинение скоро появилось в печати. Его прочли и Глейм, и Лафатер, а этот последний писал Гердеру от имени всех членов цюрихского литературного кружка: «Мы детски радуемся тому, что безумные люди все-таки вынуждены преклоняться перед тобой»¹. И Гердер писал в ответ на поздравления Гамана, что неожиданно узнал об оказанной ему чести из «Вандсбекеровского вестника»: «Тогда моей радости не было пределов не столько ради самого меня, сколько ради моих друзей и врагов...»²

¹ В письме, помеченном 18 июня 1775 г. в оригинале, из которого и много другого выпущено в печати.

² Соч. Гамана. V, 144, 145; Глейм к Гердеру 6 октября 1775 г.; Лафатер к Гердеру 8 ноября 1775 г. — Сочинение было напечатано in 8°; оно «было издано по распоряжению академии» у Фосса в Берлине в 1775 г. под следующим заглавием: «Причины извращения вкуса у различных народов, прежде отли-

Победа Гердера не была бесспорной. По словам Николаи, смотревшего на это дело с чувством недовольства, французские члены академии предъявили формальный протест против присуждения премии Гердеру, но влияние Вегелина взяло верх; к тому же все другие присланные в академию сочинения были очень плохи; кроме того, в постановление о присуждении премии Гердеру была включена оговорка, что в первой части сочинения было бы желательно более подробное изложение¹. Зульцер не был членом того отделения академии, ведению которого подлежали изящные науки; директором этого отделения состоял с 1772 г. Мериан; Гердер считал его за «любезного, добросердечного человека» и ожидал от него благоприятного отзыва². Во всяком случае, одержанная Гердером победа была победой немецкого литературного направления над французским; вместе с тем она свидетельствовала о том, что более свободные, более гениальные эстетические воззрения брали верх над более узкими воззрениями старой литературной школы. Действительно, сочинение Гердера вовсе не лестно отзывалось об искусствах и литературе века Людовика XIV и решительно восставало против мнения, будто для развития изящного вкуса необходимо покровительство высокопоставленных людей; а причину извращения вкуса оно усматривало в том, что иссякли гениальные творческие дарования. В нем встречались, как писал с некоторыми преувеличениями сам Гердер, «очень резкие выражения с требованиями большей свободы и с нападками на деспотизм грязного вкуса»; встречались и такие выражения, которые прямо метили в «зульцеровскую нравоучительную беллетристику».

Так выражался Гердер в письме к Гаману, который был очень недоволен первым сочинением, написанным Гердером на премию, а теперь обратился к Гердеру с вопросами, не приспособ-

чавшихся изяществом вкуса. Сочинение, получившее премию, которая была назначена на 1773 г. Королевской академией наук. Написано господином Гердером. *Multa renascentur quae jam cecidere*». Сочинению предпослано на страницах 3—56 сокращенное изложение на французском языке; на следующих 57—141 страницах изложено все содержание сочинения.

¹ Это видно из сохранившегося в подлиннике письма к Гаману от 18 июня.

² Гарткнох к Гердеру, Берлин, 10 июня 1775 г.; *Mémoires de l'Académie. Année 1775*. С. 20. О вышеупомянутом разномыслии между членами академии ничего не говорится в официальных академических документах. Что сделанная академией оговорка была очень неприятна для Гердера, видно из сохранившегося в оригинале гердеровского письма к секретарю академии Формею от 28 июля 1775 г.; это письмо сообщил мне Суфан.

лялся ли автор относительно слога и содержания своего сочинения к вкусам членов академии, не противоречил ли он тому, что говорил в своем «Приложении к философии истории», и принимался он за дело «как Улисс или как Аякс». «Как Аякс!» — отвечал Гердер, утверждая, что вовсе не отрекался от своих прежних основных идей. Прочитав статью, Гаман одобрил ее содержание. Он признавал, что автором высказано несколько истин, но находил, что автор не мог вполне удовлетворить ни своих друзей, ни своих врагов; ему казалось, что Гердер из благоразумной предосторожности постоянно имел в виду своих будущих судей. Действительно так было, и хорошо, что так было. Ведь и сочинение о происхождении языка ничего не потеряло, оттого что автор имел в виду вкусы тех людей, от которых зависело присуждение премии. Гердер не умел себя сдерживать, когда издавал сочинения без подписи своего имени, когда писал только для нескольких друзей или когда рассчитывал на такую публику, какой нигде нельзя было найти. Вследствие неприятностей, которые он навлек на себя своей несдержанностью, он стал осмотрительнее выражаться уже в своих последних теологических сочинениях; он был еще более осмотрителен, когда начал в конце 1774 г. писать сочинение для представления в академию. Он называет свое небольшое сочинение об извращении вкуса «беллетристическим школьным произведением»; но школьные требования, которым он подчинился, не стесняли полет его гения, а умеряли его и давали ему более правильное направление; они заставляли его излагать его идеи в более строгой последовательности, заставляли его не вступать в противоречия с господствовавшими в ученом мире понятиями, а главным образом не позволяли ему обходиться с языком и слогом с прежней причудливостью. Действительно, и по своему содержанию, и по своей внешней форме новое сочинение Гердера занимает середину между теми его произведениями, которые были написаны в бурный период его литературной деятельности, и тем более старым литературным направлением, которое подчинялось влиянию философии Лейбница и Вольфа. Здесь можно наглядно проследить, каким образом противоположные направления идей взаимно влияют одно на другое и тем способствуют успешному развитию образования и литературы. Гердер был вынужден преклониться перед требованиями академии, а академия была вынуждена признать заслуги нововводителя.

По своему содержанию это второе сочинение на премию не могло равняться с первым. Его тема находилась в связи с преж-

ними литературно-историческими и эстетическими воззрениями Гердера, а эти воззрения снова вставлялись в такую же историко-философскую рамку, какой придерживался автор в своих «Приложениях к философии истории». То было лишь возвратом к содержанию его прежних литературных произведений, что он стал теперь применять свою общую историческую точку зрения не к истории религий, а к истории поэзии и литературы. Для такого даровитого человека, каким был Гердер, это было не отступлением от главного предмета, а только дополнением ко всему, что уже ранее было им написано.

В первой части своего сочинения он заявляет о своем намерении извлекать из психологии главные основания для ответа на заданный вопрос; кроме того, он предполагает устранить некоторые предрассудки, представляющие препятствие для исторического исследования, которое только и может привести к действительному разрешению вопроса. Он начинает с положения, что изящный вкус не что иное, как умение правильно пользоваться теми природными дарованиями, которые составляют принадлежность гениальных людей, и что, стало быть, изящный вкус немыслим без гениальности. Представители старого направления нередко утверждали, что гениальность способна извратить изящный вкус; но Гердер полагает, что это мнение основательно только в том случае, когда гениальные дарования дурно применяются к делу, когда гений истрачивает свои силы на преследование каких-нибудь особых целей и на отыскивание подходящих средств. Точно так же отзывается он о мнении швейцарских эстетиков, будто рассудок — настоящий виновник извращения вкуса. Только тогда, возражает Гердер, когда рассудок уживается с гением, достигается то правильное пользование гениальными дарованиями, в котором проявляется изящный вкус; не настоящий разум, а только фальшиво направленный, только софистическое лжемудрствование может извратить изящный вкус. Наконец, он восстает против той нравоучительной эстетики, представителем которой считает эстетика академии Зульцера — конечно, называя его по имени. По поводу изданного Зульцером небольшого сочинения об изящных искусствах Гердер уже ранее того протестовал в письмах к Гейне и к Николаи — против нравоучительных тенденций этого писателя¹. Добродетель и изящный вкус, говорит Гердер, не одно и то же; государства, в которых процветал самый изящный вкус,

¹ № 10 писем к Гейне; № 11 писем к Николаи.

вовсе не отличались нравственными достоинствами. Можно только сказать, что влечение к изящному может служить вспомогательным средством для распространения хорошей нравственности и что там, где испорчены нравы, непременно портится и вкус, в котором сказываются наши умственные и душевные способности. Умение распоряжаться всеми душевными силами для житейских целей вовсе не то, что умение создавать художественные произведения при помощи наших умственных дарований; художник творит по инстинкту; односторонность влечений, даже доходящая до страстности, составляет главное условие для его творчества. Во всяком случае, изящный вкус может содействовать поддержанию благопристойности — наружного вида хорошей нравственности; а хорошая нравственность может со своей стороны служить примером и поощрением для изящного вкуса — но этим и ограничивается их взаимная связь.

Академия не была не права, когда признала объяснения Гердера недостаточно обстоятельными; действительно, эти объяснения были небрежно набросаны и вследствие осмотрительной сдержанности автора не имели той наглядности и точности, какую им придал бы Лессинг или Мендельсон. Впрочем, члены академии, присуждавшие премию, обратили главное внимание на исторический элемент в разрешении предложенной задачи¹. Еще более важное значение придавал этому элементу Гердер; он старался доказать, что с одними психологическими воззрениями недалеко уйдешь, что предположенной цели можно достигнуть не отвлеченными гипотезами, а путем основательного изучения исторических условий каждой отдельной эпохи.

Поэтому Гердер и придерживается этого направления во второй части своего сочинения. В остроумном очерке он характеризует каждую из тех четырех эпох, которые считаются эпохами процветания изящного вкуса. Уже говоря о первой из этих эпох —

¹ Il s'agit de bien observer la diversité de ces causes et celle de leur influence dans les différens siècles, ou le goût a dégénéré (Mém. de l'Académie. Année 1773. C. 11). Гердер писал Формею: «Оговорка, сделанная академией, несколько смутила меня, потому что я предполагал, что заданный вопрос вовсе не касался основ теории изящного вкуса; поэтому я намеревался выключить из моего сочинения ту часть, в которой шла речь об этих основах и которая, как мне казалось, слишком отзывалась немецким духом и заходила далее того, что требовалось. Я оставил ее в прежнем виде только потому, что считал ее положительно необходимой, ввиду ее связи со следующей частью; я мог бы улучшить и расширить ее, если бы мне было известно желание академии».

о процветании греческого искусства, он высказывает следующее основное положение, окончательно разрешающее заданный вопрос: и в данном случае, и во всех ему подобных причины извращения вкуса будут ясны, если мы выясним причины, вызвавшие развитие и процветание изящного вкуса. Так, изящный вкус греков был натуральным продуктом всего склада тогдашней жизни; он возник под совокупным влиянием нескольких факторов и был изящным национальным цветком, выросшим из свободной деятельности греческого народа, из его пылкого влечения ко всему изящному, из его светлого, меткого ума; а когда настал конец тому временному совпадению многих благоприятных условий, когда тот изящный цветок был лишен питательной почвы и чистого воздуха, и на него пахнуло воздухом, наполненным разными миазмами, то он засох так же натурально, как вырос. То же Гердер замечает и в развитии изящного вкуса у римлян. Он очень удачно характеризует несамостоятельность римлян в поэзии и в образовательных искусствах; он объясняет, почему только красноречие и история были у римлян своеобразными продуктами национальной жизни, почему они пришли в упадок вместе с упадком национального духа и почему ни поощрения, ни деньги императоров, ни выработанные подробные правила, ни хорошие образцы не могли восстановить пришедшего в упадок изящного вкуса. Более кратко и в общих чертах автор характеризует век Медичи. Это новое процветание изящного вкуса, давно подготавливавшееся появлением гениальных людей, носило в самом себе причину упадка, потому что было вызвано не силой природных влечений, а желанием подражать грекам. Еще слабее были жизненные силы изящного вкуса в веке Людовика XIV, и еще менее продолжительно было его процветание. Гердер уже ранее отвечал в своем путевом журнале на вопрос, что произвел этот век оригинального и какие недуги препятствовали в то время развитию изящного вкуса. Он повторяет те же замечания в более мягкой и более изысканной форме. Он говорит, что и во Франции процветание изящного вкуса было подготовлено гениальными людьми, что Людовик XIV возбуждал предприимчивость в сфере искусств и литературы, придавал ей блеск и внутреннее достоинство; но такой изящный вкус, который развивается под влиянием двора и высшего общества, не может долго оставаться неисторическим.

Все эти соображения основаны на самом простом принципе: как извращение вкуса, так и его развитие суть натуральные явления; вместе с исчезновением благоприятных условий вкус пор-

тится, а чем дольше существовали те благоприятные условия, тем дольше сохранялся изящный вкус. Эти положения так просты, что отзываются тривиальностью. Но выводы, к которым приходит Гердер, выставляют его сочинение в ином свете. Они приобретают значение основных законов, оттого что излагаются в связи с такими воззрениями, которые доказывают, что Гердер, до того времени постоянно восстававший против философии своего времени, снова подпал под влияние лейбницевских идей. Он говорит, что так как изящный вкус является лишь продуктом способностей, кроющихся в глубине нашей души, то его неоднократно извращение не должно приводить нас к ошибочному мнению, будто наша душа может когда-нибудь утратить те способности. Пока природа будет одарять некоторых людей гениальными способностями, она будет готовить периоды процветания изящного вкуса — что, как мы видим, и случается от времени до времени попеременно то в одной стране, то в другой. И Германия, которая старается высвободиться из под обломков развалившихся колоссальных сооружений, быть может, подготавливает для себя «век высокого философского вкуса». Человеческие усилия играют при этом лишь второстепенную роль, потому что гений создает лишь Творец, а благодаря этим гениям изящный вкус развивается сам собой. Мы можем только в качестве врачей или акушеров идти вслед за указаниями природы, которая постоянно заново создает, преобразовывает, улучшает и снова все разрушает.

Затем автор переходит к практическому применению своих выводов и посвящает ему всю третью часть своего сочинения. Ни в одном из сочинений Гердера нет недостатка в педагогических соображениях; так как он с ранней молодости привык учиться и учить, то соображения этого рода как бы сами собой примыкают к его историческим воззрениям, к изложению его теологических и эстетических убеждений; его идеи о воспитании и о научном преподавании очень часто служат основой для его воззрений на производительные силы природы, на внутренний смысл исторических событий, на конечную цель Божества. То сочинение, о котором теперь идет речь, очень близко затрагивает педагогические вопросы, от которых переходит к более возвышенной точке зрения — к внутренней связи между историей развития изящного вкуса и историей человечества.

То содействие, которое мы, по словам Гердера, оказываем развитию изящного вкуса, заключается в развитии врожденных дарований. Поэтому воспитание есть главное средство для раз-

вития вкуса. А для того чтобы воспитание развивало вкус, надо правильно руководить развитием врожденных способностей воспитанника, надо настраивать все его душевные силы — «как если бы это были струны лиры Аполлона» — на один тон. Но с какими трудностями сопряжена такая работа в наше время! Препятствиями служат и климатические условия, и нравы, и обычаи, и даже высшие умственные стремления; изящный вкус никогда не будет для нас такой же главной целью, какой он был у греков, так как изысканная чувственность была в Греции и натуральной внешней формой, и внутренним содержанием добродетели. Далее автор повторяет уже ранее высказанный им в «Отрывочных заметках» протест против бессмысленного обыкновения приучать юношество к внешнему подражанию древним образцам. Напротив того, он уже прежде горячо и даже не в меру настаивал на необходимости реального образования. Тем временем это образование получило широкое распространение; под влиянием Базедова оно сделалось крайне односторонним и стало приноравливаться к требованиям самого дюжинного утилитаризма. Гердер не питал сочувствия ни к личности Базедова, ни к его литературной деятельности¹, и потому выразил в следующих словах свое неодобрение: «Кто под каким бы то ни было предлогом отвлекает юношество от изучения древности, тот не может вознаградить за причиняемый им вред, снабжая юношество какими бы то ни было энциклопедиями, учебниками, сборниками правил и реальными познаниями». Гердер также протестует против того мнения, что гений должен полагаться на самого себя и не нуждается ни в каких правилах. В заключение автор возобновляет — в угоду членам академии — прежние нападки на нравоучительную эстетику, в сущности вполне согласные с его основными воззрениями на этику. Жизнь, говорит он, лучшая школа изящного вкуса. Если в ней нет ни благородства, ни свободы, то вкус портится. Свобода и гуманность представляют тот небесный эфир, в котором расцветает все изящное и хорошее. Стало быть, к ним и следует стремиться; ведь изящный вкус в сущности не что иное, как «правда и добро в изящной чувственной оболочке, не что иное, как разум и добродетель, облеченные в такую форму, какая всего лучше приспособляется к требованиям человечества». Оттого-то и можно ожидать еще небывалого и очень прочного развития изящного вкуса, можно ожидать наступления такой эпохи, когда будет процветать «высший философский вкус». Тогда изящный

¹ См. выше, с. 489.

вкус уже не будет «простым подражанием, модой и придворным вкусом; он даже не будет средством для изучения греческой или римской национальной жизни, а сделается, в союзе с философией и с добродетелью, прочным органом человечества». Этими словами Гердер слегка высказывает то воззрение на эстетику, в основательности которого он все более и более убеждался в зрелые годы своей жизни, — он подчиняет понятие об изящном не понятию о нравственности, а понятию о гуманности, основанному на нравственном принципе.

II. Сочинение, не удостоенное премии

И в то время, и впоследствии состязания из-за академических премий имели в глазах Гердера непреодолимую привлекательность. Так как и его собственный ум постоянно задавал для себя новые задачи, то он отчасти из любознательности, отчасти из честолюбия любил разгадывать те загадки, задавание которых в интересах науки составляло в то время один из главных предметов деятельности высших ученых корпораций. Чем выше ценились в то время, наряду с точными исследованиями подробностей и остроумными точками зрения, внешние достоинства изложения, тем более были привлекательны эти ученые состязания для человека, одаренного таким подвижным и всеобъемлющим умом, — и Гердер воображал, что его призвание заключалось в том, чтобы выказывать и упражнять в такой работе его разнообразные способности.

Но как бы ни было высоко наше мнение о разносторонности его дарований и о его усидчивости в работе, мы все-таки поражены удивлением, когда заглядываем в скрытые от глаз публики сферы его деятельности и находим в них новые литературные замыслы, по-видимому, не имеющие никакой связи с его печатными сочинениями. Мы уже ранее видели, что при обсуждении вопросов и эстетических, и религиозных он обыкновенно соединял исторические соображения с философскими, а при изложении своих исторических взглядов всегда имел в виду общее развитие всего человечества. Поэтому мы с удивлением узнаем, что тем временем он предпринимал и чисто исторические работы, что он брался за разъяснение некоторых исторических вопросов. В мае 1774 г. он писал Гаману, что вместо филологических исследований он стал заниматься разными другими предметами, «касающимися преимущественно истории»; это подтверждается и дву-

меня написанными для академии статьями, из которых одна была напечатана, а другая сохранилась в рукописи. Темы этих двух статей касаются начала Средних веков, т. е. того времени, когда «жизненные соки северных и южных народов» находились в состоянии «брожения», а из соприкосновения христианского направления ума с «готическим» возникли новые формы как государственной жизни, так и церковной. По поводу заданной на 1774 г. гёттингенским ученым обществом задачи на премию Гердер написал статью под заглавием: «Каким образом немецкие епископы превратились в государственные чины»; в то же время он написал статью на тему, заданную какой-то академией — по всему вероятно французской; в этой статье шла речь о причинах, по которым Каролинги менее долго удержались на французском престоле, чем более слабые Меровинги¹.

Эти литературные труды служили противовесом для «Древнейшего документа», потому что требовали от автора подробных ученых исследований и еще более потому что касались не покрытых мраком доисторических времен, а такой эпохи, от которой до нас дошли хотя и несколько сбивчивые, но настоящие исторические указания. Обе вышеупомянутые статьи заключают в себе, вместо шатких фантастических догадок, вполне понятные объяснения насчет того, каким путем шло в новых германских государствах развитие государственных и церковных учреждений. Личность Карла Великого, уже давно привлекавшая к себе внимание автора и служившая темой для некоторых из его поэтических произведений, ярко выдвигается вперед в обеих статьях; немецкая статья сходится с латинской в том, что в них обеих идет речь о возникновении франкской монархии; в послед-

¹ Гёттингенская задача на премию была назначена еще в 1771 г. Она требовала (*Novi commentarii societatis regiae Scient. Götting. T. V. Année 1774. C. V*) ответа на следующий вопрос: «*Quibus de causis et rationibus, quae quidem historiarum fide probari possunt, episcopi et abbates locum in comitiis at jus suffragii ferendi consecuti sint?*» Ответ Гердера найден в оставшихся после него бумагах и отпечатан в SW (в отделе философии, XV, 212—253). О содержании французской задачи упоминается в «Воспоминаниях» (III, 163); но высказанное там предположение, будто эта задача была задана парижской академией (1774), не может быть верным, потому что ришельевская Académie royale des sciences вообще не задавала политико-исторических задач. В ответе Гердера, занимающем в рукописи 17½ страниц небольшого формата, вопрос изложен на латинском языке в следующей форме: «*Caroli Magni progenies principes ceterum belli gloriaeque cupidi, quare solio regio citius dejecti quam quae Clodoveum sequebatur ignava imbellisque familia?*» Латинский язык Гердера вовсе не так плох, как можно бы было подумать, судя по отзыву И. Мюллера (Соч. VII, 368).

ней из них автор доказывает, что причинами быстрого упадка премников Карла Великого были внутренняя неурядица, сближение с католической церковью и неестественное расширение владений; все эти соображения повторяются в первой статье, которая, сверх того, подробно расследует причины, по которым и во Франции, и в Германии усиливалось политическое значение епископов.

Эти исследования не были лишены внутренней связи с той широкой сферой, которую Гердер отмежевал для своей литературной деятельности. Помимо того соображения, что премия, присужденная Гердеру за историческое сочинение в Гёттингене или в каком-либо другом городе, была бы лучшим ответом на шлёцеровские презрительные отзывы, Гердер и в качестве теолога должен был сильно интересоваться теми странами, в которых история церкви находилась в такой тесной связи с политическими событиями. Так как он повсюду доискивался начала исторических явлений, то хаотические сведения о такой эпохе, в недрах которой таились зачатки новой исторической жизни, должны были привлекать его внимание так же сильно, как зачатки всякой истории и как зачатки христианства. Наконец, следует заметить, что он отвечал на оба заданных вопроса не с точки зрения ученого историка, а с точки зрения писателя, изучавшего философию истории. Он имел в виду написать лишь отрывочные дополнения к той всеобщей истории, которая уже давно представлялась ему конечной целью его усилий и которую он слегка охарактеризовал в своем небольшом сочинении о философии истории. Поэтому и те два небольших исторических очерка составляют вместе с «Древнейшим документом» промежуточные станции на пути к «Идеям о философии истории» — они заключают в себе более подробное развитие той характеристики Средних веков, которая вошла в состав вышеупомянутого небольшого сочинения и вполне проникнута высказанными там основными воззрениями. Так, немецкая статья, уже начиная с введения, решительно восстает против нравоучительного прагматизма в объяснении исторических событий. История, говорит Гердер, «не что иное, как естествознание в своем постепенном развитии; но естествознание не занимается нравоучительными соображениями о том, какими, по нашему мнению, должны быть животные; оно изучает лишь происхождение и действительное назначение животных». Автор старается объяснить на примере, в чем должны заключаться такие исследования, основанные на изучении законов природы; он считает мелочными те философские размышления о великих ис-

торических событиях и о смешении народов, которые основаны на отвлеченных принципах или на идеях «нашего времени»; он хочет доказать, что причины непонятных для нас явлений кроются очень глубоко, что все события находятся во взаимной связи между собой и проникнуты духом своего времени, что все они сливаются в одно великое мировое событие, что даже из анархии возникает что-нибудь хорошее, — иначе говоря, он хочет доказать, что и в истории, точно так же как в природе, нет «такого абсолютно вредного яда, который не мог бы иногда служить целебным напитком».

Немецкая статья, как кажется, была удостоена в Гёттингене по меньшей мере второй премии¹, а относительно латинской статьи нам неизвестно, была ли она даже только отослана по назначению. Напротив того, нам в точности известна судьба той третьей, не удостоившейся премии, статьи, которая переносит нас с чисто исторической почвы на чисто философскую. Нам предстоит теперь рассказать историю такой гердеровской статьи, которая требует тщательного рассмотрения и по некоторым внешним соображениям, и по причине своего содержания.

В статье об извращении вкуса была всего менее обработана та ее часть, в которой высказывались предварительные психологические соображения. Однако Гердер издавна интересовался всем, что касалось психологии. Именно в этой науке заключался философически фундамент для всех идей, которые он высказывал о столь различных предметах. Нужен был только какой-нибудь внешний повод, чтобы заставить его подробно объяснить, в чем заключался этот философический фундамент. Такой повод доставила ему Берлинская академия.

В то время как в Берлинской академии отделение изящных наук задало тему касательно истории изящного вкуса, ее философское отделение предложило написать исследование о «двух основных способностях человеческой души, о познании и чувствовании». У Гердера достало смелости на то, чтобы всту-

¹ Из двух сочинений, конкурировавших на премию, было отдано предпочтение сочинению И. Ф. Рунде; оно было издано в свет в 1775 г. и послужило началом для целого ряда сочинений о немецком государственном праве. Второе сочинение, которое имело эпиграфом следующие слова: «*Gens sui tantum similes*» и было признано достойным второй премии, вызвало со стороны судей (*Novi comment.* Том V, кн. I) похвалы за то, что оно написано «*cum acerrima ingenii vi, mentis sagacitate etiam in parum exploratis et oratione compta et ornata*»; эта характеристика верно подходит к содержанию гердеровской статьи.

пить в состязание для получения обеих премий. Во время своего пребывания в Пирмоне, в июле 1774 г., он подробно обсуждал обе заданные темы в разговорах со своим другом, графом Ганом. Смысл философской темы был с точностью объяснен академией, т. е. Зульцером, который предложил эту тему. Деятельность познавательной способности, по-видимому, направлена только к тому, чтобы как можно лучше рассмотреть предмет, а деятельность чувственной способности — только к тому, чтобы изменить положение души, находящейся под каким-нибудь неприятным впечатлением, или же, в противном случае, продлить наслаждение, доставляемое приятным впечатлением. Состязавшиеся на премию должны были прежде всего подробно объяснить коренное назначение и законы обеих способностей, потом исследовать их взаимную зависимость и влияние, которое они оказывают одна на другую, и наконец указать, в какой мере гений и характер человека обуславливаются степенью силы и восприимчивости обеих способностей, их более или менее значительным развитием и существующей между ними взаимной связью¹. Гердер писал 5 августа 1774 г. Гану: «О моих прежних воззрениях на заданные на премию темы не стоит и говорить: но *medius terminus* обоих тезисов, которые я, подобно вам, считаю тождественными (познавание и чувственное удовлетворение), казался мне до сих пор не чем иным, как свойством одного и того же ума и, как я здесь подробно объясню, такого ума, который ограничен и стремится к совершенствованию». «Посылаю вам, — говорится в другом письме к Гану, от 24 декабря, — мою статью в том виде, в каком она отослана в академию и в каком она не получит и не должна получить премию. Она слишком коротка, а премию, вероятно, получит француз, наговоривший много вздору à la Helvetius касательно третьей части заданной темы. Как кажется, именно на эту третью часть сочинитель (который — мимоходом замечу, — как кажется, вовсе не понял заданного вопроса) обратил преимущественное внимание; а так как я почти совершенно обошел ее, то и не могу ожидать успеха... Это — чрезвычайно широкая и возвышенная тема. Если бы я хорошо знал высшую математику, то, как мне кажется, я подыскал бы превосходные примеры и сравнения для моего неистощимого источника основных идей — я доказал бы, что чувственность, рассматриваемая и объективно и субъективно, есть не что иное, как проявление, изображение,

¹ Mém. de l'Académie. Année 1773. C. 11, 12.

внешняя формула идей. К сожалению, я не обладаю такими познаниями; но моя тема так же для меня привлекательна, как книга Баруха для Лафонтена, и мне кажется, что в ней заключается вся философия. Моей статьи никому не показывайте и никому о ней не говорите; мне было бы стыдно перед моими честными собратьями по профессии, если бы я вступил в состязание и не одержал победы, но перед вами я вовсе не чувствую стыда... Мне кажется, что моя статья не нуждается ни в отличной соразмерности своих частей, ни в особенной отделке, и что с помощью ее когда-нибудь можно будет сделать удивительные выводы и в сфере духовной, и в сфере физической»¹.

Статья, которая, как видно из этого письма, была отослана в академию в декабре 1774 г., сохранилась в рукописи в найденных после смерти Гердера бумагах. Она с начала до конца проникнута духом лейбницевской философии — даже можно сказать, что она не что иное, как сумма всех философских воззрений Лейбница, отразившаяся в уме Гердера. Человеческая душа, говорит автор, есть ограниченное существо и потому не может составить себе вполне точного понятия о вселенной и о том, что бесконечно. Творец связал ее с органической материей, для того чтобы она могла достигать познания при посредстве этой материи; тело, одаренное такими же, как она, ограниченными способностями, служит для нее тем зеркалом, в котором для нее отражается вселенная. Понятия, приобретаемые через посредство тела, суть чувства, т. е. неясные представления о вселенной, облеченные в легко понятную, приятную форму. Единство — в натуре нашей души: поэтому она соединяет в одно ясное целое все разнообразные впечатления, которые производит вселенная на ее органы, отражаясь в них, как в зеркале. В ее натуре правда и добро; поэтому, когда она познает, к чему-либо стремится и действует, она проявляет эти способности во всяком внешнем факте, к какому способна от природы. Но с ее ограниченностью соединяется тенденция к деятельности, к постоянному движению вперед. Поэтому она постоянно обнимает все более и более обширную часть вселенной, во все вносит понятие о Боге, об истине, о добре и все скорее и легче приспособляет сама себя к этим понятиям. Поэтому познание и чувствование — одно и то же; они стремятся к разрешению одной и той же задачи и по-

¹ *Lisch*. Friedrich Hahn, der erste Graf seines Geschlechts. С. 123, 124; также см. с. 92, где слова Гердера неправильно отнесены к сочинению «О причинах извращения вкуса».

стоянно развиваются. С этим понятием о душе согласуются понятия о Боге, о мире, о нравственности. «В каждой мельчайшей частице бесконечного господствуют истина, мудрость, доброта; и в каждом познании и в каждом чувствовании отражается образ Божий то в чистых, ярких красках, то в цветистых переливах солнечных лучей. Познать значит наслаждаться солнечным блеском, который отражается в каждом луче, а чувствование — то же, что переливающиеся цвета радуги; они красивы, но они только отблески солнечного света. Когда солнце ясно светит на небесном своде, радуга исчезает со всеми своими переливами красок».

Когда академия задавала вопрос о том, в какой обоюдной зависимости находятся обе душевные способности и каким путем они влияют одна на другую, то для нее служило точкой исхода разобщение этих душевных способностей; поэтому ответ Гердера, основанный на вышеуказанных принципах, делал вопрос академии совершенно излишним. Дух лейбницевской философии возвышается над бездушным, внешним объяснением его идей и над их школьным применением. Отчасти под влиянием учения Спинозы, отчасти вследствие знакомства с сочинениями Гемстергюи основные воззрения автора монадологии получили, с одной стороны, цельность направления, а с другой стороны, более поэтическую и этико-религиозную окраску, вполне соответствовавшую умственному направлению Гердера в описываемую нами эпоху его деятельности. По мнению Гердера, взаимное влияние двух душевных способностей сводится к тому, что они едины по своему существу, а причина этого единства заключается в однородной сущности тела и души и в конце концов в том, что божество проявляет себя всегда одинаково, как в физическом мире, так и в духовном, и налагает на всю природу печать единства. Поэтому Гердер прежде всего рассматривает с установленной им точки зрения вопрос о существовании врожденных идей. Если наша душа, говорит он, способна распознавать образ божества, т. е. истинное и хорошее, и усваивать их, то она, конечно, не так пуста, как учит Локк. «В ее сердце начертан закон Божий огненными письменами, в ней таится способность и пламенное желание все превращать в ее сущность, во всем распознавать образ божества и наслаждаться им, как составной частью ее самой; таковы врожденные общие понятия о правде и неправде, об истинном и хорошем, которые она старается отыскивать во всем; эти понятия составляют ее сущность». С этой точки зрения автор старается разъяснить вопрос о взаимном влиянии тела и души.

В опровержение Лейбница он приводит идеи самого Лейбница, в опровержение поверхностного понятия о неизменно установленной гармонии он ссылается на лежащие в основе этого понятия более глубокие идеи. «Никто, — говорит Гердер, — не умел лучше Лейбница понять и доказать, что тело есть не что иное, как внешний вид субстанций, которые так смешиваются одни с другими, что кажутся одной субстанцией, подобно бесчисленным явлениям природы — Млечному Пути, туманным звездам, радуге. Даже кажущееся движение он признавал за внешнее проявление „внутренней силы“; а разве душа, которая сама одарена большой внутренней силой, не может оказывать влияния на ту внутреннюю силу? Разве ей не может быть подчинена совокупность бессознательно восприимчивых сил, которые все одинаковым образом влияют одна на другую, над которыми она господствует и бессознательные стремления которых она предугадывает, а в результате всего все яснее и яснее понимает свою собственную сущность?.. Система, основанная на неизменной гармонии, верна, но не вполне удовлетворительна — она не объясняет всего, что должна объяснять. К ней прибегнул не философ, ясно сознающий, на чем основаны его убеждения, а остроумный писатель, который не пошел далее понятия о внешнем проявлении душевных сил и под гнетом необходимости прибегнул к сравнению с двумя часовыми механизмами. Ни душа, ни тело не похожи на такой часовой механизм, который приводится в движение сам собой. Так как при своей божественной натуре душа ограничена в своих способностях, то ей нужны такие органы, с помощью которых она получала бы понятие о беспредельности своих божественных свойств. Тело есть не внешняя оболочка души, а ее царство, т. е. смешение неясно сознаваемых внешних впечатлений, из которых она извлекает ясные мысли. В этом отношении тело и душа действительно находятся во взаимной зависимости и созданы друг для друга. Причину всех телесных физических свойств я нахожу только в душе; а в физических свойствах я нахожу объяснение того, почему душа пробуждает в себе сознание своих мировых влечений в той или другой форме. Иначе говоря, тело есть символ, или феномен, души в ее отношениях к вселенной». Точно таким же способом доказывает Гердер неосновательность всякого механического и внешнего представления о возникновении души и о ее отделении от тела. Вездесущность божественной силы и принцип всеобщего постоянного развития служат для него объяснением загадки о возникновении человеческой души. Так как «вся природа в каждом пункте и в каждом мо-

менте своей деятельности есть не что иное, как вездесущий Бог, который не может ничего делать непоследовательно и скачками», то божественная сила, без всякого сомнения, в состоянии придать еще не достигшей способности ясного сознания субстанции такую понятливость, что она превращается в человеческую душу и начинает господствовать над совокупностью своих новых органов. А так как «божественная сила проявляется в каждом пункте своей деятельности», то было бы совершенным безрассудством допускать, что душа умирает, лишь только разрушается внешний феномен ее чувств — тело! «А разве действительно может быть уничтожена какая-либо из телесных сил?» — спрашивает Гердер, в сущности выражая ту же мысль, которую он высказывал в качестве проповедника с церковной кафедры; «и можем ли мы составить себе какое-либо понятие о какой-либо уничтоженной телесной силе, т. е. о такой, которая то существует, то не существует и которую — в то время, как она не существует, — мы можем представлять себе как некогда существовавшую?»

С точки зрения автора, еще труднее было дать удовлетворительный ответ на последний из предложенных академией вопросов — на вопрос о том, какое влияние оказывают обе душевные способности на гений и на характер человека. Так как те способности были, по мнению Гердера, совершенно однородны, то он ограничивается указанием их различия по «глубине» и в целом ряде остроумных замечаний объясняет, в чем заключается отличие «проницательного» ума от «богато одаренного природой», «энергичного» от «сметливого и блестящего». Но в заключение он высказывает такие же историко-философские соображения, без каких не обходится ни одно из его сочинений. Он считает себя вправе утверждать, что у прародителей нашего умственного развития способности познания и чувствования действовали нераздельно одна от другой. «Из одного корня, — говорит он, — развивалось все, что ведет к счастью и к правде». Потом, когда человеческое общество разделилось на части и мышление отделилось от чувствования, теория отделилась от практики. Это послужило ко вреду индивидуальных личностей, но принесло пользу всему обществу! «Чем сильнее было разномыслие между людьми, тем усерднее производились расследования и тем подробнее обсуждался каждый отдельный пункт. Таким образом возникли различные теории — но высшая философия наконец потребовала возвращения к практике, а здравая политика стала оказывать ей полезное содействие. Каждая наука должна быть так упрощена, чтобы ее можно было применять к делу. Наконец,

настанут такие времена, когда познание будет нераздельно от просветленного чувствования». Здесь Гердер высказывает с большей осмотрительностью и менее вдаваясь в полемику те же соображения, которые он ранее высказывал с большей горячностью и заносчивостью, когда восставал против склонности своего времени к отвлеченным идеям и когда старался снова оживить религиозные чувства.

Едва ли можно было ожидать от академии, чтобы она присудила премию такому сочинению, которое не одобряло предпосланных заданной теме гипотез и даже доказывало их полную несостоятельность¹. Однако и другие представленные на премию сочинения не были признаны удовлетворительными. В том же заседании 1 июня 1775 г., в котором академия присудила Гердеру премию за его сочинение о причинах извращения вкуса, она отложила до следующего года присуждение премии за сочинения на философскую тему, так как не нашла в присланных статьях ни новых исследований, ни новых открытий. Указав на те пункты, которые, по ее мнению, заслуживали особого внимания, она поощряла соискателей премии заняться их разработкой к вновь назначенному сроку².

Писать дополнения к оконченной работе было не в характере Гердера; но зато он был всегда готов по два и по три раза заново переделывать торопливо набросанные статьи. Неужели он не мог вынудить от академии присуждение премии в его пользу? Следует полагать, что он сообщал о своих надеждах Гаману, так как этот последний, в письме от 14 августа 1775 г. (написанном в ответ на письмо Гердера от 29 июля, к сожалению, утраченное), желал своему другу успеха в его разнообразных работах и, между прочим, в «сочинении статьи на премию». И Лафатеру Гердер вероятно намекал о своих надеждах, так как Лафатер писал 30 ноября Циммерману: Гердер снова будет писать сочинение на заданную Берлинской академией тему и, без сомнения, снова получит премию. Между тем Гердер заботливо обращался в декабре к Циммерману за сведениями о Зульцере, куда-то уехавшем из Берлина. Он писал Циммерману: «Все, что болтает Лафатер о втором сочинении на премию, — *sub rosa*!! Я не могу получить премию, потому что я доказал совершенно противное тому, чего

¹ В том месте из своего письма к Гердеру (Соч. Гамана. V, 172), которое я отношу именно к этому сочинению, а не к появившемуся в печати сочинению об извращении вкуса, Гаман писал: «Вы смело разрешили вопрос, но касались его сущности так мало, как только было возможно».

² *Mém. del'Académie. Année 1775. C. 19, 20.*

желает академия, — хотя и старался ей угодить; именно поэтому мне и хотелось бы знать, когда возвратится Зульцер, — ведь он главный виновник и краеугольный камень заданной темы. Но об этом не говорите никому ни слова!»

Эта более подробно изложенная статья, переписанная набело чужой рукой, также дошла до нас вместе с собственноручными черновыми набросками Гердера. Она резко отличается от прежней статьи старанием автора сколько-нибудь применить к точке зрения академических философов и затем перейти к более глубокомысленным воззрениям; при этом Гердер, очевидно с предвзятым намерением, пользуется всяким удобным случаем, чтобы делать ссылки на психологические сочинения Зульцера и называет его таким философом, для которого психология издавна служит «поприщем побед»¹. Но для нас нет никакой надобности указывать, в чем именно проявилось старание Гердера приноровиться к точке зрения академиков, — главное достоинство его новой статьи заключается в более полном изложении и выяснении руководящей идеи, в более богатом разнообразии подробностей. Ради этих достоинств мы должны остановить наше внимание на заново переделанной статье, хотя она дошла до нас и в третьей переделке, не утратившей ни одного из тех достоинств, но совершенно устранившей всякие приноровления ко вкусам академии. В своей вторичной форме статья появилась в печати по прошествии двух с половиной лет.

Однако все старания Гердера приноровиться к желаниям академии остались бесплодными. Его сочинение даже не принадлежит к числу тех трех, которые были удостоены второй премии; а главная премия была присуждена Эбергарду². После того как удостоенное премии сочинение Эбергарда было напечатано, Гердер писал Гаману, что оно рассматривает мышление и чувствование как две отдельные и существенно различные способности человеческой души, но что за тем остается неразрешенным вопрос, в каком взаимном отношении находятся они между со-

¹ В самом начале статьи Гердер упоминает о сочинении Зульцера «О различных состояниях, в которых находится душа при практическом применении ее главных способностей» (*Verm. philos. Schriften*. С. 225 и сл.) и затем говорит: «Я мог бы принять эту статью за основу и за цель для моей работы, если бы любовник не избегал взоров своей возлюбленной, для того чтобы ответить на них еще более пылкими взорами, и если бы бдительному кормчему не приходилось становиться спиной к тому берегу, к которому он намеревается причалить».

² *Mém. de l'Académie*. Année 1776. С. 9 и 34.

бой¹. Следует полагать, что уже в то время Гердер помышлял о напечатании своей статьи, несмотря на то что в Берлине ее постигла горькая участь, — ведь только к этой статье могло относиться уведомление Гердера (в письме, написанном лишь по прошествии нескольких дней), что он скоро пришлет Гану «не-что, касающееся палингенезии»². Однако это намерение было приведено в исполнение лишь по прошествии двух лет. Только 21 июня 1778 г. Гердер был в состоянии выслать своему другу сочинение, носившее следующее заглавие: «О познании и чувствовании человеческой души; заметки и мечты»; вместе с этим он прислал Гану свое небольшое сочинение о пластике, которое еще дольше оставалось неизданным. Высылая новое сочинение Глейму, Гердер писал касательно его психологического содержания: «Нетрудно угадать, что оно было написано по поводу заданной в Берлине темы на премию два года тому назад, когда Эбергард был так гнусно удостоен премии и осыпан похвалами. Оно лишь издала касается того мира идей и фактов, до которого вовсе не прикасался Эбергард»³.

Сам Гердер, как видно, очень высоко ценил свое сочинение и ставил его, как признавался в письме к Глейму, еще выше своего сочинения о пластике. Мы готовы разделить его мнение и во всяком случае решительно расходимся с мнением академии, которая предпочла сочинению Гердера написанное по школьным правилам сочинение Эбергарда. Сочинение Гердера имеет в наших глазах важное значение еще не столько по своему философ-

¹ Эта приписка к письму от 24 августа 1776 г. (Соч. Гамана. V, 181 и сл.) опущена в печати. Сочинение Эбергарда, изданное в Берлине в 1776 г., носит следующее заглавие: «Всеобщая теория мышления и чувствования».

² *Lisch*. Friedrich Hahn, der erste Grafseines Geschlechts. С. 123; что это письмо написано не 28 августа 1774 г., а в 1776 г., видно из того, что в нем говорится далее.

³ С. I, 58. — В письме к Гану (у Лиша, с. 94) читаем: «Для того чтобы вы не подумали, мой дорогой друг, что я уже не принадлежу к этому миру, я посылаю вам небольшое сочинение, с содержанием которого вы уже знакомы по черновым наброскам и которое я посвятил бы вам, если бы мне было предоставлено на это право». Впрочем, и это сочинение, занимающее лишь 94 страницы in 8°, было издано (Гарткнохом) без имени автора. Эпиграфом для сочинения на премию, написанного в 1774 и 1775 гг., служили следующие слова: «Est Deus in nobis etc.»; этот эпиграф был заменен следующим: Το πνευμα οπου θελει... Отсюда видно, что автор старался даже в заголовке ясно указать причину, вызвавшую появление его сочинения. На рукописном заглавном листе читаем: «О познании и чувствовании человеческой души. Небольшое дополнение к разрешению важного академического вопроса». Изданию Суфана, конечно, должно быть предоставлено более подробное сравнение различных редакций статьи.

скому содержанию, сколько потому что близко знакомит нас с умственной жизнью автора. Оно не только разоблачает перед нами его психологические воззрения в связи с его другими идеями, но также знакомит нас с тайными стремлениями его души. В этом отношении оно служит как бы дополнением к «Торсу». «Мечты и заметки» человека, который с ранней молодости привык так глубоко вглядываться в самого себя, без сомнения, должны заключать в себе много светлых догадок и полезных поучений.

Как уже было ранее замечено, напечатанная статья заключает в себе в сущности те же идеи, которые автор высказывал в статье 1776 г.; она далее повторяет слово в слово прежние выражения. Это всего яснее видно в первом из двух «очерков», между которыми автор разделил теперь содержание трех прежних глав, соответствовавших трем вопросам академии.

Гердер начинает первый очерк заимствованным частью от Юма, частью от Гамана основным положением, что действующие в природе силы сами по себе недоступны для нашего познания. В своих богословских сочинениях он объяснял этим основным положением необходимость веры, а теперь он тем же путем проникает внутрь своей собственной души. Он говорит, что мы судим о внешней природе по ее сходству с нами; впечатлительный человек во всем чувствует самого себя, все чувствует в применении к самому себе. А в точке зрения, основанной на аналогии с нашей собственной натурой, прибавляет Гердер, заключается истина. Нам уже известно из рукописи 1774 г., на чем основано такое воззрение: даже с объективной точки зрения аналогия служит связью между всеми предметами, так как, несмотря на бесконечное разнообразие предметов, повсюду господствует лишь один и тот же дух истины и добра.

Итак, чтобы объяснить сущность познания, Гердер принимает за руководство аналогию; но теперь он идет мерными шагами по тому пути, который был только намечен в более старой рукописи. В качестве последователя галлеровской физиологии, он начинает с движения возбужденного волокна, с феномена «возбуждения». В этом феномене, до которого уже достигла безжизненная материя, он усматривает зародыш, первую тлеющую искорку ощущений. Его поэтический ум повсюду ищет аналогической связи. Он говорит, что в этих зачатках духовной жизни, точно так же как и в безжизненной природе, обнаруживается двойственное стремление к действию и к покою, к соединению с другими предметами и к расширению, а высшие проявления не только чувственной жизни, но даже нравственных побуждений

он считает за проявления того возбуждения, которое сказывается во всей нашей человеческой натуре. Он даже натурализирует то, что духовно, так как одухотворяет деятельность природы и даже приписывает природе нравственные цели; а делает он это с целью доказать, что снизу доверху проходит одна руководящая нить, один закон, один способ развития.

Однако внутренней связи должна соответствовать внешняя связь, которая обнаруживается во впечатлении, производимом внешним миром на живого индивидуума; «Творец, без сомнения, установит ту духовную связь, вследствие которой некоторые предметы симпатичны для восприимчивых частей нашего организма, а некоторые другие производят на наш организм отталкивающее впечатление». И растениям, и животным, и человеку предназначено отыскивать в природе то, что им сочувственно, и усваивать его себе, возвышать его до себя — эта потребность достигает своего высшего проявления во взаимном любовном влечении лиц разного пола и в произведении на свет новых живых существ.

От возбуждения волоконцев автор переходит к нервной системе и к чувственным органам. «Если бы у нас не было чувственных органов, — говорит он, — то вселенная была бы для нас чем-то вроде самой разнообразной массы предметов, производящих на нас бессознательные впечатления; поэтому Творец одарил нас способностью отличать один предмет от другого». Но точно так же как между возбуждением и предметом, производящим возбуждение, служит посредником духовная связь, и для наших чувственных органов есть такой же посредник: для наших глаз служит посредником свет, для слуха — звук и т. д. Совокупность различных ощущений сливается в том «море пламенной чувственности», которое обыкновенно называют фантазией. И для этой пламенной чувственности существует такой посредник, такой внутренний эфир, который нельзя назвать ни воздухом, ни звуком, ни благоуханием, но который способен воспринимать все ощущения и поглощать в себе. Это — нервная система. Через ее посредство наш внутренний мир соединяется с внешним, наша голова — с нашим сердцем, наша мысль — с нашей волей; «лишь только у нас возникает какая-нибудь мысль, тотчас пламенный поток стремится от головы к сердцу! Лишь только мы воспринимаем какое-нибудь ощущение, у нас тотчас зарождается какая-нибудь мысль, которая переходит в какой-нибудь замысел, в какое-нибудь действие — и все это благодаря одному и тому же посреднику! Как же не сказать, что само

божество точно будто играет на нашей душе, как на струнном инструменте?»

Наконец, когда все наши ощущения достигли некоторой ясности, заражается мысль. О том, что есть общего между чувственным и более высоким познаванием, автор уже говорил в первоначальном рукописном экземпляре рассматриваемой нами статьи. При мышлении происходит то же, что происходит при каждом возбуждении, при каждом ощущении, — но только более сознательно и так, что все впечатления соединяются в одно целое. Сущность мыслящей, одаренной волей души заключается в способности действовать с предвзятым намерением, в способности сознавать свое достоинство и свое право на самостоятельность. Фантазия, умственная прозорливость, память и т. д. — не отдельные одна от другой душевные способности; во всех них проявляется одна и та же способность самосознания, которая различными способами соединяет весь приток ощущений в одно целое. Но и эта способность, подобно всякому возбуждению и каждому чувственному органу, имеет посредника, который помогает ей в ее деятельности и служит для нее руководителем (эту мысль Гердер высказал в первый раз при переделке своей статьи). Здесь Гердер вторично, но еще более определенно и более ясно, чем в «Древнейшем документе», изменяет то воззрение на происхождение языка, которое он высказал в сочинении на премию, написанном в Страсбурге. Прежде он говорил, что язык есть продукт сознания, или «смышлености». Напротив того, теперь он утверждает («в противоположность с моим прежним мнением», как он сам выражается), что язык есть одаренный творческой силой представитель сознания, что в нем зарождается разум. «Человек бессознательно глядит на разные предметы и на их разнообразные краски, пока не заговорит, пока не даст внутри своей души этим предметам и краскам особых названий».

Само собой понятно, почему наш автор, уже ранее того употреблявший слова «правда» и «добро» почти как синонимы, полагает, что сущность познания и воли одинакова. Воля, говорит он, есть обладание и пользование тем, что добыто познавательными способностями; это — высшая ступень в развитии душевной жизни, начавшемся с простого возбуждения. Поэтому и здесь два главных момента заключаются в стремлении к расширению и в отступлении; вместе с тем воля есть сочувствие, основанное на самочувствовании, и любовь — стало быть, «самое благородное познание и самое благородное чувствование» (в этих словах слышится отзвук идей, заимствованных у Бурке).

Этим путем разрешается и вопрос о свободе воли. Наша воля слаба, пока наш разум парит над миром с безусловной самостоятельностью. Как наше познание нуждается в регулирующем орудии, в языке, в нем нуждается и воля; первый зародыш свободы заключается в том, чтобы сознавать, какими узами мы связаны с вселенной и с ее Творцом. «Где есть дух Божий, там и свобода, — говорит Гердер в заключение первого очерка, — чем глубже, чем чище и чем божественнее наше познание, тем более чиста, божественна и наша деятельность и вместе с тем более широка наша свобода. Если мы будем во всем находить свет Божий, если в нас всегда будет гореть лишь божественное пламя, то мы сделаемся царями среди рабов и найдем в себе то, чего когда-то искал один философ, найдем в самих себе такой пункт, с которого будем в состоянии господствовать над окружающим нас миром, найдем вне этого мира такой пункт, с которого будем приводить его в движение вместе со всем, что в нем находится. Тогда мы будем стоять на более высоком фундаменте, мы будем возвращаться в обширномместилище чувств, созданном Богом, — там, где зарождается всякое мышление и чувствование, где зарождается любовь. Она есть высший разум и вместе с тем самое чистое, самое божественное влечение; если мы в этом не верим святому Иоанну, то, без сомнения, можем верить еще более божественному Спинозе, у которого и философия, и мораль постоянно вращаются вокруг этой оси».

И без этой ссылки на Спинозу мы ясно видим, как было сильно влияние этики Спинозы в особенности на последние выводы, к которым привела Гердера история развития субъективного духа¹. Последний лист «первого очерка» сходится по своему со-

¹ Гердер был более осмотрителен в своих ссылках на Спинозу, когда снова переделывал свою статью для представления в академию. В рукописи 1775 г. опущены вышеприведенные слова; там он только во введении упоминает о метафизическом воззрении Спинозы на связь между мышлением и движением, — упоминает для того, чтобы критиковать его мнения вместе с мнениями Декарта и Лейбница. Доказав неосновательность теории Декарта, Гердер говорит: «Спиноза обладал более пронизательным умом; он был теологом картезианства вносил раздвоение туда, где Декарт находил единство; а почему же мышление не такой же непосредственный продукт божеского влияния, не такая же божественная способность, как движение? Сущность мышления и движения одинакова, а Спиноза или позабыл указать их взаимную связь, или не надеялся выяснить ее, потому что установил такое резкое между ними различие. Он так высоко залетел в эмпирей беспредельности, что все подробности ускользают от его внимания; в этом заключается его атеизм, которого в сущности не видно ни в чем другом».

держанию с последним листом «Объяснений Нового Завета». И здесь автор приспособляет воззрения Спинозы к христианскому учению, только с той разницей, что здесь это учение более отодвигается на задний план; на него автор ссылается лишь в некоторых местах, в особенности тогда, когда говорит о Христе как о самом непорочном из всех людей, «который знал их всех и не нуждался ни в каких свидетельствах извне, потому что ему была хорошо известна человеческая натура».

Однако несмотря на такое сочувствие Гердера к религиозно-нравственным идеям Спинозы, так хорошо уживавшееся с сочувствием к идеям Гамана, все-таки не иначе как в учении Лейбница следует искать корень гердеровских воззрений. Эту зависимость от Лейбница несколько затемняет лишь то обстоятельство, что напечатанная статья Гердера была написана наперекор желаниям академии, между тем как обе ее прежние редакции имели целью удовлетворить желания академии. Автор все еще сознает, что в своих воззрениях на взаимную связь между телом и душой, между чувствованием и мышлением, он сходится с гениальным автором «Монадологии»; но он решительнее прежнего устанавливает различие между своим наставником и теми «ремесленниками», которые наполняли целые тома идеями и теориями этого наставника; затем он снова нападает на опирающуюся на плечи Лейбница современную философию, представителей которой ему приходилось щадить, когда он надеялся получить премию. Только в этом смысле он не без насмешливости отзывается о «поэме монадов» и о «системе лучшего мира», выражает свое презрение к той «формальной философии, которая все развивает из самой себя, из фантазии монад»; наконец, он резко порицает «абстрактный эгоизм» такого учения.

Впрочем, эти полемические нападки задевают вместе с последователями Лейбница и самого Лейбница. Действительно, Гердер расходится и с мнениями Лейбница всякий раз, как этот философ придает одностороннюю спиритуалистическую окраску главным основным положениям своей теории, т. е. учению о мире как о гармоническом сочетании индивидуальных, способных к беспредельному развитию сил. Автор сочинения о познании и чувствовании полагает, что необходимо избегать такого идеализма, между тем как, с другой стороны, он старается не впадать в материализм, т. е. в то ошибочное мнение, будто можно объяснять жизненные явления механическим давлением и возбуждением. Он не признает самостоятельных душевных сил, решительно утверждает, что душа «находится в школе бо-

жества, которую не сама устроила для себя», и затем настаивает на зависимости души от того внешнего мира, из которого она все извлекает. Эта психология отзывается то натурализмом, то мистицизмом. Прежде он требовал, чтобы логика была облечена в форму психологии, а теперь он требует, чтобы психология была приведена в связь с физиологией. Но чтобы создать основу и почву для такой физиологической психологии, нужны были многочисленные наблюдения; поэтому наш философ довольствуется остроумным общим очерком постепенного развития духовной жизни. Благодаря этому его натурализм получает такую мистическую окраску, что сходится с мнениями Спинозы и вместе с тем получает такую поэтическую окраску, которая придает всей статье высокопарность, снабжая ее такими картинными выражениями, которые напоминают произведения Платона и не встречаются так же часто ни в одном из других одновременных сочинений Гердера. Наконец, этим же путем примиряется его натурализм с его религиозными воззрениями: ведь тот неизменный закон, который, по его мнению, господствует во всей вселенной и обнаруживается во всем, начиная с неорганической природы и кончая сознательным мышлением и волей, — этот закон всегда согласуется с деятельностью Творца, который установил духовную связь между видимыми предметами и восприимчивостью органических существ, который своей отеческой мудростью и благостью направляет наше познание и нашу волю в их деятельности и который дарует нам свободу, если мы любим Его с самым ясным познанием и с самой ясной волей.

Однако эта отзывающаяся дилетантизмом эклектическая теория, этот идеализированный натурализм со своим учением о познании сводится к чему-то похожему на систематическое целое. Гердер утверждал, что есть только один способ проникать во внутренний смысл вещей — тот способ, который основан на аналогии с нашей собственной натурой. Таким образом, высказанное Гердером положение, что мы извлекаем наше познание из нашего соприкосновения с внешним миром, переходит в другое положение, — что мы извлекаем из внешнего мира только такие понятия, которые имеют какую-нибудь аналогию с нашей субъективностью. Природа просветляется до такой степени, что одухотворяется; но, с другой стороны, мы смотрим на природу не иначе как на нечто духовное. Именно на таком двойственном воззрении была основана появившаяся в конце столетия натурфилософия — та теория тождественности, которую впоследствии так сильно ненавидел Гердер. Некоторыми

было основательно замечено, что в рассматриваемом нами сочинении было высказано немало таких идей, которые были впоследствии возведены Новалисом, Шеллингом и их последователями в парадоксы или развиты в цельную систему¹. Мнение Гердера, что обо всем следует судить по аналогии с человеческой натурой, превратилось на основании субъективного идеализма Фихте в догмат, что натура не что иное, как наше «я», а посредством соединения этого догмата, с одной стороны, с воззрениями на естественные науки, с другой стороны, с учением Спинозы о беспредельной субстанции, Шеллинг попытался доказать, что натура представляет собой постепенное развитие, которое есть не что иное, как отражение нашего «я», и потому необходимо должно привести к развитию интеллигенции. Романтики не непосредственно усвоили идеи автора сочинения о познании и чувствовании; потребовались совершенно новые посредствующие органы, для того чтобы придать их учению такой же, как у Гердера, резкий отпечаток и такую же блестящую окраску; тем не менее между воззрениями романтиков и воззрениями Гердера есть внутренняя связь, которая служит новым доказательством гениальности Гердера; действительно, Гердер разбросал на нескольких десятках страниц множество таких идей, которые по прошествии двадцати лет снова пустили корни на совершенно новой почве и послужили фундаментом для построения целых философских систем.

Приноравливаясь к требованиям академии, Гердер считал неудобным обсуждать второй и третий пункты заданного вопроса отдельно от первого. Но теперь он счел возможным не придерживаться предписанного порядка изложения и соединил вторую и третью главы во «втором очерке» под следующим заглавием: «Взаимное влияние двух душевных способностей одной на другую и их влияние на характер и на гений человека»; он прибавляет в скобках, что об этом последнем предмете будет идти речь и в другом месте, а из этих слов видно, что все дальнейшее изложение он считал лишь дополнением к предыдущему. Но его уклонение от воззрений академии всего яснее обнаруживается в своеобразном тоне, которым написан этот «второй очерк» и который объясняется историей возникновения нового сочинения; преимущественно этим тоном и отличаются последние сорок страниц напечатанной статьи от последних глав той

¹ Юлиан Шмидт во введении к изданным Брокгаузом «Идеям об истории человечества» (с. XL).

статьи, которая была представлена в академию. Автор, по-видимому, совершенно отложил в сторону намерение принаравливаться к требованиям ученой корпорации и пожелал вполне воспользоваться своей свободой. Он ничем не стесняется и при случае позволяет себе выражаться насмешливым тоном, так что его статья получает характер остроумной болтовни, приправленной юмором.

Речь идет о практическом применении изложенной теории и о ее объяснении на примерах. Зависимость мышления от чувствования, говорит Гердер, видна на каждом из нас; она видна также на целых нациях и на их историческом развитии. Она подтверждается и той связью, в которой находятся общие человеческие чувствования с общим человеческим разумом; вслед за этим автор указывает на то, как «нравственно-философские филистеры» употребляли во зло это последнее понятие. Статья все более и более переходит в произвольно набросанный очерк субъективных воззрений и даже просто в излияние сердечных чувств, когда автору приходится обсуждать противоположный вопрос — «светлый и возвышенный вопрос», как он насмешливо выражается, о том, как влияет наше мышление на чувствование? Его ответ состоит почти исключительно из порицания его современников, которые отделяют познание от чувствования и в воспитании, и в общественных учреждениях. Этот мотив нам уже знаком из рукописи 1774 г., но теперь он изложен с более вольными вариациями. Между прочим встречается одно место, где автор противопоставляет энергию и цельность человеческой жизни в лучшие эпохи греческой истории теперешнему обособлению способностей, сословий, обязательных занятий и специальных призваний, — здесь Гердер как будто пишет дополнение к шиллеровским «Письмам об эстетическом воспитании человека» или к преувеличенным жалобам, которые высказывал Гельдерлин в своем «Гиперионе». От насмешек и от упреков автор наконец переходит к выражению своих надежд; идеалом служит для него окончательное торжество такого просвещения, которое ничем не отличается от религии; он подкрепляет эту надежду указанием на Сына Божия, который согрел нас своим учением и поведал нам истину вечной жизни, внушив нам спасительное убеждение, что до Бога доходит все, что сделано во имя его. Но автор внезапно прерывает нить этих размышлений, так как «иным читателям они покажутся слишком возвышенными», и переходит к ответу на тот вопрос о гении и характере, который «ближе подходит к кругозору и к вкусам нашего времени». Но в том, что он

пишет, мы находим критические нападки, а не ответ на академический вопрос: он отделяется шутливым разделением гениев на различные разряды и рассуждает о том, какую «при этом играют роль господин рассудок и госпожа чувствительность». По его системе все так просто и ясно, что вовсе не нужны ни психологический анализ мельчайших подробностей, ни ломанье головы над объяснениями разных идей и отдельных выражений! Он насмехается над гениальными французами, которые рассуждали о гениальности так остроумно-бессмысленно, как Гельвеций, и так высокопарно, как Томас! Слово «гений» имеет вовсе не то значение, какое ему обыкновенно придают; под этим словом следует разуметь неодностороннее, чрезмерное развитие той или другой душевной силы, а здоровое совокупное проявление всех душевных сил, так что «всякий человек с благородными, полными жизни силами есть гений в своей сфере». То, что «составляет гениальность по отношению к душевным способностям, есть характер по отношению к воле и к чувствованию», а то и другое вместе взятое составляет «полные жизни характеристические особенности человека». Затем следуют нападки на преувеличенные понятия о гениальности, на ребяческие мнения о врожденном энтузиазме гениальных людей. «Настоящий человек Божий всего глубже сознает свои слабости и ограниченность своих дарований». В связи с этой мыслью автор высказывает некоторые ценные педагогические замечания с той опытностью, которую он приобрел в своей молодости и в то время, как трудился над очищением своих собственных нравственных понятий. Наконец, повторив свою основную мысль, что все наше мышление истекает из чувствования, автор снова возвращается к религиозным соображениям. Он не опускает ни одного из тех соображений, которые были высказаны в более старых редакциях его статьи. Он не опускает и своих суждений о бессмертии души, в которое можно только верить, но которое не может быть доказано метафизически на основании понятия о монадах. В последних строках своей статьи автор противопоставляет религию той философии, которая допускает только то, что в состоянии доказать. Что религия включает в себе истину, видно из того, что в ней совершенно сливаются познание и чувствование. «Ее познание полно жизни, а совокупность всяких познаний и чувствований есть вечная жизнь. Если существуют всеобщий человеческий разум и всеобщее человеческое чувствование, то они заключаются именно в религии — но именно эта ее сторона всего чаще ускользает от внимания наблюдателей».

III. О пластике

То не было простой случайностью, что с изданием в 1778 г. своей старой, написанной на премию, статьи Гердер соединил издание своей статьи о пластике, несмотря на то что первая часть этой последней статьи была написана много ранее; эти два сочинения совершенно однородны по своему содержанию, и сам автор говорит, что изложенная в его сочинении «О познании и чувствовании» лишь в общих чертах глава о восприимчивости отдельных чувственных органов напомнила ему его прежние рассуждения о пластике и побудила его просмотреть их¹. Во время своего пребывания в Бюкебурге Гердер не приступал к соединению в одно целое и к окончательной редакции тех рассуждений, но написал новую статью, которая, по его мнению, могла со временем войти в состав его сочинения о пластике. Эту статью он начал писать в одно время с первоначальным изложением статьи «О познании», поэтому обе они стремятся к одной и той же цели в том, что касается веры в бессмертие души.

В то время, как Гердер был так глубоко огорчен письмом Теллера, он, как кажется, ради развлечения, стал писать или переделывать статью «Как древние представляли смерть». Она была отослана Гердером 4 октября 1774 г. к Циммерману для «Ганноверского сборника», служившего литературным приложением к «Ганноверскому вестнику», и была там напечатана без имени автора в 95-м и 96-м номерах от 28 ноября и от 2 декабря².

¹ О познании и чувствовании. С. 28.

² В то время «Ганноверский сборник» (выходивший два раза в неделю размером в один лист in 4°) издавался ассессором Вюлленом; Циммерман играл роль посредника между издателем и Гердером. Касательно того, что редактор журнала не решился печатать статью, ввиду заключававшихся в ней богословских рассуждений, см. письмо Циммермана к Гердеру от 14 октября 1774 г. и ответ Гердера у Бодемана (с. 322). Что статья также была напечатана особо, видно из письма Циммермана к Гердеру от 21 декабря 1774 г. Гердер упоминает о ней в предисловии ко второму сборнику «Разбросанных листков» (с. XII). К числу тех, кто ранее всех восхищался новой статьей, принадлежал и граф Вильгельм (письмо графини Марии к Каролине 27 декабря 1774 г.); а когда следующей весной граф задумал развести в своем загородном имении парк и поставить при входе в него памятники в честь дорогих усопших, то там же предполагалось поставить изображение того «юноши с опрокинутым светильником, о котором шла речь в сочинении Гердера» (письмо графини к Каролине 29 апреля 1775 г.).

Уже самое заглавие статьи указывает на ее связь с известным небольшим сочинением Лессинга о том же предмете. Она была написана с целью лишь «несколько подробнее разъяснить» столь привлекательное по своему содержанию «завидное открытие Лессинга», что греки по своим понятиям об искусстве изображали смерть в виде юноши, который с опущенными вниз взорами гасит светильник жизни. Гердер имеет в виду вторую из описанных Филостратом картин, на которой юноша с опущенным вниз светильником изображает, по мнению Филострата, не смерть, а бога веселья — Комоса. Гердер полагает, что это указание позволяет сомневаться в основательности мнения Лессинга. Греки вовсе не олицетворяли смерть; они вместо того изображали брата сна, а этот брат сна и был изображен в виде юноши, гасившего светильник; гений жизни, опускающий вниз светильник жизни, — то же, что изображенный на картине Филострата Комос, который гасит светильник радости и веселья; эти два изображения не противоречат одно другому. Гердер старается доказать, что именно таков был смысл греческого изображения смерти, и ссылается с этой целью на некоторые памятники древнего искусства, которым придает новое значение, не согласное с общепринятым. В Мангейме он видел привезенную из виллы Лудовизи группу, которую все считали за изображение Кастора и Поллукса, но, по его мнению, это были не Кастор и Поллукс, а братья сна и смерти. Там же он видел изящную группу Амура и Психеи и уже тогда писал своей невесте, что считает эти фигуры за изображения жизни и смерти¹; теперь он старается доказать, что эта группа изображает, каким образом последний сон или смерть целует душу. Затем он переходит к символическому смыслу всех этих изображений. Теперь он мог сослаться на статью своего друга Гейне в подтверждение мнения, высказанного им еще в первом «Критическом леске» и вызвавшего возражения со стороны Лессинга, — того мнения, что Павзаний изобразил сон и его брата в объятиях матери-ночи не с положенными одна на другую, а с согнутыми ногами. Но он приводит в подтверждение этого мнения еще один аргумент, на котором заметно влияние ученых исследований, предпринятых им для «Древнейшего документа», и в котором сказывается его склонность к генетически-историческим объяснениям, его способность проникать в смысл символических изображений. Он объясняет то греческое изображение его египетским происхождением. Он полагает, что

¹ 6 ноября 1772 г. (А, III, 371).

изображенная на ящике Кипсела престарелая мать-ночь была изображением матери богов Латоны, сыном которой был Гарпократ; она, наклонившись, указывала на царство теней; по мнению Гердера, это было старинное египетское предание, которому греки придали изящное благородство. Дальнейшие объяснения символических изображений приводят Гердера к заключению, что даже глубокая древность предвидела в смерти возрождение и была знакома с идеей о бессмертии души. Впрочем, во всей статье Гердера слышится отзвук его веры в бессмертие души; он выражается в многочисленных остроумных замечаниях и похож на мелодию, издали долетающую до нашего слуха. Даже в свои археологические исследования автор вносил религиозный элемент, в котором его душа жила в то время. От статьи Лессинга о смерти он без труда переходит к воззрениям Лафатера на понятие о вечности. Мы снова узнаем в нем автора «Объяснений Нового Завета», когда он в конце своей статьи противопоставляет христианские верования предчувствиям дохристианских времен. Христос, говорит он, пробудил в нас самосознание и убедил нас не столько в бессмертии души, сколько в воскресении мертвых. Таким образом, самая возвышенная, неземная надежда превратилась в самое возвышенное чувственное понятие! Теперь нам уже нет надобности бороться с фантастическими мечтаниями о вечном покое или о переселении душ; теперь нам уже сказано: «Ты — человек и должен остаться человеком, но таким человеком, который когда-то будет в сравнении со своим теперешним положением то же, что полный колос в сравнении с маленьким семечком». При всем том Гердер и в качестве теолога был постоянным поклонником греков и высоким ценителем их изящного вкуса. Он находил, что христианская вера в бессмертие души сходилась с картинностью греческой фантазии именно вследствие того, что в ней сказывалась чисто человеческая чувственность. Поэтому христианское искусство должно отвергнуть свой «готический отпечаток» и придерживаться благородной картинности греков — этим оно не уклонится от «стеzi откровения».

Эту статью Гердера лишь очень немногие прочли в совершенно теперь позабытой провинциальной газете; но кому же незнакома статья, носившая такое же заглавие и помещенная в форме письма во втором сборнике «Разбросанных листков» 1786 г.¹ Она была более полным и более пространством изложением преж-

¹ Разбросанные листки. С. 273 и сл.; ср. уже приведенное нами место из предисловия, с. XI и XII.

ней статьи. На основании более обильного ученого материала и более обширного, хотя все еще не достаточно полного и нуждавшегося в проверке, изучения древних памятников искусства Гердер объясняет здесь различие между мифологическими богами и сущностью аллегории; принимая в соображение способность греков выражать на их языке самые тонкие оттенки мысли, он рассматривает различные изменения, которым подвергалось у них понятие о смерти; он старается доискаться, в какой мере сон служил у них действительным изображением смерти или только напоминанием о ней; затем он рассматривает различные понятия, которые возникли у греков из желания примириться с мыслью о смерти и которые выражались в украшении гробниц; этим путем он доходит до вывода, что гений с факелом в руке не был олицетворением понятия о смерти и всего, что заключается в этом понятии, а был олицетворением такого понятия о неподвижности тела в гробу, которое не устраняло никаких идей о прошлом или о будущем.

Итак — за исключением шестого письма, в котором неосновательно оспаривается мнение Лессинга, что скелеты на древних памятниках были не что иное, как *Larvae*, — позднейшая статья лишь заново излагает содержание прежней статьи, но излагает его более основательно, более осмотнительно и более изящно. Ее преимущества перед прежней статьей заключаются, между прочим, и в том, что автор отказывается от своего прежнего воззрения на группу Кастора и Поллукса, признает, что фигура Амура изображает не что иное, как самого Амура, а в понятиях о смерти, выраженных в басне Апулея, видит лишь символическое изображение участи умершей Психеи. Однако то основное положение, которым решительно подтверждается мнение Лессинга, было высказано еще в «незрелом первом очерке»; несмотря на свою незрелость, оно отличается свежестью только что зародившейся в уме новой мысли, а с этой свежестью соединяются изобилие идей, дальновидность и безыскусственность. Наконец, только в этой ранней форме статья напоминает о тогдашнем теологическом позитивизме Гердера, нисколько не ослабляя его: статья 1786 г. уже ничего не говорит о воскресении мертвых и уже не превозносит благородной чувственности, которую воскресение мертвых придает понятию о бессмертии; она ограничивается указанием на то, что благодаря христианству надежда загробной жизни превратилась в народное верование и что с этим верованием связаны самые возвышенные истины и самое возвышенное понятие о человеческом достоинстве.

Всякий раз как Лессинг и Гердер сходятся в своих воззрениях, их единомыслие приносит самые утешительные и многообещающие плоды. И в рассматриваемой нами статье — точно так же как в гердеровском анализе лессинговской теории басни, в «Леске» о «Лаокооне» и в кратких критических заметках об эпиграмме — своеобразности этих двух гениальных людей выступают наружу с особенной яркостью и в то же время служат объяснениями одни для других. Новые идеи принадлежат Лессингу, а их проверка принадлежит Гердеру. Ввиду тех смелых критических приемов, которые служили для Гердера руководством в его теологических сочинениях этого периода, было бы желательно, чтобы кто-нибудь из его друзей помог ему своими советами, так же как помогал ему автор «Вольфенбюттельских отрывков». Если бы этот последний навел его на более верное понимание богословских вопросов или даже подготовил его к тому своими собственными исследованиями, то он оказал бы благотворное противодействие влиянию Гамана и Лафатера. Но голос этого пронизательного человека покуда долетал до слуха Гердера лишь издалека. Третья статья Лессинга «Об истории и литературе» вместе с первым отрывком безымянного автора «О терпимости к деистам» уже были прочитаны Гердером, когда он писал Гаману: «Лессинг — единственный человек, который интересуется меня направлением своих идей. Но из его новой статьи видно, что он не покидает своих излюбленных деистов. Стало быть, и он остается на прежнем пункте». Впрочем, за год перед тем тот же Лессинг очень остроумно защищал учение церкви против Эбергардовой «Апологии Сократа». Даже Гаман в первый раз выразил свое одобрение этому «честному человеку» за то, что он «вступился за правое дело», а Гердер печатно выразил в Кёнигсбергской газете свою радость по случаю того, что Лессинг решительно восстал против «новых языческих спасителей, выказывавших самые человеколюбивые чувства»¹. Отсюда видно, как высоко ценил Гердер мнения Лессинга и как было бы ему приятно единомыслие с этим писателем! Он и в богословских вопросах стал придерживаться указаний своего великого предшественника только тогда, когда его убеждения достигли более зрелого развития, а он решительно пошел по стопам этого предшественника лишь тогда, когда Лессинга уже не было на свете.

¹ Гердер к Гаману (Соч. Гамана. V, 137); Гаман к Гердеру (Там же. 67); Гердер к Гаману (Там же. 74); «Gefundene Blätter // Кёнигсбергская газета. 1774 г., февраль (см. также: Im neuen Reich. 1873. II, 521).

«Светильник моего ума, — писал он Гану¹, — горит слишком слабым огнем: необходимо, чтобы страстность постоянно подливалась в него новый горючий материал, а этот материал грубого свойства и водянист; вот почему все, что я пишу и думаю, отзывается чадом». Действительно, каким-то чадом отзывались все богословские сочинения, которые были написаны или задуманы Гердером во время его жизни в Бюкебурге. Страстность и фантазия затемняли в этом чаду тот свет, который разливается при критической разборчивости; или же этот свет мерцал минутными вспышками, когда автор самостоятельно делал новые открытия касательно древнейшей истории человеческого рода или занимался исследованиями в области мифологии и народных сказаний, в области литературы религиозной и апокалипсической; напротив того, там, где чистый разум уже расчистил путь на твердой почве внешних или внутренних фактов, Гердер умел предугадывать то, что доступно только для увлекающегося страстностью и фантазией ума, для никогда ничем не удовлетворяющейся тревожной пытливости, и на чем чистый разум не считает нужным останавливать свое внимание. Его критические дарования так ограничены и ненадежны, что он не в состоянии выточить статую из куска мрамора: он выточил бы из этого мрамора что-нибудь бесформенное, а если материал очень груб, — что-нибудь безобразное; но если ему попадает в руки уже готовый проект осмотрительного и опытного художника, то он приводит этот проект в исполнение искуснее, чем опытный художник, он придает правильным внешним формам такую привлекательность и душевную теплоту, такую мягкость и жизненность, что истина становится еще более прежнего наглядной.

Влечение Гердера к образовательным искусствам оказало влияние и на его отношения к антиподу Лессинга — Лафатеру. В своих фантастических мечтаниях о пластике он считал тело за вестника души, а внешнюю форму — за выражение внутреннего содержания; на этой почве он сходил в мнениях с Лафатером, старавшимся исследовать тайные стороны человеческого характера при помощи физиогномических наблюдений. Первую часть своих «Физиогномических отрывков» Лафатер начинает изложением той же мысли, которая была высказана Гердером в «Древнейшем документе», — что человек есть подобие Божие и потому заключает в себе совокупность бытия; Гердер

¹ *Lisch.* Friedrich Hahn, der erste Grafseines Geschlechts. С. 122.

крайне смело развивает ту же мысль в письме к своему цюрихскому другу¹ и доходит до того, что схематически сопоставляет мироздание с человеческим организмом; при этом он положительно утверждает, что его еще не оконченное сочинение о пластике будет служить дополнением к сочинению его друга о физиогномике. Это сочинение о пластике относится к «Физиогномике» Лафатера, как грубое изваяние к изящной картине, но в сущности излагает одинаковые с ней идеи. Гердер вообще одобряет физиогномические наблюдения писателя, одаренного таким «тонким чутьем», но старается отыскать для его выводов более глубокие основы и не скрывает своей надежды, что благодаря своим более солидным исследованиям создаст нечто еще более изящное. Еще до выхода в свет «Первого очерка» Лафатер просил своего друга прибавить к этому сочинению характеристику Лютера. Впоследствии он повторял свою просьбу и получил от Гердера ответ, который очень скромен в начале, а в конце полон самых возвышенных идей². Гердер писал, что он сам вовсе не годится для роли физиогнома, потому что не умеет рисовать, по своей близорукости неясно различает все очертания предметов и, сверх того, не одарен быстрой понятливостью. «Физиогномист — такой же избранник Божий, как поэт: его взор должен попадать прямо в цель, как молния, для того чтобы он был в состоянии описывать чувства и рисовать характеристики. А важнее всего то, что ты, по-видимому, основываешь свои физиогномические наблюдения на изучении самых тонких характеристических особенностей; но на этом пути я могу следовать за тобой только как за парящим в воздухе ангелом — вот почему я ползаю и живу, как крот». Однако вслед за этим признанием Гердер выражает свое недоверие к смелости физиогномических объяснений: человек не носит на себе глиняной маски; он — целый мир полных жизни сил; его лицо и осанка похожи на часовой циферблат, который указывает время, но не дает никакого понятия о гирих, приводящих в движение часовой механизм. Указания, которые делает после того Гердер на духовное значение отдельных частей тела, похожи на отрывки из его позднейшего сочинения о пластике. Наконец, он ставит цель физиогномики на такую высоту, что от нее почти кружится голова. Он оказывается еще более фантастическим мечтателем, чем Лафатер, когда требует от

¹ В мае 1774 г. (А, II, 102, 103).

² Лафатер к Гердеру 4 февраля и 16 ноября 1774 г. (А, II, 80 и 120); Гердер к Лафатеру 20 февраля 1775 г. (Там же. 122 и сл.).

пластики, чтобы она наглядно объяснила нам, каким путем постепенно достигает совершенства тот созданный по образу Божию идеальный человек, который живет в каждом из нас в неразвитом виде! Земного, психического человека никто не знал лучше греков и никто не умел лучше их изображать; а того духовного человека, который, например, вполне олицетворился в Иисусе и о котором нам дает ясное понятие преображение Иисуса на горе Таборе, должна описать нам христианская физиогномика «в ярком солнечном свете»; она должна объяснить нам, каким образом даже в наш век заблуждений погруженный во мрак и лишенный свободы дух стремится к высшему совершенству и к проявлению своих сил.

И дальнейшие суждения Гердера о результатах деятельности его друга в этой сфере или отзываются критикой, или заключаются в идеализировании лафатеровских идей. Прочитав первую часть «Физиогномических отрывков», он порицает ее площадную болтливость и говорит ее автору прямо в лицо¹, что его изложение состоит или из «постоянных похвал, или из ничего не объясняющего излияния сердечных чувств», что оно «вертится на одном пункте», вместо того чтобы быть сжатым и живописным по примеру Линнея и Бюффона; всего резче он высказывает в письме к Циммерману свое неодобрение той характеристики во второй части, которая касается его самого и в которой, по его словам, нет «ни одного правдивого слова, никакой меткой мысли и ничего определенного»². Однако это не мешало Гердеру относиться к «Физиогномике» так же, как он относился к лафатеровским «Надеждам вечной жизни»; он вполне сочувствует тенденциям Лафатера; он умеет читать произведения Лафатера глазами автора и чувствовать то же, что чувствует автор; он находит в этих произведениях именно то, чего в них ищет, и, угадывая «со священной прозорливостью» основную мысль сочинения, принимает лишь намеченную цель за ее исполнение и таким способом действительно находит в «Физиогномике» «настоящий пророческий взгляд на то, что составляет человеческую сущность и чем может сделаться человек в качестве вечно совершенствующегося существа». При таком взгляде на «Физиогномику» Гердер готов протягивать руку помощи тому прорицателю, который изнемогал под бременем своего гигантского предприятия и всюду обращался с мольбами о содействии. Гердер послал

¹ К Лафатеру 4 октября [?] 1775 г. (А, II, 142).

² К Циммерману (у Бодемана, с. 337).

просителю разные «компиляции» и «рапсодии» в виде дополнений к «Физиогномике», послал ему характеристики Гамана и своей графини, извлечения из произведений мистиков, философов и поэтов; он, кроме того, обещал что-нибудь прислать касательно Лютера, которого он так близко изучил, и касательно Меланхтона¹. О своей дружбе с Лафатером и о своем сочувствии к духу «Физиогномики» он, наконец, публично заявил в том подробном разборе двух первых частей лафатеровского сочинения, который был напечатан в «*Lemgoe Auserlesene Bibliothek*». Этот журнал — выходивший с 1772 г. в качестве соперника «Библиотеки», которую издавал Николай, — очень не сочувственно отзывался о произведениях Гердера. Он отнесся с некоторой благосклонностью только к «Посланиям двух братьев Иисуса», потому что они печатались в той же типографии Мейера, где печаталась «Библиотека». Отсюда видно, что только случайные деловые соображения побудили Гердера вступить в сношения с несимпатичными людьми, несмотря на то что он решился не брать на себя обязанностей рецензента. Он не без угрызений совести написал для того «дурного журнала» несколько рецензий только с целью уплатить свой долг по покупке книг; оттого-то он — как сам признавался Гаману — и подписался цифрой 666, означавшей апокалипсического зверя². Эти рецензии резко выде-

¹ Сравн. в переписке Гердера с Лафатером (А, II, 146, 151, 152—156). Несмотря на указания, заключающиеся в этих письмах, я не решаюсь утверждать, что Гердер действительно принимал участие в «Физиогномике». В заключительных заметках четвертого тома «Физиогномических отрывков» (с. 486) лишь в общих выражениях упоминается о сотрудничестве Гердера и некоторых других. Более определенные указания на Гердера встречаются только в характеристике Гамана (том 2, с. 285), которая является у Лафатера крайне бесцветной (А, II, 161) и которую он сделал еще более бесцветной в третьей части (с. 28, 29). Кроме того, приведенные в третьей главе четвертой части «извлечения из различных сочинений» были доставлены Гердером.

² Кроме ранее нами указанных рецензий гердеровских сочинений, в «*Lemgoe Bibliothek*» можно найти рецензию его философии истории (VII, 90), рецензию «Объяснений Нового Завета» (VIII, 534) и рецензию «Посланий двух братьев Иисуса» (там же, 460). Но гердеровские рецензии не все перечислены в SW в отделе литер. XX, 413; снова была напечатана только рецензия второй из пятидесяти христианских песен Лафатера (X, 486 и сл. — в SW в отделе литер. XX, 332 и сл.) и рецензия на «*Gesneri Isagoge*» (IX, 548 и сл. — в SW в отд. филос. X, 300 и сл.), так что от суфановского издания следует ожидать значительных дополнений. Те выдержки из писем, в которых есть указания на сотрудничество Гердера, находятся в А, II, 160, 168, 367, 369, 374. Гердер отвергает свое сотрудничество еще более решительно, чем в письме к Циммерману (у Бодемана, с. 337), в том месте одного из писем, которое упомянуто нами

лялись из остального содержания журнала, вообще отличавшегося вялостью своих статей: они были написаны в защиту самых фантастических идей и были наполнены похвалами сочинений Лафатера и его последователей. Гердер умел находить хорошую сторону даже в тех недостатках «Физиогномики», которые всего ярче бросались в глаза. Он не только превозносил глубокое понимание всего, что касалось человечности и человеколюбия, но даже находил зачатки настоящей научной системы в разбросанных без всякого плана отрывочных замечаниях Лафатера и в излияниях его чувствительности; даже утомительную растянутость характеристик он оправдывал ссылками на Гомера и на поэтов, описывавших человеческие чувства, а новизну и своеобразность выражений он сравнивали с творческой гениальностью клопштоковского слога. Только в одном месте рецензии «Второго очерка» Гердер указывает — по поводу замечаний Лафатера о физиономии Сократа — на пределы физиогномического искусства и на «высшую физиогномику», которая должна принимать в соображение постепенное развитие человеческой души и переживаемую ею борьбу. Но в другом месте рецензии Гердер выдает эту мистическую идею за руководящую идею лафатеровской книги и дает ее автору название «теолога» в смысле самой высокой похвалы. Также в виде похвалы Лафатеру Гердер оканчивает разбор первой части характеристикой «привлекательного, ясно-видящего, твердого в своих убеждениях и душевно спокойного прорицателя» — характеристикой, написанной совершенно в духе Лафатера. Похвала и защита Лафатера служили вместе с тем публичными указаниями на сочинение Пфеннингера «Воззвание к человеческому рассудку» и на лафатеровские «Письма

в тексте, но было опущено в полном собрании сочинений Гамана (V, 184). Он говорит: «Рецензенты той дряни, которая издается в „Лемго“, отличаются один от другого цифрами, а так как я, из желания расплатиться с моими долгами за купленные книги, также поместил несколько рецензий в двух последних частях журнала, то и я не мог поступить иначе, как подписаться цифрой апокалипсического зверя — цифрой 666. Но я не люблю участвовать в журнальной критике и только сделал для Лафатера указания на его „Физиогномику“, части 1 и 2, на „Gesneri isagoge cum commentario Niclasi“ и на „Apellation“ Пфеннингера. Если у вас найдется несколько свободных минут, то прикажите принести вам эту ни на что не годную, исписанную бумагу. Вслед за отзывами о 2-й части лафатеровской „Физиогномики“ есть несколько строк касательно статьи Тённи об „Откровении св. Иоанна“; Клаудиус очень хвалил мне не столько это сочинение, сколько самого автора. Но обо всем этом не стоит говорить; я по необходимости занимался этой дрянью, потому что мне платили каждый раз по три талера».

к его друзьям» — а эти указания были сделаны пристрастной дружбой Гердера по просьбе Циммермана. Менее безусловна похвала в указании на христианские песнопения Лафатера. Но в общем результате все эти рецензии доказывают — заодно с «Провинциальными листками» и с их предположенным посвящением, — что автор «Древнейшего документа» во время своего пребывания в Бюкебурге считал себя солидарным с автором «Надежд на вечную жизнь» и «Физиогномики». Даже в тех случаях, когда Гердер не разделяет воззрений Лафатера, он с восторгом отзывается об искренних религиозных чувствах этого друга. Делая разбор небольшого сочинения Пфеннингера, он даже обсуждает те «три вопроса касательно даров Святого Духа», которые прежде считал крайне ребяческими. Он даже примиряется с верой своего друга в чудеса, объясняя ее по-своему и устанавливая для нее некоторые границы, ввиду того что современная философия крайне «водяниста»; он вместе с Лафатером становится на точку зрения той «высшей философии», которая признает кроме естественных законов существование других высших законов; он становится вместе с Лафатером под знамя религии, которая относится к светской мудрости как алгебра к арифметике и которая есть не что иное, как дарованный Богом ключ к объяснению не понятных для человеческого рассудка истин.

IV. Самая старая редакция сборника народных песен

В том же году Гердер взялся за новое литературное предприятие, которое не имело ничего общего со сферой богословских интересов и потому не подвергалось опасности потерпеть неудачу от склонности автора к мистической мечтательности; успех этого предприятия был обеспечен тем, что оно доставляло Гердеру случай выказать его критическую прозорливость, его поэтическую восприимчивость и вообще все самые блестящие стороны его ума. Намерение познакомить публику с настоящей, с первобытной поэзией — с поэзией народных песен и изложить ее содержание, глубоко прочувствовав ее красоты, соответствовало призванию Гердера гораздо более, чем его старание объяснить смысл и восстановить престиж религии; для такого предприятия он не нуждался ни в Лессинге, ни в каких-либо других предшественниках и руководителях.

Не подлежит сомнению, что он уже давно намеревался извлечь практические результаты из своей статьи об Оссиане и о песнях древних народов. Такое намерение, быть может, было им высказано в виде намека, когда он писал Гарткноху, что, вероятно, придет ему для издания еще несколько летучих листков вроде тех, которые издал Бойе¹. Почему бы не взяться ему самому за то, к чему он взывал других в своей статье об Оссиане? Почему бы ему не издать того сборника народных песен, который уже давно находился в его руках и о расширении которого он постоянно заботился?² Он пересмотрел собранные им сокровища и убедился, что будет в состоянии издать нечто вроде сборника баллад Перси и в то же время доставить Гарткноху такую статью, которая будет хорошо раскупаться. В сравнении с его другими литературными трудами, и в особенности с «Древнейшим документом», это предприятие казалось ему вовсе не трудным; да и помимо своей внутренней привлекательности оно обещало ему некоторые материальные выгоды: оно доставило бы ему возможность расплатиться с некоторыми долгами и в случае надобности делать новые денежные займы у его рижского приятеля. С такими же расчетами он взялся за другое предприятие — за перевод сочинений Франца Гемстергюи с дополнительными объяснениями. Когда он прочел в 1772 г. «Lettre sur les d sirs», его поразило сходство идей голландского платоника со складом его собственного ума. Он сходился с Гемстергюи в несочувствии к строгой систематичности, в колебаниях между реалистическими стремлениями и идеалистическими влечениями, в скептическом отношении к догматической метафизике, соответствовавшем его склонности к мистицизму, и наконец главным образом в сильном влечении к нравственным идеалам, в убеждении, что все хорошее и истинное в сущности едины. Статья «О познании и чувствовании» ясно доказывает если не зависимость Гердера от Гемстергюи, то его сочувствие к этому последнему.

¹ 10 августа 1773 г. (С, II, 44).

² Так, он обращался 14 августа 1773 г. к Лессингу с просьбой о присылке статей в немецкие «Reliques of ancient Poetry»; Распе прислал ему копию одной из песен Морлакки — по всему вероятно, ту, которая помещена в сборнике народных песен II, 167 (Распе к Гердеру от 7 июня 1773 г.; это письмо сохранилось в подлиннике; сравн. письмо Гердера к Распе в *Weimarisches Jahrb.* III, 49); он просил Фюрстенберга о присылке сохранившихся отрывков из древнегерманских стихотворений (3 ноября 1773 г.; судя по сохранившемуся в подлиннике ответному письму Фюрстенберга от 5 января 1774 г.); о присылке швейцарских песен он писал Лафатеру (как это видно из сохранившихся в подлиннике писем Лафатера от 21 августа и 2 сентября 1773 г.).

Гердер с увлечением читал все небольшие сочинения этого писателя, какие только мог добыть; он находил, что Гемстергюи расшевеливает в нем его собственные любимые идеи и «должен был сидеть рядом с ним на скамье всемирных наставников». Но эти сочинения были частью напечатаны, лишь для друзей в небольшом числе экземпляров и были мало известны в Германии: их перевод и составление к ним комментариев казались ему очень приятным занятием и вместе с тем могли доставить ему материальные выгоды. Еще 12 апреля 1772 г. он старался склонить Гарткноха на это предприятие и в течение нескольких лет не терял из виду своего намерения; уже после того как он просил у Бойе содействия, в феврале 1775 г. он отложил свой замысел в сторону, вследствие того что «на нем лежало много других обязанностей»¹. Такова была судьба замысла о переводе сочинений Гемстергюи, и почти такова же была судьба замысла об издании народных песен.

¹ Первое упоминание о Гемстергюи я нахожу в письме к Каролине, написанном в начале февраля 1772 г. (А, III, 178). Гердер просил 6 октября 1772 г. Бойе (у Вейнгольда, с. 18) доставить ему сочинения Гемстергюи «*Essai sur l'homme et ses rapports* и *Lettre sur la sculpture*». Он обращался с такой же просьбой в апреле 1773 г. (С, II, 41) к Гарткноху (гёттингенская библиотека доставила ему «*Lettre sur l'homme*» — Гейне к Гердеру: С, II, 157); 10 августа и 13 октября (с. 43—46) он повторял свою просьбу и данное обещание; он снова повторял свою просьбу в декабре 1773 г. и в феврале 1774 г. (с. 51, 52), уже после того как по совету Гарткноха (с. 46) позаботился о помещении публикации в «Вандсбекеровском вестнике» от 8 декабря 1773 г. Однако он внезапно изменил свои намерения относительно перевода, который уже был «готов более чем наполовину», вероятно, к 13 сентября 1773 г.; он писал 19 ноября 1774 г. Гарткноху (сохранилось в подлиннике 67 страниц переписки): «Чтобы отделаться и от Дитриха (это был гёттингенский товарищ Бойе по книжной торговле), я передал ему и Гемстергюи. Он писал мне об этом и уже приготовил гравюры. И Бойе много помогал мне в этом деле». Как все это кончилось, видно из окончания письма к Гарткноху в феврале 1775 г. (с. 72): «Касательно Гемстергюи дела приняли странный оборот. Я только что узнал из полученных мной писем, что живущий в Ганновере надворный советник Рюлинг уже перевел сочинение „*Sur l'homme*“; стало быть, я мог перевести только сочинение „*Sur les désirs*“; я послал и эту работу Рюлингу — таким образом, я совершенно отделался, чему очень рад. На мне лежит слишком много обязанностей». О содействии со стороны Бойе и о возобновлении общего проекта в следующем году говорит Вейнгольд (там же, с. 182). О намерениях Гердера упоминает и Циммерман в письме к Гердеру (А, II, 335). Только в ноябрьском номере «Немецкого Меркурия» 1781 г. появилось в переводе Гердера сочинение «*Lettre sur les désirs*» (сравн. письмо к Глейму № 48), а в «Разбросанных листках» (I, 309 и сл.) появилась в 1785 г. статья «Любовь и самочувствие; прибавление к письму Гемстергюи о желаниях». Наконец, в найденных после смерти Гердера бумагах найден и перевод статьи «*Sur l'homme*».

Гердер писал 13 сентября 1773 г. своему издателю, что готовит «небольшой томик народных песен», в который войдут «английские и немецкие песни — первые, само собой разумеется, в переводе; и вам самим, и многим другим это издание доставит большое удовольствие». В октябре, немедленно вслед за отсылкой рукописи «Древнейшего документа» и «Философии истории», был отправлен в печать и сборник народных песен — само собой разумеется, без имени автора. И на этот раз шла речь только об одном томике; Гердер писал, что в этом томике «собраны, превосходные *reliques of ancient poetry* вместе со старинными немецкими» и что эта книжка быстро пойдет в ход¹; о намерении издать маленький томик народных песен он в то же время писал Лафатеру² и намекал на такое намерение в письме к Гейне³. Он желал, чтобы этот сборник был напечатан на простой бумаге и по мере возможности старинными немецкими буквами⁴. Но он желал, чтобы в ярмарочном каталоге книг было дано сборнику следующее заглавие: «Старинные народные песни. Одна часть английская, другая немецкая»⁵.

Но судьба предприятия, за которое Гердер взялся с таким рвением и с такой уверенностью в успехе, оказалась очень печальной вследствие мешкотности вейссенфельсского типографщика Ифе, который еще не приступал к набору доставленных ему рукописей философии истории и народных песен, между тем как в Лейпциге Брейткопф очень скоро напечатал первую часть «Древнейшего документа». Гердера испугали неточности, которые он нашел на первых набранных страницах, и он в декабре потребовал возвращения обеих отосланных в Вейссенфельс рукописей⁶. Однако и после этой задержки печатание народных песен не подвигалось вперед по причине мешкотности типографщика, между тем как история философии и доставленные ему тем временем «Провинциальные листки» печатались медленно и плохо. Так как ум Гердера привык постоянно работать, то всякая задержка в издании его сочинений служила для него поводом для пересмотра и для переделки уже оконченных статей. Когда на-

¹ К Гарткноху № 22 (С, II, 47); это место дополнено по оригиналу.

² № 9 у Дюнцера (А, II, 61).

³ В ноябре 1773 г. (№ 28): «Еще две вещи находятся *sub prelo* — одна из них не что иное, как сборник...»

⁴ По рукописному подлиннику письма, напечатанного у Дюнцера под № 20, и в письме, написанном стихами, № 25.

⁵ По рукописному подлиннику письма, напечатанного у Дюнцера под № 26.

⁶ № 27 и 28 в переписке Гердера с Гарткнохом.

бор двух небольших его статей был окончен, его так напугали замеченные им опечатки, что он в мае и в июне снова требовал возвращения рукописного сборника народных песен. «Я нахожу нужным, — писал он, — сделать некоторые поправки и принять меры предосторожности против опечаток. Иначе выйдет нечто отвратительное»¹.

Таким образом, рукопись, из которой был напечатан только один лист, возвратилась к Гердеру², а издателю не оставалось ничего другого, как неоднократно просить автора о присылке продолжения «Древнейшего документа», перевода сочинений Гемстергюи и сборника народных песен³. После того — еще в течение ноября — Гердер обещал прислать сборник народных песен вместе с продолжением «Древнейшего документа» и «Объяснений Нового Завета»⁴ и, как кажется, только в феврале 1775 г. отказался от намерения издавать народные песни. Он не вдруг на это решился. «Я не охотно, — писал он, — отказываюсь от издания народных песен, пока настроение публики не будет для меня более благоприятно... Я отказался бы от их издания окончательно, если бы еще ничего не было сделано». В конце того же письма он говорит, что не совершенно отказывается от намерения печатать сборник, но откладывает его на некоторое время, чтобы не навлекать на себя неприятностей и т. д. Более ясно выражается жена Гердера в письме от 11 февраля: «Он вам уже писал, что к будущей ярмарке не выйдут из печати народные песни; я считаю нужным еще раз повторить вам, что по некоторым не зависящим от нас соображениям эти песни вовсе не будут изданы. Вы обо всем узнаете при личном свидании; он убедительно просит вас не настаивать, потому что в этом деле замешана его личная честь».

Нам приходится ограничиваться догадками насчет того, что побудило Гердера отказаться от его намерения и в чем заключа-

¹ В письме к Гарткноху от 23 июля (№ 38) он заявлял (по рукописному подлиннику), что совершенно примирился с Ифе.

² 26 октября 1774 г., с. 65, прим., 3 и 4 декабря 1774, № 45 и 46.

³ Письмо к Гарткноху от 28 мая 1774 г. (№ 33), где упоминается требование о возвращении рукописи, как уже ранее заявленное; однако напечатанное у Дюнцера непосредственно перед этим письмом, письмо за № 32, написанное в начале мая, вовсе ничего об этом не говорит; напротив того, в этом письме (т. е. в его рукописном подлиннике) Гердер просит Гарткноха выслать Лафатеру «Провинциальные листки» и «некоторые из народных песен». Затем см. письмо Гарткноха к Гердеру от 29 июня (№ 36) и письмо Гердера к Гарткноху от 18 июня (№ 35).

⁴ В рукописном подлиннике письма от 19 ноября 1774 г.

лись те неприятности, от которых он именно в то время сильно упал духом — как это видно из вышеприведенного письма Каролины. Даже на вопрос Гарткноха о причине приостановки издания народных песен он отвечал, что это объяснится со временем, а когда его друг стал жаловаться на неприятности и на расходы, в которые был вовлечен, он просил дать ему время одуматься и уверял, что никто от этого не страдает больше его самого¹. Не подлежит никакому сомнению, что главной причиной всех неприятностей были его три последних сочинения. Он опасался, что кроме врагов между теологами он наживет врагов и между беллетристами. Он не хотел доставлять своим врагам-теологам повод обращаться к нему с вопросом, как согласить чрезвычайно благочестивое направление его богословских сочинений с его влечениями к народным песням, в которых выражались вовсе неблагочестивые чувства. Ему было известно, что Шлёцер указывал в своем памфлете на его влечение к народным песням и на несовместимость такого влечения с обязанностями лиц духовного звания². Он знал от Циммермана, что своими «Летучими листками» о немецкой жизни и искусстве он восстановил против себя Зульцера³. Ему было известно, что Николаи не разделял его воззрений на достоинства национальных песен и на то, что он называл «немецкой жизнью и немецким искусством»⁴; он был заранее уверен, что Николаи, так грубо прервавший прежние дружеские с ним сношения, будет осыпать сборник народных песен самыми площадными насмешками; ведь именно в то время он был крайне оскорблен лукавыми намеками Николаи (о которых ему сообщил по дружбе Гарткнох) на то, что он напрасно тешит себя мечтами о славе и что эти мечты скоро рассеются; сверх того, он был уверен, что Николаи прислал графу Вильгельму свое сочинение «Радости юного Вертера» вовсе не с дружелюбной

¹ См. письмо Гердера от 25 марта 1775 г. (№ 49) и опущенное в сборнике Дюнцера письмо Гарткноха от 25 февраля, на которое служило ответом то письмо Гердера и которое со своей стороны было ответом на письма Каролины и Гердера (№ 47 и 48). В письме Гарткноха, вслед за выражениями дружеского участия, говорится: «И почему намерен он прекратить издание народных песен? Я мог бы на это согласиться, если бы типографщик не получил от меня задатка на расходы печатания и на приобретение английского шрифта; ведь я никогда не получу этого задатка обратно, потому что типографщик — бедняк. Между тем все введены в заблуждение — и публика, и книгопродавцы».

² См. выше, с. 778.

³ Циммерман к Гердеру 21 декабря 1774 г. (А, II, 344); сравн. письмо Зульцера к Циммерману (у Бодеманна, с. 243).

⁴ Николаи к Гердеру (с. 350, 352, 354).

целью¹. Что он отказался от издания народных песен из опасения вызвать порицания со стороны Николаи, со стороны друзей Шпальдинга, Теллера и их приверженцев, подобно тому как он когда-то отказался от 2-го издания первого сборника «Отрывочных заметок» из точно таких же опасений, видно, между прочим, и из слов Глейма, который уже по прошествии целого года убеждал его не отказываться от издания народных песен и не обращать никакого внимания ни на черта, ни на его детей². Но самое ясное понятие о том душевном настроении, которое побудило Гердера отказаться от издания народных песен, дает нам письмо, написанное им в «глубокой тайне» Гаману в одно время с письмом, извещавшим Гарткноха 11 февраля 1775 г. о приостановке издания. Из этого письма к Гаману видно, что вследствие всех вынесенных неприятностей Гердер намеревался на время отказаться от какой бы то ни было авторской деятельности. Он говорил о том, какого труда ему стоило приведение в надлежащий вид «Объяснений Нового Завета». «Молю Бога, — продолжал он, — о том, чтобы это было мое последнее сочинение. Народные песни я беру назад; о продолжении „Провинциальных листов“ я вовсе не помышляю; я желаю и я должен молчать. „Древнейший документ“ — единственное сочинение, которое я решился издать, но и оно не внушит мне бодрости»³. Отголоском этих слов была следующая заключительная фраза в том письме Каролины к Гарткноху, в котором она оправдывала отказ Гердера от издания народных песен: «Я буду рада, когда Гердер будет, подобно Гаману, жить только среди своих детей и когда мы будем спокойно наслаждаться нашим семейным счастьем». Иначе говоря, отказ Гердера от издания народных песен был вызван

¹ «Его Светлости владетельному графу Шаумбургскому прислал его всеподданнейший слуга Николаи „Радости юного Вертера“, которые были приняты очень благосклонно, хотя Николаи и не достиг главной цели, которую имел в виду». — Выпущенное место из письма Гердера к Гаману от 25 (а не от 27) марта 1775 г.

² Глейм к Гердеру от 18 февраля 1776 г. (№ 20). И в то время, как он издавал свой сборник в 1778 г., он опасался, что Николаи с компанией найдет что-нибудь достойное порицания, и потому относился очень осмотнительно в особенности к немецким песням; сравн. письмо к Глейму от 22 декабря 1777 г. Что приостановка издания была лишь временной, видно также из (ненапечатанного) окончания письма к Гаману от 18 июня 1775 г.; в этом письме Гердер говорил по поводу полученных им от Крейцфельда четырех литовских песен: «Они, конечно, войдут в мой сборник народных песен; ах, если бы он мог доставить мне побольше таких песен!»

³ Соч. Гамана. V, 128.

вынесенными им неприятностями и опасением еще более восстановить против себя неприязненно настроенное общественное мнение.

Читателю, быть может, покажется слишком длинным и утомительным наш рассказ, в котором мы следим шаг за шагом за судьбой гердеровской рукописи. Но именно такие подробности и знакомят нас с тем, что происходило в душе Гердера: они доказывают нам, что Гердер легко переходил от смелой самоуверенности к робкой сдержанности и что он нередко падал духом под влиянием мелких неудач и внешних случайностей. То же самое случалось с Гердером и в более ранние периоды его жизни. Деятельность нашей фантазии бывает однообразна не только в сновидениях, но и в действительной жизни, потому что, несмотря ни на какую перемену обстановки, внешних условий и убеждений, наша душа всегда одинаковым образом воспринимает внешние впечатления, всегда одинаковым образом складывает свои убеждения и приходит к окончательным решениям; а в Гердере, который жил преимущественно сердцем и умом, еще более чем в ком-либо другом заметна такая однообразная манера воспринимать внешние впечатления. Оттого-то мы и следили шаг за шагом за постепенным зарождением его сборника народных песен. Но самое содержание этого сборника и его связь с возрождением в Германии настоящей лирической поэзии, натурально, требуют от нас еще более подробного исследования. В оставшихся после смерти Гердера бумагах¹ сборник сохранился в рукописи под следующим заглавием, заменившим заглавие 1773 г.: «Старинные народные песни. Первая часть. Английские и немецкие». Альтенбург, 1774 г.; вместе с этим сохранился и единственный печатный лист сборника. В чем же заключалось содержание этой самой старой редакции сборника, каков был его характер и в каком виде Гердер в то время намеревался представить его публике?

Он в одно и то же время и более беден, и более богат, чем позднейший сборник 1778 и 1779 гг. Он более беден, потому что число вошедших в него поэтических произведений лишь немного превышает третью часть того, что было издано Гердером гораздо позже. Он более богат, потому что в него вошли около тридцати номеров, которые были впоследствии выпущены. Однако

¹ Первые сведения о нем были сообщены в статье Суфана «Gerders Völklieder und. j. v. Müllers Stimmen der Völker in Liedern» (Zeitschrift für deutsche Philologie. III, 464, 465).

этот пропуск был результатом пересмотра, сделанного отчасти под влиянием более разборчивого вкуса, который имел тем более права быть взыскательным, что имел в своем распоряжении более обширный запас народных песен. Сборник 1774 г. следовало бы правильнее назвать не «народными песнями», а «народными песнями и опытами переводных извлечений из Шекспира». Позднейший сборник, бесспорно, представлял нечто более цельное и был составлен более правильно; однако именно разнообразие точек зрения и пестрота содержания придают первому сборнику особые преимущества, находящиеся в связи с той юношеской свежестью идей и с той шириной замыслов, которыми отличался Гердер в 1774 г. гораздо более, чем в 1778 г. Независимо от различия в содержании, на читателя производит неприятное впечатление то душевное настроение, с которым Гердер предлагает публике свои пересмотренные и умноженные сокровища. И в двух коротеньких эпилогах к первой и ко второй частям напечатанного сборника, и в длинном предисловии ко второй части этого сборника, в тоне, которым выражается Гердер, слышатся досада, раздражение и утомление; а во введениях, которые были первоначально написаны Гердером, но остались ненапечатанными, слышится отважная самоуверенность и горячая заносчивость. Мы должны изучить «Сборник» именно в этом первоначальном его виде, так как в нем с поразительной верностью отражается настроение ума, в котором находился Гердер во время бюкебургского периода своей жизни.

Сборник делится на четыре книги; из них первая и третья заключают в себе каждая от двенадцати до пятнадцати народных песен «английских и немецких», причем английские песни сопровождаются их переводом на немецкий язык; вторая книга наполнена исключительно или сценами, или песнями из произведений Шекспира также на двух языках; наконец, четвертая книга заключает в себе тринадцать «северных песен». Каждая из четырех книг имеет особый эпиграф и начинается введением; кроме того, к отдельным номерам нередко прибавляются коротенькие замечания, в которых автор частью делает эстетическую оценку песни, частью указывает, откуда она была заимствована. Мы должны сосредоточить наше внимание на введениях к каждой из четырех книг.

Во введении к первой книге Гердер говорит, что, конечно, было бы желательно иметь те песни бардов, которые собирал Карл Великий, и что благодаря Бодмеру и Шёпфлину мы по крайней мере могли познакомиться с любовными песнями, кото-

рые пелись во времена швабских императоров, — но что первые из этих песен не могли бы сделаться в наше время народными песнями по причине своеобразности их старинного языка, а вторые не могли бы сделаться народными песнями и по своему языку, и по своему содержанию. Поэтому не остается ничего другого, как собирать те остатки народных песен, которые находятся теперь в употреблении и содержание которых для нас понятно и по сие время. Опровергая ошибочное мнение, будто не стоит туда собирать грубые песни необразованного народа, Гердер указывает на пример соседних наций, на сборники Рамзэ и Перси; там, говорит он, попадаются песни, которые отличаются богатством фантазии и так безыскусственно и трогательно выражают душевные муки, что не имеют ничего себе подобного в новейшей поэзии. Но, читая их, необходимо мысленно переноситься в ту сферу и в ту эпоху, в которую они возникли; только тогда нам будет понятно, что их поэтическое достоинство неразрывно связано с их достоинством национальным. Именно благодаря своему влечению к старинным песням и благодаря своей связи с ними английская поэзия носит в своем развитии резко бросающийся в глаза национальный отпечаток. «По своему языку, тону и содержанию эти песни выражают склад ума всего племени. К ним относится с пренебрежением и не чувствует их красоты только тот, кто до такой степени погряз в подражании всему иностранному, что уже не в состоянии уловить и оценить по достоинству их национальный дух, — только тот, кто принадлежит к числу виртуозов с новейшим изящным вкусом, к числу философов!» Но англичане, продолжает Гердер, превзошли нас и в способности сочувствовать тому, что национально; английские собиратели старинных песен находили у своих соотечественников патристическую готовность мысленно переноситься в те отдаленные времена, когда их предки жили в грубом невежестве; они собирали народные песни для такого народа, у которого было настоящее отечество; к сожалению, нельзя того же сказать о немцах, несмотря на то что они «так много болтают, поют и пишут» о своем отечестве.

Гердер положительно заявляет, что делает первую попытку издать сборник немецких народных песен. Он надеется, что в его согражданах возникнет желание превзойти его в этом деле. Он повторяет ту же мысль, которую с еще большей энергией высказывал в своей статье об Оссиане: он делает эту первую попытку только в надежде, что другие пойдут по указанному им пути с большим успехом и даже с большим усердием и с большей на-

стойчивостью, так как «мы теперь дошли до самого края пропасти; если мы проведем в бездействии еще полстолетия, то будет уже слишком поздно братья за это дело!» При этом он указывает на прошлую печальную участь Германии — на то, что она была в одно и то же время и матерью, и служанкой иностранных наций, была в одно и то же время и законодательницей, и рабыней этих наций, а тем временем и склад немецкого ума, и склад немецкой жизни подчинялись внешним влияниям. Слова Гердера звучат как голос пророка, когда он скорбит об участи своей родины, которая похожа на утратившее свои жизненные соки дерево, так как утратила первобытную своеобразность своего языка и своей поэзии! От этих жалоб автор снова переходит к надеждам и к увещаниям. «Как был бы я рад, — говорит он, — если бы мои опасения были опровергнуты находкой настоящих национальных песен!» Повторяя свое увещание, что не следует терять время, он заводит речь о тогдашнем положении Германии, об условиях ее народного образования, о ее поэтических заблуждениях и о том эстетическом и нравственном влиянии, которые имели бы на нее старинные народные поэтические произведения. Он возвращается к той же мысли, которую высказал в конце статьи об Оссиане, когда при помощи ссылок на приводимые им образчики настоящих народных песен старается доказать негодность новейших немецких песен. Наконец в том же введении повторяются прежние нападки Гердера как теолога на просветительные идеи его времени и находящиеся в связи с этими нападками педагогические и психологические воззрения. «Свет так называемой культуры распространяет вокруг себя нравственную заразу», — эти слова Гердера, натурально, должны были вызвать энергический протест со стороны Николаи и его единомышленников! Именно этому «свету» автор противопоставляет народные песни, точно так же, как прежде, противопоставлял ему Библию и рассказанную в ней историю откровения Божия. Он порицает «возвышенную, бессмысленную, наполненную ароматическими приправами и моралью систему образования», которой придерживались в том веке Просвещения, а ввиду того что человек живет преимущественно чувственными впечатлениями, он утверждает, что старинные песни могут служить неоценимым педагогическим пособием. Ведь для простого народа, который живет преимущественно чувственными впечатлениями, мораль заключается только в трогательных рассказах, а музыка только в трогательных звуках — потому что у простого народа детская душа.

В этой вступительной статье всего более достойны внимания горячие патриотические чувства автора. Именно воззвания автора к патриотизму и служат связью между этим введением и введением к третьей книге, которое носит следующее заглавие: «О сходстве между средневековой поэзией английской и немецкой». Подобно тому как в первом из этих введений автор указывает как на образец для немцев на сборники песен Перси и Рамзэ, он указывает им во втором введении как на образец на исследования англичан об их древнем языке, о происхождении и складе «средневековой рыцарской поэзии»; он делает это на том основании, что английский язык возник из немецкого и что своеобразное развитие рыцарской поэзии в Германии достойно тщательного исследования. У нас уже предприняты, замечает Гердер, некоторые приготовительные работы с этой целью, но нам нужен новый Кюрне де Сан-Палэ, чтобы описать наше рыцарство, и новый Вартон, чтобы исследовать нашу средневековую поэзию. Вся наша средневековая история есть патология, но такая патология которая описывает склад немецкого ума только с одной стороны; а такой «физиологией всего национального тела», которая должна служить подготовкой для изложения истории нашего умственного развития и для истории нашей средневековой поэзии, у нас до сих пор очень мало занимались. Вслед за тем автор задает множество вопросов, высказывает множество желаний и поощрений. Он говорит, что следует изучать народные сказания и мифологические вымыслы, следует изучать причины их происхождения, распространения и различных переделок; необходимо расследовать, какие идеи, названия и метафорические выражения заимствованы в них из классической древности, — все это было бы в высшей степени интересно и для историка, и для поэта, и для философа! Собранные автором образчики поэзии могут в этом отношении служить пособием; они доказывают нам, что у англичан и у немцев тон баллад одинаков. Остальная часть введения подробно развивает это положение; в ней автор доказывает на разнообразных образчиках старинных немецких песен, что эти песни и по языку, и по оборотам речи, и по ритму имеют такие же достоинства, какие Вартон находил у Спенсера.

Итак, Гердер со всех сторон нападает на вялое бессилие, на изысканную напыщенность и на пошлое здравомыслие представителей того века Просвещения и сам принимает на себя роль такого писателя, который старается внушить свежие религиозные, поэтические и патриотические чувства. С резкостью своих критических отзывов он соединяет сентиментальный поэтический

пафос Клопштока. Но его кругозор еще более широк. Несмотря на свое сильное сочувствие ко всему, что носит на себе национальный немецкий отпечаток, он не теряет из виду и историю всего человечества. К разнообразным точкам зрения, которых он придерживался при издании своего сборника народных песен, присоединяется точка зрения антропологическая и историко-философская. Поэтому к английским и немецким песням он присоединяет в четвертой книге несколько песен «диких или полудиких» народов, и в этом случае не уклоняясь от тех руководящих идей, которые излагал в статье об Оссиане; а предисловию к четвертой книге он дает следующее заглавие: «Способ изучения песен других народов».

Мы имеем то преимущество перед греками и римлянами, говорит Гердер, что можем обозревать судьбы человечества на пространстве несравненно более обширном. Наш «философский век», конечно, не может отвергать ту истину, что для нас в высшей степени поучительно изучать жизнь разнообразных народов, входящих в состав всего человечества. Но необходимо придать этому изучению более глубины и с этой целью изучать в истории народов не только внешние события, но и внутреннюю жизнь. Лучшим для этого средством служат народные песни. Все нецивилизованные народы любят пение, а содержанием для их песен служат все их научные познания, религиозные верования, душевные движения, замечательные явления первобытного мира, их житейские радости и огорчения; в этих песнях отражается, как в зеркале, характер каждого народа: то его воинственность, то его сердечная мягкость, то его остроумие, то его фантазия, то его дикая отвага. Как бесцветны в сравнении с такими песнями скучные описания народов или приводимые в виде объяснительных примеров переводы христианских молитв на язык этих народов! При изучении истории и быта народов следует поступать так же, как поступают при изучении законов природы. Перед нами открыто необозримое поле, о котором нам дает лишь небольшое понятие предлагаемый публике очерк, так как он ограничивается лишь теми «второстепенными народами, которые живут вместе с нами и среди нас». Это не что иное, как небольшой очерк, написанный с целью поощрить других к предпринимчивости; здесь автор обращается преимущественно к лицам духовного звания, приглашая их изучать местный язык, нравы, склад ума, предрассудки и обычаи так, чтобы составила «полная, верная, натуральная история народов», — так, чтобы народные песни и мифологические сказания передавались нам

такими, каковы они на самом деле, не разукрашивались религией, не извращались под влиянием склонности к классицизму.

Еще в «Летучих листках» Гердер говорил, что песни Оссиана и рапсодии Гомера были «чем-то вроде импровизаций». С такой же точки зрения смотрит он в разбираемой нами статье и на поэтические произведения греков. «Сами греки, — говорит он, — были не что иное, как полуварвары. Нам станет понятно, откуда возникла поэзия Гомера, Орфея, Тиртея и откуда возникла старинная греческая комедия, когда мы познакомимся с однородными поэтическими произведениями гренландцев, американцев и других варварских народов, не знавших даже о существовании греков и римлян; а если эти дикие народы были в состоянии выражать свои чувства, подобно грекам, в поэтической форме, то почему же и мы не были способны делать то же? Гердер полагает, что и песни Сапфо были остатками импровизаций или выражениями страстных чувств. Он останавливается на этих песнях, приводит в переводе их образчики и затем делает скачок к любовной песне того молодого лапландца, который ведет беседу не с Венерой, а со своим оленем, и к прощальной песне литовской девушки, у которой более поэтического дарования, чем у смешных сочинителей таких прощальных песен. «Кто приложит сколько-нибудь практического смысла к собиранию таких поэтических произведений, в которых отражаются мечтания, поэтические влечения, химеры и предрассудки различных народов, тот, без сомнения, окажет человеческому уму такую услугу, какой не в состоянии оказать ему десять логиков, эстетиков, моралистов и политиков». Автор оканчивает выражением такого сожаления, из которого всего яснее видна главная причина его влечения к народным песням: «До какой степени приятно видеть народ в его ничем не прикрытом простодушии, в его природной веселости, в его грубых природных влечениях, всего лучше понятно для того, кто начинает дышать свободно, освободив свою голову и свое сердце от того бремени, которое налагают на нас наши вежливо-фальшивые и нечеловеколюбивые государственные учреждения. Установленные правила и обычаи стараются заглушать голос человеческого сердца; поэтому мы должны пользоваться всяким удобным случаем, чтобы хотя на одно мгновение дать этому сердцу полную свободу!»

Напечатанная в ноябрьском номере «Немецкого музея» 1777 г. статья «О сходстве средневековой английской поэзии с немецкой и о разных истекающих из этого сходства выводах» сделалась впоследствии непосредственной предшественницей

тех народных песен, которые были изданы в 1778 и 1779 гг. Кто читал эту статью, тот заметит, что в нее вошло содержание рассмотренных нами трех введений к тому сборнику народных песен, который предполагалось издать в 1774 г. Из предисловия к третьей книге Гердер взял надпись и начало; к этому началу он прибавил содержание предисловия к первой книге и наконец содержание предисловия к четвертой книге. В этой переделке три предисловия являются в сокращенном виде, вследствие того что из них выпущены примеры, переводы и ссылки на содержание сборника; кроме того, к ним сделаны некоторые добавления; наконец их слог исправлен и уже в значительной мере утратил прежний отпечаток периода бурных стремлений¹.

Напротив того, содержание предисловия ко второй книге не входило в состав никаких других статей, и потому мы можем познакомиться с ним только из той рукописи народных песен, которая относится к 1774 г.; нам остается рассмотреть только это содержание.

Так как в этом предисловии идет речь о произведениях Шекспира, то оно ставит весь сборник песен в такую тесную связь с «Разбросанными листками», какой мы не находим в позднейшем печатном сборнике. В этом последнем сборнике мы находим лишь небольшое число заимствованных от Шекспира песен, которые разбросаны между остальными народными песнями, а в первом сборнике шекспировские песни собраны в более значительном числе в одну книгу. Кроме того, к шекспировским песням прибавлены в переводе на немецкий язык другие заимствованные от Шекспира отрывки, монологи и сцены, которые и составляют главное содержание статьи, озаглавленной так: «Неужели нет возможности переводить Шекспира?» Книги первая, третья и четвертая вместе со своими предисловиями служат дополнением к письмам об Оссиане, а вторая книга вместе со своим введением служит дополнением к статье о Шекспире. В этой второй книге обнаруживается влечение Гердера как к народным песням, так и к произведениям Шекспира; внося в свой сборник такое смешанное содержание, он в сущности вносил в него лишь старинные поэтические произведения и предназначал его для публики, между тем как серебряная тетрадка была

¹ На издании Суфана лежит обязанность более подробно расследовать различие между двумя редакциями, а о статье, напечатанной в «Немецком музее», мы будем говорить подробнее в пятой книге настоящего сочинения.

предназначена только для немногих. А именно оттого, что этот сборник предназначался для публики, в нем опущены собственные поэтические произведения Гердера, составляющие главное содержание серебряной тетрадки¹. Что автор считал подходящими к цели его сборника стихотворения Клопштока и Клаудиуса, видно из того, что он включил туда некоторые произведения и этих поэтов. Напротив того, он очень старался скрывать свое собственное участие в сочинении стихов; это видно из того, как он отвечает на вопрос: «Неужели нет возможности переводить Шекспира?» «Я не в состоянии, — говорит он, — отвечать на этот вопрос, а высказываю мои мнения только на основании бумаг, доставленных мне никому не известным и живущим вдалеке от меня другом. В числе множества мелких и больших отрывков и очерков, которые этот любитель муз сжег во время своей последней болезни или только намеревался сжечь, попадают и некоторые отрывочные строки, песни и сцены, переведенные из произведений Шекспира. Их даже нельзя назвать настоящими переводами: это только наброски, но они, как мне кажется, доказывают, что наш язык способен передавать даже самые трудные места из Шекспира; поэтому я и привожу некоторые из них без всяких изменений». Вслед за тем Гердер приводит — сопровождая их краткими замечаниями — монолог Гамлета, отрывки из «Макбета», «Отелло», «Лира», «Сна в летнюю ночь», «Зимней сказки», сцены ведьм из «Макбета» и в заключение страшную ночную сцену из трагедии «Ричард»; а все это служит лишь введением к «песням из произведений Шекспира», которые составляют в числе пятнадцати содержание второй книги.

V. Продолжение «Древнейшего документа»

Итак, Гердер на время отказался от намерения издать сборник народных песен, потому что опасался навлечь на себя этим сборником новые нападки; но точно в таком же положении находилось продолжение того сочинения, которое было в глазах Гердера самым важным из всех его литературных предприятий. Его отвлекли от этой работы занятия новозаветными книгами; то сочинение не доставило ему лестного удовлетворения; к тому же он уже вос-

¹ Я насчитал в рассматриваемой мной рукописи 17 номеров, которые уже были внесены в серебряную тетрадку; именно из этой тетрадки были взяты некоторые песни из произведений Шекспира.

пользовался для изданных им статей тем ученым материалом, который был им собран для его важных исторических исследований; в его распоряжении оставались только неясные догадки; только из его фантазии ему приходилось черпать сведения о тех дальних странах, которых он никогда не видел, а средств для продолжения его исследований у него не было никаких.

С другой стороны, и его честь была заинтересована в исполнении данных им обещаний; ему было необходимо отвечать на протесты, вызванные изданием первой части «Древнейшего документа»; между тем и Гаман постоянно убеждал его продолжать начатое сочинение, напоминая ему, что этого требовали его обязанности перед публикой, перед издателем и перед друзьями, а эти убеждения сопровождались указаниями на те недостатки в слоге и в тоне сочинения, которых впредь следовало избегать¹.

Гердеру представлялась возможность выйти из его затруднения косвенным путем — приступить к продолжению того очерка «Археологии евреев», который был начат еще в Риге. Продолжение критико-исторических исследований можно было пока отложить в сторону, и затем, снова взявшись за начало Пятикнижия, связать те исследования со следующими главами книги Бытия. Еще в мае 1774 г. Гердер устно сообщал о таком плане Гарткноху, посетившему его во время пасхальной ярмарки, и письменно извещал Гамана и Лафатера. Поэтому Гарткнох называл новую книгу своего приятеля «историей наших прародителей», а Гердер уверял его в одном письме, что «Второй Древнейший документ» уже изложен в первоначальной редакции, в другом письме — что вторая и третья книги Моисея уже подробно разобраны². Такими же уверениями Гердер и после того успокаивал издателя, когда тот обращался к нему с неоднократными напоминаниями из опасения, что судьба нового сочинения будет одинакова с судьбой «Отрывочных заметок». Сначала шла речь только о главах второй и третьей, изложенных так, чтобы «их могли понимать женщины», а потом в ноябре 1775 г. Гердер высказывал намерение продолжать свою работу, вплоть до пятой главы. «Я пишу, — говорил он, — продолжение „Древнейшего документа“ в Гёттингене, потому что только там можно его писать»³.

¹ Гаман к Гердеру (Соч. Гамана. V, 119, 122, 155, 158, 161, 164); Гаман к Гарткноху (Там же. 112); Гарткнох к Гердеру № 46.

² С, II, 57 (28 мая 1774 г.) и ненапечатанное место из письма за № 35 (от 18 июня 1774 г.).

³ С, II, 72 (в феврале 1775 г.) и С, II, 77.

Из этих слов ясно видно, что разработка тех глав была лишь дополнением к «Документу», т. е. к тем ученым исследованиям, которые не были доведены до конца. Даже есть основание думать, что автор замышлял написать особое сочинение независимо от содержания «Древнейшего документа». На это указывают следующие слова в письме к Гаману, написанном в мае 1774 г.: «Прежде чем приступить к продолжению „Документа“, я должен написать нечто другое; это будет коротенькая, написанная для детей и для женщин история человеческого рода до всемирного потопа». Еще положительнее он выражается в письме к Гейне, написанном в декабре 1774 г.: он говорит, что своим небольшим сочинением «О первоначальной истории человеческого рода» он или повредит будущему успеху «Документа», или подготовит его¹.

Действительно, эта первоначальная история человеческого рода является продолжением «Древнейшего документа», его «вторым томом, заключающим в себе четвертую часть». На нее потребовалось немало времени! Она была окончена лишь весной 1776 г.; в Вербное воскресенье Гердер отослал свою рукопись в печать, а по прошествии нескольких недель уже мог известить Лафатера о выходе нового сочинения в свет². Богословская литературная деятельность Гердера во время его пребывания в Бюкебурге началась первым томом «Древнейшего документа», а вторым томом этого сочинения она окончилась.

В этом томе, составляющем «четвертую часть» «Документа» идет речь о содержании книги Бытия в главах от второй до шестой. Автор говорит, что содержание этих глав не может равняться с бесподобными достоинствами того начального рассказа, в котором идет речь о сотворении мира в течение семи дней. Тот первоначальный рассказ представляется вполне цельным; он имел в виду «иную и более возвышенную цель», а то, что за ним следует, состоит из «собранных в кучу сказаний». Однако и эти сказания состоят из самых древних преданий о человеческом роде; в них кроются зачатки покрытой мраком древнейшей истории человечества. В них всего ярче бросается в глаза, точно «новый столб Геркулеса», рассказ о грехопадении, который, подоб-

¹ Соч. Гамана. V, 72; *Дюнцер* С, II, 177; сравн. Соч. Гамана. V, 104 и письмо к Лафатеру (А, II, 102).

² Гердер к Циммерману; окончание письма, написанного в марте 1776 г. (у Бодемана, с. 337); Гердер к Гарткноху 13 апреля 1776 г. (С, II, 79); к Лафатеру 11 мая 1776 г. (А, II, 161). И Ленцу он писал о выходе в свет новой статьи. «Меня очень интересует прочесть то, что там говорится о рае», — писал ему Ленц (А, I, 241).

но заключающемся в первой главе рассказа о сотворении мира, дошел до нас прямо из уст наших предков, как это доказывает встречающееся в нем имя Элоим. Это был отдельный рассказ, вставленный Моисеем согласно с хорошо обдуманном планом.

Как для самого Гердера, так и для публики чтение всех этих рассказов служит отдыхом после того, как во второй части и в третьей шла речь «о самых разнообразных народах, эпохах, знамениях и языках». Но вслед за этим автор предполагает со временем снова продолжать прерванные критико-исторические исследования. Он неоднократно говорит о продолжении своей работы; тогда читатель снова очутится среди «целого мира памятников, чудес и знамений», тогда он узнает, где находился Эдем, узнает происхождение жертвоприношений и «ясную историко-географическую правду» касательно потомства Каина¹. Вся последняя часть статьи состоит из обещаний таких будущих разоблачений. «Тогда, — говорит автор, — мы спустимся в царство теней, познакомимся с самыми разнообразными народами, языками, обычаями, вымыслами и знамениями и с помощью Божьей возвратимся к великому памятнику первобытного мира!»

Всякий, кто читал вторую и третью части «Древнейшего документа», не будет сожалеть о том, что обещания Гердера остались неисполненными. Мы охотно довольствуемся тем, что находим в четвертой части не более как комментарий, вроде того, какой мы нашли в первой части.

Действительно, точно так же, как и в первой части, здесь мы находим перевод некоторых отрывков из Библии и их объяснения, написанные с восторженными похвалами их поэтическому содержанию. И здесь поэтическое увлечение древними сказаниями проникнуто глубоким религиозным чувством; сочувствие к поэзии мифов есть вместе с тем сочувствие к тому, что автор считает за божественную истину, за божеское откровение; углубляясь в содержание «безыскусственного детского рассказа», автор находит, что такой рассказ не мог быть написан человеком и, без сомнения, был непосредственным выражением слова Божия. К перефразировке рассказа он приплетает подробные гомилетические объяснения, а к словам священного текста присоединяет с назидательной целью религиозные, этические и педагогические соображения, которые лишь утомляют читателя. Не ограничиваясь ролью комментатора, он также берет на себя роль нравоучителя: детский рассказ Библии, говорит он, следует

¹ Древнейший документ. Том II. С. 33, 42, 128, 159, 169 и сл., 179.

не только «читать с глубоким сочувствием», но и принимать за руководство в нашей жизни. Искренностью своих религиозных верований он нисколько не отстает от Гамана, а своей словоохотливостью напоминает Лафатера — не даром же этот последний осыпал его похвалами, уверяя, что второй том «Древнейшего документа» гораздо более ясен, интересен и богат содержанием, чем первый.

Но в этой четвертой части есть еще одна отличительная особенность — в ней автор еще настойчивее прежнего придерживается ортодоксальных воззрений и догматических верований. Прежде его набожность не мешала ему заниматься научными исследованиями, а теперь такие исследования отодвигаются на задний план; так, он утверждает, что не кто иной, как Сиф, сохранил и передал потомству рассказ о сотворении мира! Вообще все заключающиеся в этой четвертой части объяснения Священного Писания до такой степени похожи на бездоказательное изложение догматов, что их очень трудно согласовать с высказанными в первой части порицаниями «бессмысленного школьного преподавания». Так, Гердер ссылался на Галлера, говоря о том, как Бог вдохнул душу в созданное из праха человеческое тело; он ссылался на Бюффона, говоря о пастушеской жизни Авеля; он высказывал непоколебимую уверенность в том, что с развитием научных познаний когда-нибудь подтвердится основательность библейского рассказа — этой «древнейшей философии Моисея»; а все это едва ли можно согласовать с его утверждением, что историю сотворения мира нельзя объяснять на основании физических законов. Вообще, в рассматриваемой нами четвертой части автор придерживается не той точки зрения, которая преобладала в первой части, а той, которая преобладала в «Объяснениях Нового Завета». Точно так же как и в тех «Объяснениях», автор возвращается в сфере поэтически-мистической ортодоксии; даже связь ветхозаветных понятий с новозаветными, грехопадения с искуплением, первоначальной истории человечества с христианским учением о Спасителе носят на себе не столько отпечаток мистических верований св. Иоанна, сколько отпечаток догматических верований св. Павла. В этом отношении автор зашел еще далее на том пути, по которому шел в своих «Объяснениях Нового Завета»; кроме того, он еще менее прежнего остерегался тех резких выходов, в которые его вовлекала полемика о богословских вопросах. Он, очевидно, уже не находит надобности быть сдержанным, чтобы избежать повторения тех неприятностей, которые навлек на себя своей прежней литературной деятельностью: в его новом сочинении мы находим все его полемические и сти-

листические недостатки. Он когда-то принял твердое решение не вступать в полемику с Михаэлисом, а теперь он с прежней горячностью и с прежним фанатизмом нападает на философию и на просвещение своего времени, на современных «поэтов, остроумных людей, героев и философов», даже по-старому пускает ядовитые стрелы в «нового проповедника Библии», ясно намекая на то, что под этими словами разумеет Михаэлиса¹. Эти выражения и в особенности те, в которых он говорит о «глупцах» и о «черни»² по поводу некоторых отзывов о его книге, высказанных гёттингенскими теологами, снова похожи на сильные «излияния желчи», а Лафатер выразился очень мягко, когда сказал, что эту очень понравившуюся ему книгу следовало бы написать «еще более мягким тоном и без всяких личных намеков».

Из трех глав рассматриваемого нами комментария самая интересная вторая, потому что в ней яснее, чем во всех других, выразилось направление всей книги. И достоинства, и недостатки автора, и его умение всему придавать поэтический смысл, и его предубеждения — все это совмещается в его суждениях о мифе грехопадения.

Гердер еще не понимал значения мифов даже тогда, когда в своей статье о еврейской археологии смотрел на первые главы Библии как на песни и стихотворения, написанные в религиозном тоне, как на рассказы, облеченные в форму восточной поэзии. И теперь это значение остается для него непонятным. Он начинает с того, что называет библейский рассказ (точно так же, как за семь лет перед тем³) восточной басней, «догматико-мифологическим апологом». Он обращает наше внимание на очаровательный тон этого рассказа и на мораль вымысла — на наказанное непослушание детей, на страшные последствия ложной мудрости, на происхождение зла среди людей; дерево познания добра и зла, о котором идет речь в том детском рассказе, есть, по его мнению, не что иное, как эмблема той великой истины, которую снова стал проповедовать Руссо, — той истины, что природа хороша, а человек дурен, что неуместная любознательность и фаль-

¹ На с. 59 в прим. к отрывку, цитированному из сочинения Ленца «Der neue Menoza», под тремя крестиками следует разуместь Михаэлиса. С. 162 относится к переводу Михаэлисом прим. к Книге Бытия IV, 6, 7, с. 172 — прим. к Книге Бытия IV, 23.

² С. 86 и 180; сравн. письмо Гейне к Гердеру от 8 марта 1776 г. (С, II, 192) и «Воспоминания» (II, 60, прим. **). Об этом еще будет идти речь в нашей шестой главе.

³ Сравн. отзывающееся рационализмом воззрение на «Песнь об искушении» (LB. I, 3, а, 568 и сл.).

шивая мудрость были причиной всех несчастий в мире. Но, указывая на то, что есть в рассказе привлекательного, он намеревается только доказать, какую поэзию можно бы было найти в его содержании, если бы он был не что иное, как басня. Только мимоходом, только в виде гипотезы он на одно мгновение усваивает ту точку зрения, что библейский рассказ — «первая и, бесспорно, самая глубокомысленная басня». Он спешит отказаться от такого воззрения и говорит, что объяснять библейский рассказ как аллереорию значило бы сделать из содержания Библии сюжет для пошлых лжеумудрствований. С целью осмеять такой прием, он сочиняет на него пародию и в виде примера доказывает, что можно бы было дать следующее объяснение библейскому рассказу: человек сначала ходил на четвереньках; у древа познания добра и зла он научился ходить на двух ногах и вслед за тем приобрел разум и все остальное. Итак, он окончательно отказывается от предположения, что тот рассказ не что иное, как басня! Он считает вполне доказанным, что и рассказ о сотворении мира, и все остальное заключают в себе исторические факты. Этим он возлагает на себя трудную задачу! Так, чтобы объяснить способность змия говорить по-человечески, он утверждает, что чувственный человек, что сын природы способен все оживать, способен разговаривать даже с животными. Он не хочет смотреть на рассказ только как на поэтическое произведение, а между тем его воззрения пропитаны поэтическим чувством и он сам, объясняя содержание рассказа, становится поэтом. Его фантазия разыгрывается над каждой мелкой подробностью, и он до такой степени сам проникается духом рассказа, что бессознательно смешивает его психологические и нравственные истины с их фактической достоверностью. Благодаря своей сильной впечатлительности он принимает поэтические вымыслы за факты, подобно тому как восточная фантазия когда-то бессознательно облекала свои самые глубокомысленные воззрения в форму исторических событий. Нам было бы нетрудно указать неосновательность такой точки зрения; но, с другой стороны, нельзя не заметить, что ошибочные взгляды Гердера способствовали уяснению поэтического содержания и смысла мифов. Впрочем, заблуждение Гердера неизбежно привело его к новым заблуждениям — к тому, что он связал с библейским рассказом множество таких же догматических верований, какие проповедовались св. Павлом и древней церковью. Туман поэтического воззрения сгущается до такой степени, что автор считает змия за первое видимое явление сатаны, истории Адама — за «узел человеческого рода», а Христа —

за второго Адама, развязавшего этот узел. Осыпая вовсе не остроумными насмешками все попытки философских объяснений, он подчиняет все человеческие исследования тому, что нам поведало Откровение. Одно из двух, говорит Гердер, или вы попадете в пучину неразрешимых сомнений, ломая себе голову над объяснением предназначения человеческого рода; или же вы с помощью Божьей поймете смысл библейского рассказа, и чем больше возникало в вашем уме сомнений и вопросов, тем искреннее вы убедитесь в истине того, что там прочтете. Вот какой решительный переворот совершился в душе Гердера, когда-то так горячо вступавшего за свободу научных исследований! Можно ли после этого удивляться тому, что относительно происхождения библейского рассказа он довольствуется мистическими объяснениями, которые очень неясны и даже совершенно бессмысленны? Он говорит, что тот рассказ включает в себе божественную истину; но кто же был автором рассказа? «Очевидно, — отвечает Гердер, — что рассказ был написан не простым смертным, а кем-нибудь другим, кто, по-видимому, не принадлежал к числу смертных и заранее знал, что судьба человечества изменится к лучшему».

Из всего сказанного видно, что во время пребывания Гердера в Бюкебурге вся его литературная деятельность постоянно носила более или менее резкий отпечаток религиозного воодушевления. Сначала она отличалась той благотворной сердечной теплотой, которая проистекает из чистого нравственного чувства; но потом она мало-помалу дошла до такой страстной горячности, которая совершенно сбила этого гениального человека с толку, сделала из него мечтателя и фанатика, а в лучших случаях довольствовалась мистическими толкованиями¹. Его прежнее желание пробудить влечение к настоящей поэзии еще не угасло, но оно отодвинулось на второй план; даже на поэзию, на философию и на историю он смотрит с религиозной точки зрения. Он хочет быть вторым Лютером в такое время, которое не имеет никакого сходства с временами Лютера; он хочет быть великим реформатором, несмотря на то что при всей его гениальности ему недо-

¹ Что происшедший в уме Гердера переворот уже давно подготовлялся, видно из того, что Гердер помышлял о возобновлении своих сношений с Трешо через посредство своих богословских сочинений. Но не менее характерно и то, что в конце концов одержало верх отвращение к Трешо. В том месте написанного в мае 1775 г. письма к Гаману (Соч. Гамана. V, 139 и сл.), которое не попало в печать, Гердер говорит: «Мне не раз приходила в голову мысль послать Трешо мои „Орега“, и я намеревался начать с „Провинциальных листков“; но я сам не могу понять, почему я не привел этого намерения в исполнение».

стает необходимой для такой роли силы воли. Сочинения бюкебургского периода менее зрелы, менее ясно изложены и потому менее удовлетворительны, чем сочинения рижского периода, главным образом потому что, несмотря на изобилие новых идей и на ширину своих целей, автор торопливо выражал в них всякую новую мысль, какая зарождалась в его многостороннем уме. К числу тех литературных произведений 70-х годов, в которых всего яснее видны слабые стороны нового умственного направления Гердера, принадлежит и «Древнейший документ» наряду с клопштоковской «Gelehrienrepublik», нелепости которой сам Гердер так ясно распознавал¹, и наряду с лафатеровской «Физиогномикой», которую Гердер хвалил с таким пристрастием. То было, по словам самого Гердера, «такое время, когда убеждения только складывались, когда умы то волновались, то успокаивались, — то было время подготовки и надежд»; и все, что он писал в течение тех лет, носило такой же отпечаток. Так как для него была слишком узка бюкебургская сфера деятельности и его собственный ум был его единственным собеседником, то он, по меткому выражению Гейне, «изготавливал пряжу только из своих собственных ниток, потом ткал ее заново и сам ее кроил». Нужно было положить конец его одиночеству и подчинить его ум иным влияниям. Гейне полагал, что было бы всего лучше вовлечь его в сферу университетской деятельности, потому что ему были необходимы столкновения с другими мыслящими людьми и потому что чтение университетских лекций служит чем-то вроде пробного камня, для того чтобы научиться отличать причудливые мечтания от основательных идей.

Такое целебное средство, вероятно, принесло бы ожидаемую пользу; но Гердеру пришлось испытать на себе влияние иного рода. Нам предстоит рассказать, каким образом совершился этот переворот в его жизни; а после того нам придется объяснить, каким образом при совершенно новой обстановке и под влиянием одного гениального друга он стал сдерживать болезненную пылкость своих воззрений и успел облечь в более чистую и более удачную форму то, что было в этих воззрениях возвышенно и согласно с истиной.

¹ В письме к Гаману (Соч. Гамана. V, 75) он называет это сочинение «ребячеством и забавой»; точно так же он отзывается об этом сочинении в письмах к Гейне (С, II, 172), к Лафатеру (А, II, 102) и к Бойе (у Вейнгольда, с. 171).

ПЕРЕГОВОРЫ В ГЁТТИНГЕНЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ В ВЕЙМАР

С той минуты как Гердер вступил в свою бюкебургскую должность, он постоянно искал случая переехать из города, в котором ему приходилось жить в совершенном одиночестве; он даже вовсе не принял бы бюкебургской должности, если бы ему дали в Риге такое место, какого он желал¹. Первый повод для переезда был ему доставлен тем правительством, с которым он еще незадолго перед тем сам добровольно распростился. Из Эйтина он получил настоятельное приглашение на оказавшуюся вакантной должность придворного проповедника. Мать принца Петра желала снова привлечь в Эйтин того человека, который, по ее мнению, был один способен оказать благотворное влияние на ее несчастного сына. После того как принц расстался с Гердером, он совершенно поссорился со своим гувернером; его слабый ум впал в болезненное состояние; мучимый религиозными сомнениями и сумасбродными идеями, он бесцельно таскался по Франции и Голландии, нигде не находя для себя приятного места. Наконец его силы физические и умственные пришли в такое расстройство, что осенью 1771 г. ему было послано приказание возвратиться домой; гувернер, которого считали виновником того, что случилось, был уволен от должности, а Гердер был тот, от кого ожидали совета и помощи. Ему всего охотнее снова предложили бы сопровождать принца в путешествиях и быть его единственным ментором — конечно, не на прежних условиях. Каролина уговаривала Гердера согласиться, потому что знала, как он был недоволен бюкебургской должностью и как сильно он желал предпринять путешествие в Италию; но сам Гердер не соблазнялся сделанным ему предложением, хотя и был польщен доверием эйтинского правительства. Он не отказался помогать своему бывшему воспитаннику советами и письменными наставлениями, но относительно всего остального он благоразумно воздержался от изъявления своего согласия. В январе 1772 г. он

¹ См. выше, с. 598.

писал, что ему вовсе не предлагали отправиться вместе с принцем в путешествие и что этот жалкий молодой человек едва ли когда-нибудь снова будет путешествовать. Но быть только придворным проповедником в Эйтине он не согласится ни на каких условиях! Он предпочитает еще несколько времени просидеть среди бюкебургских «свинцовых гор»!¹

Другие планы о перемещении Гердера на какую-нибудь новую должность составлялись его доброжелателями, но были более похожи на воздушные замки. Суетливая Ларош, любившая разыгрывать роль влиятельной покровительницы и составлявшая для своих друзей различные планы, не забывая и своих личных интересов, желала доставить Гердеру должность придворного проповедника в Нейвиде, потому что ей тогда пришлось бы жить в близком соседстве и с Гердером, и с ее старым другом Виландом, который основал в том городе академию. С другой стороны, сестра Каролины все еще выражала свои сожаления о том, что Гердер не хотел слышать о должности профессора в Гиссене; кроме того, имелась в виду еще более выгодная должность, которая должна была сделаться вакантной со смертью престарелого Беннера. Каролина извещала Гердера о всех этих замыслах, но воздерживалась от всяких советов; Гердер писал ей в ответ, что «все это на тысячу миль далеко от того, что ему нужно», что он находит вдвое более выгодной свою бюкебургскую должность и даже счел бы более благоразумным принять предложение из Эйтина; он утверждал, что решил принять только такую новую должность, на которой мог бы оставаться в течение всей своей жизни, — а такую должность можно было бы найти или в Ганновере, или в Берлине².

Впрочем, Гердер не отказывался от должности генерал-суперинтенданта в Гальберштадте, которую просил для него в начале 1773 г. Глейм у министра Зедлица. К сожалению, оказалось,

¹ Главные указания можно найти в переписке между Гердером и Каролиной. Воспоминания. I, 210, 213 (отсюда, между прочим, видно, что Гердер — если только я верно понял смысл выражений — получал из Эйтина пенсию в 200 талеров); А, III, 161 и сл., 168, 171 (Воспоминания. I, 219), 184, 207. Также см. дошедшие до нас в подлинниках письма принца, из которых одно, написанное из Брюсселя от 5 июня 1771 г., напечатано у Дюнцера (С, III, 281). Наконец см. письмо Гердера к Мерку (*Вагнер*. II, 37). Выражение «бюкебургские свинцовые горы» включает в себе намек на историю девицы Штернгейм.

² Каролина к Гердеру 16 сентября 1771 г. (А, III, 101) и ответ Гердера (А, III, 109), в котором указания более полны, чем в «Воспоминаниях» (I, 209). Касательно Гиссена сравн. А, III, 237; место Беннера не было вакантным еще в течение нескольких лет после того.

что добрые намерения Глейма заходили далее того, чего он мог добиться своим личным влиянием. Своим вмешательством он не принес Гердеру никакой пользы, а после того как его ходатайство оказалось безуспешным, Гердер опасался, что искание новой должности навлечет на него новые неприятности, и не ошибся в своих предчувствиях: мы уже ранее упоминали о том, что слухи о назначении Гердера в Гальберштадт отозвались на полемике, вызванной появлением «Провинциальных листков»¹, которые едва ли могли бы быть изданы гальберштадтским генерал-суперинтендантом во владениях прусского короля. Поэтому несколько неудивительно, что когда Глейм известил осенью 1774 г. Гердера о своем намерении искать для него новой должности в Клостербергене², то Гердер убедительно просил его отложить в сторону всякую мысль о каких-либо новых искательствах.

Около того же времени оказался безуспешным и другой замысел, который привел только к тому, что негодование Гердера на берлинских *διαβολοι* еще усилилось. Об этом митавском проекте также было нами ранее упомянуто (с. 795). Лишь только появилось в газетах осенью 1772 г. известие, что в Курляндии будет основан университет, в который будут приглашены для преподавания самые даровитые люди с хорошим жалованьем, Клаудиус — из желания оказать своему другу услугу — распустил через посредство «Вандсбекеровского вестника» слух, что Гердера намереваются пригласить на должность профессора в Митаву. Гердер не придавал серьезного значения этим слухам — но как был бы он рад, если бы сбылось предсказание Клаудиуса! Как сильно билось его сердце при мысли, что ему, быть может, придется жить неподалеку от того города, где он провел несколько лет в полном счастье, где оставил столько верных друзей и ту подругу, с которой желал бы познакомить свою Каролину! Сообщая своей невесте о своих новых надеждах, он писал: «В той стране можно принести больше пользы, чем в этой обширной, разделенной на части и изнывающей под игом мелких властителей Германии». И о его любимой мечте — о его надежде занять в Риге должность обер-пастора — постоянно шла речь в его переписке с Гарткнохом. Когда Гарткнох посетил в 1774 г. Гердера

¹ См. выше, с. 788 и 789, переписку Гердера с Глеймом (С, I) № 4, 5, 6; письмо к Каролине (А, III, 426, 427 и 431); кроме того, есть не попавшее в печать письмо к Каролине, в котором Гердер извещает ее о крушении его замыслов; наконец см. письмо к Гарткноху (С, II, 37) и ответ Гарткноха (Там же. 38, 39).

² См. переписку Гердера с Глеймом № 10 и 11 (6 ноября 1774 г. и 15 февр. 1775 г.).

в Бюкебурге, два друга снова взвешивали шансы на получение Гердером той рижской должности, а Гердер говорил о занятии профессорской должности в Митаве как о средстве со временем достигнуть назначения в Ригу. Ему предложил свое посредничество один из приглашенных в Митаву профессоров — молодой Гартман; по совету Гарткноха, он вступил в переписку с Гартманом, положившись на данные ему, очень неопределенные обещания. Но на деле оказалось, что этот легкомысленный патрон не пользовался никаким влиянием и что герцог курляндский руководствовался в выборе профессоров советами Зульцера, а Зульцер не захотел замолвить ни одного слова в пользу автора «Провинциальных листков», с которым не сходилась в убеждениях и которого считал слишком смелым нововводителем. Тем временем появилось в печати письмо Теллера, и Гердер поспешил забыть это неприятное дело из опасения, что «разные Гартманы и Зульцеры с яростью набросятся на него»¹.

¹ Касательно газетного известия, напечатанного Клаудиусом, сравн. А, III, 364; А, I, 371 и С, II, 149; кроме того, см. «Воспоминания» (I, 231) в связи с окончанием гамановского письма (Соч. Гамана. V, 19). Касательно желания Гердера получить место в Риге см. его письмо к Гарткноху от 13 сентября 1773 г. и письмо Гарткноха к Гердеру от 18 (29) июня 1774 г. Касательно назначения в Митаву см. С, II, 61, 62, 63, 65, 66, 67; Соч. Гамана. V, 95, 98, 105. В подлиннике гердеровского письма к Гаману от 14 ноября 1774 г. мы находим более подробные указания: «Приглашение в Митаву было выдумкой Гартмана; я не придавал ей никакого серьезного значения и лишь только узнал о ней, старался, чтобы о ней никто не говорил: она не могла принести мне никакой пользы, а только доставляла берлинским *διδασκαλοῖς* случай осыпать меня оскорблениями». О преждевременной смерти Гартмана и о жалком положении дел в Митаве Гарткнох уведомлял Гердера 8 ноября 1775 г. (С, II, 76). Нам, быть может, следовало бы упомянуть в тексте о планах переезда в Петербург; но относительно этих планов мы не можем составить себе никакого определенного понятия даже из тех писем, которые дошли до нас в рукописи. Гердер обращался 13 сентября 1773 г. к Гарткноху с просьбой как можно скорее переслать одно письмо Ратзамгаузену в Петербург; он неоднократно спрашивал, доставлено ли это письмо по адресу; а один раз присвокупил к своему вопросу заявление, что все еще сидит в Бюкебурге без всяких надежд, хотя и стремится к перемещению. О том же идет речь в письме Гарткноха от 10 ноября 1773 г.; он писал Гердеру: «Во время своего проезда (на обратном пути из Петербурга в Дармштадт) Мерк говорил мне, что вы искали места в Петербурге... но что Ратзамгаузен вовсе не такой человек, который мог бы и желал бы оказать вам какую-нибудь услугу». Гарткнох снова заговаривал об этом в письме от 30 декабря; в своем ответном письме от 12 февраля 1774 г. Гердер изобличал Мерка во лжи: «Все, что он рассказывал о моем старании получить в Петербурге место через Ратзамгаузена, — вранье и ложь». Наконец Гарткнох возражал Гердеру 6 марта 1774 г. (С, II, 54) такими словами, смысл которых вполне

Более серьезной была надежда на получение места в Гёттингене. Она была основана на более прочном фундаменте, но после продолжительных переговоров, в то время как она уже была близка к осуществлению, она была отложена в сторону, вследствие того что Гердер получил иное назначение.

С того времени как Гердер провел в феврале 1772 г. несколько дней в Гёттингене, «его всячески уговаривали переехать туда на постоянное жительство»; с тех пор его не покидала мысль о таком переезде; и в беседах с самим собой, и в письмах к Каролине, дававшей ему советы по внушениям ее сердца, он обсуждал вопрос, не будет ли для него более приятной, чем пасторская деятельность, жизнь профессора, к которой он до того времени не чувствовал никакого влечения. Это дело, по-видимому, можно было бы уладить при посредстве Гейне; но когда Гердер случайно заговорил с Гейне о своей тяжелой, одинокой жизни в Бюкебурге, то получил в ответ только сопровождавшееся вздохом восклицание: «Ах, как было бы хорошо, если бы вы здесь жили!» Той, с которой «он разделял все свои душевные заботы», он писал, что Гейне — трусливый человек, который, конечно, выскажет свое мнение, если к нему обратятся за советом, но что в этом случае необходимо чье-нибудь посредничество. А разве Гердер не мог прибегнуть к посредничеству Терезы Гейне! Он мог высказать ей все, в чем стыдился признаться ее мужу, и мог быть уверен, что его желания будут переданы тем, от кого зависело их исполнение. В письме, написанном к Терезе в ноябре 1772 г., Гердер делает ясные намеки на цель своих желаний. Он описывает свое невыносимое положение в Бюкебурге и признается, что со времени его пребывания в Гёттингене его не покидала мысль о возможности поселиться в одном городе с его друзьями: «Два семейства, связанных между собой такими дружескими узами! Такая жена, мать, подруга! Такой образец всех добродетелей! Вот что привлекает меня и вот что (я должен вам в этом сознаться) ежедневно у меня на уме, так что я живу только мечтами — но, сам не знаю почему, мне кажется, что это не более как мечты». Однако его не привлекают никакие другие замыслы и надежды; к сожалению, у него нет в Ганновере ни знакомых, ни деловых сношений; к тому же его обязанности перед его повелителем не позволяют ему лично искать другую должность. Напро-

ясен: «Мерк сообщил мне содержание вашего письма к Ратзамгаузену». Несмотря на опровержения со стороны Гердера, я готов думать, что сообщение Мерка не лишено основания.

тив того, он мог бы принять новую должность, если бы ему предложили ее; ему нечего делать в Бюкебурге, а между тем ему не остается ничего другого, как отказаться от его сладкой мечты, взять к себе свою невесту и возвести ее в сан супруги сельского пастора!¹

Однако, несмотря на ясность выраженного Гердером желания, г-жа Гейне не поскупилась на излияние своих сердечных чувств к «дорогому милому другу», но не сказала ни одного слова касательно практической цели его откровенного письма. Только в марте следующего года для Гердера снова просияла надежда, когда он прочел следующие заключительные слова в письме, полученном от Гейне: «Ах, если бы вы более неуклонно придерживались ортодоксии!» «В Ганновере, — писал Гейне, — непременно хотят иметь такого теолога, который был бы „умным хитрецом“». Эти слова ободрили Гердера и он счел уместным обратиться к своему боязливому другу с более настойчивым выражением своих желаний². Но, по правде сказать, он мог бы выражаться более сдержанно и не роняя своего личного достоинства. Во всем, что он говорит в своем письме к Гейне, проглядывает его нетерпеливое желание во что бы то ни стало выехать из Бюкебурга и его готовность исполнить все, что потребует Гейне. Он считает себя вправе похвастаться своими дарованиями церковного проповедника, своим прилежанием и своими научными исследованиями. Он считает себя вправе добросовестно утверждать, что нет никакого основания сомневаться в его привязанности к ортодоксии; он говорит о своей «уступчивости и о своем миролюбии» и даже хвалится своим знанием света и своим умением хитрить! «Если, — говорит он, — нужен хитрый человек, способный искусно прикрывать слабые стороны своего факультета, то я гожусь для такой роли; у кого есть хоть немного здравого смысла и знания света, тот и сам понимает, что без некоторого лукавства невозможно обойтись». Вот в какие впадает он софизмы с целью приноровиться к требованиям новой должности! Из желания доказать, что и он годен для той должности, он приписывает себе такие дурные наклонности, каких никогда не имел, и берет на себя такую роль, от исполнения которой он, конечно, отказался бы при первой вспышке — лишь только задели бы его личную гордость и его правдолюбие!

¹ Письма, на которые мы ссылались, помещены в «Воспоминаниях» (I, 221, 231); А, III, 256, 380; в переписке Гердера с Гейне, № 9, 11 и 17.

² В переписке Гейне с Гердером, № 22 и сл.

В Ганновере действительно искали в то время для Гёттингенского университета такого теолога, который соединял бы с умом положительные познания, который понимал бы важное значение и добытых наукой результатов, и нравственной стороны религиозных верований, а вместе с тем не подчинялся бы ни влиянию приверженцев бездушной ортодоксии, ни влиянию распространителей тривиального просвещения. Именно такого теолога искал ученый Брандес, заведовавший в то время всем, что касалось университетского управления. С ним и с тайным советником Бремером Гейне вступил в переговоры с целью обратить их внимание на Гердера, а самому Гердеру пришлось обратиться прямо к Брандесу с письмом, в котором были изложены его желания, его теологические воззрения и программа университетского преподавания. Брандес был очень доволен содержанием этого письма и отвечал Гердеру, что будет иметь его в виду как такого человека, который, быть может, будет со временем в состоянии удовлетворить желания ганноверского правительства¹.

Таким способом был сделан только приступ к переговорам, которые тянулись в течение нескольких лет. В то время как велась вышеупомянутая переписка, Гердеру причинила много вреда статья, в которой Шлёцер выставил в неблагоприятном свете и его миролюбие, и его умение уживаться с людьми, и его ученость, и даже его богословские убеждения. А главным препятствием было то обстоятельство, что Гердер еще не написал ни одного богословского сочинения, на которое могли бы сослаться его доброжелатели. Поэтому Гердер, не переводя духа, работал в течение всего лета с целью выбраться из Бюкебурга; «Древнейший документ» уже печатался, а «Философия истории» и «Провинциальные листки» уже были готовы к печати; Гейне поспешил известить кого следует о предстоявшем выходе в свет этих трех сочинений, а Гердер по его совету снова обратился с письмом к министру Бремеру и по прошествии нескольких недель получил приглашение лично явиться в Ганновер и произнести там церковную проповедь².

¹ До нас не дошло письмо Гердера, а ответ Брандеса (от 16 июня 1774 г.) напечатан в С, II, 163.

² Коротенькое письмо Бремера от 21 января 1774 г. находится у меня в подлиннике. Для того, что мной изложено в тексте, служит источником указаний переписка Гердера с Гейне. То, что рассказано далее, извлечено из описания переговоров в «Воспоминаниях» (II, 45 и сл.); некоторые новые указания сообщил Бодеман в статье касательно назначения Гердера в Гёттинген; эта статья напечатана в «Архиве истории литературы» (Т. VIII, часть I. С. 59 и сл.).

Гердер отправился 27 января в Ганновер, но его проповедь не привела ни к чему: он уже был снова в Бюкебурге 31 января¹. Его поездка была, как следует полагать, очень неудачна. Он, как кажется, не умел приноровиться ни к господствовавшему в Ганновере напыщенному формализму, ни к требованиям этикета; он возвратился домой с убеждением, что ни он не годится для Гёттингена, ни Гёттинген не годится для него; по его мнению, его поездка привела лишь к тому, что «положила конец напрасным усилиям двух его друзей, прежде чем он успел покрыть их стыдом и позором». Таков был отрицательный результат поездки, а вознаграждение за несбывшиеся надежды Гердер нашел в дружбе с Циммерманом, о котором ему уже давно говорил Лафатер. Циммерман был в свое время знаменитым лейб-медиком при ганноверском дворе; по приглашению графа Вильгельма он даже лечил графиню Марию; он был родом швейцарец, умел хорошо исполнять роль царедворца, внушал своей наружностью симпатию всякому, с кем имел случай сблизиться, и даже некоторое время пользовался репутацией даровитого писателя; понятно, что и Гердеру было желательно с ним познакомиться. Ему посвятил Лафатер свои «Размышления о будущей жизни», а так как он восхищался гениальностью Лафатера, то он нашел сочувствие и в Гердере, также принадлежавшем к числу поклонников Лафатера. Еще летом предшествовавшего года Гердер вступил в переписку с Циммерманом; вскоре после того они лично познакомились во время приезда Циммермана в Бюкебург. Но только теперь их знакомство перешло в дружбу. Циммерман был ипохондрик по причине своих физических страданий, а Гердер был ипохондрик вследствие своей чрезмерной впечатлительности. Они стали откровенно раскрывать свою душу друг перед другом. Гердер нашел, что его новый друг вызывал наружу все, что лежало в глубине его собственного сердца и ума; а Циммерман, уже давно восхищавшийся произведениями Гердера, испытал на себе чарующее влияние гердеровского красноречия; он признавался, что Гердер вызвал его на такие откровенности, которые при его привычке к сдержанности не были в его характере. Возобновлявшиеся личные свидания и довольно частый обмен писем поддерживали эту дружескую связь, прекратившуюся около того времени, когда Гердер переселился в Веймар². Во всяком случае

¹ Это видно из письма графини к Каролине от 1 февраля 1774 г.

² Первое из этих писем Гердера, написанное 2 июня 1773 г., частью помещено Гегнером в «Beiträge zur Kenntniß Lavaters» (с. 25 и сл.); позднейшие письма напечатаны у Бодемана (с. 320 и сл.); письма Циммермана напечатаны

Гердер нашел в Циммермане такого доброжелателя, который усердно хлопотал о гёттингенской должности, пользовался достаточным влиянием для роли посредника и был в состоянии доставлять Гердеру все нужные сведения.

Сначала Гердеру не представлялось надобности в каких-либо подробных сведениях. После его неудачной поездки все осталось по-старому. Гёттингенскую должность нужно было заместить лишь через полгода. Это была пасторская должность, с которой соединялось звание профессора; поэтому ее замещение зависело главным образом от консистории. Но в консистории преобладало ортодоксальное направление, и в ней заседали враги Гердера¹. Брандес надеялся, что эти враги переменят свое мнение о Гердере, когда услышат его церковную проповедь; эта надежда не сбылась, сначала потому что сам Гердер уклонился от произнесения проповеди, а позднее — потому что, хотя Гердер и заявил после некоторых колебаний о своей готовности произнести в Ганновере проповедь², Брандес оставил это заявление без дальнейших последствий. Окончательное решение было отложено до выхода в свет новых сочинений Гердера; все зависало от того впечатления, которое они произведут на членов консистории. Но разве не было основания опасаться, что эти сочинения создадут новые затруднения? Хотя «Древнейший документ» и мог бы служить для Гердера рекомендацией по своим ортодоксальным воззрениям, но в нем было немало оскорбительных нападок на такого человека, который был членом той самой коллегии, в которую желал вступить Гердер; кроме того, содержание новой книги было изложено без всякой методы, таким неясным языком и обнаруживало в ее авторе такую склонность к смелым гипотезам, что возбуждало основательное сомнение насчет способности Гердера сделаться полезным университетским преподавателем и даже насчет его способности ясно выражать мысли. Сам Гердер не ожидал ничего

у Дюнцера (А, II, 330 и сл.). И графине Марии Циммерман писал о впечатлении, которое произвел на него Гердер: «Гердер будет вечно жить в моем сердце. Я в течение всей моей жизни не встречал более симпатичного человека; мне было так приятно, когда среди окружающих меня флегматических и сдержанных людей я нашел такого человека, которому я мог с первой встречи открыть всю мою душу» (в письме графини к Каролине от 23 марта 1774 г.).

¹ В письме к Гердеру от 22 апреля 1774 г. Циммерман указывал как на главных врагов Гердера на «ортодоксального советника юстиции Штрубе» и на председателя консистории, тайного советника Буше.

² Это видно из письма Брандеса от 22 апреля 1774 г.; содержание этого письма передано в «Воспоминаниях» (II, 47) не совсем верно и в таком виде, что из него нельзя составить себе никакого понятия о колебаниях Гердера.

хорошего от выхода в свет этой книги и за благо рассудил не отсылать ее к Брандесу, пока не будут напечатаны «Провинциальные листки», которые должны были, по его мнению, загладить все прежние дурные впечатления. Но и в этом отношении Гердер впадал в заблуждение. Благодаря своей прозорливости Брандес оценивал по достоинству те два сочинения, а благодаря твердости своих убеждений не отказался от своего прежнего мнения, что Гердер был бы «украшением для Гёттингенского университета»; но у него было достаточно здравого смысла, для того чтобы ясно видеть слабые стороны гердеровских сочинений. Касательно «Древнейшего документа» он писал Гердеру: «Вы лучше бы сделали, если бы излагали ваши воззрения не с таким увлечением и не с такой горячностью. Ваше сочинение, без сомнения, послужит поводом для горячих споров, так как число тех людей, на которых вы нападаете, очень значительно. Разве ваши нападки не заставят ваших противников вступить в союз для борьбы с вами? Члены нашей консистории, конечно, заинтересуются вашей книгой; но я опасаюсь, что им будет трудно освоиться с вашим слогом и что они не вынесут из чтения этой книги ясного понятия о ваших убеждениях». «И в „Провинциальных листках“, — прибавляет Брандес, — я желал бы найти менее иронии и менее пафоса». Впоследствии он читал «Философию истории» с безусловным одобрением, не находил в ней никаких неясных выражений и потому считал издание этого сочинения за «шаг вперед к той цели, которую он постоянно имел в виду и к которой будет, по всему вероятно, и впредь постоянно стремиться».

С таким же доброжелательством относился к Гердеру министр Бремер. По приглашению Бремера Гердер решил предпринять поздней осенью новую поездку в Ганновер — но и на этот раз его ожидало разочарование. По возвращении из Ганновера он писал Гейне, что достижение цели уже казалось ему близким, но он пришел только к тому убеждению, что его не считали серьезным кандидатом на вакантную должность. Ему даже пришлось выносить ту неприятность, что спрашивали его мнение о том или другом кандидате, имевшемся в виду для замещения вакансии; с ним даже заводили речь о Теллере — «об этом безумце, об этом апокалиптике, об этом злобном негодяе»! Его имя было внесено в тот же список кандидатов, в котором стояло имя человека, нанесшего ему за несколько недель перед тем самое тяжелое из всех вынесенных им оскорблений! Тем не менее ему дали понять, что он хорошо бы сделал, если бы посоветовался с членами консистории касательно произнесения церковной

проповеди! Разве для этого он ездил в Ганновер! Разве он ездил туда для того, чтобы во что бы то ни стало добиться новой должности! Ввиду всех этих соображений ему не оставалось ничего другого, как относиться вежливо к тем, кто был к нему вежлив, и держать себя с гордой сдержанностью. Иначе говоря, он во время этой вторичной поездки близко познакомился и с местными условиями, и с людьми, и с закулисными тайнами. В результате оказалось, как он писал Гейне, что между Гердером и Ганновером не было ничего общего.

Чем более недоволен он был исходом ганноверских переговоров, тем более было для него ценно сочувствие, с которым относились к нему граф и графиня после первой и второй поездки. Графиня выразила ему и от своего имени, и от имени своего супруга самое искреннее сожаление о его намерении покинуть Бюкебург, но вместе с тем говорила, что вполне понимает его стремление к более широкой сфере деятельности. Стоит прочесть ее письмо от 3 февраля 1774 г., написанное после того как надежды на получение места в Гёттингене были надолго отложены в сторону. «Для вашего душевного спокойствия, — писала графиня, — считаю нужным уверить вас, что мы опасаемся потерять вас, не потому что ваше сердце не принадлежит нам, а потому что ваши выдающиеся дарования требуют иной сферы деятельности; но мы будем очень рады, если эти опасения не сбудутся как можно дольше. Моему мужу приятно знать, что вы отдасте справедливость тем чувствам, которые он к вам питает. Он не менее всякого другого достоин того, чтобы вы любили его, доверялись ему и услаждали его жизнь вашим присутствием». И сам Гердер писал Гейне после возвращения из повторной поездки: «Меня искренне порадовало сердечное участие, с которым граф и графиня отнеслись к моим замыслам о переезде; теперь я не позволю себе сделать никакого нового шага без ведома графа».

Действительно, отношения Гердера к графу сделались более прежнего приятными, благодаря главным образом посредничеству графини. Она по-прежнему чтит в лице Гердера своего духовного руководителя, своего утешителя и наставника. Ей было суждено недолго наслаждаться материнской привязанностью. Ее единственный ребенок скончался после продолжительной болезни. По этому случаю она искала и находила у Гердера ту нравственную помощь, которую считала более необходимой, чем помощь врача. Эти отношения к графине сделались еще более прежнего непринужденными и естественными, благодаря дружбе между двумя молодыми женщинами. Сердечная доброта гра-

фини всего яснее видна из ее многочисленных писем к Каролине, которые тщательно сберегались и дошли до нас в подлинниках. Она выражала в этих письмах свое участие ко всему, что касалось литературных предприятий Гердера, его забот и огорчений. Так как она сама любила своего мужа с самым безграничным самоотвержением, то она была способна радоваться супружескому счастью других, как своему собственному. Лишившись своего единственного ребенка, она без всякой зависти стала находить для себя утешение в надежде Каролины сделаться матерью; она сама крестила ребенка Каролины; она не относилась безучастно даже к самым мелким событиям в домашней жизни Гердера и, несмотря на стеснения, которые налагал на нее придворный этикет, жила в тесной дружбе с семейством Гердера, а когда знала, что там собрались гости, присылала подарки. То были приятные для нее часы, которые она просиживала в скромном жилище Гердера или проводила у себя дома в обществе Каролины, которую постоянно называла не только своей подругой, но образцом женских добродетелей и такой примерной сестрой, от которой сама могла многое позаимствовать. Она с непритворной кротостью и с удивительным самоотвержением старалась предотвращать недоразумения, которые могли возникнуть между ее супругом и Гердером. А во всем, что она делала, она обнаруживала убеждение, что не она имеет право на ее признательность Гердера, а Гердер имеет право на ее признательность. И действительно, она более всех бюкебургских жителей пользовалась той духовной пищей, которую был в состоянии доставить Гердер; она жила его устными беседами и его сочинениями. Читая эти сочинения, она уясняла для себя их смысл тем, что Гердер говорил с церковной кафедры, в своих письмах и в устных беседах. Она получала от него сочинения его друзей — Лафатера и Пфенningера, Клаудиуса, Гёте и Ленца и в благодарность за это дарила ему новые книги или художественные произведения. Ее любимым чтением был поэтический альбом — та книга церковных песен, которую Гердер посвятил ей и в которую он постоянно вносил или собственные поэтические произведения и переводы, или чужие произведения, казавшиеся ему подходящими к ее складу ума и к ее вкусам¹. Наконец, для нее было невыразимым

¹ Эта книга названа «книгой графини» на том листе бумаги, где перечислены вошедшие в ее состав стихотворения; я нахожу первое о ней упоминание в письме графини к Каролине от 15 августа 1773 г. Графиня пишет: «Всякий раз, как я ее читаю, я нахожу в ней новые наслаждения и всякий раз сожалею, моя милая подруга, что вас нет подле меня, для того чтобы мы могли читать ее

утешением то, что Гердер, несмотря на свои разнообразные занятия, взялся за воспитание ее пажа, молодого Цешау по такому учебному плану, который был чем-то вроде практического применения его религиозных и историко-философских воззрений к педагогике. Именно педагогика была — как это видно из его путевого журнала — той почвой, на которой Гердер всего охотнее приводит в систематический порядок свои воззрения на цель и смысл земного существования. Задуманный им теперь учебный план был чем-то вроде энциклопедического обзора естествознания и историографии, основанного на понятии о постепенном развитии. Но и на этом плане лежал тот религиозный отпечаток, которым отличалась в течение тех лет и преподавательская, и литературная, и практическая деятельность Гердера. Автор учебного плана видит откровение Божие в постепенно развивающемся ряде натуральных явлений, а в различных периодах истории человечества он усматривает божеское намерение просвещать человеческий род. Это те же идеи, которые составляют главное содержание «Древнейшего документа» и «Приложения к философии истории»; но здесь они изложены вкратце, дополнены некоторыми замечаниями о сотворении мира и изложены в форме научно-религиозной системы, которая получила более полное развитие лишь впоследствии под названием «Идей о философии истории»¹. Когда граф узнал от своей супруги о содержании это-

вместе». Одно примечание в «Воспоминаниях» (II, 126) упоминает об этой книге по поводу того письма графини к Гердеру от 15 февраля 1775 г., в котором графиня называет ее своей «любимой книгой»; вероятно, о той же книге шла речь в письме от 13 февраля. Вышеупомянутый перечень ее содержания состоит из 55 номеров; а первая половина этих номеров состоит большей частью из тех же стихотворений Гердера, которые составляют главное содержание «серебряной тетрадки». Вместо народных песен и отрывков из Шекспира, составляющих дальнейшее содержание этой тетрадки, вторая половина «книги графини» состоит большей частью из серьезных нравственно-религиозных отрывков; сюда входят и перевод очень нравившейся графине первой песни из «Опыта о человеке» Попа (к Каролине 16 ноября 1773 г.; к Гердеру 13 февраля 1775 г.), и перевод гимна природе, написанного Шефтсбери. Книга оканчивается параболами под заглавием «Natur und Schrift». О переводе отрывка из сочинений Шефтсбери идет речь в письме графини к Гердеру от 15 февраля 1775 г.

¹ Учебный план напечатан в SW в отделе философии (X, 288 и сл.). Сравн. введение Юлиана Шмидта к брокгаузовскому изданию «Идей» (с. XX, XXI). По словам «Воспоминаний» (I, 200), Гердер начал давать молодому Цешау уроки еще в октябре 1772 г. В письме графини к Каролине от 27 декабря 1773 г. идет речь о возобновлении уроков и о том, что граф был в восторге от учебного плана. В 1774 г. Цешау поступил в военную школу, находившуюся в Вильгельмштейне. В 1784 г., в то время как он в качестве саксонского

го учебного плана, он выразил свое одобрение в следующих словах: «Конечно, еще никогда ни один царь не получал такого прекрасного образования».

Однако, несмотря на то что граф отдавал полную справедливость заслугам Гердера и относился к нему с большим уважением, он снова раздражил Гердера своими резкими и причудливыми выходками. В конце февраля 1775 г. скончался в Штадтгагене бывший пастор и суперинтендант Мейер¹. Штадтгагенский магистрат лишь ради соблюдения внешних приличий внес имя Гердера в список кандидатов на открывшуюся вакансию; но граф уже давно выразил свое желание, чтобы Гердер принял на себя звание суперинтенданта. По настоянию графини Гердер согласился исполнить желание графа, но сделал это неохотно — только «из приличия и для успокоения своей совести»; ему вовсе не хотелось сокращать число часов своего досуга, принимая на себя такую должность, которая не давала ему более высокого общественного положения, не приносила ему никаких материальных выгод, а только налагала на него много деловых занятий². Он получил 8 апреля графский декрет о своем назначении на новую

офицера стоял в Вейссенфельсе, он в благодарственном письме к Гердеру жаловался на то, что в окружавшей его сфере господствует религиозное неверие и что он лишь с большим трудом устоял против влияния этих идей.

¹ Для того, что следует, служили источниками сведений: письма Гердера к пастору Группену (*Дюнцер* С, II, 318 и сл.) № 3, 7, 9 и сл.; письма к Гейне № 43 и 44; письма к Гаману (Соч. Гамана. V, 140); письма к Лафатеру (А, II, 132); листок с заметками Гердера; там указано, когда была в первый раз предложена Гердеру должность суперинтенданта (3 апреля) и рассказаны некоторые подробности о первых деловых занятиях. И декрет о назначении Гердера, подписанный 8 апреля, дошел до нас в подлиннике.

² Гердер, как кажется, был озабочен, между прочим, и тем, что церковные учреждения были неудовлетворительны. Это можно заключить по меньшей мере из содержания письма графини к Каролине от 27 декабря 1774 г.: «Если бы эти учреждения действительно были неудовлетворительны, то разве следовало бы по этой причине отказываться от должности? И разве церковные порядки выше религии? Разве осененный благодатью человек не может оставить церковные порядки в их прежнем виде, сохраняя чистоту своей совести? Разве он не поступит более благоразумно, если будет иметь в виду более возвышенные цели и будет исполнять свое настоящее призвание, распространяя преданность к религии? Разве он не поступил бы по учению Христа, если бы не затрагивал таких вопросов, которые могут только повредить доброй цели?.. Я говорю это не с целью убедить его... а потому, что таково мое мнение: я полагаю, что такую должность можно принять не для того только, чтобы вводить новые церковные порядки и заботиться о восстановлении прежних порядков, которое было бы сопряжено с большими затруднениями и с еще более значительным вредом».

должность, а пастором был назначен Групен, за которого он горячо ходатайствовал, потому что этот кандидата был рекомендован Брандесом¹. С первого момента своего вступления в непрощеную должность Гердеру пришлось выносить постоянные неприятности. Он исполнил желание графа только для успокоения своей совести; он надеялся, что будет играть роль примирителя и положит конец всяким спорам между общинами и сельскими пасторами. В уверенности, что его добрые советы будут приняты с благодарностью, он обратился к своим сослуживцам с настоятельными убеждениями прекратить всякие личные раздоры; из его второго послания, которое было написано вскоре вслед за первым, уже ясно видно, что его увещания лишь раздражили тех, к кому были обращены, да и после того все его старания, как кажется, не привели к желаемому результату. Он принял новую должность ради соблюдения приличий — из желания угодить графу, но ему за это отплатили разными неприятностями и даже бесцеремонным нарушением всяких приличий. Финансы постоянно составляли самую слабую сторону в делах управления маленьким графством, а при назначении Гердера имелось в виду главным образом сбережение расходов. Немедленно вслед за своим вступлением в должность, Гердер был извещен, что, по желанию Его Светлости, доходы суперинтенданства должны тратиться *ad pios usus*. Источниками этих доходов были капиталы, доставшиеся суперинтенданству по старинным завещаниям; Гердер счел своим долгом протестовать против противозаконного графского распоряжения, хотя сам и изъявил готовность исполнять свои служебные обязанности безвозмездно. Граф исполнил желание Гердера, но таким способом, который все-таки носил на себе отпечаток личного произвола: доходы были оставлены в распоряжении нового суперинтенданта, но к ним было причислено и то жалованье, которое обыкновенно получал суперинтендант!²

¹ Проповедь, напечатанная с неправильной надписью в SW в отделе теологии (VIII, 158 и сл.), была произнесена, без всякого сомнения, по случаю вступления Групена в должность во второе воскресенье после праздника Крещения, 14 января 1776 г., а не во второе воскресенье после Троицына дня, как полагает Дюнцер; сравн. начало письма Гердера к Циммерману (*Бодеман*. J. G. Zimmermann. С. 333. № 9).

² Из письма графини к Каролине от 16 апреля 1775 г. видно, что и в этом случае она старалась уладить дело своим вмешательством. В письме от 22 апреля она радовалась тому, что это дело уже было улажено, и с энергией вступалась за своего мужа: «Я уверена, мои благородные друзья, что вы не откажете в вашей любви и в вашем уважении тому человеку, который так мне мил

Гердер еще не успел пережить этого кризиса, когда получил от Гейне известие, что его надежды на гёттингенскую должность вступили в новую фазу. Профессора Захарие получил приглашение в Киль, которое решился принять. Поэтому, когда Гейне узнал о предстоящем назначении Гердера на должность суперинтенданта, он писал своему другу: «Очень жаль, если вы там обтянете вашу клетку новой проволокой!» Именно в то время обстоятельства складывались так, что Гердер мог ожидать назначения на место Захарие; об этом хлопотали его друзья по мере своих сил. Хотя такое назначение и не могло бы вполне удовлетворить Гердера, потому что должность профессора теологии без пасторской деятельности вовсе не привлекала его; но назначение суперинтендантом не могло бы служить для него препятствием, а новые вынесенные им неприятности усиливали его желание выбраться куда бы то ни было «из этой страны безумцев, управляемой деспотически».

Его недовольство скоро еще усилилось и вместе с тем усилилось его желание выехать из Бюкебурга. Его прежние отношения к эйтинскому правителю побудили его принять на себя очень странную миссию. Принц Петр был помолвлен в феврале 1775 г. с племянницей ландграфа гессен-дармштадтского, принцессой Шарлоттой. В ту пору он жил в Дармштадте, отказывался от вступления в брак и задумал перейти в католицизм. Гердер, быть может, был бы в состоянии подчинить своему влиянию сбившегося с толку, слабоумного юношу! Он счел своим долгом исполнить просьбу герцога и употребить в дело свое личное влияние. В конце июня он отправился с женой и с ребенком в Дармштадт под благовидным предлогом посещения живших там родственников. Его миссия не осталась безуспешной. Хотя бракосочетание и не состоялось, но Гердер воспрепятствовал переходу принца в католицизм¹. Он пробыл несколько недель в Дармштадте.

и дорог, — нашему Вильгельму, и что в вашем сердце не останется ни малейшей горечи; вы, конечно, отдадите справедливость и его дарованиям, и его высоким целям, и его искреннему желанию во всем поступать по воле Божьей; вы будете во всем усматривать это искреннее его желание, будете забывать о том, что принадлежит к числу человеческих слабостей, и будете молиться за него».

¹ Об этом рассказывает Каролина в письме к Гарткноху, который незадолго перед тем заезжал с Лейпцигской ярмарки к своему другу в Бюкебург. Только графине Марии была известна настоящая цель гердеровской поездки. Она писала 22 июня Каролине: «Я охотно буду всякому говорить о вашей поездке именно так, как вы желаете, даже скрою правду от моего бесценного (и по меньшей мере способного хранить чужие тайны) супруга, если это окажется необходимым». Бессодержательные письма принца не дают нам никаких дальнейших указаний. И обещанная им «История его души» осталась ненаписанной.

Каролине доставило большое удовольствие свидание с ее родными, а Гердер также вынес благотворные впечатления из того города, который пробуждал в его душе столько приятных воспоминаний. Теперь он был более спокоен душой, чем во время своего первого пребывания в Дармштадте, и потому ничто не мешало ему возобновить старые знакомства и завести новые. Он снова произнес проповедь с той самой церковной кафедры, с которой пленил сердце Каролины¹. Он побывал в Гамбурге и познакомился там с мужем Лили Штокгаузенем, а две старые подруги освежили в памяти воспоминания о своей молодости и с материнской гордостью показывали одна другой своих перворожденных детей². Отношения с Мерком, отзывавшиеся в течение последних лет взаимным недоверием и холодностью, были восстановлены, но вместо прежнего отпечатка пылкой дружбы получили теперь отпечаток взаимного уважения³. Тогда же Гердер познакомился с другом своего друга Гамана, с президентом Мозером⁴, и приобрел влиятельного доброжелателя в лице этого нового друга, который видел в авторе «Древнейшего документа» и «Провинциальных листков» единомышленника и новообращенного. К счастью для Гердера, и Циммерман, предпринявший путешествие в Швейцарию, проездом остановился в то время в Дармштадте⁵. Наконец еще более удовольствия доставило Гердеру прибытие Гёте, возвращавшегося из своей поездки в Швейцарию. Вместе с Гёте, который привез ему свежие новости о Лафатере, и вместе с Мерком Гердер выехал 24 или 25 июля во Франкфурт, а оттуда возвратился через Пирмон в Бюкебург⁶. Он

¹ Прекрасная проповедь, произнесенная Гердером в пятое воскресенье после дня Св. Троицы (16 июля), напечатана в SW в отделе теологии (VIII, 167 и сл.).

² Письмо супругов Штокгаузенев к Каролине из Гамбурга от 7 августа 1775 г. (сохранившееся в подлиннике).

³ Гердер к Лафатеру (А, II, 141); Мерк к Гёпфнеру 3 июля (а не июня) 1775г. (*Вагнер*. III, 123); к нему же в конце июля (Там же. 126 и 127); к Николаи 7 июля (Там же. 125). Сравн. письмо Каролины к Мерку (*Вагнер*. I, 78).

⁴ По рукописному экземпляру «Воспоминаний». На первом письме Мозера к Гердеру не помечено время, но следует полагать, что оно было написано в течение этих дней, проведенных в Дармштадте. Прежде имя Гердера возбуждало в душе Мозера «удивление и скорбь», а теперь он радуется тому, что Гердер публично высказал свою веру в Бога; в то же время он отказывается принять от Гердера в подарок экземпляр одного из его старых сочинений, потому что имеет у себя такой экземпляр.

⁵ Мерк к Николаи (*Вагнер*. III, 125); *Бодеман*. J. G. Zimmermann. С. 89.

⁶ Он уже был в Бюкебурге 28 июля 1775 г. В письме, написанном в то время к Формею, он говорит: «Я только что возвратился домой из четырехнедельной поездки. Касательно этой встречи с Гёте см. кроме уже цитированных

тщетно приглашал своего дорогого Клаудиуса на свидание в Пирмоне, но был уверен, что встретится там с Глеймом. Тогда он в первый раз лично познакомился с Глеймом, с которым уже давно вел дружескую переписку, они так искренне полюбили друг друга, что Глейм исполнил просьбу Гердера побывать в Бюкебурге и, несмотря на то что был в то время не совсем здоров, провел несколько дней в доме Гердера; ему пришлось совершенно по сердцу Гердер и в качестве собирателя народных песен, и в качестве «единственного, настоящего, боговдохновенного» церковного проповедника; Каролина сделала все, что от нее зависало, чтобы занимать своих гостей и собирала у себя всех бюкебургских друзей своего мужа со включением графини Марии, которую Глейм называл «святой женщиной»¹. Это свидание оказало важное влияние на всю жизнь Гердера. Он раскрыл все сокровища своего ума и своего сердца перед человеком, для которого безусловная сердечная привязанность была душевной потребностью. С той минуты никакое облачко никогда не омрачало их дружбы и Гердер ничего не слышал от Глейма кроме поощрений и похвал даже тогда, когда число его доброжелателей стало уменьшаться и когда недоверие и разные огорчения охладили его отношения ко многим из его прежних друзей.

Прибытие Глейма было последним светлым моментом во время пребывания Гердера в Бюкебурге. Он писал 23 сентября 1775 г. Глейму, возвратившемуся в начале этого месяца в Гальберштадт: «Со времени роковой поездки в Дармштадт мы уже не знали ни душевного спокойствия, ни домашних радостей. С тех пор мы видались с графиней очень редко». Эта поездка, предпринятая с такой тайной целью, которую не было возможности держать в секрете, возбудила в графе неудовольствие. Но во время отсутствия Гердера подготавливалось нечто еще более для него неприятное: именно в это время некий Шток обратился к бюкебургскому правительству с просьбой о его назначении на должность пастора. Это был ни к чему не способный человек, уже успевший составить себе очень дурную репутацию. Еще задолго перед тем он провалился на экзамене в Ринтельне и был признан неспособным занимать пасторскую должность; но в Ганновере ему улыбнулось счастье и ему удалось купить там у одного знатного патрона должность пастора в одном бедном сельском при-

нами мест из переписки с Мерком и из письма Гердера к Лафатеру (А, II, 141) письмо Гёте к Софии Ларош от 26 июля 1775 г.; сравн. его письмо к Аугусте Штольберг от 25 июля (im Jungen Goethe, III, 91).

¹ Переписка Глейма с Гердером № 12 и сл.

ходе. Однако он не выдержал экзамена в местной консистории и снова получил отказ по причине своего полного невежества. Он сам публично опозорил себя, заявив, что заплатил деньги за должность, которую искал, и что она во всяком случае должна принадлежать ему. Тогда он был предан суду по обвинению в святокупстве, притворился сумасшедшим и из жажды мщения выдал своего друга и земляка, игравшего роль посредника в этой постыдной денежной сделке. Отделавшись этим способом от суда, он стал искать места в гессенских владениях; наконец, потерпев и там неудачу, он низким способом добился своего зачисления в кандидаты на должность помощника пастора в Штадтгагене, дав бюкебургскому казначейству займа 4000 талеров. В таком положении Гердер застал это дело, когда возвратился из своей поездки в Дармштадт. Новому кандидату на пасторскую должность предстояло выдержать экзамен в бюкебургской консистории. Но он не явился в назначенный срок, а прислал «чрезвычайно плохо написанный отказ от явки», предварительно заявив, что нет никакой надобности подвергать его экзамену, потому что он уже зачислен кандидатом на пасторскую должность и в Гессене, и в Ганновере. Повторный вызов к экзамену он оставил без всякого ответа, а тем временем один из членов бюкебургской консистории, советник юстиции Шмидт передал Гердеру записанное в протокол устное приказание графа посвятить нового кандидата в пасторы «без всякого экзамена!»

Гердер ни минуты не колебался насчет того, как ему следовало поступить и по долгу службы, и по совести. В тот же день, т. е. 3 октября, он обратился к графу с всеподданнейшим донесением, в котором горячо отстаивал требования справедливости и чести. Он изложил все факты, касавшиеся личности кандидата; он был так осмотрителен, что называл очевидно лживыми все слухи, которые были распушены касательно подкупа и были оскорбительны как для бюкебургского правительства и духовенства, так и для самого графа; он говорил, что назначение этого недостойного кандидата было бы самым возмутительным нарушением прав тех двух кандидатов, которые ожидали своего назначения на пасторскую должность в Штадтгагене; наконец, он просил у графа позволения подвергнуть Штока экзамену согласно с церковными уставами, ввиду неблагоприятных слухов, распушенных об этом кандидате.

Есть некоторое основание думать, что граф до той минуты подчинялся влиянию именно тех людей, которые были замешаны в постыдном подкупе, и что он искренне желал узнать прав-

ду; он согласился на просьбу Гердера отложить возведение Штока в звание пастора, пока этот последний не опровергнет взводимых на него обвинений, а для расследования этого дела была назначена особая комиссия, в состав которой вошли оба советника юстиции — Шмидт и Кнефель.

Такой способ расследования, конечно, не был правилен; он нарушал права консистории и предоставлял разрешение вопроса, вовсе не нуждавшегося в судебном разбирательстве, такому экстренному трибуналу, беспристрастие которого было более чем сомнительно.

Гердер считал своим долгом протестовать против такого распоряжения, и потому что была затронута его личная честь, и потому что в его лице был оскорблен служитель Божий. В своем протесте, подписанном 16 октября, он просит не назначать экстренной комиссии. Он говорит, что не имеет намерения ни обвинять Штока, ни защищать самого себя от нареканий, а лишь желает в исполнение своего служебного долга и для успокоения своей совести открыть глаза министрам своего государя. Чтобы не подчиняться решениям такой экстренной комиссии, он готов немедленно сложить с себя звание суперинтенданта и советника консистории. Он признает над собой только власть правителя страны и его консистории; он желает предстать перед этим трибуналом и доказать основательность своего донесения, но не в качестве преступника, не в качестве обвинителя или обвиняемого, а в качестве члена консистории, готового мотивировать свое мнение. А в доказательство того, что распоряжение графа глубоко огорчило его и что, если оно останется неотмененным, он решил отказаться от своих должностей, он просил трехдневного отпуска. «Мое нездоровье, — писал он, — и мое тревожное душевное состояние снедают меня от головы до пяток — и мне необходимо чем-нибудь развлечь себя»¹.

Справедливость, очевидно, была на стороне Гердера, а граф был достаточно благоразумен, для того чтобы не оставлять без внимания предъявленный ему протест; он попытался оправдать назначение экстренной комиссии, но ввиду выраженного Гердером неудовольствия приказал закрыть комиссию и объявил, что уладит дело иным способом. Но и в этом заявлении граф назы-

¹ Это мотивирование просьбы об отпуске извлечено из рассказа жизнеописания «О прошлом» (с. 63). Там же (на с. 55) можно найти текст данного графом увольнения. Все остальные документы находятся у меня в рукописях; с помощью их я дополнил помещенный в «Воспоминаниях» (II, 35) рассказ об этом столкновении.

вал донесение Гердера обвинительной запиской; поэтому Гердер находил нужным прежде всего доказать, что его протест не был доносом. Граф постарался успокоить Гердера: в собственноручном письме от 18 октября он изъясил свое согласие на трехдневный отпуск, а ответственность за неуместное употребление слова «донос» снял со своих министров и взял на себя. «Представленная мне суперинтендантом докладная записка, — писал он, — показалась мне по своей внешней форме и по своему содержанию чем-то вроде доноса. Суперинтендант может считать, что слово „донос“ заменено словом „донесение“ или „доклад“ и т. п.; я, быть может, употребил неправильное выражение».

Однако оскорбленного Гердера было нелегко успокоить. Он воспользовался полученным отпуском для собирания новых доказательств в подтверждение высказанного им мнения и подал 26 октября новую докладную записку «в оправдание того, что говорил в своем протесте о кандидатуре Штока». Он упорно настаивает на том, что его первый протест был и по своей внешней форме, и по своему содержанию не что иное, как вызванное его служебными обязанностями и требованиями его совести донесение, которое он подписал в качестве суперинтенданта, конечно, не по внушению гордости. Затем он повторяет все отдельные пункты этого донесения и приводит доказательства, подтверждающие их основательность. Он вполне основательно утверждает, что не было никакой возможности посвятить в пасторское звание пользовавшегося такой сомнительной репутацией человека, не подвергнув его предварительному экзамену и не очистив его от обвинений в подкупе. Однако он все еще не может заглушить в себе раздражение, вызванное назначением экстренной комиссии, несмотря на то что эта комиссия уже была упразднена. «Я не желаю, — пишет он, — долее мешаться в это грязное дело, потому что я не состою в звании чиновника, охраняющего интересы государственного казначейства или его иудейского агента, имя которого все называют вслух; еще менее основания считать меня одним из тех сплетников, которые взводят голословные обвинения, не щадя ничьего личного достоинства. Я указываю только на распространившиеся слухи; если же желают знать, насколько эти слухи основательны, то следует назначать судебную комиссию не надо мной, а над теми, кто подает повод к слухам, оскорбительным и для государства, и для его правителя; но эти слухи не касаются самого меня. Пусть вся грязь, которая выбрасывается из чужих стран, стекает куда угодно, но я не намерен служить

для нее каналом! Пусть только от меня не требуют, чтобы я выдавал эту грязь перед алтарем Божиим и перед прихожанами за чистое золото!» В конце своей докладной записки Гердер утверждает, что будет исполнять в этом отношении требования своего долга и никогда не даст повода обвинять его в том, что он поставил на церковной кафедре и у алтаря такого человека, который слывет за нечестивца.

Что раздражительный тон этой докладной записки не произвел желаемого впечатления на графа, видно из того, что даже графиня не могла скрыть своего неудовольствия в письмах, которые писала в то время Гердеру и его жене. Она в первый раз не нашла в Гердере того, чего ожидала. Она с тяжелой грустью говорила о размолвке, возникшей между ее друзьями и ее глубокоуважаемым супругом. «Если бы Гердер, — писала она, — только воздержался от некоторых резких выражений, если бы он не употреблял такие слова, как „грязное дело“, „грязь“, „нечестивец“ и т. п., то его докладная записка произвела бы более благоприятное впечатление; такие выражения нередко бывают единственной причиной того, что огонь, который должен был был очищать правду от примеси лжи, лишь пожирал ее и убивает... Впрочем, вы можете быть уверены в том, что я радуюсь торжеству правды, которая никогда не должна бояться света». И граф со своей стороны обнаружил готовность подчиниться требованиям справедливости, несмотря на то что эти требования были ему предъявлены в резкой и оскорбительной для него форме. Улики против Штока были неопровержимы; постыдная денежная сделка, которая была улажена по его почину, была отменена, и ему было приказано выехать из графских владений в течение двадцати четырех часов¹.

Ход этого дела, натурально, лишь усилил желание Гердера перебраться в Гёттинген. В то время как он был занят составлением своей последней докладной записки, он писал Гарткноху: «Здесь повсюду видишь только раздражение, бедность и затаенную скорбь. Солдаты дезертируют, офицеры лишают себя жизни, пасторские должности раздаются в награду за данные займы деньги, в надежде что можно будет не платить процентов, а со времени моей поездки ходит слух, что пасторы бедствуют и что наша графиня вынуждена относиться к нам безучастно. Дай Бог уехать отсюда!» Он был вполне уверен, что к Рождеству Христову он уже будет в Гёттингене, однако и эта уверенность не до-

¹ Так описывает В. Штраус исход этого дела.

ставляла ему полного счастья. Он получил от Бойе известие, что жена Гейне, уже давно страдавшая от неизлечимой болезни, скончалась 10 октября. В ее лице Гердер утратил лучшего из своих друзей, и переезд в Гёттинген утратил в его глазах свою прежнюю привлекательность.

Переговоры, которые велись в то время в Гёттингене, действительно, обещали скорый успех. Гёттингенские и ганноверские друзья Гердера хлопотали о нем в течение всего лета, несмотря на то что он создал для них большие затруднения своими прежними сочинениями, наполненными смелыми идеями и полемическими нападками. Они поспешили воспользоваться тем, что Гердер выражался более сдержанно в двух последних своих сочинениях — в «Объяснениях Нового Завета» и в «Посланиях двух братьев Иисуса». Брандес благодарил его за эти сочинения и вместе с тем уведомлял, что ганноверское министерство решило предложить королю его назначение на должность четвертого профессора теологии и университетского церковного проповедника; в то же время Гейне настойчиво убеждал его принять такое назначение, ввиду того что его друзья должны были прибегать к «исполинским усилиям», чтобы уладить это дело, и что соединение профессорской должности с должностью церковного проповедника соответствовало его собственным желаниям. Главной причиной колебаний Гердера была незначительность постоянного жалованья, на которое давали право те две должности; но так как требования Гердера лишь немного превышали размер этого жалованья, а Гейне настойчиво убеждал его в необходимости выехать из Бюкебурга, то он решился принять новую должность¹.

Однако этим дело не кончилось! Враги Гердера стали наперекор решению министров втайне создавать новые препятствия. Они внушили королю недоверие к «ортодоксии и к душевным свойствам» предлагаемого кандидата, и король приказал своим министрам собрать более точные сведения о Гердере, для того

¹ Источниками этих подробностей служили для меня находящиеся у меня в подлинниках письма, о которых лишь вкратце упомянуто в «Воспоминаниях» (II, 49); и, кроме того, письмо Гердера к Брандесу от 2 сентября 1775 г., которое Бодеман перепечатал из документов гёттингенского богословского факультета. Должность университетского церковного проповедника оказалась вакантной вследствие отъезда университетского пастора Мюценбехера и вследствие выраженного главным университетским пастором желания сложить с себя обязанности церковного проповедника. Богословский факультет состоял из Вальша, Лесса и Миллера, к которым предполагалось присоединить Гердера в качестве четвертого профессора и Коппе из Митавы в качестве пятого профессора.

чтобы «чистота религиозного преподавания в гёттингенском университете не подвергалась никакой опасности»¹.

В таком положении находилось это дело в конце октября — в то время когда Гердер решил, во что бы то ни стало отказаться от своей бюкебургской должности и с полной уверенностью рассчитывал на должность в Гёттингене. Но он ошибся в своих расчетах. Прежде ему приходилось выносить разные обиды от иноверных берлинцев; а теперь его ожидали иного рода неприятности от приверженцев ортодоксии.

Тогда ганноверское министерство — без сомнения, с самыми благосклонными намерениями — обратилось к гёттингенскому богословскому факультету с предложением высказать его мотивированное мнение о том, не встречаются ли в сочинениях Гердера какие-либо воззрения, не согласные с учением церкви. Мнение факультета было высказано в той форме, в какой обыкновенно излагаются подобные отзывы. Ввиду отсутствия всякой цельной системы в содержании гердеровских сочинений, писали гёттингенские богословы, и ввиду того, что автор имеет обыкновение выражаться своеобразным языком, очень трудно дать положительный ответ на предложенный им вопрос. Даже ввиду некоторых резких и подозрительных выражений факультет не может с уверенностью сказать, что в тех выражениях высказана настоящая мысль автора с полным сознанием всех истекающих из нее догматических выводов. Так, факультету непонятна основная мысль «Древнейшего документа»; в этом сочинении, по-видимому, объясняется рассказ о сотворении мира *im sensu allegorico*, но все-таки нельзя с уверенностью утверждать, что автор отвергает принятое церковью объяснение этого рассказа. И из наполненных полемикой «Провинциальных листков» нельзя составить себе ясного понятия об основных воззрениях автора. Наконец и «Послания двух братьев Иисуса» оставляют «читателя в недоумении насчет того, разделяет или не разделяет автор понятия наших богослов о вдохновении Божьем!»

О содержании этого бесцветного отзыва Гердер узнал прежде всего от своего друга Циммермана; впоследствии, когда он ближе познакомился с этим содержанием через посредство Гейне и когда вопрос о его назначении в Гёттинген был окончательно отложен в сторону, он высказал свое негодование в продолжении «Древнейшего документа» и в «Теологических письмах». Лишь

¹ Донесение министров от 15 сентября королю Георгу III и ответ короля можно прочесть у Бодемана (с. 67 и 68).

только он узнал об интригах своих врагов, он выразил в письме к Циммерману негодование, которое возбудили в нем эти наветы и происки. «„Ортодоксия“, — писал он, — сделалась словом, лишенным всякого содержания, сделалась чем-то вроде восковой маски! Это слово всего чаще произносят те, у кого нет ни способности, ни желания придерживаться той ортодоксии, которая согласна с учением Христа и Лютера! К чему ведут экзамены в таких богословских факультетах, где Михаэлис дает всему тон и объясняет Библию, а господа Вальх, Лесс и Мюллер являются главными оплотами ортодоксии?..» Эти люди все прикрывают таким туманом, который всех вводит в заблуждение. Нашлись и такие люди, которых забавлял этот разлад в лагере верующих. «Итак, — писал 28 декабря Николаи¹ Мерку, — Гердер намеревается с чувством излагать в Гёттингене ортодоксальное учение, а почтенные члены богословского факультета хотят, чтобы это учение излагалось лишь в форме силлогизмов, и учтиво протестуют против намерений Гердера. Такое зрелище стоит денег! Действительно, когда я себе представляю, что Гердер вступит с Вальхом в рассуждения о теологии, то мне кажется, что они будут смеяться друг другу в глаза, подобно авгурам, или же будут изображать в лицах басню о лисице и журавле». Из этих слов видно, что Николаи уже был извещен о дальнейших подробностях этого дела. А эти подробности заключались в том, что министерство донесло королю (17 ноября) об отзыве богословского факультета, что оно поручилось за ортодоксальность убеждений Гердера, но вместе с тем намекало на возможность проверить эту ортодоксальность путем экзамена. Придуманый министерством способ устранить все затруднения был бы целесообразен, если бы не был оскорбителен для личного самолюбия Гердера. Когда, по прошествии целого месяца, король наконец изъявил свое согласие на предположенное министерством испытание, Гердер был крайне возмущен таким решением. Брандес тщетно старался убедить его, что нет никакой возможности избежать экзамена, но что это будет не что иное, как экзамен на звание доктора богословия. Тщетно обращались к Гердеру с такими же советами и Циммерман, и Гейне, и Бремер: Гейне, между прочим, напоминал, что он сам поставил себя в такое неприятное положение своими прежними полемическими статьями, а Бремер доказывал ему, что экзамен — самое верное средство одержать окончательную победу над его врагами, и просит не принимать ника-

¹ Вагнер. I, 79.

кого решения, не побывав в Ганновере и не посоветовавшись лично с друзьями. Все эти старания не привели ни к чему; Гердер объявил и своим официальным, и своим неофициальным друзьям, что об экзамене нечего и думать; он настойчиво ссылался на то, что новая должность была ему первоначально предложена без всяких условий, что установленное лишь впоследствии правило не может иметь для него обязательной силы и что такой экзамен, который имеет некоторое сходство с судом над еретиками, несовместим ни с его официальным положением в Бюкебурге, ни с его обязанностями перед местным правителем, ни с его личной честью. В каждом его слове слышится чувство достоинства и негодование, вызванные такими неслыханными инквизиторскими приемами. Циммерману он, между прочим, писал: «С таким предложением не обращаются к собрату по профессорскому званию. Это — или позорная для меня насмешка, или ловушка. Уже прошло то время, когда люди рисковали своей жизнью, являясь на соборы с целью доказать православие своих религиозных верований и получить прощение за свои заблуждения; теперь всякий держит при себе и свою голову, и свои православные верования. Я считаю себя вправе утверждать, что я православнее всех тех людей! Я прочувствовал наставления Лютера более глубоко, чем кто-либо из них!» А в письме к Гейне он говорил: «Мне, по-видимому, не придется переезжать в Гёттинген, и я с этим примиряюсь; но мне следует отстоять мою честь, и я должен исполнить эту обязанность: я уже несколько раз сильно пострадал оттого, что пренебрегал такой обязанностью, а теперь такое пренебрежение было бы для меня пагубно. Я должен покончить это дело с честью и отплатить за нанесенное мне оскорбление: чем же я подал повод к тому, чтобы меня отвергали как еретика на основании пустой болтовни в глазах у всей Германии? Неужели я действительно должен был предпринимать благочестивое странствование в Ганновер, для того чтобы, стоя на коленях, вымаливать у моих судей признание моей ортодоксальности?»

Негодование Гердера было вполне основательно, но оно могло быть высказано с большей твердостью и с большим достоинством! И с точки зрения его личной чести, и с точки зрения благоразумия ему не оставалось ничего другого, как отказаться от новой должности и прекратить всякие переговоры. Но Гердер, к сожалению, смотрел на это дело иными глазами. Его так глубоко оскорбило подозрение в еретических заблуждениях, что он считал необходимым не довольствоваться простым отказом от

экзамена и прибегнул к такому средству, которое, по его мнению, могло открыть ему доступ к новой должности. Он решительно отказался от устного экзамена, но изъявил готовность на письменное испытание — даже просил письменного испытания как такого удовлетворения, на которое он имел полное право. «Я прошу, как милости, — писал он, — чтобы мне сообщили те вопросы и пункты, по которым я должен изложить мои мнения; я этого желаю не ради насущного хлеба или новой должности, в которых не нуждаюсь, а потому что этого требуют моя честь, мой долг и справедливость. Тогда я выступлю на сцену не во мраке, а среди белого дня — я выступлю как равный среди равных, как профессор среди своих сотоварищей-профессоров; тогда моими судьями будут сам король Великобритании, его министры и даже вся публика». Так выражался он в письме к Брандесу¹; в то же время он писал Гейне и Циммерману, что на вежливо предложенные вопросы будет отвечать вежливо «без ненависти, без зависти, с искренней осмотрительностью», так чтобы можно было все мирно уладить и по мере возможности приобрести новых друзей.

Странное предложение Гердера не было принято. Брандес писал ему в ответ (30 декабря 1775 г.), что он не понимает, каким образом письменное испытание могло бы привести к желаемой цели, потому что Гердеру пришлось бы подробно излагать все догматы христианской виры. Гердер не обратил внимания ни на это замечание, ни на неоднократно данный ему совет прибегнуть к самому верному средству — к экзамену на звание доктора богословия; но когда Брандес заметил ему, что ему может причинить вред не экзамен на звание доктора, а его «уклонение» от испытания, то он пришел в страшное негодование. Тогда он написал в ответ на письмо Брандеса, что не отступит от раз принятого решения². Его уже приглашали на заседания аугсбургских богословов в качестве липпе-шаумбургского пастора. «Поэтому подозревать меня в уклонениях от ортодоксии — то же, что не признавать моего теперешнего официального положения, то же, что обвинять меня в нарушении клятвы, данной мной при вступлении в должность, в государственной измене и в нарушении требований совести. Пусть неизвестный клеветник докажет, что я еретик, — пока он этого не сделает,

¹ 26 декабря 1775 г.; это письмо было в первый раз напечатано у Бодемана (с. 80 и сл.).

² 5 января 1776 г.; этот ответ вполне напечатан у Бодемана (с. 83 и сл.).

я буду иметь право называть его клеветником». Явиться в Гёттинген на экзамен было бы для него позором — какое бы ни давали название такому экзамену. «Уже прошли те времена, когда люди несли свою голову в Рим, для того чтобы очистить ее от всего, что не подходило под требования ортодоксии; но если бы эти времена еще не миновали, все-таки едва ли можно ставить Гёттинген наряду с Римом. Поэтому я не могу робко и застенчиво „уклониться“ от так называемого испытания, похожего на инквизиторский экзамен еретиков или молодых мальчиков; я отвергаю его с негодованием; я могу навлечь на себя позор не отказом, а изъявлением согласия, т. е. постыдным преклонением перед таким судилищем, которое действует противозаконно и которое некомпетентно в глазах всякого, кто не утратил чувства собственного достоинства».

При таких противоположных воззрениях на сущность дела соглашение казалось невозможным. Однако оно состоялось, благодаря тому что предложение Гердера оказалось практически не исполнимым. Оно состоялось благодаря упорству друзей Гердера, ясно сознававших, что Гердер не может оставаться в Бюкебурге после его столкновения с графом. Несмотря на свою впечатлительность и горячность, Гердер не был способен непоколебимо держаться раз принятого решения, наперекор советам своих друзей. Эти друзья доказывали ему, что кто стремится к какой-либо цели, тот должен прибегать и к необходимым для успеха средствам, что письменное испытание оказывается на практике невозможным, и было бы бесцельно, что богословский факультет желает убедиться не в ортодоксии религиозных убеждений Гердера, а в его миролюбии, что экзамен был бы простой формальностью, а звание доктора богословия доставило бы почет; Брандес и Бремер излагали эти доводы самым мягким дружеским тоном, и им удалось одержать верх над нерешительностью Гердера¹. Они предложили ему лично обо всем переговорить с его старым другом Вестфельдом, который пользовался в то время доверием ганноверских министров, — и Гердер изъявил на это свое согласие. Однако он все еще колебался; он полагал, что при занимаемой им в Бюкебурге должности ему было неприлично держать перед богословским факультетом экзамен на звание доктора; он не хотел «пробираться в Гёттинген окольными

¹ Брандес к Гердеру 12 января 1776 г. (это письмо сохранилось в подлиннике); Циммерман к Гердеру 12 января (А, II, 354); Вестфельд к Гердеру 13 января (это письмо сохранилось в подлиннике).

ми путями», не хотел получить новую должность на основании решения, записанного в протокол; «кто получил звание профессора на основании записанных в протоколе устных объяснений, — писал Гердер, — тому постоянно будут грозить предъявлением этого протокола, подобно тому как мальчику грозят розгой... Нет, нет! Лучше быть деревенским школьным учителем или пономарем по приглашению местных прихожан!» Тем не менее он «пристыжен, удивлен и сбит с толку снисходительностью и участием своих друзей», он еще не вполне убежден их доводами, но желал бы быть вполне убежденным; из желания доказать им свою признательность он готов обо всем переговорить с Вестфельдом как со старым другом¹.

Свидание между двумя друзьями состоялось 18 января в Ольдендорфе, на ганноверской границе. Вестфельд оказался ловким дипломатом и достиг своей цели. Гердер сдался на его убеждения. Он изъявил готовность отправиться в Гёттинген за получением докторского звания на следующих условиях: он будет огражден от всяких придилок со стороны профессоров; вслед за экзаменом он будет непременно назначен на предложенную ему должность; ему будет предоставлена полная свобода на случай, если бы он получил какое-нибудь новое приглашение. Сверх того, он обещал произнести церковную проповедь или по дороге в Ганновер, или на возвратном пути². Его друзья и доброжелатели были вполне довольны; но он сам писал 31 января Циммерману, что «готов предпринять неприятную поездку в Гёттинген».

Счастливая случайность избавила его от необходимости или исполнить, или нарушить обещание, которое он дал неохотно и о котором сожалел. «Ведь дело никак не дойдет до устного экзамена, — писал он по прошествии нескольких недель (25 февраля 1776 г.) Гейне; — с той минуты, как я изъявил вынужденное согласие, внутренний голос тысячу раз повторял мне, что я не должен соглашаться». Он не без основательной причины выговорил себе право принять всякое другое предложение. С половины декабря он уже имел виды на иную должность, а 1 февраля он получил официальное приглашение на должность генерал-суперинтенданта в Веймаре.

¹ Гердер к Циммерману 13 января 1776 г. (Бодеман. J. G. Zimmermann. С. 333).

² Доклад, представленный министру Вестфельдом, помещен у Бодемана в «Archiv für Litteraturgesch» (с. 90); Циммерман к Гердеру 31 января (А, II, 357); Брандес к Гердеру 27 января (это письмо сохранилось в подлиннике).

Это дело было задумано и доведено до конца не кем иным, как старым страсбургским приятелем Гердера, Гёте, который начинал в то время приобретать сильное влияние в Веймаре.

Гёте ни на минуту не изменял своего высокого мнения о личных достоинствах и умственных дарованиях Гердера. Слухи об охлаждении прежних дружеских отношений между Гёте и Гердером не имели никакого основания. Напротив того, с тех пор как Гёте присутствовал на свадьбе своего друга, между ними прекратились все прежние пререкания; если с прекращением пререканий прекратилась и переписка, то это объясняется очень просто тем, что Каролина, со времени своего отъезда из Дармштадта, перестала служить посредницей для поддержания взаимных сношений, и тем, что Гердер был всецело погружен в свои литературные занятия. В письме к Лафатеру, написанном в январе 1774 г., Гердер высказывал свое благоприятное мнение о Гёте и старался упрочить дружеские отношения, незадолго перед тем установившиеся между Гёте и Лафатером. По поводу всем известной из «*Dichtung und Wahrheit*» поездки в Эмс Гердер писал летом 1774 г. Лафатеру: «Свидание с Базедовом заставит тебя во многом разочароваться, а свидание с Гёте ободрит тебя». Через посредство Лафатера Гёте прислал из Эмса поклон своему бюкебургскому другу и благодарил его за «Древнейший документ», в котором с восторгом усматривал гениальность автора. И Гердер со своей стороны интересовался произведениями юного поэта и отдавал полную справедливость их достоинствам, хотя они и не доставлялись ему самим Гёте. Он писал 14 ноября 1774 г. Гаману: «Вы не оставите без внимания „Клавиго“ и „Страдания Вертера“; с этим последним сочинением я еще не знаком, точно так же как не знаком с замечаниями Гёте о театре и с переведенными им отрывками из Шекспира. В гёттингенском „Альманахе муз“ напечатаны две его статьи, вы должны прочесть их, так как они составляют главный интерес всего „Альманаха“. Теперь, у него появился соперник в лице лифляндца Ленца — автора драм „Гофмейстер“ и „Новый Меноза“; эту последнюю драму я еще не читал. Не правда ли, что сочинения этого рода имеют более глубокое значение, чем все литературные произведения берлинцев?»¹ Наконец, по почину Гердера возобно-

¹ Из этих слов видно, что Гердер имел ошибочное мнение о литературной деятельности Ленца. Он также впадал в заблуждение, приписывая Гёте те статьи в «Альманахе муз», которые, по указанию Гирцелевой «*Goethebibliothek*», были написаны Лейзевицем. Жаль, что нам неизвестен его отзыв о «Вертере». Графиня Мария читала эту книгу и нашла ее не по своему вкусу, как сознавалась

лась его переписка с Гёте — вероятно, вследствие того что он прочел «Вертера». К сожалению, до нас дошел только ответ Гёте (от 18 января). В этом ответе нет никаких указаний на мнимое охлаждение их прежних дружеских отношений. Два друга, которые лишь по случайным причинам долго не возобновляли прежних сношений, отнеслись один к другому с таким горячим сочувствием, что как будто расстались только за день перед тем. «Я получил твое письмо, дорогой собрат, — писал Гёте, — в такую минуту, которая имела для меня важное значение. Именно в то время я живо вспоминал о наших старых спорах, и именно в эту минуту ты обратился ко мне с письмом и протянул мне твою руку. Я жму эту руку и желаю снова жить одной жизнью с тобой — ведь в сущности я до сих пор жил для тебя, а ты для меня». С той минуты эта переписка не прекращалась. В течение марта, апреля и мая Гёте часто присылал Гердеру такие коротенькие записочки, какие он писал в то время своим друзьям не иначе как второпях, потому что был страстно влюблен в Лили. Гердер писал в мае 1775 г. Гаману, что Клаудиус, Гёте, Лафатер и Циммерман — единственные люди, с которыми он переписывается, и то очень вяло. Вскоре после того он писал, что изредка получает известия от Гёте, которого считает за «человека с умом и с душой». При этом он снова упоминает наряду с Гёте об авторе «Гофмейстера» и «Нового Менозы», называя его «младшим братом Гёте». С Гёте и с Ленцем его связывали врожденные вкусы и влечения, а с Лафатером и с цюрихскими друзьями его связывали лишь одинокие религиозные убеждения. Но Гёте и Ленц натурально выражались не в том тоне, в каком выражались Лафатер, Клаудиус и Гаман. Когда Гёте прочел присланные ему Гердером «Объяснения к Новому Завету» и «Письма двух братьев Иисуса» и заявил, что не в состоянии сочувствовать основной мысли этих сочинений, то для теолога Гердера такой отзыв мог показаться обидным и даже похожим на богохульство; но, несмотря на такое различие взглядов, Гердер видел в Гёте человека

в этом в письме к Каролине от 26 ноября. Гердер, как кажется, не хотел ей противоречить из уважения к ее благочестивым понятиям о нравственности. Графиня писала 11 февраля 1775 г. Каролине: «Почему вы ничего не говорите о „Вертере“? Эта книга, вероятно, не понравилась вам. А нам так хотелось бы знать ваше мнение». Гердер разделял мнения своих современников, сопоставляя произведения Ленца с произведениями Гёте. Ранее уже было нами упомянуто о том, что он почтил драму «Новый Меноза» тем, что указывал на нее во второй части «Древнейшего документа». И Гарткноху он писал 19 ноября 1774 г. «Прочти „Страдания Вертера“, „Гофмейстера“, „Клавиво“ и „Нового Менозу“ и рекомендую эти сочинения твоим дамам».

«с умом и с душой», а Гёте умел распознавать гений Гердера и под мистико-теологической оболочкой. Он писал, что ему нравится в произведениях Гердера способ изложения, все равно о чем бы ни шла речь — о Боге или о черте. Он находил в тех произведениях «целый мир чувств», «полную жизни грудую сора». «Твоя манера очищать эту грудую и вызывать из нее к жизни новые растения всегда заставляет меня искренне преклоняться перед тобой».

В то время Гердер действительно мог считать себя духовным средоточием для самых выдающихся молодых писателей — мог считать себя представителем всех тех, кто с полной верой в право гения на самостоятельность становился в оппозицию к старой школе теологов и поэтов. Он пользовался дружеской преданностью Лафатера и швейцарских литераторов и почтительной дружбой Гёте. И Ленц стал в то время искать его дружбы. Для заведения этих новых дружеских сношений Ленцу доставила повод его страсбургская приятельница Луиза Кёниг, которая была с детства подругой жены Гердера и часто переписывалась с этой последней. Луиза Кёниг сообщала ему содержание писем, которые получала из Бюкебурга, и он сделался горячим поклонником Каролины; кроме того, он извлекал из этих писем сведения о самом Гердере и был вне себя от радости, когда узнал, что Гердер отозвался с похвалой о его «Гофмейстере» и «Менозе». Тогда он написал несколько строк Каролине с просьбой прислать ее силуэт и силуэт ее мужа; в то же время он осмелился прислать Гердеру рукопись своей драмы «Солдаты», на которую возлагал самые большие надежды¹. Гердер не был равнодушен к восторженной

¹ Для всего вышеизложенного служили источником письма Луизы Кёниг (сравн. окончание письма № 2 в сборнике писем Ленца к Гердеру, А, I, 225 и сл., которые служат источником для всего изложенного далее). Упомянутое в тексте письмо Ленца к Каролине и приписка к одному письму Луизы Кёниг от 13 июля 1775 г. имеют право на наше внимание уже потому, что по ним можно с точностью определить время, когда Гёте взбирался на колокольню страсбургского собора в июле 1775 г. (*Dritte Wallfahrt nach Erwins Grabe, Jung. Goethe. III, 696*). Ленц писал Каролине: «Я теперь совершенно счастлив тем, что нашел самую достойную и самую счастливую супружескую чету, какой еще никогда не встречал. Радость, которой дышит все ваше письмо, снова согрела мое сердце, уже давно не знавшее радости. Прошу вас, пришлите мне портреты — и ваш, и вашего мужа, и вашего ребенка. Пришлите их мне хоть наполовину похожими; я дополню остальное моим воображением, на основании того что я читал в ваших письмах. Скажите вашему мужу, чтобы он принял меня в число своих детей и не отказывал мне в дружеском сочувствии. Я не могу более писать; Гёте уже целых полчаса ждет меня на страсбургской колокольне».

преданности поэта. Он писал 4 октября 1775 г. Лафатеру, что Ленц сблизился с ним неожиданно приятным путем. Он отвечал на письмо Ленца, как кажется, преимущественно поучительными замечаниями о «Менозе», а Ленц со своей стороны постарался поддерживать эти дружеские отношения. Он в самых пылких выражениях превозносил в лице Гердера нового «Мессию», а слова Гердера он принимал за «голос свыше»; Гердер и его жена были для него первыми людьми, к груди которых он желал бы прижаться. Вместе со своей драмой «Солдаты» он послал Гердеру «Pandaemonium Germanicum» — то смелое и пестрое сочинение, которое было наполнено сатирическими нападками на более старых поэтов, на Виланда и на французов, и в котором он сам себя выдавал за подражателя Шекспира, за собрата Гёте, за ученика Клопштока и Лессинга, а главным образом за ученика и любимца Гердера. Он утверждал, что в основе его драмы «Солдаты» лежат воззрения Гердера. Как жаль, что нам неизвестен отзыв Гердера об этой драме! Она, без всякого сомнения, должна была сильно интересовать его. Так как она имела в виду преобразования в солдатской службе, то она, без сомнения, должна была пользоваться его сочувствием. Он даже имел смелость отрекомендовать супруге графа это странное произведение, несмотря на то что оно наполнено грубыми и отталкивающими сценами¹ и несмотря на то что граф питал сильное сочувствие к солдатам; а через посредство Циммермана он отыскал издателя для нуждавшегося в деньгах автора и настоял на том, чтобы новая драма была напечатана. Он, между прочим, писал Циммерману: не жалейте трудов для этого прекрасного юноши; у него великие идеи и цели и много таланта... мне приятно подумать о нем. Он был так очарован этим юношей, что стал посылать ему свои новые сочинения: Ленц принадлежал к числу тех немногих избранных, которые читали статью Гердера об «Откровении св. Иоанна» в рукописи².

Иным способом Гердер оказывал свое покровительство другому приятелю — своему дорогому Клаудиусу, положение которого становилось все более и более печальным, с тех пор как он весной 1775 г. перестал участвовать в издании «Вандсбекеровского вестника». В лице президента Мозера наконец нашелся такой человек, который желал и был в состоянии помочь бедному

¹ Как не нравилось графине это сочинение, видно из ее писем к Каролине от 8 и от 12 декабря 1776 г.

² Документы в А, I, 225 и сл. и А, II, 360 и сл.; Бодеман. J. G. Zimmermann. С. 332 и сл.; в особенности 335.

Асмусу. Во время своего личного свидания с Мозером в Дармштадте Гердер просил у него для Клаудиуса место секретаря Тайной канцелярии. Он обращался также к Глейму и к Вестфельду с просьбой о содействии. Но эти хлопоты оказались излишними, потому что вскоре после того Асмусу было доставлено такое место, которое было, по-видимому, самым для него подходящим и самым желательным, — место главного сельского комиссара; этим способом ему был доставлен случай выказать его усердие и его литературные дарования на пользу нового учреждения, основанного Мозером с целью поднять народное благосостояние и народное образование¹. Это назначение состоялось благодаря дружеским стараниям Гердера. Он не раз ссорился с Клаудиусом из-за того, что последний осмеливался высказывать в «Вандсбекеровском вестнике» некоторые горькие истины касательно «Приложения к философии истории» и «Провинциальных листов»². Но дружба, связывавшая этих людей, была способна устоять и против таких тяжелых испытаний — самый обидчивый из них был вместе с тем самым нежным и заботливым другом, всегда готовым на всякие услуги. Несмотря на прежние пререкания, Гердер принял на себя роль посредника между неразвязным и беззаботным Клаудиусом и министром; он написал для Клаудиуса письмо к министру и снабдил его деньгами на дорогу. Отправляясь в Дармштадт, Клаудиус не мог миновать Бюкебурга, куда его уже не раз приглашал Гердер. В апреле 1776 г. он провел со своим семейством целую неделю в доме Гердера, а при расставании два друга выразили старое желание когда-нибудь поселиться рядом друг с другом.

¹ Подробности касательно назначения Клаудиуса в Дармштадт можно найти у Гербста (Matthias Claudius, с. 149 и сл. 3-е изд.). Находящиеся у меня в руках письма Мозера к Гердеру доказывают, что нельзя было называть совершенно неосновательным слух о назначении Клаудиуса в Дармштадт бургомистром с казенным помещением среди леса (*Herbst*, с. 119, 120. 4-е изд.). Гердер сообщал дармштадтскому доброжелателю, что Клаудиус не желает быть секретарем Тайной канцелярии и предпочитает этой должности должность смотрителя какого-нибудь стоящего в лесу госпиталя или должность смотрителя какого-нибудь охотничьего замка; а в своем ответном письме от 27 сентября 1775 г. Мозер говорил о намерении доставить Клаудиусу место при наследном принце дармштадтском и вместе с тем с насмешкой отзывался о должностях смотрителя госпиталя и смотрителя охотничьего замка. Что Гердер обращался с просьбами и к Вестфельду, видно из письма Вестфельда от 24 октября 1775 г.

² А, I, 192 и сл., 397. Эти рецензии напечатаны в собрании сочинений Клаудиуса (9-е изд.), III, 6 и 55.

Но в то время как Гердер хлопотал о Клаудиусе, о нем самом хлопотал Гёте еще более деятельно и еще более успешно. С 7 ноября 1775 г. Гёте жил в Веймаре. Там уже в течение нескольких лет оставалась незамещенной должность высшего духовного сановника, которую занимал до своей смерти генерал-суперинтендант и главный придворный пастор Баш; с тех пор как Баш умер, там заведовали церковными делами его временные заместители¹. Виланду прежде всех других пришла в голову мысль рекомендовать на эту должность Гердера; но Гёте был тем, кто горячо взялся за это дело и довел его до конца. С его стороны было вполне естественно желание доставить его другу более независимое и более высокое общественное положение — ведь во время своего последнего свидания с Гердером в Дармштадте он, без сомнения, не раз слышал жалобы на неприятную обстановку бюкебургской жизни. Он только что прочел в рукописи статью об «Откровении св. Иоанна» и восхищался гениальностью Гердера как теолога и истолкователя Библии, и он внушил герцогу намерение пригласить Гердера в Веймар. Именно в то время как Гердер встретил в Гёттингене неожиданные затруднения и незадолго перед тем, как он был сильно раздражен требованием экзамена, он получил от жившего в Веймаре друга следующее извещение: «Герцогу нужен генерал-суперинтендант. Если бы ты отказался от твоих видов на гёттингенскую должность, то мог бы найти здесь то, что тебе нужно». Гердер с радостью изъявил свое согласие; разве он мог желать чего-нибудь лучшего? Гёте писал ему: «Герцог не хочет ничего слышать о каких-либо поповских пререканиях касательно ортодоксии и дьявола». Впрочем, и в Веймаре нашлись такие приверженцы ортодоксии, которые попытались создать препятствия для назначения Гердера и возбудить недоверие к его теологическим воззрениям. Из писем Гёте видно, что ему нелегко было зажать рот недовольным; этим объясняется, почему Гердер все еще не хотел прервать свои переговоры с гёттингенскими властями. «Герцог желает назначить тебя в Веймар, но здесь все работают против тебя, — писал Гёте, — не можешь ли ты добыть от какого-нибудь ортодоксального теолога руча-

¹ Все, что изложено далее, заимствовано из статьи Пейцера о назначении Гердера в Веймар; эта статья напечатана в «Weimar. Herderalbum» (с. 47 и сл.). Кроме того, мы пользовались некоторыми письмами Гёте, которых в то время (1845 г.) не имел в виду Пейцер. И переписка между Гейне и Циммерманом местами служит дополнением для наших сведений. Едва ли нужно замечать, что мнимое письмо Гамана к Гердеру, помещенное в «Lindaus Gegenwart» (VI, 187), было подложным, точно так же как и все другие, следующие за ним письма.

тельство за твои религиозные воззрения?» Мысль о необходимости такого ручательства была до такой степени неприятна Гердеру, что он предпочитал подвергнуть себя экзамену в Гёттингене. Но его веймарский друг сумел уладить дело благодаря своей настойчивости и некоторым ловким маневрам. Личная воля герцога устранила все препятствия. «Я разогнал всю эту сволочь арапником», — писал Гёте, а в поэтическом поздравительном послании, с которым он обратился к Гердеру, веймарские лица духовного звания представлены ослами, на которых будет ездить верхом новый мессия — Гердер.

Формальный запрос о согласии принять новую должность был написан по приказанию герцога президентом главной консистории Линкером и был получен Гердером 1 февраля 1776 г. Ответ Гердера был отослан к Гёте, от которого был передан герцогу и затем поступил в консисторию; он был написан самым почтительным тоном, несколько не похожим на тон тех писем, которые посылались в Ганновер: Гердер говорил, что выбор герцога есть выбор «самостоятельно действующего монарха, есть голос Божий среди людей»; он не преминул упомянуть и о заслугах, которые были со времен реформации оказаны предками герцога «очищенной религии в Германии и в Европе».

Таким образом, назначение в Гёттинген было окончательно отложено в сторону, к сожалению многочисленных ганноверских друзей Гердера, и в особенности Гейне. Гердер увлекся на минуту надеждой, что гёттингенский богословский факультет возведет его в звание доктора богословия, чтобы вознаградить его за все взведенные на него клеветы и вынесенные им неприятности. Он хорошо сделал, что скоро отказался от этой неосуществимой надежды; но он поступил нехорошо и во всяком случае невеликодушно, постаравшись доставить себе удовлетворение иного рода — во второй части «Древнейшего документа», которую он оканчивал именно в то время, он позволил себе резкую выходку против богословского факультета¹.

Однако и в Веймаре дело улаживалось лишь мало-помалу. Со званием генерал-суперинтенданта соединялось звание главного пастора в городе Веймаре, а местный магистрат настаивал на своем старинном праве никого не назначать на должность главного пастора до произнесения пробной проповеди. Гердер изъяс-

¹ Касательно надежды получить докторский диплом сравн. письма Циммермана к Гердеру от 2 и от 16 марта 1776 г. и Гердера к Циммерману (*Бодеман*, с. 336).

вил готовность произнести пробную проповедь, несмотря на то что от этого замедлилось бы его назначение и на вторую должность. И на этот раз личная воля герцога устранила все затруднения. Гердер получил 12 июня подписанное герцогом назначение; тогда и магистрат согласился назначить Гердера на городскую должность без пробной проповеди. И другие менее значительные препятствия, касавшиеся лишь некоторых формальностей, были устранены личными герцогскими приказами. Советник консистории и бывший наставник герцога Зейдлер, занимавший в течение нескольких лет казенную квартиру генерал-суперинтенданта, был принужден выехать оттуда, а Гёте, с доходившей до самых ничтожных мелочей заботливостью, приготовил для своего друга это прекрасное, просторное помещение рядом с городской кирхой. Гердер имел полное основание надеяться, что жизнь в Веймаре будет для него приятна и что он возобновит старинные дружеские отношения со своим страсбургским собеседником. Ведь Гёте всячески помогал ему и советом, и делом, проложил ему дорогу к новой должности и благо-разумно указывал ему, как следовало держать себя в новом звании. Тем временем все более и более скреплялись старинные узы признательности, уважения и сердечной привязанности. К сожалению, до нас не дошли те письма, которые Гердер писал к Гёте в то время, как ждал окончательной развязки. Но мы знакомимся с его душевным настроением из его писем к другим друзьям. Он отзывался в то время о неудачной драме «Стелла» с таким горячим сочувствием, с каким еще никогда не отзывался ни об одном из произведений Гёте. В его отзыве нет ни малейших признаков зависти. Он писал (в марте 1776 г.) Циммерману, что Гёте «плывет на золотых волнах к вечности»! В то же время он выразил свою братскую дружбу к своему прежнему ученику, пригласив его вместе с Гаманом и с Клаудиусом в воспитанники своего второго сына с целью соединить «гениальных людей со всех концов мира»¹.

Рождение этого второго ребенка было последним радостным событием во время пребывания Гердера в Бюкебурге. И на этот

¹ Письмо к Гаману от 24 августа 1776 г. и следующее в нем место, которое опущено в сочинениях Гамана (V, 181); сравн. письмо Гёте к Гердеру от 5 июля: «Этот последний (Гёте) оказал нам большую услугу, постаравшись приготовить к нашему приезду нашу квартиру в Веймаре; он даже предложил моей жене свою квартиру на случай, если бы наша квартира не была готова; поэтому я и счел долгом пригласить его в воспитанники». В крещении новорожденного ребенка также участвовали г-жа Бешефер и брат Каролины Сигизмунд.

раз, точно так же как по случаю рождения своего первого ребенка, Гердер высказывал в письмах к друзьям свои нежные отцовские чувства. Во время тех неприятных литературных пререканий, которые ему пришлось переживать на втором году его женитьбы, лучшим для него утешением служили жена и ребенок; они залечивали раны его оскорбленного самолюбия и смягчали его пылкую раздражительность. Каролина разделяла с ним семейные заботы и охотно занималась детским воспитанием; им обоим очень хотелось взять к себе сына Гарткноха, маленького Ваню, лишившегося матери; они только тогда успокоились, когда Гарткнох привез к ним в дом сына умершей сестры Гердера, Христиана Неймана. Это случилось на Пасхе 1775 г. «Мой племянник и мой сынишка, — писал тогда Гердер Гаману, — забавляют меня и доставляют мне возможность с пользой употреблять свободное от занятий время». Но Гердер находил среди своих разнообразных занятий время и для поддержания знакомств с посторонними людьми. Его не раз навещали в Бюкебурге некоторые из его друзей. В июне 1775 г. его посетил кёнигсбергский книгопродавец Кантер; в мае того же года и в мае следующего года к нему приезжал брат Каролины, Сигизмунд Флаксланд, служивший в Дармштадте секретарем по сбору податей. В самом Бюкебурге Гердер близко сошелся, после отъезда Вестфельда, с одним офицером по имени Цантиром. Это был образованный, начитанный молодой человек, писавший статьи по военным вопросам, но в то же время охотно усваивавший религиозные воззрения Гердера. Он переселился в Бюкебург незадолго до приезда Гердера, а вскоре после отъезда Гердера отправился в чине майора в Португалию. Сообщая 11 октября 1776 г. своему переселившемуся в Веймар другу о своем отъезде в Португалию, он писал: «Библия, которую я стал понимать благодаря вам, отправляется вместе со мной, для того чтобы заменять в моем одиночестве и друзей, и жену, и детей». Еще ближе сошелся Гердер с молодым Клейкером, который окончил свое образование под руководством Гейне и Михаэлиса, и после тщательных стараний получить в Гёттингене место репетитора богословия переехал в Бюкебург в звании домашнего учителя. Его поразили проповеди Гердера, и он постарался сблизиться с автором «Древнейшего документа» и «Объяснений Нового Завета». С одобрения Гердера он приступил к переводу «Зенд-Авесты» Анкетиля; он стал переводить это сочинение с находившегося у Гердера экземпляра, и Гердер доставил ему в лице Гарткноха издателя для его трехтомного перевода. Клейкер был тот самый друг, о котором

Гердер писал (16 октября 1775 г.) Лафатеру: «Он становится мне с каждым днем все более и более дорог; он так же чист и невинен душой, как твой Пфеннингер; но, подобно мне, он еще не совершенно высвободился из мрака учености и, подобно мне, борется с тяжелыми условиями внешней обстановки». В другом письме Гердера, написанном к Гаману 24 августа 1776 г., читаем: «Для Клейкера я собираю, по мере возможности, ваши сочинения. В душе этого человека господствует страшный хаос, в чем вы можете убедиться из его последнего сочинения „Человеческий опыт о сыне Божьем и человеческом...“ Впрочем, он старается найти точку опоры для своих воззрений, и если ему удастся отыскать в нас сходство с Адамом и зародыши всего хорошего, то он пойдет далеко. Он очень желал бы иметь ваш портрет, потому что в восторге от ваших сочинений. Для меня его голова еще не в меру набита вывезенными из Гёттингена теолого-философскими воззрениями, хотя он сам и отзывается об этих воззрениях с крайним пренебрежением». Из этой характеристики уже ясно видно, что Гердер сходил с Клейкером в убеждениях — они разошлись лишь в более позднюю пору своей жизни. Вся литературная деятельность Клейкера ограничивалась той узкой сферой мистических воззрений, в которой вращалась и литературная деятельность Гердера во время его пребывания в Бюкебурге; но после того как Гердер вышел на более широкую дорогу, Клейкер стал печатно нападать на своего бывшего друга. Впрочем, их дружеские сношения поддерживались в Бюкебурге только в течение почти двух лет; отчасти благодаря ходатайству Гердера Клейкер был назначен в 1775 г. на должность школьного проректора в Лемго. В этом городе оба они нашли нового друга в лице Бенцлера, который жил там с семейством в большой нужде и старался улучшить свое положение литературными занятиями. Гердер называл Бенцлера «милым, безупречным, как ангел, и чистосердечным юношей» и в течение многих лет не переставал заботиться о его судьбе¹.

¹ До нас дошли два письма, написанные Цантиром 11 октября 1776 г. и (после его возвращения из Португалии) 3 апреля 1778 г.; кроме того, см.: Воспоминания. II, 25; к Гейне (С, II, 177); к Глейму (С, I, 42); от Клаудиуса к Гердеру (А, I, 411). Касательно Клейкера см.: *Ratjen. Johann Friedrich Kleuker und Briefe seiner Freunde*. Из его писем сохранились четыре письма, написанные в промежуток времени от 6 октября 1776 г. до 4 марта 1784 г. Кроме того, см. «*Perserpolitische Briefe*» Гердера (SW в отделе философии. I, 204). В первом из находящихся налицо писем Бенцлера к Гердеру идет, между прочим, речь о поездке Гердера в Лемго. Сравн. письма Гердера к Глейму (С, I, 49) и прим. Дюнцера к С, I, 59.

Из всего вышеизложенного видно, что кружок близких знакомых Гердера был невелик. Следует также заметить, что Гердер, как кажется, никогда не заводил личного знакомства с жившим в Оснабрюке Юстусом Мезером, с которым близко сходился по убеждениям и которого высоко ценил как историка и популярного писателя. В сущности ему приходилось вести в Бюкебурге уединенную жизнь; да и внешняя обстановка этой жизни не могла удовлетворять его. Он был обременен долгами, когда завел свое собственное хозяйство, а с этими долгами он долго не был в состоянии расплатиться. Когда домашние расходы увеличились вследствие рождения его первого ребенка, ему пришлось обращаться за помощью к Георгу Брандесу, а когда ему пришлось переезжать из Бюкебурга в Веймар, его снабдил на дорогу деньгами граф Ган. Он был достоин таких великодушных услуг, потому что сам был очень щедр в денежных делах. «Я благодарю Бога, — писал он Гаману, — за то, что, несмотря на мои материальные заботы и стеснения, я не только не чувствую нужды в деньгах, но в крайних случаях даже получаю их в избытке. Этими словами он сопровождал небольшую сумму денег, отправленную к Гаману. Ведь благодаря щедрости своего голштинского друга он на одно мгновение сделался маленьким Крезом, а именно в то время нужда заставляла Гамана продать его библиотеку. Гердер не хотел этого допустить и был очень счастлив тем, что его «дорогой земляк, друг и кум» принял присланную ему под видом займа сумму безвозвратно — точно так же как и сам Гердер получил ее не в виде займа, а в виде подарка¹.

Иными словами, Гердер покидал не без глубокого душевного волнения тот город, в котором он наслаждался супружеским счастьем и первыми семейными радостями. Пять лет, проведенных им в Бюкебурге, были, по его словам, годами «труда, забот и радостей». Только одно печальное событие облегчило для него разлуку с теми, кого он оставлял в Бюкебурге. В то время уже не было в живых графини Марии, которая прежде всех других внушила ему привязанность к Бюкебургу и с которой ему было бы так тяжело расстаться. Зимой 1775/76 г. в ней стала быстро развиваться болезнь, которая уже давно медленно подтачивала ее силы и которую она тщательно старалась скрывать от своего супруга. Гердер виделся с ней в последний раз в конце мая в Штадттагене; 1 июня он получил от нее последнее письмо;

¹ Богатое содержанием письмо Гана помечено 17 августа 1776 г., а письмо к Гаману — 24 августа того же года.

16 июня она скончалась тридцати трех лет в своем загородном имении, где жила с весны¹. Граф воздвигнул в честь ее памятник на том месте, которое она сама назначила для своего погребения, а во время ее похорон Гердер произнес над ее могилой прекрасную по своей простоте молитву². Воспоминаниями о графине отзывается и содержание той прощальной проповеди, которую Гердер произнес через несколько дней после того перед своими прихожанами и в которой он называл божеским предопределением то странное стечение обстоятельств, что ему приходилось расстаться с Бюкебургом немедленно вслед за кончиной графини³.

Он миролюбиво расстался и с супругом графини. Этих двух людей связывали воспоминания об усопшей. Граф был глубоко тронут тем, что Гердер, в своем прошении об увольнении от бюкебургской должности, сказал несколько слов в похвалу графини⁴. Но и его собственная жизнь была недолга. Он никак не мог поправиться от падения с лошади, случившегося следующей зимой; он сам сознавал, что уже не найдет счастья в здешней жизни. Ровно через год после отъезда Гердера из Бюкебурга, 10 сентября 1777 г., он кончил жизнь в Берглебене, неподалеку от Гагенбурга. Гердер снова виделся с ним летом этого года. Из Пирмона, где Гердер пользовался водами, он посетил графа и в течение этих часов, предшествовавших окончательной разлуке, между ними шла речь только о дорогой усопшей.

¹ Письмо Гердера к графине Штольберг-Вернигероде от 22 июня 1776 г. и к ней же адресованные письма графини Элеоноры Бентгейм от 16 и 17 июня (*Фроммель*, с. 130 и 126).

² SW в отделе теологии. IX, 179.

³ Эта проповедь была произнесена 15 сентября. Прощальное послание к шаумбургскому духовенству (С, II, 327) было написано 9 сентября. Из письма к Клейкеру от 14 сентября (*Ратиен*, с. 63) видно, что прощальная аудиенция у графа была назначена на 19 сентября; «вслед за тем, — говорит Гердер, — я выехал из Бюкебурга так скоро, как только было возможно».

⁴ Ответ графа помечен 26 августа 1776 г. (Воспоминания. I, 268).

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Время мира и время человека (<i>Б. В. Марков</i>)	5

К Н И Г А П Е Р В А Я

ГЕРДЕР В ПРУССИИ

Г л а в а п е р в а я

ГОДЫ ОТРОЧЕСТВА

Родина и происхождение. — Дом и родители. — Городская школа в Морунгене и ректор Грим. — Ребяческие мечтания. — Пастор Вилламовиус и дьякон Трешо. — Гердер в должности секретаря при Трешо. — «Песнь к Киру». — Позднейшие суждения Гердера о Трешо. — Психологическое влияние его стесненного положения. — Избавление. — Отъезд в Кёнигсберг. — Переход от медицины к теологии	65
--	----

Г л а в а в т о р а я

ВРЕМЯ УЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Collegium Fridericianum и учительская деятельность Гердера. — Публичные речи в школе. — Ученые заметки и метод преподавания. — Изучение теологии. — Гердер в числе слушателей Канта. — Критическое объяснение взаимных между ними отношений. — Доказательства зависимости от Канта и относительно формы, и относительно сущности воззрений. — Аналитический метод и неразлагаемые понятия. — Статья о бытии. — Скептицизм и исправление прежней метафизики. — Дружба с Бёком, Куреллой, Фишером, Гарткнохом. — Знакомство с Гама-

ном. — Характеристика Гамана и его прежняя жизнь. — Его первые сочинения. — Гердер в качестве ученика Гамана. — Интимность их отношений. — Поэтические и риторические опыты юного Гердера. — Сотрудничество в Кёнигсбергской газете. — Приглашение в Ригу. — Отъезд из Кёнигсберга

88

КНИГА ВТОРАЯ

ГЕРДЕР В РИГЕ

Глава первая

ДОЛЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ЦЕРКОВНОГО ПРОПОВЕДНИКА; ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ СВЯЗИ

Образ жизни в Риге и тамошнее церковное училище. — Обстановка рижской жизни. — Связи в обществе: Беренс, Будберг и т. д. — Гарткнох. — Г-жа Буш. Бегров. — Гаман в Митаве. Обоюдные визиты. — Болезнь Гердера и изменчивость его взгляда на его положение в Риге. — Должность преподавателя в церковной школе. — Вступительная речь. — Практические приемы и метод преподавания. — Они отзываются на тогдашних сочинениях Гердера. — Гердер приглашен в Петербург и назначен вторым пастором в Ригу. — В чем заключался, по мнению Гердера, идеал пастора; проповеди Гердера с церковной кафедры. — В «философии человечества» Гердер является в одно и то же время и преподавателем, и церковным проповедником, и писателем. — Идеал народного писателя. — Участие в «Рижских ученых приложениях». — Сочувствие к музыке и к театру. — Масонство. — Патриотизм рижского населения и его влияние на Гердера. — Патриотические стихотворения на разные случайные сюжеты. — Статья по случаю торжественного освящения новой ратуши. — Национально-немецкие влечения Гердера. — Переход к литературной деятельности

147

Глава вторая

ОТРЫВОЧНЫЕ ЗАМЕТКИ
О НОВЕЙШЕЙ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

I. Литературные проекты. — Перевод «Сравнения греческих трагиков с французскими». — Статья на тему «ода». — Попытка написать историю поэзии. — II. Письма о литературе. — Причина появления писем о литературе и их характер. — Их несходство смотря по тому, кем были написаны. — Томас Аббт. — III. Отношения Гердера к «Письмам о литературе». — Характер «Отрывочных заметок» как «приложений» к письмам о литературе. — Различия в отношениях Гердера к Лессингу, Мендельсону, Аббту. — IV. Постепенное возникновение «Отрывочных заметок». — Первоначальный план не вполне приведен в исполнение. — Отрывочность заметок и своеобразность Гердера как писателя. — Многократная переделка до поступления в печать. — V. Общая точка зрения. — Сходство с точкой зрения писем о литературе и уклонения от нее. — Идеал настоящей критики. — Придерживался ли Гердер этого идеала и как придерживался в своих рецензиях и «Отрывочных заметках». — Главная тема «Отрывочных заметок». — VI. Первый сборник. — Об отношении языка к литературе. — Влияние Блэкуэлла, Гамана и Винкельмана. — Древность языка и немецкий язык. — Идиотизмы, синонимы, отношение языка к стихотворному размеру, перестановка слов и т. д. — VII. Второй сборник. — Вопрос о подражании. — Влияние И. Д. Михаэлиса и Юнга. — Подражание восточным поэтам. — Подражание грекам. — Старание Гердера не отставать от тех иностранных писателей, с сочинениями которых он уже успел познакомиться. — Неточность в практическом применении основного принципа. — Отрывочные сопоставления поэтов немецких и греческих. — VIII. Третий сборник. — О влиянии римского склада ума на немецкий. — Связь языка с мышлением. — Отрывочные сравнения немецких поэтов с римскими. — Намерение написать нравоучительное стихотворение о душе. — О мифологии и гевристическом способе ею пользоваться; зародыш «Парамифий» и влияние статей Лессинга о басне

Глава третья

ПЕРЕДЕЛКА И ПРОДОЛЖЕНИЕ «ОТРЫВОЧНЫХ ЗАМЕТОК». «ТОРС»

I. Отрывочные заметки о драматургии. — Гердер обращает свое внимание на драму; его взгляд на этот предмет и относящиеся сюда «Отрывочные заметки». — Гердер требует самобытной немецкой драмы. — Филот; школьная и юношеская драма. — Протест против централизации немецкого театра. — II. Памятная записка о Баумгартене, Гейльмане и Аббте. Первая статья «Торса». — План тройной памятной записки. — Идеал психологической биографии. — Критические тенденции. — Об образе мыслей Баумгартена, и в особенности о его эстетике. — Гердер отказывается от намерения написать статью о Баумгартене и пишет статью об Аббте. — Об образе мыслей и о стиле Аббта. — Первая статья «Торса» окончена и появляется в печати. — III. Переделка «Отрывочных заметок». 2-е издание первого сборника. — Полная переделка первого сборника «Отрывочных заметок» для нового издания; изменение плана, расширение содержания. — Разные перемены и дополнения. — Влияние критических отзывов на новую переделку. — Стил «Отрывочных заметок» и его видоизменения. — IV. Переделка второго сборника для нового издания. — Изменение основного плана и новая точка зрения в переделке второго сборника под влиянием винкельмановской «Истории искусства». — Другие дополнения, в особенности те, которые относятся к «Ноахиде» Бодмера и к статьям Лессинга о басне. — V. Продолжение «Торса». — Переделка статей в третьем сборнике «Отрывочных заметок». — Главы об элегии и о сатире. — Переход от этих статей к задуманному Гердером продолжению «Торса». — Другие материалы для продолжения этой работы. — VI. Впечатление, произведенное «Отрывочными заметками» и «Торсом». Переход к «Критическим лесам». — Как отнеслись берлинские литераторы к «Отрывочным заметкам». — Гердер участвует вместе с Николаи в издании «Библиотеки». — Мендельсоновская рецензия «Отрывочных заметок». — Рецензия Гарве. — Рецензия Шеффнера. — Письма Лафатера, Глейма, Клотца. — Перемена в суждениях Гердера о Клотце. — Рецензии Клотца раздражают Гердера. — Гердер перестает писать под вы-

мышленным именем. — Нападки Клотца на «Торс». — Гердер отказывается от продолжения «Отрывочных заметок». — Разоблачения Риделя и заявление Гердера в Фоссово́й газете. — Гердер отказывается от нового издания «Отрывочных заметок» и от продолжения «Торса». — Он переносит борьбу с Клотцем в новое литературное произведение. — «Критические леса» являются продолжением и «Отрывочных заметок», и «Торса». 260

Глава четвертая

КРИТИЧЕСКИЕ ЛЕСА

I. «Лесок» об «Истории искусства». — Намерение писать критический разбор сочинений Винкельмана. — Стара́ние доказать, что настоящая история не научная система. — Другие недостатки и односторонности во взглядах Винкельмана на историю искусства. — II. «Лесок» о «Лаокооне». — План и время зарождения трех «Критических лесов». — Первый из них, написанный о «Лаокооне», берет сторону Винкельмана против Лессинга. — Спорный вопрос о Филоктете. — Суждения о Гомере. — Нападки на чрезмерную склонность и Лессинга, и Винкельмана к грецизмам и на нарушение ими обоими исторической правды. — Индивидуальный характер гомеровских богов и «привлекательная наглядность» их изображения. — Законченность действия у Гомера как принадлежность эпической поэзии. — Понятие о переходном положении и важный вопрос о различии между поэзией и образовательными искусствами. — Зависимость Гердера от Гарриса. — Определение сущности поэзии как творческой силы. — Сопоставление воззрений Гердера и Лессинга и окончательный вывод. — Заслуга Гердера в том, что он заступает за лирику и принимает в соображение музыку. — Ошибка обоих в том, что они признают различие между естественными и искусственными знаками выражения. — III. Четвертый «Критический лесок». — Время зарождения четвертого «Леска», направленного против Риделя. — Риделевская теория изящных искусств. — Судьба гердеровских выражений. — Их содержание. — Первая часть: критика риделевских основных понятий. — Точка зрения Гердера основана на философии Лейбница и на английской фило-

софии. — Вторая часть: для искусства служат источником наши чувства. Пластика, живопись, музыка и др. — Поэзия как умение фантазии соединять все, что есть прекрасного во всех других искусствах. — Достоинства и значение гердеровской эстетики. — Третья часть: отдельные эстетические понятия, как например понятия об иллюзии, о юморе и о смешном. — IV. Два «Леска» против Клотца. — Цель и характер второго и третьего «Лесков», написанных против Клотца. — Стилистическая и полемическая форма «Критических лесов» в сравнении со стилем и с полемикой Лессинга. — Содержание второго «Леска»: о письмах касательно Гомера, о пристойности Вергилия и о Горации. — Содержание третьего «Леска»: о маленькой книжечке касательно монет, об истории германской империи и т. д.

329

Г л а в а п я т а я

СТОЛКНОВЕНИЕ И ОТСТАВКА

Статья и отрывочные заметки об «Археологии евреев». — Эта работа была вызвана критико-исторической точкой зрения Михаэлиса, Эрнести, Землера. — В своем теологическом развитии Гердер переходит от пиетизма до той границы, где начинается деизм; статья о новом истолкователе триединства и т. д. — Еврейская археология на пункте соприкосновения между историей поэзии и историей религии; влечение к этой последней. — Первые главы Книги Бытия; песнь о сотворении мира. — Ее поэтическое истолкование и решительное отбрасывание всего догматического. — Песнь о сотворении мира как праздничная песнь. — История Моисея как самая древняя эпопея. — Различие между Гердером-богословом и Гердером-пастором. — Его философский скептицизм; споры с Мендельсоном о бессмертии души. — Сознание различия во взглядах; пасторская одежда и гнев обязанностей по школьному преподаванию; противоположность между авторской деятельностью и положениями служебным и общественным. — Положение Гердера становится еще более трудным вследствие вражды с Клотцем; он старается заглушить впечатление, которое произвели «Критические леса»; новые нападки со стороны Клотца, и Гердер снова отрывается от «Критиче-

ских лесов». — Оценка гердеровского образа действий; мнение Гамана. — Единственный способ выйти из затруднительного положения. — Гердер решается покинуть Ригу. — Его отставка и отъезд	389
---	-----

К Н И Г А Т Р Е Т Ь Я

ПУТЕШЕСТВИЯ ГЕРДЕРА

Г л а в а п е р в а я

ОТ РИГИ ДО ПАРИЖА

Морской переезд и изменение первоначального плана. — Прибытие в Нант и пребывание там Гердера. — Путевой журнал. — Его содержание: мечтания физические и исторические, психолого-эстетические и педагогические. Идеал рижской школы. План для гуманного катехизиса и для гуманного повременного издания. Политические мечтания. Проект политического сочинения. Материалы для продолжения «Отрывочных заметок». Характеристика французов. — Мнения Гердера о Руссо и о Монтескье. — Переезд из Нанта в Париж. — Пребывание в Париже. Дидро. Знакомство с искусствами и с театром. — Гердер принимает приглашение князя — епископа любекского . . .	433
--	-----

Г л а в а в т о р а я

ИЗ ПАРИЖА В ЭЙТИН; ИЗ ЭЙТИНА В СТРАСБУРГ

Гердер в Голландии. — В Гамбурге. Свидание с Лессингом, дружба с Клаудиусом. — Из Гамбурга в Эйтин. — Знакомства в Голштинии. — Отношения к эйтинскому двору и к принцу Петру. — Поездка вместе с принцем через Ганновер и Кассель в Дармштадт. — Знакомство с Каролиной Флаксланд. — Мерк. — Из Дармштадта в Карлсруэ; пребывание в Карлсруэ	483
---	-----

Глава третья

СТРАСБУРГ

Отношение Гердера к принцу. — Он принимает бюкебургскую должность. — Недоразумения между Гердером и Каролиной. — Увольнение из Эйтина. — Глазная операция. — Страсбургские знакомые: Пегелов, Юнг, Штилинг, Гёте. — Влияние Гердера на Гёте. — Страсбургские литературные занятия. — Сочинение о происхождении языка. Его содержание и достоинства. — Стихотворения Гердера; его влечение к народным песням, к Оссиану и Шекспиру. — Многостороннее влияние Гердера на Гёте. — Сочинение о немецкой жизни и искусстве. — Возникновение этого сочинения. — Шлезвигские письма о литературе и отношении к ним Гердера. — Статья о Шекспире и ее неоднократные переделки. — Воззрения Гердера на произведения Шекспира в сравнении с воззрениями Лессинга и Герстенберга. — Историко-генетическая точка зрения; достоинства и недостатки статьи. — Переписка об Оссиане и о песнях древних народов. — Характеристика народных песен и практическая цель статьи об Оссиане. — Мнение Гердера о лирике Клопштока. — Рецензия клопштоковских од. — Влияние статьи об Оссиане

512

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ОТШЕЛЬНИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В БЮКЕБУРГЕ

Глава первая

ДВА ГОДА ОДИНОЧЕСТВА

На пути в Бюкебург; пребывание в Дармштадте и отношение к Каролине Флаксланд. — Прибытие в Бюкебург. — Граф Вильгельм Липпе-Шаумбургский. — Отношение графа к Аббту и к Гердеру. — Дом Вестфельда и бюкебургское общество. — Служебное положение Гердера и его недовольство. — Наслаждения природой. — Переводы и стихотворения; Брут. — Рецензии для «Всеобщей Немецкой Библиотеки». — Рецензии для «Франкфуртского Ученого указателя». — Приготовительные ра-

боты для «Древнейшего документа»; поездка в Гёттинген и дружеские отношения к супругам Гейне. — Статьи для «Вандсбекеровского вестника». — Возобновление переписки с Гарткнохом. — Гамановская рецензия статьи о происхождении языка; кризис в сношениях Гердера с Гаманом. — Переворот к воззрениям Гердера; он переходит к положительным религиозным верованиям. — Начало дружбы с Лафатером; новые взгляды Гердера на вопрос о бессмертии души. — Графиня Мария. — Ее отношения к Гердеру. — Положение Каролины в Дармштадте; Лили; Гёте. — Окончательная развязка отношений Гердера к Каролине. — Приготовления к свадьбе. — Личные столкновения; Мерк и Лейхзенринг; комедия Гёте «Патер Брей». — Бракосочетание в Дармштадте 597

Г л а в а в т о р а я

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Жизнь вдвоем. — Новая домашняя обстановка и начало новой литературной деятельности. — Ее предварительный обзор. — I. «Еще философия истории». — Что побудило Гердера написать эту статью. — Ее полемические тенденции и содержание. — Точка зрения автора. — Исторические эпохи. — Апология Средних веков и старание унизить свое время. — Виды на будущее. — II. «Древнейший документ человеческого рода». — Религиозная и научная тенденция этого сочинения; его общий характер. — Первая часть первого тома: история сотворения мира, с точки зрения автора. — Части вторая и третья: автор возводит все историческое развитие к основному факту, описанному в первой главе Библии. — Его доказательства не выдерживают критики. — «Древнейший документ» был написан с целью снова возбудить религиозное рвение. — III. «Провинциальные листки для церковного проповедника». — Это сочинение написано в опровержение сочинения Шпальдинга о пользе пасторской должности. — Первоначальная рукопись «Провинциальных листов» и ее историческая подкладка; должность духовного руководителя в ее различных видах: патриархи, жрецы, пророки, преподаватели христианского учения, церковные проповедники и проповедники-философы. — Poleмика со

Шпальдингом касательно важного значения чувств; нападки на символические книги, на догматику и т. д. — Напечатанные «Провинциальные листки». — Стилистические особенности новейших сочинений Гердера, и в особенности «Провинциальных листков». — Найденные листки из летописей новейшей немецкой литературы 687

Г л а в а т р е т ь я

ИСПЫТАНИЯ ПИСАТЕЛЯ

Рецензия шлецеровского очерка всеобщей истории и ответ Шлецера. — Молчание Гердера; заступничество со стороны Клаудиуса и Гамана. — Отзывы друзей Гердера о «Древнейшем документе»; Гамановские «Prolegomena». — Отзыв Николаи о «Древнейшем документе»; разрыв между Николаи и Гердером. — «Провинциальные листки» и переписка со Шпальдингом; негодование берлинских литераторов; письмо Теллера к Гердеру и т. д. — Освежающее влияние вынесенных испытаний; Гердер сознает свои недостатки и впредь старается их избегать 770

Г л а в а ч е т в е р т а я

ТРИ НОВЫХ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯ

I. «Объяснения к Новому Завету». — Что побудило Гердера написать это сочинение. — Характер этого сочинения; его цель и основная точка зрения. — Его этико-мистический отпечаток; влияние Спинозы. — Значение и внутреннее достоинство «Объяснения»; их связь с другими сочинениями того же периода. — II. «Послания двух братьев Иисуса». — Содержание сочинения. — Иаков и Иуда были братья Иисуса. — Иаков и первобытное христианство. — Послание Иуды. — III. «Откровение св. Иоанна». — Первоначальная рукописная статья 1775 г.; ее переработка и связь с написанными в 1779 г. комментариями на Апокалипсис. — Точка зрения и характер комментариев. — Их внутреннее достоинство и влияние 802

Г л а в а п я т а я

СОЧИНЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО
И ФИЛОСОФСКОГО СОДЕРЖАНИЯ;
ПРОДОЛЖЕНИЕ «ДРЕВНЕЙШЕГО ДОКУМЕНТА»

I. Второе сочинение, удостоенное премии. — Академический характер сочинения о причинах извращения вкуса. — Разбор трех частей этого сочинения. — II. Сочинение, не удостоенное премии. — Сочинения о двух первых династиях франкских королей и о том, каким образом немецкие епископы сделались государственными чинами. — Сочинение о познании и чувствовании. — Его первоначальная внешняя форма. — Его переделка. — Написанное в 1778 г. сочинение о познании и чувствовании. — Его точка зрения и содержание. — III. О пластике. — Статья о том, как древние изображали смерть. — Ее связь с позднее написанной статьей, которая носила такое же заглавие. — Связь с сочинением Лессинга о том же предмете. — Отношение к лафатеровским воззрениям на физиогномику. — Сотрудничество Гердера в «Физиогномических отрывках». — Рецензия для «Lemgoe Auserlesene Bibliothek». — IV. Самая старая редакция сборника народных песен. — Намерение перевести сочинения Гемстергюи. — Намерение издать старинные народные песни. — Участь этого предприятия. — Возвращение рукописи и его причины. — Содержание рукописи и ее связь со сборниками 1778 и 1779 гг. — Четыре части первоначального сборника и их введения. — V. Продолжение «Древнейшего документа». — Вторая часть «Древнейшего документа»; ее связь с первой частью. — Ее содержание и характер. — Миф о грехопадении. — Обзор сочинений бюкебургского периода 835

Г л а в а ш е с т а я

ПЕРЕГОВОРЫ В ГЁТТИНГЕНЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ В ВЕЙМАР

Замыслы о переезде из Бюкебурга. — Желание переселиться в Гёттинген. — Первые переговоры в Ганновере. — Поездка в Ганновер в январе 1774 г.; дружба с Циммерманом. — Новая поездка в Ганновер осенью 1774 г. — Влияние переговоров на положение Гердера в Бюкебурге. —

Графиня Мария и ее отношения к семейству Гердера. — Учебный план для молодого Цешау. — Должность суперинтенданта. — Поездка в Дармштадт и личное знакомство с Глеймом. — Дело Штока. — Предположенное назначение Гердера на должность гёттингенского профессора и переговоры об этом назначении. — Устное испытание; отказ Гердера. — Запрос из Веймара. — Отношение Гердера к Гёте. — Гердер и Ленц. — Заботы о Клаудиусе. — Дальнейший ход переговоров о веймарской должности. — Семейные дела. — Отношения к Цантиру, Клейкеру и Бенцлеру. — Последние дни бюкебургской жизни; смерть графини и графа. 898

Научное издание

Рудольф Гайм

ГЕРДЕР, ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ

Печатается по: *Гайм Р.* Гердер, его жизнь и сочинения.
Т. 1. М., 1888

*Утверждено к печати
Редколлегией серии «Слово о сущем»*

Редактор издательства *Т. В. Глушенкова*
Технический редактор *И. М. Кашиварова*
Корректоры *О. В. Гусихина, Н. И. Журавлева,*
Ф. Я. Петрова и Е. В. Шестакова
Компьютерная верстка *А. П. Тархановой*

Лицензия ИД № 02980 от 6 октября 2000 г.
Сдано в набор 4.02.10. Подписано к печати 23.05.11.
Формат 60 × 90 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 59.5. Уч.-изд. л. 60.3.
Тираж 1000. Тип. зак. № 3795. С 99

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.spb.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-026359-8



АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ «АКАДЕМКНИГА»

Магазины «Книга — почтой»

121009 Москва, Шубинский пер., 6; 241-02-52
197110 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-40-64

Магазины «Академкнига» с указанием отделов «Книга — почтой»

690088 Владивосток-88, Океанский пр-т, 140 («Книга — почтой»);
(код 4232) 5-27-91
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
(код 3432) 55-10-03
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 298 («Книга — почтой»);
(код 3952) 46-56-20
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90
220012 Минск, пр-т Независимости, 72; (код 10-375-17) 292-00-52,
292-46-52, 292-50-43
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 124-55-00
117192 Москва, Мичуринский пр-т, 12; 932-74-79
103054 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; 921-55-96
103624 Москва, Б. Черкасский пер., 4; 298-33-73
630091 Новосибирск, Красный пр-т, 51; (код 3832) 21-15-60
630090 Новосибирск, Морской пр-т, 22 («Книга — почтой»);
(код 3832) 30-09-22
142292 Пушкино Московской обл., МКР «В», 1 («Книга — почтой»);
(13) 3-38-60
443022 Самара, пр-т Ленина, 2 («Книга — почтой»);
(код 8462) 37-10-60
191104 Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57; (код 812) 272-36-65,
бук. 273-13-98
197110 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 7Б; (код 812) 235-40-64
199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1; (код 812) 328-38-12
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9 линия, 16; (код 812)
323-34-62
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; (код 3822) 22-60-36
450059 Уфа-59, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»); (код 3472) 24-47-74
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 22-91-85

